

ЯЗЫК  
ЛИЧНОСТЬ  
ТЕКСТ



СБОРНИК СТАТЕЙ  
К 70-ЛЕТИЮ  
Т. М. НИКОЛАЕВОЙ

S T U D I A P H I L O L O G I C A





ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

ЯЗЫК  
ЛИЧНОСТЬ  
ТЕКСТ



СБОРНИК СТАТЕЙ  
К 70-ЛЕТИЮ  
Т. М. НИКОЛАЕВОЙ

Ответственный редактор  
В. Н. Топоров



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР  
МОСКВА 2005

ББК 81.2Рус-67-1  
Я 41

Издание осуществлено при финансовой поддержке  
*Российского фонда фундаментальных исследований*  
(*РФФИ*)  
проект № 04-06-87066



*Редакционная коллегия:*

В. Н. Топоров (*ответственный редактор*), Т. Н. Молошная,  
И. А. Седакова (*ответственный секретарь*), Т. В. Цивьян, Е. С. Яковлева.

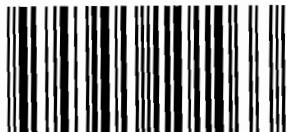
Я 41 Язык. Личность. Текст: Сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой /  
Ин-т славяноведения РАН; Отв. ред. В. Н. Топоров. — М.: Языки  
славянских культур, 2005. — 976 с. — (Studia philologia).

ISSN 1726-135X  
ISBN 5-9551-0103-9

Сборник посвящен юбилею члена-корреспондента РАН Т. М. Николаево-  
й. В нем публикуются статьи по теории языкоznания, по проблемам грам-  
матики, фонетики и интонологии, по семиотике и мифологии, а также по  
литературоведению. Многообразие тем отражает широту научных занятий  
и интересов юбиляра.

ББК 81.2Рус

ISBN 5-9551-0103-9



9 785955 101033

© Авторы, 2005  
© Языки славянских культур, 2005

## СОДЕРЖАНИЕ

### I.

- Лефельдт Вернер. Слово благодарности Татьяне Михайловне Николаевой* ..... 11

### II.

#### Теория языкоznания

<i>Leinonen M. Linguistic crossroads</i> .....	17
<i>Кубрякова Е.С. О термине «дискурс» и стоящей за ним структуре знания</i> .....	23
<i>Демьянков В. З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка</i> .....	34
<i>Нещименко Г. П. К вопросу о лингвистическом статусе языка компьютерных диалогов</i> .....	56
<i>Вельмезова Е. В. В начале была... диффузность? (О философско-эпистемологических предпосылках некоторых эволюционистских теорий в лингвистике в конце XIX — начале XX в.)</i> .....	73
<i>Зализняк Анна А. Проблема внутренней формы слова в типологическом аспекте</i> .....	87

### III.

#### Грамматика

<i>Иванов Вяч. Вс. К типологии и истории начальных цепочек энклитических частиц</i> .....	109
<i>Брейар Ж., Горбунова Р. С. «Краткая греческая грамматика» братьев И. и С. Лихудов: неизвестный список</i> .....	132
<i>Бондарко А. В. Языковая интерпретация семантических категорий в сфере грамматики</i> .....	139
<i>Золотова Г. А. Перфектив как категория структуры текста</i> .....	149
<i>Толстая С. М. Актантная структура глагола и семантика отглагольных имен: «субъектные» и «объектные» имена</i> .....	162
<i>Молошная Т. Н. Категория неопределенности, выражаемая местоимениями кто-нибудь и что-нибудь, и глагольные категории в современном русском литературном языке</i> .....	169
<i>Храковский В. С. Адмиралтив в русском языке (Вводное слово оказывается и его функции в высказывании)</i> .....	180
<i>Бенаккио Р. Глагольный вид в императиве в чешском и словацком языках</i> .....	191
<i>Гловинская М. Я. Оценка в составе речевого акта</i> .....	201
<i>Аркадьев П. М. Типология и диахрония: наблюдения над падежным синкретизмом в славянских языках</i> .....	210
<i>Мустайоки А. «Победительная» тема, или Новый взгляд на конативные предикаты в системе аспектуальных значений</i> .....	224
<i>Grzybek P. A Study on Russian Graphemes</i> .....	237

**IV.****Лексикология. Лексикография. Лексемы**

<i>Апресян Ю. Д.</i> Два принципа и два понятия системной лексикографии.....	267
<i>Крысин Л. П.</i> О типах лексикографической информации в русской части русско-иноязычных словарей.....	285
<i>Рахилина Е. В., Прокофьева И. А.</i> Русские и польские глаголы колебательного движения: семантика и типология .....	304
<i>Кошелев А. Д.</i> К проблеме лексической многозначности. Описание общего значения глагола <i>брать / взять</i> .....	315
<i>Касаткина Р. Ф.</i> Калейдоскоп частиц в русских народных говорах.....	365
<i>Урысон Е. В.</i> Материалы к семантическому описанию русского слова <i>И</i> .....	374
<i>Левонтина И. Б.</i> <i>Давай-давай</i> .....	391
<i>Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.</i> Из наблюдений над женскими именами в роду Рюриковичей.....	402
<i>Гиппкус А. А.</i> Два отчества посадника Мирошки .....	430
<i>Ванхала-Анишевски М.</i> Имя собственное в текстах СМИ: тенденции функционирования .....	435
<i>Свешникова Т. Н.</i> Собачьи клички: заметки на полях выставочных каталогов .....	441

**V.****Фонетика. Интонация**

<i>Бондарко Л. В.</i> Об основных интересах современной фонетики.....	449
<i>Horga D.</i> Boundaries between linguistic units and articulatory joints.....	455
<i>Фужерон И.</i> Тема с вариациями .....	461
<i>Калнынь Л. Э.</i> Вопросы «почему» и «зачем» относительно некоторых фонологических новаций в истории славянских языков/диалектов .....	472
<i>Касаткин Л. Л.</i> Основные интонационные тональные контуры (ТК) русского литературного языка .....	479
<i>Оде С.</i> По поводу эксперимента по перцептивной эквивалентности тональных акцентов в русской речи.....	487
<i>Попов Д.</i> Фоностилистика ответных реплик в разговорном дискурсе (на материале болгарской речи) .....	496
<i>Sawicka I.</i> Upitna intonacija u albanskom jeziku.....	513
<i>Шмелев А. Д.</i> «Показатели хезитации» в русской устной речи .....	518

**VI.****Семиотика. Миф. Образ**

<i>Эдельман Д. И.</i> Еще раз о славянском Диве и иранских дэвах.....	533
<i>Елизаренкова Т. Я.</i> Заметки об имени в «Ригведе» .....	541
<i>Ferrari-Bravo D.</i> La «parola» e l'icona. Dalla verità della conoscenza alla verità della visione e ritorno (su materiale di Pavel Florenskij) .....	556
<i>Седакова И. А.</i> Заметки о языке, который нас окружает: прошедшее в настоящем .....	565
<i>Китайгородская М. В., Розанова Н. Н.</i> Продукты питания как социокультурные знаки .....	577
<i>Ратмайр Р.</i> Немецко-русские совпадения и различия на примере названий пищевых продуктов .....	600

Земская Е. А. О функциях разговорной и церковнославянской стихий в частной переписке конца XIX в. (по материалам семейного архива Булгаковых).....	611
Йокояма О. Б. Знаки препинания в крестьянских письмах XIX в. ....	619
Неклюдов С. Ю. «Цыпленок жареный, цыпленок пареный...» .....	637

**VII.****Теория литературы. Западноевропейская литература**

Невзглядова Е. В. Виртуальное инообытие поэзии .....	653
Фатеева Н. А. Гендерные и коммуникативные «сдвиги» как выражение авторской стратегии. ....	667
Завьялова М. В. Фольклорные и мифологические реминисценции в новелле Проспера Мериме «Локис».....	682
Цивьян Т. В. Из заметок о поэтике Кавафиса: колористика Кавафиса. ....	697

**VIII.****Русская и славянская литературы**

Зализняк А. А. Заклинание против беса на стене новгородской Софии. ....	711
Живов В. М. Ранняя восточнославянская агиография и проблема жанра в древнерусской литературе .....	720
Софронова Л. А. Формулы общения в пьесах старинного русского театра .....	735
Хаард Эрик де. «Странник» А. Ф. Вельтмана как образец прозиметрического текста.....	748
Гардзонио С. Еще раз о стихе перевода Батюшкова из Ролли .....	761
Топоров В. Н. К проблеме «повторов» и их «уровнях» в поэзии Баратынского (ранний период) .....	767
Пеньковский А. Б. Загадки пушкинского текста и словаря: «Но наконец она вздохнула / И встала со скамьи своей» (Евгений Онегин, 3, XLI, 1—2) .....	787
Ланглебен М. Ты и вы в финальной сцене «Каменного гостя» А. С. Пушкина .....	823
Кодзасов С. В. К типологии поэтического ритма (на материале стихов А. Фета) .....	845
Плунгян В. А. К эволюции русской метрики: немонотонная силлабо-тоника. ....	857
Фичи Ф. Флоренция русских путешественников: «воспоминание» и действительность .....	870
Казанский Н. Н. «Античная страничка» Анны Ахматовой .....	879
Арутюнова Н. Д. Колеблющийся мир Достоевского: между образом и концептом .....	883
Ляпон М. В. Парадокс в контексте личности .....	897
Падучева Е. В. Игра со временем в первой главе романа В. Набокова «Пинн» .....	916
Рицци Д. Вымыселенный текст и мистификация: заметки об одном рассказе Владимира Набокова .....	932
Журавлев А. Ф. Обратная анаграмма [Пушкин(?). Мандельштам. Гандлевский] .....	941

**IX.**

Успенский В. А. Татьяна Михайловна Николаева как собеседник .....	953
Список научных трудов Т. М. Николаевой.....	959



I.





*Вернер Лефельдт (Гётtingен)*

## СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ ТАТЬЯНЕ МИХАЙЛОВНЕ НИКОЛАЕВОЙ

Глубокоуважаемая и дорогая Татьяна Михайловна!

**И**здатели юбилейного сборника, посвященного Вам, предложили мне принять в нем участие. Я, конечно, с удовольствием принял это приглашение. Обычная форма участия в юбилейных сборниках — это написание научной статьи на определенную тему, близкую исследовательской тематике юбиляра. В Вашем случае я решил поступить иначе. Я выбрал форму письма, чтобы таким образом показать большое влияние Вашей научной деятельности на мою собственную работу и тем самым поблагодарить Вас за это влияние, за всю ту помошь, которую я нашел в многочисленных Ваших работах по проблемам проподии.

Буду говорить как можно конкретнее. Несколько месяцев тому назад вышла из печати моя книга, которая озаглавлена «Akzent und Betonung im Russischen». Эта книга представляет собой результат многолетней работы и является своего рода попыткой построения «акцентологического здания» для русского языка с учетом предшествующих исследований в области, указанной в заглавии книги. Как вытекает из самого заглавия, в основе построенного мной «акцентологического здания» лежит различение двух уровней, а именно уровня акцента («Akzent») и уровня ударения («Betonung»). Иначе говоря, каждое абстрактное фонологическое слово (тактовая группа) имеет точно один акцент, причем под акцентом понимается своего рода «приказание» для говорящего выделить какими бы то ни было фонетическими средствами один слог в рамках данного фонологического слова. На этом уровне сами эти фонетические средства не играют никакой роли. В первой главе книги систематически рассматриваются все проблемы, касающиеся описания акцента, как, например, правила расстановки акцента и т. д.

Ударение («Betonung») рассматривается как реализация акцента в рамках конкретных речевых актов, т. е. конкретными говорящими. Ему посвящена вторая часть книги, и вот эта часть не могла бы быть написана без Вашего участия, т. е. без ссылки на Вашу концепцию словесно-просодического пространства.

Во второй части книги ставится вопрос о том, какими фонетическими средствами реализуется акцент в форме ударения, если он вообще реализуется. Этим вопросом уже занималось много ученых — упомяну работы Л. В. Златоустовой и Л. В. Бондарко, которые, конечно, я использовал в своей книге. Сегодня уже не подлежит сомнению, что при реализации акцента в форме ударения разные фонетические параметры могут играть ведущую роль, прежде всего длительность ударного гласного и его интенсивность. Тем самым встает вопрос о том, от чего зависит ведущая роль то длительности, то интенсивности. Убедительный ответ на этот сложный вопрос можно найти у Вас. Я имею в виду уже упомянутую Вашу концепцию «словесно-просодического пространства». В рамках этой концепции Вы различае два измерения. Первое измерение — это, как Вы называете ее, «просодическая схема слова». Под этим термином Вы подразумеваете «модель распределения сильных и слабых (т. е. максимально и минимально выраженных) точек реализации параметров просодии в пределах слова, независимо от места и способа реализации ударения» (с. 49). Значит, вам удалось показать, что сильные точки как длительности, так и интенсивности не зависят от ударения, чем объясняются случаи, например, несовпадения максимума интенсивности и ударения, если оно падает не на начало слова, где находится сильная точка интенсивности. Тем самым был сделан важный шаг в понимании взаимосвязи параметров интенсивности и длительности, с одной стороны, и ударения, с другой.

В дальнейшем Вами было показано, что просодическая схема слова представляет собой автоматизированное явление, которое находится вне сознания носителей языка. Иными словами, его существование может быть установлено лишь путем измерения соответствующих параметров. Из этого вытекает, что на вопрос о том, какой слог конкретного слова является ударяемым, нельзя ответить с помощью измерения указанных или же других фонетических параметров, ведь в отличие от просодической схемы слова ударение представляет собой явление, которое как таковое воспринимается носителями языка. В обычном случае каждый говорящий по-русски в состоянии определить ударяемый слог конкретно производимой словоформы, несмотря на то что он не может уточнить или же просто назвать те фонетические параметры, которые выделяют данный слог. «...ударение есть то, что слышно как ударение. ... Это — факт интроспективного языкового метасознания» (с. 51). Значит, восприятие данного слога как ударяемого не всегда и не исключительно определяется измеряемыми степенями определенных фонетических параметров. Напротив, ударение представляет собой психопрепятственный феномен, «то есть оно есть в нашем внутреннем словаре, где данное слово как бы записано вместе с ударением» (с. 43).

Сказанное, однако, не означает, что восприятие данного слога как ударяемого полностью независимо от таких параметров как интенсивность и длительность. «...в каждом языке существует параметрическое предпочтение для выражения словесного ударения. Исследования последних десятилетий доказали, что этим параметром для русского языка является длительность» (с. 271).

Вот весьма краткий и, конечно, неполный перечень тех Ваших взглядов на русское ударение, которые помогли мне понять природу этого сложного явления. Без опоры на Вашу концепцию я непрестанно и, конечно, напрасно искал бы однозначного соотношения между определенными фонетическими параметрами, с одной стороны, и ударением, с другой. Значит, у меня есть все основания быть благодарным Вам. Благодаря именно Вашей акцентологической концепции мне удалось завершить вторую часть своей книги.

Ясно, что предшествующие положения затрагивают только небольшую часть Вашей многолетней языковедческой деятельности, которая нашла свое отражение примерно в 400 опубликованных книгах и статьях. Но, как было сказано в начале сего благодарственного письма: «Буду говорить как можно конкретнее». Мне еще раз хочется подчеркнуть глубину и многогранность Вашей концепции, которая дала мне импульсы для развития направления моих мыслей и помогла в решении важных для меня задач. Прошу Вас благосклонно принять мое слово благодарности.

Желаю Вам, дорогая Татьяна Михайловна, дальнейших успехов в Вашей большой плодотворной области исследования, для развития которой Вы уже сделали так много.

*Ваш благодарный Вернер Лефельдт*

*P. S. Все цитаты взяты из Вашей замечательной книги «От звука к тексту»  
(Москва, 2000)*



II.

## ТЕОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ





*Marja Leinonen (Tampere)*

## LINGUISTIC CROSSROADS

**W**ith the present-day increasing globalization, borders between language communities are weakening and contacts between languages increasing.

This is not a new phenomenon, since in border areas bilingualism to some degree has apparently been the rule rather than an exception — except in areas where permanent hostilities prevented attempts at communication. In linguistics, however, attention has basically concentrated on the linguistic system «où tout se tient», or, in dialect studies, on phonology, morphology and lexicography. Variation in the grammatical systems has become the object of study — within one language — with the rise of sociolinguistics not so long ago. Study of variation involving two different languages is a phenomenon of even more recent origin, and for a long time was concerned with interference of one language having a negative effect on the learning of another, the main object of study.

Starting with Hugo Schuchart, variation brought about by language mixing has concentrated on pidgin and creole languages, thus to certain historically determined areas of the world where colonialism met with native cultures that were totally different and hardly resistant towards pressures from stronger actors, or where there was no indigenous native language that could hold its own. True, mixed languages also rose at border areas between speech communities with stable native languages.

In this paper, two phenomena are presented that concern linguistic contacts involving Russian. They are possibly of interest in the field of creolization studies, research on bilingualism and historical linguistics. Both are cases of contact zones between two monolingual «hinterlands», or «continents» that have retained their native languages as the main means of communication. The center of interest here is the possible motivation behind the mixing.

The first concerns a superficial contact exemplified by Russenorsk — a pidgin language that was spoken on the coasts of Norway and northern Russia in the XIXth century. The famous Norwegian Slavist Olaf Broch collected samples of rudimentary sentences and a lexicon [Broch 1927], on the basis of which this pidgin found its way into research. The «language», of which about 390 words are known, was based mostly on Norwegian and Russian lexemes, with a very simplified morphology and syntax. There was, though,

a morphological innovation, namely marking the verbs with the suffix -om. Ingvild Broch and Ernst Håkon Jahr, who have compiled all the descriptions of Russensorsk, note the variability of the lexicon; words were taken quite haphazardly from different languages — not only Norwegian and Russian, but also Sámi, English and possibly other sources. In 1842, Elias Lönnrot, the collector of folklore and creator of the Finnish national epos *Kalevala* noted down information on a language spoken on the Kola peninsula which was called «*kaksprek*». It was spoken by the «*Filmans*» along the coast extending from Kola to Hammerfest in Norway and further on. Lönnrot remarked on how easy it was to learn the language, so much so that he predicted for it a glorious future, that of a kind of Esperanto along the coastal areas. Even in Raznovolok in Karelia he found a person who claimed to be able to speak it [Lönnrot 1911]. It is not clear whether the *Filmans* were Sámi or Finns residing on the coast; definitely the language was spoken by Norwegian and Russian fishermen and traders, probably by Sámi as well, and it probably had been formed during the previous century [Broch & Jahr 1984, see also Belikov & Krysin 2001]. All this is well known, however, it is worth pointing out that the crucial words for the speech participants are ‘moja’ and ‘tvoja’ — the very same items that occur in the pidgins spoken in the Russian Far East. It is worth considering the suggestion made by researchers that Russians themselves, trying to make themselves understood, presented these words to foreigners, i.e., we are dealing here with «foreign talk» as it was imagined by the Russians.

The second phenomenon is connected to the preceding one areally, being situated in the Russian north. There, in the former Arkhangel oblast and its surroundings, the Russian merchants, hunters, and settlers met the Komi Zyryans, with whom trading contacts began very early. More permanent contacts arose when Christianity was introduced at the end of the XIVth century by St. Stephen of Perm. At the time, the centre of the Komi people lay in Pyras, nowadays Kotlas, which is where St. Stephen began his missionary work, winning with time large areas of the Komi for Moscow.

As the Russian settlers moved further east from the river Dvina, the Komi either retreated or became linguistically assimilated. Both phenomena were accompanied by language contacts for hundreds of years. In these, the male population, being extremely mobile and in the XIXth century serving in the Russian army, played the leading part. Thus, Russian lexical items, even syntactic patterns, were introduced to the Komi language, in different degrees in different dialects, depending on the proximity to the Russian villages. In dialects bordering with Russian settlements, even the phonemic inventory of a Komi dialect could change, with Russian phonemes introduced into the Komi system [Sidorov 1992 [1951]]. Among the borrowed lexical items, nouns prevail, which is the rule in language contacts [Ajbabina 1990]. What is more interesting, and concerns all the Finno-Ugric languages spoken in Russia, is the abundance of particles, modal adverbs and conjunctions borrowed from Russian. A few detailed studies on the topic have been written by Finno-Ugrists, namely by K. Å. Majtinskaja [1982] and Paul Alvre [1983]. Elsewhere in the world, similar tendencies have been found in, e.g., Latin America, where Spanish became the dominating language of higher culture and commerce among the native American peoples [Hill & Hill 1986]. The general opinion among linguists has,

however, treated conjunctions as elements belonging to the very core of the grammatical system, thus not amenable to transfer.

In Finno-Ugric languages, according to Majtinskaja, borrowing was caused by the absence of conjunctions, the role of which was played by particles. Another basis for this «hole in the system» was the predominance of syntactic asyndeton. In the Americas, according to M. Mithun [1988], who has studied the borrowing of coordinate conjunctions into Amerindian languages, conjunctions were «needed», as being more explicit. Noun phrases linked by intonation alone leave the nature of the link too vague, since it can be meant to express sets, alternatives or an apposition. Further, intonationally linked predicates or clauses may have a relationship of sequence, consequence, simultaneous events or states, contrast, purpose, elaboration. Juxtaposed clauses may correspond to subordinate adverbial clauses in another language [Mithun 1988: 355—356]. Naturally, the lexical content and the preceding discourse can clarify the relationship, but especially in written discourse, which is not situated in time and place, the role of conjunctions is heightened. It is natural, then, that translations from a language having a rich array of conjunctions often reflect the original in the form of direct loans and calques both in word-formation and in syntax.

If the lists given by Majtinskaja and Alvre are combined, we find that Komi has borrowed 49 conjunctions, or connectives, from Russian — as many as Karelian, the dialects included. In certain Komi dialects, there are even combinations of Russian and Komi conjunctions, hybrids. Thus, we find in both dialectological material and in the grammars of the XIXth century ‘if’ as *jesl’ikö*, *ježel’ikö* (*kö* Komi for ‘if’), *ježeli budi*, ‘in order to’: *medby* (*med*, *medym* ‘in order to’ + *by*), ‘as if’: *bytt’ökö* (‘*budto*’ + ‘*kö*’) *kydz’ bytt’ö* (Komi for ‘like’, ‘how’ + *budto*), the explicative ‘that’: *što myj*, *myj što*, *myjyštö*, *yštökö* (also meaning ‘*kak budto by*’) (for a survey of the borrowed conjunctions, see [Leinonen 2002]). According to the totally suffixing linguistic model of Komi, the «light» postpositive elements are added to the Russian conjunctions. In the case of ‘*medby*’ the Russian element as the lighter one comes last, perhaps according to the model of the Komi synonym ‘*medym*’. ‘*Kydz’ bytt’ö*’, however, defies such an attempt at systematization, as do the synonymous ‘*myj što*’ and ‘*što myj*’. In the modern literary language, the bare Komi variants, i.e. *kö*, *med/medym*, *myj*, are the norm. In the 1940s, however, amalgamation of Russian and the native languages was officially favoured, and «hybrids» (*skreščenie*) were even recommended by a leading Komi linguist [Sidorov 1992 [1950]].

In other parts of the world, hybrids are found in unstable bilingual situations in spontaneous speech (Magdolna Kovács on Hungarian-English code-switching, personal communication). If, however, we find them in Komi dialects during the past nearly two hundred years, that is, as far back as linguistic fieldwork and grammar-writing goes, we probably have to assume that they are part of a system with variation, a typical borderland phenomenon. The dialects in question were studied by Komi dialectologists who, true to the tradition, noted down the speech of the older generation, which had preferably lived in the village all their life. We can hardly assume that the speakers were bilingual with a shaky competence in Komi. We do note that the further south or north we go,

towards the dialects with longer contacts with Russian dialects, the more often «pure» Russian conjunctions replace the Komi equivalents and the hybrids. As to the XIXth century grammars, in the absence of a codified language, they were based on different dialects, and although the informants originally may have been able to speak Russian, the forms as such must have existed firmly in their dialects. Note that in Karelian and Vepsian, according to Alvre, multi-part conjunctions with indigenous and Russian elements are found as well [Alvre 1983: 46]. The obvious conclusion is that dialects allow more variation than codified grammar; they are both archaic at the periphery, and fashionably extroverted at the crossroads.

Studies of code-switching present hypotheses for the motivation of switching from one language to another in the communication process. Could the hybrids be seen as instances of «ossified» code-switches? In a study of German-Russian code-switching and lexical transfer, Renate Blankenhorn suggests, among other things, the motivation of «quasi-translation» of discourse words. In her material, a German dialect spoken in Siberia, the Russian element comes first followed by the German translation. As a motivation, the author suggests emphasis, or increased redundancy. An example: ‘ich habe zwei sutke gelege ohne besinnung, bez soznanija’. In all the examples of «quasi-translation», the items or sequences translated are content words, not discourse words [Blankenhorn 2002: 167—171]. As is pointed out in a footnote [p. 170], according to W. Labov, repetition is a strategy of «evaluation», which can easily be found in natural conversation.

While the hybrid Komi-Russian conjunctions may indeed be a result of the need for emphasis, we might add as a favouring factor the predilection of the language to use dvandva, e.g. *nyr-vom* ‘face’ (‘nose + mouth’), an old Finno-Ugric word-formation technique. So-called tautological compounds include Russian elements as well: ‘čužömröža’ means ‘face’ and consists of the Komi word for ‘face’ and the Russian colloquial ‘face’ [KRS 1961: 752; KRK 2000: 715]. In a study dedicated to dvandva, I. Bátori pointed out that Russian words are often used to form tautological composita, resulting in «coordinated hybrid composita» [Bátori 1969: 30]. As if to stress the function of the tautological compound to cross language boundaries, the word for ‘hello’ is in the older Komi-Russian dictionary ‘čolöm-zdorovo’ [KRS 1961: 747], in the new dictionary ‘čolöm-vidza’ (< short for the Komi greeting ‘vidza olan’) [KRK 2000: 709]. M. Fedina, having studied the dvandva and tautological composita, comes to the conclusion that «translation compounds» have a natural and simple communicative function in border zones of linguistic areas [M. Fedina, manuscript].

Another part of the Komi lexicon is also richly complemented by Russian items, namely particles and modal adverbs. Here we find *al'i*, *dažö*, *samöj*, *l'ibö*, *tožö*, *tol'kö*, *vs'o-taki*, *öpet'*, *ješčö*, *proč* (‘quite’), *pröt'iv*, *pröstö*, *prösta*, *n'euzel'i*, *na!*, *n'ebos'*, *kön'ešnö*, *ved*, *öd*, *žö*, *d'ert*, *vot* (i), *pöšt'i*, *köt'(-a)*, *ödvakö*, *bytt'ö(kö)*, *inö(s')*, *bud'i*, *bud'iči*, *byt'*, *daröm*, *zagreki*, *n'epoštö*, *n'etöštö*, *dak*, *daj*, *i*, *da*, *n'e*, *n'i*, *by*, *davaj*, *navernö* [Önija komi kyy morfologija 2000: 502—519]. To apply the classification suggested in Blankenhorn, the items include opening particles (a, vot), adversatives (a), coordinatives (da, i), disjunctives (*l'ibö*, *al'i*), reactive relatives (*kön'ešnö*), modal

words and focusing particles (*tol'kō, kōt'*, *prōstō, dažō, ješčō*), epistemic modal words (*navernō, žō, ved, öd, n'ebos'*), and gradation particles (*pōš't'i*). Without continuing the classification, one can note that the items can be included in the customary definition of particles as being of «non-relevance to the prepositional content of the utterance» [Blankenhorn 2003: 148—152]. These words were borrowed long ago, as is shown by the phonological form, and are firmly rooted in the language by now. Apparently they were felt to be pragmatically useful in the communication occurring between actively or passively bilingual populations, and were passed on to the monolingual hinterland. As a parallel, we note in Finland the increasing use of English pragmatic particles ‘yes’ and ‘anyway’ in purely Finnish conversations; a usage that may have arisen in the speech of schoolchildren and is strengthened by the constant presence of English on the urban Finnish scene.

While similar studies in other languages concentrate on various forms of creolized and diaspora languages, we shall probably have to admit that different languages favour certain types of word-formation and are to different degrees permeable to influence from a foreign language. It also remains to be stressed that «foreign» may in certain circumstances mean simply «different»; today «languages» emerge from dialects by a political fiat; in older days the existence of «languages» was not necessarily even a generally recognized fact. What existed were speech forms, idioms — and grammars.

To exemplify both claims, we can appeal to the case of Russenorsk: it was also called «moja-po-tvoja»; that is, «I speak in your idiom». As is well known, languages and peoples mostly receive their names from outsiders. The second example comes from a recent textbook on sociolinguistics. One of the authors presents an excerpt from a story written by a Komi fisherman. In the text, the lexemes are Russian, but the grammar is Komi: «Sn'imitim kol'tsosö i uznajtim, što čirokys z'imujtöma Frantsijayn» («We took off the ring and found out that the teal had wintered in France») [Belikov & Krysin 2001: 57]. Here the language as a sign of belonging to a group includes as its counterpart signs of adaptation to communication outside the group, almost a relexification.

Similar adaptation of language systems is shown on the linguistic map by not only the spread of loanwords, but also the similarities in the grammatical systems of neighbouring languages, especially syntax. As has been shown in recent research in areal typological linguistics [The Circum-Baltic languages], the discussion on and definitions of Sprachbund may not be very fruitful. Instead, it is in border dialects and minor languages of the Circum-Baltic area that language contact has been most intensive, and those are the speech forms where the most exciting structural changes are found [The Circum-Baltic languages 2001: 728]. It appears that the same can be said for the Russian North, which has so far remained outside the focus of language contact research. Like the Circum-Baltic area, it shows a relatively low structural diversity, a moderate genetic diversity (Uralic, Slavic), and a continuity of contacts over a long period of time. Thus the Russian North has a high degree of areal continuity and a high time depth and is well worth studying from both a historical and a «contactological» point of view.

## REFERENCES

- Ajbabina, E. A. (1990): Nekotorye osobennosti funkcionirovaniya russkih leksičeskikh zaimstvovanij v komi jazyke v uslovijah massovogo komi-russkogo bilingvizma. Komi kyy önija olömyn, Syktyvkar, 65—69.
- Alvre, Paul (1983): Vene laenudest urali keelte konjunktsoonides. Symposium saeculare Societatis feno-ugricae. Mémoires de la Société Finno-ougrienne 185, 25—50.
- Báton, István (1969): Wortzusammensetzung und Stammformverbindung im Syrjänischen mit Berücksichtigung des Wotjakischen. Ural-altaische Bibliothek 17, Wiesbaden.
- Belikov, V. I., Krysin, L. P. (2001): Sociolinguistica. Moskva.
- Blankenhorn, Renate (2002): Pragmatische Spezifika der Kommunikation von Russlanddeutschen in Sibirien. Entlehnung von Diskursmarkern und Modifikatoren sowie Code-switching. Berliner Slawistische Arbeiten, Band 20, hrsg. Wolfgang Gladrow, Barbara Kunzmann-Müller, Heinrich Olschowsky und Georg Witte. Peter Lang, Frankfurt am Main etc.
- Broch, Ingvild, Jahr, Ernst Håkon (1984): Russenorsk — et pidginspråk i Norge. Tromsø studier i språkvitenskap III. Novus, Oslo.
- Broch, Olaf (1927): Ryssenorsk. Maal og mime 3, 81—130.
- Circum-Baltic Languages (2001), ed. Östen Dahl and Maria Koptjevskaia-Tamm. Studies in Language Companion Series, 55. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia.
- Fedina, M. (Manuscript): Parnye slova perevodnogo tipa v komi jazyke.
- Hill, Jane H., Hill, Kenneth C. (1986): Speaking Mexicano. Dynamics of Syncretic Language in Central Mexico. Tucson.
- KRK 2000 = Komi-roč cukör, otv. red. L. M. Beznosikova. Syktyvkar.
- KRS (1961) = Komi-russkij slovar', pod red. V. I. Lytkina. Moskva.
- Leinonen, Marja (2002): Influence of Russian on the syntax of Komi. Finnisch-ugrische Forschungen 57, 195—358.
- Lönnrot, Elias (1911): Bref om en resa ifrån Kola till Kemi (1842). Elias Lönnrots svenska skrifter, utgivna av Jenny af Forsselles II. Bref, anteckningar och reseskildringar. Helsingfors, 324—325.
- Majtinskaja, K. E. (1982): Služebnye slova v finno-ugorskikh jazykah. Moskva.
- Mithun, Marianne (1988): The grammaticalization of coordination. Clause combining in grammar and discourse, ed. John Haiman & Sandra A. Thompson. Typological Studies in Language 18. Amsterdam/Philadelphia, 331—360.
- Sidorov, A. S. (1992 [1950]): Voprosy orfografii komi jazyka. Izbrannye stat'i po komi jazyku, red. G. V. Fedjuneva. Syktyvkar, 68—79.
- Sidorov, A. S. (1992 [1951]): Vlijanie russkogo jazyka na grammatičeskij stroj komi jazyka. Izbrannye stat'i po komi jazyku, red. G. V. Fedjuneva. Syktyvkar, 102—130.
- Önija komi kyy morfologija (2000). Red. G. V. Fedjunova. Syktyvkar.

*E. S. Кубрякова (Москва)*

## О ТЕРМИНЕ «ДИСКУРС» И СТОЯЩЕЙ ЗА НИМ СТРУКТУРЕ ЗНАНИЯ

**III** широкое распространение термина «дискурс» в современной лингвистике отнюдь не означает, что за ним уже закрепилось содержание, которое можно было бы считать общеупотребительным. В потоке работ, посвященных дискурсивной тематике, мы встречаемся с самыми разными истолкованиями термина, да и история его появления описывается в этих работах по-разному. Используясь к тому же в разных науках, он трактуется неоднозначно и здесь, и трудно сказать, связано ли такое положение дел с тем, что формирование термина еще не завершено, или с тем, что следование моде сопровождается размыvанием его первоначальных содержательных границ. Во всяком случае, значения, приписываемые рассматриваемому термину, на первый взгляд кажутся достаточно пестрыми и даже не укладывающимися в единую систему. Мало что изменилось в этом отношении и с 1978 г., когда Т. М. Николаева указала в своем словаре терминов лингвистики текста, что «дискурс — многозначный термин.., употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных» [Николаева 1978, 467].

Посвящая эту небольшую работу о дискурсе замечательному ученому и прекрасному человеку, я хотела бы вернуться еще раз к рассмотрению тех структур знания, которые объективировались с помощью слова **дискурс** в последние десятилетия и получали свое обозначение с помощью этого слова, и сделать это для того, чтобы понять логику включения в семантическую структуру термина достаточно разных концептов и, по возможности, выделив важнейшие из них, показать существующие между ними отношения и связи.

Если уже к концу 70-х гг. прошлого века термин объединял достаточно разнородные значения, то в дальнейшем содержание термина еще более усложнялось. Чтобы убедиться в этом, можно познакомиться с разъяснениями термина у В. З. Демьянкова [Демьянков 1982], который, по мнению Ю. С. Степанова, дал «лучшее до сих пор определение дискурса» [Степанов 1995, 38], у М. Стаббса, который выделил три главных характеристики дискурса — формальную, содержательную и организационную — и предложил подробное описание каждой из них [Stubbs 1983], или, наконец, уже в 90-х гг. у Ю. С. Степанова, М. Л. Макарова и др.

Приведу в качестве примера лексикографического представления семантической структуры термина в конце 90-х гг. его описание у П. Серио, который выделяет у него восемь значений: 1) эквивалентности понятию «речь» (по Ф. де Соссюру) и любому конкретному высказыванию; 2) единицы, по размерам превосходящей фразу; 3) воздействия высказывания на его получателя с учетом ситуации высказывания; 4) беседы как основного типа высказывания; 5) речи с позиции говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции; 6) употреблению единиц языка при их речевой актуализации; 7) социально или идеологически ограниченного типа высказывания, например, феминистского дискурса; 8) теоретического конструкта, предназначенного для исследований условий производства текста [Серио 1999, 26—27].

Очевидно, однако, что в таком определении, построенном в сущности вокруг понятий о речи и высказывании, никак не указаны те свойства, которые помогли бы отличить дискурс от речи и тем более — отдельного высказывания, или же понять реальную суть того теоретического конструкта, который помог бы изучить условия создания текста и его воздействие.

Представляется, что сегодня понятие дискурса нуждается именно в том, чтобы перечислить его критериальные признаки, чтобы указать на то, что отличает его от тех понятий, несомненную близость с которыми он фактически разделяет, чтобы ясно очертить границы между дискурсивными и недискурсивными явлениями, а главное, чтобы объяснить, почему, действительно, «дискурс — это новая черта в облике языка, каким он предстал перед нами к концу XX века», как то совершенно правильно подчеркнул Ю. С. Степанов [Степанов 1995, 71].

Отталкиваясь от понимания дискурса именно как новой реальности языка и притом *высшей* его реальности, мы и хотим далее показать, потребностям в каком концепте отвечает изучаемый нами термин и по каким причинам в нем сочли возможным и целесообразным представить в *единой системе знаний* нечто принципиально новое. Естественно также, что, поставив эту задачу, мы должны продемонстрировать не только *перечень* значений, образующих содержание термина, но и организующую их *сетку связей*. Хотя объединение значений (концептов) в одной семантической и когнитивной структуре и складывалось отчасти стихийно и заранее не могло бы быть предсказано, все же оно складывалось далеко не случайно. Не была, конечно, случайной и сама история формирования понятия дискурса, хотя находящие в нем сегодня отражение интеграционные познавательные процессы имели разные источники, которые могут быть связаны с разными школами и разными направлениями лингвистики во второй половине XX в.

Оставив следы своих принципов, предпочтений и достижений в содержании термина, они оказались представленными в нем в виде не столько абсолютно новых концептов по сравнению с теми, что уже были заложены этимологически в семантике слова, сколько в виде концептов, подвергшихся вполне понятным модификациям, уточнениям и развитию. Как у каждого термина, его значения были в конечном счете детерминированы значениями слова, к которому этот термин восходит, но одновременно и теми последующими импликациями и процессами

семантического вывода (инференции), которые характеризовали его дальнейшее развитие и сыграли свою значительную роль в формировании термина как **много-значного**, термина, за которым сегодня действительно стоит сложная структура знаний. В основе термина — латинское слово *discursus*, которое означало ‘бегание туда и сюда’, откуда понятие круговорота, а позднее — значения ‘беседа’, ‘разговор’ и уточнение круговорота как круговорота речи. Итак, у истоков термина оказывается концепт **речь**, а поскольку и английское слово *discourse* и французское *discours* повторяют значения речи, беседы, а английский прибавляет к ним также значения лекции, проповеди, вполне мотивированным выступает, на наш взгляд, развитие у термина значения **форм общения**, притом с явным акцентом на формы общения **устного**. Указания же на беседу, разговор (конверсацию) — это предтечи развития не столько значения **обмена мнениями**, сколько **целеполагания**, исходящего от отправителя речи и **воздействия** на его адресата. Нельзя не отметить тоже, что и беседа, и все прочие перечисленные формы общения имплицируют известную нейтральность термина по отношению к инициаторам общения: в их качестве могут выступать как группы людей, так и отдельно взятое лицо (лектор, проповедник), т. е. дискурс может объединять представления и о диалогической и о монологической речи.

Начало современному употреблению термина связывают обычно с именем З. Харриса, см., например, [Кибрик 2003, 12], т. е. с 1952 г. Но здесь лучше обратиться к рецензии на дискурсивные заметки Харриса, принадлежащие М. Бирвишу [Bierwisch 1963]. По его мнению, Харрис, выдвигая две задачи, стоящие перед дискурсивным анализом («продолжить дескриптивную лингвистику, выведя ее за пределы анализа отдельно взятого предложения» и соотнести между собой понятие языка и понятие культуры [Harris 1952]), и демонстрируя методику и практику его осуществления, все же оставил без дефиниции само понятие дискурса [Bierwisch 1963, 142]. Да и сведение текста / дискурса как связной последовательности предложений или высказываний к образующим их последовательностям морфем неудовлетворительно, т. к. не содержит упоминания о **структуре** подобной связности [Там же, 142 и сл.]. Примечательна в статье М. Бирвиша не столько критика взглядов З. Харриса на дискурсивный анализ с позиций трансформационной грамматики, сколько сама практика недифференцированного употребления терминов «дискурс» и «текст» для обозначения последовательностей, больших отдельно взятого предложения / высказывания (что, как мне кажется, должно исключить и в дальнейшем применение термина «дискурс» по отношению к **изолированному высказыванию / предложению**: естественный дискурс не может состоять из одного предложения).

С другой стороны, важно, что Бирвиш настаивает на том, что не всякая последовательность высказываний, а только последовательность, маркированная их связностью (Konnexität), может рассматриваться как дискурс. «Центральная проблема дискурсивного анализа становится очевидной, — утверждает М. Бирвиш, — когда рассматривают его (дискурса) возникновение, т. е. обращаются к синтаксическим структурам, организующим текст» [Bierwisch 1963, 151].

Статья Бирвиша важна для нас и потому, что она приходится на самое начало 60-х гг., свидетельствуя об интересе к дискурсу в лингвистике текста, часто трактовавшейся тогда как наука, создаваемая на стыке лингвистики и литературоведения (см. [Literaturwissenschaft und Linguistik 1963], где рецензия М. Бирвиша публикуется во 2-й главе, озаглавленной «К понятию текста» — Zum Textbegriff). О том, что понятие дискурса уже становится хорошо известным и в ПЛК (Пражский лингвистический кружок), свидетельствует и незаслуженно у нас забытая статья одного из известных представителей ПЛК Карела Хаузенбласа. В знаменитом первом послевоенном выпуске трудов ПЛК 1964 г., вышедшем под названием «Пражская школа сегодня», статья Хаузенбласа («О характеристиках и классификации дискурсов») занимает заметное место. Начиная свою статью с сожаления о том, что в лингвистике до сих пор отсутствует адекватная классификация того языкового **материала**, из которого черпаются сведения о языке, он отмечает, что далеко не все параметры, присущие этому материалу, уже получили свое описание и были учтены в предыдущих исследованиях. Наряду с реальным противопоставлением в этом материале — в этих дискурсах — устной и письменной речи или же функциональных разновидностей речи (описанных более всего в функциональной стилистике, которая в силу чисто pragmatischen потребностей не могла не отразить различий в разных стилях речи), необходимо, однако, разобраться и в других вариантах дискурса [Hausenblas 1964, 67 и сл.]. Его рассмотрение как особого языкового феномена требует, по крайней мере, проведения границ, с одной стороны, между свойствами дискурса и языковой системы, а с другой, ограничения понятия дискурса по сравнению с близкими ему феноменами. Особого внимания заслуживает, наконец, и проблема классификации дискурсов и нахождения тех критерии, которые помогут выделить наиболее релевантные черты в функциях и структуре дискурса. Ведь типы дискурса проявляют богатую дифференциацию (*very richly differentiated*) и тесно связаны с условиями его осуществления. Именно в дискурсе реализуются все средства языка, заложенные потенциально в его системе. «Под дискурсом, — пишет Хаузенблас, — мы имеем в виду набор упорядоченных языковых средств, использованных в отдельно взятом коммуникативном акте, происходящем между определенными участниками при определенных условиях (в данном окружении, как реакция на определенный стимул и с учетом конкретной цели)... Дискурс может рассматриваться и как процесс и как результат (фактически — как результат акта коммуникации)» [Hausenblas 1964, 70—71]. Будучи всегда связан с актом/актами коммуникации, он представляет собой единицу «использования языка в практике межличностного общения» [Там же].

Не могу не отметить, что по сути дела в статье предлагается целостная программа изучения форм и особенностей дискурса в функциональном и структурном планах, а приводимые им ссылки явно говорят о том, что в ПЛК уже складывалась особая концепция дискурса, в которую и тогда были включены представления, составляющие вплоть до настоящего времени ядро содержания термина «дискурс»: это концепты **использования языка в конкретных условиях коммуникации, выборочности употребленных при этом языковых средств, зависимости от целей**

коммуникативного акта. В статье не просто перечислены критериальные признаки дискурса, но и намечено то его видение, что было характерно для раннего функционализма (и в ПЛК, и в отечественном языкоznании).

Дальнейшую историю развития понятия дискурса в 80-е гг. связывают прежде всего с именем М. Фуко и его последователей (см. [Чернявская 2001, 11 и сл.]). Но пафос работ исследователей этой школы в обнаружении того, что за определенной совокупностью текстов (или даже — за отдельным текстом) стоят определенные общественно-исторически сложившиеся системы знаний и что дискурс является своеобразным языковым коррелятом такой системы. Дискурсивный анализ выступает поэтому как средство исторической и идеологической реконструкции «духа времени» (по образному выражению М. Фуко — «археологии знания»).

Аналогичные идеи можно, собственно, обнаружить и в классической работе П. Серио, который стал первым лингвистом, осуществившим в 1985 г. анализ советского политического дискурса в своей книге, подробно разобранный впоследствии Ю. С. Степановым [Степанов 1995, 38 и сл.].

Трудами этих исследователей было заложено особое направление дискурсивного анализа, отличного от того, что характеризовал англосаксонскую школу. Если последняя развивалась как ориентированная на более глубокое обоснование лингвистики текста и исследование текстовых особенностей и текстовых категорий в разного рода *verbal messages* и *records* (языковых сообщениях и их записях), то в работах М. Фуко, П. Серио, а позднее и ряда немецких исследователей акцент делался именно на реконструкцию по данным текста идеологических и прочих систем, стоявших за этими текстами. Подобная установка отразилась в термине «дискурс» как в виде указания на его существование в качестве «социальной данности», так и в методологическом требовании подходить к описанию дискурса как «погруженного в жизнь» и / или строящего по мере его развертывания особый «возможный мир».

О том, как были глубоки традиции такого подхода, свидетельствует характеристика дискурса, даваемая ему спустя три десятилетия в программной статье Ю. С. Степанова: «дискурс, — пишет он, — это первоначально особое использование языка... для выражения особой ментальности...; особое использование влечет активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, особую грамматику и особые правила лексики» [Степанов 1995, 38—39]. Очевидно вместе с тем, что и указание на особую ментальность, отражаемую и выражаемую в дискурсе, и указание на активизацию в дискурсе определенных черт языка, и последующие замечания Ю. С. Степанова о связи дискурса с культурой и созданием «возможных миров», а также на презентацию дискурсом «особой социальной данности», — все это итоги не только традиций, но и появления в теоретической лингвистике новых парадигм знания и выдвижения в них новых понятий, характеризующих бытие и функционирование (использование) языка. Хотелось бы поэтому подчеркнуть, что в содержании термина «дискурс» сегодня отражаются новые веяния в понимании языка, новые повороты в его исследовании и — безусловно — уже накопленный опыт анализа языка в новой системе координат. В этой системе свое подробное

описание получали постепенно и ситуативные (прагматические) факторы речи (ср. [Макаров 1998, 68 и сл.]).

Можно с полным на то основанием утверждать также, что в трактовке указанных координат находили свое отражение не только позитивные установки новых парадигм знания (прежде всего — коммуникативной и когнитивной), но и **критика**, которой с позиций этих парадигм подвергались многие прежние устоявшиеся представления и о языке, и о том, как его надо изучать. См. [Николаева 2000, особ. 422 и сл.].

Иллюстрацией к этому положению может, с одной стороны, служить влияние, которое оказала на формирование дискурсивного направления и понимание дискурса прагматика и разные социопрагматические школы внутри лингвистики коммуникативной (см. [Цурикова 2002, 16 и сл.]). Изучение всех прагмалингвистических характеристик общения, столь типичное для исследования дискурсивной деятельности в настоящее время, отразило стремление многих ученых дать подробное описание естественно протекающего процесса общения людей, отразить зависимость такого процесса от множества ситуативно обусловленных и социальных по своей сути характеристик. По мнению Н. Д. Арутюновой, дискурс — это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими и другими факторами... Дискурс — это речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990, 136—137]. Часто цитируемое, это определение дискурса открывает дорогу самым разным подходам к анализу дискурса, но здесь нам особенно важно подчеркнуть, что приход к такому определению дискурса означает не только вполне определенные конструктивные установки нескольких школ (их описание уже дано в упомянутых выше работах, и мы не будем повторять выводов этих исследований), но типичное для них критическое и скептическое отношение к попыткам исследования языка в его изоляции от жизни общества и вне зависимости от его реального функционирования для решения разных целей и задач. Отсюда **отказ** от следования принципам генеративной грамматики, от жесткого противопоставления компетенции и абстрактных знаний языка его реальному использованию. Признание принципа *competence to perform* как результат преодоления догм генеративизма было одновременно признанием необходимости анализа языка в широком диапазоне его реального существования — *language in action, language in function*. В каком-то смысле, однако, такие призывы стали звучать лишь после того, как вслед за периодом увлечения генеративизмом пришел этап его критического осмыслиения, этап понимания его ограниченности и неприятия виденья в нем задач теоретической лингвистики.

Вместе с тем и от генеративной грамматики было унаследовано нечто весьма существенное: интерес к созданию динамических моделей языка и к порождению речи, понимаемому уже не в метафорическом, а вполне в реальном смысле. Отсюда не только попытки предложить разные модели речепроизводства или дать подробное описание последовательным этапам речепорождающего процесса и механизмам порождения речи (что нашло свой отклик и в начинающей свое развитие с середины 60-х гг. XX в. когнитивной науке) и не только постепенное осознание

того факта, что у истоков порождения речи стоят прагматические операторы и сама языковая личность говорящего, что тоже, конечно, очень важно. Не менее существенным нам представляется то обстоятельство, что непременной чертой динамических моделей языка оказалась необходимость описать **развертывание** речи: Понадобился термин, который отражал бы это новое понимание порождения речи — его зависимости не только от внутренних способностей говорящего и даже его индивидуальных интенций и целей, но и от разнообразных ситуаций речи с ее участниками и их реакциями на те или иные особенности общения и т. п.

Даже если оставить в стороне теорию речевых актов и начинающиеся в 70-х гг. исследования, касающиеся принципов речевого общения и т. п. (см. подробнее [Макаров 1998; Кубрякова 2000; Цурикова 2002; Карасик 2002 и др.]), а также исследования речевой деятельности в психолингвистике, можно сказать, что последние десятилетия прошлого века были ознаменованы поворотом к событийной стороне речевого общения, процессуальным аспектам актов коммуникации и т. п.

«Всякий акт употребления языка — будь то произведение высокой ценности или мимолетная реплика в диалоге — представляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта. В этом своем качестве, — пишет Б. М. Гаспаров, — он вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечениe обстоятельств, при которых и для которых он был создан» [Гаспаров 1996, 10]. Внимание к использованию языка, к употреблению его в разных целях и для решения самых разнообразных задач рождает в итоге еще одно важнейшее для понимания дискурса представление о развертывающемся во времени свободном потоке непрекращающейся коммуникативной активности человека. Конституирующей характеристикой дискурса становится приходящее из когнитивной лингвистики (*via* генеративную лингвистику) понятие **порождения речи on-line** — ее развертки в реальном времени (см. [Кубрякова 2000, 22]). Мы уже отметили в этой работе, что отсылка к реальному времени осуществления того или иного коммуникативного акта должна пониматься либо буквально — при анализе устной речи и возможности непосредственного наблюдения за ее протеканием, либо как указание на возможность рассмотрения любого речевого произведения и текста как бы по ходу его создания, т. е. при известной реконструкции **пошагового порядка**.

Концепт *on-line* предполагает, что дискурсивная деятельность может быть изучена по мере ее поступления (порождения) и что именно такое ее рассмотрение позволяет выявить и описать новые черты в речевой деятельности и, соответственно, обогатить наши представления не только о человеческой речи, но и о роли языка в жизнедеятельности человека.

Исследование дискурса все более приобретает, таким образом, вид описания языка в многомерном пространстве с подвижной сеткой координат, включающей параметр времени (ср. также [Дымарский 2001, 40]).

Эта тенденция отчетливо ощутима и в когнитивной лингвистике, где разрабатывались разные теории информационных потоков (см. [Кибрик 2003, 26 и сл.] и где уже нашли свой подробный анализ разнообразные связи языковых структур с когнитивными и, как мы уже указывали ранее, противопоставление явлений

on-line и off-line. Четкое обоснование фундаментального отличия этих явлений друг от друга заключается в том, что «одни из них ответственны за использование языка в реальном времени», другие же «связаны с языком как средством хранения и упорядочения информации» [Киблик 2003, 24 и сл.]. В первом случае наблюдается связь порождаемых в речи структур с оперативной памятью человека, с распределением и фокусировкой внимания, с состоянием человека в момент речи и текущим сознанием; во втором — языковые формы выступают как связанные с репрезентацией в сознании разных форматов знания, с организацией внутреннего (ментального) лексикона, с фиксацией в последнем результатов концептуализации и категоризации мира и сложившейся в мозгу человека языковой картиной мира.

Иногда утверждают, что в когнитивной лингвистике исследованию дискурса уделялось меньшее внимание по сравнению с другой разрабатываемой в ней тематикой. Вместе с тем нельзя не признать, что именно под ее влиянием рождалось убеждение в том, что «по самой своей сути дискурс — явление когнитивное, т. е. имеющее дело с передачей знаний; с оперированием знаниями особого рода и, главное, с **созданием новых знаний**» [Кубрякова 2000, 23]. Как бы ни определять дискурс — через речь, речевую деятельность или же использование языка и т. п. — очевидно, что все такие дефиниции все же должны быть дополнены и уточнены за счет введения в них сведений, которые, с одной стороны, свидетельствуют о лингвокультурологическом и социальном контексте подобного употребления, но которые, с другой стороны, связаны и с личностными свойствами участников дискурсивной деятельности, и в первую очередь его инициатора (его знаниями, верованиями, устремлениями, системой ценностей и конкретными его намерениями в акте коммуникации) и адресата, и которые, наконец, характеризуют изучаемый акт использования языка и его результаты в режиме текущего времени (on-line) и, конечно, в определенных временных интервалах (от и до). Можно определить дискурс и через понятие отдельного коммуникативного акта, который, протекая в определенных лингвокультурологических и социальных условиях и между определенными участниками, описывается во всем разнообразии этих условий и в реальной зависимости от них. Из такого определения логически следует, что типы дискурса могут характеризоваться и по разным каналам передачи информации, и по типам социальной активности его участников, и как реализации особых намерений этих участников, т. е. целеполагания и т. п. Явная адресатность дискурса (даже при условии его обращенности к идеальному адресату, о котором говорил П. Серио [Seriot 1985]) делает возможным связывать дискурсивную деятельность с ее **воздействием** (демонстрируя, например, при описании политического дискурса манипулирование сознанием человека и т. д.); мы полагаем, однако, что в дефиниции дискурса эта его сторона имплицируется указанием на присутствие в нем концепта целеполагания. По всей видимости, под дискурсом могут иметься в виду (метонимически) и некоторые конвенциально устоявшиеся формы общения (разговор, беседа, обмены репликами в диалоге и т. д.), а также их **результаты в виде текстов**.

Упоминание последних требует в завершение статьи особого пояснения, касающегося реального соотношения дискурса и текста. Поскольку многие ученые уже отдали дань освещению этой проблемы (она обсуждалась практически во всех перечисленных нами работах, ср. также [Чернявская 2001, 15; Шейгал 2000, 8 и сл.; Дымарский 2001; ван Дейк 1989 и др.]), отметим здесь, что мы уже давно высказали об этом свое мнение, подчеркнув, что «под дискурсом следует иметь в виду именно когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом процесса речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную (и зафиксированную) форму» [Кубрякова, Александрова 1997, 16].

Вдобавок к сказанному хотелось бы заметить, что мы не готовы согласиться с тем, что «дискурс, в отличие от текста, не способен накапливать информацию» и что дискурс — это «лишь способ передачи информации, но не средство ее накопления и умножения» [Дымарский 2001, 44], хотя резоны такого противопоставления нам ясны. Во-первых, чем дольше длится дискурсивная деятельность (например, дебаты в парламенте), тем больший объем информации должен накапливаться у слушающих (да и в любом типе дискурса информация постепенно накапливается). Во-вторых, все результаты дискурсивной деятельности, в которой мы так или иначе принимали участие, служили, разумеется, тоже «накоплению и умножению» информации. Просто зафиксированные в виде текстов результаты дискурса дают, несомненно, большую возможность познакомиться с той же информацией заново, возвращаясь к нужным местам текста и т. п. Но мысленно мы можем «прокручивать» в голове и запомнившиеся нам отрезки речи. Вопрос о предназначении дискурса в отличие от предназначения текста — это тем не менее достойный обсуждения вопрос, и сама деятельность с информацией приобретает в них, действительно, разную форму.

Нельзя забывать и о том, что понятие дискурса складывалось и в лингвистике текста и что область дискурсивного анализа, первоначально совпадавшая с областью анализа готовых текстов, постепенно обособлялась в нечто самостоятельное. Но последнее стало возможным лишь с развитием у термина дискурс нового и весьма специфичного значения (см., например, уже упоминавшуюся работу А. А. Кибрика; см. также [Finch 2000, 219 и сл.]).

Завершая эту статью, хотелось бы подчеркнуть, что мы отнюдь не ставим своей целью предложить окончательную формулировку проанализированного нами термина, хотя, конечно, и не приветствуем такого положения дел, когда этим термином называют любые отрезки связной речи от высказывания до самых протяженных единиц или же когда любой функциональной стиль речи именуют дискурсом. Но что, действительно, в лингвистике начала XXI в. выявились необходимость обозначить новую реальность языка — реальность очень сложную и очень богатую по своему содержанию — нам кажется несомненным. За термином «дискурс» сегодня стоит такая разветвленная структура знания, непременными компонентами которой уже являются знания о речи и речевой деятельности, о том, что ее источником могут являться и одно лицо, и два, и еще гораздо большее количество участников,

что она может и должна рассматриваться во всех социо-, культурно- и личностно-обусловленных прагматических условиях ее порождения, по ходу ее протекания, проявляя зависимость от указанных факторов, а также, что по мере осуществления речи строится за счет определенным образом выбираемых языковых средств новая данность, выражающая интенции ее отправителя и оказывающая воздействие на других участников коммуникативного акта, а также отражающая и порождающая особый мир (ментальное образование), могущий быть репрезентированным в виде текста.

Конечно, понятие дискурса еще будет уточняться и совершенствоваться. Но и сегодня ясно, что познание новой реальности языка, обозначенной рассмотренным нами термином, как и познание намеченных в содержании термина отдельных его аспектов, обещает раскрыть нам немало интересных черт в поведении языка и его использовании, а значит, расширить наши представления о его природе и роли для человека.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Арутюнова 1990 — *Н. Д. Арутюнова. Дискурс // Лингвистическая энциклопедия*. М., 1990. С. 136—137.
- Гуреев 2002 — *В. А. Гуреев. Британская грамматическая традиция // Изв. РАН. СЛЯ. Т. 61. № 3. 2002. С. 37—48.*
- Демьянков 1982 — *В. З. Демьянков. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Вып. 2 // Всесоюзный центр переводов: Тетради новых терминов*, 39. М., 1982.
- ван Дейк 1989 — *Т. А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация*. М., 1989.
- Дымарский 2001 — *М. Я. Дымарский. Проблемы текстообразования и художественный текст: На материале русской прозы XIX—XX вв.* М., 2001.
- Карасик 2002 — *В. И. Карасик. Языковой круг: личность, концепт, дискурс*. Волгоград, 2002.
- Кибрик 2003 — *А. А. Кибрик. Анализ дискурса в когнитивной перспективе*. Дис. ... докт. филол. наук. М., 2003.
- Кубрякова 2000 — *Е. С. Кубрякова. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике (Обзор) // Дискурс, речь, речевая деятельность: Функциональные и структурные аспекты*. М., 2000.
- Кубрякова, Александрова 1997 — *Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова. Виды пространств текста и дискурса // Категоризация мира: пространство и время*. М., 1997.
- Кубрякова, Александрова 1999 — *Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова. О контурах новой парадигмы знания в лингвистике // Структура и семантика художественного текста: Доклады VII Международной конференции*. М., 1999. С. 186—197.
- Николаева 1978 — *Т. М. Николаева. Краткий словарь терминов лингвистики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII*. М., 1978.
- Николаева 2000 — *Т. М. Николаева. От звука к тексту*. М., 2000.
- Макаров 1998 — *М. Л. Макаров. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе*. Тверь, 1998.
- Серио 1999 — *П. Серио. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса*. М., 1999. С. 14—53.
- Степанов 1995 — *Ю. С. Степанов. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип причинности // Язык и наука конца 20 века*. М., 1995. С. 35—73.

- Чернявская 2001 — В. Е. Чернявская. Дискурс как объект лингвистических исследований // Текст и дискурс: Проблемы экономического дискурса. СПб., 2001. С. 11—22.
- Цурикова 2002 — Л. В. Цурикова. Проблема естественности дискурса в межкультурной коммуникации. Воронеж, 2002.
- Шейгал 2000 — Е. И. Шейгал. Семиотика политического дискурса. Волгоград, 2000.
- Bierwisch 1963 — M. Bierwisch. Rezension: Z. S. Harris. Discourse Analysis Reprints // Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven. Den Haag: Mouton, 1963. P. 141—154.
- Finch 2000 — Geoffrey Finch. Linguistic Terms and Concepts. London, 2000.
- Harris 1952 — Z. S. Harris. Discourse analysis // Language. Vol. 28. 1952. № 1. P. 1—30.
- Hausenblas 1964 — K. Hausenblas. On the Characterization and Classification of Discourses // Travaux linguistique de Prague, I. L'école de Prague d'aujourd'hui. Prague, 1964. P. 67—84.
- Stubbs 1983 — M. Stubbs. Discourse analysis: The sociolinguistic analysis of natural language. Oxford, 1983.

B. Z. Демьянков (Москва)

## ТЕКСТ И ДИСКУРС КАК ТЕРМИНЫ И КАК СЛОВА ОБЫДЕННОГО ЯЗЫКА

Как все мы хорошо помним, в 1978 г. вышел восьмой выпуск книги «Новое в зарубежной лингвистике», посвященный лингвистике текста. Составила его, написала вступительную статью и отредактировала Т. М. Николаева. Эта книга стала настоящим событием в нашей науке о языке. В ней были подведены итоги исследований и намечены перспективы лингвистики текста.

В этой книге английский термин *discourse* обычно переводился как *связный текст, речевое произведение* и т. п., но не *дискурс*.

С течением времени слово *дискурс* в российской лингвистике стало употребляться все чаще и чаще. Иногда стали говорить, что от лингвистики текста постепенно перешли к исследованию дискурса. Но, как видно из этой же книги, дискурсом (в нынешнем понимании этого слова) занимались и в те далекие годы, и раньше, и позже.

На первый взгляд, речь идет о разных терминологических традициях: в континентальной науке, а вслед за нею — по-русски — более привычно говорить о тексте, а англосаксам и французам привычнее речь о дискурсе. Поскольку в русском уже укоренилось слово *текст*, то слово *дискурс*, как иногда считают, — излишество.

Однако это ходячее представление не вполне справедливо. Опираясь на материалы большого многоязычного корпуса оригинальных (не переводных) литературных и научных текстов, покажем, что за двумя этими терминами исходно лежали (в том числе и в русском узусе) различные понятия. Терминологический сдвиг связан с продолжением многовековой «деспециализации» лексем класса *текст* и с нарастающей специализацией лексем класса *дискурс* в русском и западноевропейских языках. А книга Т. М. Николаевой вышла как раз в переломный момент нашей науки, вызвав повышенный интерес и к самому предмету, и к выявлению все более тонких дистинкций в лингвистической терминологии.

## 1. Родной романский ареал

В романских языках внутренняя форма обоих терминов более или менее прозрачна. Поэтому метафоричность осознается гораздо больше, чем за пределами этого ареала.

### 1. 1. Латинские *textus* vs. *discursus*

В классической латыни связь *textus* с тканью и вообще с «внечечевыми» реалиями бросается в глаза. Например: *Habebat indutui ad corpus tunicam interulam tenuissimo textu, triplici licio, purpura duplice: ipse eam sibi solus domi texuerat* (*Apulei. Florida*). *Textus* как производное от *texo* ‘ткать, плести, строить, сплетать’ только в переносном значении означал иногда ‘слог, стиль, связь, связное изложение’. Основная же масса значений связана с ткачеством. В «Вульгате» не встречаем употребления этой основы со значением «текст». Производные *praetextus* — от глагола *praetexo* ‘приткать спереди, окаймлять’ и т. п. (соответственно, *praetextatus* — носящий такую одежду, а по переносу, в частности, отроки свободных сословий<sup>1</sup>) и *praetextum* ‘украшение, блеск’ и — по переносу — ‘предлог, иногда надуманный’.

*Discursus* — производное от *discurro* ‘бегать в разные стороны, растекаться, распадаться, распространяться’, лишь в переносном смысле имел значение ‘рассказывать, излагать’ (*super aliquid pauca discurrere*, — *Ammianus Marcellinus*), ср. русский образ со значением пространной речи *по древу растекаться* (течи — в др.-рус. «бежать»). *Discursus* в словарях фиксируется с главным значением «бегание, беготня туда и сюда, бестолковая беготня». Например: *quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, gaudia, discursus, nostri farrago libelli est* (*D. Iuni Juvenalis. Satura*e). И лишь в переносном значении, зафиксированном довольно поздно, в «Codex Theodosianus» (438 г. н. э.), — «беседа, разговор». Из-за этого очень трудно установить, имел ли автор в виду беготню или разговор: нигде не удается однозначно констатировать только значение «беседа». С несомненностью можно установить только сему «беспорядочность, суетливость», вносимую префиксом *dis*. Например: *Discursare vero et, quod Domitius Afer de sura Manlio dixit, «satagere» ineptissimum: urbaneque Flavus Verginius interrogavit de quodam suo antisophiste quot milia passum declamasset* (*Marcus Fabius Quintilianus. Institutio oratoria*).

Для носителей поздней латыни словосочетания типа *discursus stellarum* имеют, таким образом, два прочтения: «движение звезд» и «разговоры звезд между собой», например, в предложении *Fieri videntur et discursus stellarum nuntiat temere, ut non ex ea parte truces venti cooriantur* (*C. Plinii. Naturalis Historiae*). В этом предложении сам автор, разумеется, имел в виду беспорядочное движение звезд. Образ «и звезда с звездою говорит» (М. Ю. Лермонтов) вполне мог быть отзывом этого переистолкования.

Некоторая ясность появляется в средневековой латыни. Так, у Фомы Аквинского (1225 или 1226—1274 гг.; он очень часто употреблял основу *discurs-* и, как кажется, никогда основу *text-* со значением «текст», хотя встречаем у него *contextus* ‘контекст’<sup>2</sup>), несомненно, имеется в виду разговор-размышление в следующем

пассаже: *Set dicebat quod intelligere anime est cum discursu, intelligere vero angeli est sine discursu: et sic non est eadem operatio secundum speciem anime et angeli* (*Thomae Aquinatis. Quaestiones disputatae: De anima*); *Ergo intelligere cum discursu et sine discursu non diversificant speciem* (Там же).

Итак: *discursus* как философское понятие — членочная процедура от известного к неизвестному и обратно<sup>3</sup>.

У других широко известных ученых Средневековья и Возрождения, писавших на латыни — таких разных, как Св. Августин (354—430), Бозий (ок. 480—524), Абеляр (1079—1142), Оккам (ок. 1285—1349), Николай Кузанский (1401—1464), Галилей (1564—1642), Декарт (1596—1650), Спиноза (1632—1677) и Вико (1668—1744), — слова *discursus* неходим.

У Аквината же находим прилагательное *discursivus*, ставшее столь популярным в немецкой классической философии (особенно начиная с И. Канта): *utrum scientia Dei sit discursiva* (*Thomae Aquinatis. Summa Theologica, Prima Pars*). Причем дискурсивной может быть или не быть *cognitio*, но всегда дискурсивны *scientia divina* и *cognitio angelorum*. Отношение очень прозрачно: *Deinde, quia discursus talis est procedentis de noto ad ignotum* (Там же). В более поздней философской латыни, например у Ф. Бэкона (1561—1626) в «Новом Органоне», дискурсивным становится *ingenia* (врожденные способности, талант)<sup>4</sup>.

## 1.2. Итальянские *testo* и *discorso*

В итальянском языке слово *testo* до сегодняшнего дня омонимично: оно означает не только «текст», но и «цветочный горшок», (глиняную или металлическую) форму для запеканок и т. п.<sup>5</sup>. В значении «текст» этот термин обладает и переносным смыслом: оригинал, подлинник, прототип (поведения и речи). Например: *far testo* (букв. ‘делать текст’) ‘служить образцом, быть авторитетом’. В значении «Священное Писание» употребляется обычно форма множественного числа: *testi sacri*<sup>6</sup>.

А у *discorso* главное значение — «речь».

Первоначально *testo* упоминалось столь же редко, что и *discorso*. Данте Алигьери (1265—1321) употребляет обе основы в «Божественной комедии», однако *testo* три раза, например: *Ciò che narrate di mio corso scrivo, / e serbolo a chiosar con altro testo / a donna che saprà, s'a lei arrivo* (*Inferno, Canto XV*) ‘То, что вы повествуете о моём жизненном пути, я записываю / и сохраню, чтобы истолковать с помощью иного текста / той dame, которая будет знать, если я к ней приду’<sup>7</sup>. А *discorso* встречаем там всего один раз, да и то непонятно в каком значении: *Poco più oltre, sette alberi d'oro / falsava nel parere il lungo tratto / del mezzo ch'era ancor tra noi e loro; / ma quand'i' fui sì presso di lor fatto, / che l'obietto comun, che 'l senso inganna, / non perdea per distanza alcun suo atto, / la virtù ch'a ragion discorso ammanna, / sì com'elli eran candelabri apprese, / e ne le voci del cantare 'Osanna'*<sup>8</sup> (*Purgatorio, Canto XXIX*).

Боккаччо (1313—1375) в «Декамероне» употребляет *testo* исключительно в значении «горшок»: *Poi prese un grande è un bel testo, di questi nei quali si pianta la*

*persa o il bassilico* (*Decameron*); а в «Хвалебном сочинении о Данте» — в значении «текст»: *Il quale della sacra Scrittura dice ciò che ancora della poetica dir si puote: cioè che essa in uno medesimo sermone, narrando, apre il testo e il misterio a quel sottoposto* (*Trattatello in laude di Dante*).

С XV в. до начала XX в. лидирует *discorso*, и не случайно. С ним (но не с *testo* в значении «текст») имеется значительное число производных, а также идиоматичных словосочетаний, в которых указывается на легковесность болтовни<sup>9</sup>. Лишь в XX в. и до настоящего времени *testo* начинает употребляться, по крайней мере, не реже, чем *discorso*, — впрочем, чаще в филологическом употреблении, чем в обыденном контексте.

### 1.3. Испанские *texto* и *discurso*

Главное значение испанского *discurso* — «речь, выступление, дар речи», например: *discurso de apertura / clausura* ‘вступительное / заключительное слово’, *discurso de bienvenida* ‘приветственная речь’. Другое значение — манера речи: *discurso ampuloso / declamatorio / enfático* ‘высокопарная, напыщенная речь’, *discurso encendido / fogoso / inflamado* ‘страстная, пламенная, зажигательная речь’, *discurso lacrimoso* ‘жалобные (слезные) речи’. Третье значение — рассуждение, например: *perder el hilo del discurso* ‘потерять нить рассуждения’; по переносу ‘трактат’, а также ‘рассудок’ и ‘идеология’.

Глагол *discurrir* означает не только «ходить взад-вперед, прохаживаться, разгуливать, сновать, пролегать (где-либо), течь, протекать, проходить»<sup>10</sup>, но и «мыслить, размышлять, рассуждать», а также «обдумать, осмыслить, продумать». Из идиоматических выражений упомянем только: *ir y venir con discursos* — буквально ‘ходить туда-сюда с речами’; то есть ‘разглагольствовать’.

Производное *discursivo* в словарях фиксируется со значениями «рассудочный, дискурсивный; логический», например: *facultad discursiva* ‘способность мыслить, рассуждать логически’.

*Texto* употребляется значительно реже, чем *discurso*. Например, в XVI—XVII вв. — примерно в пять раз. Так, у Сервантеса (1547—1616) находим единичные примеры предложений с *texto* — и все они с «научным» оттенком, например: «*Un amigo y discreto*», *respondió don Quijote*, «*era de parecer que no se había de cansar nadie en glosar versos, y la razón, decía él, era que jamás la glosa podía llegar al texto*» (*Don Quijote de la Mancha*). То же можно сказать о пьесах Аларкона (1581—1639): *Y un texto antiguo se halla / que dijo por esta calle* (*Mudarse por mejorarse*), Тирсо де Молина (1584—1648), у которого *texto* употребляется чаще, чем у остальных авторов того же времени: *porque con cuatro aforismos, / dos textos, tres silogismos, curaba una calle entera* (*Don Gil De Las Calzas Verdes*). Во всех этих случаях с *texto* соседствуют какие-нибудь другие «ученые» термины: *глоссы, силлогизмы* и т. п. В отличие от *texto*, сфера употребления *discurso* шире и обыденней. Например: *Mira, pues, si en el discurso de nuestra vida auremos visto jugar a los bolos, y si hemos visto por esto auer buelto a ser hombres, si es que lo somos* (*Miguel de Cervantes Saavedra. Novela y coloquio*). Аналогичное соотношение — вплоть до на-

чала ХХ в. В ХХ в. употребимость двух основ стала примерно одинаковой. Однако на границе ХХ и ХXI вв. постепенно побеждает *texte*.

#### 1.4. Французские *texte* и *discours*<sup>11</sup>

Во французском языке слово *discours* и его производное *discursif* первоначально употреблялись чаще, чем *texte*: в XVI в. — примерно в три раза, а вплоть до конца XVIII в. — в два раза. В начале XIX в. слово *texte* начинают употреблять все чаще, и постепенно — примерно к середине XIX в. — *texte* начинает лидировать, употребляясь в художественной литературе примерно в полтора раза чаще, чем *discours*; однако в текстах по гуманитарным дисциплинам по-прежнему, пусть и с небольшим отрывом, лидирует *discours*. С начала ХХ в. *texte* прочно завоевывает свои позиции, употребляясь примерно в два раза чаще своего соперника.

Наиболее типичное современное значение термина *discours* — «речь перед собранием людей» (*«développement oratoire fait devant une réunion de personnes»*). Часто встречаем такие словосочетания, в которых по-русски употребляется речь: *discours inaugural* ‘инаугурационная речь’, *discours de clôture* ‘речь при закрытии’, *discours du trône* ‘tronная речь’, *les discours d'une campagne électorale* ‘предвыборные речи’, *discours de réception* ‘приветственная речь’. Иногда — «выступление»: *discours-programme d'un ministre* ‘программное выступление министра’.

Возможно, по переносу в этом значении *discours* стал употребляться (с 1613 г.) в смысле «трактат». Например: *«Le Discours de la méthode»* Декарта.

В качестве «слов, выраждающих мысль» *discours* упоминается с 1613 г. и употребляется до сих пор: *C'est la suite du discours qui fit seulement comprendre (...) que, par un procédé oratoire habile, le Père avait donné en une seule fois (...) le thème de son prêche entier* (Camus). В таких случаях словосочетанию *suite du discours* по-русски соответствует *ход мысли* (а выражение *ход мысли*, более близкое к оригиналу, звучит непривычно). Русскому *часть речи* соответствует французское *les parties du discours*, то есть, собственно, «части мысли, выражаемой словами».

Логический термин *univers du discours* (как и английское *universe of discourse*) в значении ‘целостность совокупности всех контекстов речи’ переводится на русский — увы — только как *универсум дискурса*, поскольку *мир речи* и *мир мысли* звучат «нетерминологично».

С начала ХХ в. *discours* получает распространение в качестве термина филологов как синоним для французского же *parole*. *Discours* употребляют, чтобы сказать: «В данном случае я говорю о речи, но не в смысле Ф. де Соссюра». Типичны такие словосочетания: *occurrence d'un mot en discours*, *discours rapporté*, *direct*, *indirect*. Соответственно, *analyse de (du) discours* употребляют там, где по-русски употребляют ‘исследование разговорной речи’.

Устарелым сегодня считается значение «диалог, беседа, речи — в противопоставлении делам». Например: *Son nom fatal à l'Angloys familier, / Et le discours des astres regulier / Luy peuvent bien donner ferme assurance / De joindre en bref l'Angleterre à la France.* (J. Du Bellay. Œuvres poétiques: Premiers recueils. 1549—1553). У Сирено де Бержера (1619—1655) в «Путешествии на луну» читаем:

*Elie, pendant tout ce discours, me regardait avec des yeux capables de me tuer; si j'eusse été en état de mourir d'autre chose que de faim (Cyrano de Bergerac. Voyage dans la Lune & Histoire comique des états et empires du Soleil).* По-русски в таких случаях говорят слова, ср.: *Assez de discours, des faits!* ‘Хватит слов — к делу!».

Производное *discursif* начинает более или менее часто употребляться в художественной и особенно философской литературе (в значении «излагающий мысль, четко, логично и шаг за шагом выводя одно положение из другого» — в противоположность «интуитивным скачкам») на рубеже XVIII—XIX вв., например, у Шатобриана (1768—1848): *La raison discursive ou intuitive est l'essence de l'âme: la raison discursive vous appartient le plus souvent, l'intuitive appartient surtout à nous; ne différant qu'en degrés, en espèces elles sont les mêmes (F.-A. Chateaubriand. Le paradis perdu de Milton).* Иногда *discursif* значит «прямолинейный, без отклонений от магистральной линии изложения», например: *Ce récit tout linéaire (je veux dire: sans épaisseur), uniquement discursif (A. Gide).*

Далеко не всегда *discursif* характеризует неодушевленную сущность: иногда это прилагательное по переносу характеризует человека, соответствующему русскому «обладающий легким пером, легко создающий дискурсы или глубокомысленный», например, у Сент-Бёва (1804—1869) читаем: *Comme Bayle, Nicole est de petite santé, de lecture infatigable en tous sens, d'une composition facile et abondante, et perpétuelle; il est aisément discursif (quand il écrit seul et sans Arnauld); il aime l'érudition, l'anecdote, la moralité qu'on en peut tirer; il est bien plus un moraliste fin et moyen, et un habile dialecticien successif, qu'un grand philosophe, qu'une tête théologique coordonnante et concertante (Ch. A. Sainte-Beuve. Port-Royal: Vol. 4).*

На границе XIX и XX вв. в сочинениях философов, социологов и этнографов прилагательное это достигает пика популярности, особенно в следующих слово-сочетаниях: *opérations discursives, raison discursive, pensée discursive* (особенно часто у Л. Леви-Брюля, 1857—1939); *procédés discursifs* (П. Жане, 1859—1947; М. Месс, 1872—1950); *intelligence discursive* (А. Бергсон, 1859—1941); *facultés discursives ordinaires* (Э. Дюргейм, 1858—1917); *nécessité discursive*<sup>12</sup> (П. Дюэм, 1861—1921); *connaissance discursive, raisonnement discursif, réflexion discursive, l'exprimable discursif, représentation discursive* (Э. Шартье, писавший под псевдонимом Альен, 1868—1951), например: *Il serait vain d'instituer une sorte de parallèle entre les opérations discursives de la mentalité prélogique et celles de notre pensée, et de chercher comment elles se correspondent chacune à chacune (L. Lévy-Bruhl. Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, 1910).*

Именно в это время подчеркивается, что интуитивное противопоставляется дискурсивному: *L'intuitif s'oppose au discursif (E. Chartier. Éléments de philosophie, 1916).* То есть дискурсивность означает еще развернутость во времени («в режиме реального времени», как принято сегодня говорить).

Интересно, что глагол *discourir* во французском связан по значению только с речью, но не с развертыванием мысли, иногда со слишком подробным изложением: *Eux discourant, pour tromper le chemin, / De chose et d'autre (La Fontaine).* В качестве

синонимов для него указывают *bavarder* ‘болтать’ и *disserter*, *haranguer*, *pérorer* ‘излагать по порядку’ и ‘разглагольствовать’.

Что касается основы *texte* на французской почве, то первоначально слово *prétexte* ‘предлог’ (в оборотах со значением «под предлогом» или «служить / быть предлогом для чего-либо») было гораздо более употребительным, чем собственно *texte*: таково положение вплоть до XVII в., например: *Il rejeta d'abord ces propositions sous prétexte qu'il ne pouvoit mettre de son argent plus de dix mille écus contans en une charge de judicature* (A. Baillet. La vie de M. Descartes, биография XVII в.). В пьесах Корнеля (1606—1684), Расина (1639—1699), Мольера (1622—1673), в сказках Перро (1628—1703), в сочинениях Б. Паскаля (1623—1662) *texte* бывает только очень редко (если вообще находим), чаще — *prétexte*, но очень часто *discours*. Показателен следующий отрывок: ...*puisque ni mes discours ni mes écrits donnent aucun prétexte à vos accusations d'hérésie* (B. Pascal. Les provinciales): ‘поскольку ни то, что я говорю (*mes discours*), ни то, что я пишу (*mes écrits*), не дают никакого повода для ваших обвинений в ереси’.

## 2. Чужой ареал

Для носителей германских и славянских языков внутренняя форма исследуемых терминов не столь прозрачна, что для носителей романских языков.

### 2.1. Английские *text* и *discourse*

Обычно возникновение слова *text* датируется XIV в. — когда слова *discourse* на английской почве мы еще не встречаем вовсе. К первым упоминаниям относят сочинения Чосера (1340?—1400), например: *That gentil text kan I wel understande* (G. Chaucer. The Canterbury Tales). Часто (примерно в 20 % случаев) *text* у Чосера соседствует с лексемой *glose* ‘глосса’, то есть (английский) лексический комментарий (чаще всего к Священному Писанию): *And if men wolde ther-geyn appose / The naked text, and lete the glose, / It mighte sone assoiled be* (G. Chaucer. The Romaunt Of The Rose); *For in pleyn text, with-outen nede of glose, / Thou hast translated the Romaunce of the Rose* (G. Chaucer. The Legend Of Good Women).

Вплоть до начала XVI в. слово *text* употребляют, говоря об издании или редактуре текста Священного Писания. Например, в XV в.: *the text of the four gospelles in fayre letters* (W. Caxton. Lyf of the noble and Crysten prynce, Charles the Grete).

В XVI в. появляется и до XVII в. лидирует во всех жанрах литературы (кроме религиозной и юридической) *discourse*<sup>13</sup> ‘разговор, речь’. Например: *a factious hart, a discoursing head, a mynde to medle in all mens matters* (R. Ascham. The Scholemaster: Book I, 1570).

В XVII в. *discourse* лидирует главным образом в текстах по гуманитарным дисциплинам (в частности, в философских, филологических и экономических сочинениях) и в мемуарной литературе: в художественной литературе и в остальных жанрах деловой прозы позиции лексемы *text* заметно укрепляются. А в религиозной литературе, наоборот, *discourse* употребляется примерно в два раза чаще, чем *text*.

На границе XVII и XVIII вв. *discourse* с лихвой возвращает себе слегка пошатнувшиеся позиции: теперь слово это употребляется примерно в восемь раз чаще, чем *text*.

Но к XIX в. *text* употребляется примерно с той же или даже чуть большей частотой, что *discourse*. На границе XIX и XX вв. разрыв увеличивается, так что к середине XX в. отношение становится примерно 1:4. А на границе XX и XXI вв. *discourse* за пределами филологических и философских сочинений встречается чрезвычайно редко.

Среди особенностей английского употребления отметим следующее. По-английски бракуют предложения со словом *text*; когда имеется в виду вполне конкретный жанр произведения. То есть, когда можно указать, что вы пишете статью, книгу или письмо, не следует употреблять слово *text*. Так, следующее предложение помечается как неудачное: *She said she was writing a text about France for her local newspaper*. Вместо этого рекомендуется<sup>14</sup> употребить *an article* или что-либо подобное, например: *She said she was writing an article about France for her local newspaper*.

## 2.2. Немецкие *Text* и *Diskurs*

В немецких словарях слово *Text* отмечается издавна<sup>15</sup>. В отличие от русского это слово нередко встречается в немецких пословицах и поговорках<sup>16</sup>. Однако в XVI—XVII вв. *Diskurs* превалирует. Нечастые упоминания слова *Text* включают и такие, где связь со священным текстом не обязательна: *Wie dann hieryon der Frantzösischen Poeten Adler Peter Ronsardt ein artiges Sonnet geschrieben / welches ich nebenst meiner vbersetzung (wiewol dieselbe dem texte nicht genawe zuesaget) hierbey an zue ziehen nicht vnterlassen kan* (M. Opitz. Buch von der Deutschen Poeterey). Однако метафора ткацкого станка все еще ощущается: слова «вплетаются» в «ткань» (то есть в текст), подобно нитям: *So stehet es auch zum heftigsten vnsauber / wenn allerley Lateinische / Frantzösische / Spanische vnnd Welsche wörter in den text unserer rede geflicket werden* (Там же).

Значительно чаще в XVII в. употребляется *Diskurs*, например: *Under wehrendem diesem unserem Discurs wurde mein Schmalz gesotten* (H. J. Ch. von Grimmelshausen. Aus dem ewig-währenden Calender). Часто писали *Discours*: французское происхождение слова ощущалось, а слово демонстрировало принадлежность к светской жизни. Латинское же слово *Text* вызывало ассоциации с языком Церкви. На немецкой почве был образован в то же время (позже забытый) глагол *diskourssieren* ‘разглагольствовать’: *Mit welchem anwesende Chevalieers, dann er mueste gestehen al fe de Gentil houmine, daß sie mehr denn diesen Tittulos verdienet / in unterschiedenen Redens Arten weitlaeuflig discouressiret* (A. Gryphius. Hortobilicribifax Teutsch, 1663)<sup>17</sup>. Итак, дискурс — живая речь, текст — мертвый продукт речи. В XVIII в. появились *Tischdiskurse* ‘застольные беседы’ и *Kaffeediscourse* ‘беседы за кофе’ (в новое время употребляют выражение *Kaffeeklatsch* ‘кофейная болтовня, сплетня’ в этом же смысле — как «ни к чему не обязывающий треп»): *Denn wer hat, wenn er auch Geschichte weiß, alles so synchronistisch gegenwärtig, daß er wissen kann,*

*was damals die Tischdiskurse der Gesellschaft waren? (G. Ch. Lichtenberg. Aus den «Sudelbüchern»).*

Показательно следующее употребление из более поздней эпохи — XVIII в.: *Da wir nun gefrühstückt hatten, und wieder in dem Wagen saßen, schienen die Pächter, den hagern ausgenommen, ordentlich aufzuleben, und fingen Religions- und politische Discourse an* (K. Ph. Moritz. *Reisen eines Deutschen in England im Jahre 1782*). Как видим, дискурс заменить на текст в это время нельзя. Дискурс — скорее устная форма речи в светской сфере жизни, текст — письменная или устная форма, связанная с сакральностью. Поэтому, когда М. Мендельсон пишет о «дискурсах о Боге», он имеет в виду светскую освоенность духовной материи (а может быть — и скромность автора, как бы призывающего не придавать слишком большой вес тому, что он может «наговорить» о бытии Бога), ср.: *Folgende Diskurse über das Daseyn Gottes enthalten das Resultat alles dessen, was ich über diesen wichtigen Gegenstand unsres Forschens vormals nachgelesen und selbst gedacht habe* (M. Mendelssohn. *Morgenstunden*).

На границе XVIII и XIX вв. картина постепенно меняется. О тексте стали говорить больше, чем о дискурсе, все чаще и чаще имея в виду при этом серьезность предмета обсуждения (все-таки ассоциация «текст = текст Священного Писания» была жива в подсознании носителей немецкого языка). Текст становится тем, чему следуют (в своих действиях или в пересказе), ср.: *Denn in dem Texte, welchem wir bei unserer Erzählung genau folgen, steht...* (J. W. Goethe. *West-östlicher Divan*). Идея текста как основы подчеркивается избыточным (если учесть этимологию слова *Text*) композитом *Grundtext*, например: *hiedurch werden wir an den Grundtext hinangeführt, ja getrieben* (Там же); *Mich drängt's, den Grundtext aufzuschlagen* (J. W. Goethe. *Faust*)<sup>18</sup>. Если внимательно посмотреть контексты слова *Text* в эту эпоху, везде заметна будет эта исходная идея сакральности, а потому статичности и неизменности («того самого, священного») текста.

Бросается в глаза то обстоятельство, что В. фон Гумбольдт (1767—1835), творивший в это время, очень редко употребляет оба слова — *Text* (как предмет истолкования) и *diskursiv* (слова *Diskurs* у него не встречаем вовсе), например: *Die wörliche Erklärung enthält also immer genau so viel Wörter, Wortverbindungen oder Parenthesen, als Wörter im Text vorhanden sind* (W. von Humboldt. *Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues*). Дискурсивным же у него бывает только понятие: *das ursprünglichste Gefühl, das Ich, ist kein nachher erst erfundener, allgemeiner, discursiver Begriff* (Там же) — в этом он следует И. Канту, ср.: *Die Zeit ist kein diskursiver, oder, wie man ihn nennt, allgemeiner Begriff, sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauung* (I. Kant. *Kritik der reinen Vernunft*)<sup>19</sup>.

К середине XIX в. *Diskurs* употребляется еще реже, в большом количестве употреблений мы имеем дело с вкраплениями английских или французских фраз с этой лексемой. На границе XIX—XX вв. слово, несомненно, известно, но в художественной литературе употребляется «остраненно», как скрытая цитата из предыдущего века. Иногда встречаются новообразования, как в предложении *Tanzstundendiskurs* (L. Thoma. *Münchnerinnen*, 1919): по аналогии с *Tischdiskurs* и

*Kaffeeditkurs*<sup>20</sup>. Наконец, в XX в. *Diskurs* почти полностью уходит из обыденной речи, из художественной литературы, становясь атрибутом речи гуманитариев.

### 2.3. Русские текст и дискурс

В русском языке слово *текст* начинает употребляться в XVIII в.<sup>21</sup> Например: *Все проповеди располагаются обыкновенно по ординарной форме [...] Пред вступлением полагается приличный к самой предлагаемой материи текст из священного писания, который неправильно темою называют* (М. В. Ломоносов, Краткое руководство к красноречию. Кн. 1. 1748). Ломоносов текстом иногда называл разновидность речи: *А когда текст есть сентенция, то есть краткая нравоучительная речь, то можно распространить от пристойных мест риторических* (Там же).

Гораздо чаще употребляется в это же время *претекст* ‘отговорка’. Так, в Кючук-Кайнарджийском мирном договоре, подписанном в 1774 г. Екатериной II, читаем: *Все военнопленники и невольники мужеского или женского рода (...) по размене ратификаций сего трактата беспосредственно и без всякого претекста взаимно должны быть освобождены...* Наиболее типичное употребление — в выражениях со значением «под предлогом»: *Если... некоторые из подданных обеих империй, учня какое-либо тяжкое преступление, преслушание или измену, захотят укрыться или прибегнуть к одной из двух сторон, таковые ни под каким претекстом не должны быть приняты* (Там же).

Только на границе XVIII и XIX вв. встречаем более или менее часто и *дискурс*, и *текст*, причем последний уже тогда доминирует. Лишь изредка находим: *Слушай же мой дискурс* (И. И. Лажечников. Последний Новик). Дискурс — устный монолог. Текст же обычно употребляется в контексте издательского дела: *Какая надобность была перепечатывать текст старых изданий 1790 годов, когда было издание 1806 года, исправленное и значительно пополненное самим Шишковым?* (С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука). В это время в подобном окружении встречаем и термин *контекст*: *Что разумеется здесь под многим писанием: сочинения ли владыки или те книги многи, которые он исписал, неизвестно, хотя последнее, судя по контексту речи, вероятнее* (Макарий<sup>22</sup>. История Русской Церкви).

За пределами «издательского» контекста *текст* может употребляться в следующих значениях:

- 1) последовательность письменных знаков: *Например, во всех аудиториях на кафе-драх вычеканен был золотыми буквами текст, приоровленный против этого злохудожественного учения* (И. И. Лажечников. Как я знал М. Л. Магницкого. 1865);
- 2) озвученная цитата из какого-либо источника, заслуживающего уважительного отношения:  
— из Священного Писания: *Один был просто профессор или, лучше сказать, педант, произведенный из немцев в надворные советники и получавший тысячу рублей в год за то, чтобы два часа в неделю читать кое-что по тетрад-*

*ке, списанной с печатной книги; другой — на вопросы пламенного юноши отвечал исчислением книг, в которых можно найти удовлетворительное разрешение и которых он сам не читал за недосугом; третий — старался объяснить бытие мира сравнением его с деревянными часами; четвертый отвечал глубоким вздохом и текстом из Библии (Н. И. Греч. Черная женщина. 1834);*

- из народного творчества: *Русские пословицы все справедливы, Илья, обращимся же к ним, для прибрания текста, к обстоятельствам близкого, например: С волками жить, по-волчьи выть (Н. М. Коншин. Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 году. 1834);*
- из иноязычного источника на языке оригинала: *Узнав, что я сам бывал не последний латынщик и философ, он с удовольствием приводил нередко тексты на сем языке и доставлял мне честь переводить оные графу Владимиру (В. Т. Нарежный. Российский Жилблаз);*

3) сочетание буквы, звука и смысла в чужой речи, подаваемое как:

- предмет истолкования: *Классические авторы нам все известны, но мы лучше знаем критические объяснения текстов, нежели то, что их доднесь делает приятными, что вечность для них уготовала (А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву);*
- предмет озвучивания: *Слушая же текст, он стоял смущенный, как школьник, пойманный в проступке, за который — сказали ему наперед — будет он наказан (И. И. Лажечников. Басурман).*

В последнем случае описывается реакция не на чистый звук, а на смысл озвученного текста.

Особенно показательно словосочетание **буквальный текст**: *По буквальному тексту данного приказа, они выброшены на Волковом поле (И. И. Лажечников. Ледяной дом).* Такой текст противопоставляется внешним обстоятельствам употребления речи: *«Фрол Силин», календарь Острожского издания, / Весь мир ему архив и мумий кабинет; / Событий нет ему свежей, как за сто лет, / Не в тексте ум его ищите вы, а в ссылке; / Минувшего циклоп, он с глазом на затылке (П. А. Вяземский).* Заметим, что сказать буквальный дискурс и сегодня нельзя.

В XIX в. превалирование слова **текст** еще более очевидно. Слово **дискурс** в художественной литературе находим только у Н. С. Лескова (1831—1895), в значении «связный, довольно пространный (устный) монолог-рассуждение». О дискурсе говорят в следующих контекстах:

- он имеет начало, но не всегда конец: *И все они его як-то скоро в сей чин жаловали, а он, бывало, только головой мотает и скажет: «Начались уже дискурсы в дамском вкусе» (Н. С. Лесков. Заячий ремиз);*
- он обладает содержанием, «материей»: *и, как дошла материя дискурса до известных французских партизанов, она требовала моего мнения (С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Т. 1—29);*

— связность дискурса прерывается: *Тут в сей дискурс вмешался еще слушавший сей спор их никитский священник, отец Захария Бенефактов, и он завершил все сие, подтвердив слова жены моей, что «это правда», то есть «правда» в рассуждении того, что меня тогда не было* (Н. С. Лесков. Соборяне: Хроника. 1872);

— на него отвечают: *На дискурс ваши отвечу сначала с конца, как об этом есть предложенное негде в книгах исторических* (Н. С. Лесков. Заячий ремиз).

Во всех этих контекстах вместо дискурс слово текст не допускается, но допускаются речь, слова и т. п.

Прилагательное дискурсивный употребляется лишь в научных текстах, а именно в значении ‘рассудочный’: *Единое сознание, действуя как производительное воображение (в отличие от вышеупомянутого воспроизводительного), создает из чувственных восприятий, посредством возврительных форм, цельные образы предметов; оно же, в своем дискурсивном или рассудочном действии, создает связь явлений по категориям* (В. С. Соловьев. Кант).

Чемпионами по употреблению более частого слова текст в художественной литературе этого времени являются А. Н. Герцен (1812—1870), Н. С. Лесков и Ф. М. Достоевский (1821—1881): особенно часто употребляют они этот термин в «издательском» контексте, когда говорят о достоинствах или недостатках произведений словесности, цитируют их и т. п., например: *Вот тут два с лишком листа немецкого текста — по-моему, глупейшего шарлатанства: одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек?* (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание).

Слово претекст иногда также встречается в прежнем значении ‘отговорка, причина’: *Законные все претексты были к тому, что их можно было обвенчать, а только дядя отец Алексей большие всех законоведов знал: он, как духовник, знал грехи родительские* (Н. С. Лесков. Русское тайнобрачие). Иногда в значении ‘намек’; так, возможны словосочетания делать претекст и сделать претекст: *Не одна Варвара делала Насте этакие претексты...* (Н. С. Лесков. Житие одной бабы); *Вам же позвольте подать теперь такой претекст, что я будто понял слова «все разом» не в самом общирном значении и просил Вас доставить деньги жене брата Алексея на семейную надобность, имеющую срочное применение* (Н. С. Лесков. Письма 1883 года).

На границе XIX—XX вв. слово дискурс из языка художественной литературы уходит полностью, его заменяют речь, слова, разговор. Зато производное дискурсивный, чаще всего с кантовским значением, становится модным в речи гуманистов. В большой части контекстов это прилагательное можно истолковывать как синоним для рассудочный (как и раньше). А. Белый (1880—1934) пишет, например: *символ неразложим ни в эмоциях, ни в дискурсивных понятиях; он есть то, что он есть* (Эмблематика смысла).

Впрочем, немало и случаев, когда имеется в виду что-то вроде ‘связного монолога’. Таков смысл словосочетания дискурсивное говорение, например: *Раскрывая*

смысл выражения ‘говорение намеками’ в приведенной цитате, мы можем сказать, что здесь речь идет о своеобразии синтаксического строя в зависимости от определенных условий речевого обмена, в частности об его объективной простоте по сравнению с более дискурсивным говорением (при отсутствии отмеченного тождества аптерцирующих масс) (Л. П. Якубинский. О диалогической речи). Это употребление иногда сбивает с толку тех, кто привык воспринимать термин дискурсивный в старом значении, ср.: *В естествознании наши познавательные формы, наш рассудок действует дискурсивно, объединяя и упорядочивая чувственные данные по их сходству и различию, образуя таким путем общие отвлеченные понятия* (Л. И. Аксельрод. Философско-историческая теория Риккerta). Ведь высказывание *рассудок действует дискурсивно* для представителей более раннего периода тавтологично: «*рассудок действует рассудочно*». Но не тавтологично словосочетание *дискурсивное мышление* (особенно частое в трудах Н. А. Бердяева, 1874—1948), ср.: *Эта печать приспособления лежит не только на научном опыте, но и на дискурсивном мышлении, которым пользуется наука для своих выводов* (Н. А. Бердяев. Смысл творчества: Опыт оправдания человека)<sup>23</sup>. Это сочетание является компромиссом между кантовским значением и значением «разговорный», которое мы уже отметили у Фомы Аквинского.

Употребляя прилагательное *дискурсивный*, теперь имеют в виду прежде всего отношение мысли к монологической речи. Причем — как в работах С. Н. Булгакова (1871—1944) — подчеркивается не просто монологичность, но и принадлежность к индивиду — я бы сказал — «*моноличность*» — того, что можно назвать дискурсивным, например: *Совершенно естественно, чтобы и личное дискурсивное сознание разных лиц свидетельствовало бы об единой истине единообразно* (С. Н. Булгаков. Православие. Очерки учения православной церкви). Такая «*моноличность*» противопоставлена «*соборности*»: *догматы имеют дискурсивный, рациональный характер, а церковная истина целостна* (С. Н. Булгаков. Православие. Очерки учения православной церкви); *Это вытекает из единства истины, и этого требует церковная любовь, которая эту своеличную дискуссию снова растворяет в соборности* (Там же).

Здесь на сцене появляется производное *дискурсия*. В частности, через это понятие характеризуется гегелевская диалектика: *Диалектика есть дискурсия дискурсии, и только Гегель мог увидеть в ней преодоление дискурсивности, нечто абсолютное и сверхдискурсивное, между тем как и логика Гегеля есть рабство дискурсии, отличающееся даже воинствующим характером* (С. Н. Булгаков. Свет невечерний: Созерцания и умозрения). Дискурсия, как и дискурсивность вообще, противополагается интуиции: *Не точно, но настойчиво противопоставляли разум рассудку, как способность интуиции в противоположность дискурсии* (Г. Г. Шнер. Эстетические фрагменты, 1922)<sup>24</sup>.

Как видим, дискурсивные мышление, мысль, даже познание (особенно у С. Н. Булгакова) ограничены возможностями отдельно взятого человека, а потому не всесильны, ср.: *Божественный мир не может быть предметом дискурсивного знания и постигается только верой* (С. Н. Булгаков. Свет невечерний: Созерцания

и умозрения). Моноличность дискурса противопоставлена религиозному (то есть — по Гегелю — объединяющему всех людей, а по Булгакову — «соборному») свойству воспринимать мир<sup>25</sup>.

Аналогичными терминами оперировали русские религиозные философы конца XIX — начала XX в.

Так, В. Ф. Эрн (1882—1917) дискурсивно-логическое и дискурсивно-человеческое противопоставляло рациональному, *ratio* (Борьба за логос; 1911); П. А. Флоренский (1882—1937) в работе «У водоразделов мысли» анализировал концепцию дискурсивного творчества у А. Пуанкаре. См. также сочинения С. Л. Франка (1877—1950); Н. О. Лосского (1870—1965) и др. А. Л. И. Шестов (1866—1938) употребляет термин *дискурсивный* почти исключительно в цитатах из Н. Бердяева.

В XX в., чем ближе к XXI в., тем все чаще и чаще встречаем термин *дискурс*, а не только производное *дискурсивный*. Впрочем, за пределами гуманитарной речи основа *дискурс-* чаще употребляется пародийно, например: *Перед нами характерный тип латентно-дискурсоидного моносексапата* (С. Довлатов. Иностранка).

Теперь дискурсивными могут называться<sup>26</sup>:

- подход — в сложных образованиях типа *коммуникативно-дискурсивный подход*, *дискурсивно-логический подход к анализу литературы*, *дискурсивно-отрицательный*<sup>27</sup>, *дискурсивно-мыслительный способ пользования вещами* (А. Ф. Лосев); дискурсивные философия, метод, трактовка, характеристика;
- мышление и аргументация<sup>28</sup>, логика доказательства, рассудок, убеждение, познание и знание<sup>29</sup>; разум и размыщление, даже язык как средство такого размыщения<sup>30</sup> (заметно влияние немецкой классической философии XVIII—XIX вв., особенно Канта, а также французского словоупотребления конца XIX — начала XX в.);
- деятельность филолога (например, *дискурсивная критика*, *дискурсивная интерпретация*, *дискурсивные практики*);
- речь: *Он открывается не в дискурсивной речи* (Н. Берберова. Курсив мой); текст как разновидность речи, например: *Правда, в физике или математике необходимо еще обнаружить за обычным дискурсивным текстом понятийную структуру теорий* (В. С. Библер. От научения — к логике культуры); элементы речи, например, терминология: *мы боремся с еще не принявшими твердых форм врагами, явлениями, не успевшими еще перейти в ту стадию, где дискурсивная терминология и ясные выводы дали бы возможность схватиться с ними на почве новых критериев* (Там же), а также предложения;
- свойства связного текста; например: *Главный теоретический пафос исследователя состоит в выяснении взаимоотношений и взаимопроникновений дискурсивной и структурной изотопий* (В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки); встречаем также: *дискурсивная форма* (речи);
- даже целая ситуация<sup>31</sup>.

Вплоть до середины XX в. термин *дискурс* употребляется значительно реже производного *дискурсивный*. Это очень напоминает ситуацию с термином кон-

*цепт*, который с самого момента появления в русском языке значительно уступает по употребительности своему производному *концептуальный*<sup>32</sup>.

*Дискурс, дискурсивный, дискурсия* прочно вошли в лексикон гуманитариев эпохи постмодернизма<sup>33</sup>. На границе ХХ—XXI вв. частотность этих терминов растет даже в художественной литературе. Например: *Лицо Абу не устраивает ни один из доступных мне дискурсов (Викт. Ерофеев. Пять рек жизни)*<sup>34</sup>. Причем слово *дискурс* обладает ореолом большей учености, чем слово *текст*, ср.: *В том, что говорила Мюс, он узнавал только слово «дискурс», относительно которого уже твердо для себя выяснил, что не в состоянии понять его смысл (В. Пелевин. Диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда).*

### Заключение

Наши наблюдения показывают:

1. Соответствия латинского *textus* в современном значении первоначально обладают ассоциацией со «священным текстом» в обоих ареалах: родном (романском) и «чужом».
2. В силу этой специализации в романских языках употребительность рефлексов латинского *textus* первоначально значительно ниже, чем рефлексов слова *discursus*.
3. Постепенно эта ассоциация пропадает. Происходит «деспециализация».
4. В связи с деспециализацией во всех языках со временем растет и абсолютная частотность слова *текст* в «неспециальных» контекстах, и относительная его частота по сравнению со словом *дискурс*. В романских языках это нарастание неизменно. А в английском было и нарушение этой тенденции на границе XVII и XVIII вв., когда *discourse* вновь начал употребляться чаще, чем *text*. Возможно, в этом случае влияние оказала интеллектуальная мода, пришедшая из романского ареала, где в это время *дискурс* все еще лидирует.
5. *Текст* и *дискурс* в русском языке появились в то время, когда в Западной Европе указанная деспециализация происходила стремительными темпами. Поэтому *дискурс* на русской почве неизменно редок.
6. В XVIII—XX вв. во французском, немецком и русском языках производное *дискурсивный* и его соответствия «специализируются» (употребляясь в специальном «кантовском» смысле) раньше, чем собственно *дискурс*. Именно поэтому в специальной литературе они зачастую гораздо более употребительны, чем собственно *дискурс*.
7. Соответствия слова *дискурс* «специализируются» только в последней четверти XX в., став знаком принадлежности говорящего к интеллектуальной эlite. Однако в качестве специального значения у слова *дискурс* закрепилось не прежнее романское «размышление» (как у производного *дискурсивный* в XIX—XX вв. под влиянием Канта, на которого, в свою очередь, повлияло словоупотребление схоластиков), а некоторая разновидность понятия «речь» — как в английском.

Удивительно, насколько живучей оказалась исходная категоризация этих терминов. Ведь в латыни *discursus* — имя действия, а *textus* — имя предмета, результата действия. Именно поэтому о тексте говорят чаще как о чем-то более «материальном», чем дискурс. Так, актер на сцене может забыть текст (то есть слова, составляющие этот текст), но не дискурс своей роли. А докладчик может забыть (потерять, оставить дома, отдать редактору) текст, но не дискурс своего выступления. Ведь в прототипическом случае забывают или теряют только нечто вещественное.

В качестве лексемы обыденного языка термин *текст* победил, по-видимому, поскольку обыденное сознание предоставляет неограниченное право говорить об абстракциях только в науке и искусстве. За пределами этих регистров речь об абстракциях (в частности, о дискурсе) — роскошь.

Так права ли была Т. М. Николаева, стараясь в конце 1970-х гг. не употреблять термин *дискурс*? Из представленных выше материалов вытекает, что она была права, и вот почему.

Во-первых, в конце 1970-х гг. в философских и психологических сочинениях употреблялся термин *дискурсивный*, но термин *дискурс* был редок.

Во-вторых, постоянно возникала коллизия между двумя очень разными значениями слова: *дискурс* как рассуждение и *дискурс* как связная речь. Употреблять этот термин, каждый раз указывая, которое значение имеется в виду, чрезвычайно неудобно.

В-третьих, пользоваться в качестве термина словом, употребительность которого в составе общей лексики в западноевропейских языках (английском, немецком и французском) в то время шла на убыль, значило оказаться в «противофазе» к развитию интернациональной лексики.

За эти двадцать с лишним лет многое изменилось.

Сегодня слово *дискурс* даже не претендует на нетерминологический статус. Это слово стало термином класса «речь» (как в английском), хотя наиболее распространено ударение по латинскому/французскому, а не английскому образцу. Ср.: *Мы говорим не дискурс, а дискурс!* (Т. Кибиров).

А противопоставление текста дискурсу стало более значимым для филологического рассуждения по-русски. В лингвистической литературе дискурсом чаще всего называют речь (в частности, текст) в ее становлении перед мысленным взором интерпретатора. Интерпретатор помещает содержание очередной интерпретируемой порции дискурса в рамки уже полученной промежуточной или предварительной интерпретации. В результате устраняется, при необходимости, референтная неоднозначность, определяется коммуникативная цель каждого предложения и шаг за шагом выясняется драматургия всего дискурса.

По ходу такой интерпретации воссоздается — «реконструируется» — мысленный мир (*universe of discourse*), в котором, по презумпции интерпретатора, автор конструировал дискурс и в котором описываются реальное и желаемое (пусть и не всегда достижимое), нереальное и т. п. положение дел. В этом мире мы находим характеристики действующих лиц, объектов, времени, обстоятельств событий (в

частности, поступков действующих лиц) и т. п. Этот мысленный мир включает также домысливаемые интерпретатором (с его неповторимым жизненным опытом) детали и оценки.

Итак, прототипический текст — предмет, а прототипический дискурс — процесс, как этого и требует их этимология. Поэтому *текст* остался словом обыденного языка, а *дискурс* стал специальным термином наук о человеческой духовности.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Например: *mitte brachiolum teres, / praeextate, puellulae: / iam cubile adeat viri* (C. Valerii Catulli. *Carmina*).

<sup>2</sup> *Neque est inconveniens quod in uno contextu locutionis loquatur Scriptura de Sapientia genita et creata: quia sapientia creata est participatio quaedam Sapientiae increatae* (Thomae Aquinatis. *Summa Theologica*, Prima Pars).

<sup>3</sup> В своих советах великий мыслитель рекомендует избегать «дискурса обо всем», то есть не следует не только говорить обо всем, но и стараться все постичь, — в результате такой членочной процедуры: *Omnibus te amabilem exhibe; nihil quaere penitus de factis aliorum; nemini te multum familiarem ostendas, quia nimia familiaritas parit contemptum et subtractionis a studio materiali subministrat; de verbis et factis saecularium nullatenus te intromittas; discursus super omnia fugias; sanctorum et bonorum imitari vestigia non omittas; non respicias a quo audias, sed quidquid boni dicatur, memoriae recommenda; ea quae legis et audis, fac ut intelligas; de dubiis te certifica; et quidquid poteris in armario mentei reponere satage, sicut cupiens vas implere; altiora te ne quaesi-eris* (Thomae Aquinatis. *Epistola de modo studendi*).

<sup>4</sup> Cp.: *Ingenia enim constantia et acuta figere contemplationes, et morari, et haerere in omni subtilitate differentiarum possunt: ingenia autem sublimia et discursiva etiam tenuissimas et catholicas rerum similitudines et agnoscent et componunt: utrumque autem ingenium facile labitur in excessum, prensando aut gradus rerum, aut umbras* (Francis Bacon. *Novum Organum*).

<sup>5</sup> В значении «горшок» *testo* исторически соотнесен со словом *testa* ‘голова’,ср. французское *tête*. В исторической семантике этому переходу посвящена значительная литература.

<sup>6</sup> Имеем еще: *testi scolastici* — ‘школьные учебники’. С уменьшительным суффиксом *testino* — ‘петит’ (типографский шрифт). Уменьшительное же *testina* (как *testina d'oro* ‘светлая голова, умница’) — производное от *testa* ‘голова’, а не *testo*.

<sup>7</sup> Эта фраза в переводе М. Лозинского звучит так: *Я вашу речь запечатлел и жду, / Чтоб с ней другие записи сличила / Та, кто умеет, если к ней взойду.*

<sup>8</sup> В переводе М. Лозинского: *Вдали, за искаجاющим простором, / Который от меня их отделял, / Семь золотых дерев являлись взорам; / Когда же я к ним настолько близок стал, / Что мнящийся предмет, для чувств обманный, / Отдельных свойств за далью не терял, / То дар, уму для различенъя данный, / Светильники признал в седмице той, / А пенье голосов признал «Осанной».*

<sup>9</sup> Имеется глагол *discorrere* со значениями: 1. ‘разговаривать, говорить, беседовать, толковать, обладать даром речи’ и даже *discortersi* ‘разговаривать друг с другом’. Например: *non ne discorrerio nemmeno* — «ничего об этом и разговаривать»; 2. С самой ‘бегать’ сохранились значения у глагола *discorrere* ‘бегать взад и вперед’ (в высоком стиле) и ‘ухаживать за кем-либо’ (ср. *faire la cour* во французском и строить куры в русском XVIII—XIX вв.); 3. ‘обдумывать; обсуждать’; например: *questione discorsa* ‘вопрос, о котором шла речь’. Номинализация глагола в первом значении — *discorimento* ‘разговор, собеседование’. Имя деятеля — *discorritore* ‘собеседник’ (*discorritore facile* ‘приятный собеседник’, букв. ‘легкий собеседник’) и ‘болтун’. Похожее

существительное, но женского, а не мужского рода — *discorsa* имеет значение ‘болтовня, длинная пустая речь’. С суффиксом *-ino* имеем: *discorsino* ‘краткий разговор, беседа, упрек; выговор’. Во множественном числе *discorsini* ‘птичье щебетание’ и (по переносу) ‘детский лепет’. Прилагательное *discorsivo* означает ‘разговорчивый; болтливый’ и ‘разговорный’ (например, *stile discorsivo* — ‘разговорный стиль’). Производное от этого прилагательного — *discorsività* ‘непринуждённость (речи, разговора)’. Устойчивые словосочетания с существительным *discorso* по-русски переводятся с лексемами «речь» или «разговор», но не рассуждение. Например: *fare un discorso* ‘произнести речь, выступить с речью’; *perdere il filo del discorso* ‘потерять нить разговора’; *entrare nel vivo del discorso* ‘дойти до сути дела’; *vacuo discorso* ‘пустая болтовня’; *discorsi in aria* ‘пустые разговоры’; *senza tanti discorsi, meno discorsi!* ‘короче! К делу!’, особенно *i discorsi non fanno farina* ‘разговоры не создают муки’ (то есть, из слов каши не сваришь). Как лингвистический термин имеем еще: *discorso diretto / indiretto* ‘прямая / косвенная речь’ и *parti del discorso* ‘части речи’.

<sup>10</sup> Например: *las horas discurrían lentamente* ‘медленно текли часы’.

<sup>11</sup> В словаре Le Petit Robert (Paris, 1997) первое упоминание *texte* датируется 1265 г., *pré-texte* — 1355 г., *textuel* — 1444 г., *discours* — 1503 г., *discourir* — 1539 г., *discursif* — XVI в.

<sup>12</sup> Несколько неожиданное сочетание «дискурсивная необходимость» употреблено в следующем месте: *Pour conquérir la vérité, au contraire, c'est l'autre sens de marche qu'il faut adopter; l'image, la qualité, le concret, reprennent leurs droits prééminents; et l'on voit alors la nécessité discursive se fondre graduellement en contingence vécue* (P. Duhem. La théorie physique, son objet, sa structure, 1906). То есть имеется в виду «логическая необходимость».

<sup>13</sup> В авторитетных словарях английского языка выделяются следующие значения у существительного *discourse*: 1. Рассуждение (The power of the mind to reason or infer by running, as it were, from one fact or reason to another, and deriving a conclusion; an exercise or act of this power; reasoning; range of reasoning faculty). Это значение помечается как устарелое. 2. Разговор (Conversation; talk). 3. Разговор как манера речи (The art and manner of speaking and conversing). 4. Свяная речь, проповедь (Consecutive speech, either written or unwritten, on a given line of thought; speech; treatise; dissertation; sermon, etc.); например: *the preacher gave us a long discourse on duty* ‘священник прочитал нам проповедь о долгах’. 5. to tell a discourse — рассудить, кто прав, кто виноват (Dealing; transaction). Например (XVI—XVII вв.): *Good Captain Bessus, tell us the discourse / Betwixt Tigranes and our king, and how / We got the victory* (Beaumont and Fletcher). Это значение к XX в. считалось устаревшим, как и первое. *Discourse* как глагол имеет меньшие значений, но все они врисовываются в указанные пять: 1. проводить рассуждение (устарело); 2. произносить (речь), разговаривать; 3. говорить с кем-либо. *Discourser* — лицо, совершающее эти действия. *Discursive* помечается как: 1. Рассудительный, «дискурсивный» (в философском смысле); 2. Содержащий диалог; 3. Разговорчивый, коммуникативный, например: *discursive man* ‘говорун’. См., например: Webster N. A dictionary of the English language, explanatory, pronouncing, etymological, and synonymous. Springfield, Mass., 1872.

<sup>14</sup> См.: Heaton J. B., Turton N. D. Longman Dictionary of Common Errors. L. etc., 1987. C. 262.

<sup>15</sup> Как отмечает Г. Пауль в своем словаре (Paul H. Deutsches Wörterbuch. München, 1896. S. 617 по шестому изданию), слово *Text* воспринято было средневерхненемецким языком из латыни в значении «*Gefüge einer Schrift*» ‘основа (ткани) письма’. Текст Священного Писания противопоставлялся устному пересказу в проповеди. Эта проповедь могла быть ближе к тексту (источника) или дальше от него. Отсюда и выражения типа: *Zu tief (weit) in den Text kommen* ‘слишком глубоко вдаваться в подробности’, *einem den Text lesen* — букв. ‘прочитать кому-либо текст’ (ср. русское «читать нотации») — то есть заметки о том, что нужно будет сказать во время проповеди), а реально — ‘отчитать кого-либо’ (Eine Strafpredigt halten). Сегодня в немецком — как и в других языках — текст песни противопоставляют музыке. Такое противопоставление

восходит к средневерхненемецкой оппозиции *wort* vs. *wîse*. Лексемы *Diskurs* в этом же словаре мы не находим, хотя в нашем корпусе она отмечена, см. далее.

<sup>16</sup> Укажем только некоторые: *Geld erklärt den Text und die Glosse. Der Pfarrer hat keine gute Predigt, der einen langen Text hat. Nur weiter im Text! Wahrheit sagt den Text ohne Glossen* (по: Simrock K. Die deutschen Sprichwörter. Leipzig, 1846). Все они связаны с исходным значением «первоначальный источник» (Священное Писание).

<sup>17</sup> В XIX в. Г. Гейне (1797—1856) заново употребляет этот глагол *diskursieren*: *Nur der Kaffee nach Tische wurde mir verleidet, indem sich ein junger Mensch diskursierend zu mir setzte und so entsetzlich schwadronierte, daß die Milch auf dem Tische sauer wurde* (H. Heine. Reisebilder. Erster Teil. Die Harzreise).

<sup>18</sup> Альтернатива — *Urtext* — в этимологическом смысле не избыточна, а потому имеет иную коннотацию — «текст из глубины веков», например: *Ich sage also, Bild könne ein Bild und Sage die Sage erklären, weil uns der eigentliche Urtext doch verloren gegangen ist, und wir uns nur mit den Auslegungen behelfen müssen* (L. Tieck. Der Hexensabbat). Cp. также: *Im Anfange war das Wort, der Logos, im Urtexte; was auch hätte übersetzt werden können, die Vernunft, oder, wie im Buche der Weisheit beinahe derselbe Begriff bezeichnet wird, die Weisheit* (J. G. Fichte. Die Anweisung zum seligen Leben).

<sup>19</sup> Дискурсивные понятия у И. Канта (1724—1804) наиболее частотны; кроме них, Кант упоминает еще *diskursive Erkenntnis*, *Gewißheit*, *Erkenntnisart*, *diskursiver Vernunftgebrauch*, *Verstand*, *akroamatische (diskursive) Beweise*, *Urteile*, *Grundsätze*. Кант подчеркивает: *Das Intuitive der Erkenntnis muß dem Diskursiven (nicht dem Symbolischen) entgegen gesetzt werden* (Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft). То есть интуитивное в познании противоположно дискурсивному. Кроме этих сущностей, дискурсивными бывают еще *Fähigkeiten* (Новалис, 1772—1801), *Wissenschaft* (Шеллинг, 1775—1854), *Erkenntnißvermögen*, *Denken*, *Thätigkeit*, *Vermögen* (А. Шопенгауэр, 1788—1860). В остальном немецкие философы этой эпохи — Фихте (1762—1814), Шеллинг (1775—1854), Гегель (1770—1831) — следуют узусу Канта. А Кант это употребление воспринял из работ Кристиана Вольффа (1679—1754) — популяризатора идей Лейбница (1646—1716), см.: Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Р., 1926. Т. I. Р. 169, где читаем: «Le rapprochement du discursif et du général, de l'intuitif et du particulier est beaucoup plus ancien que Kant. Il est déjà très usuel chez Wolff, et remonte à la scholastique. Kant ne fait là que suivre un vieil usage classique». В не менее авторитетном немецком словаре философских терминов читаем: «**Discursiv**: durchlaufend, von einem Inhalt zum andern übergehend, successiv Stück für Stück verbindend ist das Denken (besonders als Schließen), im Gegensatze zur *Anschauung*, *Intuition*» (Eisler R. Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Berlin, 1899). А в другом словаре того же времени находим иное толкование, опять-таки связанное с именем Канта: «**diskursiv** (v. lat. *discursus* = das Hin- und Herlaufen, die Besprechung) heißt *begrifflich*. Es bildet den Gegensatz zu *intuitiv*, welches anschaulich heißt. Kant (1724—1804) stellt in der Kr. d. r. V. *diskursiv* und ästhetisch einander gegenüber. Eine *diskursive Erkenntnis* entsteht demnach aus Begriffen, die der Verstand verknüpft, während die *intuitive* (oder ästhetische) *Erkenntnis* auf *Anschauungen* beruht» (Kirchner F. Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe. Heidelberg, 1886).

<sup>20</sup> Людвиг Тома (1867—1921) чаще всего употребляет *Diskurs* с ироничным подтекстом: «неуместно важные разговоры», например: *Wie er zurückkam, merkte er wohl, daß sie einen geschwinden und eifrigen Diskurs über ihn gehabt hatten* (L. Thoma. Der Wittiber: Ein Bauernroman).

<sup>21</sup> Впервые **текст** зафиксирован в словарях русского языка в 1731 г. со значением: «Аргумент, слово, дело... о котором речь какая говорится», см.: Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993. Т. 2. С. 232. В XIX в. большее распространение получило другое определение: **ТЕКСТ** м. латин. подлинник, подлинные, буквальные речи писателя. Приводить текст откуда, делать дословную выписку. По тексту Острожского Евангелия, по тому изданию, подлиннику. Исправить, восстановить текст, выправить ошибки

переписчиков. || *Текст к музыке, опере, слова, речи* (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1882. Т. 4. С. 396). В XX в. источником для других дефиниций является следующее определение: **ТЕКСТ**, текста, м. (латин. *textum*, букв. сотканное). 1. Всякая запечатленная в письменности или в памяти речь, написанные или сказанные кем-н. слова, к-рые можно воспроизвести, повторить в том же виде. *В новом издании весь текст сочинений Пушкина вновь проверен по первоисточникам. Записать т. былины. Восстановить утраченный текст древнего документа. Критика текста (филол.). Сличать тексты. Подлинный текст. Искаженный текст.* • Тот или иной издаваемый документ, памятник письменности, в отличие от примечаний к нему, комментариев и т. п. (филол.). *Издать текст с примечаниями и словарем. На экзамене ему достался трудный текст.* • Отрывок из т. наз. священного писания, избираемый темой проповеди, беседы, приводимый в качестве изречения и т. п. (церк.). *Цитировать тексты. Толковать тексты.* 3. только ед. Основная часть печатного набора, в отличие от помещаемых на той же странице выносок, рисунков, чертежей и т. п. (тип.). *Набрать текст корпусом, а сноски петитом. Сноска под текстом.* 4. только ед. *Шрифт размером в 20 пунктов (тип.)* (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1940. Т. 4). Стандартное определение для современного русского языка: **ТЕКСТ**, -а, м. 1. Всякая записанная речь (литературное произведение, сочинение, документ, а также часть, отрывок из них). *Т. сочинений Пушкина. Подлинный т. Т. оперы. Открытым текстам сообщить, передать что-н. (не секретно; также перен.: прямо, недвусмысленно).* 2. В лингвистике: внутренне организованная последовательность отрезков письменного произведения или записанной либо звучащей речи, относительно законченной по своему содержанию и строению. *Теория текста.* 3. В полиграфии: основная часть печатного набора (без иллюстраций, чертежей, таблиц). • *Нотный текст* — нотная запись музыкального произведения. II прил. *текстовой, -ая, -ое и текстовый, -ая, -ое* (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1998).

<sup>22</sup> Макарий — в миру М. П. Булгаков (1816—1882).

<sup>23</sup> Для Н. А. Бердяева показательны следующие толкующие употребления словосочетания *дискурсивное мышление*: *Дискурсивное мышление есть царство середины, никогда не начало и не конец* (Н. А. Бердяев. Смысл творчества: Опыт оправдания человека); *В дискурсивном мышлении, взятом самом по себе, есть неотвратимая необходимость, принудительность и безвыходность, порочный круг* (Там же); *Дискурсивное мышление, предоставленное себе, попадает во власть дурной бесконечности, плохой множественности* (Там же); *Дискурсивное мышление есть формальный, автоматический аппарат, приводящийся в действие силами, вне его лежащими* (Там же); *В конце концов, дискурсивное мышление — лишь орудие интуиции, которая зачинает и завершает* (Там же); *Дискурсивное мышление — аппарат, прекрасно приспособленный к операциям над навязанной мировой данностью, в нем есть необходимость приспособления к необходимости мировой данности* (Там же); *Лишь насколько люди понизили свое духовное общение до серединности, они ищут исключительной опоры и обоснования своего познания в серединности дискурсивного мышления, они видят оправдание познания в необходимости* (Там же); *При таком понимании ясно, что философская интуиция кажется менее общеобязательной, чем научное дискурсивное мышление, лишь от понижения до минимума духовной общности, общности сознания* (Там же); *Доказательство есть необходимость в дискурсивном мышлении — приспособление к необходимости в мировой данности* (Там же). Гораздо реже дискурсивной бывает у Бердяева мысль: *При духовном же разобщении ответственность принимают лишь за серединность дискурсивной мысли, лишь за приспособление к необходимости в познании* (Там же); *Убедительна в философском познании творческая интуиция, а не доказательность дискурсивной мысли* (Там же); *Философия предполагает общение на почве начальных и конечных интуиций, а не серединных доказательств дискурсивной мысли* (Там же); *Через ряд посредствующих звеньев дискурсивной мысли стремятся вывести из Евангелия то нужное нам, что там не раскрывается* (Там же). Еще реже — критерии: *От философа требуют оправдания*

*его интуиции научными, дискурсивными, принудительными критериями, лежащими вне философии и вне творческой интуиции потому лишь, что оставляют его одиноким, отчужденным в его прозрениях (Н. А. Бердяев. Смысл творчества: Опыт оправдания человека); разум: Малый разум — дискурсивен, большой разум — интуитивен (Н. А. Бердяев. Философия свободы). Недискурсивным бывает ход мысли: Ход мыслей Беме совершенно иррационален, недискурсивен и лишь особым слухом воспринимается как гармония небесных сфер (Там же).*

<sup>24</sup> Вообще у Г. Шпета (1879—1937) встречается почти исключительно термин *дискурсия*, но не *дискурс* или *дискурсивный*. Показателен для Шпета следующий контекст: *Но чем большие вдумываться в то, что само «постижение» мыслимо только в «выражениях», тем более становится ясно, что дискурсия и есть не что иное, как та же интуиция, только рассматриваемая не в изолированной отдельности каждого акта, а в их связи, течении, беге (Г. Г. Шпет. Эстетические фрагменты, 1922).* Этимологическое значение этого слова с семой «бег» выходит на передний план. Позже этот термин находим у А. Ф. Лосева (1893—1988), например: *его [Платона] метод мы находим не в интуиции и не в дискурсии, но в диалектике совсем другого типа — чисто категориальной, ноуменальной (А. Ф. Лосев. История античной философии в конспективном изложении).* А само направление, в центре которого находится дискурсия, получает название «дискурсионизм»: *Итак, если по методу философия ранней классики есть интуитивизм, а средней — дискурсионизм, то зрелая классика античной философии была ноуменальным спекулятивизмом, или эйдологизмом, то есть не интуицией чувственно-материального космоса и не дискурсией над ним, но его диалектикой (Там же).*

<sup>25</sup> Ограниченностю дискурсивного мышления представлялась очевидной и ведущим психологиям советской эпохи, например: *Остались в прошлом и те психологические теории, которые знали мышление лишь в одной-единственной его форме — в форме внутренней, дискурсивной мысли (А. Н. Леонтьев. Деятельность. Сознание. Личность).*

<sup>26</sup> Ср. нижеследующие классы со следующим толкованием: «ДИСКУРСИВНЫЙ (от позднелат. *discursus* — рассуждение, довод), рассудочный, понятийный, логический, опосредствованный (в отличие от чувственного, созерцательного, интуитивного, непосредственного)» (Современный толковый словарь. М.: Большая советская энциклопедия, 1997). Ср. также из более раннего словаря: «ДИСКУРСИВНЫЙ, дискурсивная, дискурсивное (фр. *discursif*) (филос.). Совершаемый путем логических умозаключений, противоп. интуитивный. Дискурсивное познание. Дискурсивный метод (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 1934).

<sup>27</sup> Например: *тот период классики, когда космос рассматривался только дискурсивно-отрицательно (А. Ф. Лосев. История античной философии в конспективном изложении).*

<sup>28</sup> Например: *Общим моментом дискурсивного теоретического мышления (естественно-научного и философского), исторического изображения-описания и эстетической интуиции, важным для нашей задачи, является следующее (М. М. Бахтин. К философии поступка); Сколько-нибудь развернутой дискурсивной аргументации в нем нет (М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского).*

<sup>29</sup> Например: *абсолют не поддается дискурсивному познанию (А. Ф. Лосев. Эстетика Возрождения); В качестве лучшего пути к этому он рекомендует преодоление дискурсивно-рационально-понятийного мышления в мистической интуиции (Там же); Возможно чувственное доктринальское знание — интуитивное, когда чувственный предмет дается в своем непосредственном явлении и факте (писпис), и дискурсивное, когда в сознании в результате ряда отображений чувственных предметов возникает ряд «умоуподоблений» сознания этим чувственным предметам (А. Ф. Лосев. История античной эстетики: Ранняя классика).*

<sup>30</sup> Ср.: *Ибо это плоть, которую абсолютно прозрачно представляет мой усталый дискурсивный разум и тем самым хочет дать увести себя сцеплениям этой новой абсолютной гравитации (М. К. Мамардашвили. Эстетика мышления); Такая плоть, такие вещи, которые*

*одновременно и вещи, и мысли (или понятия), движутся не по связям нашего дискурсивного размышления — сравнения, сопоставления, вывода, а по силе гравитации (Там же); Для них хватает дискурсивного языка (М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский. Символ и сознание).*

<sup>31</sup> Например: Кечки провела детальный психологический анализ ситуации разговора, то есть дискурсивной ситуации, в которой принимают участие не менее двух людей, позиции которых во время разговора меняются (Л. Ф. Обухова. Детская (возрастная) психология. М., 1996); Примером дискурсивных ситуаций могут служить ситуации приветствия, обращения к другому человеку с вопросом, просьбой и т. п. (Там же).

<sup>32</sup> См. об этом: Демьянков В. З. Понятие и концепт в художественной литературе и в научном языке // Вопросы филологии. 2001. № 1. С. 35—47.

<sup>33</sup> Эти термины входят в истолкование большого количества ключевых понятий, например, в книгах: Пост-модернизм: энциклопедия / Под ред. А. А. Грицанова, М. А. Можейко. М., 2001; Ильин И. П. Постмодернизм: Словарь терминов. М., 2001. См. также: Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998, В. П. Руднев. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М., 1997.

<sup>34</sup> В детективных романах, впрочем, термин *дискурс* мы находим только у Б. Акунина, в герое которого опознаем нашего современника, а не россиянина конца XIX в. (вопреки замыслу автора): *Господа, вы слышали протяженнейшую речь обвинителя; более похожую на завывания отца Гамлета, нежели на серьезный юридический дискурс* (Б. Акунин. Пелагия и белый бульдог). Ведь на протяжении XIX и вплоть до начала XX в. употреблялось прилагательное *дискурсивный*, а слово *дискурс* было малоупотребительным.

*Г. П. Нещименко*

## К ВОПРОСУ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ЯЗЫКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИАЛОГОВ

**И**спользование компьютерной связи как средства коммуникации в обществе радикально изменило традиционные представления о временных и пространственных параметрах общения<sup>1</sup>. Раздвинув границы коммуникативного пространства, оно расширило возможности внутриэтнической и межэтнической интеграции, способствовало увеличению и качественному обогащению информационного потока, возрастанию диапазона его распространения, а также скорости прохождения по трансляционным каналам<sup>2</sup>.

Разумеется, не все социумы могут в равной степени воспользоваться достижениями научно-технического прогресса. Так, по данным исследовательской компании NUA, к концу 2000 г. в России было примерно 3 млн пользователей интернета, т. е. 4 %. Всего же в мире в декабре 2000 г. (по сравнению с сентябрем 1999 г.) их численность более чем удвоилась, достигнув 407,1 млн человек<sup>3</sup>. Из славянских стран высокой компьютерной оснащенностью отличается современная Чехия, занимающая одно из первых мест в Европе.

Первоначально электронные средства связи использовались в массовой публичной коммуникации (радио, телевидение и пр.), однако позже они стали применяться и в коммуникации **межличностной**, сделав ее не только оперативной и информационно насыщенной, но и, что особенно важно, **интерактивной**.

Появление новой технологии общения поставило перед лингвистами целый комплекс задач теоретического и прикладного значения. Назовем в их ряду проблему адекватного верbalного обеспечения, позволяющего насытить трансляционные каналы максимально емкой и вместе с тем компактно выраженной информацией. Именно потребность в **экономичных** номинационных решениях в основном и определяет направленность селекции языковых средств<sup>4</sup>. Проследить, как на практике осуществляется эта селекция и, в частности, как действует механизм тенденции языковой экономии, — задача большой научной значимости, до сих пор еще не получившая своего исчерпывающего решения.

Примечательной особенностью большинства анализируемых нами компьютерных текстов является их повышенная экспрессивность. Это расширяет возмож-

ности варьирования выразительных средств, языкового экспериментирования, создает благоприятные условия для появления новообразований<sup>5</sup>, адаптации многочисленных заимствований, прежде всего англизмов, и, что особенно важно, стимулирует конкуренцию типов и способов словоизвлечения, вытеснение избыточных, устаревающих обозначений. Последнее обстоятельство также способствует языковой экономии.

Не менее важны и другие аспекты исследования языка компьютерного общения, например социолингвистический, психолингвистический, лингвокультурологический и пр.

Чрезвычайно перспективным нам представляется рассмотрение данного феномена через призму внутриэтнической языковой ситуации<sup>6</sup>. Снижение речевого контроля, сопутствующее ускоренной вербальной коммуникации, благоприятствует развитию внутриязыковой, междиомной интерференции, проникновению элементов разговорного языка, в том числе и жаргонизмов, повышению частотности их употребления. Весьма показательны в этом отношении и проявления межъязыковой интерференции.

Это позволяет судить о направленности динамики современного речевого стандарта, уровне вербальной культуры<sup>7</sup>, специфике речевого поведения представителей различных возрастных<sup>8</sup> и социальных слоев носителей и пользователей этнического языка.

При всем своеобразии языка компьютерного общения, нарочитости и даже «эпатажности» стилистики некоторых его жанров он является органичным компонентом системы общественного языка. Присущие ему закономерности не противоречат тенденциям развития последнего, напротив, они во многом их подтверждают, дополняют, позволяют увидеть в новом ракурсе. Как следует из материала, речевой стандарт диалогических компьютерных текстов в целом соответствует направленности изменения вербального стандарта современной публичной коммуникации — мы имеем в виду его «массовизацию», «усреднение», усиление экспрессивности, снижение пафосности текста и т. п. (см.: [Нешименко 2001; 2003a]).

Изучение языковой специфики компьютерного общения, несомненно, является важной задачей современной лингвистики. Можно лишь удивляться тому, что данная проблематика, как это ни парадоксально, до сих пор продолжает оставаться на периферии исследовательского интереса<sup>9</sup>. Нередко приходится сталкиваться со скептическим, легковесно-пренебрежительным отношением к научной целесообразности разработки данного явления. При этом практически не учитывается, что коммуникативная и социальная значимость, масштабы использования компьютерного общения стремительно увеличиваются, возрастают и вовлеченность в него молодежи, а, как известно, именно речевое поведение молодежи является мощным импульсом изменения речевого стандарта социума в целом.

Исследование компьютерного языка сопряжено с немалыми трудностями. И дело здесь не только в том, что речь идет о весьма сложном, многоаспектном, гете-

рогенном по своей природе явлении, вербальное обеспечение которого варьируется в зависимости от целей коммуникации, ее условий, адресата, тематики, жанра, наконец, от скорости прохождения информации по коммуникативному каналу.

Для постижения сути данного феномена, находящегося на стыке различных научных дисциплин (социолингвистики, психолингвистики, лингвистики как та-ковой, лингвокультурологии, теории коммуникации, информатики и т. п.), помимо обширной базы данных, необходимо и владение комплексной, интердисциплинарной методикой, соответствующим понятийно-терминологическим аппаратом. Использование традиционных приемов работы с языковым материалом здесь не всегда себя оправдывает.

Большим упущением, на наш взгляд, является отсутствие сопоставительного изучения данного феномена. Между тем проведение сопоставительного системно-функционального анализа, особенно на материале близкородственных языков, позволит установить, как в них решаются **идентичные** коммуникативные задачи. Именно идентичность коммуникативных задач и может стать в этом случае своеобразным *Tertium Comparationis*.

Ограниченнность объема настоящей статьи не позволяет нам рассмотреть интересующее нас явление во всем его многообразии. Это выполнимо лишь в рамках специального, развернутого исследования, которое в дальнейшем мы постараемся осуществить<sup>10</sup>.

В связи с этим из множества реализаций компьютерного языка мы остановимся лишь на той, анализ которой, по нашему мнению, наиболее важен для установления лингвистической природы языка компьютерного общения, а также его статуса в системе этнического языка.

Мы имеем в виду компьютерную **диалогическую** речь, манифестируванную в таких видах электронного общения, как так называемые телеконференции, или же форумы, на которых публично обсуждается заранее установленный круг проблем (назовем выборочно некоторые темы: о вреде мониторов; как обмануть телефонный автомат; сколько стоит пользование интернетом и пр.), а также адресное скоростное электронное общение в режиме «он-лайн» (ICQ), включая так называемые «чаты» (в чешском профессиональном сленге это *pokec*, а также *kес*;ср.: *ahoj lidicky tak co je tu nekdo na pokec?* — русский сленговый аналог: *болталки* или же просто *треп*).

Иными словами, в поле нашего зрения будут находиться компьютерные тексты с реальными или же виртуальными признаками **диалогического** общения. Именно их статус мы и постараемся установить, привлекая для этой цели факты чешского и русского языков<sup>11</sup>.

Решение поставленной задачи будет осуществляться с помощью методического подхода, примененного нами в монографиях: [Нещименко 1999; 2003]. Принципиально важным для нас является тезис о **бинарном** строении системы этнического языка, состоящей из двух автономных подсистем: языкового обеспечения высших коммуникативных и культурных функций (регулируемое речевое поведение) и непринужденного повседневного общения (речевое поведение **нерегулируемое**).

гулируемое или же с ослабленной регулируемостью), манифестируемое широко трактуемым понятием «разговорный язык».

Анализ фактического материала проводился с учетом двух оппозиций: «регулируемое — нерегулируемое речевое поведение», а также «монологическая — диалогическая речь»<sup>12</sup>.

Не можем не отметить, что названные оппозиции, применяемые комплексно, весьма эффективны при решении широкого спектра научных проблем, в частности функциональной дифференциации этнического языка, эволюции речевого стандарта социума, сопоставительном изучении языковой ситуации и т. д.

Первая оппозиция основывается на противоположении типов **речевого поведения** индивидуума. Под регуляторами речевого поведения имеются в виду как **внешняя языковая цензура**, т. е. коррекция речевого поведения индивидуума, осуществляемая извне, так и **автоцензура**, т. е. **самоконтроль (автокоррекция)** индивидуума за своим собственным речевым поведением, использование им определенной коммуникативной стратегии, языковой игры, речевых масок и пр. Забегая вперед, скажем, что в диалогической компьютерной речи представлены оба вида регуляторов речевого поведения.

Вторая оппозиция («монологическая — диалогическая речь») противополагает типы **текстовой структуры**. Вслед за Л. В. Щербой мы считаем, что диалогическая речь состоит из цепи реплик, отражающих взаимные реакции двух общающихся между собой индивидов, реакции спонтанные, определяемые ситуацией или же высказыванием собеседника (ср.: [Щерба 1957: 115]). Важнейшей приметой диалогической речи, отличающей ее от речи монологической, является установка на непосредственную реакцию партнера, речевое взаимодействие с ним, что влияет на характер используемых языковых средств.

Важной для нас является и дифференциация диалогической речи на исконную и неисконную: первая представляет собой чередующуюся последовательность реплик и реакций **разных индивидуумов**; вторая целенаправленно выстраивается **одним лицом**, т. е. автором.

Речевое поведение участников непринужденного повседневного общения характеризуется **нерегулируемостью** (или же ослабленной регулируемостью). Именно здесь отмечаются исконные диалогические тексты со всеми присущими им атрибутами (непринужденность, спонтанность, психологическая внезапность и экспрессия, в своем роде поток сознания).

Принципиально важной в этом виде общения является установка на **непосредственное, контактное взаимодействие** с коммуникативным партнером. Появление любого физического препятствия, мешающего наблюдению за реакцией собеседника (стена, закрытая дверь и пр.), использование любого технического устройства, опосредующего общение (телефон, телеграф, факс, пейджер, автоответчик и пр.), как правило, нарушают коммуникативный контакт между партнерами, лишают их ценной невербальной информации друг о друге (мимика, жестикуляция, выражение глаз и пр.). Утрата атмосферы непринужденности неиз-

безно влечет за собой «включение» автокоррекции. Роль сдерживающего фактора играет, на наш взгляд, и графическая фиксация речи (письмо, записка и т. д.).

Добавим к сказанному, что данный вид общения ориентирован на **индивидуального**, а не публичного адресата. При этом зачастую собеседников объединяет наличие некоторой идентичной исходной информации о партнере (профессиональная общность, сходство интересов, привязанностей и пр.).

Таким образом, к числу дифференциальных признаков непринужденного повседневного общения относятся: нерегулируемость (или же ослабленная регулируемость) речевого поведения; установка на непосредственное, контактное взаимодействие с коммуникативным партнером; непринужденность, спонтанность, психологическая внезапность, экспрессивность общения; отсутствие опосредованности общения; ориентация на индивидуального (а не публичного) адресата; наличие некоторой идентичной исходной информации о собеседнике (профессиональная общность, сходство интересов, привязанностей и пр.).

С учетом названных выше установочных ориентиров, а также перечисленных дифференциальных признаков непринужденного повседневного общения мы попытаемся ответить на ряд важных, с нашей точки зрения, вопросов:

- Можно ли отнести компьютерный диалог к непринужденному повседневному общению?
- Какой тип речевого поведения (регулируемый или же нерегулируемый) манифестирует собой компьютерный диалог?
- О каких видах речевой коррекции может идти речь в случае отнесения компьютерного диалога к регулируемому речевому поведению?
- Какое место в системе этнического языка занимает компьютерный язык и конкретно компьютерный диалог?

Ответить на поставленные вопросы не просто. Как уже отмечалось, компьютерная диалогическая речь — явление противоречивое, симбиотическое. С одной стороны, ей присущи некоторые субстанциональные признаки непринужденного повседневного общения, в связи с чем ее зачастую относят именно к этой сфере коммуникации. С другой стороны, как мы постараемся показать ниже, по целому ряду важнейших параметров она выпадает из этого ряда, стоит особняком.

Рассмотрим ниже некоторые проявления «особости» компьютерного диалога, отличающие его от непринужденного повседневного общения, т. е. разговорного языка.

### *1. Компьютерное общение представляет собой одну из разновидностей опосредованной коммуникации*

Опосредованность общения влечет за собой определенную отстраненность субъекта, делает его зависимым от используемого опосредующего устройства. В функции подобного компонента выступает компьютер, вернее, система компьютеров, работающих в связке: текст набирается с помощью клавиатуры, выводится

на монитор и в дальнейшем с помощью использования определенной технологии передается по каналам коммуникативной связи адресату или же адресатам.

При подобной технологии общения участники коммуникативного акта «привязаны» к компьютеру как к опосредующему устройству. Мало того, в любой момент может произойти сбой или даже обрыв связи, вызванный техническими неполадками, вмешательством модератора (см. ниже), сознательным прекращением коммуникативного контакта, сигналом чего является лаконичное *logout*.

Использование электронной (графической) фиксации текстов интерактивного диалогического общения может создавать определенные неудобства для лиц, недостаточно хорошо владеющих клавиатурой (ср., например, ремарки коммуникантов: *Promiň, trvá mi trochu déle hledat písménka; píšu pomalu; Извини, я пишу медленно и пр.*)<sup>13</sup>. У массового пользователя интернета это обстоятельство может препятствовать непринужденности общения. Для носителей чешского языка помехой является невозможность фиксации (в большинстве компьютерных текстов) чешской диакритики<sup>14</sup>, а также несколько иное (по сравнению с английскими графемами) расположение на клавиатуре клавиш, соответствующих «з» и «у». Для русского пользователя трудности могут создавать необходимость использования латинской транслитерации (разумеется, если речь не идет о русскоязычном интернете).

## 2. Компьютерный диалог представляет собой одну из разновидностей публичного общения

В отличие от повседневного непринужденного общения, дискурс которого относится к **непубличной** интерперсональной коммуникации, подавляющее большинство компьютерных диалогов имеет характер публичного общения, причем нередко один и тот же индивидуум одновременно может общаться с несколькими адресатами; ср. общение по ICQ («Новая газета» 3/2000): *Коля, погоди, я тут щас раскидаю людей — с 4-мя сразу общаюсь.*

При анализе компьютерных текстов целесообразно разграничивать:

- Диалоги с **изначальной** публичностью, характерные, например, для телеконференций, адресованных широкому кругу пользователей интернета. Иллюстрацией этого является призывающая ремарка: *Читать всем!*, предваряющая форум на тему *О конкретном вреде crt мониторов* (ноябрь 1999 г.), в котором приняли участие 34 человека, среди них были как профессионалы, так и любители, имеющие некоторое представление об обсуждаемом предмете;
- Диалоги с публичностью **секундарной**, когда тексты интерперсонального общения по своему воспроизведению становятся доступными и остальным участникам «чата», т. е. приобретают вторичную публичность.

В тех случаях, когда публичность воспроизведения мешает более интимному общению, можно перейти на индивидуальный канал, т. е. «пошептаться». Предложения «пошептаться» зафиксированы в имеющихся у нас текстах — *a ne хочешь ли ты пошептаться?* Об этом же пишет и Л. Гашова: «Чаты на интернете,

как правило, состоят из публичной и не публичной, частной, части. Публичная часть включает выступления в дискуссии, которые на своем компьютере может видеть каждый подключившийся к интернету. Дискутировать, однако, можно и шепотом, т. е. перейти на индивидуальное общение. В этом случае текст адресуется лишь одному конкретному человеку, другим же участникам он становится недоступен» ([Našová 2004] — перевод наш. — Г. Н.).

Таким образом, при компьютерном общении адресат может быть **индивидуальным** (например, адресная монологическая электронная почта; упоминавшийся выше «шепот» и пр.), **массовым**, т. е. публичным, и, наконец, **групповым**, корпоративным (например, общение профессионалов-системных операторов<sup>15</sup>).

От контингента участников коммуникации во многом зависит и характер речевого стандарта. Так, на «чатах», где, как правило, общается молодежь, широко используется молодежный сленг; ср., например, *gympl*, но и *z gymnasia*; *z matiky*; *klido přileť se podívat*; *bezva*; *mám furt sedět u televize*; *přeju brou* (*dobrou noc*); *přijedu na dvě hodky* (*hodiny*)<sup>16</sup> и пр. В диалогах компьютерщиков-профессионалов высокую частотность имеет профессиональная терминология, в том числе и в сленговой манифестации: *часто от комна отвлекаюсь*; *зрение упало, но не от монира*; *Работала по 8 часов за монирами* и пр. Ср. также: АS>> *Интересует примерная розничная цена. Лучше отвечать мылом. :)* // СР>>> *Есть у кого-нибудь hands-on experience по части замеров скорострельности?* // DN> *Самое прикольное в том, что если после установки NT загрузить DOS с дискетки и сказать SYS C: — то NT-й больше не будет, пока не отрапортишь ее* // ВВ> *По моему, если без ключиков, то она начинает сама пытаться детектить сей девайс*, а если с ключиками, то она верит тебе на слово и не делает этого : -) // РК>> CD-ROM. Ладно, лезу в *tedit*, вручную протисываю в *config.sys* *драйвер* — все находит и пошла *инсталлиться* дальше. Это для простого *узера*? // ИБ>>> *Я никуда не наруливаюсь*. Если ты подумаешь немного, то ты поймешь, что в конфликте с Ягодиным я защищаю в первую очередь свои интересы. // А1>> *Это не после той исторической «стрелки»? :)* // СР>> *И никто из перечисленных товарищей никаких трудностей по этому поводу не испытывал. Кроме горбухи виндоуз нью технологжи*, который без *мэдосса* просто не живец. Крутая бредятина. // КВ> *a 5080/53 отфорвардил это его письмо сюда, а Базиль, надев шапку (sic!)*, это письмо откомментировал.

Широко используются в компьютерном общении англицизмы как адаптированные, так и неадаптированные (некоторые из них мы приводили выше); ср. также тексты «молодежных» чатов: *zachraňuji ve schoole co se dá*; *sorry ale ještě něco dělám*; *hned budu OK*; *Tak kdo change ty čísla???*; Умные доктора сказали, что с глазами все *ok*, оба глаза *ok* и пр.

### 3. Хронологический регламент компьютерного диалогического общения

Компьютерные диалоги могут проходить как единовременно, т. е. в режиме «он-лайн», так и с разрывом во времени. В последнем случае хронологический

разрыв между репликами может достигать даже нескольких дней. Приведем в качестве примера хронометраж реплик на форуме, посвященном crt мониторам, упоминавшемся нами выше. Поставленная проблема обсуждалась в течение нескольких дней: 25.11.1999 (17.17; 17.27; 19.18; 20.28; 21.45); 26.11.1999 (00.55; 06.38; 17.23; 22.22); 27.11.1999 (18.27; 19.17; 19.44; 19.46; 22.43; 23.15; 23.45); 28.11.1999 (00.11; 14.55; 15.34; 18.20; 22.04); 29.11.1999 (02.55; 10.27; 10.31; 11.23; 11.27; 11.33; 11.40; 11.45); 30.11.1999 (00.03; 13.19; 13.30; 14.42; 14.47; 14.53; 15.37; 16.27). Вполне естественно, что при таком временном режиме диалогическая речь, по сути, превращается в монологическую.

Жесткая временная регламентация, характерная для общения в режиме «онлайн», не может не оказывать влияния на используемый выразительный ряд; ср. следующую авторскую ремарку («Новая газета» 3/2000): *Читатель, не ищи здесь опечаток. Когда общаяешься по «аське», меньше всего думаешь о строчных и прописных буквах (когда это не затрагивает смысла)... Мы общались через Интернет с помощью программы Ай-си-кью (что-то похожее на обмен телеграммами через тысячу с лишним километров в режиме реального времени. Здесь своя грамматика, свои шутки, свой стиль). Мысли приходится формулировать кратко, думать быстро. Это как турнир по быстрым шахматам.*

В указанном случае есть все основания говорить о «скорописи», приводящей к нарушению привычных стандартов правописания, устраниению всего «избыточного» — например, опущение диакритики в чешском тексте, игнорирование знаков препинания, прописных букв; ср. чат: [20:52] *<uno> azuritek, vcera jsem byl v Londýne na nejakem kurzu, kde se rikalo, ze v CR je v prelosti na obyvatele nejvetsi podil internetu v cele vychodni astredni evrope* (ср. также нарушение правил сегментации: *astredni*). Впрочем, быстрая речевая реакция отнюдь не гарантирует непринужденности общения.

Временная регламентация стимулирует и использование компактных обозначений, например, англоязычных аббревиатур типа *IMHO* ‘In My Humble Opinion’, или же ‘по моему скромному мнению’; *SYS* ‘See You Soon’, ‘до встречи; скоро увидимся’ и пр.; ср. в контексте: *с телевизором, имхо, проще в плане отдыха — можно посмотреть на жующих попкорн домочадцев; сильно ИМХО заниженная оценка* и т. п. Повышается и фреквенция употребления универбов; ср.: *Не, для этого достаточно не зацикливаться на одной операционке :-)* (*операционка* ‘операционная система’); *hledám dírivity na zvukovku* (*zvukovka* ‘управляющая программа для звуковой карты’).

#### *4. Затрудненность (отсутствие) контактного взаимодействия при компьютерном диалогическом общении*

Важным отличием компьютерного диалога от обычной диалогической речи является отсутствие необходимой информации о собеседнике. Установление аудио-визуального контакта между коммуникантами практически является невозможным, несмотря на использование различного рода ухищрений, в том числе и

невербальных компенсаторов. Сказанное усугубляется еще и анонимностью общения, поскольку его участники, как правило, выступают под различными псевдонимами («никами», англ. *nickname, nick*;ср. в чешских текстах: *azuritek, brouk, dub, kecara, hugozhor, mystik* и даже *samizdat*). Не можем, однако, не отметить, что, по нашему опыту, интеллектуальный уровень большинства диалогов на чате является крайне примитивным.

Отсутствие непосредственного аудиовизуального контакта между коммуникантами, невозможность апеллирования к ситуативным реалиям окружающего мира и пр. повышает значимость вербальной и — в данном случае прежде всего графической составляющей общения<sup>17</sup>. Это выражается в использовании различного рода компенсаторов. Назовем, к примеру, автохарактеристики, конкретизирующие внешний вид собеседника: *jsem vysokej, modrý oči a špinavej blond* (перевод: я высокий, с голубыми глазами, волосы русые); *jak vís, že to byla bruneta? Pouze se domnívám* (перевод: откуда ты знаешь, что это была брюнетка? Я только предполагаю).

Чаще же всего применяются следующие виды компенсаторов, восполняющие недостающую информацию:

#### — использование пиктограмм, так называемых смайликов

Пиктограммы, назначением которых является восполнение информационного дефицита, фиксируют реакцию собеседника, его отношение как к коммуникативному партнеру, так и к предмету повествования. Ср. некоторые из них: :-) ‘Ваша основная улыбка’; :-))) ‘очень широкая улыбка’; :-( ‘хмурая физиономия’; :-((( ‘очень хмурая, недовольная физиономия’ и пр. Набор пиктограмм достаточно широк, однако не все они используются с одинаковой частотностью.

Потребность в пиктограммах является дополнительным подтверждением значимости контактного взаимодействия (*face to face*) коммуницирующих (см.: [Нещименко 1998]).

#### — использование графических способов фиксации информации

Имеется в виду применение разновеликих шрифтов, повторного употребления букв и пр. Ср. (фиксация интонации, экспрессии) *Mej se kraaaaaaaaaaaaaasné, a!* *se Ti dílo dárí; koneec; táák; ahóóój;* [21:05] *⟨Siki⟩ HANA АНАННА;* [21:05] *⟨Siki⟩ HUUU;* [21:05] *⟨Siki⟩ HUHUUH;* [21:05] *⟨Siki⟩ CHAA CHAA;* [21:05] *⟨kecara⟩ HEEEEEE;* [21:05] *⟨Siki⟩ CHUUU;* [21:06] *⟨Siki⟩ CHUUU;* Людииии!!!! Я просто со смеху умираю!!! Это просто невыносимо!; (фиксация логического ударения) *LS>>> полез и нашел бутылку ВОДКИ :)* а я даже не знаю откуда она там взялась :) лежала себе мирненько, заваленная всякой макулатурой и прочим шитом придется теперь ее пить :); *LS> когда ты меня встретил я был с совершенно ДИКОГО бодуна — бутылка водки без закуски и пять часов сна из которого вырвали;* *AR> Давеча видел мессаги оного... В локалке Орла, по-моему.. Как?! COBSEM?!* Т. е. даже не выпилиши?! НЕ ВЕРИО! Такого не бывает..).

При компьютерном диалоге практически невозможным является коммуникативное приспособливание партнеров, хотя определенные попытки установления

своебразного речевого этикета все же могут предприниматься; ср. диалог в режиме ICQ двух, ранее не знакомых друг с другом русских журналистов, один из которых находится в Японии, другой — в Москве («Новая газета» 3/2000): *Итак-с! Как мы будем друг друга называть? Дмитрий — Николай или Митя — Коля? Ты или вы? Ты же знаешь, что в Сети разницы нет.*

Дефицит информации может восполняться созданием виртуального образа собеседника, домысливанием его внешнего вида, вкусовых пристрастий (Там же): *Митя: Ну, окей. Кстати, извини, что я в плавках — у нас тут жара 37:)); Митя: щас кофе налью. Тебе с сахаром? :-) — Ко: J))* — с лимоном, я с сахаром не пью.

В определенном смысле есть даже основания сомневаться, является ли компьютерный диалог исконным диалогом, а не особой разновидностью виртуального общения.

### *5. Компьютерный диалог как особая разновидность сознательно выстраиваемого интерперсонального общения*

Как показывает анализ материала, компьютерный диалог представляет собой особую разновидность регулируемого речевого поведения, коммуникативная стратегия которого выстраивается как с помощью **внешней** коррекции речевого поведения, так и **автокорреции** (автоцензуры), т. е. коррекции, осуществляющей самим продуктором вербального текста с учетом специфики жанра коммуникации. С этой точки зрения, степень речевой свободы в определенном смысле является иллюзорной.

Рассмотрим механизм действия речевых регуляторов:

#### **A. Внешняя коррекция речевого поведения**

Говоря о внешней коррекции, мы имеем в виду прежде всего деятельность незадокументированного, в большинстве своем анонимного **ведущего**, или же **модератора**.

В «Толковом словаре вычислительной техники» (1997 г.) деятельность ведущего, или же модератора, определяется следующим образом (перевод наш): «Это лицо или же группа лиц, осуществляющих руководство дискуссией в так называемой управляемой (модерируемой) дискуссионной (электронной) группе. Модератор стремится, чтобы дискуссия проходила корректно и по-деловому. В связи с этим все выступления в дискуссии, прежде чем их получат остальные ее участники, всегда проходят через модератора. Последний принимает решение, не нарушает ли данное выступление или же ответ на него правила, принятые в данной дискуссионной группе. При повторном или же слишком вызывающем нарушении правил он имеет право вообще исключить данного участника из дискуссии в этой группе. Участие в дискуссионной группе, руководимой модератором, зачастую предполагает соблюдение особых правил, распространяющихся на всех ее участников (подключение осуществляется на основе пароля, предоставляемого модератором)» [Výkladový slovník 1997: 266]. Именно модератор принимает решение и

об использовании псевдонима; ср.: YD> *A что, кстати, в R50.SYSOP уже можно только псевдонимами пользоваться? — Насколько я знаю, это всегда остается на усмотрение модератора. Впрочем, на клудж рилнейм ты не обратил внимание?*

Л. Гашова в упоминавшейся выше статье пишет, что каждый дискуссионный клуб в интернете, как правило, имеет своего модератора, или управляющего, обязанностью которого является руководство деятельностью клуба. Он может по-своему направлять дискуссию, определять ее тему. Кроме того, он имеет право «стирать» из ее публичной части те выступления, которые ему по какой-то причине кажутся неподходящими. Основанием для этого может служить, например, тот факт, что кто-то из участников дискуссии напишет текст, не подходящий по своей тематике для данного клуба. В другом случае причиной является излишняя вульгарность высказывания и т. п. В заглавии каждого дискуссионного клуба обычно указываются правила ведения в нем дискуссии (в том числе для чатов, разговоров), установленные модератором. В том случае, если кто-нибудь из участников дискуссии повторно нарушает эти правила, модератор может раз и навсегда запретить ему вход в свой клуб (во всяком случае, до тех пор, пока этот недисциплинированный участник не придумает себе новый псевдоним и новый входной пароль)».

Уделяя столько внимания роли модератора, мы хотели показать, что при всей непринужденности общения на чатах и вообще в дискуссиях, оно отнюдь не является неким нерегулируемым потоком сознания. Здесь действуют достаточно строгие правила<sup>18</sup>.

Приведем в качестве иллюстрации полемику между модератором и участником чата: (модератор — М.) *Budu muset uymajznot —* (участник — У.) *a proč zrovna já;* (*M.*) *jenom potřebuji, aby jsi se na chvíli odhlásila z místnosti* — (*U.*) *haha, promiňte, iž se budu chovat slušně a nebudu říkat intimnosti* (перевод: Я должен буду тебя вычеркнуть. — Ну, почему именно меня!; Необходимо, чтобы ты на какое-то время вышла из дискуссии. — Ха-ха, простите меня, я буду вести себя прилично и не буду говорить интимности).

Иногда участники чата «заигрывают» с анонимным модератором, провоцируют его, намеренно употребляя бранные слова. Впрочем, обычно это заканчивается плохо для «провокатора», которого исключают из дискуссии: [21:17] \* *Siki vas pozdraviuje od BROUKA — uz bohuzel neprijde* — [21:17] *(Siki) robot ho pro dnesek vyhodil totalne* (ср.: Сики вам передает привет от Броука (жука) — к сожалению, он уже не придет; (Сики) на сегодня его робот выбросил totallyno).

Судя по имеющимся у нас текстам чатов (а также на основании нашего собственного опыта), модератор внимательно контролирует выступления его участников; ср. его ремарки: *Вы не участвовали уже 180 секунд. Если не проявите активность в течение последующих 180 секунд, вы будете исключены и далее следует категоричное указание: Вы исключаетесь из-за длительной неактивности.*

Впрочем, не только участие модератора свидетельствует о регулируемости речевого поведения на чатах. Не менее существенной является автокоррекция самого участника компьютерного диалога, случаи которой нами будут рассмотрены ниже.

## Б. Автоцензура (автокоррекция) речевого поведения

Анализ имеющегося у нас материала наглядно подтверждает, что, несмотря на ускоренный темп общения при компьютерном диалоге, его участники все же успевают работать с продуцируемыми ими текстами. Проводя целенаправленную коммуникативную стратегию, языковую игру, они, например, намеренно искажают написание слов; ср.: *to je sparvny* (вм. *správny*), *zorvna* (вм. *zrovna*), *mrtfola* (вм. *mrvola*), *odfcerejška* (вм. *včerejška*), *ftip* (вм. *vtip*), *bafte se* (вм. *bavte se*), *fšem* (вм. *všem*), *je mrtfo* (вм. *mrtvo*), *řekni ftip* (вм. *vtip*), *pifko* (вм. *pivko*), *přeqapení* (вм. *překvapení*), *žádná sradan* (вм. *sranda*). Чаще всего это перестановка букв; замена *v* на *f*, иногда *kv* на *q* и пр., нарушение сегментации речевого потока на отдельные слова; ср.: *to žsamý*; *tosebudemedneska střidat* и пр. Сюда же относятся и случаи произвольного усечения структуры слова, упоминавшиеся нами выше (*комп*, *монир*; *hodka*, *telka* и пр.). Встречаются и случаи внесения правки в только что написанный текст:

- [20:57] (Azuritek) *jsme tu resil problem s telefonama*
- [20:58] (Azuritek) *jsem tu resil problem s telefonama*
- [20:58] (Siki) *jakej ??*

В большинстве своем компьютерные диалоги насыщены экспрессией, например: *И только самая современная наикрутейшая супер операционная система* или же *dominantou skutečně obrovitánánánských rozměrů* и множество подобных текстов.

Особое место в коммуникативной стратегии участников компьютерных диалогов занимает использование ими различного рода «уловок», намеренной смены речевых ролей и «масок», своеобразной языковой игры, «народных» этимологий<sup>19</sup>, обыгрывающих внутреннюю мотивацию наименования. Ср.: *browser* — рус. *браузер* — чеш. *Prohlížeč*, т. е. дословно ‘просмотрщик’ (и соответственно эквиваленты в русском компьютерном сленге *бродилка*, *смотрелка*, т. е. воспроизведен ономасиологический признак, отраженный в чешском терминологическом обозначении), или же *windows* — дословно ‘окна’ и использование соотносящегося с ним признака, образа ‘стекло’ в русском и чешском компьютерном сленге: русск. *стеклить*, *застеклить* ‘поставить Windows’, чешск. *psát na sklo*, *připojít se na sklo* ‘писать на мониторе, экране, чеш. *obrazovка*’ (ср. также чешск.: *Já mám úplný vokno*, где обиходно-разговорное *vokno* обозначает *Windows*). Ср. также *мелкософт* вм. *майкрософт* и пр.

Речевое поведение участников компьютерных диалогов зачастую является нарочитым. Это проявляется не только в описанных выше случаях языковой игры. Обращает на себя внимание напускная речевая небрежность (что, разумеется, не исключает реальных, т. е. непреднамеренных ошибок, о чем уже говорилось выше), широкое включение просторечных элементов у русских участников интернета; ср.: *цас*; *ваше ниче* не понял; если человек не понимает моральных норм стукачества, *дых* может *воопче* такой прецедент был-то от силы раза 2; *Ну дак* вот в добавок; и еще *чё-то* сложное; *Чегой-то* жив пока и имею двух здоровых детей; *ужо* своими страшилками; *ктонить* и множество подобных примеров.

Принципиально иной характер имеет включение элементов феномена obecná čeština в текстах чешских компьютерных диалогов. Это обусловлено прежде всего спецификой положения данного идиома в чешской языковой ситуации. Как известно, obecná čeština имеет несопоставимо более высокий социолингвистический статус, чем русское просторечие. По сути, она является узусом повседневного общения основной массы носителей чешского языка. В силу сказанного ее употребление не является чем-то из ряда вон выходящим, скорее можно было бы удивляться, если бы участники чатов вдруг заговорили на литературном языке.

Как мы уже говорили выше, по «чатовским» текстам можно судить о распределении примет феномена obecná čeština в узусе:

*(é > ý) trojkový číslo; to pak bude těžký; tak to by bylo výhodný; já mám šílený úcta; v Kutný hoře jsou prima kostely; но и já jsem z Kutné hory;*

*(ý > ej): (во флексии) levnej; náročnej; vychovanej; nebud' sprostej; prej; má stejnej názor; já jsem připojenej; taky byl vdyckyňákej dobrej pokec; barevné toner do tiskárny; pardubickej dealer; (в корне) bějavá; cejtíl; tejden;*

*(прототипическое “v”) koukal z vokna; vobčas něco zapomenu; kecal vo fotbale; vo čem je řeč; vodkad pak seš; neboj, já si tě vohlidám; abyh tě nemusela zase votravovat (проводится не всегда последовательно);*

*(флексия в тв. мн. ma, очень высокая частотность) s téma prachama; s jakejma; jakej je rozdíl mezi windowsama; problém s telefonama; s rodičema; s reklamama; s bramborovejma knedlíkama; tak mě ti lidi ubijou otázkama; s dvěma vikendama; jak to vypadá s vízama?*

Приведем для наглядности пример из общения на чате:

[20:50] <Petra> maji sice urcity meze ale muzou si diktovat;

[20:47] <Brouk> Azuritek: Ty si se zblaznil, ne? Radej kdyby to zustalo tak jak to je :o))

[20:47] <Petra> ale je to monopol a my jsme jen malý lidicky

[20:58] <Azuritek> jsem tu resil problem s telefonama

[20:58] <Siki> jakej ??

[20:42] <Azuritek> aha tak to pak bude tezky

Одним из характерных проявлений регулирующего влияния автокоррекции в языке компьютерных диалогов служит намеренная смена речевых масок, представляющая собой своеобразную языковую игру, сопровождаемую целенаправленно проводимой речевой стратегией. Подобное явление становится возможным благодаря анонимности общения в интернете.

Анонимность собеседников позволяет им менять свое ролевое и речевое поведение, маскирует их реальную возрастную и половую принадлежность: «Ниаких реальных имен, никаких реальных лиц — в чатах все участвуют под своими произвольно выбранными псевдонимами. Чат — самый оперативный способ для встреч, для завязывания знакомств. При этом Вам даже не надо выходить из дома, удаляться от своего компьютера. Вы можете одновременно болтать с сотнями людей во всем мире. Причем эти люди могут выдавать себя совсем не за того, кем они на самом деле являются, одновременно они могут выступать под разными псевдонимами, мужчина, например, может выдавать себя за женщину. Пользуясь псевдонимами, они позволяют себе хорошенько “отвязаться”, а может

быть, даже и излить на других свою ярость. И робкий мальчик здесь, в интернете, не оглядывается на запреты, делая вид, что ему все напочем» («Magazín Práva» 30.06.2001. — Перевод наш. — Г. Н.).

Очевидным является и психологическое воздействие общения по «чату»: *když na mě přijde depka, skočím na chat a hned se dostanu do nálady* («Magazín Práva» 30.06.2001); ср. перевод: когда на меня находит депрессия (в тексте используется экспрессивный эквивалент к *deprese* — *depka*), бросаюсь к чату и сразу же настроение исправляется.

В заключение мы хотели бы отметить, что проведенный анализ подтверждает наличие сходства между текстовой структурой компьютерных диалогов и разговорным языком. Иллюстрацией этого являются многочисленные включения из профессионального и молодежного сленга, обиходно-разговорной речи, вплоть до русского «просторечия» и пр. Именно эта их особенность зачастую становится для исследователей своеобразным «манком». Между тем в главном — а именно в типе речевого поведения — они существенно отличаются от непринужденного вербального общения, причем различия эти касаются важнейших параметров речевого поведения.

В разных жанровых разновидностях компьютерного общения речевое поведение может быть регулируемым, квазинерегулируемым и лишь в незначительной степени нерегулируемым.

Сказанное дает нам основание говорить о компьютерной диалогической речи, равно как и о компьютерном общении вообще, как о новой, формирующейся, специфической разновидности опосредованного общения, детальное изучение которой ждет и, несомненно, дождется своего непредвзятого исследователя.

По своим субстанциональным и функциональным признакам, степени речевой регулируемости язык компьютерных диалогов принципиально отличается от языка такой разновидности электронной коммуникации, как так называемая «сетевая литература» (художественная, информационная, рекламная, Интернет-газеты и пр.), не ориентированной на двусторонний коммуникативный контакт. Отличается он и от языка общения с помощью мобильного телефона, факса, автоответчика и пр., характеризующегося отчетливо выраженной монологичностью структуры текста. Компьютерные диалогические тексты стоят особняком и по отношению к текстам адресной электронной почты, также имеющим монологичную текстовую реализацию.

По своему положению в системе этнического языка язык компьютерного общения и, в частности, компьютерная диалогическая речь как одна из его реализаций является связующим звеном между обеими его подсистемами — регулируемого и нерегулируемого речевого поведения (см. выше). Подобное промежуточное положение является дополнительным свидетельством **континуальности** языковой системы, наличия в ней плавного перехода от одного коммуникативного ареала к другому.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Данная статья является фрагментом исследования, проводившегося при финансовой поддержке РФФИ, грант № 501-06-80043а, а также РГНФ, грант № 02-04-00274а.

<sup>2</sup> У компьютерного общения были, впрочем, свои, весьма несовершенные предшественники. Об одном из них упоминает М. А. Булгаков в фельетоне «Неунывающие бодистки» (*М. А. Булгаков. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. М., 1992. С. 530—531*): «Есть такой аппарат системы Бодо. Чрезвычайно удобная штука для телеграфирования. Вы, к примеру, сидите в Киеве, а ваша подруга у аппарата в Москве. И обеим на дежурстве до того скучно, что глаза пупом лезут. И аппарату тоже не чERTA делать. И вот вы пальчиками начинаете колдовать по клавишам, и получается очень интересный разговор: Киев (начинает): *Трык, трык...* Это ты, Лиза?.. Здравствуй, милашка — Москва (приятно удивлена): *Неужели ты, Оля?.. Ну, расскажывай, какие новости и т. д.*».

<sup>3</sup> Статистика приведена в «Новой газете», № 12 за 2001 г. Эта же газета сообщает, что по недавним сведениям Global reach пользователи интернета в России составляют всего лишь 2,3 % их общего числа в мире (для сравнения: в Италии их 3,1 %, в южной Корее — 4,2 %, немецкоязычных пользователей интернета — 5,5 %). По числу сайтов на 1000 человек России потребуется (по самым оптимистичным прогнозам) примерно пять—восемь лет для выхода на мировой уровень. Напротив, в США компьютер стал одним из основных источников информации, так как интернетом здесь пользуются более 150 млн человек (ср. также: «Новая газета» 67/2001).

<sup>4</sup> Ср., например, высокую частотность использования универбов вместо громоздких многословных номинаций.

<sup>5</sup> Не случайно в словаре неологизмов новейшего времени [Nová slova v češtině 1998] весьма многочисленна лексика, используемая в компьютерном общении, в том числе и терминологическая номенклатура.

<sup>6</sup> Можно лишь сожалеть о том, что по не зависящим от нас обстоятельствам не состоялся доклад, заявленный нами на XIII съезд славистов в Любляне (2003 г.): «Язык компьютерного общения в контексте развития языковой ситуации на рубеже веков».

<sup>7</sup> Приведем выборочно некоторые ошибки: (чешск.) *s tim bych se uz nezabíval; tak ti uz moc nezbýva; ale dost reci o jidle, aby ti to nebylo lito; abys nesco vymísel* (мы намеренно приводим наиболее типичную для чехов орфографическую ошибку, связанную с неразличением на слух так называемых «твёрдого» и «мягкого» i); ср. также russk. *модификация, искриний, работадатель, обрадывать, кто хочет попалемировать* и пр. Число примеров можно увеличить.

<sup>8</sup> Лица старшего возраста избирательно относятся к жанрам компьютерного общения. Так, они практически не участвуют в «чатах», электронная почта воспринимается ими как ускоренная переписка.

<sup>9</sup> Из числа известных нам монографических описаний назовем работу К. С. Эклунд [Eklundh 1986]. Заслуживают внимания публикации на данную тему чешских ученых. Выборочно укажем некоторые из них: [Uhlířová (a) 1994; Uhlířová (b) 1994; Bozděchová 1997; Čmejrková 1997; Králík 1997]. Интерес представляют работы Л. Гашовой; ср., в частности [Hašová 2004].

<sup>10</sup> Замысел написания подобного исследования сформировался у нас довольно давно, что подтверждают некоторые публикации, указываемые в списке литературы. В связи с этим нами систематически проводился целенаправленный сбор материала. К сожалению, совокупность неблагоприятных внешних обстоятельств мешала осуществлению этого намерения. Так или иначе, в настоящее время мы располагаем обширным корпусом разнообразных в жанровом отношении текстов электронного общения (как чешских, так и русских), создана и соответствующая электронная картотека, отражающая наши наблюдения над текстами электронной переписки. Заметим, что Чехия относится к числу наиболее компьютеризованных стран Европы. Что ка-

сается чешского фактического материала, то во многом нам его любезно предоставили коллеги из Института чешского языка Чешской АН, а также Чешского национального корпуса Карлова университета в Праге. В связи с этим считаем своей приятной обязанностью сердечно поблагодарить К. Маркову, И. Тинтерову, В. Шмидтову, Л. Яновца. Ценный русский материал, профессиональные советы, а также практические наставления нами были получены от А. Н. Попова и Б. Н. Попова.

<sup>11</sup> Анализ электронной переписки профессионалов-компьютерщиков, т. е. так называемых системных *операторов* (чешск. *systemák*), содержится в наших более ранних публикациях [Нешименко 1998; 2000], впрочем, некоторые из высказанных тогда соображений пытке нуждаются в корректировке.

<sup>12</sup> Применение антиномии «письменная — устная речь» в данном случае было не рациональным, так как компьютерные тексты принадлежат лишь к речи *письменной* (электронной), т. е. противостоящий компонент «устности» здесь попросту отсутствует.

<sup>13</sup> В речи профессионалов-компьютерщиков подобные ремарки, вполне естественно, отсутствуют. Соответственно и степень непринужденности их диалогической речи является более высокой.

<sup>14</sup> Ср. отрывок из электронного письма отца к взрослой дочери: *doufám, že tůj dopis se Ti podaří rozbalit. Hrozně nerad piš bez háčků a čárek. Tvé dopisy mě dojmají svojí absolutní stylovostí. Tim zejména myslím to, že píšeš na čtverečkaném papíru s červeným okrajem (klasický ruský dopisní papír od peraměti)* — наш перевод: надеюсь, что тебе удастся открыть мое письмо. Я страшно не люблю писать без крючочеков и долгот (диакритические знаки, не фиксируемые в электронной версии. — Г. Н.). Твои письма меня трогают своей абсолютной стильностью. Я имею в виду то, что ты пишешь на бумаге в клеточку, с красной каемочкой (классическая русская почтовая бумага, известная с незапамятных времен).

<sup>15</sup> *Skalní chatáři už vytvořili i svůj vlastní jazyk, jenž se blíží hovorové mluvě* («Magazín Práva» 30.06.2001) — ср. в нашем переводе: Завзятые «чатовцы» создали уже и свой собственный язык, приближающийся к разговорному языку. Ср. также призыв к отечественным компьютерщикам: *Товарищи! Сделаем речь компьютерщиков совсем непонятной!* Уберем предлоги, роды, падежи. Будем вообще пересвистываться по модемному принципу! ([www.internews.am](http://www.internews.am)).

<sup>16</sup> Ср. пример усечения из текста электронного письма молодого человека-чеха: *Strasne bych se chtel podívat do Balsaku a vedle Mo* — наш перевод: Мне бы страшно хотелось побывать в Большом и в окрестностях Москвы (в тексте: *Mo*). Примечательно, что, помимо «*Mo*», в тексте используется вместо литературного *Большой театр* — универб *Balsak*, т. е. *Balšák* — в русском предпочтительнее было бы усечение *Большой (театр)*.

<sup>17</sup> Ср. высказывание журналиста Ю. Роста во время радиодиалога («Эхо Москвы» 2004): Это очень трудно говорить по радио, т. к. я не вижу Вашу реакцию.

<sup>18</sup> Впрочем, между участниками могут возникать и перепалки, сопровождаемые использованием бранной лексики: *AM>> Ты «мудак» и если не кончиши «наезды» получишь массу «удовольствий» и без всякого начальства. Если я еще услышу о тебе — тебе будет очень неприятно — RG>> А что вы здесь всякую фигню пишете? Единственная информация, которую я здесь почерпнул — что все здесь мудаки. Ну так это трудно назвать новостью.* Ср. также чешск. *kurva, co se děje*. Впрочем, для того чтобы избежать возможных санкций, прибегают к помощи эвфемизмов (Да, блин, обрадывал) или же делаются пропуски букв, например, чешск. *to už se\*e (sere)*.

<sup>19</sup> Ср. например, «казусные» уподобления типа *майл* — мыло, *Емеля*; *паскилянт* — программист, пользующийся языком *Паскаль* и пр.

## ЛИТЕРАТУРА

- Нещименко 1998 — Нещименко Г. П. Диалог и его разновидности в современной коммуникации // Славяноведение. № 1. М., 1998.
- Нещименко 1999 — Нещименко Г. П. Этнический языкк. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков // *Specimina philologiae slavicae*. Bd. 121. München: Verlag «Otto Sagner», 1999.
- Нещименко 2000 — Нещименко Г. П. К постановке проблемы «Язык как средство трансляции культуры» // Язык как средство трансляции культуры. М.: Наука, 2000.
- Нещименко 2001 — Нещименко Г. П. Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития // ВЯ. № 1. 2001.
- Нещименко 2003 — Нещименко Г. П. Языковая ситуация в славянских странах. Опыт описания. Анализ концепций. М.: Наука, 2003.
- Нещименко 2003а — Нещименко Г. П. Современная публичная коммуникация: Динамика речевого стандарта // Конгресс международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы «Русское слово в мировой культуре». Пленарные заседания: Сб. докл. Т. 1. СПб., 2003.
- Щерба 1957 — Щерба Л. В. Современный русский литературный язык // Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
- Nová slova v češtině. Slovník neologismů. Kolektiv autorů pod vedením O. Martincové. Academia. Praha, 1998.
- Bozděchová 1997 — Bozděchová I. Jazyk počítačů // Český jazyk na přelomu tisíciletí. F. Daneš a kolektiv. Academia. Praha, 1997. S. 105—113.
- Čmejrková 1997 — Čmejrková Sv. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? (O stylu e-mailového dialogu) // Naše řeč 80. 1997. Č. 5. S. 225—247.
- Eklundh 1986 — Eklundh K. S. Dialogue Processes in Computer-Mediated Communication: A study of letters in the COM system // Linköping Studies in Arts and Science. Malmö, 1986.
- Hašová — Hašová L. Několik poznámek o Češtinářském internetovém klubu. 2004 (рукопись статьи, представленной для труда «Глобализация и этнизация: этнокультурные и этноязыковые проблемы»).
- Králík 1997 — Králík J. Sloh věku počítačů // Naše řeč 80. 1997. S. 57—63.
- Uhliřová (a) 1994 — Uhliřová L. E-mail as a new subvariety of medium and its effects upon the message // The syntax of sentence and text / Eds. S. Čmejrková — F. Štícha. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 1994. S. 273—282.
- Uhliřová (b) — Uhliřová L. On the role of the PC as a relevant object in face-to-face communication // Journal of Pragmatics. 22. 1994. S. 511—527.
- Вýkladový slovník výpočetní techniky a komunikací (5500 pojmu z oblasti výpočetní techniky a komunikací, přes 7000 křížových vazeb, výklad anglických i českých odborných pojmu). // Hlavenka J. a kolektiv. Praha, 1997 (III vydání).

*E. V. Вельмезова (Москва — Лозанна)*

## В НАЧАЛЕ БЫЛА... ДИФФУЗНОСТЬ? (О ФИЛОСОФСКО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ НЕКОТОРЫХ ЭВОЛЮЦИОНИСТСКИХ ТЕОРИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.)

### *I. Постановка проблемы, целей и задач исследования*

Одна из недавних работ Т. М. Николаевой [Николаева 2000] посвящена сопоставлению «одного достаточно четко обозначенного, но полуза-бытого направления немецкой лингвистики (Э. Херманн, В. Хаверс, В. Хорн — известных как “телеологи”) и общелингвистических концепций наиболее значительных представителей так называемого “нового учения о языке” (И. И. Мещанинов, В. И. Абаев, С. Д. Кацнельсон и др.)» [с. 591]. Как отмечается в статье, представителям обоих направлений был свойствен не только интерес к древним языкам, но и поиск первичных элементов человеческого языка вообще. При этом и немецкие, и советские лингвисты в целом рассматривали процесс эволюции языка как расщепление первоначальных «диффузных» элементов на более конкретные составляющие.

При всей их кажущейся оригинальности такие модели эволюции человеческого языка (от «диффузного» к «конкретному») не были ни исключительными, ни единственными в своем роде. В период примерно со второй половины девятнадцатого до тридцатых-сороковых годов двадцатого столетия возникали и другие похожие теории, так что данные концепции последователей и учеников Н. Я. Марра (1864—1934) и немецких «телеологов» были не более чем одними из последних по времени возникновения — по сути, завершающими целую эпоху в истории языкознания. Анализ наиболее интересных и значимых, на наш взгляд, теорий такого рода и представлен в настоящей работе. Что послужило толчком к их возникновению? Опирались ли все эти теории — в большей или меньшей степени эксплицитно — на одни и те же философские предпосылки? Сравнивая их друг с другом не столько в хронологической последовательности, сколько в порядке «поп-уровневого» представления языка (синтаксис — семантика — фонетика), приводя параллели из других отраслей гуманитарного знания, мы попытаемся дать этим теориям эпистемологическое обоснование.

## II. «Диффузный синтаксис» марристов и немецких «телеологов»

Человеческая речь началась с криков-сообщений, она началась с целых предложений.

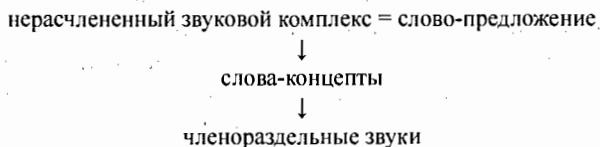
[Никольский, Яковлев 1949, 14]

### II. 1. От «слов-предложений» к «словам-концептам»

Общий тезис марристов об архаичности «диффузных» языковых элементов по сравнению с «конкретными» сводится к следующему: «По яфетической теории, (...) простым явлениям, как и сложенным из простых, предшествуют диффузные явления» [Mapp 1927б, 73]. При этом первичной единицей звуковой речи, пришедшей на смену кинетической, полагалось нерасчлененное высказывание — предложение, из которого постепенно выделялись отдельные концепты-слова: «Прежние нерасчлененные внутри себя звуки- предложения теперь (...) стали члениться на звуки- слова, а цельные мысли — на отдельные понятия. Правда, эти слова-понятия оставались еще внутри себя нераздельными, состояли лишь из одного звука и по своему значению были, по сравнению с нашими словами, еще весьма неразвитыми, расплывчатыми, смутными. Они могли обозначать как предметы, так и действия, равняться по своему употреблению как нашим именам, так и глаголам. Однако само предложение в эту эпоху уже расчленилось, по крайней мере, на два слова-понятия. Так, няня, показывая грудному ребенку конфету, произносит: “мц!-аа..., мц!-аа”, желая, во-первых, привлечь его внимание прищелкиванием языка и, во-вторых, приглашая его взять в руку лакомство протягиванием гласного. Здесь мы имеем уже выделение в предложении, как в едином целом, каких-то двух элементов — двух грубых и бесформенных слов» [Никольский, Яковлев 1949, 47—48].

Приблизительно о том же писали и немецкие «телеологии»<sup>1</sup>, полагавшие первичными элементами человеческого языка вскрики-междометия (цельные высказывания) неопределенной семантики, непременно имевшие консонантную основу [Hermann 1943, 15].

Эволюцию человеческого языка и речи в концепции марристов и «телеологов», таким образом, можно было представить следующей схемой:



Как писал в 1936 г. С. Д. Кацнельсон, «не слова составлялись из готовых звуков, а, напротив, отдельные звуки вырабатывались в ходе развития отдельных языков и их словарного состава» [Кацнельсон 1936, 16] — или, как обобщила Т. М. Николаева, «идея языкового развития (...) была как бы обратной “порождающей грамматике” генеративистской школы и обратной той картине строения языковой системы,

которая общепринята при обучении будущего лингвиста: не из четко дифференцированных по функции “кирпичиков” нижнего уровня строятся единицы более высокого уровня, а, напротив, из диффузного “синтаксического дыма” начинает на протяжении веков что-то вычленяться и вырисовываться как оформленная дискретизированная цельность» [Николаева 2000, 597].

Кроме того, как можно видеть, схема развития человеческого языка в целом (ср. французское *langage*) в концепции Н. Я. Марра была обратной и по отношению к его схеме развития конкретных языков (ср. французское *langue(s)*). Последние, как он полагал, развивались отнюдь не от исходного единства (языка-«предка») ко множеству — что считалось одной из основных аксиом классической индоевропеистики, начиная со времен «последователя Ч. Дарвина в лингвистике» А. Шлейхера (1821—1868). Именно А. Шлейхер ввел в широкое научное употребление понятие родословного древа языков, подразумевавшего, что «развитие языков, как и развитие животного и растительного мира, идет только одним способом: языки и языковые группы могут какое угодно число раз дробиться; отдельные ветви могут “отсыхать”, но ни при каких условиях языки не могут скрещиваться между собой» [Алпатов 1998а, 80]. Напротив, Н. Я. Марр полагал, что языки развиваются от множества к единству, путем скрещивания: «У языков одно происхождение, но вначале не прайзык, а прайзычное состояние. Вначале, наоборот, многоязычие, и источник оформления и обогащения языка, залог его развития, в самом ходе и развитии жизни и ее творческих сил, в развитии хозяйства, общественного строя и мировоззрения, и как человечество от кустарных, разобщенных хозяйств и форм общественности идет к одному общему мировому хозяйству и одной общей мировой общественности в линии творческих усилий трудовых масс, так язык от первичного многообразия гигантскими шагами продвигается к единому мировому языку» [Marr 1927а, 135]<sup>2</sup>.

## **II. 2. Инкорпорирующие языки как иллюстрация синтаксических «пережитков»**

При этом переходным звеном между теми этапами в языковом развитии, которые соответствовали «словам-предложениям» и «словам-концептам», марристы считали полисинтетические (инкорпорирующие) языки типа чукотско-камчатских и целого ряда языков индейцев Северной Америки, для которых характерна возможность включения в состав глагола-сказуемого других членов предложения, «еще не выделившихся» как второстепенные члены. Глагол-сказуемое, таким образом, понимается одновременно и как «синтетическое слово», состоящее из нескольких «слов-концептов», и как еще не расчлененная часть предложения, так как «мышление говорящих на этом языке не знает еще слова как абстракции» [Жирков 1948, 192]. В основном марристы строили подобные выводы на основании анализа полисинтетических языков Севера и западного Кавказа (чукотский, ительменский, юкагирский, эскимосский, алеутский, нивхский и т. д.), в целом же эта концепция получила широкое распространение благодаря работам И. И. Мещанинова [Мещанинов 1936; 1940; 1945].

«Пережитками» этого этапа развития языка объявлялась, в частности, и особая категория сложных слов (типа русских *водолей*, *чародей*) в языках флексивного типа [Десницкая 1948].

Что же происходит в языке после выделения отдельных слов из «слова-предложения»? Согласно Н. Я. Марру, все то же расщепление, на этот раз в большей степени — семантической природы.

Один из семантических законов, открытие которого приписывал себе Н. Я. Марр, предполагал развитие слов всех современных языков из семантических «рядов», «пучков» или «гнезд», изначально объединяющих несколько значений. Семантическая же дифференциация, по Н. Я. Марру, предполагала разделение этих смысловых «рядов», «пучков» и «гнезд» на более конкретные значения. Вот один из примеров: «Из палеонтологии речи мы знаем, что ‘рыба’ получила свое название от ‘воды’, а ‘дождь’ также назывался по ‘воде’, т. е. в китайском сохранилось то примитивное состояние речи в отношении значений слов, когда одно и то же слово ‘вода’ использовалось еще в значении и ‘дождя’ и ‘рыбы’» [Marr 1927б, 55]. Чаще других в работах Н. Я. Марра упоминаются семантические «пучки» ‘женщина-вода-рука’ и ‘небо-гора-голова’ [Marr 1930, 187].

Кроме того, особый семантический закон, постулировавшийся Н. Я. Марром, предполагал поляризацию «диффузного» — *празначения*, его расщепления на два противоположных значения: «По семантическому раздвоению та же основа служила и для выражения противоположного значения» [Marr 1924, 18].

Однако еще до марристской теории семантического расщепления слов древних языков на несколько самостоятельных единиц и в России, и в Германии возникли, на первый взгляд, похожие теории, постулировавшие разделение в языковой эволюции слов на две части. Богатый материал для подтверждения таких теорий находили в примерах энантиосемии, свойственной, как казалось в то время, прежде всего, древним языкам.

### *III. О «диахронической» сущности энантиосемии*

Одно из замечательнейших и поразительнейших явлений в области семиотики представляет т. н. энантиосемия (...). Чем язык древнее и чем народ примитивнее, тем чаще встречается это явление.

[Шериль 1977 (1884), 242]

Энантиосемией, или внутрисловной антонимией, называется феномен существования в языке слов, «совмещающих в себе противоположные значения, как, например, в словах “одолжить” — 1) ‘дать в долг’ и 2) ‘взять в долг’; “наверно” — 1) ‘может быть’ и 2) ‘несомненно, точно’» [Новиков 1990, 36]. В конце XIX — начале XX в. возникали теории, объясняющие данное явление с точки зрения эволюции языка и мышления. «Блистательное трио» К. Абель — З. Фрейд — Э. Бенвенист — ученые, размышлявшие над данной проблемой в разное время, — гораздо лучше известно в этой связи на Западе, чем в России, где, между

тем, рождались и свои оригинальные концепции, посвященные этой интересной проблематике. Не имея возможности представить здесь все теории, посвященные энантиосемии<sup>3</sup>, мы ограничимся лишь анализом концепций, хронологически непосредственно предшествовавших как марризму, так и учению немецких «телеологов».

### III. 1. «О словах с противоположными значениями»: 1884 г.

В одном и том же году (!), 1884-м, в России и в Германии были опубликованы две работы — В. И. Шерцля (1843—1906), работавшего в то время в Воронеже [Шерцль 1884], и берлинского лингвиста К. Абеля (1846—1906) [Abel 1884]. Обе они, «О словах с противоположными значениями» и «Über den Gegensinn der Urworte», соответственно, были посвящены словам, значения которых состояли из двух «противоположных элементов». При этом оба лингвиста считали феномен энантиосемии особенностью по преимуществу древних языков: В. И. Шерцль приводил примеры из латыни (латинское *altus* обозначает одновременно ‘высокий’ и ‘глубокий’), санскрита (древнеиндийское *akti* означает ‘свет’ и ‘ночь’), древнегреческого языков, тогда как работа египтолога К. Абеля строилась прежде всего вокруг древнеегипетских примеров. В то же время, по мнению обоих лингвистов, слова с противоположными значениями существуют и в современных языках, являясь своеобразными «пережитками» — свидетельствами прошлых этапов языковой эволюции: здесь мы снова возвращаемся к столь любимой марристами теме «остановившейся языковой эволюции», одним из проявлений которой в синтаксисе, как мы видели, считались синтаксические конструкции инкорпорирующих языков. Так, пишет В. И. Шерцль, персидское *bâcher* означает одновременно ‘восток’ и ‘запад’, баскское («баскийское») *bilhatu* — ‘искать’ и ‘находить’, японское *kage* — ‘свет’ и ‘тень’ [Шерцль 1977 (1884), 242]. К. Абель же ссылался, помимо прочего, на свой родной язык, в котором, в частности, *der Boden* означает одновременно ‘пол’ и ‘чердак’, т. е. самую высокую и самую низкую части дома.

Не различая язык и речь в столь явном виде, как это будет позже представлено у Ф. де Соссюра, и К. Абель, и В. И. Шерцль, очевидно, все же полагали феномен энантиосемии свойственным скорее языку. В речи же «примитивных» людей семантическая неоднозначность снималась, по их мнению, с помощью жестов, интонации и междометий.

В целом и В. И. Шерцль, и К. Абель давали феномену энантиосемии практически одинаковые объяснения. «Примитивному» человеку, полагали они, невозможно было представить себе какой-либо концепт, одновременно не вызывая в сознании соответствующий противоположный смысл: «Хотя в настоящее время для уяснения понятия великолепия нам покажется излишним сопоставлять его с представлением малости, но было когда-то время, где этот умственный процесс был необходим и нельзя было возыметь надлежащее представление о первом, не думая о втором» [Шерцль 1977 (1884), 245]. Лишь позже, с развитием абстрактного мышления, подобные слова, служащие своеобразными «костылями» для человеческого сознания, исчезли из языков.

### III. 2. 3. Фрейд как популяризатор лингвистических идей

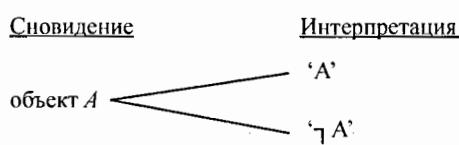
Лингвистическая репутация В. И. Шерцля уже в XIX в. казалась довольно сомнительной. Так, И. В. Ягич писал о нем как о «человеке феноменальном по необычной легкости усваивания языков» [Ягич 2003 (1910), 784], подчеркивая в то же время следующее: «Но что от этой способности еще далекий шаг до научного понимания доказали его труды» [Там же, 785]. Что же касается К. Абеля, резкая критика его теорий — как общелингвистических, так и связанных непосредственно с его компетенцией египтолога, — началась много позже. В конце же XIX в. он с успехом представил доклад о словах с «противоположными значениями» на Десятом международном конгрессе востоковедов в Лиссабоне, а введенное им понятие *Gegensinn* было заимствовано другими исследователями, как египтологами, так и специалистами по другим «экзотическим» языкам (см., напр., [Brinton 1890]). Основные идеи К. Абеля поддерживал даже такой видный лингвист, как Г. Шухардт (1842—1928), настаивающий, правда, на существенном ограничении сферы их действия: «Всякое слово, как сказал Гёте, пробуждает свою противоположность, и благодаря этому создается гармония, хотя это и не может происходить в столь широком масштабе, как предполагал К. Абель. Однако основная мысль этого высказывания все же верна» [Шухардт 2003 (1922), 254—255].

Однако слава наиболее успешного и известного популяризатора идей К. Абеля принадлежит, безусловно, З. Фрейду (1856—1939), нашедшему в теориях немецкого лингвиста материал к собственным размышлению о языке подсознательного.

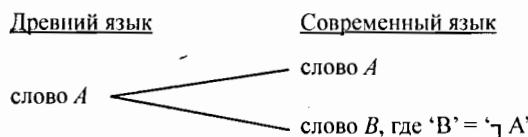
С брошюры К. Абеля З. Фрейд познакомился в 1909 г., а уже через год вышла его работа «Über den Gegensinn der Urworte (Referat über die gleichnamige Broschüre von Karl Abel, 1884)» [Freud 1910], где проводились параллели между проанализированной К. Абелем особенностю древних языков и «языком» сновидений, не чувствительным к противоречиям. В самом деле, при интерпретации сновидений психоаналитиком различные объекты могут порой получать противоположное их сущности толкование, «превращаясь» тем самым в свою противоположность.

Эту особенность человеческого подсознания, свойственную, как полагал К. Абель, и древним языкам, можно представить следующими схемами:

1.



2.



### III. 3. Критика «соссюрианца» Бенвениста

«Миф Абеля — Фрейда» о соответствии особенностей «языка» подсознания характерным чертам древних языков (имя В. И. Шерцля, по-видимому, осталось в этой связи малоизвестным на Западе) был подвергнут резкой критике Э. Бенвенистом (1902—1976), поставившим в своих «Заметках о роли языка в учении Фрейда» (1956) прямой вопрос о существовании «лингвистических» связей языкознания и психоанализа. Отвечая на него отрицательно, Э. Бенвенист опровергает приводимый К. Абелем языковой материал и, по сути, (в гумбольдтианском ключе) постулирует отсутствие всяких принципиальных и качественных различий между древними и современными языками: «Язык есть орудие упорядочения окружающей действительности и общества, он накладывается на мир, рассматриваемый как “реальный”, и отражает “реальный” мир. Но в этом отношении каждый язык является своеобразным и членит реальность на свой особый лад. Различия, которые устанавливает при этом каждый язык, должны быть отнесены за счет той частной логики, которая лежит в их основе, а не оцениваться непосредственно с точки зрения универсалий. В этом отношении древние или архаические языки являются и не более, и не менее своеобразными, чем языки, на которых говорим мы» (выделено нами. — Е. В.) [Бенвенист 2002 (1956), 122]. Вероятно, французский лингвист и сам не отдавал себе отчета в том, что этими строками он подводил черту под целой эпохой, значительные усилия лингвистов которой направлялись как раз на поиск качественных отличий между современными и древними языками...

Причины столь резкой критики кроются не только в том, что многие из древнеегипетских примеров, приводимых К. Абелем, были опровергнуты после его смерти<sup>4</sup>. Э. Бенвенист, которого часто полагают лингвистом скорее *à part*, чем представляющим какое-либо направление в языкознании<sup>5</sup>, в данном случае ведет себя как последовательный соссюрианец. В свое время на первое место в определении системы языка Ф. де Соссюром был поставлен именно принцип дифференциации: «Весь лингвистический механизм вращается теперь вокруг тождеств и различий» [Соссюр 1933 (1916), 109]. В то же время значимый тезис К. Абеля — о возникновении семантических оппозиций не в языке, но в речи — можно считать прямым покушением на самый концепт языка, определяемый в «Курсе общей лингвистики» как система различий<sup>6</sup>. В самом деле, о каких же различиях в системе языка можно говорить, если элементы последней полагаются изначально, уже сами по себе противоречивыми, противопоставляемыми лишь в конкретном языковом употреблении?

#### *IV. От «диффузных звуков» к... фонетике современных языков?*

Этими (...) комплексами еще не расчленявшихся звуков и пользовалось первоначально человечество.

[Мещанинов 1929, 181]

#### **IV. 1. «Диахроническая фонетика» И. А. Бодуэна де Куртенэ**

Понятие «диффузных», или «аморфных», звуков, вполне сопоставимое с понятиями «диффузных значений» или «диффузного синтаксиса», о которых речь шла выше, встречается не только в работах марристов и «сочувствующих» им языковедов. Так, говоря об отличии «языка» животных от человеческой речи, И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845—1929)<sup>7</sup> писал, в частности, об *оформленном* характере звуков последней («Подлинные звуки языка (...) суть оформленные, поставленные в известное взаимное отношение друг к другу» [Бодуэн де Куртенэ 1963 (1893), 259]), подчеркивая тем самым значимость появления четкой артикуляции в человеческом произношении: если животные и «произносят ртом, то в произношении участвует вся полость рта без различия ее отдельных частей, без частной локализации. В человеческом же произношении замечается большое разнообразие работ полости рта, и локализация в полости рта составляет его главный признак» [Бодуэн де Куртенэ 1963 (1905), 120].

#### **IV. 2. Л. В. Щерба: комментируя Н. Я. Марра**

Практически о том же писал в 1935 г. и Л. В. Щерба, заимствовавший понятие «диффузного звука» у Н. Я. Марра — ссылка на последнего подразумевала положение о возведении в марристской теории всех слов всех современных языков к четырем «диффузным» празлементам — *сал*, *бер*, *ион*, *рош*: «Элементов всего-навсего четыре. Объяснение их числа приходится искать в среде возникновения, технике входившего в состав коллективного магического действия пения. Первичное диффузное произношение каждого из четырех элементов, как единого цельного диффузного звука, пока не выяснено. Нам эти четыре элемента доступны в многочисленных закономерных разновидностях, из которых для четырех элементов выбраны как условное наименование четыре их формы, по одной для каждого элемента: *сал*, *бер*, *ион*, *рош*, что указывается латинскими буквами в порядке их перечня: A = *сал*, B = *бер*, C = *ион*, D = *рош*. Выбор сделан по созвучию с известными племенными названиями, в состав которых они входят без изменения или с позднейшим частичным перерождением, именно: “*сар-мат*” — “*сал*” (A), “*и-бер*” — “*бер*” (B), “*ион-яне*” — “*ион*” (C), “*эт-руск*” — “*рош*”» (D) [Mapp 1927a, 130].

А вот что пишет Л. В. Щерба, комментируя Н. Я. Марра: «В последнее время Николай Яковлевич Марр ввел в обиход понятие “диффузного звука”, заимствовав его, очевидно, из физиологии центральной нервной системы, где говорится о диффузном центральном раздражении, т. е. недостаточно локализованном и дифференцированном, распространяющемся на другие участки нервной системы. В

этом смысле можно, очевидно, говорить о диффузном раздражении того или другого двигательного аппарата вообще и далее, по-видимому, о диффузной речевой артикуляции, т. е. такой артикуляции, в которой в силу недостаточной дифференцированности раздражения с абсолютной необходимостью участвуют ненужные с точки зрения ожидаемого полезного действия группы мускулов» [Щерба 2001 (1935), 360].

Кроме того, как и И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Щерба связывал понятие «диффузности» с отсутствием «оформленности» звуков, т. е. соотнесенности их друг с другом. Оба ученых апеллировали и к понятию языковой истории, полагая такие звуки первичными, по сравнению со звуками, образующими систему в более поздних языках. Однако если в концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ понятие «аморфных» звуков было связано прежде всего с диахронией, Л. В. Щерба, также апеллирующий к языковой истории, одновременно полагал, что такие звуки существуют в человеческих языках и по сей день, являясь очередными «языковыми пережитками» прошлых этапов эволюции. К ним относятся слова из «той недифференцированной кучи слов, которая называется “междометиями”, так, например: *тфу, тьфу, фу, тишу, брр* и т. п.» [Там же, 360—361]. «На заре человеческой истории» такие «словозвуки» противополагались друг другу целиком, не разлагаясь на части. Однако «входя в уже существующую языковую систему, этот комплекс к ней приспосабляется и расчленяется» [Там же, 361].

И если сам Н. Я. Марр неоднократно апеллировал к «застывшему в развитии» китайскому языку, иллюстрируя свои положения о протосемантике человеческого языка, исследователь «диффузных» звуков Щерба говорит о китайском с точки зрения «протофонетики»: «Я полагаю, что фонематический анализ китайской звуковой системы, сделанный не с точки зрения фонетики европейских языков, а с точки зрения китайского языка, в котором “слова” никогда не делятся морфологическими границами на отдельные звуки, обнаружит для нас некоторую “диффузность” китайских “словозвуков”» [Там же, 362].

Другие же последователи «нового учения о языке» видели «доказательство» древности таких звуков в их «международном характере» [Никольский, Яковлев 1949, 42] и в фигурировании их в речи «в некоторых из обращений человека к животным», типа русского *Тишу!* или абхазского *Утиры ‘насыщайся пищей’, ‘наполняйся’* [Там же, 40].

#### *V. Философские основания теорий «от диффузного к конкретному»*

Итак, каковы же философско-эпистемологические предпосылки концепций, постулирующих дифференциацию элементов языка в ходе его развития? На первый взгляд кажется, что они должны быть одними и теми же для всех данных теорий, у которых, и в самом деле, немало общего. Это — помимо предлагаемой в них общей схемы языкового развития — и то, что все они опираются на тезис о неразрывной связи языка и мышления в процессе языковой эволюции, и то, что каждый

раз «пережитки» прошлых этапов языкового развития обязательно находятся языковедами в современных языках, будь то в синтаксисе, семантике или фонетике.

И все же, на наш взгляд, не следует смешивать два постулата: о расщеплении «празлементов» на строго ограниченное количество единиц (две) — как у В. И. Шерцля и К. Абеля, — и о дифференциации их на большее число последующих элементов (марристы и «телеологии»). В первом случае, как нам представляется, гипотеза Шерцля—Абеля о первичной смысловой неопределенности в языке и позднейшей дифференциации значений напрямую связана с учением Г. В. Ф. Гегеля (1770—1831) о «понятии» как выражавшем глубочайшую основу всего сущего. «Понятие», по Гегелю, выражает зародышевое состояние вещи, которое затем внутренне дифференцируется и постепенно реализуется. На начальном этапе познания определение вещи в мысли является не более чем очень общим и абстрактным. Лишь постепенно вещь конкретизируется, а человеческое познание начинает выражать развивающуюся внутреннюю дифференциацию, переходя ко все более конкретному. Вспомним и о тезисе раннего Гегеля (около 1797—1798) — в принципе, легшем в основу его диалектики, — о том, что *исходное единство жизни диалектически превращается в свою противоположность-раздвоенность*. С преодолением раздвоенности мы снова возвращаемся к единству, которое становится уже богаче и конкретнее. Противоречия, таким образом, полагаются внутренним источником развития, понимаемого как восхождение от абстрактного к конкретному [Hegel 1967].

Показательно, что потенциальная замена гегелевского *понятия* словом в первой части его концепции (раздвоение исходного единства) напрямую может быть связана с гипотезой о существовании слов «с противоположными значениями» Шерцля—Абеля.

Влияние различных идей Гегеля на развитие лингвистической мысли отмечалось уже неоднократно. В связи с цитированным выше «Курсом общей лингвистики» интересно отметить и связь идей Ф. де Соссюра с принципами гегельянской диалектики [Lefebvre 1966, 78]. В отличие от В. И. Шерцля и К. Абеля, Соссюр решал проблему противоречий «скорее в формально-логическом, а не в диалектическом плане» [Слюсарева 1977, 115]. Однако если влияние философии Гегеля испытали на себе и Ф. де Соссюр, и В. И. Шерцль, и К. Абель, разные решения проблемы противоречий (в синхронном *vs.* диахроническом планах, соответственно) повлекли за собой принципиальную непримиримость двух соответствующих концепций, выразившуюся, в частности, в резкой критике К. Абеля «соссюрианцем» (в данном отношении) Э. Бенвенистом.

В то же время теории марристов и немецких «телеологов» гораздо ближе по духу идеям «духовного отца эволюционизма» Г. Спенсера (1820—1903). Центральное место в философии этого английского ученого, чьи теории во второй половине XIX в. конкурировали с дарвиновскими, занимает, по сути, механистическая идея эволюции, понимаемой как плавный и постепенный прогресс. Сущность этого процесса, по Г. Спенсеру, кроется в преобразовании однородного (неопределенной несвязной гомогенности) в разнородное (определенную связную гетерогенность).

Этот закон дифференциации физической (прежде всего, биологической) материи Г. Спенсер считает универсальным и на конкретном материале прослеживает его действие в различных гуманитарных сферах: истории общества, религии, психологии... [Spencer 1855; 1864; 1882—1898] Тем самым в 1862—1896 гг. Спенсер создает особую систему синтетической философии. Идеи же советских и немецких лингвистов можно считать прямой иллюстрацией философии Спенсера в языкоznании. Разумеется, речь не идет непременно о прямом — или даже осознанном — влиянии, но скорее о духе времени, самой атмосфере, в которой рождались и получали развитие соответствующие теории. К примеру, даже столь любимого и почитаемого советскими вождями «предтечу марксизма» Гегеля во всем пятитомном собрании своих работ Марр цитирует только один раз — в статье «Маркс и проблемы языка» [Marr 1936]. Спенсер же не упоминается им ни разу — хотя, согласно биографу Марра В. А. Миханковой, в неопубликованных записях Марра говорится о том, что еще в гимназии он читал и многократно перечитывал его работы [Миханкова 1949, 13].

## *VI. Теоретические проблемы моделирования ранних этапов языковой эволюции*

Дальнейшая судьба марристских лингвистических концепций хорошо известна. Постепенно — в особенности после резкой критики учения Марра Сталиным в июне 1950 г. — все подобные теории сходят на нет. Их объявляют ненаучными, предают анафеме, а позже — забвению. Однако какими бы фантастическими и неправдоподобными многие из проанализированных здесь теорий ни казались сегодня, анализ их может прояснить многое о причинах и предпосылках их возникновения в определенное время, а также о философских течениях соответствующей эпохи. Как писала Т. М. Николаева, «в течение всей второй половины XX векаказалось, что существует некая, возможно универсальная, возможно, специфическая система, именуемая “общим языкоznанием” или “теорией языка”, которая в принципе умеет описывать языковые данные и вряд ли подлежит пересмотру. Последние десятилетия XX века показали, что вся парадигма языкоznания может быть подвергнута пересмотру», тогда как «тотальная “фонологизация” языкоznания принесла и огромную пользу (умение построить абстрагированную систему), и вред (вытеснение из сознания объективных проблем языкового существования и ранней языковой эволюции)» [Николаева 2002, 18].

Конечно, в настоящее время у лингвистов до сих пор нет необходимого материала для окончательного разрешения этих проблем — однако речь может идти о построении более или менее удобной и эксплицитной модели, отражающей развитие человеческого языка на ранних стадиях его эволюции. Именно поэтому анализ теорий ранних этапов языковой эволюции представляет сегодня значительный интерес.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Помимо вышеупомянутой статьи Т. М. Николаевой, об «исчезнувшем» немецком направлении «телеологов» — основные теоретические работы которых (в том числе и посвященные проблемам языковой эволюции и происхождения языка) были написаны в 20—30-е гг. двадцатого столетия, хотя как компетентные знатоки древних языков они заявили о себе еще до Первой мировой войны, — см. [Adamska-Sałaciak 1986; 1989].

<sup>2</sup> Интересно, что четкое разграничение и оппозиция человеческого языка вообще и конкретных языков — к сожалению, в большинстве случаев отсутствующие у самого Н. Я. Марра, — помогают понять многие спорные и кажущиеся запутанными положения его «нового учения об языке», к примеру, постулат о возведении всех слов всех современных языков к четырем пре-словутым пражлементам (*сал* — *йон* — *бер* — *рош*, см. об этом далее) при одновременной неподвижной убежденности в верности полигенетической теории происхождения языков. Два этих положения на первый взгляд кажутся противоречащими друг другу, однако в первом из них речь идет о человеческом языке в целом, тогда как во втором — о конкретных языках.

<sup>3</sup> Из фундаментальных исследований последнего времени, посвященных энантиосемии, см., напр., [Basile 1996].

<sup>4</sup> Соответствующие утверждения К. Абеля о древнеегипетском языке считаются лишенными какой-либо научной ценности, начиная со времени появления работ Й. А. Эрмана (1854—1937), основателя современной египтологии (см., напр., его книгу «Ägyptische Grammatik» [Erman 1928]). Основной упрек, предъявляемый сегодня К. Абелю, связан с предпринятым им «синхронным» анализом слов, относящихся к разным периодам развития египетского языка. Впрочем, следует отметить появление в последнее время статей, авторы которых склонны научно оправдывать К. Абеля, отмечая, что не все из его примеров несостоятельны. Критикуется отныне Э. Бенвенист, «читавший Абеля лишь в интерпретации Фрейда» [Arrivé 1985, 309].

<sup>5</sup> См. напр., [Степанов 2002]: «Он принадлежит к числу тех немногих лингвистов (...), труды которых сами по себе — целое направление» [с. 5] или [Аллатов 1998б]: «Он (...) занимал обособленное место в лингвистике своего времени, до конца не примыкая ни к одному из основных направлений структурализма» [с. 282].

<sup>6</sup> См. об этом [Milner 1985, 315].

<sup>7</sup> Следует отметить, что И. А. Бодуэн де Куртенэ — в отличие от многих лингвистов его эпохи, от А. Мейс до Н. С. Трубецкого — с большим уважением относился к деятельности Н. Я. Марра, доверяя его компетенции и признавая многие теоретические выводы: и знаменитую «яфетическую теорию» в целом, и, в частности, лежащий в ее основе тезис о родстве кавказских языков с семитическими [Бодуэн де Куртенэ 1963 (1930), 349]. В свою очередь, и Н. Я. Марр относил И. А. Бодуэна де Куртенэ к «предельно свободомыслящим лингвистам» [Марр 1933, 387]. Вообще же тема «И. А. Бодуэн де Куртенэ — Н. Я. Марр» — от изучения во многом сходной проблематики их исследований (значимость социального фактора для языковых изменений, понятие «скрещения» или «смешанного характера языков») до анализа общей терминологии в трудах двух ученых — еще ждет своих исследователей.

## ЛИТЕРАТУРА

- Аллатов 1998а — Аллатов В. М. Август Шлейхер // Аллатов В. М. История лингвистических учений. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 78—83.  
 Аллатов 1998б — Аллатов В. М. Французская лингвистика 40—60-х годов: Л. Теньер. Э. Бенвенист. А. Мартине // Аллатов В. М. История лингвистических учений. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 277—293.

- Бенвенист 2002 (1956) — Бенвенист Э. Заметки о роли языка в учении Фрейда // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: УРСС, 2002. С. 115—126.
- Бодуэн де Куртенэ 1963 (1893) — Бодуэн де Куртенэ И. А. Человеческое языка // Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды. Т. I—I. М.: Изд-во АН СССР. Т. I. 1963. С. 258—264.
- Бодуэн де Куртенэ 1963 (1905) — Бодуэн де Куртенэ И. А. Об одной из сторон постепенного человеческого языка в области произношения, в связи с антропологией // Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды. Т. I—I. М.: Изд-во АН СССР. Т. II. 1963. С. 118—128.
- Бодуэн де Куртенэ 1963 (1930) — Бодуэн де Куртенэ И. А. Проблемы языкового родства // Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды. Т. I—I. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. II. С. 342—352.
- Десницкая 1948 — Десницкая А. В. Архаичные черты в индоевропейском словосложении // Язык и мышление. XI. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 133—152.
- Жирков 1948 — Жирков Л. И. О слове-предложении в полисинтетических языках // Язык и мышление. XI. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 186—193.
- Кацнельсон 1936 — Кацнельсон С. Д. К генезису номинативного предложения. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936.
- Марр 1924 — Марр Н. Я. Об яфетической теории // Марр Н. Я. Избранные работы. Т. I—V. М.; Л.: Изд-во ГАИМК; Гос. социально-экономич. изд-во, 1933—1937. Т. III. С. 1—34.
- Марр 1927а — Марр Н. Я. Язык // Марр Н. Я. Избранные работы. Т. I—V. М.; Л.: Изд-во ГАИМК; Гос. социально-экономич. изд-во, 1933—1937. Т. II. С. 127—135.
- Марр 1927б — Марр Н. Я. Яфетическая теория: Общий курс учения об языке // Марр Н. Я. Избранные работы. Т. I—V. М.; Л.: Изд-во ГАИМК; Гос. социально-экономич. изд-во, 1933—1937. Т. II. С. 3—126.
- Марр 1930 — Марр Н. Я. Право собственности по сигнализации языка в связи с происхождением местоимений // Марр Н. Я. Избранные работы. Т. I—V. М.; Л.: Изд-во ГАИМК; Гос. социально-экономич. изд-во, 1933—1937. Т. III. С. 180—198.
- Марр 1933 — Марр Н. Я. Письмо и язык // Марр Н. Я. Избранные работы. Т. I—V. М.; Л.: Издательство ГАИМК; Гос. социально-экономич. изд-во, 1933—1937. Т. II. С. 379—392.
- Марр 1936 — Марр Н. Я. Маркс и проблемы языка // Марр Н. Я. Избранные работы. Т. I—V. М.; Л.: Изд-во ГАИМК; Гос. социально-экономич. изд-во, 1933—1937. Т. II. С. 444—459.
- Мещанинов 1929 — Мещанинов И. И. Введение в яфетиологию. Л.: Прибой, тип. Печатный двор Гос. изд-ва, 1929.
- Мещанинов 1936 — Мещанинов И. И. Новое учение о языке: Стадиальная типология: Курс лекций, составленный на основе конспекта студента ЛИФЛИ Б. Карповича, с соответствующими дополнениями. Л.: Соцэкгиз. Ленингр. отд., тип. «Печатный двор», 1936.
- Мещанинов 1940 — Мещанинов И. И. Общее языкознание: К проблеме стадиальности в развитии слова и предложения. Л.: Учпедгиз, Ленингр. отд., 1940.
- Мещанинов 1945 — Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945.
- Миханкова 1949 — Миханкова В. А. Николай Яковлевич Марр. М.; Л.: Изд-во АН, 1949.
- Николаева 2000 — Николаева Т. М. Несколько слов о лингвистической теории 30-х: фантазии и прозрения // Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 591—607.
- Николаева 2002 — Николаева Т. М. Межвоенные годы: две лингвистики, два языка // Les fondements philosophiques, épistémologiques et idéologiques du discours sur la langue en Union Soviétique, 1917—1950 (programme du colloque). Crêt-Bérard, 2002. Р. 18—19.
- Никольский, Яковлев 1949 — Никольский В. К., Яковлев Н. Ф. Как возникла человеческая речь. М.: Гос. изд-во культурно-просветительной лит., 1949.

- Новиков 1990 — Новиков Л. А. Антонимы // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 36.
- Слюсарева 1977 — Слюсарева Н. А. Соссюор и соассюрианство // Философские основы зарубежных направлений в языкоznании. М.: Наука, 1977. С. 63—124.
- Соссюор 1933 (1916) — Соссюор Ф. де. Курс общей лингвистики. М.: Соцэкгиз, 1933.
- Степанов 2002 — Степанов Ю. С. Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразований // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: УРСС, 2002. С. 5—16.
- Шерцль 1884 — Шерцль В. И. О словах с противоположными значениями // Филологические записки. Воронеж, 1883—1884.
- Шерцль 1977 (1884) — Шерцль В. И. О словах с противоположными значениями // Хрестоматия по истории русского языкоznания / Сост. Ф. М. Березин. 2-е изд. М.: Высшая школа, 1977. С. 242—246.
- Шухардт 2003 (1922) — Шухардт Г. Выражение отношения в языке // Шухардт Г. Избранные статьи по языкоznанию. М.: УРСС, 2003. С. 245—258.
- Щерба 2001 (1935) — Щерба Л. В. О «диффузных звуках» // Сумерки лингвистики: Из истории отечественного языкоznания. Антология. М.: Academia, 2001. С. 360—362.
- Ягич 2003 (1910) — Ягич И. В. История славянской филологии. М.: Индрик, 2003.
- Abel 1884 — Abel K. Über den Gegensinn der Urworte. Leipzig, W. Friedrich, 1884.
- Adamska-Sałaciak 1986 — Adamska-Sałaciak A. Teleological explanations in diachronic phonology. PhD diss., Adam Mickiewicz University, 1986.
- Adamska-Sałaciak 1989 — Adamska-Sałaciak A. On explaining language change teleologically // Studia anglica posnaniensia, 1989, XXII.
- Arrivé 1985 — Arrivé M. Quelques aspects de la réflexion de Freud sur le langage // La linguistique fantastique. Paris: Joseph Clims, Denoël, 1985. P. 300—310.
- Basile 1996 — Basile G. Sull'enantiosemia. Rende: Centro Editoriale e Librario Università degli Studi della Calabria, 1996.
- Brinton 1890 — Brinton K. G. Essays of an Americanist. Philadelphia, D. Mc Kay, 1890.
- Erman 1928 — Erman J. A. Ägyptische Grammatik. Berlin, Reuther und Reichard, 4 Aufl., 1928.
- Freud 1910 — Freud S. Über den Gegensinn der Urworte (Referat über die gleichnamige Broschüre von Karl Abel, 1884) // Fb. Psychoanal.psychopath. Forsch., 2 (1), 1910. S. 179—184.
- Hegel 1967 — Hegel G. W. F. Wissenschaft der Logik. Hamburg, 1967.
- Hermann 1943 — Hermann E. Die homerischen Benennungen der Schiffsteile // J. Endzelin zum 70. Geburtstag. Göttingen, 1943.
- Lefebvre 1966 — Lefebvre H. Le langage et la société. Paris, 1966.
- Milner 1985 — Milner J.-C. Sens opposés et noms indiscernables: K. Abel comme refoulé d'E. Benveniste // La linguistique fantastique. Paris: Joseph Clims, Denoël, 1985. P. 311—323.
- Spencer 1855 — Spencer H. The Principles of Psychology. London: Longmans, 1855.
- Spencer 1864 — Spencer H. First Principles. London: Williams and Norgate, 1864.
- Spencer 1882—1898 — Spencer H. The Principles of Sociology, 3 vols. London: Williams and Norgate, 1882.

*Анна А. Зализняк (Москва)*

## ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ СЛОВА В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ \*

**П**одобно тому как содержание художественного произведения неотделимо от его формы (то, как выражен некоторый смысл, есть часть того, что выражено), значение слова включает в себя информацию о том, как оно выражено, т. е. свою *внутреннюю форму*. Как представляется, понятие внутренней формы слова, принадлежащее «традиционной» лингвистической парадигме, можно (оставаясь при этом в рамках классического определения А. А. Потебни «способ, каким выражается содержание») адаптировать к нуждам современной семантики, характеризуемой ясно осознаваемой потребностью в таком семантическом представлении слова, которое было бы ориентировано на учет всех релевантных парадигматических связей слова с другими словами и, в частности, тем или иным способом отражало бы интуитивно ощущаемую связь между различными его значениями.

### *1. Понятие внутренней формы слова*

Внутренняя форма слова — это осознаваемая говорящими мотивированность значения слова данного языка значением составляющих его морфем или исходным значением того же слова, т. е. образ или идея, положенные в основу номинации и задающие определенный способ построения заключенного в данном слове концепта; приблизительно в том же значении иногда используется термин *мотивировка* (напр. [Маслов 1998]), а также *мотивация* [Толстая 2002].

Термин *внутренняя форма слова* был введен в лингвистический обиход в середине XIX в. А. А. Потебней. Словосочетание *внутренняя форма* восходит к русскому переводу термина В. фон Гумбольдта *innere Sprachform* ‘внутренняя форма языка’, однако по существу здесь речь идет о разных вещах. Гумбольдт под *внутренней формой языка* имел в виду нечто вроде «духа народа»<sup>1</sup>, заключенного в строение его языка и воздействующего — в разных языках по-разному — на его «внешнюю форму» (т. е. звуковую оболочку). Дело в том, что сам Гумбольдт

\* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 03-06-08133а.

определения понятию *innere Sprachform* не дает, и поэтому в его последующих интерпретациях много противоречивого; в частности, смешивается понятие *внутренней формы языка* и *внутренней формы слова*. Как считает Г. В. Рамишвили [Гумбольдт 1984: 19], сила этой традиции сказывается и в заглавии известной книги Г. Г. Шпета «Внутренняя форма слова» [Шпет 1927] (так как книга посвящена на самом деле внутренней форме языка). При этом в любом случае не следует забывать, что это понятие было сформировано в рамках господствовавшей в ту эпоху глоттогонической эволюционистской парадигмы (т. е. проблематики причин языковой эволюции и расхождений между языками). Заметим, что те же общие установки характерны для А. С. Шишкова, ср.: «Надлежит вникать в те переходы из одних понятий в другие, с ними смежные, какими ум человеческий в каждом языке при составлении оного руководствовался, когда из общего всем им корня каждый народ по собственным своим соображениям производил ветви» («Опыт рассуждения о первоначальном единстве и разности языков», цит. по [Виноградов 2000: 63]).

Возвращаясь к Гумбольдту, необходимо отметить, что его понятие *innere Sprachform* ближе всего к тому, что сейчас называют *языковой картиной мира*. У Гумбольдта есть, кроме того, понятие *sprachliche Weltansicht* (которое Бодуэн де Куртенэ предлагал переводить как «языковое мировидение»; возможно, еще более точным переводом было бы «языковое видение мира»). Соотношение между этими двумя понятиями состоит в том, что первое представляет собой своего рода конституирующий принцип формирования второго, т. е. *sprachliche Weltansicht* несколько шире, чем *innere Sprachform*<sup>2</sup>.

А. А. Потебня в работе 1862 г. «Мысль и язык» писал: «В слове мы различаем: *внешнюю форму*, т. е. членораздельный звук, *содержание*, объективируемое посредством звука, и *внутреннюю форму*, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание. При некотором внимании нет возможности смешать содержание с внутреннею формою. Например, различное содержание, мыслимое при словах *жалование*, лат. *аппийт, pensio*, франц. *gage*, может быть подведено под общее понятие платы; но нет сходства в том, как изображается это содержание в упомянутых словах: *аппийт* — то, что отпускается на год, *pensio* — то, что отвещивается, *gage* первоначально — залог, ручательство, вознаграждение и проч., вообще результат взаимных обязательств, тогда как *жалование* — действие любви [...], подарок, но никак не законное вознаграждение, не следствие договора двух лиц» [Потебня 1976: 175]<sup>3</sup>. Ср. другой пример из [Гак 1998: 202]: русск. *спасательный жилет*, англ. *life jacket*, нем. *Schwimmweste*: в разных языках для номинации одного и того же объекта выбираются разные аспекты ситуации его использования (спасения при аварии).

Итак, внутренняя форма — это «след» того процесса, при помощи которого языком было создано данное слово, по выражению Ю. С. Маслова, — «сохраняющийся в слове отпечаток того движения мысли, которое имело место в момент возникновения слова» [Маслов 1988: 113]. Например, в слове *окно* «движение мысли» состоит либо в метафорическом переносе («окна у дома — как глаза у

человека»), либо в метонимическом (окно — это как бы продолжение нашего глаза,ср. *глазок* ‘маленькое окошко, в которое смотрят, приставив к нему глаз’). Слово *воспитание* отсылает к идеи *питания*; здесь при формировании понятия был использован механизм синекдохи: питание ребенка — это, очевидно, составная часть его воспитания.

П. Флоренский трактует внутреннюю форму слова одновременно как «душу слова» и как «факт личной духовной жизни» человека, пользующегося данным словом [Флоренский 1973].

## 2. Типы внутренней формы

Итак, наличие внутренней формы у некоторого слова означает наличие у данного слова определенного типа деривационно-ассоциативных смысловых отношений. В зависимости от того, какая сущность является вторым термом отношения, имеет смысл различать разные типы внутренней формы. Первый тип можно назвать *словообразовательным* (когда отношение устанавливается с другим словом); второй — *эпидигматическим* (когда вторым термом отношения является другое значение того же слова)<sup>4</sup>; кроме того, внутренняя форма может быть смешанного, словообразовательно-эпидигматического типа. Внутренняя форма любого типа может быть оригинальной и калькированной (см. раздел 6).

Внутренняя форма *словообразовательного* типа имеется у слов, образованных от какого-то другого слова по некоторой относительно живой словообразовательной модели (это значит, что, вообще говоря, любое слово, имеющее деривационную историю, имеет внутреннюю форму словообразовательного типа,ср.: *дом-ик*, *пере-писать*, *пар-о-воз*; ср. также *ход*, *бег*, нем. *Gang* от *gehen* — но не, например, *тип* от *пить* или *жисир* от *житься*, так как эти связи для современного языка не актуальны). Так, два омонима *заходить* — глагол сов. вида со значением ‘начать ходить’ (по комнате) и глагол несов. вида, имперфектив к *зайти* (за угол, в самую чашу) (см. [Зализняк 1995]) — имеют разную деривационную историю и, что в данном случае одно и то же, разную внутреннюю форму.

Внутренней формой *эпидигматического* типа обладают слова, имеющие «прямое» и «переносное» значение, например: *нос* (корабля), *яблоко* (глазное) и т. п., *источник* (‘причина’), *осел* (‘глупый человек’), *ведро*, *стакан*, *мешок* в значении меры объема и т. п.

В значительной части случаев внутренняя форма бывает смешанного типа. Например, такие слова, как *ручка* (дверная), *ножка*, *спинка*, *ушко* (игольное) и т. п. непосредственно соотносятся не со словом *ручка* (*ножка* и т. д.), а со словом *рука*; здесь имеет место связь эпидигматического типа: метонимический перенос или перенос по функции. Кроме того, слово *ручка* имеет деривационную историю (оно образовано присоединением суффикса *-к-*, который имеет здесь иное значение, чем в *ручка* ‘маленькая рука’, ср. [Спириidonова 1999: 19—20]), и тем самым слово *ручка* (дверная) имеет также внутреннюю форму словообразовательного типа.

Другой случай внутренней формы смешанного типа представлен словами абстрактной семантики, состоящими из двух или более морфем и имеющими переносное значение, возникшее путем метафорического переосмысливания пространственных категорий и других параметров материального мира. При этом здесь возможны два варианта. Первый вариант: само слово абстрактной семантики не имеет «конкретного» значения — его имеют лишь составляющие данное слово морфемы. Таковы, например, русские слова *впечатление*, *влияние*, *содержание*, *представление*, *предположение*, *отношение* и т. п. (многие такие слова представляют собой кальки с иноязычных образцов, см. раздел 6). Второй вариант: присутствуют оба значения, ср. *волнение* («на море» и внутреннее состояние), *вывод* («войск» и логическая операция) и т. п.

### 3. Внутренняя форма и значение слова

Покажем на примере русского глагола *предполагать*, как потенциальная многозначность слова может быть заложена в его внутренней форме. Слово *предполагать* состоит из приставки *пред-* и глагола *полагать*, имеющего переносное значение ‘иметь мнение’. Тем самым общая схема его значения такова: ‘иметь мнение, предшествующее чему-то’. Этим «чем-то» может быть: 1) действие; 2) знание (получение информации); 3) другое мнение.

Первый случай (мнение, предшествующее действию) соответствует значению ‘намерение’. Это значение было у существительного *предположение* вплоть до XIX в.: оно является вполне живым, например, в языке Пушкина; что касается глагола *предполагать*, то значение ‘иметь намерение’ в конструкции с подчиненным инфинитивом отмечается и в современных словарях, ср. *Что ты предполагаешь делать в субботу?*<sup>5</sup>

Во втором случае *предположение* — это мнение о верифицируемых пропозициях, которое человек формирует при отсутствии знания, т. е. до получения достоверной информации («мнение-предположение» по [Дмитровская 1988]).

Наконец, в третьем случае *предположением* оказывается мнение, предшествующее другому мнению или утверждению, т. е. мнение, истинность которого принимается и не проверяется (что соответствует лингвистическому термину *пресуппозиция*). Предшествование здесь понимается не столько во временном, сколько в онтологическом ключе — хотя предшествование во времени здесь тоже имеется.

Часто бывает так, что внутренняя форма указывает на те же особенности заключенного в слове концепта, которые обнаруживает семантический (концептуальный) анализ. Приведем интересное в этой связи рассуждение известного литовского логика Р. Павилениса, занимавшегося проблемой смысла и понимания. «Именно это свойство связности концептов концептуальной системы, образования целого, (...) конструктивного преодоления дистанции, различий, контрастов, любого другого вида несовместимости и составляют существенную природу смысла и понимания. (...) Показательно, что эта простая идея “связанности”, “приближения”, “достижения” лежит в этимологических корнях множества

языковых выражений, покрывающих семантическое поле смысла и понимания (напр., лат. *comprehendere*, англ. *to catch, to follow, to seize*, франц. *saisir, comprendre*, нем. *fassen, ergreifen, begreifen*, польск. *pojtmować*, лит. *pagauti, suprasti* и т. д.)<sup>6</sup>. То, что всегда имеется дистанция между субъектом и объектом понимания, подобным образом отражено в этимологии таких выражений, как нем. *verstehen* или англ. *understand*, тогда как очень показательные лит. выражения *prastē* ‘смысл’ и *suprasti* ‘понимать’ говорят нам, что понимание есть преодоление этой дистанции, приближение объекта понимания к субъекту, освоение его субъектом. Нетрудно опознать в данном “семантическом поле” идею направленности, интенциональности — сам по себе отличительный признак смысла. Поэтому не представляется просто исторической случайностью то, что, например, франц. *sens* обрело как значение ‘смысл’, так и значение ‘направление» [Павиленис 1986: 242—243]. (Обратим внимание на то, что в этом рассуждении совершенно на равных правах выступает апелляция к внутренней форме и к семантической деривации.)

Существует точка зрения, что внутренняя форма должна рассматриваться как компонент семантической структуры (см., напр. [Варина 1976: 238]); по-видимому, все же следует присоединиться к более осторожному мнению, высказанному в [Баранов 1998: 151], что внутренняя форма может «поддерживать» актуальное значение слова, но может и противоречить ему.

Действительно, с одной стороны, иногда даже непрозрачная внутренняя форма несет в себе информацию о построении концепта. Так, согласно Фасмеру, слово *обидеть* произошло из *об-видеть*, где предлог *об-* имеет значение ‘вокруг, огибая, минуя’, ср. *обнести* ‘пронести мимо, не дать’, *обделить, обвесить*. Слово *обидеть* тем самым имеет внутреннюю форму ‘обделить взглядом, не посмотреть’. И действительно, как показывает семантический анализ этого слова, именно недостаток внимания составляет прототипическую ситуацию возникновения того чувства, которое обозначается русским словом *обида* — в отличие, например, от английского *offence* (см. подробнее [Зализняк 2000a]). С другой стороны, бывает, что, наоборот, абсолютно прозрачная внутренняя форма «не прочитывается» носителями языка. Так, например, в ходе обсуждения вопроса о возвращении городу Санкт-Петербургу его изначального названия выяснилось, что далеко не для всех людей, говорящих по-русски, актуальна связь топонима *Ленинград* с антропонимом *Ленин*. Ср. в этой связи замечание М. М. Покровского о том, что внутреннюю форму человек более ясно видит в иностранном языке, чем в родном; например, иностранец в большей степени, чем немец склонен усматривать связь между нем. *sich brusten* ‘хвастаться’ и *Brust* ‘грудь’ (в особенности, имея в виду выражение *sich in die Brust werfen* ‘бить себя в грудь’) [Покровский 1959: 55]. Иногда внутренняя форма ничего не говорит о значении слова или даже вводит в заблуждение (ср. [Трубачев 1988: 215]).

С этой точки зрения интересна история слова *субъект*.

В основе латинского обозначения *subjectum* (являющегося калькой с греческого *ὑποχείμενον*)<sup>7</sup> лежит метафора подчиненного положения субъекта по отношению к предикату: внутренняя форма слова *subjectum* указывает на то, что обозначаемая

им сущность подвергается действию, производимому предикатом (т. е. действию предицирования, приписывания признака). Однако эта метафора (и, соответственно, внутренняя форма) оказывается не актуальна во всех прочих значениях слова *субъект*. Она отсутствует также в термине *подлежащее* — несмотря на калькированную морфологическую структуру этого слова, отсылающую к идею подчиненности и, более того, на наличие в русском языке причастия *подлежащий*, значение которого соответствует его внутренней форме (ср. *подлежащий уничтожению; сведения, не подлежащие разглашению* и т. п.). В оппозиции «субъект — объект» в силу вступают совершенно иные свойства субъекта: его преимущество с точки зрения одушевленности, активности, способности воздействия на объект и т. д. *Субъект* в этом смысле означает «главный»; так, подлежащее, т. е. грамматический субъект — это один из двух главных членов предложения (наряду со скажуемым) — в противоположность другим именным членам, в которых степень. Аналогичным образом, семантический субъект — это главный участник ситуации. Наоборот, в оппозиции «субъект — предикат» перечисленные свойства субъекта, которые противопоставляют его объекту, несущественны — не случайно одним из синонимов термина (*логический*) *субъект* является *предмет* (соответствующее латинскому *objestum*).

Внутренняя форма слова может фактически совпадать с его семантическим инвариантом. Так, в статье [Перцов 1996] в связи с проблемой утраты единства значения слова в лингвистических описаниях обсуждается описание полисемии русского глагола *выйти* в статье [Апресян 1995] и предлагается для этого глагола следующий семантический инвариант: ‘физически или абстрактно переместиться из некоторого замкнутого физического или абстрактного пространства в другое [как правило, более открытые] [с достижением некоторого результата]’.

Эта формула требует, как кажется, следующих уточнений. Во-первых, «абстрактное пространство» — это, обычно, «состояние»: быть замужем, быть генералом, быть в отставке и т. д.<sup>8</sup> Одновременно «движение» применительно к «абстрактному пространству» интерпретируется как «изменение состояния». Поэтому мы говорим *выйти замуж, в генералы, в отставку*, а также: *выйти из состояния покоя* (*задумчивости, апатии*), *выйти из строя* (= ‘из состояния нормального функционирования’), *из терпения, из повиновения* и т. п. Во-вторых, компонент ‘более открытое’ является обязательным, а не факультативным. В-третьих, смысл ‘с достижением результата’, по-видимому, вообще не входит в инвариантное значение данного глагола, и его следовало бы заменить на что-то вроде ‘и это хорошо’ — компонент, который возникает в результате усиления имплицитной положительной оценки, содержащейся в идеи открытого пространства.

Вообще нетрудно показать, что все значения глагола *выйти* (перечисленные, например, в [Апресян 1995]) получаются в результате комбинации двух типов операций над его концептуальной схемой (см. [Зализняк 2004]): (а) выбор (= помещение в фокус) тех или иных элементов ситуации перемещения из более замкнутого в более открытое пространство (а именно, исходного и конечного пространства перемещения) и (б) метафорическое переосмысление выбранных эле-

ментов, вызванное изменением таксономического класса актанта [Падучева 2002]. Глагол *выйти* является идеальном образцом для демонстрации операции выбора элемента, так как концептуальная схема здесь содержит два «равноправных» элемента (исходное и конечное пространство перемещения), которые в реальном значении должны быть как-то иерархически упорядочены, потому что фокус должен быть один. Так, даже в исходном пространственном значении фразы типа *Она вышла из дома в сад* или *Корабль вышел из гавани в открытое море* представляют собой «монтаж» двух «кадров»: (1) *вышла из дома* и (2) *вышла в сад*; (1) *вышел из гавани* и (2) *вышел в открытое море*. В переносных значениях такое «склеивание» невозможно, так как основание переноса должно быть одно. Соответственно, переносные значения делятся на те, где в фокусе находится исходное пространство («откуда» — их меньшинство, ср. *Вся мука вышла ~ ее больше нет там, где я находюсь*), и те, где в фокусе конечное пространство («куда»: *окна выходят на юг; выйти замуж, в генералы, на пенсию; выйти на начальника; выходит, я был прав*), ср. [Падучева 2004: 99—100].

До сих пор речь шла о семантическом инварианте глагола *выйти*. Однако, как легко заметить, примерно к той же формуле мы бы пришли, если бы попытались описать внутреннюю форму этого глагола. Обратим внимание на то, что частично это сделано, хотя и без упоминания термина «внутренняя форма», в обсуждаемой статье Ю. Д. Апресяна, где отмечается, что приставка *вы-* в контексте глаголов перемещения имеет следующее обобщенное значение: ‘переместиться из замкнутого пространства в более открытое’ [Апресян 1995: 491]<sup>9</sup>. Сюда следует добавить лишь перенос значения в глаголе *идти* (имеющий универсальный характер).

#### 4. Внутренняя форма и народная этимология

Понятие «внутренней формы» важно еще и потому, что оно имеет под собой вполне определенную психолингвистическую реальность. Дело в том, что представление, что «истинным» значением слова является его «исходное» значение, необычайно глубоко укоренено в сознании говорящих. Достаточно вспомнить, что с этимологией началась наука о языке (еще в XIX в. слово *этимология* употреблялось в значении ‘грамматика’), при этом само слово *этимология*, обозначающее сейчас науку о происхождении слов, образовано от греч. ἔτυμος ‘истинный’. Вообще надо сказать, что этимология — область языкоznания, в наибольшей степени подверженная злоупотреблениям, о чем свидетельствуют, в частности, такие образцы этого жанра, как *этруски = это русские, Азия = аз и я*, ср. многочисленные примеры в статье [Зализняк 2000]. Такого рода этимологизирование существовало испокон веков и составляет, по-видимому, неотъемлемую часть человеческой языковой компетенции.

Заметим, что внутренняя форма, найденная в результате «народной этимологии», может влиять на реальное функционирование языка. Примером тому может служить глагол *довлеть*, который под влиянием аналогии, связавшей его с со сло-

вом давление (ср. *терпеть — терпение, стареть — старение*) и одновременно с опорой на семантическую деривацию, т. е. актуальную полисемию глагола *давить* (ср. переносное значение в употреблениях *Не надо на него давить* = ‘пытаться повлиять, вынудить к принятию какого-то решения’) практически утратил исходное значение ‘быть достаточным’ и управление ⟨чему⟩: в современном языке этот глагол употребляется лишь в значении ‘давить, подавлять, тяготеть’ и имеет управление ⟨над кем/чем⟩ (*Прошлое довлело над его жизнью*); т. е. глаголы *давить* и *довлеть* являются в современном языке паронимами.

Как считает Д. Н. Шмелев, «подлинные отношения производности и сближения, основанные на случайных звуковых совпадениях, не разделены в самом языке четкой границей» [Шмелев 1973: 200]. Действительно, в истории языка довольно часто происходит совпадение этимологически различных (т. е. омонимичных), но фонетически и семантически близких слов. В некоторых случаях такое совпадение бывает столь разительно и системные связи между такими словами столь прочны, что отсутствие между ними генетической связи удивляет даже лингвистов. Так, слово *пекло*, родственное латинскому *pīx* ‘смола’ (а возможно, даже и просто заимствованное из уменьшительной формы *picula*, см. [Фасмер 1996, III: 226]), в современном языке по праву входит в словообразовательное гнездо глагола *печь* (пример из [Булыгина, Шмелев 1999]; ср. там же о скрывающем в себе два омонима слове *страсть*: ‘сильное чувство, страдание’ и ‘страх’). Лат. слово *amicus*, образованное от предлога *am* ‘около’, впоследствии было вовлечено в орбиту слов *amare* и *amor* и даже, возможно, способствовало сдвигу в значении *amare* [Пизани 2001: 115—116] и т. п. Нидерландский глагол *verduwen* ‘преодолевать’ возник в результате смешения двух этимологически различных слов — со значением ‘отталкивать’ и ‘переваривать’ [Geeraerts 1985: 33]. Примеры такого рода могут быть умножены (ср. также [Бенвенист 1974: 332] о том, что формально тождественные слова могут ассоциироваться по значению и создавать новое семантическое единство).

Важно подчеркнуть, что у одного слова может быть несколько различных актуальных для языкового сознания внутренних форм, которые существуют, не вступая в противоречие (ср. явление множественности словообразовательной структуры слова, описанное в [Тихонов 1970]). Они могут даже не противоречить этимологии: так, слово *тоска* в русском языке связано этимологически со словами *тищетно* (см. [Шимчук 1991]) и *тошно* (см. [Фасмер 1996, IV: 90]), и связь с обоими этими словами актуальна — ср., с одной стороны, выражение *тоска тщетности* (А. Платонов) и примеры типа «Ах няня, няня, я *тоскую*, / Мне *тошно*, милая моя» (Пушкин); см. подробнее [Зализняк 1998].

Рассмотрим еще один очень важный пример. Русский глагол *отворить* возник в результате переразложения глагола *от-ворить* (с основой \**verti*), который был переосмыслен как содержащий основу *творить*: *о-творить* (см. [Фасмер 1996, III: 169—170])<sup>10</sup>. В результате этого по аналогии возникли глаголы с другими приставками — *затворить, растворить* и *притворить*, производные как морфологически, так и семантически от глагола *отворить*, имеющего внутреннюю форму *от-творить*. При этом удивительно, что все эти три глагола не только не

несут на себе никаких следов своего «ненатурального» происхождения, но и более того, их внутренняя форма имеет параллели как минимум в литовском и в немецком языках. Так, в литовском языке имеются глаголы *atidaryti* ‘открыть’, *uždaryti* ‘закрыть’, *pridaryti* ‘прикрыть’<sup>11</sup>, в немецком — *aufmachen* ‘открыть’ и *zumachen* ‘закрыть’, образованные и в том, и в другом языке от глагольной основы со значением ‘делать’<sup>12</sup>. Кроме того, в самом русском языке по крайней мере глаголы *растворить* и *притворить* входят в системные эпидигматические связи: глагол *растворить* имеет другое значение (⟨сахар в воде⟩), которое связано со значением *растворить* ⟨окно⟩, как кажется, отношением обычной полисемии; *притворить* связано с *творить* и с *притвориться*<sup>13</sup> (т. е. ‘приблизиться, сделаться ближе’, ср. аналогичную семантическую деривацию в слове *сходство*). В обоих случаях, однако, на самом деле имела место вторичная смысловая ассоциация.

Сказанное, конечно, не означает, что реальная этимология ничем не отличается от «народной» и прочих типов вторичных смысловых связей. Хотя различного рода сближения этимологически не родственных слов могут влиять на реальную историю слова, эволюцию его значения и формы, задача этимологии состоит, в частности, в том, чтобы выявить эти вторичные сходства и отличить их от случаев генетического родства. К сожалению, авторитет В. Н. Топорова немало способствовал тому, что идея о «полиэтимологичности» слова, изложенная в известной статье [Топоров 1986], была подхвачена (в несколько прямолинейном понимании) людьми определенного ментального склада в качестве оправдания сомнительных и даже фантастических этимологий. Как представляется, смысл идеи Топорова — не в том, что этимология принципиально неотличима от других видов ассоциативно-деривационных связей, а в том, что поскольку реальная история слова бывает необычайно сложна, то — в особенности когда речь идет о дальней этимологии — исследователь не должен отвергать те гипотетические сближения, реальность которых на основании имеющихся на данный момент в нашем распоряжении фактов невозможно доказать.

### 5. Внутренняя форма и семантическая типология

Изучение внутренней формы слова — как словообразовательного, так и эпидигматического типа — имеет большое значение для семантической типологии, понимаемой как типология семантической деривации (ср. [Трубачев 1988: 213; Гак 1988/98: 469; Зализняк 2001]).

Под термином «семантическая деривация» мы объединяем отношения семантической производности, связывающие между собой разные значения одного слова на уровне синхронной полисемии, а также диахронические отношения между значениями слова в разные моменты его истории. О принципиальном единстве явлений семантической эволюции и синхронной полисемии см., в частности, [Толстой 1997: 15; Виноградов 1994а: 7; Бабаева 1998: 94; Пизани 2001: 145; Гак 1971/98, 1972/98, 1988/98]<sup>14</sup>. Идея о том, что синхронные отношения между разными значениями многозначного слова и отношения между исходным

и производным значением слова в диахронии представляют собой две стороны одного явления, фактически лежит в основе всех историко-лингвистических исследований, в частности, на этом имплицитном предположении основано понятие семантической параллели (ср. [Wilkins 1996: 267]). Особого упоминания в данной связи заслуживает понятие «скрытой памяти» языка, предложенное Т. М. Николаевой в работе [Николаева 2002], где приводится целый ряд убедительных примеров того, как язык воспроизводит, иногда на огромном временном промежутке, одну и ту же модель построения концепта. Апелляция к скрытой памяти языка позволяет объяснить, в частности, различия в современном употреблении квазисинонимичных форм (например, *хоть* и *хотя*), семантику опущения местоимения *я* в русском языке и др.

Воспроизведение моделей семантической деривации и является предметом семантической типологии. С другой стороны, модели семантической деривации — это не что иное, как образцы внутренней формы: эпидигматического типа, если речь идет о семантической деривации в чистом виде, и словообразовательного — если семантическая деривация сопровождается морфологической.

Задача изучения семантической деривации в типологическом аспекте была выдвинута в работах [Schropfer 1956; Трубачев 1964]. Сходная постановка проблемы имеется в книгах [Schropfer 1979] (на материале небольшой группы слов 30 indoевропейских языков) и в [Яворская 1992] (на материале русских и английских прилагательных). Следует упомянуть также статью [Гак 1988/98], где ставится задача типологического изучения метафорических переносов и отмечается, что «изучение и инвентаризация этих типов позволит выявить случаи параллельного метафорического развития слов в разных языках и, следовательно, регулярную полисемию метафорического типа» (с. 469), работу [Толстая 2002], где на обширном материале славянских языков исследуются различные модели семантической мотивации, статьи [Sakhno 1999; Сахно 2001], где ставится задача построения типологии внутренней формы<sup>15</sup>, статьи [Cienki 1998; ван Лейвен-Турновцева 1999], а также словарь [Sakhno 2001] и словарь [Heine, Kuteva 2002]. В статье [Зализняк 2001] мною был выдвинут проект инвентаризации фактов сходных семантических переходов в языках мира путем создания «Каталога семантических переходов».

В известной статье Э. Бенвениста «Семантические проблемы реконструкции» [Бенвенист 1974] были изложены основания семантической реконструкции и как раздела компаративистики. Принцип работы Бенвениста состоит в нахождении «позиции нейтрализации», т. е. такого контекста, в котором могут совмещаться оба значения. Образцом семантической реконструкции может служить его анализ франц. глагола *voler*, имеющего значения ‘лететь’ и ‘красть’, которые являются в современном языке омонимами, но их единство может быть восстановлено в употреблении типа *le faucon vole la perdrix* ‘сокол преследует и хватает на лету куропатку’ [Бенвенист 1974: 333]. Ср. также семантическую реконструкцию для древнерусского глагола *погренути* (и его производных *погребение*, *погреб*) в [Якобсон 1965] на основании контекста *рѣзъ погренути* ‘острым орудием вычеркнуть или перечеркнуть нарезку’, позволяющее восстановить отношения семан-

тической деривации между значениями ‘спрятать’, ‘предать забвению’ и ‘предать земле (тело покойного)’. В обоих случаях речь идет фактически о реконструкции внутренней формы (эпидигматического типа).

В статье [Трубачев 1964] ставится проблема семантической эволюции ‘таять’ → ‘молчать’, восстанавливаемой из нескольких рядов этимологически родственных слов разных индоевропейских языков. Предлагаемая в работе семантическая реконструкция (которую сам автор называет «пробной») ‘распускаться, растапливаться, доходить до жидкого состояния, размельчаться’ → ‘делать мелким, маленьким, прятать, скрывать’ не представляется убедительной.

Как кажется, ключевым для решения этой проблемы может служить одно выражение из LI стихотворения Катулла:

*Lingua sed torpet, tenuis sub artus  
Flamma demanat, sonitu suopte  
Tintinant aures, gemina teguntur  
Lumina nocte<sup>16</sup>.*

Выражение *lingua torpet* содержит в себе пропущенное звено для реконструкции семантической эволюции ‘таять’ → ‘молчать’, которое состоит в следующем.

Первый принципиальный шаг — перенос из мира физических объектов в мир человека; все дальнейшее происходит с частями его тела. А именно, многие части тела человека (руки, ноги, шея и т. д.) обладают таким свойством, что они могут временем переходить в специфическое физиологическое состояние, которое, как и все невидимое, человек описывает при помощи метафоры, отсылающей к миру физических предметов; по-русски оно обозначается словом *затекать*, ср.: *у меня затекали ноги* (*спина, шея* и т. д.). Это состояние ощущается как потеря данным органом чувствительности (а также, что не менее важно, способности выполнять свои функции)<sup>17</sup>, а обозначается при помощи образования от глагола *течь*, т. е. как будто эта часть тела оказалась состоящей из воды, из твердой превратилась в жидкую — другими словами: *растаяла*. На основе этой метафоры устанавливается связь между идеей ‘таять’ и состоянием потери чувствительности частей тела.

Теперь нам осталось проследить переход от описанного состояния частей тела к идее ‘молчать’. Он кроется в сочетании типа *lingua torpet* ‘немеет язык’<sup>18</sup>. Глагол *torpeo* обозначает приблизительно то же физиологическое состояние частей тела, которое описывается русскими выражениями ‘рука затекла/онемела/отнялась’, ср. примеры из «Латинско-русского словаря» И. Х. Дворецкого: *dextra torpet* ‘правая рука отнялась’, *torpens palatum* ‘притупившийся вкус’, букв. ‘онемевшее нёбо’. Когда немеет язык, физиологически с ним происходит то же самое, что со спиной или с ногами, но с разными последствиями: если немеют ноги, человек не может ходить, а если немеет язык — он не может говорить, т. е. *молчит*.

Итак, реконструируемый путь семантической деривации выглядит следующим образом: ‘таять’ → ‘терять чувствительность и функциональные свойства (о частях тела): как будто становиться жидким или мягким’ → ‘терять функциональные свойства (о языке)’ → ‘молчать’<sup>19</sup>.

## 6. Семантическая типология и проблема калькирования

Как уже говорилось, в общем случае исходная точка семантической деривации слова совпадает с его внутренней формой. Рассматривая семантическую деривацию в типологическом аспекте — т. е. с точки зрения продуктивности той или иной модели, ее воспроизводимости в разных языках и в разное время, исследователь неизбежно сталкивается с той проблемой, что воспроизведение некоторой модели семантической деривации разными языками может быть обусловлено не только параллельным (независимым) семантическим развитием, но также и заимствованием производного значения — т. е. результатом семантического калькирования.

Среди разных типов калек рассмотрим словообразовательные и семантические<sup>20</sup>. При словообразовательном калькировании воспроизводится морфологическая структура слова (ср. *мероприятие* из нем. *Maß-nahme*). Семантическим калькированием называют возникновение у слова отсутствующего у него ранее переносного значения — по образцу слова другого языка с тем же исходным значением. Так, известно, что значение ‘воздействовать на чувства’ у русского слова *трогать* появилось в конце XVIII в. под влиянием франц. *toucher* (см. [Виноградов 1994: 810—811; Веселитский 1972: 145]).

Однако, поскольку калькирование — это заимствование внутренней формы, типы калькирования естественно различать на основании соотношения внутренней формы оригинала и копии. А именно, если оригинал имеет внутреннюю форму словообразовательного типа, то копия представляет собой словообразовательную кальку (нем. *Gold-such-er* — русск. золото-иска-тель), если оригинал имеет внутреннюю форму эпидигматического типа, то получается семантическая калька. В случае если слово-оригинал имеет внутреннюю форму смешанного типа, калька является одновременно словообразовательной и семантической, так как созданное путем поморфемного перевода слово копирует также и заключенный в слове-источнике семантический перенос. Так, русское *необходимо*, копирующие немецкое *unumgänglich*, воспроизводят также и ход метафорического переосмыслиния пространственной идеи (*необходимое* — это «то, что нельзя обойти»); *председатель*, так же как и нем. *Vorsitzender* и лат. *Praesidens*, это не просто тот, кто сидит перед кем-то, как следует из буквального смысла составляющих, а тот, кто выполняет при этом определенные функции (и даже вообще не обязательно где-то сидит), и т. п.

Среди калек смешанного типа существенно провести следующее разграничение, содержательно очевидное, однако для каждого конкретного слова вопрос о том, к какому из двух типов оно относится, можно решить, только проведя отдельное разыскание историко-филологического характера. А именно, среди слов, имеющих прозрачную внутреннюю форму словообразовательного типа, следует различать такие, которые были созданы по образцу иноязычных слов, но при этом сразу в переносном значении (как *впечатление*), и такие, которые существовали в языке до момента заимствования (как *влияние*) — каковое в этом

случае состоит именно в заимствовании производного значения, т. е. это в чистом виде семантическая калька, с той только разницей, что речь идет о слове, имеющем прозрачную словообразовательную структуру.

Установить факт семантического калькирования в каждом конкретном случае можно, лишь уяснив время и обстоятельства появления данного переносного значения. Блестящие образцы такой работы мы находим, например, в исследованиях В. В. Виноградова по «истории слов» [Виноградов 1994]; наиболее полный свод сведений о русских калькированных существительных и прилагательных содержится в книге [Арапова 2000]; см. также [Веселитский 1972; Unbegau 1932]. Собственно лингвистическими методами могут быть выявлены лишь случаи «подозрительного» сходства. Так, например, сходную внутреннюю форму, наводящую на мысль о калькировании, имеют слова со значением ‘поезд’ в немецком, польском и чешском языках, ср. нем. *Zug*, польск. *rosiąg*, чешск. *vlak*. Во всех трех случаях существительное со значением ‘поезд’ отрезано от глагола со значением ‘тянуть’. Здесь можно упомянуть также франц. *train*.

Другой пример: «семиотическое» значение у глагола *говорить* ‘означать’ (это говорит о его смелости), которое появилось в русском языке в начале XIX в. — возможно, под влиянием французского, где это значение (у глагола *dire*) появилось значительно раньше (*qu'est ce que ça vent dire?*)<sup>21</sup>.

Переход от значения ‘горшок’ к значению ‘голова’, произошедший с нем. словом *Kopf*, предположительно является семантической калькой с претерпевшего ту же эволюцию лат. *testa* (см. [Блумфильд 1968: 483]), однако полной уверенности в этом быть не может.

Таким образом, вопрос о том, является ли сходство семантической деривации результатом независимого развития или семантического калькирования, часто остается без окончательного ответа (ср. [Стеблин-Каменский 1958: 281; Ефремов 1974: 141]). Более того, для языков, которые в принципе находятся между собой в постоянном контакте, граница между этими двумя явлениями до некоторой степени стирается (подобно тому как в тесном научном коллективе порой трудно бывает установить, кто первый придумал некоторую ставшую впоследствии популярной идею). Так, например, известно, что русское слово *вкус* в значении ‘чувство изящного’ представляет собой кальку с французского *goût* [Арапова 2000: 67]. Ср., однако, следующее рассуждение А. С. Шишкова: «Слово *вкус* происходит от глагола *вкусить* (...) и значит чувство, какое получает язык наш от раздробления зубами куска снеди. Сие есть главное его знаменование. (...) Но поелику человеческий разум весьма обширен, так что сколько бы ни изобрел он разных названий, однако всегда изобилие мысли его превосходнее будет изобилия слов: сего ради бывает, что одно и то же слово служит к изображению двух или многих понятий, из которых одно есть первоначальное, другие — по сходству или подобию с оным от него произведенныя. Мы говорим *вкусить пищу* и говорим *вкусить утеху*... Равным образом и слово *вкус* употребляется иногда в первоначальном знаменовании, т. е. означает чувство, различающее снедаемые вещи, а иногда в производном от подобия с оным [разрядка моя. — А. З.], т. е. означает разборчивость или

звание различать изящность вещей. [...] Читая французские книги, начали мы употреблять слово *вкус* больше по значению их слова *goût*, нежели по собственным своим понятиям» [Шишков 1824: 161—162]. Ср. [Крысин 2002: 31] о переносном значении слова *крутой*.

Поэтому с точки зрения семантической типологии закрепившиеся семантические кальки представляют не меньший интерес, чем случаи независимого семантического развития, — и не только потому, что иногда эти два случая трудно или невозможно различить, но также и потому, что заимствование производного значения, если оно удерживается в заимствовавшем языке, есть подтверждение «жизнеспособности» соответствующей семантической деривации.

## 7. Семантическое калькирование и языковая картина мира

Проблема калькирования имеет еще один важный аспект, поскольку семантические кальки являются мощным проводником культурного влияния. Механизм этого влияния состоит в следующем.

Внутренняя форма составляет ту часть значения слова, которая наиболее тесно связана с языковой картиной мира (см. [Никитина 1996; Зализняк 1998; Булыгина, Шмелев 1999; Толстая 2002] и др.). Действительно, внутренняя форма указывает на способ построения концепта; при этом разные языки некоторым не случайным образом выбирают разные способы (ср. хотя бы приведенный выше пример А. А. Потебни со словом *жалованье*). В случае внутренней формы эпидигматического типа эта связь осуществляется за счет действия силы притяжения между разными значениями многозначного слова (т. е. эпидигматических связей): абстрактный концепт, сконструированный путем семантической деривации, хранит в себе следы этой конструкции. Действительно, производное значение многозначного слова обычно сохраняет связь с исходным. Расхожий пример: слово *идиот*, из греч. слова *ἰδίωτης*, исходное значение которого было ‘частное лицо’, где сам факт совмещения этих двух смыслов свидетельствует об отношении к частному лицу в древнегреческих государствах — ради чего этот факт и упоминается во вводных курсах по общему языкознанию и в популярной литературе (см., напр. [Бойм 2002: 110])<sup>22</sup>. Актуальность эпидигматических связей в слове является также источником разного рода каламбуров, языковой игры и поэтических — а также демагогических — приемов. Так, например, В. Набоков не принял ни одного почетного титула, которые ему предлагали академические общества Европы и Америки, не входил ни в какие комитеты и клубы — на том основании, что он не может «принадлежать» (см. [Апресян 2000: 496]).

Наличие между двумя концептами обусловленной таким образом близости является фактом языковой картины мира данного языка. При семантическом калькировании, т. е. заимствовании данного отношения полисемии, происходит заимствование и соответствующего фрагмента языковой картины мира одного языка в другой язык, что может восприниматься как «навязывание чуждого мировоззрения». Например, в речи русских, постоянно живущих на Западе, имеются, в част-

ности, следующие семантические кальки (постепенно многие из них распространяются и в России): употребление слова *друг* в значении, соответствующем англ. *boy-friend* или просто *friend*, франц. *ami*, нем. *Freund*; *пригласить* в значении, соответствующем, напр., франц. *inviter*, т. е. практически ‘предложить заплатить за обед, билет в театр и т. п.’, *забрать* (кого-то) в значении, соответствующем нем. *abholen*, т. е. «приехать (за кем-то на машине)» и т. п.

В первом примере «идеологическая» составляющая семантической кальки состоит, по-видимому, в следующем. В русском языке, как известно, отсутствуют специальные обозначения для отношений незарегистрированного брака: слово *сожитель* употребляется лишь в милиционных протоколах либо иронически и имеет неустранимую отрицательную коннотацию, связывающую его со сферой «низкого». Наоборот, слово *друг* в русской языковой картине мира соотносится со сферой «высокого». Употребление слова *друг* в значении «мужчина, с которым близка данная женщина» [Урысон 2000: 108], может восприниматься как «снижение», свидетельствующее о «падении нравов» (и все это — в силу устойчивости эпидигматических связей, благодаря которым внутренняя форма слова оказывается носителем идеологии).

Семантическая деривация в глаголе со значением *пригласить* находит системные соответствия в характере расхождения роли смыслового компонента ‘деньги’ (или ‘собственность’), которое реально обнаруживается при сравнении целого ряда русских лексем — таких как *купить*, *дать*, *подарить*, *одолжить* — с их переводными эквивалентами, в частности, английского, французского и немецкого языков. В третьем примере картина мира обнаруживает себя в пресуппозиции передвижения на собственном автомобиле (которая в русской языковой картине мира отсутствует, что отражено, например, в значении лингвоспецифичного концепта *добираться*, см. [Зализняк 2000б]).

Поэтому неудивительно, что сторонники идеи «национальной самобытности» всегда сопротивляются не только заимствованиям, но и семантическим калькам, несущим в себе заимствованную семантическую деривацию, заставляющую — в силу действия описанного выше механизма — человека, пользующегося данным словом, сближать концепты, соответствующие его исходному и производному значениям. Здесь достаточно вспомнить продолжавшуюся в течение нескольких десятилетий полемику славянофилов с «западниками», в которой лингвистический аспект играл весьма важную роль.

Альтернативой семантическому калькированию является создание новых слов по оригинальным моделям; так, слова типа *колоземица* (вместо *атмосфера*), *ловкослие* (вместо *гимнастика*) и т. п. имеют свою собственную, некалькированную внутреннюю форму; ср. также немецкие слова с оригинальной внутренней формой: *Sachwort* ‘существительное’, букв. ‘вещное слово’, *Zeitwort* ‘глагол’, букв. ‘временное слово’, *Hochzeit* ‘свадьба’, букв. ‘высокое время’, *wahrnehmen* ‘воспринимать’, букв. ‘брать правду’ (ср. также примеры из [Ефремов 1974: 42]: *Bahnsteig* ‘перрон’, *Fallbeil* ‘гильотина’, *Wundarzt* ‘хирург’).

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ср. его же понятие *nationeller Sprachsinn* ‘национальное языковое сознание’.

<sup>2</sup> Я благодарна С. А. Крылову и В. И. Постоваловой за важные соображения, высказанные при обсуждении данной проблемы.

<sup>3</sup> Интересно отметить, что в своем более позднем (1874) и более известном труде «Из записок по русской грамматике» А. А. Потебня, ссылаясь на Штейнталя, употребляет термин *внутренняя форма слова* в совершенно ином значении — как содержание языкового знака, в противоположность его *внешней форме* — звуковой оболочке [Потебня 1958: 47]. Это словоупотребление не получило продолжения.

<sup>4</sup> Термин «эпидигматический», введенный в книге [Шмелев 1973: 191], употребляется здесь в узком смысле, ср. [Кобозева 2000: 169].

<sup>5</sup> Действительно, намерение — это некоторая идея, имеющаяся у человека перед действием, т. е. то, что человек «полагает перед действием». Однако одновременно *намерение* — это то, что человек «полагает перед собой» (ср. нем. *vorhaben* ‘намереваться’, букв. ‘иметь перед’), и эта интерпретация тоже задается внутренней формой: если глагол *полагать* рассматривать в его исходном значении ‘класть’.

<sup>6</sup> Заметим, что концепт понимания может строиться и противоположным образом — на основе идеи *расчленения*, как, напр., в др.-исландском *skilinn* ‘понимающий’, букв. ‘разделяющий’, *skil* ‘понимание’ [Горюкова 1994: 27], ср. также русское слова *разум*, *рассудок*, русское разговорное *счет* = ‘понимает’. О метафорических моделях понимания см. также [Плунгян 1991].

<sup>7</sup> Букв. ‘лежащее под’. Как известно, в латинском переводе этого слова из-за отсутствия употребительной формы причастия от глагола *jaceo* ‘лежать’ было использовано причастие от глагола *iacio* ‘бросать’, в результате чего внутренняя форма этого слова была переосмыслена как «брошенное под», «подверженное», ср. польскую кальку *podmiot*, а также соответствующее лат. *objectum* польское *przedmiot*, заимствованное русским в форме *предмет*, см. [Виноградов 1994: 536].

<sup>8</sup> Ср. параллелизм понятий «пространство» и «состояние» в исследованиях по семантике приставок; так, в работе [Свецинская 1997] в качестве одного из элементов инвариантного значения приставки *вы-* названо: «пространство для глаголов в ситуациях, связанных с перемещением X; состояние для глаголов в ситуациях, связанных с изменением X».

<sup>9</sup> В работе [Апресян 1999: 43] в подтверждение этой формулы приводится тот факт, что можно сказать *Он вышел из комнаты в коридор*, но не \**Он вышел из коридора в комнату*. Однако остается без объяснения допустимость фраз типа *Он вышел покурить в тамбур* (имеется в виду из вагона); ср. также *Выхожу покурить в туалет* (А. Галич). И в том, и в другом случае пространство цели перемещения не является более открытым; *выйти* здесь, очевидным образом, означает просто ‘перестать находиться’: *вышел покурить* говорят о человеке, который переместился, чтобы не курить в комнате (в вагоне). Возможно, ‘открытость’ пространства здесь переосмысливается как наличие в нем большей свободы.

<sup>10</sup> Поскольку приставка *о-* здесь семантически неуместна, следует предположить, что *о-творить* было интерпретировано как возникшее из *от-творить*.

<sup>11</sup> На существование этих слов обратил мое внимание А. Д. Шмелев.

<sup>12</sup> Ср. также укр. *відчинити* ‘открыть’, соответствующее по внутренней форме русскому *от-творить*.

<sup>13</sup> Ср. *Он думал о твари, творении, творчестве и притворстве* (Б. Пастернак. Доктор Живаго).

<sup>14</sup> Подобное соотношение синхронии и диахронии имеется и на других уровнях языка. Ср. замечание в [Зализняк 1964: 53] о том, что среди синхронных морфонологических моделей наи-

более эффективными часто оказываются те, где постулируемые правила совпадают с содержанием фонетических процессов, реально имевших место в истории.

<sup>15</sup> Ср. также применение идеи типологии внутренней формы в этимологическом анализе в статье [Иванов 1975].

<sup>16</sup> В переводе С. В. Шервинского:

Мой язык немеет, по членам беглый  
Застрялся пламень, в ушах заглохших  
Звон стоит и шум, и глаза двойною  
Ночью затмились.

<sup>17</sup> Похожее состояние описывается выражением *ноги как ватные*, где вместо ‘жидкого’ выступает ‘мягкое’. Но это, очевидно, варианты: когда воск или масло тают, они тоже становятся сначала мягкими. И та и другая метафора отсылает к идеи утраты объектом исходного состояния и свойств (а именно, твердого состояния, находясь в котором он может быть объектом манипуляции). Ср. также переносные употребления глагола *плыть / плавать* типа *у меня почва поплыла под ногами; плавать на экзамене* и т. п., где метафора жидкости передает идею утраты контроля.

<sup>18</sup> Ср. значение русского слова *терпкий* (восходящего, как и лат. *torpeo*, к и.-е. \**terp-*): *терпкие ягоды* — такие, от которых *немеет* языки.

<sup>19</sup> Обратим внимание на то, что в русском *неметь* (*немеет* *рукой*) = *затекает*) представлена та же семантическая деривация, только в обратном направлении: от молчания (онемения языка) — к потере чувствительности органом тела, ощущаемой как заполнение его водой.

<sup>20</sup> Фразеологические (сочетаемостные) и синтаксические кальки нас здесь интересовать не будут.

<sup>21</sup> Возможна и в некотором смысле обратная семантическая деривация ‘указывать’ → ‘говорить’, ср. лат. *dico* ‘говорю’ и греч. *δείκνυι* из и.-е. \**deik-* (см. [Рокотту 1959: 188]); русск. *сказать* (от *казать*, ср. *показать, указать*), а также данные других славянских языков, приводимые в статье [Толстая 2000].

<sup>22</sup> Реально путь семантической деривации, связывающий эти два значения, несколько иной. А именно, в древнегреческом у слова *ἴδιότης* (от прилагательного *ἴδιος* ‘свой, своеобразный, собственный, частный’), наряду со значением ‘частное лицо’, было значение ‘неопытный или несведущий в чем-то человек’; которое и послужило источником современного значения (ср. [Черных 1996: II, 336]).

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Апресян 1995 — Ю. Д. Апресян. Лексикографический портрет глагола *выйти* // Ю. Д. Апресян. Избранные труды. Т. II. М., 1995.
- Апресян 1999 — Ю. Д. Апресян. Отечественная теоретическая семантика в конце XX столетия // Известия РАН. 1999. Т. 8. № 4. С. 39—53.
- Апресян 2000 — Ю. Д. Апресян. Бессмертие по Набокову // Русский язык сегодня. М., 2000.
- Арапова 2000 — К. С. Арапова. Кальки в русском языке послепетровского периода. Опыт словаря. М., 2000.
- Бабаева 1998 — Е. Э. Бабаева. Кто живет в вертепе, или опыт построения семантической истории слова // ВЯ. № 3. 1998.
- Баранов 1998 — А. Н. Баранов. Внутренняя форма как фактор организации значения дискурсивных слов // Тр. международн. семинара Диалог'98 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. Т. 1. Казань, 1998.
- Бенвенист 1974 — Э. Бенвенист. Семантические проблемы реконструкции // Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.

- Блумфильд 1968 — *Л. Блумфильд. Язык*. М., 1968.
- Бойм 2002 — *С. Бойм. Общие места*. М., 2002.
- Булыгина, Шмелев 1999 — *Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. Народная этимология: морфонология и картина мира // Славянские этюды: Сборник к юбилею С. М. Толстой*. М., 1999.
- Варина 1976 — *В. Г. Варина. Лексическая семантика и внутренняя форма языковых единиц // Принципы и методы семантических исследований*. М., 1976.
- Веселитский 1972 — *В. В. Веселитский. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в.* М., 1972.
- Виноградов 1994 — *В. В. Виноградов. История слов*. М., 1994.
- Виноградов 1994а — *В. В. Виноградов. Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования // Виноградов В. В. История слов*. М., 1994.
- Виноградов 2000 — *В. В. Виноградов. Язык Пушкина*. М.: Наука, 2000.
- Гак 1998 — *В. Г. Гак. Языковые преобразования*. М., 1998.
- Гак 1971/1998 — *В. Г. Гак. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания // В. Г. Гак. Языковые преобразования*. М., 1998.
- Гак 1972/1998 — *В. Г. Гак. К проблеме общих семантических законов // В. Г. Гак. Языковые преобразования*. М., 1998.
- Гак 1988/1998 — *В. Г. Гак. Метафора: универсальное и специфическое // В. Г. Гак. Языковые преобразования*. М., 1998.
- Гумбольдт 1984 — *В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию*. М.: Прогресс, 1984. Т. I.
- Дмитровская 1988 — *М. А. Дмитровская. Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ языка. Знание и мнение*. М., 1988.
- Ефремов 1974 — *Л. П. Ефремов. Основы теории лексического калькирования*. Алма-Ата, 1974.
- Зализняк 1964 — *А. А. Зализняк. Синхронное описание и внутренняя реконструкция // Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Научная сессия: Тезисы докладов*. М., 1964.
- Зализняк 1995 — *Анна А. Зализняк. Опыт моделирования семантики приставочных глаголов в русском языке // Russian linguistics. Vol. 19. 1995. P. 143—185*.
- Зализняк 1998 — *Анна А. Зализняк. О месте внутренней формы слова в семантическом моделировании // Тр. международн. семинара Диалог'98 по компьютерной лингвистике и ее приложениям*. Т. I. Казань, 1998.
- Зализняк 2000 — *А. А. Зализняк. Лингвистика по А. Т. Фоменко // История и антиистория*. М., 2000.
- Зализняк 2000а — *Анна А. Зализняк. О семантике щепетильности (*обидно, совестно и неудобно* на фоне русской языковой картины мира) // Логический анализ языка: Языки этики*. М., 2000.
- Зализняк 2000б — *Анна А. Зализняк. Преодоление пространства в русской языковой картине мира: глагол *добраться* // Логический анализ языка. Языки пространств*. М., 2000.
- Зализняк 2001 — *Анна А. Зализняк. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «Каталога семантических переходов» // ВЯ. № 2. 2001*.
- Зализняк 2004 — *Анна А. Зализняк. Феномен многозначности и способы его описания // ВЯ. № 2. 2004*.
- Иванов 1975 — *Вяч. Вс. Иванов. К типологическому анализу внутренней формы праслав. \*celověkъ // Этимология*. 1973. М., 1975.
- Кобозева 2000 — *И. М. Кобозева. Лингвистическая семантика*. М., 2000.
- Крысин 2002 — *Л. П. Крысин. Лексическое заимствование и калькирование в русском языке последних десятилетий // ВЯ. № 6. 2002*.
- Маслов 1998 — *Ю. С. Маслов. Введение в языкознание*. 3-е изд. М., 1998.

- Никитина 1996 — С. Е. Никитина. Паронимическая аттракция или народная этимология? // Язык как творчество: К 70-летию В. П. Григорьева. М., 1996.
- Николаева 2002 — Т. М. Николаева. «Скрытая память» языка: попытка постановки проблемы // ВЯ. 2002. № 4. С. 25—41.
- Павиленис 1986 — Р. Павиленис. Язык, смысл, понимание // Язык, наука, философия. Вильнюс, 1986.
- Падучева 2002 — Е. В. Падучева. О параметрах лексического значения глагола: таксономический класс участника // Русский язык в научном освещении. № 1 (3). 2002. С. 87—111.
- Падучева 2004 — Е. В. Падучева. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Пауль 1960 — Г. Пауль. Принципы истории языка. М., 1960 (гл. IV. Изменение значений слов).
- Перцов 1996 — Н. В. Перцов. О некоторых проблемах современной семантики и компьютерной лингвистики // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М., 1996.
- Пизани 2001 — В. Пизани. Этимология. М., 2001.
- Плунгян 1991 — В. А. Плунгян. К описанию африканской «наивной картины мира» (локализация ощущений и понимание в языке догон) // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
- Покровский 1959 — М. М. Покровский. Соображения по поводу изменения значений слов // Покровский М. М. Избранные работы по языкоznанию. М., 1959.
- Потебня 1958 — А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958.
- Потебня 1976 — А. А. Потебня. Мысль и язык // А. А. Потебня. Эстетика и поэтика. М., 1976.
- Сахно 2001 — С. Л. Сахно. Семантическое описание русской лексики и проблема соотношения синхронии и диахронии // Русский язык: пересекая границы. Дубна, 2001.
- Спиридова 1999 — Н. Ф. Спиридова. Русские диминутивы: проблемы образования и значения // Известия РАН. Сер. лит. и яз. Т. 58. 1999. № 2. С. 13—22.
- Стеблин-Каменский 1958 — М. И. Стеблин-Каменский. История скандинавских языков. М.; Л., 1958.
- Тихонов 1970 — А. Н. Тихонов. Множественность словаобразовательной структуры слова в русском языке // Русский язык в школе. 1970. № 4.
- Толстая 2000 — С. М. Толстая. Славянские параллели к русским *verba* и *nomina dicendi* // Язык о языке. М., 2000.
- Толстая 2002 — С. М. Толстая. Мотивационные семантические модели и картина мира // Русский язык в научном освещении. № 1 (3). 2002.
- Толстой 1997 — Н. И. Толстой. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Н. И. Толстой. Избранные труды. Т. I. М., 1997.
- Топоров 1986 — В. Н. Топоров. О некоторых теоретических аспектах этимологии // Этимология. 1984. М., 1986.
- Топорова 1994 — Т. В. Топорова. Семантическая структура древнерусской модели мира. М.: Радикс, 1994.
- Трубачев 1964 — О. Н. Трубачев. ‘Молчать’ и ‘таить’. О необходимости семасиологического словаря нового типа // Проблемы индоевропейского языкоznания. М., 1964.
- Трубачев 1976 — О. Н. Трубачев. Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
- Трубачев 1980 — О. Н. Трубачев. Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980. № 3.
- Трубачев 1988 — О. Н. Трубачев. Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Теория лингвистической реконструкции. М.: Наука, 1988.
- Туровский 1985 — В. В. Туровский. О соотношении значений многозначного слова // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1985.

- Урысон 2000 — Е. В. Урысон. *Друг, товарищ, приятель* // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2. М., 2000.
- Фасмер 1996 — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. СПб., 1996.
- Флоренский 1973 — П. Флоренский. Строение слова // Контекст 1972. М., 1973.
- Херберман 1998 — К.-П. Херберман. Компаративные конструкции в сравнении. К вопросу об отношении грамматики к этимологии и языковой типологии // ВЯ. № 2. 1998. С. 43—73.
- Черных 1994 — П. Я. Черных. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1994.
- Шимчук 1991 — Э. Г. Шимчук. Из истории лексики, связанной с духовным миром человека (др.-русская тьска и его окружение) // Историко-культурный аспект лексикологического описания. Ч. I. М., 1991.
- Шишков 1824 — А. С. Шишков. Разсуждение о старом и новом слоге Российского языка // Собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова. Ч. II. СПб., 1824.
- Шмелев 1964а — Д. Н. Шмелев. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.
- Шмелев 1973 — Д. Н. Шмелев. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
- Шпет 1927 — Г. Г. Шпет. Внутренняя форма слова. М., 1927.
- Яворская 1992 — Г. М. Яворская. Лексико-семантическая типология в синхронии и диахронии. Киев, 1992.
- Якобсон 1965 — Г. Якобсон. Этимология и семантика на примере нескольких русских слов // Этимология 1964. М., 1965.
- Яковлева 1998 — Е. С. Яковлева. О понятии «культурная память» в применении к семантике слова // ВЯ. № 3. 1999. С. 92—107.
- Cienki 1998 — A. Cienki. Slavic Roots for ‘Straight’ and ‘Bent’: Experiential Gestalts, Conceptual Metaphors, and Cultural Models as Factors in Semantic Change // Contributions to the 12<sup>th</sup> International Congress of Slavists / Ed. A. Timberlake. Bloomington; Indiana, 1998. P. 98—313.
- Geeraerts 1985 — D. Geeraerts. Polysemization and Humboldt’s principle // La polysemie: lexico-graphic et cognition. Cahiers de l’institut de linguistique de Louvain. Cabay; Louvain-La-Neuve, 1985.
- Heine, Kuteva 2002 — B. Heine, T. Kuteva. World Lexicon of Grammaticalization. Cambridge Univ. Press, 2002.
- Pokorny 1959 — J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. München, 1959.
- Sakhno 1999 — S. Sakhno. Typologie des parallèles lexicaux russes-français dans une perspective semantico-historique // Slovo 22—23. INALCO, 1999.
- Sakhno 2001 — S. Sakhno. Dictionnaire russe-français d’étymologie comparée. Correspondances lexicales historiques. Paris: L’Harmattan, 2001.
- Schröpfer 1956 — J. Schröpfer. Wozu ein vergleichendes Wörterbuch des Sinnwandels? // Proceedings of the seventh International Congress of Linguists (London 1952). London: Clarendon Press, 1956.
- Schröpfer 1979 — J. Schröpfer. Vergleichendes Wörterbuch der vergleichenden Bezeichnungslehre. Onomaseologie. Bd. I. Heidelberg, 1979.
- Unbegaun 1932 — B. Unbegaun. Le calque dans les langues slaves littéraires // Revue des Etudes slaves. Т. XII. 1932. Fasc. 1—2. P. 19—48.
- Wilkins 1996 — D. P. Wilkins. Natural Tendencies of semantic Change and the search for Cognates // The Comparative Method Reviewed. Regularity and irregularity in Language Change / Ed. by M. Durie, M. Ross. N.Y., Oxford: Oxford Univ. Press, 1996.

III.

## ГРАММАТИКА





*Вяч. Вс. Иванов (Москва)*

## К ТИПОЛОГИИ И ИСТОРИИ НАЧАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК ЭНКЛИТИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

**В** последнее время Т. М. Николаева много и успешно занималась частицами в русском и других языках. Зная о ее интересе к изучению клитик, я решаюсь предложить в сборник, ей посвященный, статью, излагающую некоторые выводы из сравнительно-исторических работ в этой близкой ей области.

### 0. Краткая история вопроса

Представляется, что основной результат был предвосхищен больше чем сто лет назад Вакернагелем, когда он открыл получивший впоследствии его имя закон, по которому (в современной формулировке) энклитики ( $E_1 \dots + E_n$ ) занимают второе место в индоевропейском предложении после первого ударного слова (I)<sup>1</sup>. С одной стороны, этот закон показывает значимость второго места в предложении. Многие существенные местоименные слова ( $E_{pron}$ )<sup>2</sup> и грамматически важные частицы ( $E_{part}$ ) занимают эту позицию<sup>3</sup>. С другой стороны, дальнейшие синтаксические исследования показали, что и первая начальная позиция I в предложении может оказаться существенной. Ее при инверсии может занимать, если его нужно выделить, глагол (V) или имя существительное (N, в том числе и релятивное N<sub>r</sub>, по Филлмору<sup>4</sup>, становящееся потом послелогом — Post или предлогом — Prep при имени или наречием-превербом Adv — Prev при глаголе) и прилагательное — Adj.

Исследования, развернувшиеся за последние полвека, обнаружили, что во многих древних индоевропейских языках, в частности, в тех, которые особенно детально изучены в XX в. (в древненовгородском диалекте берестяных грамот, микенском греческом, североанатолийских — хеттском, палайском, лидийском, южноанатолийских — лувийско-ликийском), несколько следующих друг за другом энклитик образуют целую цепочку { $E_1 (+ E_2 + \dots + E_n)$ }. Стало возможным описывать ее в терминах ранговой грамматики, присваивая каждому ее элементу порядковый номер соответственно занимаемому им месту.

Глубокие гипотезы были построены на основе сравнения хеттских начальных элементов (I) предложения, вводящих такие цепочки, с местоимениями (Pron), союзами (Conj) и превербами (Prev) в других индоевропейских диалектах. В 1939

Стерлевант установил вероятное тождество древнехеттских начальных союзов (**I** → **Conj** → *ši* ‘и’ и **I** → **Conj** → *ta* ‘и’), вводящих цепочки энклитик, указательным (позднее анафорическим) местоимениям (**Pron<sub>an</sub>** → \**so-* и **Pron<sub>an</sub>** → \**to-*) в индоевропейских языках за пределами анатолийских. Он предположил, что первоначальные «индо-хеттские» группы этих союзов и следующих за ними частиц слились воедино, дав начало позднейшим личным местоимениям 3 лица (**I** → **Conj** + **E<sub>part</sub>** → **Pron<sub>an</sub>**). Он связал это со «склонностью и.-е. местоимения занимать место в начале предложения и выступать в роли соединителя предложений в раннем санскрите, греческом и германском»<sup>5</sup>. В отношении хет. *ta*- эта идея может быть поддержана и вновь открытыми данными древнехеттского языка, где этот союз содержит и указание на объект, названный в первой части сложного предложения: *ištapulli-šet-a šuliyāš ta ištarāše* ‘и та его крышка, которая из свинца, и ту (=крышку) я закрываю’<sup>6</sup>; *kuiš šagaiš kišari ta LUGAL-i SAL.LUGAL-i tarweni* ‘И какое-то предзнаменование, которое обнаруживается, мы о том (предзнаменовании) и сообщаем царю и царице’<sup>7</sup>. Вывод о том, что в таких древних текстах союз *ta* эквивалентен позднейшему сочетанию союза с анафорическим местоимением 3 лица, подтверждается сличением разновременных вариантов хеттских законов. Предположение об индоевропейской древности такого употребления согласуется и с данными славянских языков, где начальное **TO** в начале второго предложения, формулирующего закон в «Русской Правде», в точности отвечает такой же древней юридической «предправовой» «формуле с *ta* в начале второй части сложного предложения в «Хеттских законах»<sup>8</sup>.

Существенное открытие, положившее начало всем современным работам в этой области, было сделано больше полувека назад, в 1947 г. одновременно (и независимо друг друга) Майлзом Диллоном и Фердинандом Зоммером, а также Альбрехтом Гётце<sup>9</sup>. Они обнаружили тождество по происхождению хеттской группы, включавшей начальный союз типа **I** → **Conj** → *ni-* и следовавшую за ним цепочку энклитик {**E<sub>1</sub>**(+ **E<sub>2</sub>**+...+ **E<sub>n</sub>**)}, включавшую местоименную энклитику (**E<sub>pron</sub>**), и дренеирландских комплексов, состоявших из такого начального преверба, как **I** → **Prev** → *no-*, и следовавшего за ним энклитического морфа (обычно местоименного — (**E<sub>pron</sub>**)). Мы обсуждали это открытие и возникающие благодаря ему возможности нового подхода к индоевропейскому синтаксису вместе с Калвертом Уоткинсом во время VIII Международного съезда лингвистов в Осло в августе 1957 г. Тогда мы подошли к формуле основной структуры индоевропейского предложения, обоснованной в целом ряде последующих работ<sup>10</sup>:

$$(1) \text{ I } + \text{E}_1 (+ \text{E}_2 + \dots + \text{E}_n) + \dots + \text{V}^t,$$

где **I** — это начальное слово, вводящее всю группу (в частности, союз — **Conj**, а также при тмезисе и инверсии преверб — **Prev**, релятивное существительное — **N<sub>t</sub>**, или любое другое выделенное при инверсии существительное — **N**, прилагательное — **Adj** или глагол — **V**), **E<sub>x</sub>** — это энклитика ( $n \leq 8$  в древненовгородском, анатолийских и некоторых других языках<sup>11</sup>), в том числе местоимения (**E<sub>pron</sub>**) и грамматически важные частицы (**E<sub>part</sub>**), а **V<sup>t</sup>** — это личная глагольная форма<sup>12</sup> (можно

показать, что при эмфазе положение глагола **V** инвертировано и он становится реализацией **I**, тогда как в конечном положении оказывается элемент, относящийся к другой грамматической категории). Следы этой структуры были обнаружены не только в хеттском и в других северных и южных анатолийских языках и в кельтском, но также в ведийском, архаическом (микенском и гомеровском) греческом, тохарских глагольных конструкциях с местоименными энклитиками, в старолитовских возвратных глаголах и местоименных прилагательных и в славянских энклитических комплексах<sup>13</sup>. Акцентологические исследования показали, что в индоевропейском (как позднее в славянском по закону Васильева-Долобко и в некоторых случаях в греческом<sup>14</sup>) энклитики являются также проклитиками. Была выявлена особая роль, которую в таких комплексах энклитик играют синтаксические объединители *\*yo-* и *\*k'(e/o)-i-*. Из недавних сравнительных работ отмечу также исследование автора монографии о функциях (в частности, видовых) хеттских энклитик — Йосефсона, который продемонстрировал функциональное тождество хеттской частицы *-kan* и родственного ей готского преверба *ga-*<sup>15</sup>. Клейн подробно исследовал функции некоторых энклитик в готском, древнеиндийском и греческом<sup>16</sup>, Дункель очертил контуры грамматики энклитик<sup>17</sup>.

Для рассмотрения славянских языков с этой точки зрения большое значение имело проведенное А. А. Зализняком исследование расположения энклитик на материале древнерусского языка и древненовгородского диалекта<sup>18</sup>. Продолжая линию трудов, наметивших характер отражения общеиндоевропейского закона Вакернагеля в славянском, это исследование ввело и существенное дополнение, относящееся к возможности образования в середине предложения, где по этому закону энклитики стоят на втором месте после начального слова (в конце первой тактовой группы), еще и другого (неначального) ритмико-синтаксического барьера, за которым могут снова следовать энклитики. А. А. Зализняк обратил также внимание на непроективность возникающих синтаксических конструкций. Можно думать, что ее преодоление достигается за счет превращения древних синтаксических правил в морфологические. Такое перекодирование, при котором старые энклитические элементы превращались в морфы, функционировавшие в связанным виде как части слов, могло начаться достаточно рано. В частности, так можно объяснить происхождение аугмента, возникавшего в восточноиндоевропейских диалектах (индоиранском, греческом, фригийском, армянском) скорее всего из начальной частицы<sup>19</sup>, еще вероятно отражавшейся как *o* в микенском греческом *o-de-ka-sa-to* ‘так вот, он получил’ (при аугменте в почти тождественном гомер. ἐδεξατο); в качестве альтернативного объяснения предполагается и перемещение из предполагаемого постпозитивного положения энклитики в конце цепочки после глагола в начало глагольной словоформы<sup>20</sup>. Для еще более древнего периода предыстории праиндоевропейского языка можно думать и о современном варианте возникавшей еще на заре сравнительного языкознания идеи о происхождении первичных и вторичных окончаний из местоименных слов, которые, возможно, становились энклитическими частицами перед тем, как они превратились в глагольные морфы и субморфы; теперь в пользу этой идеи говорят данные внешнего

ностратического и евразийского сравнения<sup>21</sup>. Но в этом случае закон Вакернагеля или сходное (хотя бы типологически) с ним правило размещения грамматических служебных элементов надо было бы проецировать и на гораздо более ранний период предыстории праиндоевропейского как ностратического диалекта (тогда этим древним правилом можно было бы объяснить возникновение из цепочек энклитик тех агглютинативных цепочек суффиксов, которые реконструируются для праиндоевропейского<sup>22</sup>).

Эти новые идеи, как и другие сделанные в последнее время открытия, касающиеся энклитик в ряде индоевропейских языков, особенно интенсивно изучавшихся (анатолийских, тохарских, микенском греческом), позволяют развить высказанные раньше предположения, которые относятся к этой теме.

### 1. Ранги энклитических частиц

По А. А. Зализняку в древнерусском языке обнаруживается следующее распределение энклитик по рангам: 1.  $E_1 \rightarrow E_{part} \rightarrow$  частица *же*. 2.  $E_2 \rightarrow E_{part} \rightarrow$  частица *ли*. 3.  $E_3 \rightarrow E_{part} \rightarrow$  частица *бо*. 4.  $E_4 \rightarrow E_{part} \rightarrow$  частица *ти*. 5.  $E_5 \rightarrow E_{part} \rightarrow$  частица *бы*. 6.  $E_6 \rightarrow E_{pers\ pron\ dat} \rightarrow$  энклитические формы местоимений в дательном падеже. 7.  $E_7 \rightarrow E_{pers\ pron\ acc} \rightarrow$  энклитические формы местоимений в винительном падеже. 8.  $E_8 \rightarrow V_{cop(1/2\ P)} \rightarrow$  формы 1-го и 2-го лица глагола-связки. В таких детально изученных за последние полвека индоевропейских языках, как северно- и южноанатолийские, начальные энклитические комплексы, аналогичные раннеславянским<sup>23</sup>, сходны с последними по таким характеристикам, как число рангов, состав и примерная последовательность входящих в них частей речи и их грамматических форм. Часть этих сходств остается чисто типологическими; другие могут быть возведены к гипотетическому пражзыковому общеиндоевропейскому состоянию, в особенности, когда это может быть обосновано этимологическим тождеством соответствующих элементов<sup>24</sup>.

В североанатолийском хеттском языке наблюдается такая последовательность рангов энклитик: 1.  $E_1 \rightarrow E_{part\ mes/mes}^{25} \rightarrow$  частица прямой (чужой) речи *wa(r)*. 2.  $E_2 \rightarrow$  энклитические формы именительного и винительного падежей анафорического местоимения ( $E_{pron\ an}$ ) в единственном и множественном числах. 3.  $E_3 \rightarrow$  энклитические формы дательного — винительного падежей личных местоимений единственного и множественного чисел ( $E_{pron\ pers\ dat}$ ); в более поздних текстах в отличие от древнехеттских в рангах 2—3 порядок падежных форм во множественном числе обратный по отношению к единственному. 4.  $E_4 \rightarrow$  возвратная частица ( $E_{part\ refl}$ ) *za*. 5.  $E_5 \rightarrow E_{part\ loc\ asp} \rightarrow$  частицы пространственно-видового характера *kan*, *šan*, *(a)šta*, *(a)pa*<sup>26</sup>. В качестве примера хеттской цепочки энклитик можно привести предложение *appan-wa-ti-za-kan eš ← Prev + (E<sub>part\ mes/me</sub> + E<sub>pron\ pers\ dat</sub> + E<sub>part\ refl</sub> + E<sub>part\ loc\ asp</sub>) + V<sup>cop(2\ P\ Imp)</sup>* ‘будь-де за мной’<sup>27</sup>.

В лидийском языке, примыкающем к североанатолийским при наличии (ареальных?) южноанатолийских черт, по Гусмани, возможен следующий порядок: 1.  $E_1 \rightarrow$  частица *k*. 2.  $E_2 \rightarrow$  частица *m*. 3.  $E_3 \rightarrow$  энклитические формы местоимений в дательном падеже ( $E_{pers\ pron\ dat}$  /  $E_{an\ pron\ dat}$ ). 4.  $E_4 \rightarrow$  частица *t* и ее морфонологи-

ческие и или графические варианты (*it*, *at*, *τ*, *iτ*,). 5.  $E_5 \rightarrow$  энклитические формы местоимений в падеже субъекта ( $E_{pron\ nom}$ ). 6.  $E_6 \rightarrow$  энклитические формы местоимений в винительном падеже ( $E_{pron\ acc}$ ). 7.  $E_i \rightarrow$  частица *in*<sup>28</sup>. С порядком в других охарактеризованных выше языках сопоставимы ранги 3, 5, 6. Оказавшийся между первыми двумя из них ранг 4 быть может включает не частицу, как полагал Гусмани<sup>29</sup>, а то окончание *-t* среднего рода, которое в лидийском (в отличие от других родственных ему языков) характеризует именительный-винительный падеж не только местоимений, но и имен. В таком случае четыре ранга 3—6 единообразны по своей общей грамматической (падежной) семантике, а энклитические частицы им предшествуют и за ними следуют (возможности их сравнения с другими анатолийскими, как и функции многих лидийских энклитик, пока остаются гадательными).

В южноанатолийском лувийском языке выявлен следующий основной порядок энклитик: 1.  $E_1 \rightarrow E_{part\ mes/mes} \rightarrow$  частица прямой (чужой) речи *wa-*. 2.  $E_2 \rightarrow$  возвратная частица ( $E_{part\ refl}$ ) *ti*. 3.  $E_3 \rightarrow$  энклитические формы дательного — винительного падежей личных местоимений единственного и множественного чисел ( $E_{pron\ pers\ dat}$ ). 4.  $E_4 \rightarrow (E_{pron\ an\ nom/acc}) \rightarrow$  энклитические формы именительного и винительного падежей анафорического местоимения в единственном и множественном числах. 5.  $E_5 \rightarrow E_{part} \rightarrow$  частицы *kiwa*, *r*. 6.  $E_6 \rightarrow E_{part\ loc\ asp} \rightarrow$  частицы пространственно-видового характера *tar*, *tta*<sup>30</sup>. При кажущемся большом сходстве с североанатолийским, существенны и различия. Безусловно, совпадает только первый ранг, являющийся результатом анатолийской инновации (см. подробнее ниже). Место возвратной частицы при основном порядке лувийских энклитик отлично от хеттского, хотя встречается и более близкий к хеттскому (и скорее всего возникший под хеттским влиянием) порядок, при котором возвратная частица не предшествует местоименным формам, а следует за ними. Порядок следования прямых и косвенных падежей обратный по отношению к хеттскому и близок к лидийскому (совпадающий с лувийским порядок расположения форм множественного числа в новохеттских текстах мог быть следствием интенсивного хетто-лувийского двуязычия, когда разговорным языком писцов становится лувийский, а хеттский сохраняется как официальный язык имперских канцелярий).

Рассмотрим последовательно вероятные соответствия элементам северо-анатолийской цепочки энклитик в других языках.

## 2. Синтаксические объединители \*kʷ(e/o)- и \*yo- в составе энклитических комплексов

Сравнивая хеттский с другим североанатолийским языком — палайским, можно обнаружить, что в нем порядок рангов отличается от хеттского тем, что перед первым рангом вклинивается еще один, занятый энклитикой *ku*<sup>31</sup>. Эта палайская частица безусловно родственна хеттскому синтаксическому элементу -(k)*ku* (< и.-е. \*kʷ — местоименного происхождения<sup>32</sup>), который выделяется на первом месте после начального слова в сочетаниях типа *ni-kku* (союз, вводящий энклитики, + (k)*ku*), *natta-kku* (отрицание + (k)*ku*) и при этимологическом анализе др.-хет.

союза *takku* ‘если’ <*ta-*+*kku* и группы энклитический союз (*y*)*a* + частица *-ku*, в древнехеттском тексте «Хеттских законов» (I, § 19 а) повторяющейся после ритмико-синтаксических барьеров в значении ‘или... или, ли... ли’: *takku LÚ.ULÙ<sup>lu</sup>-an LÚ-an-a-ku MI-n-a-ku* <sup>URU</sup>*Hattuššaz kuiški LÚ* <sup>URU</sup>*Luiyaz taiizzi*<sup>33</sup> ‘Если какой-нибудь лувиец (букв. человек из Лувии) хетта (букв. человека из Хаттусы) — будь то (*-a-ku* ... *-a-ku*) мужчина или женщина — обокрадет...’. Эти древнехеттские пережиточные формы возводятся соответственно к и.-е. \**to-k̥i* и \**yo-k̥i*, откуда (с долгой ступенью огласовки гласного первой местоименной основы) слав. \**tā-k̥i* и \**yā-k̥i*, др.-рус. *ТАКЪ*, *ТАКО*<sup>34</sup>; *ИАКЪ*, *ИАКО*<sup>35</sup>. Реконструкция энклитики, родственной этим североанатолийским и славянским местоименным по происхождению формам, и ее возможного ранга (в палайском первого) может быть подтверждена данными микенского греческого. В этом последнем в цепочке энклитик *o-de-qa-a*, микен. *-qe* ‘и’ (>др.-греч. *τε*) занимает второе место после микен. *-de* (>др.-греч. *δε*)<sup>36</sup>. В позднейшем греческом, латыни и индо-иранском при специализации функций сочинительного союза \**kʷe*, соединяющего две словоформы имен существительных<sup>37</sup> (что отчасти напоминает его роль в приведенном выше хеттских законах), сохраняется его энклитический характер и место (после барьера), сходное с палайским. В лувийском первая из частичек пятого ранга *kiwa* этимологически соответствует рассмотренным выше североанатолийским и родственным им формам в других индоевропейских языках, но ее место в цепочке (пятое) весьма отлично от первого ранга в палайском и второго в микенском греческом и других диалектах.

Симметрически построенное (по отношению к \**yo- kʷe*) и.-е. \**to-kʷe* (хет. *takku*) находит и германское соответствие (нем. *doch*)<sup>38</sup>. Готск. *-hva-* (на втором месте в цепочке после приставки в формах типа *ga-u-hva-sehvi* ‘Видишь ли’<sup>39</sup> ты что-нибудь?’ = *አህተ ይ፣ ገለፋይ*, Марк VIII, 23, все предложение состоит из одной готской приставочной глагольной формы, соответствующей 4 словам греческого текста) сохраняет связь с вопросительным / неопределенным (первоначально возможно относительным) местоимением, но в то же самое время его можно сравнить с приведенными энклитиками и родственными им частичками в разных индоевропейских языках. Показательна и предыстория тождественного по происхождению гот. *-uh* особенно в сочетаниях типа *ni-h<\*ne-kʷe*<sup>40</sup> = лат. *ne-que*. Проанализировав готские факты, Гонда приходит к выводу, что «неопределенное *hva-* и обозначающее соответствие и сообразие (the complementary-corresponsive) *-(u)h* развились в *hvazuh* ‘всякий, любой’, тем более, что в других случаях это местоимение может быть истолковано как означающее ‘если кто-нибудь’... Если хеттское *kuiški* ‘кто-нибудь’ действительно содержит *ki*<*kʷe*..., в нем можно вероятно видеть параллель»<sup>41</sup>. Та же сходная с североанатолийской индоевропейской и прагерманской синтаксическая структура<sup>42</sup> со вторым элементом, образованным от индоевропейского относительного/вопросительного \**kʷo-*, отражена также в некоторых готских сложных местоименных формах, таких, как *bis-hvad-uh* (+ *pad-ei*) *gaggis* ‘куда бы ты нишел’, Матфей VIII, 19/+ *p-ei gaggaiþ* ‘куда бы ты ни вошел’, Марк VI, 10; *bis-hvah* (+ *pat-ei*) ‘что бы ни’, Марк VII, 11); *bis-hvar-uh* (+ *p-ei*

‘когда бы ни’, Марк IX, 18 (‘где бы ни’, Марк XIV, 9); bis-hvaz-uh + *ei* ‘кто бы ни, любой’, Марк XI, 23, в начале синтаксической группы; cf. hvaz-uh ‘каждый’ + *sa-ei* ‘каждый кто’, в начале предложения: Лука XX, 18; bis-hvamme-h + *sa-ei* ‘кого бы ни’, Марк IV, 25; *jah bis-hvamme-h þ-ei* ‘и любому’, Лука IV, 6; bis-hvano-h *sa-ei* ‘кого бы ни’, Матфей X, 33, pata-hvah ‘что бы ни’, Иоанн XV, 7 (ср. þat-uh[=h]-þan ‘этот’, I Т. II, 3, где готский текст как будто придает особую эмоциональную окраску предложению); sa-hvaz-uh *sa-ei* ‘кто бы ни’, Лука IX, 48, ср. ту же конструкцию с *ni*, вставленным в середину: Матфей X, 32); du-hve ‘зачем’ (Матфей IX, 4; ср. Лука L IX, 43, в начале предложения) при параллельном du-pe/du-h-pe/ du-b-pe < du-ih-pe ‘из-за этого’, I Тим. I, 16; Иоанн VI, 65, в начале прямой речи Христа /+ *ei* после звательной формы, Лука I, 13; ср. также bi-hve ‘как’, Лука I, 18, в начале прямой речи — вопроса).

Хет. энклитический союз *-ya/-a* ‘и’ < и.-е. \**yo* > тохарск. А *yo* (энклитический союз и окончание творительного падежа) занимает первое место в энклитических цепочках, ср. приведенное выше *-a-ki* из \**yo-ki* (в хеттском наличие или отсутствие начального *-y-* в этом энклитическом союзе зависит от положения после предыдущего гласного или же неслоговой фонемы в цепочке энклитик). Родственное праслав. \**yā-kī*, др.-рус. *IAKЪ, IAKO* соответствует готскому начальному *ja-* в *ja-h* ‘и, также’ = *xaí* (самое употребительное слово в готской Библии<sup>43</sup>, родственно рунич. *ja[h]*), *ja-d-du/ja-h-du* ‘и к’ (2С. II, 16, в начале синтаксической группы, которая в греческом тексте начинается с *xaí*; ср. *Jahpe < ja-h-pe* ‘либо либо’), *ja-u* вопросительное слово (Иоанн VII, 48, в начале вопроса в прямой речи после *sai*). Готск. *ja-* по происхождению тождественно сходному начальному элементу (из относительного местоимения \**yo*<sup>44</sup>) в мишенском греческом (*jo-*, фригийском и балтославянском (латышский показатель дебитива, праслав. \**yā-kī* = хет. *ya-kku* = готск. *jah*<sup>45</sup>), возможно также в южноанатолийском (лучайск. *a-* обычно как начальный союз, вводящий энклитическую цепочку), тогда как в североанатолийском (хеттском) и тохарском А родственные союзы всегда энклитичны. Это же относится и к балто-славянским местоимениям в конструкциях с *ya-* встречаются в ведийском. В этом типе, из которого образуются местоименные прилагательные в индо-иранском и балто-славянском, особенно четко выступает сходство синтаксических объединителей \**yo-* и \**k<sup>w</sup>(e/o)-*, играющего похожую артиклеобразную роль в хеттском<sup>46</sup>. Конструкция же готск. *ja-h* + энклитический глагол *jal/jah liban* ‘и любить = жизнь’ = *xaí toð ȝýr* (2С. I, 8) тождественна типу мишенского греч. *jo-do-so-si* ‘и так они дадут дань’ (PY 257 = Jn 829<sup>47</sup>). В сочетании с глаголом обратное конечное положение энклитики представлено в галльском *du-giūonti-io* ‘те, кто служит’<sup>48</sup>.

В старолитовском в приставочных адъективных конструкциях *jo-* следовало за приставкой (*pa-jo-prasta*), а в бесприставочных — за формой прилагательного (*gailintiemus-iemus*), что соответствует приводимому выше правилу употребления местоименных энклитик в приставочных и бесприставочных глаголах.

Из возможных размещений энклитик *\*-yo-* и *\*-kʷ(e/o)-* североанатолийский предпочел те, которые ближе к началу цепочки. Для периода до возникновения частицы чужой речи (см. об этом ниже) в том индоевропейском диалекте, из которого развился прасеверно-анатолийский (а позднее древнехеттский и палайский), можно предположить наличие в начале цепочки двух рангов энклитик: \*1.  $E_1 \rightarrow *E_{\text{part pron}}$  → частица *\*-yo-*, близкая к первоначальной роли синтаксического объединителя — союза и относительного местоимения. 2.  $E_2 \rightarrow *E_{\text{part pron}}$  → частица *\*-kʷ(e/o)-*, по функции близкая к первой, но обычно за ней следовавшая (ср. *\*-yo- + \*-kʷ(e/o)-*, хет. *ya-kku* = праслав. *\*yā-k̥ī* = готск. *jah*). В прасеверноанатолийском за этими двумя рангами следовала *\*E<sub>3</sub>*, которая могла быть либо местоименной (как в хеттском), либо возвратной частицей (как в лувийском), а потом все те энклитики, которые сохранились и в исторически засвидетельствованных языках.

### 3. Энклитическая частица прямой (чужой) речи ( $E_{\text{part mes/mes'}}$ )

В североанатолийском (хет. *war-/wa-*, пал. *wa-* ‘де, мол’) и южноанатолийском (лув. *wa-* ‘де, мол’) эта частица, занимающая первое место в цепочке (во всех этих языках кроме палайского, где она оттеснена на второе), происходит от глагола говорения, в североанатолийском отраженного в корневом атематическом пал. *wer-ti* ‘он зовет’ и в производном хет. *wer-iya-* ‘звать’ < и.-е. *\*wer-yo-* > др.-греч. *εἴρω*, ср. также в других индоевропейских языках существительные, образованные от того же корня *\*wer-* посредством суффикса *\*-dh-*: лат. *verbum*, гот. *waurd* ‘слово’, др.-исландск. *ord*, нем. *Wort*, англ. *word*. В энклитической форме конечный плавный дрожащий сонант корня *-r-* сохраняется только в позиции перед следующим гласным в хеттских цепочках энклитик. В других анатолийских языках обобщена форма без этого конечного сонанта. Она могла быть заимствована в каждый из них из хеттского, хотя в нем в глагольной форме (но не в частице) представлена другая огласовка корня. Хеттский язык мог повлиять и на начальное (или близкое к начальному, как в палайском) положение энклитики в цепочке. Распространение частицы прямой (чужой) речи в качестве явления языкового союза кажется вероятным еще и потому, что аналогичный по функции элемент обнаружен в хурритск. *-an* (в поздних текстах в конечном положении в цепочке постпозитивных суффигированных энклитик, *hilloži-tta-[a]n* ‘я-де сообщил’, амарнское письмо из Митanni, II 26<sup>49</sup>) и по Камменхубер<sup>50</sup> в хаттском *-hu*.

Признание в этой анатолийской частице относительно позднего нововведения, объясняемого распространением из одного очага (вероятно, североанатолийского — хеттского), согласуется и с отсутствием соответствий в других индоевропейских языках. В наиболее древних из них используются другие способы, посредством которых вводится чужая (прямая) речь, в том числе *verba dicendi* типа лат. *aiō* «говорю», парадигма которого становится дефектной, но не утрачивает глагольного характера<sup>51</sup>. Тогда же, когда образуется частица чужой речи вроде анатолийских, этот процесс относится к сравнительно позднему этапу, как при возникновении русских частиц *де* (др.-рус. *ДѣИ*), *дескать*, *мол*, *грит*.

С точки зрения общего языкоznания особый интерес представляет то, что, как отмечалось выше, подобные частицы относятся ко всему предложению в целом. Вместе с тем это обстоятельство способствует выяснению причин их возникновения. Имея в виду книгу В. Н. Волошинова (М. М. Бахтина<sup>52</sup>) и подытоженные в ней труды многих европейских ученых, В. В. Виноградов писал: «Относясь к целому предложению, модальные слова или формы разных частей речи, несущие модальную функцию, легко редуцируются в частицы. Этому способствует и разнообразие их интонационно-мелодической фразировки (ср. *гыт, грит* вместо: *говорит*). Конечно, на их переход в частицы больше всего влияет ослабление их лексического значения или изменение их грамматической функции. Особенно резкому преобразованию подвергаются те модальные слова, которые указывают на цитаты из чужой речи. Ведь чужая речь в передаче другого человека обычно выделяется своеобразиями словаря и синтаксиса (ср. работы Фосслера, Балли, Шпитцера, Лерх и других лингвистов о так называемой «пережитой», «непрямой» или несобственно прямой речи, см.: Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1932). Поэтому формы и значения вводных глагольных слов, указывающих или указывавших на то, что говорящий воспроизводит чужие слова, при отсутствии задерживающих условий, очень неустойчивы. Часть модальных частиц — именно этого типа: разговорное *мол* (из *молви* или *молвил*), просторечное *дескать* (из *де* и *сказать*), устарелое (*де* из *đe* = говорит), *грит* или *гыт* (= говорит) и др.»<sup>53</sup>. Намеченная здесь картина развития этих русских энклитик типологически сходна с тем, что можно предположить по поводу предыстории функционально тождественной хеттской частицы.

Примечательно место этих относительно новых русских энклитик в предложении. Они преимущественно находятся в конце первой тактовой группы. О следовании закону Вакернагеля в строгом смысле можно говорить по поводу др.-рус. *đyi*, засвидетельствованного в качестве частицы начиная с конца XIV в. и восходящего к глаголу *ДѢЯТИ*, который только в древнерусском<sup>54</sup> (но не в более позднее время) использовался в архаическом значении глагола говорения (родственный старочешский глагол находит точное семантическое и морфологическое соответствие в хет. *te-mi* ‘говорю’<sup>55</sup>). Восходящая к этому древнерусскому глаголу древнерусская частица *ДѢИ* в разных списках «Повести временных лет» еще сохраняет связь с глаголом, от которого она образована. Его формы после начального *КТО* в первоначальном тексте могут занимать ту же синтаксическую позицию, что и эта частица, в более позднем списке следующая закону Вакернагеля, ср. варианты под годом 6495: **ДА АЩЕ КТО, ДѢІСТЬ, ВЪ НАШЮ ВЪРУ СТУПИ**<sup>т</sup> (глагольная словоформа вводного глагола *ДѢЯТИ*, Лаврентьевский список); **АЩЕ КТО ДѢИ ВЪ НАШЮ ВЪРУ СТУПИТЬ** (частица чужой речи, Радзивиловский-Кёнигсбергский список конца XV в.), ср. сходную конструкцию с частицей в документе середины XV в.: **ДА КТО ДѢИ ВЫИДЕТЬ ПОЛОВНИКЪ СЕРЕБРЕНІКЪ В ТВОІ ПУТЬ, ИНО ДѢИ ЕМУ ПЛАТИТИСЯ ВЪ ИСТОЕ НА ДВА ГОДА БЕЗЪ РОСТУ** (Жалованная грамота Белозерского князя Михаила Андреевича и Великого Князя Василия Васильевича Федору Константиновичу около 1450 г.), ср. следование этой частицы

за **ЧТО** в более поздних текстах. Частица в XIV—XVI вв. встречается также после начального союза (**КОЛИ**, **ЗАНЕЖЕ**), начальной глагольной словоформы или слова глагольного происхождения.

Частица *де* у Пушкина следует на втором месте за личным местоимением или за ритмико-сintаксическим барьером, образуемым глагольной формой прошедшего времени или приглагольным существительным в функции темпорального уточнителя, ср. в прозе: «Девчонка воротилась, объявила, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную» («Метель»), в стихах: «Он-де Богу не молился, / Он не ведал-де поста, / Целый век-де волочился / Он за матушкой Христа» («Жил на свете рыцарь бедный...»). У Гоголя представлен такой же порядок слов при сочетании с личным местоимением («Вы-де с барином, говорит, мошенники», «Ревизор»), у Некрасова в стихах — после начальной формы глагола существования: «Есть-де на свете такая страна» («Саша»). Возникшая из слияния этой частицы с сокращенной в быстрой речи формой от глагола *сказать* более поздняя частица *де*(=и)скать могла (но не всегда: иногда с нее начиналось предложение) использоваться таким же образом: «Скажи ему поучтивее: вы, дикать, сударь, с ума сошли» (Крылов, «Модная лавка»). Аналогично расположение *мол* при личном местоимении.

Типология рассмотренных анатолийских и русских частиц чужой речи поучительна в том отношении, что она подтверждает возможность втягивания вновь образующихся энклитик в сложившуюся ранее и унаследованную от праязыка систему размещения клитик<sup>56</sup>.

#### 4. Местоименные энклитики

В древнехеттском есть два разных рода местоименных энклитик. Один, в дальнейшем называемый синтаксическим, включает те, которые подчиняются закону Вакернагеля<sup>57</sup> и образуют ранги 2 и 3 по приведенной выше схеме. Они соотносятся с ролевой (актантной) структурой всего предложения. Другой, который можно назвать морфологическим, относится к структуре конкретных и послелогообразных — релятивных (в смысле Филмора) имен существительных, к словоформам которых присоединяются согласующиеся с ними в роде, числе и падеже постпозитивные энклитические местоимения: *attaš-miš* ‘мой отец’, *piram-met<\*peran+met* ‘моя передняя сторона’ = ‘передо мной’ (параллель этому последнему типу древнехеттских релятивных существительных-послелогов представляют древнеирландские спрягаемые предлоги). Представляется, что этот морфологический ряд форм в конечном счете выводим из синтаксического<sup>58</sup>, хотя на его окончательное образование в древнехеттском могли повлиять другие языки того же языкового союза (аккадский, хурритский), где есть аналогичные конструкции существительное + постпозитивное притяжательное (аккадск. *ABU.YA* ‘мой отец’).

Сравнивая энклитические формы личных местоимений в синтаксическом ряде (дат.-вин. п. 1 л. ед. ч. *m-i*, 2 л. ед. ч. *ti-a*, 3 л. ед. ч. *š-i*) с основами древнехеттских энклитических притяжательных местоимений морфологического ряда (1 л. ед. ч. *m-*, 2 л. ед. ч. *t-*, 3 л. ед. ч. *š-*) можно осуществить в пределах древнехеттского языка

внутреннюю реконструкцию ряда местоименных основ, выступающих в качестве энклитик: 1 л. ед. ч. \* *m-*, 2 л. ед. ч. \* *t-*, 3 л. ед. ч. -\**s*. На промежуточном морфосинтаксическом уровне, реализующемся в пределах группы предиката (включая преверб+энклитику+глагол)<sup>59</sup>, тот же набор исходных энклитик отражен в старолитовских приставочных и бесприставочных возвратных глаголах<sup>60</sup>, где выступают древние формы дательного падежа энклитических местоимений 1 л. ед. ч. *m-i*, 2 л. ед. ч. *t-i*, 3 л. ед. ч. *-s-i*. Энклитики вставляются между приставкой и основой глагола, если есть преверб (*nu-si- neša*), а при его отсутствии суффигируются в конце словоформы (*neša -si-*), ср. выше об аналогичных правилах размещения *jō* в приставочных и бесприставочных адъективных конструкциях. Старолитовские приставочные формы типа *Nu-si-dave* ‘Так случилось’, *Nu-si-mazgo-k* ‘Вымойся!’ при синхронной морфологической интерпретации как единой словоформы сохраняют еще следы диахронической связи с энклитическими цепочками (как при другом порядке родственных морфов и готск. *us-nu-gibi* ‘теперь дай!’). Особенно отчетливо происхождение старолитовских глагольных форм из индоевропейских цепочек энклитик видно в формах пермиссива типа *te-nu-si-dūdi*<sup>61</sup>, где начальное *te-* сопоставимо со слав. \**to* (имеющим и модальное значение), кельтск. \**to* в др.-ирл. императиве, отрицательной конструкции и сочетании с относительным местоимением и др.-хет. *ta* ‘и’ (при отсутствии соответствия ему как начальному слову в лувийском в качестве энклитики последнего ранга выступает *-tar*, выступающее в роли частицы с аспектно-локативным значением, ср. др.-prusск. *ter* ‘только?’). Праформы, близкие к прабалтийским, можно реконструировать и для праславянского на основе энклитических местоимений типа др.-рус. *M-И, T-И* (развитие сочетаний глагола с местоименными энклитиками в древнерусском и изменение их места в предложении недавно исследовано А. А. Зализняком в его новой работе о «Слове о Полку Игореве»). Развитие по пути морфологизации структур, ранее бывших синтаксическими, наблюдается не только в балто-славянском, но и недавно исследованных с этой точки зрения кельтских языках. В них отмечается то же различие двух возможных позиций местоимений, что и в литовском в возвратных глаголах. Правило дополнительного распределения двух структур, включающих местоименный объект, в кельтском противопоставляет инфицирующие сложные глаголы, где местоименный объект в качестве энклитики следует за первым превербом, занимавшим первое место в предложении, и суффигированные структуры, где местоименный объект в качестве энклитики следует за бесприставочным глаголом: *do-m -beir* ‘он дает это (м. р.)’: *do-beir* при *beirth-i* ‘он несет это’: *beirth* ‘он несет’<sup>62</sup>. На морфосинтаксическом уровне в пределах группы предиката кельтские местоименные энклитики представлены в древнеирландских глагольных комплексах. В более преобразованном виде исходные индоевропейские местоименные энклитики отражены в тохарском, где они суффигируются после глагольной формы (как в литовских бесприставочных глагольных формах): тох. Б *lyutsa-ῆ past ʂai̯ uroutem* ‘он изгнал меня из своего царства’; *winaskau-ę* ‘я чту тебя’; *śwā-ῆ* ‘они съедят меня’<sup>63</sup>. Тох. Б — с соответствует \*-*ti* в праязыке. Согласно той схеме разделения индоевропейских языков, по которой за отделени-

ем анатолийских (северных и южных) диалектов следовало выделение тохарского, а потом кельтских, рассматриваемые местоименные энклитики сохранились в каждой из этих архаичных подгрупп. Древность этих слов подтверждается, как замечено выше, и внешним ностратическим и евразийским сравнением.

### 5. Возвратная частица ( $E_{part\ refl}$ )

Занимающая четвертое место в цепочке энклитик хеттская возвратная частица ( $E_{part\ refl}$ ) *za* кроме основного своего значения (рефлексивности или тождества утверждаемого с субъектом) имеет и ряд семантических обертонов<sup>64</sup>. В последнее время установлено, что вопреки распространенному мнению, опиравшемуся на авторитет Оттена, частица в форме  $E_{part\ refl} \rightarrow -z$  употребляется в древнейшей хеттской надписи Аниттаса<sup>65</sup>. Поскольку хет. *z(a)* по фонетическому закону, определяющему результат палатализации глухого дентального смычного, соответствует занимающей второе место в цепочке лувийск. *ti* в той же функции ( $E_{part\ refl}$ ), ее возводят к и.-е. \**ti*. Маловероятно, что у нее была та функция, которая в индоевропейском выполнялась специальными глагольными формами среднего залога. Поэтому возможно этимологическое сближение с частицами типа праслав. \**ti*, которые семантически сопоставимы с некоторыми из обертонов анатолийских частиц.

### 6. Хет. частицы пространственно-видового характера

( $E_{part\ loc\ asp}$ ) *kan, šan < и.-е. \*kom, \*som*

В функции начального слова и.-е. \**kom* выступает в западных индоевропейских диалектах. Этимологически гот. *ga-* тождественно архаическому лат. *com-/gon- < \*kom*, которое очень часто встречается в сходной с готским роли перфективизирующего преверба ( $Prev_{loc\ asp}$ ) в глагольных или отглагольных сочетаниях в таких древних текстах, как надпись коллегии поваров<sup>66</sup>. Позиция готского начального согласного перед ударением могла бы объяснить озвончение \**k-* > герм. *g-/γ* (низкий тон, реконструируемый для и.-е. энклитик / проклитик, может быть связан со звонкостью по общефонетическим закономерностям). Начальное положение соответствующего элемента характерно также для кельтского: древнеирландское *con-* соответствует лат. *c/gom-*; сходное положение внутри синтаксической группы при другой грамматической функции может быть реконструировано на основе архаических предложных конструкций и для праславянского *kъn/kъ < \*kom, sъn/sъ < \*som*<sup>67</sup>. В лидийских глагольных конструкциях, отчасти похожих на готские и латинские группы преверб+глагол, представлено подобное развитие и в части более поздних анатолийских диалектов: лид. *kan-tro-*<sup>68</sup>. Но в хеттском, как и в ведийском, позиция этих перфективизирующих частиц в цепочке энклитик всегда конечная: хет. *ni-kan* = вед. *-ní-kam*,ср.др.-греч. *μένειν*<sup>69</sup>,др.-хет. *ši-kan* – вед. *sú-kam*. В хеттском частица *kan* может находиться между предшествующим существительным в дательном-местном падежде и следующим за ним послелогом — древним релятивным именем существительным *anda*:

$$\{N_{dat-loc} + (E_{part\ loc\ asp} \rightarrow kan) + (N_r / Prev / Adv \rightarrow anda)\},$$

ср. ведийскую конструкцию с дательным падежом существительного в сочетании с постпозитивным *kám*. С этой конструкцией можно сравнить и конечное положение лат. *-cum* в архаичных предложных местоименных оборотах *me-cum* ‘со мной’, *te-cum* ‘со мной’ и умбрском *viki-cum* ‘в роще (Abl.)’<sup>70</sup>. В последнем порядок слов обратный по сравнению с почти синонимичными славянскими конструкциями типа рус. *к роще*.

В древнехеттских ритуальных текстах встречаются случаи, где частица *šan* имеет значение совместности, сходное со славянск. \**sъ(n)*; сходное употребление имеет место и в соответствующих германских словах (нем. *zu-samm-en*) и в санскр. *sam*. В славянском и в западно-балтийском (древнепрусском) в двояких функциях соответствующих грамматических морфов как предлога (др.-прусск. *sen* *steimans* ‘с ними’) и как преверба (*san-day* ‘Иди!’) можно видеть след той первоначальной роли и.-е. \**som* по отношению ко всему предложению, которая еще отражена в хеттском и отчасти в ведийском<sup>71</sup>.

Можно предположить, что конечное энклитическое положение частицы *-kan* в цепочке в хеттском при начальном в готском объясняется функционированием исходного индоевропейского слова как проклитики и энклитики. Несмотря на различия в порядке слов можно реконструировать (в двух вариантах — с начальным или конечным размещением \**kom*) индоевропейский прототип {(\**kom*) + (... +) \**sok*<sup>w</sup>- + (... \**kom*)} ‘увидеть (совершенный вид)’ сочетания, развившегося в готск. *ga-saihvan* ‘видимый, увиденный’ (*ga-saihvanane*, 2C. IV 18 = *βλεπόμενα*) = хет. *-kan* + (*katta*) *šakiwai* — в архаическом среднехеттском поэтическом тексте (перевод с хурритского): *ni-kan* <sup>D</sup>*UTU-uš ne-pl-ša-az kat-ta ša-ki-wa-it* ‘и Бог Солнца посмотрел вниз с неба’ (Песнь об Уликумми, I Таблица, А IV 33), ср. ниже об этой же конструкции с начальным привативным элементом в готском.

## 7. Отрицание (Neg) в начале или конце энклитического комплекса

Кельтогермано-балтийскую изоглоссу (которая могла быть основана на общем сохранении архаизма) представляет использование отрицания \**né/ nē-*<sup>72</sup> как элемента, вводящего цепочку энклитик. Такое употребление отрицания возможно также в ведийском и микенском греческом<sup>73</sup>, но в хеттском и других анатолийских языках этимологически сходное (незапретительное) отрицание содержит морфологическое нововведение: хет. *na-tta* (на письме обычно передается посредством аккадск. *Ú. UL*) ‘не’ может вводить следующую за ней энклитику, ср. выше о *natta-kku* (отрицание + (*k)ku*), или энклитическую группу, но само оно является результатом словосложения. При сочетании хет. *na-tta* с последующим *kuški* ‘кто-нибудь’ и глаголом, передающим запрещаемое действие, обязателен порядок отрицание + неопределенное местоимение (квантор «некоторый») + глагол, что совпадает с архаической латынью: *Honce loucom ne-quis violatod* ‘Эту могилу никто да не осквернит’<sup>74</sup> при уже приведенном выше гот. *ni-h<\*ne-k<sup>w</sup>e* = лат. *ne-que*.

В готском при сочетании привативного *in-* (или другой приставки, а также рассмотренного выше *ja-h-*) с последующим *-ga-* последний морф оказывается энклитическим: *in-ga-saihvanatma* ‘невидимый’ (1 Tim. I, 17): *ni fairweitjandam*

*pizei ga-saihvanane, ak pizei un-ga-saihvanane; unte þo ga-saihvanona riurja sind, iþ þo un-ga-saihvanona aiweina* ‘так мы всматриваемся не в то, что видно, а в то, что невидимо, потому что видимое временно, а невидимое вечно’. Для сочетания *un-ga-* можно предложить семантическую параллель в кельтском: др.-ирл. *ni-con-*. Принимая во внимание приведенную выше реконструкцию для того выражения, которое отрицается, можно далее думать о возможном восстановлении *{\*ŋ- + \*kom + \*sok“-}* как источника приведенной готской отрицательной конструкции.

Согласно формуле «проклитики, они же энклитики», энклитическое использование того же отрицания в другой — вопросительной — функции можно было бы видеть в частице, выражающей вопрос, в латинском (*-ne*, встречается 1100 раз у Плавта<sup>75</sup> и 40 раз у Теренция), авестийском (*-na*) и германском (др.-в.-нем. *na* в конце вопросов); тогда бы в свете типологических выкладок Гринберга и Леманна можно было бы в этом явлении найти параллель в таких языках с порядком слов OV, как тюркские и кечуа.

### 8. Хет. *pat* < и.-е. \*pot-

В нескольких языках, представляющих особый интерес для реконструкции древних энклитик, выделяется своей особой ролью частица, развившаяся в хет. *pat*, тох. А *pat*, ст.-литовск. *pat* < и.-е. \*pot-<sup>76</sup>. В хеттском языке *pat* ‘именно, сам, самый’ ставится после выделяемой с его помощью частью фразы, образующей ритмико-сintаксический барьер: *utne kuit kuit-pat araiš* ‘какая бы именно страна ни восставала’ (древнейшая надпись Аниятаса, 11—12). Судя по передаче в клинописи, эта частица, всегда образовывавшая единое целое с предшествующим и выделяемым с ее помощью словом, была безударной. Использование ее зависело от ремо-тематической (т. е. выделяющей новое, а не данное, comment vs. topic) структуры текста. Хет. *ni-pat*, тождественное сочетанию в старолитовском *ni-o-pat*, отличается порядком элементов от тох. А *pat ni*. Гот. *-ni-* используется во втором месте в цепочке (см. выше), как и родственные слова в латышском (*ni*), ведийском, аркадо-кипрском (*o-uu*) и фригийском (*ui*)<sup>77</sup>. В начальной позиции это слово, восходящее к *\*n-i/o*, обычно вводит предложения в хеттском и образует зачин глагольных комплексов в древнеирландском (ср. сказанное об открытии Диллона, Зоммера и Гётце) и в балто-славянском (где, как в литовском до сих пор, оно могло быть и энклитикой, и проклитикой).

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> [Wackernagel 1892/1955; Krisch 1990]; ср. также [Hale 1987; Dunkel 1990; 1992; Garrett 1996].

<sup>2</sup> Многие из них Вакернагель изучил значительно раньше, чем сделал свое главное открытие: [Wackernagel 1879], ср. также из последующих его работ [Wackernagel 1955a; 1926].

<sup>3</sup> Подобные энклитики [Satzpartikeln, Carruba 1969, 30] относятся ко всему предложению в целом и поэтому требуют введения соответствующей общей (третьей — наряду с группой субъекта и группой предиката) части в его модель. Поэтому они свидетельствуют об искусственности для многих языков двучастной схемы предложения. Подробнее об этом [Иванов 2002,

20—21; 2004], там же о типологических параллелях (древнеегипетской и австралийских, ср. [Capell 1972; Dixon 1972]). Энклитическая группа не только часто воспроизводит основную актантно-глагольную схему всего предложения, но обнимает по выражаемым отношениям и пространство текста, более обширное, чем одно предложение, ср. замечания об этом в статье [Watkins 1997, 613].

<sup>4</sup> [Fillmore 1968].

<sup>5</sup> [Sturtevant 1942, 26, § 18a; 1939; 1952; Sturtevant, Hahn 1951].

<sup>6</sup> [Keilschrifturkunden aus Boghazkōi XVII 1 + IV 35 след.].

<sup>7</sup> [Там же, IV 9].

<sup>8</sup> [Иванов 1965, 187—190; Ivanov 1979, 75; Гамкелидзе, Иванов 1984, 359].

<sup>9</sup> [Dillon 1947; Sommer 1947, 70]. Ср. [Lehmann 1974, 54, 119, 214 (там же о сходной мысли Гётце); Mc Cone 1979].

<sup>10</sup> После моего доклада на Восьмом международном конгрессе лингвистов в 1957 г. в Осло, где я коснулся и этой проблемы [Ivanov 1958], мы там же подробно обсудили планы будущих исследований с Уоткинсом, которому я рассказал о принципах предполагаемого формального описания. Позднее оно было мной проведено в 1958—1965 гг. в серии докладов и заметок, подытоженных в книге [Иванов 1965], и Уоткинсом в ряде публикаций [Watkins 1962; 1963; 1964; 1965] и в докладе на Девятом международном съезде лингвистов в Нью-Йорке в 1964 г. См. также [Гамкелидзе, Иванов 1984, I, 358—368].

<sup>11</sup> Кажется любопытным интригующее численное совпадение с моделью Ингве, исходившей из предположения о синтаксической значимости «магического числа 7» ( $\pm 2$ ), которое согласно экспериментальной психологии определяет ограничения кратковременной оперативной памяти.

<sup>12</sup> [Watkins 1962; 1964; Иванов 1965, 185—265].

<sup>13</sup> [Watkins 1997; Ivanov 1958; 1999; Иванов 1959, 33—34; 1965; Гамкелидзе, Иванов 1984, 352—367].

<sup>14</sup> [Bally 1945/1997, 113—114, § 229]. Проблема энклитик, являющихся проклитиками, в индоевропейском, была обсуждена Жюкуя [Jusquois 1970], соответствующие славянские факты изучены в серии акцентологических статей и книг В. А. Дыбо [Дыбо 1971; 1971а и др.].

<sup>15</sup> [Josephson 1972; 1976; 1995; 1997]. Ср. также ниже о возвратной частице.

<sup>16</sup> [Klein 1978; 1994; Klein, Codon 1993].

<sup>17</sup> [Dunkel 1990; 1992].

<sup>18</sup> [Зализняк 1993; 2004, 185—189].

<sup>19</sup> Ср. [Иллич-Свитыч 1971, 260].

<sup>20</sup> Ср. [Lehmann 1974, 155]. С ностратической точки зрения сходным образом объясняется соответствие начального префикса в картвельском при соответствующем окончании (включаяющем ларингальный) в индоевропейском окончании 1 лица перфектной (инактивной) глагольной серии, [Иванов 1981].

<sup>21</sup> [Иллич-Свитыч 1971; Greenberg 2000].

<sup>22</sup> Подробнее о такой реконструкции агглютинативных цепочек: [Lehmann 1974]. В связи с проводимыми Леманом типологическими сопоставлениями с агглютинативными цепочками в японском стоит заметить и сходство японских «синтаксических суффиксов» [Плетнер, Поливанов 1930, XXXXI—XXXXIII] с разбираемыми нами индоевропейскими структурами.

<sup>23</sup> Общеславянский их характер подтверждается параллелизмом восточнославянских фактов, с одной стороны, и архаических западнославянских (исследованных Баузром [Bauer 1972; Исаченко, Issatschenko 1970], и другими лингвистами) и южнославянских (в частности, фольклорных; в старославянском сильно влияние греческих синтаксических норм: скажем, употребление ст.-слав. *ЖЕ* в тексте Евангелия от Матфея регулярно соответствует *δε* греческого оригинала), с другой.

<sup>24</sup> Ср. [Гамкрелидзе, Иванов 1984, I, 358—368]; по отношению к хеттскому и другим анатолийским языкам наряду с вероятным древним индоевропейским наследием в данном случае нужно учитывать и возможность влияния на его сохранение сходных явлений в таких имевших энклитиких древних языках северо-кавказской семьи, как хаттский и хурритский, входивших в один языковой союз с хеттским: [Иванов 2002, 20, примеч. 28], см. ниже о частице прямой (чужой) речи.

<sup>25</sup> Обозначение чужой речи как (в теоретико-информационной терминологии) «сообщения о сообщении» (*message about a message*) предложено в работе [Jakobson 1957/1971].

<sup>26</sup> [Иванов 2001, 167—169; Hoffner 1973, 520, Table 1; Laroche 1958, 161; Carruba 1969, 39]. О функциях предпоследнего ранга ср. [Josephson 2003; Hoffner 1969; Boley 1993]; о последнем ранге см. [Josephson 1972; Boley 2000]. Все цитированные авторы исходят из приведенной общей схемы по отношению к хеттскому. Она несколько усложняется элементами *-kki*, *-(y)a-*, разбираемыми ниже специально: они могут начинать энклитический комплекс (особенно после не-начального барьера), причем второй из них в отличие от остальных энклитик является союзом, а второй сохраняет следы содинительной синтаксической функции, близкой к союзной. Не исключено, что ранг этих двух местоименных по происхождению слов отражает более раннее состояние, предшествовавшее возникновению частицы чужой речи, позднее занявшей первое место в цепочке.

<sup>27</sup> [Keilschrifturkunden aus Boghazkōi XXXVI 35 I 12]. К интерпретации роли предпоследней энклитики ср. [Josephson 2003, 218]. В хеттском, как и в других древних индоевропейских языках конечная глагольная словоформа могла быть безударной или иметь соответствующий (скорее всего низкий) тон. Поэтому размещение такой формы связи в хеттском предложении напоминает (во всяком случае типологически) место *E<sub>8</sub>* в приведенной схеме для древнерусского.

<sup>28</sup> [Gusmani 1964, 46]. Иначе у Мериджи, см. [Carruba 1969, 10].

<sup>29</sup> Его позиция [Gusmani 1964, 206—207] несколько сбивчивая, потому что в некоторых случаях он видит в этом элементе (как с исторической точки зрения и в том, который у него отнесен к первому рангу, [Там же, 162—163]) не энклитику, а вводящее ее опорное слово.

<sup>30</sup> [Laroche 1958, 151; Carruba 1969, 40].

<sup>31</sup> [Carruba 1969, 40].

<sup>32</sup> [Eichner 1971].

<sup>33</sup> [Keilschrifttexte aus Boghazkōi VI 3 I 45].

<sup>34</sup> В «Русской Правде» (напр., л. 616, строка 77 по Новгородской Кормчей 1282 г., [Обнорский, Бархударов 1952, 59]) *ТАКО* встречается в юридическом контексте, по синтаксической функции сопоставимом при противоположности значений с приведенным выше древнехеттским. Ср. о рус. *э-так* [Issatschenko 1970, 194]. Можно ли считать некоторые из случаев употребления др.-рус. *КО*, *КА* связанными со второй частью *ТАКО*; *ИКЬ*, *ИКО*, предстоит еще исследовать.

<sup>35</sup> Ср. о славянских формах и их употреблении [Bauer 1972, 80—81, 86—87, 231, 305, 315, 331, 339].

<sup>36</sup> [Ventris, Chadwick 1973, 304, 423—424].

<sup>37</sup> [Gonda 1954/1975; Rysiewicz 1956, 318—322; Dover 1960, 14]; ср. о функции соединителя предложений [Wackernagel 1955a; 1926, 66—67] (\**k<sup>ʷ</sup>e* как синтаксический фактор, превращающий вторую звательную форму, за ним следующую, в словоформу именительного падежа), [Watkins 1964; 1965].

<sup>38</sup> См.: [Dunkel 1992, 167].

<sup>39</sup> Ср. о частице *и* и ее этимологии [Jones 1958; 1959; Klein 1978]. Ср. о других вопросительных словах [Brugmann 1925, 86; Lehmann 1974, 174].

<sup>40</sup> [Klein, Condon 1993, 49] (статья представляет собой детальный разбор употребления *-uh* и его предполагаемого происхождения из \*[*a*] *u-k<sup>ʷ</sup>e*); [Klein 1994, 255, fn. 6]; ср. [Dunkel 1992, 167].

<sup>41</sup> [Gonda 1975, 318]; ср. [Brugmann 1913—1914].

<sup>42</sup> О возможно безударном характере этого элемента в германском см.: [Prokosh 1939, 278—279].

<sup>43</sup> Греч. *καὶ* регулярно передается посредством *ja-h*: в 487 случаях из 494 в Евангелиях: [Klein, Condon 1993, 2].

<sup>44</sup> [Gonda 1954/1975, 164—204].

<sup>45</sup> [Eichner 1971; Ivanov 1979, 76; Klein, Condon 1993, 47, 58, fn. 38]. Эти сопоставления представляются существенными в свете замечаний в работе [Wackernagel 1955a], ср. [Dunkel 1990, 100 след.].

<sup>46</sup> Обнаружено в статье [Rosenkranz 1958; Бенвенист 1974, 233 и след.; Lehmann 1974, 62—63; Eilers 1967; Гамкрелидзе, Иванов 1984, I, 352—353].

<sup>47</sup> [Ventris, Chadwick 1973, 540].

<sup>48</sup> [Thurneysen 1946, 323, 328, 364]. Совпадение в индоевропейских диалектах частицы *\*yo-* в конце такого глагольного комплекса, в окончании родительного *\*-s-yo-* и в относительной конструкции находит разительную типологическую параллель в дырибал, ср. об этом языке [Dixon 1969; 1972].

<sup>49</sup> О структуре цепочки хурритских энклитик-«ассоциативов» (термин Харриса, ссылающегося на Сепира) [Speiser 1941, 71, fn. 5; Дьяконов 1967, 159—160]. Значение этой энклитики чужой речи было уточнено Нейем благодаря раннехурритскому тексту хурритско-хеттской билингвы. Ср.: [Ivanov 1998].

<sup>50</sup> [Камменхубер 1980].

<sup>51</sup> О таких итальянских и кельтских глаголах в сопоставлении с другими индоевропейскими и неиндоевропейскими способами передачи чужой речи см. [Ivanov 1998].

<sup>52</sup> По моим разговорам с В. В. Виноградовым в середине 1950-х годов я знаю, что он прекрасно был осведомлен об авторстве Бахтина по отношению к этой книге. Но после всего испытанного им самим — ареста, следствия, повторной высылки — он не решался прямо на Бахтина ссылаться, как и в своей замечательной работе о «Пиковой даме», многим Бахтину обязанной. О Бахтине и проблеме чужой речи ср. также [Ivanov 1998].

<sup>53</sup> [Виноградов 1947, 732; 1999, 882—883, ср. также с. 931].

<sup>54</sup> См. о глаголе и произведенной от него частице [Срезневский 1958, I, 802—803].

<sup>55</sup> Об истории др.-рус. *ДЫЛАТИ* в свете индоевропеистики и ностратики см. [Иванов 1981]. Тюркская параллель и ее алтайские соответствия рассмотрены в словаре: [Starostin, Dybo, Mudrak 2003, pt. 2, 1358].

<sup>56</sup> В этом отношении значительный интерес могут представить также осетинские конструкции с частицами, ср. [Миллер 1962, 136; Schmidt 1970, 166; Гамкрелидзе, Иванов 1984, I, 366, прим. 2] (там же о грузинской параллели). Мое внимание на значение, которое эти осетинские факты могут представить для индоевропейского синтаксиса, обратил мой покойный учитель В. И. Абаев.

<sup>57</sup> Ср. о хеттских энклитиках с этой точки зрения [Garrett 1996].

<sup>58</sup> Согласно закономерности, о которой говорилось выше, существительное или наречие-последог-релятивное существительное может стоять в начале первой тактовой группы, и тогда местоименные энклитики могут за ним следовать. При установлении прямой связи существительного с местоимением внутри группы субъекта (а не в целом в предложении, как в исходном пражском состоянии) возможен переход местоимения в категорию притяжательного, соглашающегося со своим хозяином (ср. выше о преодолении проективности при переходе от синтаксических правил к морфологическим).

<sup>59</sup> Переход от пражского состояния, где закон Вакернагеля осуществлялся во всем предложении в целом, к более позднему, где связи оставались в пределах группы предиката, вел к

переинтерпретации функций энклитик, теперь зависевших благодаря преодолению непроективности только от глагола, а не от всего предложения.

<sup>60</sup> Их интерпретация как результат развития индоевропейских правил функционирования энклитик была предложена автором в 1964 г. (см. после нескольких предварительных докладов и сообщений [Иванов 1965]) и поддержана рядом ученых, среди них безвременно погибшим талантливым литовским лингвистом Казлаускасом [Kazlauskas 1968].

<sup>61</sup> Ср. о старолитовском пермиссиве [Hermann 1926; Stang 1966, 423—433].

<sup>62</sup> [Watkins 1962; 1964; 1968—1969, 93; 1965, 286 ff.; Mc Cone 1979].

<sup>63</sup> [Krause 1952, 204].

<sup>64</sup> [Boley 1993; Hoffner 1969; Josephson 1972; 2003].

<sup>65</sup> [Nowicki 2000].

<sup>66</sup> В первых 4 строках обратной стороны этой надписи из 21 словоформы 3 (=0.14) содержат этот преверб (*gon-legium*, *gon-decorant*, *com- uiuia*).

<sup>67</sup> О сохранении конечного носового в предложных конструкциях (рус. к нему; с ним < \**kъn jetu*, \**sъn jitmъ*) ср. [Hill 1977].

<sup>68</sup> [Melchert 1994, 340] с дальнейшей литературой.

<sup>69</sup> Сравнение было предложено уже в кн. [Wackernagel, Debrunner 1930, 568]; об истории вопроса и трудностях, вызываемых различиями между диалектами, см.: [Watkins 1997, 618—619; Dunkel 1990, 115 ff.]; ср. также замечание Гроздного: «Das *kan* ... möchte ich mit ai. *kám*, *kam*, gr. *κεν* zusammenstellen», [Hrozný 1916, 32; Puhvel 1997, s.v. *kan*; Boley 2000]. О греческом ср. [Denniston 1966]. О конечном положении или постпозиции *kam* в ведийском см.: [Delbrück 1888, 146, 150; Delbrück 1893—1900; Macdonell 1972, 31; Dunkel 1990, 117—120]. Место *ni* в ведийском предложении не начальное, обычно второе, как в греческом и древнегерманском (см. о готск. *ni* [Иванов 1999]). Но если предположить, что в хеттском, кельтском и некоторых других диалектах сохранялся более древний порядок слов, то этим объясняются следы раннего расположения частицы в греческом. Ошибочно предположение о том, что вед. *kam* = хет. *kan* представляет собой отдельное слово с другим значением, отличное от готск. *ga* = лат. *com-* [Dunkel 1990, 115—122].

<sup>70</sup> Ср. [Watkins 1997, 619—620] (с осторожным замечанием об этимологии частицы). Латинской инновацией можно считать возможность присоединения в качестве конечной энклитики *-que-* к предшествующему *cum*.

<sup>71</sup> Ср. об употреблении санскр. *sam* в каждом предложении ведийского текста, что делает эту частицу принадлежностью всего отрывка, значительно большего, чем одно предложение: [Иванов 2004a].

<sup>72</sup> [Neckel 1913].

<sup>73</sup> О месте отрицания в раннем греческом: [Dover 1960, 14 f.].

<sup>74</sup> [Warmington 1959, 35].

<sup>75</sup> [Warren 1881, 50; Lehmann 1974, 102 (см. там же, 125, об отрицании в постпозиции типа *quid-ni* «почему не?»)]. Ср. у Плавта: *Audi quid ait?* «Слышишь ли, что говорит он?», *Asinaria*, 884.

<sup>76</sup> Об этимологии: [Бенвенист 1974; Гамкрелидзе, Иванов 1984, I, 168, II, 758, примеч. 2].

<sup>77</sup> [Watkins 1962, 17; Иванов 1965, 236, 242]. Ср. также выше о сочетаниях с \**kom*.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

Бенвенист 1974 — Бенвенист Э. Семантические проблемы реконструкции // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.

Виноградов 1947 — Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.; Л., 1947.

- Виноградов 1999 — Виноградов В. В. История слов. М., 1999.
- Гамкелидзе, Иванов 1984 — Гамкелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I—II. Тбилиси: изд. Тбилисск. ун-та, 1984.
- Дыбо 1971 — Дыбо В. А. О фразовых модификациях ударения в праславянском // Советское славяноведение. 1971. № 6. С. 77—84.
- Дыбо 1971а — Дыбо В. А. Закон Васильева-Долобко и акцентуация форм глагола в древнеболгарском и среднеболгарском // ВЯ. 1971. № 2.
- Дьяконов 1967 — Дьяконов И. М. Языки Древней Передней Азии. М: Наука, гл. ред. Вост. лит-ры, 1967.
- Зализняк 1993 — Зализняк А. А. К изучению языка новгородских берестяных грамот // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984—1989 гг.). М.: Наука, 1993. С. 191—321
- Зализняк 2004 — Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Иванов 1959 — Иванов Вяч. Вс. Тохарские языки и их значение для сравнительно-исторического исследования индоевропейских языков // Тохарские языки / Ред. В. В. Иванов. М.: Изд. иностр. лит-ры, 1959. С. 5—37.
- Иванов 1965 — Иванов Вяч. Вс. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы: Сравнительно-исторические очерки. М.: Наука, 1965.
- Иванов 1981 — Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: Индоевропейские истоки. М.: Наука, 1981
- Иванов 2001 — Иванов Вяч. Вс. Хеттский язык. М.: УРСС, 2001 (2-е изд.).
- Иванов 2002 — Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: вопросы к будущему // Языкоизнание: взгляд в будущее / Ред. Г. И. Берестнев. Калининград: Янтарный сказ, 2002. С. 6—86.
- Иванов 2004 — Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия. М.: Языки русской культуры, 2004 (книга, основанная на существенно расширенном и переработанном варианте работы [Иванов 2002]).
- Иванов 2004а — Иванов Вяч. Вс. Эстетическое наследие Древней и Средневековой Индии // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры / МГУ им. М. В. Ломоносова; Ин-т теории и истории мировой культуры. М.: Языки славянской культуры. Т. 3: Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стиховедение. М., 2004. С. 352—378.
- Иллич-Свитыч 1971 — Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков: Введение. Сравнительный словарь. М.: Наука, 1971.
- Камменхубер 1980 — Камменхубер А. Хаттский язык // Древние языки Малой Азии / Под ред. И. М. Дьяконова, Вяч. Вс. Иванова. М.: Прогресс, 1980.
- Миллер 1962 — Миллер В. Ф. Язык осетин. М.: Изд. АН СССР, 1962.
- Обнорский, Бархударов 1952 — Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 1. М.: Учпедгиз, 1952.
- Плетнер, Поливанов 1930 — Плетнер О. В., Поливанов Е. Д. Грамматика японского разговорного языка. М., 1930.
- Срезневский 1958 — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. М., 1958 (репринт изд. 1893).
- Bally 1945/1997 — Bally Charles. Manuel d'accentuation grecque. Berne: Éditions A. Francke S.A. (reprint: Georg Editeur 1997).
- Bauer 1972 — Bauer J. Syntactica slavica. Brno, 1972.
- Boley 1993 — Boley J. The Hittite Particle -z/-za. Innsbruck: Innsbrucker Studien zur Sprachwissenschaft, 1993.

- Boley 2000 — *Boley J. Dynamics of Transformation in Hittite. The Hittite Particles -kan, -ašta and -šan*. Innsbruck: Innsbrucker Studien zur Sprachwissenschaft, 2000.
- Brugmann 1913—1914 — *Brugmann K. Das Gotische Partikel -uh, -h* // Indogermanische Forschungen. Bd. 33. S. 173—180.
- Brugmann 1925 — *Brugmann K. Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen*. Berlin und Leipzig: de Gruyter, 1925.
- Capell 1972 — *Capell A. The affix-transferring Languages of Australia* // Linguistics. 87. 1972. P. 14—18.
- Carruba 1969 — *Carruba O. Die Satzeinleitenden Partikeln in den indogermanischen Sprachen Anatoliens. Incunabula Graeca. Vol. XXXII*. Roma: Ateneo, 1969.
- Delbrück 1888 — *Delbrück Berthold. Altindische Syntax*. Halle-Saale, 1888.
- Delbrück 1893—1900 — *Delbrück Berthold. Vergleichende Syntax. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen*. Bd. III—V. Strassburg, 1893—1900.
- Denniston 1966 — *Denniston J. D. The Greek Particles*. Oxford: Clarendon, 1966.
- Dillon 1947 — *Dillon M. Celtic and the other Indo-European Languages* // Transactions of the Philological Society. London, 1947. P. 15—24.
- Dixon 1969 — *Dixon R. Relative Clauses and possessive Phrases in two Australian Languages* // Language. Vol. 45. 1969. N 1. P. 35—44.
- Dixon 1972 — *Dixon R. The Dyirbal Language of North Queensland*. Cambridge, 1972.
- Dover 1960 — *Dover K. J. Greek Word Order*. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.
- Dunkel 1990 — *Dunkel G. E. J. Wackernagel und die idg. Partikel \*só, \*ke, \*kem und \*an-* // Eichner, Rix 1990, 101—130.
- Dunkel 1992 — *Dunkel G. E. Die Grammatik der Partikeln* // Rekonstruktion und relative Chronologie. Akten der VII Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft. Leiden, 1987. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 65. Innsbruck, 1992.
- Eichner 1971 — *Eichner H. Urindogermanisch k<sup>w</sup>e “wenn” im Hettitischen* // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft Heft 29. München, 1971.
- Eichner, Rix 1990 — *Eichner H., Rix (hrsg.) Sprachwissenschaft und Philologie: J. Wackernagel und die Indogermanistik heute*. Basel Colloquium 1988. Basel, 1990.
- Eilers 1967—1968 — *Eilers W. Zum altpersischen Relativpronomen* // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. Bd. 81. 1967; Bd. 82. 1968.
- Fillmore 1968 — *Fillmore C. J. The Case for Case* // Universals in Linguistic Theory. Ed. E. Bach, R. T. Harms. New York; London: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1968. P. 1—88.
- Garrett 1996 — *Garrett A. Wackernagel’s Law and Unaccusativity in Hittite* // Approaching Second. Ed. A. Halpern and A. M. Zwicki. Stanford: CSLI Publications, 1996. P. 85—133.
- Gonda 1954 /1975 — *Gonda J. The history and original function of the Indo-European particle k<sup>w</sup>e, especially in Greek and Latin* // Mnemosyne. Bibliotheca Philologica Batava, series IV, vol. VII, 1954, fasc. 3. P. 177—213, перепечатано: *Gonda J. Selected Studies*. Vol. I. Indo-European Linguistics. Leiden: E. J. Brill, 1975.
- Greenberg 2000 — *Greenberg J. Indo-European and its closest Relatives*. Vol. I. Stanford; Stanford University Press, 2000.
- Gusmani 1964 — *Gusmani R. Lydisches Wörterbuch. Mit grammatischer Skizze und Inschriftensammlung*. Heidelberg: C. Winter, 1964.
- Hale 1987 — *Hale M. Notes on Wackernagel’s Law in the Language of the Rigveda* // Studies in Memory of Warren Cowgill (1929—1985), ed. Calvert Watkins. Berlin: de Gruyter, 1987. P. 38—50.
- Hermann 1926 — *Hermann E. Lituatische Studien*. Breslau, 1926.

- Hill 1977 — Hill S. P. The N-Factor and Russian Prepositions. Their Development in 11<sup>th</sup>—20<sup>th</sup> Century Texts. The Hague-Paris: Mouton Publishers. 1977.
- Hoffner 1969 — Hoffner H. A. On the Use of Hittite -za in Nominative Sentences // Journal of Near Eastern Studies. V. 28. 1969. P. 225—230.
- Hoffner 1973 — Hoffner H. A. Studies of the Hittite Particles, I // Journal of the American Oriental Society. Vol. 93. № 4. 1973. P. 520—526.
- Hrozný 1916 — Hrozný, Friedrich. Die Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihr Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamm. Ein Entzifferungsversuch. Boğhazköi-Studien, hrsgb. Otto Weber, 1 Hft. 1 Lieferung, Leipzig; J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1916.
- Issatschenko 1970 — Issatschenko A. V. Hortativsätze mit *a*, *i*, *ti*, *to* im Ostslawischen // Scando-Slavica. T. XVI. 1970. S. 189—203.
- Ivanov 1958 — Ivanov Vyacheslav V. The importance of the new data of Hittite and Tocharian // Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists. Oslo: University of Oslo, 1958.
- Ivanov 1979 — Ivanov V. V. Syntactical Archaisms of Old Hittite // Hethitisch und Indogermanisch. Ed. E. Neu, W. Meid. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Bd. 25. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1979. S. 73—78.
- Ivanov 1998 — Ivanov Vyacheslav. Towards the theory of the Speech of the Other Person // Elementa. Journal of Slavic Studies and of Comparative Cultural Semiotics. Vol. 4. № 1. 1998. P. 71—96.
- Ivanov 1999 — Ivanov Vyacheslav. Indo-European Syntactic Rules and Gothic Morphology // UCLA Indo-European Studies / Ed. Brent Vine and Vyacheslav Ivanov. Vol. 1. Los Angeles: University of California at Los Angeles, 1999. P. 103—120.
- Jakobson 1957/1971 — Jakobson R. Shifters, Verbal Categories and Russian Verb. Harvard University, 1957, переиздано: Selected Writings. Vol. II, The Hague-Paris, Mouton, 1971.
- Jones 1958 — Jones O. F. The interrogative Particle -u in Germanic // Word. Vol. 14. № 2/3, 1958. P. 213—223.
- Jones 1959 — Jones O. F. "Art thou he who has to come" // Festschrift für J. G. Kunstrmann. 1959.
- Josephson 1972 — Josephson F. The Function of Sentence particles in Old and Middle Hittite. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 1972.
- Josephson 1976 — Josephson F. On the function of the Gothic Preverb *ga-* // Indogermanische Forschungen. Bd. 81. 1976. P. 152—175.
- Josephson 1995 — Josephson F. Directionality in Hittite // Analecta Indoeuropaea Cracoviensia, vol. II. Kuryłowicz Memorial Volume. Part 1. Ed. W. Smoczyński. Cracow: Universitas, 1995. P. 165—176.
- Josephson 1997 — Josephson F. [Review of] Boley, Jacqueline. The Sentence Particles and the Place Words in Old and Middle Hittite // Bibliotheca Orientalis. LIV. 1997. № 1/2, januari-april. P. 155—160.
- Josephson 2003 — Josephson F. The Hittite reflexive construction in a typological perspective // Language in Time and Space. A Festsschrift for W. Winter on the Occasion of his 80<sup>th</sup> Birthday. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 144. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2003. P. 211—232.
- Jucquois 1970 — Jucquois G. Les postpositions de Hittite et l'accentuation des préverbes indo-européens // Le Muséon. Revue des Études Orientales. T. LXXXIII. № 3—4. 1970. P. 533—540.
- Kazlauskas 1968 — Kazlauskas J. Lietuvių kalbos istorinė gramatika. Vilnius, 1968.
- Klein 1978 — Klein J. S. The particle *u* in the Rigveda. A synchronic and diachronic Study. Ergänz // Hft.zu Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. Bd. 27. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1978.

- Klein 1994 — Klein J. S. Gothic *paruh*, *panuh* and -(u)h *pan* // Indogermanische Forschungen. Bd. 99. 1994. S. 253—276.
- Klein, Condon 1993 — Klein J. S., Condon N. L. Gothic -u(h): a synchronic and comparative Study // Transactions of the Philological Society. 91. 1993. P. 1—62.
- Krause 1952 — Krause W. Westtocharische Grammatik. Heidelberg: Winter, 1952.
- Krisch 1990 — Krisch T. Das Wackernagelsche Gesetz aus heutigen Sicht // Eichner, Rix 1990, 64—81.
- Laroche 1958 — Laroche E. Comparaison du loupine et du lycien // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. T. 53, fasc. 1. 1958. P. 159—197.
- Lehmann 1974 — Lehmann W. P. Proto-Indo-European Syntax. Austin and London: University of Texas Press, 1974.
- Mc Cone 1979 — Mc Cone K. R. Aspects of Indo-European Sentence Patterns and their Role in the Constitution of the Old Irish Verbal System. Oxford, Phil., Diss. (British Theses Service D 29191 80 LI).
- Macdonell 1972 — Macdonell A. A. A Vedic Reader for Students. Madras: Oxford University Press, 1972 (8<sup>th</sup> impression).
- Melchert 1994 — Melchert H. C. Anatolian Historical Phonology. Amsterdam: Rodopi, 1994.
- Melchert 1994a — Melchert H. C. Anatolian // Langues indo-européennes. Ed. F. Bader. Paris. 1994.
- Neckel 1913 — Neckel G. Zu den germanischen Negationen // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. Bd. 45. 1913. S. 1—23.
- Nowicki 2000 — Nowicki H. Zum Einleitungssparagraphe des Annita-Textes (CTH 1, 1—4) // 125 Jahre Indogermanistik in Graz. Hrsg. von M. Ofitsch und Ch. Zinko. Graz: Leykam, 2000. S. 347—355.
- Prokosh 1939 — Prokosh Eduard. A Comparative Germanic Grammar. Philadelphia: Linguistic Society of America and University of Pennsylvania. 1939.
- Puhvel 1997 — Puhvel J. Hittite Etymological Dictionary. Vol. 4. Words beginning with K. Trends in Linguistics. Documentation 14. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1997.
- Rosenkranz 1958 — Rosenkranz B. Zur Entstehungsgeschichte des bestimmten Adjektivs im Baltischen und Slawischen // Die Welt der Slawen. Jg. III. 1958. Hft. 2.
- Rysiewicz 1956 — Rysiewicz Z. Studia językoznawcze. Wrocław, 1956.
- Schmidt 1970 — Schmidt K. H. Zur Sprachtypologie des Ossetischen // Revue de kartvélogie. T. XXVII. 1970. P. 161—168.
- Sommer 1947 — Sommer F. Hethiter und Hethitisch. Stuttgart, 1947.
- Speiser 1941 — Speiser E. Introduction to Hurrian. Annual of the American School for Oriental Research, 20. New Haven, 1941.
- Stang 1966 — Stang Chr. S. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo: Universitetsforlag, 1966.
- Starostin, Dybo, Mudrak 2003 — Starostin A., Dybo A., Mudrak O. Etymological Dictionary of the Altaic Languages. Pt. 2. Handbook of Oriental Studies, Section 8. Central Asia. Vol. 8/2. Leiden; Boston: Brill, 2003.
- Sturtevant 1939 — Sturtevant E. H. The pronoun \*so, sā, tod and the Indo-Hittite Hypothesis // Language. Vol. 15. 1939. P. 11—19.
- Sturtevant 1942 — Sturtevant E. H. Indo-Hittite Laryngeals. Baltimore: Linguistic Society of America, 1942.
- Sturtevant 1952 — Sturtevant E. H. The Prehistory of Indo-European: a Summary // Language. Vol. 28. 1952. №2, part 1.
- Sturtevant, Hahn 1951 — Sturtevant E. H., Hahn A. A Comparative Grammar of the Hittite Language 1, revised edition. William Dwight Whitney linguistic series. Philadelphia: Linguistic Society of America, 1951.

- Thurneysen 1946 — *Thurneysen R.* A Grammar of Old Irish. Dublin, 1946.
- Ventris, Chadwick 1973 — *Ventris M., Chadwick J.* Documents in Mycenaean Greek. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
- Wackernagel 1879 — *Wackernagel J.* Über einige enclitische Nebenformen der Personalpronomina // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen. Bd. 24. 1879. S. 592—609.
- Wackernagel 1892/1955 — *Wackernagel J.* Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. Kleine Schriften. Göttingen: Vandenhck & Ruprecht. Bd. I. 1955. S. 1—103 (впервые напечатано в 1892: Indogermanische Forschungen. Bd. I. S. 333—436).
- Wackernagel 1926 — *Wackernagel J.* Vorlesungen über Syntax. Bd. I. Basel, 1926 (2 Aufl.).
- Wackernagel 1955a — *Wackernagel J.* Idg. \*qʷe als nebensatzeinleitende Konjunktion // Kleine Schriften. Göttingen: Vandenhck & Ruprecht. Bd. I. 1955. S. 257—261.
- Wackernagel, Debrunner, 1930 — *Wackernagel J., Debrunner A.* Altindische Grammatik. Bd. III. Nominalflexion. Zahlwort. Pronomen. Göttingen: Vandenhöck & Ruprecht, 1930 (reprint 1975).
- Warmington 1959 — Old Latin. Loeb Classics. Vol. 4. Archaic Inscriptions. Ed. and translat. E. H. Warmington. Cambridge: Harvard University Press, 1959.
- Warren 1881 — *Warren M.* On the enclitic *ne* in early Latin // American Journal of Philology. 2. 1881. P. 50—82.
- Watkins 1962 — *Watkins C.* Preliminaries to a historical analysis of the Syntax of the Old Irish verb // *Celtica*. Vol. VI. 1962. P. 1—49.
- Watkins 1964 — *Watkins C.* Preliminaries to the reconstruction of Indo-European Sentence Structure // Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists. Cambridge, Mass., 1964. P. 1035—1045.
- Watkins 1965 — *Watkins C.* Notes on Celtic and Indo-European Morphology and Syntax // *Lochlann. A Review of Celtic Studies*. Vol. III. 1965.
- Watkins 1968—1969 — *Watkins C.* The Celtic Masculine and Neuter enclitic Pronouns // *Études celtiques*. Vol. III. 1968—1969, fasc. 1.
- Watkins 1997 — *Watkins C.* Delbrück and the Syntax of Hittite and Luvian: predictive power // Berthold Delbrück y la syntaxis indoeuropeana hoy. Actas del Coloquio de la Indogermanische Gesellschaft. Madrid, 21—24 de septiembre de 1994, ed. Emilio Crespo and Jose Luis García Ramón. Madrid-Wiesbaden: Ediciones de la UAM Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1997. P. 611—630.

*Жан Брейар (Париж)  
Раиса С. Горбунова (Лион)*

**«КРАТКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА»  
БРАТЬЕВ И. И С. ЛИХУДОВ:  
НЕИЗВЕСТНЫЙ СПИСОК**

**В**скоре после прибытия в Москву в 1685 г., «самобратья» Иоанникий и Софроний Лихуды взялись за работу над составлением учебников и пособий по предметам, которые они преподавали в Духовной академии. В число самых важных задач педагогической деятельности Лихудов входило преподавание греческого языка. Взяв за общий образец греческую грамматику Константина Ласкаря, изданную в Венеции в 1673 г. (первое издание: Милан. 1476 г.), братья Лихуды написали грамматику греческого языка в двух вариантах: кратком и пространном. Пространный был написан в 1705 г., а до этого в 1687 г. в Москве было написано краткое руководство по греческой грамматике, известное по спискам<sup>1</sup>.

Краткая грамматика имела огромное значение для развития грамматической мысли в России и прежде всего в становлении отечественной грамматической терминологии. Действительно, дело не только в том, что Лихудам удалось доступно изложить правила греческой грамматики в виде вопросов и ответов, сколько в самом изложении материала на обоих языках, предоставляющем читателю возможность сличать и сопоставлять оригинальный греческий текст с переводным русским. Как замечает Е. Э. Бабаева, «Краткая греческая грамматика» Лихудов входит в число книг, не рассчитанных на обучение основам письма. «Раздел об орфографии практически отсутствует в краткой греческой грамматике Лихудов, по которой училось старшее поколение учеников»<sup>2</sup>. Известно также, что цель этих пособий заключалась не просто в обучении языку, а в познании общей грамматики, которое шло через изучение греческого языка. К тому же дело было не только в обучении, но и в истинном постижении текста Священного Писания<sup>3</sup>. Кроме того, подстрочный перевод греческой грамматики на славянский имел целью доказать близость обоих языков и представить славянский как не менее достойный, чем греческий.

В этом отношении нельзя упускать из виду, что хотя эти руководства вошли в историю русской лингвистической мысли как вклад братьев Лихудов, однако

самая ценная часть в них — т. е. русский перевод — вряд ли была осуществлена самими братьями, которые к моменту составления этого труда недостаточно владели славянским языком. Скорее всего, их перевод был сделан русскими учениками. Следует добавить, что вопрос об авторстве славянского перевода остается до сих пор не решенным. Еще в 1960 г. М. М. Копыленко осторожно выдвинул гипотезу, по которой авторами могли быть ученики Лихудов, и среди них, в первом ряду, Федор Поликарпов. Действительно, к 1687 году Поликарпов с другими товарищами осуществил перевод с греческого одного полемического сочинения Лихудов. М. М. Копыленко опирается прежде всего на то, что Поликарпов, будущий распорядитель типографии и автор знаменитого «Букваря» и «Лексикона трезычного», как раз пользуется в своем «Лексиконе» многими грамматическими терминами, «имеющими ту же форму, какую они имеют в грамматике Лихудов»<sup>4</sup>. Однако Е. Э. Бабаева справедливо замечает, что «совпадение (...) терминов в грамматике Лихудов и в Лексиконе может быть объяснено и просто тем, что Поликарпов очень хорошо (практически наизусть) знал текст грамматики. Таким образом, авторство Поликарпова нельзя считать доказанным»<sup>5</sup>.

«Краткая греческая грамматика» И. и С. Лихудов до сих пор известна в пяти списках, хранящихся в Петербурге, Москве и Одессе. Из них два списка, прежде принадлежавшие Московской духовной академии, хранятся в Москве в Российской государственной библиотеке (№ 331 и 332). В первом списке (№ 331) указана дата — 1687 г. По наблюдению С. Смирнова второй экземпляр (№ 332) «списан в 1691 и 1692 годах в Москве грузинцем Иеромонахом греческого монастыря Киприяном, без сомнения учеником Лихудов»<sup>6</sup>. Два других списка хранятся в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке. Один из них происходит из библиотеки бывшей Санкт-Петербургской духовной академии (Спб. дух. акад. — № 333). По наблюдению С. Смирнова, этот экземпляр списан в 1691 и 1692 гг. в Москве. Другой — из Новгородской духовной семинарии (Новг. дух. сем. — № 6768). Наконец, пятый — последний — список находится в Одесской государственной научной библиотеке им. А. М. Горького (№ 559). Одесский список содержит посвящение Петру I и его сыну царевичу Алексею. По предположению М. М. Копыленко список, таким образом, датируется периодом между 1696 и 1718 гг.<sup>7</sup>

Задача настоящей статьи — обратить внимание на до сих пор ускользнувшее от внимания ученых существование шестого списка, хранящегося в рукописном отделе Городской библиотеки Лиона (Франция)<sup>8</sup>.

Возникает первый, хотя не самый существенный вопрос: почему данная рукопись в течение почти двух столетий не привлекала внимания ученых? Ведь в архивохранилищах французской провинции рукописей на церковнославянском языке, кажется, не так уж много. Интересно по этому поводу обратиться к библиографическому описанию рукописи.

В опубликованном в самом начале XX в. «Сводном каталоге рукописей, хранящихся в публичных библиотеках Франции» рукопись характеризуется как «Grammaire grecque, en russe moderne», то есть как «Греческая грамматика на со-

временном русском языке». Далее следует характеристика рукописи, первая часть которой составлена из данных, почерпнутых с титульного листа грамматики:

Grammaire grecque, en russe moderne.

Sois favorable, ô Trinité, à mes travaux. Méthode grammaticale en trois livres par demande et par réponse, d'après les très savants et très sages maîtres et théologiens de la sainte grande église orientale du Christ Joannikios et Sophronios, humbles frères de la fameuse île de Céphalonie.

XVIIIe siècle. Papier. 143 feuillets. (9—21), (126—131) (144—161) sont blanches. 156 sur 95 millimètres]. Caractères rouges et noirs. Reliure originale en veau bran. Fleurons dorés et traces de fermoirs<sup>9</sup>.

То есть, буквально:

Греческая грамматика на современном русском языке.

Будь благосклонна, О Троица, к моим трудам. Грамматический метод в трех книгах через вопросы и ответы, ученейших и мудрейших учителей и богословов святой великой восточной церкви Христовой Иоанникия и Софрония, скромных братьев с преславного острова Кефалонии.

XVII век. Бумага. 143 листа. Листы 9—21, 126—131, 144—161 пустые. Размер: 15×95 миллиметров. Шрифт черный и красный. Исконный переплет из тельячей кожи коричневого цвета. Позолоченные орнаменты и следы застежек.

Ниже приводится текст титульного листа на двух языках. Мы соблюдаем как словораздел, так и сокращения Nomīnum sacroḡum в славянском тексте (в греческом тексте нет сокращений, за исключением союза «καί» (написанного нами без сокращения).

*Χάριν παρασκου τοιάς τοῖς ἐμοῖς πόνοις.*

*περὶ γραμματικῆς μεθόδου συντεθείοντος τὸ καὶ διαιρεθείοντος εἰς τεσις βίβλους κατ’ ἐρώτησιν καὶ ἀπόχροισιν.*

*παρὰ τῶν λογιωτάτων καὶ σοφωτάτων διδάσκαλων λόγιος Θεολόγων τῆς ἀνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγίας μεγάλῆς ἐκκλησίας Κύριου Ιωαννικίου καὶ Σωφρονίου Αὐτάδελφῶν τῶν λειχουδῶν ἀπὸ τῆς περίφημοι Νήσου Κεφαλληνίας.*

Благъ подаждъ Тронце монъ трудомъ.

и гра"матічестѣ" художествѣ" сложивше"ся и ра"дѣлившемся на три Книги по вопросу ишвѣтѣ. Словеснѣшнѣ и мѣдрѣшнѣ Чинтелей, неогослововъ Восточныя Хрѣты Стыя великия цркви Господина. Иванніїа. иСофроніїа. Самовратцевъ лихудїевъ, ѿ преславнаго штрова Кефалії.

С какого языка перевел французский библиотекарь? По всей вероятности, с греческого. Вряд ли в конце XIX в. в городской библиотеке Лиона работал сотрудник, владевший церковнославянским языком. Однако такой аргумент довольно слабый. Прежде всего, в аннотации обращает на себя внимание слово «méthode». Переводчик явно подхватил греческое слово «μέθοδος» без оглядки на славянский эквивалент «художество», обычно употреблявшийся, наряду с словом «хытростъ», для обозначения древнерусских азбуковников и других руководств<sup>10</sup>.

Анализ французской характеристики рукописи позволяет сделать и несколько других замечаний.

- Бросаются в глаза слова «en russe moderne» («на современном русском языке»). Это явная погрешность, свидетельствующая о малокомпетентности библиотекаря в области русского и церковнославянского языков.
- Не указано, что рукопись написана на двух языках и состоит из двух параллельно расположенных текстов — греческого оригинала и славянского перевода.
- Обращают на себя внимание французские слова «d'après» («d'après les très savants et très sages...»). Предложное сочетание «d'après» значит «по» в смысле «по книге какого-либо автора», или «согласно». Оказывается, автор аннотации допустил ошибку, так и не поняв, что непосредственными авторами грамматики являются сами братья Иоанникий и Софроний. Очевидно, он не понял греческий предлог «παρά» (παρὰ τῶν λογιωττῶν καὶ σοφωτάτων δίδασκάλων), обозначающий тут агент действия. Если иметь в виду, что в славянском тексте тут стоит однозначный родительный падеж (**словеснъишихъ имъдрѣйшихъ Учителей**), то можно утверждать, что славянский текст переводчик не читал.
- Французский библиотекарь просмотрел фамилию Лихудов. Правда, этому недосмотру могло способствовать то, что в рукописи, как в греческом тексте, так и в славянском, имена Иоанникий и Софроний написаны прописными буквами, тогда как следующая за ними фамилия «Лихудов» (в род. п. мн. ч.: λειχουδῶν, лихуде́въ) написаны строчными, притом без прописной в начале слова. Т. о. получилось, что во французских каталогах хранящихся во Франции рукописей, никогда не указано авторство Лихудов.
- Зато в аннотации французского библиотекаря стоит добавленное слово «humbles» («humbles frères», «скромные братья»). Что он «переводит» этим словом? Наверно слово αὐτάδελφος (Αὐτάδελφῶν, **Самовратцевъ**), вероятно, малознакомое библиотекарю и лишенное ходячего эквивалента во французском языке (хотя точный эквивалент, правда, есть — frères germains, но он малоупотребителен).

Помета «XVIII век» в общем-то неошибочна, если считать, что имеется в виду конец XVII — начало XVIII в. Остальные данные, относящиеся к материальному описанию рукописи, вполне правильны. Роскошное материальное оформление Лионского экземпляра (переплет из дорогой телячьей кожи, позолоченные орнаменты, застежки, аккуратный почерк прежде всего славянской части, исполненной почти без каких либо помарок, использование черных и красных чернил) не уступает красивому Петербургскому (к тому же не полному, содержащему лишь первую книгу) экземпляру № 6768 (из Новг. дух. сем.) и позволяет предполагать, что его неизвестный владелец занимал довольно высокое положение.

Другой вопрос: каким путем «Краткая греческая грамматика» братьев Лихудов попала в Лионскую библиотеку? К сожалению, этот вопрос надо пока считать не решенным. Мы первоначально предполагали, что этот экземпляр, возможно, попал в Лионскую городскую библиотеку от знаменитого иезуита Менестрие (Père Ménestrier, s.j.), который работал в Лионском College de la Trinité и которому принадлежала рукопись знаменитого «Артаксерсова действия» пастора Григория,

обнаруженная и изданная в 1954 г. А. Мазоном и Ф. Кокроном<sup>11</sup>. К сожалению, от этой гипотезы приходится, по-видимому, отказаться. Иезуиты, как правило, ставили свой знак на книгах. А такого знака на данном экземпляре нет. Пока этот вопрос остается открытым.

В Лионском списке греческий текст расположен на левом листе и славянский на правом. В этом отношении он не отличается от Одесского и одного из Петербургских (№ 333) списков. Зато он отличается от Московского списка № 331, в котором славянский перевод помещается прямо над греческими строками, и также от Петербургского списка № 6726, в котором греческий и славянский тексты расположены на одном листе в два столбца: левый столбец — греческий текст, правый столбец — славянский.

На титульном листе пяти известных списков написано, что грамматика содержит три книги. Однако известно, что братья Лихуды не стали переводить третью книгу грамматики Константина Ласкаря. Как и пять известных списков, Лионский список содержит всего две, а не три книги.

Зато в Лионском списке, в отличие от известных, после второй книги следует пространное приложение, предназначенное для изучения греческой лексики и фразеологии.

Поскольку М. М. Копыленко ясно и убедительно показал, что грамматику Константина Ласкаря братья Лихуды не просто сократили, а переработали, мы сделаем лишь несколько замечаний по поводу грамматической части (собственно «Краткой греческой грамматики бр. Лихудов»). Все ценные замечания М. М. Копыленко подтверждаются на материале Лионской рукописи, в том числе вопрос о влиянии грамматики Смотрицкого на грамматическую терминологию. Мы не будем их повторять. Лексикографическое же приложение рукописи мы охарактеризуем особо.

Для языка Лионского списка в общем характерна умеренная архаизирующая тенденция. Эта тенденция проявляется прежде всего в чередовании согласных /г, к, х/ перед /ѣ/ и /и/: **предлози, W предлозъхъ** (л. 68); в списке № 6768, имеется **предлози, но W предлогахъ** (43 об.). Ее можно усмотреть и в написании и после аффрикаты **ц**, хотя в этом положении встречается и **ы**: **Колици предлози** (л. 68); **Колици суть предлози** (л. 68). В этом отношении Лионский список ближе к Петербургскому списку № 333<sup>12</sup>. В некоторых местах Лионский список оставляет греческие примеры без перевода. Он также отличается от других списков по числу приводимых примеров. Известно, что эти примеры, в целях большей доступности и ясности изложения, Лихуды добавили к грамматике Ласкаря. Например, в самом конце второй книги («О согласии») Лионского списка (лл. 124 об.—125) сопоставляются правильный и неправильный примеры (**пара́дигма: шбразеуцъ**). Это место полностью отсутствует в списке № 333.

Прежде чем приступить к краткому описанию приложения, небесполезно уточнить, что сам термин «приложение» наш, а в книге эта часть помещается как естественное продолжение грамматики, за которой она непосредственно следует.

Само это приложение несколько меняет общее значение книги и делает его полным самоучителем греческого языка.

Приложение имеет следующее содержание:

— На лл. 1—4 помещается греко-славянский лексикон, группирующий слова, обозначающие части человеческого тела (*στόμα* — *ротъ*, *ωμος* — *плечо*) и одеяние. За лексиконом (лл. 4—7) следует перечень кратких словосочетаний (типа: *ἀδελφὴ μου* — *сестры мои*), выражений и даже коротких предложений. Слова, как правило, не соответствуют древнегреческой языковой норме, но, видимо, отражают современную составителю греческую лексику. При этом возникает впечатление, что мы имеем дело не с курсом, составленным учителем, а с ученическими конспектами, записанными без строгого грамматического упорядочения (например, дана форма род. пад. *γραφῆς*, а не *γραφή* как эквивалент глагола *писать*) и в некоторых местах даже допустившими ошибки.

— лл. 131 об.—132 об.: Под заглавием паремии «Война к миру дорога» (*Война к миру дорога*) помещается перечень около пятидесяти русских слов из военной лексики: *походъ*, *вой*, *погѣда*, *погѣгъ*, *поланеніе*, *пораненіе*, *крепость*, *караулъ*, *пушки*, *порохъ*, *винтовка*, *генералъ*, *полковникъ*, *пушкарь* и т. д. Интересно, что сама форма некоторых лексем отражает живую речь (аканье и другие факты редакции неударных гласных, написание шипящих): *поланеніе*, *гадры*, *ротмистаръ*, *порутчикъ* и т. п. Встречаются неправильные формы типа *полполковникъ* (вместо *подполковникъ*). Притом греческие эквиваленты представлены в очень ограниченном количестве. Всего их девять. Кроме слов *νίκη* (*погѣда*) и *στάθι* (др.-греч. *στάθη*) (*сабля*), они все являются современными заимствованиями в греческой транскрипции или из латыни (древней и поздней), или из западных языков: *μίνα* (*mine*): *подкопъ*; *κουστაδία* (*лат. custodia*): *полкъ*; *σαγύτα* (*лат. sagita*): *стрѣла*; *σείριγγα* (*лат. seringua*): *пицциль*; *καπιτанεος* (*позд. лат. capitaneus*): *капитанъ*; *μπομπарада* (*поздн. лат. bombarda, через фр. bombarde*): *пушки*; *μπομпада*: *пушкарь*.

Интересен этот краткий лексикон и тем, что, несмотря на то что греческие слова стоят слева и русские справа, это все-таки модель русско-греческого словаря, а не наоборот.

Дальше помещаются пять глав, представляющих собой настоящий сборник упражнений по грамматике (лл. 133—143). Мы приводим лишь заголовки русской части:

**Глава А. В сочиненій предлога.** (лл. 132 об. — 134 об.)

**Глава в. Различныя речи простыя.** (лл. 134 об. — 135 об.)

**Глава г. Вѣствѣ и питьї.** (лл. 135 об. — 138 об.)

**Глава д. Между хозяйномъ и слугою.** (лл. 138 об. — 141 об.)

**Глава е. В путешествованіяхъ и иныхъ дѣлехъ.** (лл. 141 об. — 143)

И эти упражнения построены по форме вопросов и ответов:

Гдѣ ты выль;

У брата моегѡ.

У сестры моєя. (л. 132 об.)

или:

**Здравствуй; какъ твоя бъгъ милуетъ**

**Спасибо, я не гораздо здоровъ, я давно твоя невидаль.** (л. 134 об.)

Составитель ориентируется на самый живой бытовой язык. Например:

**сказываютъ что прнгожіе женыны во французской землр. я неповадился с ними,  
красные неглядѣли на менѧ, и я нежелалъ позна"ся сдурными.** (лл. 142—142 об.)

Правильный анализ текста этих «разговорников» как ценнейших памятников русской культуры, очевидно, требует тщательного семиотико-исторического подхода. Как таковые, «разговорники» для учащихся составляют особый литературно-педагогический жанр, в котором отражается самосознание народа в данную эпоху на стыке двух языков и, следовательно, двух культур. Вместе с тем эти тексты, как правило, не свободны от иностранных влияний и заимствований.

Лионский список т. н. «Краткой греческой грамматики» братьев Лихудов, несомненно, заслуживает внимания ученых. Его детальный анализ только начинается.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: Сменцовский М. Братья Лихуды: Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни конца XVIII веков. СПб., 1899. Примеч. 8.

<sup>2</sup> Бабаева Е. Э. Об учебных пособиях в Академии братьев Лихудов // *Cyri洛methodianum XIV—XVI. Thessalonique*, 1991—1992. С. 96.

<sup>3</sup> Бабаева Н. Э. Об учебных пособиях в Академии братьев Лихудов... С. 101—102.

<sup>4</sup> Копыленко М. М. Рукописная греческая грамматика братьев Лихудов // Византийский временник. Т. XVII. М.; Л., 1960. С. 91.

<sup>5</sup> Бабаева Е. Э. Этапы деятельности Ф. Поликарпова как теоретика книжного языка // Поликарпов Ф. Технология. Искусство грамматики / Изд. и исслед. Е. Э. Бабаевой. М.: Инапресс, 2000. С. 18, примеч. 7.; этот вопрос также рассматривается в диссертации Яламаса Д. Р. Филологическая деятельность братьев Лихудов в России: Дисс. ... канд филол. наук. М., 1992.

<sup>6</sup> Смирнов С. История Московской славяно-греко-латинской академии. М.: Тип. В. Готье, 1855. С. 44.

<sup>7</sup> Копыленко М. М. Рукописная греческая грамматика братьев Лихудов... С. 87.

<sup>8</sup> Bibliothèque Municipale de Lyon (Part-Dieu). Шифр: Ms 1616 (1594); см. также микрофильм с рукописи в «Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT—CNRS). Orléans—Paris» (Институт по исследованию и истории текстов. Орлеан—Париж); шифр микрофильма: Mi.961.

<sup>9</sup> Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Т. XXX, 1-е partie. Paris: Plon, 1900. Р. 501, № 1616 (1594).

<sup>10</sup> См.: Е. Э. Бабаева: «В. В. Виноградов видит в этой паре конкретную реализацию существовавшего противопоставления между церковнославянским и народно-русским языками. Но реальные тексты показывают, что оба термина употреблялись широко (...).» (Бабаева Е. Э. Русский учебник грамматики начала XVIII века и его исторические корни (концепция грамматического знания, представленная в двух рукописных «Технологиях» 20-х гг. XVIII в.) // Проблемы школьного учебника. Вып. 19. История школьных учебных книг. М., 1990. С. 159).

<sup>11</sup> Le Pasteur Grigori. La comédie d'Artaxerxes présentée en 1672 au Tsar Alexis. Paris: Institut d'études slaves, 1954.

<sup>12</sup> См.: Копыленко М. М. Рукописная греческая грамматика братьев Лихудов. С. 91.

*A. V. Бондарко (Санкт-Петербург)*

## ЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В СФЕРЕ ГРАММАТИКИ\*

**III** широкий круг проблем, освещаемых в трудах Татьяны Михайловны Николаевой, включает такие вопросы, как первичная и вторичная семантика грамматических категорий, взаимосвязи функций языковых элементов, текст как упорядоченное семантическое пространство (см. [Николаева 2000]). Сказанным во многом определяется выбор темы этой статьи.

Из истории вопроса о семантических категориях. Семантические категории, отражающие элементы внешнего мира в восприятии человека, преломляются в языковой системе и подвергаются ее влиянию. Суждения о связи мыслительных категорий с языковым строем представлены в языковедческой традиции и в работах последних десятилетий (сошлюсь, в частности, на концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ, О. Есперсена, И. И. Мещанинова, Э. Кошмидера, С. Д. Кацнельсонса).

И. А. Бодуэн де Куртенэ трактует психическое содержание как имеющее самостоятельное существование, но вместе с тем связанное с языком: «...само психическое содержание, представления, связанные с языком и движущиеся в его формах, но имеющие независимое бытие, представляют собой предмет исследования отдельной части грамматики, а именно науки о значении, или семасиологии» [Бодуэн де Куртенэ 1963а: 214] (О задачах языкоznания; оригинал — 1889 г.). В статье «Количественность в языковом мышлении» (оригинал — 1927 г.) содержатся мысли и наблюдения, во многих отношениях предвосхищающие более поздние исследования семантических категорий. Последовательно проводится сопоставление количественности в языковом мышлении и «математической количественности». В соотношении этих понятий проявляется разграничение собственно языкового и понятийного содержания. Анализируются особенности разновидностей количественности в языковом мышлении. В частности, речь идет о количественности пространственной и временной, о собирательности и простой множественности, о разных степенях интенсивности [Бодуэн де Куртенэ 1963б: 312—319, 323].

---

\* Статья подготовлена при содействии Фонда департамента фундаментальных и поисковых исследований в области естественных и гуманитарных наук, проект № НШ.1510.2003.6.

Выделяя различные аспекты «внезыковых семасиологических представлений» и говоря об их отражении в языке, И. А. Бодуэн де Куртенэ ставит вопрос о возможности сравнительного анализа в сфере языкового мышления: «Внезыковые, семасиологические представления распадаются на представления: 1) из области физического мира (вместе с миром биологическим); 2) из области мира общественного; 3) из области мира лично-психического. Отражение тех или других замечаемых во внезыковом мире различий в различениях чисто языковых может служить основанием для сравнительной морфологической характеристики отдельных языковых мышлений» [Бодуэн де Куртенэ 1963б: 185] (Заметки на полях сочинения В. В. Радлова; оригинал — 1909 г.). Примечательны суждения о проявлениях неуниверсальности в отражении «внезыковых представлений» в разных языках, об особом для каждого языка соотношении явных и скрытых языковых представлений. В этой проблематике выделяются типологические и исторические аспекты: «В одном языке отражаются одни группы внезыковых представлений, в другом — другие. То, что некогда обозначалось, лишается со временем своих языковых экспонентов; с другой стороны, особенности и различия, ранее вовсе не принимаемые в соображение, в более поздние эпохи развития того же языкового материала могут получить вполне определенные экспоненты (таково, например, различие формальной определенности и неопределенности существительных, свойственное нынче романскому языковому миру, но чуждое состоянию латинского языка)... В каждый момент жизни каждого языка дремлют в зачаточном виде такие различия, для которых недостает еще особых экспонентов. Это столь метко Бреалем названные *idées latentes du langage* (потаенные языковые представления)» [Бодуэн де Куртенэ 1963б: 83—84] (Язык и языки; оригинал — 1904 г.). Ср. развитие той же мысли в упомянутой выше работе 1909 г.: «Только для незначительной части внезыковых, семасиологических представлений имеются в языковом мышлении морфологические экспоненты; большая же часть этих внезыковых представлений составляет по отношению к языку группу так называемых “скрытых языковых представлений”... Между прочим, в языковом мышлении могут находиться или не находиться постоянные экспоненты для следующих внезыковых представлений: пол животных, являющийся источником различия грамматических родов; жизнь и ее отсутствие; пригодность для еды или питья; человеческая личность, в различии от всего остального; определенность и неопределенность; обладание (представления из мира общественно-экономического); количественное мышление (число, пространственные измерения, длительность); время физическое и время историческое; общественная зависимость одних людей от других и т. д.» [Бодуэн де Куртенэ 1963б: 185—186]. Таким образом, здесь представлены элементы типологического подхода к мыслительным категориям на базе исследования различий в их явном или «скрытом» отражении в разных языках.

Остановлюсь на некоторых аспектах теории понятийных категорий И. И. Мещанинова. В его работах на передний план выдвигается все то, что в понятийных категориях связано с языком, с «языковой передачей». Особое внимание

уделяется наличию в выражении понятийной категории определенной системы. В некоторых формулировках наличие системы в языковом выявлении того или иного понятия рассматривается как обязательный и необходимый признак понятийной категории, как критерий ее выделения. Если этот признак отсутствует, то, по мысли ученого, речь может идти о понятии, существующем в сознании и передаваемом языковыми средствами, но не о понятийной категории. Таким образом, понятийные категории рассматриваются в «языковой проекции», прежде всего в том языковом выявлении, которое имеет характер системы. Эта мысль настойчиво подчеркивается И. И. Мещаниновым: «...выражая в языке нормы действительного сознания, эти понятия отражают общие категории мышления в его реальном выявлении, в данном случае в языке. Таким понятиям, образующим в языке определенную систему, присваивается мною наименование понятийных категорий. Всякое понятие, существующее в сознании человека, может быть передано средствами языка. Оно может быть выражено описательно, может быть передано семантикою отдельного слова, может в своей языковой передаче образовать в нем определенную систему. В последнем случае выступает понятийная категория. Она передается не через язык, а в самом языке, не только его средствами, а в самой его материальной части. Таким образом, не всякое передаваемое языком понятие является понятийной категорией. Ею становится такое понятие, которое выступает в языковом строем и получает в нем определенное построение. Последнее находит свое выражение в определенной лексической, морфологической или синтаксической системе» [Мещанинов 1945: 15]. Итак, проводится различие между понятийными категориями, отражаемыми в строем языка, и понятиями, передаваемыми лишь описательно или в семантике отдельного слова; при этом основное внимание обращается на те понятия (понятийные категории), которые «отражаются в языке прямым путем, то есть в самой языковой форме».

Важно то, что в рассматриваемое истолкование понятийных категорий введен принцип системности их языкового выражения. Таким образом, тезис о языковой (а не только мыслительной) природе понятийных категорий связывается с ориентацией на систему языковых средств. Здесь можно видеть дополнительное уточнение понятия категоризации: категориально то, что выступает в языковом строем, получая в нем определенное построение. Следует подчеркнуть, что построение, о котором идет речь, включает не только морфологическую и синтаксическую, но и лексическую систему. Тем самым признается принцип многообразия в языковом системном представлении понятийных категорий.

Как известно, существуют концепции, подчеркивающие внеязыковой характер понятийных категорий. Ср. суждения О. Есперсена: «...приходится признать, что наряду с синтаксическими категориями, или кроме них, или за этими категориями, зависящими от структуры каждого языка, в том виде, в каком он существует, имеются еще внеязыковые категории, не зависящие от более или менее случайных фактов существующих языков. Эти категории являются универсальными, поскольку они применимы ко всем языкам, хотя они редко выражаются в этих языках ясным и недвусмысленным образом. Некоторые из них относятся к таким фактам

внешнего мира, как пол, другие — к умственной деятельности или к логике. За отсутвием лучшего термина я буду называть эти категории понятийными категориями. Задача грамматиста состоит в том, чтобы в каждом конкретном случае разобраться в соотношении, существующем между понятийной и синтаксической категориями» [Есперсен 1958: 57—58] (английский оригинал — 1924 г.). Следует заметить: несмотря на подчеркнутую констатацию внеязыковой и универсальной природы понятийных категорий, О. Есперсен признает значимость языкового выражения для их выявления. Говоря о «трех ступенях грамматического анализа одних и тех же явлений» — (А) форме, (Б) функции и (В) понятиях, он пишет: «Устанавливая категории в разделе третьем (В), необходимо всегда помнить, что они должны иметь лингвистическое значение. Мы хотим понять языковые (грамматические) явления, а потому было бы неправильно приступать к делу, не принимая во внимание существование языка вообще, классифицируя предметы и понятия безотносительно к их языковому выражению... Систематический обзор главных понятийных категорий, поскольку они находят грамматическое выражение, и рассмотрение взаимоотношений между этими двумя "мирами" в различных языках и является задачей большей части этой работы» [Там же: 60]. Таким образом, даже при подходе к понятийным категориям как категориям внеязыковым языковое выражение включается в систему анализа, причем не только как компонент соотношения «понятийная категория — ее выражение в том или ином языке», но и как фактор, необходимый для установления понятийной категории.

Различные аспекты теории понятийных (мыслительных) категорий в их отношении к языку получили развитие в трудах С. Д. Кацнельсона. В его работах освещаются проблемы, тесно связанные с принципом естественной классификации: мыслительные категории и их естественная формализация в структуре языка (таково название задуманной С. Д. Кацнельсоном книги, фрагменты которой содержатся в опубликованном в 2001 г. томе «Категории языка и мышления: Из научного наследия» [Кацнельсон 2001: 239—348]), взаимодействие категорий «явной» и «скрытой» грамматики [Кацнельсон 1972: 78—94]. Проблема естественной формализации мыслительных категорий в структуре языка раскрывается в рассмотрении таких вопросов, как взаимодействие факторов, определяющих структуру языка и структуру мышления, лексико-грамматические разряды в их отношении к грамматическим категориям, типы связей между категориями, роль промежуточных разрядов в их системе. Значимость идей и конкретных наблюдений С. Д. Кацнельсона в наши дни возрастает на фоне интенсивного развития семантических исследований и возрождающегося интереса к проблемам системности в языковой интерпретации смыслового содержания.

Выше были представлены (в краткой форме) лишь некоторые фрагменты из истории вопроса о семантических категориях (более подробно о соотношении языкового и мыслительного содержания см. [Бондарко 1978; 1996; 2002]).

Интерпретация языкового представления семантических категорий в теории функциональной грамматики. В разрабатываемой нами теории грамматики семан-

тические категории выступают как содержательное основание базисных понятий «функционально-семантическое поле» и «категориальная ситуация».

Функционально-семантическое поле (ФСП) представляет собой семантическую категорию, рассматриваемую в единстве с комплексом различных (морфологических, синтаксических, лексико-грамматических, лексических) средств ее выражения в данном языке. Поле интегрирует разноуровневые средства данного языка, взаимодействующие на основе общности их семантических функций и выраждающие варианты определенной семантической категории. В коллективном труде «Теория функциональной грамматики» (ТФГ 1987; 1990; 1991; 1992; 1996а; 1996б) анализируются группировки ФСП, выделяемые на основе доминирующего типа категориальной семантики в ее языковом выражении: 1) поля с предикативным ядром: аспектуальность, временная локализованность, таксис, темпоральность, модальность; персональность, залоговость; 2) поля с субъектно-объектным ядром: субъектность, объектность, коммуникативная перспектива высказывания, определенность / неопределенность; 3) поля с качественно-количественным ядром: качественность, количественность; 4) поля с предикативно-обстоятельственным ядром: локативность, бытийность, посессивность, обусловленность — комплекс полей условия, причины, цели, следствия и уступительности (в написанной Т. М. Николаевой [Николаева 1991] рецензии на один из томов «Теории функциональной грамматики» (ТФГ 1990) содержится интерпретация разрабатываемых нами проблем, представляющая значительный интерес).

Выделяются два основных структурных типа анализируемых полей: моноцентрические и полицентрические. Моноцентрический тип структуры ФСП наиболее четко представлен полями, в центре которых находится определенная грамматическая категория, концентрирующая в целостной системе наиболее специализированное и наиболее регулярное выражение данного круга функций. Ср. отношения: вид глагола и аспектуальность, глагольное время и темпоральность, лицо и персональность, залог и залоговость. К полицентрическому типу относятся такие поля, как таксис (зависимый и независимый), качественность (атрибутивная и предикативная), бытийность (дискретная и недискретная), посессивность (атрибутивная и предикативная). В системе ФСП находят отражение части речи и члены предложения, репрезентирующие центральные компоненты рассматриваемых функциональных единств (ср. ФСП с предикативным и субъектно-объектным ядром).

Центр поля характеризуется совокупностью следующих черт: 1) максимальная концентрация базисных семантических признаков, определяющих качественную специфику данного ФСП (центр) — разреженность таких признаков (периферия); 2) сосредоточение связей языковых единиц, участие в максимальном числе оппозиций (центр) — рассредоточение «сетки связей», их ослабление, проявление той или иной степени изолированности (периферия); 3) наибольшая специализированность данного языкового средства или системы средств для реализации определенных семантических функций (центр) — меньшая степень специализации (периферия); 4) регулярность функционирования данного языкового средства или

комплекса средств (центр) — нерегулярность или меньшая степень регулярности, меньшая употребительность (периферия). Существенны такие факторы, как постепенность переходов от центра к периферии, частичные пересечения полей, «общие сегменты».

Понятие ФСП отражает реальные процессы мыслительно-речевой деятельности. В языковом знании говорящих существует способность выразить тот или иной элемент данной семантической категории (например, отнесенность ситуации к будущему) различными языковыми средствами, соответствующими смысловой направленности формирующегося высказывания. Основание понятия ФСП в языковой и речевой онтологии — это комплекс языковых средств, имеющихся в распоряжении говорящих на данном языке для выражения того или иного варианта определенной семантической категории.

Важную роль в рассматриваемой модели функциональной грамматики играет понятие категориальной ситуации (КС). КС трактуется как базирующаяся на определенной семантической категории и соответствующем ФСП типовая содержательная структура, представляющая собой один из аспектов передаваемой высказыванием общей сигнifikативной (семантической) ситуации. КС — родовое понятие, интегрирующее видовые понятия ситуаций аспектуальных (ср. процессные, статальные, реляционные, тендентивно-пределные, нетендентивно-пределные ситуации и т. п.), таксисных, модальных (в частности, императивных), персональных, квалитативных, локативных, посессивных, бытийных, кондициональных и т. п. КС включают не только смысловую (понятийную) основу выражаемого содержания, но и его конкретно-языковую семантическую интерпретацию (интерпретационный компонент). Языковая интерпретация КС (единство смысловой основы и интерпретационного компонента) проявляется в системе инвариантности / вариативности и в отношениях между прототипом и его окружением.

Если понятие ФСП соотносится с представлением о семантической категории и упорядоченном множестве средств ее выражения в данном языке, то понятие КС служит для анализа функциональных вариантов данной семантической категории, выражаемых в высказывании. Функциональные варианты семантических категорий (например, процессность как один из вариантов аспектуальности, одновременность как вариант таксиса) составляют содержание тех или иных категориальных характеристик высказывания — аспектуальных, темпоральных, таксисных, локативных.

Существенным свойством семантических категорий, представленных в ФСП и КС, являются их пересечения. Рассматриваемые пересечения находят соответствие в сопряженных КС — аспектуально-темпоральных, аспектуально-таксисных, аспектуально-квантификационных и т. п. Взаимодействие языковых единиц, классов и категорий, в том числе взаимодействие ФСП и КС, приобретает значимость одной из актуальных проблем теории грамматики (см. [Храковский 1990; Пупынин 1990; Козинцева 1991; Межкатегориальные связи 1996; Грамматические категории 2003]).

Один из важных аспектов системно-функционального анализа, базирующегося на понятиях ФСП и КС, — сопоставительный. ФСП в разных языках, связанные с одной и той же семантической категорией, могут существенно различаться по своей структуре (ср., например, поле определенности / неопределенности в «артиклевых» и «безартиклевых» языках). Одна из актуальных задач сопоставительных исследований — разработка системы субкатегоризации в рамках аспектуальных, темпоральных, персональных и других КС.

В сферу функциональной грамматики входит анализ категориальной (в частности, модальной, аспектуально-темпоральной, персональной) характеристики целостного текста. Конкретные варианты семантики персональности, модальности, темпоральности, таксиса, локализованности / нелокализованности ситуации во времени формируют общую категориальную характеристику текста как целого. Функциональная направленность текста (повествования, инструкции, приказа, описания закономерностей и постоянных отношений и т. д.) обуславливает «категориальные доминанты» текста — доминанту реальности или императива, нарративного временного плана или плана абстрактного настоящего, доминанту 1-го или 3-го лица. Отсюда линия зависимостей идет к категориальным характеристикам отдельных высказываний, доходя до выбора соответствующих форм, т. е. до уровня конкретных языковых средств. Функциональная направленность текста во многом определяет вероятностные закономерности выбора категориальных характеристик отдельных высказываний, в конечном счете — выбора тех или иных форм наклонения, времени, лица и т. д.

Одна из тем, входящих в сферу анализа категориальной характеристики высказывания и целостного текста, — семантика перцептивности (в иной терминологии — наблюдаемости). Понятия наблюдателя и наблюдаемости получили интересную интерпретацию в ряде работ (см. [Апресян 1995: 629—650; Арутюнова 1999: 1—2, 11—15, 413—428; Падучева 2001; 2003: 75—100; Пупынин 2000: 36—51]). О понятии перцептивности в системе функциональной грамматики см. [Бондарко 1983: 132—135; 2002: 273—285]. Речь идет о языковой и речевой интерпретации наблюдаемости и других типов восприятия (в частности, слухового) явлений внешнего мира с точки зрения перцептора — прежде всего говорящего и слушающего (в письменной речи — автора, повествователя, персонажей, неопределенного множества реальных и потенциально возможных лиц, воспринимающих обозначаемую ситуацию). Языковая интерпретация перцептивности рассматривается в ее связях с семантикой темпоральности и аспектуальности, а также с другими категориями, отражающими разные стороны идеи времени; учитывается также взаимодействие перцептивности с локативностью, субъектностью и объектностью.

Теория семантических категорий в излагаемой интерпретации тесно связана с проблемой стратификации семантики. Речь идет о разграничении и соотнесении различных уровней (аспектов) семантики. Идея выделения в сфере семантики разных уровней и аспектов, коренящаяся в языковедческой традиции (ср. труды А. А. Потебни), получила развитие в работах представителей разных направлений

лингвистической теории (см. обзор литературы вопроса в кн. [Бондарко 1978; 1996: 74—98; 2002: 17—95, 120—139]; здесь же изложено наше истолкование данной проблемы).

Для разграничения уровней семантики используются известные в научной литературе термины «значение» и «смысл». Значение представляет собой содержание единиц и категорий данного языка, включенное в его систему и отражающее его особенности. Различные комбинации значений языковых единиц выступают в речи в составе вербально выраженного содержания высказывания. Понятие «смысл» предполагает внутреннюю дифференциацию. Могут быть выделены два аспекта смысла: а) системно-категориальный (ср. такие понятия, как семантическая категория, предикатно-аргументная структура) и б) речевой (используется сочетание «речевой смысл»). Системно-категориальный аспект смысла находит отражение в семантических категориях, лежащих в основе ФСП. Речевой аспект смысла представлен в конкретных высказываниях.

Значение и смысл тесно связаны друг с другом. Языковое значение представляет собой смысловое в своей основе содержание, выраженное и структурированное средствами данного языка, включенное, таким образом, в его систему и заключающее в себе определенную языковую интерпретацию смысловой основы выражаемой семантики. Общие элементы смысла при различиях в интерпретации, заключенной в языковых значениях, представлены в инвариантных элементах синонимических высказываний, а также в содержании высказываний, сопоставляемых в условиях межъязыковой эквивалентности (как правило, неполной). Разграничение и соотнесение уровней семантики распространяется не только на отдельные высказывания, но и на целостные тексты. Речь может идти о понятиях «план содержания текста» (имеется в виду вербально выраженное языковое содержание в определенной речевой реализации) и «смысл текста».

В сфере семантических категорий выявляется соотношение разных уровней содержательной абстракции. Наиболее обобщенные категории представляют собой содержательные константы (инварианты), находящиеся на вершине системы вариативности (ср. такие категории, как аспектуальность, темпоральность, модальность, персональность, залоговость, качественность, количественность, локативность, посессивность, бытийность). Вместе с тем могут быть выделены категории, представляющие собой «более низкие уровни» вариативности семантической системы (ср., например, такие категории, как процессность, результативность, начинательность, длительность, футуральность, одновременность, последовательность, возможность, необходимость, императивность и т. п.). Следует заметить, что даже «канонические инварианты», выделяемые на уровне вершинных семантических констант, могут быть не абсолютными, а относительными. Так, аспектуальность, темпоральность, временная локализованность, таксис и временной порядок представляют собой категории, отражающие разные стороны идеи времени, — инварианта более высокого уровня (см. [Бондарко 1999: 62—232; 2002: 359—540]).

Изучение семантики в ее языковом представлении включается в общую проблематику языковой категоризации. В изучаемой нами области функциональной лингвистики могут быть выделены следующие аспекты категоризации: а) функции языковых средств в их отношении к системе языка и системе речи; б) взаимодействие системы и среды при реализации функций языковых единиц; в) взаимосвязи грамматики и лексики; г) межкатегориальные связи; д) оппозиции и неоппозитивные различия в системе естественной классификации; е) смысловая основа и интерпретационный компонент языковых значений; форма как способ представления смыслового содержания; ж) дихотомия инвариантности / вариативности; з) аспекты системности, отражаемые в понятиях «центр — периферия — континуальность — частичные пересечения категорий», «полевая структура», «прототипы и их окружение».

\* \* \*

Выделяя специфические черты лингвистики на исходе XX в. и характеризуя антропоцентричность прогнозируемой лингвистической парадигмы, Т. М. Николаева пишет: «Существенным при этом может стать функциональный аспект языковых феноменов, и тем самым повысится интерес к таксономии нового типа — с функциональной ориентацией» [Николаева 2000: 17]. И далее: «Подобные исследования не могут оставаться в пределах описания одного языка: неизбежно они приведут к созданию принципиально новой типологии языков, сопоставляемых не только формально, но и содержательно с изучением их функциональных возможностей» [Там же]. Эти суждения имеют непосредственное отношение к интерпретации перспектив дальнейшего развития теории семантических категорий в широкой сфере системно-функциональной лингвистики.

## ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1995 — Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Арутюнова 1999 — Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М., 1999.
- Бодуэн де Куртенэ 1963а — Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963.
- Бодуэн де Куртенэ 1963б — Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963.
- Бондарко 1978 — Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.
- Бондарко 1983 — Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983 (2-е изд., стереот. — М., 2001; 3-е изд., стереот. — М., 2003).
- Бондарко 1996 — Бондарко А. В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.
- Бондарко 1999 — Бондарко А. В. Основы функциональной грамматики: Языковая интерпретация идеи времени. СПб., 1999 (дополнит. изд. — СПб., 2001).
- Бондарко — Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. М., 2002.

- Грамматические категории — Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие: Мат-лы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 22—24 сентября 2003 г.). СПб., 2003.
- Есперсен 1958 — Есперсен О. Философия грамматики (перев. с англ.). М., 1958.
- Кацнельсон 1972 — Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
- Кацнельсон 2001 — Кацнельсон С. Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия. М., 2001.
- Козинцева 1991 — Козинцева Н. А. Временная локализованность действия и ее связи с аспектуальными, модальными и таксисными значениями (на материале армянского языка в сопоставлении с русским). Л., 1991.
- Кустова 1996 — Кустова Г. И. Перцептивные события: участники, наблюдатели, локусы // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999.
- Межкатегориальные связи в грамматике — Межкатегориальные связи в грамматике. СПб., 1996.
- Мещанинов 1945 — Мещанинов И. И. Понятийные категории в языке // Труды Военного ин-та иностр. языков. 1945. № 1.
- Николаева 1990 — Николаева Т. М. [Рец. на кн.] Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990 // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1991. Т. 50. № 6.
- Николаева 2000 — Николаева Т. М. От звука к тексту. М., 2000.
- Падучева 2001 — Падучева Е. В. К структуре семантического поля «восприятие» (на материале глаголов восприятия в русском языке) // Вопр. языкоznания. 2001. № 4.
- Падучева 2003 — Падучева Е. В. Глаголы восприятия: Опыт выявления структуры тематического класса // Проблемы функциональной грамматики: Семантическая инвариантность / вариативность. СПб., 2003.
- Пупынин 1990 — Пупынин Ю. А. Функциональные аспекты грамматики русского языка: Взаимосвязи грамматических категорий. Л., 1990.
- Пупынин 2000 — Пупынин Ю. А. О роли перцептора в функционировании грамматических категорий вида, залога и времени в русском языке // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000.
- Теория функциональной грамматики 1987 — Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987 (ТФГ 1987; 2-е изд., стереот., — М., 2001; 3-е изд., стереот. — М., 2003).
- Теория функциональной грамматики 1990 — Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990 (ТФГ 1990).
- Теория функциональной грамматики 1991 — Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991 (ТФГ 1991).
- Теория функциональной грамматики 1992 — Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. СПб., 1992 (ТФГ 1992).
- Теория функциональной грамматики 1996а — Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996 (ТФГ 1996).
- Теория функциональной грамматики 1996б — Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996 (ТФГ 1996).
- Храковский 1990 — Храковский В. С. Взаимодействие грамматических категорий глагола: (Опыт анализа) // ВЯ. 1990. № 5.

*Г. А. Золотова (Москва)*

## ПЕРФЕКТИВ КАК КАТЕГОРИЯ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА

**Т**атьяну Михайловну отличает от многих филологов редкостная широта научных интересов и познаний. Сколько энергии и духовных ресурсов требует такой интенсивный стиль жизни. При том исследовательский труд не замыкает ее в мире книг, она полна внимания и доброты к коллегам, читает их, оценивает, приходит с полезным советом.

Помню неожиданный вечерний ее звонок: — Ваша мысль в последней статье интересно перекликается с идеей Владимира Николаевича, посмотрите в «Этимологии»-92...

Это было новым стимулом для продолжающейся моей работы. С ней связана тема, которую я с уважением и признательностью предлагаю для сборника в честь Татьяны Михайловны Николаевой.

1. Термин **перфект** не общеупотребителен и не однозначен в русской лингвистике. Это наименование одной из форм прошедшего времени глагола в истории русского языка. Это, в паре с **имперфектом**, интернациональное именование совершенного и несовершенного вида глагола (СВ и НСВ) и — соответственно — **перфективации** и **имперфективации** как способов образования видовой пары, а также **перфектной** «разновидности типов употребления видов» в «Грамматике-80».

В. В. Виноградов в классической работе «О стиле “Пиковой дамы”» (1936 г.) применил этот термин к **текстовым** функциям глаголов, разграничив перфектную и аористную функции в СВ, процессуально-длительную и характеризующую в НСВ. Его проникновенный анализ языка пушкинской повести показал, что эти глагольные функции, соотношение которых организуется «образом автора», сменой его позиции, точек зрения рассказчика и персонажей, служат основным средством формирования пространственно-временного объема, композиционного строя текста.

Время подтвердило ключевую роль и перспективность этих понятий, закрепленных позже в его книге «Русский язык» (1947 г.), для анализа как художественного, так и любых других текстов. Эти идеи реализовались позже и в работах

учеников В. В. Виноградова о языке и стиле произведений Пушкина, Карамзина, Крылова, Достоевского, Чехова и др.

Последующие труды В. В. Виноградова о языке художественной литературы и о синтаксическом строе русского языка укрепляли и развивали эту плодотворную теорию. Сформулировав признаки предикативности предложения как основной коммуникативной единицы (время, лицо, модальность) и показав многообразие русских моделей и разновидностей предложения, В. В. Виноградов заметил: «...категории времени и модальности, выражающие отношение сообщения к действительности, могут быть свойственны предложению в целом — независимо от наличия глагола» [Виноградов 1950: 48].

Признание носителем предикативных характеристик не глагола как части речи, а предиката как коммуникативно-синтаксической категории подготовило в дальнейшем осмысление того,

- a) что и носителями коммуникативно-текстовых функций являются предикаты, выраженные не только глаголами, но и другими средствами, иначе говоря, — что это функции **предикативных единиц**;
- б) что эти текстовые функции свойственны не только предложениям, но и входящим в их состав так наз. **полупредикативным** конструктам, выражающим время, модальность и лицо не морфологически, а **таксисно**, относительно соседствующего предиката;
- в) что предикативные (в том числе и полупредикативные) конструкции могут рассматриваться как **минимальные единицы текста**, а таксисные отношения между ними по линиям времени, модальности и лица (моно / полitemпоральность, моно / полимодальность, моно / полисубъектность) выявляют свою роль главного средства **внутритекстовых связей**, выстраивания всех частей текста и всей его композиции.

**2. В. В. Виноградов** неоднократно привлекал внимание к проблеме движения синтаксических форм в текстах разного типа, выявления не только языковых, но и речевых единиц и определения типовых композиционных их объединений.

Возможное решение этих задач было предложено в концепции коммуникативных типов (регистров) речи [Золотова 1982; Золотова и др. 1998], различающихся следующими признаками:

- а) пространственно-временная позиция говорящего (пишущего) по отношению к происходящему и — соответственно — сенсорный или ментальный способ восприятия;
- б) динамически-tempоральная или статически-локальная доминанта текстового фрагмента;
- в) коммуникативные интенции говорящего (сообщение, эмоциональная реакция на сообщаемое или происходящее, волеизъявление).

Выявлены следующие коммуникативные регистры:

1. **Репродуктивный** (изобразительный) — автор изображает происходящее, наблюдая его в хронотопе или мысленно как бы переносясь в его место и

время: *Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша* (Пушкин); *От лил душистым медом тянет* (Фет).

2. **Информативный** — автор, дистанцированный от происходящего, сообщает об известном ему или осмыслием: *В первой молодости моей я был мечтателем* (Лермонтов); *А все-таки она ему сестра* (Тургенев); *Он вообще жил очень замкнуто и дико* (Бунин).
3. **Генеритивный** — автор формулирует или цитирует мысль, обобщающую закономерности, выходящие за рамки текстового времени: *Волхвы не боятся могучих владык* (Пушкин); *За чем пошел, то и нашел* (Посл.).

Регистровые возможности обеспечивают говорящему способы представления событий в динамике или статике как явлений конкретно-единичных — в актуальном времени, обычных, типичных, повторяющихся — в узуальном времени либо как обобщенного умозаключения, абстрагированного от конкретности, — в гно- мическом времени.

Существенно при этом, что нет строгой привязанности ступеней конкретности/абстрактности времени к морфологическим формам глагольных времен — настоящего, прошедшего, будущего, как нет этой привязанности (напоминаю вышесказанное) к только глагольному предикату.

Смена, чередование регистров подчиняется определенным правилам в речевых жанрах деловых, газетно-публицистических, научных, но творческой воле авторов в художественных текстах, впрочем тоже более традиционных композиционно в классической литературе и усложняющихся в современной.

Композиционная структура текста, синтаксическое движение его, развитие сюжета и обеспечивается, в основном, комбинацией, чередованием текстовых функций предикатов, открытых В. В. Виноградовым. Пользуясь введенными им названиями этих функций, видоизменяем их добавлением суффикса: **перфектив**, **аористив**, **имперфектив**, для отграничения от названий глагольных форм [Золотова и др. 1998: 27].

Но возникает и вопрос: как соотносятся морфологические формы с текстовыми функциями того же названия? Это предстоит выяснить.

3. Для начала рассмотрим в небольшом тексте, какими функциями представлены действия героев крыловской басни.

*Однажды Лебедь, Рак да Щука  
Везти с поклажей воз взялись,  
И вместе все в него впряглись...*

*Взялись везти: взяться* с инфинитивом служит модификатором предиката, придающим ему модальное (решения, намерения, согласия) или фазисное (начала, приступа к действию) значения. (Любопытно, что ни в словаре Ожегова, ни в 4-х томном не отмечены.) Здесь это — принятное персонажами решение, функция — **перфективная**. *Впряглись* — первое активное действие — **аористив**, с которого начинается развитие сюжета в конкретный момент событийного (про-

шедшего) времени. Герои действуют, и автор переключает рассказ в настоящее время, приближая происходящее к читателю=зрителю и как бы призывая его в свидетели напряженных усилий, обозначенных **имперфективным** экспрессивно-фразеологическим способом: *Из кожи лезут вон*. Безрезультативность стараний констатируется **перфективно**: *а возу все нет ходу!* Следующие **имперфективные** предикаты объясняют причину неудачи продолжающихся, но разнонаправленных устремлений: *Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду*. Безглагольной **перфективной** фразой *Да только воз и ныне там* подытоживает автор неразумную затею.

**4.** Анализ даже этого небольшого текста позволяет увидеть ряд неточностей в привычных, морфологически ориентированных, грамматических формулировках.

Так, определяя значения и употребления глагольных форм, обычные формулировки говорят о том или ином **характере действий**, не замечая существенных различий в категориальных свойствах глаголов действия и состояния (так же как в свойствах имен личных, предметных и отвлеченно-признаковых).

Категория глагольного времени неизменно привязывается грамматистами к **моменту речи** как к точке отсчета. Между тем в художественном повествовании, из которого обычно извлекаются грамматические иллюстрации, а также в устно-бытовом рассказе точкой отсчета времени служит подвижная, перемещающаяся позиция говорящего по отношению к представляемым событиям.

Что же касается текстовых функций видо-временных форм глагола, то дальнейшее расширение исследуемого материала свидетельствует о том, что закономерности связи между текстовыми функциями и средствами их выражения еще мало изучены.

Эти расхождения между традиционной трактовкой намеченных вопросов и возможным современным пониманием их анализированы в «Коммуникативной грамматике» [Золотова и др. 1998], но тема перфекта/перфективы требует продолжения.

**5.** С термином **перфект** связан весь комплекс упомянутых неточностей, нуждающихся в переосмыслении, и это один из поводов или стимулов выделения перфективы из ряда функций как особого объекта.

Какие же функции в композиции, в сюжетном движении текстов свойственны перфективу?

Краткие и динамичные тексты басен Крылова нагляднее обнаруживают закономерности использования перфективных конструкций (характерные, конечно, и для прочих нарративных жанров) в определенных частях композиции.

Как и в рассмотренном тексте, многие басни начинаются с перфективной экспозиции, констатирующей исходное, предваряющее развитие событий положение дел:

*Вороне где-то бог послал кусочек сыру...;*  
*Петух нашел Жемчужное зерно...;*

*У Тришки на локтях кафтан продрался...;*  
*Овечкам от Волков совсем житья не стало...;*  
*Ягненок... зашел к ручью напиться...;*  
*Когда-то в случай Слон попал у Льва...;*  
*...Честные торгаши Наторговали денег гору...;*  
*Свинья на барский двор когда-то затесалась...;*  
*У Мельника вода плотину прососала...;*  
*Случилось некогда мне быть в шумливом мире... и др.*

Менее регулярны, но нередки перфективы в **заязвзке** сюжета:

*Вдруг сырный дух Лису остановил...;*  
*Вот близкого его соседа, Мышонка, запахом пирушки привлекло...;*  
*Вот вздумалось Котлу по свету прокатиться...;*  
*Ему на мысли вспало, что взрезав Курицу, он в ней достанет клад...;*  
*Да то лишь горе, Что все ворота на запоре... и др.*

Перфективные конструкции во многих баснях служат изображению непроизвольной реакции персонажа, эмоционально-физиологической, на поворот событий:

*Вещуньина с похвал вскружилась голова, От радости в зобу дыханье сперло...;*  
*В ушах у гостя затрещало И закружилась голова...;*  
*У кумушки глаза и зубы разгорелись...;*  
*Тут кровь во Льве вскипела, заиграла...;*  
*Но, признаюсь, в нас сердце задрожало...;*  
*...в нем сердце встрепенется...;*  
*От стужи малого прошибли слезы... и др.*

И конечно, самое типичное употребление перфективов в финале, в **развязке**, подытоживающей происшедшее дидактическим сообщением о гибели праведного или неправедного героя, об ущербе, утрате или — напротив — прибыли, о тщетности чьих-то достойных либо неразумных усилий:

*Сыр выпал, С ним была плутовка такова;*  
*Искусство силу одолело, И бедный Лев погиб;*  
*Она сама к ним в суп попалась;*  
*И в темный лес Ягненка поволок;*  
*И все они со всем добром своим сгорели;*  
*А от Горшка одни остались черепки;*  
*И цену прежнюю Червонец потерял;*  
*И — бух Осел, и с Филином, в овраг;*  
*Всю испортил шкуру!;*  
*А делом ни один бедняк не помог;*  
*Без кур и без воды пошел в свое подворье;*  
*Но Мишенъкин совет лишь попусту пропал;*  
*А бедный Пруд... Зацвел, зарос осокой И, наконец, совсем иссох;*  
*И только до того добился, что дам его свалился... и др.*

6. Теперь попытаемся обозреть языковые способы выражения текстовых перфективных функций.

Разнообразный в лексико-синтаксическом и экспрессивно-стилистическом отношении материал из басен Крылова, а также из других источников показывает, что в выражении текстовой перфективной функции участвует широкий круг семантико-грамматических средств, который нуждается и в установлении границ его и во внутренней дифференциации.

Естественно, грамматической опорой перфективной текстовой функции служат глаголы СВ прошедшего времени. Очевидно, что не всякий глагол способен принять на себя эту службу.

Различаются несколько глагольных групп:

**6.1. Глаголы акциональные** называют целенаправленное действие, совершенное лицом (живым существом, а в баснях, сказках, поэзии — и олицетворенным предметом) для определенного результата; из этих глаголов и выведено традиционное определение значения перфекта. Если кто-то *пишет книгу*, *рубит дрова*, *моет машину*, *гладит рубашку*, *строит школу*, имперфектив в НСВ представляет действие в его протяженности, а перфект в СВ — окончание его длительного плодотворного труда, достижение цели, что означает и границу между временем этого действия и следующей временной ступенью, но, напомним, не «настоящего» (презенского), а текстового времени.

Таких примеров в перфективных фрагментах из Крылова совсем мало: *торгаши Наторговали денег гору*, *Волк поволок Ягненка* (этот глагол мог бы выступать в аористивной функции в ряду последовательных действий, но в концовке означает гибель жертвы и исчерпанность темы).

В экспозиции *Вороне бог послал кусочек сыру* глагол *послать* мог бы обозначать активное действие, если бы речь шла об акции субъекта, но для экспозиции типичнее случайное появление объекта, и здесь только констатируется наличие этого сыра в клюве героини, с мягкой затушеванностью вопроса о происхождении куска, поскольку известно, что Крылов устранил мотив кражи сыра Вороной, фигурировавший у некоторых ранних излагателей этого многовекового сюжета.

Перфективный результат активного действия может предстать и в форме краткого страдательного причастия: *Медведь был выбран в надсмотрщики*, *Слон пожален на воеводство*.

При этом объект действия становится субъектом перфективного состояния (не действия); в оппозиции к отрицательному сообщению (особенно с частицами *еще*, *пока*) такой причастный предикат приобретает дополнительное фазисное значение этапа реализации:

(1)	(2)	(3)	(4)
Фирма строит казино —	Казино строится —	(еще) не построено —	построено
Портной шьет костюм —	Костюм шьется —	(пока) не сшит —	сшит
Хозяйка варит кашу —	Каша варится —	(еще) не сварена —	сварена
Маляр красит крышу —	Крыша красится —	(еще) не покрашена —	покрашена
Аспирант пишет статью —	Статья пишется —	не написана —	написана

В колонках (1) и (2) сообщается о целенаправленном имперфективном действии личного субъекта, (2) и (3) сближает срединное фазисное положение предметного субъекта между началом и концом процесса, в (4) — конечная фаза, перфективный результат действия [Золотова и др. 1998: 132, 328] и др.

*Письмо готово, сложено* (Пушкин); *Только не сжата полоска одна* (Некрасов); *Все кругом было разрушено, разломано, разбито* (В. Бианки).

Наблюдательными исследователями отмечалось различие форм на -о в родовой парадигме (*Каша сварена; Письмо сложено; Костюм сшит*) и в «безличных» предикатах со значением недействия (*Его разморило; За окном рассвело; В доме пусто; Над лесом прогремело*).

Положительный либо отрицательный результат усилий, ожиданий, расчетов может быть выражен разными формами, и глагольными и именными, как появление ожидаемого или исчезновение, как прибыль или убыль, как местонахождение искомого здесь или не здесь, не у себя.

Примеры дают и басни, и пословицы, и другие тексты:

*У Огородника взошло все и поспело: Он с прибылью, И в шляпе дело, А Философ — без огурцов;*

*Два брата в барышах...; а третий брат клянет Судьбу, что он Фортуной злой оставлен лишь с сумою;*

*Ворота на запоре;*

*Пошла Лиса домой не солено хлебавши* (примеры из Крылова).

*Долго у моря ждал он ответа, Не дождался* (Пушкин).

Ср. фразеологические перфективы: *как сквозь землю провалился, как в воду канул, поминай как звали, пиши пропало, и след простыл, только его и видели; про-менял кукушку на ястреба, попал как кур во щи, дело в шляпе и др.*<sup>1</sup>

Сами поговорки организованы не акциональными глаголами, но в контексте речи оценивают результат, чаще отрицательный, активных действий — поисков, преследования, попыток догнать и под.

*Мы перемены в нем дождались. Но пользы нет и нет пока. Переменили ямщика — А клячи прежние остались* (Д. Минаев);

*Ты понимаешь, все у меня в жизни как взорвалось — семья разрушена, жена погибла, сын у чужих людей* (П. Павленко);

*Одни говорили, что ключи у Григория, другие — что они у приказчика* (Чехов).

Предназначенность к выполнению определенных текстовых функций заложена и во многих агентивных существительных, образованных от акциональных глаголов. В «Коммуникативной грамматике» рассматривается пример из Пушкина: *Узнай, Руслан: твой оскорбитель Волшебник страшный Черномор, Красавиц давний похититель, Полнотных обладатель гор* [Золотова и др. 1998: 412; со ссылкой на Т. В. Булыгину и А. Вежбицкую]. Личные субстантивы сохраняют здесь коммуникативно-текстовые функции породивших их глаголов: *оскорбитель* — перфективную (*тот, кто оскорбил*), *похититель* — перфективно-итеративную (*тот, кто похищал неоднократно*), *обладатель* — имперфективно-описательную (*тот,*

кто обладает). Ср. еще: — Ты, царевич, мой спаситель, Мой могучий избавитель (Пушкин) — оба личных субстантива образованы от перфективных глаголов. Подобным образом отглагольные имена *заступник, вестник, перебежчик, победитель, орденоносец, свидетель*, так же как ряд имен с отрицательно-оценочной коннотацией *обманщик, фальсификатор, доносчик, прогульщик, нарушитель* и др., обусловленные ретроспективным взглядом на совершенное, функционируют как перфективы (с дополнительным оттенком итеративности при свершении неоднократном). А именам, называющим профессию, род занятий, образ жизни (*летчик, водитель, собиратель, спасатель, кочевник, исследователь, путешественник* и под.), естественно, свойственна функция имперфективная.

**6.2.** Другую группу глаголов или глагольных выражений, функционирующих перфективно, составляют именования не действий, но *состояний*, психических или физических, непроизвольно возникающих в человеке как реакция на случившееся, на неожиданный поворот событий. Персонаж сам ощущает происходящее с ним или в нем, либо признаки его состояния наблюдаются партнером по сюжету или рассказчиком. Сами признаки обозначаются нередко речевыми клише, от книжной до просторечной стилевой окраски (*вскружилась голова, глаза разгорелись, сердце задрожало; меня взорвало, взбесило, покоробило; Меня всего передернуло* (Достоевский); *Вдруг топот! Кровь ее застыла* (Пушкин); *Едва злодей узнал Руслана, В нем кровь остыла, взор погас, В устах открытых замер глас, И пал без чувства он на колена* (Пушкин); *У старика от гнева и горя подогнулись колени* (Чехов); *Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем* (Куприн); *У нее ноги отнялись от радости* (Бунин); *Ух, как я испугалась, даже заревела от страха* (Арбузов); *Дрожь прошла по спине финдиректора* (Булгаков)).

Очевидно, что глаголы-предикаты этой группы, вопреки традиционным формулам, не называют **действий**, так же как имена в позиции подлежащего, будь то персонаж, или часть его организма, или само состояние, не являются **агентами**.

Переход личного субъекта в неконтролируемое, часто неожиданное состояние обозначает и ряд глаголов, словообразовательно соотносимых с адъективными или именными основами: *отяжелеть, отутпеть, отрезветь, ошалеть, охладеть, взбодриться, промокнуть, простыть, опечалиться, оторопеть, озлиться, взърнуться, вспыхнуть, покраснеть, замереть, нахмуриться, ослабеть, обессилеть, обеднеть, осиротеть*.

*Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?* (Пушкин);  
*В последнем бешеном пожаре Рука на граве замерла* (Лермонтов);  
*Он вспотел, красен и сумрачен* (Чехов).

Именам состояния, которые могут быть и имперфективны, придают перфективность вспомогательные, с фазисным значением глаголы (*упала в обморок; пришел, впал в отчаяние, в ярость; ее охватила тревога, охватил страх и под.*).

Фазисные же глаголы, разделяющие течение времени, событий, явлений на отрезки, фиксируют их завершенность, исчерпанность, переход в новое состояние: *Осень наступила. Дождь прекратился. Война кончилась. Гром отгромел. Пришла весна. Прошли каникулы.*

Имеется немало имен существительных, лексическим значением которых определяется их перфективная функция, это имена явления, факта, события, получающих в речи говорящих ретроспективную квалификацию, оценку: *исход, ошибка, просчет, выбор, перевес, победа, нарушение, проступок, утечка, обрушение, разлад, развал* и т. п.

Изменения, происходящие в неодушевленных предметах, обозначаются перфективами другой подгруппы глаголов состояния (*Зabor обветшил; Пуговица оторвалась; Улица обезлюдела; Деревья зазеленели; Ступени обледенели; Свеча догорела*) и прочими средствами:

*В глуши расцвётиший Василек Вдруг захирел, завял почти до половины;*

*А если корень иссущится, — Не станет дерева, ни вас;*

*У Тришки на локтях каftан продрался* (Крылов);

*Колокольчик вдруг замолк* (Пушкин);

*Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями* (Пушкин)<sup>2</sup>;

*Земля растрескалась, от зноя выцвело небо... погорели луга, потускнели, стали свертываться листья на деревьях* (А. Н. Толстой);

*Блиндажи той войны все травой заросли...* (Окуджава);

*Звездам на встречу травы Вытянулись несмело. Ночь глубиной курчавой Вкрадчиво прошумела* (Н. Матвеева).

Своя лексика у сообщений о явлениях природы, переменах в состоянии атмосферы, среды: *стемнело, рассвело, залило луга, замело дорогу, унесло ветром, громыхнуло, сверкнуло, подморозило и под.*

Подобные глаголы являются безличными по причине отсутствия личной парадигмы (1-го и 2-го лица).

Предложения, организуемые ими, тоже называют безличными и односоставными, противопоставляя личным и двусоставным, где то же явление представлено именем в именительном падеже:

*Громыхнуло — Гром громыхнул*

*Сверкнуло — Молния сверкнула*

*Залило луга — Вода залаила луга...*

Очевидно, что — информативно — «двусоставное» равно «односоставному» и, по сути дела, избыточно, поскольку значение имени дублирует значение глагола, но оставляет говорящему право выбора одного из вариантов. Ср.:

— *Страсть какой гром, Терентий!..*

— *Страсть как гремит!* — повторил мальчик (Чехов).

«Личными» подобные предложения не могут стать, поскольку речь в них не идет ни о лице, ни о признаке лица. Признаки эти (названы ли они одним глаголом

или с его «дублером») принадлежат среде, характеризуют состояние среды, локализуются говорящим-наблюдателем (если не локализуются, значит, произошло «здесь» и «сейчас»). См. примеры:

*Стало на небе темнеть, Воздух начал холодеть* (П. Ершов);

*Но задних волн упорный гнев Прошиб снега... ты затопил, освирепев, Свои брега* (Пушкин);

*Так и вздулись сердитые волны, Так и ходят, так воем и воют* (Пушкин);

*Грозой разбило дерево* (Некрасов);

*Вдали проворчал гром... Рванул ветер по крыше* (Чехов);

*Крупный, гонимый ветром дождь злобно застучал по стеклам и по бумаге окна* (Чехов);

*Еще не совсем стемнел за окнами в белых шторах долгий весенний вечер* (Бунин);

*А на улице выюга Все смешала в одно* (Б. Пастернак);

*Замело тебя снегом, Россия, Запургисло седою пургой* (Ф. Чернов);

Ср.:

*Стемнело за окнами; Волнами прошибло снега, затопило берега; Гроза разбила дерево.*

Варианты *Грозой — Гроза, Волнами — Волны, Пургой — Пурга* и под. представляют маркированный и немаркированный способы выражения инволютивного каузатора,зывающего изменения в природе, в среде.

**6.3.** Надо полагать, что центр **категории перфективности** составляет семантическая группа глаголов, не обозначающих ни действия, ни процесса. Их называют еще **акцидентными, интерпретативными** (хотя представления о признаках и объеме последнего понятия разнятся). Эти глаголы (среди них и переходные и не-переходные) обозначают не действие, совершенное субъектом, а **инволютивную ситуацию** — случившееся, происшедшее с ним независимо от его воли и постфактумно осознанное, поименованное им самим или наблюдателем, рассказчиком: *ошибся, обознался, заблудился, столкнулся, поскользнулся, упал, сломал ногу, попал в больницу, уронил стакан, порезался, обжегся, провалился, опоздал на поезд, потерял кошелек, забыл очки, сорвался* и др.

Подобные процессы не соотносимы не только с понятием **действия**, но и с понятием **результата**, поскольку никак не связаны со стремлением к достижению намеченной цели.

Хотя, конечно, с точки зрения аналитического рассмотрения они могут быть включены в объяснительную цепочку причинно-следственных связей.

Можно связать глаголы инволютивной ситуации с понятием **отрицательного результата**, поскольку случившееся, в контексте жизненных устремлений, препрывает, задерживает или прекращает ожидаемое развитие событий.

— Ты что, Борис, *опоздал* сегодня: четверть шестого! — упрекнула она Райского (Гончаров);

*Василий Андреич хотел вскочить на лошадь, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался... сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался* (Л. Толстой);

*Идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом* (Чехов);  
*Рошин ухватился за куст, полез наверх. Сорвался, скрипнул зубами, полез опять*  
 (А. Н. Толстой);  
*— Я опознался. Мне нужно было не вас, а другого* (Горький);  
*Акимов подумал даже, что он ошибся в этом старике* (Казакевич).

Народные пословицы нередко сопоставляют иронически имперфективные занятия или состояния со сводящим их на нет перфективным финалом:

*Было и плыто, да не добыто;*  
*Ни то, ни се клевало, да и то сорвалось;*  
*Держалась кобыла за оглобли, да упала;*  
*Метил в цель, а попал в пень;*  
*Оттопкам щи хлебал, да в воеводы попал и др.*

6.4. Есть группа глаголов, близких по значению к рассматриваемым инволюнтивным перфективам и выразительно описанных в статье А. А. Зализняк и И. Б. Левонтиной [Russian Linguistics 20, 1996].

Тему их можно определить как «Человек в противостоянии обстоятельствам», но следовало бы отметить их модально-оценочную неполнознаменательность (почти все они функционируют в сочетании с инфинитивом как модификаторы названного им действия-предиката). Дограмматическое ощущение этого авторами выражается в таких характеристиках, как, например, «Старание это... некое состояние, как бы заменяющее собой действие» (с. 243).

Инволюнтивность одних из них (*мне привелось где-то побывать, пришлось, случилось, посчастливилось, довелось, привелось что-то узнать; у меня вышло, получилось что-то сделать*) подкрепляется и косвенным падежом субъекта, другие, напротив, предполагающие личные усилия, сочетаются с именем субъекта в именительном падеже: *Я постараюсь; Он попытался, попробовал что-то сделать.*

При иронически-оценочном *угораздило*, а также *приспично*, *вздумалось*, *дернуло*, *понесло* субъект принимает форму винительного: *угораздило меня, тебя, его так поступить*, при этом оценка может принадлежать и субъекту действия и собеседнику.

Перфективы *умудрился, исхитрился что-то сделать* содержат оценку, возможно и положительную, и отрицательную, как самим субъектом, так и со стороны:

*Однажды случилось мне целый месяц не брать в руки пистолета* (Пушкин);  
*Нам, Алексей Степаныч, с вами Не удалось сказать двух слов* (Грибоедов);  
*Мне вздумалось сорвать этот репей* (Л. Толстой);  
*Вам случалось топнуть, лейтенант? — Никогда* (И. Бродский);  
*И удалось подкараулить, заснять на пленку момент...* (В. Песков);  
*Проводится работа со спонсорами и, возможно, удастся что-то получить от них*  
 (газ. 2002).

7. Проблемы перфектива трудно изложить в небольшой статье, как невозможно здесь упомянуть многочисленных филологов из разных стран, чье внимание при-

влекали трудности и нераскрытые тайны функционирования этой категории и чьи наблюдения неизбежно подталкивали коллег к обсуждению поднятых и неподнятых вопросов.

Надеюсь, удалось показать, что обоснованное В. В. Виноградовым понимание роли глагольных форм в организации текстовой структуры открывает перспективные возможности анализа.

Следующие предварительные выводы могут быть предложены для дальнейших дискуссий:

- 1) Перфектив явается структурно значимой текстовой категорией. Он довольно регулярно выступает в оформлении экспозиционных фрагментов, завязки и особенно развязки, в небольших текстах — кульминации, а в пространных — в подготовке или разрешении очередного напряженного, поворотного эпизода.
- 2) Разные способы оформления перфектива, глагольные и неглагольные, в разных текстовых позициях объединяет то, что перфективный признак, преимущественно непроизвольный, инволютивный, не занимает протяженного времени в движении сюжета: по отношению к последовательно сменяющимся аористивным действиям, параллельно им простирающимся имперфективным действиям и состояниям, перфектив — это вертикальная черта, пересекающая горизонтальную линию (линии) сюжетной динамики, это пограничный столб, знак изменившейся ситуации, либо вызывающей дальнейший ход событий, либо исчерпавшей их.
- 3) Взгляд от текста позволяет оценить важность взаимодействия сущностных признаков языкового явления — значения, функции и формы — в его коммуникативном и художественно-эстетическом служении говорящему человеку.
- 4) В системе семантико-функциональных категорий (несомненно, не лишенных оформленности, но поднимающихся в этом отношении над традиционными морфологическими делениями) оказываются соположенными и частично совмещающимися категориями **перфективности и инволютивности**. Уточнить их характер, соотносительность и границы — задача дальнейших исследований.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Сами поговорки организованы не акциональными глаголами, но в контексте речи оценивают результат, чаще отрицательный, активных действий — поисков, преследования, попыток догнать и под.

<sup>2</sup> Л. Лённгрен еще в 1973 г.ставил вопрос о различии в значениях современного перфекта и плюсквамперфекта, которые А. В. Бондарко в ряде работ определял как оттенки употребления прошедшего времени. Думаю, что плюсквамперфект для современного языка — чисто текстовое, таксисное понятие в буквальном смысле термина — прежде прошедшее время одного предиката относительно последующего, независимо от их композиционно-текстовых функций. Наблюдение А. В. Бондарко об одновременности перфективных форм СВ в однородном ряду (*постарел, располнел, обрюзг*) справедливо с точки зрения противопоставленности перфектив-

ных значений последовательным аористивным, но нуждается в уточнении: речь идет не о перфективных изменениях в процессе (субъект мог сначала располнеть, а потом обрюзгнуть), это время наблюдателя, в котором он совокупно констатирует эти изменения.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Виноградов 1936 — *Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы» // Временник Пушкинской комиссии. 2. М.; Л., 1936.*
- Виноградов 1947 — *Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947, 1986.*
- Виноградов 1950 — *Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Труды Института русского языка АН СССР. Вып. 2. 1950.*
- Зализняк, Левонтина 1996 — *Зализняк Анна А., Левонтина И. Б. Отражение национального характера в лексике русского языка // Russian Linguistics. 20. 1996.*
- Золотова 1982 — *Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982, 2001.*
- Золотова и др. 1998 — *Золотова Г. А., Онисенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998, 2004.*
- Лённгрен 1973 — *Лённгрен Л. О противопоставлении аористического и перфектного значений у русского глагола // Scando-Slavica XIX. Copenhagen, 1973.*

*С. М. Толстая (Москва)*

## АКТАНТНАЯ СТРУКТУРА ГЛАГОЛА И СЕМАНТИКА ОТГЛАГОЛЬНЫХ ИМЕН: «СУБЪЕКТНЫЕ» И «ОБЪЕКТНЫЕ» ИМЕНА

Подобно тому как причастия, будучи компонентом глагольной парадигмы, закономерно наследуют вид, время, залог (переходность), актантную структуру и схему управления своего глагола, отглагольные прилагательные и существительные в своей семантике воспроизводят значения разных актантов той ситуации, которая обозначена производящим глаголом (в том числе и семантику самого предиката). Иначе говоря, отглагольные имена могут соотноситься с разными актантами глагола: среди них есть имена «субъектные» и «объектные», «инструментальные» и «локативные», «результативные» и «tempоральные» и т. д. (впервые это было систематически показано на материале словацкого отглагольного словоизводства в работе [Buzássyová 1974], ср. также [Морозова 1984]). Например, глагол *купаться* порождает имена, обозначающие само действие (*купание*), субъекта действия (*купальщик*, *купающийся*), локус действия (*купальня*), «инструмент» действия (*купальник*); прилагательное *купальный* соотносится с любыми актантами, обозначая вообще принадлежность к ситуации купания (ср. *купальный сезон*, *костюм*, *полотенце*). Имя может означать объект действия: *похлебка* — к *хлебать* (то, что хлебают); *слышний* — к *слушать* (такой, кого / что можно слышать), *ноский* — к *носить* (такой, который можно (долго) носить), *неподражаемый* (такой, кому нельзя подражать), «средство» действия, ср. *курево*, *топливо* (то, что «расходуется» в процессе курения, топки), его «продукт», ср. *выжимки*, *окурок*, *огарок*, *просьба*, *подарок*, *рубец* (то, что получается в результате выжимания, курения, горения и т. д.), локус, ср. *стоянка*, *спальня*, *парилка*, *каток*, *насест*, *училище*, *пристань*, *выгон* (место, где стоят, спят, парятся и т. д.), способ действия, ср. *походка*, *выговор* (манера речи), *склад* (характера) и т. п. Однако в данном случае нас будут интересовать только субъектно-объектные значения дериватов. В какой степени отглагольные прилагательные и существительные сохраняют «залоговые» свойства производящего глагола?

После причастий ближе всего к глаголу по грамматическим свойствам и семантике стоят отглагольные *nomina actionis*, которые, однако, в русском языке (в

отличие, например, от польского) сохраняют глагольные категории неполно: лишь в редких случаях они указывают на видовую принадлежность производящего глагола, ср. *спасание, спасатель, спасательный* (от *спасать*) и *спасение, спаситель, спасительный* (от *спасти*); как правило, видовые противопоставления глагольных лексем в производных *nominis actionis* и других отглагольных дериватах нейтрализуются: *произведение* семантически соотносится и с *производить*, и с *произвести* (при формальной соотнесенности только со вторым глаголом, на что указывает отсутствие йотации), *одобрение* — и с *одобрять*, и с *одобрить*, *роверка* — с *роверять* и *роверить* и т. д. Что же касается залога (диятезы), то на морфологическом уровне он также нейтрализуется (*употребление* соотносится и с *употреблять*, *употребить*, и с *употребляться*, *быть употребленным*; *роверка* — и с *роверять*, *роверить*, и с *роверяться*, *быть проверенным*), однако на синтаксическом уровне, как показала Е. В. Падучева, залоговые признаки производящего глагола остаются значимыми для дериватов и проявляют себя в моделях управления отглагольных имен, в частности, в субъектном или объектном значении зависимых от них притяжательных местоимений и форм генитива существительных [Падучева 1977; 1984]. Сами же отглагольные имена семантически безразличны к признаку активности (субъектности) и пассивности (объектности): неоднозначность выражений типа *объединение единомышленников* (их объединяют или они объединяются?) коренится в возможности двоякого истолкования существительного в родительном падеже — как субъекта или как объекта действия, выраженного производящим глаголом, но не самого отглагольного имени. Вместе с тем при дальнейшем семантическом развитии в сторону конкретных (предметных) значений такие имена (по происхождению *nominis actionis*) начинают соотноситься с объектными (пассивными), а не субъектными (активными) актантами производящего глагола: *объединение, укрепление* и т. п. означают то, что объединено (ср. *создать объединение*), то, что укреплено (ср. *построить укрепление*), тогда как «омонимичные» им имена абстрактных действий *объединение, укрепление*, соотносительные не с актантами глагола, а с самим глаголом, в своей семантике остаются безразличными к субъектно-объектному противопоставлению.

Между тем многие другие отглагольные дериваты — как существительные, так и особенно прилагательные, подобно причастиям, отчетливо разделяются на «активные» и «пассивные» соответственно тому, с каким актантом производящего глагола (субъектом или объектом) они соотносятся. Прежде всего таковы прилагательные, происходящие из причастий (адъективированные причастия) или же образованные по причастным моделям, с помощью «глагольных» суффиксов, т. е. таких, которые используются при образовании причастных форм, или их вариантов (например, *-ущ-/уч-, -ащ/-ч-, -н/-ен-, -им/-ем/-ом-, -т-*). В большинстве случаев они получают, подобно причастиям, соответствующее «действительное» или «страдательное» значение. Ср. «действительные» (активные, субъектные) прилагательные: *гнетущий, курящий, движущий, режущий, добывающий, отбеливающий, пахучий, ползучий, скрипучий, кусачий, жгучий, лежачий, кричащий, сидячий, бродячий* и т. д. (во всех случаях прилагательное указывает на того/то, кто/что

производит соответствующее действие, является его субъектом) и — «страдательные» (пассивные, объектные) прилагательные: *вставной, составной, отставной, отрывной, накладной, надувной, раздвижной, заказной, врезной, раскладной, покупной, непрошеный, жареный, отвлеченный, подчиненный; несгибаемый, высокооплачиваемый, досягаемый, необходимый, орошающий, неуловимый, ощущимый, приемлемый, неведомый; открытый, сжатый, забитый, убитый, помятый и т. п.* (все прилагательные указывают на лицо или предмет, над которыми производится или произведено действие). При этом «пассивное» прилагательное может соотноситься не только с прямым дополнением глагола, но и с косвенным, ср. *неподражаемый, невредимый, угрожаемый, внушаемый* (такой, кому нельзя подражать, вредить, кому угрожают, внушают), *неприкасаемый* (такой, к которому нельзя прикасаться), *наказуемое действие* (такое, за которое наказывают), (*не*)*обитающий* (такой, где (не) обитают), *управляемый* (такой, которым управляют) и т. п. Синтаксические отношения между предикатом и объектом в этом случае вступают в противоречие с семантическими: формально непереходные глаголы, управляющие косвенными формами имени, оказываются «семантически переходными» и в силу этого способными порождать «страдательные» дериваты. В сложных «пассивных» прилагательных может эксплицитно присутствовать как семантический «субъект» испытываемого действия, ср. *водо-, звуко-, пыле-* и т. п. *непроницаемый* (такой, кого / что не «проникает» вода, звук, пыль), так и семантический «объект» — прямой или косвенный, ср. *водоотталкивающий* (такой, который отталкивает воду), *водоплавающий* (такой, который плавает по / в воде).

Однако по мере того как прилагательное семантически и синтаксически отрывается от глагольной системы, признак субъектности — объектности становится для него все менее релевантным; в результате возникает либо «омонимия» субъектных и объектных форм, либо несоответствие семантики прилагательного значению, предписываемому причастной моделью. «Омонимию» демонстрируют, в частности, такие прилагательные, как *терпимый* и *нетерпимый*, употребляющиеся как в субъектном, так и в объектном значении, т. е. способные обозначать как того, кто терпит (не терпит), так и того, кого или что терпят (не терпят): ср. (*не*)*терпимый человек* и *нетерпимое поведение*; эту двусмысленность сохраняют и производные от них имена *терпимость* и *нетерпимость*: *нетерпимость подобных поступков* (объектное значение: поступки, которых не терпят) и *его нетерпимость* (он не терпит).

Примером несоответствия «пассивной» (страдательной, объектной) формы и «активного» (действительного, субъектного) значения могут служить прилагательные *зависимый, независимый* (о том, кто зависит, не зависит), *значимый, незначимый* (о том, кто значит, не значит), *весомый, невесомый* (о том, что имеет вес, весит; resp. не имеет веса, не весит), *неувядаемый* (о том, что не увядает), *несмолкаемый* (о том, кто / что не смолкает), *непромокаемый* (о том, что не промокает), *неиссякаемый* (о том, что не иссякает), (*не*)*сгораемый* (о том, что (не) сгорает), *возгораемый* (о том, что возгорается), *недвижимый* (о том, кто/что не движется), которые оказываются «синонимичными» однозначно «активным» и «субъектным»

(не)зависимый = (не) зависящий; (не)значимый = (не) значащий; (не)весомый = (не) весящий, неувядаемый = неувядаший, несмолкаемый – несмолкающий, непромокаемый = не промокающий, неиссякаемый – не иссякающий, (не)сгораемый = (не) сгорающий, возгораемый = возгорающийся, недвижимый = неподвижный. Ср. также стертое «страдательное» значение в *родимый*, *некончаемый*, *непогрешимый*<sup>1</sup>.

В диалектном лексиконе в данном словообразовательном типе подобные явления нейтрализации субъектно-объектного противопоставления представлены значительно шире, чем в литературном языке. Ср. совмещение в одной диалектной лексеме активного и пассивного значения: *нежалимый* 1. ‘такой, которого не жаль; не дорогой по цене’ — *Нет ли у вас какого нежалимого топоришка?* Для кошки сделали какую ни нежалиму баночку; 2. ‘безжалостный’. Все он своих ребят бьет, такой нежалимый! [СРНГ 21: 40—41], *незнамый* 1. ‘неизвестный, незнакомый’ — У чужого отца-матери, У незнама роду-племени; 2. ‘несведущий, неосведомленный’ — Незнамого заведи, дак заблудится, все равно как в тайге [Там же: 51—52], а также многочисленные примеры «активных» значений у дериватов с «пассивным» суффиксом *-им-* (в том числе и от непереходных глаголов): *невредимый* ‘не приносящий вреда, безвредный’ — Падевый мед. Он для человека невредим. [СРНГ 20: 360]; *невсходимый* 1. ‘невсходящий, бесплодный (о семенах и т. п.)’ — Невсходимое семя, неуродимая земля [Там же: 363]; *невысыхающий* 1. ‘не пересыхающий’ — У нас пруд невысыхающий [Там же: 367]; *негодимый* ‘негодный’ — У ей поеди много негодимой остается [Там же: 372]; *неигромый* ‘то же, что неигривый’ — Нам сказали, молод князь и неигром [СРНГ 21: 53]; *непосидимый* ‘непоседливый’ — Вот непосидимый: все работает [Там же: 121]; *нержавимый* ‘нержавеющий’ — Реку-то загородить нержавимой сеткой [Там же: 143]; *неродимый* ‘неплодородный, не родящий’ — Земли-то бы и много, да неродимая она-то [Там же: 144] и т. п. Подобные примеры, в особенности распространение данной словообразовательной модели на непереходные глаголы, свидетельствуют об утрате суффиксом *-им-* своего исконного «страдательного» значения, и если в литературном языке это явление представлено единичными случаями, то в диалектах оно приобрело значительно более широкий масштаб.

Исключительно субъектное («активное») значение имеют прилагательные, образованные с суффиксами *-ац/-яц/-ач/-яч-, -уц/-юц/-уч/-юч-, -и/-ви-*, т. е. суффиксов, с помощью которых образуются действительные причастия настоящего и прошедшего времени: *служащий, пропащий, восходящий, свистящий, лежащий, кусачий, висячий, ходячий; режущий, сосущий, дремлющий, усыпляющий, тягучий, плавучий, колючий, вонючий; погибший, потухший, устаревший, отживший* (во всех случаях речь идет о свойстве субъектов обозначенных глаголом действий и состояний). К образованиям с суффиксом *-и/-ви-* семантически близки прилагательные с «причастным» суффиксом *-л-*, во многих случаях составляющие с ними абсолютные синонимы: *былой = бывший, огрубелый – огрубевший, запоздалый = запоздавший, зачерствелый = зачерствевший, перезрелый = перезревший, пожелтелый = пожелтеший* и т. д.

Адъективные дериваты со «страдательными» суффиксами *-н-/нн-* и *-т-* в семантическом отношении обнаруживают сложную картину. Наряду с ожидаемой и наиболее распространенной «пассивной» (объектной) семантикой (ср. *составной, нахживной, накладной, врезной, отложной, покупной, насыпной, переносной; крашеный, глашеный, вареный, беленый, мощеный, избранный, смешанный, раскаленный, установленный; сжатый, разбитый, расшибший, стертый* и т. д. — во всех случаях прилагательные относятся к объектам действия), среди таких дериватов встречаются «активные» прилагательные, соотносительные с субъектами переходных или возвратных (медиальных) глаголов: *призывающий* (о том, кто / что призывает, = призывающий), *богохульный* (хулящий Бога), *стеклорезный* (режущий стекло), *сдержаненный* (о том, кто сдерживается), *разодетый* (о том, кто разоделся), *расположенный* (о том, кто / что располагается) и т. д. Нередко одно и то же прилагательное может иметь оба значения (активное и пассивное) в зависимости от того, к какому определяемому оно относится, ср. *сдержаный человек* (активное значение) и *сдержаный отзыв* (пассивное значение), *разводной ключ* (активное значение) и *разводной мост* (пассивное значение).

Отглагольные прилагательные, образуемые с помощью других (не «причастных») суффиксов, в том числе сугубо «именных», таких как *-к-, -лив-, -чив-, -льн-, -тельн-* и др., тоже могут содержать в своей семантике субъектное или объектное значение. Среди отглагольных прилагательных с суффиксом *-к-* имеются как «действительные» (субъектные) — *дерзкий, колкий, липкий, верткий, стойкий, хрусткий* и др., так и «страдательные» (объектные) — *ковкий, плавкий, жалкий, сыпкий, варкий, ноский* и др. Так же неоднозначны и дериваты с суф. *-тельн-*, среди которых преобладают «активные» (благодаря агентивной семантике морфа *-тель-*): *утешительный, освежительный, увлекательный, губительный, обвинительный, приглашательный, спасительный, продолжительный, учредительный, зажигательный* и т. п. (такой, который утешает, освежает и т. д.), но имеются и «пассивные»: *желательный, употребительный, примечательный, замечательный, ощущительный, позволительный, жевательный, предпочтительный* и т. п. (такой, кого / что желают, употребляют и т. д.), а также «двузначные»: ср. *чувствительный человек* («активное» значение) и *чувствительный укол* («пассивное» значение)<sup>2</sup>. Вместе с тем такие дериваты часто нейтральны по отношению к субъекту и объекту, обозначая вообще любую причастность к ситуации, обозначенной производящим глаголом, и семантически соотносительны с *помина actionis* (см. выше): *двигательный, исправительный, освободительный, состязательный* и т. д. (обо всем, что имеет отношение к движению, исправлению, освобождению, состязанию и т. д.; может актуализироваться семантика цели, локуса, инструмента, средства, косвенного объекта, продукта и т. п. соответствующего действия). В еще большей степени это относится к дериватам с суффиксом *-льн-*, среди которых преобладают именно такие, безразличные к диатезе глагола, ср. *раздевальный, копировальный, умывальный, гадальный, обручальный, плавильный, коптильный, точильный* и т. д.

Напротив, отглагольные прилагательные с суффиксами *-лив-, -чив-* вполне определенно выражают активную, субъектную семантику: *молчаливый, болливый,*

*терпеливый, бережливый, гулливый, болтливый, хвастливый* и т. д. — это всегда такой, кто молчит, бодает, терпит, бережет и т. д. Ср. также *забывчивый, переимчивый, устойчивый, вспыльчивый, привязчивый, прилипчивый* и т. д. (все с субъектным значением).

Что касается субстантивных дериватов, то они в целом гораздо слабее, чем адъективные, сохраняют залоговые свойства производящего глагола. Преимущественно или исключительно «активное» (субъектное) значение имеют существительные разных словообразовательных моделей со значением лица, ср. *житель, создатель, смотритель, истопник, шутник, мойщик, наладчик, рисовальщик, носильщик, страдалец, чтец, говорун, плясун, писарь, пахарь, знаток, ходок* и т. п. Ср. немногочисленные «пассивные» (объектные) дериваты со значением лица: *подкидыши, найденыши, выкормыш, посол, новобранец, назначенец, выдвиженец, недотрога, расстрига, помазанник, посланник, воспитанник, выученик, ученик* (в современном языке соотносится с глаголом *учиться*: ‘ тот, кто учится’ и в этом случае не имеет объектного значения).

Относительно свободнее наделяются объектным значением дериваты с предметным значением, однако во многих случаях это нечетко выраженное значение, в котором спаяна семантика объекта и результата или продукта действия: *подарок, набросок, отпечаток, рубец, отсевки, выжимки, выварки, выигрыш, подкоп, вырез, отворот, ноша, одежда, запись, опись, брань, обувь, окись, примесь, припасы, помои, стряпня* и т. п., и, кроме того, нередко такие дериваты совмещают значение действия со значением результата, ср. *сбор налогов (= собирание) и валовой сбор (= собранное), объявить набор в институт и в этом году сильный набор* (т. е. состав студентов) [Апресян 1974: 196—197]. Субстантивные дериваты, обозначающие инструменты, приспособления и орудия действия, как правило, имеют «активное» значение субъекта действия и часто «омонимичны» дериватам со значением лица, ср. *истребитель* (лицо и самолет), *проводник* (лицо и предмет), *счетчик* (лицо и устройство), *выключатель, паяльник, будильник, холодильник, резак, черпак, тягач, тесак, скребок, помазок, точило, каток, зажим, скакалка* и т. п. Такие предметы мыслятся исполнителями действия и регулярно наделяются функцией субъекта (за редкими исключениями, ср., например, объектное значение в *прикуриватель* ‘приспособление для прикуривания в автомобиле; то, от чего прикуривают’).

Если для каждого из приведенных девербативов реконструировать элементарную исходную (прототипическую) предикативную структуру (ситуацию), то нетрудно видеть, что она может быть воспроизведена средствами отглагольного словоизводства во всей полноте. Каждый компонент этой структуры (актант глагола) может претерпеть преобразование в имя, мотивированное ядерным элементом исходной структуры, т. е. глаголом (предикатом): субъект, будучи обозначен через управляющий им глагол, получает «активное» значение (*скрипучий, кричащий, ворчун, учитель*), объект действия, выраженный на языке действия, получает «пассивное» значение (*складной, раздвижной, помятый, рисунок, отпечаток*), а само действие при переводе его в именной статус получает «нейтральную»

по отношению к активности-пассивности семантику (*собирание, орошение, варка, опрос*). Другие актанты — косвенные объекты, локативные, темпоральные и иные показатели — также при дальнейшей деривации могут получать обозначение через глагольную лексему.

Как видно из приведенных примеров, семантическая категория субъекта и объекта, соотносительная с актантной структурой производящего глагола, сохраняет свою релевантность при отглагольной деривации — в большей степени у прилагательных, в более стертом виде у существительных<sup>3</sup>. Хотя в целом следует согласиться с Е. В. Падучевой, что это еще не дает оснований говорить о наличии залога у отглагольных имен, поскольку «залог — это грамматическая категория, которая должна иметь не только содержание, но и формальное выражение, и если в каком-то грамматическом разряде слов (а именно у существительных) залоговых показателей никогда не бывает, то для этого разряда нет смысла говорить о залоге» [Падучева 1984: 61], тем не менее различная степень релевантности категории субъекта и объекта для разных типов отглагольной деривации (разных суффиксальных моделей прилагательных и существительных) и соотнесенность этих типов с семантическими актантами и грамматическими свойствами глагола (прежде всего переходностью), безусловно, заслуживает более пристального внимания как с точки зрения лексической семантики, так и с точки зрения семантики словообразования.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> На случаи несоответствия «пассивной формы и активной семантики» в некоторых праславянских отглагольных дериватах, в том числе \**ръјатъ* ‘пьяный’, ст.-пол. *ojrzanъ* ‘providus, предусмотрительный, осмотрительный’ от \**obzъrѣti*, указывал О. Н. Трубачев, см.: Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 31. (В печати) (под словом \**obzъrѣнъ*).

<sup>2</sup> О совмещении «активных» и «пассивных» значений в отглагольных прилагательных более ста лет тому назад писал акад. М. М. Покровский [1899]. См. также [Апресян 1974: 215].

<sup>3</sup> Ср. более общее утверждение: «Прилагательные отражают валентности производящего глагола более свободно, чем существительные» [Морозова 1984: 87].

### ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1974 — Ю. Д. Апресян. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Морозова 1984 — Т. С. Морозова. Синтаксические свойства глагола и его словообразовательный потенциал // Проблемы структурной лингвистики. 1982. М., 1984.
- Падучева 1977 — Е. В. Падучева. О производных диатезах от предикатных имен в русском языке // Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. М., 1977.
- Падучева 1984 — Е. В. Падучева. Притяжательное местоимение и проблема залога отглагольного имени // Проблемы структурной лингвистики. 1982. М., 1984.
- Покровский 1899 — М. М. Покровский. Материалы по исторической грамматике латинского языка // Учен. зап. Московского ун-та. Истор.-филол. отд. М., 1899. Вып. 25.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Л., 1965—. Вып. 1—.
- Buzássyová 1974 — K. Buzássyová. Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. Bratislava, 1974.

*T. N. Молошная (Москва)*

КАТЕГОРИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ,  
ВЫРАЖАЕМАЯ МЕСТОИМЕНИЯМИ  
*КТО-НИБУДЬ И ЧТО-НИБУДЬ,*  
И ГЛАГОЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ В СОВРЕМЕННОМ  
РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

**Н**еопределенным местоимениям русского языка посвящено большое количество работ многих видных лингвистов (см., например, [Дончева 1967; 1970; Исаченко 1965; Кобозева 1981; Левин 1973; Nikolaeva 1981; 1983; 1985; Падучева 1985; Пете 1957; Селиверстова 1964; Шелякин 1978; 1986; Янко-Триницкая 1971; Rybák 1965; Růžička 1973; Veyrenc 1964] и мн. др.). Это объясняется, в частности, тем, что в русском языке система неопределенных местоимений является очень богатой, очень сложной и все время обновляющейся. (Об истории изучения неопределенных местоимений в России см. [Маловицкий 1971].)

Все исследователи исходят из положения, что неопределенные местоимения передают общее, приблизительное указание на предмет или признак и оставляют невыясненным, неизвестным, точно не определенным конкретное представление о предмете, лице, свойстве, принадлежности предмета или порядковом номере его в ряду однородных предметов. Отвлекаясь от значительной части вопросов, обычно обсуждаемых при описании неопределенных местоимений, ограничусь проблемой связи значения неопределенности лица и предмета, выражаемой местоимениями *кто-нибудь* и *что-нибудь*<sup>1</sup>, с грамматическими категориями наклонения, времени и вида глагола, а также с синтаксическими типами конструкций, в которых эти неопределенные местоимения употребляются. Не касаюсь также достаточно хорошо освещенного вопроса о конкуренции неопределенных местоимений с *-нибудь* и с *-то* (см. [Rybák, Růžička, Veyrenc и др.]).

В работах о неопределенных местоимениях часто используется материал, почерпнутый из Словарной картотеки Словарного сектора Института лингвистических исследований РАН. Я также нередко прибегаю к этому материалу. Поскольку в ряде случаев приводимые мною предложения несколько упрощены, имена авто-

ров (в основном это классики русской литературы XIX—XX вв.) приводиться не будут. Кроме того, привлекают примеры из рассказов Л. Н. Толстого «Новая азбука» и «Русские книги для чтения» (Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 14 т. Т. Х. М., 1952).

На первый, самый поверхностный, взгляд кажется, что неопределенные местоимения *кто-нибудь* и *что-нибудь* в функциях подлежащего и дополнения, соответственно — в разных падежах — могут сочетаться с любыми временными, видовыми и модальными формами глагола-сказуемого. При более внимательном рассмотрении оказывается, что это не так. Неопределенные местоимения с *-нибудь* — это неизвестность, неопределенность субъекта или объекта действия; это указание на отсутствие у говорящего точных сведений о субъекте и объекте. Они типичны для высказываний, передающих значение виртуальности, невоплощенности, для высказываний, в которых реальность сообщаемого однозначно не установлена, т. е. утверждение об осуществлении события делается лишь с определенной степенью вероятности (ср. [Пете 1957]). Иначе говоря, неопределенные местоимения участвуют в описаниях неопределенных ситуаций, не имеющих четко выраженного признака существования; этот признак возможен только в зависимости от условия «если будет существовать». Поэтому неопределенные местоимения с *-нибудь* преимущественно совместимы с глагольными формами повелительного и сослагательного наклонений и с формой будущего времени. Этим обстоятельством объясняется частое употребление данных неопределенных местоимений в побудительной, оптативной, условной, целевой и уступительной конструкциях; они характерны также для вопросительной конструкции и конструкций с модальными значениями. Что касается употребления неопределенных местоимений с *-нибудь* в функции подлежащего в повествовательных предложениях, то они там возможны, но не так часто, как в побудительных и вопросительных предложениях.

Существенно также, что в содержание значений местоимений-существительных с частицей *-нибудь* входит признак единичности («только один», «по крайней мере один», «отсутствие указания на все, что больше одного» — ср. [Селиверстова 1964]). Проанализированные мною тексты показали, что неопределенное местоимение *кто-нибудь* в подавляющем большинстве случаев сочетается с именами в единственном числе (*Если придет кто-нибудь, скажите ему, что я вернусь вечером*), а при неопределенном местоимении *что-нибудь* возможно исключительно единственное число имени и глагола и средний род глагола в прошедшем времени (*Разве что-нибудь случилось?*). Это позволило Ж. Вейренку представить содержание русских неопределенных местоимений с *-нибудь* как сочетание значений единичности и виртуальности в противопоставлении сочетанию значений неединичности и реальности неопределенного местоимения *кое-кто*, единичности и реальности неопределенных местоимений *кто-то* и *некто* и неединичности и виртуальности неопределенного местоимения *кто-либо* [Veyrenc 1964]. Ж. Вейренк изобразил эти противопоставления в виде следующей схемы:

	Единичность	Неединичность
Реальность	<i>кто-то</i>	<i>кое-кто</i>
Виртуальность	<i>кто-нибудь</i>	<i>кто-либо</i>

Надо также заметить, что в *кто-нибудь* преобладает значение мужского рода, значение женского рода встречается как исключение (*Была ли кто-нибудь из вас довольна судьбой?*).

Что касается частотности разных падежных форм рассматриваемых неопределенных местоимений, то установлено, что *кто-нибудь* чаще всего встречается в именительном падеже (функция подлежащего), винительный падеж (прямое дополнение) отмечается примерно в два раза реже, другие косвенные падежи — еще реже. У местоимения *что-нибудь*, наоборот, частотность именительного падежа намного меньше, преобладает винительный падеж, остальные падежи заметно менее употребительны [Дончева 1967]. Иногда, чаще всего в разговорном стиле речи, вместо винительного падежа *что-нибудь* в качестве прямого объекта действия может встретиться форма родительного падежа *чего-нибудь*. Это обычно наблюдается при глаголах определенных лексико-семантических групп (*желать, ждать, бояться, давать* и др.), а также при отрицании. Ср. ниже: *Скорее бы дали чего-нибудь поесть!; Не хочешь чего-нибудь выпить? и проч.*

Обратимся к результатам произведенного анализа конкретного языкового материала.

1. Взаимодействие категории неопределенности, выражаемой неопределенными местоимениями-существительными с частицей *-нибудь*, и грамматической категории наклонения глагола:

A. Неопределенные местоимения *кто-нибудь* и *что-нибудь* сочетаются с повелительным наклонением и, соответственно, включаются в побудительную конструкцию. Примеры: *Кто-нибудь, вытритте мне этот стол; Позовите кого-нибудь; Попросите кого-нибудь помочь мне; Вызовите кого-нибудь из служащих; Ну хоть наугад, кого-нибудь назовите; Научите кого-нибудь моему ремеслу; Отдай ее, мой милый друг, кому-нибудь из друзей; Сходи к кому-нибудь из друзей; Поговори с кем-нибудь из них; Расскажи мне о ком-нибудь другом; Дайте мне что-нибудь почтить; Ради Бога, сделайте с ним что-нибудь; Спроси меня что-нибудь попроше; Скажи что-нибудь; Спойте что-нибудь приятное; Сыграйте что-нибудь из Моцарта; Напишите мне что-нибудь про Льва Толстого; Дайте мне чего-нибудь, ну, вроде валерьянки; Ты вот что, много мне на ночь не давай, а дай чего-нибудь полегче.*

Как видно из примеров, в побудительной конструкции с глаголами совершенного вида в форме повелительного наклонения неопределенное местоимение чаще всего играет роль дополнения (прямого или косвенного). К побудительной конструкции относятся также сочетания личных форм глагола совершенного и несовершенного вида с частицей *пусть / пускай*: *Пусть кто-нибудь откроет дверь; Пускай с этим что-нибудь сделают; Пусть я сам буду за что-нибудь отвечать; Пускай кто-нибудь из вас занимается хозяйством.* Здесь неопределенные местоимения выступают как в качестве подлежащего, так и в качестве дополнения. При этом обе разновидности побудительной конструкции передают значение не реально осуществляющегося действия в настоящем, прошлом или будущем, а действия, к осуществлению которого говорящий побуждает слушающего. В этом смысле

форма повелительного наклонения и побудительное сочетание с частицей *пусть/пускай* выражают нереальность (виртуальность) действия и придают сообщению характер неопределенности, что согласуется со значением неопределенных местоимений и требует их употребления.

Повелительное наклонение возможно не только в простых побудительных, но и в сложных предложениях, в составе которых имеется побудительная конструкция и неопределенное местоимение с *-нибудь*: *Если ты не веришь, что у меня много богатства, так пришли кого-нибудь посмотреть.*

Форма повелительного наклонения может также совмещаться с местоимениями *кто-нибудь* и *что-нибудь* в условных конструкциях, когда имеет место транспозиция повелительного наклонения в сослагательное: *Постучи кто-нибудь в дверь, он не отзовется; Случись что-нибудь, виноват буду я.*

**Б.** Неопределенные местоимения с *-нибудь* сочетаются с сослагательным наклонением в составе условной, целевой и оптативной конструкций.

В условной конструкции глагольная форма сослагательного наклонения выражает действие не реальное, а предполагаемое, потенциальное, зависящее от условия, содержащегося обычно в придаточном предложении. Примеры: *Если бы мне кто-нибудь сказал, что я встречу здесь этих людей, то я бы расхохотался; Прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одной крышей с Базаровым; Если бы я была только барышней и хотела только замуж, то, конечно, выбрала бы для этого кого-нибудь другого; Если бы я тебя просила сделать что-нибудь неприятное, а то прошу тебя съездить отдать визит.*

Неопределенные местоимения с *-нибудь* в сочетании с формой сослагательного наклонения часто встречаются в целевой конструкции: *…она отвлекала его к себе не затем, чтобы он сделал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее; Сегодня мы переезжаем в город, чтобы там он что-нибудь узнал о судьбе своего проекта; В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы его слова хоть чем-нибудь утишили меня<sup>2</sup>.*

В целевой конструкции, содержащей неопределенное местоимение с *-нибудь*, может также употребляться инфинитив вместе с союзом *чтобы*: *Что, брат Герасим? — сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь; Богатый купец продал уже весь железный товар и, чтобы отговориться чем-нибудь, сказал: «С твоим железом несчастье случилось»; …я, чтобы заняться хоть чем-нибудь, досстал барометр.*

Неопределенные местоимения с *-нибудь* возможны также в предложениях с союзом *чтобы / чтобы* и глагольной формой сослагательного наклонения, утрачивающих собственно-целевое значение и приближающихся к оценочным. В формировании такой семантики принимает участие лексический контекст, в результате чего конструкция может акцентировать невероятность, недопустимость того, о чем говорится в придаточной части, или в ней может отмечаться парадоксальность сложившейся ситуации: *Чтобы я кому-нибудь еще раз поверил! = Никогда не слу-*

чится такого, что я еще раз кому-нибудь поверю; Так надо же, чтобы этот детеныш хоть чего-нибудь боялся! = Как ни удивительно, но этот детеныш ничего не боится.

Оптическая конструкция, как известно, выражает действие желаемое, а не реально совершающееся. Примеры: Я сыграла бы теперь что-нибудь; Мы бы съели что-нибудь перед дорогой; Только бы он не подумал чего-нибудь дурного; Ты бы чем-нибудь другим занялся, Павлуша.

Значение желательности может сочетаться со значением побуждения: Пришел бы кто-нибудь!; Что это у вас, матушка, дух-то какой? Покурили бы чем-нибудь; Хоть бы кто-нибудь объяснил это явление; Пусть бы кто-нибудь принял меры; Послать бы нам кого-нибудь поискать Лазаря; Позвали бы кого-нибудь суда; Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь еще; Чтобы кто-нибудь немедленно это сделал!

Побуждение может принимать характер отвлеченного волеизъявления, не адресованного реальному исполнителю: Скорее бы дали чего-нибудь поесть!; Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь!

**2.** Взаимодействие категории неопределенности, выражаемой неопределенными местоимениями-существительными с частицей -нибудь, и грамматической категории времени глагола.

**А.** Для предложений, в состав которых входят данные неопределенные местоимения, характерно употребление глаголов в форме будущего времени. Примеры: Кто-нибудь будет находиться в конторе целый день; ...надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд; Кто-нибудь свезет это послание в Москву; Я поговорю с кем-нибудь из них; Сегодня вечером она будет петь что-нибудь печальное; Пойду куплю что-нибудь к обеду; Я ждал, что он обязательно выкинет что-нибудь неожиданное; От тоски я что-нибудь сделаю над собой; А мы с вами придумаем что-нибудь не очень скучное; Он найдет что-нибудь подходящее; Он хоть чем-нибудь поможет вам.

Часто будущее время в сочетании с неопределенными местоимениями встречается в условных предложениях: Если кто-нибудь придет, скажите, что я буду дома вечером; Если кто-нибудь из вас увидит Зубова, пошлите его ко мне; ...если мы не пойдем, кто-нибудь другой прочтет надпись на камне и найдет счастье; Если я кого-нибудь когда-нибудь полюблю, она непременно должна быть такой же красивой и чистой, как Галия Боровикова; Если что-нибудь понадобится, позвоните нам.

Известны случаи, когда форма будущего времени от глаголов совершенного вида может передавать значение так наз. перфектного презенса, т. е. настоящего неактуального, или постоянно повторяющегося, регулярного или генерализованного действия. Такое будущее также сочетается с неопределенными местоимениями на -нибудь. Примеры: Женщина всегда что-нибудь придумает; Он всегда найдет что-нибудь полезное для себя; Ляжет на спину, руки за голову, зажмурит глаза и заведет своим тонким голосом что-нибудь из литургии заупокойной; Днем

*женщины и дети питались как придется: перехватят кусочек брынзы, несколько маслин, похлебки или чего-нибудь из солений; Когда он, бывало, уцепится за что-нибудь, то стиснет зубы и повыснет, как тряпка, и его, как клещука, нельзя никак оторвать; Если огорчат ее чем-нибудь, она делается молчалива; Он еще и разговор затеет о ком-нибудь.*

Форма будущего времени и неопределенные местоимения с *-нибудь* нередко встречаются в вопросительных предложениях: *Прочтет ли кто-нибудь мой дневник?; Поедет ли кто-нибудь летом в Крым?; Кто-нибудь займется с ней?; Придет ли кто-нибудь к нам в гости?*

Как видим, во всех упомянутых синтаксических конструкциях с формой будущего времени преобладают глаголы совершенного вида, несовершенный вид используется реже.

Исследователи указывают, что употребление будущего времени в неопределенных высказываниях связано с тем, что для значения будущего времени характерен признак широкой сферы протекания действия, отсутствие значения ограниченности этой сферы. Так, исходя из положения о большей, чем у других грамматических времен, темпоральной сфере футурума, В. Косеска-Тошева утверждает, что последний естественен для неопределенных высказываний, в то время как аорист — для определенных [Koseska-Toszewska 1978]. Частая встречаемость местоимений с *-нибудь* в предложениях, в которых сказуемое стоит в форме будущего времени, может быть также объяснена тем, что высказывания о будущем имеют преимущественно модальность предположения, гипотетичности, а это значение, как будет показано ниже, согласуется со значениями рассматриваемых неопределенных местоимений (ср. [Koseska-Toszewska 1975; Кобозева 1981]).

**Б.** Взаимодействие категории неопределенности, выражаемой неопределенными местоимениями-существительными с частицей *-нибудь*, и прошедшего времени глагола.

Указанные глагольные формы характерны для высказываний генерализованных, дуративных и итеративных. В таких высказываниях используются только глаголы несовершенного вида<sup>3</sup>, они обозначают действие постоянно совершающееся, регулярно повторяющееся или действие обобщенное, генерализованное.

Примеры глаголов, обозначающих постоянное, регулярное, повторяющееся действие: *Обычно дверь открывалась и входил кто-нибудь из старушек; Обычно кто-нибудь запевал песню; Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь; Дверь в гостиную была отворена, и там всегда кто-нибудь сидел; Каждый день кто-нибудь из нас ходил к нему в больницу; Каждый день что-нибудь утрачивалось; Что-нибудь у меня всегда случалось с пьесой; И каждый день что-нибудь изнашивалось в этой изношенной развалине; То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое; Он постоянно что-нибудь читал; Всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру; Такой ученик что-нибудь да выносил из уроков учителей<sup>4</sup>; Он всегда озабочивал учеников чем-нибудь чрезвычайным.*

Глагол в форме прошедшего времени, обозначающий постоянное действие, может входить в состав условной конструкции: *Ольга Николаевна играла на рояле или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками; Если его за чем-нибудь посыпали, то он бежал со всех ног; Пробовал он чем-нибудь заняться — ничего не выходило.* Сюда же примыкают сложные предложения с придаточными временем: *Ему чрезвычайно не нравилось, когда (если) кто-нибудь заводил речь о его молодости; Когда кто-нибудь входил, дверь тихо пела; Когда кто-нибудь приезжал, в доме становилось шумно; Когда с кем-нибудь случалась беда, друзья приходили на помощь.*

В некоторых случаях можно усмотреть значение действия обобщенного, генерализованного: *Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь.*

**В.** Взаимодействие категории неопределенности, выражаемой неопределенными местоимениями *кто-нибудь* и *что-нибудь*, и настоящего времени глагола.

Глагольные формы настоящего времени, употребляемые в высказываниях одновременно с неопределенными местоимениями-существительными на *-нибудь*, относятся к так наз. настоящему неактуальному, не указывающему на протекание действия в момент речи. Они обозначают регулярные, повторяющиеся и генерализованные действия.

Примеры глаголов в форме настоящего времени, передающих регулярные, повторяющиеся действия: *На плите у нее постоянно что-нибудь кипит; Каждый день со мной случается что-нибудь неприятное; Я вечно что-нибудь ищу; Ходит по аулу, насвистывает, а то сидит и что-нибудь рукодельничает; Когда к ним не придешь, она что-нибудь читает; Я часто встречаю его в этом ресторане с кем-нибудь; Он, если и подает кому-нибудь руку, то высовывает только два пальца; Он всегда заботится о ком-нибудь из своих товарищей.*

Примеры глаголов в форме настоящего времени, называющих действия генерализованные, нелокализованные во времени: *Все люди читают что-нибудь; ...все люди на что-нибудь да жалуются; Людей, похожих друг на друга, нет: каждый имеет что-нибудь свое; В каждой книге содержится что-нибудь полезное; Гул в горах предвещает что-нибудь опасное; В механике я чего-нибудь стою; Видишь, только двое в шапках — кто-нибудь из них да царь; Я уже думал — что-нибудь не так.* В последних двух примерах глагол быть в форме настоящего времени по правилам русской грамматики опущен.

Значение повторяющегося или генерализованного действия может выражаться глаголом настоящего времени, входящим в вопросительную конструкцию: *Бывает у тебя кто-нибудь?; Встречается ли в такой местности что-нибудь живое?; Разве эта сумка вмещает что-нибудь существенно большое?*

**3.** Взаимодействие категории неопределенности, выражаемой неопределенными местоимениями-существительными с частицей *-нибудь*, и семантической категории модальности.

Неопределенные местоимения с *-нибудь* часто входят в состав модальных конструкций. Такие конструкции образуются модальными глаголами или глаголами, которые могут иметь модальные значения возможности, желания, долженствования, предположения и проч. (например, *мочь*, *хотеть*, *стремиться*, *надеяться*, *ждать*, *искать*, *пытаться*, *бояться*, *любить*, *вообразить* и проч.), а также модальными словами типа *надо*, *нужно*, *необходимо*, *желательно*, *можно*, *довольно*, *нельзя* и др. Примеры: *Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь; Мне хотелось познакомиться с кем-нибудь из цирка; Хотелось заплакать, что-нибудь разбить; Ему хотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя; ...хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь* (в этом предложении к модальному глаголу *хотеть* добавляется со-слагательное наклонение глагола *пожалел бы*); *Он может сыграть что-нибудь на рояле; ...говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым; Не могло у него сложиться мысли, чтобы кто-нибудь мог не знать его превосходительства* (здесь модальный глагол *мог* стоит в сослагательном наклонении); *Кто-нибудь из нас должен об этом позаботиться; Кто-нибудь должен ответить за все; Кто-то должен купить ему что-нибудь; Надо послать кого-нибудь за доктором; Надо кому-нибудь звонок на кота надеть; Нужно что-нибудь придумать; Надо срочно что-нибудь бросить на помощь команде Ерикова; Если нужно разузнать что-нибудь... всегда Федя найдет удобную дорогу* (в этом предложении содержится модальное слово *нужно*, к тому же структура предложения является условной, т. е. имеются одновременно два признака, характерных для высказываний с неопределенными местоимениями-существительными на *-нибудь*); *Разве можно предпринять хоть что-нибудь, не связавшись с арестованным?* (кроме модального слова *можно*, на необходимость употребления неопределенного местоимения с *-нибудь* влияет вопросительная структура предложения); *Нельзя ли пожалеть о ком-нибудь другом?* (в этом предложении также имеется и модальное слово *нельзя* и вопрос); *Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо* (здесь модальное значение состоит в оценке действия с помощью слова *некорректно*).

Неопределенные местоимения с *-нибудь* употребляются также в предложениях, выражающих различные модальные значения (например, предположительность) и другими способами, в частности с помощью вводных слов типа *вероятно*, *возможно*, *может быть*, *должно быть* и проч. Примеры: *Вероятно, в Анне было что-нибудь особенное, потому что Бетси тотчас заметила это; Далеко, далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек — тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу; Может быть, кто-нибудь иной расскажет об этом лучше нас; Возможно, его кто-нибудь напугал; Должно быть, ее предупредил кто-нибудь другой; Он, наверное, уже нашел что-нибудь подходящее.* Значение предположительности может возникать даже без подобных вводных слов, просто из ситуации, нередко составленной несколькими предложениями: *Вы его чем-нибудь рассмешили; На двор въехал экипаж, и кто-то спрашивал Обломова. — Кто-нибудь из прошлогодних знакомых вспомнил мои именины, — сказал Обломов; Чувствуя,*

что кто-нибудь из моих друзей прислал его. В этих предложениях подразумевается значение, присущее выражениям должно быть или вероятно. Если бы это значение не возникало, то по правилам при глаголе совершенного вида (*рассмешили, вспомнили, прислали*) должно было быть употреблено неопределенное местоимение с частицей *-то* (*что-то и кто-то*).

Интересно наблюдение С. Ф. Молчановой, что идея модальности начинает так прочно ассоциироваться с *-нибудь*-местоимениями, что в разговорной речи само наличие слов на *-нибудь* без каких бы то ни было дополнений уже создает общее значение предположительности: *Слышится плач. Кого-нибудь обидели* [Молчанова 1984].

Надо сказать, что как в собственно модальных конструкциях, так и в предложениях, приобретающих модальный смысл, речь не идет о какой-то конкретной грамматической форме глагола. Следовательно, нельзя говорить о связи категории неопределенности с некоторой грамматической глагольной категорией. Здесь мы имеем дело с широкой семантической функциональной категорией модальности, которая вступает во взаимодействие с семантической же категорией определенности/неопределенности. Т. М. Николаева считает, что в подобном случае у неопределенного местоимения возникает значение как бы второго ранга, с несомненным оценочно-модальным оттенком — ‘вероятный’ [Николаева 2000, 124—126].

#### 4. Категория неопределенности, выражаемая неопределенными местоимениями-существительными с частицей *-нибудь*, и вопросительная конструкция.

По ходу изложения уже упоминалось, что неопределенные местоимения-существительные с *-нибудь* часто встречаются в вопросительной конструкции, поскольку она указывает не на реальную, а на виртуальную ситуацию, которая имеет коммуникативную силу предположения, догадки, гипотезы, пожелания. (Об обусловленности *-нибудь* местоимений структурой предложения, в частности вопросом, см., например, [Dahl 1970].) Примеры: *Знает ли Вас кто-нибудь?*; *Бывает ли у тебя кто-нибудь?*; *Здесь есть кто-нибудь?*; *У вас есть кто-нибудь?* *Семья, близкие, друзья?*; *Меня спрашивали кто-нибудь?*; *Кто-нибудь занимался с ним?*; *Приходил к нам кто-нибудь?*; *Кто-нибудь знал об этом?*; *Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно?*; *Принесли ли кто-нибудь нам сегодня газету?*; *А что, дети, не съели кто-нибудь одну сливи?*; *Был ли кто-нибудь из вас доволен своей судьбой?*; *Звонил кто-нибудь?*; *Прочтет ли кто-нибудь мой дневник?*; *Ты ждешь кого-нибудь, кто посватается?*; ...*не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием?*; *Ты сказал кому-нибудь об этом?*; *В гости к кому-нибудь приехал?*; *Наймешься к кому-нибудь батраком?*; *А наш институт делает что-нибудь для сельского хозяйства?*; *А позвольте спросить: разве есть что-нибудь непрекрасное в природе?*; *Нет ли чего-нибудь выпить?*

Как видим, в вопросительных предложениях, содержащих неопределенное местоимение с *-нибудь*, глагол может стоять в форме любого времени и наклонения. Кроме того, вопрос может входить в условную конструкцию, тогда соединяются

два признака, благоприятных для употребления неопределенных *-нибудь*-местоимений, — вопросительность и условность. Например, *Как мне знать о нем что-нибудь, если он скрылся?* и проч. под.

Вопросительная конструкция может включать модальные слова, становясь одновременно модальной: *Разве можно предпринять хоть что-нибудь, не связавшись с арестованным?*; *Мать, тебе что-нибудь нужно?*; *А может ты создашь что-нибудь стоящее?*

Неопределенные местоимения с *-нибудь* характерны и для косвенного вопроса, составляющего придаточное предложение: *На лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно; ...от чего делать долго решали, костер ли это, огонек ли в окне, или что-нибудь другое; Дедушка начал гладить по голове и спрашивать: училась ли я чему-нибудь и что знаю.*

Таким образом, неопределенные местоимения-существительные *кто-нибудь* и *что-нибудь* оказываются регулярно связанными с грамматическими глагольными категориями наклонения (повелительным и сослагательным) и времени (в первую очередь, будущим, но также прошедшим и настоящим неактуальным). Кроме того, выражаемая этими местоимениями категория неопределенности может соотноситься с семантической категорией модальности. Местоимения с *-нибудь* характерны для следующих синтаксических конструкций: побудительной, оптативной, условной, целевой и вопросительной, а также для разного рода модальных конструкций. Передаваемые перечисленными конструкциями разнообразные оттенки значений можно объединить в общие понятия «нереальность действия» и «неопределенность ситуации». Эти понятия отражают те семантические условия, которые делают необходимым употребление неопределенных местоимений с частицей *-нибудь*.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Рассматриваю только эти местоимения, исключая местоимения-прилагательные и местоимения-наречия с *-нибудь*, равно как и другие неопределенные местоимения, например, с *-то*, *-либо*, *-кое*, *не-* и проч. Выбор местоимений с *-нибудь* определен тем, что для них, по мнению многих исследователей, характерна максимальная степень неопределенности (см. [Левин 1973, 117]).

<sup>2</sup> Наличие в предложении усиливательной частицы *хоть* увеличивает вероятность употребления неопределенного местоимения с *-нибудь* вне зависимости от структуры высказывания.

<sup>3</sup> Глаголы совершенного вида в форме прошедшего времени обычно не используются в предложениях с неопределенными местоимениями на *-нибудь*. Так, невозможны *Вчера к нам кто-нибудь зашел*; *Я купил себе что-нибудь*; ср. нормальность в такой ситуации неопределенных местоимений на *-то*: *Вчера к нам кто-то зашел*; *Я купил себе что-то*.

<sup>4</sup> Предложения, в состав которых входит частица *да*, имеют дополнительно модально-оценочный оттенок значения вне зависимости от грамматической формы глагола.

## ЛИТЕРАТУРА

- Дончева 1967 — *Л. Дончева*. Неопределителните местоимения и наречия от типа *-то* и типа *-нибудь* от гледище на синтаксичните функции на контекстите им // Език и литература. № 3. София, 1967.
- Дончева 1970 — *Л. Дончева*. Руските неопределителни местоимения и наречия от типа *-то*, *-нибудь* (-либо), ...ни было и техните еквиваленти в български език // Български език. Кн. 5. София, 1970.
- Исаченко 1965 — *А. В. Исаченко*. О синтаксической природе местоимений // Проблемы современной филологии. М., 1965.
- Кобозева 1981 — *И. М. Кобозева*. Опыт прагматического анализа *то-* и *нибудь-* местоимений // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 40. № 2. 1981.
- Левин 1973 — *Ю. И. Левин*. О семантике местоимений // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973.
- Маловицкий 1971 — *Л. Я. Маловицкий*. Вопросы истории предметно-личных местоимений // Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 517. Местоимения. 1971.
- Молчанова 1984 — *С. Ф. Молчанова*. О модальности частицы *-нибудь* // Доклады на научной конференции. Т. III. Филологические науки. Ярославль, 1984.
- Николаева 1981 — *Т. М. Николаева*. Категориально-грамматическая цельность высказывания и его прагматический аспект // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 40. № 1. 1981.
- Николаева 1983 — *Т. М. Николаева*. Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуации // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 42. № 4. 1983.
- Николаева 1985 — *Т. М. Николаева*. Функции частич в высказывании. М., 1985.
- Николаева 2000 — *Т. М. Николаева*. От звука к тексту. М., 2000.
- Падучева 1985 — *Е. В. Падучева*. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
- Пете 1957 — *И. Пете*. Употребление неопределенных местоимений в современном русском языке // Русский язык в школе. № 2. 1957.
- Селиверстова 1964 — *О. Н. Селиверстова*. Опыт семантического анализа слов типа *все* и типа *кто-нибудь* // Вопросы языкоznания. № 4. 1964.
- Шелякин 1978 — *М. А. Шелякин*. О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 442. 1978.
- Шелякин 1986 — *М. А. Шелякин*. Русские местоимения. Тарту, 1986.
- Янко-Триницкая 1971 — *Н. А. Янко-Триницкая*. Местоименные слова со значением неопределенности // Русский язык в школе. № 1. 1971.
- Dahl 1970 — *Ö. Dahl*. Some notes on indefinites // Langague. V. 46. № 1. 1970.
- Koseska-Toszewska 1975 — *V. Koseska-Toszewska*. Forma verbalna a jej funkcja temporalna // Charakterystyka temporalna wypowiedzenia. Wrocław etc., 1975.
- Koseska-Toszewska 1978 — *V. Koseska-Toszewska*. Informacja o określoności we frazie webalnej i nominalnej języka bulgarskiego, polskiego i rosyjskiego // Slavia Orientalis. Roc. XXVII (27). № 2. Warszawa, 1978.
- Rybák 1965 — *J. Rybák*. Charakter opozicie neurčitych zámen typu *кто-нибудь* — *кто-то* // Československá rusistika. Roč. X. S. 196—201.
- Růžička 1973 — *R. Růžička*. *Кто-то* и *кто-нибудь* // Zeitschrift für Slawistik. Bd. XVIII. № 5. 1973.
- Veyrenc 1964 — *J. Veyrenc*. *Кто-нибудь* и *кто-либо* formes concurrentes? // Revue des études slaves. T. XL (40). 1964.

*B. C. Храковский (Санкт-Петербург)*

## АДМИРАТИВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ВВОДНОЕ СЛОВО ОКАЗЫВАЕТСЯ И ЕГО ФУНКЦИЯ В ВЫСКАЗЫВАНИИ)\*

Человек может связывать высказывание с общим знанием о мире.

*T. M. Николаева.  
От звука к тексту (M., 2000. С. 304)*

**M**не хочется начать эту статью с тривиального и общепринятого утверждения, в соответствии с которым языки, в том числе и родственные, могут отличаться друг от друга набором и / или устройством грамматических категорий. В частности, хорошо известно, что в южнославянских языках (болгарском и македонском), как и в других языках балкано-западноазиатского ареала (албанском, западноармянском, турецком, персидском, таджикском и некоторых других), у глагола есть категория эвиденциальности, ср. [Guentcheva 1996; Ницолова 2003], которой, если исходить из существующих описаний, нет в русском языке. Содержание категории эвиденциальности (другой распространенный термин — категория засвидетельствованности) — это сообщение говорящего о способах, с помощью которых он получил передаваемую информацию.

Собственно говоря, знания человека о мире, его картина мира или, выражаясь современным языком, его база данных формируется и пополняется, если верить языку, с помощью информации, получаемой как будто бы всего из нескольких источников. Прежде всего человек может получать информацию о каком-либо событии, будучи его непосредственным участником или наблюдателем, что, добавим, гарантирует истинность приобретенной информации. Далее, человек может получить информацию о каком-либо событии от других лиц или из средств массовой информации, что уже само по себе не гарантирует истинность приобретенной информации. Наконец, человек может получить информацию о каком-либо событии, опираясь на анализ некоторых наблюдаемых фактов, которые он расценивает как

---

\* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ (проект № 03-04-00216а) и гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ № НШ-2325.2003.6.

прямые или косвенные результаты этого события, что также не гарантирует истинность приобретенной информации. Кроме того, человек может получать информацию, опираясь на свои собственные знания, иначе говоря, на свою базу данных, т. е. исходя из своей картины мира.

Соответственно говорящий человек, произнося то или иное высказывание, в принципе может не указывать источники своей информации, но может (или обязан, если того требует язык) помимо основной информации, составляющей содержание высказывания, включать в его состав дополнительную информацию об источниках основной информации. Эта дополнительная информация, составляющая содержание категории эвиденциальности, относится к модусной и входит в состав т. н. внешней модальной рамки высказывания, ср. [Касевич, Храковский 1985].

Говоря о категории эвиденциальности, следует подчеркнуть, что за последние тридцать-сорок лет она стала объектом основательного изучения, в ходе которого были получены важные результаты как в плане интерпретации этой категории, ее типологической характеристики, а также с точки зрения представленности этой категории в различных разноструктурных языках [Козинцева 1994; Aikhenvald & Dixon 1988; Chafe & Nichols 1986; Friedman 1979, 1984; Givón 1982; Guentchéva 1996; Haan 1999; Lazard 1999; Palmer 1986; Wierzbicka 1994; Willett 1988]. Если кратко суммировать полученные результаты, то они сводятся к следующему. Семантическая категория эвиденциальности или, может быть, точнее, семантический признак эвиденциальности принимает два значения: 1. прямая эвиденциальность (говорящий получает / воспринимает сообщаемую информацию непосредственно — экспериентив); 2. косвенная эвиденциальность (говорящий получает сообщаемую информацию опосредованным образом, через промежуточную инстанцию). В свою очередь косвенная эвиденциальность может принимать следующие значения: 1. пересказывательное, или цитатив, или ренарратив (говорящий получает сообщаемую информацию от других лиц); 2. инференциальное — инферентив или конклюзив (говорящий получает сообщаемую информацию, анализируя некоторые наблюдаемые факты); 3. презумптивное — презумптив (говорящий получает сообщаемую информацию, основываясь на собственных мыслительных операциях типа логического вывода, или путем озарения).

Однако таким же образом, как значения косвенной эвиденциальности, во многих языках маркируется и адмиративное значение (говорящий непосредственно воспринимает информацию, т. е. это значение прямой эвиденциальности, но с добавочным компонентом: воспринимаемая информация кажется говорящему удивительной, неожиданной). Исходя из оформления адмиратива, это значение традиционно рассматривают как одно из значений косвенной эвиденциальности. Однако отдельные исследователи справедливо не считают (ад)миратив грамматической категорией эвиденциальности, и, следовательно, нужно говорить о том, что один показатель служит маркером значений двух различных категорий. По мнению И. А. Мельчука [Мельчук 1998: 197—198], (ад)миратив (говорящий удивлен тем, что маловероятный сообщаемый факт имеет/имел место) вместе с нейтральностью (говорящий не выражает никакой оценки вероятности сообщаемого факта),

пробабилитивом (говорящий полагает, что сообщаемый факт вероятен, но не уверен, имеет ли он место), ассертивом (говорящий уверен, что сообщаемый факт имел место) и дубитативом (говорящий сомневается, что сообщаемый факт может иметь место) образует категорию реактивности, «граммы которой характеризуют ментальную реакцию говорящего на факт *F* с точки зрения вероятности этого факта», причем категория реактивности связана со шкалой: «я ожидал этого vs. я не ожидал этого».

Несколько иначе, но сходным образом рассуждает ДеЛенси [DeLenccey 1997]. Он полагает, что адмиратив выражает информацию, которая оказывается неожиданной для говорящего, ср.: «Адмиратив... показывает, что говорящий видит нечто противоположное тому, что он ожидал увидеть» [Сытов 1979: 100]. Развивая и уточняя эту мысль, можно считать, что (ад)миратив — одна из двух граммем категории, которая характеризует информацию, получаемую говорящим (из какого-либо источника, или с помощью анализа некоторых наблюдаемых фактов, или с помощью собственного умозаключения, или путем непосредственного наблюдения), как соответствующую его картине мира либо как не соответствующую его картине мира (адмиратив). При этом граммы этой категории могут сочетаться с граммемами эвиденциальности, а сама эта категория в принципе может быть представлена в языке и при отсутствии категории эвиденциальности, ср. [Храковский 2003]. Иначе говоря, речь идет о категории, которая как будто бы до сих пор не попадала в поле зрения исследователей русского языка. Вместе с тем есть основания полагать, что эта категория представлена в русском языке.

В связи со сказанным уместно обратить внимание на слово *оказывается*, которое первоначально привлекло наше внимание, поскольку в написанных на русском языке работах, посвященных косвенной эвиденциальности, это слово используется в качестве соответствующего показателя эвиденциального значения (обычно адмиративного, если, разумеется, относить это значение к значениям косвенной эвиденциальности, и инференциального), ср., например, [Сытов 1979], наряду с такими вводными словами и выражениями, как *наверно, как я понял, как я обнаружил, я вижу, надо же* и др., при переводе примеров из языков, в которых косвенная эвиденциальность маркируется грамматическими показателями в глаголе. Однако чтобы установить весь спектр употреблений слова *оказывается* в русском языке, нельзя ограничиваться только рассмотрением переводных предложений, которые к тому же часто приводятся вне достаточного контекста. В этих целях надлежит рассмотреть употребление этого слова в самых различных текстах на русском языке.

Приступая к анализу вводного слова *оказывается*, прежде всего естественно обратиться к тем толкованиям, которые даются этому слову в различных словарях. Начнем с МАСа (1982). Во втором томе этого словаря на с. 605 вводное слово *оказывается* толкуется через синонимичное выражение «как выясняется». В восьмом томе БАСа (1959) на с. 768 вводное слово *оказывается* толкуется сходным образом через синонимичные выражения «как стало известным, как удалось выяснить». В словаре под ред. Д. Н. Ушакова (М., 1932, т. II, с. 782) вводное слово *оказывается*

толкуется через синонимичные выражения «на самом деле, как уже выяснилось» с пометой (разг.). Более интересное толкование предложено в словаре С. И. Ожегова (1990), где на с. 446 сказано, что это слово «выражает неожиданное узнавание, как выясняется». Заметим между прочим, что в относительно недавно вышедших под ред. С. А. Кузнецова «Большом толковом словаре русского языка» (СПб., 1998) и «Современном толковом словаре русского языка» (СПб., 2001) вводное слово *оказывается* вообще почему-то отсутствует. Итак, нам известны толкования слова *оказывается*, предлагаемые в различных словарях. Соответственно основную задачу проводимого ниже исследования мы видели в том, чтобы, проанализировав употребление слова *оказывается* в различных контекстах, установить, насколько разные употребления слова *оказывается* соотносятся с предлагаемыми толкованиями и, если потребуется, внести необходимые модификации в эти толкования, заменив их единым, более адекватным толкованием. Другая задача состояла в том, чтобы определить, насколько толкование слова *оказывается* коррелирует с административным значением, которое составляет содержание одной из граммем категории, о которой мы говорили выше и которую предварительно можно было бы назвать категорией характеризации информации, воспринятой и передаваемой говорящим. Однако обо всем по порядку.

Начнем с того, что поскольку слово *оказывается* является вводным словом, а характеристика вводных слов относится к компетенции грамматики, мы попытались найти необходимую информацию об этом слове в грамматических работах. К сожалению, наши поиски оказались безуспешными. В частности, в таком авторитетном издании, как «Русская грамматика» (М., 1980, II), в параграфах (2220—2222), посвященных построениям с вводными словами, вводными сочетаниями слов и вводными предложениями, это слово вообще не упоминается, хотя справедливости ради заметим, что, как отмечают авторы грамматики, «перечни вводных слов и сочетаний — не исчерпывающие» (с. 229). Если же исходить из перечисленных выше толкований слова *оказывается*, то по своей семантике оно, на первый взгляд, очевидно, не входит ни в одну из семи выделенных групп вводных слов, но ближе всего к группе вводных слов и сочетаний, которые «служат для выражения субъективного отношения, эмоциональных реакций, интеллектуальных оценок самого говорящего» (с. 230), куда входят, например, такие слова, как *удивительно, думается, кажется, и* к группе, которая включает вводные слова, сочетания и предложения, характеризующие сообщение «по источнику, по отнесенности к автору речи» (с. 230), куда входят, в частности, слова и сочетания *как оказалось, как говорят, как полагаю, говорят*.

Что же касается предложенной в этой работе формальной характеристики вводных слов, в соответствии с которой вводное слово может сохранять «живые лексические и грамматические связи с соответствующим знаменательным словом» (с. 229), но «оказывается обособленным от системы форм соответствующего слова, формально и функционально изолированным от членов его парадигмы» (с. 229), то слово *оказывается* полностью соответствует этой характеристике. У знаменательного глагола НСВ *оказываться*, в какой бы финитной форме он ни вы-

ступал, в том числе и в форме 3-го л. ед. ч. настоящего времени, т. е. в той форме, в которой отпочковалось или, если угодно, застыло вводное слово, свое значение (глагол называет ситуацию), отличное от значения вводного слова (вводное слово называет определенное отношение говорящего к некоторой ситуации).

В соответствии со сложившейся практикой в большинстве толковых словарей глаголы НСВ не толкуются, а их толкования предлагается искать у соотносительных глаголов СВ. Исключение составляет БАС. В этом словаре (1959, т. 8, с. 767), в частности, отмечается, что у глагола НСВ *оказываться* два значения. В своем первом значении этот глагол толкуется следующим образом: «обнаруживаться, являться в своем действительном виде, как на самом деле». Именно в этом значении глагол *оказываться* выступает в следующих примерах:

- (1) *Средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях* (А. Чехов);
- (2) *В нашей организации, которую журнал не удосуживается назвать даже географическим понятием, а именует словечком туристического жаргона «Окей», оказывается 605,8 автомобиля на тысячу населения* (В. Аксенов).

Это же значение приписывается глаголу *оказываться* в том случае, когда он управляет изъяснительным придаточным предложением, вводимым союзом что:

- (3) *Через некоторое время пребывания в Милане оказывается, что элегантность — это одно из отличительных качеств аборигенов, отличающее их от пришлых толп* («Известия»);
- (4) *А потом она уснула и во сне видела какую-то чушь: будто села в трамвай, а рядом старушка, необыкновенно похожая на ее тетку, жиссишую в Лодзи, быстро говорит что-то по-немецки, и оказывается понемногу, что это вовсе не ее тетка, а та радушная торговка, у которой Клара по дороге на службу покупает апельсины* (В. Набоков).

Что касается второго значения, то его толкование представлено тремя вариантами. Вариант первый: «попадать куда-либо, очутиться где-либо»:

- (5) *Ширяев вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета* (В. Некрасов);
- (6) *Милый французский композитор оказывается в Москве, где его снимает русская секспилка (как вы догадались, с финкой в сумочке)* («Известия»).

Вариант второй: «попадать в какое-либо положение, состояние»:

- (7) *Если Борис Ельцин воспримет бумагу Гэнзу всерьез, то, какие бы громы и молнии он ни направлял в адрес Центробанка, сам глава государства оказывается в глупейшем положении* («Известия»).

Вариант третий: «быть, встречаться, обнаруживаться в каком-либо месте»:

- (8) *Кянкук оглянулся, посмотрел, как идет художник, ему показалось, что художник не идет, не движется сам по себе, а просто каждое мгновение оказывается в другом месте* (В. Аксенов).

Добавим к сказанному, что знаменательный глагол в отличие от вводного слова обычно нельзя извлечь из предложения, не превратив его в дефектное как с семантической, так и с формальной точки зрения.

Наш анализ вводного слова *оказывается* начнем с классификации типов текстов, в которых это слово употребляется. Наиболее распространенным является текст, который устроен следующим образом. Предложение со словом *оказывается* содержит некоторую информацию, пересказываемую говорящим со слов того лица, от которого он получил эту информацию. В этой информации стандартно говорится о тех событиях, участником которых говорящий не был. В предтексте обычно называется то лицо, которое служит источником информации, и дается обобщающая характеристика сообщаемой им информации:

- (9) *Кстати, насчет травли козлотура шофер сообщил мне любопытную деталь.*  
*Оказывается, козлотур как-то сбежал на плантацию, где наелся чайного листа и временно сошел с ума, как сказал Валико. Он действительно бегал по всему селу, и за ним гнались собаки. Его даже хотели пристрелить, думали, что он взбесился, но потом он постепенно успокоился* (Ф. Искандер);
- (10) *Вечером у пастушеского костра, поверчивая на деревянном вертеле шашлык из туричьего мяса, Шаадат раскрыл свою тайну.* *Оказывается, абхазский бог охоты Ажвейшиа ночью во сне указывает ему на место, где ждет его добыча* (Ф. Искандер).

Впрочем в предтексте может быть только названо то лицо, которое послужило источником информации, и ничего не говорится о той информации, которая далее пересказывается говорящим в предложении, включающем слово *оказывается*:

- (11) *Дней через десять из Баку вернулась мама.* *Оказывается, брат не был ранен, а просто соскучился по своим и решил увидеться с ними перед отправкой на фронт.* И, конечно, добился своего (Ф. Искандер);
- (12) *Появился в ту ночь бродячий будетянин России, гениальный председатель земли Велимир Хлебников.* Явился еле живой, в лохмотьях, в расколоченных башмаках, в солдатских обмотках. *Оказывается, пробрался через череду враждующих армий из Астрахани* (В. Аксенов).

Вместе с тем в предтексте может говориться лишь о наличии информации, но не указываться ее источник:

- (13) *Тут сигнал поступил, Алла Сергеевна, — директор даже не предложил маме сесть.*  
*— Ваша дочь, оказывается, выходит замуж за иностранца и собирается покинуть родину?* (В. Кунин).

Если судить о функциях слова *оказывается* в примерах этого типа, то можно прийти к следующему заключению. В предложении со словом *оказывается* говорящий пересказывает информацию, полученную им от других лиц. Само слово *оказывается*, будучи вводным, выражает модусную информацию, а более конкретно, определенное отношение говорящего к пересказываемой им информации. Во-первых, говорящий констатирует, что пересказываемая им информация является для него новой, а во-вторых, неожиданной в том смысле, что она не согласуется с имеющейся у него картиной мира. Тем самым в предложениях со словом *оказывается* этого типа маркируются сразу два значения, которые традиционно относятся к области косвенной эвиденциальности, пересказываемость и адмиративность, однако слову *оказывается* присуще только адмиративное значение.

В пересказываемой информации в принципе не должна идти речь о событиях, участником которых был сам говорящий, потому что такая информация не может быть новой для говорящего. Тем не менее в пересказываемой информации иногда идет речь о событии, участником которого является говорящий, однако только в том случае, если говорящий не контролировал свое участие в этом событии.

- (14) *Я вскочил и удивился, что снова попал в тихую погоду. Неожиданный толчок прервал мое удивление. Что-то опрокинуло меня и поволокло по земле. Но тут подскочил мой брат, выхватил из рук поводья и стал успокаивать Куклу. Оказывается, я от страха так вцепился в поводья, что не мог разжать пальцы, даже после того как упал* (Ф. Искандер).

Вместе с тем в пересказываемой информации может идти речь о событиях, в которых якобы принимал участие говорящий, однако говорящий не воспринимает эту информацию как достоверную и поэтому она для него на самом деле является новой:

- (15) *Один раз спяну былся в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел — оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам* (В. Шукшин);

- (16) — Я вам скажу. Хотите откровенно? Я давно замечаю за вами, Дима.  
— И тут она понесла такой немыслимый и ошеломляющий вздор, что Глебов онемел от изумления. Оказывается, он с каким-то особым вниманием всегда осматривает их квартиру, на кухне его интересовали холодильник под окном и дверь грузового лифта. Однажды он подробно расспрашивал ее о даче в Брускове, сколько там комнат, есть ли водопровод (Ю. Трифонов).

Поскольку с помощью слова *оказывается* говорящий характеризует пересказываемую информацию как новую и неожиданную, то это наводит на мысль, что новизна и неожиданность имеют в ряде случаев, если не всегда, коннотацию удивления. В примере (16) эта коннотация эксплицируется явным образом в предтексте.

Отметим, что пересказываемая информация может повествовать о событии, которое является причиной события, обозначенного в предтексте. Источник информации либо называется в предтексте, либо он очевиден из ситуации, либо остается неизвестным. Возможно, в этом случае можно говорить об отдельном типе текста, в котором, однако, как и в предыдущем, речь идет о пересказываемой информации.

- (17) *Люди хотят увидеть своего далекого пращура, чтобы попытаться понять, когда и где именно они свихнулись. И вдруг эти поиски обрушились на Абхазию. Оказывается, в абхазском селе Тхина в прошлом веке поймали дикую или лесную, как говорят абхазцы, женщины, нарекли ее Заной* (Ф. Искандер);

- (18) *Уговорились, что назавтра я поведу его по здешним местам, все покажу. И тут он высказал мне свою тайную просьбу: купить ему дом в Крыму, но на мое имя, потому что татарам, оказывается, домов не продают, есть на этом счет специальный указ, от сталинских еще времен* (Л. Улицкая);

(19) *Он приехал только к десяти, опоздал, оказывается, на поезд, очень много было дел, обедал с издателем* (В. Набоков).

Таким образом, специфика этого типа текста состоит в том, что вначале (в предтексте) называется некоторое событие, а затем в высказывании со словом *оказывается* пересказывается то событие, которое служит причиной ранее названного события. Что же касается самого слова *оказывается*, то оно выражает ту же модусную информацию, о которой говорилось выше, т. е. во-первых, пересказываемая информация представляется говорящему новой, а во-вторых, не соответствующей его картине мира и потому неожиданной. Иными словами, в предложении со словом *оказывается*, как и в первом типе текстов, совокупно выражается пересказывательное и адмиралтивное значение, однако слово *оказывается* выражает только адмиралтивное значение.

Другой тип текста, в котором употребляется слово *оказывается*, имеет следующие особенности. Высказывание, в состав которого включено слово *оказывается*, содержит информацию, которая представляет собой либо логический вывод говорящего, либо акт озарения, который возникает у него как на основе полученной от кого-либо информации, так и на основе анализа события, которое говорящий наблюдает или сам в нем участвует. Этому высказыванию обычно предшествует другое, в котором выражается либо информация, либо событие, послужившие базой для мыслительной деятельности говорящего:

(20) *Слушать старика, упустившего важное, было не так уж интересно. Никто, кроме Глебова, не прислушивался к его бормотанию. Но он уловил в речи старика язвительность. Задело и удивило: оказывается, эти дряблые мускулы еще способны сжиматься* (Ю. Трифонов);

(21) *Снимая халат, профессор глянул на то место, где буфетчик оставил червонцы, и увидел, что никаких червонцев там нет, а лежат три этикетки с бутылкой Абрау Дюрансо. — Черт знает что такое! — пробормотал Кузьмин, волоча полу халата по полу и ощущая бумажки, — он, оказывается, не только шизофреник, но и жулик!* (М. Булгаков);

(22) *Фотография человека с седоватой бородой, добрыми глазами и белозубой улыбкой, эффектно контрастирующей с черной чалмой, обошла газеты мира. Глядя на лицо нового, пятого по счету президента Ирана Мухаммада Хатеми, невольно удивляешься. Оказывается, в исламской республике Иран руководители умеют улыбаться и к власти могут приходить не только строгие старцы* («Известия»).

Итак, в текстах этого типа слово *оказывается* является элементом высказывания, которое представляет собой акт озарения или логический вывод говорящего, сделанный им на основе поступившей в его распоряжение информации. Само же слово *оказывается*, как и в ранее рассмотренных типах текста, выражает модусную информацию, указывающую на то, что сделанное и высказанное говорящим умозаключение содержит новую и неожиданную для него информацию, которая не согласуется с его картиной мира. Иначе говоря, и в данном случае у этого слова адмиралтивное значение. Однако теперь в предложении, в которое введено слово *оказывается*, выражается не пересказывательное, а инференциальное значение.

Таким образом, и в данном случае в предложении со словом *оказывается* выражаются два значения, которые традиционно считаются значениями косвенной эвиденциальности. Следует добавить, что остается в силе и положение о наличии коннотации удивления, которая эксплицитно выражена в примерах (20) и (22).

Теперь рассмотрим тип текста, в котором высказывание со словом *оказывается* содержит информацию о событии, непосредственно наблюдаемом говорящим, причем эта информация очевидным образом противоречит информации, находившейся в базе данных говорящего. Эта информация, составляющая его картину мира, обычно обозначается в предтексте. Две противоречащих друг другу информации стандартно оформляются как противительная конструкция:

- (23) — Так и говорил, враг, что в магазинах нет ничего. — Он повернулся, чтобы снова ухватить за рукав длинноволосого, в джинсах и с портфельчиком врага, но того, оказывается, уже и след простыл. Марлен Михайлович, между прочим, тоже не заметил, как испарился смельчак-критикан (В. Аксенов);
- (24) «В чем дело, народ?» — произнес рядом с нами густой голос. Башней высился полицейский в своей великолепной форме с блестящими бляхами и эмблемами. «Все в порядке, офицер, — ответили мы. — Ничего особенного. Просто мы думали, что это бесхозная машина, а оказывается, кто-то там обитает». Мент усмехнулся и подкрутит концы своих усов: «Не надо волноваться. Мы обо всем позаботимся» (В. Аксенов);
- (25) Астров (Елене Андреевне): — Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то, а оказывается, он здоровехонек (А. Чехов).

Отличие этого типа текста от всех ранее рассмотренных заключается в том, что здесь слово *оказывается* употребляется в высказывании, где содержится информация о событии, непосредственно наблюдаемом говорящим, иначе говоря, в этом высказывании реализуется значение прямой, а не косвенной эвиденциальности. Что касается слова *оказывается*, то оно, как и во всех остальных случаях, выражает модусную информацию, т. е. специфическое отношение говорящего к информации, обозначаемой в основном высказывании: она для говорящего новая, неожиданная и вызывает его удивление, поскольку расходится с его картиной мира. Таким образом, в данном случае в отличие от рассмотренных выше, высказывание со словом *оказывается* выражает, с одной стороны значение прямой эвиденциальности, а с другой стороны — адмиративное значение, которое традиционно считается значением косвенной эвиденциальности. Следовательно, мы имеем дело с ситуацией, которой в принципе не должно быть: в одном предложении выражаются оппозитивные значения одной категории. Однако возникший конфликт имеет простое решение. Оно состоит в том, что адмиративное значение не входит в состав косвенной эвиденциальности, а является, как мы уже отмечали выше, граммемой самостоятельной категории характеризации говорящим передаваемой информации. Повторим, что эта категория включает две граммемы: 1. характеристизация соответствует картине мира говорящего (у этой граммемы нулевое маркирование); 2. характеристизация не соответствует картине мира говорящего (у этой граммемы адмиративное значение, которое маркируется вводным словом *оказывается*).

Выводы, которые вытекают из проведенного исследования, сводятся к следующему. Категория эвиденциальности и категория адмиративности (если пользоваться традиционным термином) являются равноположенными семантическими категориями. Что касается русского языка, то в нем категория эвиденциальности как будто бы не имеет стандартного грамматического выражения, ср. [Козинцева 1994], тогда как категория адмиративности, точнее, одна из ее двух граммем, которая выражает несоответствие передаваемой информации картине мира говорящего, стандартно выражается с помощью вводного слова *оказывается*.

Из сказанного следует, что в первом приближении толкование слова *оказывается* может быть сформулировано следующим образом: слово *оказывается* указывает на то, что передаваемая информация не соответствует картине мира говорящего. При этом важно подчеркнуть, что источник передаваемой информации может быть любым, т. е. информация бывает получена либо от каких-либо лиц, либо с помощью анализа каких-либо наблюдаемых фактов, либо с помощью собственного умозаключения, либо путем непосредственного наблюдения какого-либо события или участия в нем. Нетрудно заметить, что предложенное толкование разительно отличается от тех толкований слова *оказывается*, которые предлагаются в толковых словарях русского языка.

## ЛИТЕРАТУРА

- Касевич, Храковский 1983 — Касевич В. Б., Храковский В. С. Конструкции с предикатными актантами: Проблемы семантики // Категории глагола и структура предложения. Л.: Наука, 1983.
- Козинцева 1994 — Козинцева Н. А. Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // Вопр. языкознания. 1994. № 3. С. 92—104.
- Мельчук 1998 — Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. II. М.; Вена: Языки русской культуры, 1998.
- Ницолова 2003 — Ницолова Р. Семантическая гиперкатегория «Характеристика говорящим сообщаемой информации» и ее связь с временем и лицом глагола // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие: Мат-лы междунар. научн. конференции. СПб.: Наука, 2003. С. 108—112.
- Сытов 1979 — Сытов А. П. Категория адмиратива в албанском языке и ее балканские соответствия // Проблема синтаксиса языков балканского ареала. Л.: Наука, 1979. С. 90—123.
- Храковский 2003 — Храковский В. С. Грамматические категории глагола: связи и взаимодействие // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие: Мат-лы междунар. научн. конференции. СПб.: Наука, 2003. С. 156—163.
- Aikhenvald, Dixon 1998 — Aikhenvald A. Y. & Dixon R. M. W. Evidentials and areal typology: a case-study from Amazonia // Language Sciences. 1998. № 20. P. 241—257.
- Chafe & Nichols 1986 — Chafe W. & Nichols J. (eds.) Evidentiality: the Linguistic Coding of Epistemology, 1986, Norwood, New Jersey: Ablex.
- DeLancey 1997 — DeLancey S. Mirativity: The Grammatical Marking of Unexpected Information // Linguistic Typology. 1997. № 1. P. 33—52.
- Friedman 1979 — Friedman V. A. Toward a typology of status: Georgian and other Non-Slavic languages of the Soviet Union // The Elements: A parasession on linguistic units and levels. Chicago, 1979. P. 339—350.

- Friedman 1984 — *Friedman V. A.* Status in the Lac verbal system and its typological significance // *Folia Slavica*. 1984. V. 7. № 1—2. P. 135—149.
- Givón 1982 — *Givón T.* Evidentiality and epistemic space // *Studies in language*. 1982. V. 6. № 1. P. 23—49.
- Guentchéva 1996 — *Guentchéva Z.* (ed.) *L'Énonciation médiatisée*. Louvain-Paris: Éditions Peters, 1996.
- Haan 1999 — *Haan de F.* Evidentiality and epistemic modality: setting boundaries // *Southwest Journal of Linguistics*. 1999. V. 18. P. 83—102.
- Lazard 1999 — *Lazard G.* Mirativity, evidentiality, mediativity, or other? // *Linguistic Typology*. 1999. № 3. P. 91—110.
- Palmer 1986 — *Palmer F.* Mood and Modality. Cambridge, 1986.
- Wierzbicka 1994 — *Wierzbicka A.* Semantics and Epistemology: The Meaning of Evidentials in a Cross-Linguistic Perspective // *Language Sciences*. 1994. V. 16. P. 81—137.
- Willett 1988 — *Willett Th.* A cross-linguistic survey of the grammaticalization of evidentiality // *Studies in language*. 1988. V. 12. № 1. P. 51—97.

*Розанна Бенаккио (Падуя)*

## ГЛАГОЛЬНЫЙ ВИД В ИМПЕРАТИВЕ В ЧЕШСКОМ И СЛОВАЦКОМ ЯЗЫКАХ

— Pane vrchní rado, ted' přijde učivo těžké... ech, velmi těžké. Je to fantastické s tím českým slovesem (...)  
— Tak. Fantastické. No, budeme vidět (...) Tak uvídíme. Tak vy už začínajte!  
— Uvidíme a začněte, pane vrchní rado! Ráčíte vidět, jak je to těžké.

*P. Eisner. Chrám i tvrz*

**В** настоящей работе мы продолжим исследование употребления глагольного вида в утвердительных формах императива в славянских языках, сосредоточиваясь больше всего на pragматических значениях, касающихся категории вежливости и связанных с выбором глагольного вида.

Первоначально исследование проводилось на материале русского языка [Бенаккио 2002]. На основе полученных результатов мы перешли потом к сопоставительному анализу с другими славянскими языками, а именно с южнославянскими [Бенаккио 2004] и польским [Benacchio, в печати], с целью прийти постепенно к общей картине, охватывающей все современные славянские языки. В данной статье мы обратимся к анализу чешского и словацкого языков.

Мы видели, что в русском языке в императивных (повторим, утвердительных) формах СВ, в соответствии с его основным чисто видовым значением, употребляется тогда, когда иллоктивная сила сфокусирована на конечной фазе действия, т. е. на достижении предела и на начале нового, результативного состояния. Так, фразой «*Откройте дверь!*»<sup>1</sup> говорящий выражает пожелание, чтобы дверь перешла из одного состояния в другое, т. е. чтобы она, будучи закрытой в момент высказывания, стала открытой. Все, что может касаться предшествующих фаз действия (например, конкретное осуществление действия, внутренняя установка исполнителя и т. д.), не принимается во внимание. Например: «*Передайте мне, пожалуйста, соль!*», «*Пройдите вперед! Там свободные места*».

Мы видели также, что, поскольку каждый побудительный речевой акт — по крайней мере относительно предельных глаголов — по определению является

побуждением к изменению, переходу из одного состояния в другое, и поскольку СВ указывает именно на такой переход, более естественной (и более частотной) формой для императива является именно СВ, особенно если действие, к которому побуждается собеседник, появляется в речевой ситуации впервые (см. по этому поводу [Шатуновский 1996, 348—349; Culicoli, Paillard 1987, 530] и др.).

Относительно НСВ мы заметили, что кроме значения многократности и узуальности («Каждый день *принимайте* лекарство по таблетке!», «Зимой *одевайтесь теплее!*») НСВ употребляется в повелительном наклонении и в том случае, когда иллоктивная сила высказывания фокусируется не на конечной фазе действия, а на предшествующих ей фазах, т. е. на срединной или на начальной.

Если речь идет о срединной фазе, то имеются в виду прежде всего те случаи, когда императивная форма НСВ указывает на то, каким образом должно совершаться само конкретное действие. Напр.: «*Открывайте* дверь осторожно! Ведь она скрипит, и дети могут проснуться», «*Входите* осторожно! Пол мокрый и скользкий». Правда, те же самые требования можно выразить и формами СВ («*Откройте* дверь осторожно! Ведь она скрипит, и дети могут проснуться», «*Войдите* осторожно, поскольку пол мокрый и скользкий»). Однако они встречаются гораздо реже и определяются как «очень невероятные».

Чаще всего НСВ употребляется в императиве, когда иллоктивная сила фокусируется на начальном моменте действия и императивная форма обозначает побуждение немедленно приступить к действию<sup>2</sup>. Например: «Запишите мой адрес... Записывайте, пожалуйста, я очень тороплюсь», «Хватит проветривать, закрывайте окно!» В отличие от того, что происходит с СВ, который в основном побуждает к действиям, называемым впервые, НСВ обычно появляется тогда, когда требуемое действие уже присутствует в коммуникативной ситуации либо эксплицитно, либо имплицитно, а приказание только дает сигнал к его осуществлению. Показателен следующий пример (из [Рассудова 1982]): «*Включите* телевизор, сегодня интересная передача», противопоставляющийся примеру «*Включайте* телевизор, уже семь часов. Передача начинается».

Мы видели также, что эти первичные значения видового характера связаны с целым рядом вторичных (производных) прагматических функций. Так, выбор того или иного вида по-разному действует на интерперсональную дистанцию между участниками речевого акта и, следовательно, на языковую категорию вежливости. СВ, фокусирующий иллоктивную силу побуждения прямо на результате, абстрагируется от конкретного осуществления действия и, что еще важно, от внутренней диспозиции исполнителя к требуемому действию. Именно поэтому СВ является формальной, дистанцированной и в этом специфическом смысле вежливой, корректной формой.

НСВ, наоборот, предполагает более тесный контакт между требующим и исполнителем, которому могут быть указаны способ совершения действия и / или непосредственный характер его реализации.

Наконец мы заметили, что императивные формы НСВ в разных ситуациях могут выступать то как формы чрезвычайно вежливые, то как подчеркнуто грубые.

Это зависит от того, соответствует ли требуемое действие желаниям исполнителя или нет<sup>3</sup>. И в самом деле, если требующий обращается к исполнителю, непосредственно побуждая его немедленно приступить к совершению действия, которое считается соответствующим желаниям последнего, то и само побуждение получит подчеркнуто вежливую окраску. Это вежливость иного рода по сравнению с той, которая выражается путем СВ и о которой говорилось выше. Ее можно назвать не формальной, а реальной, не дистанцированной, а солидарной<sup>4</sup>.

Таким образом, коннотации позитивной, солидарной вежливости, потенциально заложенные в формах НСВ, делают предпочтительным употребление НСВ в речевых актах разрешения в русском языке. Например, в ответ на вопрос «Можно открыть окно?» принято отвечать: «Конечно, *открывайте!*» или «*Открывайте, открывайте!*», а на вопрос «Можно взять книгу?» — «Конечно, *берите!*» или «*Берите, берите!*»<sup>5</sup>.

То же самое можно сказать о т. н. «вежливых поощрениях» типа «*Открывайте, пожалуйста!* Это мне не мешает» или «*Простите, что я вас перебил. Рассказывайте! Я вас слушаю,*», в которых также предпочтителен НСВ.

Подобным образом объясняется, по нашему мнению, присутствие в русском языке многочисленных вежливых обращений (ставших уже почти устойчивыми формулами), употребляемых особенно в ситуациях «в гостях». Напр.: «*Входите, раздевайтесь, садитесь!*», «*Снимайте пальто!*», «*Располагайтесь!*», а также «*Берите!*», «*Наливайте чай сами!*», «*Приходите к нам в гости!*», «*Приезжайте!*», «*Оставайтесь еще!*» и т. д.

Совершенно другая ситуация отмечается при употреблении НСВ в случаях, когда требуемое действие приносит исполнителю не выгоду, а затраты и, следовательно, не оказывается «желательным» для него. В данных случаях непосредственное (т. е. выраженное без адекватной дистанции) побуждение немедленно приступить к действию порождает нарушение правил этикета, в том числе и языкового: повелительная форма становится неуместно настойчивой и появляется т. н. «эффект грубости» (см. подробнее по этому поводу [Benacchio 2002, 169]).

Отметим, например, грубоватый (или, по крайней мере, неуместный) оттенок, который НСВ приобретает при обращении к сидящему человеку, типа «*Вставайте!*», в то время как при употреблении СВ то же самое обращение звучит корректно (нейтрально): «*Встаньте (пожалуйста)!*» Интересно заметить, что лежащему человеку можно сказать «*Вставайте (пожалуйста)!*» для выражения вежливого побуждения к действию. И действительно, действие «встать со стула» во время еды не считается действием «выгодным» («желаемым») для исполнителя, и непосредственное побуждение к немедленному его исполнению потворечит самым обыкновенным нормам этикета. Наоборот, в побуждении «встать с постели» возможна пресуппозиция своего рода «выгодного» («желаемого») для исполнителя действия (ему ведь, хоть и не хочется, действительно нужно, пора вставать).

Отметим также грубоватый тон, заложенный в побуждении типа «*Открывайте скорее дверь!*» (НСВ), по сравнению с более вежливым (корректным) соответствующим побуждением «*Откройте скорее дверь!*» (СВ).

\* \* \*

Сравнивая примеры из чешского и словацкого языков с материалом, приведенным выше, мы увидим, что, наряду с некоторыми аналогиями с русским языком, существуют и заметные различия<sup>6</sup>.

Аналогии касаются прежде всего употребления СВ. Как в русском языке, так и в чешском и словацком языках императив СВ употребляется тогда, когда иллокутивная сила побудительного речевого акта фокусируется прямо на результате действия. Следовательно, и здесь для императива СВ характерны обращения нейтрального или вежливого (в формальном смысле) тона, т. е. обращения «корректные».

Например, типичной нейтральной просьбе, выраженной в русском языке СВ, как «*Откройте, пожалуйста, дверь!*», в чешском и словацком языках соответствуют: чешск. «*Otevřete, prosím, dveře*» и словацк.: «*Otvorte, prosím, dvere*». Такого рода повелительные предложения с СВ — это самые распространенные, нейтрально-вежливые формы императива в обоих языках.

Также относительно НСВ существуют некоторые сходства с русским языком. Мы имеем в виду прежде всего значение многократности (и узуальности), которое по правилу требует НСВ. Так, русскому предложению «Каждый день открывайте окно!» соответствуют чешск.: «*Otvírejte pravidelně okno!*» и словацк. «*Otvárajte pravidelne okno!*»<sup>7</sup>.

Кроме того, НСВ может указывать на то, каким образом должно совершаться само конкретное действие. Так, приводимому выше русскому примеру «*Открывайте дверь осторожно!* Ведь она скрипит, и дети могут проснуться», соответствуют чешск.: «*Otvírejte (Otevřete) dveře pomalu, prosím, protože vracají. Děti by se mohly vzbudit*» и словацк.: «*Otvárajte (Otvorte) tie dvere pomaly, lebo vŕzgajú. Deti by sa mohli zbudíť*».

Как видно из форм в скобках, наряду с формой НСВ, которая считается нормальной, предпочтительной формой, возможна также форма СВ. Эта возможность, существующая также в русском языке, появляется в этих языках гораздо чаще.

Интересно, что в следующих примерах, соответствующих уже приводимому русскому примеру «*Входите осторожно!* Пол мокрый и скользкий», формы НСВ считались всеми информантами предпочтительными или даже нормативными. Видимо, здесь подчеркнуто длительный характер действия не способствует появлению СВ, в то время как форма НСВ очень уместно подчеркивает опасность действия. См. чешск.: «*Vstupujte (Vstupte) opatrně, protože podlaha je mokrá i kluzká*» и словацк.: «*Vchádzajte (Vojdite) opatrne, pretože podlaha je mokrás i šmykľavá*».

Подобным же образом НСВ употребляется в чешском и в словацком языках, когда иллокутивная сила фокусируется на начальной фазе действия. Можно добавить, что в этих языках так же, как и в русском, это значение («приступ к действию») является основным значением формы НСВ в императиве (см. [Корецкий 1962, 59; Späth 1996, 104] и др.).

Именно здесь и появляется существенное отличие чешского и словацкого языков от русского. В исследуемых в данной работе западнославянских языках НСВ может употребляться только при неформальном обращении к собеседнику («на ты» в единственном, «на вы» во множественном числе). В остальных случаях, т. е. в формальных контекстах, предусматривающих вежливые обращения «на Вы», формы НСВ недопустимы или имеют просторечный характер и считаются признаком излишней фамильярности, бескультурья; другими словами, они занимают периферийное место в языковой системе и воспринимаются большинством информантов как очень грубые, почти неупотребляемые формы, вообще чуждые литературному языку.

Сравним уже приведенный русский пример «*Включите* телевизор. Сегодня интересная передача» и «*Включайте* телевизор! Уже семь часов. Передача начинается» с соответствующими примерами в чешском и словацком языках. В то время как в русском языке НСВ во втором примере, не передавая никакого оттенка настоятельности (или грубоcти), просто сообщает, что пора приступить к действию, в чешском и в словацком языках употребление НСВ придало бы предложению подчеркнуто настоятельный, грубый тон, который выходит за пределы литературного языка. Как в первом, так и во втором предложении употребляется только СВ.

См. в чешском языке: «*Zapněte*, prosím, televizi! Dnes je pěkný film», а также «*Zapněte* (\**Zapínejte*), prosím, televizi! Je sedm hodin. Film už začíná».

В словацком языке также употребляется СВ в обоих случаях: «*Zapnite*, prosím, televízor! Dnes je pekný film», а также «*Zapnite* (\**Zapínajte*), prosím, televízor! Je sedem hodín. Film sa už začína».

Только на субстандартном уровне, в некоторых вариантах устной речи, которые ближе к просторечию, можно услышать такие сильно маркированные предложения, как чешск.: «Tak *zapínejte* už tu televizi!», «Tak *zapínejte* tu televizi, jak dlouhó Vám to mám říkat?», «Tak *zapínejte* tu mizernou televizi, když už to musí být» и т. д., или словацк.: «Tak *zapínajte* tu televíziu!» или «Tak *zapínajte* tu televíziu, ako dlho vám to mám hovoriť?». Стоит добавить, что эти фразы уже лексически оформлены так, что они выражают грубоcть в самом ярком виде, и поэтому выбор НСВ соответствует общему тону высказывания.

Интересно заметить, что если речь идет не об обращениях к одному лицу «на Вы», а об обращениях «на ты» (или об обращениях ко многим лицам), то форма НСВ считается вполне допустимой: иными словами, при неформальных обращениях (в случае непринужденных, близких отношений собеседников) употребление НСВ в данных ситуациях возможно (разумеется, возможна и форма СВ, которая остается и в данном случае корректной, нейтральной формой). См. в чешском языке: «*Zapni*, prosím, televizi. Dnes je pěkný film», но «*Zapínej* (*Zapni*), prosím, televizi. Je sedm hodin. Film už začíná». А «на вы» ко многим лицам: «*Zapněte*, prosím, televizi. Dnes je pěkný film», но «*Zapínejte* (*Zapněte*), prosím, televizi. Je sedm hodin. Film už začíná».

То же самое наблюдается и в словацком языке: «*Zapni*, prosím, televízor! Dnes je pekný film», но «*Zapínaj* (*Zapni*) prosím, televízor. Je sedem hodín. Film sa už začína».

А также: «*Zapnite, prosím, televízor. Dnes je pekný film*», но «*Zapínajte (Zapnite), prosím, televízor. Je sedem hodín. Film sa už začína*».

Тот факт, что в чешском и словацком языках употребление НСВ в императиве (если исключить, разумеется, значения многократности и процессуальности) считается слишком фамильярным, грубым и занимает периферийное место в языковой системе, подтверждается другими предложениями, менее нейтральными с точки зрения настоятельности, по сравнению с предыдущим примером.

Рассмотрим, например, русское предложение «*Открывайте (Откройте) дверь! Сколько раз вам говорить?*» и соответствующее предложение в чешском: «*Otevřete (\*Otvírejte) to okno! Kolikrát Vám to mám říkat?*» и в словацком: «*Otvorte (\*Otvárajte) to okno! Koľkokrát Vám to mám povedať?*» В русском языке фраза с НСВ вполне допустима (возможно, и более вероятна в данном контексте), хотя она выражает грубую настоятельность. Соответствующая фраза в СВ («*Откройте дверь! Сколько раз вам говорить?*»), несомненно, более «вежливая», корректная, но можно сказать, что оба варианта принадлежат к стандартному языку, лишь выражая разные стилистические оттенки. По-другому обстоит дело в чешском и в словацком языках, где форма НСВ, как правило, не употребляется<sup>8</sup>.

Еще раз заметим, что при обращениях «на ты» (напр., матери к сыну) или «на вы» ко многим лицам (напр., учителя к своим ученикам) формы НСВ, выражющие настоячивое, иногда невежливое побуждение к действию, становятся вполне допустимыми и даже более естественными вариантами. Разумеется, формы СВ остаются и в данном случае корректными, нейтральными формами.

Так, русскому предложению «*Открывай (Открой) дверь! Ты что, не слышишь?*» соответствуют чешск.: «*Otvírej (Otevři) hned to okno! Už jsem ti to řekla!*» или: «*Tak otvírej (otevři) to okno, když to chceš!*» и словацк.: «*Už aj otváraj (otvor) tie dvere! Koľkokrát ti to mám hovoriť?*»

А в обращениях ко многим лицам см. чешск. «*Otvírejte (Otevřete) hned to okno! Už jsem to řekla!*» или: «*Tak otvírejte (otevřete) to okno, když to chcete!*» и словацк.: «*Už aj otvárajte (otvorte) tie dvere! Koľkokrát vám to mám hovoriť?*»

Приведем еще несколько примеров, поддерживающих сказанное выше.

В своей работе о глагольном виде в императиве в чешском языке Докулил приводит разные примеры, построенные с НСВ, которые так или иначе обозначают «приступ к действию» и конкурируют с СВ по тому же принципу, по которому они конкурируют в русском языке, т. е. по линии настоятельного / нейтрального побуждения к действию: «*Ber jen, co sis zasloužil!*» (но «*Vezmi si své věci!*»), «*Oblékej se! Půjdem!*» (но «*Oblec se! Půjdeme domů!*»), «*Vstávejte, lenoši, už je den!*» (но «*Vstaňte, když s vámi mluvím!*»). См. еще: «*Konej svou povinnost!*» / «*Vykonej svou povinnost!*», «*Zavírej ty dveře!*» / «*Zavři ty dveře!*», «*Zapisuj si, co ti říkám!*» / «*Zapiš si, co ti říkám!*» и т. д. [Dokulil 1948, 77—78]. Все эти примеры, однако, касаются обращений к одному лицу «на ты» или ко многим лицам. Вне подобных ситуаций неформального характера, например, в вежливых обращениях к одному лицу «на Вы», формы НСВ не употребляются. В данных случаях, как правило, употребляется только СВ<sup>9</sup>.

Стоит добавить еще следующие примеры употребления НСВ для обозначения «приступа к действию» в словацком языке: «Už aj vystupuj (или: *vystupuje*) z toho auta!», «Už aj bež (или: *bežte*) po noviny!», «Už aj vstávaj (или: *vstávajte*)!» и т. д. Здесь так же, как в чешском языке, примеры касаются обращений к одному лицу «на ты» или ко многим лицам. Вне подобных ситуаций употребляется только СВ<sup>10</sup>.

Интересные замечания можно сделать и по поводу речевых актов разрешения. В отличие от русского языка, где чаще всего употребляется форма НСВ (которая придает предложению подчеркнуто вежливый тон не дистанцированного, а солидарного типа), в чешском и словацком языках употребляется СВ.

Например, в чешском языке на вопрос «Mohu otevřít okno, prosím?» принято отвечать: «Klidně ho otevřete (\**otvírejte*)!» (или: «Otevřete, otevřete (\**otvírejte*, *otvírejte*), prosím!»). Подобным образом в ответ на вопрос: «Mohu si vzít tu knihu?» принято отвечать: «Vezměte, vezměte (\**berte*, *berte*) prosím!» И наконец, в ответ на вопрос: «Mohu se posadit?» принято отвечать: «Prosím, posad'te se (\**sedejte sì*)!».

То же самое можно сказать о словацком языке. См.:

«Môžem otvoriť okno? — Kl'udne ho otvorte (\**otvárajte*)!»

«Môžem si vziať tú knihu? — Prosím, vezmíte (\**berte*) si ju!»

«Môžem si sednúť? — Nech sa páči, sadnite si (\**sadajte sì*)!»

Общую тенденцию этих двух языков к употреблению императивных форм в основном в СВ (если исключить, естественно, значения многократности и процессуальности) можно проследить и в следующих примерах, где речь идет не о разрешении, а скорее о вежливом поощрении, одобрении уже начатого действия. Как мы видели, в русском языке в данных ституациях употребляется скорее НСВ. Более того, в связи с тем, что исполняемое действие является в данных ситуациях несомненно «выгодным» для исполнителя, НСВ придает побуждению чрезвычайно вежливый тон (не формального, а фамильярного, солидарного типа). Например: «Пожалуйста, открывайте окно, если хотите, мне это не мешает». В отличие от русского, в чешском и словацком языках в данных ситуациях нормативная форма — СВ. См., например, чешск.: «Otevřete (\**Otvírejte*) okno, jestli chcete. Mne to nevadí» и словацк.: «Otvorte (\**Otvárajte*) okno, ak chcete. Mne to nevadí».

Особенно интересным для выделения различного поведения чешского и словацкого языков при употреблении глагольного вида в императиве представляется анализ форм тех вежливых побуждений, которые являются типичными для ситуации «в гостях» (этикетных конструкций приглашения, приветствия, прощания). Как мы видели, в русском языке принято употреблять НСВ, обращаясь к гостю с такими вежливыми приглашениями, как «Проходите, раздевайтесь, садитесь!» Форма СВ не исключена, но она имеет более формальный характер и звучит скорее как приказ (см. подробнее [Benacchio 2002, 166]).

Подобным образом при прощании с гостями принято говорить «Возвращайтесь скорее!», «Приходите к нам в гости!» и т. д.

Иная ситуация наблюдается в чешском и в словацком языках. Здесь в подобных ситуациях употребляется форма СВ. См. в чешском языке: «*Vstupte, prosím, odložte si, posad'te se!* (\**vstupujte, odkládejte si, sedejte si*)». А также: «*Vrat'te se* (\**Vracejte se*) *brzy!*», «*Přijd'te* (\**Přicházejte*) *k nám na návštěvu!*» и т. д.

А в словацком: «*Vstúpte, prosím, odložte si a sadnite si* (\**vstupujte, odkladajte si, sadajte si*)», «*Vráťte sa* (\**Vracajte sa*) *skoro!*», «*Príďte* (\**Prichádzajte*) *k nám na návštevu!*» и т. д.

Итак, сравнительный анализ русского языка с чешским и словацким языками показал нам некоторые интересные явления. Первое — это меньшая степень употребления НСВ в чешском и словацком языках. Даже в таких типичных видовых значениях, как многократность и процессуальность, информанты допускают (или даже предпочитают) употребление СВ, что невозможно в русском языке. Эти выводы полностью совпадают с результатами вышеуказанных исследований Е. В. Петрухиной (см. примеч. 7) и в еще большей степени М. Докулила, который в более ранней, ставшей уже классической работе очень убедительно демонстрирует эту разницу между русским и чешским языками на основе статистического анализа переводов русских литературных текстов на чешский [Dokulil 1948, 81—84].

Меньшая степень частотности употребления НСВ в исследуемых в данной работе западнославянских языках еще более очевидна в других видовых значениях, как, например, «приступ к действию». В данных случаях в этих языках в отличие от русского НСВ может употребляться только при неформальном обращении к собеседнику («на ты» в единственном, «на вы» во множественном числе). В высказываниях, имеющих формальный характер («на Вы»), употребление НСВ ограничено ситуациями грубого или неуместно развязного, слишком непринужденного поведения, для которого типичен просторечный стиль речи. Поэтому оно остается на периферии языковой системы. Характерное для русского языка употребление НСВ в значении вежливого побуждения к желаемому собеседником действию (т. е. в значении вежливости солидарной, «позитивной») ни в чешском, ни в словацком языках не встречается. Отсутствие дистанции, характерное для НСВ, имеет здесь только отрицательный смысл и воспринимается как выражение агрессии. Вежливыми, корректными формами в чешском и в словацком языках могут быть только формы СВ.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Уточним сразу, что, при отсутствии иного указания, приводимые примеры касаются обращений «на Вы» к одному лицу. Кроме того, необходимо уточнить, что они имеют нейтральное интонационное оформление (см. подробнее [Benacchio 2002, 151]).

<sup>2</sup> На это, безусловно, основное значение формы НСВ императива («приступ к действию», по определению О. П. Рассудовой) обращали внимание многие исследователи. Помимо Е. В. Падучевой [1996], об этом писали [Шмелев 1959, 14; Рассудова 1982, 132; Forsyth 1970, 208—212; Culioni, Paillard 1987, 530; Храковский 1988, 277] и др.

<sup>3</sup> Или, употребляя термины Г. Лича, приносит ли действие его исполнителю «выгоду» или содержит для него некие «затраты» (см. [Leech 1983, 123]). См. подробнее [Benacchio 2002, 161—162].

<sup>4</sup> Для более подробного толкования данного вопроса см. [Benacchio 2002, 158—160]. Напоминаем здесь, что разработанная нами идея о различии между дистанцирующей и недистанцирующей функцией глагольного вида в императиве опирается на известную работу Браун-Левинсона о вежливости и, в частности, о различии между негативной и позитивной вежливостью (negative and positive politeness) [Brown, Levinson 1987].

<sup>5</sup> Наряду с формами СВ («Конечно, *откройте!*» и «Конечно, *возьмите!*»), которые также возможны, но употребляются гораздо реже и звучат более отстраненно. Вопрос конкуренции НСВ и СВ в речевых актах разрешения является более сложным и затрагивает т. н. «эффект безразличия». Об этой проблеме см. подробнее [Benacchio 2002, 164—165].

<sup>6</sup> В основе этого анализа лежат как данные, полученные от информантов, так и выводы частных исследований, посвященных этой теме. Грамматики общего характера обычно не затрагивают данной проблемы.

<sup>7</sup> Надо сказать однако, что, в отличие от русского языка, в чешском и словацком языках повторительное выполнение действия не всегда вызывает употребление НСВ. Например, в следующем контексте, который характеризуется тем, что выполняемое действие сосредоточено не только на одном предмете, но и на одной определенной ситуации, предпочтается употребление СВ: «*Otvorte (Otvárajte) to okno vždy, ked je hōrýco!*», а в чешском: «*Otevřete (Otvírejte) to okno vždy, když je vedro!*» О тенденции чешского и словацкого языков к меньшей (по сравнению с русским) обязательности в употреблении НСВ вообще и, в частности, в императиве (особенно когда речь идет о повторяющихся действиях) см. [Петрухина 2000, 66, 75, 232]. См. также [Бенаккио 2004, 270].

<sup>8</sup> НСВ может появляться только на субстандартном уровне языка, особенно в таких сильно маркированных, явно грубых предложениях, как чешск.: «*Tak to otvírejte (otevřete) to okno, když to chcete!*» или словацк. «*Už aj otvárajte (otvorte) tie dvere!*»

<sup>9</sup> Опираясь на исследование Ф. Травничека по чешскому глагольному виду, Докулил утверждает, что старочешские памятники отражают иную ситуацию, похожую на ситуацию современного русского языка, т. е. тенденцию к большему употреблению НСВ [Dokulil 1948, 72].

<sup>10</sup> Следует еще напомнить следующие обращения (адресованные ко многим лицам), взятые из народных словацких сказок или песенок: «*Otvárajte vrátká, mamička prišla — mliečko vám prinesla*», «*Otvárajte kasíno, dostať som chut' na víno!*». См. еще следующее вослицание, характерное для ритуала прихода гостей, когда гости кричат хозяину: «*Otvárajte branu!*» Этот пример вписывается в число т. н. «легких жанров», т. е. текстов, охарактеризованных фамильярно-шутливой, дружеской окраской, где как раз легко найти формы НСВ в императиве; см. также: «*Ber(te)!*», «*Sadaj(te)!*» (Устные замечания А. Ярошовой).

## ЛИТЕРАТУРА

- Бенаккио 2002 — R. Benacchio. Конкуренция видов, вежливость и этикет в русском императиве // Russian Linguistics. 26. 2002. P. 149—178.
- Бенаккио 2004 — R. Benacchio. Глагольный вид в императиве в южнославянских языках // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: Сб. статей в честь Н. Д. Арутюновой. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 267—275.
- Падучева 1996 — Е. В. Падучева. Семантика и pragmatika несовершенного вида императива // Е. В. Падучева. Семантические исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 66—83.

- Петрухина 2000 — *E. V. Петрухина*. Аспектуальные категории глагола в русском языке (в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками). М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000.
- Рассудова 1982 — *O. П. Рассудова*. Употребление видов глагола в современном русском языке. М.: Русский язык, 1982.
- Храковский 1988 — *B. С. Храковский*. Императивные формы НСВ и СВ в русском языке и их употребление // *Russian Linguistics*. 12. 1988. С. 269—292.
- Шатуновский 1996 — *И. Б. Шатуновский*. Семантика предложения и нереферентные слова. М., 1996.
- Шмелев 1959 — *Д. Н. Шмелев*. О значении вида в повелительном наклонении // *Русский язык в школе*. № 20. 1959. С. 13—17.
- Brown, Levinson 1987 — *P. Brown, S. C. Levinson*. Politeness. Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Culioli, Paillard 1987 — *A. Culioli, D. Paillard*. A propos de l'alternance imperfectif/perfectif dans les énoncés impératifs // *Revue des études slaves*. LIX. 1987. P. 527—534.
- Dokulil 1948 — *M. Dokulil*. Modifikace vidového protikladu v ramci imperativu v spisovné češtině a ruštině // Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi. Brno, Slovanský Seminář Masarykovy University v Brně. 1948. S. 71—88.
- Forsyth 1970 — *J. Forsyth*. A grammar of aspect usage and meaning in Russian. Cambridge University Press, 1970.
- Kopečný 1962 — *F. Kopečný*. Slovesný vid v češtině // *Rozpravy Československé Akademie Věd*. 72/2. 1962. S. 58—62.
- Leech 1983 — *G. N. Leech*. Principles of Pragmatics. London; N. Y.: Longman, 1983.
- Späth 1996 — *A. Späth*. Der Imperativsatz im Slowakischen mit Blick auf andere westslawische Sprachen. Syntax, Semantik und Pragmatik eines Satztyps. München, Verlag Otto Sagner, 1996.

*М. Я. Гловинская (Москва)*

## ОЦЕНКА В СОСТАВЕ РЕЧЕВОГО АКТА \*

**П**редметом исследования в данной статье будут глаголы в русском языке, называющие речевые акты (РА). В настоящее время благодаря теории РА, теории толкований и конкретным семантическим описаниям слов, называющих РА в разных языках (особо выделяя семантический словарь А. Вежбицкой об английских РА-глаголах [Wierzbicka 1987], русские рассматривались в [Гловинская 1993]), в целом стала ясной их общая структура, которая должна отражаться в толковом или семантическом словаре:

- 1) Набор пресуппозиций (т. е. компонентов толкования, отражающих очевидные для коммуникантов положения дел, актуальные для данного РА). Обычно пресуппозиции РА отражают мнения и желания субъекта РА, взаимные установки субъекта и адресата РА. Особую роль играют пресуппозиции, отсылающие к цели РА или его причине (мотивировке);
- 2) Главный компонент — ассерция — часть толкования, эксплицитно передающая смысл слов субъекта и (иногда) указание на манеру, способ, которым осуществляется данный РА (если его осуществление требует особой речевой манеры);
- 3) Модальные рамки, отражающие мнение говорящего о данном РА (последнее необязательно).

Приведу простой пример — семантическую структуру глагола **просить**. Этот РА хорошо изучен в литературе. Пресуппозиции: (1) субъект хочет, чтобы имела место ситуация Р; (2) субъект считает, что адресат может сделать так, чтобы имела место ситуация Р; (3) субъект и адресат не считают, что адресат обязан делать это. Ассерция: (4) субъект говорит адресату: я хочу, чтобы ты сделал так, чтобы имела место ситуация Р; (5) субъект говорит это в такой форме, чтобы адресат мог понять, что субъект не считает его обязанным делать это. Мотивировка: (6) субъект говорит это адресату, потому что хочет, чтобы имела место ситуация Р, и считает, что адресат может сделать так; чтобы имела место ситуация Р. Цель: (7) субъект говорит это, чтобы адресат сделал так, как хочет субъект. Как видим, мотивировка

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте», разд. 5.16.

в данном случае отсылает к пресуппозиции (2). Компонент (5), насколько нам известно, в семантические описания этого глагола не включался, но он необходим, так как сам тон просьбы или лексические показатели вежливости (*пожалуйста, будьте добры*) отличают данный РА от приказов и требований.

Соединение имеющихся теоретических результатов с системным лексикографическим описанием русских РА в [НОСС 2004] позволило установить те общие, сквозные признаки, которые необходимы для описания семантики глаголов, называющих РА. Это такие компоненты значения, как 1) цель или мотивировка РА; 2) статус субъекта; 3) статус адресата; 4) новизна информации; 5) характер и масштаб события, о котором идет речь; 6) истинность / ложность передаваемой информации; 7) возможность совпадения адресата и субъекта РА; 8) особые внешние формы выражения речевого акта; 9) открытость / тайность сообщения; 10) оценка содержания или самого факта сообщения; 11) возможность перформативного употребления глагола и некоторые другие.

В данной статье наиболее подробному рассмотрению будет подвергнут компонент ‘оценка говорящим речевого акта’.

Вначале сделаем несколько замечаний более общего характера, а именно, остановимся на соотношении положительных и отрицательных оценок, выражаемых РА-глаголами и языком вообще. После этого мы рассмотрим те оценки, которым говорящий может подвергать различные аспекты РА.

Если разбить все глаголы, обозначающие РА, на группы РА с близкими целями, такие как сообщения, доносы, уверения, признания, предсказания, предупреждения, жалобы, объяснения, обещания, просьбы, требования, приказы, отказы, согласия, вопросы, ответы, одобрения, осуждения, возражения и т. д., то больше всего глаголов окажется в группе «Осуждения, упреки и оскорблений» (более 80 глаголов), в то время как объем в других группах не превышает трех десятков [Гловинская 1993].

Это объясняется асимметричностью языка в выражении положительных и отрицательных оценок: лексика отрицательной оценки (в широком смысле, включая прагматическую отрицательную оценку некоторых действий или объектов), как известно, гораздо более разнообразна и богата, чем лексика положительной оценки. Ср., например, «отрицательный» синонимический ряд *бить, избивать, лупить, лупцевать, колотить, колошматить, дубасить, молотить, тузить, утюжить, мутузить, метелить, охаживать, отдельывать, накостылять* и гораздо более бедный «положительный» ряд соответствующих антонимичных значений: *ласкать, гладить, голубить*. Ср. также ряд *бездельничать, лодырничать, баклужничать, болтаться, шалопайничать, лоботрясничать, бить баклушки, гонять лодыря, плевать в потолок, лежать на печи* и противостоящий ему минимальный ряд *работать, трудиться*. Любопытно, что как только к понятию ‘работать’ добавляется отрицательная оценка, немедленно становится возможной более богатая синонимия; ср. *ишаствовать, трубить, ломить, корпеть, потеть, пахать, гнуть спину* *⟨горб⟩*, *ломать спину* *⟨горб⟩*, *везти воз, тянуть лямку, натирать мозоли* и т. п.; подробнее об этом см. [Апресян, Гловинская 1996].

Аналогичным образом устроены и глаголы, обозначающие РА. Наиболее обширен класс глаголов, выражающих идею неодобрения (*осуждать, ругать, критиковать, обличать, оскорблять* и т. п.). В нем, как было сказано выше, больше 80 лексических единиц. Антонимичный класс глаголов, обозначающих одобрение, почти в пять раз меньше. При этом оценочно вполне нейтральных лексем и в этом классе немного — *хвалить, одобрять, восторгаться, восхищаться*. В значение остальных лексем с общим значением ‘хвалить’ входит указание на отрицательную оценку действия субъекта со стороны говорящего; ср. *льстить, захваливать, превозносить, славословить, курить фимиам* и т. п. Семантические признаки, различающие глаголы со значением неодобрения, тоже разнообразнее, чем признаки, различающие глаголы со значением одобрения.

Таким образом, лексика хулы в целом оказывается более разработанной в языке, чем лексика хвали.

Поэтому естественно было бы ожидать, что отрицательную оценку будет содержать большая часть оценочных РА-глаголов, а положительную — меньшая часть. Действительность, однако, превосходит наши ожидания. Оказалось, что все оценочные глаголы, обозначающие РА, содержат **только** отрицательную оценку со стороны говорящего<sup>1</sup>. Пока что не зафиксировано ни одного случая положительной оценки; очевидно, хорошее воспринимается языком как норма.

При этом отрицательной оценке могут подвергаться разные аспекты РА.

Что осуждается языком в первую очередь? Можно было бы ожидать, что это будут нарушения правил кооперативного общения — неискренность, невежливость и т. д. Эти нарушения, действительно, подвергаются отрицательной оценке. Однако первое место занимает отрицательная оценка другого аспекта РА.

**1) В большинстве случаев осуждается направленность РА против интересов другого лица и связанная с этим корыстность субъекта.**

С этой точки зрения отрицательной этической оценке самого факта сообщения или его содержания подвергаются следующие РА.

а) Любые типы доносов: *наушничать, ябедничать, фискалить, капать, капнуть, кляузничать, доносить, стучать, стукнуть* и т. п. Характеристика действий какого-то лица посредством этих глаголов является обидной для него, и сам человек о себе не говорит «*Пойду-ка накляузничаю*» или «*донесу*». Ср. также *Есть, видите ли, такая штука — этика. Не «журналистская» — народная этика. Однинадцатая заповедь, если хотите. Не стучи!*» (*«Столица»*, № 11, 93). Отрицательная оценка связана именно с тем, что данные действия совершаются не ради конструктивных целей. Субъект знает, что действия какого-то лица с точки зрения власти являются нежелательными; он сообщает власти о них, потому что хочет навредить этому лицу и получить какую-то награду за свое сообщение (не обязательно материальную) [Wierzbicka 1986; Гловинская 1993; 1996].

В то же время глаголы *жаловаться, сигнализировать* и *заявлять* обозначают сходные действия, которые, однако, могут быть мотивированы желанием оградить себя или исправить положение, а не навредить другому (*Соседка пожаловалась*

*родителям мальчика, что он разбил ей стекло мячом или сигнализировать в управление, что дорогу размыло). Поэтому эти три глагола по признаку этической оценки нейтральны [Гловинская 1997].*

б) В группе «Требования» словом с отрицательной оценкой является глагол *шантажировать*. Тот, кто шантажирует, всегда преследует корыстные цели. В отличие от этого, *предъявлять ультиматум* (т. е. тоже обещать сделать нечто нежелательное для адресата, если он не выполнит требование субъекта) можно с самыми разными целями, в том числе и с благими, например освободить заложников. Поэтому этот РА никакой оценке не подвергается.

в) Особенno много глаголов, содержащих отрицательную оценку чьего-то РА со стороны говорящего, мы находим в группе «Осуждения»: *ославлять, порочить, хаять, хулиговать, чернить, шельмовать, охавывать, поносить* и др. Например, *Когда я думаю о том, что происходило тогда, когда шельмовались лучшие наши художники, когда клеймили позором гениального Шостаковича, когда музыку удивительного, моего любимого композитора Прокофьева называли «какофонией звуков», я понимаю, что время остановилось* (Г. Вишневская, Галина. История жизни); *Далее, мы не можем позволить товарищу представителю порочить наших лучших людей, чернить заслуженного профессора* (А. и Б. Стругацкие, Сказка о тройке). Цель субъекта подобных РА состоит в том, чтобы испортить чью-то репутацию, выражая свое негативное мнение об объекте, притом несправедливое, в резкой форме, что само по себе является предметом осуждения в языковой этике.

Необоснованность, огульность и несправедливость утверждения особенно характерна для РА *хаять, охавывать, хулиговать*. *Обоим хочется Ванюшку себе взять, (...) вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник!* (Горький, МАС); *Я понимаю, что в этих стихах есть недостатки, но зачем же все подряд охавывать?; Хулигать своих научных противников — последнее дело: брань не может служить доказательством.*

И в группе осуждений есть РА, не подвергающиеся отрицательной оценке, например *бичевать, громить, изобличать*. Они могут иметь целью исправление какого-то положения дел, а не исключительно изменение к худшему чьей-то репутации. Особенno показателен в этом отношении РА *ругать*, который часто осуществляется даже в интересах адресата, чтобы он в дальнейшем не делал того, что с точки зрения субъекта ему может повредить (*Мать ругала дочку, что она сутулится; Мы ругали его за нерешительность*). Поэтому этот глагол никакой оценки не содержит. То же самое можно сказать о РА *осуждать*<sup>2</sup>, который сам по себе оценки не содержит и может использоваться для выражения как объективных, справедливых, так и несправедливых оценок; ср. *Он видит посетителей нас kvоз и резко осуждает их хищничество и лицемерие* (О. Михайлов, Об Иване Шмелеве); *Все нехороши, всех я осуждаю. Один глуп, другой противный, третий грязный. Одна я хороша* (А. Н. Толстой, Сестры).

г) В группе «Убеждения» отрицательной оценке подвергаются РА *подбивать, подначивать*. Цель этих РА — убедить адресата сделать нечто плохое для него само-

го или для третьего лица: *По крайней мере не будешь мутить рабочих на фабрике, не будешь подбивать их бросить работу* (Н. Носов, *Незнайка на Луне*); Значит, младший брат цареубийцы *подбивает* студентов к неповиновению? Что бы он получил у нас? Да безусловно *расстрел!* (...) А его исключают из Университета (А. Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ); Еще страшнее, что советская власть *подначивает* бездарных завистников (...) от имени народа уничтожать творческую мысль страны (Г. Вишневская, Галина. История жизни).

## 2) Отрицательной оценке подвергается **неискренность субъекта**.

Казалось бы, в этом случае в первую очередь отрицательной оценке должны подвергаться действия *врать, лгать и обманывать*. Оказывается, однако, что эта оценка — прагматическая (принятая в общественной морали). В значение данных слов она не входит. Это связано с тем, что данные действия могут производиться с разными целями и по разным причинам, и оцениваются они в разных ситуациях по-разному. Иногда эти цели неблаговидны (примеры не приводим ввиду очевидности), иногда вполне невинны и предпринимаются по «уважительным» причинам. Например, субъект может хотеть продемонстрировать, что он не хуже других, ср. *Правда, сам Котька с ожесточением врал, будто мама у него — народная артистка, а папа — капитан пятого ранга* (И. Сергиевская, Флейтист); он может врать с целью кого-то утешить или ободрить, ср. «*Что-то должно произойти! Я чувствую — нам что-то поможет!!! Я врал самым беспардонным образом! Ничего я не чувствовал!* Никакой помощи ниоткуда не ждал (В. Кунин, Кыся); вранье может быть результатом полета фантазии, ср. *Петька врал, будто старинный, прикрытый горкой подкоп, на котором мы сидели, ведет из сада на тот берег реки под водой и будто Петька один раз дошел до середины* (В. Каверин, Два капитана); *Даже если врали бескорыстно, для интереса* (А. и Б. Стругацкие, Жук в муравейнике); наконец, можно вынужденно врать в целях спасения себя самого или близкого человека; ср. *Все эти годы она врала про гордость и разбитое сердце, чтобы не потерять работу* (Н. Мандельштам, Воспоминания).

В последнем случае (ради спасения) даже глагол *лгать*, представляющий действие как более расчетливое и холодное, чем *врать* (ср. *вдохновенно* *(красочно)* *врал*, но не *вдохновенно лгал*), может употребляться без всякой оценки. Ср. следующий текст, где первые употребления *лгать* отражают представление об этом действии как стыдном, поскольку оно могло повредить адресату, но становятся нейтральными, когда речь идет о нем как о вынужденном, необходимом для спасения автора.

*«Не написал ли он чего-нибудь сгоряча?» Я ответила — нет, так, отщепенские стихи, не страшнее того, что Николай Иванович знает... Я солгала. Мне до сих пор стыдно. Но скажи я тогда правду, у нас бы не было «воронежской передышки». Надо ли лгать? Можно ли лгать? Оправдана ли «ложь во спасение»? Хорошо жить в условиях, когда не приходится лгать. Есть ли такое место на земле? (...) Без лжи я не выжила бы в наши страшные дни. И я лгала всю жизнь — студентам, на службе, добрым знакомым, которым не вполне доверяла, а таких*

было большинство. И никто мне при этом не верил — это была обычная ложь нашей эпохи, нечто вроде стереотипной вежливости. Этой лжи я не стыжусь, а Николая Ивановича я ввела в заблуждение вполне сознательно, с холодным расчетом — нельзя отпугивать единственного защитника... И это другое дело... Но могла ли я не солгать? Я солгала (Н. Мандельштам, Воспоминания).

В этой группе отрицательно оцениваются такие РА, которые, помимо неискренности, всегда характеризуются корыстными и потому отрицательно оцениваемыми интересами субъекта, — т. е. это всегда ложь ради корысти.

Примеры отчасти приводились выше — льстить, захваливать, превозносить, славословить, курить фимиам и др. Ср. *Иногда сидит, слушает молча, а потом, когда все уйдут, вдруг возьмет да и скажет: «Папочка, мамочка, вы не верьте товарищу такому-то. Это он все только притворяется и вам льстит, а я знаю, что в душе он буржуй и предатель рабочего класса»* (В. Ходасевич, Белый коридор). Славословить и, видимо, превозносить, имеют более сложную оценку: ‘Говорящий считает похвалу неискренней и неумеренной, осуществляющей с корыстными целями, либо считает недостойным сам предмет похвалы’. Пример на неискренность: *Они думают обмануть Сталина! Не удастся обмануть Сталина! Сколько бы они ни славословили его, сколько бы ни клялись его именем — не обманут* (А. Рыбаков, Дети Арбата). Пример на недостойность предмета похвалы: — *Настоящий интеллигентный, в очках (...), кисленькие стишки Надсона славословил* (М. Горький, Жизнь Климова Самгина).

Отчетливую отрицательную оценку в этой группе получают РА, имеющие целью создание заведомо неверного плохого мнения об объекте речи у адресата, — возводить напраслину / поклеп, инсинуировать, клеветать, наговаривать на кого-то, оговаривать кого-то. Ср. пример, где один и тот же текст интерпретируется и оценивается по-разному (в одном случае положительно, а в другом отрицательно), в зависимости от того, как говорящий представляет себе цель автора текста: *В соответствии с политическими своими предубеждениями, одни заявляли, что Бунин в «Деревне» высказал о российском мужике «горькую правду», другие, напротив, что мужика он «оклеветал»* (В. Ходасевич, Бунин. Собрание сочинений). Ср. также указание на мотивировку действия (отрицательно оцениваемую) в следующих примерах: *Я скажу, что ты оговорил ее из мести* (А. Рыбаков, Дети Арбата); *Ну как передумает, скроется, или еще чего по злобе и страху выкинет, оговорит всех!* (М. Веллер, Легенды Невского проспекта). Наличие отрицательной оценки в значении этих глаголов создает прагматическое препятствие для их употребления в 1-м лице; ср. странность *Пойду оклевещу (оговорю) его*.

3) Отрицательно может оцениваться **сам факт РА и личность субъекта**, как она проявляется в РА. Таковы, например, глаголы плакаться, ныть, хныкать и скулить. Все четыре синонима предполагают отрицательную оценку как жалобы, так и самой личности субъекта — говорящий считает жалобу необоснованной или преувеличенней, а самого субъекта — нестойким, слабым или склонным к жалостливому эгоцентризму человеком. Ср. *Хватит ныть (хныкать, скулить)*,

*другим намного трудней, и то они не жалуются; Вечно она плачется, что денег нет, а сама по курортам разъезжает; Всем жарко, хватит скулить. Тебе самому не противно быть таким размазней?; Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал (В. Каверин, Два капитана); У тебя тут не люди, а золото, а ты хнычешь, что они никуда не годятся (Степанов, МАС).*

Повод для жалобы во всех четырех случаях рассматривается как м е л к и й. Поводом для *ныть, хныкать и скулить* часто является боль или другой подобный вид физического дискомфорта, а *плачутся* скорее на социальный, моральный или душевный дискомфорт.

Рассмотрим с точки зрения оценки еще глаголы *хвастаться, хвалиться, бахвалиться*. Все они употребляются для обозначения ситуации, когда субъект рассказывает о своих хороших свойствах или поступках. Тем самым нарушаются максима скромности [Leech 1983]. Но наличие отрицательной оценки и ее степень зависят от дополнительных условий — мотивировки РА.

Будем опираться на описание этих синонимов в [Апресян 2000]. «Хвастаться хуже, чем *хвалиться*, а наиболее резкое осуждение вызывает акт *бахвалиться*» [Указ. соч.]. Мотивировкой *хвастаться* является «*т щ е с л а в н о е желание быть в центре внимания или выглядеть как можно значительней в глазах собеседника*». Напоказ могут выставляться даже поступки и свойства, сомнительные с общепринятой точки зрения или о которых вообще не принято говорить публично, если субъект считает, что они выгодно отличают его от других людей; ср. [Юшка] *стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет* (И. Бунин, Суходол). Иногда данный РА может осложняться сильными преувеличениями или даже прямой ложью.

Мотивировкой *бахвалиться и хвалиться* является неспособность сдержать с а м о д о в о л ь с т в о; ср. *Ты Сережке бахвалился, что я без тебя как без хлеба жить не могу* (Горький, БАС); *Старик выпил лишнее и стал хвалиться, что у него с собой денег много* (Чехов, ССин). *Бахвалиться* часто предполагает утверждение своего превосходства над другим человеком, отсюда такая резкая отрицательная оценка этого РА.

С *хвалиться* дело обстоит менее ясно. Этот РА может отражать и самодовольство, и просто желание поделиться своей радостью, достижением; ср. *Было необходимо ежеквартально собираться на неформальные рабочие встречи-отчеты, говорить о победах и трудностях. Хвалиться и жаловаться. Ругаться часто и понемногу* (газ. «30 октября», март (спецвыпуск) 2004, Е. Джирикова). Требует специального исследования вопрос, включается ли отрицательная оценка в значение глагола *хвалиться* или она имеет прагматический характер, а если включается, то является ли она слабым компонентом и можно ли указать языковые факторы для ее снятия<sup>3</sup>. Если такие факторы в целом носят не языковой, а прагматический характер, то, как и в случае с *врать и лгать*, придется признать отсутствие оценки в значении этого глагола.

**4) Наконец, отрицательно оцениваться может и сама форма РА.**

Так, РА *тилить* и *грызть* выполняются однодразно, с неоднократным возвращением к тому, что было сказано. Выражая осуждение в такой форме, субъект не столько стремится к исправлению адресата, сколько дает выход своему раздражению или проявляет какие-то неприятные свойства своего характера — придирчивость, мелочность и т. п. Поэтому его осуждение всегда воспринимается как чрезмерное и несправедливое по отношению к адресату. Ср. *Сколько можно грызть человека за неудачную покупку? Ведь ты его уже два часа пилиши!* Нарушение интересов адресата и проявление неприятных свойств субъекта объясняет отрицательную оценку речевых актов *тилить* и *грызть* со стороны говорящего.

Естественно было бы ожидать, что отрицательная оценка со стороны говорящего войдет в значение таких глаголов, как *поносить* и *крыть*, — в связи с грубостью, резкостью и немотивированной интенсивностью соответствующих РА. Но любопытно, что отрицательно эти РА оцениваются только в том случае, если говорящий не разделяет неодобрительного мнения субъекта. Ср. *На собрании деятелей культуры Москвы в Центральном доме работников искусств, где должны были поносить Пастернака, намечалось выступление Славы, о чем его и поставил в известность секретарь парторганизации Московской консерватории* (Г. Вишневская, Галина. История жизни); *В канун Нового года «левая» пресса буквально изныла*: народ охладел к демократии, равнодушен, на выборы не ходит, газеты не выписывает, Моссовет и Ленсовет кроет почем зря (Русская политическая метафора. Материалы к словарю). В случае же когда мнение говорящего не расходится с неодобрительным мнением субъекта, он не находит ничего предосудительного в данных РА; ср., например, *Ивор оставлял шутовство и обращался в нормальную серьезную личность, лишь (...) принимаясь поносить английские «высшие классы» — в особенности их выговор* (В. Набоков, Смотри на Арлекинов!; пер. С. Ильина); *Ну бесполезность, крыл такие порядки Паша, ну лодыри все поголовно* («Огонек», 1989, № 16).

Итак, есть основания не включать в значение глаголов *поносить* и *крыть* отрицательной оценки самих этих РА или их грубой формы. Об этом говорит и возможность их употребления в 1-м лице, когда говорящий и субъект РА совпадают. Ср. *Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму: — Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп?* (С. Довлатов, Чемодан).

Таким образом, компонент ‘оценка’ входит в значение многих РА и тесно связан с характером цели и мотивировки РА. В целом система оценок РА отражает заключенное в языке своеобразное представление о справедливости. С одной стороны, подвергаются наиболее резкой отрицательной оценке такие РА, которые направлены исключительно против интересов лиц, о которых идет речь, и служат корыстным целям самого субъекта. В то же время весьма близкие к ним РА, осуществляемые, однако, с конструктивными целями — ради исправления чего-то, а также в целях самозащиты субъекта, не подвергаются отрицательной оценке, даже если они и нежелательны для адресата или объекта (*жаловаться, ругать*).

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ср. рассуждение о различии оценок РА «изнутри» (субъектом РА) и «со стороны» (говорящим-интерпретатором) в работе [Булыгина, Шмелев 1994/1997: 405—416].

<sup>2</sup> Мы отвлекаемся от того обстоятельства, что *осуждать* может означать не только речевой, но и ментальный акт.

<sup>3</sup> В [Апресян 2000] отмечается, что в форме СОВ синонимы *похвастаться* и *похвалиться* обозначают умеренную степень хвастовства и в значительной степени утрачивают отрицательную оценку, присущую форме НЕСОВ. Но ослабление оценки у *хвалиться* встречается и в НЕСОВ.

## СОКРАЩЕНИЯ

- БАС — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.; Л., 1948—1965.  
 ССин — Словарь синонимов современного русского литературного языка / Отв. ред. А. П. Евгеньева. Т. I—II. Л., 1970—1971.

## ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1999 — *Апресян Ю. Д.* Отечественная теоретическая семантика в конце XX столетия // Известия АН. Сер. лите-ры и языка. Т. 58. № 4, июль—август 1999. С. 39—53.
- Апресян 2000 — *Апресян Ю. Д.* Словарная статья **хвастаться...** // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2 / Под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. М., 2000.
- Апресян, Гловинская 1996 — *Апресян Ю. Д., Гловинская М. Я.* Юбилейные заметки о необычайных словах: *ругать* и его синонимы // Московский лингвистический журнал. Т. 2. М.: РГГУ, 1996. С. 11—26.
- Апресян, Гловинская 1997 — *Апресян Ю. Д., Гловинская М. Я.* Словарная статья **жаловать-ся 1...** // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1 / Под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. М., 1997.
- Булыгина, Шмелев 1994/1997 — *Булыгина Т. В., Шмелев А. Д.* Rsportrаж (de re) VS. интерпретация (de dicto) // Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). Гл. 3. Оценочные речевые акты извне и изнутри (с. 405—416). М., 1997.
- Гловинская 1993 — *Гловинская М. Я.* Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект / Ред. Е. А. Земская. М.: Наука, 1993. С. 158—218.
- Гловинская 1996 — *Гловинская М. Я.* Что такое плохо (фрагмент наивной этики) // Поэтика. Стилистика. Язык и культура: Памяти Т. Г. Винокур. М., 1996. С. 242—249.
- Гловинская 1997 — *Гловинская М. Я.* Словарная статья **жаловаться 2...** // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1 / Под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. М., 1997.
- НОСС 2004 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и доп. / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М.; Вена: Языки славянской культуры; Wiener Slawistischer Almanach, 2004.
- Leech 1983 — *Leech G. H.* Principles of Pragmatics. L.; N. Y., 1983.
- Wierzbicka 1986 — *Wierzbicka A.* Two Russian speech act verbs. Lexicography as a key to conceptual and cultural analysis. Folia slavica. Columbus, Ohio. 1986. Vol. 8. № 1.
- Wierzbicka 1987 — *Wierzbicka A.* English speech act verbs. A semantic dictionary. Academic Press Australia, Inc. (London) LTD.

*П. М. Аркадьев (Москва)*

ТИПОЛОГИЯ И ДИАХРОНИЯ:  
НАБЛЮДЕНИЯ НАД ПАДЕЖНЫМ СИНКРЕТИЗМОМ  
В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ \*

*0. Предварительные замечания*

Цель данной работы — показать на материале падежного словоизменения славянских языков, как взаимодействуют синхронно-типологические и диахронические тенденции в морфологии. В качестве объекта анализа выбраны разнообразные случаи падежного синкремизма (понимаемого как материальное совпадение словоформ, грамматические характеристики которых различаются только граммемами падежа, т. е. омонимия форм в пределах *номинативы*, см. [Зализняк 2002 (1973), 618 — 620]), которыми изобилует славянское склонение.

Необходимо отметить, что это явление сравнительно хорошо изучено, преимущественно за рубежом, как в исторической, так и в типологической перспективе (см. хотя бы такие работы, как [Krámský 1974; Boeder 1976; Plank 1979; 1986; 1990; 1991; Goddard 1982; Carstairs 1984; 1987, ch. 4; Zwicky 1985; Luraghi 1987; 1991; 2000; Coleman 1991; Meiser 1992; Stump 1993; 2001, ch. 7; Williams 1994; Johnston 1997; Baerman et al. 2002]; славянским языкам и, в частности, русскому языку, посвящены работы [Дурново 1971 (1922); Якобсон 1985 (1936); 1985 (1958); Добромусловы 1961; Хабургаев 1963; Сологуб 1972; 1983; Georgiev 1973; Hamilton 1974; Chvany 1996 (1982); Gvozdanović 1991]). Тем не менее не следует думать, что про падежный синкремизм уже все известно; в частности, лишь в последние годы была поставлена задача создать каталог случаев падежного синкремизма, представленных в языках мира (см. [Baerman et al. in progress]), а без такого рода базы данных трудно делать надежные типологические обобщения. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что значительная часть известных случаев падежно-

\* Я благодарю Д. С. Ганенкова, А. В. Дыбо, И. Б. Иткина и В. А. Плунгяна, ознакомившихся с рукописью статьи на разных стадиях ее подготовки и высказавших ряд ценных замечаний, которые я постарался учесть. Естественно, ответственность за все возможные ошибки и неверные трактовки несу я один.

го синкретизма, вопреки представлению некоторых исследователей (ср. хотя бы [Trnka 1992]), не является результатом случайного совпадения показателей, вызванного историческими изменениями фонетики, и имеет принципиально иную природу, нежели лексическая омонимия типа *лук<sub>1</sub>* vs. *лук<sub>2</sub>*. Напротив, падежный синкретизм — важный и интересный параметр межъязыкового варьирования, на который налагаются весьма строгие типологические ограничения. Некоторые из этих ограничений и будут рассмотрены ниже.

### *1. Типология падежного синкретизма*

В данном разделе я кратко опишу те установленные на данный момент параметры типологии падежного синкретизма, которые релевантны для обсуждения фактов славянских языков. Эти параметры были выявлены и проверены на материале языков различных семей и ареалов и имеют несомненное лингвистическое значение.

**1.1. Систематический vs. несистематический синкретизм.** При анализе падежного синкретизма как в конкретном языке, так и в типологическом освещении важно отличать случаи синкретизма, являющиеся характерными и значимыми признаками данной падежной системы, от тех, которые разумнее трактовать как случайные (о разных подходах к этой проблеме см. [Zwicky 1985; 1991; Carstairs 1984; 1987, 91—106; Plank 1990, 395—400, 405; 1991, *passim*; Coleman 1991, 199—201; Корбет, Фрэзер 1997, 132—134]).

*Систематическими* я буду называть те случаи синкретизма, которые характеризуют относительно большие группы номинатем, объединенных по некоторому грамматическому признаку, значимому для данной падежной системы. Случаи синкретизма, не удовлетворяющие данному определению, я буду называть *несистематическими*. Это определение, разумеется, неформально, а само противопоставление носит скорее градуальный, нежели абсолютный характер. Приведу несколько характерных примеров.

Типичный случай систематического синкретизма — совпадение Acc с Nom или с Gen в зависимости от одушевленности в русском языке, ср. следующие парадигмы существительных во множественном числе:

	неодушевленные				одушевленные		
Nom	камни	города	морозы	окна	соседи	арабы	поросята
Acc	камни	города	морозы	окна	соседей	арабов	поросят
Gen	камней	городов	морозов	окон	соседей	арабов	поросят

Характерной особенностью, ярко выраженной в этом примере, является независимость систематического синкретизма от облика конкретных показателей:

каким бы окончанием ни были выражены NomPl или GenPl в русском языке, AccPl всегда совпадает с одним из них в зависимости от грамматического признака одушевленности лексемы.

Типичный случай несистематического синкретизма представлен в хакасском языке [Баскаков (ред.) 1975]:

	‘лыжи’	‘шуба’	‘моя лошадь’
Nom	<i>sana</i>	<i>ton</i>	<i>adym</i>
Abl	<i>sanadaŋ</i>	<i>tonnaŋ</i>	<i>adymnaŋ</i>
Ins	<i>sananaŋ</i>	<i>tonnaŋ</i>	<i>adymnaŋ</i>

Здесь легко выделяются показатели Abl (*-day*) и Ins (*-nay*); при этом действует морфонологическое правило, требующее уподобления начального *d* суффикса конечному согласному корня, в результате чего у довольно обширного множества существительных эти показатели оказываются омонимичными. Тем самым омонимия показателей в хакасском языке обусловлена исключительно особенностями фонотактики, а не морфологии этого языка.

**1.2. Классификация случаев синкретизма в зависимости от затрагиваемых падежей.** Другой важный параметр при анализе падежного синкретизма — какие падежи им затронуты. Вслед за работой [Baerman et al. 2002] я выделяю следующие основные типы:

- ◆ синкретизм ядерных падежей (Nom и Acc в языках аккузативного строя, Abs и Erg в языках эргативного строя); ядерные падежи являются в языках с падежами основным средством выражения базовых грамматических отношений S (единственный актант непереходного глагола), A (Актор переходного глагола) и U (Претерпевающий переходного глагола), см. [Dixon 1994, 6—8; Кибрик 2003, 114—115]; Nom и Abs называются «ненаркированными», а Acc и Erg — «маркированными» ядерными падежами;
- ◆ синкретизм одного (как правило, «маркированного») или обоих ядерных падежей и одного или нескольких периферийных падежей;
- ◆ синкретизм нескольких периферийных падежей.

Все три типа широко представлены в славянском ареале. Приведу примеры из русского языка:

- ◆ синкретизм ядерных падежей и «маркированного» ядерного падежа с периферийным был проиллюстрирован выше на примере совпадения Acc с Nom или Gen;
- ◆ синкретизм периферийных падежей — например, совпадение Gen и Loc во множественном числе всех прилагательных и местоимений, сп.:

Nom	<i>дама</i>	<i>красивые</i>	<i>эти</i>	<i>мы</i>
Gen	<i>дамов</i>	<i>красивых</i>	<i>этих</i>	<i>нас</i>
Loc	<i>дамах</i>	<i>красивых</i>	<i>этих</i>	<i>нас.</i>

В данной работе меня будут интересовать случаи падежного синкремизма первых двух типов, поскольку именно они в наибольшей степени проявляют нетривиальные особенности межъязыкового варьирования.

**1.3. Ограничения на синкремизм ядерных падежей.** Синкремизм, затрагивающий только ядерные падежи, — наиболее распространенный тип в языках мира. Он имеется, в частности, в индоевропейских, северокавказских, финно-угорских, австралийских языках.

Вопрос о том, случайно ли распределение совпадающих и различающихся форм ядерных падежей в парадигмах, — пожалуй, единственный такого рода вопрос, привлекший особое внимание лингвистов и получивший относительно убедительное решение. Как было продемонстрировано в известной статье [Silverstein 1976] (см. также [Dixon 1994, 83—94; Goddard 1982])<sup>1</sup>, выражение базовых грамматических функций в языках мира подчиняется следующему принципу:

чем выше (левее) данная лексема в Иерархии агентивности (см. ниже), тем больше вероятность, что она будет иметь особую словоформу, выражающую функцию U, а чем ниже (правее) данная лексема в Иерархии агентивности, тем больше вероятность, что она будет иметь особую словоформу, выражающую функцию A.

Иерархия агентивности выглядит так [Dixon 1994: 85]:

местоимения			существительные			
1 лицо	2 лицо	3 лицо	личные имена	люди	животные	прочие
большая агентивность				меньшая агентивность		

Из сформулированного принципа, в частности, вытекает, что

- ◆ если в языке с противопоставлением Abs ~ Erg имеется их синкремизм у лексем, занимающих более низкое положение в Иерархии агентивности, то такой синкремизм имеется и у лексем, занимающих более высокое положение в Иерархии агентивности;
- ◆ если в языке с противопоставлением Nom ~ Acc имеется их синкремизм у лексем, занимающих более высокое положение в Иерархии агентивности, то такой синкремизм имеется и у лексем, занимающих более низкое положение в Иерархии агентивности.

Приведенные только что предсказания, в общем, подтверждаются языковыми данными; в частности, синкретизм NomAcc у определенных классов существительных (неодушевленные, неличные, среднего рода) в большинстве индоевропейских языков, сохраняющих аккузативную систему маркирования S, A и U, может быть объяснен, именно исходя из этого принципа.

Как и к любой универсалии, к сформулированному принципу имеются контрпримеры; приведу один из наиболее показательных: тохарский А язык [Krause, Thomas 1960], где Nom и Acc, различающиеся у ряда существительных во множественном числе (в том числе и неодушевленных), совпадают у личных местоимений:

	‘города’	‘мы’
Nom	<i>riñ</i>	<i>was</i>
Acc	<i>ris</i>	<i>was</i>

**1.4. Ограничения на синкретизм ядерных и периферийных падежей.** Для того чтобы установить нетривиальные закономерности распределения случаев синкретизма ядерных и периферийных падежей в языках мира, мной были обработаны данные около ста языков различной генетической и ареальной принадлежности (подробнее см. [Аркадьев рукопись; Arkadiev 2004]). В результате были выявлены следующие факты (здесь и далее я буду говорить только об аккузативных языках):

- ◆ наиболее часто встречается синкретизм «маркированного» ядерного падежа (Acc) с одним из «грамматических» периферийных падежей — Dat или Gen;
- ◆ значительно реже встречается синкретизм «маркированного» ядерного падежа (Acc) с одним из «неграмматических» периферийных падежей (например, Ins или Loc);
- ◆ довольно часто встречается синкретизм обоих ядерных падежей с одним из «грамматических» периферийных;
- ◆ редко встречается синкретизм «немаркированного» ядерного падежа (Nom) с периферийными падежами, как «грамматическими», так и «неграмматическими».

Те случаи синкретизма, которые встречаются в языках часто, как правило, оказываются систематическими и диахронически стабильными (являются «естественными» в терминах работы [Dressler (ed.) 1987]). Напротив, редко встречающиеся случаи синкретизма почти всегда несистематичны и имеют тенденцию к исчезновению из языка в процессе его развития.

Для объяснения обнаруженных фактов была привлечена сформулированная на независимых основаниях Иерархия падежей (см. [Blake 1994, 157—162]):

Nom > Acc > Gen, Dat > остальные периферийные падежи

Ограничение на падежный синкремизм, сформулированное в терминах Иерархии падежей, выглядит так:

систематическими и диахронически стабильными могут быть только такие случаи падежного синкремизма, которые затрагивают падежи, расположенные рядом на Иерархии падежей.

Тем самым Иерархия допускает синкремизм ядерных падежей (NomAcc), «маркированного» ядерного падежа с одним из «грамматических» периферийных (AccGen или AccDat), разнообразные случаи синкремизма периферийных падежей, а также синкремизм обоих ядерных падежей с «грамматическими» периферийными падежами (NomAccGen или NomAccDat). Напротив, Иерархия предсказывает, что нарушающие ее случаи синкремизма, например NomDat или AccIns не будут систематическими и диахронически стабильными.

## *2. Падежный синкремизм в славянских языках в свете данных типологии*

В этом разделе я остановлюсь на некоторых аспектах исторического развития отдельных моделей падежного синкремизма в славянских языках и проанализирую их в терминах, введенных в предыдущем разделе. Особое внимание будет уделено тому, как выявленные в результате синхронного типологического анализа ограничения на возможные модели синкремизма влияют на направление диахронической эволюции системы склонения и взаимодействуют с другими факторами. Данные славянских языков представляют специфический интерес потому, что в их истории были этапы, когда в языке имелись случаи синкремизма, нарушающие выведенные типологические ограничения; тем самым рассматриваемый материал дает дополнительные аргументы в пользу предлагаемой типологии.

**2.1. Иерархия агентивности vs. «гармония системы»: история слов *мать* и *дочь*.** Возникновение категории одушевленности / неодушевленности в славянских языках, проявляющейся, как правило, в распределении случаев синкремизма NomAcc и AccGen, довольно хорошо исследована (см. хотя бы [Борковский, Кузнецов 1963, 208—211; Comrie 1978; Huntley 1980], ср. также [Булаховский 1956, 21—30]). Здесь я лишь в самых общих чертах обрисую этот процесс.

В индоевропейском праязыке для Nom и Acc единственного числа несреднего рода имелись различные показатели: \*-s (кроме *a*-основ женского рода) и \*-m соответственно [Семерены 1980, 170]. Основы, к которым присоединялись эти показатели, в большинстве случаев оканчивались на гласный (\*-o, \*-i, \*-i), который во многих исторических языках в результате переразложения стал частью флексии; в результате появились новые показатели Nom и Acc, соответственно, \*-os, \*-us, \*-is и \*-om, \*-um, \*-im. В праславянском языке при редукции конечных слогов (см. [Мейе 2000 (1934), 117—123]) эти показатели совпали: \*-os, \*-om, \*-us, \*-um > \*-b<sup>2</sup>; \*-is, \*-im > \*-b. Тем самым в большинстве именных парадигм (за исключением *a*-основ женского рода и малочисленных основ на согласный) древних

славянских языков появился систематический синкретизм NomSg – AccSg, ранее наблюдавшийся только в среднем роде.

Указанная ситуация, при которой подавляющее большинство существительных с одушевленными референтами не различает Nom и Acc в единственном числе (противопоставление этих падежей во множественном числе сохранялось, по крайнем мере сначала, и у *o*-основ, и у *i*-основ мужского рода), привела к тому, что, во-первых, возникла необходимость как-то разрешать неоднозначность в конструкциях, где и подлежащее, и прямое дополнение — одушевленные имена мужского рода в единственном числе, и, во-вторых, устраниТЬ асимметрию в выражении Nom и Acc между единственным и множественным числом. Это, наряду с уже имевшейся тенденцией употреблять имя в Gen в позиции прямого дополнения в некоторых контекстах (см. [Крысько 1997]), привело к тому, что постепенно все имена мужского рода были разделены на два класса — одушевленные и неодушевленные, характеризующиеся, соответственно, синкретизмом AccGen и NomAcc в единственном числе. Это деление проникло и во множественное число (где во многих славянских языках показатели Nom и Acc также слились), однако в разной степени: если в русском языке во множественном числе противопоставление одушевленных и неодушевленных имен и, соответственно, распределение случаев синкретизма AccGen или NomAcc охватывает все существительные и прилагательные и не зависит от рода, то в польском языке оно имеется только в мужском роде (ср. [Курилович 1962 (1947)]). Это чисто морфологическое явление, не связанное ни с какими фонетическими процессами, представляет собой вытеснение одной словоформы (Acc) другой (Gen) в ряде синтаксических контекстов. Такое развитие в полной мере согласуется с Иерархией агентивности, предсказывающей, что формы Nom и Acc будут скорее различаться у имен, обозначающих одушевленные объекты, и скорее совпадать у имен, обозначающих неодушевленные объекты. Тем не менее отдельные факты развития русского языка явно противоречат этому предсказанию.

Как уже было сказано выше, в праславянском языке (и в раннедревнерусском тоже) Nom и Acc в единственном числе различались лишь у *a*-основ женского рода (NomSg *жена*, AccSg *женоу*) и у основ на согласный мужского рода (NomSg *камы*, AccSg *камень*) и женского рода (NomSg *мати*, AccSg *матерь*). В современном русском литературном языке склонение на согласный как таковое отсутствует, а лексемы, ранее относившиеся к нему, распределились по другим типам склонения: слова типа *камы* стали склоняться как слова типа *конь*, а слова типа *мати* — как слова типа *печь* (см. [Борковский, Кузнецов 1963, 190—193]). Нельзя не заметить при этом, что одушевленные лексемы женского рода (*мати*, *дъчи*, *свекры* и некоторые другие), в древнерусском различавшие Nom и Acc в единственном числе, в современном не проводят такого различия. Тем самым налицо развитие, нарушающее ограничение на синкретизм, связанное с Иерархией агентивности.

Объяснение такого исторического процесса, противоречащего ожиданиям, связанным с Иерархией агентивности, тем не менее довольно просто: лексемы типа *камы* и *свекры* явно не удовлетворяли важному свойству, которое В. У. Вурцель

[Wurzel 1987, 65 ff.] называет «гармонией системы» (*system-congruity*); несколько огрубляя, можно сказать, что соответствие некоторого словоизменительного класса «гармонии системы» заключается в том, насколько он похож на другие словоизменительные классы данного языка. Слова склонения на согласный были в наименьшей степени похожи на все остальные лексемы древнерусского языка: во-первых, у них, в отличие от всех прочих имен, было две основы (прямая и косвенная); во-вторых, только у них (а также у близких к ним *i*-основ типа **сынъ**, довольно быстро влившихся в основное склонение мужского рода) имелся синкремизм GenLoc в единственном числе. Кроме того, формы AccSg **камень** и **свекръвь** могли потенциально относиться каждая к двум разным типам склонения: малочисленному и «неестественному» консонантному и продуктивным мягкому варианту *o*-склонения и *i*-склонению соответственно. В результате эти лексемы перешли как раз в те типы склонения, которые были, с одной стороны, наиболее продуктивными и, с другой, наиболее «подходили» для приема слов типа **камы** и **свекровь**. Тем самым, требования «гармонии системы» оказались сильнее Иерархии агентивности.

Здесь надо отметить также, что лексемы **мати** и **свекрьвы** проникли в *i*-склонение несколько разными способами, что легко увидеть, если сравнить древнерусскую и современную парадигмы:

	древнерусский	современный	древнерусский	современный
NomSg	<b>мати</b>	<b>мать</b>	<b>свекрьвы</b>	<b>свекровь</b>
AccSg	<b>матерь</b>	<b>мать</b>	<b>свекръвь</b>	<b>свекровь</b>
GenSg	<b>матерє</b>	<b>матери</b>	<b>свекръвє</b>	<b>свекрови</b>

Как видно, у лексемы *мать* форма NomAccSg восходит к древнерусскому NomSg (с редукцией конечного *-и*), а чередование прямой и косвенной основ сохраняется, что делает лексемы *мать* и *дочь* уникальными в составе русского *i*-склонения. У лексемы *свекровь*, напротив, форма NomAccSg восходит к древнерусскому AccSg, а чередование основ тем самым устранилось. Возможно, такое развитие связано с относительной частотой соответствующих слов: более употребительные *мать* и *дочь* оказались более устойчивыми к процессам унификации парадигм<sup>3</sup>. В этой связи интересна судьба лексемы \**mati* в польском языке<sup>4</sup>, где она перешла в *i*-склонение, но имеет во всех падежах единую основу *macierz*:

NomSg	<i>macierz</i>
AccSg	<i>macierz</i>
GenSg	<i>macierzy</i>

При этом следует отметить, что эта лексема, по-видимому, довольно давно перестала быть широко употребительной (ср. [Reczek 1968, 196]), что, скорее всего, и привело к более радикальному преобразованию ее склонения.

**2.2. Иерархия падежей и судьба славянского InsPl.** Описанное в первом разделе ограничение на синкретизм ядерных и периферийных падежей, связанное с устанавливаемой на независимых основаниях Иерархией падежей, несомненно, может быть проинтерпретировано в диахронических терминах. Из того факта, что случаи систематического синкретизма, допускаемые Иерархией (например, NomAcc или AccGen), синхронно встречаются значительно чаще, чем те, что Иерархию нарушают (например, NomDat или Acclns), естественным образом следует, что в процессе исторического развития падежных систем случаи синкретизма, противоречащие Иерархии, возникают реже, а если возникают, то затем устраняются. Кроме того, можно предположить, что основным источником «некороших» случаев синкретизма являются фонетические, а не собственно морфологические процессы; последние включаются, когда становится необходимым устраниć из системы случай синкретизма, нарушающий общие закономерности.

В праславянском языке в результате фонетического развития древних окончаний *o*-склонения мужского рода NomPl \*-oi, AccPl \*-ons и InsPl \*-ū [Мейе 2000 (1934), 327—329] появились два случая падежного синкретизма, нарушающих Иерархию падежей, ср. фрагменты старославянских парадигм:

	<i>o</i> -основы	<i>jo</i> -основы
NomPl	вльци	мжжи
AccPl	влькы	мжжк
InsPl	влькы	мжжи

В большинстве современных славянских языков (за исключением чешского и словенского<sup>5</sup>) оба случая синкретизма были устраниены путем перестройки формы InsPl, ср.:

твёрдые основы			
	русский язык	польский язык	словацкий язык
NomPl	столы	koty	hrady
AccPl	столы	koty	hrady
InsPl	столами	kotami	hradmi <sup>6</sup>

мягкие основы			
	русский язык	польский язык	словацкий язык
NomPl	мечи	<i>kraje</i>	<i>meče</i>
AccPl	мечи	<i>kraje</i>	<i>meče</i>
InsPl	мечами	<i>krajami</i>	<i>mečmi</i>

Чешский литературный язык<sup>7</sup> не перестроил форму InsPl в o-склонении по модели других словоизменительных типов, однако изменил распределение случаев синкремизма, затрагивающих рассматриваемые три падежа, ср. следующие парадигмы:

	одушевленные				неодушевленные		
Nom	<i>páni</i>	<i>muži, mužové</i>	<i>předsedové</i>	<i>soudci, soudcové</i>	<i>hrady</i>	<i>stroje</i>	<i>dny, dny</i>
Acc	<i>pány</i>	<i>muže</i>	<i>předsedy</i>	<i>soudce</i>	<i>hrady</i>	<i>stroje</i>	<i>dny</i>
Ins	<i>pány</i>	<i>muži</i>	<i>předsedy</i>	<i>soudci</i>	<i>hrady</i>	<i>slroji</i>	<i>dny</i>

Как нетрудно заметить, наиболее «некрасивый» случай синкремизма (NomIns) сохранился лишь у небольшого числа одушевленных имен, в то время как также нарушающий Иерархию падежей синкремизм AccIns остался в довольно большом числе подтипов склонения (и, по-видимому, стал систематическим). Весьма характерно и то, что у форм NomPl, совпадающих с InsPl, появились пары с флексией -ové, т. е. среди словоформ NomPl теперь во всех подтипах склонения имеются отличающиеся от форм InsPl.

### 3. Заключение

В данной работе я хотел продемонстрировать на конкретных примерах действие типологических факторов в диахронии, а также показать, что в такой, казалось бы, лингвоспецифичной области, как падежный синкремизм и его историческое развитие, возможны типологически значимые обобщения. Коротко суммирую полученные результаты:

- ◆ распределение случаев падежного синкремизма, наблюдаемых в самых разных языках мира, не случайно, а подчиняется установленным на независимых основаниях универсальным ограничениям (Иерархия агентивности и Иерархия падежей);

- ◆ факторы, регулирующие синхронное распределение случаев падежного синкремизма, оказывают существенное влияние на диахронические процессы в морфологии.

Как представляется, дальнейшие исследования в этой области лишь укрепят наши представления о неслучайном и универсальном характере ограничений на синхронное и диахроническое варьирование в морфологии.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Данной проблематике посвящен практически необозримый массив литературы, но большая его часть не имеет прямого отношения к рассматриваемому вопросу, поэтому я позволяю себе сослаться лишь на наиболее релевантные работы. Подробный обзор см. в [Тестелец 1986, Прил. 1].

<sup>2</sup> По-видимому, совпадение показателей NomSg и AccSg у *o*-основ имело место не во всех славянских диалектах; в частности, в древненовгородском диалекте в NomSg вместо ожидаемого \*-ъ фигурирует -е; существуют разные гипотезы относительно происхождения этого окончания, подробнее см. [Зализняк 1995, 82—87]. Возможно, что оно все же является результатом фонетического развития праславянского \*-os, дававшего в древненовгородском нестандартный рефлекс, ср. отмеченную в этих говорах флексию 1PI презенса -me (вместо ожидаемого -mъ < \*-mos); я благодарю А. В. Дыбо, обратившую мое внимание на этот факт.

<sup>3</sup> О развитии этих лексем в русских диалектах см. [Сологуб 1983, 85—87]. Необходимо указать также, что *матерь* употребляется в качестве формы NomAccSg в устойчивых сочетаниях (*Матерь Божия*) и композитах (*Богоматерь, праматерь*).

<sup>4</sup> Здесь и далее данные славянских языков приводятся по [de Bray 1980 a, b].

<sup>5</sup> Словенский язык, по-видимому, является собой одно из немногих явных исключений к Иерархии падежей: в нем синкремизм NomIns сохранился в большом числе случаев, по крайней мере у многих имен мужского рода с неподвижным ударением. Что же касается синкремизма AccIns, то он был устранен путем обобщения мягкого варианта показателя AccPl -e < \*e.

<sup>6</sup> В среднесловацких говорах, согласно работе [Грубецкой 1987 (1937), 218], различие форм NomPl и InsPl у существительных мужского рода происходило с помощью морфонологического процесса — удлинения гласной во флексии InsPl, ср. NomPl *hrady*, InsPl *hrady* > NomPl *hrady*, InsPl *hradý*. Когда впоследствии долгие гласные вновь подверглись редукции, в качестве показателей InsPl были заимствованы флексии из других типов склонения, ср. современные словацкие формы NomPl *hrady*, InsPl *hradmi*. То же происходило и в центральночешских диалектах, ср. такие формы InsPl, как *chlapý, nožý* [Bělč 1972, 273].

<sup>7</sup> В чешских диалектах, особенно средне- и восточноморавских, ситуация такая же, как и в других славянских языках: в InsPl преобладают флексии -(a)mi, -(a)ma [Bělč 1972, 162—163, 265 и др.; Травничек 1950, 1950]), начавшие проникать в *o*-склонение (причем более активно в мягкий его вариант, где как раз и имел место синкремизм NomIns) из *a*-склонения и *i*-склонения в XIV в. [Gebauer 1960, 19—20, 111—112]; возврат к древнечешским формам на -u / -i, возможно, был следствием тенденции к архаизации литературной нормы. Я благодарен А. В. Дыбо, обратившей мое внимание на эти факты.

### СОКРАЩЕНИЯ

Abl	аблатив
Abs	абсолютив
Acc	аккузатив

Ins	инструменталис
Loc	локатив
Nom	номинатив

Dat — датив  
 Erg — эргатив  
 Gen — генитив

Pl — множественное число  
 Sg — единственное число

## ЛИТЕРАТУРА

- Аркадьев рукопись — *Аркадьев П. М.* Типология падежного синкремизма: Курсовая работа. М., РГГУ, Институт лингвистики, 2002 (рукопись).
- Баскаков (ред.) 1975 — *Баскаков Н. А.* (ред.). Грамматика хакасского языка. М.: Наука, 1975.
- Борковский, Кузнецов 1963 — *Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. М.: АН СССР, 1963.
- Булаховский 1956 — *Булаховский Л. А.* Грамматическая индукция в славянском склонении // Вопр. языкоznания. 1956. № 4. С. 14—30.
- Добромыслова 1961 — *Добромыслова А. Н.* К интерпретации одного явления падежного синкремизма в древнем новгородском говоре // Вопр. языкоznания. 1961. № 6. С. 83—89.
- Дурново 1971 (1922) — *Дурново Н. Н.* О склонении в современном великорусском литературном языке // Вопр. языкоznания. 1971. № 4. С. 90—103. (N. N. Durnovo. De la déclinaison en grand-russe littéraire moderne // Revue des études slaves. 1922. 2. P. 235—255).
- Зализняк 1995 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. М.: Языки русской культуры, 1995.
- Зализняк 2002 (1973) — *Зализняк А. А.* О понимании термина «падеж» в лингвистических описаниях. 2-е изд. // Зализняк А. А. «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкоznанию. М: Языки славянской культуры, 2002. С. 613—647. (1-е изд. в сб.: А. А. Зализняк (ред.). Проблемы грамматического моделирования. М.: Наука, 1973).
- Кибрик 2003 — *Кибрик А. Е.* Константы и переменные языка. СПб.: Алетейя, 2003.
- Корбет, Фрэзер 1997 — *Корбет Г. Г., Фрэзер Н. М.* Компьютерная лингвистика и типология // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. 1997. № 2. С. 122—140.
- Крысько 1997 — *Крысько В. Б.* Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. М.: Индрик, 1997.
- Курилович 1962(1947) — *Курилович Е.* Аккузатив-генитив и номинатив-аккузатив мужского рода в польском языке // E. Kuryłowicz. Ocherki po lingwistike. M.: Izd.-vo inostr. lit., 1962. С. 210—217. (J. Kurylowicz. Męski acc.-gen. i nom.-acc. języku polskim // Sprawodzania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. T. 48 (1947). S. 12—16).
- Мейе 2000 (1934) — *Meille A.* Общеславянский язык / Пер. с франц., 2-е изд. М.: Прогресс, 2000. (A. Meillet. Le Slave Commun. 2d éd. Paris: Champion, 1934).
- Семерены 1980 — *Семерены О.* Введение в сравнительное языкоznание / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1980. (O. Szemerényi. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970).
- Сологуб 1972 — *Сологуб А. И.* Формы родительного, дательного и предложного падежей существительных женского рода продуктивного типа склонения в русских говорах // Вопр. языкоznания. 1972. № 1. С. 68—81.
- Сологуб 1983 — *Сологуб А. И.* О синкремизме форм в склонении существительных женского рода единственного числа по диалектным данным // Р. И. Аванесов (ред.). Русские народные говоры. Лингвогеографические исследования. М.: Наука, 1983. С. 82—88.
- Тестелец 1986 — *Тестелец Я. Г.* Эргативная конструкция и эргативообразное построение: Дис. ... канд. филол. наук. М., Ин-т языкоznания АН СССР, 1986.
- Травничек 1950 — *Травничек Фр.* Грамматика чешского литературного языка / Пер. с чешск. М.: Иностр. лит., 1950.

- Трубецкой 1987 (1937) — Трубецкой Н. С. Мысли о словацком склонении // Н. С. Трубецкой. Избранные труды по филологии. М.: Прогресс, 1987. С. 210—218. (N. S. Trubetzkoy. Gedanken über die slowakische Deklination // Sborník Matice slovenskej, roč. XV, časť prvá — Jazykoveda, 1937. S. 39—47).
- Хабургаев 1963 — Хабургаев Г. А. К вопросу об интерпретации падежного синкремизма в русских говорах // Вопр. языкоznания. 1963. № 3. С. 68—73.
- Якобсон 1985 — Якобсон Р. О. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985.
- Якобсон 1985 (1936) — Якобсон Р. О. К общему учению о падеже // Якобсон 1985, 133—175 (R. Jakobson. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamtbedeutungen der Russischen Kasus // Travaux du cercle linguistique de Prague. VI. 1936).
- Якобсон 1985 (1958) — Якобсон Р. О. Морфологические наблюдения над славянским склонением // Якобсон 1985, 176—197. (Доклад на IV Международном съезде славистов. М., 1958).
- Arkadiev 2004 — Arkadiev P. How Case Hierarchy constrains case syncretism cross-linguistically. Paper presented at the 11<sup>th</sup> Morphology Meeting, Vienna, February 14—18. 2004.
- Baerman et al. 2002 — Baerman M., Brown D., Corbett G. G. Case syncretism in and out of Indo-European // Papers from the 37<sup>th</sup> Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Vol. 1. Chicago, 2002. P. 15—28.
- Baerman et al. in progress — Baerman M., Brown D., Corbett G. G. The Surrey Syncretism Database. In progress. <http://www.smg.surrey.ac.uk/Syncretism/index.aspx>.
- Bělič 1972 — Bělič J. Nástin české dialektologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972.
- Blake 1994 — Blake B. J. Case. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Boeder 1976 — Boeder W. Morphologische Kategorien // K. Braumüller, W. Kürschner (Hrsg.). Grammatik. Akten des 10. Linguistischen Kolloquiums. Bd. 2. Tübingen: Niemeyer, 1976. S. 117—126.
- Carstairs 1984 — Carstairs A. Outlines of a constraint on syncretism // Folia linguistica. Vol. 18 (1984). P. 73—85.
- Carstairs 1987 — Carstairs A. Allomorphy in inflexion. London: Croom Helm, 1987.
- Chvany 1996 (1982) — Chvany C. V. Hierarchies in the Russian case system: For N-A-G-L-D-I, against N-G-D-A-I-L // O. T. Yokoyama, E. Klenin (eds.). Selected Essays of Catherine V. Chvany. Columbus (Ohio): Slavica Publishers, 1996. P. 175—187 (orig. publ. 1982).
- Coleman 1991 — Coleman R. The assessment of paradigm stability: Some Indo-European case studies // Plank (ed.) 1991, 197—211.
- Comrie 1978 — Comrie B. Genitive-Accusative in Slavic: The rules and their motivation // B. Comrie (ed.). Classification of Grammatical Categories. Edmonton, 1978. P. 27—42.
- de Bray 1980a — de Bray R. G. A. Guide to the South Slavonic Languages. 3<sup>rd</sup> ed. Columbus (Ohio): Slavica Publishers, 1980a.
- de Bray 1980b — de Bray R. G. A. Guide to the West Slavonic Languages. 3<sup>rd</sup> ed. Columbus (Ohio): Slavica Publishers, 1980b.
- Dixon 1994 — Dixon R. M. W. Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Dressler (ed.) 1987 — Dressler W. U. (ed.) Leitmotifs in Natural Morphology. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1987.
- Fisiak (ed.) 1980 — Fisiak J. (ed.) Historical Morphology. The Hague: Mouton, 1980.
- Gebauer 1960 — Gebauer J. Historická mluvnice jazyka českého. Díl III. Tvarosloví. I. Skloňování. Praha: Nakladatelství československé Akademie věd, 1960.
- Georgiev 1973 — Georgiev V. I. Interdependenz von Syntax und Morphologie // G. Redard (Hrsg.). Indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Wiesbaden: Reichert, 1973. S. 59—65.
- Goddard 1982 — Goddard C. Case systems and case marking in Australian languages: A new interpretation // Australian Journal of Linguistics. Vol. 2 (1982). P. 167—96.

- Gvozdanović 1991 — *Gvozdanović J.* Syncretism and the paradigmatic patterning of grammatical meaning // Plank (ed.) 1991, 133—160.
- Hamilton 1974 — *Hamilton W. S.* Deep and surface changes in four Slavic noun systems // Linguistics. Vol. 127 (1974). P. 27—74.
- Huntley 1980 — *Huntley D.* The evolution of genitive-accusative animate and personal nouns in Slavic dialects // Fisiak (ed.) 1980, 189—212.
- Johnston 1997 — *Johnston J.* Systematic Homonymy and the Structure of Morphological Categories: Some Lessons from Paradigm Geometry. PhD Thesis, University of Sydney, 1997. <http://www.members.optusnet.com.au/~jasoni/thesis.html>.
- Krámský 1974 — *Krámský J.* A typological study of morphological homonymy in languages // *J. Krámský*. Papers in General Linguistics. The Hague: Mouton, 1974. P. 156—180.
- Krause et al. 1960 — *Krause W., Thomas W.* Tocharisches Elementarbuch. Heidelberg: Winter, 1960.
- Luraghi 1987 — *Luraghi S.* Patterns of case syncretism in Indo-European languages // A. G. Ramat, O. Carruba, G. Bernini (eds.). Papers from the 7<sup>th</sup> International Conference on Historical Linguistics. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1987. P. 355—371.
- Luraghi 1991 — *Luraghi S.* Paradigm size, possible syncretism, and the use of adpositions with cases in flective languages // Plank (ed.) 1991, 57—74.
- Luraghi 2000 — *Luraghi S.* Synkretismus // G. Booij, Chr. Lehmann, J. Mugdan (Hrsg.). Morphologie. Ein Internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2000. P. 638—647.
- Meiser 1992 — *Meiser G.* Syncretism in Indo-European languages // Transactions of the Philological Society. Vol. 90/2 (1992). P. 187—218.
- Plank 1979 — *Plank F.* The functional basis of case systems and declension classes: From Latin to Old French // Linguistics. Vol. 17 (1979). № 7/8. P. 611—640.
- Plank 1980 — *Plank F.* Encoding grammatical relations: Acceptable and unacceptable non-distinctness // Fisiak (ed.) 1980, 289—325.
- Plank 1986 — *Plank F.* Paradigm size, morphological typology, and universal economy // *Folia Linguistica*. Vol. 20 (1986). P. 29—48.
- Plank 1990 — *Plank F.* Paradigm arrangement and inflectional homonymy: Old English case // S. Adamson, V. A. Law, N. Vincent, S. Wright (eds.). Papers from the 5<sup>th</sup> International Conference on English Historical Linguistics. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1990. P. 379—406.
- Plank 1991 — *Plank F.* Rasmus Rask's dilemma // Plank (ed.) 1991, 161—196.
- Plank (ed.) 1991 — *Plank F.* (ed.) Paradigms: The Economy of Inflection. Berlin: Mouton de Gruyter, 1991.
- Rechek 1968 — *Rechek S.* Podręczny słownik dawnej polszczyzny. Wrocław etc.: Ossolineum, 1968.
- Silverstein 1976 — *Silverstein M.* Hierarchy of features and ergativity // R. M. W. Dixon (ed.). Grammatical Categories in Australian Languages. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies, 1976. P. 112—171.
- Stump 1993 — *Stump G.* On rules of referral // Language. Vol. 69 (1993). № 3. P. 449—479.
- Stump 2001 — *Stump G.* Inflectional Morphology: A Theory of Paradigm Structure. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Trnka 1992 — *Trnka B.* On morphemic homonymy // *B. Trnka. Selected Papers in Structural Linguistics*. Berlin etc.: Mouton, 1992. P. 336—339.
- Williams 1994 — *Williams E.* Remarks on lexical knowledge // Lingua. 92 (1994). P. 7—34.
- Wurzel 1987 — *Wurzel W. U.* System-dependent morphological naturalness in inflection // Dressler (ed.) 1987, 59—96.
- Zwicky 1985 — *Zwicky A. M.* How to describe inflection // Proceedings of the 11<sup>th</sup> Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Berkeley, 1985. P. 372—386.
- Zwicky 1991 — *Zwicky A. M.* Systematic versus accidental phonological identity // Plank (ed.) 1991, 113—132.

*Арто Мустайоки (Хельсинки)*

## «ПОБЕДИТЕЛЬНАЯ» ТЕМА, ИЛИ НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КОНАТИВНЫЕ ПРЕДИКАТЫ В СИСТЕМЕ АСПЕКТУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

**Ю**билиар Т. М. Николаева входит в немногочисленную группу современных лингвистов, странствующих без особого труда по самым различным областям нашей науки. В текстах и выступлениях Татьяны Михайловны импонирует смелость браться за трудные, неожиданные темы и делать на основе фактического языкового материала оригинальные выводы. Многосторонность научных интересов Татьяны Михайловны хорошо отражена также в сборнике ее работ [Николаева 2000]. Следуя ее примеру, мы хотели бы в рамках этой статьи сделать попытку посмотреть на так называемые КОНАТИВЫ с новой точки зрения: наша цель — расширить их круг глаголами, связанными с выражением семантики победы. Традиционно к этой группе предикатов относят такие видовые пары, как *решать* — *решить* и *ловить* — *поймать*. Новая интерпретация этого понятия основывается на том, что мы будем рассматривать не видовые пары, а предикаты, связанные между собой аспектуальными отношениями. Такой подход не только возможен, но и необходим, когда язык рассматривается в рамках теории функционального синтаксиса по принципу «от значения к форме».

На конативное значение некоторых русских глаголов несовершенного вида аспектологи обратили внимание уже давно (см. [Апресян 1980/1995, 59—60; Томмоля 1986, 81; Милютина 1998 и литературу там]). Сам термин *конатив* употребляется применительно к глаголам как несовершенного, так и совершенного вида, хотя первоначальное значение термина (от лат. *conatus* ‘попытка’, ‘стремление’) связано прежде всего с несовершенным видом. В разных классификационных системах видовых оппозиций конативы, как правило, выделяются в отдельную группу. Посмотрим на некоторые конкретные их характеристики.

В книге «Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис» М. А. Шелякин [1987, 74—76] выделяет шесть типов глаголов «общерезультивативного способа действия». Один из этих типов он называет ПРОЦЕССНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ. Это «глаголы со значением развивающихся действий, направленных на успешное достижение предусмот-

ренного результата. НСВ может выражать конкретно-процессное значение, в том числе и конативное, а СВ — успешное достижение результата». Далее приводятся, в частности, следующие примеры: *ловить — поймать, будить — разбудить, возвращаться — возвратиться, вспоминать — вспомнить, вставать — встать, добиваться — добиться, ложиться — лечь, открывать — открыть, убеждать — убедить, сдавать — сдать* (экзамен) «и многие другие», как отмечает М. А. Шелякин.

Анна А. Зализняк и А. Д. Шмелев [2000, 56—57] при рассмотрении «наиболее важных семантических типов видовых пар русского языка» выделяют, в частности, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРЫ, «свершения», «постепенные осуществления», accomplishments по Вендереру, как пишут авторы. Внутри этой группы они различают две разновидности «в зависимости от того, является ли наступление события, обозначенного глаголом сов. вида, автоматическим следствием усилий субъекта [—] или отделено от них некоей вероятностной гранью (т. е. в наступлении результата есть элемент удачи)». Последняя группа (под рубрикой «попытка — успех») состоит в основном из глаголов, отмеченных в списке Шелякина. Кроме них, приводятся и некоторые другие видовые пары, в частности, *решать — решить* (задачу) и *узнавать — узнать* (*что-то у кого-то*).

Весьма подробный анализ семантических типов видовых противопоставлений проводится М. Я. Гловинской [2001; этот раздел книги основывается на ее докторской диссертации 1986 г.]. Она дает третьему типу видовых противопоставлений следующее определение, используя как пример пару предложений *Ученик решает задачу — Ученик решил задачу* [Гловинская 2001, 129]:

- форма несовершенного вида: 1) определенное действие X-а существует в каждый из ряда последовательных моментов наблюдения; 2) целью X-а является то, чтобы в результате этого действия начала существовать ситуация Р;
- форма совершенного вида: 1) определенное действие X-а существовало в каждый из ряда последовательных моментов наблюдения; 2) целью X-а было то, чтобы в результате этого действия начала существовать ситуация Р; 3) в результате этого действия ситуация Р начала существовать.

Гловинская [2001, 103—107] разбивает глаголы этой группы на два подтипа А и Б. Приведенные определения подходят к обоим из них, а различие заключается в том, что в подтипе А первая часть толкования имеет статус пресуппозиции, а в подтипе Б — ассерции. Она показывает их разницу сферой действия отрицания. В подтипе А (например, *Он не поймал бабочку*) отрицание относится только к результативности действия, в то время как в подтипе Б (например, *Он не разбудил меня*) оно относится ко всему действию. Гловинская [2001, 106—107] различает в обоих подтипах ряд семантических групп, а именно:

- воздействие на чужую волю: А — *отговаривать — отговорить, соблазнять — соблазнить*; Б — *заставлять — заставить*;
- воздействие на чужое сознание: А — *убеждать — убедить, уверять — у说服ить*; Б — *объяснять — объяснить*;

- воздействие на чужое состояние: А — успокаивать — успокоить; Б — будить — разбудить, утешать — утешить;
- целенаправленное интеллектуальное действие: А — решать — решить, доказывать — доказать; Б — взвешивать — взвесить, изучать — изучить, обдумывать — обдумать, узнавать — узнать;
- попытка войти в контакт различного рода: А — ловить — поймать, постуপать — поступить (в институт).

В сноске, относящейся к последней семантической группе, М. Я. Гловинская обосновывает включение в нее пары *искать* — *найти* тем, что существует видовая «тройка» *искать* — *найти* — *находить*. Она утверждает, что результативное употребление глагола *искать* возможно в потенциальном значении, например, в предложении *Эта собака хорошо ищет наркотики*. Она считает также, что соотношение *искать* — *найти* такое же, как у *ловить* — *поймать*, что касается главных видовых значений.

Е. В. Падучева [2003, 37—40], которая со своей исследовательской группой стремится в рамках системы «Лексикограф» давать разным характеристикам глаголов как можно более точное описание, видит среди конативов три подгруппы:

- действие, обычное: конативы — *вспомнить*, *добиться*, *догнать*, *поймать*, *решить* (*задачу*), *убедить*;
- действие с акцентом на результате: достижение — *выиграть*, *найти*, *понять*, *попасть* (*на концерт*), *удержать* [*не уронив*];
- действие сверхкраткое: конатив — *выбить* (*из рук*), *расколоть*.

Отметим еще более раннюю систематизацию видовых оппозиций, предложенную Дж. Форсайтом. Среди его пяти «аспектуально-семантических» групп видовых пар списки глаголов, эквивалентных приведенным концепциям, мы находим в группе 3, которой дается следующая характеристика: «A marked feature of pairs in group 3 is that the imperfective, in itself no indicating any real performance, can express the tendency towards, and gradual approach to the critical point at which the action takes place» [Forsyth 1970, 49]. Список глаголов этой группы показывает, что Форсайт понимает этот тип видовых оппозиций широко. В нем, кроме отмеченных выше глаголов, упоминаются, в частности, *брать* — *взять*, *входить* — *войти*, *давать* — *дать*, *портить* — *испортить*. Таким образом, он не видит необходимости выделять конативы в таком значении, в каком это делают другие аспектологи. Форсайт [Forsyth 1970, 50] комментирует также «существование» пары *искать* — *найти*, считая, что «there exists a popular fallacy among some Russians that the perfective corresponding to *искать* ‘look for’ (properly an unpaired imperfective) is *найти* ‘find’».

Более широкое понимание конативов предлагает М. Г. Милютина [1998], принимая идею С. Д. Кацнельсона [1972, 88] о «семантических, или внутренних, дериватах». Так, согласно Милютиной [1998, 315] конативное «значение может быть выражено в русском языке с помощью нестандартного противопоставления функциональных (контекстуальных) видовых партнеров». Этот подход приводит к су-

щественному расширению круга конативов за счет аспектуальных связей, которые в русском языке не проявляются в традиционных видовых оппозициях. В статье Милютиной приводятся, в частности, такие «аспектуальные пары» (часто в виде иллюстраций из литературы): *стучать — достучаться, думать — продумать, искать — встретить, мечтать — добиться*. Во всех этих случаях Милютина [1998, 319] видит «семы конативности», а именно НАМЕРЕНИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ, ЖЕЛАНИЕ.

Подход Милютиной напоминает то, что делается нами в рамках функционального синтаксиса [ср. Мустайоки 1997; 1999; 2003а; 2003б; работы можно найти также в Интернете по адресу [\[www.helsinki.fi/~mustajok/pdf-publications.html\]](http://www.helsinki.fi/~mustajok/pdf-publications.html)]. Описание языка по принципу «от значения к форме» требует систематического различения семантических и грамматических языковых категорий. Это не означает, что языковые категории рассматриваются только как чистая форма, но из принятого метода следует, что исходный пункт описания — «значение / смысл / семантика» — должен быть рассмотрен как «предъязыковой», «доязыковой» (денотативный) уровень, отдельно от конкретных языковых категорий. При рассмотрении некоторых других семантических категорий различение семантических и языковых категорий не вызывает затруднений. Например, фраза *В 1858 г. Ф. И. Буслаев создает первую историческую грамматику русского языка* легко распознается как пример асимметрии содержания и формы. Виды (русского) глагола тоже могут иметь не-аспектуальные значения, и аспектуальность может быть выражена не только видами глагола. Однако в связи с трудностями осмыслиения онтологической природы аспектуальных значений эти случаи не так очевидны, как примеры, связанные с некоторыми другими семантико-грамматическими категориями.

Подход «от значения к форме» не может быть осуществлен без определения семантических категорий, служащих основой для описания языка. Таким образом, нужно выделить и определить аспектуальность как универсальную семантическую категорию. Идея различия аспектуальности как семантической категории и вида как грамматической категории не нова (ср., например, [Schneider 1967; Бондарко 1983; Кичега 1983] и описание предыстории вопроса в них). Тем не менее эти понятия все еще нередко путают. Очевидно, это связано с трудностями осознания семантической природы аспектуальности, о которых выше уже шла речь, а также с тем, что на мышление лингвистов, особенно славистов, сильно влияют особенности видовой системы славянских языков. Рассматривая аспектуально-видовые явления по принципу «от значения к форме», мы тем самым отказываемся от обычного «интерпретационного» подхода и вместо него стараемся принимать аспектуальные значения предикатов как основу описания.

Различие двух уровней рассмотрения касается и терминологии: ПРЕДИКАТ — это понятие семантического уровня, а ГЛАГОЛ — понятие языкового уровня. Соответственно отдельные предикаты и глаголы различаются в тексте статьи шрифтом: «решать» — это предикат, который можно считать обобщенным значением русских глаголов *решать — решить*. Уточнения требует понятие «предикат». Основное понятие семантическое уровня — это ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ, отра-

жающее то, что говорящий хочет выразить. Ядро положения дел состоит из предиката и одного или более актантов. Поскольку предикат является понятием семантического уровня, естественно, что он может иметь разные языковые выражения. Чтобы конкретизировать эту мысль, посмотрим, какие возможности говорящий по-русски имеет для выражения смысла «Игорю сегодня грустно» (ср. [Петрухина 1997, 146]). Кроме предложения (1), он может сказать (2) или (3). Пожалуй, возможна и фраза (4). Учитывается также употребление слов с другим корнем (5).

- (1) *Игорю сегодня грустно.*
- (2) *Игорь сегодня грустит.*
- (3) *Игорь сегодня грустный / выглядит грустным.*
- (4) *У Игоря сегодня грустный вид.*
- (5) *Игорь сегодня печален / Игорь в тоске.*

Все фразы (1—5) имеют одинаковое денотативное значение, но разные презентативные значения (ср. [Адамец 1978, 33]). Таким образом, они репрезентируют одно и то же положение дел с предикатом в стат(у)альном значении или более конкретно: данное положение дел состоит из стат(у)ального предиката, обозначающего эмоциональное состояние, и из одного актанта, Экспериенсера. Определение границ разных предикатов — непростая задача. С другой стороны, лексикографы не могут составлять толковые словари, если они не умеют принимать решения о границах значений лексем. Таким образом, следует предположить, что такая же процедура не может быть невозможной на уровне положений дел и с предикатами.

В своих работах [Мустайоки 1993; 1999; 2004] мы старались описать аспектуальные значения предикатов. То, как они проявляются у одного и того же предиката, может быть представлено в виде аспектуальной парадигмы [Мустайоки 2004]. В рассмотрении конативов нас особенно интересуют два аспектуальных значения: ДИНАМИЧЕСКОЕ (положение дел представляется как процесс, направленный на его завершение) и РЕЗУЛЬТАТИВНО-СТАТУАЛЬНОЕ (положение дел представляется как поворот в ходе событий и состояние после него). Как показывают приведенные выше описания конативов, мы имеем дело со значением, которое нельзя считать чисто видовым: к нему примыкает дополнительное модальное значение попытки. В рамках модели функционального синтаксиса мы используем в этой связи термин МОДАЛЬНАЯ ФАЗА. Следовательно, конативы можно разделить на две категории: конативы<sub>дин</sub> ( $K_{дин}$ ) = предикаты с динамическим значением и дополнительной конативной модальной фазой; конативы<sub>рез</sub> ( $K_{рез}$ ) = соответствующие предикаты с результативно-статуальным значением.

После описания фоновых предпосылок нашего подхода мы готовы к рассмотрению двух вопросов: 1) можно ли считать «участвовать в соревновании — выиграть» аспектуальной парой; 2) можно ли считать эту пару конативной? Предикат «выиграть» может быть в русском языке выражен, в частности, глаголами *выиграть* и *победить*. В ряде контекстов (например, при выражении многократной победы) могут быть употреблены также соответствующие глаголы несовершенного вида.

Могут быть употреблены также другие сочетания, в частности: *выйти / стать победителем // одержать победу / верх // завоевать первенство // оказаться на первом месте* и т. д. Предикат «участвовать в соревновании» имеет еще больше языковых выражений: *участвовать в конкурсе / в соревновании // соревноваться // бороться // состязаться // сражаться // воевать // играть (с целью выиграть)* и т. д.

При анализе данного вопроса мы будем исходить из тех определений и толкований конативов, которые даны в литературе, а именно: 1)  $K_{дин} = \text{«пытаться»}$   $K_{пез}$ ; 2) «не»  $K_{пез} \supset K_{дин}$ ; 3) достижение  $K_{пез}$  зависит не только от воли Агенса. При анализе с этих позиций предиката «участвовать в соревновании — выиграть» мы применяем двойную стратегию. С одной стороны, мы будем использовать придуманные тестовые контексты, а с другой, будем также прибегать к примерам и статистике, основывающимся на наблюдениях над фактическим языковым материалом. Источником поиска языковых иллюстраций для нас служит огромный массив русских текстов на сайте фирмы «Интегрум» ([www.integrum.ru](http://www.integrum.ru)).

**Первый тест:**  $K_{дин} = \text{«пытаться»}$   $K_{пез}$ . Данный тест широко употребляется в описании конативов. Собственно, он является одним из важнейших элементов определения этой группы глаголов, ср. *ловит = пытается / старается / стремится поймать, ищет = пытается / старается / стремится найти*. Это удобный и, на первый взгляд, достоверный тест, но если посмотреть на него более внимательно, обнаружится его относительность. Дело в том, что глаголы группы  $K_{дин}$  нередко употребляются без особой целенаправленности. Если мы говорим по мобильному телефону на даче и отвечаем на вопрос *Что вы там делаете?*, мы можем сказать, что *Дети играют в футбол, а дедушка ловит рыбу*. В этом контексте *ловить* не имеет значения ‘пытаться поймать’, а указывает только на то, чем человек занимается в данный момент. Другое дело, если мы *ловим такси*; в этом контексте *ловить*, очевидно, всегда соответствует выражению *пытаться поймать*. В целом мы можем употреблять многие глаголы из списков  $K_{дин}$  в значении деятельности, которую нельзя или затруднительно считать попыткой достижения цели. Мы можем *изучать* древние книги, *утешать* своего друга или *решать* кроссворд без особого конативного значения.

Если рассмотреть соотношение между  $K_{дин}$  и  $K_{пез}$  с другой стороны, со стороны достижения результата, также обнаруживаются различия между типами конативов. Среди видовых пар, упомянутых в списках конативов, есть достаточно много таких, при которых достижение положения дел, обозначаемого  $K_{пез}$ , в большинстве случаев никак не связано с особыми усилиями Агенса. Даже «базовый»  $K_{пез}$  *найти* может быть употреблен в этом значении (*Я нашел на улице кошелек*), однако такие примеры не снимают явной связи глаголов *искать* и *найти*.

Более значительные отклонения от типичности конативного значения мы находим у глаголов типа *будить — разбудить*. Х. Томмола [1986: 81] приводит пример (6), который переведен с финского языка. Подобные примеры можно встретить и в реальном узусе современного русского языка с конкретным (7) или переносным

(8) значением глагола. Можно найти и контексты, в которых встречается как глагол *будить*, так и глагол *разбудить* (9). Такие примеры доказывают, что глагол *будить* — *разбудить* может быть употреблен с конативным значением. Однако если взять все контексты употребления глагола *будить* — *разбудить*, то окажется, что такое значение встречается чрезвычайно редко. То же самое касается таких глаголов, как *вставать* — *встать*, *ложиться* — *лечь*, *открывать* — *открыть*: мы, как правило, *встаём*, *ложимся*, *открываем* дверь или окно без особых усилий.

(6) *Мы будили его полчаса, но он не проснулся.*

(7) *Что в этой ситуации делать с пациентом, многие врачи просто не знают: давать ли пить, есть, пытаются ли разбудить или ждать, когда «само пройдет»?* («Аргументы и факты»; 24.04.2002; 17).

Сначала они были добрыми — пытались разбудить непрошеного гостя и даже собирались купить ему бутылку портвейна («Неделя»; 29.04.1999).

Сначала они пытаются разбудить напившегося и, только уверившись, что тот невменяем, обшаривают карман («Труд»; 04.10.2000; 185).

(8) *Пытались разбудить* ностальгические чувства избирателей, левая Дума проголосовала за отмену Беловежских соглашений 1991 года, по сути, возвращая страну назад, в бывший Советский Союз («Комсомольская правда»; 10.10.2000; 187).

Наоборот, мы всячески стремимся разбудить в футбольистах амбиции, внушить им такую уверенность, что им было бы абсолютно все равно, против кого играть («Аргументы и факты»; 27.03.2002; 13).

*Как я только не пыталясь разбудить в ней женщину, которая бы меня хотела!* («Жизнь»; 15.11.2002; 239).

(9) *«Муж отравился, таблеток наглотался!»* — кричала срывающимся голосом немолодая москвичка. Бригаде «Скорой» она предъявила улики: пустую упаковку от снотворного и спящего мертвым сном мужа. *«Бужу-бужу, а разбудить не могу! Помогите!»* — умоляла она («Версты»; 22.04.1999; 30).

Относительность понятия «конативные глаголы» проявляется и в том, что глаголам, не отмеченным в списках конативов, иногда придается конативное значение. Хорошим примером служит глагол *писать* — *написать*.

(10) *Вторая из пяти длинных глав «Дара» рассказывает о попытке Федора написать биографию своего отца и вызвать к жизни очарование экспедиций за неизвестными науке бабочками* («Звезда»; 15.01.2001; 1)

*Мне было года четыре, когда я попытался написать рассказ* («Звезда»; 14.02.2003; 2).

*Я попыталась написать учебник, который бы удовлетворил всех: с одной стороны, это хорошая подготовка для психолога (первокурснику тоже надо с чего-то начинать, прежде чем углубляться в частности), а с другой — он годится и для широких слоев «интересующихся» людей* («Известия»; 20.03.2004; 50).

Конативность предиката «участвовать в соревновании — выиграть» очевидна: идея соревнования, конкурса, спортивного турнира (может быть, также пари и спора) заключается как раз в том, чтобы выяснить, кто станет победителем. Безусловно, можно найти и такие примеры, которые отрицают эту связь (ср. 11), но, как мы уже видели ранее, «неконативное» употребление встречается у всех конативов. В поддержку конативности данного предиката можно привести тысячи

примеров в контексте с глаголами *пытаться* (12), *стараться* (13) и *стремиться* (14). Связь победы с участием в соревновании или конкурсе нередко обозначается и по-другому (15).

- (11) *И это тоже предусматривается, поскольку все понимают, что главное — участвовать, а не побеждать, но и диплом по возвращении к родным пенатам тоже не помешает* («Культура»; 27.05.2002; 7327).
- (12) *Пять раз Липтон **пытался выиграть** гонку, каждый раз выставляя все более совершенные яхты* («Огонек»; 14.10.2002; 41).
- Главное — не **пытаться выиграть**, а стараться не проиграть («Слово»; 13.02.2004; 3—4).
- (13) *Я, между прочим, должен ради объективности заметить, что чеченская сторона в прошлой войне (наверное, и в этой) **старалась выиграть** информационную войну точно так же, как и Москва* («Новое время», 28.11.1999; 47).
- (14) *Но нельзя выиграть то, к чему ты не стремишься* («Российская газета»; 18.11.2003; 233).

*Итак, ТВЦ стремится выиграть у РТР третье место, а НТВ устойчиво держит первое* («Комсомольская правда»; 25.12.1999; 242).

(15) *Если и этого нет, то тоже не беда: на карнавальной заставе все эти атрибуты можно выиграть, участвуя в различных конкурсах и викторинах* («Россия»; 03.09.1999).

*Ведь наши студенты за рубежом учатся в большинстве за свои деньги, а могут участвовать в конкурсе и выиграть стипендию* («Огонек»; 27.10.2003).

*Наши воздухоплаватели не успокаиваются: теперь они хотят участвовать (и побеждать!) в соревнованиях на скорость перелета вокруг земного шара* («Труд»; 15.05.1999; 86).

*Сергей Кожевников выиграл финальный забег на 800 м, где все участники боролись за победу до последнего метра* («Вечерняя Москва»; 03.08.1998).

*Тем более сегодня, когда мужчин отодвинула на второй план женская половина турнира, где вместе с хозяйками корта играют (и стараются выиграть!) прославленные леди мирового тенниса* («Огонек»; 29.09.2003).

Таким образом, первый тест предикат «участвовать в соревновании — выиграть» прошел не хуже, чем многие «признанные» конативы.

**Второй тест:** «не»  $K_{\text{рез}} \supset K_{\text{дин}}$ . Этот тест, предложенный Ю. Д. Апресяном [1980/1995: 59—60], тоже широко используется при определении конативов. Действительно, он хорошо работает во многих случаях: из *не решил* следует, что *решал*, из *не нашел* — что *искол*, из *не сделал* (экзамен) — что *сдавал* и т. д. Однако и в этом случае, как было и с первым тестом, определяются границы не глаголов-конативов, а конативных ситуаций (ср. рассуждения Г. М. Зельдовича [2003] с несколько иной точки зрения). Дело в том, что в ряде случаев глаголы, упомянутые в списке конативов, не проходят этот тест: из *не разбудил* в большинстве контекстов не выходит *будил*, то же самое касается конструкций *не открыл*, *не встал*, *не лег*, обозначающих также отрицание как динамического процесса, т. е. полное отсутствие данного действия.

Рассматриваемый тест также показывает необходимость расширить список «конативных пар». Дело в том, что иногда из данного теста следует, что отношение между  $K_{\text{дин}}$  и  $K_{\text{рез}}$  выражается не видовой парой, а аналитически. Хорошим приме-

ром служит один из самых употребительных  $K_{pes}$  — *получить*. Он употребляется в самых различных сочетаниях (примеры из прессы): *получить выход на российский рынок / работу за пределами страны / канадское гражданство / ответ на вопрос / обоснование / помочь / заверения от США и ФРГ / по фальшивому аккредитиву 8 миллионов долларов / возможность оперировать / произведение, свободное от авторского умысла / то, что было когда-то отнято / доступ к секретным технологиям / ядерное оружие / права на трансляцию исключительно эротики*. В этих контекстах из не получил, конечно, следует не получал, а пытался получить. Таким образом, видовым парам *решать — решить, сдавать — сдать* в определенных значениях соответствует пара с аналитическим выражением *пытаться получить — получить*.

Соотношение «выиграть» и «участвовать в соревновании» согласуется со вторым тестом — по крайней мере, в большинстве контекстов. Если мы говорим *не победил* или *не выиграл*, из этого следует: некто участвовал в соревновании. Обычно это не оговаривается, но выясняется из ситуации. Редки случаи, когда об этом упоминается специально (16—17):

- (16) *Никто никогда не выиграл предвыборной кампании, не участвуя в ней* («Известия»; 22.04.2003; 71).
- (17) *Он выиграл пять из семи первых «Тилбургов» и не выиграл все семь по той причине, что в двух попросту не участвовал* («Советский спорт»; 30.10.1998; 215).

Представляется, что второй тест в целом подтверждает принадлежность предиката «участвовать в соревновании — выиграть» к группе конативов.

**Третий тест.** Достижение  $K_{pes}$  зависит не только от воли Агенса. Это несколько парадоксальный принцип определения рамок конативов: с одной стороны, достижение цели не может быть слишком простым, вытекающим непосредственно из деятельности Агенса; с другой стороны, требуется, чтобы оно не было совсем случайным происшествием, на которое Агенс вообще не может влиять. Другими словами, цель, статуальное положение дел после поворота в ходе событий, должна быть достигнута в результате усилий Агенса, но, кроме того, нужна и помочь со стороны судьбы, удачного стечения обстоятельств или содействия других участников положения дел. Это значение передается, в частности, глаголами *удаться, посчастливиться, повезти*.

Для того чтобы определить место глаголов *выиграть* и *победить* среди «признанных» конативов, мы провели следующий эксперимент: взяли сначала такие глаголы, которые упоминаются в литературе в списках конативов (в основном из [Гловинская 2001]). Потом мы проанализировали частотность их употребления в сочетании с глаголом *удаться*. Источником подсчета служили материалы центральной и региональной прессы, а также журналов из базы данных «Интегрума». Мы приводим полный список результатов, поскольку здесь важны не абсолютные цифры, а относительные данные о частотности разных глаголов в этом контексте. Весьма интересно отметить, что первые места в списке занимают как раз те глаголы, которые обычно приводятся как «прототипические» образцы конативов.

Частотность употребления «конативов» с глаголом *удаться*

удаться добиться	29329	удаться встать	261
удаться выяснить	27679	удаться спрятаться	214
удаться найти	24578	удаться подбить	204
удаться узнать	14198	удаться запугать	200
удаться решить	13396	удаться спрятать	199
удаться убедить	10786	удаться отговорить	182
удаться достичь	10752	удаться возбудить	177
удаться доказать	8828	удаться внушить	174
удаться предотвратить	5299	удаться разбудить	166
удаться уговорить	3694	удаться изучить	161
удаться вывести	3012	удаться спровоцировать	139
удаться разыскать	2318	удаться соблазнить	122
удаться поймать	2647	удаться усыпить	88
удаться открыть	2543	удаться выбиться	79
удаться отыскать	2435	удаться приспособить	73
удаться выбить	1878	удаться всучить	64
удаться дозвониться	1350	удаться втереться	50
удаться заставить	1287	удаться упросить	49
удаться склонить	794	удаться уверить	39
удаться застать	768	удаться принудить	39
удаться обмануть	708	удаться осмыслить	34
удаться защитить	694	удаться втолковать	28
удаться закрыть	693	удаться растолковать	16
удаться настоять	543	удаться отгадать	14
удаться уберечь	515	удаться взвесить	14
удаться поступить	489	удаться умолить	12
удаться успокоить	470	удаться задобрить	12
удаться объяснить	464	удаться лечь	11
удаться разгадать	430	удаться вдолбить	11
удаться сдать	421	удаться приохотить	9
удаться выбрать	313	удаться вклютить	6
удаться отдохнуть	305	удаться утешить	6
удаться придумать	305	удаться подговорить	3
удаться вылечить	294	удаться подбодрить	1
удаться обратить	293	удаться выслужиться	1
удаться разузнать	289	удаться обдумать	0

Приведенные здесь результаты подсчета служат фоном для рассмотрения глаголов *выиграть* и *победить*. Оказывается, что они занимают достойное место среди конативов с частотностью: *удаться выиграть* — 4016 и *удаться победить* — 2907. Вот некоторые иллюстрации:

- (18) *Фотомодели и звезды сериала «Спасатели Малибу» Памеле Андерсон Ли, особенно известной своими выдающимися формами, удалось выиграть сложный судебный процесс* («Итоги»; 10.06.1997; 23).

*Но шведам не удалось выиграть третью в сезоне крупное соревнование — чемпионаты мира среди юношей стали финны (турнир прошел в Финляндии) («Вечерняя Москва»; 24.02.1996 16:17; 46).*

*И хотя этот раунд Чернамырдину удалось выиграть, вполне вероятно, что в ближайшее время может начаться новый виток его конфликта с украинскими политиками («Газета»; 13.01.2003; 001).*

- (19) *В уходящем году злобный микроб удалось победить не за счет фармакологии, а благодаря карантинным мероприятиям («Огонек»; 22.12.2003; 47).*

*Несмотря на серьезную конкуренцию, российской женской сборной удалось победить в командном зачете («Вечерняя Москва»; 01.10.1996 13:35; 223).*

Подсчеты употребления глаголов в сочетании с *удаться* позволяют сделать и другие выводы. Дело в том, что упомянутый уже глагол-кандидат в конативы *получить* часто встречается с глаголом *удаться* — 17061 раз. Отметим также достаточно высокую частотность сочетаемости некоторых других глаголов, а именно: *удаться уехать* (306), *удаться убежать* (920), *удаться украсть* (227). Они употребляются часто и с глаголом *пытаться*. Выходит, что это такие же глаголы, как *получить*: соответствующий глагол нес совершенного вида не имеет конативного значения, а компонентом конативной пары является аналитическая форма: *пытался уехать* — *удалось уехать / уехал*; *пытался убежать* — *убежал*; *пытаться украсть* — *украсть*.

Выше мы отметили, что некоторые «обычные» результативные глаголы временами могут иметь и конативное значение. Действительно, такие сочетания, как *удаться прочитать* и *удаться написать* нередки (частоты 533—359). Однако эти случаи требуют более подробного анализа, поскольку глаголы могут иметь в этих контекстах нестандартные значения, например, в примере (20) *прочитать* обозначает, скорее всего, «обнаружить», «найти».

- (20) *Удалось прочитать документы лишь двоих — рядового Ивана Кухаря и летчика Ивана Немятого («Вечерняя Москва» 07.05.1996 10:36; 17).*

Заканчивая нашу «победительную» тему, необходимо еще отметить, что глагол *выигрывать*, который обычно считается парным по виду глаголу *выиграть*, выполняет эту роль, как правило, в контекстах повторяющегося действия. В контекстах же типа *Дементьева выигрывает со счетом 4—2* мы не видим никакой аспектуальной связи с глаголом *выиграть*. Отметим также, что глагол *выиграть* (так же как и глагол *победить*) имеет несколько значений, конативный характер которых требует еще дополнительных исследований.

Подводя итоги нашей экскурсии в джунгли русских конативов, мы хотим обосновать (по крайней мере, попытаться это сделать) наш подход к этому вопросу. Дело в том, что стремление видеть семантическую связь между предикатами «*выиграть*» и «*участвовать в конкурсе, игре, соревнованиях*» может показаться искусственным научным снобизмом, далеким от реальных речевых ситуаций. Однако дело обстоит как раз наоборот. Когда говорящий выбирает нужные ему языковые выражения, он не оперирует какими-либо формальными критериями. Таким образом, он ищет языковые средства для выражения значений  $K_{\text{дин}}$  или  $K_{\text{рез}}$  не только

в пределах видовых пар, но и среди других языковых средств. Следовательно, когда говорящий на русском языке отбирает подходящие для него конативные выражения, «аспектуальные пары» типа *участвовать в соревнованиях — выиграть* представляют собой такой же важный и широко используемый материал, как и *выяснять — выяснить* или *ловить — поймать*.

Мы предлагаем следующие уточнения концепции конативов:

1. Конативность является не столько постоянным свойством определенных глаголов, сколько особым аспектуально-модальным значением предикатов, которое проявляется у разных глаголов по-разному.
2. Динамические и результативно-статуальные конативные значения выражаются парными предикатами. Часть из них представлена в русском языке видовыми парами (*решать — решить, искать — найти*), часть образуется с помощью аналитических форм (*пытаться получить — получить, пытаться убежать — убежать*), часть выражается супплетивными средствами (*участвовать в соревновании — выиграть*).
3. По-видимому, список парных конативных предикатов может быть расширен в результате дальнейших наблюдений с учетом определенных нами позиций.

Автор признателен за замечания и комментарии, сделанные коллегами в Отделении славистики и балтистики Хельсинкского университета, в частности, Леонидом Бирюлиным и Татьяной Парменовой.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Адамец 1978 — *Адамец П.* Образование предложений из пропозиций в современном русском языке. Praha, 1978.
- Апресян 1980/1995 — *Апресян Ю. Д.* Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ↔ Текст» // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 1 // Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1980 / 1995. С. 8—101.
- Бондарко 1983 — *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. М., 1983.
- Гловинская 2001 — *Гловинская М. Я.* Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М., 2001.
- Зализняк, Шмелев 2000 — *Зализняк Анна А., Шмелев А. Д.* Введение в русскую аспектологию. М., 2000.
- Зельдович 2003 — *Зельдович Г. М.* Конативные глаголы и глаголы устраниенного результата: два фиктивных глагольных класса // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 3. 2003. С. 46—52.
- Кацнельсон 1972 — *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
- Милютина 1998 — *Милютина М. Г.* К вопросу о классификации конативных аспектуальных ситуаций нестандартного типа в современном русском языке // Типология вида: проблемы, поиски, решения / Отв. ред. М. Э. Черткова. М., 1998. С. 315—320.
- Мустайоки 1993 — *Мустайоки А.* Аспектуальные разряды положений вещей в функциональном синтаксисе // Studia Slavica Finlandensia, Tomus 10 (=Studia slavica finlandensis in congressu XI slavistarum internationali Bratislavae anno MCMXCIII oblata). Helsinki, 1993. С. 63—91.

- Мустайоки 1997 — *Мустайоки А.* Возможна ли грамматика на семантической основе? // Вопр. языкоznания. 3. 1997. С. 15—25.
- Мустайоки 1999 — *Мустайоки А.* Аспектуальность в теории функционального синтаксиса // Die grammatischen Korrelationen (Grazer linguistische Slawistentage), hrsg. von B. Tošovic. Graz, 1999. С. 229—244.
- Мустайоки 2003а — *Мустайоки А.* Роли актантов в рамках функционального синтаксиса // Языковые функции: семантика, синтаксика, прагматика (= Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика, новая серия VIII). Тарту, 2003. С. 116—133.
- Мустайоки 2003б — *Мустайоки А.* Функциональный синтаксис как основа сопоставления языков // Studia Slavica Finlandensia XX (= Доклады финской делегации на XIII международном съезде славистов). Хельсинки, 2003. С. 100—127.
- Мустайоки 2004 — *Мустайоки А.* К вопросу об аспектуальных парадигмах предикатов // Мат-л к II Международн. конгрессу исследователей русск. яз. «Русский язык: исторические судьбы и современность». М., 18—21 марта 2004 г. (Работу можно найти только в электронном виде по адресу: [www.helsinki.fi/~mustajok/pdf-publications.html](http://www.helsinki.fi/~mustajok/pdf-publications.html))
- Николаева 2000 — *Николаева Т. М.* От звука к тексту. М., 2000.
- Падучева 2004 — *Падучева Е. В.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Петрухина 1997 — *Петрухина Е. В.* Аспектуальные классы глаголов и модели протекания действия во времени в славянских языках // Труды аспектологического семинара филолог-факта МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. 3 / Отв. ред. М. Ю. Черткова. М., 1997. С. 141—156.
- Томмола 1986 — *Томмола Х.* Аспектуальность в финском и русском языках (= Neuvostoliittoinstiuttiin vuosikirja 28.) Helsinki, 1986.
- Шелякин 1987 — *Шелякин М. А.* Способы действия в поле лимитативности // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис / Отв. ред. А. В. Бондарко. М., 1987. С. 63—85.
- Forsyth 1970 — *Forsyth J.* A Grammar of Aspects: Usage and Meaning in the Russian Verb. Cambridge, 1970.
- Kučera 1983 — *Kučera H.* A semantic model of verbal aspect // American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Vol. I: Linguistics / Ed. by M. S. Flier. Columbus, Ohio, 1983. P. 171—183.
- Schneider 1967 — *Schneider K.* Der russische «Aspekt» als Sonderfall eines allgemeineren Aspektbegriffes // Scando-Slavica. 13. 1967. P. 181—196.

*Peter Grzybek (Graz, Austria)*

## A STUDY ON RUSSIAN GRAPHEMES \*

**F**ormal aspects of the Russian alphabet have repeatedly been the object of linguistic studies. These studies need not be enumerated in detail, here; it may suffice to refer to the collective monograph *Опыт описания русского языка в его письменной форме* (Moskva 1964), written by Z. M. Volockaja, T. N. Mološnaja, and T. M. Nikolaeva. This book was an important step in studying the Russian graphemic system as a sign system in its own right, and it must be seen in the context of further related studies, as those by Nikolaeva [1961a, b; 1965; 1969]!<sup>1</sup>

Ultimately, any study of the Russian graphemic system (as of other graphemic systems, as well, of course) will be faced with one basic question, namely, which elements which must be taken into consideration, representing the basic components of the system under study? For most alphabets, an answer to the basic question as to the size and the (number of) elements of the alphabetic system under study, depends on the decision if the alphabet in question is regarded to be an autonomous or a heteronomous system; in principle, this topic has been discussed in detail by T. M. Nikolaeva [1965: 130f.], though with a different terminology. Basically, the decision to regard the graphemic system of a given language as an autonomous or a heteronomous system, is identical with an answer to the question if a grapheme (or a letter) is considered to be a (linguistic) sign in its own right, or if it is regarded as the constituent of a sign, only. Considering a writing system to be an autonomous sign system, graphemes are no signs since they have no meaning, but only have differentiating function; as opposed to this, according to an heteronomous perspective, each grapheme has sign character, since it is regarded to be the sign of a phoneme of the given language (and thus has the function of a secondary sign).

It is obvious that any decision as to autonomy or heteronomy of a writing system is of immediate relevance for the question which elements (and, of course, how many elements) are to be considered graphemes of the given writing system:

- a. Whereas from a heteronomous perspective, those letters and letter combinations have to be defined as ‘graphemes’, which correspond to a phoneme of the language in qu-

---

\* The present study was written in context of the research project «Word Length Frequency Distributions», financially supported by the Austrian Fund for Scientific Research (project P-15485) — as to the general background cf.: <http://www-gewi.uni-graz.at/quanta>

estion. Thus, in English, for example, not only the single letters *s* and *h*, but also the letter combination *sh* would have to be considered as graphemes, since *s*, *h*, and *sh* all signify individual phonemes; therefore, in English, the three graphemes *s*, *h*, and *sh* would be formed from the two letters *s* and *h*.

- b. Following an autonomous definition, graphemes can be defined by way of commutation tests on the basis of written texts. Thus, replacing the letter *h* by *r* in the English word *thick* results in the word *trick*; both *h* and *r* would thus have to be considered autonomous graphemes in English, and *h* would not only be part of the complex grapheme *th*. Still, according to the autonomous point of view, as well, graphemes are not identical with letters: thus, in the Old English letters  $\neq$  and  $\Delta$ , for example, can be considered to be allographs of one grapheme, since they can replace each other in the Old English orthography. Furthermore, under particular conditions, also the distinction between small and capital letters may be relevant with regard to the (size of the) grapheme inventory, from an autonomous perspective: although any such pair corresponds to one phoneme only, different meanings of a word may result from the fact if a word is written with small or capital letters (cf. *fest* or *Fest*, in German).

In the above-mentioned study by Volockaja, Mološnaja, and Nikolaeva (1964), an attempt is undertaken to describe the inventory of Russian graphemes on the basis of their constitutive elements (i.e., of the “figures”, in Hjelmslev’s sense, of which a sign is construed). A ‘grapheme’ is defined as an “an abstract unit of the alphabet, which may have for expression forms: printed or hand-written, small and capital, these four expression variants are called a логraphs or letters” (ibd., 10). In this understanding, then, a grapheme, being an abstract concept (as opposed to an allograph, or a letter), may not be drawn, or written. Based on this assumption, one obtains the 33 standard graphemes for Russian language, which are represented in table 1 (cf. ibd., 11).

Grapheme number	Grapheme name	Grapheme number	Grapheme name	Grapheme number	Grapheme name
1	а	12	ка	23	ха
2	бэ	13	эль	24	иэ
3	вэ	14	эм	25	чэ
4	гэ	15	эн	26	ша
5	дэ	16	о	27	ша
6	йэ	17	пэ	28	йэр
7	йо	18	эр	29	ы
8	жэ	19	эс	30	йэръ
9	зэ	20	тэ	31	э
10	и	21	у	32	йу
11	и краткое	22	эф	33	йа

Given this inventory of 33 graphemes, “each of the four distinguished types represents an independent system of interrelated signs” (ibd., 19). As a consequence, each of the four variants has to be studied separately. Concentrating on the capital letters in their printed form, the authors conclude that of all 33 graphemes, the majority coincides with their small equivalents, being different only in size:

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ъ Э Ю Я  
 а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ѫ є ў ѿ ѿ я

As can be seen, the shape of 29 letters coincides, differences exist only for the letters *a*, *б*, *e*, *ё*. Of course, since differences are mainly to be observed on the level of letters, not of graphemes, the number of differences strongly depends on the concrete realization of the written or printed allograph<sup>2</sup>. Thus, in their attempt to describe the inventory of Russian graphemes in their printed form, the authors concentrate on capital letters. According to their opinion, four elements are considered to be relevant (and sufficient) for their systematic description:

- 1. a skew line: /
- 2. a horizontal line: —
- 3. a vertical line: |
- 4. a bow: ⌂

Figure 1 represents the generation of the individual graphemes from these four constitutive elements.

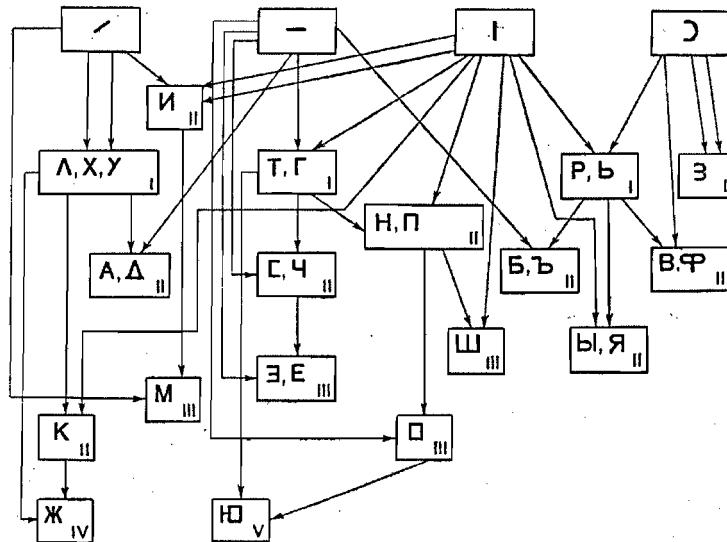


Fig. 1: Generation of capital printed letters

As can easily be seen from fig. 1, a number of graphemes are excluded from the analysis: Ё, Й, Щ, Џ. The reason for their exclusion is the fact that each of them contains one of the following diacritical elements: “*ъ*”, “*ї*”.

According to the authors, these diacritical signs are not considered to be graphemes, in Russian, because they exist only along with one letter, each which, being relevant for the distinction of only one letter pair (Е-Ё, Й-Ї, Щ-Ӯ). In this respect, the letter Џ represents an exception since there is no corresponding letter without the diacritical element *ї* in the Russian alphabet. In the authors' opinion, the four graphemes pointed out above therefore represent separate graphemes (as opposed to Latin alphabets, where they are to be understood as the combination of a basic letter plus diacritical sign).

As can be seen from figures 1 and 2, there remain 29 graphemes which are analyzed with regard to their constitutive elements. One may agree with this reduction of the graphemic inventory, or not; still, the idea is intriguing that these letters represent different degrees of “complexity” (complexity being interpreted as the number of constituent elements per letter). In fact, as can be seen from fig. 2, four ranks can be distinguished, with an increase of one element per grapheme, the minimum of elements being two (rank one).

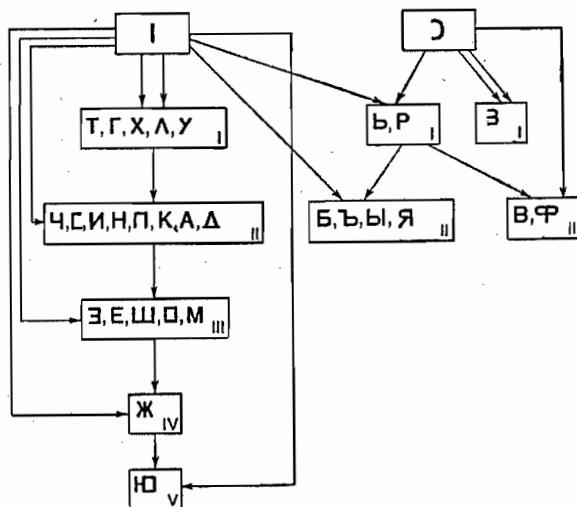
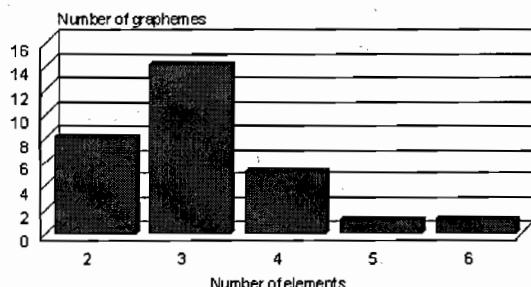


Fig. 2: Generation of ranks for capital printed letters

It can easily be calculated how many graphemes with a given number of elements are part of the alphabet. The corresponding data are represented in table 1. The graphic representation of these data in figure 3 clearly shows the left-skewed asymmetry of the frequency distribution ( $\gamma = 1.286$ ), which significantly deviates from a normal distribution (with a Shapiro-Wilk test value of 0.811,  $p < 0.001$ ).

This characteristic asymmetry coincides with observations from other linguistic units and levels, and it asks for more detailed analyses. In this respect, two *caveats* should be carefully taken into account, however:

number of elements	number of graphemes
2	8
3	14
4	5
5	1
6	1



Tab. 1 / Fig. 3: Frequencies of letter complexity

1. It seems that Nikolaeva and her co-authors, at the time of writing their book, were guided by the idea to provide a minimal inventory of distinctive features, thus striving for a maximum economy of meta-language. In fact, Nikolaeva [1969: 483] assumed that for the description of a given inventory  $M$ , the number of distinctive features should be  $N = \log_2 M$ . According to this calculation, we should thus arrive at a number of five elements, for the Russian alphabet (which is relatively close to the inventory used). However, concentrating on the economy of meta-language, is only one possible perspective. From a synergistic point of view, there are other needs of the graphemic system to be taken into consideration; in this respect, we are concerned not only with factors, such as minimization of coding or decoding effort, but also with the maximization of transfer safety (and thus with redundancy), with specification and distinctiveness, diversity, etc. From this perspective, many elements of Russian graphemes must not be considered to be "superfluous" (cf. [Volockaja et al. 1964: 25]), and it seems reasonable to follow the authors' suggestion to clearly distinguish between the level of abstract graphemes and sign elements of natural language. — As a consequence, more elements will be needed for an adequate description of Russian letters as they occur in reality, which, in turn, will result not only in a change of the inventory (size), but, quite naturally, also of the frequency of the constituting elements<sup>3</sup>.
2. Whereas Nikolaeva and her co-authors have concentrated on the level of the graphemic system, thus allowing for the frequency analysis of the given elements on the systemic level, it seems reasonable to ask a parallel question, too, which, thus far, has been largely neglected, at least with regard to standard European alphabets. This question may be phrased in the following way: how often do graphemes with a particular number of constituting elements occur in a running text, and what is the frequency of the elements themselves, under this condition? Irrespective of the fact that different classification systems will arrive at different data, this question is much less naive than it may sound at first sight. Ultimately, it will give an answer not only as to the state of the (alphabetic) system, its redundancy and discriminatory potential, but also as to basic processes of production and reception. It would not be economic, for example, if letters constituted of only a few elements, would occur rarely, and

letters with more elements would be of high frequency. In other words, it would be possible to gain insight into the efficiency of the graphemic system (and eventually of the system of its description), not only in a paradigmatic perspective.

The present study concentrates on one related question only, asking for the frequency of Russian graphemes. Yet, even in confining ourselves to this particular perspective, there remain two major directions of research. Given the frequency of Russian graphemes, based on a particular sample (be it a single text, part of a text, a mixtures of texts, or a corpus), one may predominantly be interested in

1. comparing the frequency of a particular grapheme with its frequency in another sample (or other samples); the focus will thus be on the frequency analysis of individual graphemes;
2. comparing the frequencies of all graphemes in their mutual relationship, both for individual samples and over samples; the focus will thus be on the analysis of an underlying frequency distribution model.

In the history of the study of Russian grapheme frequencies, practically only the first course has been followed, although the question as to an overall theoretical model has been implicit in many of them (for a systematic historical overview and analysis of quantitative studies of Russian graphemes cf. [Grzybek/Kelih 2003a]).

In fact, in order to further analyze the componential structure of the Russian graphemic system, i.e., in studying the frequency of their constitutive elements, not only a comprehensive system for describing the totality of all 33 Russian graphemes with all their elements — which may vary from realization to realization — will be necessary; also, knowledge of each individual grapheme's frequency is a *sine qua non*. It goes without saying that such a new componential analysis cannot be developed here, "*en passant*". Therefore, we shall confine ourselves here to dealing with the second issue outlined above, presenting an attempt to describe a general frequency distribution model for Russian graphemes. We do not only consider this to be an important contribution to the "Description of Russian in Its Written Form"; we also consider this to be a proof of the systematic nature of the Russian grapheme system.

The question of an overall theoretical distribution model for graphemes has only rarely been asked explicitly (not only, as far as Russian graphemes are concerned); generally speaking, research along this line has been done, to name but the most important studies, by Sigurd [1968], Good [1969], Gusein [1988], or Martindale et al. [1996]. The overall interest of works like these was not so much the frequency of individual graphemes, but an answer to the question which relative frequency the most frequent, the second most frequent, the third most frequent, etc. graphemes have. The focus of these studies thus has been a so-called rank frequency distribution, the aim of theoretical modeling ultimately being a mathematical formalization of the distance(s) between the individual frequencies: Transforming given frequencies into a descending order, and graphically relating the data points with each other, the result is not a linear decline; rather, one obtains a specific, monotonously declining (usually hyperbolic) curve. And the idea is to model

the exact form of this curve in order to see, if the frequencies of different samples (i.e., the specific kind of decline) has one and the same shape.

However, all of the above-mentioned studies have a number of methodological flaws, which need not be discussed here in detail, but still should be mentioned *in toto*:

1. More often than not, the graphem(at)ic and phone(ma)tic levels of language are not consequently distinguished from each other, assuming that these two linguistic units (or forms of representation) follow one and the same model. This assumption seems to be reasonable, of course; still, it is more proper to clear keep apart these different levels of description, at least in a first approximation to the question.
2. Usually, research has not paid due attention to differences in the quality of the data material, provided on the basis of texts, parts of texts, text cumulations or mixtures (corpora), thus neglecting the important condition of data homogeneity. Again, it may well be that this factor is not relevant for the analysis of graphemes; still, the factor should carefully controlled, as in studies as well.
3. The elaboration of relevant frequency models has predominantly concentrated on curves, not on probability functions. Although, in principle, both may be transformed into each other, there is an important difference between both approaches: as opposed to curves, the sum of the theoretical (relative) frequencies must be 1, in case of probabilities. Furthermore, the calculation of particular characteristics, such as entropy, repeat rate, etc. is possible only for a system of probabilities, not for curves.
4. The adequacy of a given theoretical model has been tested in different ways: Partly, tests for the goodness of curve approximations (usually the so-called determination  $R^2$ ) have been applied; partly, however, researchers simply presented tables and/or graphical illustrations, with simple juxtapositions of observed and theoretical values.

In order to guarantee a methodologically consistent procedure, a number of decisions have thus been made with regard to present study:

- ad 1: The analysis has been confined to grapheme analyses, only; in how far the conclusions to be drawn are relevant for phoneme studies, as well, will have to be the topic of a separate study. Since by tradition, not all Russian texts use the letter ‘ë’ as a separate letter in its own right (i.e., identifying ‘ë’ and ‘e’), some texts are composed of 32, others of 33 graphemes; for the present study, therefore, all calculations are based on an inventory size of  $n = 32$ .
- ad 2: Due attention has been paid to the factor of data homogeneity by systematically comparing results obtained on the basis of texts, parts of texts, text cumulations, and text mixtures.
- ad 3: With regard to the theoretical model in question, not curves, but probability functions have been applied. In doing so, all relevant models thus far discussed have been tested for their adequacy; therefore, in some cases models containing curve approximations have also been taken into consideration and therefore been transformed into probability models.

ad 4: The goodness of fit has been consequently tested by statistical methods. However, the chi square goodness-of-fit test, which uses to be applied in comparable studies, increases linearly with an increase of sample size. As a result, one is more likely concerned with significant deviations, due to large sample size only (since we are concerned with great sample sizes, in our case). Therefore, it is reasonable to relativize the chi square value by dividing it through the sample size ( $N$ ) and use the discrepancy coefficient  $C = \chi^2/N$ , instead; by convention, a value of  $C < 0.02$ , is interpreted to indicate a good, with  $C < 0.01$  a very good fit.

Under these conditions, and meeting the necessary requirements, it will be possible now to test those models discussed in previous research, for the adequacy for Russian grapheme frequencies. Since grapheme systems have a limited number of different classes, however, it seems reasonable, to truncate those distributions the support of which is not  $1\dots n$  (but  $1\dots\infty$ ) on the right side.

## 2.1. Zeta Distribution

An early and frequently discussed model is based on consideration by G. K. Zipf. Based on the assumption that the product of the rank ( $r$ ) of a grapheme and its frequency ( $f_r$ ) is a constant ( $c$ ), the resulting equation takes the shape  $f_r \times r = c$ , which can be represented as

$$(1) \quad f_r = \frac{c}{r}, \quad r = 1, 2, 3, \dots$$

with regard to the theoretical calculation of the frequency. Since formula (1) does not represent a distribution model, however — the theoretical relative frequencies do not sum up to 1, because the harmonic series does not converge, and  $c$  is no normalizing constant), it has been enriched by a further parameter ( $a$ ). The resulting distribution model usually is called Zipf distribution or zeta distribution<sup>4</sup> [Wimmer/Altmann 1999: 664f.]:

$$(2) \quad P_r = \frac{c}{r^a}, \quad r = 1, 2, 3, \dots, \quad a > 1, \quad c^{-1} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^a}$$

Truncating this distribution on the right side, one obtains the right-truncated zeta distribution:

$$(3) \quad P_r = \frac{x^{-a}}{F(R)}, \quad r = 1, 2, 3, \dots, R, \quad a \in \mathbb{Q}, \quad R \in \mathbb{N}, \quad F(R) = \sum_{i=1}^R i^{-a}$$

## 2.2. Zipf-Mandelbrot Distribution

The generalization of Zipf's original ideas by Mandelbrot results in a more flexible formula with an additional parameter. Based on the initial equation  $f_r \times r = c$ , this expanded form may be represented as  $f_r \times (b + r)^a = c$ , which, with regard to the calculation of the theoretical frequencies, leads to

$$(4) \quad f_r = \frac{k}{(b+r)^a}, \quad r=1,2,3,\dots$$

The distribution model resulting from (5) usually is called Zipf-Mandelbrot distribution [Wimmer/Altmann 1999: 666]:

$$(5) \quad P_r = \frac{c}{(b+r)^a}, \quad r=1,2,3,\dots, \quad a>1, \quad b>-1, \quad c^{-1} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(b+j)^a}$$

As can be seen, the support of (5) is infinite; therefore truncating it on the right side, one obtains:

$$(6) \quad P_r = \frac{c}{(b+r)^a}, \quad r=1,2,3,\dots,n, \quad a \in \mathbb{R}, \quad b > -1, \quad c^{-1} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{(b+j)^a}$$

### 2.3. Geometric distribution

Another model, which has repeatedly been discussed in context of grapheme frequencies, is based on the so-called geometric series, which consists of the members

$$aq^0, aq^1, aq^2, aq^3, \dots, aq^{n-1}, \dots$$

In analogy to Zipf's considerations (see above) one can deviate the function

$$(7) \quad f_r = a \cdot q^r, \quad r = 0,1,2,\dots$$

from it, which, in the context of grapheme frequencies, has been discussed by Sigurd [1968] or Martindale et al. [1996]. Since in case of ranked frequencies the first rank uses to be denominated as „1“ (and not as „0“), and since the function consequently starts with  $r = 1$ , usually either its 1-displaced form

$$(8) \quad f_r = a \cdot q^{r-1} \quad r = 1,2,3,\dots,$$

has been applied, which results in the distribution

$$(9) \quad P_r = pq^{r-1} \quad r = 1,2,3,\dots, \quad 0 < q < 1, \quad p = 1-q$$

or the 1-displaced, right-truncated form:

$$(10) \quad P_r = \frac{(1-q)q^{r-1}}{1-q^n}, \quad r = 1,2,\dots,n, \quad 0 < q < 1$$

## 2.4. Good Distribution

Three of the above-mentioned models — namely, (2), (8) und (9) — may be interpreted to be special cases of another distribution which has also been discussed in the context of grapheme frequencies: the so-called Good distribution. Since Good has developed various distribution models, this one has been termed Good1 distribution, in the relevant literature (cf. [Wimmer / Altmann 1999: 219f.]). The Good1 distribution has been brought up by Martindale et al. [1996], who discussed it by reference to the following equation:

$$(11) \quad P_r = \frac{a}{r^b} \cdot c^r, \quad r = 1, 2, \dots, n$$

In formula (11),  $a$  is a normalizing constant which is responsible for the sum of the relative frequencies to sum up to 1:

$$a^{-1} = \sum_{j=1}^n \frac{c^j}{j^b}$$

As was pointed out before, there exists a super-ordinate model which explains the relation of distribution (10) to the distributions discussed above. It would lead too far, however, to discuss these interrelations in detail, here (cf. [Grzybek/Kelih/Altmann 2004]). Let it therefore suffice to say that this super-ordinate model is the so-called Lerch distribution (cf. [Zörmig/Altmann 1995]) of which the other models turn out to be special cases. However, thus far this general model has never been applied to grapheme studies.

## 2.5. Whitworth Distribution

Another distribution has been discussed by Martindale et al. [1996], though only in form of a curve approximation. In consequently transforming it into a probability density function, Grzybek/Kelih/Altmann [2004] have integrated it into a broader theoretical framework, which need not be presented, here.

It may be sufficient to say that usually, when dealing with distributions, one assumes that the probability of a particular class  $x$  or the rank  $r$ , develops proportionally to the class below, i.e., to  $x - 1$  or  $r - 1$ , (cf. [Altmann / Köhler 1996]). Based on this general assumption, one obtains the difference equation

$$(12) \quad P_x = g(x)P_{x-1}$$

the concrete solution of which depends on the particular function  $g(x)$ . Equation (12) — which, in a way, shows the „top-down“ perspective — is rather apt to describe entities with large inventories. If, however, one is concerned with a rather small inventory (i.e., with only a few number of classes), all frequencies have to be balanced in a particular manner, in order to arrive at particular „prescribed“ characteristics such as, e.g., entropy or repeat rate). This balance can often be achieved by help of so-called partial sum distributions, which are obtained as follows: if  $\{P^*\}$  is a given probability function (which

may be termed „base“ distribution, for the sake of convention), then one obtains a new distribution:

$$(13) \quad P_x = C \sum_{j \geq x+k} f(P_j^*)$$

Wimmer / Altmann (2000) have mathematically analyzed various schemes and subsequently discussed with regard to linguistic purposes Wimmer / Altmann [2001]. As far as grapheme analyses are concerned, of the options shown there, only one case has been applied (though without reference to the schemes developed by these two authors), thus far: the partial sum of the discrete rectangular distribution (cf. [Good 1969; Gusein-Zade 1988; Martindale et al. 1996]). The corresponding combinatorial scheme — which has been called ‘broken stick distribution’, ‘distribution of ordered random intervals’, or as ‘MacArthur distribution’ — has been used as early as in the very beginning of the 20<sup>th</sup> century, however, by Whitworth [1901: 207f.], and shall therefore be called Whitworth distribution, here.

Defining  $P_j^* = \frac{1}{n}$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$  (i.e., the discrete rectangular distribution) and applying it to the scheme

$$(18) \quad P_x = C \sum_{j \geq x} \frac{P_j^*}{j}, \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

we easily obtain

$$(19) \quad P_x = \frac{1}{n} \sum_{j=x}^n \frac{1}{j}, \quad x = 1, 2, 3, \dots, n$$

where  $C = 1$ . Explicitly writing  $P_x$  and adding up, the sum equals 1. It is quite obvious that this distribution has a great advantage: since it has only one parameter ( $n$ ) which directly results from the inventory size, it can easily be interpreted.

## 2.6. Negative hypergeometric Distribution

A last distribution model which has to be discussed in the given context, is the so-called negative hypergeometric distribution, which is also known by the name of beta binomial distribution [Wimmer / Altmann 1999: 465ff.]. This model has repeatedly been used for rank frequencies of different kinds: Thus, Köhler / Martináková-Rendeková [1998] have shown that this distribution is an adequate model for ranked frequencies of pitch, intensity, and duration values of a Chopin Étude; and Wimmer / Altmann [2001] and Wimmer / Wimmerová [Ms.], respectively, have successfully modeled rank frequencies of the occurrence of tones in musical works by Bach, Beethoven, Liszt und Chopin.

Thus far, the negative hypergeometric distribution has only rarely been used modeling for linguistic phenomena. Ziegler [2001] has successfully modeled word class frequencies in Portuguese journalistic texts with it. With regard to grapheme frequencies, it

has been used only in a study of A. S. Puškin's *Царь Салман* [Grzybek 2001]. Since this issue has been further pursued in detail, however, the present study be as well be seen as a more broadly based test of the results obtained on the basis of one text only.

The negative hypergeometric mass function may theoretically derived in various manners, a question which need not be dealt with here. May it suffice to say that its ordinary form

$$(20) \quad P_x = \frac{\binom{M+x-1}{x} \binom{K-M+n-x-1}{n-x}}{\binom{K+n-1}{n}}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n, \quad K > M > 0; \quad n \in \{1, 2, \dots\}$$

has to be displaced one step for ranging purposes, what results in its 1-displaced variant

$$(21) \quad P_x = \frac{\binom{M+x-2}{x-1} \binom{K-M+n-x}{n-x+1}}{\binom{K+n-1}{n}}, \quad x = 1, 2, \dots, n+1 \quad K > M > 0; \quad n \in \{1, 2, \dots\}$$

If the negative hypergeometric distribution is truncated at zero, one obtains the positive negative hypergeometric mass function:

$$(22) \quad P_x = \frac{\binom{M+x-1}{x} \binom{K-M+n-x-1}{n-x}}{\binom{K+n-1}{n} - \binom{K-M+n-1}{n}}, \quad x = 1, 2, \dots, n$$

Interestingly enough, there is a relation between the negative hypergeometric and the Whitworth distribution: In case  $K = 2$  and  $M = 1$  in (22), one obtains the discrete rectangular distribution, and if one then forms the partial sums as described above, the Whitworth distribution turns out to be a special case of the partially summed negative hypergeometric distribution.

### 3. Empirical tests of the models

#### 3.1. Text and Data Base

As was mentioned above, due attention shall be paid to the important factor of data homogeneity in the present analysis of Russian graphemes. Although this factor is not likely to play a crucial role, in the case of graphemes, a systematic control of this factor seems to be in place, and be it for being "on the safe side" only.

Therefore, the following data material has been used:

- a. A first group of texts is represented by complete texts; in order not to follow some a priori definition of 'text', complete chapters of novels have as well been considered to be 'texts' as complete novels. The majority of these texts are literary (prosaic,

poetic, and dramatic) texts, for the sake of comparison, technical texts have been included as well.

- b. A second group of texts consists of text segments, cumulations, mixtures. Text segments are arbitrarily selected passages of texts, for example particular lines or verses. Text cumulations are successively added chapters of a complete text, which, in the last step, are identical with the complete text. Text mixtures are combinations of arbitrarily texts (or text segments).
- c. All texts taken together represent a complete corpus (which, in our case, sums up to ca. 3.3 million graphemes).

Table 1 represents an overview of all analyzed texts and text cumulations. Subsequent to the text number, information about the author or the source of the text can be found, followed by the text's title, its abbreviation, and, finally, its size (in the number of graphemes).

**Tab. 1:** Text and data basis: complete texts and text cumulations

No.	Author	Text	Chapter	Abbr.	N
1	A.S. Puškin	Evgenij Onegin	1	ASP-EO 1	15830
2			2	ASP-EO 2	11544
3			3	ASP-EO 3	13597
4			4	ASP-EO 4	12475
5			5	ASP-EO 5	12018
6			6	ASP-EO 6	12742
7			7	ASP-EO 7	15180
8			8	ASP-EO 8	15864
9			1-2	ASP-EO 1-2	27374
10			1-3	ASP-EO 1-3	40971
11			1-4	ASP-EO 1-4	53446
12			1-5	ASP-EO 1-5	65464
13			1-6	ASP-EO 1-6	78206
14			1-7	ASP-EO 1-7	93386
15		complete text		ASP-EO 1-8	109250
16	L. N. Tolstoj	Anna Karenina	complete text	LNT-AK	1336483
17		Otročestvo	complete text	LNT-O	113954
18	F. M. Dostojevskij	Prestuplenie i nakazanie	complete text	FMD-PN	837885
19		Zapiski iz podpol'ja	complete text	FMD-ZAP	188249
20	A. P. Čechov	Čajka	complete text*	APČ-Č	145735
21		Djadja Vanja	complete text*	APČ-DV	60871
22	M. Gor'kij	Mat'	complete text*	MG-MA	433177
23		Na dne	complete text	MG-ND	76039
24	<a href="http://www.rusmet.ru/">http://www.rusmet.ru/</a>	Ural'skij rynok metallov	technischer Text	UR	8061
25	<a href="http://www.phyton.ru/">http://www.phyton.ru/</a>	Instrumental'nye sredstva [...]	technischer Text	IN	18711

\* The dramatic texts signed by an asterisk contain all stage directions, speakers, etc.

Table 2 contains the corresponding data for the text mixtures, text segments, and the complete corpus<sup>5</sup>.

**Tab. 2:** Text and data basis: text mixtures, segments, and corpus

No.	Author	Text	Chapter	Abbr.	N
26	A. S. Puškin	<i>Evgenij Onegin</i>	ch. 1 & 8	ASP-EO1+8	31694
27	L. N. Tolstoj	<i>Anna Karenina</i>	pt. 8 (ch. 18) & pt. 1 (ch. 1)	LNT-AK8+1	7720
28	F. M. Dostoevskij	<i>Prestuplenie i nakazanie</i>	pt. 1 (ch. 1) & pt. 6 (ch. 8)	FMD-PN1+6	29498
29	A. S. Puškin & L. N. Tolstoj	<i>Evgenij Onegin &amp; Anna Karenina</i>	complete texts	ASP+LNT	1445733
30	A. S. Puškin & F. M. Dostoevskij	<i>Evgenij Onegin &amp; Prestuplenie i nakazanie</i>	complete texts	ASP+FMD	947135
31	A. S. Puškin & text 24	<i>Evgenij Onegin &amp; Text 24</i>	complete texts	ASP+UR	117311
32	L. N. Tolstoj & text 24	<i>Anna Karenina &amp; Text 24</i>	complete texts	LNT+UR	1344544
33	F. M. Dostoevskij & text 25	<i>Prestuplenie i nakazanie &amp; Text 25</i>	complete texts	FMD+IN	856596
34	M. Gor'kij & text 25	<i>Na dne &amp; Text 25</i>	complete texts	MG+IN	95312
35	Puškin, A. S.	<i>Evgenij Onegin</i>	ch. 5, verse 1-5 per ch.	ASPI-5	4323
36	F. M. Dostoevskij	<i>Prestuplenie i nakazanie</i>	epilogue, each alternate line	FMD-2	14464
37	L. N. Tolstoj	<i>Anna Karenina</i>	pt. 4 (ch. 1—5), every 4th line	LNT-4	7141
38	Complete corpus			CC	3328454

### 3.2. Results

Let us now take a look at the results for the six models discussed above. The basic idea is, of course, to calculate the parameters (i.e., the variables and constants) of each of the models in such a way that the differences between empirical and theoretical values are minimized. That is to say that the parameters may vary from data set to data set without changing the basic formula. The goodness of fit is then tested by the discrepancy coefficient  $\chi^2 / N$  with  $C < 0.02$  indicating a good,  $C < 0.01$  a very good fit (see above). The overall aim is not only to find a model which is able to cover all data sets in a satisfying way; additionally, a model with the least possible number of parameters is preferable in order to arrive at a qualitative interpretation of the quantitative data.

The following tables present, along with text number and abbreviated title, the value of the parameters, the chi square value with the corresponding degrees of freedom, and the value of the discrepancy coefficient  $C$ .

Let us demonstrate the procedure by way of an example, F. M. Dostoevskij's *Записки из подполья*, and let us, in a first attempt, try to fit the Zipf-Mandelbrot distribution to this material.

Table 3 presents the absolute frequencies  $f(i)$  in decreasing order for all ranks ( $i$ ) from 1 to 32. Whereas parameter  $n = 32$  corresponds to the inventory size, parameters  $a$  and  $b$  are the result of theoretical estimations and subsequent iterations — in our case, one obtains  $a = 1.5281$  and  $b = 5.2679$ . Filling in these values in formula (6), one obtains the theoretical values  $NP(i)$ :

Tab. 3: Zipf-Mandelbrot Distribution

<b>i</b>	<b>f(i)</b>	<b>NP(i)</b>	<b>i</b>	<b>f(i)</b>	<b>NP(i)</b>
1	982048	24160,66	17	181684	3481,44
2	763584	19269,33	18	163449	3255,40
3	701891	15823,75	19	156929	3052,65
4	593949	13290,24	20	151944	2869,97
5	563851	11363,93	21	146832	2704,70
6	532783	9859,37	22	138459	2554,59
7	456610	8658,00	23	101994	2417,79
8	423657	7680,88	24	93156	2292,69
9	403285	6873,61	25	77999	2177,95
10	353818	6197,65	26	69870	2072,41
11	295548	5625,00	27	54464	1975,07
12	272216	5134,88	28	30854	1885,07
13	262459	4711,59	29	24421	1801,66
14	248196	4343,07	30	22314	1724,18
15	222221	4019,91	31	9578	1652,06
16	195629	3734,68	32	2257	1584,80
$a = 1.5281$			$c^2 = 9265,88$		
$b = 5.2679$			$FG = 28$		
$n = 32$			$C = 0,0492$		

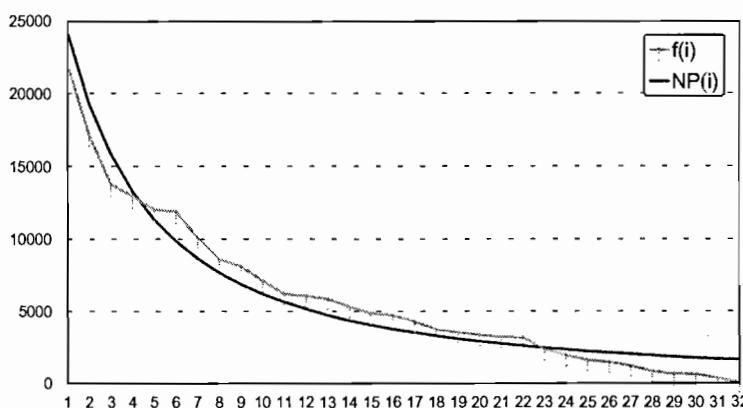


Fig. 1: Fitting the Zipf-Mandelbrot Distribution (Записки из подполья)

As can be seen from the values in table 3 and their graphic representation in fig. 1, the Zipf-Mandelbrot is no good model, in this case. This fact is corroborated by the poor value of  $C = 0.0492$ . The very same tendency holds true for all other cases, as well; and, since the Zipf-Mandelbrot distribution is a generalization of the zeta distribution, the latter also turns out to be no adequate model for Russian grapheme frequencies. Table 4a/b represents the results of fitting the zeta and the Zipf-Mandelbrot distributions to all data sets.

It can clearly be seen that both distribution which have repeatedly been applied for grapheme frequencies, are not really adequate for modeling rank frequencies of Russian graphemes. In case of the zeta distribution, the values of the discrepancy coefficient are in the interval  $0.1664 \geq C \geq 0.0995$ , for the complete corpus it is  $C = 0.1177$  — not a single sample arrives at a value of  $C < 0.02$ . The Zipf-Mandelbrot distribution, too, which has one more parameter ( $a, b, n$ ) as compared to the zeta distribution, does not seem to be an appropriate model: Only three of the samples arrive at a discrepancy coefficient of  $C < 0.02$ . Interestingly enough, however, the value of the corpus is relatively satisfying, as compared to the results for the individual samples, which asks for further investigation. Fig. 2 illustrates the results, showing the discrepancy coefficients for all samples.

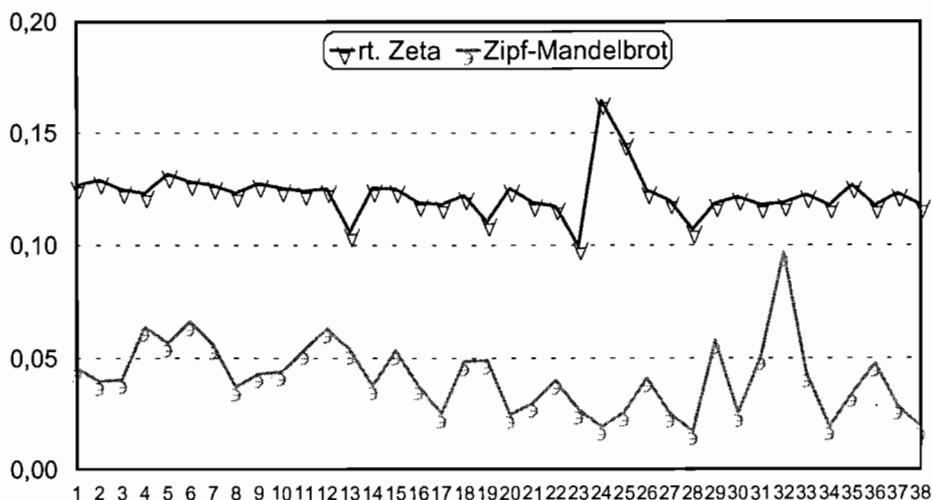


Fig. 2: Discrepancy coefficients of the zeta and Zipf-Mandelbrot distributions

Both models therefore can be ruled out from further considerations which shall concentrate on the right truncated geometric and the right truncated Good distribution in the next step. Table 5/a/b shows the results in detail.

Tab. 4a/b: Right truncated zeta and Zipf-Mandelbrot distribution

No.	Abbr.	right truncated zeta, R=32			Zipf-Mandelbrot (a,b) n=32			
		a	$\chi^2_{FG=29}$	C	a	b	$\chi^2_{FG=28}$	C
1	ASP-EO 1	0,6659	2001,81	0,1265	2,2784	12,8065	721,25	0,0456
2	ASP-EO 2	0,6828	1487,25	0,1288	2,7371	16,5558	456,80	0,0396
3	ASP-EO 3	0,6725	1693,67	0,1246	2,7403	17,1914	551,15	0,0405
4	ASP-EO 4	0,6714	1530,24	0,1227	1,4136	5,0791	794,37	0,0637
5	ASP-EO 5	0,6703	1580,15	0,1315	1,7478	7,8099	681,15	0,0567
6	ASP-EO 6	0,6728	1632,08	0,1281	1,3574	4,4606	842,83	0,0661
7	ASP-EO 7	0,6722	1920,19	0,1265	1,6214	6,6847	847,98	0,0559
8	ASP-EO 8	0,6886	1951,23	0,1230	3,0305	19,4182	587,00	0,0370
9	ASP-EO 1-2	0,6726	3481,37	0,1272	2,4360	14,0741	1177,47	0,0430
10	ASP-EO 1-3	0,6725	5128,28	0,1252	2,2610	12,5103	1800,41	0,0439
11	ASP-EO 1-4	0,6721	6622,94	0,1239	1,6966	7,4194	2859,07	0,0535
12	ASP-EO 1-5	0,6710	8179,52	0,1249	1,3976	4,8765	4121,98	0,0630
13	ASP-EO 1-6	0,7172	8257,16	0,1056	1,7176	7,5936	4196,80	0,0537
14	ASP-EO 1-7	0,6714	11690,57	0,1252	3,0800	20,3454	3515,08	0,0376
15	ASP-EO 1-8	0,6737	13646,19	0,1249	1,7081	7,4547	5825,38	0,0533
16	LNT-AK	0,7238	158702,58	0,1187	2,1424	9,9287	50451,88	0,0377
17	LNT-OT	0,6991	13438,62	0,1179	6,5497	52,2365	2852,85	0,0250
18	FMD-PR	0,7113	102121,20	0,1219	1,7772	7,1180	40547,22	0,0484
19	FMD-ZA	0,7119	20745,41	0,1102	1,5282	5,2679	9265,88	0,0492
20	APČ-ČA.	0,7073	18228,33	0,1251	12,0000	118,9459	3586,48	0,0246
21	APČ-DJ.	0,7129	7226,2866	0,1187	2,6542	14,8642	1813,34	0,0298
22	MG-MA.	0,7046	50716,0098	0,1171	2,3162	11,9652	17278,67	0,0399
23	MG-NA	0,6982	7563,71	0,0995	7,6666	65,0316	2028,44	0,0267
24	UR	0,7330	1325,26	0,1644	12,0000	102,3936	155,05	0,0192
25	IN	0,7098	2731,32	0,1460	5,6544	40,2040	478,15	0,0256
26	ASP-EO1+8	0,6766	3938,82	0,1243	2,5939	15,5644	1298,49	0,0410
27	LNT-AK8+1	0,7232	924,12	0,1197	5,1200	36,4961	194,05	0,0251
28	FMD-PR1+6	0,6993	3147,01	0,1067	10,8361	94,8234	504,90	0,0171
29	ASP+LND	0,7200	171135,22	0,1184	12,0000	144,0974	83390,77	0,0577
30	ASP+FMD	0,7068	114782,89	0,1212	5,7090	43,1875	24000,24	0,0253
31	ASP+UR	0,6370	13793,61	0,1176	1,8231	8,3289	5941,93	0,0507
32	LNT+UR	0,7239	159407,53	0,1186	12,0000	167,6190	129723,30	0,0965
33	FMD+IN	0,7108	104658,16	0,1222	2,0404	9,2915	36928,53	0,0431
34	MG+IN	0,6868	11190,42	0,1175	12,0000	117,0180	1833,61	0,0192
35	ASP1-5	0,6901	546,93	0,1265	4,4701	33,2901	147,36	0,0341
36	FMD-2	0,7336	1698,62	0,1174	1,7018	6,1837	691,26	0,0478
37	LNT-4	0,7265	876,40	0,1227	2,9291	16,4118	202,65	0,0284
38	CC	0,7133	391831,09	0,1177	12,0000	105,0550	13874,96	0,0190

Tab. 5a/b: Right truncated geometric right truncated Good-1 distributions

No.	Text	right truncated geometric, $R = 32$			right truncated Good-1 (a, p)			
		q	$\chi^2_{FG=29}$	C	a	p	$\chi^2_{FG=29}$	C
1	ASP-EO 1	0,9086	443,91	0,0280	0,00000014	0,89976	471,65	0,0298
2	ASP-EO 2	0,9064	313,89	0,0272	0,00000030	0,89811	328,77	0,0285
3	ASP-EO 3	0,9083	399,39	0,0294	0,00000008	0,89966	422,38	0,0311
4	ASP-EO 4	0,9087	420,24	0,0337	0,74387629	0,98000	1716,30	0,1376
5	ASP-EO 5	0,9078	354,32	0,0295	0,00000002	0,89914	373,88	0,0311
6	ASP-EO 6	0,9072	337,20	0,0265	0,00000001	0,89867	356,44	0,0280
7	ASP-EO 7	0,9076	394,38	0,0260	0,74717027	0,98000	2115,18	0,1393
8	ASP-EO 8	0,9064	463,37	0,0292	0,00003339	0,89819	483,07	0,0305
9	ASP-EO 1-2	0,9077	752,14	0,0275	0,00000025	0,89911	795,07	0,0290
10	ASP-EO 1-3	0,9080	1122,48	0,0274	0,00000000	0,89936	1189,19	0,0290
11	ASP-EO 1-4	0,9082	1515,85	0,0284	0,00000018	0,89950	1606,65	0,0301
12	ASP-EO 1-5	0,9083	1878,70	0,0287	0,00000001	0,89956	1988,54	0,0304
13	ASP-EO 1-6	0,9081	2195,71	0,0281	0,00000031	0,89943	2324,36	0,0297
14	ASP-EO 1-7	0,9080	2563,15	0,0274	0,00000016	0,89931	2718,88	0,0291
15	ASP-EO 1-8	0,9078	3015,62	0,0276	0,00000007	0,89918	3188,81	0,0292
16	LNT-AK	0,9002	28735,24	0,0215	0,80841128	0,98000	181444,61	0,1358
17	LNT-OT	0,9038	2734,34	0,0240	0,80619800	0,98000	16828,51	0,1477
18	FMD-PR	0,9003	17699,49	0,0211	0,77618992	0,98000	108400,81	0,1294
19	FMD-ZA	0,9025	4464,71	0,0237	0,00000951	0,89501	4589,25	0,0244
20	APČ-ČA.	0,9034	3271,84	0,0225	0,77321643	0,98000	19431,64	0,1333
21	APČ-DJ.	0,9027	1200,12	0,0197	0,00000001	0,89528	1240,04	0,0204
22	MG-MA.	0,9028	10826,33	0,0250	0,78065173	0,98000	57155,47	0,1319
23	MG-NA	0,9063	2039,73	0,0268	0,00000000	0,89805	2134,88	0,0281
24	UR	0,8940	134,70	0,0167	0,80235312	0,98000	1309,22	0,1624
25	IN	0,8987	358,76	0,0192	0,78144672	0,98000	2787,69	0,1490
26	ASP-EO1+8	0,9076	904,82	0,0285	0,00000007	0,89137	1388,15	0,0438
27	LNT-AK8+1	0,8997	173,62	0,0225	0,78516143	0,98000	972,70	0,1260
28	FMD-PR1+6	0,9043	561,27	0,0190	0,75336999	0,98000	3298,06	0,1118
29	ASP+LNT	0,9008	30774,89	0,0213	0,78285514	0,98000	181446,72	0,1255
30	LNT+FMD	0,9013	20958,83	0,0221	0,78699029	0,98000	128874,45	0,1361
31	ASP+UR	0,9070	3071,67	0,0262	0,00000002	0,89853	3240,76	0,0276
32	LNT+UR	0,9002	28774,37	0,0214	0,78783364	0,98000	169893,70	0,1264
33	FMD+IN	0,9013	19026,55	0,0222	0,77609868	0,98000	111138,41	0,1297
34	MG+IN	0,9061	1923,35	0,0202	0,77619024	0,98000	13128,46	0,1378
35	ASP1-5	0,9061	132,49	0,0306	0,75891235	0,98000	596,99	0,1381
36	FMD-2	0,8987	357,04	0,0247	0,00000015	0,89200	359,32	0,0248
37	LNT-4	0,8990	123,35	0,0173	0,00000070	0,89217	124,93	0,0175
38	CC	0,9016	69203,68	0,0208	0,777321050	0,98000	41751,32	0,1254

As the results presented in table 5a/b show, neither the geometric nor the Good distribution yield satisfying results. For the geometric distribution, the values of the discrepancy coefficient are in the interval  $0.337 \geq C \geq 0.0167$  for the individual samples, of which only five have a value of  $C < 0.02$ ; as to the corpus, the value of  $C = 0.208$  is better than the one for most of the individual sample, but still fails the level of significance. The results are even worse for the Good distribution; in only one case,  $C$  underscores the level of significance. Fig. 3 illustrates the results, showing the discrepancy coefficients for all samples.

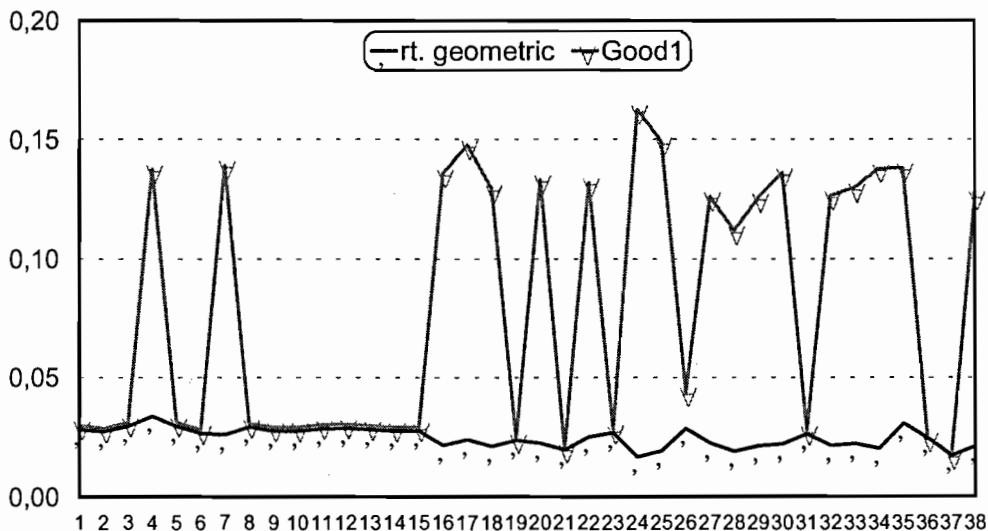


Fig. 3: Discrepancy coefficients of the geometric and Good distributions

As can be seen from fig. 3, the values of the Good distribution are far from being stable; still, there is no plausible explanation (sample size, data homogeneity, authorship, text type, etc.) for this tendency. As compared to this, the geometric distribution is rather stable, but constantly above the level of significance. We can thus rule out those four (of our six) models, which have predominantly been applied in previous research. This fact makes it even more important to look for new ways, and to test the remaining two models, in order to find out, if either the Whitworth or the negative hypergeometric distribution yields better results.

As was mentioned above, the Whitworth distribution is particularly attractive due to the fact that it has one parameter ( $n$ ) which may easily be interpreted. Therefore, it is of utmost importance to note that this distribution yields satisfying results, as far as ranked frequencies of Russian graphemes are concerned. Table 8 represents the results in detail:

Tab. 6: Whitworth distribution

Whitworth, R = 32							
No.	Text	$\chi^2_{FG=30}$	C	No.	Text	$\chi^2_{FG=30}$	C
1	ASP-EO 1	275,79	0,0174	20	APČ-ČA.	2075,78	0,0142
2	ASP-EO 2	196,62	0,0170	21	APČ-DJ.	631,01	0,0104
3	ASP-EO 3	252,01	0,0185	22	MG-MA.	3880,32	0,0090
4	ASP-EO 4	245,82	0,0197	23	MG-NA	1230,06	0,0162
5	ASP-EO 5	227,89	0,0190	24	UR	170,95	0,0212
6	ASP-EO 6	201,05	0,0158	25	IN	351,32	0,0188
7	ASP-EO 7	246,78	0,0163	26	ASP-EO1+8	526,22	0,0166
8	ASP-EO 8	255,72	0,0161	27	LNT-AK8+1	57,30	0,0074
9	ASP-EO 1-2	465,81	0,0170	28	FMD-PRI+6	236,22	0,0080
10	ASP-EO 1-3	692,18	0,0169	29	ASP+LNT	11508,38	0,0080
11	ASP-EO 1-4	908,01	0,0170	30	ASP+FMD	8461,09	0,0089
12	ASP-EO 1-5	1142,42	0,0175	31	ASP+UR	1798,70	0,0153
13	ASP-EO 1-6	1316,45	0,0168	32	LNT+UR	10539,38	0,0078
14	ASP-EO 1-7	1536,60	0,0165	33	FMD+IN	7135,16	0,0083
15	ASP-EO 1-8	1784,02	0,0163	34	MG+IN	1128,00	0,0118
16	LNT-AK	10464,05	0,0078	35	ASP1-5	78,00	0,0180
17	LNT-OT	1094,06	0,0096	36	FMD-2	113,15	0,0078
18	FMD-PR	6831,59	0,0082	37	LNT-4	54,30	0,0076
19	FMD-ZA	1243,79	0,0066	38	CC	22763,51	0,0068

The results presented in table 6 clearly prove the Whitworth distribution to be an adequate model for ranked grapheme frequencies in Russian: for the individual samples, the discrepancy coefficient is in the interval  $0.212 \geq C \geq 0.0066$ ; for 23 of the 37 samples, the discrepancy coefficient is  $C < 0.02$ , in 13 cases even  $C < 0.01$  — only one of the texts (the technical text #28) slightly fails the defined level of significance.

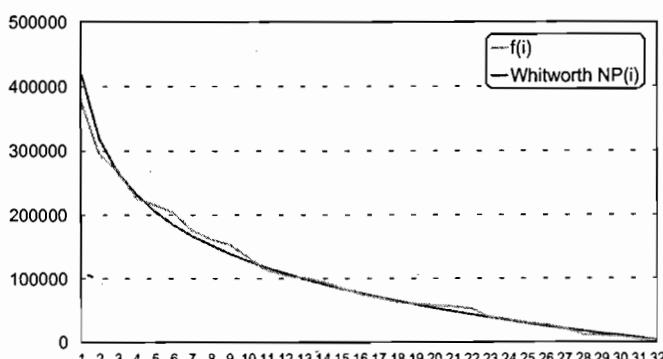
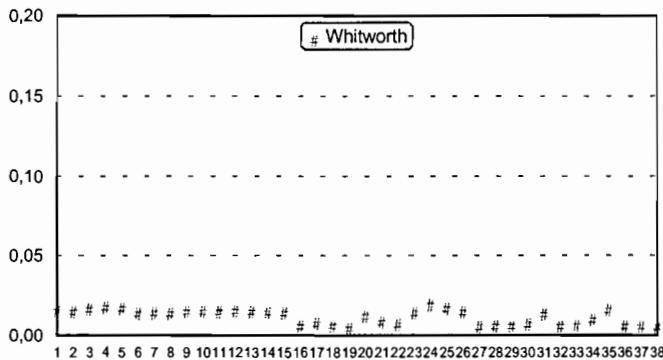


Fig. 4a: Fitting the Whitworth distribution (complete corpus)

Fig. 4a graphically presents the good fitting result for the whole corpus ( $C = 0.0068$ ); the overall stability of the discrepancy coefficient C for all 38 data sets, is illustrated in fig. 4b.

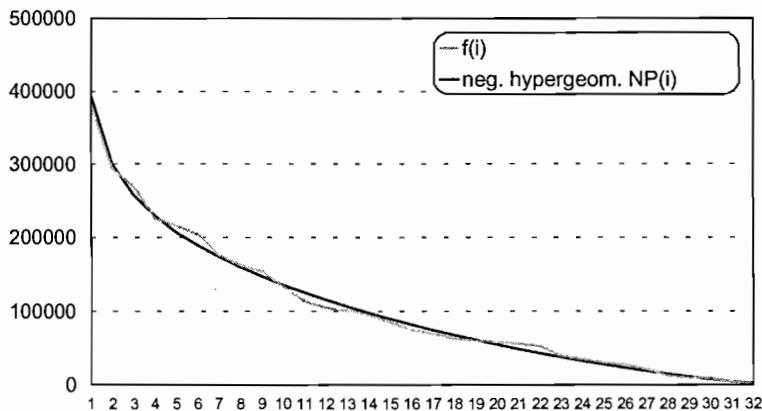


**Fig. 4b:** Constancy of the discrepancy coefficient C for fitting the Whitworth distribution (complete corpus)

Since the results for the negative hypergeometric distribution are even better, they shall be presented here in detail, arriving at an end of our study. Table 6 / fig. 5 present the results for the complete corpus.

**Tab. 6:** Negative hypergeometric distribution (corpus)

i	f(i)	NP(i)	i	f(i)	NP(i)
1	377272	392798,11	17	69666	74399,29
2	293471	299110,55	18	62778	67406,45
3	269118	256811,89	19	59872	60752,49
4	225809	228556,95	20	58037	54418,89
5	215165	206814,32	21	55743	48391,21
6	203776	188840,80	22	52166	42658,63
7	175642	173340,29	23	38918	37213,55
8	162044	159600,48	24	34719	32051,45
9	153632	147188,88	25	30119	27170,98
10	133968	135823,67	26	26924	22574,13
11	113077	125311,27	27	21071	18266,81
12	104465	115513,27	28	11913	14259,90
13	100794	106327,52	29	9558	10571,06
14	95430	97676,72	30	8442	7228,37
15	84749	89501,25	31	3845	4277,90
16	75453	81754,42	32	779	1803,51
K = 3,1511			$c^2 = 13874,96$		
M = 0,7948			FG = 28		
n = 31			C = 0,0042		



**Fig. 5:** Fitting the negative hypergeometric distribution (complete corpus)

A comparison with the results for all individual sample confirms the impression that the negative hypergeometric distribution is an excellent model for ranked grapheme frequencies in Russian: in all cases, the discrepancy coefficient is in the interval  $0.0169 \geq C \geq 0.0043$ , and in not less but 32 of the 37 individual samples the discrepancy coefficient is not only  $C < 0.02$ , but even  $C < 0.01$ .

**Tab. 7:** Negative hypergeometric distribution

Neg. Hypergeometric, n=31					
No.	Text	K	M	$\chi^2_{FG=28}$	C
1	ASP-EO 1	3,1904	0,8472	85,94	0,0054
2	ASP-EO 2	3,2120	0,8394	99,87	0,0087
3	ASP-EO 3	3,1751	0,8405	114,06	0,0084
4	ASP-EO 4	3,1388	0,8306	118,41	0,0095
5	ASP-EO 5	3,2388	0,8531	87,83	0,0073
6	ASP-EO 6	3,2061	0,8450	67,31	0,0053
7	ASP-EO 7	3,2001	0,8445	89,34	0,0059
8	ASP-EO 8	3,1666	0,8250	148,69	0,0094
9	ASP-EO 1-2	3,1974	0,8439	178,68	0,0065
10	ASP-EO 1-3	3,1853	0,8422	269,22	0,0066
11	ASP-EO 1-4	3,1742	0,8397	356,24	0,0067
12	ASP-EO 1-5	3,1816	0,8418	445,28	0,0068
13	ASP-EO 1-6	3,1868	0,8429	480,76	0,0061
14	ASP-EO 1-7	3,1894	0,8434	541,67	0,0058
15	ASP-EO 1-8	3,1869	0,8411	679,85	0,0062
16	LNT-AK	3,1412	0,7893	8231,12	0,0062
17	LNT-OT	3,1084	0,8015	594,66	0,0052
18	FMD-PR	3,1567	0,8005	3839,72	0,0046

19	FMD-ZA	3,0454	0,7818	805,17	0,0043
20	APČ-ČA.	3,1644	0,8137	1691,75	0,0116
21	APČ-DJ.	3,1245	0,8050	533,09	0,0088
22	MG-MA.	3,1065	0,7959	2165,86	0,0050
23	MG-NA	3,1563	0,8259	765,06	0,0101
24	UR	3,4201	0,8269	120,06	0,0149
25	IN	3,1483	0,7927	316,62	0,0169
26	ASP-EO1+8	3,1736	0,8356	229,95	0,0073
27	LNT-AK8+1	3,1401	0,7872	38,47	0,0050
28	FMD-PR1+6	2,9490	0,7707	149,17	0,0051
29	ASP+LNT	3,1400	0,7909	8830,29	0,0061
30	ASP+FMD	3,1465	0,8027	4841,49	0,0051
31	ASP+UR	3,2017	0,8410	686,02	0,0058
32	ASP+UR	3,1422	0,7894	8288,54	0,0062
33	FMD+IN	3,1542	0,8004	4079,82	0,0048
34	MG+IN	3,1014	0,8161	580,80	0,0061
35	ASP1-5	3,1854	0,8282	49,02	0,0113
36	FMD-2	3,1524	0,7816	87,49	0,0060
37	LNT-4	3,1651	0,7910	46,20	0,0065
38	CC	3,1441	0,7948	13874,96	0,0042

As can be seen from the results presented in table 7, the discrepancy coefficient  $C$  turns out to be convincingly stable for all samples. Interestingly enough, the parameters, too, display a convincing degree of stability. This holds true not only for parameter  $n$  (which is defined by the inventory size minus one and therefore is constantly  $n = 31$ ), also the values for  $K$  and  $M$  are extremely stable:  $3.42 \geq K \geq 2.95$  und  $0.85 \geq M \geq 0.77$ . Figs. 6a/b illustrate the constancy of the results.

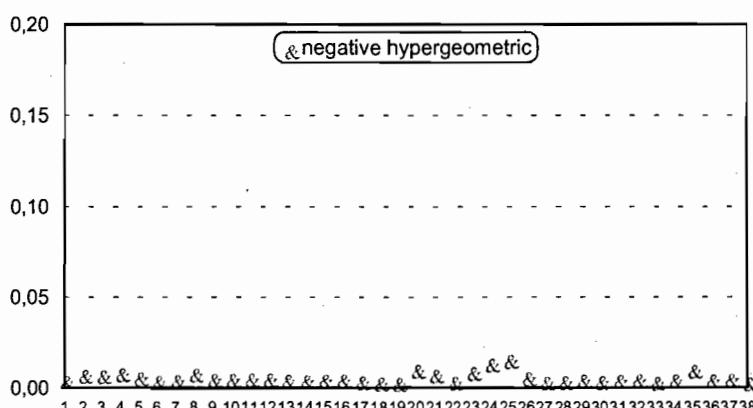


Fig. 6a: Constancy of the discrepancy coefficient

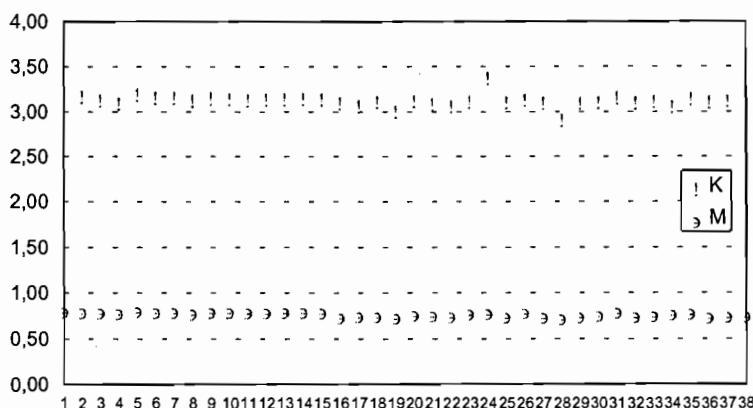


Fig. 6b: Constancy of the parameters  $K$  und

### 5. Summary, Conclusion, Perspectives

The results of the present study allow for a number of conclusions, which pave the way for further research:

1. The Russian grapheme system seems to be an orderly organized system, as far as the frequency of its elements are concerned.
2. The fact of the law-like organization of the Russian grapheme system allows for the extended hypothesis that the elements of the graphemes may be systematically organized, as well; with regard to this question, both theoretical and empirical work is needed.
3. The question of data homogeneity obviously plays only a minor, if any role on the level of grapheme analyses. Although in some cases, the results obtained were better for the complete corpus than for individual cases, the results are relatively constant, as long as the theoretical model is adequate, irrespective of the fact, if texts, text segments, text mixtures, or text cumulations are analyzed.
4. It is an important finding that four distributions, which have been assumed to be adequate models in previous research (zeta, Zipf-Mandelbrot, geometric, Good) are not acceptable for Russian grapheme frequencies; most likely, a number of assumptions about other languages will have to be modified.
5. In case of Russian, a relative easy and plausible model, the Whitworth distribution, yields satisfying results, although this model has rarely been used in previous research. Future studies will have to show in how far grapheme frequencies of other languages, too, can be covered by this model; preliminary data from other Slavic languages show that the Whitworth distribution does not seem to be of some general validity (cf. [Grzybek/Kelih 2003b] for Slovene, and [Benko / Grzybek / Kelih / Kusendova / Nemcová 2004] for Slovak).

6. The negative hypergeometric distribution turns out to be an excellent model. A problem thus far unsolved is the fact that only one of its parameters ( $n$ ) allows for an easy interpretation. Yet, the constancy of the other two parameters ( $K$  and  $M$ ) allow for the hypothesis that there might be some qualitative explanation of the empirical findings.
7. The extension of the studies to other Slavic languages may provide insights not only as to their graphemic structure(s), in general, but also as to historical-diachronic aspects of this question.
8. In further pursuing this line of research, it will be of utmost importance to search for cross-references with the corresponding phonemic systems. As a result, answers will be obtained with regard to the question, in how far the models discussed here are particularly (or exclusively?) adequate for Slavic languages, which display a relative great (though diverging) proximity to the corresponding phoneme structures.
9. In addition to the extension of this research to other (Slavic) languages, a more detailed theoretical treatment of the discussed models will be necessary; notwithstanding the fact, that some transitions between the models discussed here and overall generalizations have already been described by Grzybek/Kelih/Altmann [2004], it will be necessary to elaborate specific characteristics such as, e.g., the theoretical entropies and repeat rates of these models in order to arrive at solid conclusions.

Summarizing, one can say that the study of the Russian graphemic system (as of other graphemic systems, too, of course) definitely goes beyond the mere counting of letters, and that it is by no way a matter of the past — rather there are still many perspectives for future theoretical and empirical research, which in part, have been outlined some decades ago.

#### NOTES

<sup>1</sup> Unfortunately, the text by Nikolaeva [1961a] was not available to the author of these lines; it seems that history repeats itself, though with reversed premises, if one reads Nikolaeva's [1965: 130] words, written some decades ago: "I regard it necessary to remark that some works on this question, which are known from bibliographical resources (...), remained unstudied due to reasons of technical character."

<sup>2</sup> In fact, Volockaja et al. [1964: 14ff.] arrive at six differences, choosing a different representation for the letters 'д' and 'р', namely the italic forms *ð* and *ڑ*.

<sup>3</sup> Interestingly enough, almost the same elements pointed out by Volockaja et al. (1964) have been distinguished by W. A. Koch [1971: 74f.] in his attempt to describe the Latin alphabet (in its variant for the English grapheme system). Additionally, however, Koch has given a number of additional "features" which, in fact, are rather considered to be either positional specifications (such as, 'top', 'bottom', 'middle'), or particular rules for handling the basic elements (such as, e.g. 'reduced', 'mirrored', or 'crossed'). — Meanwhile, there are quite a number of attempts to describe alphabetic systems, all of them arriving at different solutions, and it would be worthwhile checking their relevance for the detailed description of Russian letters, too — cf. Althaus [1973: 108], Boudon [1981: 35ff.], Mounin [1970: 135ff.], Watt [1975; 1978; 1981; 1988; 2002].

<sup>4</sup> The name zeta distribution goes back to the fact that in equation (2)  $k^l = \zeta(a)$  is Riemann's zeta function; this distribution has a number of further names, however, such as discrete Pareto distribution, Joos model, Riemann's zeta distribution, Zipf-Estoup distribution, Zipf's Law, etc. (cf. [Wimmer / Altmann 1999: 664f.]).

<sup>5</sup> As opposed to the text by Grzybek/Kelih [2004], the term «corpus» refers to the totality of all complete texts, only (thus not counting text segments, mixtures, and cumulations more than once in data set #38; therefore, the results are slightly different as compared to the mentioned study..

## R E F E R E N C E S

- Althaus, H. P. (1973): «Graphetik». In: H. P. Althaus; H. Henne; H. E. Wiegand (eds.), *Lexikon der Germanistischen Linguistik*. Tübingen. (105—110).
- Altmann, G.; Köhler, R. (1996): «‘Language Forces’ and synergetic modelling of language phenomena». In: Schmidt, P. (ed.), *Glottometrika 15*. Trier. (62—76).
- Benko, V. / Grzybek, P. / Kelih, E. / Kusendová, J. / Nemcová, E. (2004): «Rank Frequency Models for Slovak Graphemes». [In prep.]
- Boudon, P. (1981): *Introduction à une sémiotique des lieux*. Paris.
- Catford, J. C. (1965): *A Linguistic Theory of Translation*, London.
- Good, I. J. (1969): «Statistics of Language: Introduction». In: Meetham, C. A.; Hudson, R. A. (eds.), *Encyclopaedia of Linguistics, Information, and Control*. Oxford etc. (567—581).
- Grzybek, P. (2001): «Kultur — Ökonomie: Zur Häufigkeit text-konstitutiver Elemente». In: Weitlaner, W. (Hg.), *Sprache — Kultur — Ökonomie*. Wien. (485—509). [= Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 54]
- Grzybek, P.; Kelih, E. (2003a): «Graphemhäufigkeiten (Am Beispiel des Russischen). Teil I: Methodologische Vor-Bemerkungen und Anmerkungen zur Geschichte der Erforschung von Graphemhäufigkeiten im Russischen», in: *Anzeiger für slawische Philologie*, 31; 131—162.
- Grzybek, P.; Kelih, E. (2003b): «Grapheme frequencies in Slovene». In: V. Benko (ed.), *Slovko 2003*. Bratislava. [In print]
- Grzybek, P.; Kelih, E.; Altmann, G. (2004): «Graphemhäufigkeiten (Am Beispiel des Russischen). Teil II: Modelle der Häufigkeitsverteilung». In: *Anzeiger für slawische Philologie*, 32. [In print].
- Gusein-Zade, S. M. (1988): «О распределении букв русского языка по частоте встречаемости». In: *Problemy peredači informacii*, 24, ; 102—107.
- Koch, W. A. (1971): *Taxologie des Englischen*. München.
- Köhler, R.; Martináková-Rendeková, Z. (1998): «A systems theoretical approach to language and music». In: Altmann, G.; Koch, W. A. (eds.) (1998): *Systems. New Paradigms for the Human Sciences*. Berlin / New York: de Gruyter. 514—546.
- Martindale, C.; Gusein-Zade, S. M.; McKenzie, D.; Borodovsky, M. Yu. (1996): «Comparison of Equations Describing the Ranked Frequency Distributions of Graphemes and Phonemes». In: *Journal of Quantitative Linguistics*, 3, ; 106—112.
- Mounin, G. (1970): *Introduction à la sémiologie*. Paris.
- Nikolaeva, T. M. (1961a): «Классификация русских графем». In: *Doklady na konferencii po obrabotke informacii, mašinnomu perevodu, i avtomatičeskemu čteniju*, 6. Moskva.
- Nikolaeva, T. M. (1961b): «Письменна реč' i specifika ee izuchenija», in: *Voprosy jazykoznanija*, 3; 78—86.
- Nikolaeva, T. M. (1965): «Что такое графема?». In: *Filologičeskie nauki*, 3; 130—134.
- Nikolaeva, T. M. (1969): «Проблемы описания единичного плана выражения: Синтез через анализ». In: *Trudy po znakovym sistemam IV*. Tartu. (483—486).

- Sigurd, B. (1968): «Rank-Frequency Distributions for Phonemes». In: *Phonetica*, 18; 1—15.
- Volockaja, Z. M.; Mološnaja, T. N. Nikolaeva, T. M. (1964): *Opyt opisanija russkogo jazyka v ego pis'mennoj forme*. Moskva.
- Watt, W. C. (1975): «What is the proper characterization of the alphabet? Part I: Desiderata». In: *Visible Language*, 9; 293—327.
- Watt, W. C. (1980): «What is the proper characterization of the alphabet? Part II: Composition». In: *Ars Semeiotica*, 3; 3—46.
- Watt, W. C. (1981): «What is the proper characterization of the alphabet? Part III: Appearance». In: *Ars Semeiotica*, 4; 269—313.
- Watt, W. C. (1988): «What is the proper characterization of the alphabet? Part IV: Union». In: *Semiotica*, 70; 199—241.
- Watt, W. C. (1988): «What Is the proper characterization of the Alphabet? V: Transcendence». In: *Semiotica*, 138; 131—178.
- Whitworth, W. A. (1901): *Choice and Chance. With One Thousand Exercises*. New York / London: Hafner, 1965.
- Wimmer, G.; Altmann, G. (1999): *Thesaurus of univariate discrete probability distributions*. Essen.
- Wimmer, G.; Altmann, G. (2000): «On the Generalization of the STER Distribution Applied to Generalized Hypergeometric Parents». In: *Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas rerum naturalium, Mathematica*, 39; 215—247.
- Wimmer, G.; Altmann, G. (2001): «Models of Rank-Frequency Distributions in Language and Music». In: L. Uhlišová; G. Wimmer, G. Altmann, R. Köhler (eds.), *Text as a Linguistic Paradigm: Festschrift in honour of Luděk Hřebíček*. Trier: WVT. (283—294).
- Wimmer, Gejza; Wimmerová, Soňa (Ms.): «Ein musikalisches Rangordnungsgesetz».
- Ziegler, A. (2001): «Word Class Frequencies in Portuguese Press Texts». In: L. Uhlišová; G. Wimmer, G. Altmann, R. Köhler (eds.), *Text as a Linguistic Paradigm: Festschrift in honour of Luděk Hřebíček*. Trier: WVT. (295—312).
- Zörnig, P.; Altmann, G. (1995): «Unified representation of Zipf distributions». In: *Computational Statistics & Data Analysis* 19, 461—473.



## IV.

# ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ. ЛЕКСЕМЫ





*Ю. Д. Апресян (Москва)*

## ДВА ПРИНЦИПА И ДВА ПОНЯТИЯ СИСТЕМНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ\*

*Дорогой Тане Николаевой к юбилею*

**З**адача данной работы состоит в том, чтобы представить несколько ключевых теоретических понятий системной лексикографии, которые сами по себе уже обсуждались, в их взаимосвязях. К числу таких понятий относятся: а) принцип интегральности лингвистических описаний; б) принцип системности; в) понятие лексемы и ее интегрального лексикографического представления; г) понятие лексикографического типа.

Мы начнем с общетеоретического принципа интегральности лингвистических описаний, поскольку он предшествует всем остальным. На этой основе будет определено понятие лексемы и ее интегрального лексикографического представления, которое в свою очередь лежит в основе понятия лексикографического типа. Принцип системности будет рассмотрен последним, поскольку он существенно опирается на понятие лексикографического типа.

### *1. Принцип интегральности лингвистических описаний*

Он весьма подробно разбирается в [Апресян 1995], и здесь мы обсудим лишь одну деталь, которая интересна в контексте нынешней работы.

Два главных компонента лингвистического описания — словарь и грамматика (последняя понимается расширительно — как совокупность всех правил языка, включая семантические). Эти два компонента должны содержать в себе всю информацию, необходимую для правильного употребления любой единицы языка в тексте или в речи и тем самым для ее правильного понимания. Отсюда вытекают очень существенные требования к тому, как лингвистическая информация будет

---

\* Исследование было выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 04-04-00263а), РФФИ (грант № 05-06-80361), Президента РФ (грант № НШ-1576.2003.6 на поддержку ведущих научных школ) и Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте», раздел 4.15.

распределена между грамматикой и словарем, а значит и к тому, как должны работать грамматист и лексикограф.

Грамматист при формулировке очередного правила должен работать на всем множестве лексем и учесть те лексемы, которые ему подчиняются, если данная форма их поведения не зафиксирована непосредственно в их словарных статьях (настройка грамматики на словарь). Во многих случаях это приводит к необходимости включать в правила информацию о конкретных лексемах.

Лексикограф, описывая очередную лексему, должен работать на всем множестве лингвистических правил и приписать каждой лексеме все свойства, обращения к которым могут потребовать правила (настройка словаря на грамматику)<sup>1</sup>. Часто это требует включения правил непосредственно в словарь. Так обстоит дело в тех случаях, когда какое-то правило касается только данной лексемы или небольшой группы лексем: тогда наиболее естественным местом для него оказываются именно их словарные статьи.

Собственно лексикографический интерес представляет только вторая задача, которая поэтому будет прокомментирована более подробно и с упором на необходимость вводить некоторые лингвистические правила непосредственно в словарные статьи конкретных лексем. Акцент на правилах в словарных статьях имеет и психологическую мотивацию: по-видимому, грамматисту гораздо легче примириться с мыслью, что во многих правилах следует поименно упоминать некоторые лексемы, притом отнюдь не в порядке исключений, чем лексикографу — с мыслью, что словарь должен стать хранилищем очень многих правил.

У модальных наречий *можно, нельзя, невозможно* есть так называемое алетическое значение; применительно к перечисленным наречиям это значение объективной возможности или невозможности. Ср. *Здесь вполне можно перейти речку вброд, Можно в такой темноте что-нибудь увидеть* {в таком шуме что-нибудь услышать?}; *Здесь невозможно {нельзя} перейти речку вброд, В такой темноте {в таком шуме} нельзя {невозможно} что-либо увидеть* {что-либо услышать}.

В контексте некоторых предикатов мнения (*считать, думать, полагать* и т. п.), а также семантически производных от них предикатов (*утверждать, отрицать, предполагать, допускать* и т. п.) чисто алетическое значение ‘есть возможность для Р’ (соответственно ‘нет возможности для Р’) закономерно преобразуется в значение ‘есть основания для Р’ (‘нет оснований для Р’): объективная возможность переинтерпретируется как ментальная предпосылка. Ср. *Можно считать {утверждать}, что эксперименты закончились успешно* = ‘Есть основания считать {утверждать}, что ...’; *Нельзя считать {утверждать, отрицать}, что эксперименты закончились успешно* = ‘Нет оснований считать {утверждать}, что ...’; *Можно думать, что все закончатся успешно; Насколько можно судить по предварительным данным, эксперименты закончатся успешно; Можно надеяться, что эта ошибка не повторится.*

Этот семантический сдвиг характерен, хотя и в разной мере, для перечисленных лексем и, может быть, еще некоторых, но его нельзя связать ни с каким общим смыслом в их значениях. Очевидно, например, что у глагола *мочь* тоже есть

алетическое значение; ср. *можешь перепрыгнуть через ров* (выжать двухпудовую гирю, решить эту задачу)? Однако в контексте предикатов мнения и утверждения его значение не обязательно сдвигается в сторону ‘есть основания (считать, утверждать и т. п.)’; ср. семантический контраст в парах *Можно думать что угодно и Можешь думать что угодно; Можно утверждать, что эксперименты закончились успешно и Можешь утверждать, что эксперименты закончились успешно* ( $\approx$  ‘мне безразлично, что именно ты утверждаешь’).

Поскольку, таким образом, рассматриваемый семантический сдвиг характеризует не весь семантический класс, а лишь отдельные входящие в него лексемы, он естественнее всего описывается в виде правила семантической модификации в словарных статьях самих этих лексем.

Помимо алетических и деонтических значений многие модальные слова имеют еще так называемые вероятностные (эпистемические, онтологические) значения; ср. *Подожди еще немного, они могут вернуться с минуты на минуту* (должны вернуться с минуты на минуту). Словари (СУ, БАС, МАС, СОШ, БТС) выделяют вероятностные значения у слов *мочь* и *должен*, но единодушно отказывают в возможности такого употребления словам *можно, нельзя и невозможно*. Между тем из общих соображений естественно допустить, что эти слова тоже должны иметь вероятностные употребления.

Такие употребления у них действительно есть, но реализуется они лишь в контексте предикатов, обозначающих неконтролируемые действия, процессы и состояния<sup>2</sup>; ср. *Так можно и ошибиться (и подвести человека), Утром здесь можно поймать даже форель, В этой рощице можно найти даже белые грибы, Вечером в парке можно встретить подгулявших десантников (натолкнуться на бомжей, напороться на бандитов), Так можно упасть (сломать ногу), В комнате так душно, что можно упасть в обморок; На окраине города никак нельзя напороться на патруль, На ровном месте нельзя упасть (сломать ногу); Ошибиться в столь простых вычислениях (поймать здесь форель, встретить в этих местах знакомого) невозможно*.

В контексте предикатов, обозначающих контролируемые действия, процессы или состояния, *можно, нельзя и невозможно* реализуют либо алетическое, либо деонтическое значение; ср. *Детям уже можно (еще нельзя) купаться в пруду*.

Таким образом, различия между словами *мочь* и *должен*, с одной стороны, и *можно, нельзя, невозможно*, с другой, касаются лишь статуса и условий реализации вероятностных употреблений. У слов *мочь* и *должен* они конституируют самостоятельные лексические значения, потому что не могут быть получены из алетических значений с помощью стопроцентно справедливого правила. У слов *можно, нельзя и невозможно* они конституируют именно употребления, а не самостоятельные значения, потому что могут быть получены из соответствующих алетических значений с помощью правил<sup>3</sup>.

Дадим теперь более строгую формулировку этих правил: если первая валентность слова *можно* реализована предикатом Р со значением неконтролируемого действия, процесса или состояния, его словарное толкование ‘есть объективная

возможность для Р' преобразуется в 'есть вероятность Р'. Если первая валентность слова *нельзя* реализована предикатом Р со значением неконтролируемого действия, процесса или состояния, его словарное толкование 'нет объективной возможности для Р' преобразуется в 'нет вероятности Р'. Не будем выписывать в явном виде аналогичного правила для слова *невозможно*.

Поскольку все перечисленные правила лексикализованы, они тоже должны быть даны в словарных статьях лексем *можно*, *нельзя* и *невозможно*.

## *2. Лексема и ее интегральное лексикографическое представление*

Лексемой называется слово, рассматриваемое в одном из имеющихся у него значений. Тем самым лексема, в отличие от лексического значения, оказывается многосторонней единицей языка, со своим означаемым, означающим, синтаксикой и прагматикой. Полная характеристика всех указанных аспектов лексемы в словаре называется ее интегральным лексикографическим представлением (портретом).

Технически, за вычетом означающего, интегральное лексикографическое представление лексемы складывается из трех частей: а) полного семантико-прагматического представления лексемы; б) характеристики ее коммуникативно-просодических, сочетаемостных, синтаксических, морфологических и стилистических свойств; в) информации о семантических связях данной лексемы с другими лексемами в словаре (синонимах, антонимах, конверсивах и т. п.).

Необходимость во всех этих типах лексикографической информации непосредственно вытекает из принципа интегральности, как он был сформулирован в разделе 1: в языке существуют лингвистические правила, требующие обращения к любому из перечисленных свойств и связей лексемы.

Главным компонентом интегрального лексикографического представления является полное семантико-прагматическое представление лексемы. Последнее, в свою очередь, складывается из ее аналитического толкования на специальном метаязыке (едином для любых языковых единиц, включая грамматические), словарных правил взаимодействия значений и еще трех типов сведений: а) нетривиальных семантических признаков лексем; б) коннотаций; в) прагматической информации.

Для каждого из упомянутых здесь типов лексикографической информации в словарных статьях лексем интегрального словаря предусматривается отдельная зона. Ниже эти типы информации, за исключением словарных правил взаимодействия значений (см. выше раздел 1), будут охарактеризованы подробнее.

### **2.1. Аналитическое толкование лексемы**

Напомню, что аналитическое толкование выполняется на специальном метаязыке, являющемся подъязыком языка-объекта, в нашем случае — русского; что в этом метаязыке избегается синонимия и многозначность грамматических и лек-

сических единиц; и что сами толкования должны отвечать условиям полноты и неизбыточности.

Поскольку здесь преследуются чисто иллюстративные цели, я позволю себе воспользоваться слегка упрощенными толкованиями нескольких речевых актов из работы [Апресян 2005]<sup>4</sup>.

*X просит Y-а сделать P* [*Он попросил меня купить ему билет на последний рейс*] = '(а) человек X хочет, чтобы было P, и считает, что человек Y может сделать P, и не считает, что Y должен делать P [пресуппозиции]; (б) X говорит Y-у, что он хочет, чтобы Y сделал P [ассерция]; (в) X говорит это, потому что хочет, чтобы было P [мотивировка]'; (г) X говорит это так, что Y понимает, что X не считает его обязанным делать P' (последний компонент заимствован из работы [Гловинская 2005]; см. там же полное толкование *просить*).

*X требует от Y-а, чтобы Y сделал P* [*Не требуйте от меня невозможного*] = '(а) человек X хочет, чтобы человек Y сделал P, и считает, что Y должен сделать P [пресуппозиции]; (б) X говорит Y-у, что он хочет, чтобы Y сделал P [ассерция]; (в) X говорит это, потому что считает, что Y должен сделать P [мотивировка]'; (г) X говорит это так, что Y понимает, что X считает его обязанным сделать P' (последний компонент предложен (устно) М. Я. Гловинской).

*X спрашивает 1 Y-а, P* [здесь P — косвенный вопрос, вводимый словами *кто, где, когда* и т. п., например, *Он спросил меня, когда я иду в отпуск*] = '(а) человек X хочет знать P и считает, что человек Y знает P [пресуппозиции]; (б) X просит Y-а, чтобы Y сказал ему P [ассерция]; (в) X просит об этом потому, что хочет знать P' [мотивировка].

*X спрашивает 2 Y-а (у Z-а)* [*В гостинице спросишь администрацию*] = 'Человек X просит человека Z позвать человека Y или дать X-у возможность войти в контакт с Y-ом'.

*X спрашивает 3 Z у Y-а* [*Спрашивай у него документы, а то уйдет* (М. Булгаков. *Мастер и Маргарита*)] = 'Человек X требует от человека Y, чтобы тот дал или показал ему Z'.

## 2.2. Нетривиальные семантические признаки лексем

Это понятие достаточно хорошо известно и пространных комментариев не требует; ср. признаки стативности и моментальности для глаголов, фасадности и нефасадности для существительных, предельности для прилагательных. К числу нетривиальных семантических признаков относится и уже упоминавшийся признак неконтролируемости, нужный, в частности, для того, чтобы объяснить модификацию словарных толкований лексем *можно, нельзя и невозможно* в контексте соответствующих предикатов; см. анализ материала в разделе 1.

## 2.3. Коннотации

В соответствии с концепцией, разделяемой большинством писавших на эту тему авторов (см. [Pisarkova 1975; Иорданская, Мельчук 1980; Bartmiński 1980; Толстой 1984; Konotacja 1988; Апресян 1995: 156—177] и многие другие работы),

коннотации лексем не входят непосредственно в их толкование. Тем не менее они должны фиксироваться в их словарных статьях, потому что через ссылку к коннотациям объясняются важнейшие семантические связи данной лексемы с другими лексемами в словаре и их семантические взаимодействия с другими единицами языка в тексте. В упомянутой работе [Апресян 1995: 163—169] мы уже писали, что коннотации слова в главном значении служат основой для формирования его переносных значений (*Напился, свинья* — по коннотации невоспитанности), привычных метафор и сравнений (*разбираться как свинья в апельсинах* — по коннотации всеядности), производных слов (*свинушник* — по коннотации грязного), фразем (*подложить свинью кому-то* — по коннотации подлости и низости), синтаксических конструкций (ср. биноминативные псевдотавтологические конструкции типа *Свинья она и есть свинья*, где эксплуатируются сразу все коннотации *свиньи*)<sup>5</sup>. Таковы семантические связи между лексическими единицами в словаре, формирующиеся на основе коннотаций.

Гораздо менее исследованы, хотя нисколько не менее интересны факты, свидетельствующие о способности коннотаций к нетривиальным семантическим взаимодействиям в тексте. Чаще всего с коннотациями взаимодействует отрижение. Так, в противопоставительных предложениях типа *Не теща, а мать родная* отрицается не смысл ‘мать жены’, а коннотации *тещи* — несправедливость, пристрастность, зловредность.

Другой тип конструкций, в которых коннотации оказываются объектом воздействия со стороны семантически активного смысла, — это сравнительные конструкции вида *P как X*, где позицию Р занимает предикат, обозначающий коннотацию X-а. Как известно, у слова *осел* есть коннотация упрямства, а у слова *собака* — коннотация преданности. Такое распределение коннотаций объясняет правильность предложений *Упрям, как осел* и *Предан, как собака* и крайнюю сомнительность *?Упрям, как собака* и *?Предан, как осел*.

## 2.4. Прагматическая информация

Наиболее интересны с этой точки зрения доминанты синонимических рядов, потому что у них обнаруживаются системные прагматические особенности. Как известно, доминантой ряда называется наиболее употребительный и стилистически нейтральный синоним, который имеет наиболее общее в данном ряду значение, полный набор грамматических форм, наибольший набор синтаксических конструкций и самую широкую сочетаемость<sup>6</sup>. Эти свойства создают прагматическую специфику доминант — способность обслуживать такие ситуации действительности, в которых другие синонимы ряда не употребляются. Например, в группе синонимов *спрашивать, осведомляться и справляться* лишь первый глагол, являющийся доминантой ряда, способен употребляться в функции экзаменационного и риторического вопросов. Экзаменационный вопрос: *На экзамене по истории его спросили, когда была основана Александрия, но не \*На экзамене по истории у него осведомились (справились), когда была основана Александрия*. Риторический вопрос: *Но я спрашиваю: почему --- все стали ходить в грязных калошах и валенках*

по мраморной лестнице? (М. Булгаков. Собачье сердце). Сведения о способности вводить эти два типа вопросов должны фигурировать в прагматической зоне словарной статьи *спрашивать*, но не в словарных статьях его синонимов<sup>7</sup>.

## 2.5. Другие свойства лексемы и ее семантические связи в словаре

Как было сказано выше, речь идет о морфологических, синтаксических, сочетающихся, коммуникативно-просодических и стилистических сведениях, а также о синонимах, антонимах, конверсивах, дериватах и других подобных связях лексемы. Все вместе они образуют ее неповторимый лексический мир<sup>8</sup>.

Рассмотрим в качестве иллюстрации последнего тезиса лексические миры лексем *влияние 1* (имя действия, акциональное существительное, ср. *оказать на кого-л. влияние*) и *влияние 2* (имя свойства или параметра, неакциональное существительное, ср. *пользоваться влиянием в академических кругах*)<sup>9</sup>.

Синонимы: *влияние 1* — *воздействие, действие, эффект; влияние 2* — *вес, авторитет, влиятельность, престиж.*

Словообразовательные связи: *влияние 1* — производное существительное от глагола *влиять* (*на кого-л.*); у *влияния 2* нет соответствующего производящего глагола. В свою очередь, в словообразовательное гнездо *влияния 2* входят прилагательное *влиятельный* и синонимичная ему предложно-именная группа *с влиянием*; ср. *Это человек влиятельный* — *Это человек с влиянием*. У лексемы *влияние 1* таких словообразовательных связей нет.

Грамматическая парадигма: у *влияния 1* есть форма МН, ср. *различные влияния, которым он подвергался в Петербурге*; у *влияния 2* формы МН нет.

Управление: *влияние 1* — *на кого-л.* (как *воздействие (действие) на кого-л.*); *влияние 2* — *среди кого-л., в какой-л. среде, в каких-л. кругах*, ср. *влияние среди ученых (в театральной среде, в военных кругах)* (как *авторитет среди ученых (в театральной среде, в военных кругах)*).

Сочетаемость с прилагательными: *сильное (слабое, большое) влияние 1*, как *сильное (слабое, большое) воздействие*, но только *большое влияние 2*, как *большой авторитет; благотворное (хорошее, положительное, плодотворное, дурное, пагубное, вредное, плохое, отрицательное) влияние 1*, при полной невозможности соответствующих адъективных словосочетаний *с влиянием 2*.

Сочетаемость с глаголами. *Влияние 1* сочетается с акциональным глаголом *оказывать* в роли лексической функции OPER1, а *влияние 2* — с неакциональным глаголом *пользоваться 2* в той же роли, причем у него характерным образом нет формы СОВ *воспользоваться*; ср. *Он пользуется (не \*воспользовался) большим влиянием в театральной среде*. Кроме того, *влияние 1*, подобно другим акциональным существительным этого класса (*атака, давление, контроль, обстрел и т. п.*), легко сочетается с глаголами семейства OPER2, при которых роль подлежащего выполняет не субъект, а объект воздействия; ср. *испытывать влияние, подвергаться влиянию, находиться под влиянием, попадать под влияние, оказываться под влиянием, выходить из-под влияния*. Все такие словосочетания исключены для *влияния 2*. В свою очередь, *влияние 2*, подобно другим существительным со

значением социального свойства, сочетается с глаголами приобретения и утраты, ср. *приобретать влияние, терять влияние*. Подобные сочетания невозможны для *влияния I<sup>10</sup>*.

### *3. Понятие лексикографического типа*

Лексикографическим типом (ЛТ) называется класс лексем, у которых есть много общих свойств, одинаково реагирующих на определенные лингвистические правила. Обратим внимание на параллелизм понятий лексемы и ЛТ: очевидно, что для описания ЛТ оказываются существенными те же типы лексикографической информации, что и для описания лексемы. При переходе от лексемы к ЛТ меняется не столько набор признаков, сколько объект описания.

Хорошим примером ЛТ (точнее, двух разных ЛТ) являются моторно-кратные глаголы типа *ходить, бегать, летать, плавать, ездить, ползать, возить, водить, носить, таскать, катать, гонять* и т. п. Существующие толкования этих глаголов имеют следующий вид (на примере глагола *ходить*): *ходить* = ‘то же, что и д т и, с той разницей, что ходить обозначает движение повторяющееся, совершающееся в разных направлениях или в разное время’. На самом деле почти каждое такое толкование скрывает в себе по два разных значения — занятия и действия. Ср. а) *Дети ходили* *〈бегали〉 по двору* [занятие] VS. б) *Они каждый день ходили* *〈бегали〉 купаться, Он каждый день ходил* *〈бегал〉 за молоком* *〈на уроки〉* [действие]. Как обозначение занятия глагол описывает перемещение в разных направлениях в одном пространстве, т. е. разнонаправленное перемещение, а как обозначение действия — перемещение из одного пространства в другое и обратно, т. е. двунаправленное перемещение. У занятий отдельные перемещения мыслятся как синхронные с моментом наблюдения, а у действий перемещение туда и перемещение обратно мыслятся как асинхронные и не связанные непосредственно с моментом наблюдения.

Прежде чем рассматривать значения занятия и действия у моторно-кратных глаголов как манифестации двух разных ЛТ, необходимо показать, что двунаправленное значение есть значение лексическое, а не грамматическое. Вопрос этот возникает в связи с тем, что в аспектологической литературе фразы типа *Ты уже ходил за хлебом?* иногда рассматриваются как примеры двунаправленного общефактического значения — одного из видовых значений формы НЕСОВ. Однако двунаправленное общефактическое возможно только в форме НЕСОВ ПРОШ, причем оно отчетливо противопоставлено конкретно-фактическому значению СОВ. Ср. *Кто открывал окно?* [= ‘в какой-то момент открыл, а потом снова закрыл, в момент наблюдения окно закрыто’] VS. *Кто открыл окно?* [= ‘в момент наблюдения окно открыто’]. Между тем двунаправленное значение моторно-кратных глаголов реализуется в обеих видовых формах, которые к тому же семантически почти не противопоставлены друг другу. Ср. *Ты уже ходил за хлебом? ≈ Ты уже сходил за хлебом?* Более того, в отличие от прототипического общефактического значения НЕСОВ, оно реализуется не только в форме ПРОШ, но и в двух других формах

времени; т. е. НАСТ и БУД, правда, только в узуальном значении; ср. *Он у нас каждый день ходит за хлебом, А кто будет ходить за хлебом?*

Между двумя рассматриваемыми значениями (разнонаправленного и двунаправленного перемещения, или занятия и действия) моторно-кратных глаголов есть несколько существенных системных различий в области: а) грамматических форм, б) управления, в) лексической сочетаемости, г) лексических связей в словаре и д) правил взаимодействия с грамматическими значениями. Эти различия создают два рельефно противопоставленных ЛТ.

а) Грамматические формы. Моторно-кратные глаголы в значении действия, как ясно из уже приведенных примеров, допускают образование формы СОВ: *сходил, сбегал, слетал, съездил, сводил* (*детей в цирк, сплавал* (*на тот берег*) и т. п.). Ни в каких других значениях, включая значение занятия, моторно-кратные глаголы формы СОВ не имеют.

Форма ПОВЕЛ НЕСОВ от моторно-кратных глаголов со значением занятия может иметь свое основное значение побуждения к немедленному (актуальному) действию, ср. *А ты бегай* (*ходи*), *скорее согреешься*. Форма ПОВЕЛ НЕСОВ от моторно-кратных глаголов со значением действия имеет значение инструкции, которую надо многократно выполнять, ср. *Ходи за хлебом*. Иными словами, она возможна только при условии употребления глагола в узуальном значении. Значение побуждения к немедленному (актуальному) действию в этом случае берет на себя форма ПОВЕЛ СОВ, ср. *Сходи за хлебом*.

б) Управление. Занятия и действия различаются числом и составом семантических актантов. У занятий три актанта; ср. *Он [A1 = агент] нервно ходил по комнате* [A2 = пространство перемещения] *из угла в угол* [A3; о том, что здесь представлен один актант, и о его семантической роли см. ниже]. У действий по меньшей мере четыре актанта; ср. *Вечером он [A1 = агент] ходил из института* [A2 = начальная точка] *в библиотеку* [A3 = конечная точка] *позаниматься* [A4 = цель]<sup>11</sup>. При этом некоторые актанты, внешне оформленные одинаково, на самом деле различны.

Во фразах типа *Он ходил из школы в библиотеку* последние два актанта, как ясно из сказанного выше, выполняют семантические роли начальной и конечной точки соответственно. Казалось бы, точно такие же роли выполняют и предложно-именные группы *из конца в конец*, *из угла в угол*, *из стороны в сторону* во фразах типа *Он ходил из конца в конец* (*из угла в угол, из стороны в сторону*) *по комнате*. Однако это формальное сходство обманчиво.

Компоненты словосочетания *из школы в библиотеку* семантически и синтаксически самостоятельны, а компоненты словосочетаний типа *из стороны в сторону* неразрывны. Нельзя сказать *\*ходил по комнате из конца* (*из угла, из стороны*), *\*ходил по комнате в конец* (*в угол, в сторону*), хотя нормально *Он ходил за газетами из школы, Он ходил за газетами в подземный переход*.

Семантически и синтаксически группы *из конца в конец, из угла в угол, из стороны в сторону* ближе внешне отличным от них псевдосочинительным группам *туда и сюда, туда и обратно, взад и вперед* и т. п. Все эти группы во многих

предложениях относительно легко заменяют друг друга и тем самым выполняют одну и ту же семантическую и синтаксическую роль. Ср. *Он первно ходил из конца в конец* (*из угла в угол, туда и сюда, взад и вперед*) по комнате. Но в группе *туда и сюда* оба наречия имеют значение конечной точки, а в группе *взад и вперед* ни то ни другое наречие не обозначает ни конечную, ни тем более начальную точку пути. Значит, и в группах *из конца в конец*, *из угла в угол* и т. п. значения начальной и конечной точки реально неразличимы. Все перечисленные словосочетания (*из конца в конец*, *из угла в угол*, *из стороны в сторону*, *туда и сюда*, *туда и обратно*, *взад и вперед*) суть фраземы со значением, рисунка пути.

Об их фраземной природе свидетельствуют, помимо уже обсужденных фактов, еще и следующие обстоятельства: (i) относительная устойчивость класса существительных и наречий, способных заполнять данную синтаксическую позицию (см. примеры выше); (ii) неперестановочность наречий и наречных групп в составе словосочетания; ср. неправильность *\*ходить сюда и туда*, *\*ходить вперед и назад*, *\*ходить в угол из угла*; (iii) их незаменимость другими наречиями со сходным смыслом; ср. неправильность *\*ходить назад и вперед*.

в) В области лексико-семантической сочетаемости представляют интерес различия в сочетаемости с наречием *быстро*. Словари выделяют у него два значения: ‘с большой скоростью’ (*быстрошел*) и ‘короткий промежуток времени’ (*быстро пришел*)<sup>12</sup>. Моторно-кратные глаголы в значении занятия сочетаются почти исключительно с первым из них (*Дети быстро ходили* (*бегали*) по двору), а в значении действия — преимущественно со вторым (*Быстро сходи за газетой*; *Утром он быстро ходил за газетой*, *завтракал и отправлялся на работу*).

г) Лексические связи в словаре. Моторно-кратные глаголы в значении занятия могут иметь производные существительные типа S0 (*беготня*, *ходьба*), а также производные делимитативы и пердуративы, ср. *побегать*, *поездить*, *полетать*, *поплавать*, *походить*, *пробегать*, *проездить*, *пролетать*, *проплавать*, *проходить* и т. п. От действий в собственно двунаправленном (нейтеративном) значении такие производные не образуются.

д) Правила согласования лексических значений с грамматическими. Занятия сочетаются преимущественно с узуальными и процессными значениями формы НЕСОВ, включая актуально-длительное, а действия — с узуальными и результативными; ср. *Посмотри, как малыши бегают по площадке* [актуально-длительное] VS. *Ты сегодня ходил за газетами?* [общефактическое результативное]. Процессные употребления для моторно-кратных глаголов в значении действия нехарактерны, а актуально-длительное значение им абсолютно противопоказано.

Разумеется, возможны употребления моторно-кратных глаголов, промежуточные между разнонаправленным значением занятия и двунаправленным значением действия. Во-первых, это употребления типа *Весь этот день он ходил* (*бегал*) *по разным учреждениям, собирая нужные справки*, в которых идея распределенности действия (*по разным учреждениям*) создает pragматические предпосылки для того, чтобы переосмыслить исконно двунаправленное перемещение как разнона-

правленное. Во-вторых, это употребления типа *Он все время ходил от письменного стола к книжному шкафу (и обратно)*, в которых вместо фразеологических единиц типа *из конца в конец, взад и вперед* представлены фразеосхемы вида *откуда куда*, со значением начальной и конечной точки перемещения. В таких случаях, наоборот, исконно разнонаправленное значение смещается в сторону двунаправленного и приобретает некоторые его свойства. В частности, становится возможным опущение первого элемента фразеосхемы и добавление целевого дополнения, ср. *Он все время ходил к книжному шкафу то за одной, то за другой книгой*.

Эти факты сами по себе не отменяют необходимости разделения двунаправленного и разнонаправленного значений моторно-кратных глаголов. «Осциллирующие» (Г. Стерн), или «диффузные» (Д. Н. Шмелев), или (в нашей терминологии) промежуточные употребления являются неизбежным следствием давно признанной непрерывности семантического пространства языка<sup>13</sup> и должны систематически лексикографироваться. Именно такова практика словаря [НОСС 2004]; см., например, словарные статьи *выбрать I.1, заставлять I* и другие.

Итак, в рассмотренном круге употреблений почти каждый моторно-кратный глагол распадается на две разные лексемы, а все моторно-кратные глаголы — на два разных ЛТ, каждый с характерным для него набором семантических, синтаксических, сочетаемостных и иных особенностей и своими правилами взаимодействия с грамматическими значениями формы НЕСОВ. Назовем их условно ЛТ1 и ЛТ2.

#### *4. Принцип системности*

Интегральное лексикографическое представление лексемы (в частности, ее полное семантическое представление) должно содержать весь материал, необходимый для решения следующих трех задач: а) для единообразного описания всех лексем, относящихся к одному и тому же ЛТ; б) для демонстрации системных семантических связей данной лексемы с другими лексемами в словаре, к каким бы ЛТ они ни принадлежали; в) для формулировки правил взаимодействия значений в тексте.

##### **4.1. Единообразное описание лексем данного ЛТ**

Словарные статьи всех лексем данного ЛТ должны моделироваться по единому образцу, т. е. содержать в соответствующих зонах однотипную информацию об их значениях и по возможности одну и ту же информацию о грамматических формах лексем, их управлении, сочетаемости, семантических правилах и т. п. (см. примеры выше).

Отступления от принципа унификации допускаются лишь в тех случаях, когда материал оказывает этому сопротивление. Рассмотрим пример.

Как ясно из сказанного выше, у глаголов ЛТ2 (действий) есть валентность цели, которая выражается при них (как и при многих других глаголах перемещения) весьма разнообразно; ср. *ходить* {бегать, ездить} *по гостям* {по делам, по магази-

нам), ходить *«бегать»* на охоту *«на водопой, на танцы»*, ходить *«бегать, ездить»* за хлебом *«за газетой»*, ходить *«бегать, ездить»* купаться. Перечисленные способы выражения этой валентности должны быть приписаны большинству глаголов ЛТ2.

У глагола *ходить* та же валентность выражается еще лексически ограниченными предложно-именными группами вида *по + ВИН*, ср. *ходить по грибы* *«по ягоды, по воду»* (но, например, не *\*ходить по цветы* — в нашем 34-миллионном корпусе данное сочетание не встретилось ни разу). Все эти группы должны быть указаны в его словарной статье. Очевидно, однако, что такой способ выражения целевой валентности неестественно было бы приписывать глаголам *ездить, летать, плавать, водить, возить* и т. п.

Вообще же надо заметить, что различные ЛТ связаны друг с другом сложными отношениями включения и пересечения. В каждом из этих случаев возникают новые ЛТ. Так, лексемы *ездить* (*на трамвае*), *возить* (*на грузовике*), *кататься* (*на катере*), *летать* (*на дирижабле*), *ходить* (*на паруснике вокруг света*) и т. п. имеют, в отличие от рассмотренных выше лексем, валентность транспортного средства, которая должна быть единообразно учтена в их словарных статьях. Очевидно, что та же валентность присуща и моторно-некратным глаголам со значением неавтономного перемещения — *ехать* (*на трамвае*), *везти* (*на грузовике*), *лететь* (*на дирижабле*), *идти* (*на паруснике*) и т. п. Следовательно, на пересечении ЛТ моторно-кратных и моторно-некратных глаголов образуется компактный ЛТ глаголов неавтономного перемещения, которые тоже должны быть описаны по единой схеме.

К ЛТ1 по своим управляющим свойствам близки лексемы *блуждать, кружить, петлять, рыскать* и некоторые другие, хотя они не входят в оппозицию моторно-кратных и моторно-некратных глаголов.

У моторно-кратных глаголов *бродить* и *кататься*, в силу специфики их значений (*бродить* ≈ ‘ходить без определенной цели’, *кататься* ≈ ‘ездить на каком-то транспортном средстве или на специальных приспособлениях с целью получения удовольствия от самой езды’), в узусе не представлено значение двунаправленного перемещения, ключевым элементом которого является представление о внешней цели действия.

Все такие отклонения от прототипа должны найти отражение в словаре.

До сих пор мы рассматривали ЛТ, которые условно можно было бы назвать «горизонтальными», — в них входят похожие друг на друга лексемы разных слов. Существуют, конечно, и «вертикальные» ЛТ, формируемые разными лексемами одного и того же слова. Особый интерес представляют ЛТ сильно многозначных слов в случаях, когда их лексемы связаны отношениями регулярной многозначности. В них структура многозначности прототипического представителя какого-то класса (в нашем примере — глагола *ходить*) повторяется в большей или меньшей мере в других словах того же класса (т. е. глаголах *бегать, ездить, кататься, лазать, летать, плавать, ползать* и т. п.). В таких случаях при переходе от одного слова к другому системному воспроизведению подлежит не только словарная ста-

тья прототипической лексемы, но и вся характерная для соответствующего слова структура многозначности.

При этом следует учитывать, что наибольший шлейф производных значений дают основные значения слов. На материале моторно-кратных глаголов основным, как было сказано, является значение разнонаправленного перемещения. От него развиваются следующие значения: перемещения транспортных средств (*По заливу ходят парусники* *(бегают моторки)*); перемещения природных объектов (*По небу ходят тучи; Летучие тени бегали по всему коридору* (Короленко, БАС)); потенциальное значение (*Ребенок уже ходит, Птенцы уже летают*); значение свойства (*Люди ходят, ящерицы ползают, птицы летают; Перья не тонут, они плавают*); значение локализованного движения (*Желваки ходят, Глаза у него бегают, Винтовка у молоденького солдата все время ездила из стороны в сторону, Он буквально катался от боли, Ее легкие пальцы так и летали по клавишам, Седло ползает по спине*) и ряд других. Принцип системности требует, чтобы все такие значения занимали одинаковое место в семантических структурах многозначных слов данного ЛТ, если для этого нет противопоказаний. При иерархической (двух- или многоуровневой организации словарной статьи) они размещаются в том блоке значений, который открывается основным значением данного слова.

Банальным противопоказанием для такого выравнивания семантических структур многозначных слов может быть отсутствие определенного значения у одного из них. Заметим, например, что у глагола *кататься* нет значения свойства. В этом отношении он выпадает из системы.

Менее банален случай, когда все требуемые значения налицо, но их распределение в структуре разных слов неодинаково. У глаголов *ждать* и *ожидать* есть, в частности, следующие два значения: 1. ‘зная или считая, что должно или может произойти событие Р, нужное субъекту или касающееся его, быть в состоянии готовности к нему, обычно находясь в том месте, где оно произойдет’ (*Несколько дней пришлось ждать (ожидать) летней погоды*); 2. ‘считать, что в недалеком будущем произойдет некое событие Р’ (*Он не ждал (не ожидал), что получит такой яростный отпор*). Однако для *ждать* основным является первое значение, а для *ожидать* — второе.

Все перечисленные обстоятельства должны учитываться в словарных статьях больших и малых ЛТ и отдельных лексем. В идеале каждая словарная статья системного словаря должна отражать одновременно и типовые и индивидуальные свойства лексем, т. е. совмещать черты лексикографического типа и лексикографического портreta.

#### **4.2. Демонстрация семантических связей данной лексемы в словаре**

Здесь имеются в виду две вещи: во-первых, семантические связи данной лексемы с другими лексическими единицами в словаре; во-вторых, семантические связи между разными лексемами одного слова, или, что в данном случае то же самое, между разными его значениями.

Строгая демонстрация обоих типов связей возможна при наличии семантического метаязыка, лексические и грамматические единицы которого удовлетворяют сформулированному выше требованию: они не должны иметь синонимов и омонимов. Тогда наличие одинаковых смыслов и конфигураций смыслов в толкованиях различных лексем будет формальным свидетельством их семантической связи, количество и качество таких совпадений — мерой их близости, а количество и качество разных смыслов в их толкованиях — мерой их различия.

Вернемся к толкованиям лексем *просить*, *требовать*, *спрашивать 1*, *спрашивать 2* и *спрашивать 3*, приведенным в разделе 2.1, и обратим внимание на следующие их свойства:

- a) Они формально демонстрируют принадлежность всех рассмотренных лексем к одному и тому же семантическому классу, а именно к речевым актам;ср. наличие смысла ‘говорить (кому-л. что-л.)’ в вершине ассертивной части всех толкований. Этот смысл либо явно включен в толкование лексем (ср. *просить* и *требовать*), либо обнаруживается в них на нужном месте на втором шаге семантической редукции (так обстоит дело с тремя лексемами глагола *спрашивать*);
- б) В них формально отражены связи между всеми рассмотренными значениями полисемичного глагола *спрашивать*, а также связи между *спрашивать 1* и *просить*, *спрашивать 2* и *просить* и, наконец, между *спрашивать 3* и *требовать*;
- в) Они формально объясняют все сходства и различия между *просить* и *требовать*. В обоих случаях говорящий хочет, чтобы адресат что-то сделал (ср. ассертивные части толкований). Однако автору просьбы важно, чтобы что-то было сделано, и менее важно, кто именно это сделает. Между тем для автора требования важно, чтобы что-то было сделано именно адресатом. Формально объясняется и интуитивно ощущаемая мягкость акта просьбы по сравнению с актом требования. Корень различий между тем и другим — в различии модальностей: в случае просьбы говорящий считает, что адресат может сделать Р, хотя и не должен, а в случае требования он считает, что адресат должен сделать Р.

Помимо формального объяснения связей между лексическими единицами в словаре необходима и сама поименная фиксация связей конкретной лексемы с ее синонимами, аналогами, антонимами, конверсивами, дериватами и другими ближайшими семантическими соседями<sup>15</sup>. Дело в том, что существуют лингвистические правила, а именно правила перифразирования, в которых эта информация используется самым непосредственным образом. Чтобы дать представление о ее объеме, приведем, в дополнение к примеру со словом *влияние*, еще один пример из [НОСС 2004] — перечень семантических связей глаголов синонимического ряда *замереть*, *застыть*, *остолбенеть*, *оцепенеть* и *окаменеть*.

Фразеологические синонимы: *остановиться* (встать) как вкопанный; *стоять* как вкопанный; *стоять* как громом пораженный; *стоять* столбом (как столб);

*превратиться в соляной столб; впасть в столбняк, впасть в оцепенение; не мочь да же пальцем пошевелить; Ноги приросли к земле.*

Аналоги: *не шелохнуться, не двигаться; затихнуть; притаиться, затаиться; остекленеть [о глазах]; одеревенеть, онеметь [о частях тела]; обмереть, похолодеть, обомлеть; отняться, отказать [о теле или конечностях, также о языке].*

Конверсивы: *парализовать, сковать [ср. Он замер *(застыл)* от ужаса — Ужас парализовал *(сковал)* его]; повергнуть в столбняк [ср. Он осталбенел от этого зрелища — Это зрелище повергло его в столбняк]; Столбняк нашел *(напал)* [ср. Он осталбенел от этого зрелища — От этого зрелища на него нашел столбняк].*

Антонимы: *шевельнуться, шелохнуться, встрепенуться, стряхнуть оцепенение [по признаку выхода из состояния неподвижности].*

Дериваты (в том числе чисто семантические): *замирание, застыивание, осталбенение, оцепенение; осталбенелость, оцепенелость; столбняк 2; паралич 2; транс; оцепенелый, окаменелый; заторможенный.*

#### 4.3. Правила взаимодействия значений в тексте

Несколько словарных правил взаимодействия значений в тексте были приведены в разделе 1, и здесь мы добавим к ним еще только один пример на материале глаголов *замереть* и *застыть* из упомянутого выше ряда синонимов.

Оба глагола могут обозначать как намеренное, так и ненамеренное поведение. Ср. *Юрий Андреевич притаился, замер и стал прислушиваться* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *Дверь распахнулась, и швейцар застыл в непринужденном полупоклоне* (Владимир Войнович. Иванькиада) [намеренно] VS. *Открыл [дверь]* и буквально *замер*: такое праздничное многоголюдие увидел я в зале (Ф. Абрамов. Слон голубоглазый); *В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита) [ненамеренно].

Скорее всего, оппозиция намеренности — ненамеренности в этом случае, как и в других подобных (например, *упасть, разбить, сломать* тоже можно намеренно или ненамеренно), создает различие лишь в употреблениях *замереть* и *застыть*, но не в их лексических значениях. Собственно значение этих глаголов может быть истолковано так: ‘на короткое время стать совершенно неподвижным’. Различные текстовые интерпретации получаются из этого толкования с помощью следующих правил семантической модификации: а) если в тексте указана цель действия, то к словарному толкованию добавляется смысл ‘для достижения цели Р, требующей неподвижности’, а первый актант интерпретируется как агенс; ср. *Толпа танцующих прекратила свою работу и выжидательно замерла* (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора); *Тигр застыл перед прыжком*; б) если в тексте указана причина поведения, то к толкованию добавляется смысл ‘из-за сильной эмоции’, а первый актант интерпретируется как экспериенсер<sup>16</sup>; ср. *замереть (застыть) от ужаса (от изумления, от восторга)*; в) если в тексте нет ни того ни другого указания, то возникает неоднозначность.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Уже здесь следует привлечь внимание к тому, что понятие лингвистического правила играет фундаментальную роль для всего понятийного аппарата теоретической семантики и системной лексикографии. В частности, через него определяются понятия лексемы, лексикографического типа, нетривиального семантического признака, системообразующего смысла и ряд других.

<sup>2</sup> Общее представление о контролируемости и неконтролируемости, определение этих понятий и обзор большого круга языковых явлений, для анализа которых они необходимы, см. в работах [Булыгина 1982; Зализняк 1992; Шатуновский 1996; Падучева 2004], с обширной дальнейшей библиографией.

<sup>3</sup> О различии значений и употреблений (в терминологическом смысле) см. [Апресян 2001].

<sup>4</sup> В основу толкований *просить* и *требовать* положены формулировки, данные в [Апресян 1974: 109]; толкование лексемы *спрашивать* I принадлежит М. Я. Гловинской и автору и заимствовано из нашей совместной словарной статьи в [НОСС 2004: 1095]. Из обширной литературы по речевым актам для нас особенно важными были фундаментальные исследования [Иорданская 1985; Wierzbicka 1987 и Гловинская 1993, 2005].

<sup>5</sup> В основу этого описания положена словарная статья СВИНЬЯ из [Мельчук, Жолковский 1984: 722—725].

<sup>6</sup> Такова общая тенденция, которая отнюдь не является непреложным правилом: существуют синонимические ряды, в которых доминанты подчиняются более жестким морфологическим, синтаксическим и сочетаемостным ограничениям, чем другие элементы ряда.

<sup>7</sup> Отметим одну любопытную параллель к прагматическим функциям глагола *спрашивать*, представленную глаголом *спрашиваться*: в сущности, он тоже вводит либо экзаменационный, либо риторический вопрос: *Если велосипедист едет со скоростью 20 км в час, спрашивается, какое расстояние он преодолеет за пять часов?*; *Вы меня однажды уже обманули. Спрашивается, почему я должен поверить вам на этот раз?*

<sup>8</sup> Морфологические, синтаксические, сочетаемостные и коммуникативно-просодические свойства лексемы, не говоря уж о ее семантических связях в словаре, очень часто бывают семантически мотивированными, но совокупность ее лингвистически существенных свойств не выводима по общим правилам ни из значения лексемы, ни из каких-либо других единиц языка. Это и есть лексикографический *raison d'être* лексемы: оказывается, что существует ровно один способ ее исчерпывающего описания — в виде отдельной словарной статьи в словаре.

<sup>9</sup> Ниже дается слегка упрощенное изложение материала из [Апресян 2004: 26—27].

<sup>10</sup> Такие разительные контрасты в «лексических мирах» могут сами по себе, т. е. еще до построения аналитических толкований, рассматриваться как основание для разграничения значений слова и использоваться как удобный технический прием лингвистической диагностики. Когда-то в ходу были специальные тесты для решения вопроса о том, надо ли усматривать в таком-то случае два разных лексических значения слова или нет. При этом критическим обычно считалось какое-то одно различие между употреблениями, претендующими на статус самостоятельных значений, например, различие в составе синонимов или в составе дериватов. Более убедительной представляется лингвистическая диагностика, которая при решении таких вопросов требует установления различий по всей совокупности свойств двух разных употреблений данного слова, т. е. различий в их грамматических парадигмах, возможных наборах грамматических значений каждой граммемы, синтаксических свойствах, сочетаемости, коммуникативно-просодических особенностях, стилистических регистрах, а также в их словарных связях (синонимы, антонимы, конверсины, дериваты и т. п.).

<sup>11</sup> Вопрос о том, наследует ли двунаправленное перемещение валентность пространства перемещения, и если да, то существительными каких классов она выражается (Ср. *За хлебом он*

всегда ходил по дальней д о р о г е [незамкнутое пространство] при неправильности \*За хлебом он ходил по д о р у [замкнутое пространство]), заслуживает отдельного рассмотрения.

<sup>12</sup> Различие между этими двумя значениями подробно обсуждается в работе [Богуславский, Иомдин 1999].

<sup>13</sup> При том, что местами оно может обнаруживать очевидные лакуны; например, часто отсутствуют однословные выражения для предполагаемых системой родовых понятий.

<sup>14</sup> Впервые такая информация в полном объеме стала включаться в словарь в [Мельчук, Жолковский 1984].

<sup>15</sup> В литературе для обозначения этой семантической роли используются также термины «экспериенцер» и «экспериент».

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Апресян 1974 — Ю. Д. Апресян. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Апресян 1995 — Ю. Д. Апресян. Интегральное описание языка и системная лексикография // Ю. Д. Апресян. Избранные труды. Т. II. М., 1995.
- Апресян 2001 — Ю. Д. Апресян. Значение и употребление // Вопр. языкознания. 2001. № 4. С. 3—22.
- Апресян 2004 — Ю. Д. Апресян. Акциональность и стативность как сокровенные смыслы (охота на оказывать) // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: Сб. статей в честь Н. Д. Арутюновой. М., 2004. С. 13—33.
- Апресян 2005 — Ю. Д. Апресян. О Московской семантической школе // Вопр. языкознания. 2005. № 1. С. 3—30.
- Богуславский, Иомдин — И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин. Семантика быстроты // Вопр. языкознания. 1999. № 6. С. 13—30.
- Булыгина 1982 — Т. В. Булыгина. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
- Гловинская 1993 — М. Я. Гловинская. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993. С. 158—218.
- Гловинская 2005 — М. Я. Гловинская. Оценка в составе речевого акта (в настоящем сборнике).
- Зализняк 1992 — Анна А. Зализняк. Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. München, 1992.
- Иорданская 1985 — Л. Иорданская. Семантико-сintаксические особенности сочетаний частицы не с иллоктивно-коммуникативными глаголами в русском языке // Russian Linguistics. International Journal for the Study of the Russian Language. 1985. Vol. 9. Nos. 2—3. P. 241—255.
- Иорданская, Мельчук 1980 — Л. Н. Иорданская, И. А. Мельчук. Коннотации в лингвистической семантике // Wiener Slawistischer Almanach, 1980. Bd. 6.
- Мельчук, Жолковский 1984 — И. А. Мельчук, А. К. Жолковский. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Опыты семантико-сintаксического описания русской лексики. Вена: Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 14. 1984.
- НОСС 2004 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. 2-е изд., испр. и доп. Авторы: В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, И. В. Галактионова, М. Я. Гловинская, С. А. Григорьева, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтин, А. В. Птенцова, А. В. Санников, Е. В. Урысон. М.; Вена, 2004.

- Падучева 2004 — *Е. В. Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Толстой 1984 — *Н. И. Толстой*. Иван-аист // Славянское и балканское языкознание: Язык в этно-культурном аспекте. М., 1984.
- Шатуновский 1996 — *И. Б. Шатуновский*. Семантика предложения и нереферентные слова. М., 1996.
- Bartmiński 1980 — *Jerzy Bartmiński*. Założenia teoretyczne słownika // Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Wrocław, 1980.
- Konotacja 1988 — Konotacja. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. Lublin, 1988.
- Pisarkowa 1976 — *K. Pisarkowa*. Konotacja semantyczna nazw narodowości // Zeszyty Prasoznawcze. Z. I. 1976.
- Wierzbicka 1987 — *Anna Wierzbicka*. English Speech Act Verbs. A Semantic Dictionary. Sydney, Orlando etc., 1987.

Л. П. Крысин (Москва)

## О ТИПАХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РУССКОЙ ЧАСТИ РУССКО-ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЕЙ\*

### 1. Предварительные замечания

**С**оздание двуязычных словарей представляет собой самостоятельную отрасль современной лексикографии. Теория и практика составления этих словарей имеет достаточно большую традицию. В разное время и разными авторами в специальной литературе обсуждались такие вопросы, касающиеся создания двуязычных словарей, как их предназначение, объем и характер словников, соотношение «ядра и периферии» лексики при формировании словарника и при подаче лингвистических сведений о слове, структура словарных статей, типы информации, относящейся как к входному слову, так и к его переводу, возможность сочетания в словарной статье лингвистических и энциклопедических сведений и т. п. (см., например: [Копецкий 1962; 1974; Берков 1973; 1977; Аракин 1977; Ким 1981; Головащук 1987; Апресян 1993] и мн. др.; работы, посвященные двуязычным словарям, составляют большой раздел в библиографическом справочнике по современной лексикографии Ладислава Згусты [Zgusta 1988], издается международный журнал «Bilingual Dictionaries», регулярно проводятся конференции и рабочие совещания по проблемам составления общих и отраслевых двуязычных словарей и т. д.).

Тем не менее, приступая к созданию того или иного двуязычного словаря, лексикограф нередко обнаруживает, что многое в теории и технике составления таких словарей не вполне ясно. Кроме того, задачи разработки словаря двух определенных языков (а не вообще двуязычных словарей как жанра лексикографии) могут порождать вопросы, специфичные именно для данного лексикографического труда. Они касаются как отбора лексики — и тем самым объема и характера словарника, — так и структуры и содержания словарных статей. Неясно, например, должны

---

\* Эта статья написана в рамках проекта «Разработка русской части “Большого русско-украинского словаря»», финансируемого РГНФ (грант № 03-04-00271) и проекта «Создание унифицированного словарника для русско-иноязычных словарей» по Программе фундаментальных исследований ОИФН (раздел 4.17).

ли чем-либо принципиальным различаться двуязычные словари, служащие для перевода слов генетически и типологически далеких языков, с одной стороны, и словари, которые служат для перевода слов генетически родственных и типологически близких языков, с другой стороны (интуитивно кажется, что чем сильнее один язык отличается от другого, тем более разнообразные средства требуются для адекватного описания его слов и, в частности, для перевода их на другой язык); какого рода сведениями должно сопровождаться слово входного языка (заметим, что в подавляющем большинстве современных русско-иноязычных словарей их русская часть не содержит по существу никакой лингвистической информации о входном слове, кроме ударения в нем и указания на его частеречную принадлежность); должны ли в словарной статье содержаться не только переводы входной единицы, но и сведения о стилистических, прагматических и иных условиях употребления ее и ее перевода и т. п.

Я далек от мысли, что в данной статье даже часть подобных вопросов найдет исчерпывающие ответы — хотя бы потому, что статья затрагивает проблемы, возникающие при работе лишь над русской частью двуязычных словарей. Однако, коль скоро речь идет о создании того или иного русско-иноязычного словаря, необходимо сформировать определенное представление о том, каким должен быть словарь, какого рода сведения о входном слове будут содержаться в словарной статье и каков порядок подачи этих сведений в таких словарях.

## 2. Словарник

Входная часть современных двуязычных словарей обычно содержит описание четырех типов языковых единиц:

- 1) слов;
- 2) словообразовательных морфем;
- 3) терминологических сочетаний;
- 4) фразеологизмов.

Эти разряды словарных единиц естественно рассматривать и применительно к русско-иноязычным словарям.

Ниже предлагается ряд соображений, касающийся формирования словарника русско-иноязычных словарей, структуры русской части их словарных статей и порядка подачи в этих статьях информации о словах русского языка.

### 2.1. Слова

**2.1.1.** Основу русского словарника составляет лексика и фразеология современного литературного языка в двух его разновидностях — книжной (кодифицированной) и разговорной. Кроме того, в русско-иноязычных словарях должны находить отражение наиболее употребительные в современной речи слова просторечного, диалектного и жаргонного происхождения (напр., *охальник*, *баба* ‘женщина’, *притаранить* ‘принести, притащить’; *намедни*, *шибко*; *беспредел*, *тусовка*, *баксы*, *прокол* и т. п.), в том числе слова, которые в толковых словарях имеют пометы «груб.»,

«вульг.», «бран.» (ср., например, различного рода оскорбительные характеристики человека; *гад, зараза, придурак, свалочь; жид, кацап, хохол, чучмек* и т. п.).

**2.1.2.** Если иметь в виду русско-иноязычный словарь с достаточно полным отражением современного состояния лексики русского языка, то в нем должна быть представлена специальная — научная и техническая — терминология как в виде однословных терминов, так и в виде терминологических словосочетаний. Выборка терминологической лексики должна осуществляться из русской части соответствующих отраслевых двуязычных словарей и из кратких энциклопедических словарей по различным отраслям науки и техники.

**2.1.3.** В словарь включаются также некоторые разряды собственных имен, называющих лица и объекты, имеющие общекультурное или историческое значение:

- имена библейских и мифологических персонажей (многие из этих имен приобрели и переносное значение): *Амур, Аполлон, Гераклес, Ирод, Иуда, Каин, Персей, Сатурн* и т. п.;
- имена основателей мировых религий: *Будда, Магомет (Мухаммед), Христос*, названия священных религиозных книг: *Библия, Коран, Талмуд, Тора*; названия религиозных праздников и знаменательных дат: *Рождество, Пасха, Вознесение, Благовещенье, Сретенье; Байрам, Рамазан* и т. п.;
- названия крупных исторических эпох, выдающихся событий, оставивших след в истории человечества или же сделавшихся символами определенных понятий, действий, поступков и т. п.: *Возрождение, Реконкиста, Ренессанс, Рубикон* (ср.: *перейти Рубикон* в значении ‘совершить решительный поступок, принять бесповоротное решение’) и т. п.

**2.1.4.** В качестве самостоятельных входных единиц русского словарника должны фигурировать наиболее употребительные аbbревиатуры. Помимо слоговых аbbревиатур типа *профком, спецназ, рыбхоз*, которые по своим грамматическим свойствам ничем не отличаются от обычных склоняемых существительных (и, следовательно, должны включаться в русскую часть словаря), это буквенные аbbревиатуры типа *бомж, загс, ОМОН*, грамматический статус которых также подобен грамматическому статусу обычных существительных.

По-видимому, и другие виды буквенных и звуковых аbbревиатур могут включаться в словарь, несмотря на определенную «ущербность» их с точки зрения грамматики (неклоняемость, отсутствие форм числа и т. п.). Это касается тех сокращений, которые в выходном языке могут иметь также аbbревиатурные соответствия, образованные, однако, на основе собственных слов-компонентов: ср., например, аbbревиатуры типа *МАГАТЭ (Международное АГентство по Атомной Энергии)* и под. Такие аbbревиатуры, естественно, должны иметь перевод на выходной язык.

Возможно, слова-аbbревиатуры следует помещать не в общем алфавите, а в приложении к основной части двуязычного словаря.

## 2.2. Словообразовательные морфемы

В качестве самостоятельных входных единиц в словарь включаются словообразовательные морфемы:

- префиксы: *а-, анти-, в-, вне-, воз-, за-, из-, к-, контр-, межд-, между-, на-, недо-, о- (об-, обо-), около-, пере-, по-, при-, противо-, псевдо-, ре-, с- (со-), супер-, у-, ультра-* и под.;
- суффиксы: *-ание, -ение, -тель, -тор, -ник, -чик, -щик, -ка, -н-, -ск-, -ов, -овать, -ировать, -изировать* и др.;
- иноязычные морфемы типа *аудио...*; *бизнес...*; *био...*; *видео...*; *...гейт; гипер...*; *...дром; зоо...*; *интер...*; *кардио...*; *кибер...*; *космо...*; *...мая; ...мания; мини...*; *ре...*; *ретро...*; *секс...*; *супер...*; *...фон; фона...*; *шоу...*; *экс...*; *электро...*; *этно...* и под., весьма продуктивные в современном русском языке.

Среди этих морфем немало новых, которые в значительной степени сохраняют вещественное значение и могут образовывать сложные слова по сравнительно новым для русского языка словообразовательным моделям: ср. *бизнес...* (*бизнес-класс, бизнес-план*), *кибер...* (*кибер-пространство, кибер-машина*), *секс...* (*секс-символ, секс-услуги*) и под. Каждое слово, образованное с помощью подобных иноязычных словообразовательных морфем (напр., *биосинтез, видеоман, электрокардиография, бизнес-план, кибер-машина, секс-символ* и др.),дается в русской части словаря в качестве самостоятельной входной единицы. Естественно, список подобных сложений не может быть исчерпывающим (их производство в современном русском языке весьма продуктивно, и численность их стремительно увеличивается), однако наиболее употребительные из них должны быть в словаре.

## 2.3. Терминологические сочетания

В качестве отдельных единиц словника даются те терминологические сочетания, которые в своем составе имеют уникальные лексемы, не употребляющиеся вне данного терминологического сочетания (типа *бикфордов шнур*). Входом в словарную статью служит первое слово такого терминологического сочетания. Другие виды терминологических сочетаний описываются внутри словарной статьи опорного компонента: напр., *усталость металла* — в словарной статье МЕТАЛЛ, *лошадиная сила* — в статье СИЛА, *коэффициент полезного действия* — в статье КОЭФФИЦИЕНТ и т. д.

## 2.4. Фразеологизмы

В качестве самостоятельных единиц словника даются такие фразеологизмы, которые в своем составе содержат уникальные лексемы, не употребляющиеся вне данного фразеологического сочетания, — типа *бить баклужи, распускать нюни,ничто же сумняшеся* и под. Входом в словарную статью служит как раз такая уникальная лексема, напр.:

**баклужи:** *бить баклужи...*  
**нибни:** *распускать нюни...*

Словарная статья фразеологизма *ничтоже сумняшеся* (и немногих ему подобных, в которых оба компонента являются уникальными для современного русского языка лексемами или словоформами), начинается с первого компонента:

*ничтоже сумняшеся...*

Другие виды фразеологических сочетаний описываются внутри словарной статьи одного из компонентов фразеологизма: напр., *водить за нос* — в словарной статье НОС, *откалывать номера* — в словарной статье НОМЕР, *играть первую скрипку* — в словарной статье СКРИПКА и т. д.

### 3. Порядок подачи слов в русской части словаря

#### 3.1. Вход в словарную статью

3.1.1. Входные единицы даются в алфавитном порядке. Входное слово начинается со строчной буквы (кроме имен собственных), набирается полужирным шрифтом и снабжается знаком ударения, напр.: *вследствие*; *инцидент*; *кто-нибудь*; *начать*; *набтмашь*; *очередной*; *Аполлон*. У слов, содержащих букву ё, которая в русских словах всегда ударна, знак ударения над «ё» отсутствует: *ёлка*, *просёлочный*, *невтерпёж*, *дёргать*.

Словообразовательные морфемы, являющиеся входами в их словарные статьи, знака ударения не имеют: *аудио...*; *...мания*; *между...*; *противо...*; *-тель*; *-ка*; *-овать*; *-ировать* и т. п.

3.1.2. Если одно и то же существительное употребляется в русском языке и как нарицательное, и как собственное, то их алфавитный порядок в словаре определяется отношениями мотивации: первой по алфавиту следует статья мотивирующего имени, а второй — статья слова мотивируемого. Таковы, например, отношения между именами библейских и мифологических персонажей и возникшими на их основе существительными с переносными значениями, напр.:

*Геркулес* (древнегреческий мифологический герой);  
*геркулес* (1) человек огромной физической силы; 2) сорт овсяной крупы);  
*Кайн* (библейский персонаж);  
*кайн* (предатель).

Имена знаков зодиака — *Весы*, *Дева*, *Скорпион* и т. п. — напротив, мотивированы соответствующими нарицательными существительными (*весы*, *дева*, *скорпион*), поэтому они описываются в словарных статьях, которые следуют после словарных статей нарицательных существительных.

3.1.3. Многосложные слова, а также те этимологически сложные иноязычные слова, которые еще недостаточно освоены русским языком, имеют, кроме основного, еще и побочное ударение, иногда два, напр.: *громкоговоритель*, *бстросюжётный*, *электрокáрдиолóгия*; *саундтрéк*, *снóубординг*, *Убтергéйт*.

3.1.4. Если слово имеет варианты написания, то такие варианты даются в последовательности, определяемой алфавитным принципом, а второй из вариантов,

кроме того, помещается на своем алфавитном месте в виде отыloчной статьи; напр.:

плéер и плéйер...;  
плéйер — см. плéер.

Если подобные варианты различаются по степени употребительности, то первым дается более употребительный орфографический вариант, затем менее употребительный, который, кроме того, на своем алфавитном месте составляет отыloчную статью, напр.:

конквистадбр — см. конкистадбр;  
конкистадбр и (устар.) конквистадбр...

Если слово имеет варианты, различающиеся не только орфографически, но и по своим грамматическим характеристикам, то порядок подачи таких вариантов (с соответствующими грамматическими пометами) также определяется степенью их употребительности: первым дается более употребительный орфографический вариант, напр.:

кáди, м., нескл. и (устар.) кáдий, -я, м.;  
кайфовáть и кейфовáть.

Если орфографические варианты различаются одной буквой в середине слова и при этом ни один из них не имеет преимуществ по употребительности, стилистической окраске и т. п., то такие варианты даются в виде одного заглавного слова, а варьируемая буква указывается в круглых скобках, напр.: анде(р)граунд.

**3.1.5.** Слова-омонимы обозначаются арабской цифрой в верхней правой части входного слова, как это обычно и делается в лексикографической практике. При этом порядок подачи омонимов определяется степенью их употребительности: первым дается наиболее употребительный омоним, затем — менее употребительный, далее — специальный, жargonный и т. д., напр.:

бáнка<sup>1</sup> (сосуд);  
бáнка<sup>2</sup> (отмель на морском дне), мор.;  
бáнка<sup>3</sup> (сиденье в лодке для гребцов), мор.;  
бáнка<sup>4</sup> (в футболе: гол), жарг.

**3.1.6.** Раздельно пишущиеся наречия с предлогом — типа: *во всеоружии, на отшибе, без утайки*, второй компонент которых не употребляется в виде самостоятельного слова, — помещаются в словаре так: в качестве входной единицы фигурирует знаменательное слово, на основе которого образовано наречие, а за этим знаменательным словом после двоеточия следует само наречие, напр.:

всеоружие: во всеоружии;  
отшиб: на отшибе;  
утайка: без утайки.

Другие раздельно пишущиеся наречия с предлогом — типа *без конца, до смерти, за границей, под утро* — даются внутри словарной статьи знаменательного слова, входящего в состав такого наречия.

**3.1.7.** Раздельно пишущиеся предлоги типа *в течение, в отношении, за счет, по поводу, с помощью* помещаются в соответствующей зоне (см. об этом ниже) словарной статьи знаменательного слова, формирующего подобные предлоги, напр.:

течение ... в ~е ...;  
отношение ... в ~и ...;  
счет ... за ~ ...;  
поворот ... по ~у ...;  
помощь ... с ~ю ...

**3.1.8.** Составные союзы типа *потому что, оттого что, так как* описываются в словарной статье, входом в которую является первый компонент такого союза:

потому ... потому что ...;  
оттого ... оттого что ...;  
так ... так как ...

В таких словарных статьях должны описываться и другие составные союзы с данным словом (напр., *потому как, так что* и т. п.).

Сведения о специфике подачи заглавных слов, принадлежащих разным частям речи, см. ниже в разделе 4.1.

#### 4. Структура русской части словарной статьи

Русская часть словарной статьи имеет несколько зон, каждая из которых содержит определенный тип лексикографической информации о входной единице. Выделяются следующие зоны:

- 1) зона входного (заглавного) слова;
- 2) зона помет о произношении заглавного слова или его форм;
- 3) зона грамматических сведений о слове;
- 4) зона синтаксического управления (для предикатных слов);
- 5) зона стилистических помет;
- 6) зона толкования;
- 7) зона лексической сочетаемости;
- 8) зона устойчивых сочетаний — фразеологизмов и терминологических сочетаний;
- 9) зона pragmatischen сведений, касающихся особенностей употребления данного слова, специфики использования обозначаемой им реалии и т. п.

Зоны (1) и (3) обязательны (они есть в любой словарной статье), остальные зоны факультативны: они заполняются лишь при наличии соответствующей информации о слове и его свойствах.

#### 4.1. Зона входного (заглавного) слова

В дополнение к тем положениям, которые составляют содержание пункта 3.1, следует сказать, что в качестве заглавного слова могут фигурировать слова всех частей речи, имеющихся в русском языке, и, кроме того, словообразовательные морфемы, фразеологизмы и терминологические словосочетания (см. выше). Финальная часть входного слова, которая при словоизменении чередуется с другими частями, отделяется вертикальной чертой, например: **вод|á; молок|б; чётност|ь; хорбш|ий; золот|бй; читá|ть; вéрить; ид|ти.**

**4.1.1.** Заглавные слова — склоняемые существительные даются в форме именительного падежа единственного числа: **вéчер; голов|á; солнц|е.**

**4.1.2.** Зона заглавного слова у несклоняемых существительных состоит из такого существительного: **жалюз|й; кбфе; портьé.**

**4.1.3.** Заглавные слова — изменяемые прилагательные даются в форме мужского рода и единственного числа: **деревяни|ый; дорог|бй; радости|ый.**

**4.1.4.** Зона заглавного слова у неизменяемых прилагательных состоит из такого прилагательного: **беж; хáки; эпáнж.**

**4.1.5.** Заглавные слова — глаголы даются в форме инфинитива совершенного и несовершенного вида. В тех случаях, когда между этими формами — лишь видовое различие (как, например, в глаголах *начать* — *начинать*), не осложненное различиями лексического характера, одна из глагольных форм, а именно форма совершенного вида составляет отсылочную статью к статье глагола несовершенного вида, то есть, например:

начинáть ...  
нач|áть — см. начинать.

В большинстве случаев, однако, как показывают исследования последнего времени, формы совершенного и несовершенного вида, помимо чисто видовых различий, имеют и более или менее значительные лексико-семантические различия. Кроме того, каждый член видовой пары (даже в случае, если эта пара является «чистовидовой») может иметь специфическую сочетаемость или фразеологию: ср., например, выражения *сказано* — *сделано, будет сделано!, сделал дело* — *гуляй смело* и др., в которых возможна только форма совершенного вида *сделать* и ее производные. Поэтому в большинстве случаев глаголы совершенного и несовершенного вида должны каждый составлять самостоятельную словарную статью, правда, с разным объемом информации, что зависит от степени, в которой различаются члены одной видовой пары.

**4.1.6.** У наречий в зоне заглавного слова помещается само такое наречие: **вверху; завтра; сгорячá; нарочно; очень; дважды; весело; мучительно.**

**4.1.7.** Количествоные и собирательные числительные в зоне заглавного слова даются так же, как существительные: **пят|ь; девяност|о; сéмер|о.**

Порядковые числительные даются как изменяемые прилагательные: **пéрвый;**  
**сéдмýй.**

**4.1.8.** У слов, принадлежащих к служебным частям речи, которые не имеют форм словоизменения, — союзов, предлогов, частиц, а также у междометий — зона заглавного слова состоит из такого слова: **и;** **чтóбы;** **íз-за;** **дáже;** **урá.**

**4.1.9.** Частицы **-ка,** **кoe-**, **-нибудь,** **-либо,** **-таки,** **-то**, которые существуют только в связанным состоянии с другими словами, тем не менее описываются в самостоятельных словарных статьях (входом в такую словарную статью служит каждая из этих частиц). Свои словарные статьи имеют также частицы **бы** и **ли.**

**4.1.10.** Зона заглавного слова у словообразовательных морфем состоит из самой морфемы, напр.: **за-;** **-тель;** **видео...;** **...ман;** **экс-...;** с указанием в необходимых случаях морфонологических вариантов таких морфем и условий их появления: **о-, об-, обо-;** **раз-, перед глухим согласным рас-.**

**4.1.11.** О подаче терминологических сочетаний и фразеологизмов см. выше (пп. 2.3, 2.4).

## 4.2. Зона помет о произношении заглавного слова или его форм

Информация об особенностях произношения слова или словоформы помещается непосредственно после входного слова (до его словоизменительных финалей) или непосредственно после какой-либо из его словоформ, напр.:

партéр [тэ];  
инцидéнт [не: инциндéнт];  
манýк, -ýка [не: -якá].

Пометы о произношении подразделяются на четыре группы:

- 1) указание на нормативное произношение слова или словоформы, напр.:
 

абсентéйзм [сэнтэ];  
диéт[а] [иэ];
- 2) указание на вариативное произношение, не связанное с семантическими или стилистическими различиями, напр.:
 

энéргия [нэ и нé];
- 3) указание на стилистически или социально обусловленные различия в произношении, напр.:
 

скréпер, -а, мн. скréперы, -ов и проф. скреперá, -óв;  
компáс [у моряков: компáс];
- 4) запретительные пометы, вводимые с помощью отрицания *не*, напр.:
 

музéй [не: зэ];  
киломéт[р] [не: киломéт[р]].

## 4.3. Зона грамматических сведений о слове

Эта зона словарной статьи содержит (1) основные формы входного слова и (2) грамматические характеристики входного слова.

### 4.3.1. Основные формы входного слова

4.3.1.1. При склоняемых именах существительных указываются окончания родительного падежа: **вечер**, -а; **сблище**, -а, **головя**, -ы, а также партитива (у тех существительных, у которых этот падеж имеется); флексия партитива записывается в скобках после флексии родительного падежа: **мёд**, -а (-у); **конык**, -якá (-яку).

Если при склонении ударение перемещается с основы на флексию, то после заглавного слова указывается финальная часть словоформы родительного падежа, начиная с гласного, на который падает ударение в исходной форме существительного, напр.: **вира́ж**, -ажá; **моря́к**, -якá.

Если при склонении выпадает беглая гласная перед конечным согласным основы, то в форме родительного падежа приводится финаль слова, начиная с согласного, после которого выпадает беглая гласная: **довесок**, -ска; **конец**, -нцá; **пáлец**, -льца.

У сложных существительных типа **бизнес-план**, **шеф-повар** (с неизменяемой первой частью) и типа **скатерть-самобранка**, **сестра-хозяйка** (с изменяемой первой частью) форма родительного падежа указывается полностью: **бизнес-плáн**, **бизнес-пла́на**; **шéф-пóвар**, **шéф-пóвара**; **скáтерть-самобрáнка**, **скáтерти-самобрáнки**; **сестр|á-хозяйк|а**, **сестры-хозяйки**.

При тех сложных существительных, у которых в косвенных падежах первое слово может как склоняться, так и оставаться неизменным, указываются оба варианта, напр.: **дивáн-кровáт|ь**, дивáна-кровáти и дивáн-кровáти.

При существительных pluralia tantum (**часы**, **санки**, **брюки**, **ножницы**) непосредственно за исходной формой указывается форма родительного падежа — либо в виде флексии множ. числа: **часы**, -ов; **санки**, -ей, либо, при появлении беглого гласного, в виде финальной части формы родительного падежа, начиная с согласного, предшествующего беглой гласной: **носилки**, -лок; **деньги**, -нег; **сумерки**, -рек, либо, в случае нулевой флексии множ. числа, — в виде основы существительного: **брóкчи**, брюк; **нóжницы**, ножниц; **дрáзги**, дрязг.

При существительных, которые употребляются преимущественно в форме множественного числа (напр., **гастроли**, **кроссовки**, **гlandы**), указывается окончание множ. числа (или, при нулевой флексии, вся форма родительного множественного), а затем приводится форма единственного числа: **гастроли**, -ей, ед. **гастроль**; **кроссбóки**, -вок, ед. **кроссбóвка**; **глáнды**, гланда, ед. **глáнда**.

Супплетивно образуемые формы множественного числа существительных (**люди**, **дети** и под.) описываются в самостоятельных словарных статьях, в которых упоминается и форма единственного числа, напр.: **люди**, -ей, ед. **человéк** ...; **дети**, -ей, ед. **ребёнок**...

4.3.1.2. У имен прилагательных и порядковых числительных указываются окончания женского и среднего рода, а у качественных прилагательных еще и финали кратких форм мужского, женского и среднего рода, а также формы множественного числа — в случаях, когда эти формы допускают вариативное ударение (как, например, **добры** и **дóбры**, **правы** и **правы**); при нулевых окончаниях

в тех или иных кратких формах, а также при перемещении ударения с одних слов на другие эти формы приводятся полностью, напр.: **радостн|ый, -ая, -ое, -тен, -тна, -тно; дешёв|ый, -ая, -ое, дешевá, дёшево.**

4.3.1.3. Супплетивные формы степеней сравнения (*лучше, наилучший; хуже, наихудший* и т. п.) даются в виде самостоятельных словарных статей с указанием тех слов, от которых эти формы образованы: **лучше, ср. ст. от хороший и от хорошо; наилу́чш|ий, -ая, -ое, превосх. ст. от хороший; ху́же, ср. ст. от плохой и от плохо; наихудш|ий, -ая, -ое, превосх. ст. от плохой.**

4.3.1.4. Наречия, обозначающие градуируемые действия или признаки, имеют при себе финалы форм сравнения, напр.: **весел|о, -е; мучительн|о, -ее, -ейше.**

4.3.1.5. Личные местоимения **я, ты, он, она, оно, мы, вы, они**, а также вопросительные **кто, что** в их словарных статьях содержат, помимо исходной формы в именительном падеже, косвенные падежные формы, которые образованы супплетивно (основы этих форм не совпадают с основой исходной формы именительного падежа): **я, род., вин. меня́, твор. мной, дат., предл. мне; он, род., вин. (н)егó, дат. (н)ему́, твор. (н)им, предл. (о) нём; кто, род., вин. когб, дат. кому́, твор. ком, предл. (о) ком; что, род. чегó, дат. чему́, вин. что, твор. чем, предл. (о) чём.**

Каждая из косвенных падежных форм имеет в словаре на своем алфавитном месте отсылку к основной словарной статье, напр.: **меня́ — см. я; кому́ — см. кто.**

4.3.1.6. Глаголы имеют при себе окончания 1-го и 3-го лица единственного числа, с указанием всех морфонологических и акцентных особенностей образования этих форм: **берé|чь, -регу́, -режёт; кля́сться, клянúсь, клянётся; останов|ить, -влó, -новит; сбрóять, -беру́, -берёт.**

Члены супплетивно образуемых видовых пар (типа *брать — взять*) имеют самостоятельные словарные статьи со взаимными отсылками друг к другу: **бр|ать, беру́, берёт, несов. (сов. взять, см.); вз|ять, возьму́, возьмёт, сов. (несов. брать, см.).**

### **4.3.2. Грамматические характеристики слова**

4.3.2.1. При склоняемых существительных указываются следующие грамматические характеристики:

а) Род (ж., жс., с.): **вéчер, -а, м.; голов|á, -ý, жс.; сблинц|е, -а, с.**

б) Число (мн., ед.). Существительным pluralia tantum приписывается характеристика **мн.!** (это сокращение читается как «только множественное число!»): **пассатíж|и, -ей, мн.!; нбжниц|ы, нбжниц, мн.!** **праýмериз, нескл., мн.!**

Помета **мн.** (без восклицательного знака) может использоваться в зоне грамматических помет при необходимости указать форму множ. числа данного существительного (либо в именительном, либо в косвенных падежах), напр.: **лáгер|ъ<sup>1</sup>, -я, мн. лагерá, -ей, м. {ср.: детские, военные, исправительно-трудовые лагеря}<sup>1</sup>; лáгер|ъ<sup>2</sup>, -я, мн. лáгери, -ей, м. {ср.: враждебные друг другу общественные лáгери}; сéрвер, -а, мн. сéрверы, -ов и проф. серверá, -óв, м.**

Помета «мн. нет» приписывается (1) существительным, у которых нет формы множественного числа, напр.: *азбт*, -а, мн. нет, м.; *молок|б*, -á, мн. нет, с.; *тишина́*, -ý, мн. нет, жс.; (2) существительным, форма множественного числа которых хотя и возможна теоретически, но неупотребительна, напр.: *крутизи|á*, -ý, мн. нет, жс. {ср., однако, у П. Антокольского: «...и снова рушится с крутизин» — цит. по [Еськова 1994: 146]}; *матер|ь*, -и, мн. нет, жс. {имеется в виду Божья Матерь}; (3) тем значениям многозначного слова, в которых оно не имеет формы множественного числа: напр., существительному *овёс* в значении ‘злак’ — в противоположность другому значению этого существительного ‘поле, засеянное этим злаком’, которое имеет форму множественного числа: *овсы*.

Многие существительные — обозначения веществ, материалов, минералов, заболеваний и т. п. — употребляются обычно в форме единственного числа, напр.: *масло*, *цемент*, *халцедон*, *ангина*. Однако в профессиональной речи возможно употребление этих слов и в форме множественного числа: *маслá*, *цементы*, *халцедоны*, *ангины*. Хотя подобные формы обозначают не реальную множественность предметов (как в случае с конкретными существительными типа *стол*), а сорта, разновидности веществ, материалов, минералов, виды заболеваний и т. д., — запретительная помета «мн. нет» при таких словах, как правило, не ставится, но при форме множ. числа в скобках делаются пометы: (*сорта*), (*виды*), (*разновидности*).

Помета *ед.* фигурирует в словарных статьях тех существительных, которые употребляются преимущественно во множ. числе: *гастробл|и*, -ей, *ед.* гастроль, -и, жс.; *мемуár|ы*, -ов, *ед.* мемуár, -а, м.

Помета «*ед.* неупотр.» приписывается существительным, от которых теоретически можно образовать форму единственного числа, но такая форма в современном литературном языке не употребляется, напр.: *финáнсы*, -ов, *ед.* неупотр.; *чёсанк|и*, -нок, *ед.* неупотр.

в) Указание на несклоняемость существительного дается с помощью пометы *некл.* Эта помета приписывается существительным типа *бюро*, *жалюзи*, *кафе*, *колибри*, *шиштанзе* и под.; в словарной статье она предшествует помете, обозначающей род существительного и его число: *желé, некл.*, с.; *мадáм, некл.*, жс.; *кутюрье́, некл.*, м.; *жалюзí, некл.*, с. или мн.

г) При указании на синтаксическую одушевленность существительного используются две пометы: *одуш.*; *одуш* и *неодуш.*

Первая помета приписывается склоняемым существительным, у которых винительный падеж совпадает с родительным (у существительных мужского рода это происходит и в единственном, и во множественном числе, а у существительных женского рода — только во множественном), а также несклоняемым существительным, у которых винительный падеж определяется синтаксически: *áвтор*, -а, м., *одуш.*; *покбойник*, -а, м., *одуш.*; *réфери*, *некл.*, м., *одуш.* {ср.: Спортклуб взял на работу *молодого рефери*}; *дúм|а*, -ы, жс., *одуш.*; *léди*, *некл.*, жс., *одуш.* {ср.: Пригласили двух леди}.

Вторая, «сдвоенная» помета указывается при существительных, которые могут иметь в винительном падеже две вариативные формы: одна совпадает с родительным падежом этого существительного, а вторая — с его именительным падежом. Таково, например, слово *персонаж*: в современном русском литературном языке возможны высказывания типа *Писатель ввел в роман новые персонажи и ... новых персонажей* (тем же свойством обладает в форме множ. числа слово *лицо* — в контекстах типа *Перечислить всех действующих лиц / все действующие лица спектакля; Наложить взыскание на должностных лиц / на должностные лица*).

Кроме того, некоторые существительные в одном значении могут совмещать указание как на одушевленный, так и на неодушевленный предмет, и в связи с этим винительный падеж у такого существительного может иметь две разные формы. Таков, например, термин *абориген* в значении ‘растение или животное, возникшее в процессе эволюции в данной местности и поныне в ней обитающее’; ср.: *изучать животных-аборигенов и растения-аборигены*.

4.3.2.2. Неизменяемые прилагательные (типа *беж*, *хаки*) имеют помету *неизм.*

4.3.2.3. При глаголах дается помета, указывающая на их вид: *сов.* или *несов.*

#### 4.4. Зона синтаксического управления

Эта зона заполняется при предикатных словах — глаголах, отглагольных существительных, предикативных наречиях (*можно*, *надо*, *необходимо*, *жаль* и т. п.), прилагательных типа *готовый*, *рад* (ср.: *готовый на всё*, *рад приезду сына*), а также при предлогах и союзах. Указание на способ синтаксического управления дается в виде местоимений *кто*, *что* в косвенных падежах с предлогами и без предлогов, пометы «*инф.*», свидетельствующей о том, что управляемое слово является глаголом в инфинитиве (ср. управление при предикативных наречиях: *надо учиться*, *можно спросить* и т. п.), или в виде союзов, если данное слово допускает управление не только другими словами, но и предложениями. Предлоги снабжаются указанием на то, каким падежом (или падежами) они управляют, союзы — сведениями о типах предложений, вводимых данным союзом.

Примеры:

**говор|ить**, -ріб, -рít, *несов.* ... 2. *что*, *о ком-нем* и с союзом *что* {ср.: *говорить не-правду*; *говорить о сестре*, *об урожае*, *Он говорит, что не приедет*};

**начинáть**, -наю, -наёт, *несов.* 1. *что* и с *инф.* {ср.: *начинать работу*, *начинать работать*};

**допрóбс**, -а, *м.*, *кого о чём* {ср.: *допрос подозреваемого об обстоятельствах преступления*};

**готóв|ый**, -ая, -ое, *готóв*, *готóва*, *готóво* ... 2. *на что* и с *инф.*;

**по**, *предлог*, *с дат.*, *вин.* и *предл. пад.* {ср.: *плыть по реке*; *воды по колено*; *по ком звонит колокол*};

**что**, *союз*, *присоединяет изъяснительное придаточное предложение к главному* {ср.: *Сообщили, что поезд опаздывает*}.

#### 4.5. Зона стилистических помет

Эта зона словарной статьи содержит:

(1) пометы о преимущественной сфере употребления слова: *биол.*, *мат.*, *техн.*, *физ.*, *хим.* и др.; ими снабжаются специальные термины и терминологические сочетания;

(2) собственно стилистические пометы, которые

- а) указывают на стилистическую, социальную или территориальную разновидность языка, в которой слово употребляется: *разг.*, *прост.*, *жарг.* *диал.* и нек. др.;
- б) квалифицируют слово как устаревшее: *устар.*, *ист.*;
- в) обозначают оценку говорящим данного понятия, действия, факта, свойства и т. п.: *ирон.*, *неодобр.*, *презр.*, *пренебр.*, *шутл.* и нек. др.

Стилистическая помета ставится после грамматических характеристик, до указания значения слова (см. следующую зону). В статьях многозначных слов помета указывается после цифры, обозначающей номер значения, напр.:

**финит, -а и -á, м. 1. прост.** (хитрая уловка)... **2. спорт.** (обманное движение);  
**кругтбый, áя, бе, крут, крута, круто, круты и круты ... 4. прост., жарг.** (о человеке: производящий сильное впечатление своей решительностью, манерой поведения и т. п.);  
**провалйтиться, -алиться, -áлится, сов. ... 3. разг.** (потерпеть неудачу).

Такая помета может также сопровождать устойчивый (в частности, терминологический) оборот, помещаемый внутри русской части словарной статьи — при условии, что устойчивый оборот отличается от входной единицы своей стилистической окраской. Например:

**ажур, -а, м. ...**  $\diamond$  В ажуре (*разг.*) {перевод};  
**абсолютный, -ая, -ое, -тен, -тна, -тино ...**  $\diamond$  Абсолютная высота (*геод.*) {перевод}.

#### 4.6. Зона семантических пояснений

Семантические пояснения, используемые в русской части русско-иноязычных словарей, значительно отличаются от толкований, которые даются в одноязычных толковых словарях. Во-первых, своей краткостью: во многих случаях они представляют собой семантические дескрипторы, назначение которых — отличить одно значение слова от других, например, в тех случаях, когда в одном существительном совмещаются значения действия или процесса, с одной стороны, и предметное значение, с другой, —ср. слова типа *заязка*, *передача*, *убеждение* и под. Во-вторых, зона толкований факультативна: краткими толкованиями снабжаются омонимы и разные значения многозначных слов. Слова, имеющие только одно значение, как правило, не сопровождаются толкованием; исключение составляют редкие или малоупотребительные слова, которые могут вызвать затруднения при переводе.

Толкование дается в круглых скобках. У слов-омонимов оно указывается после сведений о грамматических, синтаксических и стилистических свойствах слова. Примеры:

**лук<sup>1</sup>, -а, м., мн. лúки (спец., в знач. сортá) (растение);**  
**лук<sup>2</sup>, -а, м. (оружие для метания стрел);**

**топ|ить<sup>1</sup>,** -пли́о, тóпит, **несов.**, **кого-что** (погружать в воду);  
**топ|ить<sup>2</sup>,** -пли́о, тóпит, **несов.**, **что** (поддерживать огонь, обогревать);  
**топ|ить<sup>3</sup>,** -пли́о, тóпит, **несов.**, **что** (расплавлять).

У слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи, толкование не указывается, так как частеречная принадлежность слова, а вместе с этим и его значение определяются по системе грамматических форм, напр.:

**печ|ъ<sup>1</sup>,** -ку́, -чёт, **что**;  
**печ|ъ<sup>2</sup>,** -и, мн. пёчи, -éй, ж.  
**прост|бий,** -ая, -ое, прост, простá, прόсто;  
**прост|бий,** -я, м.

У многозначных слов толкование дается после номера значения, который указывается арабской цифрой, набирается полужирным шрифтом и имеет после себя точку. Если в данном значении слово имеет грамматические, синтаксические и иные особенности употребления, а также стилистическую помету, то эти сведения предшествуют толкованию. Примеры:

**ид|тий,** идý, идёт, прош. шёл, шла, шло, **несов.** 1. (о человеке или животном: передвигаться); 9. 1 и 2 л. не употр. (приближаться, наступать); 17. 1 и 2 л. не употр., разг. (находит сбыт, распродаваться); 20. 1 и 2 л. не употр., каму-чему и к чему (быть к лицу, подходит);

**наклéйка,** -и, ж. 1. мн. нет (действие); 2. (этикетка);  
**прокбл,** -а, м. 1. (действие); 2. (отверстие); 3. *перен.*, разг. (неудача).

#### 4.7. Зона полусвободной лексико-семантической сочетаемости

Здесь помещаются наиболее употребительные сочетания с данным словом, отличающиеся, однако, от фразеологизмов (см. зону 2.8) меньшей идиоматичностью и устойчивостью. Заполнение этой зоны представляет собой наиболее сложный и трудоемкий процесс, поскольку отсутствуют ясные критерии, на основании которых одни словосочетания надо включать в словарь, а другие — нет<sup>2</sup>: в большинстве случаев составитель словаря опирается на собственную интуицию, а также на представление о том, как те или иные сочетания должны переводиться на другой язык.

Все же можно выделить по крайней мере три типа сочетаний, которые необходимо помещать в русской части словарных статей:

- 1) сочетания, отражающие предиктивные связи слова;
- 2) сочетания, отражающие атрибутивные связи слова;
- 3) сочетания, обозначающие разновидности предмета, понятия, действия, процесса, свойства и т. п., которые обозначены данным словом; такие сочетания, помимо лингвистической, содержат и энциклопедическую информацию о называемой словом реалии.

Примеры:

**внимáни|е,** -я, с. 1. ... обратить ~е; отнестись со ~ем; оставить без ~я; принять во ~е; привлечь (чье-н.) ~е; проявить ~е; сосредоточить ~е; уделить ~е (каму-чему); в центре ~я (быть, находиться);

**скрость|ь, -и, ж., кого-чего** 1. ... высокая ~ь, большая ~ь, бешеная ~ь, невиданная ~ь, головокружительная ~ь; медленная ~ь, тихая ~ь, малая ~ь, черепашья ~ь; на полной ~и; иметь ~ь; достигать ~и, набрать ~ь; развить ~ь; увеличить ~ь; ~ь возрастает, растет, увеличивается, повышается; ~ь падает, снижается, уменьшается; гасить ~ь, сбрасывать ~ь; терять ~ь; ~ь звука; ~ь света; сверхзвуковая ~ь<sup>3</sup>;

**войти|ти, -ду, -дет, прош.** вышел, вышла, вышло ... 1. (покинуть пределы чего-н., переместиться) ... из дома, ~ из берегов; ~ из-за стола; ~ на поверхность;

**увеличиваться, -юсь, -ется, несов.** ... значительно ~, резко ~; ~ в несколько раз, ~ на порядок; ~ в объеме;

**низкий, -ая, -ое, -зок, -зкá, -зко** ... 3. (меньше нормы) ... ~ое давление; ~ая температура; ~ое напряжение; ~ие цены; ~ий заработок; ~ий уровень (знаний, жизни, воды в реке);

**крем, -а, м.** ... 3. (косметическое средство) ... мазать ~ом; ~ впитался (в кожу); ... детский ~; ~ для рук; ~ для лица; ночной ~; ~ для бритья; ~ после бритья;

**нож, -á, м.** 1. (инструмент для резания) ... резать ~ом; полоснуть ~ом; лезвие ~а; ручка, рукоятка ~а; острый ~; тупой ~; точить ~; затупить ~; охотничий ~, перочинный ~, столовый ~, фруктовый ~; разрезной ~; ~ (-и) мясорубки; штык~;

**поезд, -а, м.** 1. (состав железнодорожных вагонов) ... ехать на (в) ~е, ~ом (в ~е метро); опоздать на ~; отстать от ~а (скорого или пассажирского); попасть под ~; стоянка ~а (скорого или пассажирского); пассажирский ~, скорый ~, товарный ~, пригородный ~, ~ метро.

Порядок подачи сочетаний в словарной статье определяется принципом «ядра и периферии»: сначала даются наиболее употребительные словосочетания, а затем менее употребительные, стилистически отмеченные, специальные, просторечные, жаргонные.

Каждое такое словосочетание сопровождается переводом.

#### 4.8. Зона устойчивых сочетаний

Здесь помещаются фразеологизмы и терминологические сочетания. Они даются за знаком ♀ и размещаются в конце словарной статьи (в том числе и словарной статьи многозначного слова), например:

**внимáни|е** ... ♀ Ноль ~я ...;

**войти|ти** ... ♀ ~ из себя ...; ~ замуж ...; как бы чего не вышло ...; не вышел (чём-л.)...;

**нож** ... ♀ ~ острый ...; на ~ах быть (с кем л.) ...; резать без ~а...; пустить под ~;

**нóмер** ... ♀ выкинуть ~ ...; откалывать ~а ...; ~ не пройдет ...; пустой ~ ...; вот это ~!...;

**морáльный** ... ♀ ~ый износ (*tex.*) ...; ~ое устаревание (*спеу.*) ...

Каждый фразеологизм и каждое терминологическое сочетание сопровождаются переводом.

#### 4.9. Зона прагматических сведений о слове

Эта зона заполняется в словарных статьях лишь тех русских слов, особенности употребления которых не могут быть объяснены собственно языковыми — грамматическими, лексико-семантическими, сочетаемостными — правилами. Адекватный перевод таких слов возможен только при учете прагматических факторов. Определение того, что называется языковой прагматикой, и подробный

анализ различных видов прагматической информации о слове содержится в работе [Апресян 1995]<sup>4</sup>. В нашей же статье будут приведены только примеры словарных единиц (слов, морфем, фразеологических сочетаний), для перевода которых необходимы сведения прагматического характера.

- 1) Слово *законник* имеет в современном языке (в отличие от языка XIX в.) отрицательную или ироническую оценку говорящим лицом, обозначаемого этим словом (ср.: *Тоже мне законник выискался!*), поэтому перевод его на другой язык словом или словосочетанием, которое имеет значение ‘знаток законов’ или значение ‘человек, который строго соблюдает законы или следит за их соблюдением’, без каких-либо комментариев прагматического характера был бы не вполне точен (заметим, что, например, в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой именно эти два значения даны без каких-либо помет, указывающих на оценку слова говорящим).
- 2) Глагол *принять* в одном из своих значений, реализующемся в контекстах типа *Вчера президент США принял посла Франции; Директор сегодня не принимает посетителей*, должен быть сопровожден указанием на то, что принимающее лицо выше по статусу, чем лицо принимаемое (к сожалению, в современных толковых словарях это существенное обстоятельство игнорируется и тем самым «разрешаются» высказывания типа *Посол Франции принял президента США; Посетитель не принял директора*, которые воспринимаются как аномальные; подробнее о предикатах с «социальным» компонентом их значения см. в [Крысин 1989, гл. 5]).
- 3) Местоимение *мой* в одном из своих употреблений — а именно: при сочетании с названиями так наз. иерархизированных коллектива (то есть организованных по принципу ‘глава — подчиненные’: *семья, цех, отдел* и под.) — имеет следующее ограничение: оно естественно в устах главы такого коллектива (*моя семья, мой цех, мой отдел*), тогда как в речи члена коллектива предпочтительнее местоимение *наш* (*наша семья, наши цех, наш отдел*). Некоторые другие местоимения — например, *ты, Вы* (обращенное к одному лицу) — также нуждаются в указании на прагматические факторы, регулирующие употребление этих местоимений (подробнее см. об этом в [Крысин 1986])<sup>5</sup>.
- 4) Постфиксальная глагольная морфема *-ка* (которая, естественно, должна быть представлена в словаре в виде самостоятельной словарной статьи), присоединяясь к глагольным формам повелительного наклонения (*подай-ка, сходи-ка, подвиньтесь-ка* и под.), сигнализирует об определенном типе отношений между субъектом и адресатом обозначаемого глаголом действия: формы с *-ка* естественны при обращении старшего по возрасту к младшему (напр., бабушки к внучку) или при общении близко знакомых, примерно равных по возрасту людей; в ситуациях же общения «снизу вверх» формы с *-ка* менее естественны или даже запрещены (напр., обращение малолетнего внука к бабушке в форме: — *Принеси-ка мне воды* воспринимается как недопустимая грубость).

- 5) Употребляемое в переносном смысле фразеологическое сочетание *сыт по горло* должно сопровождаться прагматическим по своему характеру указанием на то, что говорящий отрицательно оценивает объект «сытости»; ср. нормальное *сыт по горло вашими обещаниями* и сомнительное<sup>3</sup> *сыт по горло вашими похвалами*.

Разумеется, подробная информация о прагматических свойствах слова уместна прежде всего в толковом словаре. Однако и в словаре двуязычном элементы такой информации необходимы — не только для правильного перевода слова на другой язык, но и для адекватного отображения в переводе условий его употребления во входном языке.

Каким образом, какими средствами надо фиксировать в русской части русско-иноязычных словарей сведения прагматического характера? Очевидно, это нельзя делать в виде более или менее пространных описаний — типа тех, к которым мы прибегли в приведенных примерах: жанр словаря не допускает этого. Необходимо разработать систему прагматических помет с описанием того содержания, которое подразумевается под каждой пометой, и в необходимых случаях сопровождать то или иное слово одной или несколькими пометами. Одни из этих помет сходны со стилистическими, другие указывают на определенные компоненты в семантике слова, третьи — на положительные или отрицательные коннотации слова, сопровождающие те или иные его значения. Стилистические пометы типа *вежл.*, *вульг.*, *груб.*, *ирон.*, *ласк.*, *шутл.*, *неодобр.*, *презр.*, *пренебр.* и под. Ю. Д. Апресян предлагает интерпретировать как прагматические (см. [Апресян 1995, 145]). С этим можно согласиться, но список должен быть увеличен путем добавления в него помет, отражающих взаимный статус участников называемой словом ситуации, и помет, указывающих на характер коннотаций, сопровождающих значение того или иного слова.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Здесь и далее заключенное в фигурные скобки является необходимым пояснением к словарной статье, а не частью ее реальной структуры.

<sup>2</sup> Ср. следующие высказывания по этому поводу: «Вопрос о принципах отбора словосочетаний — один из сложнейших в лексикографии... именно отбор словосочетаний представляет собой наиболее спорную и уязвимую часть каждого переводного словаря» [Берков 1973, 116]; «...слабой стороной всех наиболее авторитетных словарей является синтагматика, и прежде всего потому, что трудно разграничить словосочетания, которые должны быть отнесены к словарю как лексические единицы “созданные, воспроизведимые”, и словосочетания, всякий раз “создаваемые” по задачам высказывания или ситуации согласно действующим синтаксическим моделям, т. е. сочетания так называемые “свободные”, законное место которых в синтаксисе» [Копецкий 1974, 16].

<sup>3</sup> При описании сочетаемости некоторых из приведенных здесь слов использовались словарные статьи «Толково-комбинаторного словаря русского языка» (см. [Мельчук, Жолковский 1984]).

<sup>4</sup> В работах, посвященных созданию двуязычных словарей, указывается на важность учета при переводе слова с одного языка на другой факторов культурного характера, говорится

о культурном компоненте значения слова (см., например [Берков 1977, 84 и сл.]). В ряде случаев то, что имеется в виду под прагматикой и под культурным компонентом лексического значения, если не совпадает полностью, то в значительной мере пересекается.

<sup>5</sup> Заметим, что ни английское местоимение *tu*, ни немецкое *mein*, ни французское *ton*, по-видимому, не имеют такого ограничения в своем употреблении.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Апресян 1993 — Ю. Д. Апресян. Лексикографическая концепция нового большого англо-русского словаря // Новый большой англо-русский словарь. Т. 1 / Под общ. рук. Э. М. Медниковой и Ю. Д. Апресяна. М., 1993. С. 6—17.
- Апресян 1995 — Ю. Д. Апресян. Прагматическая информация для толкового словаря // Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. С. 135—155.
- Аракин 1977 — В. Д. Аракин. Лексическая сочетаемость как один из компонентов словарной статьи // Актуальные проблемы учебной лексикографии. М., 1977. С. 245—254.
- Берков 1973 — В. П. Берков. Вопросы двуязычной лексикографии. Л., 1973.
- Берков 1977 — В. П. Берков. Слово в двуязычном словаре. Таллин, 1977.
- Головащук 1987 — [Головащук С. И.] Предисловие // Русско-украинский словарь: В 3 т. 3-е изд., стереотип. Т. 1. Киев, 1987. С. V—XIV.
- Еськова 1994 — Н. А. Еськова. Краткий словарь трудностей русского языка. Грамматические формы. Ударение. М., 1994.
- Ким 1981 — С. С.-Д. Ким. Вопросы комплексной разработки типовой русской части для русско-национальных словарей (Заметки практика) // Вопр. языкоznания. 1981. № 5. С. 39—53.
- Копецкий 1962 — Л. В. Копецкий. Из заметок о теории двуязычной лексикографии // Slavica pragensia. № 4. Praha, 1962.
- Копецкий 1974 — Л. В. Копецкий. О статье двуязычного славянского словаря // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков: К 80-летию С. Г. Бархударова. М., 1974. С. 15—21.
- Крысин 1986 — Л. П. Крысин. Социальные ограничения в семантике и сочетаемости языковых единиц // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986.
- Крысин 1989 — Л. П. Крысин. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989.
- Мельчук, Жолковский 1984 — И. А. Мельчук, А. К. Жолковский. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Вена, 1984.
- Zgusta 1988 — L. Zgusta. Lexicography today: An annotated bibliography of the theory of lexicography. Tübingen: Niemeyer, 1988.

*E. V. Рахилина, И. А. Прокофьева (Москва)*

## РУССКИЕ И ПОЛЬСКИЕ ГЛАГОЛЫ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ: СЕМАНТИКА И ТИПОЛОГИЯ\*

### *Введение*

Настоящая работа продолжает серию наших публикаций, касающихся сопоставительной семантики глаголов способа движения разных семантических групп в двух близкородственных славянских языках: польском и русском. Эта работа — в самом своем начале, около двух лет назад — была поддержана Татьяной Михайловной, которая сама занималась сопоставлением славянских языков в разных аспектах, ср., например, [Николаева 1986; 1988; 2000, ч. 2, § 3]. Заинтересовавшись темой, Татьяна Михайловна пригласила авторов пропустить доклад на заседании руководимого ею Отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН, а затем предложила опубликовать готовый к тому времени фрагмент в журнале «Вопросы языкознания». Мы благодарим всех участников обсуждения доклада за интерес к этому исследованию и полезную дискуссию, а Татьяну Михайловну еще и за теплое и внимательное отношение к авторам этой статьи — как начинающим славистам.

Первая из рассмотренных нами групп глаголов — глаголы *вращения* (см. [Рахилина, Прокофьева 2004]) — практически целиком состояла из когнатаов, т. е. этимологически родственных глаголов (ср. англ. термин *cognate*). Во второй группе, к описанию которой мы теперь приступаем, — группе глаголов *качания*<sup>1</sup> — между польским и русским, наоборот, почти совсем нет этимологических пересечений.

Действительно, семантическое поле колебательных движений представлено в русском языке глаголами *качаться*, *шататься*, *колыхаться*, а также в очень небольшой степени — глаголами *кивать* и *колебаться*; в польском же это поле описывают глаголы *huśtać się*, *kołysać się*, *chwiać się*, *kiwać (się)*, *bujać się*, *chygotać (się)* — таким образом, на роль когнатаов претендуют разве что пары *колыхать-*

\* Настоящая работа поддержана грантом РГНФ 02-04-00303а.

ся — *kółyśać się* и кивать — *kiwać (się)*. Отсюда следует, что в поле колебательного движения эти славянские языки разошлись значительно. Отметим, что и сама структура поля различается в русском и польском: в русском есть «главный» глагол качаться, «ответственный» за колебательные движения самых разных типов (см. подробнее [Рахилина 2001]), остальные же глаголы явно составляют периферию: для шататься и колебаться наиболее частотными стали переносные значения (ср. шататься как ‘бесцельно передвигаться’, ‘бродить’ и в еще большей степени — колебаться как ‘сомневаться’; кстати, польское *kolebać*, по нашим данным, в современном литературном языке совсем потеряло собственно колебательное значение<sup>2</sup>). В польском картина более однородная: каждый из перечисленных глаголов достаточно употребителен в своей узкой семантической области и сами эти области вполне сопоставимы по объему.

В этой статье мы покажем, что степень сопоставимости польского и русского языков в зоне колебательного движения тем не менее остается почти такой же, как и в зоне вращения: в обоих случаях сравниваемые системы, с одной стороны, значительно различаются, с другой стороны, в них выделяются и общие параметры. Последние претендуют на то, чтобы быть когнитивно и типологически релевантными — из этого можно исходить при дальнейшем, более широком типологическом исследовании.

### *1. Кивать — *kiwać (się)**

Русское **кивать** — каузативный глагол, имеющий специальную, очень узкую область действия: он употребляется в смысле ‘кивать головой’ о человеке в знак согласия. Польский когнат существует в двух вариантах — каузативном *kiwać* и некаузативном *kiwać się*. Каузативное *kiwać* вбирает в себя «русские» семиотически нагруженные контексты, ср.:

*Tak u nas zawsze — odrzekł kiwając głową ksiądz biskup poznański (H. Sienkiewicz. Potop) ‘Так у нас всегда, — ответил, **кивая** головой, епископ Познаньский’.*

Однако оно значительно шире русского по значению, ср. словарное толкование в PSJP: ‘двигать чем-либо попеременно в двух противоположных направлениях, качать, махать’. Ср.:

— Chodź tu!.. — rzekł z cicha, *kiwając gwałtownie ręką* (A. Wiśniewski-Snerg. Anioł przemocy) ‘— Иди сюда! — тихо сказал он, энергично **махая** рукой’.

*Pan Michał począł kiwać ręką, aby mu nie przeszkadzano, i czas jeszcze jakiś słuchał pilno, na koniec zbliżył się do towarzyszów (H. Sienkiewicz. Ogniem i mieczem). ‘Пан Михал начал **махать** рукой, чтобы ему не мешали, и еще некоторое время внимательно слушал, пока не подошел наконец к товарищам’.*

*Kiwać* может, таким образом, применяться и к разным частям тела, таким как рука (или платок как продолжение руки), нога, палец и даже хобот. Больше всего это напоминает русский глагол *махать*, ср. *махать рукой / платком* [Рахилина 2002]. Однако полной симметрии с русским *махать* у польского *kiwać* все же нет.

Например, нога, в отличие от русского *махать*, при *kiwać* движется только от колена — соответствующее движение в русском описывается глаголом *качать* (см. также раздел 3).

Возвратный некаузативный *kiwać się* обозначает любые ситуации, в которых происходит колебание верхней части вытянутого объекта независимо от нижней, так что объект перегибается — как бы кланяется, ср.:

*Kwiatek kiwał się na długiej wysokiej szcypułce* (J. Brzechwa. Gdy owoc dojrzewa) ‘Цветок качался на длинном высоком стебле’.

(...) zauważyl w końcu, że róg jednorożca zaczął się niebezpiecznie *kiwać* w prawo i w lewo (E. Marczyńska. Arkadia) ‘Он наконец заметил, что рог единорога начал опасно *качаться* вправо и влево...’

Таким образом, оба польских глагола обслуживают зону колебательных движений, причем если каузативный конкурирует с русским *кивать*, значительно перекрывая допустимую для него область значений и вторгаясь в зону *махать* и *качать*, то возвратный выделяет подкласс употреблений русского *качаться*.

## 2. Колыхаться — *kołyśać się*

Эта пара когнатов тоже имеет зону семантического пересечения: и в польском, и в русском колышутся «мягкие» горизонтальные поверхности, такие как пшеница или трава:

*Trawy puściły się bujno... Rankiem namiestnik, jadąc na czele swych ludzi, jechał jakby morzem, którego falą ruchliwie była kołyśana wiatrem trawa* (S. Żeromski. Przedwiośnie) ‘Травы буйно разрослись... Утром наместник во главе своих людей ехал как будто по морю, бегущей волной которого была *колохавшаяся* под ветром трава’.

Возможно, эта ситуация является прототипической для обоих языков. Между тем в современном русском в сферу действия глагола *колохаться* попадают еще вертикальные «мягкие» поверхности: занавески, флаги (именно они, видимо, и становятся прототипическими субъектами *колохаться*) — и на этом она фактически исчерпывается. В художественных текстах дополнением к этим основным контекстам могут служить те, в которых колышется — от смеха, кашля, движения — тело очень полного человека (такое тело тоже можно рассматривать как своего рода «мягкую поверхность»), в особенности живот, щеки или женская грудь, ср. следующий характерный пример:

*На трибуне плавала и колыхалась Анна Богумиловна Побияхо, колыхались все ее подбородки, наплывающие на объемистую грудь, прыгали на груди красные бусы* (Вл. Дудинцев. Белые одежды).

Значение польского глагола *kołyśać się*, как и в первой паре когнатов, оказывается гораздо шире. Его семантической доминантой является не характер поверхности, а слабая амплитуда колебаний, и это делает круг объектов, подпадающих под действие данного глагола, разнообразнее: *kołyśać się* описывает и не сильно колеблемые поверхности (прежде всего, воду), и, метонимически, все предметы

на такой поверхности, и закрепленные снизу объекты, и даже маятникообразные объекты — лишь бы амплитуда их колебаний была невелика,ср.:

*Na wodzie kołyzały się resztki rybackiej łódki* ‘На воде качались обломки рыбачьей лодки’.

*Kajak kołytał się na falach* ‘Байдарка качалась на волнах’ (пример из [Bojar 1979]).

*Drzewa kołyzały się powoli a cicho szeleszczałe liście delikatnie usypiały* (B. Leśmian. *Rybak i geniusz*) ‘Деревья несильно **покачивались**, а тихо шелестящие листья нежно усыпляли...’

*5 w skale Mercalego, a to znaczy, że rysowały się mury, przesuwały lekkie przedmioty i kołyzały żyrandole...* (Tygodnik Podhalański. № 44) ‘Пять баллов по шкале Мерцалова — а это значит, что трескались стены, передвигались легкие предметы и **качались** люстры’.

*Wagon niebezpiecznie kołytał się. Pociąg szarpał kilka razy, wprowadzając w motłoch dreszczyk emocji* ‘Вагон опасно **качался**. Поезд несколько раз дернулся, приводя толпу в дрожь’.

Уже из переводов этих примеров видно, что для русского языка все это — привилегированная зона глагола *качаться*, а более точно, его приставочного коррелята *покачиваться*<sup>3</sup>.

Зато мягкие вертикальные поверхности не описываются польским *kołytać się*: их способ качания в польской картине мира «объединяется» с движением неустойчивых «жестких» вертикальных объектов, см. раздел 4.

### 3. Качаться / раскачиваться — *huśtać się*

Релевантность признака амплитуды колебаний для польского обнаруживается и на примере семантики глагола *huśtać się*: он соотносится прежде всего с ситуациями, которые на русский можно было бы перевести с помощью глагола *раскачиваться*, т. е. описывает движение колебаниями большой амплитуды:

*Radek z rozpiędu zawisł na metalowej bramce, która stała na stadionie; huśtał się. Bramka przewróciła się...* ‘Радек с разбегу повис на металлических воротах, стоящих на стадионе, раскачался. Ворота перевернулись...’

*...wisiał uczeplony rękami i nogami u wahadła zegara i huśtał się na nim jak na huśtawce, powtarzając raz po raz głośno: «Tik-tak...»* (J. Brzechwa. Tryumf Pana Kleksa) ‘...висел, прикрепившись ногами и руками к маятнику часов, и **раскачивался** на нем, как на качелях, повторяя громко раз за разом: «Тик-так...»’

В подавляющем большинстве так качаются маятникообразные объекты<sup>4</sup>; в русском языке единственный способ описать их движение — независимо от амплитуды — это «основной» колебательный глагол *качаться*.

Наши исследования [Рахилина 2001] показывают, что в русском языке при этом в фокус внимания говорящего попадает именно подвешенный объект, тогда как подвеска «видится» повторяющей его движения и не принимается во внимание — как если бы она была жесткой или подвешенный груз очень тяжелым. Случай «мягкой» подвески, со своей собственной траекторией движения, которая «берет на себя» фокус внимания, выделяются русским языком в отдельный класс и

описываются глаголом *махать* (поэтому можно: *махать*, но не \**качать хвостом, руками, платком* и др.).

Особый интерес представляет пара *качать — махать ногой*: *машут ногой* от бедра — как «мягкой подвеской», движущейся свободно, а *качают* — ногой от колена, т. е. фактически — стопой, жестко связанной с коленом повторяющей движение стопы голенью. Тем самым лексема *нога* в этих сочетаниях используется в двух разных значениях — как ‘leg’ в случае с *махать* и как ‘foot’ в случае с *качать* (о других проявлениях такого противопоставления в русском языке см. [Рахилина 2000, 127, 167]).

#### *4. Качаться / шататься — chwiać się: неустойчивость*

В особый класс ситуаций оба языка выделяют колебания теряющих устойчивость вертикальных объектов, закрепленных снизу. В русском в этой зоне действует — параллельно с *качаться* — глагол *шататься*, который, в отличие от более общего *качаться*, специально выбирает ситуации, связанные с неустойчивостью предметов по причине деформации: зуб *качается / шатается*, забор *качается / шатается*, но: *подсолнух качался / \*шатался на высокой ножке, камыш качался / \*шатался* и под.

Данное противопоставление сохраняется и для приподнятых опор: русский язык хорошо различает две ситуации: когда опорная поверхность просто неустойчива и когда она неустойчива ввиду деформации или ветхости, т. е. не закреплена или плохо закреплена, а не только подвижна. В первом случае используется нейтральный *качаться*, во втором предпочтителен *шататься*:

Гнилые скамейки *шатались* (‘качались’), когда я на них садился (К. Паустовский. Повесть о жизни: Далекие годы)<sup>5</sup>, ср. также *шаткие мостки*.

По отношению к именам лиц — нетвердо стоящим на ногах людям — *шататься* используется в причинных контекстах (*шататься от голода / усталости / горя* и под.); для *качаться* такой тип управления не характерен, так что взаимозамена глаголов предпочтительна в тех случаях, где причина не выражена, ср.:

Он изображает пьяного и *шатается / качается* вместе с колесом (Ю. Олеша. В цирке),

но:

А вот и я, почти один, выхожу наконец из поезда, опять с моим подлинным именем, и, *шатаясь* / “качаясь от усталости и голода, иду в первый класс (И. Бунин. Жизнь Арсеньева);

*Шатались / \*качались от истощения куры с выдранными хвостами* (А. Толстой. Золотой ключик, или приключения Буратино)<sup>6</sup>.

В польском колебательные движения закрепленных снизу объектов передаются глаголом *chwiać się* — тем же, что описывает колебание гибких вертикальных поверхностей, например, занавесок (см. раздел 2), поэтому для вертикальных объек-

тов идея деформации и разрушения, хотя и присутствует в большинстве примеров, не так обязательна, как для русского *шататься*, ср. примеры типа:

*Dziecko było bardzo zaniedbane, brudne i wychudzone. Jego zęby chwiały się, dziąsła krwawiły* (G. Walczak. Anioł ze starego miasta) ‘Ребенок был очень неухоженным, грязным и исхудавшим. Зубы у него *шатались*, десны кровоточили’,

но и:

*Nad głowami idących chwiały się rozpięte na drążkach białe płótna z napisami* (E. Orzeszkowa. Nad Niemnem) ‘Над головами шедших *колыхались* растянутые на полках полотна с надписями’,

а также:

‘...*ino tupot nóg się rozlegał głucho, ino te drzewa przydrożne chwiały się niespokojnie...*

(Reimont. Chłopi) ‘(...) раздавался глухой топот ног; придорожные деревья неспокойно *качались*...’

Одновременно польское *chwiać się* разрабатывает идею неустойчивости значительно подробнее, чем русское *шататься*, «обслуживая» и потерявшие устойчивость горизонтальные поверхности, что для русского языка недопустимо, ср.: ...*czujemy pod nogami trwały, pewny grunt który się nie chwieje* (M. Jarosz. Dénà vu i inne opowiadania) ‘...чувствуем под ногами твердый грунт, который (букв.) *не шатается*’. Обратим внимание, что перевод этого предложения с помощью *качаться* будет так же неудачен: в русском такая ситуация скорее игнорируется языком («следы» ее видны лишь в употреблении адъективного *шаткий*: *шаткие мостки*)<sup>7</sup>.

### 5. *Chybotać (się)*

Параметр неустойчивости занимает особое место в польской лексической системе: он релевантен для семантики еще одного польского глагола, а именно *chybotać (się)*<sup>8</sup>. Этот глагол подразумевает колебательные движения (с небольшой амплитудой) одновременно всех частей объекта: так ведет себя пламя свечи, веерочная лестница или тряская поверхность болота<sup>9</sup> (ср. здесь родственное *chyba* ‘возможно, может быть’):

*Goście siedzieli przy stolikach, świeczki migotały i się chybotały, a słowa i uczucia...*  
‘Гости сидели за столами, свечи мигали и *дрожали*, а слова и чувства...’

*Chybotała się lampa w ręku Santany* ‘Дрожала лампа в руке Сантаны’.

‘...a obok chybocze cień Wojciecha z Kalisza’ ‘А рядом *калечется* тень Войцеха из Калиша...’

*Cale bagno chybotalo pod stopami* (M. Rodzewiczowna. Lato leśnych ludzi) ‘Все болото *дрожало* под ногами...’

Интересно, что в тот же класс приемлемых для *chybotać (się)* объектов попадают и старые вещи, готовые вот-вот развалиться, рассыпаться (как если бы все их части потеряли устойчивость — ср. также русск. *хибарка*):

*Szliśmy w skupieniu, trzeba było bardzo uważać, kładka się chybotala, co trzeciej klepki brakowało, a te, co były, trzeszczały...* ‘Мы шли вместе, нужно было быть очень внимательными, мост *дрожал, ходил под ногами / шатался*, каждой третьей доски не хватало, а те, которые были, трещали...’

— *Przednie koło nieco się chybocze — zauważyl. — Przestanie, kiedy pan przestanie nim traść — odparłem. Koło bowiem nie chybotalo się wcześnie...* (K. Grochola. Nigdy w życiu) ‘Переднее колесо немного болтается, — заметил он. — Перестанет, когда вы перестанете его трясти, — ответил я. Ведь колесо совсем не *болталось...*’

Никакого прямого аналога в русском этому предикату нет. Наиболее близок, видимо, судя по переводам, глагол *дрожать* в метафорических употреблениях, т. е. применительно к неживым объектам, потому что он имеет в виду мелкие колебания всего объекта. Для устройств с плохо пригнанными частями (как в последнем примере) хорошим эквивалентом может быть русское *болтаться*: у него именно такая узкая зона применения в значении колебательного движения; для опор-артефактов (как в примере с мостом) «подходит» глагол *шататься*.

### 6. *Biąć się*: колебания на опоре

Еще один тип колебательных движений, который специально выделяется в польском и не имеет хорошего русского аналога, — это колебания предмета на опорной поверхности, причем либо на поверхности устойчивой и неподвижной (ср. движения кресла-качалки), либо на подвижной, за счет ее собственных колебаний (ср. пассажир в транспорте, чайник на плите и др.). Оба эти типа ситуаций охватываются в польском одним глаголом *biąć się*:

*U dziadka stał fotel na biegunach. Jeden s nich siadł na nim i wyraznie się przestraszył, gdy fotel zaczął się biąć* (G. Walczak. Anioł ze starego miasta) ‘У деда стояло кресло-качалка. Один из них сел в него и очень испугался, когда кресло начало *качаться*’;

*I będę się biąć z tym wszystkim w tramwaju* (M. Dąbrowska. Opowiadania) ‘И я буду со всем этим *трястись* в трамвае’;

*Czajnik lekko bią się na kuchence* (K. Grochola. Serce na temblaku) ‘Чайник тихонько *трясеться* на плите’.

В русском же они не объединяются: обобщенное *качаться* покрывает только первый тип и игнорирует второй, «оставляя» его глаголам близкой, но все же другой семантической группы (*трястись*).

Обратим внимание, что первое значение глагола *biąć się* — ‘летать, носиться в воздухе’, и это не случайно: в польской картине мира концепт движения в воздухе связан с идеей вертикального движения относительно опоры (именно так и нужно, видимо, описывать семантику второго, колебательного значения *biąć się*). Типологически такое совмещение данных концептов (в более широком контексте его можно описывать как ‘летать’/‘прыгать’) релевантно для многих языков (ср., например, армянский или корейский). Интересно в этой связи и то, что польское *latać* ‘летать’ легко переносится на ‘колебательную’ ситуацию ‘вздрагивать (о губах)’. Подробнее об этом типе семантического совмещения см. [Плунгян, Рахилина 2005].

## 7. Колебаться: точка отсчета

Русский глагол *колебаться* в подавляющем большинстве контекстов, причем начиная по крайней мере с пушкинского времени, используется для выражения неуверенности в выборе решения, ср. следующий характерный пример: *для всех, кто мыслит и колеблется...* (В. Ходасевич. Петербургские повести Пушкина). В то же время у этого глагола есть и небольшая зона, в которой он применим к физическим объектам и конкурирует с другими глаголами колебательного движения<sup>10</sup>. В современном языке это зона подвижных нежестких объектов (прежде всего, нестабильной среды), которые, при небольших изменениях в своем положении в пространстве, тем не менее имеют ясную «точку отсчета». Характерными субъектами являются для *колебаться* воздух, поверхность болота, иногда даже земли — если речь идет о несильном землетрясении, а также свет, звук, пламя, тени, ср. следующие примеры: *колебались в лазоревой степи костры* (Вс. Иванов); *колеблющийся, тревожный свет* (В. Кунин); *вслед за ним колебались тени, отчего и казалось, что впереди что-то шевелится* (В. Пелевин); *колебалась почва от тяжелых далеких ударов* (А. и Б. Стругацкие); *колебалось розовое пламя* (Ан. Приставкин) и под.<sup>11</sup>

Интересно, что среди контекстов *колебаться* поверхность воды как таковая не встречается, зато очень часты примеры, в которых описывается движение неспокойного отражения в воде или предметов, видных сквозь воду:

(...) тротуары блестели после дождя, и в лужах колебались отражения уличных фонарей (А. Куприн. *Allez!*);

(...) мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива (И. Бабель. Любка Козак);

В метре-полуторе от себя сквозь пронизанную солнцем воду он увидел длинные, мягко колеблющиеся ноги и плоско очерченный живот; плавущая фигура уходила вглубь, в полупрозрачную зеленоватую муть (И. Грекова. На испытаниях).

Кажется, это не случайно: и у пламени свечи, и у теней, и у поверхности болота, и у отражения в воде есть некое нейтральное положение (точка отсчета — когда отражение сохраняет форму, поверхность болота ровная, пламя свечи спокойно), легкие отклонения от которого, визуально различимые, описываются глаголом *колебаться*, как если бы образ объекта то возвращался в это исходное положение, то уходил чуть в сторону. Сама водная поверхность или мягкие поверхности типа разевающихся флагов дальше от этого прототипа: они все время подвижны. Тем не менее есть (редкие) примеры, в которых *колебаться* «втягивает» в зону своих употреблений мягкие поверхности, представляя дело так, как если бы они не просто тяжело *качались* из стороны в сторону или легко *колохались*, меняя форму, а отклонялись от исходного положения и возвращались назад, ср.:

Занавески на открытых окнах тихо колеблются (А. Куприн. *Река жизни*),

а также:

Гординер открыл форточку: «Возвращайся до темноты!» Велимир выпрыгнул на карниз, спустился на низлежащую крышу и прошел к трубе, держа перпендикулярно колеблющийся, словно гвардейский султан, хвост (В. Аксенов. Московская сага).

С идеей отклонения от «точки отсчета», которая, как нам представляется, доминирует в семантике русского *колебаться*, связано сочетание *колебания весов*,ср. еще в непрямом употреблении: *дрожат и колеблются весы моей жизни* (Е. Гинзбург), а также способность этого глагола управлять пространственными предлогами (например, предлогом *между*, сочетанием *в районе* и под.), задающими зону варьирования с точкой отсчета внутри нее, ср.: *Большинство показаний колеблется между 400 и 470 тысячами* (Е. В. Тарле. Наполеон).

### *Некоторые выводы*

Семантика поля колебательных движений в русском и в польском определяется разными параметрами — они и обеспечивают различие в членении этого поля.

Для русского релевантным является различие между движением «мягких» и «жестких» объектов (*качаться vs. колыхаться*); кроме того, в отдельные классы выделяются колебание потерявших устойчивость крепления снизу вертикальных объектов (*качаться vs. шататься*) и незначительные отклонения от исходного состояния (обычно о нестабильной среде — *колебаться*).

Для польского важны амплитуда колебаний (большая: *huśtać się*; малая: *kołyсаć się, chwiać się, chybotać [się], bujać się*) и параметр неустойчивости (ср. *chwiać się, chybotać (się)* и отчасти *bująć się*). В польском семантическое поле колебательных глаголов значительно богаче русского, поэтому польский, в отличие от русского, имеет возможность лексически противопоставить пять типологически различных типов колебательных ситуаций: движение маятника (*huśtać się*), раскачивание вертикального объекта, в том числе закрепленного снизу (*chwiać się*), колебательные движения на опорной поверхности (*bująć się*), колебания одной верхней части вертикального объекта (*kiwać się*) и мелкие колебания всех частей объекта, которые происходят одновременно и независимо друг от друга (*chybotać [się]*).

Тем не менее из сопоставления этих систем видно, что противопоставление движения подвешенных и закрепленных снизу объектов, а также горизонтальных и вертикальных поверхностей очень важно для языковой картины мира. Эти параметры по-разному совмещены в польском и русском, но присутствуют в обоих языках. Бесспорный интерес с точки зрения лексической типологии представляет и идея неустойчивости объекта ввиду деформации, а также естественные колебательные движения частей тела — головы, хвоста, рук и ног.

\* \* \*

Мы искренне благодарим Магдалену Данилевичову, Ольгу Леонидовну Катречко и Валентину Григорьевну Кульпину, а также наших польских друзей-информантов за неоценимую помощь в работе над этой статьей.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Работа опирается на данные словарей — как двуязычных, так и толковых — и материал корпусов текстов (использовались примеры из Архива Национального корпуса русского языка и из корпусов польских текстов; при поиске русских примеров применялась программа, составленная А. В. Санниковым), а также опросы информантов, носителей польского и русского языков.

<sup>2</sup> Видимо, то же относится и к глаголу *wahać się* ‘сомневаться’, хотя в прошлом этот глагол, бесспорно, входил в систему польских глаголов качания как один из основных, ср. производное *wahadęł* со значением ‘маятник’; ср. здесь же польское *kolebka*, производное от глагола *kolebać* со значением ‘люлька, колыбель’.

<sup>3</sup> Между тем, еще в XIX в. и даже в первой половине XX русский был, видимо, значительно ближе к польскому в отношении семантики глагола *колыхаться*, ср.: (...) *калыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне* (Н. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки); (...) *коляска выехала со двора и пошла колыхаться по засохшим кочкам немощеного переулка* (И. Гончаров. Обломов); *Капитан колыхался, жестикулировал, начинал возражать, но Николай Всеиводович каждый раз повелительно его останавливал* (Ф. Достоевский. Бесы); *В ожидании воды Цинциннат сел за стол, стол сегодня немножко колыхался* (В. Набоков. Приглашение на казнь); ...*громадные грузовики, колыша и бренча цепями...* (М. Булгаков. Роковые яйца) и под.

<sup>4</sup> В нашем корпусе иногда встречались и примеры закрепленных снизу объектов и даже водной поверхности — впрочем, и в этих случаях всегда описывались значительные колебания, ср. *раскачиваться*: ...*Lecz aż tak gwałtownej burzy dotąd nie przeżył. Dąb huśtał się, wstrząsany rówymi* (J. Grabowski. Reksio i Pucek i inne opowiadania) ‘Но настолько сильной бури он до того момента не переживал. Дуб *раскачивался*, сотрясаемый порывами’; *Wtedy starzy bacowie mówią, że na Bałtyku jest sztorm, bo się w stawie woda huśta* (J. Kwiatak. Polska: Urokiwy świat małych miasteczek) ‘Тогда старики говорят, что в Балтийском море шторм, поскольку в заливе вода *ходит ходуном*’.

<sup>5</sup> Ясно, что граница между этими ситуациями не жесткая, так что обычно *шататься* все-таки заменяется на *качаться* (если говорящий старается игнорировать идею деформации) — но не наоборот: вместо *качаться на волнах* довольно трудно себе представить \**шататься на волнах*. Именно этот круг употреблений, описывающих деформацию и разрушение опоры, дает основу распространенному переносному значению, связанному с потерей «идеологических устоев», ср.: *вера шатается, трон шатается, шатания* и др. (по наблюдениям Н. Д. Арутюновой, таких употреблений *шататься* особенно много у Ф. М. Достоевского, прежде всего в «Бесах», отсюда и фамилия героя Шатов, см. [Арутюнова наст. сб.]).

<sup>6</sup> У *шататься* есть еще одно переносное значение — беспорядочного движения в пространстве, восходящее, как верно замечено в [Левонтинà, Шмелев 1999: 274], к идее незакрепленности движущегося объекта: *шататься из угла в угол, шататься по улицам*, ср. также *медведь-шатун* и др. В современном языке круг употреблений *шататься* уже, чем в древнерусском (где *шататься*, а не *качаться* был основным глаголом колебательных движений), но практически тот же, что в XIX в. — однако в зоне беспорядочного движения *шататься* еще в пушкинскую эпоху употреблялось шире, чем теперь, ср.: *В должности коменданта состоящий в Яицком городке подполковник Симонов 15 сентября рапортовал, что отставной яицкой сотник объявил, что Пугачев шатается* [теперь бы, наверное, сказали: *разгуливает*] *по степи в 100 верстах от Яицкого городка к Сызрану* (...) (А. Пушкин. Материалы к «Истории Пугачева»).

<sup>7</sup> Что касается канонических употреблений *качаться* применительно к горизонтальным поверхностям типа *палуба качается*, то они ориентируются прежде всего на ситуацию колебаний опоры (воды), а не потерю устойчивости ввиду деформации. Обратим внимание и на то, что рус-

ское качаться практически не применимо к самой водной поверхности [при том что в польском колебания воды описываются не одним глаголом — в таком контексте в разных случаях допустимы и *huśtać się* (при больших колебаниях), и *kołysać się* (при легких колебаниях), и *chygotać (się)*, и *bijać (się)*], см. след. разделы — русское «горизонтальное» качаться в подавляющем большинстве случаев описывает не воду, а колеблемые водой предметы.

<sup>8</sup> Глагол *chygotać* употребляется как непереходный или с творительным объектом; параллельно используется возвратная форма с *się*, причем PSJP определяет ее просто как усиительную для глагола *chygotać*; семантические различия между этими формами остались пока неясны.

<sup>9</sup> Заметим, что к вертикальным объектам (которые, как мы видели, в польском обслуживаются глаголом *chwiać się*, *chygotać (się)*) не применим.

<sup>10</sup> Заметим также, что в именной лексике нейтральным обозначением движения из стороны в сторону служит имя, производное от этого глагола — *колебание*, а вовсе не *качание*, как можно было бы ожидать, исходя из широчайших сочетаемостных возможностей современного качаться.

<sup>11</sup> В XIX в. значение колебаться, видимо, все-таки было несколько шире,ср., например: *В мечтах пред ним носился образ высокой, стройной женщины, (...), легко ступающей по ковру (...), с колеблющейся талией, с грациозно положенной на плечи головой...* (И. А. Gonчаров. Обломов), а также знаменитое *пускай (...)* колеблет твой треножник Пушкина. Между тем, по нашему исследованию, основанному на текстах архива Национального корпуса, наиболее характерные примеры предметной сочетаемости колебаться того времени, как и в современном языке, описывают свет, свечи, звук голоса, тени, туман, дым, трясину, падающий снег, камыши и под.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Арутюнова наст. сб. — Н. Д. Арутюнова. Колеблющийся мир Достоевского: между образом и концептом (в наст. сб.).
- Левонтина, Шмелев 1999 — И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. На своих двоих: лексика пешего перемещения в русском языке. Логический анализ языка. Языки динамического мира. Дубна, 1999.
- Николаева 1986 — Т. М. Николаева. Славянские частицы и некоторые проблемы типологии // Советское славяноведение. 1986. № 1.
- Николаева 1988 — Т. М. Николаева. Типология функционирования посессивных конструкций в славянских языках // X Международный съезд славистов. Славянское языкознание. № 1. М.: Наука, 1988.
- Николаева 2000 — Т. М. Николаева. От звука к тексту: М.: Языки русской культуры, 2000.
- Плунгян, Рахилина 2005 — В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина. Типология глаголов со значением ‘левтать’, ‘падать’ и ‘прыгать’ // Сб. Лексическая типология: глаголы движения в воде / Ред. Т. А. Майсак, Е. В. Рахилина. (В печати.)
- Рахилина 2000 — Е. В. Рахилина. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М.: Русские словари, 2000.
- Рахилина 2001 — Е. В. Рахилина. О природе бесконечного движения: качаться // Prace filologiczne (Warszawa). Т. XLVI. 2001. С. 493—502.
- Рахилина, Прокофьева 2004 — Е. В. Рахилина, И. А. Прокофьева. Родственные языки как объект лексической типологии: русские и польские глаголы вращения // Вопр. языкознания. 2004. № 1.
- Bojar 1979 — B. Bojar. Opis semantyczny czasowników ruchu oraz pojęć związanych z ruchem. Warszawa: UW, 1979.
- PSJP — Podręczny słownik języka polskiego / Red. tomu Elżbieta Sobol. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1996.

*А. Д. Кошелев (Москва)*

## К ПРОБЛЕМЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ МНОГОЗНАЧНОСТИ ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА *БРАТЬ / ВЗЯТЬ*

### 0. Введение

#### Идея инварианта

0. Одна из главных проблем, стоящих перед лексикографом при описании отдельных (частных) значений многозначного слова, связана с эксплицитным представлением семантических связей между этими значениями. Без таких связей слово утрачивает интуитивно ощущаемое семантическое единство и, фактически, распадается на омонимы.

В настоящее время известно несколько конкурирующих подходов, объясняющих взаимосвязь частных значений слова. Одни исследователи считают, что эти значения связаны общими семантическими элементами («семантическими мостами»), которые должны явным образом присутствовать в их толкованиях, другие стремятся показать, что каждое значение (кроме одного исходного) — результат семантической деривации некоторого предшествующего значения, третьи видят объединяющую семантическую роль в прототипическом значении, и, наконец, четвертые полагают, что семантическое родство значениям слова обеспечивает их лексический инвариант — общее значение слова, из которого выводятся варианты — более конкретные, частные значения.

1. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что, в отличие от других перечисленных подходов, идея инварианта уже давно утратила привлекательность (см., например, [Падучева 2004: 148—149]). Само собой сложилось мнение, что лексических инвариантов не существует и поэтому попытки найти общее значение слова обречены на провал. Следует признать, что это мнение не беспочвенно и базируется на весомом, хотя и сугубо практическом основании: до сих пор, несмотря на многократные и разнообразные попытки, не предложено ни одного бесспорного лексического инварианта\*.

\* Впрочем, если считать слово *брак* ('сожительство супругов') многозначным, то его определение, данное Т. М. Николаевой в начале 60-х годов прошлого века, безусловно,

Одна из целей статьи — вновь привлечь внимание к идее инварианта и продемонстрировать ее плодотворность, пусть и в несколько иной, неклассической редакции.

### **Основной тезис статьи**

**0.** Человек обладает способностью семантически правильно употреблять слова, т. е. в полном согласии с другими носителями языка определять, можно или нельзя описать данную ситуацию действительности тем или иным словом. Например, носитель русского языка с легкостью и без всяких сомнений укажет, что в следующих парах первые фразы корректны, а вторые — нет: *Мальчик взял яблоко из корзины* — \**Мальчик взял яблоко с дерева* (нужно: *сорвал*), *Маша взяла записку со стола* — \**Маша взяла записку с пола* (нужно: *подняла*), *Собака взяла след волка* — \**Охотник взял след волка* (нужно: *обнаружил*).

Попытка объяснить эту способность соображениями общего характера, типа: ребенок, обучаясь языку, запоминает правильные употребления слова, а затем строит аналогичные цепочки — при ближайшем рассмотрении оказывается несостоятельной. Так, в приведенных парах вторые фразы вполне аналогичны первым. Ссылка на то, что, срывая яблоко или поднимая записку с пола, человек затрачивает больше усилий, чем когда берет яблоко из корзины или записку со стола, неубедительна. Ведь в ситуациях, описываемых корректными фразами *X взял огромную книгу с верхней полки / тяжелый чемодан*, X затрачивает еще больше усилий.

Надеяться на то, что требуемое различие употреблений можно получить при описании частных значений, также не приходится, если принять во внимание диффузную природу последних, их неспособность охватить множество «промежуточных» употреблений. Весьма проблематична и фиксация этого различия в форме «несвободных сочетаний». Например, при лексеме *след* нужно будет не только указывать возможность сочетания *взять след*, но и давать уточнения типа: *собака взяла след* — допустимо, а *охотник взял след* — нет.

Не видно, как здесь могут помочь и «семантические мосты», правила семантической деривации значений или прототипы. В то же время при поиске общего значения слова такая надежда сохраняется, поскольку можно думать, что корректность / некорректность употребления глагола обусловлена соотносимостью / несоотносимостью его значения с данной (референтной) ситуацией и каждый раз заново «вычисляется» говорящим на основе энциклопедических знаний об этой ситуации.

Ввиду необычайного разнообразия употреблений глагола *брать* (*брать отпуск, братъ преступника, братъ высоту, братъ след, братъ [кого-л.] на прицел и т. д.*) может показаться, что эта надежда призрачна. Однако интуиция нам подсказывает, что все употребления имеют нечто общее и не являются омонимичными.

---

является общепризнанным инвариантом. Подробнее о нем см. в статье В. А. Успенского «Татьяна Михайловна Николаева как собеседник» в настоящем сборнике.

1. Основная цель статьи заключается в предъявлении описания общего значения глагола *брать*. Это значение имеет вид простой функциональной схемы (модели), задающей класс референтных ситуаций всех корректных высказываний с глаголом *брать*: *Иван берет у Маши книгу*, *Маша берет отгул*, *Корабль берет курс* и др. По существу, мы стремились показать, что глагол *брать*, подобно, скажем, существительным *дерево* или *стул*, имеет вполне самостоятельное, не зависящее от контекста значение — указанную схему. Если ситуация действительности отвечает этой схеме, употребление глагола *брать* в высказывании семантически правильно, а если нет, то неправильно.

Этот тезис и объяснительные возможности предложенной схемы иллюстрируются на большом числе разнообразных примеров. В частности, показано, что референтные ситуации первых фраз в приведенных трех парах примеров ей соответствуют, а референтные ситуации вторых фраз — не соответствуют, чем и объясняется их некорректность (см. п. 2.1, 6.5 и 10.3).

Принимая во внимание независимость от фразового контекста общего значения глагола *брать*, вполне правомерно говорить о его референтах (референтных ситуациях), а также о том, что данный глагол задает самостоятельную языковую категорию — замкнутый класс референтов — ситуаций действительности, соответствующих его значению (схеме).

2. Согласно статье Словаря Ушакова, глагол *брать* имеет 18 частных значений, не считая более двух десятков фразеологизмов.

Главным предметом нашего внимания будет общее значение актуального действия глагола: *брать карандаш*, *брать приятеля в поход*, *брать пациента на операцию*, *брать город*. Условимся обозначать его *брать I* (римскими цифрами мы помечаем общие значения, а арабскими, как обычно, частные значения). Оно охватывает 12 частных значений из 18: *брать 1* ('захватывать рукой'; *брать палку*), *брать 2* — ('уносить'; *брать работу домой*), *брать 3* — ('принимать'; *брать задание*) и др.

Оставшиеся 6 из 18 значений выражают уже не 'актуальное действие', а 'свойство': *брать 9* (*И страх их не берет*), *брать 10* (*Она берет красотой*), *брать 11* (*Громоздкая мебель берет слишком много места*) и др. Они — продукт аспектуально-временных модификаций глагола и не образуют нового лексического значения. Поэтому далее мы их не рассматриваем.

Изучая значение актуального действия *брать I*, мы будем рассматривать и близкое ему общее значение *взять I* глагола *взять*. Этот глагол не всегда является коррелятом глагола *брать*, ср., невозможность мены глаголов во фразах *A он взял и сказал* (\**берет и говорит* — неупотребимо в значении актуального действия), *Откуда ты это взял* (\**берешь*). Поскольку эти употребления представляют другое общее значение — *взять II* (оно кратко рассмотрено в Приложении, п. 12), исключим их пока из рассмотрения и сосредоточим внимание на значении *взять I*, допускающем свободную мену на глагол *брать*. Будем считать, что лексически общие

значения *брать* и *взять* I синонимичны. Поскольку далее, вплоть до Приложения, мы будем изучать только значение *взять* I, цифра при глаголе будет опускаться.

### Структура статьи

В пункте 1 дано первичное описание общего значения (концепта) глагола *брать* / *взять* *Y* и разобраны поясняющие его примеры; в пункте 2 проведен анализ референтной ситуации глагола и введены исходные концепты — элементарные свойства действительности, посредством которых в пункте 3 формулируется полное описание концепта. Здесь же дано сопоставление излагаемой точки зрения с концепцией, развиваемой в работах Московской семантической школы, и приведено описание западноевропейских «аналогов» глагола *брать* — английского *to take* и французского *prendre*.

Пункты 4—8 посвящены рассмотрению конкретизаций концепта и его элементов для различных типов объекта *Y*: предмета, человека, места, времени, процесса, состояния и интеллектуального продукта. В пунктах 9 и 10 анализируются соответственно метафорические и некорректные употребления, в пункте 11 иллюстрируется обобщающая роль концепта при описании частных значений и, наконец, в пункте 12 (Приложении) дается дефиниция второго лексического концепта *взять* II глагола *взять*.

## 1. Первичное описание концепта глагола *брать* / *взять*

**1.0.** Концепт глагола *взять* будет представлен в форме: «*X взял Y* — *дескрипция*», в которой **правая часть** (дескрипция) терминологически определяет **референтную ситуацию высказывания**, стоящего в левой части, т. е. характеризует такую ситуацию действительности (и только ее), которую можно корректно описать (закодировать) этим высказыванием.

Таким образом, правая часть вовсе не является толкованием левой части, или ее синонимической перифразой. Она обращена непосредственно к ситуации действительности и призвана, насколько возможно, точно ее определить. Входящие в нее слова и выражения используются не в их естественно-языковых значениях, а как термины, обозначающие те или иные общие свойства референтной ситуации. Они будут подробно определены в п. 2, а здесь мы лишь кратко их поясним, чтобы иметь возможность сначала проиллюстрировать формулировку концепта на примерах.

Суть референтного действия «*взять Y*» коротко можно сформулировать так:

- (1) · *X берет* / *взял Y* — Деятель *X*, благодаря целенаправленному действию *A*, 1) начинает контролировать объект *Y*, принадлежавший другому деятелю *Z* (или обществу) *Z* и прежде недоступный *X*-у, вследствие чего 2) получает непосредственную возможность использовать *Y* в своих целях 3) за счет возможностей *Z-a*.

... Дескрипция задает референтную ситуацию, состоящую из трех обязательных участников: деятелей X-а и Z-а и объекта Y. Их связывают определенные отношения, которые при осуществлении X-ом действия «взять» меняются.

Центральным понятием концепта (1) является понятие контроля деятеля X над объектом Y. Выражение «X контролирует Y» обозначает следующее: деятель X ограничивает свободу использования объекта Y другими деятелями и/или расширяет свою свободу использования Y-а. Короче говоря, X в большей или меньшей степени навязывает свою волю в использовании Y-а. Далее это понятие будет по-разному конкретизироваться в зависимости от типа объекта Y (предмет, место и пр.), к которому оно применяется.

Выражение «объект Y принадлежит деятелю Z» означает, что в референтной ситуации деятель Z связан с объектом Y каким-то индивидуальным, персональным отношением. Это отношение может быть как объективным, общезначимым (жена или дача Z-а, написанная им книга — о них можно сказать *Z имеет жену / дачу / книгу*), так и субъективным, не общезначимым, ситуационным (одолженная у сотрудника ручка, которой Z сейчас пользуется, лежащая у него на столе чужая книга — о них можно сказать *ручка / книга Z-а*).

Выражение «X получает непосредственную возможность использовать прежде недоступный Y в своих целях» означает, что X ранее не мог, а теперь может без помех взаимодействовать с объектом Y в своих целях.

Наконец, выражение «за счет возможностей Z-а» означает, что Z не может использовать в своих целях объект Y и его ресурс, который получил от него X.

**1.1.** Проиллюстрируем концепт (1) несколькими примерами, в которых именная группа Y обозначает предмет, место, интервал времени и действие.

Объект Y — перемещаемый предмет.

### 1.1) Иван взял книгу в библиотеке / у Маши.

Иван (X) осуществил действия A — заказал книгу (Y) в библиотеке (Z), или попросил ее у Маши, — благодаря которым начал контролировать книгу: книга теперь не выдается другим читателям, и X получил возможность непосредственно использовать ее, лишив этой возможности библиотеку или Машу. Предположим, Иван заказал в библиотеке книгу, и она пришла на его библиотечный номер (его место на библиотечной полке). В этой ситуации можно сказать *Иван взял книгу*, если Иван может в любой момент получить ее со своего номера. Однако, если по библиотечным правилам книга, находясь на номере читателя, остается в общем доступе и выдается по заказам другим читателям, фраза становится некорректной, поскольку Иван не контролирует ее выдачу и поэтому не имеет возможности непосредственно ею пользоваться.

Объект Y — место.

### 1.2) Иван взял купейное место.

Иван осуществил действие А (купил билет), благодаря которому начал контролировать доступ к этому ранее недоступному для него месту, т. е. получил возможность им воспользоваться и лишил этой возможности других. В частности, владелец Z (скажем, касса или вокзал) утратил свою возможность распоряжаться этим местом. Если Иван только заказал билет, эта фраза утрачивает корректность, поскольку Иван не получил контроля за местом и не обеспечил себе беспрепятственной и непосредственной возможности пользоваться им. Для этого ему необходимо оплатить билет и получить его на руки.

Объект Y — интервал времени.

### 1.3) *Сержант взял увольнительную [у комбата].*

В референтной ситуации этой фразы сержант (Х) получает от комбата (Z) разрешение на временное отсутствие на службе — увольнительную (Y). Тем самым Х получает контроль над временем Y (никто не может теперь приказывать ему что-то делать в это время), благодаря чему он обретает возможность использовать время увольнительной для своих личных нужд. При этом комбат лишается возможности использовать это время сержанта в служебных целях. Подчеркнем, что речь идет именно о возможности воспользоваться увольнительной. Собственно использование увольнительной (реализация возможности) — это самостоятельный этап, который часто следует незамедлительно и как бы сливаются с предшествующим (получение возможности). Ср. фразу *Я взял увольнительную и через час выхожу из части*.

**1.2.** Коснемся теперь действия А. Оно имеет двухшаговую структуру: а) «сержант подает просьбу об увольнительной» и б) «сержант получает разрешение (приказ) на увольнительную и подтверждающий документ». После реализации шага а) можно говорить *Сержант берет увольнительную* (если разрешениедается без труда), а после реализации шага б) — *Сержант взял увольнительную*. Поскольку глагол в актуальном значении *брать* I является предельным, он употребим лишь в тех случаях, когда в ситуации имеются реальные шансы (шаг а)) достичь результата.

Подчеркнем обязательность инициативных действий А со стороны Х-а. Предположим, что сержант каждую пятницу автоматически, без каких-либо специальных действий с его стороны, получает увольнительную. Об очередном таком случае неправомерно будет сказать \**Сержант взял увольнительную*.

1.3. Объект Y — действие.

В игре в волейбол подачей называется ввод мяча в игру с задней линии площадки. Та команда, на стороне которой в данный момент подача (право подавать), обладает преимуществом, поскольку может подачей начать атакующие действия. Если команда в процессе игры выигрывает очко (мяч), то она получает право на подачу. Эту ситуацию и описывает фраза

### 1.4) *Наши девушки красиво выиграли мяч и взяли подачу.*

Здесь, благодаря удачным манипуляциям с мячом (действие A), наши девушки получили **контроль над подачей**. Возможность подавать, которой владели их соперницы (Z), перешла к ним.

Слово *подача* имеет в спортивных играх еще одно значение: ‘полет мяча, посланный игроком с подачи (его удар)’. Оно реализуется во фразе *Наши девушки успешно взяли подачу соперниц и сейчас будут атаковать*, означающей ‘не ошиблись при приеме мяча, посланного соперницами с подачи, и готовят свой атакующий удар’. В этом употреблении общее значение глагола *взять* имеет другое наполнение: наши девушки получили контроль над ударом соперниц: изменили траекторию посланного ими мяча, и ликвидировали угрозу проигрыша очка, т. е. лишили соперниц возможности его выиграть этим ударом. Здесь Y — удар соперниц, а **контроль X-а над ним** проявился в нужном X-у изменении его траектории.

**1.4.** Вернемся к примеру 1.4) и заметим, что, если предыдущее очко также было выиграно нашими девушками и, следовательно, у них уже была подача, эта фраза в последней части утрачивает корректность, поскольку можно взять только ту возможность, которая «принадлежит другому деятелю Z и недоступна X-у» (см. свойство 1) формулировки (1)).

Последнее утверждение нуждается в разъяснении. Вернемся к примеру 1.1). Иван может сказать а) *Я взял книгу на свой номер* (на свою полку в отделе выдачи библиотеки). Далее, имея книгу на своем номере и возможность ее использовать, он, тем не менее, может сказать б) *Я взял книгу с номера на свое место* (в читальном зале). И, наконец, имея книгу на своем столе и возможность ею воспользоваться, он все же может сказать *Я взял книгу в руки*. Ясно, что в каждом последующем случае контроль Ивана за перемещениями книги возрастает и становится в последнем случае полным, как и возможность непосредственно ее использовать.

**1.5.** Как мы могли заметить в процессе анализа, тип Y-а (подвижный предмет, место или интервал времени) оказывается совершенно неважным. В самом деле, выражения *взять такси*, *взять место в партере*, *взять полчаса телефонного разговора* с позиций концепта (1) типологически неразличимы. Причина этого в том, что Y представлен в концепте не качественными характеристиками, а как функция — носитель каких-то возможностей, принадлежащих Z-у, которые X присваивает, вводя Y в сферу своего манипуляционного контроля.

## 2. Характеристические свойства референтной ситуации и действия «взять»

**2.0.** Дескрипция, стоящая в правой части концепта (1), не может без дополнительных пояснений служить определением для референтной ситуации высказывания *X берет / взял Y*, стоящего слева. Необходимо, чтобы входящие в дескрипцию языковые выражения были по возможности строго определены терминологически, т. е. как обозначения тех или иных общих свойств референтной ситуации глагола

взять. Постараемся это сделать и охарактеризовать референтную ситуацию таким образом, чтобы, располагая энциклопедическими знаниями о каждой конкретной ситуации, можно было «вычислять», удовлетворяет она концепту или нет. Положительный ответ означает, что левая часть концепта — форма *X берет / взял Y* — пригодна в качестве языкового описания (кодирования) ситуации, отрицательный — что не пригодна.

**2.1.** Начнем с действия «взять Y» и постараемся сначала понять, что может и чего не может делать с объектом Y «целенаправленное действие» A. Покажем, что не может оно очень многого: ни порождать или создавать объект, ни изменять или преобразовывать его, ни уничтожать.

В самом деле, если женщина родила ребенка, оно приобрела новую возможность. Однако при этом нельзя сказать, что *Она взяла ребенка*, поскольку его не было во внешнем к ней мире. Но эта фраза корректна, если женщина взяла ребенка из роддома или из детсада. Далее, можно сказать *Мне вчера в голову пришла неплохая идея*, имея в виду значение ‘я придумал неплохую идею’. Но эту мысль нельзя выразить фразой \**Я вчера взял неплохую идею*, поскольку она подразумевает, что идея уже где-то существовала, кем-то была придумана. Аналогично, плохо сказать \**Возьми кусочек дыни* в значении ‘отрежь кусочек от дыни’, поскольку кусочка дыни как самостоятельного объекта еще нет.

Даже если объект существует, но не является самостоятельным, невычленим из своего окружения без разрушения органических связей с ним, его тоже нельзя взять. Например, во фразах *Пойди в сад и сорви яблочко / сломай ветку сирени* нельзя употребить глагол *возьми*. Здесь яблоко и ветка не являются вполне самостоятельными предметами, которые можно перемещать из одного места в другое без нарушения их структурных связей. Действия «сорви» и «сломай» как раз и делают их самостоятельными. Если яблоко или ветка уже сорваны, фразы становятся корректными. *Пойди на кухню и возьми из вазы яблочко / возьми из букета ветку сирени*. Аналогично, можно сказать *Выжми сок из апельсина*, но нельзя — \**Возьми сок из апельсина*. Заметим, что силовое воздействие на самостоятельный предмет вполне допустимо, ср. *Иван взял у Петра книгу силой*.

Действие «взять Y» не может также изменять или уничтожать Y, в частности, его расходовать, потреблять, увеличивать, уменьшать, отрывать, прикреплять, разнимать на части, смешивать и проч. Можно сказать *Съешь яблоко*, но нельзя в этом же значении сказать \**Возьми яблоко*. Фраза *Возьми стакан воды* не может быть осмысlena в значении ‘выпей стакан воды’. Во фразе *Вольф Мессинг загипнотизировал зрителя* нельзя использовать глагол *взял*, хотя Мессинг получает возможность использовать зрителя и управляет его действиями. Причина в том, что здесь действие «загипнотизировал» меняет качественные свойства Y-а.

Таким образом, на долю анализируемого действия ничего более не остается, как только менять окружение Y-а или его отношения с ним и, в частности, с деятелем X, который может перемещать Y в пространстве, менять его отношение приналежности (присваивать себе, забирать у других), менять степень доступности

и под. Конкретные реализации действия «взять» могут быть весьма различными. Фраза *Иван взял мобильник* может называть такие конкретные действия, как купил, одолжил, украд, отнял, выпросил, выхватил, занял, арендовал и др.

Условимся называть очерченный тип действия X-а с Y-ом **манипуляционным**. Он сохраняет неизменным сам объект (его свойства), но изменяет окружение объекта (его отношения с окружающими объектами). Теперь мы можем сделать следующее терминологическое разъяснение к дескрипции (1): результатом целенаправленного действия А должно быть исключительно манипуляционное воздействие X-а на объект Y. Если, скажем, волшебник уничтожил лампу, принадлежавшую Z-у, и вновь «материализовал» ее в своем окружении, фраза *\*Волшебник взял лампу* будет некорректной, хотя ее референтная ситуация внешне удовлетворяет дескрипции (1).

**2.2.** Перейдем к анализу свойства 1) из описания (1), а именно: «деятель X ... 1) начинает контролировать объект Y». Из только что сказанного следует, что и контроль X-а над Y-ом является манипуляционным. Это значит, что X ограничивает манипуляционную свободу использования Y-а, подчиняет ее своей воле и благодаря этому сохраняет или удерживает полученную в какой-то момент возможность использовать объект Y.

Проиллюстрируем это на примерах 1.1)—1.4). Во фразе *Иван взял книгу в библиотеке* манипуляционное воздействие Ивана на книгу заключается в том, что книга переместилась в место, из которого Иван может ее легко получить для использования (полка Ивана в отделе выдачи, стол в читальном зале), а манипуляционный контроль — в том, что она какое-то время из этого места никому другому не выдается и Иван может перемещать ее к себе для использования. Аналогично и с купейным местом Y во фразе *Иван взял купейное место*. Манипуляционное воздействие здесь в том, что Иван получил непосредственную возможность использовать это купейное место, а манипуляционный контроль в том, что оно недоступно другим (не может быть занято кем-то другим), независимо от того, занял его Иван или пока нет. Это позволяет Ивану сохранять возможность использовать купейное место.

Языковая релевантность такого контроля видна из анализа следующего наблюдения: «денотативную ситуацию предложения *Он сел рядом с ней* нельзя обозначить через выражение *взял место рядом с ней*» ([Селиверстова 2004: 267]). Дело в том, что выражение *сесть на место* означает просто использовать место и не предполагает обязательного наличия манипуляционного контроля над ним: если X покидает место, на него вполне может сесть другой. Выражение *взять место*, напротив, такой контроль предполагает. Проиллюстрируем сказанное следующим примером. Предположим, что на свободное место «рядом с ней» претендовал другой человек. Тогда фразу *Он оттолкнул нахала и сел рядом с ней* вполне можно заменить фразой *Он с боем взял место рядом с ней*, которая будет означать ‘сел рядом с ней и контролирует это место по праву силы’.

Во фразе *Сержант взял увольнительную манипуляционное воздействие* на увольнительную — получение сержантом возможности перевести это время из служебного — в свое собственное, **контроль** — в удержании этой возможности без необходимости сразу же ею воспользоваться. Например, фраза *Я взял увольнительную, но, узнав о проверке, решил остаться в части* свидетельствует об отказе X-а от увольнительной, которую он взял (получил возможность использовать), но не начал использовать. Некорректность словосочетания *\*взять отставку* вызвана тем, что в аналогичной ситуации X не контролирует отставку: если он получил возможность выйти в отставку, то с необходимостью должен ее «использовать».

Наконец, фраза *Наши девушки красиво выиграли мяч и взяли подачу* указывает на получение ими права подавать (подача изменила собственника), а контроль — в лишении этого права других. Никто кроме них возможности подавать не имеет (как с книгой, полученной читателем на свой номер — ее теперь никто другой получить не может).

**2.3.** Перейдем теперь к анализу понятия принадлежности. Покажем сначала, что объект Y до «взятия» его X-ом не должен быть «бесхозным», не имеющим «хозяина» Z-а. Приведем три примера.

Мальчик принес домой перочинный ножик. Если он найден на улице, описать эту ситуацию фразой *\*Мальчик взял ножик на улице* нельзя, если же ножик был в комнате его товарища, наиболее подходящей будет именно фраза *Мальчик взял ножик в комнате Пети*.

Дачник выкопал где-то деревце и принес к себе на участок. Если это деревце находилось на участке соседа или в колхозном саду, вполне нормально сказать *Дачник взял деревце у соседа / в колхозном саду*. Если же деревце росло в «ничейном» лесу, фраза *?Дачник взял деревце в лесу* звучит странно.

Если в соревновании бегунов — барьерном беге — спринтер преодолел очредной барьер, перепрыгнув через него, вполне возможно выражение *взял барьер*, поскольку этот барьер в некотором (слабом) смысле принадлежит организаторам соревнования, судьям (Z-у), т. е. тому, кто обладает ресурсом и правом его распределять спортсменам за успешные действия. Именно этот ресурс и «берут» спортсмены у Z-а, преодолевая барьер (получают за правильные манипуляции с ним очки).

Если же спортсмен в порядке тренировки перепрыгнул через одиноко стоящий на стадионе «бесхозный» барьер, об этом действии не скажешь *\*Он взял барьер*. Неприменимо это выражение и к пешеходу, перепрыгнувшему через возникшее перед ним препятствие — лежащий поперек дороги ствол дерева. Ни в том, ни в другом случае подобного Z-а нет. Другие примеры см. в п. 6.6.

**2.4.** Используемое в концепте (1) выражение «объект Y, принадлежащий деятелю Z» может обозначать как слабую, или **субъективную принадлежность** Y-а Z-у, так и сильную, или **объективную принадлежность**.

X Субъективной мы называем принадлежность, заданную ситуационной, несущественной, эпизодической связью деятеля X с объектом Y. Такая связь выражается, главным образом, притяжательными прилагательными.

Например, выражение *Маша книга* может называть книгу, которую Маша редактирует, просто читает, использует как подставку для сковородки или как щит от солнца, взяла у подруги и положила на свой стол, считает подходящим подарком и т. д. Ни в одном из этих случаев нельзя сказать *\*книга Маша* или *\*Маша имеет книгу*. Заметим, что и Маша не может в этих ситуациях сказать *\*Моя книга*. Притяжательные формы, как мы видим на этом примере, могут выражать и «объективную принадлежность», о ней чуть ниже. Выражение *Маша книга* отражает внешний взгляд говорящего, связавшего книгу с Машей каким-то текущим, поверхностным отношением.

Будем говорить, что деятелю X субъективно принадлежит объект Y, если X связан в референтной ситуации с Y-ом каким-то несущественным, ситуационным, не общезначимым отношением или взаимодействием, которое выделяет для X-а объект Y среди других типологически идентичных объектов.

Объективная принадлежность, напротив, указывает на общезначимое, существенное, индивидуализированное отношение или взаимодействие X-а с Y-ом. Она выражается, главным образом, глаголами *иметь*, *принадлежать*, *владеть*, генитивом, а также и притяжательными прилагательными.

Например, книга «объективно принадлежит» Маше, если она ее написала, или купила, или выиграла в карты, или получила в подарок. Все перечисленные отношения или взаимодействия Маши с книгой общепризнаны и существенны, и в каждом из этих случаев можно сказать *Маша имеет книгу* или *Книга принадлежит Маше*. Заметим, что выражение *Маша книга* также оказывается возможным.

Объективная принадлежность может задаваться весьма различными отношениями. Это может быть отношение собственности (папина дача), генетическая или родственная связь (сын, род Ивана), продукт деятельности, выражающий индивидуальность, личность (теорема Ивана, его отпечаток пальца), физическая или органическая связь (ветка дерева, рука человека) и т. д. Все эти отношения не случайны и не ситуационны. Они отражают общезначимые отношения, признанные обществом или какими-то его группами.

Генитив *Голова Наполеона* может называть реальную голову полководца, и тогда она «объективно принадлежит» Наполеону, а может называть скульптурный слепок или рисунок и указывать на «субъективную принадлежность» Наполеону. В первом случае можно сказать *Наполеон имеет голову*, а во втором — нет. Аналогично, дети и жена Ивана общезначимо связаны с ним (биологически и социально), и поэтому «объективно принадлежат» ему, что и выражает фраза *Иван имеет жену и детей*. Выражение *след волка* также указывает на «объективную принадлежность» следа волку, поскольку след «порожден» волком и неразрывно с ним связан.

Будем говорить, что **действию X объективно принадлежит объект Y**, если X связан в референтной ситуации с объектом Y некоторым существенным, общезначимым отношением или взаимодействием, что выделяет для X-а объект Y среди других типологически идентичных объектов.

Еще одно сравнение. Фраза *Пример старшего брата* может обозначать два разных объекта: а) характерный поступок или образ действий старшего брата и б) придуманный им пример чего-то. Оба они «объективно принадлежат» старшему брату. И в том и в другом случае «пример» можно «взять»: *Иван взял пример со старшего брата* и *Иван взял пример старшего брата*. Фраза *Иван взял Машину книгу* сообщает о «взятии» книги, которая «субъективно принадлежит» Маше.

Итак, мы видим, что X может «взять» объект Y, как «субъективно принадлежащий», так и «объективно принадлежащий» деятелю Z.

**2.5.** Посмотрим теперь, как реализуется в действительности свойство 3) концепта (1), согласно которому деятель X может использовать объект Y «за счет возможностей Z-а». В случае, когда объект Y при «взятии» переходит к X-у целиком, полностью покидая своего прежнего владельца Z, реализация этого свойства очевидна: *Иван взял у Петра лопату* (Петр лишился лопаты), *Маша взяла отпуск* (работа лишилась Машиного рабочего времени). Однако в ряде референтных ситуаций «взятый» объект Y не переходит к X-у, а остается у Z-а. К X-у же переходит или его копия — *Иван взял цитату из классика*, или реализация — *Мы взяли курс лоцмана* (направление движения, разработанное или предложенное лоцманом).

Важно отметить, что и в этом случае свойство 3) концепта выполняется, поскольку X все равно пользуется ресурсом Z-а. Более того, Z-у становится недоступной часть этого ресурса, уходящая к X-у с копией (цитатой) или реализацией (принятым курсом движения) Y-а. Ею теперь может пользоваться только X.

Например, во фразе

### 2.1) *Иван взял цитату из классика*

Иван (X), благодаря действию A (созданию копии Y фрагмента текста, принадлежащего классику Z), получил возможность (Y) использовать эту копию (Y) в своих целях (полужирной буквой Y мы обозначаем возможность, которую несет для X-а объект Y).

Поскольку ранее эта возможность была недоступна X-у, а теперь она (в оригинале или в дубле) стала недоступна Z-у, то вырисовывается простейшая формулировка концепта (1) на «языке» возможностей, а именно: деятель X, воздействуя на объект Y, получает от Z-а возможность Y. Полную формулировку (1б) см. ниже, в п. 3.2.

**2.6.** Мы рассмотрели основные правила интерпретации ситуации действительности концептом (1). Если ситуация удовлетворяет концепту, точнее, дескрипции, стоящей в его правой части, то она получает статус референтной ситуации. Это значит, что ее можно корректно описать (кодировать) языковым выражением X взял Y, стоящим в левой части концепта.

Следует заметить, что в целях простоты изложения это выражение записывалось в редуцированном виде, не содержащем деятеля *Z*, владельца объекта *Y* и непременного участника референтной ситуации. Далее мы будем записывать левую часть концепта в виде *X взял Y [у Z-а / Z-и]*. В квадратные скобки заключены необязательные элементы. Тем самым она обозначает три формы: *X взял Y у Z-а*, *X взял Y Z-а* и *X взял Y*.

Употребление этих форм в значительной мере зависит от отношений принадлежности, складывающихся в референтной ситуации между ее участниками при взятии *Y*-а. Остановимся на каждой из этих форм: Следует оговориться, что выражения *Y* «объективно принадлежит» *Z*-у или *Y* «субъективно принадлежит» *X*-у — это определенные выше понятия, называющие два разных типа отношения принадлежности между *Y*-ом и *Z*-ом (или *X*-ом).

1) Форма *X взял Y у Z-а* указывает, что объект *Y*, «объективно принадлежавший» *Z*-у, стал «объективно принадлежать» *X*-у. При таком изменении отношений принадлежности между участниками употребляется именно форма *X взял Y у Z-а*.

Примеры. *Сержант взял увольнительную у комбата, Петя взял книгу у Маши, Мы взяли у немцев Кенигсберг, У Ивана взяли жену и сына* ('арестовали'). В самом деле, служебное время сержанта принадлежало комбату, а стало (увольнительная) принадлежать сержанту. Книга объективно, т. е. фактически принадлежала Маше, а стала принадлежать Пете. Город Кенигсберг принадлежал Германии, а стал нашим городом Калининградом. Иван имел жену и сына, а теперь они принадлежат органам госбезопасности.

2) Форма *X взял Y Z-а* указывает, что *Y* «объективно принадлежал» *Z*-у и сохранил эту принадлежность после «взятия» *X*-ом, а *X* взял у *Z*-а только «субъективную принадлежность» (или возможность). В этом случае группа *у Z-а* уже неупотребима. Следует употреблять генитив: *X взял Y Z-а*.

Примеры. Предположим, в шахматной партии Каспаров побил ферзя Карпова, это действие можно выразить фразой *Каспаров взял ферзя Карпова*. Ферзь объективно остался карповским, но субъективная, текущая возможность его использовать у Карпова отнята. Фраза *Каспаров взял ферзя у Карпова* возможна, но имеет другой смысл: 'Каспаров физически забрал себе ферзя Карпова'. Высказывание *Начальник взял жену Ивана* имеет несколько значений: 1) взял в машину подвезти домой, 2) перевел к себе в секретари, 3) взял физически ('овладел'). Но все они сохраняют «объективную принадлежность» жены Ивану. Выражение *взять машину отца* указывает на временное заимствование машины, т. е. на ее «субъективную принадлежность» новому хозяину, а выражение *взять машину у отца* — на более широкие полномочия в использовании машины или перемену собственности ('объективная принадлежность'). Генитивная форма *ферзь Карпова, жена Ивана, машина отца* называет в рассмотренных контекстах «субъективную принадлежность» *Y*-а *Z*-у, которую *X* и берет у *Z*-а, оставляя ему «объективную», общезначимую принадлежность *Y*-а. Иначе говоря, между *X*-ом и *Y*-ом устанавливается

ситуационное, субъективное отношение, не элиминирующее существующее объективное отношение между Z-ом и Y-ом.

Продолжим разбор примеров. Фраза *Мы взяли укрепленный пункт немцев* корректна, если этот пункт утратил свою функцию и не стал нашим укрепленным пунктом, не стал «объективно принадлежать» нам. Это подтверждает некорректность фразы \**Мы взяли укрепленный пункт у немцев* в ситуации, когда данный пункт был разрушен или оказался в нашем тылу (и поэтому не сохранился в своем качестве). Но она будет корректной, если укрепленный пункт переходит из рук в руки.

3) Форма *X взял Y* указывает, что Y «субъективно принадлежал» Z-у и стал принадлежать (субъективно или объективно) X-у. Ни форма с предлогом *у*, ни генитив в этом случае не употребимы.

Примеры. Библиотечная книга не принадлежит библиотеке «объективно» и стала «субъективно принадлежать» взявшему ее читателю. Поэтому нормально сказать *Иван взял книгу в библиотеке*, но плохо \**Иван взял книгу у библиотеки* или \**Иван взял книгу библиотеки*. Однако если речь идет, допустим, о ценной иконе, считающейся собственностью музея, вполне возможна фраза *Президентский Совет взял икону у музея и передал церкви* или *Совет взял икону музея на выставку*.

Спринтер «взял» барьер в процессе бега, однако этот барьер никому не «принадлежал объективно», поэтому фразы \**Бегун взял барьер своих соперников / у своих соперников* некорректны.

В разобранной выше, в п. 1.1 фразе 1.4) *Наши девушки красиво выиграли мяч и взяли подачу* отражена ситуация перехода подачи в волейбольной игре: право подачи «субъективно принадлежало» соперницам и так же субъективно стало принадлежать нашим девушкам. Принадлежность подачи (как права подавать) «субъективна», поскольку она зависит от ситуации, определяется внешними факторами и не связана ни с одной из сторон органически, сущностно. Поэтому в данном случае неправильно было бы сказать ни \**взяли подачу у своих соперниц*, ни \**взяли подачу своих соперниц*. Иную ситуацию описывает фраза *Наши девушки успешно взяли подачу соперниц и сейчас будут атаковать*. Здесь речь идет не о переходе подачи (права подавать), а об успешном приеме подачи соперниц, т. е. мяча, посланного соперницами с их подачи. Эта подача (мяч,пущенный их рукой на площадку наших девушек) уже «объективно принадлежит» соперницам, т. к. именно они ее «создали». Но она и не может быть передана в целости и сохранности. Время ее «жизни» невелико — до приема нашими девушками. Поэтому здесь форма \**взяли подачу у соперниц*, отражающая получение X-ом «объективной принадлежности» Z-а, недопустима.

В статье [Розина 2003: 243—244] при анализе выражений типа \**взять крепость у ее защитников* (выражающих «переход участка пространства от одного владельца к другому... в результате применения силы») указывается такая причина их аномальности: «Контрагент находится на контролируемом им участке пространства, и отделить воздействие на Контрагента от воздействия на участок ... невозможно».

Предложенное нами объяснение также годится: крепость «объективно принадлежит» не ее защитникам, а городу, правителю. Защитникам же она «принадлежит субъективно». Они находятся на ней временно и для исполнения защитных функций. Поэтому следует просто сказать *взять крепость*. Однако вполне можно сказать и иначе: *Мы взяли у турок крепость / у японцев Курильские острова, Власти взяли (отобрали) у Ивана сад / две комнаты и под.* Здесь Y (крепость, острова, сад) «объективно принадлежит» Z-у (туркам, японцам, Ивану), поскольку отношение Z-а к Y-у не ситуационно, а общезначимо.

### 3. Общее определение концепта

**3.0.** Теперь мы можем более строго определить основные языковые выражения правой части концепта (1а), «привязав» их к общим свойствам референтной ситуации высказывания (левой части концепта).

- (1а) *X берет / взял Y [у Z-а / Z-а]* — Деятель X, благодаря целенаправленному действию A в отношении объекта Y, 1) начинает манипуляционно контролировать объект Y, принадлежавший другому деятелю Z, и прежде недоступный X-у, вследствие чего 2) получает непосредственную и беспрепятственную возможность использовать Y в своих целях 3) за счет возможностей Z-а.

Все приводимые ниже определения были обсуждены на примерах в п. 2, поэтому мы их не иллюстрируем:

**3.1.** Деятелем мы называем субъекта X (или Z), обладающего волей и целями (нематериальная, или духовная составляющая) и телом (физическая составляющая), посредством которого X способен взаимодействовать с материальным миром и достигать своих целей. Деятелем может быть человек, животное, коллектив, организация. Например, библиотека, имеющая свои цели и «тело» — сотрудников, помещение и проч., посредством которого эти цели достигаются.

Объектом мы называем любую материальную сущность Y, которая способна удовлетворять или порождать цели деятеля X (т. е. изменять его нематериальную составляющую) посредством возможности Y, постоянным носителем которой эта материальная сущность является в течение какого-то интервала времени (на протяжении своей «жизни»). Будем говорить, что деятель X имеет (получил) возможность Y, если он может непосредственно и беспрепятственно использовать объект Y для достижения какой-то своей цели. Поэтому, в сущности говоря, объект Y для деятеля X — это носитель возможности Y.

Свойством объекта Y мы называем характеристику, присущую ему и не зависящую от других объектов. Отношение объекта Y1 к объекту Y2 — это характеристика объекта Y1, зависящая от Y2.

Окружением объекта мы называем совокупность его отношений с другими объектами.

**Определим теперь манипуляционное воздействие.**

Условимся называть воздействие деятеля X на объект Y манипуляционным, если, во-первых, объект Y уже существовал до начала воздействия X-а, во-вторых, в процессе и результате этого воздействия объект Y сам по себе никак не изменился, т. е. не изменил своих свойств (не был преобразован или уничтожен), и, в-третьих, изменилось окружение Y-а или его отношения с окружающими объектами (пространственное положение Y-а, его принадлежность, доступность X-у и пр.).

**Целенаправленное действие A** в отношении объекта Y должно оказывать исключительно манипуляционное воздействие на него.

Деятель X манипуляционно контролирует объект Y, если X осуществляет такое манипуляционное воздействие на Y, посредством которого ограничивает манипуляционную свободу использования Y-а, подчиняет ее полностью или частично своей воле.

Будем говорить, что **объект Y субъективно принадлежит деятелю X**, если X связан в референтной ситуации с Y-ом каким-то несущественным, ситуационным, не общезначимым отношением или взаимодействием, которое выделяет для X-а объект Y среди других типологически идентичных объектов.

Будем говорить, что **объект Y объективно принадлежит деятелю X**, если X связан в референтной ситуации с объектом Y некоторым существенным, общезначимым отношением или взаимодействием, что выделяет для X-а объект Y среди других типологически идентичных объектов.

Объект Y недоступен деятелю X, если X не имеет возможности непосредственно и беспрепятственно использовать Y в своих целях.

Будем говорить, что X имеет возможность использовать Y за счет Z-а, если сначала Z имел возможность использовать Y в своих целях, а X — нет, а затем X получил возможность использовать Y в своих целях.

**3.2.** Введенные понятия превращают правую часть концепта (1а) в характеристическое описание референтной ситуации. Если переформулировать ее, опираясь не на объект Y, а на возможность Y, которую он несет X-у, то концепт (1а) получит простой и ясный вид:

(16) *X берет / взял Y [у Z-а / Z-а]* — Деятель X, благодаря манипуляционному воздействию на объект Y, получает несомую им возможность Y, ранее принадлежавшую деятелю Z.

Объект Y — носитель возможности Y — не может фигурировать в этой формулировке как «добыча» X-а, поскольку при «взятии» он далеко не всегда «передается» от Z-а к X-у. Например, фраза *Иван взял с Петра слово* указывает, что посредством сказанного слова Y (данного обещания) Петр передал часть своей свободы Y Ивану. Но само слово Y к Ивану не перешло. Во фразе *Марат Сафин взял подачу противника* ('удачно отбил удар с подачи противника при игре в теннис') сама подача (объект Y) не перешла к Сафину. Зато несомая ею возможность Y — выиграть мяч (очко), перешла от противника (Z-а) к нему. Аналогично с фразой *Корабль взял курс на Бомбей*, см. ее анализ ниже, в п. 8.1.

**3.3.** Как мы могли убедиться, введенные понятия лингвистически релевантны, т. е. представляют собой значимые для лексики русского языка общие свойства действительности, языковые «концептуализации» действительности. Поэтому их естественно называть исходными, или элементарными концептами. Именно такие понятия и должны, на наш взгляд, стать семантической базой для описания языковых значений. Иначе говоря, мы считаем, что основным инструментом описания значений должны стать общие дескрипции, подобные концепту (1а), задающие схемы действительности, составленные из таких концептуальных свойств. Последующий семантический анализ позволит получать конкретизации общего концепта и составляющих его общих свойств (т. е. частные значения), возникающие при рассмотрении тех или иных типичных референтных ситуаций.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы предъявить пример такого общего описания и продемонстрировать его объяснительные возможности. Следующие пункты (п. 4—8) посвящены рассмотрению конкретизаций концепта (1а) и его элементов для различных типов объекта *Y*: предмета, человека, места, времени, процесса, состояния и интеллектуального продукта.

Излагаемая точка зрения альтернативна направлению исследований, получившему название Московская семантическая школа (см. [Апресян 2005]), в котором «главным инструментом описания языковых значений являются их аналитические толкования на специальном семантическом метаязыке», представляющем собой «упрощенный и стандартизованный подъязык описываемого естественного языка ... При этом ядро словаря метаязыка образуют ... семантические примитивы и более сложные слова-смыслы типа *начать*, *перестать*, *момент*, *цель* и т. п.» (с. 13). Таким образом, аналитическое толкование использует слова естественного языка и представляет собой синонимическую перифразу толкуемого слова или выражения. Оно позволяет исследователю при описании языкового значения остаться в рамках естественного языка: слева (толкуемое) выражение или языковая форма, а справа также языковое выражение, но более простое. Тем самым язык предстает, как средство описания (кодирования и декодирования) языковых смыслов — семантических представлений, составленных из языковых же значений.

Излагаемая в данной статье точка зрения опирается на понимание естественного языка как средства описания (кодирования и декодирования) внеположной ему реальности, т. е. общих (концептуальных) свойств действительности. Поэтому правая часть концепта (1а), описывающая общее значение высказывания *X* взял *Y*, представляет собой не синонимическую перифразу, а дефиницию референтной ситуации; т. е. характеристическое описание ее общих (концептуальных) свойств. Тем самым указывается, какие ситуации действительности допускают корректное описание (кодирование) данным языковым высказыванием, а какие — нет (подробнее эта точка зрения изложена в [Кошелев 1999]).

Подчеркнем, что актуальные для аналитического толкования проблемы лингво- и этноспецифичности входящих в него слов, для концептуального описания

оказываются несущественными, поскольку в нем слова естественного языка используются как термины, обозначающие внеязыковые понятия. В этом плане формируемые концептуальные описания (1), (1a) и др. аналогичны определениям физических или математических понятий, для которых вопросы лингвоспецифичности входящих в них слов не возникают, хотя они формулируются и трактуются на самых разных естественных языках. Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере.

**3.4.** Обратимся к краткому и очень предварительному анализу западноевропейских «аналогов» глагола *брать* — английского *to take* и французского *prendre* — и посмотрим, насколько применимы к их концептуальному описанию введенные выше, в п. 3.1, элементарные концепты.

Можно предположить, что более широкая употребимость глаголов *to take* и *prendre* обусловлена отсутствием в их значениях требования манипуляционного контроля X-а над Y-ом. Но в таком случае деятель X, получив возможность использовать объект Y, должен сразу же и реализовать ее. В противном случае, не подвергаясь контролю X-а, она может от него и ускользнуть. Таким образом, здесь референтное действие складывается из двух неразрывных действий: 1) манипуляционное воздействие X-а на Y, дающее X-у возможность использовать Y в своих целях, и 2) собственно использование X-ом Y-а.

Как кажется, сказанное подтверждается употреблениями этих глаголов. Например, *prendre le bus*, *to take a bus* («брать автобус» — садиться в автобус), *prendre une photo*, *to take a picture* («брать фото» — делать фотографию), *prendre un remède*, *to take medicine* («брать лекарство» — принимать лекарство), *prendre la température*, *to take one's temperature* («брать температуру» — измерять температуру), *prendre la rue* («брать улицу» — идти по улице), *to take a walk* («брать прогулку» — гулять) и др.

Все они сообщают о получении X-ом возможности что-то делать и незамедлительной ее реализации. По-русски *взять автобус* означает либо ‘силой захватить автобус’, либо ‘нанять его в качестве такси’. Ни в том, ни в другом случае не требуется, чтобы X занял автобус. Террористы, остановив автобус и приказав всем выйти, вполне могут сообщить властям: «*Мы взяли автобус*», поскольку сохраняют контроль над ним и возможность его использовать. Эту же фразу может сказать и «новый русский», как только он договорился с шофером автобуса о поездке. Русское выражение *взять фотографию* вполне аналогично выражению *взять книгу*, анализировавшемуся выше: Оно применимо только к готовой, сделанной фотографии и указывает, что X получил полную возможность ею манипулировать.

В силу сказанного, можно предположить, что концепт для глаголов *to take* / *prendre* имеет вид:

- (1b) *to take* / *prendre* — Благодаря целенаправленному манипуляционному действию А в отношении объекта Y, деятель X 1) получает непосредственную и беспрепятственную возможность использовать прежде недоступный ему объект Y в своих целях и 2) сразу же начинает реализовывать эту возможность.

Итак, мы видим, что в концепте (1в) фигурируют почти все элементарные концепты, введенные для концепта (1а). Только они образуют несколько иную конфигурацию, или схему.

Для итогового сравнения можно дать такие краткие дескрипции:

(1а') *взять Y — X* осуществляет манипуляционное воздействие на Y, дающее ему 1) возможность использовать Y и 2) манипуляционный контроль над Y-ом.

(1в') *to take / prendre — X* осуществляет манипуляционное воздействие на Y, дающее ему 1) возможность использовать Y; 2) X начал использовать Y.

**3.5.** Концепт (1а) представляет собой очередную попытку найти общее значение глагола *брать*, и только будущее покажет, насколько она удачна. Коснемся кратко истории таких попыток.

Одна из основных линий исследований, идущая, по-видимому, от Э. Бендикса, сводит глагол *брать* к глаголу *иметь*. «Интерпретация Э. Бендикса приводит понимание фраз типа „X takes Y“ как ‘X делает так, что X имеет Y’» [Селиверстова 2004: 352]. Сходное описание дано в «Лексической семантике» Ю. Д. Апресяна в обзорной главе 1 при пояснении языка семантических множителей: «*взять* = ‘сделать так, чтобы иметь самому’» [Апресян 1974/1995: 37].

В работе [Селиверстова 1975/2004]дается такое описание: «Глагол *взять* (*брать*) вносит информацию о том, что денотат дополнения (Y) включается в „существование“ денотата подлежащего (X), причем это включение определяется действием самого денотата подлежащего... и не имеет места до описываемого момента времени» (с. 265).

В работе [Селиверстова 2004] подробно и в разных аспектах анализируется глагол *to take* (см. с. 313 и сл., с. 349 и сл.).

В работе [Добрушин и др. 2001] предложена «абстрактная схема», имеющая следующий вид: «*брать* описывает действие, результатом которого является следующая ситуация: элемент Y попадает в состояние стабилизации; источником стабилизации является X, отличный от Y; стабилизация Y происходит по отношению к X» (с. 124).

В этой же работе кратко анализируется глагол *prendre*. «Значение *prendre* близко к описанию стабилизации одного терма относительно другого, без идеи завладения». Разбирая выражение *prendre le rue*, авторы указывают, что X «стабилизирует себя относительно улицы», т. е. «сам является источником действия, а характер стабилизации определяется по отношению к другому объекту (улица), что невозможно для русского *брать*» (с. 131).

#### 4. Объект Y — перемещаемый предмет (*взять портфель*)

**4.0.** Многообразие частных значений и фразеологических сочетаний глагола *брать / взять* в значительной степени определяется разнообразием типов объекта Y, который «берет» деятель X, поскольку в зависимости от типа Y-а центральное

свойство концепта (1a) — манипуляционный контроль деятеля X над объектом Y — конкретизируется по-разному. Для Y-а-предмета X контролирует его перемещения, для Y-а-места X контролирует его посещения, или доступ к нему и т. д. Таким образом, для предмета Y концепт (1a) получает более конкретный вид:

- (2) *X берет / взял Y [у Z-а / Z-а]* — Деятель X, благодаря целенаправленному действию A, 1) начинает контролировать перемещение предмета Y, при- надлежавшего другому деятелю (или обществу) Z и прежде недоступного контролю X-а, вследствие чего 2) получает непосредственную и беспре- пятственную возможность использовать Y в своих целях, 3) лишая этой возможности Z-а.

Здесь выражение «деятель X начинает контролировать перемещение пред- мета Y» означает, что X ограничивает перемещение Y-а. Это ограничение может реализоваться по-разному: от удержания Y-а в полной неподвижности, с одной стороны, и до точного предписания маршрута передвижения Y-а — с другой, а также все промежуточные ситуации; когда, например, X ограничивает область произвольного перемещения Y-а.

#### 4.1. Начнем с приложения схемы (2) к референтной ситуации высказывания

- 4.1) *Иван берет / взял в магазине (у соседа) бутылку водки.*

Получаем следующую интерпретацию: Иван (X) посредством действия A полу- чает контроль за перемещениями прежде недоступной ему бутылки водки и возможность использовать ее, лишая этой возможности соседа или магазин Z. Действие A здесь складывается из двух этапов: Иван а) выяснил, что в магазине есть водка, или договорился с соседом о передаче ему бутылки и б) получил бу- тылку водки физически, т. е. переместил ее в сферу своего контроля. После этапа а) можно сказать *Иван берет бутылку*, а после б) — *Иван взял бутылку*. Глагол *брать*, будучи в актуальном значении *брать I* предельным, употребим лишь в тех случаях, когда в ситуации действительности уже произошло продвижение (этап а)) к результату.

Остановимся подробнее на весьма распространенном случае, когда происходит сближение X-а с Y-ом. Для этого случая свойство концепта (2) «X контролирует перемещение предмета Y» принимает вид следующего правила:

- 4.2) если X-у для использования предмета Y нужно сблизиться с ним, предмет Y не может оставаться на своем месте и должен проделать хотя бы часть пути к X-у.

Только при таком условии проявляется подчиняющая воля X-а в отношении перемещающегося Y-а. Если же только X движется к Y-у, то это значит, что у X-а нет никакого контроля за перемещениями Y-а. В этом случае ситуация перестает удовлетворять концепту и высказывание становится некорректным.

Проиллюстрируем сказанное следующим примером. Предположим, что Иван заказал в библиотеке редкую книгу, которая хранится в фиксированном месте, при- чем ее нельзя перемещать, можно только листать. По своему заказу Иван может

получить и время исключительного доступа к рукописи и реально прийти и читать ее. Однако ни в том, ни в другом случае нельзя сказать *Иван взял книгу*. Причина в том, что он сам переместился к книге, а не книга к нему. Стало быть, Иван не управляет ее перемещениями. Однако, если разрешить перемещение книги к Ивану хотя бы на соседний столик, высказывание сразу становится корректным. Какой-то контроль над ее перемещениями Иван получил.

Правило 4.2) подтверждается и фразой *Иван взял книгу с собой* (книга перемещается вместе с Иваном по его маршруту), а также фразой *Дети встретили во дворе Петю и взяли его с собой в кино*. Здесь Петя (Y) подчинил свои перемещения воле встреченных детей (X-а). Заметим, что, если Петя и самшел в кино, фраза утрачивает корректность, поскольку Петя самостоятельно, без влияния встреченных детей выбрал путь в кино.

Данный тип употреблений весьма распространен: *взять грибы в лукошко / билеты в карман / хлеба в магазине / стакан чая в столовой / пальто в гардеробе* и др.

4.2. Не следует думать, что правило 4.2) универсально для перемещаемых предметов. Есть случаи, когда X-у не нужно приближать предмет Y для получения возможности использовать его. В этих случаях контроль за перемещениями Y-а приобретает другие формы. Для иллюстрации этого тезиса обратимся к примеру:

4.3) *Петя взял книгу в руки.*

Он был предметом внимания многих исследователей. В работе Е. Р. Добрушиной и Д. Пайяра ([Добрушина и др. 2001: 125]) дается такая трактовка: «начать держать Y (книгу). — A. K.) пальцами, или рукой, или в руках».

Приведем контрпример, показывающий недостаточность этой характеристики. Если Петя наполовину вытащил книгу, плотно зажатую на полке соседними книгами, он «держит ее пальцами», однако, сказать, что он ее взял, нельзя.

В совсем недавней работе [Розина 2003: 233] в толковании фразы 4.3) используется гораздо более точная характеристика «Y находится в руке X-а, и он может делать с Y-ом все, что хочет», но и она недостаточна. В самом деле, притянув к себе ветку сирени и держа ее в руке, Иван может делать с ней все, что захочет: понюхать, сломать, отпустить и пр. Однако сказать, что он \**взял ветку сирени*, также нельзя.

Из концепта (2) следует, что X получает контроль за перемещениями книги и возможность непосредственно использовать ее (лишай тем самым этой возможности Z-а — других ее потенциальных читателей). Но, предположим, что ранее Петя взял эту книгу у Маши и, стало быть, уже приобрел над ней определенный контроль. Фраза 4.3) указывает, что этот контроль усилился, а именно, книга стала полностью контролироваться Петей в плане ее физических перемещений. Действительно, если человек подошел к чемодану и «начал держать его за ручку», нельзя сказать, что *Он взял чемодан*. Для этого требуется, чтобы человек поднял чемодан или, по крайней мере, оторвал его от пола и тем самым сделал подконтрольным своим манипуляциям.

Как мы видим, для установления данного контроля X-у не всегда требуется приближать к себе Y. Приведем яркий пример из работы [Розина 2003]: *Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд, потом, ни слова не говоря, взял бутыль за горло* (Бунин). Он как раз и иллюстрирует выделяемое автором частное «значение 1.3. Охватить пальцами и ладонью какую-то часть предмета, часть тела или деталь одежды человека» (с. 236), в котором нет приближения Y-а к X-у.

Вернемся к примеру с веткой сирени и заметим, что, если Иван подошел к кусту сирени, взялся за ветку и притянул ее рукой к себе, нельзя сказать *\*Иван взял ветку сирени*, потому что в таком положении, не будучи сорвана, ветка лишь частично «подвластна» манипуляциям Ивана. Для сравнения с этой ситуацией представим себе медицинский прибор для измерения объема легких. Пациент выдыхает весь воздух в трубку, соединенную с цилиндром, на шкале которого фиксируется объем его легких. В этой ситуации вполне нормально сказать *Пациент взял трубку в рот и сделал выдох*, поскольку трубка трактуется нами как самостоятельный предмет и ее присоединенность к цилиндру не препятствует пациенту осуществлять все нужные ему манипуляции с ней. Аналогично трактуется фраза *Иван взял руку Маши в свою*.

Точно так же и с книгой. Если, скажем, это телефонный справочник, привязанный к полке таксофона на достаточно длинной веревке, его вполне можно взять. Если книгу держат два человека и каждый желает оставить ее себе, нельзя сказать *Один из них взял книгу* или *Они взяли книгу*. Последняя фраза *Они взяли книгу* становится корректной лишь при условии, что они согласованно собираются с ней что-то делать.

В работе [Селиверстова 2004: 276—277] употребления типа *Петя взял книгу* характеризуются признаком «Х становится пространственной опорой для Y». Его отсутствием объясняется невозможность мены глагола *схватить* на глагол *взять* в высказываниях типа *Он схватил (\*взял) ее в свои объятия* (здесь X не стал опорой Y-а). Отмечаются и «некоторые исключения», когда отсутствие этого признака не препятствует употреблению глагола *взять* — *Она взяла его за плечи и начала трясти, Он взял ее за руку и потянул за собой*.

Предложенная характеристика — ‘получение X-ом контроля над перемещением Y-а’ — позволяет единообразно объяснить все процитированные примеры. В тех случаях, когда Y подвластен манипуляциям X-а, фразы корректны (*Она взяла его за плечи и начала трясти, Он взял ее за руку и потянул за собой*), а в остальных — нет (*\*Он взял ее в объятия*).

Употребления, подобные 4.3) весьма распространены: *взять кирпич / телефонную трубку / королевскую пешку / курительную трубку в рот / кило яблок в руки; брать лыжи на плечо / деньги в кулак / ягоды в пригоршню* и др.

**4.3.** В [Розина 2003] отмечается, что глагол *взять* «в своем основном значении относится к классу глаголов движения, точнее — к подклассу перемещения Объекта (примеры других глаголов этого класса — *схватить, стянуть, украсть, утащить, унести*)» (с. 231). Это утверждение требует комментария. В самом деле, в предыдущем пункте мы приводили примеры «взятия» Y-а без его перемещения.

В то же время у глаголов *стянуть*, *утащить*, *унести* такой свободы употребления нет: Они не могут употребляться в ситуациях, когда «взятие» имело место, а «перемещение» нет. Если, например, Петя, будучи у Маши в комнате, незаметно от нее и вопреки ее воле взял книгу, но не вынес, а просто спрятал на себе, вполне можно сказать *Петя взял книгу*, но не *\*Петя стянул / утащил / унес книгу*. Это указывает на наличие в концептуальных значениях данных глаголов компонента ‘перемещение Y-а’ и отсутствие его в концептуальном значении глагола *взять*.

Однако в основном (частном) значении — ‘перемещение предмета в личное пространство человека’, выделяемом в [Розина 2003: 236], этот компонент действительно присутствует — как характеристика одного из типичных вариантов «взятия рукой». Поэтому цитированное в начале пункта утверждение Р. И. Розиной вполне справедливо.

Сходным образом обстоит дело и с компонентом ‘насилие’, к рассмотрению которого мы и переходим.

**4.4.** Следует заметить, что «беря» Y, X затрачивает физические усилия. Иногда они невелики, в других случаях — весьма значительны (*взять штангу / пенальти*), а нередко даже связаны с насилием: *Американцы взяли Багдад*; *Тerrorисты взяли заложников*; *Разведчики взяли языка*; *Соседи взяли вора с поличным*. Грабители банка, увозя добычу, вполне могут задаться вопросом: *Сколько же, интересно, мы взяли?* Ясно, что компонент ‘насилие’ в этих употреблениях обусловлен контекстом, а не значением глагола. В то же время эти «силовые» употребления глагола *взять* соответствуют глаголам, содержащим компонент ‘насилие’ в своем значении: *захватили Багдад / заложников, схватили вора, поймали языка, ограбили банк*.

Это различие природы семантического компонента (языковая или контекстно обусловленная) хорошо иллюстрируется выражением *взять женщину*, которое применимо как к ситуациям насилия над женщиной, так и к ситуациям ненасилия. Напротив, выражение *изнасиловать женщину* к ситуациям ненасилия неприменимо.

**4.5.** Выше мы уже отмечали, что по своей природе концепт глагола *брать / взять* — это функциональная схема, состоящая из участников-ролей и отношений между ними. Не будучи непосредственно привязана к действительности, она может проецироваться на ситуацию действительности самым неожиданным, на первый взгляд, образом.

Это хорошо видно на примерах спортивной тематики (спортивные «взятия»): *взять мяч / ворота гостей / подачу соперника / штангу / высоту* и под. В них цели участников очевидны, а действия наглядны, поэтому ролевые функции X-а, Y-а и Z-а проявляются с особой отчетливостью: X «берет» (присваивает себе) не сам предмет Y, а несомые им возможности победить соперника. Казалось бы, референтные ситуации фраз *Вратарь взял пенальти* и *Хозяева поля быстро взяли ворота гостей* не содержат ничего общего, поскольку указывают на противоположные события: в первом случае вратарь не пропустил мяч в ворота (поймал или

отбил его), а во втором, напротив, мяч оказался в воротах. Однако употребление в них глагола *взять* выявляет нечто общее: и в том и в другом случае спортсмен X, получив возможность использовать снаряд Y и осуществив манипуляционный контроль над ним, *взял* дополнительные шансы на победу.

Особенность многих ситуаций в том, что использование X-ом полученных возможностей происходит настолько незамедлительно и безальтернативно, что этот результат неизбежно присоединяется к собственно «взятию» — получению возможности использовать Y и контроля над ним. Остановимся на этих ситуациях подробнее.

Представим себе, что футболист Стрельцов с ходу бьет по воротам соперника, но вратарь отбивает его удар. Комментатор восторженно восклицает:

#### 4.4) *Вратарь берет удар Стрельцова!*

Изменим ситуацию: допустим, тот же Стрельцов, преследуемый соперниками, отпасовывает теперь уже своему вратарю, но неудачно, мяч летит в ворота, и вратарь с трудом его ловит. В этой ситуации комментатор никогда не скажет

#### 4.5) *\*Вратарь берет удар Стрельцова,*

хотя вратарь также спасает команду от гола.

С помощью концепта (2) указанное различие легко объясняется. В референтной ситуации фразы 4.4) роли распределяются следующим образом: X — вратарь, Z — Стрельцов, а Y — удар Стрельцова, т. е. мяч, посланный им в ворота противника и являющийся в данный момент угрозой для вратаря. С другой стороны, удар является и носителем возможностей Стрельцова — того, кому он и принадлежит.

Отражая удар Стрельцова (ловя или отбивая мяч), вратарь осуществляет контроль над его перемещением, лишая соперника этих возможностей. В случае удара Стрельцова по своим воротам фраза *\*Вратарь берет удар Стрельцова* некорректна, поскольку Y является «своим» ударом и его отражение лишь позволяет Стрельцову и его команде избежать снижения своих возможностей победить. У соперника (Z-а) при этом ничего не забирается.

Обратим внимание, что в выражении *удар Стрельцова* удар (Y) «объективно принадлежит» Стрельцову (Z-y) (см. определения объективной и субъективной принадлежности выше; в п. 2.4). Это и понятно, ведь он (удар) «порожден» Стрельзовым и имеет самостоятельный объектный статус: существует на всем протяжении полета мяча. В то же время, он не сохраняется как самостоятельный объект после взятия вратарем, перестает быть ударом Стрельцова. Поэтому у вратаря остается лишь «субъективная принадлежность» этого удара — ликвидированная угроза воротам. Налицо все условия для использования здесь генитивной формы *X берет Y Z-a* (см. п. 2.6). Заметим, что в 4.4) нельзя употребить выражение *\*мяч Стрельцова*, можно лишь *мяч, посланный Стрельзовым*. Если слово *удар* трактует мяч, посланный ногой Стрельцова, как новый объект, созданный Стрельзовым и потому «объективно принадлежащий» ему, то выражение *мяч*,

посланный Стрельцовым не трактует тот же движущийся мяч как такой новый объект.

Рассмотрим другой вариант «спортивного взятия» предмета:

4.6) Юрий Власов взял штангу весом 215 килограммов.

Здесь Z — это организаторы и судьи соревнования, имеющие ресурс (очки, призовые места), который и распределяется штангистам за успешные действия со штангой во время состязания. Употребление *взял* здесь указывает, что Власов (X) получил контроль над перемещением штанги (Y), принадлежащей Z-у, и возможность использовать ее в своих целях (получить от Z-а дополнительные очки). Заметим, что в условиях тренировки фраза 4.6) утрачивает корректность, поскольку здесь отсутствует внешний деятель Z и его ресурсы, присваиваемые X-у.

Фраза *Власов взял штангу на грудь* трактуется аналогично, только контроль над ее перемещениями промежуточный и нацелен на то, чтобы затем выжать ее.

4.6. Сказанное объясняет бытующие среди абитуриентов употребления *Ты сколько задач взял* (= решил)? Или появившиеся с недавнего времени в телевикторинах употребления *Молодец, взял трудный вопрос*. Они обретают корректность только в условиях соперничества, когда есть некоторый Z, за ресурс которого идет борьба. Например, плохо сказать *\*Иван взял кроссворд / шахматную задачу* в ситуации, когда Иван это сделал просто для развлечения.

Аналогично объясняются и употребления типа *взять интеграл*, характерные для практических занятий по математике, когда все студенты решают одну задачу. Однако в научных статьях и даже в задачнике используется только выражение *вычислить интеграл*. Во фразе *Леонарду Эйлеру потребовалось четырнадцать часов, чтобы вычислить этот интеграл*, вряд ли уместно употребление глагола *взять*.

## 5. Объект Y — человек (*взять ученика*)

5.0. Поскольку человек телесно остается перемещающимся предметом, для него сохраняются все перечисленные выше ограничения. Однако их реализации гораздо разнообразнее. Начнем с самых простых.

5.1. Представим себе вокзал, на котором и носильщик и чистильщик сапог ждут клиентов. Вполне нормально сказать

5.1) *Прибывший пассажир взял носильщика* (нести чемодан)

и плохо

5.2) *\*Прибывший пассажир взял чистильщика обуви* (чистить туфли).

Напомним правило 4.2) из п. 4.1: из требования манипуляционного контроля X-а над Y-ом следует, что X не может пройти весь путь к Y-у. По крайней мере часть пути к X-у должен проделать Y.

Корректность фразы 5.1) *Прибывший пассажир взял носильщика* легко объяснима. Посредством действия А (наняв носильщика), пассажир (Х) получил возможность использовать носильщика (Y), причем контролируя его перемещения: в соответствии с правилом 4.2) о перемещении Y-а к X-у, носильщик следует за пассажиром, неся его чемодан. Деятель Z здесь — вокзал, ресурс которого на время изымается пассажиром.

Важно строго разделять два различных действия, часто неразрывных и поэтому воспринимающихся как одно действие: собственно получение Х-ом возможности непосредственно использовать Y и следующее за этим использование Х-ом Y-а. Глагол *взять* указывает только на первое из них. Допустим, вы в мебельном магазине выбрали кресло и спрашиваете у продавщицы: «Можно его купить?». Ее ответ «Это кресло уже взяли» вполне корректен и соответствует концепту (2): Х осуществил действие А в отношении кресла (оплатил его), в результате чего получил возможность его использовать и манипуляционный контроль над ним, поэтому кресло нельзя никому отдавать. Собственно транспортировка кресла к X-у — это отдельное следующее действие.

Аналогично и с носильщиком. Выражение *взять носильщика* означает только договориться с ним о получении услуги и контроле за его перемещением и указать чемодан. Последующее действие (использование носильщика) называется уже другим глаголом — *нести чемодан*.

Обратим внимание на обязательность инициативного действия А. Если бы каждый прибывший пассажир автоматически получал носильщика, фраза \**Прибывший пассажир взял носильщика* утратила бы корректность.

Аномальность фразы 5.2) \**Прибывший пассажир взял чистильщика обуви* объясняется тем, что пассажир сам подошел к чистильщику для обслуживания. При этом он тоже нанял его (подошел и договорился) и получил возможность его использовать, но не получил контроля за его перемещениями. Напротив, чистильщик сапог получил контроль над перемещениями пассажира (который к нему пришел). И поскольку он договорился с пассажиром и получил возможность использовать его в своих целях, он вполне может сказать *Я взял клиента*. В отличие от 5.2), близкая к ней фраза *Иван вчера в борделе взял блондинку* вполне корректна, поскольку блондинка (Y) с какого-то момента, следуя желаниям Ивана, пошла с ним. Фраза 5.2) станет корректной, если пассажир договорится, что чистильщик сапог, например, придет к нему в гостиницу.

Точно так же фраза *Хозяйка взяла новую прачку* корректна только в ситуации, когда прачка приходит к хозяйке за бельем или туда, куда скажет хозяйка, но не наоборот. Ситуацию, когда хозяйка носит белье прачке и забирает постиранное, можно описать фразой *Хозяйка наняла (нашла) новую прачку*, но не фразой \**Хозяйка взяла новую прачку*. Аналогично, фраза *Хозяйка взяла себе новую служанку* корректна, а инверсная фраза \**Служанка взяла себе новую хозяйку* — нет, при полной корректности фразы *Служанка нашла себе новую хозяйку*.

Обратимся теперь к анализу фразы *Учитель музыки взял себе нового ученика Петра* и объясним, почему вполне корректна и ее инверсия *Ученик Петр взял*

*себе нового учителя музыки.* Дело в том, что фраза *Ученик Петр взял себе нового учителя музыки* существенно отлична от фразы *\*Служанка взяла себе новую хозяйку*, поскольку описывает ситуацию, в которой ученик нанимает учителя, платит ему за обучение и благодаря этому получает возможность не только использовать учителя, но и в какой-то мере контролировать его перемещения, например, приглашать к себе или назначать место и время проведения занятий. Этую трактовку легко подтвердить: фраза *Ученик Петр взял себе нового учителя музыки* утрачивает корректность в условиях государственной музыкальной школы, где этот контроль ученика отсутствует (при том что иногда ученик может выбрать себе учителя). Однако фраза *Учитель музыки взял себе нового ученика* остается корректной и в этих условиях, поскольку ее референтная ситуация и контролирующая роль учителя сохраняются.

В заключение этого пункта обратимся к анализу употребления *взять такси*. Оно уже неоднократно было описано, в частности, в работе [Добрушина и др. 2001: 131]: «Словосочетание *брать такси* возможно потому, что тот, кто едет на такси, определяет его маршрут, а следовательно, может быть представлен как завладевший, т. е. манипулирующий Y-ом. (...) Словосочетания *\*брать автобус* и *\*брать маршрутное такси* не существуют потому, что в ситуации поездки на автобусе или в маршрутном такси от воли X-а мало что зависит и поэтому нет речи о владении». Сходное наблюдение было высказано в работе О. Н. Селиверстовой 1975 г. [см. Селиверстова 2004: 288].

Будучи в целом верным, данное объяснение требует уточнения, поскольку не дает ответа на вопрос: почему корректны такие высказывания, как *Таксист взял пассажира*, *Кучер взял седока*? Ведь ни таксист, ни кучер не определяют маршрут движения.

Дело в том, что пассажир, взяв таксиста, в значительной степени контролирует его перемещения. Но с точки зрения таксиста, колесящего по улицам в поисках клиента, пассажир расширяет его возможности и также подпадает под его контроль, выражаящийся в том, что пассажир получает согласие таксиста (а может получить и отказ) ехать по нужному ему маршруту и садится к нему в машину (перемещается к таксисту), реализуя тем самым самостоятельную цель таксиста. В отличие от пассажира, таксист не предписывает маршрут, но ограничивает область перемещения пассажира, поскольку может отказаться ехать в неудобное ему место. Для сравнения заметим, что, если крупный чиновник вызывает служебную машину для поездки по делам, он вполне может сказать *Я взял машину*. Однако везущий его шофер не скажет *\*Я взял чиновника*, поскольку, в отличие от таксиста, никак не контролирует поездку. По этим же причинам некорректна фраза *\*Иван взял трамвай* ('сел в трамвай'), поскольку трамвай, движется по своему маршруту, и его водитель никак не контролируется Иваном.

В этом же ключе объясняется множество других употреблений подобного типа: *взять проводника / экскурсовода, взять в разведку / в поход, брать на работу / в обучение / в солдаты / на стажировку / на квартиру / на операцию / на довольствие / на обслуживание.*

**5.2.** Фраза *Преследователи взяли преступника в кольцо* указывает на значительный, но не полный контроль преследователей над перемещениями преступника. Это же верно и для фразы *Бывшего министра взяли под домашний арест*. Обе они аналогичны фразе *Иван взял книгу домой*, указывающей на значительный, но не полный контроль Ивана за перемещениями книги.

Если в ситуации, описываемой фразой *Преследователи взяли преступника в кольцо*, преследователи сжимают кольцо, их контроль за его перемещениями возрастает и в пределе (*Преследователи взяли преступника*) становится полным. Это же справедливо для фраз *Деда взяли прямо на улице* ('арестовали') и *Охранник завел девицу в подсобку и там взял ее*. Для сравнения заметим, что аналогичная полнота манипуляционного контроля X-а над Y-ом имеет место и во фразе *Иван взял книгу в руки*.

Отметим своеобразие распределения ролей Y-а и Z-а в данных случаях. Здесь Y — тело человека, а Z — его воля, сознание, владеющее и управляющее телом (подобно тому, как человек управляет взятой в руку книгой). В соответствии со сказанным и с концептом (2) получаем такую конкретизацию:

**5.2а)** *Преследователи взяли преступника* — Преследователи, благодаря целенаправленному действию A (приблизились к преступнику), начали полностью контролировать его перемещения (силой ограничив его свободу) и расширили свои возможности воздействовать на него, лишая Z (волю преступника) возможности свободно им управлять.

**5.3.** Следует заметить, что распределение ролей X-а и Z-а в референтной ситуации часто предопределяет именная группа, задающая Y. Например, во фразах *Иван взял служанку у Петра / служанку Петра*, Z — это Петр, поскольку служанка принадлежит ему и у него X изъял возможность пользоваться ею. Во фразе 5.2а) владелец преступника не задан, поэтому можно считать, что он принадлежит сам себе (сам собой управляет).

**5.4.** Сходное с 5.2а) значение представлено и во фразе *Иван взял лошадь под уздцы*, где сообщается, что Иван осуществил некоторые действия (обхватил пальцами уздечку лошади), давшие ему полный контроль над перемещениями лошади. Если Иван обхватил уздечку, сидя на лошади, фраза утрачивает корректность, поскольку в таком положении Иван не может контролировать ее перемещения. По сходной причине по меньшей мере странно звучит фраза '*Иван взял статую лошади под уздцы*', поскольку Иван не получил никакого контроля над статуей лошади (лучше сказать *взялся за уздечку*). Она станет нормальной лишь в следующей ситуации: *Иван взял статую лошади под уздцы и потащил ее за собой*, в которой контроль появляется.

Последний пример на эту тему: *Барон Мюнхгаузен берет себя за волосы и вытаскивает вместе с лошадью из болота*. Здесь X — Мюнхгаузен, Y — его тело, а Z — его воля, вернувшая себе полный контроль над телом.

**5.5.** Следует подчеркнуть, что в приведенных употреблениях характеристика последующих действий X-а не содержалась (как именно он использовал получен-

ную возможность). И действительно, из выражения *взять книгу в руки* последующие действия не вытекают (можно открыть книгу, положить ее в портфель и т. д.). Выражение *взять деда* ('арестовать') с большой вероятностью предопределяет дальнейшие события: деда отправят в камеру. Поэтому данная характеристика входит в типичное частное значение, хотя вполне возможно употребление и без нее: *Деда взяли на улице, но, проверив документы, тут же отпустили*. Наконец, употребление *взять девицу* ('овладеть') настолько безальтернативно предопределяет последующий этап (собственно овладение), что он входит в значение этого употребления неотъемлемой частью.

**5.6.** Мы уже отмечали, что X может получать контроль над Y-ом и не приближая его к себе, например, просто беря лежащий рядом предмет в руку. Возможны и иные варианты. Рассмотрим фразу

### 5.3) *Снайпер взял на прицел террориста.*

На первый взгляд, ее можно пояснить так: взял значит 'навел прицел на террориста'. Это значение выражается фразой *Снайпер прицелился в террориста*. Недостаточность такого объяснения легко обнаруживается. В близких, казалось бы, ситуациях фразы, аналогичные примеру 5.3), утрачивают корректность и становятся по меньшей мере странными: *'Снайпер взял на прицел дерево / стакан воды, стоящий на подоконнике*. И это при полной корректности фраз Снайпер прицелился в дерево / в стакан воды.

Дело в том, что фраза 5.3) явным образом соответствует концепту (2): снайпер (X), наведя прицел на террориста (Y), получает возможность контролировать его перемещения и выполнять тем самым задание общества и его антитеррористических служб (Z). Что касается фраз *'Снайпер взял на прицел дерево / стакан воды, стоящий на подоконнике*, то их сомнительность вызвана отсутствием контекста, поясняющего, каким образом снайпер может использовать Y, и каков тот Z, ресурсы которого снайпер может получить. Стоит нам слегка модифицировать эти фразы в требуемом направлении, и они сразу станут вполне приемлемыми: *Снайпер взял на прицел гранату, лежащую на подоконнике; Снайпер взял на прицел стакан с ядом, который она держала в руке*.

Итак, мы видим, что обретение манипуляционного контроля X-а над Y-ом может достигаться как пространственным приближением Y-а к X-у (*взять машину угля / сиделку*), так и расширением пределов досягаемости X-а, например, с помощью технических средств (на этом принципе основаны метафоры *Ружье / бинокль берет на триста метров, «Эрика» берет пять копий*). Если же Y уже находится в пределах досягаемости X-а и его приближение к X-у не требуется, глагол *взять* указывает на более полный, манипуляционный контроль над Y-ом (*взять авторучку / преступника*).

**5.7.** Фраза *Жильцы дома взяли подозреваемого под наблюдение* сходна с 5.3) и свидетельствует о том же: жильцы в определенном плане контролируют поведение подозреваемого. В самом деле, они не только наблюдают за ним, но и способны

нужным образом реагировать на некоторые его действия. Как только контролирующая функция наблюдения утрачивается, фраза становится сомнительной, ср. *'Дети взяли диверсанта под наблюдение'*.

Аналогично трактуются выражения *брать на учет / на заметку*. Они употребляются в ситуациях заведомого подчинения Y-а X-у, ср. вполне корректную фразу *Учитель взял на заметку проштрафившегося новичка и сомнительную 'Ученик взял на заметку нового учителя'*. Подобным образом трактуется и выражение *брать на поруки*, возможное лишь в ситуации, когда берущие на поруки заведомо имеют на Y-а определенное влияние. Например, плохо сказать об отбившемся от рук сыне *\*Мать берет его на поруки*.

**5.8.** Рассмотренная контролирующая функция может распространяться на любые (не только одушевленные) Y-и, нежелательные изменения которых X способен корректировать. Во фразах *Вымирающий вид китов / уровень воды в дамбе взяли под наблюдение* употребление глагола *взяли* указывает, что наблюдающие способны приостановить, скажем, резкое сокращение численности китов или опасное повышение уровня воды. Как только реализуемость контролирующей функции наблюдения утрачивает очевидность, подобные употребления глагола становятся сомнительными: *'Звезды / Восход солнца взяли под наблюдение'*.

**5.9.** Выражение *брать в жены*, употреблявшееся в старину, отражает традиционное главенство мужа в семье, фраза *Она взяла себе мужа из простых — на подконтрольное положение мужа*. ср. *Жены богатой лучше не брать, чем ей мужем владать* [Словарь Даля, I: 125].

Любопытно заметить, что было бы неправильно сказать *\*Мать взяла жену своему сыну*, но вполне нормально *Мать выбрала жену своему сыну*. По-видимому, в русской наивной картине мира нет стереотипа «свекровь непосредственно контролирует невестку». Более приемлема фраза *Жена взяла служанку своему мужу*, поскольку для жены непосредственное управление служанкой мужа, по-видимому, более типично, и уж совершенно нормальна *Иван взял книгу брату*. Здесь непосредственный контроль Ивана за книгой очевиден.

**5.10.** Подчеркнем, что для получения возможности непосредственно и беспрепятственно использовать Y в своих целях, X должен осуществлять контроль за перемещениями Y-а без каких-либо преград. Их наличие исключает употребление глагола *взять*. Поэтому в выражениях *поймать волка в капкан / щегла в силки, посадить хомячка в клетку и под.* глагол *взять* не употребим. Это справедливо и для фраз *Родители посадили буйного Петю в подвал, Командир посадил штрафника в карцер*. Фразы *\*Родители взяли буйного Петю в подвал, \*Командир взял штрафника в карцер* некорректны. Сходная с последней фраза *Преследователи взяли преступника в кольцо* вполне корректна, но фразы *\*Преследователи взяли преступника в сеть* (которую на него набросили) / *в яму-ловушку* (к которой его подманили) уже некорректны (нужно сказать *поймали в сеть, заманили в яму-ловушку*).

вушку). Ср. также *Они \*взяли (поймали) щуку сачком и Они взяли (поймали) щуку голыми руками.*

Как мы видим, глагол *взять* неприменим ко многим ситуациям, описываемым глаголами *поймать* Y-а (в сети, в капкан), *привязать*, *запереть*, *заковать* и под., поскольку между X-ом и Y-ом вклинивается самостоятельный (независимый от X-а) фактор ограничения перемещений Y-а (капкан, клетка, сеть, яма, карцер, сачок), препятствующий непосредственному использованию X-ом Y-а. Подчеркнем, что инструмент X-а (пинцет, клещи, рогатина и под.) не является самостоятельной преградой и потому не препятствует употреблению глагола, ср. *взять бабочку пинцетом / змею рогатиной.*

При отсутствии указанного фактора глаголы *поймать*, *ловить*, *зажать* и под. могут заменяться глаголом *взять*, ср. *Самые большие [ястреба]... называются гусятниками, потому что они берут, т. е. ловят, диких гусей* (МАС), *Он бродит, зная наперед, Где, у какого бурелома Лисица рябчика берет* (МАС).

**5.11.** Хорошой иллюстрацией функциональных возможностей концепта может служить следующее метафорическое высказывание:

5.4) *Иван, возьми (бери) себя в руки, не раскисай.*

Его можно интерпретировать следующим образом: X — главная (разумная) составляющая сознания Ивана, Z — эмоциональная, непосредственно реагирующая компонента его сознания, а Y — его поведение, подчиненное (принадлежащее) эмоциональной компоненте Z и недоступное рациональной составляющей X. Говорящий предлагает Ивану (разумной части сознания) обрести контроль над своим поведением Y, изъяв его из-под контроля эмоций (Z). Таким образом, сознание Ивана метафорически интерпретируется как совокупность двух самостоятельных и наделенных волей сущностей (действий): разума (X) и эмоций (Z), борющихся за контроль над поведением (Y) Ивана. Разум стремится «подчинить» поведение Ивана правилам приличия и, в частности, заставить его скрывать свои переживания, а эмоции — открыто предаться им. Налицо полное соответствие референтной ситуации фразы 5.4) концепту (2).

## 6. Объект Y — место (*взять крепость*)

**6.0.** Для случая, когда Y — место, центральное свойство концепта (1a) — манипуляционный контроль деятеля X над объектом Y — сводится к тому, что X контролирует доступ к Y-у. Это может проявляться двояко: с одной стороны, X может ограничивать доступ к месту Y другим (до полного запрета), а с другой — может сам получить доступ к Y-у (вплоть до полной свободы посещать любой «уголок» Y-а). Между этими крайностями возможны разнообразные промежуточные положения, когда доступ к месту Y ограничен или разрешен X-ом лишь частично.

Концепт (1a) конкретизируется при этом так:

- (3) *X берет / взял Y [у Z-а / Z-а]* — Деятель X, благодаря целенаправленному действию A, 1) начинает контролировать доступ к месту Y, принадлежавшему другому деятелю (или обществу) Z и прежде недоступному для X-а, вследствие чего 2) получает непосредственную и беспрепятственную возможность использовать место Y в своих целях, 3) за счет возможностей Z-а.

### 6.1. Разбор примеров начнем с одного сопоставления. Фраза

6.1) *Иван взял ложку в театре*

имеет значение ‘обеспечил себе право занять место’, но никак не может иметь значение ‘занял место’. В то же время фраза

6.2) *Американцы взяли Багдад,*

напротив, имеет значение ‘заняли Багдад’, но не имеет значения ‘обеспечили себе право занять Багдад’.

Естественно задаться вопросом: каким образом носитель языка безошибочно понимает столь прихотливую реализацию значений, составляющих, кстати сказать, лишь крохотную часть всего многообразия употреблений. Никто его этому не учил, да и ни в каком словаре столь детального описания употреблений нет. Остается предположить следующее: носитель языка, обладая общим (концептуальным) значением глагола *брать*, с одной стороны, и энциклопедическими знаниями о текущей референтной ситуации, с другой, каждый раз «вычисляет» значение текущего употребления глагола, определяя, во-первых, соотносимость концепта с референтной ситуацией, а во-вторых (если да), то конкретное «наполнение» концепта, т. е. значение этого употребления.

Проиллюстрируем сказанное еще одним, смоделированным примером. Представим себе такую ситуацию. Небольшой авангардный отряд наступающих войск после кратковременного боя занял передовой пункт обороны противника, находящийся на краю города. В этой ситуации совершенно нормально сказать *Отряд взял передовой пункт обороны противника*. Изменим слегка ситуацию. Предположим, что это не авангардный отряд наступающих войск, а отряд партизан, сделавших очередной налет. В такой ситуации данная фраза становится некорректной. Можно сказать лишь *Отряд партизан захватил передовой пункт обороны противника*. Располагая концептом (3), «вычислить» эти употребления не составляет труда.

В самом деле, центральное утверждение концепта (3) таково: X начинает контролировать возможность посещать место Y, принадлежавшее Z-у, и получает возможность использовать место Y в своих целях, лишая этой возможности Z-а.

Действия авангардного отряда, захватившего передовой пункт противника, соответствуют этому условию: пункт остался в тылу отряда и может использоваться нужным образом. Действия отряда партизан не отвечают этому условию в полной мере, поскольку, получив возможность непосредственно использовать пункт про-

тивника (захватив его), они не могут его удерживать, т. е. контролировать доступ к нему и, стало быть, возможность его использования своими соотечественниками. Другой пример «вычисления» значения. Чтобы получить возможность использовать Багдад по своему усмотрению, американцы должны занять и удерживать его (фраза 6.1), а Ивану, взвавшему ложу, этого не требуется, т. к. она свободна, а право ее занимать (посещать) он приобрел (см. также разбор сходной ситуации в п. 2.2).

6.2. Фраза *Американцы взяли Багдад и передали его сунитам* указывает, что американцы получили возможность и право сильнейшего использовать территорию Ирака, но не воспользовались этим. Фраза *Американцы взяли Багдад в осаду* сообщает о другом: осуществив манипуляционное действие в отношении Багдада (окружив его), американцы ограничили доступ к Багдаду и получили возможность использовать это в своих целях. Сходным образом трактуется фраза *Американцы взяли Багдад под свою охрану*.

6.3. В статье [Розина 2003: 243—244] специальный раздел посвящен ситуациям, в которых Y — «участок пространства». При анализе выражений типа *взять село* справедливо отмечается, что они корректны «главным образом, потому что сопротивляются находящиеся там люди, ср. *взять высоту, крепость, город*, но \**взять безлюдное село*». Соглашаясь в целом с этой трактовкой, заметим, что сопротивление людей явным образом проявляет инициативное действие A (специальное усилие X-а), без которого глагол *взять* неупотребим. Для глагола *занять* этого не требуется, ср. *занять безлюдное село*. Заметим, что фраза *Американцы взяли Багдад без боя* вовсе не означает, что американцы не предпринимали специальных усилий. Напротив, их усилия и заставили защитников Багдада сдаться без боя.

#### 6.4. Фраза

##### 6.3) *Маша взяла ванну*

указывает, что Маша получила возможность и право использовать ванную комнату в бане ('купила билет в ванную комнату'). Эта фраза может трактоваться и более широко: 'купила билет и приняла ванну'. Однако она не может трактоваться в значении фразы *Маша заняла ванну* (начала ее принимать), поскольку последняя а) сообщает, что Маша уже использует ванну, а не просто получила такую возможность. и б) допускает отсутствие у Маши контроля над ванной (права ее занимать). Очевидно, что, если Маша приняла ванну у себя в квартире, то употребить фразу 6.3) нельзя, поскольку получается, что Маша «взяла» то, что уже имела: не внешний ресурс (Z), а свой собственный, на который к тому же всегда имела право. Подчеркнем, что, беря ванну, Маша получает единоличный контроль над ней. Если, допустим, в бане есть общий бассейн, плохо сказать \**Маша взяла бассейн*, поскольку возможность посещения бассейна в этом случае не обеспечена.

#### 6.5. Обратимся теперь к примеру

##### 6.4) *Собака взяла след волка*

и попытаемся понять, что здесь означает глагол *взяла* и почему близкая фраза \**Охотник взял след волка* аномальна.

Для разъяснения вновь обратимся к концепту (3). Согласно ему эта фраза сообщает, что собака, обнаружив след, начала контролировать возможность своего «посещения» следа, т. е. возможность идти по нему на всем его протяжении. У человека-охотника, обнаружившего след волка, нет способностей собаки эффективно его использовать. След «не подвластен» охотнику, не обеспечивает ему тех возможностей, какие есть у собаки, что и обуславливает аномальность фразы \**Охотник взял след волка*.

Эту трактовку можно подтвердить следующим примером. В одном криминальном телерепортаже диктор выразился так: *«К поимке этой банды были привлечены лучшие специалисты. И лишь через месяц они смогли взять ее след»*. Это употребление не кажется сомнительным, поскольку из контекста ясно, что найденные улики («след») были эффективно использованы криминалистами и банда была поймана. Однако фраза типа *Участковый милиционер взял след банды* по меньшей мере сомнительна, поскольку сомнительна способность милиционера по какому-то следу или улике выследить банду. Здесь референтная ситуация фразы, реконструируемая слушающим на основе своих знаний, не соответствует концепту (3).

Сходным образом, геологи, обнаружив залежи угля, не могут сказать *Мы взяли уголь*, поскольку и здесь обнаружение угля само по себе еще не расширяет возможности использовать уголь по своему усмотрению. Последняя фраза синонимична фразе *Мы добыли уголь* и возможна в ситуации, когда X осуществил действия, позволяющие ему непосредственно использовать уголь.

#### **6.6. Перейдем к примерам спортивной тематики.**

Представим себе, что футболист Стрельцов с ходу бьет по воротам соперника (здесь ворота Y — место) и забивает гол. Комментатор восклицает:

##### **6.1) Стрельцов берет ворота соперников!**

Изменим ситуацию: допустим, тот же Стрельцов, преследуемый соперниками, отпасовывает теперь уже своему вратарю, но неудачно, и мяч влетает в ворота. В этой ситуации комментатор никогда не скажет

##### **6.2) \*Стрельцов берет свои ворота,**

хотя гол засчитывается и в этом случае.

С помощью концепта (3) указанное различие легко объясняется: Стрельцов (X) осуществил контроль над воротами (Y) противника, ранее ему недоступный, получив к нему доступ посредством мяча, т. е. забив в них мяч. Тем самым он увеличил свои шансы победить «за счет шансов» соперника. Референтная ситуация фразы 6.2) подобной трактовки не допускает, поскольку, забив гол в свои ворота, Стрельцов не повышает, а понижает свои возможности победить соперника и не забирает его ресурс.

Рассмотрим фразу

- 6.3) *Валерий Брумель взял высоту 2 метра 27 сантиметров (взял планку, установленную на высоте 2 метра 27 сантиметров).*

Ее референтная ситуация получает такую трактовку: Брумель (Х) перепрыгнул через планку (место Y), установленную на высоте 2 метра 27 сантиметров, (действие A) и осуществил тем самым свой контроль над ней («посетил ее» нужным ему образом). В результате он повысил свои возможности в соревновании с другими прыгунами, взяв часть общего ресурса, выделенного организаторами соревнования (Z) на всех участников. Подчеркнем, что дело не просто в том, что Брумель осуществил желаемую манипуляцию с планкой. Важно, что он соревнованием связан с другими прыгунами и общим ресурсом Z-а. Ведь если бы он на даче (вне соперничества) перепрыгнул через забор такой же высоты, фраза

- 6.4) *\*Валерий Брумель взял забор высотой 2 метра 27 сантиметров*

была бы некорректной. Она могла бы стать корректной лишь при использовании этого забора для соревнований по прыжкам в высоту. В отличие от нее, фраза *Валерий Брумель перепрыгнул через забор высотой 2 метра 27 сантиметров*, корректна в любой ситуации.

Заметим, что фраза *\*Боб Бимон взял длину 8 метров 90 сантиметров* некорректна, поскольку здесь нет Y-а — заранее проведенной черты, которую, подобно планке, нужно «посетить», чтобы получить ресурс Z-а. Вот если бы речь шла о квалификационных прыжках фиксированной длины, имеющих такую черту и обеспечивающих выход в финальную часть соревнований, эта фраза стала бы корректной.

В соответствии со сказанным выше, фраза *Иван успешно взял препятствие / барьерь* (к примеру, преодолел яму с водой или перепрыгнул через барьер) корректна в рамках спортивных соревнований, но не в ситуации обыденной жизни, когда тот же Иван перебирается через подобную яму или, скажем, перепрыгивает через ограду. Если скалолазы осуществили трудное восхождение на вершину как туристы или исследователи, о них можно сказать *покорили вершину*, но не *взяли вершину*. Последнее выражение уместно только в ситуации, когда эта вершина входит в общий зачет их соревнований.

6.7. Может показаться, что фраза из МАС *По этому манежу коротким галопом скакала на своей Кубани Варя Белая. Она по очереди брала барьеры* (Степанов, Порт-Артур) является контрпримером к сказанному. В ней речь вполне может идти об отдыхе и развлечении. Варя Белая заехала в манеж и преодолевала барьеры ради удовольствия, ни с кем не соревнуясь и никого не стараясь опередить. Приведем еще один подобный пример из «Евгения Онегина»: *И Ленский пешкою ладью / Берет в рассеянnyи свою.*

Однако эти употребления не являются контрпримерами, поскольку они не относятся к рассматриваемому типу. Дело в том, что здесь возникает метафора,

порожденная следующим «семантическим сдвигом»: действие «взятие своей фигуры» отождествляется на основе внешнего сходства с содержательно совершенно иным действием — «взятием фигуры противника» — и называется его именем. Аналогичный пример — метафорическое высказывание *Кукла идет*, отнесенное к марионеточной кукле, ноги которой «переступают по поверхности, не утрачивая контакта», ведомые невидимыми ниточками. В этих примерах метафоричность не так заметна, поскольку визуальный образ референта метафоры совершенно прежний. Стоит его изменить и приблизить к ситуации обыденной жизни, и метафоричность станет очевидной, ср. фразу *Ее лошадь легко брала барьеры из поваленных бурей деревьев*.

**6.8.** Переходя теперь от спортивной тематики к ситуациям обыденной жизни, заметим, что ряд примеров может относиться и к тем, и к другим. Например, идиома *X берет верх (Y) над Z-ом* может метафорически характеризовать как спортивные, так и житейские противоборства (подробнее о ней см. в п. 7.3). Показательно в рассматриваемом аспекте высказывание *Иван взял первое место*, которое может относиться и к спортивным состязаниям, и к различным конкурсам. Фраза *\*Иван взял последнее место* некорректна, поскольку здесь Y не несет никаких возможностей для Ивана. При этом фраза *X занял последнее место* вполне корректна.

## 7. Объект Y — время, процесс, действие, состояние (*взять командование / обещание*)

**7.0.** В случае, когда объект Y — время, процесс или действие, центральное свойство концепта (1a) — манипуляционный контроль деятеля X над объектом Y — проявляется в том, что **X в той или иной форме и степени влияет на его течение**. Это может проявляться двояко: с одной стороны, X может направлять течение Y-а (до полного управления им), а с другой — может ограничивать распространение, действие (до полного его подавления или сдерживания). Между этими крайностями возможны разнообразные промежуточные положения, когда Y ограничен или управляемся X-ом лишь частично. Таким образом, имеем следующую конкретизацию концепта (1a):

- (4) *X берет / взял Y [у Z-а / Z-а]* — Деятель X, благодаря целенаправленному действию A, 1) начинает контролировать (направлять или ограничивать) течение Y-а, принадлежавшего другому деятелю (или обществу) Z и прежде недоступного контролю X-а, вследствие чего 2) получает непосредственную и беспрепятственную возможность использовать Y в своих целях, 3) за счет Z-а.

Специфика этого типа референтных ситуаций в том, что деятель X вовлекается в процесс, расширяя за счет Z-а свои возможности успешно действовать. Если же процесс Y не контролируется X-ом, выражение *взять Y* оказывается некорректным.

**7.1.** Мы уже наблюдали это в случае, когда Y — просто интервал времени. Корректность высказываний типа *Маша взяла отпуск / бюллетень* обусловлена тем, что в них Маша получает возможность контролировать и использовать для своих нужд время Y (отпуска, бюллетеня), принадлежавшее ее работе (начальству) Z и недоступное контролю Маши. Ср. некорректность высказывания *\*Маша взяла лишил рабочий день, чтобы побольше заработать*, в котором Маша не контролирует рабочее время Y, а, напротив, находится в подчиненном положении. При этом Маша расширяет другие свои возможности, но это описывается иначе: *Маша берет деньги за свою работу*.

Отдельно коснемся фразы *\*Маша взяла прогул*. Ее аномальность вызвана не тем, что Маша не контролировала время прогула Y. Напротив, она его контролировала, изъяв у начальства. Здесь дело в другом: Маша не предприняла никаких специальных действий для получения этого Y-а, а концепт (1) требует, чтобы X «осуществлял целенаправленные действия A» для получения контроля над Y-ом.

Аналогично, плохо сказать в пятницу вечером *\*Завтра беру выходной*, если суббота и так законный выходной день для X-а. Эта фраза уместна лишь при успешных хлопотах о внеурочном выходном дне, получение которого требует специальных усилий.

Другой вариант той же идеи, а именно: X не может брать то, что уже имеет, дает такой пример. Представим себе Робинзона Крузо, который каждодневно труждется на своем необитаемом острове. Решив денежку отдохнуть, он не скажет себе *\*Возьму-ка я выходной день* (у себя брать нельзя). Скорее было бы сказано что-то вроде *Дам-ка я себе день отдыха*.

## 7.2. Перейдем к другим примерам. Во фразе

### 7.1) *Лейтенант берет командование ротой на себя*

лейтенант (X), благодаря целенаправленному действию A (хлопотал перед начальством, объявил роте в бою, после гибели командира), включается в процесс командования и контролирует (направляет) его, подчиняя себе роту. Представим теперь другую ситуацию: X-у дана возможность пойти служить в ту или иную роту, чтобы выбрать себе командира. Выбрав командира Z и уходя под его начало, X не может сказать *\*Я беру подчинение Z-а*, поскольку этот процесс он не контролирует. Аналогично, плохо сказать *\*взять себе командира / учителя / наставника / шефа, \*взять повиновение / послушание / учение, и вполне нормально *взять себе подчиненного / послушника / ученика, взять власть / управление (чем-то) / обучение (кого-то) / шефство (над чем-то)*.*

Фраза *Иван берет слово для выступления* также указывает, что, изъяв у председательствующего (Z) контроль над временем и вниманием аудитории, Иван (X) получает возможность использовать выступление Y в своих целях.

Фраза *Роль подопытного кролика беру на себя*, казалось бы, не отвечает сформулированному правилу. Однако это противоречие мнимое, поскольку здесь речь идет не просто о подчинении, а о жертвенности X-а, что, естественно, возвышает его.

**7.3.** Отдельного внимания заслуживают случаи, когда объект Y — положение или состояние деятеля (обещание, вина, ответственность, сторона (защиты)). В этом случае контроль над Y-ом выражается в способности X-а проявить свою волю в отношении Y-а, при его отстаивании, защите (вина, сторона) или реализации (обещание, обязательство).

Например, во фразах типа *X берет с кого-то (с Z-а) обещание / подпиську о невыезде* контроль X-а над обещанием (подпиской) Y дает ему возможность дополнительного влияния на Z.

Выражение *брать слово назад* сообщает о том, что X возвращает себе свободу действий, утраченную им при даче слова.

Обратимся теперь к фразе *Иван берет перед коллективом повышенные обязательства*. Внешне она выглядит странно, поскольку описывает ситуацию, в которой Иван (X), напротив, дает коллективу некоторое обещание. Логично спросить, а что и у кого он тогда «берет»? Ответ таков: берет у начальства (Z) дополнительный авторитет, профессиональный (и личностный) статус. Брать обязательства уместно лишь в условиях соревнования с кем-то (и совершенно типично для соцсоревнования), когда есть третейский судья (Z), дающий поощрения. Если же такого судьи нет, то публичное выступление Ивана перед коллективом — это **обещание**. Вне соревнования, скажем, в семье, высказывание типа *Муж взял перед женой обязательство помыть всю посуду / расчистить дорожки* звучит по меньшей мере странно, в отличие от фразы *Муж пообещал жене помыть всю посуду / расчистить дорожки*.

Аналогично трактуются выражения *брать поручение и брать на себя смелость*, а также выражения *взять грех на душу / вину на себя*, указывающие на готовность X-а нести моральную ответственность за совершенные им или кем-либо предосудительные поступки и действия.

В этом же ключе мы понимаем фразу *Иван взял ответственность на себя*. Здесь ответственность — это необходимость объясняться перед начальством (или кем-то другим) Z, ресурс которого используется в каком-то деле, которым Иван руководит. Получая контроль над взаимодействием с начальством по этому делу, т. е. ограничивая его давление, X расширяет свои возможности влиять на развитие упомянутого дела, в котором приобретает дополнительный вес. Заметим, что фраза становится аномальной, если Иван не руководитель дела, а мелкий его исполнитель.

В выражении *брать сторону Y-а* контроль X-а проявляется в ограничении давления на Y агрессивной стороны. Здесь также предполагается наличие третьей (высшей) инстанции Z, у которой X и «берет» Y, защищая и одновременно подчиняя его в данной сфере, усиливает свое влияние на него, ср. фразы *Хозяйка взяла сторону служанки, Старший брат взял сторону младшего, Комбат взял сторону сержант-а и ?Служанка взяла сторону хозяйки, ?Младший брат взял сторону старшего, ?Сержант взял сторону комбата*. В трех последних фразах лучше использовать выражение *стать на сторону*.

Можно предположить, что идиома *брать вверх над Z-ом* исходно означала занятие X-ом пространственного положения Y (верх) над Z-ом; более выгодного в единоборстве или вообще символизирующего победу. Сейчас она указывает, что в борьбе с Z-ом X занял «выигрышное» положение Y, а Z оказался тем самым в не выгодном, «проигрышном» положении.

## 8. Объект Y — интеллектуальный продукт общества (взять известный мотив)

**8.0.** Еще один тип объекта, который полезно рассмотреть отдельно, — это хранящиеся в культурной памяти общества продукты культурной и научной деятельности его членов: музыкальные произведения, художественные тексты, научные теории и идеи, методы, средства и приемы творческой деятельности и пр.

Суть взятия X-ом такого Y-а (цитаты, музыкальной темы) в том, что X воспроизводит известный, принадлежащий обществу образец и использует его по своему усмотрению и в своих целях, эксплуатируя ресурс общества Z. С учетом сказанного, концепт (1а) для такого Y-а получает следующий вид:

(5) *X берет / взял Y [у Z-а / Z-а]* — Деятель X, благодаря целенаправленному действию A (созданию копии Y, вторичного воспроизведения известного образца) 1) начинает контролировать использование этой копии Y, оригинал которой принадлежит другому деятелю (или обществу) Z и был прежде недоступен X-у для использования, вследствие чего 2) получает непосредственную и беспрепятственную возможность использовать Y в своих целях, 3) за счет возможностей Z-а.

### 8.1. Фраза

8.1) *Корабль вышел в открытое море и взял курс на Бомбей*

указывает, что корабль (его капитан) X, благодаря действиям A (приказал установить штурвал нужным образом, следить за направлением движения и пр.) ориентировал корабль по данному курсу (направлению движения) Y, чтобы воспроизвести его и использовать тем самым возможности (знания и опыт) Z-а (сообщества мореплавателей) в своих целях. Имеем полное соответствие с концептом (5).

Подчеркнем, что, приняв данный курс, капитан осуществил над ним исключительно манипуляционное действие: не придумывал что-то свое, не изменял что-то существующее, а просто использовал уже апробированный курс. В самом деле, речь в 8.1) может идти только о каком-то проторенном и полезном курсе или направлении из ресурса общественного навигационного опыта. Поэтому и некорректны фразы типа \**Корабль взял курс на неизвестный остров / на поиски Новой Земли*. При показательном или прогулочном полете самолет может часто менять курс, однако уместна здесь будет лишь фраза *Самолет взял курс на аэродром*. Аналогично объясняется и сомнительность фраз *?Кучер / таксист взял курс на*

*вокзал (в гостиницу).* Незначительность и очевидность подобных маршрутов не позволяет считать их значимым общественным ресурсом.

**8.2.** В лоно предыдущих рассуждений укладываются и выражения *взять известный сюжет для рассказа / старинную мелодию для своей импровизации / все лучшее из книги и под.* Тот факт, что и здесь Y уже существовал в некоем общественном хранилище Z-а и X просто заимствовал его оттуда, легко подтверждается. Фраза *\*Для своего прибора он взял совершенно новую идею* некорректна и требует другого глагола (*использовал, придумал, применил*), поскольку взять можно лишь что-то уже существующее, но не придуманное или созданное. Аналогично объясняется неправильность фразы *\*Для своего рассказа он взял специально придуманный сюжет*, которая устраняется употреблением глагола *использовал*.

Это же справедливо и для выражений *взять ноту (аккорд)*. Нотный ряд — это классический результат теории музыки. Воспроизводя ноту, X использует этот ресурс общества в своих целях. Аналогично и для аккордов, ср. сомнительность фразы *?Он брал новые, им придуманные аккорды*.

Аналогично трактуются фразы *Петя, ты бы лучше брал пример со старшего брата!* и выражения *брать моду / привычку, брать за правило*. Все они указывают, что X расширяет свои возможности за счет известного внешнего ресурса Z-а.

Сходным образом трактуются выражения *брать Y на рассмотрение / на анализ / в работу / на проверку / в расчет / во внимание и под.*

## 9. Метафорические употребления

**9.0.** Метафорические употребления глагола *взять* обычно возникают, когда роли деятелей X и/или Z приписываются в референтной ситуации не одушевленным или обладающим волей субъектам, а просто проявляющим активность объектам (механизмам, явлениям природы, произведениям искусства, чувствам и пр.). Тем самым им в процессе актуального действия метафорически приписывается воля. Например, *Романс берет за сердце [слушателя], Его взяла оторопь, Годы берут свое, Ружье берет на триста метров, Отбойный молоток легко брал (крошил) мерзлый грунт и пр.*

**9.1.** Было бы неверно думать, что в этих высказываниях роль концепта и его свойств утрачивается. Например, может возникнуть впечатление, что в высказываниях *Отбойный молоток легко брал (крошил) мерзлый грунт / кирпичную стену; Смотри-ка, бензин берет (смыает) ржавчину; Уксус берет (разъедает) жемчуг* утрачивается свойство манипуляционности воздействия X-а на Y, поскольку в них Y (грунт, стена, жемчуг) разрушается. Думается, что это не совсем так. Дело в том, что во всех таких фразах Y фигурирует в функции материала, однородной структуры, поэтому его декомпозиция не является разрушением. Материал крошится, растворяется, но не уничтожается. Как только Y становится объектом со сложной структурой, подобные высказывания оказываются недопустимы, ср. *\*Отбойный молоток легко берет кирпичный дом, \*Уксус берет (разъедает) жемчужное ожерелье*.

*релье.* Нормально сказать *Пуля 45-го калибра пробивает / берет трехдюймовую доску* (здесь доска — материал), можно также: *Пуля 45-го калибра укладывает (убивает) льва*, но нельзя сказать *\*Пуля 45-го калибра берет льва*.

С учетом этого замечания мы получаем следующее: отбойный молоток (X), манипулируя Y-ом (грунтом, ржавчиной, жемчугом), подчиняет его своим целям. Иначе говоря, важная составляющая концепта сохраняется. Утрачивается лишь роль Z-а, что и понятно, ведь реально X не имеет собственных целей. Это же верно и для метафор типа «Эрика» берет пять копий, Ружье берет на триста метров.

9.2. Как мы уже отмечали, в качестве X-а могут выступать и такие активные сущности, как явления природы и время. *Зима берет свое* — зима (X) «подчиняет» природу (Z) (посредством льда и мороза), проявляя свою «волю». Аналогично, во фразе *Годы берут свое* годы «подчиняют» человека.

9.3. Выше, в п. 5.11 мы предложили следующую интерпретацию метафорической фразы 5.4) *Иван, возьми себя в руки*: X — главная (разумная) составляющая сознания Ивана, Z — эмоциональная, непосредственно реагирующая компонента его сознания, а Y — его поведение, подчиненное (принадлежащее) эмоциональной компоненте Z и недоступное рациональной составляющей X. Сходным образом объясняются и употребления типа *Романс берет за сердце*.

Данная трактовка вполне приложима и к примерам, в которых активной силой выступает чувство X-а. Например, во фразе *Тоска меня берет* чувство тоски (X) получает существенный, хотя и не полный контроль над Y-ом, за счет разумной составляющей Z, утрачивающей часть своего контроля над человеком. Эта интерпретация вполне соответствует концепту и позволяет, в частности, решить одну чисто практическую задачу — объяснить, какие чувства могут «брать» человека, а какие не могут.

Дело в том, что для одних чувств возможно сочетание: *берет тоска / страх / уныние / оторопь*, а для других — нет: *\*берет ликование / гнев / ужас / радость*. Можно предположить, что это различие обусловлено характером и степенью воздействия чувства на человека. Если воздействие не полное, но «утесняющее» альтернативную чувству разумную составляющую Z, то чувство может брать, поскольку интерпретация его воздействия на человека соответствует концепту. Если же воздействие полное, то соответствие концепту утрачивается (нет места Z-у) и чувство уже не берет, а охватывает, ср. *Его охватило ликование / гнев / ужас / радость* и *\*Его охватила тоска / страх / уныние / оторопь*. Некоторые чувства допускают обе трактовки: *Его охватило (взяло) сомнение*.

9.4. Отметим в заключение этого пункта, что концепт (1а) охватывает и метафорические фразеологические сочетания, приводимые в Словаре Ушакова в конце словарной статьи глагола: *брать в свои руки, брать в оборот, брать голыми руками*.

Сочетания типа *брать начало, брать красотой* не рассматриваются, поскольку выражают не актуальное действие, а свойство.

## 10. Анализ некорректных употреблений

**10.0.** В этом пункте собраны примеры некорректных употреблений из работ ряда исследователей и, прежде всего, из фундаментальной работы [Селиверстова 2004], к которой мы уже неоднократно обращались. Эти примеры — плод весьма тонких наблюдений над особенностями употребления глагола *взять*. И объяснения этих особенностей часто оказываются весьма нетривиальными. Однако они почти всегда носят частный характер и не позволяют увидеть общей картины.

Мы постараемся показать, что все они допускают единое объяснение посредством концепта.

**10.1.** В работе [Селиверстова 2004: 275] отмечается «недопустимость подстановки глагола *взять* вместо глаголов *требовать*, *потреблять* в следующих предложениях: *Строительство этого завода потребует больших затрат*; *Каждый человек потребляет в день около двух литров воды*». Указанная недопустимость обусловлена отсутствием свойства манипуляционности у действий «потребует затрат» и «потребление воды»: «затраты» предполагают преобразование денег в материалы, а «потребление» человеком воды — ее качественное изменение. При наличии у действия свойства манипуляционности меня глаголов вполне корректна: *Фирма затребовала (взяла) на строительство завода миллион рублей, Иван каждый день откачивает (берет) из колодца десять литров воды*.

**10.2.** Фраза *Каспаров выиграл у Карпова первую партию* не допускает использования глагола *взял*, хотя налицо основные свойства концепта (1а): Каспаров (X), осуществив действие A с шахматами (Y), увеличил свои шансы победить в матче Карпова (Z). Дело в том, что действие «выиграть партию» не является чисто манипуляционным. Перемещение фигур — вторичная его составляющая в сопоставлении с главной (и неманипуляционной) — мыслительной деятельностью. Можно сказать *взял слона* в шахматах, *взял (отразил) удар нападающего* в футболе; но даже во фразе *Каспаров отразил неожиданный удар Карпова на королевском фланге* нельзя употребить глагол *взял*: для отражения шахматного удара манипуляции фигурами — не главное.

**10.3.** Некорректность фразы \**Он взял шляпу с гвоздя* объясняется в [Селиверстова 2004: 279] тем, что глагол *взять* не используется, если X-у требуется преодолеть сопротивление большее, чем сила тяжести Y-а. На наш взгляд, некорректность здесь вызвана присоединением к действию «взятия» соседних действий, что препятствует соотнесению с этим расширенным действием глагола *взять*. В самом деле, именная группа *с гвоздя* указывает, что речь идет не просто о действии «взять», а о последовательности действий: собственно «взять шляпу пальцами», «приподнять над гвоздем» и «переместить к себе». А целиком эту последовательность действий глагол *взять* обозначать не может, и кроме того есть глагол *снять*, в точности описывающий это совокупное действие. В то же время фраза *Он взял шляпу со спинки кресла* вполне корректна, поскольку здесь действие лишь немного шире: ‘взял и приблизил к себе’.

Там же некорректность фразы *\*Она взяла записку с пола* (нужно: *подняла*) и корректность фразы *Она взяла записку со стола* объясняется так: «глагол *взять* предполагает, что место, из которого перемещается *Y*, находится на уровне тулowiща *X*» (с. 279). И здесь причина некорректности в том, что глагол *взять* соотнесен со слишком сложным действием: «нагнуться, взять записку и поднять ее». В самом деле; если предположить, что *X* лежит на полу рядом с запиской, фраза *Она взяла записку с пола* станет корректной.

Вообще, следует сказать, что глагола *брать / взять I* допускает только один вид двусоставного референтного действия, а именно: а) собственно взятие *Y*-а и б) перемещение *Y*-а к себе (к берущему). Это и понятно, поскольку такое перемещение усиливает контроль *X*-а над *Y*-ом. Поэтому первый из приведенных в [Селиверстова 2004: 283] примеров (*Хочешь, я возьму к себе в рюкзак твой спальный мешок?*) вполне допустим, а два другие (*\*Возьми мне из ее чемодана полотенце* и *\*Возьми эту книгу в шкаф*) — нет. В них *Y* удаляется от берущего, что ослабляет контроль *X*-а над ним. Заметим, что и глагол *брать* возможен только в первой фразе. Ниже, в п. 12.3 анализируется значение *взять II*, реализующееся, в частности, во фразе *Возьми отсюда эту тумбу, она мешает проходу*. Сказанное исключает отнесение этого употребления к значению *взять I*, что подтверждается и недопустимостью его мены на *брать*.

Аналогично объясняется некорректность фразы *\*Преследователи взяли преступника в тюрьму* при полной корректности фразы *Преследователи взяли преступника в кольцо*. Первая фраза называет совокупность двух последовательных действий: преследователи а) «взяли (схватили) преступника» и б) «отправили (доставили) его в тюрьму». Из них только первое — законный референт глагола *взять*. Между тем именная группа *в тюрьму* указывает, что этот глагол приписан всему двусоставному действию. Правильной здесь будет фраза *Преследователи взяли преступника и доставили в тюрьму*.

Точно так же фраза *Скорая помощь взяла пострадавшего и отвезла в больницу* корректна, а фраза *?Скорая помощь взяла пострадавшего в больницу* по меньшей мере сомнительна.

**10.4.** В [Селиверстова 2004: 266] отмечается, что глагол *взять* «чрезвычайно редко используется для описания включения свойства, качества, чувства и ощущения в число свойств, качеств, ощущений денотата подлежащего...». Так, нельзя сказать: *Она берет теорию гранулярного пламени; Она взяла его точку зрения* (ср. *Она принимает теорию регулярного пламени; Она приняла его точку зрения*). С этим трудно согласиться. Некорректность употреблений обусловлена тем, что они даны в контексте глагола *принимать (принять)*, не содержащем признаков манипулирования *Y*-ом. Как только мы расширим контекст требуемым образом, фразы станут корректными: *Она берет теорию гранулярного пламени и разбивает ее в пух и прах; Она взяла его точку зрения и выдала за свою*.

Аналогичными причинами вызвана некорректность фразы *\*Я взял его предложение* (с. 269). Расширив контекст, получаем нормальную фразу *Я взял его*

*предложение за основу*. Там же указывается, что фраза *Он взял приглашение* не может быть понята в смысле ‘он принял приглашение’, поскольку глагол взять не употребляется со словами, «которые могут рассматриваться как условия, программирующие действия X». На наш взгляд, все проще: в данной фразе заведомо не может быть выражено расширение возможностей X-а (приглашаемого) за счет Z-а (приглашающего), поскольку, принимая приглашение, X находится в более слабой, подчиненной позиции.

**10.5.** Иногда для некорректной, казалось бы, фразы можно подобрать нетипичную референтную ситуацию, при которой она становится вполне приемлемой. В цитированной работе отмечается, что «*предложение Я взял врача* не соответствует языковой норме. Отбор допустимой сочетаемости, вероятно, связан с представлением о том, является ли X работодателем...» (с. 274). С этим объяснением можно согласиться, хотя оно носит частный и косвенный характер. Ощущение некорректности возникает, если слушающий, например обычный совслужащий, не представляет себе ситуации, в которой врач в каком-то плане может быть «подчинен» пациенту. Однако эта фраза вполне корректна, скажем, в устах партначальника, потребовавшего выделить ему врача на дачу, или в устах нового русского.

## 11. Концепт и частные значения

**11.0.** Вернемся теперь к проблеме описания многозначности, затронутой в самом начале статьи, и рассмотрим ее на конкретном примере. Приведем толкований пяти частных значений глагола *брать* из работы [Розина 2003: 236—238] (с минимальными модификациями примеров):

- 1-а. *Взять нож с прилавка, книгу с полки* = ‘Охватив предмет пальцами и ладонью одной или обеих рук, переместить его из какой-то точки пространства к себе’.
- 1-б. *Взять бутыль за горло, капитана левой рукой за грудь* = ‘Охватить пальцами и ладонью какую-то часть предмета, часть тела или деталь одежды человека’.
- 2. *Взять извозчика* = ‘Заплатив, получить возможность использовать’.
- 3. *Взять барьер* = ‘Двигаясь в каком-то направлении, преодолеть препятствие’.
- 4. *Взять прямо на улице, взять с постели* = ‘Воздействовав на человека силой или властью, ограничить его свободу’.

При чтении этих толкований неизбежно возникает поставленный в начале статьи вопрос: в чем проявляется их семантическое единство, принадлежность одному и тому же слову? Если закрыть примеры слева, создается впечатление, что они относятся к совершенно разным словам. Поскольку их автор проявил незаурядную проницательность и изощренность в анализе, остается предположить, что без концептуального значения, которым он не располагал, нельзя достичь требуемой семантической общности частных значений.

**11.1.** Из предшествующего изложения ясно, что частные значения должны формироваться не сами по себе, а как соответствующие конкретизации концептуального значения. Тогда они будут фиксировать типичные свойства именно референтных ситуаций глагола, а не ситуаций, лишь внешне на них похожих. Представим приведенные выше частные значения как конкретизации концепта (1a), и их семантическая общность станет очевидной.

**11.2.** Начнем с толкований 1-а и 1-б. Они фиксируют субъективно важное для человека различие между двумя вариантами «взятия» предмета Y: а) когда Y-ом (*книгой, ножом*) можно легко манипулировать, и б) когда такие манипуляции с Y-ом (*большая бутыль, капитан*) по-прежнему возможны, но связаны с затратой больших усилий. Это различие хорошо иллюстрируют приводимые Р. И. Розиной примеры: для а) *Левий ... молча и быстро взял с прилавка то, чего лучше и быть не может, — отточенный, как бритва, длинный хлебный нож, и тотчас кинулся из лавки вон* (Булгаков), и для б) *Брэнгвин взял капитана левой рукой за грудь, причем весь свитер собрался жгутом в кулаке, а правой рукой он уложил капитана на палубу..* (Пикуль).

В соответствии с концептом (2), описывающим перемещающийся предмет Y (см. п. 4), получаем такие формулировки.

(1a') *X взял Y пальцами (в руки)* — X, осуществив некоторое целенаправленное действие с предметом Y (захватив его пальцами, руками), получил полный контроль над его перемещениями и возможность легко осуществлять с ним любые манипуляции, недоступные с этого момента никому другому (Z-y).

(1б') *X взял Y пальцами (руками) за Р* — X, осуществив некоторое целенаправленное действие с предметом Y (захватив его часть Р пальцами, руками), получил полный контроль над его перемещениями и возможность, затрачивая большие усилия, осуществлять с ним любые манипуляции, недоступные с этого момента никому другому (Z-y).

Формулировка следующего значения очевидна:

(2') *X взял Y такси* — X, осуществив некоторое целенаправленное действие А (договорившись с водителем и заплатив ему), получил контроль за его перемещениями и возможность ехать с ним в нужное ему место, лишив такой возможности других (Z-a).

**11.3.** Выше (см. п. 6.6) было показано, что выражения типа *взять барьер, высоту, препятствие* корректны только в условиях соперничества, когда есть внешний ресурс, принадлежащий Z-y (организаторам соревнования, конкурса), за который соревнующиеся ведут борьбу. В отсутствии такого Z-a эти выражения утрачивают корректность, ср. \**взял ограду*, отнесенное к прыжку через ограду в обыденной жизни. Поскольку барьер, это место (неподвижный предмет Y), его «взятие» означает получение X-ом контролируемого доступа к месту Y, за который (доступ) X получает ресурс Z-a (судей или организаторов соревнования). Пользуясь концептом (3) для Y-а — места (см. п. 6), получаем:

- (3') *X взял барьер — X, благодаря целенаправленному действию А (подбежал к барьере), проконтролировал свой контакт с ним (перепрыгнув через барьер) и повысил свои возможности добиться победы, получив дополнительный ресурс Z-а (судей).*

В референтных ситуациях высказываний *Деда взяли прямо на улице*, *Преследователи взяли преступника Y* (дед, преступник) совмещает в себе функции и Y-а (тело деда, преступника) и Z-а — его сознания, владеющего этим телом (см. п. 5.2 и описание 5.2а) фразы *Преследователь взяли преступника*). Следуя сказанному, получаем:

- (4') *X взял Y-а (Деда взяли прямо на улице) — X, благодаря целенаправленному действию А (приблизился к Y-у), начал полностью контролировать перемещения Y-а (силой ограничив его свободу), и расширил свои возможности воздействовать на него, лишив тем самым его волю (Z) возможности им управлять.*

**11.4.** Как мы видим, общее значение (концепт (1а)) позволяет придать семантическое единство весьма различным частным значениям 1-а, 1-б, 2, 3 и 4. Им же можно охватить и остальные 13 значений, выявленных Р. И. Розиной.

Этот пример дает, как нам кажется, основание ввести новое понятие — «элементарная лексема». Условимся называть элементарной лексемой — слово, взятое в одном из его общих, или концептуальных значений. Например, глагол *брать* имеет одно общее значение — один концепт (1а) и, следовательно, составляет одну элементарную лексему — пару *брать — брат I*, а глагол *взять* имеет два общих значения — два концепта: (1а) и (7) (см. п. 12.2) и, стало быть, образует две элементарные лексемы: пары *взять — взять I* и *взять — взять II*.

В настоящее время термин «лексема» используется в двух смыслах. Первый, традиционный смысл сформулирован, например, в [Зализняк 2002]: «будем считать, что каждая словарная статья словаря-источника отражает самостоятельную лексему и притом ровно одну. (...) Общее для всех словоформ данной лексемы собственно номинативное значение называется *значением лексемы* (разрядка автора. — А. К.) (с. 28). Второй смысл принят в работах Московской семантической школы (МСШ), см. [Апресян 2005]: «лексемой в МСШ называется слово, взятое в одном из имеющихся у него значений» (с. 4).

Введенная нами элементарная лексема является более дробной единицей словаря, чем традиционная лексема, но более общей, чем лексема в смысле МСШ. Например, традиционная лексема *взять* состоит из двух элементарных лексем *взять I* и *взять II*, а каждая из них, в свою очередь включает несколько лексем в смысле МСШ, (частные) значения которых она охватывает.

Назначение элементарной лексемы очевидно: будучи семантическим обобщением всех относящихся к ней лексем в смысле МСШ, она удерживает семантическое единство слова.

## 12. Приложение.

### О втором лексическом концепте *взять* II глагола *взять*

**12.0.** В отличие от бесприставочного глагола *брать*, имеющего только одно общее значение актуального действия (один лексический концепт) *брать I*, глагол *взять* имеет два лексических концепта. Кроме концепта *взять I*, указывающего на переход У-а в стабильное, устойчивое положение, имеется еще концепт *взять II*, указывающий на переход У-а в нестабильное, неустойчивое состояние или положение.

Если обратиться к словарной статье глагола *взять* из Словаря Ушакова, то можно заметить, что из четырех определенных в ней значений, два значения актуального действия не допускают мены глагола *взять* на глагол *брать*. Эти значения представлены примерами *Иван взял и сказал, А он возьми и лягни и С чего это Иван взял, что Маша передумала? Откуда Иван взял, что Маша приедет?* Действительно, в значении актуального действия некорректно сказать \**Иван берет и говорит* или \**С чего это Иван берет, что Маша передумала?* Сходные употребления приводятся и в МАС: *Разве взять и поехать на Байкал?* (Чехов).

**12.1.** Как нам кажется, концепты *взять I* и *взять II* порождены двумя разными значениями приставки *вз-*, поэтому их следовало бы описывать как объединение значения основы (*н)ять* и этих значений приставки (подобно тому, как это сделано в [Кошелев 2004: 94—96]). Однако здесь нам достаточно будет лишь кратко очертировать общее значение *вз-II* приставки, чтобы получить значение *взять II* и сопоставить его со значением *взять I*.

- (6) *Вз-II (взварить, вскисать, взолновать)* — объект У быстро (внезапно) перешел из постоянного, устойчивого, типичного состояния в неустойчивое, промежуточное, пограничное состояние или положение.

Примеры: *взварить* ('довести варкой до кипения'), *вздремнуть* (слегка заснуть), *взбодрить* (кнутом лошадь, рюмкой рассказчика — сделать У-а на некоторое время бодрее), *вскисать* ('начинать киснуть, бродить'), *всплакнуть* (слегка и недолго поплакать), *взвизгнуть* — внезапно и коротко завизжать, *вспыхнуть* (ярким огнем), *вспугнуть*, *взбудоражить* — временно привести кого-то в состояние крайнего возбуждения, и др. Это же значение реализуется и в выражениях *вскружить голову*, *вздумать такое, взыграть, взбрести на ум* — на какое-то время сознание утрачивает адекватность. Ср., также *взбесить, взбутемнить, взбушевать, вздрючить, взмутить, взыграть, вскружить; взмокнуть, взмылить, взопреть, вспотеть*.

Концепт *вз-II* реализуется и в существительных *взморье* 'прибрежная полоса' (ни море, ни суши), *всполье* 'окраина поля', *взгорок* 'небольшая возвышенность', *вспышка, всполох* 'переполох, суматоха' (Словарь Ушакова), *всполохи* 'яркие вспышки огня', *быть на взводе* 'быть в состоянии опьянения, возбуждения' и др.

**12.2.** Опираясь на значение (6) получаем:

- (7) *Взять II Y* — Деятель X, а) получил манипуляционный контроль над Y-ом и б) перевел Y в неустойчивое, пограничное, промежуточное состояние или положение.

Концепт (7) и реализуется в анализируемых примерах. Фразы *Иван взял и сказал*, *A он возьми и ляпни*, *Тут Иван взял и врезал ему что было силы* описывают ситуации, в которых X перевел себя в некоторое неустойчивое, времменное состояние, в котором и совершил указанные действия («ляпнул», «врезал»). Фраза *Иван взял себя в руки*, реализующая значение *взять I*, напротив, указывает на переход Ивана в устойчивое состояние, см. п. 5.11.

Подобную ситуацию описывают и фразы *С чего это Иван взял, что Маша передумала? Откуда Иван взял, что Маша приедет?*, указывающие, что Иван, вопреки здравому смыслу и фактам, пришел к неверному (и временному) заключению. Сходные состояния X-а описываются глаголами *вздумал*, *вздурил*, *взбрело в голову*.

**12.3.** Есть еще несколько вариантов употреблений *взять II*, не отмеченных словарями. Во фразе *Возьми отсюда эту тумбу, она мешает проходу* X получил контроль над тумбой, но не для того, чтобы воспользоваться ею, а чтобы тут же удалить ее от себя. Тумба оказалась в положении «временной ненужности». Здесь глагол *бери* невозможен, но вполне уместен — *убери*. (Заметим, что данное употребление *возьми* не может иметь значение *взять I*. Анализировавшийся в п. 10.3 пример О. Н. Селиверстовой *\*Возьми эту книгу в шкаф* указывает, что это значение не охватывает ситуаций, когда X, имея контроль над Y-ом, удаляет его от себя).

Аналогично трактуется и фраза *Иван демонстративно взял руки за спину*. В данной ситуации Иван перемещает руки (Y) за спину, чтобы не пожимать протянутой ему руки. Ясно, что это «временное и пограничное» положение рук. И здесь плохо сказать *\*Иван демонстративно берет руки за спину*, но вполне уместно употребить глагол *убирает*, подчеркивающий перемещение рук подальше, в менее доступное место.

Различие общих значений *взять I* и *взять II* наглядно поясняют фразы *Возьми книгу с полки* (чтобы что-то делать с ней — стабильное положение книги) и *Возьми книгу отсюда* (чтобы тут же убрать куда-нибудь — нестабильное положение книги).

**12.4.** К данному типу относятся и выражения *взять в сторону / вправо / назад*, *взять на себя (дверь, шкаф)* и под., описывающие «уступительные» ситуации, связанные с просьбой или внешней необходимостью посторониться, отступить, освободить место. Фраза *Пропуская карету, кучер взял назад* сообщает о том, что кучер переместил свою бричку назад, вынужденно заняв неудобную, временную позицию.

Заметим, что выражение *\*взять вперед* ('подвинуться вперед') некорректно, поскольку движение вперед, с одной стороны, не является уступительным, поэтому здесь нет места значению *взять II*, а с другой стороны, не содержит специальных

преодолевающих усилий, типа взять подъем, без которых неупотребимо взять I. В этом плане выражение \**зять вперед* аналогично выражению \**зять безлюдное село*, где тоже нет преодолевающих усилий.

Употребление глагола брать в «уступительных» ситуациях также сомнительно, ср. *'бери на себя, 'бери назад*.

Следует особо подчеркнуть, что в других, «не уступительных» ситуациях, например, когда говорящий делает предложение X-у, дает ему совет или описывает порядок движения, картина резко меняется и такие выражения вполне допустимы, ср. *Бери на себя эту работу, Когда выйдешь из леса, бери вправо, Кучер берет вдоль забора налево* (МАС). В этих примерах реализуется уже концепт *брать / взять I*. Здесь со стороны X-а нет уступительности, он сам направляет свои действия, см. анализ примера 8.1) *Корабль вышел в открытое море и взял курс на Бомбей*.

**12.5.** Итак, лексема *зять* имеет два лексических концепта: *зять I* (1a) и *зять II* (7) и, стало быть, распадается на две элементарные лексемы. Поэтому при описании ее частных значений следует строго различать их лексемную принадлежность, т. е. отнесенность к кому или другому концепту. Единство элементарных лексем, принадлежность к одной лексеме *зять* (в традиционном значении термина, см. п. 11.4) придает им общее значение основы (*н*)ять.

\* \* \*

Выражаю благодарность М. Н. Григорян, В. Ю. Гусеву, С. А. Жигалкину, Анне А. Зализняк, М. И. Козлову, Г. Е. Крейдлину, Н. В. Перцову, Б. А. Успенскому и И. Б. Шатуновскому за обсуждение предварительных вариантов статьи и ценные замечания.

## ЛИТЕРАТУРА

### СЛОВАРИ

МАС — Словарь русского языка в четырех томах. М., 1985.

Словарь Даля — В. Даляр. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1989.

Словарь Ушакова — Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 1938.

Апресян 1974/1995 — Ю. Д. Апресян. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1995. 1-е изд. М., 1974.

Апресян 2005 — Ю. Д. Апресян. О московской семантической школе // Вопр. языкознания. 2005. № 1. С. 3—30.

Добрушина и др. 2001 — Е. Р. Добрушина, Д. Пайар. Приставочная парадигма русского глагола: семантические механизмы // Е. Р. Добрушина, Е. А. Меллина, Д. Пайар. Русские приставки: многозначность и семантическое единство. М., 2001. С. 11—254.

Зализняк 2002 — А. А. Зализняк. «Русское именное словоизменение» с приложением работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М., 2002.

- Кошелев 1999 — А. Д. Кошелев. Описание когнитивных структур, составляющих семантику глагола *ехать* // Сб. Логический анализ языка. Языки динамического мира. Дубна, 1999. С. 41—52.
- Кошелев 2004 — А. Д. Кошелев. О концептуальных значениях приставки *о-/об-* // Вопр. языкознания. 2004. № 4. С. 68—101.
- Розина 2003 — Р. И. Розина. Динамическая модель семантики глагола *взять* // Русский язык сегодня. Вып. 2., М., 2003. С. 227—246.
- Падучева 2004 — Е. В. Падучева. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Селиверстова 1975/2004 — Компонентный анализ многозначных слов (на материале некоторых русских глаголов). М., 1975. 2-е изд. М., 2004.
- Селиверстова 2004 — О. Н. Селиверстова. Труды по семантике. М., 2004.

*P. F. Касаткина (Москва)*

## КАЛЕЙДОСКОП ЧАСТИЦ В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ

*Дорогой Тане, которая многое открыла  
и которой многое открылось,  
и не только в мире партикул — с любовью*

Тексты спонтанной речи включают множество «маленьких словечек» (партикул, согласно последней классификации Т. М. Николаевой [Николаева 2003]): частиц, союзов, частице-наречий, частице-союзов, некоторых местоимений. Эти краткие лексемы выполняют разнообразные функции — они служат для скрепления между собой отдельных отрезков текста («текстовые коннекторы»), смыслового подчеркивания («проминентности») того или иного слова или группы слов, а также могут выполнять ритмообразующую роль. Семантика частиц подобна интонационной семантике: «перетекающие», зыбкие смыслы, многозначность, способность передавать тончайшие модальные оттенки. «Они суперсегментны по своей сути», — утверждает Т. М. Николаева, и с ней нельзя не согласиться.

С зыбкостью семантики партикул, по-видимому, связана и неустойчивость их акцентного оформления, ср. варьирование ударения в таких случаях, как *дáбы* и *дабы*, *йна́че* и *иная́че*, *кáбы* и *кабы*, *на́ли* и *наль* (*на́ле-налé*), *вот-вóт* и *вóт-вот*, *вот тák вот* и *вот так вóт*, *вон тám вон* и *вон там вóн*. Подобные примеры могут быть умножены.

В тех случаях, когда частицы выполняют в высказывании лишь ритмообразующую роль [Евтухин 1979; Пауфошима 1983], наверное, можно говорить не об их десемантизации, но скорее об их *досемантическом статусе*.

С помощью ритмообразующих частиц организованы высказывания в любом тексте устной речи, будь то речь образованного горожанина или речь сельского жителя. Однако анализ текстов диалектной речи позволяет говорить о том, что в них набор семантически «пустых» лексем значительно богаче, чем в литературном языке и даже в городском просторечии. При общем отличии диалектов в этом плане от литературного языка имеются существенные региональные различия между

русским диалектным севером и югом: в севернорусских говорах набор частиц несравненно богаче и разнообразнее, чем в южнорусских.

Приведем несколько примеров на ритмическую организацию севернорусских текстов с помощью повторов частиц: *вот преснá шáньга, вот сóшники наскéши,* *дак вот всéки шáньги пекéши* [РНГ 1991, 41], *Я все Марью брала, да Дарью брала,* *да тут Денисовну да* [Там же, 54].

Подобные примеры могут быть приведены и из южнорусских текстов, но в них функционируют другие частицы: *А тэдá иш бáтьюшка иш, тэдá иш вить свищéниk был* [РНГ 1999, 53]; *А тады вот éту во, во хáту постáвили* [Там же, 51]; *Она пришлá, ей бы спросить добром бы, путем бы, слезы б эти не терять бы, говорить, бы а спросила постепенно так, стерпела б сама в себе, говорить, снесла бы* [Там же, 141]. В последнем отрывке обращает на себя внимание возможность препозитивного употребления частицы *бы*.

Наши более ранние исследования [Пауфошима 1983; Касаткина 1988] позволяют утверждать, что набор интонационных средств в севернорусских говорах более скучен, чем в южнорусских говорах. В этих говорах наблюдается явный диктат словесной просодии над просодией фразы, частое использование интегральных тональных регистровых характеристик для интонационного оформления целых синтагм и высказываний, слабая выраженность просодическими средствами фразовых акцентов, см. также [Оде 2003]. При этом целый ряд функций, которые обычно принимает на себя фразовая интонация в современном литературном языке, в севернорусских говорах выполняют частицы. Похожая ситуация, но не столь ярко выраженная, наблюдается и в южнорусских говорах. Наблюдение это находится в полном соответствии с идеей Т. М. Nikolaевой о том, что «...сила фразовой интонации и обилие частиц в языковом употреблении как бы обратно пропорциональны друг другу» [Николаева 2000, 311].

Попытаемся составить некоторый реестр подобных лексем, употребляющихся в основных говорах севернорусского и южнорусского наречия, опираясь на данные диалектных словарей и хрестоматий. Особенно важной задачей, с нашей точки зрения, представляется выявление по возможности более полного инвентаря частиц, т. е. «партикульного фонда», по выражению Т. М. Nikolaевой, в русской диалектной речи.

С точки зрения словообразования все частицы в говорах, так же как и в других языковых системах, можно разделить на 3 группы: элементарные, или односложные (или даже однофонемные): *а, ак, да, dak, и, ин, -ка (-ко), -ся (-си, -се, -сь), ле (ли), же (жу, жса, жси<sup>1</sup>), бы (ба), бо, во<sup>2</sup>, -то (-та, -ту, -те, -ти, -т), -о, -от (-эт), -тко (-тка)*. Выявлению элементарных частиц в текстах (например, в диалектных словарях) порою мешает графическая запись, когда партикула, находящаяся в постпозиции к знаменательному слову, пишется с ним слитно или через дефис. Вот несколько примеров с постпозитивными *-сь (-ся), -ли (-ле), -тка (-тко), -нь* — частицами, «прилепившимися» к знаменательным словам; по [ИИ СРНГ 2000]: *втúпорась* (=‘в ту пору’), *втúпорясь* (=‘в ту пору’), *дáвесь*, *дáвечка*, *досéлесь* и *досéлесь*, *досóлесь*, *куды́ка*, *тáмотка* и *тéпотка*.

и *тепéрекося*, *третéднесь*; *úтресь* и *вечóрася*, *э́вося*, *эттакась*, *зáвтракась*, *здéкась*, *тáмакась*, *тýтакась* и др. *одна́ся* (этот пример из [РНГ 1991]: *Не одна́ся я вýдела*); *али* и *áле*, *гáли*; *когда́-ли*, *éждали*; *куда́ли*, *неужáли*, *зáли*, *нáлé*, *довлé*, *еле*, *дали* — *адалí* (=‘почти’ — СГС) и др.; *здéсे�тко*, *нá-тко*, *нáте-тко*, *оном्नýсетко* (=‘намедни’), *тáматко*, *ужсóтко*, *э́во-тко*; *втúпоронь* (=‘в ту пору’), *конь<sup>3</sup>* (=‘коль’), *осенень* (=‘прошлой осенью’), *тонь* (=‘только’), *сконь* (=‘сколь’), *úтрень* (=‘утром’) и др. Почти все эти лексемы отмечены в северорусских говорах, и лишь единичные — в южнорусских и в московском просторечии. Многие из перечисленных лексем, словообразовательно несколько различаясь между собой, могут функционировать в одном и том же говоре.

В некоторых случаях частицы уже приобрели статус словообразовательных формантов, например *-сь* в группе наречий со значением времени в северорусских говорах: *зíмусь*, *лонíсь*, *налéтось*, *осенесь*, *úтрось* (ср. также просторечные *úтресь*, *вчера́сь*)<sup>4</sup>. Нередко вопрос о слитном или раздельном написании той или иной частицы представляется спорным. Так, написание *одна́ся*, приведенное выше, в сопоставлении со следующим отрывком из РНГ: *ф перву си ф перву оцерьть сиешь кислу шаньгу* (с. 41) наводит на мысль о существовании в северорусских говорах «свободно плавающей» частицы *си* (*ся*), еще не занявшей твердой позиции после наречия или глагола и еще не превратившейся в словообразовательный формант со значением времени или возвратности.

В текстах, записанных на магнитофон автором, Л. Л. Касаткиным и Т. Б. Юмсуновой в 2002—2003 гг. в говорах старообрядцев-«липован» Одесчины и Румынии, отмечен большой массив постместионенных употреблений частицы *-сь* в соответствии с литературными *-то*, *-нибудь*, напр., *хто-сь* *прóсить*, *на погоду на какую-сь*, *там какую-сь* *копеечку зароблáла*, *были листочки какие-сь*, *охота ж выйти кудá-сь*, *он куды-сь пошел*, *у дитенка внутри что-сь перелéтое* и т. п.

Составная постместионенная частица *-то-ся* (*-то-сь*) со значением ‘пусть себе’ отмечена в говорах Рязанской обл. — в д. Деулино и говорах Рязского р-на, напр. *Я суп ваш вы́ну* (из печи), *а картошка стойти*, *она́-то-сь*; *Ну, они́-то-сь отыхáют* [CCРНГ, 369]; *Не трожь Мишку, он-то-ся*; *Стить она?* *Ну, она́-то-ся* (Рязанский р-н, записи автора).

Можно также отметить редкую частицу *лих* со значением ‘вот’, распространенную, согласно данным СРНГ в северозападной диалектной зоне и зафиксированную в нескольких произведениях Пушкина, напр. в «Сказке о золотом петушке»: — «*Не хочу я ничего! Подари ты мне девицу, Шамахансскую царицу*», — говорит мудрец в ответ. — Плюнул царь: «*Так лих же, нет! Ничего ты не получишь...*» (см. также несколько других примеров употребления частицы *лих* в [СЯП, II, 517]). По-видимому, это одно из проявлений влияния псковских говоров — через речь няни Арины Родионовны — на поэтический язык Пушкина.

В обширном массиве партикул выделяются три основных корпуса: лексемы элементарного типа, частицы, образовавшиеся из полнозначных слов, и партикулы, образованные посредством «склеивания» частиц элементарного типа.

1) Для партикул элементарного типа характерна неустойчивость фонетического облика: в них могут варьировать гласные, ср. *ле — ли, бо — бы — ба, же — жсо — жу, на́лы — на́лы — наля́, се — си — ся — сь; -от — -эт* (дом-от, лед-от и *Игнáтий-эт* [РНГ 1991, 34]), *а́сли — э́сли, -ка — -ки — -ко* (*тámотка, támotko* и *támotki* [РНГ 1991, 34, 61]; *тұ́тока* и *тұ́токи* [Там же, 61, 62]), *но — ну, а — и, же — ж — уж, ведь — ить*, могут варьировать согласные: *э́-том — ўé-том — wé-том, эн-том, э́сли — э́сли, э́слив — є́слив<sup>5</sup>, э́ко — э́то, лéжели — ѹéжели, є́зли — є́жли* [СГС 1999], *бо — wo — во, -тка — -ка, дак — так — ак, є́во — є́вон, -о — -от* (напр., лед-о и лед-от [см. Касаткин, Касаткина 1998]) и т. д.

Соотношение твердых и мягких согласных в некоторых частицах, а также в словообразовательных формантах, генетически восходящих к частицам, идет от праславянского языка. Это видно на примере пары частиц и формантов *-т (-то), -ть (-те, -ти)*, восходящих к др.-рус. *-тъ — -ть* — *да́ли-т(o), поговори-ли-т(o), вом, том, этот и да-ть* (союз *да* + частица *-ть*, см. [ПОС]), *да́же-ть, на́до-ть, тóже-ть*. Существование пары частиц *и́ть — и́ть* в древнерусском языке обнаружил А. А. Зализняк, проанализировав одно из «темных мест» в «Слове о Полку Игореве» (доклад в Институте славяноведения 21 января 2004 г.). Рефлексами этого противопоставления, по-видимому, являются форманты *-и* и *-и́нь* в современных партикулах *вон, эвон* и сев.-рус. *втóпоронь* ('в ту пору'), *конь* ('коль'), *бсенень* ('прошлой осенью'), *тонь* ('только'), *эконь* и др. под.

Существование в современных говорах таких партикульных пар, как *лих — лишь* и *нóнека — нóнеча* позволяет предположить, что в праславянском языке были частицы *\*хъ — \*хъ и \*къ — \*къ*; в которых в результате 1-й палатализации перед гласными переднего ряда возникли шипящие. В северорусских говорах существуют целые ряды партикул с чередованием заднеязычных и шипящих согласных в словообразовательных формантах: ср. *лих, всю́дех, всю́дух — лишь, бе́шь, би́шь, бы́шь, ко́шь; взáвтре-ка, здéсека, нóнека, нóнчека, тámока, тұ́тока, є́вандека, є́воддека — дáвеча, докéлича, дотúлечча, нóнеча, отсéлича, покéлечча, покúлечча, откúдача, оттóлечча, тапéрича*.

Партикульные элементы могут переставляться: *здéся-ка, здé-ка-ся* и *здéся-тко, нўко-те* и *нўте-ко, нўте-тка, вчера́сятко́сь, вчера́сека, вчера́сь* и т. п. В говорах липован Румынии возможны следующие примеры «нанизывания» частиц: *кто-то-нибудь* (*Не люблю, когда кто-то-нибудь крутит словом, брешеть*), *вот-то* (*Никого он не обидел, не вот-то чтобы ругал*), *вот-ка* (*Вот-ка у нас говорится*).

Кратчайшие (односложные) элементарные партикулы в некоторых случаях при реконструкции могут восходить к более сложным структурам: напр., *ак, ин* возводимы к более ранним *a+kъ, i+nъ*. Частицы *вон, вонь, вом* членены на элементы *во+нъ, во+нъ, во+тъ*. Повторяющийся во всех этих случаях элемент *во* был нами обнаружен при работе с текстами для [РНГ 1999]: во многих южнорусских говорах это частица со значением высокой степени признака (*јобки во добрé хороши были...*) или с указательным значением (*а вом так во недалеко посадка была — у нас сад был...*). Как и в последнем примере, *во* нередко выступает в комплексе *вом так во*. В тех же значениях эта частица выступает и в московском просторечии,

напр., *Во как здóрово!* и *Во куда заехал!* Однако высказано предположение о том, что инициальный согласный [в] ([w]) — это протеза при исходной частице *о*. Это предположение подтверждается также и многочисленными случаями произношения в диалектной речи частицы без протетического [в] (*нéмцы под вокнó так о подбýлись, окóпу вы́копали...; вот так о*).

2) Второй корпус составляют частицы, образовавшиеся путем десемантизации полнозначных слов: в литературном языке *ведь*, *будь*, *дай*, *дай-ка*, *дескать*, *де*, *мол*, *пусть*, *пускáй*, *просто*, *прямо*, *хоть*, *хотя*, *чай*, *чу*, в просторечии *вишь* (из ‘*видишь*’), *небось* (из ‘*не бóйся*’), *пущáй*, *подíй*, *подíй-ка*, *хоши* (из ‘*хóчешь*’) и др.; севернорусские *бат*, *ват* (из ‘*бывáет*’ или *бáет*, т. е. ‘*говорит*’), *глýко*, *глýкося*, *глишь* (из ‘*глядí-ко*’, ‘*глядí-ко-ся*’, ‘*глядíшь*’), *пушишáй*, южнорусские *нехáй*, *пушишáй*, *хáй*, *чисто*. В современных говорах в процессе перехода в класс частиц — партикуляризации — находятся формы глагола *говорить*, *говорю*, *говорйт*: в южнорусской речи частотны формы *грю*, *рю*, *грут*, *-и-* (я-и = ‘я и говорю’). По-видимому, именно последняя форма (*-и-*) и может быть уже отнесена к частицам, поскольку не изменяется по лицам, хотя и употребляется только при местоимении 1-го лица<sup>6</sup>.

В одном из говоров Воронежской обл. отмечено употребление частицы *ку* (предположительно, от *каксú* ‘говорю’ — записано О. Г. Ровновой в Острогожском р-не в 2002 г.), напр.: *Ну, приезжáя мой дед с войны. А я ку:* «*Идé ж ты воевал?*». В процессе движения к частицам, по-видимому, находится глагол *чемнáть*, *чемнáю*, *чемнáешь*, *чемнáет...* (из ‘*почем знать*’) в некоторых говорах Архангельской обл. (согласно устному сообщению О. Г. Гецовой, этот глагол зафиксирован в картотеке АОС).

3) Третий корпус составляют частицы, союзы, наречия, образовавшиеся путем «склеивания» элементарных партикул: в литературном языке, напр., *вот-вот*, *только*, *ежели*, *ужели*, *неужели*, *може*, *либо*, *также*, а в говорах еще и *дáкося*, *жээж*, *инда*, *нáли*, *нúтако*, *нúткосе*, *нúтак-то*, *нúте*, *нúте-тко*, *ко-ся*, *-то-ся*, *этта*). Примеры: *нúтак-то* (=‘таким образом’): мы в Христóву Пásку нúтак-то не оболокáлись [СРНГ, 21; 317], *нали* (=‘даже’, ‘ведь’, ‘однако’): он как вскóчит на телéгу, я нали вздрóгнула; Здéся мнóго ухажáров, нали лáвки лóмятся; *Нали* все было неплохо [СРНГ, 20; 8, 13], *этта* (=‘здесь’): *нарéдят нас, платовье* (‘платья’) отлáсно, *вот этта с бróшками да* [РНГ 1991, 64], *этта у нас жáрко* [РНГ 1991, 92]. Возможно, что путем «склеивания» частиц *да* и *ак* возникла и частица *дак*, весьма употребительная в говорах севернорусского наречия.

Для тех же говоров в этой связи можно упомянуть также составные местоимения *нúтот* (ср. *этот*), *нúтта* (ср. *этта*), *нúты* (=нúтот, *этот*, напр., *Я нúтого не знаó мужикá у ей, а тогó-там знáла*), *táтам*, *tóтам*, *tóттам*<sup>7</sup> (напр., *Tóттам самостоительней был мужик-от у ей, чем нúтот*) [СРНГ, 21; 317—318]. В севернорусских говорах зафиксированы также следующие лексемы, образовавшиеся посредством «склеивания» партикул: *нúткать*, *нúтако*, *нúта* (ср. *этта*), *нúте*, *нúте-тка*, *нúтко*, *нúткося* и *нúткосе*, *нúто* (ср. *этто*), *нúтта* (ср. *этта*), *téтам* и др. под.

Во многих южнорусских говорах функционирует составное местоимение *тот-то*, *та-то*, *то-то*, *те-то*, приближающееся по статусу к определенному артиклю (напр., *Становить у тóт-та жар суп, и стáть суп тóт-та да вéчира... Налóпамиси тавó-то сýпу...* [РНГ 1999, 75]).

Многие диалектные частицы представляют интерес для лингвистического анализа. Таковы, например, севернорусские *бóле* и *дáле*. Вот примеры из [РНГ 1991]: *А на другой день это, боле (=‘уже’) прáздник; Ведь все было, играли ведь. Я боле (=‘уже’, ‘теперь’) и забыла* (д. Белощелье Архангельской обл.), [АОС, 2; 54—55]; *Живúт тут бóле (=‘теперь’), ницегó не прогнáли, не роскулачили; Так ѹегó в другой лесопóут лáдят переводить бóле (=‘теперь’); бóле (=‘теперь’) навéчно мой* (Вожега); *Стáры, стáли, нать бóле (=‘уже’, ‘теперь’) помирать краинó* (Ценогора); *Ф пеçé бóле (=‘уже’) у меня остыло* (Пинега).

Ср. в тех же говорах частицу *боле* со значением ‘бóлее, бóльше’: АОС: *Пойеjжáете? Боле не приéдете? Никогды бóле не жáлься, мáме не жáлься; Бóле зáмущ не поилá, и тág дорóдно; Как разбужúсь, так бóле и не уснú и т. п.* Можно предположить, что приведенные примеры содержат употребление не одной лексемы с разными значениями, но двух слов-омонимов, имеющих разные словообразовательные модели, разные значения и разные этимологии: *бóлее<sup>1</sup>* (‘бóлее, бóльше’) — лексема, возникшая в результате стяжения двух конечных гласных в форме сравнительной степени *бóлее*, и *бóле<sup>2</sup>* (‘ужé, тепérь, опять, снóба’) — форма, возникшая в результате сложения двух словообразовательных «кубиков» — элементарных частиц *бо* и *ле* (*ли*). Омонимы эти относятся к разным частям речи: *бóлее<sup>1</sup>* — наречие и *бóле<sup>2</sup>* — частица<sup>8</sup>.

В тех же говорах функционируют и сами эти элементы, словообразовательные «кубики», ср. примеры из [АОС, 2, 37—38], где *бо* — союз или частица: *Слюной брóсит, бо (=‘или’) мóхом; Бо (=‘если’) найдут как вош, дак такóю тебé пробóрцию даёт; Бо (=‘разве’) он у вас фските́л? Бо (=‘разве’) завтра прáзыник<sup>9</sup>?*

Многочисленны также и примеры употребления *ле* (*ли*) в текстах [РНГ 1991]: *Пойдеш Христá фстремáть, ф цéркофы, а то(г)дá нице ни éш, ну там укráткой, как ли уши у мáмки ли це ли* (с. 42); *Потóм одевáют уши, сатíновы ли, какие ле там вом* (платья) (с. 49); *Кашамíровы ли* (платья), *какие ле там бывали тоже* (с. 50); *А тиpéрь пойдеш ягоды собирáть-то, ходить-то ле так это ш* (с. 55).

Впрочем, в литературном языке тоже существуют омонимы *бóльше<sup>1</sup>* и *бóльше<sup>2</sup>* (*бóльше<sup>1</sup>* — сравнительная степень от наречия ‘много’ *Налей бóльше воды;* *Напиши писем еще бóльше* и частица *бóльше<sup>2</sup>* — ‘ужé, тепérь, опять’ — употребляется только в контекстах с отрицанием — *Не делай бóльше этого; Не ходи туда бóльше; Он бóльше не приходил*).

Эти лексемы могут различаться акцентогенными свойствами: в некоторых контекстах, где необходимо разграничить приведенные омонимы, акцентная или безакцентная реализация лексемы играет смыслоразличительную роль. Так, напр., обстоит дело в следующих двух высказываниях: *Таких издаñий не стало бóльше.* Ср.: *Таких издаñий не стáло бóльше.* Параллель «расщеплению» значения *больше*, отмеченному в литературном языке, можно усмотреть и в случае с диалектным

бale. (В таком случае приведенное выше рассуждение о возможном «склеивании» элементов *бо* и *ле* в севернорусских говорах не проходит.)

В диалектах в одном и том же значении (и в одном и том же говоре) могут употребляться разные частицы, ср. примеры: *Мне-ка туды не дойти* и *Мне-то туды не дойти*; *Они полопáтят кóсу сколь же немнóжко* [РНГ 1991, 54] и *Они полопáтят кóсу сколь-то немнóжко* и т. п. Небольшие различия в семантике между приведенными членами пар для носителя литературного языка трудно уловимы.

Лексемы, относящиеся к классу партикул, едва ли не единственные, способны менять свою семантику в зависимости от просодических характеристик. Так, существует противопоставление лексических значений у частиц *еще<sup>1</sup>* и *еще<sup>2</sup>*, выраженное просодически, на что впервые обратил внимание Д. Н. Шмелев [Шмелев 1958, 70]. Это открытие положило начало целому направлению в дискурсивной лингвистике, важнейшую роль в котором сыграли работы Т. М. Николаевой. С этой точки зрения были описаны акцентные свойства лексем *один* [Николаева 1979; 1982, 54—55; 1985, 123—124], а также *еще, вот и вон* [Николаева 1985, 122], *вообще и вовсе* [Апресян 1995, 188—189], *только и даже* [Богуславский 1985, 89], вопросительных слов *разве* и *неужели* [Апресян 1980, 51—52] и целого ряда других партикул.

Прямое отношение к теме настоящей статьи имеет просодически выраженное различие значений лексемы *неужели* в системе литературного языка и в некоторых русских говорах. В литературном языке это вопросительная частица, о многозначности которой см. [Баранов, Пайар 1998, 304—305], а в южнорусских говорах и в московском просторечии — это утвердительная частица. Разные значения *неужели*-переспроса в литературном языке передаются разными мелодическими контурами. Диалектное *неужели*-переспрос с утвердительным значением (так называемый риторический вопрос) в южнорусских говорах, напр. в рязанских (говорах Ряжского р-на Рязанской обл.), оформляется мелодическим контуром, отличающимся от литературного.

Т. М. Николаева пишет о том, что «...принципиальная размытость списка частиц связана с размытостью их семантики. А именно: они одновременно и многозначны, и синонимичны» [Николаева 2000, 305]. Это положение вполне справедливо и по отношению к частицам в говорах русского языка. Так, например, у частицы *бы* по данным ПОС 6 значений, у частицы *да* — 25 значений по данным АОС, у *дак* — 21 значение по тем же данным.

Как видно из вышесказанного, наиболее полный список (и наверняка до сих пор еще не закрытый<sup>10</sup>) представлен в севернорусских говорах. И если принять положение Э. Косериу о типологической классификации языков в зависимости от представленности в них частиц, то наиболее «партикульным» из русских диалектов окажется севернорусское наречие.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См. об этих фонетических вариантах [Касаткина 1988].

<sup>2</sup> Эта частица широко представлена в южнорусских текстах, см. [РНГ 1999].

<sup>3</sup> О наречиях *конь*, *тонь*, *сконь* и им подобных см. [Петрова 2004].

<sup>4</sup> См. также такие примеры, как *вчерьыся*, *вчерась*, *вчера́сяткось*, *вчера́сека* и др. в [Попов 1976, 100].

<sup>5</sup> Партикулы *эслив* — *ёслив* широко представлены в русских говорах Сибири, а также в псковских говорах.

<sup>6</sup> Омонимична этой частице частица *-й* в московском просторечии, употребляющаяся при местоименных словах *кто-й-то*, *где-й-то*, *куда-й-то* и т. п., см. об этом [Аванесов 1979].

<sup>7</sup> Ср. подобные местоимения в чешском языке.

<sup>8</sup> Возможно, то же самое относится и к слову *дале* в некоторых значениях в архангельских говорах. Напр., *Сказала дáле, что никудá не пойдú, а ушлá*; *Заткнíсь ты, дáле; Ну, слава бóгу, дáле, здéлат*; *Што молчáть, дáле, йезýк приросте в рóте* [АОС, 10; 242—243]. Элемент *да* также, как и *ли* (*lē*), весьма частотен в севернорусской речи и, по данным О. Г. Гецовой, может выступать в роли союза; частицы и вводного слова.

<sup>9</sup> В южнорусских говорах *бо* может быть как союзом, так и частицей, напр., *Ня пойдe, бо* (так как) *бóйтся яго* [СРНГ, 3; 34]; *Идí бо (=же), садíсь бо (=же), принесí бо (=же)* (Даль).

<sup>10</sup> Основания для такого предположения имеются, т. к. до сего времени в говорах обнаруживаются все новые лексемы, относящиеся к классу партикул. Так, в южнорусских говорах, лексические корпусы которых изучены меньше, чем корпусы севернорусских говоров, в последние годы, как было показано выше, были найдены частицы *во*, *ку*, *-сь*.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Аванесов 1979 — Аванесов Р. И. — Об одном фонетическом явлении, получившем синтаксическое значение в русском внелитературном произношении и диалектах // Звуковой строй языка. М., 1979.
- Апресян 1980 — Апресян Ю. Д. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл — Текст» // Wiener Slawistischer Almanach. Sdb. I. Wien, 1980.
- Апресян 1995 — Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Баранов, Пайар 1998 — Баранов А. Н., Пайар Д. Неужели // Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания / Ред. К. Киселева, Д. Пайар. М., 1998.
- Богуславский 1985 — Богуславский И. М. Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.
- АОС — Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой. Вып. 1—12. М., 1980—2004.
- Евтохин 1979 — Евтохин В. Б. Аранжировка диалектных текстов с помощью частиц // Севернорусские говоры. Вып. 3. Л., 1979.
- ИИ СРНГ — Инверсионный индекс к словарю русских народных говоров / Под ред. Ф. Гледни. СПб., 2000.
- Касаткина 1988 — Касаткина Р. Ф. Русская диалектная суперсегментная фонетика. Автореф. дис. ... докт. наук. М., 1988.
- Николаева 1985 — Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании на материале славянских языков. М., 1985.
- Николаева 2000 — Николаева Т. М. От звука к тексту. М., 2000.
- Николаева 2003 — Николаева Т. М. Пространство славянских партикул // Славянское языкознание: XIII Международ. съезд славистов. Любляна 2003. Доклады российск. делегации. М., 2003.

- Пауфошима 1983 — *Пауфошима Р. Ф.* Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983.
- Петрова 2004 — *Петрова А. К.* Энантиосемия наречий степени типа *каль, конь, сколь* в северных говорах // Мат-лы и исследования по русской диалектологии II (VIII). М., 2004.
- Попов 1976 — *Попов И. А.* Лексико-семантические группы наречий со значением ‘вчера’, ‘вечером’ // Диалектная лексика 1974. Л., 1976.
- ПОС — Псковский областной словарь / Под ред. Л. П. Костючук. Вып. 1—13. Псков; СПб., 1967—2003.
- РНГ 1991 — Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Севернорусские говоры // Приложение № 1 к Бюллетеню фонетического фонда / Под ред. Р. Ф. Касаткиной. Бохум, 1991.
- РНГ 1999 — Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Южнорусское наречие / Под ред. Р. Ф. Касаткиной. М., 1999.
- СГС 1999 — Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья / Под ред. Т. Б. Юмсуновой. Новосибирск, 1999.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова. Вып. 1—38 (А—С—). М.; Л.; СПб., 1965—2004.
- ССРНГ — Словарь современного русского народного говора / Под ред. И. А. Оссовецкого. М., 1969.
- СЯП 2000 — Словарь языка Пушкина. 2-е изд., доп. М., 2000.
- Шмелев 1958 — *Шмелев Д. Н.* Экспрессивно-ироническое выражение отрицания и отрицательной оценки в современном русском языке // ВЯ. 1958. № 6.

E. B. Урысон (Москва)

## МАТЕРИАЛЫ К СЕМАНТИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ РУССКОГО СЛОВА *И*\*

Татьяне Михайловне Николаевой к юбилею

### 0. Введение

**П**редлагаемая заметка посвящена семантической структуре русского слова *и*. Оно представлено в контекстах двух типов:

- (1) *Мне стало душно, и я вышел; Весной Петя и Маша поженились; С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своюравно* (А. С. Пушкин).
- (2) *А я стою — не знаю, что и сказать; Наконец все угомонились. Заснул и Вася; Последний класс [гимназии] проходила в Киеве, в Фундкleeевской гимназии, которую и окончила в 1907 году* (А. Ахматова).

В контекстах (1) слово *и* квалифицируется как сочинительный союз, в контекстах (2) — как частица. В некоторых словарях, в частности в [МАС], эти единицы подаются как омонимы. Однако [Словарь Ушакова] считает их лексемами<sup>1</sup> одного слова. На сходство союза и частицы *и* указывается и в лингвистической литературе, см., в частности, [Шведова 1960; Николаева 1985]. Наличие этих диаметрально противоположных точек зрения свидетельствует о том, что семантика как союза, так и частицы *и* с большим трудом поддается описанию. Это естественно — слово *и* обладает в высшей степени бедным, абстрактным значением, экспликация которого представляет особую проблему.

Нéобходимость семантического описания слова *и* диктуется и диахроническими задачами. Т. М. Николаева обратила внимание на то, что принятая этимология славянского *i* не вполне соответствует его функционированию. Данная единица принадлежит к числу языковых элементов, названных Т. М. Николаевой «партикулами» [Николаева 1985]. Партикула — это минимальная, т. е. неразложимая

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 02-04-00306а), гранта Президента РФ № НШ-1576.2003.6, Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте» (раздел 4.15), а также гранта 7-го конкурса-экспертизы Президиума РАН «Семантика, синтаксис и pragmatika служебных слов».

единица с абстрактной «дискурсивной» семантикой, причем эта единица, с одной стороны, может употребляться как самостоятельное слово (ср. союз и частицу *и*), а с другой — входит как составная часть в комплекс, который весь состоит из партикул, ср. *и-бо*, *и-ли*, *и-так* и т. п. Подавляющее большинство партикул, в том числе *i*, являются общеславянскими (так же как *a*, *no*, *da*, *li*, *tak* и другие). «Свобода поведения» партикул свидетельствует об их «первоначальной функциональной диффузности», свойственной коммуникативным единицам архаичного периода развития языка [Николаева 1985, 17]. Между тем многие из этих партикул, в том числе *i*, обычно возводят к застывшим падежным формам и.-е. местоимений. Так,  $i < *ei$  Loc. Sing. от указат. местоимения *\*e* (см., например, [ЭССЯ-8]). Получается, что партикулы «вторичны, а перед ними в более глубокой истории лежит мощно морфологизованный язык с падежами весьма разветвленными, с выраженным дейктическими местоимениями (...), но без частиц» [Николаева 1985, 18]. Однако «странно представить себе язык, где широко распространена система парадигм местоимений и уже отмечены их “застывшие” формы, но нет простых частиц-коннекторов» [Николаева 2003]. Иными словами, логичнее было бы считать, что первичны диффузные партикулы, лишь позднее «морфологизировавшиеся и разошедшиеся по частям речи» [Николаева 1985, 18].

Между тем, как отмечает Т. М. Николаева, в современном русском языке есть элемент, а именно, частица *и*, который, подобно и.-е. партикулам, легко меняет свою «позиционную привязку». «Очевидно, что неясное *i* ждет детального разбора, стратификации случаев и их классификации» [Николаева 2002].

В предлагаемой заметке делается попытка описать семантику неясного *и* русского языка<sup>2</sup>. Подобные кратчайшие слова представляют слишком небольшой полигон для действия фонетических законов, поэтому при их этимологическом анализе особенно важно обращение к семантике. Мы надеемся, что излагаемые результаты окажутся полезными для диахронических исследований.

### 1. Частица «и дейктическое»

На наш взгляд, в следующих высказываниях частица *и* является дейктическим словом, ср.:

- (3) *Ты меня извини, я про тебя и забыла* (Островский; пример из [Шведова 1960, 183]);
- (4) *Не знает, что и сказать* (написать) и т. п.;
- (5a) *Не знаем, где и поселить этих гостей.*

Данная частица *и* не употребляется вполне свободно — она тяготеет к контекстам с отрицанием (хотя бы имплицитным, как в *забыть*, т. е. относится к отрицательно поляризованным словам). Однако ее значение вполне вычленено из значения контекста.

Для того чтобы убедиться в дейктическости частицы *и* в этих случаях, сравним следующие высказывания:

- (5a) *Не знаем, где и поселить этих гостей* VS. (5b) *Не знаем, где поселить этих гостей.*

В (5а) речь идет о гостях, которые уже приехали или вот-вот должны приехать — по крайней мере, говорящий представляет себе ситуацию именно так. В (5б) говорящий может иметь в виду гостей, которые приедут лишь в отдаленном будущем. Иными словами, в (5а) время расселения, устройства гостей совпадает с временем речевого акта или очень близко ему. Высказывание (5б) подобного указания не содержит. Создается это различие частицей *и*.

Аналогичным образом обстоит дело с высказыванием (3). Заметим, что без частицы *и* оно звучало бы гораздо жестче,ср.:

(3а) *Ты меня извини, я про тебя забыла.*

Действительно, последнее высказывание можно понять так, что говорящий вообще забыл про адресата. Высказывание (3) не имеет такого категорического характера: в данном случае говорящий забыл лишь про то, что должно иметь место в момент речевого акта — например, то, что адресат должен был прийти или что-то получить у говорящего именно в это время.

Ср. также:

- (6а) *Не знает, что и писать ему* [скорее всего, говорящий уже собирается писать, сел за письмо] VS. (6б) *Не знает, что писать ему* [возможно, говорящий не собирается писать];
- (7а) *Я и не знал, что тут канавка* (Л. Толстой; пример из [Шведова 1960, 183]) VS. (7б) *Я не знал, что тут канавка* [первое высказывание, в отличие от второго, уместно лишь в тот момент, когда говорящий только что наткнулся на канавку].

Частица *и* в рассмотренных случаях указывает на совпадение времени некоторой ситуации [например, ‘писать письмо’ в (6а), ‘приезд и устройство гостей’ в (5а)] с временем речевого акта.

Будучи дейктической, данная частица плохо совместима с кванторами всеобщности. Так, нормально *Никогда не знаем, где поселить гостей*, но вряд ли допустимо *“Никогда не знаем, где и поселить гостей”* — слово *никогда* указывает на всю временнную ось и несовместимо с конкретным указанием на время ситуации. Так же нормально *Вообще не знает, что отвечать*, хотя как минимум крайне сомнительно *“Вообще не знает, что и отвечать”* — слово *вообще* предполагает ситуацию, не ограниченную моментом речи. Аналогичным образом, нормально *Ты меня извини, я про это совершенно (начисто) забыл*, однако плохо *“Ты меня извини, я про это совершенно (начисто) и забыл (и забыл совершенно про это)”*.

Дейктическая частица *и* располагается непосредственно перед словом, обозначающим ту ситуацию, время которой совпадает с временем речевого акта, причем само это слово выделяется просодически.

Дейктическая частица *и* стилистически отмечена как разговорная.

## 2. Набор анафорических значений частицы *и*

Дейктические слова обычно имеют анафорические значения или употребления:  
Ср. *Делай так* [с указанием на конкретный объект; *так* — дейктическая лексе-

ма] — Так было со всеми нами [как я рассказал; отсылка к предыдущей части текста; так — метатекстовое слово]; Такие люди не могут ходить самостоятельно [с указательным жестом, направленным на конкретных людей] — Такие люди всегда выходят сухими из воды [отсылка к предыдущему описанию].

Толкование анафорического значения слова содержит компонент, отсылающий к объекту, уже упомянутому в предшествующем тексте. При этом значение слова может целиком сводиться к такой отсылке. Ср. слово он (в форме его) в следующем тексте: Этому дереву больше 100 лет. Говорят, его посадил последний хозяин усадьбы. В этом случае с помощью анафорического слова устанавливается тождество между данным объектом (или ситуацией) и уже упомянутым объектом (ситуацией). Это анафора в узком смысле.

Однако анафорическое значение может быть и шире, т. е. включать в себя, наряду с отсылкой, еще и какие-то другие компоненты. Таковы, например, слова другой, остальной и т. п. Ср. Некоторые картины сохранились хорошо, другие требовали реставрации; Эти студенты проходят практику в университете, а остальные — в разных научно-исследовательских институтах. Значение слов другой, остальной и т. п. не сводится к установлению тождества между данным объектом и упомянутым. Это анафора в широком смысле.

У частицы *и* есть анафорические значения обоих типов.

**2.1. Частица «и тождества объектов» (*Вот <вон> и озеро*).** Высказывания вида *Вот <вон> и X* уместны лишь в том случае, если: а) объект X появляется в поле зрения говорящего и адресата, причем говорящий, возможно, указывает на X; б) речь об X-е уже шла. Произнося высказывание *Вот <вон> и X*, говорящий идентифицирует данный объект, называемый *X*, с уже упоминавшимся объектом<sup>3</sup>.

Ясно, что ограничения (а) и (б) создаются всем комплексом частиц *вот <вон>* и. Иными словами, сочетания *вот и* и *вон и* выражают и дейксис (а), и анафору (б). Однако каждая частица в комплексе имеет свое, четко очерченное значение. На долю *вот <вон>* приходится дейксис как таковой, ср. высказывания *Вон Петя, а вон Маша; Вот моя последняя картина* и т. п., в которых выражен только дейксис. На долю частицы *и* приходится анафора. Действительно, при невыполнении условия (б) частица *и* неуместна. Ср.:

(8) *А вот и наши лучший студент Петя Иванов* [о Пете Иванове уже говорили] VS. *А вот наши лучший студент Петя Иванов* [Петя Иванов, скорее всего, упоминается впервые].

Указывая на тождество данного объекта уже упоминавшемуся, частица *и* сближается с определенным артиклем: она «является оператором определенности, снимая неопределенность имени, характерную для позиции конца русского высказывания: *Вот мальчик* (опред. / неопред.?) и *Вот и мальчик* [Birkenmaier 1979]» [Николаева 1985, 11—12]. Все же частица *и* не вполне подобна определенному артиклю: она может указывать на тождество данного объекта какому-то одному из подразумеваемого множества. Ср.:

- (9) *Вам следует обратиться к профессору Меркулову. Вот и врач из его отделения*  
 [частица *и* указывает на тождество данного врача одному из врачей, входящих в подразумеваемое множество сотрудников профессора Меркулова].

Ясно, что несмотря на такую предупомянутость слово *врач* в приведенном тексте требует неопределенного артикля.

Частица *и* в данном значении употребляется не только в составе «действительных» комплексов *вот* *и* *вон* *и*. Для нее очень характерен комплекс *и есть*, ср.

- (10) *Этот человек и есть твой отец;*

- (11) *Екатерина Андреевна Карамзина и есть эта «утаенная любовь» Пушкина* (пример из работы [Падучева 1987]).

Высказывание вида *X и есть Y* уместно лишь в том случае, если именные группы *X* и *Y* обозначают референты, уже упоминавшиеся в тексте.

Действительно, «предложение *Екатерина Андреевна Карамзина и есть эта «утаенная любовь» Пушкина* (пример из работы [Падучева 1987]) просто не может быть употреблено, если в предшествующем тексте не шла уже речь о Е. А. Карамзиной и некоей женщине, которую тайно любил Пушкин» [Шатуновский 1990, 62].

Произнося высказывание *X и есть Y*, говорящий устанавливает тождество между уже упоминавшимися объектами *X* и *Y* (обозначаемыми именными группами *X* и *Y*).

Предложения типа (10)–(11) входят в класс предложений тождества, которому посвящена большая литература, в частности [Арутюнова 1976; Вайс 1985; Падучева 1987; Шатуновский 1990]. В двух последних работах подробно исследуются и предложения типа *X и есть Y*. Однако в большинстве исследований рассматривается значение всего этого комплекса. На наш взгляд, комплекс *X и есть Y* естественно описывать по аналогии с комплексом *Вот <вон> и X* (а также со случаями ниже), т. е. приписывать частице *и* анафорическое значение: именно она указывает на тождество данного объекта уже упомянутому<sup>4</sup>.

Отметим, что *вот <вон> и и есть* — далеко не единственные комплексы, которые образуются с участием слова *и* (см. о таких комплексах частиц уже цитированную книгу [Николаева 1985]). Системное описание семантики всех подобных соединений представляет собой отдельную большую задачу.

**2.2. Частица «и тождества ситуаций» (*Так я и попал в Харбин*).** Анафорическая частица *и* может отсылать не только к предметному имени, но и к обозначению ситуации. Ср.:

- (12) *В деревне и начались его несчастья.*

Высказывание (12) предполагает обязательный предтекст, в котором уже шла речь о том, что у говорящего в какой-то момент жизни начались несчастья. Действительно, тот же пример, но без *и*, подает данные события как неизвестное адресату; ср. *В деревне начались его несчастья*. Ср. аналогичный пример:

(13) *Эта дорога и привела нас к озеру.* [в предтексте уже шла речь о некоторой дороге, которая привела говорящего и тех, кто был с ним, к озеру].

Частица *и* в подобных примерах устанавливает тождество между описываемой ситуацией и некоторой упомянутой.

При этом частица *и* может одновременно служить и для идентификации референта одного из актантов упомянутой ситуации. Ср.:

(14) *Послушала она, поняла — караулят кого-то, а ее и караулили* (И. Бажов, из книги [Шведова 1960, 180]);

(15) *Он к нам только на минуту заходил. — Так он и взял словарь* [уже шла речь о ситуации ‘кто-то взял словарь’].

В данном случае у ситуаций ‘каруяют кого-то’ и ‘каруяют ее’ (равно как и ‘кто-то взял словарь’ и ‘он взял словарь’) актанты разные. Однако частица *и*, устанавливая тождество между ситуациями, отождествляет референты обсуждаемых актантов.

Во многих случаях данная ситуация и упоминавшаяся не тождественны в строгом смысле этого слова — они различаются с точки зрения модальности<sup>5</sup>. Так, в следующих примерах, приводимых в статье [Николаева 2002], данная ситуация имеет место в действительности, а упоминавшаяся лишь желательна:

(16) *Вы бы поехали в «Икею». — Я там и купила; Ему нужно продавать компьютеры. — Он и продает их.*

Ср. также следующий пример:

(17) *Почему ты не сказал мне об этом? — Я и хотел сказать, а потом раздумал...*  
(Короленко, пример из [Шведова 1960, 180]).

Ситуация, к которой отсылает частица *и*, может не называться, а лишь подразумеваться. Ср.:

(18) *У вас беспризорники унесли, а я детдомовский. — Вот детдомовские-то и разбойники* (Каверин, пример из [Шведова 1960, 180]; говорящим подразумевается ситуация ‘детдомовские являются разбойниками’).

Как видно из приведенных примеров, данная частица характерна для диалогов.

Будучи анафорическим показателем тождества, частица *и* охотно сочетается с другими анафорическими и дейктическими показателями. Ср.:

(19) *Вот тут он и жил* [частицы *вот* и *тут* выполняют дейктическую функцию, а частица *и* — анафорическую].

(20) *Так я и попал в Харбин* [две анафорические частицы — *так* и *и*].

«*И* тождества ситуаций» отличается от «*и* тождества объектов» лишь характером соотносимых (отождествляемых) сущностей. Ср. *Вот и сторож. Он вас и проводит* [уже шла речь и о стороже, и о том, что кто-то должен проводить адресата; первое *и* устанавливает тождество между данным человеком и уже упоминавшимся, а второе — между обсуждавшейся ситуацией провожания и той, ко-

торая будет иметь место]. Возможно, перед нами единая лексема, имеющая разные употребления<sup>6</sup>.

Рассматривая диалоги типа (16), Т. М. Николаева назвала частицу *и* в них «определенным артиклем при глаголе» [Николаева 1985; 2002]. Наша интерпретация рассмотренных случаев вполне согласуется с этим названием.

### 2.3. Частица «*и* тождества времени и места» (*Вдруг отец и говорит...*)

Следующее значение частицы *и*, очень близкое рассмотренному, представлено в примерах, приводимых в книге [Шведова 1960, 180], ср.:

- (21) Читала *и как-то про вас вспомнила*, а вы и пришли (Н. Лесков);
- (22) Она выйдет со своей крепостною, а ты и сидишь на рубежечке, поджидаешь (Н. Лесков).

Обсуждая эти примеры, Н. Ю. Шведова говорит о «временном совпадении» ситуаций и раскрывает семантику частицы *и* через «как раз» [Н. Ю. Шведова 1960, 180]. По-видимому, частица *и* в данных случаях указывает еще и на совпадение места, т. е. служит для обозначения «единства времени и места» двух ситуаций.

Действительно, видоизменим пример (21), в частности, удалим из него частицу *и*, ср.:

- (21a) Читала *и как-то про вас вспомнила*. Вы пришли.

Этот пример допускает разные продолжения. Например, возможно такое:

- (21b) Читала *и как-то про вас вспомнила*. Вы пришли к нам в первый раз чем-то расположенный.

В (21b) нет «единства времени» двух ситуаций — и вставка *и* дает неудачный результат; ср.:

- (21b) \*Читала *и как-то про вас вспомнила*. Вы и пришли к нам в первый раз чем-то расположенный.

При этом точно так же частица *и* вряд ли может быть помещена в следующий контекст, ср.:

- (22a) ...Она гуляет, а ты где-нибудь рыбу ловишь — (22б) ?Она гуляет, а ты и ловишь где-нибудь рыбу.

Действительно, в (22б) нет «единства места» двух ситуаций. Достаточно, однако, видоизменить этот пример так, чтобы он содержал указание на такое единство места, и частица *и* становится уместной. Ср.:

- (22b) Она гуляет, а ты и ловишь рыбу неподалеку.

Единство времени и места двух ситуаций может обозначаться в высказывании разными средствами, и тогда частица *и* в данном значении согласуется с контекстом. Ср.:

- (23a) Вот тут-то Алексей и совершил промах (Половой, [МАС]; анафорические показатели — *вот, тут-то, и*).

(236) *Сидит семья, обедает. Вдруг отец и говорит... [на единство места и времени указывает не только частица и, но и весь контекст, ср., в частности, слово *вдруг*].*

Допускается, чтобы «единство времени и места» понималось не вполне буквально. Реально одна ситуация может быть отделена от другой каким-то относительно небольшим промежутком времени, однако говорящий подает данные ситуации как локализованные в пределах единого компактного периода. Поэтому допустим следующий текст:

(24) *В то воскресенье обедали вместе. А через три дня отец и сказал, что продает дом.*

Ср. в связи с этим следующий сомнительный пример, в котором описываются ситуации, разделенные достаточно большим промежутком времени:

(24а) *В то воскресенье мы обедали вместе. А через полгода отец и сказал, что продает дом.*

Отметим, что этот же текст, но без частицы и, вполне нормален; ср.:

(24б) *В то воскресенье мы обедали вместе. А через полгода отец сказал, что продает дом.*

Обычен случай, когда первая из названных ситуаций непосредственно примыкает по времени ко второй. Ср.:

(25) *Он работал на этом факультете. Отсюда и ушел на фронт.*

Частица «и тождества времени и места» располагается непосредственно перед словом, обозначающим ту ситуацию, время и место которой указывается через ссылку к другой ситуации.

Предложение, содержащее данную частицу и, часто вводится союзом а, ср. примеры выше. Дело в том, что союз а выступает здесь как маркер «поворота по-вествования» (см. об этом ниже), и возникает необходимость специально указать, что место и время описываемого не изменились. В целом, данная частица придает тексту особую спаянность.

**2.4. Частица «и включения упомянутого объекта в множество упоминавшихся объектов» (*Все затихли. Уснул и мальчик*). Отдельную лексему, которая в некотором смысле является комбинацией «и тождества объектов» и «и тождества ситуаций», мы усматриваем в высказываниях вида *P и X*. Ср.:**

(26) *Все угомонились. Уснул (P) и мальчик (X);*

(27) *Пришла Маша. Через некоторое время явился (P) и Петя (X).*

В контекстах этого вида частица и указывает на то, что объект X, обозначение которого она выделяет [мальчик в (26), Петя в (27)], уже упоминался или хотя бы подразумевался говорящим. Тем самым частица и выступает здесь как показатель определенности и сближается с «и тождества объектов».

Кроме того, высказывание вида *P и X* предполагает, что в предтексте говорилось и о ситуации вида ‘Y P’, где P' — предикат, тождественный предикату Р или

сходный с ним (т. е. имеющий большую общую часть смысла с предикатом Р). Тем самым частица *и* здесь аналогична слову *тоже*: высказывание *Уснул и мальчик* (квази)синонимично высказыванию *Мальчик тоже уснул*. Отсылка к предикату Р' сближает частицу *и* в этих контекстах с частицей «*и* тождества ситуаций».

В целом, данная частица (кратко: «*и* включения в множество объектов») указывает на то, что говорящий, на основании тождества или сходства Р и Р', объединяет уже упоминавшийся определенный объект X с объектом Y, представляя их как элементы одного множества<sup>7</sup>.

**2.5. Частица «*и* отсылки к ожидаемому» (*Меня позвали, я и пришел*).** Этую лексему мы усматриваем в следующих примерах, ср.:

- (28) *Меня позвали (P), я и пришел (Q); Его уговаривали (P), он и пил (Q);*
- (29) *Он начал ухаживать за Машей (P). На ней потом и женился (Q);*
- (30) *Последний класс [гимназии] проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии (P), которую и окончила в 1907 году (Q)* (А. Ахматова).

В подобных контекстах частица *и* выражает смысл, близкий причинно-следственному, однако более слабый. Она указывает на то, что при наличии ситуации Р ситуация Q естественна, нормальна, что таково ожидаемое говорящим и адресатом положение дел.

Некоторое положение дел может быть ожидаемым, поскольку является вообще обычным. Представление о таком нормальном положении дел является общим для всех говорящих, т. е. закреплено в языке. Это продемонстрировал В. З. Санников, показав, что употребление некоторых союзов, прежде всего *но* и *а*, опирается на весьма абстрактные представления о жизненных закономерностях, т. е. на представления о тех «общих принципах, с которыми говорящий вынужден считаться, хотя, будучи осознанными, они в применении к конкретной ситуации могут показаться ему странными» [Санников 1989, 162]<sup>8</sup>.

Один из этих общих принципов формулируется так: «нормально, когда намерения, обещания, побуждения осуществляются» [Там же]. На соблюдение этого принципа и указывает частица *и* в примерах (28)—(30). Действительно, если этот принцип не соблюдается, то частица *и* неуместна. Ср. плохие высказывания (28а), а также pragmatische сомнительные тексты (29а)—(30а):

- (28а) *”Меня позвали (P), я и не пошел (Q); ”Его уговаривали (P), он и не пил (Q);*
- (29а) *Он начал ухаживать за Машей (P). Ее потом и бросил (Q);*
- (30а) *Он поступил в университет. Его и не кончил.*

Возможны и более частные ожидания говорящего и слушающего, не имеющие прямого отношения к каким-либо «общим принципам», а просто вытекающие из конкретной ситуации. Ср. модифицированный пример из книги [Санников 1989]:

- (31) *Коля ушел домой (P), вот Петя и остался в школе (Q).*

Фраза (30) предполагает, что ситуация Р вызвана ситуацией Q, причем говорящий и адресат ожидали именно такого положения дел.

Высказывание *Q* с частицей *и* предполагает определенный предтекст — частица *и* является анафорической в том смысле, что отсылает к упоминавшейся ранее ситуации *P*. Кроме того, она отсылает и к ожиданиям говорящего и адресата (в частном случае — к общезыковому представлению о нормальном положении дел), причем указывает на характер связи между двумя ситуациями: при ожидаемом (нормальном) положении дел ситуация *P* сопровождается ситуацией *Q* или же за *P* в норме следует *Q*.

По своей семантической специфике частица «*и* отсылки к ожидаемому» максимально сближается с союзами, такими как *но*, *а*, *хотя*, — именно они указывают на соответствие или несоответствие описываемого положения дел представлению о «жизненных закономерностях».

### *3. Частица и ≈ ‘даже’: «и включения ситуации в множество аналогичных ситуаций» (Я и не мечтал об этом)*

Следующая лексема частицы *и* не является анафорической. Она представлена в отрицательных высказываниях вида *X и не P*, ср.:

- (32) Я (*X*) и не подозревал (*P*) о существовании этого магазина; Он (*X*) и не думал (*P*) о продаже имения; Я (*X*) и во сне этого не видел (*P*).

Частица *и* предполагает здесь множество ситуаций *Q*, аналогичных данной ситуации *P*, причем для *Q* тоже верно: ‘*X не Q*’. Например, субъект мог бы знать о существовании данного магазина, или интересоваться им, или заходить в него и т. п., однако ничто из этого не имело места.

Важно, что если не имеет место *P*, то заведомо не имеют место все другие ситуации из множества *Q*. Действительно, если субъект не подозревал о существовании магазина, то он не мог ни интересоваться им, ни заходить в него и т. п. В этом отношении данная частица *и* семантически аналогична лексеме *даже* (см. описание слова *даже* в работах [Крейдлин 1975; Богуславский 1996]) и часто подается как ее синоним [МАС; БАС]. Однако в отличие от *даже* данная частица *и* тяготеет к отрицательным контекстам (т. е. относится к отрицательно поляризованным словам).

Рассматриваемая лексема, хотя и не является анафорической, но отнюдь не стоит особняком в системе значений частицы *и*. Она очевидным образом сближается с «*и включения в множество объектов*». Кроме того, данная частица сближается с «*и отсылки к общим закономерностям*» — поскольку тоже указывает не на предтекст, а на нечто вне текста, в данном случае — на некоторое множество ситуаций, ассоциированное с данной.

### *4. Союз и*

Союз *и* достаточно подробно анализировался нами в работе [Урысон 2000], поэтому здесь мы ограничимся беглым перечислением его сходств с частицей *и*.

**4.1. Союз «и отсылки к ожидаемому» (*Его позвали, и он пришел*).** Союз *и* многозначен. Одно из его значений обычно называют причинно-следственным. Оно представлено в примерах:

- (1) *Мне стало душно, и я вышел;*
- (33) *Подул ветер, и с деревьев полетели желтые листья.*

Заметим, что в этих высказываниях причинно-следственное отношение выражается всем контекстом. Однако существуют и такие примеры, в которых причинно-следственное значение выражается только союзом *и*, причем не навязывается ни контекстом, ни нашим знанием действительности. Ср. материал, приводимый В. З. Санниковым [Санников 1989, 186]:

- (34) *Коля ушел домой, а Петя остался в школе;*
- (35) *Коля ушел домой, Петя остался в школе;*
- (36) *Коля ушел домой, и Петя остался в школе.*

В этих фразах описаны одни и те же ситуации (события) — уход Коли домой и пребывание Пети в школе. Однако связаны эти ситуации по-разному. В первых двух примерах они поданы как независимые, в частности, Петя мог и не знать об уходе Коли. А в примере (36) эти ситуации связаны причинно-следственным отношением. «Петя наверняка знал об уходе Коли, и пребывание Пети в школе связано с уходом Коли, является нормальной реакцией на этот уход. И приписать это значение нормального следствия можно лишь союзу *и* — поскольку все остальные компоненты во фразах совпадают» [Санников 1989, 186].

Обратим внимание на семантическую организацию данной лексемы союза *и* — в ее толковании выделяются два компонента: (а) ‘ситуация Р является причиной ситуации Q’ и (б) ‘это ожидаемое положение дел’. Иными словами, компонент (а) предполагается известным и говорящему, и слушателю, т. е. имеет статус пресуппозиции. Этим союз *и* принципиальным образом отличается от обычных причинно-следственных слов и выражений, ср. *по причине, поэтому, из-за этого, в результате* и т. п. Поэтому мы будем называть данное значение не причинно-следственным, а «*и отсылки к ожидаемому*».

Ту же лексему союза *и*, указывающую на нормальное положение дел, можно усматривать и в следующих случаях, ср.: *Его позвали, и он пришел; Его угостили, и он пил* и т. п. [Левин 1970].

Очевидна близость данного союза к частице «*и отсылки к ожидаемому*». Ср. синонимию следующих высказываний: *Коля ушел домой, и Петя остался в школе* — *Коля ушел домой, вот Петя и остался в школе; Его позвали, и он пришел* — *Его позвали, он и пришел; Его угостили, и он пил* — *Его угостили, он и пил*. Союз *и* в данном значении тоже анафоричен, поскольку отсылает к ситуации, описанной в первом сочиненном предложении.

Указывая на причинно-следственное отношение, союз *и* охотно сочетается со словами *поэтому, потому, следовательно, тогда* и т. п. Ср. *Он уезжает, и поэтому она несчастна; Маша в кино, и, следовательно, квартира не убрана; Бабы выходили на работу в поле в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные*

девки казались стройнее античных статуй (А. Ахматова). Правда, в данном случае тесно спаянные комплексы типа *вот и* (*озеро*) или *и есть* не образуются.

**4.2. Союз «и нормального развития повествования».** Это значение союза *и* мы усматриваем в следующих примерах,ср.:

- (37) *Ваня сидел и ел творог, и творог был очень вкусным;*
- (38) *Отец занимался тогда французским, и преподаватель ходил к нему на дом;*
- (39) *Мы ехали в мягком вагоне, и проводником у нас был совсем молодой парень.*

Для того чтобы уловить семантику союза *и* в этих высказываниях, заменим в них союз *и* на *а*. Ср.:

- (37) а. *Ваня сидел и ел творог, и творог был очень вкусным* — б. *Ваня сидел и ел творог, а творог был очень вкусным.*

Фраза (37а) выражает эмпатию к субъекту: она описывает не столько объективный вкус творога, сколько ощущение Вани. В результате высказывание (37а) синонимично следующему:

- (40) *Ваня сидел и ел творог, и творог казался ему очень вкусным.*

Что касается предложения (37б) — с союзом *а*, то в нем информация о вкусе творога подается как совершенно объективная, не зависящая от восприятия данного конкретного субъекта (Вани). Поэтому (37б) несинонимично высказыванию (40). При этом если мы заменим в (40) союз *и* на *а*, то получим плохое предложение:

- (40а) *"Ваня сидел и ел творог, а творог казался ему очень вкусным."*

Мы интерпретируем данный материал следующим образом.

В примере с *и* оба сочиненные предложения развивают одну и ту же тему, оба повествуют о Ване. Союз *а*, напротив, подает второе сочиненное предложение как начинающее новую тему: первое предложение повествует о Ване, а второе — о твороге. В свете этого неудачность примера (40а) легко объяснима. В данном предложении оба сочиненные предложения — на одну и ту же тему, оба повествуют о Ване: на это указывает глагол *казался* во втором сочиненном предложении. Поэтому союз *а* здесь совершенно неуместен — он подает второе предложение как открывающее новую тему, но это противоречит лексическому контексту.

Союзы *и* и *а* в подобных контекстах являются маркерами организации текста. Союз *и* — это сигнал того, что повествование «развивается по прямой». Союз *а* — маркер «поворота повествования»<sup>9</sup>.

Союзы *а* и *и* в описанном значении обеспечивают тонкое коммуникативное различие и между примерами внутри следующих пар. Ср.:

- (38) а. *Отец занимался тогда французским, и преподаватель ходил к нему на дом* —  
б. *Отец занимался тогда французским, а преподаватель ходил к нему на дом.*

Во фразе с *и* второе сочиненное предложение подано как развивающее тему первого — оно тоже «про отца, про его занятия французским». В примере с *а* второе

рое сочиненное предложение подано как начинающее новую тему: первое предложение повествует об отце, а второе — о его преподавателе.

- (39) а. *Мы ехали в мягком вагоне, и проводником у нас был совсем молодой парень* — б. *Мы ехали в мягком вагоне, а проводником у нас был совсем молодой парень*.

Во фразе (39а) первое сочиненное предложение повествует о езде субъекта в мягком вагоне, и второе предложение продолжает тему первого. В примере (39б) первое предложение повествует о езде субъекта в мягком вагоне, а второе — о проводнике.

Теоретические проблемы, возникающие при описании этих лексем, подробно рассматриваются в работе [Урысон 2000]. Сейчас отметим анафоричность союза «и нормального развития повествования»: он соотносит тему, развиваемую во втором сочиненном предложении, с темой развивающейся в первом предложении, указывая при этом на общность тем<sup>10</sup>.

**4.3. Союз «и сходства ситуаций».** Особое значение союза *и* мы усматриваем в следующих примерах<sup>11</sup>, сп.:

- (41) *Коля рыжий, и Петя рыжий* (рыжеватый); *Работают ребята одинаково хорошо*.  
*Коля выполнил норму на 103 %, и Петя выполнил норму на 103,2 %.*

В этих фразах говорящий специально указывает на сходство двух ситуаций, а средством такого указания является союз *и*. Действительно, в соответствующих бессоюзных фразах говорящий фокусирует внимание скорее на различии ситуаций. Ср. *Коля рыжий, Петя рыжеватый; Коля выполнил норму на 103 %, Петя выполнил норму на 103,2 %.*

В книге [Санников 1989] отмечено, что данной лексеме союза *и* четко противопоставлен союз «*а* сопоставления». Ср.: *Коля рыжий, а Петя рыжеватый; Коля выполнил норму на 103 %, а Петя выполнил норму на 103,2 %.* Союз «*а* сопоставления» высвечивает не сходство, а, напротив, различие ситуаций.

Специфика высказываний с данной лексемой союза *и* описана в работах [Санников 1989; Урысон 2000]. Сейчас отметим анафоричность данной лексемы — указывая на сходство ситуаций, она отсылает к ситуации, упоминавшейся в первом сочиненном предложении. Союз «*и* сходства ситуаций» сближается с частицей «*и* включения объекта в множество» *и*, отчасти, с «*и* тождества ситуаций».

**4.4. Союз «*и* закрытого перечисления».** Данная лексема союза *и* соединяет однородные члены предложения. Ср.:

- (1а) *Весной Петя и Маша поженились; С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своеобразно* (А. С. Пушкин).

Хорошо известно, что ряд однородных членов, оформляемый союзом *и*, указывает на законченность перечисления. Для нас существенно, что говорящий, перечисляя объекты, объединяет их в множество, т. е. усматривает в них нечто общее. Эта общность тривиальным образом проявляется в том, что всем данным элементам предицируется один и тот же признак (ср. *Ваня, Петя и Даша пошли*

гулять) или, наоборот, элементы множества сами являются признаками, которые предицируются одному и тому же объекту (ср. *веселый и умный мальчик*).

Лексема «и закрытого перечисления» очевидным образом очень близка частице «и включения упомянутого объекта в множество». Данный союз «тривиально анафоричен»: вводя последний компонент перечисления, он предполагает и ранее перечисленные элементы того же множества.

### 5. Структура многозначности слова *и*

Значения союза и частицы *и* тесно связаны. Почти все они анафоричны. Одна из неанафорических частиц дейктична: «*И* дейктическое» и является наиболее простой, логически исходной лексемой многозначного слова *и*. Что касается анафорических значений, то их можно ранжировать в соответствии с предложенной выше последовательностью описания. В самом конце иерархии окажутся значения союза, причем последним будет «*и* закрытого перечисления».

Данная иерархия значений слова *и* представляет собой некий конструкт, который эксплицирует логику (не историю) развития значений слова. Этот конструкт мы называем логической схемой, или логической структурой, полисемии.

Мы не исключаем, что логическая схема полисемии слова в какой-то степени отражает реальную историю развития его значений. Разумеется, история слова предполагает не только развитие новых (или утрату старых) значений слова, но и перестройку их иерархии: центральное значение оттесняется на периферию, какие-то значения становятся стилистически отмеченными и т. п. Так, в нашем случае логически исходное дейктическое значение слова *и* оказывается чуть ли не последним в современной иерархии его значений. И напротив, логически последнее «*и* закрытого перечисления» становится по употребительности центральным значением современного слова *и*. Ясно, что такая перестройка иерархии (которой в частном случае может и не происходить) в каком-то смысле является вторичным явлением — она накладывается на логическую схему полисемии<sup>12</sup>.

С точки зрения логики развития значений русское *и* — это дейктическо-анафорический показатель. Заметим, что в семантике слова *и* не обнаруживается никаких указаний на локативность. Общепринятая этимологическая гипотеза: *i* < \**ei* Loc. Sing. от указат. местоимения \**e* — требует согласования с этим фактом.

Для нас важно, что слово *и* может обозначать тождество сущностей, достаточно разных по своей природе — от тождества конкретных референтов до тождества тем повествований. Этой сочетаемостной неизбирательности соответствует разная частеречная принадлежность лексем данного слова.

Синтаксическая «расплывчатость» слова *и* может интерпретироваться как след функциональной диффузности коммуникативных единиц, реконструируемых исследователями для архаического периода развития языка [Gonda 1954; Николаева 1985]. В целом, русское слово *и* хорошо демонстрирует набор свойств, характерный для партикул, постулируемых Т. М. Николаевой.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В соответствии со словоупотреблением, принятым в Московской семантической школе, мы называем лексемой слово в одном из его значений.

<sup>2</sup> Мы опираемся на свою первую попытку описания семантики союза и частицы *и* [Урысон 2000]. Общность некоторых значений частицы *и* выявляется в работе [Широкова 1982]. Наша интерпретация материала отличается от описания, предложенного Е. Г. Широковой, хотя и не противоречит ей.

<sup>3</sup> Более точно: референт данной синтаксической группы *X* идентифицируется с референтом одноименной группы *X* из предтекста.

<sup>4</sup> Роль частицы *и* как специального показателя тождества в предложениях этой структуры отмечается в работе [Aoшуан Тань 1990]. Правда, в этой работе имеется в виду тождество X-а Y-у, а не тождество каждого из этих объектов уже упоминавшимся.

<sup>5</sup> По-видимому, применительно к этому случаю естественно говорить о концептуальном тождестве, тогда так в случаях (10)–(13) — о субстанциальном тождестве ситуаций. О различии этих двух видов тождества см. работу [Падучева 1990].

<sup>6</sup> О лексикографических понятиях «значение» и «употребление» слова см. работу [Апресян 2001].

<sup>7</sup> Отметим, что тождество и подобие — это глубинно родственные понятия, предполагающие сравнение объектов или их признаков; см. анализ концептов сходства и тождества в работе [Арутюнова 1990].

<sup>8</sup> См. в связи с этим работу [Мартемьянов, Дорофеев 1983], где похожие принципы («аксиомы действительности, общечеловеческие утверждения и принципы поведения») обнаружены на совершенно ином материале — при анализе содержания «Максим» Ларошфуко.

<sup>9</sup> В работах [Санников 1989; Крейдлин, Падучева 1974 а, б] рассматриваемая лексема союза *а* называется «*а* присоединения». Подробнее о союзах *а* и *и* в данном значении см. [Урысон 2002]. Заметим, что о текстообразующей (или метатекстовой) функции союзов писал еще Лейбниц в «Новых опытах о человеческом разумении» (кн. 3, гл. 7, параграф 5). См.: Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М., 1983. В русистике последних лет текстообразующая функция сочинительных союзов описывалась И. К. Кручининой [Кручинина 1984].

<sup>10</sup> С некоторой долей условности к этой же лексеме можно отнести и союз *и* в абсолютном начале текста, когда первый из сочиненных компонентов отсутствует. Ср. *И встретил Иаков в долине Рахиль* (А. Ахматова). Союз *и* создает ощущение продолжения какого-то текста, причем повествование «развивается по прямой».

<sup>11</sup> Эти примеры мы заимствовали из книги [Санников 1989, 172—173], где они рассматриваются с несколько иной интерпретацией.

<sup>12</sup> Еще один ясный случай перестройки логической схемы полисемии описан нами на примере слова *дух* [Урысон 2003].

## ЛИТЕРАТУРА

Aoшуан Тань 1990 — Aoшуан Тань. Предложение тождества и акт отождествления (на материале китайского языка) // Тождество и подобие. Сравнение и идентификация / Проблемная группа «Логический анализ языка»; Под ред. Н. Д. Арутюновой. М., 1990.

Апресян 2001 — Апресян Ю. Д. Значение и употребление // Вопр. языкоznания. 2001. № 4.

Арутюнова 1976 — Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976.

- Арутюнова 1990 — *Арутюнова Н. Д.* Тождество и подобие (заметки о взаимодействии концептов) // Тождество и подобие. Сравнение и идентификация / Проблемная группа «Логический анализ языка»; Под ред. Н. Д. Арутюновой. М., 1990.
- Богуславский 1996 — *Богуславский И. М.* Сфера действия лексических единиц. М., 1996.
- БАС — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.; Л., 1948—1956.
- Вайс 1985 — *Вайс Д.* Высказывания тождества в русском языке: опыт их ограничения от высказываний других типов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. Современная зарубежная русистика. М., 1985.
- Крейдлин, Падучева 1974а — *Крейдлин Г. Е., Падучева Е. В.* Значение и синтаксические свойства союза а // НТИ. Сер. 2. 1974. № 9.
- Крейдлин, Падучева 1974б — *Крейдлин Г. Е., Падучева Е. В.* Взаимодействие ассоциативных связей и актуального членения в предложениях с союзом а // НТИ. Сер. 2. 1974. № 10.
- Крейдлин 1975 — *Крейдлин Г. Е.* Лексема даже // Семиотика и информатика. Вып. 6. М., 1975.
- Кручинина 1984 — *Кручинина И. Н.* Текстообразующие функции сочинительной связи // Русский язык: Функционирование грамматических категорий: Текст и контекст. М., 1984.
- Левин 1970 — *Левин Ю. И.* Об одной группе союзов русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 13. М., 1970.
- Мартемьянов, Дорофеев 1983 — *Мартемьянов Ю. С., Дорофеев Г. В.* Опыт терминологизации общелитературной лексики: О мире тщеславия по Ф. де Ларошфуко // Вопросы кибернетики: Логика рассуждений и ее моделирование. М., 1983.
- МАС — Толковый словарь русского языка в четырех томах. Т. 1—4. М., 1985—1990.
- Николаева 1985 — *Николаева Т. М.* Функции частиц в высказывании: на материале славянских языков. М., 1985.
- Николаева 2002 — *Николаева Т. М.* «Скрытая память» языка: попытка постановки проблемы // Вопр. языкоznания. 2002. № 4.
- Николаева 2003 — *Николаева Т. М.* Пространство славянских партикул // Славянское языкоzнание: XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации. М., 2003.
- Падучева 1987 — *Падучева Е. В.* Предложения тождества: семантика и коммуникативная структура // Язык и логическая теория. М., 1987.
- Падучева 1990 — *Падучева Е. В.* Анафорическое отношение // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Санников 1989 — *Санников В. З.* Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика, Синтаксис. М., 1989.
- Словарь Ушакова — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова: В 4-х т. М., 1935—1940.
- Урысон 2000 — *Урысон Е. В.* Русский союз и частица И: структура значения // ВЯ. 2000. № 3.
- Урысон 2002 — *Урысон Е. В.* Союз А как сигнал поворота повествования // Логический анализ языка: Семантика начала и конца / Отв. ред. чл.-кор. РАН Н. Д. Арутюнова. М., 2002.
- Урысон 2003 — *Урысон Е. В.* Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в семантике. М., 2003.
- Шатуновский 1990 — *Шатуновский И. Б.* Тождество и его виды // Тождество и подобие: Сравнение и идентификация / Проблемная группа «Логический анализ языка»; Под ред. Н. Д. Арутюновой. М., 1990.
- Шведова 1960 — *Шведова Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
- Широкова 1982 — *Широкова Е. Г.* Частица И и некоторые функции усилительных частиц // Семантика служебных слов. Пермь, 1982.

- ЭССЯ-8 — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд.  
Вып. 8. М., 1981.
- Birkenmaier 1979 — Birkenmaier W. Artikelfunktionen in einer artikellosen Sprache. München,  
1979.
- Gonda 1954 — Gonda J. The original character of the Indo-European relative pronoun *jo-* // Lingua.  
V. IV, 1. April, 1954.

И. Б. Левонтина (Москва)

## ДАВАЙ-ДАВАЙ\*

Татьяне Михайловне Николаевой с любовью

**В** разных типах русских побудительных высказываний постоянно встречается единица *давай* (*давайте*). Приведем сначала забавный пример, в котором обыгрывается многозначность русского *давай*: Выступал делегат, кажется, из Челябинска, говоривший в подражание тогдашнему вождю *(Хрущеву)* темпераментно и напористо. «*И мы обращаемся к президенту США Эйзенхауеру, — пророкотал он с трибуны. Давайте деньги!*» Задремавший было зал зашевелился и зашумкался. Всех заинтересовало, каких собственно денег требует от президента США посланец молодежи Южного Урала. Да и сам выступавший, поняв, что сморозил что-то не то, стал лихорадочно вникать в знаки препинания. «*Мы обращаемся к президенту США Эйзенхауеру, — повторил он тихо и несколько смущенно, — давайте деньги, которые расходуются на гонку вооружений, потратим на строительство моста через Берингов пролив*». По рядам пронесся вздох разочарования (*«Неприкосновенный запас»*, 1998, № 1).

Прежде всего попытаемся определить, каков грамматический статус этой единицы, в какой мере она сохраняет связь с соответствующим глаголом и какова степень ее лексикализации. Разумеется, во многих случаях наше описание будет затрагивать проблематику императива, которая подробно разработана в русистике. Объем не позволяет оговаривать все такие случаи; см. [Храковский, Володин 1986; Перцов 1998; Русская грамматика I, II 1980]. Проанализировать слово (или форму) *давай* тем более интересно, что в этом фрагменте русский язык обнаруживает существенное отличие от языков европейских. Если в английском, французском, немецком, итальянском и др. разного рода побудительные конструкции и частицы связаны с глаголами со значением ‘идти’ (‘приходить’) — *to go / to come, gehen / commen, aller / venir, andare / venire*, то в русском источнике побудительных конструкций и частиц является глагол *дать / давать*!

\* Первый вариант этой работы обсуждался в 1998—1999 гг. на семинарах Ф. Лемана в университете Гамбурга, Т. Бергера в Университете Тюбингена и Ю. Д. Апресяна в ИППИ РАН. Я благодарю участников обсуждений за ценные замечания.

Можно выделить четыре типа контекстов, в которых, по-видимому, представлены разные давай.

**1) Давай(te)** как императив от глагола давать; ср. — *Дай мне пожарный карабин!* — Зачем? — *Давай, давай, говорю!* (Ю. Визбор, Завтрак с видом на Эльбрус); *Вася подошел вплотную и заявил: «Ну что, убедился? Давай сюда пушку!» Потерявший дар речи преступник покорно отдал оружие* (Н. Федотов, Милицейские байки); — *Давайте сюда экземпляр, — скомандовал он мне, протягивая руку* (М. Булгаков, Театральный роман). Ср. также контекст, где представлено другое значение глагола: *Витька, не давай матери возбуждаться, слышишь* (Ю. Трифонов, Обмен).

Можно, однако, заметить, что форма императива имеет тенденцию к лексикализации. Ср. следующие примеры: *Коля! Давай свет!* *Вертящееся колесо!* *Крупно!* *Двигающиеся ноги толпы* — крупно (И. Ильф и Е. Петров, Двенадцать стульев) — при этом возможно, но гораздо более разговорно, даже сниженно звучит: *Коля дал свет;* *Давай-ка, друг, на палубу какую-нибудь музыку!* *Народ еле на ногах* (Ю. Визбор, Банка удачи) — при этом гораздо менее естественно: *На палубу нужно дать какую-нибудь музыку;* аналогично *A из зала мне кричат — давай подробности!* (А. Галич, Красный треугольник); — *Так вот, пожалуйста осенью, — вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкранту: — Давай следующего!* (М. Булгаков, Роковые яйца) — при этом вообще невозможно: *Панкрант дал следующего или дает следующего*<sup>2</sup>.

**2) Давай(te)** как «формообразующая» частица (см. [Морковкин 1997, 90]) или вспомогательный глагол в составе инклузивного квазиимператива. Говорящий в этом случае либо предлагает адресату совместно осуществить действие (*Давай чай пить*), либо готов сам выполнить действие (*Давай я чайник поставлю*), либо предлагает сделать так, чтобы еще кто-то осуществил действие (*Давай Петя тебе поможет*; ср. отличие этого высказывания от высказывания *Пусть Петя тебе поможет*, которое не предполагает, что говорящий может распоряжаться Петей)<sup>3</sup>. Наконец, изредка *давай* используется в высказываниях типа *Давай ты сам у него спросишь*. В этом случае говорящий представляет действие, которого он ожидает от адресата, как часть их совместной деятельности.

Синтаксически это *давай* ведет себя следующим образом: оно присоединяет инфинитив несовершенного вида (*Давай чай пить*), форму будущего времени обоих видов (*Давай чаю попьем, Давай не будем заранее расстраиваться*); оно может стоять в вершине целого предложения (*Давай я сделаю, Давай Петя тебе поможет*). Изредка, в основном в несколько небрежной речи, при нем возможны также формы настоящего и прошедшего времени в значении инклузивного императива (*Давай идем, Давай пошли*). Оно употребляется также в предложениях с эллипсисом, в которых *давай* присоединяет зависимые подразумеваемого глагола (*Давай в кино, Давай о другом*) или просто без глагола (— *Чаю попьем?* — *Да ну. — Ну давай!* — *Ну, давай*).

3) *Давай(te)* как модальная частица (или также глагол?) в сочетании с императивом *Давай иди* или *Давай, иди*. Это *давай* употребляется также эллиптически (*Давай отсюда*) и изолированно (*Давай!* или *Давай-давай*)<sup>4</sup>. В современном разговорном языке изолированное *давай* иногда используется как формула прощания.

4) *Давай* (но не *давайте*) как неизменяемый предикат со значением ‘начал(а, и)’ (*Вошел и давай ругаться; A они давай кричат*)<sup>5</sup>.

Это последнее *давай* морфологически менее всего связано с глаголом *давать*: оно совсем не изменяется по числу. Впрочем, синтаксически это как раз предикатное слово. Оно принадлежит к числу так называемых глагольных междометий.

Второе и третье *давай* имеют числовые формы, которые образуются так же, как у нормального императива. Ср., впрочем, пример: — *A ты догадливый!* — хмыкнул Олег и позвал «своих» солдат: — *Давай сюда, братцы* (В. Астафьев, Сашка Лебедев). Отметим, правда, что образование формы множественного числа у императива не вполне обязательно. В частности, в командах часто используется форма единственного числа по отношению к группам людей; ср. *Выходи строиться; Гуляй да пой, станичники* и т. п. Таким образом, употребление единственного числа вместо множественного возможно при *давай* в такой же степени, как и при стандартном императиве.

Следует, кроме того, отметить, что формант *-te* вообще ведет себя своеобразно. Будучи показателем множественного числа у императива, он иногда присоединяется к формам индикатива в несобственной функции (*Идемте, Споемте*)<sup>6</sup>, а также к выражающим побуждение междометиям *на, ну, полно* (иногда даже *цыц*); ср. — *A, вот, подождите, нате вам* (Диалоги «09»); — *Нате, ешьте!* (А. П. Чехов, Дядя Ваня); *Нате, возьмите, — крикнула она громко по-немецки и бросила к его ногам кошелек* (И. С. Тургенев, Вешние воды)<sup>7</sup>; *Нуте-ка, решите по логике: чему такая надпись соответствует!* (Н. С. Лесков, Соборяне); — *Нуте, хлопцы, беритесь за ящики* (М. Булгаков, Белая гвардия); *Нуте-с, вы заявите там в штаб этот ихний или куда там, а они вам, чего доброго, второй обыск устроят* (М. Булгаков, Белая гвардия); *Зачем же нам быть врагами? Полноте* (А. П. Чехов, Дядя Ваня); *Полноте притворяться, полноте! Бог с вами, кузина: что мне за дело?* (И. А. Gonчаров, Обрыв); — *Ну, полноте, милая, голубушка, дайте вашу руку, не сердитесь* (И. С. Тургенев, Новь).

Сочетание *давай* с инфинитивом более всего напоминает конструкцию с вспомогательным глаголом: *давай* управляет инфинитивом и в сочетании с ним выражает идею инклузивного императива. Однако уже остальные синтаксические реализации второго *давай* выглядят не столь «глагольно». *Давай* в них более или менее факультативно, форма второго глагола выбирается вне зависимости от *давай*. Выше уже упоминалась частица *пусть*, кстати, тоже бывший императив (еще показательнее вариант *пускай*). Сравним два высказывания:

*Давай он придет;  
Пускай он придет.*

Синтаксически *давай* и *пускай* явно ведут себя сходным образом, различие между этими единицами состоит здесь лишь в возможности присоединения к *давай* пресловутого *-те*.

Наконец, наибольший интерес представляет для нас сочетание *давай* с императивом (*Давай иди*).

Синтаксически это образование чрезвычайно интересно.

Вообще в русском языке есть конструкция из двух глаголов в одинаковой форме (*Идет поет*, *Сидел смеялся*, *Сбегал посмотрел*)<sup>8</sup>. В ней фигурируют глаголы положения и перемещения в пространстве, при этом формы глаголов могут меняться.

Кроме того, здесь уместно вспомнить и конструкцию с глаголом *изловчиться* и некоторыми подобными; ср. *изловчился* и *схватил пса за ошейник*. Как указывает И. М. Богуславский, «глаголы типа *изловчиться*, *поднатужиться*, *поднапрячься* используют сочинительную связь для присоединения актанта, то есть для той роли, которую обычно выполняет подчинительная связь» [Богуславский 1996, 32]. Похожая ситуация имеет место в конструкции с глаголом *взять* (*брать*), которая также не ограничена каким-либо наклонением, временем и т. п.; ср. *Взял и сказал*, *Возьму и скажу*, *Возьми и скажи*, *Берет и отказывается* и т. д. Сравнение с *взять* тем более показательно, что глаголы *брать* и *давать* в основных значениях противоположны по смыслу. Как и глаголы *изловчиться* и *взять*, *давай* также не обозначает здесь никакого отдельного действия.

Есть, однако и существенное отличие. Конструкция с *давать* возможна при этом только в императиве. Эта ситуация не уникальна. Интересно, что синтаксически очень похоже ведет себя глагол *попробовать*; ср. [Перцов 1998, 100]. В императиве он может подчинять другой императив; ср. *Попробуй возрази*, *Попробуй тронь*<sup>9</sup>. При этом невозможно \**Попробовал возразил*, \**Попробовал тронул*. Кроме того, показательно поведение глагола *пойти*. В значении перемещения он способен входить в парную конструкцию в разных формах; ср. *Пойди (поди) погуляй — Пшел погулял*. В то же время если *пойди* или *поди* не выражает идеи перемещения, то возможна только конструкция с парным императивом; ср. *Поди (пойди) пойми* при невозможном \**Пшел понял*<sup>10</sup>.

В конструкции с парным императивом возможны еще по крайней мере два лексикализованных императива, почти утратившие связь с соответствующими глаголами: *валяй* и *смотри* (*валяй* близко по значению к третьему *давай*); ср. — *Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет!* *внучку потом слово дадим!* *Давай, папаша, валяй, рассказывай про любовь!* (Вен. Ерофеев, Москва — Петушки); *Смотри возвращайся*, *Смотриключи не забудь*, *Смотрите не опоздайте*.

Наконец, к явлениям того же класса стоит, видимо, отнести устаревшее употребление *пускай* при императиве в примере из Грибоедова: *Другой (...) пускай себе разумником слыши, / А в семью не включат*.

Сравним теперь следующие высказывания:

*На бери / Наме берите;*  
*Давай бери / Давайте берите.*

Как мы видим, *давай*, являясь формой глагола, хотя и с очень дефектной парадигмой, в то же время вписывается в ряд «мелких» слов русского языка.

Итак, какова бы ни была морфологическая и синтаксическая природа *давай*, семантически и функционально оно сближается с разного рода «мелкими словами» и в том числе с частицами. Кроме того, очевидно, что четыре рассмотренных *давай* представляют разные лексемы. Нас будут интересовать лексемы *давай 2* и особенно *давай 3*.

Лексема *давай 2* фигурирует в двух типах речевых актов: предложениях и согласиях на предложение; ср. *Валя такой человек — скажешь ему: «Давай сходим туда-то», а он говорит: «Давай сходим»* (В. Аксенов, Пора, мой друг, пора); *ВЕРШИНИН. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем ТУЗЕНБАХ. Давайте. О чём? ВЕРШИНИН. О чём? давайте помечтаем* (А. П. Чехов, Три сестры). Конструкция с *давай 2* вообще является прототипической формой предложения; ср. — *Давайте я быстро сбегаю, — предложила Нина* (В. Аксенов, Апельсины из Марокко); — *Давай поедем на Ленинские горы, — предложил он* (В. Аксенов, Папа, сложи!). Поскольку в собственно побудительных речевых актах *давай 2* не используется, подробно мы его разбирать здесь не будем. Остановимся только на одном вопросе: действительно ли *давай* выражает одну и ту же идею в предложении и в согласии на предложение. Этот вопрос важен для нас, в частности, потому, что существенно, выражает ли *давай 2* побуждение или какую-то другую идею.

Так, например, частица *ну* также может выступать в соседних репликах в диалоге; ср. — *Ну пойдем! — Ну, пойдем* (первая реплика выражает повторную просьбу, вторая — неохотное согласие).

Обратим внимание на то, что предложения, выражаемые конструкцией с *давай*, бывают двух типов. В первом случае говорящий сам хочет, чтобы действие было совершено. Это обычно имеет место, когда говорящий по собственной инициативе выступает с предложением; ср. *Слушай, давай чаю попьем, а то так холодно!* Такое высказывание произносится с побудительной, возможно даже с умоляющей интонацией. Во втором же случае говорящему все равно, будет ли совершено именно данное действие. Это чаще всего имеет место, если предложение является ответом на вопрос; ср. — *У нас еще два часа до выхода, чем бы заняться? — Ну.. давай чаю попьем или в шахматы сыграем.* Побудительная интонация здесь не требуется. Во втором случае говорящий не заинтересован в выполнении действия, но хочет быть кооперативным (разумеется, возможны и разного рода промежуточные случаи).

Именно эта идея кооперативности, готовности к совместной деятельности объединяет все три случая: заинтересованное предложение, равнодушное предложение и согласие на предложение. По-видимому, в этом и состоит значение *давай 2*. А то, что в некоторых случаях высказывания с *давай* имеют просительный оттенок, обусловлено интонацией или другими лексемами, присутствующими в них; ср. *Ну пожалуйста, ну дава-а-й еще погуляем!*

И наконец, лексема *давай З*<sup>11</sup> выступает прежде всего в побудительных высказываниях; ср. *Давай иди, Давай говори*.

Реплики, содержащие *давай З*, очень разговорны, часто фамильярны, иногда тавтологичны и во многих случаях весьма эмоциональны, причем выражают самые разные эмоции. Посмотрим, каким образом все эти эффекты связаны со значением данной лексемы.

Предлагается следующее толкование *давай З*:

Пресуппозиции.

- 1) Я имею основания ожидать, что ты готов совершить данное действие<sup>12</sup>;
- 2) Я предполагаю, что если я скажу «Сделай это», то действие обязательно будет выполнено.

Ассерция.

(Я говорю:) Сделай это.

Комментарий. Как легко заметить, значение *давай З* близко к значению, выражаемому формой ИМП НЕСОВ, когда она употребляется по отношению к единичному действию; ср. *Отвечай сейчас же!, Неси сюда книгу*. В контексте аналогичной формы *давай* просто дублирует значение граммемы, тем самым усиливая его; ср. *Давай неси сюда книгу*. Следует, однако, отметить, что *давай* может, с одной стороны, употребляться в контексте формы ИМП СОВ (*Давай принеси сюда книгу*) и, с другой, — относиться к многократным действиям (*Давай всегда так и поступай*). Кроме того, особенностью значения *давай* является отчетливая императивность без указания на характер действия, что создает возможность для разнообразных эллиптических употреблений, в которых *давай* ведет себя как своего рода местоименный глагол.

Из этого толкования следует, что для обычной просьбы *давай* не очень подходит. Благодаря первой пресуппозиции высказывание может получиться неуместно требовательным, даже грубым. Однако, например, в ситуации, когда адресат уже дал свое согласие или даже сам предложил помочь и говорящий хочет его поторопить, такое возможно. Высказывание в этом случае должно быть очень отчетливо оформлено как просьба (умоляющая интонация, слова, смягчающие просьбу и т. п.). Последнее, впрочем, не обязательно при грубовато-доверительном стиле общения, когда просящий обходится без лишних церемоний, особенно если просьба нетрудная; ср. *Говорю, давай путевку выпиши, / Чтоб куда подале, да посеверней, / Ты меня не нюхай, я не выпивши, / Это я с тоски такой рассеянный* (А. Галич); *Пристегните ремни, пристегните ремни! / Ну, давай, посошок на дорожку налей!* (А. Галич).

Совет может создавать подходящий контекст для *давай* в том случае, если это совет снисходительный, когда говорящий заведомо уверен, что адресат должен этому совету последовать, или совет повторный, когда все аргументы уже обсуждены, и особенно если это совет действовать так, как адресат и сам собирается или уже действует; ср. *Не хочешь уродоваться на станке — ты же десантник, — давай в охрану* (В. Кунин, Ребро Адама); *Эх, милый! Ну, давай, давай целься повыше,*

глядишь, куда-нибудь и попадешь (В. Шукшин, Алеша Бесконвойный); — *Давай матерись. Полайся* — она, глядишь, пройдет, тоска-то (В. Шукшин, Верую!). Первый пример, впрочем, можно понять и не как совет, а как предложение, если говорящий приглашает слушающего в охрану куда-то, куда он может его устроить. Предложение с *давай* выглядит обычно грубо-деликатным: человек предлагает другому что-то хорошее, чего тот, возможно, и сам хочет, но звучит это так, как будто он его заставляет, заранее отвергая возможные возражения; ср. *Иван вскрыл банку компота и сказал: «Давай, поэт, рубай, таланту нужны соки»* (В. Аксенов, Апельсины из Марокко).

Чрезвычайно естественный контекст для *давай* — это приказы и требования. Приказ подразумевает, что говорящий имеет право побуждать слушающего к действию. Требование — что адресат должен (с точки зрения говорящего) нечто сделать: *Давай* делает побуждение более настоятельным, одновременно указывая, что говорящий заведомо ожидает выполнения действия и не предполагает никаких дискуссий; ср. — *Давай с орудием через лес и в обход озера! Не медлить давай! За моими орудиями! Пока огонь прекратить! Стрелять по необходимости и продвигаться!* — Ясно, — ответил и кивнул Никитин (...). — *Давай, Никитин! Давайте, ребята! Другого выхода нет!* (Ю. Бондарев, Берег); — *Ты давай кончай с этим коньячком* (В. Кунин, Тroe на шоссе); — *Ты чего? — Давай отсюда выматывай! — Рехнулся, друг? — Выматывай говорю! Знаток нашелся* (В. Аксенов, Пора, мой друг, пора).

Одна из самых естественных ситуаций, в которых используется *давай*, — это ситуация подбадривания, поторапливания, когда предполагается решенным, что адресат в принципе будет совершать данное действие, но он почему-то медлит; ср. — *Тигра, Тигра, мы сейчас будем прыгать! Ты погляди, как я прыгаю!* (...) *Давай, Тигра!* — крикнул он. — *Это очень просто! Но Тигра изо всей силы держалась за ветку (...)* *Давай, давай!* — крикнул Кристофер Робин. — *Не бойся. — Сейчас, минуточку,* — нервно сказал Тигра, — *мне что-то в глаз попало!* — *Давай, давай, это очень просто!* — пропищал Крошка Ру (А. Милн, Винни-Пух и Все-Все-Все; пересказ Б. Заходера).

С помощью *давай* говорящий может также выражать моральную поддержку человеку, который уже совершает какое-то действие, например в спорте; ср. *Мы кричали эстонцам «Яан, туле сиа! Тоом, куле сиа!», а те нам: «Валька, давай!», «Петя, в темпе!»* — и было это хорошо (В. Аксенов, Пора, мой друг, пора). В этой ситуации *давай*, естественно, выражает чрезвычайное дружелюбие и повышенную эмпатию говорящего.

Однако в других ситуациях та же семантическая особенность *давай* — вынесение за скобки вопроса о том, хочет ли вообще адресат совершать данное действие, — создает совсем иной эффект. Оно может выражать и пренебрежение к его желаниям, бесцеремонный отказ принимать их во внимание. Это бывает особенно заметно при повторе (*давай-давай*)<sup>13</sup>; ср. — *Ну, примерно в те же годы учились, знаете, как это было: тоже — давай! давай! Двигатель внутреннего сгорания? — изучай быстрей* (В. Шукшин, Приезжий); *Студенты дробили камни,*

*месили раствор, таскали бревна, гатили дороги — девушки наравне с парнями, тут не до рыцарства, давай-давай* (И. Грекова, Кафедра). Не случайно это выражение вызывает у человека такую агрессивную реакцию в следующем диалоге: — Да повернись ты, повернись! Давай, давай! — Давай-давай знаешь чем в Москве подавился? — вдруг очень бодро спросил Миша, по-прежнему не двигаясь (Ю. Домбровский, Факультет ненужных вещей).

В зависимости от ситуации *давай* служит, таким образом, для поторапливания, подбадривания, подзадоривания, а кроме того, еще и иронического подзуживания; ср. *А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того другались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: «Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!»* Дура жена вместо того чтобы успокоить его, взяла да еще подъедынула: «*Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?*» (В. Шукшин, Алеша Бесконвойный). Ср. также «*Ну, давай, давай, пиши, а я посмотрю*», — говорил ее насмешливый взгляд. И Сергей с ужасом почувствовал, что ни одно слово не лезет ему в голову и он не может ничего написать (Ф. Искандер, Боль и нежность).

Собственно говоря, последние примеры только ироничностью отличаются от контекстов, рассмотренных выше, в которых говорящий хочет стимулировать адресата, совершающего действие. Иная ситуация имеет место в следующем примере; ср. — Так... Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При свидетелях. — Она побежала в горницу — писать заявление в милицию. — Ты у меня получишь за курву! — громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда. — Ты у меня получишь!.. — Давай, давай, пиши, тебе не привыкать. (...) Тебе посадить человека — раз плонуть (В. Шукшин, Мой зять украл машину дров). Герой на самом деле совершенно не хочет, чтобы теща писала заявление, он изрядно струсил, но уже не может пойти на попятный. Говоря *Давай, пиши*, он не призывает ее писать, а сообщает, что он не будет просить ее этого не делать<sup>14</sup>.

И наконец, *давай* используется для выражения разрешения или согласия на то, чтобы адресат совершил некоторое действие; ср. — Сережса, я скотвлю чего-нибудь? — Давай! — охотно откликнулся Сережса и опять весело посмотрел на Спирьку (В. Шукшин, Сураз); — Почитать вам стихотворения Есенина? — Давай (В. Аксенов, Пора, мой друг, пора). Чаще всего *давай* в этой ситуации употребляется отдельно, без глагола, обозначающего само действие. Это и понятно, иначе за счет тавтологичности возникает излишняя настойчивость, не всегда уместная в разрешении (хотя ответ — *Давай, читай* был бы также возможен).

*Давай* в указанном отношении не уникально: другие языковые средства, служащие для побуждения, используются также для выражения разрешения. Прежде всего, это сам грамматический императив; ср. — Я позвоню? — Позвони; — Можно мне позвонить? — Звони.

Разрешение наряду с просьбой могут выражать также слова *пожалуйста*, *прошу вас*, *извольте, сделайте одолжение*. Надо, впрочем, отметить, что здесь имеет место некоторая идиоматизация. Так, слово *пожалуйста* может выражать вежливое разрешение; ср. — Можно от Вас позвонить? — Пожалуйста, вот

телефон. Однако *пожалуйста* может выражать и нарочито равнодушное согласие; ср. — *Собирайся скорей, а то я уйду без тебя!* — Да *пожалуйста, мне-то что*. Это последнее *пожалуйста* настолько сильно идиоматизировано, что его, может быть, следует признать отдельной лексемой. С другой стороны, например, выражение *будьте добры*, служащее для оформления просьбы, в разрешении не используется.

Итак, вернемся к толкованию *давай* 3. В ассерции находится императив ‘сделай это’: как мы только что видели, императив допускает и понимание в смысле разрешения. «Императивное» разрешение как будто слегка отличается от других. Говорящий не просто мирится с существующим положением дел, принимает его к сведению, а как бы поддерживает намерение говорящего, даже отчасти берет на себя ответственность. Если кто-то звонит и говорит *Я задержался, опоздаю на полчаса, ладно?*, естественно ответить *Ладно, Хорошо* или, наконец, *Угу*, но странно сказать *Опоздай* или *Давай*.

Первая пресуппозиция также хорошо подходит к ситуации, поскольку собеседник сам хочет совершить какое-то действие.

Благодаря второй пресуппозиции разрешение с *давай* обычно связано с активными действиями, а не с не-действиями; ср. — *Я не приду завтра, ладно?* — *Не приходи; при странном?* — *Давай*. При этом сам по себе глагол с отрицанием не является препятствием для ответа *Давай*; ср. — *Так я не буду отказываться от приглашения?* — *Давай* (прими приглашение).

В заключение рассмотрим еще один интересный круг употреблений *давай* 3. Содержащаяся в *давай* конфигурация смыслов делает это слово особенно подходящим для выражения разного рода пожеланий; ср. — *Давай, Серега, возвращайся скорей!* — *крикнули ему* (В. Кунин, Трое на шоссе). Говорящий подтверждает, что адресат, с его точки зрения, на правильном пути и как бы придает ему дополнительный импульс. Особенно выразительно изолированное *давай*; ср. — *Ну, Родион, давай! Живи еще столько да полстолько, а там — сколько захочешь...* — *И тебе здоровьичка, Семен* (Ю. Гончаров, Поживите еще, старики). Такое изолированное *давай* используется в разговорной речи как фамильярное неопределенно-положительное пожелание, особенно при прощании или вместо тоста<sup>15</sup>. Говоря на прощание *Ну, давай!*, человек подразумевает примерно следующее: ‘Не буду тебе советовать, как тебе дальше действовать, мы с тобой знаем, что ты сам разберешься; я мысленно с тобой в твоих начинаниях, и поэтому у тебя все получится’. Может быть, первоначально эта формула возникла как сокращение старого *Давай тебе Бог*<sup>16</sup>. Но в современном языке она так хорошо дополнила палитру употреблений этого слова, что бодрое *Давай!* естественно воспринимается как относящееся к самому собеседнику. Оно вписывается в ряд таких усеченных формулировок, как *Будь* или *Бывай* (здрав), *Будем* (здравы). Их неполнота имеет двоякий эффект. С одной стороны, она дает особую доверительность (мол, ты понимаешь, что я хочу сказать). С другой же стороны, отсутствие конкретизирующего слова сообщает высказыванию более широкий, почти экзистенциальный смысл.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Антонимичный ему глагол *взять* тоже способен грамматикализоваться в конструкции типа *взять и сказать* — также весьма лингвоспецифической. Впрочем, необходимо отметить, что и глагол *пойти* в форме императива *поди* или *пойди* грамматикализуется.

<sup>2</sup> На этом построена шутка в следующем примере: *Кто вас поддерживал? Кто вам поддакивал? Кто сам что-то говорил? Давай, давайте их сюда! — И дают?* — спросил Зыбин (Ю. Домбровский, Факультет ненужных вещей).

<sup>3</sup> Ср. примеры: *Давайте восклицать, друг другом восхищаться* (Б. Окуджава); *Далее Таня чуть слышно выговорила: — Давайте беседовать, просто беседовать* (С. Довлатов, *Заповедник*); — *Давайте голосовать по-честному, по-европейски — закрыто* (И. Ильф и Е. Петров, *Двенадцать стульев*); *Давай в шахматы сыграем* (В. Шукшин, *Вянет, пропадает*); *А теперь давайте познакомимся* (И. Ильф и Е. Петров, *Золотой теленок*); — *Давай, папаша, — сказал я ему, — давай я угощу тебя, ты заслужил!* Ты хорошо рассказал про любовь! (Вен. Ерофеев, *Москва — Петушки*); — *Может, тебе нужно немного передохнуть? Давай мы покрутимся без тебя* (Ю. Визбор, *Завтрак с видом на Эльбрус*); *А вот давай за то, чтоб тебе было хорошо. Давай? — Ладно* (Ю. Трифонов, *Обмен*).

<sup>4</sup> Ср. примеры: *Так давай же, бери, старина, перо! / И вот здесь распишись, в угол* (А. Галич); *Она буквально вытащила отца из такси: — Давай, батя, шевели ногами!* (В. Кунин, *Интердевочка*); *Давайте, давайте — плыите, — машинально подхватил их слова Чередниченко, продолжая разглядывать пароход* (В. Шукшин, *Чередниченко и цирк*); *Иван и Боря стали толкать меня в бока: давай, мол, рассказывай* (В. Аксенов, *Апельсины из Марокко*); *Давай! Истинный бог! Ты ему все выскажи, Оскар!* (М. Булгаков, *Театральный роман*); *Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева? Ну, коли читал, так и расскажи!* (Вен. Ерофеев, *Москва — Петушки*).

<sup>5</sup> Ср. примеры: *Вот кошки забрались на подоконник, повернулись ко мне спиной и давай в окно смотреть* (Д. Хармс, *Рассказы и повести*); *Или вот: понадут из города с ружьями и давай направо-налево: трах-бах! — (...)* лишь бы убить (В. Шукшин, *Охота жить*). Хотя это *давай*, как и второе, сочетается с инфинитивом, по значению оно восходит скорее к третьему *давай*, так как в нем нет никакой идеи совместности. По функции *давай* здесь очень близко к другой «побудительной» частице — *ну*; ср. *А сам подбежал и, словно очумел, размахнулся и давай бить ее кулаками из всей силы, потам повалил на землю и ну топтать ногами; я стал оборонять, а он схватил вожжи и давай вожжами* (А. П. Чехов, *Бабы*). Заметим также, что и форма императива может употребляться для указания на события прошлого; ср. *А он и скажи* (такое употребление имеет разговорно-нarrативный и несколько архичный оттенок).

<sup>6</sup> Ср. Уж вы, братцы мои, другие кровные, / Погодуемся да обнимемся / На последнее расставание (М. Ю. Лермонтов, *Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова*); ср. также выражения, которые, по воспоминаниям современников, постоянно употреблял Ю. Н. Тынянов: *Давайте подумаемте, Скажемте так.*

<sup>7</sup> «Нате» называется также одно из стихотворений В. Маяковского.

<sup>8</sup> О «двойных глаголах» в русском языке см. работы Д. Вайса, в частности [Вайс 2003].

<sup>9</sup> Ср. примеры: *Ты сама попробуй роди, тогда узнаешь, какой спрос с детей* (Ч. Айтматов, *Белый пароход*); *Попробуй купи, к примеру, креветочный коктейль, если он стоит столько же, сколько тенниска «Лакост»* (В. Аксенов, *Остров Крым*); *Нет, положительно, это не человек, а кусок льда, подумала Варя. Попробуй-ка такого разморозь!* (Б. Акунин, *Турецкий гамбит*); *Попробуйте переживите-ка то, что пришло пережить Рису, и отправьтесь на остров* (А. Битов, *Преподаватель симметрии*). Последний пример интересен тем, что здесь глаголы стоят во множественном числе.

<sup>10</sup> Ср. примеры: *Виноватый я, что так плотют? У нас в совхозе порядка нету, вот что, они там в конторе пишут, чего хотят, — поди докажи!* (Ю. Гончаров, По своей воле); «*Кто его знает, — ответит этому хорошему парню какой-нибудь нехороший чегемец, — говорят, племянник, а там поди разбери*» (Ф. Искандер, Сандро из Чегема); *Ямки нужны невелики: пятьдесят на пятьдесят и глубины пятьдесят, да земля та и летом как камень, а сейчас морозом схваченная, пойди её угрызи* (А. Солженицын, Один день Ивана Денисовича); *Россия велика, матушка, — пойди найди* (Г. Троепольский, Белый Бим Черное Ухо).

<sup>11</sup> Благодаря тому что *давай 2* и *давай 3* — разные лексемы, следующий диалог воспринимается как игра слов: — *Ну, будь веселым, — сказала Катя, — давай весели меня. — Давай по-веселю, — сказал я* (В. Аксенов, Апельсины из Марокко).

<sup>12</sup> Этот элемент смысла, наряду с ассертивной частью, является источником тавтологичности многих высказываний, содержащих *давай*.

<sup>13</sup> *Давай-давай* было в свое время стандартной формулой советской экономики. Это выражение воспроизводится носителями многих иностранных языков как типичный образчик русской речи и чуть ли не как синоним слова *русский*.

<sup>14</sup> В следующем примере *давай* не относится даже ни к какому конкретному действию, а просто выражает отказ от борьбы, примирение с существующим порядком вещей: *Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался... Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой: — Давай, может, посадят. И правда, посадили* (В. Шукшин, Сураз).

<sup>15</sup> В последнем случае, впрочем, можно понять его и как *давай 2* (*Давай выпьем*).

<sup>16</sup> Ср. — *Ну что ж, — сказал он хрюлю, — давай Бог* (М. Булгаков, Театральный роман).

## ЛИТЕРАТУРА

- Богуславский 1996 — Богуславский И. М. Сфера действия лексических единиц. М., 1996.
- Вайс 2003 — Вайс Д. Русские двойные глаголы и их соответствия в финно-угорских языках // Русский язык в научном освещении. № 2 (6). 2003.
- Перцов 1998 — Перцов В. В. К проблеме инварианта грамматического значения. II. (Императив в русском языке) // Вопр. языкоznания. № 2. 1998.
- Русская грамматика. Т. I, II. М., 1980.
- Словарь структурных слов русского языка / Ред. В. В. Морковкин. М., 1997.
- Храковский, Володин 1986 — Храковский В. С., Володин А. П. Семантика и типология императива // Русский императив. Л., 1986.

*А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский (Москва)*

## ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЖЕНСКИМИ ИМЕНАМИ В РОДУ РЮРИКОВИЧЕЙ

**И**стория имен русских княжон и княгинь в домонгольский период относительно мало исследована. Это и неудивительно: во всех письменных источниках они упоминаются гораздо реже, чем имена мужские. Тексты, составленные на Руси, в этом отношении принципиально не отличаются от средневековых памятников других европейских стран. Всюду женщины реже называются по имени, чем мужчины, но все же в разных культурных традициях и в это время проявляется разная степень внимания к женским именам. Так, в скандинавских источниках, особенно в родовых и королевских сагах, имена женских персонажей (многие из которых, несомненно, были историческими лицами) достаточно хорошо зафиксированы. Именно благодаря сагам мы знаем имена отдельных русских княжон, выданных замуж в Норвегию и Данию. Название по имени — основной, если не непременный, способ введения персонажа в повествование, и поэтому, когда речь идет о жене или дочери конунга, о рождении девочки или заключением брака, как правило, указываются имена всех основных действующих лиц, в том числе и женщин.

В русских летописях, вплоть до середины XII в., при упоминании о браке очень редко приводится имя невесты, так же как при сообщении о смерти княгини далеко не всегда упоминается ее собственное имя. Зачастую в рассказе о браке женщина именуется по имени отца (*Мстиславна, Петровна* и т. п.), а в повествовании о событиях жизни и смерти замужней женщины — она называется по имени мужа (*Мстиславляя, Всеволожская* и т. п.). По-видимому, такое специфическое отношение к женским именам может быть связано с историографической традицией, идущей из Византии. Так, даже при том пристальном интересе, с которым византийские писатели и хронисты относились к жизни двора, множество женских имен, в частности имена невесток византийского императора, оказывались за пределами их внимания<sup>1</sup>. На Руси женщины могли быть хранительницами благочестия, строить церкви или основывать монастыри, участвовать в политической борьбе, вступать в переговоры, сопровождать мужа в военном походе, но летопись часто фиксирует все эти события, не называя их имен.

Трудно полностью отказаться от предположения о том, что такое отсутствие имен княжон и княгинь в летописи отражает тем или иным образом положение женщины в княжеской родовой системе. Тем не менее не имеет смысла, на наш взгляд, говорить о «приниженному» или «высокому» статусе женщины в этой системе. Родовая традиция относительно жестко определяет место и функции каждого члена семьи. При этом его реальная биография может развиваться в сложном взаимодействии с этой традицией, а зачастую в противоречии с ней. Из письменных источников разного типа можно почерпнуть немало сведений об этом взаимодействии. Извлеченные же из источников имена — это, как правило, свидетельства, апеллирующие к общеродовому началу, общеродовым предначертаниям, общеродовой стратегии. Изменения в принципах имнаречения отражают изменения в родовой традиции, история выбора имен всегда в большей степени история рода, история династии, нежели история отдельных людей.

Русское летописание знает три основных способа обозначения персонажа, включающих собственные имена, — «по себе» (т. е. по личному имени или по прозвищу), по предкам (прежде всего по отчеству, а зачастую по деду или прадеду) и, наконец, по имени человека, которому он служит или к дому которого он принадлежит. Два последних обозначения — по отчеству и по «патрону» — не всегда можно разграничить<sup>2</sup>. Отношения службы на языковом уровне достаточно легко уподоблялись родовым отношениям. Если судить по летописным текстам, описывающим события XI — первой половины XII в., именование женщин часто было простой фиксацией родовой принадлежности. До свадьбы она принадлежала к роду и дому своего отца и потому нередко именуется исключительно по отчеству, без указания ее собственного имени. Вообще весьма значительная часть упоминаний княжеских дочерей связана с сообщениями о браках. После свадьбы женщины чаще всего именуются по мужу, иногда с упоминанием только его имени, а иногда с указанием имени его отца. Тем самым обозначается ее переход в другой род — в род мужа, и, на первый взгляд, если судить по именованию, этот переход был достаточно полным и окончательным. Во всяком случае, овдовев, женщина, как правило, продолжает называться по роду мужа.

Тем не менее функция брака, свойства, родства через женщин в родовой династической традиции, несомненно, носила двойственный характер. С одной стороны, княгиня и в еще большей степени ее потомство принадлежали роду того, за кого она была отдана. Эта принадлежность должна была оставаться неизменной при всех условиях, в частности при возникновении противоречий между родом ее мужа и ее отца. С другой стороны, брак был важнейшим инструментом установления связей между династиями или далеко разошедшимися ветвями рода, а иногда и средством контроля одной из этих ветвей над другой. Две тенденции — безоговорочное присоединение к роду мужа и сохранение тесной связи с родом отца — могли находиться в разных соотношениях. Необходимо учитывать, что Рюриковичи были не только родом, но и правящей династией и, соответственно, их браки преследовали прежде всего династические цели. Разумеется, эти династические цели могли существенно варьироваться в зависимости от эпохи и

конкретной ситуации. Во второй половине X столетия для закрепления скандинавского рода на славянской территории очень большое значение имели его связи с местной знатью, что и отразилось в стратегии династического имянаречения, переориентировавшейся отчасти со скандинавского на славянский антропонимикон. Если же позднее, в XI—XII вв., князь из рода Рюриковичей женился на женщине некняжеского происхождения, то, скорее всего, его родовые интересы полностью доминировали. С другой стороны, Рюриковичи явно стремились устанавливать отношения свойства́ и родства с западными и восточными правителями. Как известно, в круг этих династических связей вовлекались правящие династии Скандинавии, Польши, Венгрии, Византии и т. д. Значительную роль играли и связи с половцами, ясами, обезами и другими нехристианскими народами. Коль скоро княгиня происходила из рода, правившего на более или менее отдаленной территории, значимость ее рода в стратегии имянаречения во многом зависела от актуальности и интенсивности контактов с ее родиной. Родство по материнской линии нередко служило надежным основанием для военных союзов. Дети сестры зачастую могли рассчитывать на помощь и покровительство своих «уев» (дядьев со стороны матери). Княгиня со своими детьми — в случае смерти или изгнания мужа — естественным образом, искала помощи в роду своего отца. Примеры такого рода, разумеется, весьма многочисленны. Они полностью соответствуют той двойственности отношений свойства́, родства через брак, которая присутствует во всякой родовой традиции, а особенно в династической. Укажем лишь несколько случаев подобной амбивалентности и взаимного наложения систем родства и свойства́.

Как известно, Мстислав Великий выдает одну из дочерей замуж за Всеволода Ольговича, сына своего крестного отца и давнего «оппонента» — Олега Святославича Черниговского. Позднее, когда Всеволоду Ольговичу удается отобрать у Мономашичей киевский стол, дочь Мстислава, ни разу не названная в летописи по имени, остается, видимо, весьма важной посредницей между своим мужем и братьями. Так, во время спора о новгородском княжении Изяслав Мстиславич поручает ей «испросить» для своих братьев этот стол у мужа, что, судя по свидетельству летописи, она с успехом и делает [ПСРЛ. Т. I. Стб. 309; Т. II. Стб. 309]. В молодые годы вся политическая карьера Святослава Всеволодича, сына интересующей нас Мстиславны, строится то на союзе со своими «уями» (родом Мономашичей), то на союзе со «стрыями» (черниговскими князьями), причем зачастую и в том и в другом случае указывается напрямую, что каждый союз обусловлен родством<sup>3</sup>.

Очевидно, таким образом, что дочь Мстислава играет немалую роль в судьбе отцовского рода и в судьбе рода собственного мужа. Вообще дочери Мстислава Великого, по-видимому, в большей степени, чем многие княжны, на всю жизнь оставались не только женами своих мужей, но и дочерьми своего отца. Так, его дочь Ингибьёрг, выданная замуж в Данию, приезжает рожать в дом своего отца, и будущий конунг данов не только появляется на свет на Руси, но и нарекается в честь своего русского прадеда — Владимира Мономаха, отца Мстислава<sup>4</sup>.

Эта связь с отцовским родом, сохраняющаяся и после замужества, подчеркивается в способе именования еще одной дочери Мстислава, выданной замуж за полоцкого князя Брячислава Давыдовича. Она называется *Мстиславной*, т. е. по имени отца: Речь идет о столкновении ее брата с ее мужем, и в контексте повествования она причисляется, таким образом, к роду отца и брата: «и одва Мъстиславны товарьoubлюдоша» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 293 под 1129 г.]. При этом в дошедших до нас русских источниках сохранилось имя только одной из всех многочисленных дочерей Мстислава — *Рогнеда* (см. о ней подробнее ниже).

Дочь Юрия Долгорукого, Ольга (в иночестве *Евфросиния* [ПСРЛ. Т. I. Стб. 389]), вместе с сыном бежит из Галича от своего мужа, Ярослава Владимира Осмомысла, и через некоторое время находит пристанище у одного из своих братьев, Михалко Юрьевича<sup>5</sup>. В дальнейшем вся ее жизнь опять оказывается связанной с отцовским родом. Так, она участвует в процедуре имянаречения одной из своих племянниц, четвертой дочери другого брата, Всеялода Большое Гнездо, Пелагеи-Сбыславы, становясь ее крестной матерью [ПСРЛ. Т. II. Стб. 613 под 1179 г.].

Любопытно, что имя этой дочери Юрия Долгорукого — *Ольга* — как раз упоминается в летописи неоднократно. Можно отметить, что до последней трети XII в. мы чаще встречаем в русских источниках имена княжон, которые предпочли монастырь замужеству или чей брак, как в случае с Ольгой, сложился явно неудачным образом. По-видимому, неудачный брак, как и монашество, хотя бы отчасти выводил женщину за рамки традиционных родовых отношений. Нарушалась ее обычная функция связующего звена между родами, что, в определенном смысле, способствовало определенной индивидуализации ее образа. Женщина именуется не по роду, а «по себе», как правило, без отчества.

Возвращаясь к роли отцовского рода в способах именования женщины, можно упомянуть также судьбу дочери Мстислава Мстиславича Удатного, вышедшей замуж за князя Ярослава Всеялодовича, отца Александра Невского. Когда ее муж потерпел неудачу в конфликте с князьями, среди которых был и его тестя, тот увез doch к себе и не отдавал ее, несмотря на мольбы мужа [ПСРЛ. Т. V. 1. С. 201; Т. III. С. 54 под 1215/16]. Однако вскоре, по всей вероятности, doch Мстислава Мстиславича все же вернулась к Ярославу. Именно она и была, судя по всему, матерью всех его сыновей<sup>6</sup>. Христианское имя этой княгини, *Феодосия*, упоминается в жизнеописании ее сына, Александра Невского, а монашеское, *Евфросиния*, — в летописном сообщении о ее кончине. Княжеское же имя, *Ростислава*, фигурирует в единственном источнике, в сообщении о ее браке [Летописец Переяславля Сузdalского. С. 111]. Показательно, однако, что когда речь заходит о столкновении двух родов, о противостоянии ее мужа и тестя, она не называется по личному имени, а упоминается исключительно как doch Мстислава [ПСРЛ. Т. III. С. 54] или жена Ярослава [ПСРЛ. Т. III. С. 56]. Такого рода распределение отчасти типично для системы именования женщины в летописном тексте, повествующем о событиях второй половины XII — начала XIII в. (подробнее об этом см. ниже).

В целом же, как уже отмечалось, именование женщины подчеркивает ее роль связующего элемента в родовой системе, когда фиксируется, в первую очередь, ее

принадлежность к роду отца или к роду мужа, а также переход из одного состояния в другое. В Ипатьевской летописи, например, упоминается почти три десятка княгинь, у которых известны имена их отцов и мужей, и примерно столько же, у которых можно указать лишь имя мужа. При этом собственные имена этих женщин княжеского происхождения не сохранились.

Тем не менее мы располагаем определенным набором женских имен как христианских, так и славянских родовых, позволяющим утверждать, что выбор имени для женщины на Руси имеет собственную историю. На наш взгляд, принципы имянаречения женщин на Руси развивались по своему собственному сценарию, в чем-то совпадающему с процессом развития мужского именослова, но во многом от него отличным.

Приведем здесь лишь несколько параметров, задающих эту специфику. Во-первых, в родовой традиции мужчины, несомненно, являются основообразующим и несущим на себе функцию стабильности, преемственности звеном. Регулярный повтор имен предков по мужской линии в определенном смысле воплощает устойчивость и некоторую замкнутость, герметичность отцовского рода. Разумеется, подобная замкнутость, доведенная до своего логического завершения, несовместима ни с биологическим, ни с социальным, ни с культурным существованием. Функция подвижности, обновления, внешних связей в родовой традиции закономерным образом принадлежит браку. Благодаря женщинам осуществляются межродовые — а в случае с княжескими семьями — междинастические, международные контакты. Благодаря женщинам во многом осуществляется и постепенное, естественное изменение родового именослова — вновь установленные отношения свойства и рода хотя бы отчасти закрепляются в заимствовании имен из рода матери. Будучи, как уже говорилось, связующим звеном в родовой системе, женщины служили и своеобразным проводником для новшеств в системе именования.

Во-вторых (и это особенно тесно связано с только что сказанным), выбор имени для девочки в княжеской семье (как и для других второстепенных наследников) порой может служить своеобразным «полигоном», на котором впервые испытываются новые модели имянаречения. Впоследствии эти модели могут в той или иной форме воздействовать на выбор имени для основных наследников — преемников власти.

В-третьих, рассматривая выбор христианского имени для женщины, мы не всегда имеем дело с процедурой имянаречения новорожденной девочки. Нередко речь идет о крещении и наречении именем взрослой невесты русского князя, принадлежавшей к иной этнической и религиозной культуре (половчанке, «ясыне» и т. д.). Получение нового имени не всегда было связано, по-видимому, с крещением как таковым. Новое имя могло даваться и уже крещеной дочери иноземного правителя. Во всех этих случаях имя могло выбираться по особым правилам, однако, как мы попытаемся показать ниже, подобные имена были традиционными для династии, иногда даже «гипертрадиционными».

В-четвертых, не все жены русских князей были дочерьми русских или иноземных правителей: известен ряд примеров, когда русские князья женились на своих

соплеменницах некняжеского рода. Имена таких княгинь, вероятно, давались за пределами княжеской семьи, с использованием несколько иных принципов, нежели те, что определяли выбор имени для дочери князя. Вероятнее всего, иной была и роль подобных родственных связей для княжеского антропонимикона в целом. В-пятых, женщины в княжеском роду чаще, чем мужчины, принимали постриг, оказываясь тем самым в несколько иных отношениях с христианским именословом, чем их родичи в миру.

Разумеется, сказанное выше не охватывает всей специфики условий, которые определяли выбор имени для женщин в домонгольский период. Кроме того, при всех возможных различиях между принципами имянаречения для мужчин и женщин сохранялось существеннейшее сходство: в княжеских семьях на протяжении всего этого времени и у мальчиков и у девочек в значительной степени сохраняется двуименность. И тем и другим родовые, языческие по происхождению имена даются наряду с христианскими, предписываемыми церковью.

\* \* \*

Многие родовые княжеские имена у женщин проявляют такую же устойчивость, как и родовые имена мужчин. В договоре 944/945 г. мы обнаруживаем несколько княжеских имен, которые прочитываются как женские, — *Ольга*, *Предслава*, *Сфандр* (?), *Ута* (?). Славянское по происхождению имя *Предслава* и скандинавское *Ольга* (*Helga*) мы встречаем в княжеском антропонимиконе и два с лишним века спустя. Во второй половине XII столетия *Ольгой*, в частности, звали дочь Юрия Долгорукого, жену Ярослава Осмомысла, а имя *Предслава* носила в числе прочих дочь князя Рюрика Ростиславича. Необходимо помнить о том, что княжеские имена Рюриковичей образуют довольно замкнутый и ограниченный корпус<sup>7</sup>. Иными словами, князья, как правило, носят такие родовые имена, которые их менее знатные соотечественники не дают своим детям. Женские родовые имена предоставляют нам немало сведений о формировании этого княжеского именослова. Особенно показательны результаты сопоставления женских и мужских имен Рюриковичей с именами правителей других славянских стран и их ближайшего окружения.

Первое, что обращает на себя внимание, это существование на славянской почве вариативных — мужских и женских — династических имен<sup>8</sup>. Так, самое раннее славянское имя, появляющееся в скандинавской по происхождению династии Рюриковичей, *Святослав*, не воспроизводится в ближайших поколениях вплоть до появления на свет сына Ярослава Мудрого — Святослава Ярославича; на Руси в X — начале XI в. оно не фиксируется ни в пределах, ни за пределами княжеского рода. Кроме того, требует дополнительных объяснений само появление этого имени у главного наследника правящей четы со скандинавскими именами *Игорь* (*Ingvar*) и *Ольга* (*Helga*). Не раз высказывались предположения об искусственном происхождении этого имени, о его возникновении в результате перевода на славянский неких германских основ [Членов 1970; Клейненберг 1978]. Тем не менее можно привести данные, которые недвусмысленно, на наш взгляд, свидетельству-

ют о «естественном», собственно славянском происхождении этого имени, о том, что оно принадлежало к числу имен, традиционно употребляющихся славянской знатью.

Дело в том, что женский вариант этого имени, *Святослава*, был династическим уже к началу XI в. Первой известной нам *Святославой* оказывается сестра конунга Дании, Англии и Норвегии Кнута Великого. Она упоминается в поминальном списке ньюминстерского аббатства в Винчестере, где она, вероятнее всего, была похоронена [LV. Р. 58]. В датский королевский именослов это женское имя проникает благодаря династическим связям с Польшей. Имя *Святослава* встречается и в чешской династии, а позднее и в семье галицких князей<sup>9</sup>.

Таким образом, мужское имя *Святослав*, новое для династии Рюриковичей, по-видимому, не было полностью новым для их славянского окружения и считалось вполне подобающим для знатного человека, для правителя. При этом появление славянского имени у единственного наследника скандинавского по происхождению рода в известном смысле означало смену всей родовой парадигмы, появление новой точки отсчета в истории рода, которая отныне была связана со славянским миром.

В качестве, так сказать, обратного примера распределения между двумя династиями мужского и женского вариантов имени может служить пара *Болеслав / Болеслава*. Мужское имя *Болеслав* одно из наиболее знаменитых династических имен у Пястов. В династии же Рюриковичей это имя не встречается, но мы знаем о существовании у князя Святослава Всеиводича дочери по имени *Болеслава*, ставшей женой князя Владимира Ярославича [ПСРЛ. Т. II. Стб. 527 под 1167 г.]. Правда, к тому времени уже установились многочисленные родственные связи между домом Пястов и Рюриковичами<sup>10</sup>, в частности, за польских князей были выданы замуж старшие родственницы Святослава Всеиводича как со стороны материинской («Мономаховой»), так и со стороны отцовской («Черниговской»). Весьма вероятно, таким образом, что наша Болеслава Святославна получила свое имя в честь кого-либо из польской родни. Так или иначе, возможность подобного обмена именами демонстрирует наличие некоторого общеславянского фонда пригодных для знати имен.

Если мы говорим о правящих династиях XII в., то для нас не столь существенно, были ли эти имена общими для славян еще в дописьменную эпоху. Более актуальны в этом случае критерии приемлемости этих имен для того или иного правящего рода и своеобразные правила обмена именами при междинастических браках. Поэтому, если мы выдвигаем гипотезу о польских корнях женского имени *Болеслава* на Руси, то сразу необходимо отметить два обстоятельства. С одной стороны, это имя оказывается приемлемым, так как его носят представители хорошо известного на Руси польского правящего рода, а по своей форме оно сходно с династическими именами самих Рюриковичей. С другой стороны, такое имя в XII в., когда антропонимикон правящей династии на Руси уже сложился, естественным образом, получила девочка, а не мальчик. Мужской именослов наследников власти

был, как уже говорилось, куда более консервативен и куда более непосредственно связан с идеей преемственности власти на своей земле, земле отцов и дедов<sup>11</sup>.

Известны другие случаи своеобразного распределения мужского и женского варианта имен, когда женское имя становится династическим, а мужское в роду Рюриковичей не употребляется, но в течение нескольких столетий вполне распространено как родовое имя знати. Имя *Сбыслава*, например, было династическим именем в русских княжеских семьях: его носила, в частности, дочь Святополка Изяславича, жена польского короля Болеслава III, а также дочь князя Всеволода Большое Гнездо — Сбыслава-Пелагея. Судя по известным нам текстам, не было русских князей, носящих имя *Сбыслав*. При этом в летописи упоминаются следующие носители этого имени: дружинник князя Мстислава Изяславича Сбыслав (Сбыслав, Собыслав) Жирславич [ПСРЛ. Т. II. Стб. 544 под 1171 г.], новгородец Сбыслав Якунович [ПСРЛ. Т. I. Стб. 480 под 1263 г.; ср. ПСРЛ. Т. III. С. 68 под 1229 г.], галицкий боярин Сбыслав Станиславич, [ПСРЛ. Т. II. Стб. 728 под 1209 г.], знатный новгородец Сбышка Волосович [ПСРЛ. Т. III. С. 41 под 1194 г.]<sup>12</sup>, знатный новгородец Сбыслав Степанич [ПСРЛ. Т. III. С. 57, 257 под 1217 г.; ср. С. 54 под 1215 г.]. В новгородских берестяных грамотах встречаются упоминания Собеслава [Зализняк 1995. С. 415—416 №№ 407, 409 <80—90-е гг. XIII в.>] , а в грамоте из Старой Руссы, датируемой первой половиной XII в., фигурирует форма «Събислава» [Зализняк 1995. С. 287 Ст. Р. 9].

Хорошо известно, что в именослове чешской династии присутствовало имя *Собеслав*. В частности, так звали чешских князей, Собеслава I и Собеслава II. С другой стороны, в XII—XIII вв. в Польше фиксируется употребление как формы *Sobiesław*, так и формы *Zbyśław*<sup>13</sup>, но в ту пору ни одна из этих форм не встречается среди династических имен Пястов<sup>14</sup>.

Итак, женское имя *Сбыслава* было династическим на Руси, тогда как его мужской вариант входил, по-видимому, в круг имен, пригодных для знатных родов. Говоря о «знати», мы подразумеваем людей из княжеского окружения, из которых рекрутировались тысяцкие, наместники, воеводы, воспитатели малолетних князей, т. е. тот круг, где князьям случалось выбирать себе жен, из которого происходили ближайшие советники князя. Они составляли тот слой скандинавской и славянской аристократии, из которой выкристаллизовался когда-то и род Рюриковичей.

Особенно хорошо история такой аристократии, славяно-варяжской по происхождению, прослеживается на новгородской земле. Так, предком нескольких знатнейших новгородских родов, в частности Мирославичей и Михалковичей, некоторые исследователи считают Рёгнвальда (Рогволода) Ульвссона<sup>15</sup>. Род Рёгнвальда был исторически не менее знатным, чем род Рюриковичей; сам же Рёгнвальд состоял в родстве с Ингигерд, женой Ярослава Мудрого (подробнее см. ниже). Возможно, именно этим обстоятельством объясняется брак князя Мстислава Юрьевича, сына Долгорукого, с дочерью знатного новгородца Петра Михалкова [ПСРЛ. Т. II. Стб. 482 под 1155 г.], а также брак его племянника, Мстислава Ростиславича, внука Долгорукого, с дочерью другого новгородца, посадника Якуна Мирославича [ПСРЛ. Т. III. С. 35 под 1176 г.].

Не исключено, что какими-то сходными генеалогическими соображениями был обусловлен и брак Мстислава Великого с дочерью новгородца Димитрия Завидовича [ПСРЛ. Т. III. С. 21]. Кроме того, князь Юрий Долгорукий не только «повелъ ...снви своему Новъгородѣ женитиса», но, по-видимому, и одну из своих дочерей отдал замуж на Руси за человека некняжеского происхождения. Летопись упоминает «сестричича» (т. е. племянника от сестры), имевшегося у сына Долгорукого, Всеялода Большое Гнездо. Тот носит имя Яков и принадлежит к ближайшему окружению своего дяди, князя Всеялода. Так, Яков и его жена возглавляют свадебное посольство во время свадьбы Верхуславы Всеялодовны и Ростислава Рюриковича [ПСРЛ. Т. II. Стб. 658 под 1187 г.].

При этом далеко не всякий брак с новгородкой некняжеского происхождения считался подобающим для князя. Так, летопись следующим образом рассказывает о втором браке Святослава Ольговича, сыне Олега Святославича и брате Всеялода Ольговича: «Въ то же лѣто оженися Святославъ Олговицъ Новегородѣ, и вѣнцяся своими попы у святого Николы; а Нифонт его не вѣнця, ни попом на сватбу, ни церенцемъ дастъ, глаголя: “не достоить ея пояти”» [ПСРЛ. Т. III. Стб. 24 под 1136 г.]<sup>16</sup>.

В знатных родах, разумеется, были свои родовые имена, как скандинавские, так и славянские. Как мы знаем, только часть имен, пригодных для знати, закрепилась в роду Рюриковичей. Иными словами, в X в. (а возможно, и в самом начале XI в.) попадание того или иного из имен для знати в круг собственно княжеских имен могло быть делом случая, определялось семейными связями скандинавского рода на осваиваемой славянской территории. Далеко не все из этих семейных связей нам известны, и, соответственно, далеко не все пути формирования этого первичного княжеского антропонимиона мы можем установить. Зачастую мы можем указать лишь общий источник, из которого эти имена черпались, но не можем определить причины, по которой одно из имен закрепилось в роду Рюриковичей, другое стало родовым для кого-либо из их приближенных, а третье — выпало и затерялось. Лишь иногда мы можем догадываться, почему одно из равноправных поначалу «аристократических» имен вошло в княжеский род, а другое — нет.

Действительно, такие скандинавские по происхождению имена, как *Рюрик* (*Hrōrek*), *Игорь*, *Ингвар* (*Ingvarr*), *Якун* (*Hákon*), *Олег* (*Helgi*), *Свен* (*Sveinn*), *Свенельд* (*Sveinaldr*), изначально ничем не отличались друг от друга с точки зрения престижности. В Скандинавии все они могли фигурировать как династические<sup>17</sup>. Однако *Якун* / *Хакон* остается родовым именем знатной новгородской семьи, а *Игорь* / *Ингвар* и *Рюрик* / *Хрёrik*, например, закрепляются именно в княжеском именослове. В том, что касается мужских имен, с определенного момента, начиная с поколения внуков Владимира Святого и их потомков, княжеский именослов становится довольно трудно проницаемым. Преемственность имени от предка к потомку оказывается, как уже говорилось, тесно сцепленной с идеей преемственности власти. Княжеские имена становятся во многом изолированными от некняжеских.

Первоначально принципиально ничем не отличаются, по-видимому, и имена *Твердислав* и *Вячеслав*, *Моислав* и *Святослав*, *Мирослав* и *Ярослав*, *Владислав* и *Изяслав*, *Творимир* и *Владимир*, *Жирослав* и *Мстислав*. При этом некоторые из них становятся родовой монополией Рюриковичей, другие используются как родовые имена в знатных семьях и лишь немногие (например, *Вячеслав* и *Судислав*) могут фигурировать как в княжеских, так и в некняжеских родах. Можно предположить, что каждый случай княжеского имени в некняжеском роду имеет свое особое объяснение. Так, имя *Судислав* со смертью опального брата Ярослава Мудрого исчезает из княжеского антропонимикона. Существенно позднее, со смертью сына Владимира Мономаха, оттесняется на периферию, по-видимому, и имя *Вячеслав*<sup>18</sup>. Не исключено, что именно перестав быть княжескими, эти имена становятся вновь доступными для их окружения. Несомненно, не позднее чем с середины XI в. господствует тенденция, в соответствии с которой имена, закрепившиеся в качестве княжеских, даются только князьям. Об этой тенденции трудно говорить как об абсолютном законе. Вероятно, все же сохранялись отдельные «мостки», позволяющие князьям и их окружению обмениваться родовыми именами. Вариативные — женские и мужские — имена были одним из таких мостков.

Не вызывает, однако, сомнений и существование корпуса специфических для Рюриковичей женских княжеских имен, т. е. являющиеся прерогативой княжеского рода. Можно указать ряд случаев, когда в княжеском именослове присутствуют и мужской и женский варианты имени. Так, наряду с регулярно повторяющимся у Рюриковичей мужским именем *Ярослав* есть и женское *Ярослава*: так звали дочь князя Рюрика Ростиславича, жену Святослава Игоревича [ПСРЛ. Т. II. Стб. 659 под 1188 г.]. Популярному в полоцкой ветви Рюриковичей имени *Всеслав* соответствует женское *Всеслава*. Этим именем звали дочь Всеволода Большое Гнездо, жену Ростислава Ярославича [ПСРЛ. Т. I. Стб. 405 под 1187 г. Стб. 424 под 1206 г.], и дочь Рюрика Ростиславича, жену Ярослава Глебовича [ПСРЛ. Т. II. Стб. 708 под 1199 г.]. Существовал, по-видимому, наряду с мужским именем *Ростислав* и его женский вариант — *Ростислава*. Это имя, судя по показаниям одного источника, носила дочь Мстислава Мстилавича Удатного, жена Ярослава Всеволодовича [Летописец Переяславля Сузdalского. С. 111]<sup>19</sup>.

Вполне вероятно, что каждое мужское «аристократическое» имя, содержащее формант *-слав*, допускало существование соответствующего женского варианта. Неизвестно, впрочем, реализовались ли все эти возможности на практике. Сведения о женских именах, почерпнутые исключительно из русских источников, недостаточно обильны, и отсутствие в них какого-либо женского имени не позволяет утверждать со всей определенностью, что его не было в династическом обиходе. Так, на русской почве мы не встречаем упоминания женского имени *Мстислава*. При этом у Яна Длугоша упоминается дочь Владимира Святого по имени *Мстислава*, захваченная Болеславом вместе с Предславой. Вероятнее всего, Длугош путает здесь имена сына Владимира, Мстислава Храброго и одной из его сестер<sup>20</sup>, хотя, разумеется, ничего невозможного в существовании имени *Мстислава* у Рюриковичей не было<sup>21</sup>. С другой стороны, для целого ряда женских

имен с этим же формантом -слав мы не обнаруживаем на Руси эквивалентов среди мужских имен. Примером такого рода может служить имя дочери Всеволода Ольговича *Звенислава* или имена дочерей Всеволода-Гавриила Мстиславича и Всеволода-Димитрия Юрьевича — *Верхуслава*.

Можно представить себе схему образования вариативных имен в виде своего рода матрицы, не все клетки которой заполнены известными нам элементами, но потенциальная возможность их заполнения, разумеется, остается. Отвлекаясь на время от династии Рюриковичей, можно обратиться к амальгаме двусоставных имен, которые используются в правящих и знатных родах славянского мира, и пронаблюдать пути заполнения этих «клеток», а также различные комбинации известных формантов.

Напомним, однако, еще раз, что мужские имена Рюриковичей передаются с достаточно строгой регулярностью от предка к потомку. Они сравнительно немногочисленны и не столь уж разнообразны. Славянское или неславянское их происхождение, степень прозрачности внутренней формы, по-видимому, довольно рано утрачивают значение. Имя является пригодным для наследника постольку, поскольку его носил умерший родич, обладавший властью на Руси.

Возникает вопрос, была ли ситуация с женскими именами менее регламентированной в том, что касается употребления вариативных имен. Иными словами, для того чтобы назвать девочку *Ярославой* или *Всеславой*, было ли необходимо, чтобы такое имя уже носила какая-либо из ее прародительниц. Или достаточно было, чтобы такое имя присутствовало в роду в его мужском варианте, а женский дериват родители создавали сами? Как кажется, ни то ни другое условие не противоречит принципам династического имяречения. Мы не располагаем достаточным количеством имен, которые были бы вариативными, так сказать, внутри династии Рюриковичей, чтобы судить об их месте в княжеском именослове. Показательно, однако, что в летописи, повествующей о событиях XI — первой половине XII в., мы встречаем женские родовые имена, не находящие соответствия среди мужских имен династии Рюриковичей, т. е. такие имена, как *Предслава*, *Сбыслава*, *Верхуслава*, *Звенислава*. Лишь позднее, во второй половине XII в., наряду с ними появляются и имена *Ярослава*, *Всеслава*, *Ростислава*. На наш взгляд, появление женских вариантов имен традиционных для мужчин в роду Рюриковичей связано с постепенным общим расширением функций родового женского имени, происходящим к этому времени.

Действительно, не вызывает сомнений, что женские имена, которым нет пары среди мужских имен Рюриковичей, являются родовыми в том же смысле, что и мужские княжеские имена, т. е. повторяются у женщин из поколения в поколение. *Предслава*, как уже упоминалось, — одно из самых древних дошедших до нас женских имен подобного рода. Судя по тому, что его в начале XI в. носила дочь Владимира Святого [ПСРЛ. Т. I. Стб. 135, 140, 144; Т. III. С. 172—173, 174, 553], можно предположить, что упоминающаяся в договоре 944/5 г. *Предслава* приходилась ей родственницей или свойственницей. Позднее, в XII в., мы знаем еще четырех княжон с этим именем — дочь Святополка Изяславича, жену венгерского

герцога Альмоша, сына Гезы I [ПСРЛ. Т. I. Стб. 280; Т. II. Стб. 256 под 1104 г.], дочь Рюрика Ростиславича и черницу Предславу, которая в летописи названа дочерью князя Святослава [ПСРЛ. Т. II. Стб. 284 под 1116 г.]<sup>22</sup>. Кроме того, напомним, что *Предславой* звали в миру св. Евфросинию Полоцкую, дочь князя Георгия Всеславича<sup>23</sup>.

Не меньшую устойчивость проявляют и германские по происхождению имена, не имевшие в роду Рюриковичей мужского соответствия. Этимологическая природа имени, его изначальное происхождение, очень быстро утрачивало значение и забывалось. Насколько полным могло быть такое «забвение», можно продемонстрировать на примере женского родового имени Рюриковичей — *Маль(м)фрид*.

Этим именем звали одну из дочерей Мстислава Великого и Кристины (Христины), выданную замуж в Норвегию<sup>24</sup>. Традиционно оно считается скандинавским по происхождению. Однако в самой Скандинавии первой известной нам обладательницей этого имени как раз и была королева Маль(м)фрид, дочь Мстислава. Упоминания о других *Маль(м)фридах* относятся лишь к существенно более позднему времени, к XIII—XIV вв. На Руси же это имя фиксируется куда раньше.

Под 1000 г. рядом с упоминанием о смерти Рогнеды Рогволодовны, одной из жен Владимира Святого, сообщается и о смерти Малфредь (ср. «преставися Мальфредъ» [ПСРЛ. Т. I. Стб. 129 под 1000 г.]). Относительно этой Малфредь строилось немало догадок. Некоторые исследователи видели в ней одну из жен Владимира Святого, другие отождествляли ее с матерью Владимира, Малушей. С точки зрения принципов имянаречения несколько вероятнее, что первая Малфредь была матерью Владимира Святославича. Ярослав Мудрый, как известно, был сыном Рогнеды [ПСРЛ. Т. I. Стб. 129]. Если Малфредь была только одной из многочисленных жен его отца, возникает вопрос, почему ее имя стало воспроизводиться у потомков Ярослава.

Действительно, внутридинастические браки у Рюриковичей до второй половины XI в., по-видимому, не заключались, да и едва ли были возможны, так как их объединяло еще слишком близкое родство. Поэтому трудно предположить, что кто-либо из потомков Владимира и Малфредь вступал в брак с кем-либо из потомков Владимира и Рогнеды в поколениях Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославича и Владимира Мономаха. Мы знаем, что Маль(м)фрид Мстиславна была дочерью шведки Кристины и внучкой Гиды, дочери англосаксонского короля Харальда Годвинсона. Таким образом, она едва ли могла состоять даже в отдаленном кровном родстве с какой-либо из жен Владимира Святого, кроме Рогнеды. Если же принять, что Малфредь приходилась Владимиру Святому матерью, то оказывается, что Маль(м)фрид Мстиславна была ее родной прапраправнучкой.

Следующая же известная нам Малфрид из рода Рюриковичей, возможно, приходилась Маль(м)фрид Мстиславне двоюродной внучкой по женской линии. Она была дочерью Юрия (Дюрдия) Ярославича, князя туровского [ПСРЛ. Т. II. Стб. 527 под 1167 г.], который, в свою очередь, был, по-видимому, сыном одной из сестер Маль(м)фрид Мстиславны и князя Ярослава Святополчича<sup>25</sup>. Учитывая редкость

упоминания женских имен в летописи, имя *Маль(м)фрид* можно считать достаточно устойчивым родовым именем Рюриковичей.

Возвращаясь к вопросу о том, каким образом было выбрано имя для второй Маль(м)фрид — Маль(м)фрид Мстиславны, — необходимо оговориться, что версия ее кровного родства с первой известной нам Малфредь, умершей в 1000 г., все же не может считаться единственной. Нам слишком мало известно о внутренней структуре княжеской семьи в дохристианскую эпоху и в период крещения. Строго говоря, нет ничего невозможного в том, чтобы князь называл дочерей или внучек от одной своей жены именем другой жены, хотя это представляется нам менее вероятным.

Происхождение же имени первой Малфредь, в сущности, оказывается неактуальным для династии. В определенном смысле, оно вновь актуализируется, когда Маль(м)фрид Мстиславну выдают замуж в Скандинавию. Как уже говорилось выше, скорее всего, ее имя этимологически не было собственно скандинавским, но, как и многие имена германского происхождения, оно не было полностью чуждым для ее скандинавского окружения. Так, один из элементов в ее имени, *-frīð*, существует в приименном прозвище ее родной тетки (сестры матери) — Маргареты Фридкуллы («Девы мира»). Имя с этим формантом носила еще одна шведская принцесса, дочь или сестра Олава Шведского, Хольмфрид. На скандинавской почве, таким образом, Маль(м)фрид становилось именем с относительно прозрачной внутренней формой, хотя эта прозрачность могла быть весьма слабо соотнесена с его исторической этимологией. Вероятнее всего, по происхождению это имя было немецким и первоначально имело форму *Amalfrida*<sup>26</sup>. Отпадение начального гласного, по-видимому, явление вполне закономерное — уже на собственно немецкой почве мы встречаем это имя в форме *Malfrida* или его мужской вариант *Malfred*. Можно добавить, что имена с основой *Amal* у германцев нередко выступали в качестве династических: таковыми они были, в частности, у восточных готов. В случае с Маль(м)фрид Мстиславной мы имеем дело с весьма любопытным примером непрямого проникновения германского имени на скандинавскую почву — несколько парадоксальным образом оно приходит в Скандинавию через Русь.

При этом первая обладательница имени *Малфредь* на Руси не обязательно должна была быть немкой. Она могла происходить из любой «контактной зоны», где достаточно сильно было влияние немецкого именосложения. Трудно сказать, была ли она пленницей, захваченной во время военного похода, или принадлежала к роду, добровольно переселившемуся на Русь, — летопись знает примеры и того и другого. Достаточно вспомнить рассказ о матери Святополка, греческой монахине, которую Святослав Игоревич привез из похода для своего сына. Можно упомянуть также и род Рогнеды, жены Владимира Святого, род скандинавских правителей, княживших в Полоцке и исходно, по-видимому, не связанный с Рюриковичами кровными узами. Татищев называет интересующую нас Малфредь «княжной бойемской»<sup>27</sup>; при полной неверифицируемости этого утверждения, оно, как кажется, не является невероятным. Во всяком случае, Богемия была как раз одной из тех

«контактных зон», откуда немецкое имя *Malfrida* / Малфредь могло быть принесено на Русь.

С точки зрения «династичности» этого имени наиболее показательно имянаречение третьей из известных нам *Маль(м)фрид* — Мальфрид Юрьевны, которая происходила от двух родителей Рюриковичей и была выдана замуж за Рюриковича. Вся ее жизнь проходит, по-видимому, на Руси, никаких непосредственных связей с германским миром в ее биографии не просматривается. Поэтому ее германское по происхождению имя едва ли могло быть чем-либо иным, нежели вполне освоенным родовым княжеским именем. Можно предположить, что зафиксированными в летописи примерами (довольно удаленными друг от друга во времени) его употребление не ограничивалось.

Бывают случаи, когда в качестве династического можно с достаточной долей уверенности охарактеризовать и имя, которое было зафиксировано в источниках лишь для одного-двух женских персонажей. Примером подобного рода в роду Рюриковичей может служить имя *Звенислава*. Согласно тексту жития Евфросиньи Полоцкой, так звали двоюродную сестру святой, dochь полоцкого князя Бориса Всеславича, принявшую постриг под именем *Евпраксия* [ПЕП. С. 175]<sup>28</sup>. Летопись упоминает также другую *Звениславу*, вовлеченнюю в систему междинастических браков dochь князя Всеволода Ольговича: «Щда Всеволодъ дчърь свою Звѣниславоу в Лахы за Болеслава» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 313 под 1142 г.]. Если согласиться с точкой зрения О. Бальцера, Звенислава Всеволодовна была выдана замуж за Болеслава Высокого, сына Владислава II. Имя *Звенислава* вскорости еще раз появляется в династии Пястов, на этот раз уже в качестве имени урожденной польской княжны. Так называют dochь Мешко Старого и его русской жены Евдокии, появившуюся на свет не позднее 1168 г. Мешко Старый приходился Болеславу Высокому дядей и при этом был с ним примерно одного возраста. Очевидно, Мешко дал имя своей младшей dochери Звениславе в честь кого-то из русской родни. Не исключено, что свою роль сыграло здесь имя Звениславы Всеволодовны, однако дядя называет dochь не просто в честь жены племянника. По всей вероятности, Звенислава Всеволодовна и Евдокия, жена Мешко, принадлежали к роду Рюриковичей, но их отцы были представителями разных его ветвей.

Звенислава Всеволодовна, как уже упоминалось, принадлежала по отцу к роду Ольговичей, потомков Святослава Ярославича, а Евдокия, по некоторым предположениям, была dochерью Изяслава Мстиславича, т. е. принадлежала к ветви Мономашичей, что, впрочем, напрямую не зафиксировано ни в одном источнике. Всеволод Ольгович был женат на одной из dochерей Мстислава Великого, сестре Изяслава Мстиславича (предполагаемого отца нашей Евдокии). Таким образом, Звенислава Всеволодовна, возможно, приходилась Евдокии родной теткой со стороны матери.

В таком случае принцип выбора имени для dochери Мешко Старого вполне очевиден: Евдокия называет ее в честь собственной ближайшей кровной родственницы из рода Рюриковичей, принадлежавшей, как и она сама, к польскому королевскому дому по браку. Весьма вероятно также, что старшая Звенислава,

вышедшая замуж в 1142 г., ко времени рождения другой Звениславы (младшей дочери Евдокии и Мешко), уже могла умереть. Если это допущение верно, то наречение девочки *Звениславой* становится еще более объяснимым. Перед нами, в таком случае, классический пример передачи женского имени по женской же линии родства.

Однако необходимо помнить и о том, что гипотеза о столь близком родстве Звениславы Всеволодовны и Евдокии является результатом исследовательской реконструкции. Не исключено, что это имя носила еще по крайней мере одна неизвестная нам женщина из рода Рюриковичей, так или иначе связанная с ветвью Мономаха, — в честь нее и была названа польская Звенислава. Менее вероятно, что на выбор имени для дочери польского князя повлияло родовое имя знатной русской монахини, Звениславы-Евпраксии. Впрочем, необходимо отметить, что женские христианские имена династии Рюриковичей охотно переносились в род Пястов.

Косвенным свидетельством в пользу наречения дочери Мешко Старого в честь Звениславы Всеволодовны может служить то обстоятельство, что в семье самого Мешко, по-видимому, вообще охотно называли девочек в честь русских свойственниц. Первой женой его родного старшего брата, Болеслава Кудрявого, была русская княжна, по всей вероятности, дочь Всеволода Мстиславича, Верхуслава: «Всеволодъ Мъстислаличъ ѿда дчърь свою в Лахы Верхуславоу» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 300 под 1137 г.]<sup>29</sup>. Имя *Верхуслава*, безусловно, можно назвать женским династическим именем Рюриковичей. Существенно позже его получает дочь Всеволода Большое Гнездо, жена Ростислава Рюриковича. Показательно с точки зрения родовой истории имени, что обе известные нам *Верхуславы*, родившиеся на Руси, носят одинаковое отчество, *Всеволодовна*. В результате брака старшей Верхуславы, дочери Всеволода Мстиславича, ее имя становится династическим и у Пястов: Мешко Старый называет одну из своих дочерей от первого брака (с венгерской принцессой) в честь жены старшего брата. Впоследствии это же имя получает и внучка Мешко и Евдокии, дочь Болеслава и померской княжны Доброславы.

Таким образом, мы видим, что женское династическое имя Рюриковичей, *Верхуслава*, свободно проникает в именослов династии Пястов. Сходный процесс имел место и в случае с именем *Звенислава* — его бытование в польской династии позволяет утверждать, на наш взгляд, что и для Рюриковичей оно было не окказиональным, а вполне родовым. Рассматривая династические браки Рюриковичей и Пястов, можно, во-первых, наблюдать, что обмен именами происходит с наибольшей вероятностью на уровне женского именослова. В качестве вероятного заимствования из польского династического обихода приведем уже упоминавшееся имя дочери Святослава Всеволодовича, Болеславы Святославны. Во-вторых, польские династические связи дают дополнительные данные о воспроизведимости некоторых имен. Эти данные позволяют говорить о целом списке женских родовых имен, которые в роду Рюриковичей не имеют мужских соответствий, но являются династическими и повторяются из поколения в поколение. Приведем еще раз примеры таких имен: *Предслава, Сбыслава, Верхуслава, Звенислава*.

Подвижность и относительно большая проницаемость для внешних влияний женской части антропонимикона Рюриковичей сочеталась с определенной устойчивостью некоторых ее элементов. Нам уже приходилось упоминать о том, что выбор родовых имен — как мужских, так и женских — зачастую безразличен к сиюминутным политическим противоречиям. Тем не менее отдельные мужские имена более или менее твердо закрепляются за одними ветвями рода и оказываются «запрещенными» для других. Так, имя *Олег* десять раз встречается у потомков Святослава Ярославича — шесть раз у черниговских князей (пять из них носят при этом отчество *Святославич*) и четыре у рязанско-муромских<sup>30</sup>. Лишь однажды оно появляется в Галиче, у побочного сына Ярослава Осмомысла. Имя *Игорь* в XII в. также закрепляется за потомками Святослава Ярославича, и в колене Мономаших эти имена отсутствуют. Точно так же имя *Рогволод* является прерогативой полоцкого княжеского дома, хотя Рогволод — отец Рогнеды — приходится дедом по материнской линии Ярославу Мудрому и, соответственно, прадедом всем Ярославичам. Невозможно, однако, представить себе, чтобы именем *Рогволод* был наречен кто-либо из Мономаших. Между тем женское имя *Рогнеда*, например, получает дочь Мстислава Великого, внучка Владимира Мономаха и пропраправнучка Рогнеды Рогволовны [ПСРЛ. Т. II. Стб. 529, 531 под 1168 г.].

Возвращаясь к вопросу о мужских и женских вариантах династических имен, необходимо отметить, что имена *Рогнеда* и *Рогволод* являются примером архаического принципа имянаречения, когда имена родителей частично повторяются в именах детей. Буквальный повтор имен живых родителей нехарактерен для большинства родовых традиций. При этом у многих народов довольно многочисленны примеры частичного повтора одного из элементов имени живого предка. Хорошо известно, что принцип аллитерирующей вариации, когда имя потомка выводилось из имени предка, широко применялся в родовой традиции у германцев. В частности, он активно использовался скандинавами — именно от них со всей очевидностью попадают на русскую почву имена *Рогволод* (< *Ragnvaldr*) и *Рогнеда* (< *Ragnheiðr*). Так, у исландского первопоселенца X в. Сигхвата Рыжего был сын *Сигмунд*, а у внука — одного из сыновей Сигмунда — было имя *Сигфусс*. В свою очередь, Сигфусс называет своего сына *Сигурдом*. Таким образом, в роду используются разные имена, но в некотором смысле — это одно и то же имя. Подобное варьирование позволяет избежать полного совпадения имени ребенка с именем живого родича и в то же время подчеркнуть связь между ними — его зовут так же и, одновременно, не так же, как его живого отца<sup>31</sup>.

Трудно сказать, в какой степени к XII в., ко времени наречения дочери Мстислава Великого, была актуальна парность имен *Рогволод* и *Рогнеда*, однако самый принцип варьирования имени предка в имени потомка, несомненно, сохранял свою актуальность и использовался при наречении девочек. Как известно из скандинавских источников, еще одну дочь Мстислава Великого, сестру Рогнеды и Маль(м)фрид, звали Ингибьёрг. Это имя, с одной стороны, частично повторяет имя ее пропрабабки по отцу — Ингигерд, жены Ярослава Мудрого, а с другой стороны, в него входит в качестве составного элемента и имя ее деда по матери,

шведского конунга Инги. Необходимо учитывать, что имя Ингибьёрг Мстиславны известно нам только из скандинавских источников, однако, на наш взгляд, есть основания полагать, что она получила его на Руси. Достаточно обратить внимание на германские по происхождению имена ее сестер, которые были в то же время династическими именами Рюриковичей. Ее мать, Христина (Кристин, дочь конунга Инги Старого), могла способствовать выбору этого имени, так как оно не было чуждым для их русского окружения. Как уже говорилось, оно частично повторяло имя прабабки ее мужа, Ингигерд. Кроме того, имя *Ингибьёрг*, судя по сагам, носила жена переселившегося на Русь в первой половине XI в. ярла Рёгнвальда Ульссона, родича Ингигерд. Эта Ингибьёрг была сестрой норвежского конунга Олава Трюггвасона, который, как известно, провел часть жизни на Руси, при дворе князя Владимира Святого. Рёгнвальд стал княжеским наместником в Ладоге, он и его жена, Ингибьёрг, окончили свои дни на Руси, дав начало знатному роду Роговичей, среди которых Рюриковичам случалось выбирать себе жен<sup>32</sup>.

Таким образом, имя Ингибьёрг было не чужим на русской почве и ассоциировалось с именами предков Ингибьёрг Мстиславны как по отцовской, так и по материнской линии. Мы не располагаем какими-либо сведениями о том, была ли Ингибьёрг Мстиславна первой и последней носительницей такого имени в роду Рюриковичей, однако само подобие этого имени и имени ее старшей родственницы, жены Ярослава Мудрого, позволяет, на наш взгляд, упомянуть *Ингибьёрг* в ряду русских династических имен.

Зададимся вопросом, распространялся ли принцип частичного повтора родительских имен на родовые имена славянского происхождения. Утверждать это со всей определенностью относительно династии Рюриковичей затруднительно, хотя не исключено, что в отдельных случаях подобная тенденция имела место. Возможно, подобный повтор служил дополнительным аргументом в ситуации, когда отец с именем *Владимир* (*Володимир*) нарекал своего сына *Всеволодом* или *Володарем*. Не исключено также, что это стремление к повтору одной из основ родительского имени привело к явному доминированию форманта *-слав* в русском княжеском именослове. Этот элемент определенно преобладает над другими стандартными формантами, образующими имена представителей знатных славянских родов (такими как *-мир*, *-бор*, *-гнев*, *-вой*, *-полк* и др.). По-видимому, наречие в честь умерших предков было более важным принципом выбора династического имени, и на фоне этого принципа не так легко проследить другие тенденции, которые могли, не противореча ему, влиять на имянаречение новорожденного.

Говоря о выборе имени для девочки, как кажется, можно утверждать, что оно не могло быть просто женским вариантом родового имени отца. Иными словами, князь *Ярослав* не называл, по-видимому, дочь *Ярославой*, а *Всеслав* — *Всеславой*, возможен был лишь повтор одного элемента — *Рогволод* / *Рогнеда*, *Святослав* / *Предслава*.

Распространенность форманта *-слав* в женских княжеских именах не означает, разумеется, отсутствия у представительниц дома Рюриковичей славянских имен, состоящих из других элементов. Так, в польских источниках зафиксировано имя

русской княжны, дочери Владимира Святого и, соответственно, сестры Ярослава Мудрого и Предславы [ПСРЛ. Т. II. Стб. 142 под 1043 г.]. Согласно «Рочнику краковского капитула» она носила имя *Добронега*<sup>33</sup>, которое в других польских источниках может передаваться как *Доброгнева*<sup>34</sup>, а также *Добровка*<sup>35</sup>. Не исключено, впрочем, что имя *Добровка* / *Добравка* возникло как результат смешения имен жены Казимира Восстановителя (Добронеги Владимировны), польской княжны Добравки, жившей в XIII в. (загадочной супруги волынского князя Василька Романовича), и чешской княжны Добравы, жены польского правителя Мешко I<sup>36</sup>. Имя *Добронега* становится для Пястов династическим, так же как имена *Верхслава* и *Звенислава*. *Добронегой* называют дочь Болеслава Кривоустого и Саломеи. В источниках она известна как Добронега-Лиутгарда. По-видимому, имя *Добронега* она получила на родине, а *Лиутгардой* стала, выйдя замуж за маркграфа лужицкой марки Дитриха.

Таким образом, мы можем проследить династическую историю достаточно большой группы женских имен рода Рюриковичей. Как кажется, имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют утверждать, что женские имена проявляют не меньшую устойчивость, чем мужские. Они могут наследоваться из рода матери, закрепляя тем самым недавно возникшие межродовые отношения. Но зачастую они приходят от бабки или прабабки по отцу, а также от кого-либо из их родственниц — в этом случае как бы возобновляются, фиксируются вновь прежде установленные отношения свойства, сделавшиеся со сменой поколений родственными отношениями. Одна из важнейших функций именования княжны — это передача в род ее мужа «информации» о роде ее отца. Парадоксальным образом, после брака эта информация в известном смысле поглощается и рассеивается новыми родовыми отношениями, нивелируется полнотой ее перехода в род мужа. Тем не менее эта утрата лишь времenna и относительна, роль брака как средства создания связи между различными родами или ветвями рода оказывается весьма действенной. При этом в имянаречении, как уже говорилось, она скорее проявляется в именах девочек. Именования по отцу и по мужу (иногда включающие в себя именование по деду и по свёкру) подчеркивают знатность женщины и весьма удобны с точки зрения той функции связующего звена между родами, которая на нее возлагается. Возможно, этой же цели служил и повтор одного из элементов имени отца в личном имени дочери.

Если говорить не обо всех способах именования женщины, а исключительно о личных родовых именах, то выбор женского имени сопоставим с выбором мужского имени. Вместе они являются собой две составные части общей системы династического имянаречения. В то же время различия в функциях мужского и женского имени в источниках проявляются не только в том, что мужские имена употребляются чаще, а женские реже. Эти различия видны, в частности, в том, что касается бытования христианских и мирских имен Рюриковичей. В виде очень грубой схемы сосуществование христианских и мирских имен у мужских представителей рода можно представить следующим образом. Со временем крещения Руси у каждого князя есть христианское имя. Тем не менее в источниках он го-

раздо чаще фигурирует под своим мирским родовым именем, так что иногда его христианское имя нам остается неизвестным или восстанавливается по косвенным данным. Со временем отдельные христианские имена приобретают на себя роль родового имени, постепенно, за несколько столетий, они вытесняют из обихода имена мирские, языческие по происхождению. Условно говоря, в результате этого процесса к концу XII в. мы обнаруживаем в летописи куда больше князей, которые регулярно упоминаются под своими христианскими именами, нежели в XI в. или даже в первой половине XII в.

Что касается женских имен, то здесь соотношение выглядит несколько иначе. На фоне общей немногочисленности женских имен в летописном тексте нам известно некоторое количество христианских имен русских княжон и княгинь рубежа XI—XII вв.; при этом мы наблюдаем своего рода «вспышку» употреблений родовых, древних имен среди женщин во второй половине XII в. Иными словами, из летописи мы знаем, например, княжеские имена четырех дочерей Всеволода Большое Гнездо, тогда как часть сыновей этого князя известны нам уже исключительно под христианскими именами. С чем может быть связан подобный интерес летописи к родовым женским именам во второй половине XII столетия? Возвращаясь к уже рассматривавшейся теме мужских и женских вариантов одного и того же имени, необходимо вспомнить, что именно с этим временем связано упоминание в летописи таких женских княжеских имен, которым находится соответствие внутри мужского княжеского антропонимикона самих Рюриковичей. Как мы помним, в более ранний период относительно регулярно употребляются женские имена, состоящие из традиционных для знатных родов элементов, но не имеющие мужских соответствий в родовой традиции Рюриковичей (т. е. используются русские княжеские имена *Сбыслава*, *Предслава*, *Звенислава*, и нет русских княжеских имен — \**Сбыслав*, \**Предслав*, \**Звенислав*). Во второй же половине XII в. эти женские имена соседствуют с такими именами, как *Ярослава*, *Ростислава* или *Всеслава*.

По-видимому, в возрастании роли женских родовых имен, в их относительном изобилии отразилось общее изменение семейно-династической ситуации Рюриковичей. С одной стороны, род Рюриковичей разросся, и одним из важнейших элементов политической стратегии становится, соответственно, заключение союза между отдалившимися ветвями рода. Браки превращаются в одно из эффективнейших средств создания подобных союзов. Можно предположить, что постепенно падает престижность династических браков с правящими домами сколько-нибудь отдаленных стран, идет на убыль количество и без того немногочисленных браков со знатными соплеменницами (с представительницами боярских родов). Брак между детьями в значительной степени отражает теперь сиюминутное соглашение между отцами. Как это нередко бывает в подобных ситуациях, юный возраст брачующихся порой перестает быть препятствием для заключения брака: В то же время возрастает роль рода невесты, поскольку речь идет о своеобразном контракте между двумя равноправными сторонами.

В этом отношении весьма показательна, например, история брака Верхуславы, дочери Всеволода Большое Гнездо, с Ростиславом Рюриковичем, сыном Рюрика Ростиславича. Согласно летописи в процедуре сватовства активнее всех участвуют родственники жениха и невесты по женской линии — Глеб, дядя Ростислава с материнской стороны, и Яков, двоюродный брат Верхуславы, сын ее тетки. Рюрик Ростиславич, вместе со многими дарами, дает своей снохе город Брягин [ПСРЛ. Т. II. Стб. 658 под 1187 г.]. При этом в летописи упомянут и возраст брачующейся — 8 лет, что существенно ниже возраста предписываемого каноническим правом<sup>37</sup>.

Судя по всему, этот брак воплощал поддержку могущественного суздальского князя, поддержку небесспорных прав Рюрика Ростиславича и его потомства на киевский стол. Показательно в этом отношении имя новобрачного, *Ростислав-Михаил*, про которого специально подчеркивается в летописи, что он получил княжеское и крестильное имени своего деда, киевского князя; умершего приблизительно за пять лет до его рождения: «а и бы<sup>е</sup> на Лучинѣ веръбою недѣль въ патокъ синцю въсходающю родиса оу него *(Рюрика.)* — А.Л., Ф.У. синь и нарекоша и въ стмь кръщеніи дѣдне има Михаило а кнаже Ростиславъ дѣдне же има и бы<sup>е</sup> радость вѣлика о роженъи его и дасть ему оцъ его Лучинъ городъ въ нѣмже родиса и поставиша на томъ мѣстѣ црквъ стго Михаила кде са родиль» [ПСРЛ. Т. II. СТБ. 567 под 1173 г.].

Подобное имянаречение свидетельствовало о далекоидущих планах отца новорожденного, который сам к тому времени еще не был киевским князем. Любопытно, что годом позже имя *Ростислав* получил и сын Ярослава Всеволодовича, внук Всеволода Ольговича. Среди его предков по мужской линии, рязанских и черниговских князей, потомков Святослава Ярославича, имя *Ростислав* относительно редко: его носили двоюродный дядя новорожденного, единожды упоминаемый в летописи под 1144 г. (Ростислав Глебович), а также еще более дальний родственник — Ростислав Ярославич, сын Святослава Ярославича, упоминающийся в летописи последний раз за двадцать с лишним лет до рождения своего полного тезки. Немаловажно, однако, что недавно умерший киевский князь Ростислав Мстиславич приходился отцу ребенка, Ярославу, родным дядей по материнской линии — Ярослав был сыном Всеволода Ольговича и Мстиславны, причем, сыновья Всеволода Ольговича занимали в определенном смысле промежуточное положение между «стрыями» и «уюми», между родом отца и родом матери. Во второй половине XII в. именослов материнского рода вообще приобретал определенное значение при выборе имени для мальчиков, особенно если он не вступал в прямой конфликт с именословом отцовского рода и сулил ребенку какое-либо продвижение в родовой иерархии.

Впоследствии этот Ростислав Ярославич также женится на дочери Всеволода Большое Гнездо, Всеславе. Возвращаясь же к браку другого Ростислава, Ростислава Рюриковича, следует отметить, что род невесты имел в этом браке едва ли не больший вес, чем род жениха. По-видимому, Всеволод Большое Гнездо с самого начала рассматривал своих сыновей и дочерей как средство для построения

исключительной системы свойствá, охватывающей всю территорию, подвластную Рюриковичам. Девочкам отводилась в этой системе почти столь же важная роль, что и мальчикам, и потому им — как в случае с Всеславой — могло даваться женское соответствие мужского родового имени, и во всяком случае их княжеские родовые имена подчеркивались и педалировались. В подобном стремлении Всеволод был не одинок. Его сват, Рюрик Ростиславич, по-видимому, пытался проводить ту же политику, и в том, что касалось имянаречения детей, они с Всеволодом вступали в своеобразное соревнование. У каждого из этих князей есть сын, которому дается мирское имя *Владимир* и крестильное *Димитрий*<sup>38</sup>. У обоих этих князей, Рюрика и Всеволода, есть дочери по имени *Всеслава* [ПСРЛ. Т. I. Стб. 405 под 1187 г., 424 под 1206 г.; Т. II. Стб. 708 под 1199 г.].

Браки княжеских дочерей, разумеется, всегда в значительной степени акт политический. Ко второй же половине XII в. складываются специфические параметры этой политики. На первый план выходят браки с представителями разошедшихся ветвей собственной династии Рюриковичей — такие союзы, с одной стороны, зачастую уже вполне допустимы с точки зрения канонического права, а с другой стороны, именно они оказываются наиболее выгодными с точки зрения сиюминутной, текущей политики. Прежде столь почетное установление родства с правящими домами Западной Европы и Византии в известном смысле отходит на периферию родовой политики, равно как и союзы с представителями местной некняжеской элиты. Судя по употреблению женских княжеских имен в летописи, происходят некоторые изменения в династической системе координат: зачастую у женщины, приходящей из некняжеского рода, и даже у иностранной принцессы, связь с родом отца на русской почве поневоле ослабевает, что, как кажется, вполне соответствует той архаической родовой тенденции, когда женщина из рода отца целиком и полностью переходит в род мужа.

Однако, как уже говорилось выше, эта тенденция редко доходит до своего логического завершения; чаще всего брак все же призван установить связь между родами. В XII в. эта связь становится все более равноправной. Иными словами, весьма нередки матримониальные союзы, в которых и после брака род отца невесты продолжает играть не меньшую роль, чем род жениха.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ср. [Kazhdan 1990, 414—429].

<sup>2</sup> Ср. [Успенский 2002, 35].

<sup>3</sup> См. [Литвина, Успенский 2003].

<sup>4</sup> См. [Успенский 2002, 34—35, 43—44; Lind 1992, 226, 235].

<sup>5</sup> Напомним, что Ярослав Осмомысл стремился передать права на галицкий престол своему незаконному сыну Олегу от наложницы Настасьи. Судя по имени его старшего сына, первоначально Осмомысл планировал иное распределение власти: его сын от Ольги получает «деднее» имя *Владимир*, т. е. обозначается как прямой преемник отцовской власти. Внебрачный же сын получает имя княжеское, но не связанное с отцовской ветвью рода, — *Олег*. Не исключено, что здесь мы имеем дело с выбором имени в честь рода друзей и союзников. Возможно, Осмомысл

рассчитывал на поддержку рязанских князей, для которых имя *Олег* было, если так можно выразиться, самым родовым.

<sup>11</sup> Наречениеbastardов именем, нехарактерным для отцовского рода, практиковалось, в частности, в Скандинавии. При этом отец, желая передать незаконнорожденному какие-либоственные права, нередко давал ему особого рода имя [Успенский 2001]. На Руси практика передачи власти внебрачным детям была куда менее распространена, и, как кажется, не было выработано специальных механизмов имянаречения, которые поддерживали бы подобную практику. Однако выбор имени для Олега Ярославича, который в летописи называется «Олег Настасьич» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 657 под 1187 г.], т. е. по имени матери Настаськи, может служить единичным примером такого выбора имени, когда, с одной стороны, отдается дань незаконному происхождению ребенка, а с другой стороны, демонстрируется желание отца сделать его князем.

<sup>12</sup> См. [Кучкин 1986, 79—80].

<sup>13</sup> См. [Литвина, Успенский 2002, 36—100].

<sup>14</sup> Оварьировании родовых имен у князей см. подробнее: [Литвина, Успенский 2003а].

<sup>15</sup> Ср. [Успенский 2002, 48], с указанием литературы.

<sup>16</sup> См. [Щавелева 1989].

<sup>17</sup> Говоря о преемственности прав, русские князья использовали формулу, отделяющую их собственные властные родовые права от каких-либо отношений, которые возникают в результате междинастических matrimonиальных союзов. Изяслав Мстиславич, сын шведской принцессы Христины и внук английской принцессы Гиды, поддерживает теснейшие связи с венгерским правящим домом и постоянно пользуется военной помощью венгерского короля (своего шурина). Тем не менее летопись приписывает ему стандартную конструкцию, характеризующую его права на часть наследия Рюриковичей: «Изаславу же молващо мнъ ѿцины въ Оутрехъ нѣтуть ни въ Лахохъ токмо въ Рускoi земли» ([ПСРЛ. Т. II. Стб. 405 под 1150 г.]; ср. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 329 под 1151 г.]). Той же формулой, акцентирующей связь с общим предком, Ярославом Мудрым, пользуются и противники Мономашией, черниговские князья: «они (Ярослав Изяславич. — А. Л., Ф. У.) же поча ему молвити . чemu тобъ наша ѿтчина тобъ си сторона не надобѣ Сѣслав (Святослав Всеволодович. — А. Л., Ф. У.) же поча ему молвити и не Оугринъ ни Лахъ но одиночного дѣда есмы внуци а колко тобъ до него только и мнъ» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 578 под 1174 г.]; ср. также речь Ольговичей, обращенную ко Всеволоду Большое Гнездо: «рекше ко Всеволоду ажъ ны еси вмѣнилъ Кыевъ тоже ны его блюсти подъ тобою. И подъ сватомъ твоимъ Рюрикомъ то въ томъ стоимъ ажъ ны лишился его велишъ ѿинуоду то мы есмы не Оугре ни Лахове но единого дѣда есмы вноуци при вашемъ животѣ не ищемъ его ажъ по ваѣ комоу Бѣ дасть» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 688—689 под 1195 г.].

<sup>18</sup> В. Л. Янин отождествляет Сбышку Волосовича с новгородцем Сбыславом, упоминающимся в берестяных грамотах [Зализняк 1995, 341, № 550; 348, № 671].

<sup>19</sup> См. [Taszycki 1925, 96—97, 108].

<sup>20</sup> Возникает вопрос, являются ли *Сбыслав* и *Собеслав* формами одного имени или самостоятельными именами. Разрешение этой проблемы затрудняется еще и тем, что западнославянский антропонимический материал известен преимущественно из латиноязычных источников, нередко изменявших первоначальную форму имени.

<sup>21</sup> См. [Молчанов 1997а; Молчанов 1997б; Гиппиус 2001, 59—65; Гиппиус 2003].

<sup>22</sup> По-видимому, князья стремились жениться на женщинах из знатных родов, однако у нас нет оснований считать, что архиепископ Нифонт отказывался венчать князя из-за незнатности невесты, как это иногда предполагается исследователями [Горский 2001, 12; Гиппиус 2004, 172, примеч. 5]. Как кажется, в компетенцию церкви входил контроль над каноничностью брака, разница же в происхождении жениха и невесты церковных правил не нарушала. Едва ли архиепископ Нифонт мог присвоить себе функции блестителя родового аристократизма. Скорее всего, этот брак не соответствовал какому-либо из церковных установлений. Помимо близкого родства,

которое чаще всего и служило препятствием для княжеских браков, это могло быть, например, число предыдущих браков жениха или невесты или возраст невесты. Кроме того, известны примеры, когда князь отнимал жену у живого мужа. Ср. летописный рассказ о Владимире Ярославиче Галицком, который «пои оупопа женоу и постави собъ женоу» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 659 под 1188 г.]. Показательно, что в летописи этот брак рассматривается как безусловно неподобающий, и тем не менее попадья трактуется здесь не иначе как жена князя, а его сыновья от нее — как наследники княжеского рода.

Действительно, нежелание «кланатиса попадыи» послужило предлогом для бунта галицких бояр, однако они выдвигают этот предлог и говорят о своем желании убить ее лишь тогда, когда старший сын князя и «попадыи» успел достичь брачного возраста и жениться на дочери князя Романа Мстиславича [ПСРЛ. Т. II. Стб. 660]. При этом галичане предлагают своему князю выбрать вместо «попадыи» любую невесту, никак не оговаривая ее знатности в качестве условия для брака. Открытое стремление убить попадью, по-видимому, является прямой отсылкой к семейной ситуации с отцом Владимира Ярославича, Ярославом Осмомыслом. Галичане убили его наложницу и мать его младшего сына Олега. Не исключено, что Ярослав пытался трактовать связь с Настасьей как брак и, во всяком случае, рассматривал Олега как своего основного наследника. Однако эта связь никак не могла быть признана браком ни, разумеется, с точки зрения церкви, ни с точки зрения родовых отношений. Ярослав Осмомысл уже был женат на дочери Юрия Долгорукого, Ольге, о которой мы уже упоминали выше.

<sup>17</sup> Ср. [Молчанов 1992].

<sup>18</sup> Действительно, имя *Вячеслав* оказывается не слишком «удачливым» для потомков Ярослава Мудрого.

Вячеслав Владимирович умирает, будучи почетным «соправителем» своих племянников, сначала Изяслава, а затем и Ростислава Мстиславичей. К моменту кончины в 1154 г. собственных сыновей у него не остается: по-видимому, единственный его сын, упоминающийся в летописи, Михалко, умирает при жизни отца в 1129 г. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 301]. При этом в летописи фигурируют «Вячеславли внуки» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 479 под 1155 г.]. Они, по-видимому, не получают княжеского стола и в распрях между князьями действуют под началом Юрия Долгорукого. Невозможно определить, являются ли они детьми сына Вячеслава или какой-либо, не упомянутой в летописи, его дочери. На наш взгляд, несколько вероятнее второе, так как если они являются потомками Вячеслава Владимировича по мужской линии, то трудно объяснить, почему они никак не упоминаются в связи с дедом и ничего не получают от него ни при его жизни, ни после смерти.

Династическая судьба другого Вячеслава, Вячеслава Ярополчика, также складывается неудачно. После гибели своего отца, Ярополка Изяславича, не успевшего сделаться киевским князем, естественным образом, понижаются шансы его сыновей на продвижение в княжеский иерархии. Можно предположить, что из двух известных сыновей Ярополка Вячеслав был младшим. Он, в отличие от своего брата Ярослава, не пытается претендовать на киевское княжение, вообще о его самостоятельных инициативах ничего не известно. В летописи не упоминается также никакого стола, которым бы он владел. Он фигурирует только как участник походов, затеваемых другими князьями. Вячеслав Ярополчич умирает в 1104 г. [ПСРЛ. Т. I. Стб. 280], о его детях ничего не известно.

Один из младших родичей Вячеслава Ярополчика все же получает это имя. Мы имеем в виду сына Ярослава Святополчича, внука Святополка Изяславича. По-видимому, Вячеслав Ярославич родился после смерти своего двоюродного дяди, т. е. после 1104 г., и был назван в его честь (иначе см. [Назаренко 2000, 178, примеч. 59]). Этот Вячеслав известен как князь Клецкий. Возможно, выбор имени для него отчасти был обусловлен и тем, что он становится полным тезкой одного из сыновей Ярослава Мудрого. Отец Вячеслава, Ярослав Святополчич, в 1112 г. женился на дочери Мстислава Великого. Был ли Вячеслав его сыном от брака с Мстиславной — трудно

утверждать наверняка, хотя во время похода 1127 г. он действует среди ближайших младших родичей Мстислава, вместе с его младшими братьями, зятем и сыновьями [ПСРЛ. Т. I. Стб. 297; Т. II. Стб. 292]. Если учесть, что к этому времени уже нет в живых его предков по мужской линии — отца и деда, то весьма правдоподобно выглядит предположение, что молодой князь Вячеслав находится среди ближайшего окружения Мстислава именно потому, что приходится последнему внуком (сыном его дочери). В пользу появления Вячеслава Ярославича на свет после 1104 г. говорит и его имя: он мог быть назван, как уже говорилось, в честь умершего недавно двоюродного дяди. Так или иначе, этот князь занимает лишь весьма незначительное место во властной структуре Рюриковичей. О его потомстве нам ничего неизвестно, а его «княжеская биография» не способствовала закреплению имени *Вячеслав* у потомков Ярослава Мудрого. Во второй половине XII в. это имя постепенно исчезает из их антропонимикона.

<sup>18</sup> У полоцких князей дважды встречается имя *Вячко*, возможно, производное от *Вячеслав*. Один из носителей этого имени был, по-видимому, братом св. Евфросинии Полоцкой (неизвестно, впрочем, родным или двоюродным). Другой же Вячко, умерший ок. 1224, был сыном Бориса Давыдича Кукенойского.

<sup>19</sup> Ростиславу Мстиславну отождествляют с гораздо более известной по летописям Феодосией (в монашестве Евфросиния), матерью Александра Невского и всех остальных сыновей Ярослава Феодора Всеялововича (см. подробнее: [Кучкин 1986, 71—80], с указанием литературы).

<sup>20</sup> См. [Semkowicz 1887, 99].

<sup>21</sup> Интересно в этом отношении бытование женского варианта имени *Изяслав*. В источниках упоминается его единственная носительница: в конце XIII в. *Изяславой* звали приемную дочь князя Владимира Васильковича, однако нет никаких данных о том, что она происходила из княжеского рода. Не исключено, что это имя — искусственное, псевдокняжеское, и было «сконструировано» самим князем, приемным отцом, который «взял бо есь ю. б своею мѣти в пеленахъ и воскормилъ», ввел в княжеский род и считал Изяславу своей наследницей [ПСРЛ. Т. I. Стб. 901, 904—905 под 1287 г.].

<sup>22</sup> О каком именно князе Святославе здесь идет речь, не вполне понятно. Д. С. Лихачев отождествляет его со Святославом Изяславичем, сыном Изяслава Ярославича [ПВЛ 1996. С. 560], однако такой князь нам не известен. По хронологии она могла бы быть дочерью Святослава Ярославича, сына Ярослава Святославича, внука Святослава Ярославича, или дочерью Святослава Владимировича, сына Владимира Мономаха [Когрела 1995, 201].

<sup>23</sup> «И пришедши ей въ возраст 12 летъ, и нача отец ея глаголати княгини своей:nama уже лепо дати Предславу за князъ; тако бо нарекоста ей имя прежде крещения ея» [ПЕП. С. 173].

Отметим попутно, что имя *Передьслава* встречается в новгородской берестяной грамоте, относящейся к началу XIV в. [Зализняк 1995, 434, № 328].

<sup>24</sup> Маль(м)фрид Мстиславна была отдана замуж за конунга Норвегии, Сигурда Крестоносца (1103—1130), сына Магнуса Голоногого. Обстоятельства этого брака известны весьма мало. Традиционно считается, что в 1111 г. Маль(м)фрид находилась в Шлезвиге у ярла Эйлива и вышла там замуж за Сигурда Крестоносца, возвращавшегося из крестового похода [Jørgensen 1874—1878, 830; Olrik 1888, 63; Пашуто 1968, 146; Джаксон 2000, 176, примеч. 2]; в некоторых работах можно встретить другую датировку событий — 1116 г.: [Munch 1852—1859, II, 594, примеч. 2, ср. с. 599; Braun 1924, 156]. Этому противоречат, однако, ценные сведения об этом браке, которые содержатся в «Церковной истории» нормандского хрониста XII в. Ордерика Виталиса. Согласно Ордерику Сигурд, возвращаясь из крестового похода на Иерусалим, остановился на Руси и взял там в жены дочь короля Мальфриду (Per Russiam vero remeans, Malfridam, regis filiam, uxorem duxit, domumque reversus, paulo post, regnum, dante Deo, suscepit [OV. P. 727]). Данная версия кажется нам, несомненно, более предпочтительной, нежели традиционная (кстати, не основывающаяся ни на одном письменном источнике), хотя сведения Ордерика о том, что Сигурд останавливался на Руси, являются уникальными. В то же время известно, что маршрут

крестоносцев нередко пролегал через Русь [Назаренко 2001, 632, примеч. 3], тогда как пребывание Маль(м)фрид в Шлезвиге у ярля Эйлива оказывается слабо мотивированным звеном в реконструкции историков.

В браке с Сигурдом Крестоносцем Маль(м)фрид Мстиславна родила дочь, которая была названа *Кристиной* в честь бабки по матери, жены Мстислава Великого. Кристине, дочери Сигурда и Маль(м)фрид, предстояло сыграть заметную роль в истории Норвегии XII в., в частности, именно ее сын (т. е. внук Маль(м)фрид и правнук Мстислава), Магнус, занял норвежский престол в 1163/64 и стал первым коронованным и помазанным правителем в Скандинавии.

По свидетельству одного источника [Mork. Bls. 398—399], незадолго до своей смерти Сигурд Крестоносец оставил Маль(м)фрид Мстиславну и взял себе другую жену по имени Цецилия, что спровоцировало конфликт с церковными иерархами, которые заняли достаточно непримиримую позицию в этом вопросе. Мы не знаем, оставалась ли Маль(м)фрид Мстиславна после фактического развода в Норвегии, однако, овдовев в 1130 г., она вторично вышла замуж; на этот раз за датского конунга Эйрика Незабвенного (Эмуна), единокровного брата Кнута Лаварда, который был женат на сестре Маль(м)фрид, Ингибьёрг Мстиславне. Детей от брака с Эйриком у Маль(м)фрид не было, единственный наследник конунга, Свейн-Петр Грата, был по всей вероятности рожден от наложницы.

<sup>25</sup> Юрий Ярославич был женат на дочери Всеволодко Городенского. А. В. Назаренко считает, что этот брак был бы невозможен, если бы Юрий был сыном Ярослава и Мстиславны. Всеволодко был женат на Агафье, дочери Владимира Мономаха и сестре Мстислава Великого. Таким образом, брак сына Мстиславны и внучки Агафьи оказывается неканонически близкородственным [Назаренко 2000, 178]. При этом, однако, мы не знаем, была ли Агафья единственной женой Всеволодко, и была ли, соответственно, жена Юрия Ярославича ее дочерью.

<sup>26</sup> См. подробнее: [Jón Jónsson 1902, 640—641; Успенский 2002, 55—56 и примеч. 20, с указанием литературы].

<sup>27</sup> См. [Татищев 1962—1968, II, 69; IV, 103, 141].

<sup>28</sup> Ср. [Макарий. Кн. II. С. 316; Голубинский. Т. I: 2. С. 598].

<sup>29</sup> Cp. (Salome) preclarissimos filios suos duces Bolezlauum ac Misiconem cum uxoribus eorum, filiabus scilicet regum Ungarie et Ruszie de regionibus suis fecit ad generale colloquium convenire [цит. по: [Balzer 1895, 158—159].

<sup>30</sup> См. [Пчелов 1999, 130—133].

<sup>31</sup> Подробнее об этом см. [Литвина, Успенский 2003].

<sup>32</sup> Ср. [Молчанов 1997а; Молчанов 1997б; Гиппиус 2001, 59—65; Гиппиус 2003]; ср. [Успенский 2004; Успенский, в печати].

<sup>33</sup> См. [Щавелева 1990, 148].

<sup>34</sup> По-видимому, первичной является именно форма *Добронега*, а *Доброгнева* — результат позднейшей переработки, относящейся к XIV—XV в. [Balzer 1895, 170; Hertel 1980, 148—149]. Имена с основой *-нег* были вполне распространены на Руси за пределами рода Рюриковичей, ср. имя знатных новгородцев *Нежата*, *Нежатиничи*, а также *Нежко*.

<sup>35</sup> См. [Balzer 1895, 87—90].

<sup>36</sup> В историографии появляется ряд имён с элементом *Добр-*, не зафиксированных, как кажется, ни в каких средневековых источниках. Они рождаются из гипотезы о том, что славянские имена княжон нередко бывали результатом перевода их крестильных греческих имён. Таким образом, *Евпраксия* превращалась в *Добродею* и т. п. В действительности, мы не знаем ни одного случая подобного перевода. Вообще примеры столь прямого соотнесения славянского и крестильного имени, как кажется, весьма редки. Собственно говоря, речь может идти только об одном случае, когда перевод, передача значения, возможно, как-то учитывался при выборе христианского имени. Не исключено, что семантика имён напрямую сыграла роль при выборе христианского имени для крестителя Руси, Владимира Святого, нареченного *Василем*. Но и в

в этом случае не следует забывать о том, что выбор его имени определялся несколькими факторами, среди которых перевод как таковой едва ли имел первостепенное значение.

<sup>37</sup> См. [Назаренко 2001, 575].

<sup>38</sup> Ср. «родиса оу Рюрикови сінь и наръкоша има емоу во стѣмъ крѣщнии Дмитрѣи а миръский Володимерь» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 657—658 под 1187 г.]; «Того же лѣтъ оу великого кназа Всеволода родиса сінь до заоутренага ст҃о Дмитрѣа днѣ и менины же тогда бахоуть Всеволодъ же вѣль оучинити сіви своему во свое има Дмитрѣи въ стѣмъ крѣщнии а кнаже има оучини емоу Володимиръ дѣда своего има Мономаха Володимѣра» [ПСРЛ. Т. II. Стб. 674—675 под 1192 г.].

## ЛИТЕРАТУРА

- Гиппиус 2001 — Гиппиус А. А. «Суть людие новгородци от рода варяжьска...» (Опыт генеалогической реконструкции) // Восточная Европа в древности и средневековье: Генеалогия как форма исторической памяти: XIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 11—13 апреля 2001 г.: Мат-лы конференции. М., 2001.
- Гиппиус 2003 — Гиппиус А. А. Рагоуль: Страница из истории русского именослова // Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag. München (Die Welt der Slaven. Sammelbände / Сборники. Bd. 19), 2003.
- Гиппиус 2004 — Гиппиус А. А. О нескольких персонажах новгородских берестяных грамот XII века // В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1997—2000 годов. Т. XI. М., 2004.
- Голубинский — Голубинский Е. Е. История Русской церкви. Изд. 2-е. Т. 1: 1 — 1: 2. М., 1901—1904; Т. 2: 1 — 2: 2. М., 1911 (репринт: М., 1997).
- Горский 2001 — Горский А. А. «Всего еси исполнена земля русская...»: Личности и ментальность русского Средневековья. М., 2001.
- Джаксон 2000 — Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (середина XI—середина XIII в.). М., 2000.
- Зализняк 1995 — Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Клейненберг 1978 — Клейненберг И. Э. Основные принципы выбора новых личных имен и адаптации иноязычных в России X—XIX вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 9. Л., 1978.
- Кучкин 1986 — Кучкин В. А. К биографии Александра Невского // Древнейшие государства на территории СССР 1985. М., 1986.
- Летописец Переяславля Сузdalского — Летописец Переяславля Сузdalского // Временник общества истории и древностей российских при Московском университете. М., 1851. Кн. 10. Отд. II.
- Литвина, Успенский 2002 — Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Пути усвоения христианских имен в русских княжеских семьях XI — начала XIII в. // Религии мира: История и современность 2002 / Отв. ред. А. В. Назаренко. М., 2002.
- Литвина, Успенский 2003 — Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. К стратегии именования у Рюриковичей XII в. (Наречение племянника по живому дяде) // Ruthenica. Київ, 2003. Т. II.
- Литвина, Успенский 2003а — Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Варъирование родового имени на русской почве: Об одном способе именаречения в династии Рюриковичей // Именослов: Записки по исторической семантике имени / Сост. Ф. Б. Успенский. М., 2003.
- Макарий — Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской церкви / Научн. ред. С. А. Беляева. Кн. 2. М., 1995.
- Молчанов 1992 — Молчанов А. А. Древнескандинавский антропонимический элемент в династической традиции рода Рюриковичей // Образование Древнерусского государства:

- Спорные проблемы: Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 13—15 апреля 1992 г.: Тез. докл. М., 1992.
- Молчанов 1997а — Молчанов А. А. Ярл Рёгнвальд Ульвссон и его потомки на Руси (о происхождении ладожско-новгородского посадничьего рода Роговичей-Гюрятиничей) // Памятники старины: Концепции. Открытия. Версии: Памяти В. Д. Белецкого. СПб.; Псков, 1997.
- Молчанов 1997б — Молчанов А. А. Скандинавские выходцы среди феодальной элиты Северной Руси (потомки ярла Рёгнвальда Ульвссона в Ладоге и Новгороде) // XIII конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии: Тез. докл. Петрозаводск, 1997.
- Назаренко 2000 — Назаренко А. В. Городенское княжество и городенские князья в XII в. // Древнейшие государства Восточной Европы 1998. М., 2000.
- Назаренко 2001 — Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых и политических связей IX—XII веков. М., 2001.
- Пашуто 1968 — Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968.
- ПВЛ 1996 — Повесть временных лет / Подгот. текста, перевод, статьи и комментарии Д. С. Лихачева. Изд. 2-е. СПб., 1996. (Лит. памятники).
- ПЕП — Повесть о Евфросинии Полоцкой // Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Г. Кушелевым-Безбородко. Вып. 4: Повести религиозного содержания, древние поучения и послания / Извлеч. из рукоп. Н. Костомаровым. СПб., 1862.
- ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. СПб./Пг./Л.; М., 1841—2002. Т. 1 — 42. (В случае переиздания летописи мы всегда ссылаемся на последнее издание.)
- Пчелов 1999 — Пчелов Е. В. Скандинавские имена в династической традиции Рюриковичей домонгольского периода // Древнерусская культура в мировом контексте: археология и междисциплинарные исследования. Мат-лы конференции. Москва, 19—21 ноября 1997 г. М., 1999.
- Татищев 1962—1968 — Татищев В. Н. История Российской / Подгот. к печати М. П. Ирошиной, З. Н. Савельевой; Под ред. А. И. Andresva, С. Н. Валка, М. Н. Тихомирова. М.; Л., 1962 — 1968. Т. 1—7.
- Тупиков 1903 — Тупиков Н. М. Словарь древне-русских личных собственных имен. СПб., 1903.
- Успенский 2001 — Успенский Ф. Б. Имя и власть: Выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии. М., 2001.
- Успенский 2002 — Успенский Ф. Б. Скандинавы — Варяги — Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002.
- Успенский 2004 — Успенский Ф. Б. «Мстиславля Христина»: Шведско-новгородские связи конца XI в. // XV Конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. Москва, 23—26 июня 2004 г.: Тез. докладов. Ч. I—II. М., 2004. Ч. I.
- Успенский, в печати — Успенский Ф. Б. Брак Мстислава и Кристины: К вопросу о русско-шведских династических связях XI — начала XII вв. // Мозаика шведской культуры / Сост. и отв. ред. Т. А. Торштендаль-Салычева. (В печати.)
- Членов 1970 — Членов А. М. К вопросу об имени Святослава // Личные имена в прошлом, настоящем и будущем: Проблемы антропонимики. М., 1970.
- Щавелева 1989 — Щавелева Н. И. Польки — жены русских князей: XI — середина XIII в. // Древнейшие государства на территории СССР 1987. М., 1989.
- Щавелева 1990 — Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники: Тексты, перевод, комментарий. М., 1990 (Древнейшие источники по истории народов СССР).
- Balzer 1895 — Balzer O. Genealogia Piastów. Kraków, 1895.
- Braun 1924 — Braun F. Das historische Russland im nordischen Schrifttum des X.—XIV. Jahrhunderts // Festschrift Eugen Mogk zum 70. Geburtstag. Halle, 1924.

- Hertel 1980 — *Hertel J.* Imiennictwo piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu. Warszawa; Poznań; Toruń. (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruni. T. 79. № 2).
- Jón Jónsson 1902 — *Jónsson Jón.* Um íslensk mannanöfn // Safn til sögu Íslands og íslenzkra Bókmenta ad fornu og nýju. Bnd. 3. Kaupmannahöfn.
- Jørgensen 1874—1878 — *Jørgensen A. D.* Den nordiske Kirkes Grundlaeggelse og første Udvikling. København.
- Kazhdan 1990 — *Kazhdan A.* Rus'-Byzantine princely marriages in the eleventh and twelfth centuries // Harvard Ukrainian Studies 1988/1989. Vol. 12/13.
- Korpela 1995 — *Korpela J.* Beiträge zur Bevölkerungsgeschichte und Prosopographie der Kiever Rus' bis zum Tode von Vladimir Monomach. Jyväskylä. (Studia Historica Jyväskylænsia. Bd. 54).
- Lind 1992 — *Lind J. H.* De russiske ægteskaber: dynasti- og alliancepolitik i 1130'ernes danske borgerkrieg // [Dansk] Historisk Tidsskrift. Bnd. 92. Hft. 2.
- LV — Liber Vitae: Register and Martyrology of New Minster and Hyde Abbey Winchester / Ed. W. de Gray Birch. London; Winchester, 1892.
- Mørk. — Morkinskinna / Udg. ved Finnur Jónsson. København, 1932. (Samfund(et) til udgivelse af gammel nordisk litteratur. Bnd. 53).
- Munch 1852—1859 — *Munch P. A.* Det Norske Folks Historie. Christiania. Bnd. 1—4.
- Olrík 1888 — *Olrík H.* Knud Lavards liv og gaerning. København, 1888.
- OV — Orderici Vitalis Angliegenæ cœnobii uticensis monachi Historiæ Ecclesiasticæ // Patrologiae cursus completes. Series latina / Ed. J.—P. Migne. T. 188. Paris, 1855.
- Semkowicz 1887 — *Semkowicz A.* Rozbiór krytyczne «Dziejów Polski» Jana Dlugosza. Kraków, 1887.
- Taszycki 1925 — *Taszycki W.* Najdawniejsze polskie imiona osobowe. Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Poznań; Wilno; Zakopane. (Polska Akademja umiejętności. Wydział Filologiczny. — Rozprawy, T. 42. Nr. 3).

*A. A. Гиппиус (Москва)*

## ДВА ОТЧЕСТВА ПОСАДНИКА МИРОШКИ

**З**наменитый новгородский политический деятель XII в. посадник Мирослав Нездинич (посадничал в 1189—1199 гг., умер в 1203 г.) был более известен современникам как Мирошка. Полную форму его имени донесли до нас берестяные грамоты, в которых это лицо дважды выступает как Мирошка (№ 226 и № 936) и дважды — как Мирослав (№ 502 и № 603); см. [НГБ VII: 96—99; НГБ VIII: 63—67; НГБ XI: 174—179; Гиппиус 2003, 53—55; Зализняк 2004, 403—409]. Христианское имя Мирошки нам неизвестно; что же касается отчества, являющегося предметом настоящей заметки, то его Новгородская первая летопись (НПЛ) называет лишь однажды, в сообщении об избрании Мирошки посадником под 6697 (1188) г. Характерным образом в этом указании два извода НПЛ расходятся: в древнейшем Синодальном списке (датируемом в этой его части серединой XIII в.) читается: *отиша посадничество оу Михаля и вдаша Мирошки Нездиницию*, тогда как в списках младшего извода XV в. вместо *Нездиничу* стоит *Незнанициу* [НПЛ, 39, 230].

Свидетельство старшего извода НПЛ традиционно воспринимается как более достоверное. В его пользу говорит не только древность Синодального списка, но и семейные связи Мирошки, какими они предстают в свете различных письменных источников. Отец Мирошки с высокой вероятностью отождествляется с убитым в 1167 г. биричом Несдой (Нездой): считать так позволяет тот факт, что и сам Мирошка до своего избрания на посадничество исполнял должность бирича, о чем свидетельствует «Церковный устав Всеолода», см. [Флоря 1999, 92]. С другой стороны, летописи известен и брат Мирошки, Внезд Нездинич, отстроивший в 1191 г. фамильную церковь св. Образа на Добрине улице; этот храм находился в непосредственной близости от боярских усадеб Людина конца, с которых происходят связанные с Мирошкой (Мирославом) берестяные грамоты. Все это позволяет не сомневаться в том, что Мирошка действительно был *Нездиничем*.

Значит ли это, что чтение *Незнаничу* может вообще не приниматься во внимание как позднейшее искажение? По-видимому, нет. Хотя, вообще говоря, случаи искажения в младшем изводе НПЛ редких древнерусских отчеств домонгольской поры имеются — так, Завид Неревинич под 6683 г. явно по ошибке превращен в *Неверонича* — интересующее нас разночтение вряд ли может быть отнесено к

той же категории. Отчество *Нездиничь*, в отличие от уникального *Неревиничь*, не должно было смутить переписчика XV в.: прозвище (фамилия) *Нездинъ* встречается в источниках и в более позднее время, см. [Веселовский 1974, 216]. С другой стороны; в отличие от *Невероничь*, представляющего собой чисто книжное измышление, *Незнанич* соотносится с реально засвидетельствованным именем *Незнанъ*; см. [Там же]. Что особенно примечательно, данный патроним построен по архаичной модели, будучи образован от основы притяжательного прилагательного *Незнанъ* (с йотовым суффиксом). Отчества подобной структуры — *Иваничь*, *Степаничь*, *Романичь* — рано выходят из употребления, уступая место новообразованиям *Ивановичь*, *Степановичь*, *Романовичь*; в НПЛ последний такой пример представлен под 1255 г. (*Михалку Степанию*, в младшем изводе; в Синодальном списке — *Степановичу*). Уже по этой причине замена *Нездинич* на *Незнанич* маловероятна под первом переписчика XV в.; возводить же младший извод НПЛ к списку с новгородской архиепископской летописи, сделанному в XIII в., текстологических оснований нет.

Хотя, как уже было сказано, имя *Незнанъ* известно источникам XV—XVI вв., оно относится к числу редких. Из десятков тысяч лиц, упоминаемых в новгородских писцовых книгах, его носил только один крестьянин [НПК, 5: 255]; еще одним обладателем этого имени был казненный в 1570 г. в Новгороде Юрий Незнанов (упоминается у Веселовского). Из более ранних источников данное имя до последнего времени вообще не было известно.

Тем более значимым оказывается присутствие его в берестяной грамоте № 804, найденной в 1998 г. на Троицком раскопе в слое, стратиграфически датируемом последней третью XII в., и содержащей следующий текст:

1132 отъ незнанъка къ рюре Ѿощеши ли платити 6·гривины·али не Ѿочеши а поеди  
въ городъ

Перевод: От Незнанка к Рюре. Собираешься ли платить 6 гравен? Если не собираешься, то поезжай [на суд] в город [НГБ XI, 31].

Данная грамота входит в обширный комплекс документов судебного содержания, найденных на усадьбе «Е» Троицкого раскопа, где в середине XII в. размещался крупный административный центр общегородского масштаба. Новгородец Незнанко был, очевидно, одним из функционеров этой судебной инстанции<sup>1</sup>. В конце XII в. в той же роли выступает Мирошка (Нездинич), чья усадьба, как показала в 2003 г. находка грамоты № 936, непосредственно примыкала к усадьбе «Е». Имена Мирошки и Незнанка соединяются, таким образом, в едином археологическом комплексе, связанные с деятельностью одной и той же административной структуры. Вместе с уникальностью — для домонгольской эпохи — имени *Незнанъ(ко)* это дает основание видеть в авторе грамоты № 804 отца Мирошки — Несду, выступающего здесь под тем же именем, что и в младшем изводе НПЛ, только в уменьшительной форме.

Если так, то разночтение двух изводов НПЛ должно быть признано отражающим аутентичную традицию, по которой Мирошка был известен сразу под двумя

отчествами: *Нездинич* и *Незнанич*. Текстологически это вполне возможно. Статья 6697 (1188) г. относится к той части НПЛ, в которой младший извод восходит непосредственно к владычной (архиепископской) летописи, а Синодальный список — к списку с неё, сделанному (по-видимому, для нужд Юрьева монастыря) около 1195 г. [см. Гиппиус 1997, 19—34]. Писец этого списка, заметив, что в его оригинале Мирошка назван Незнаничем, а его брат Внезд — Нездиничем, вполне мог устраниТЬ этот разнобой, сведя двух братьев к общему патронимическому «знаменателю».

Остается главный вопрос: мог ли отец Мирошки и Внезда, убитый в 1167 г. боярин Несда, быть еще и Незнаном? В то время как христианско-языческая двуименность была нормой для домонгольской эпохи, другие случаи, когда бы одно и то же лицо упоминалось в источниках под двумя языческими именами, кажется, неизвестны. Спутником языческого имени (как и христианского) часто выступало прозвище (ср. в НПЛ такие пары, как *Внездъ Водовикъ*, *Якунъ Зубецъ* и т. д.); однако *Незнанъ* — не прозвище, а имя, построенное по хорошо известной модели (ср. в берестяных грамотах *Неданъ*, *Псанъ*, *Жданъ* и др.).

Думается, что отсутствие параллелей к предполагаемой двуименности Несды-Незнана не только не составляет препятствия для предлагаемого отождествления; но даже до некоторой степени подтверждает его, объясняясь специфическим характером именно этой пары имен. Ее первый член принадлежит к числу наиболее архаичных древнерусских антропонимов. «Имя *Несъда* (ср. др.-польск. *Niezda* [SSPNO, IV, 1, 61] произведено, как и *Съдша*, *Несъдла*, *Съдбславъ*, польск. *Żdzieślaw* (и прочие на *Żdzie-*, *Żdzi-*) от \*sъ-dē-ti ‘собрать’, ‘соединить’. *Не-съд-a*, по-видимому, построено по той же модели, что *Не-усын-a*, *Не-възор-ъ*, *Не-пробуд-ъ*, *Не-род-a*, *Не-сул-ъ*, др.-польск. *Nie-ustęp*, *Nie-mst-a* и т. п., но относится к более древней эпохе, когда корень \*dē- еще мог усекаться до \*d-» [Зализняк 2004, 357]. Лишенное на синхронном древнерусском уровне словообразовательной мотивации, это имя могло нарекаться как родовое в силу антропонимической традиции.

Внутренняя форма имени *Незнанъ*, напротив, совершенно прозрачна. Это имя представляет собой классический апотропей, призванный защитить новорожденного от нечистой силы путем объявления его «неизвестным», «чужим» (ср. имена *Ненаш*, *Немой*). Пару к *Незнанъ* составляет имя *Невѣдомъ* [Веселовский 1974, 214; ср. там же прозвище *Невѣдомица*], которое также необходимо рассматривать в контексте родильной обрядности, обыгрывающей «неизвестность» новорожденного (ср. вторичное обыгрывание этого мотива у Пушкина в «Сказке о царе Салтане»: «Родила царица в ночь / Не то сына, не то дочь, / Не мышонка, не лягушку, / А *невѣдому* зверушку»<sup>2</sup>.

В связи с этими именами находится и традиционная этимология слов: \*nevěsta < ‘неизвестная’, от \*věstъ, \*věděti, получившая новое развитие в работах О. Н. Трубачева. В «неизвестности» ‘невесты’ исследователь видит ритуальную ‘игру умолчания’, обусловленную страхом перед демонами, накладывающим отпечаток на обряды сватовства и свадьбы [ЭССЯ, 25, 72]. Табуистическим характером названия, обыгрывающего якобы «вещный» статус брачующейся девушки,

Трубачев объясняет и словообразование от \* *věděti*, которое, в отличие от его коррелята \**znať*, изначально относившегося к человеку ('знать кого'), характеризовалось отнесенностью к вещам ('знать что'). Как замечает исследователь, если бы не этот дополнительный момент, «мы, казалось, были вправе ожидать иного обозначения 'невесты' в славянском, то есть скорее \*\**neznana*, а не \**nevěsta*» ([Там же], разрядка моя. — А. Г.). На этом фоне пара *Незнанъ ~ Невѣдомъ* выглядит особенно показательной.

Апотропейический характер имени предполагает наличие у его носителя другого, «настоящего» имени, до поры до времени скрываемого из-за боязни нечистой силы. Таким «подлинным» именем отца Мирошки и было, очевидно, имя *Несъда*, соотносившееся с *Незнанъ* как официальное, родовое имя с детским, семейным. Последнее, по идеи, должно было бы со временем выйти из употребления, но — как это иногда случается и теперь — «пристало» к своему носителю, закрепившись за ним и вне узкого семейного круга. Для современников отец Мирошки был одновременно Незнаном и Несдой; соответственно, и дети его могли упоминаться и как Незнаничи, и как Нездиничи. Кажется неслучайным, что из двух братьев с отчеством *Нездиничъ* летописью был первоначально упомянут именно Внезд (*Вън-ѣздъ* 'въезжающий', см. [Зализняк 2004, 430], имя которого оказалось созвучно данному варианту патронима после осуществления в последнем регресивной ассимиляции [сд] > [зд]).

Заканчивая, нельзя не упомянуть фольклорных «родственников» Несды-Незнана. Родовое имя связывает его с былинным Содко (<*Съдъко*, см. [Зализняк 2004, 357]), чей вероятный исторический прототип — новгородец Содко Сытинич — заложил церковь Бориса и Глеба в том же 1167 г., в котором бирич Несда был убит [НПЛ, 32]; что же касается семейного имени, то оно заставляет вспомнить сказочного богатыря *Незнайку*, имя которого в записях сюжета представлено и в «пассивном» варианте *Незнамушко*, едва ли не более архаичном (см. [Новиков 1974, 84]).

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Тот факт, что документ, в котором адресату предписывается прибыть «в город» (т. е. в Новгород), найден на городской усадьбе, объясняется, по-видимому, тем, что грамота была привезена в Новгород самим адресатом, «вернувшись» таким образом к ее автору, — в настоящее время известен уже целый ряд таких текстов.

<sup>2</sup> Стоит заметить, что последние две строки Пушкин напрямую заимствовал из записанной в Михайловском сказки: «царица разрешилась не мышью, не лягушкой, неведомой зверюшкой» [Пушкин, 3: 448].

## ЛИТЕРАТУРА

Веселовский 1974 — С. Б. Веселовский. Ономастикон. М., 1974.

Гиппиус 1997 — А. А. Гиппиус. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. Вып. 6 (16). СПб., 1997. С. 3—72.

- Гиппиус 2003 — А. А. Гиппиус. Комментарий к берестяной грамоте № 226 // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения. М., 2003.
- Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.
- НГБ VII — А. В. Арциховский, В. Л. Янин. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1962—1976 гг. М., 1978.
- НГБ VIII — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1977—1983 гг. М., 1986.
- НГБ XI — В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопок 1997—2000 гг. М., 2004.
- Новиков 1974 — Н. В. Новиков. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974.
- НПК — Новгородские писцовые книги. Т. В. СПб., 1908.
- НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
- Пушкин — А. С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1957.
- Флоря 1999 — Б. Н. Флоря. К изучению Церковного устава Всея Вселенской Православной Церкви // Россия в Средние века и раннее Новое время: Сб. статей к 60-летию Л. В. Милова. М., 1999. С. 83—96.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. Т. 25. М., 1999.

*Марьятта Ванхала-Анишевски (Йоэнсуу)*

## ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ТЕКСТАХ СМИ: ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

**Ц**ель данного сообщения — рассмотреть изменения в способах наименования лиц, зафиксированные в материалах газет в последние 25 лет. Особо нас, как иностранного исследователя, интересует судьба такого компонента имени лица, как отчество, которое, будучи особенностью русской речевой традиции, представляет собой большой интерес в социокультурном плане и создает определенные трудности при общении иностранцев с русскими<sup>1</sup>. Для понимания исконного значения и функционирования какого-либо языкового явления — в данном случае называния людей — его следует рассматривать в тесной связи с обществом, точнее, с его культурными ценностями, верованиями и социальными изменениями. Однако важно при этом учесть, что язык не столько отражает действительность, сколько сам конструирует ее<sup>2</sup>.

Решая поставленную проблему, мы сопоставили номинации лиц в двух газетах, разных по времени и типам издания, и проанализировали, в каких ситуациях встречаются различия. Исследовательский материал взят из «Известий» (февраль 1977 г. и октябрь 2002 г.) и «Комсомольской правды» (август 1978 г. и апрель 2003 г.). Всего количество рассмотренных информационных материалов составило 200 (50 по каждому названному периоду).

В целях более конкретного анализа функционирования номинации были разделены на пять групп: (1) имя и фамилия (включая однобуквенное обозначение имени с полной фамилией), (2) фамилия, (3) имя, (4) имя и отчество, (5) имя, отчество и фамилия (включая двубуквенные инициалы — имя и отчество — с полной фамилией).

Отметим, что при истолковании полученных результатов не следует забывать о том, каким основательным преобразованиям — особенно в содержательном плане — были подвергнуты данные газеты в последние десятилетия. В 70-е гг. прошлого века как «Известия», так и «Комсомольская правда» содержали короткие информационные сообщения, которые касались в основном политических и производственно-экономических вопросов. К тому же сами газеты по объему были меньше, чем сегодняшние номера. Тем не менее в них, как и в настоящее время,

рассказывали о людях, об их конкретных действиях и тем самым отсылали к их именам. В 70-е гг. люди, однако, упоминались несколько иначе, чем принято в современных газетных текстах, о чем наглядно свидетельствуют и полученные нами результаты (см. таблицу):

**Таблица.** Способы наименования лиц в газетных текстах советского и постсоветского периода

Тип номинации	«Известия»		«Комсомольская правда»	
	1977 (197 <sup>3</sup> )	2002 (262)	1978 (177)	2003 (414)
1. имя + фамилия	12,2	51,9	25,4	36,9
— именной инициал + фамилия	35,5	—	18,1	2,2
2. фамилия	6,1	42,9	8,5	48,1
3. имя + отчество + фам. — инициалы (имя и отчество) + фамилия	9,1 35,5	0,9 —	5,6 33,3	1 1
4. имя	—	3,4	4,5	5,6
5. имя + отчество	1,5	0,9	4,5	5,3
	99,9	100	99,9	100,1

Рассмотрим более подробно каждый приведенный в таблице тип номинации, иллюстрируя статистический материал.

**1. Имя и фамилия.** Количество номинаций типа «имя и фамилия» в течение последних 25 лет значительно возросло в газете «Известия». Данная номинация является частотной при указании на разного рода людей с разным социальным положением (политики, рабочие, художники). Однако, по сравнению с сегодняшним днем, в 70-е гг., например, на политиков, занимавших важный пост, указывали без исключения при помощи компонентов, составляющих полное название лица (имя, отчество и фамилия). Сегодня же это происходит довольно редко, о чем свидетельствуют и результаты данного исследования. В частности, на Леонида Ильича Брежнева указывали в свое время либо с полным именем, отчеством и фамилией, либо как «Л. И. Брежнев» (чаще всего в сопровождении с приложениями «товарищ» либо «генеральный секретарь КПСС»), но ни в одном случае не использовали фрагментарную номинацию лица «Леонид Брежнев». Сегодня в информационных сообщениях о первом лице государства Владимир Владимирович Путин подается в основном без отчества (либо как «Владимир Путин», либо как «Путин»<sup>4</sup>), ср.: *В среду Владимир Путин подписал указ об освобождении адмирала Владимира Комоедова от должности командующего Черноморским флотом* («Известия» 9.10.2002).

Использование имени и фамилии в газетах 70-х гг. было характерно в основном в тех случаях, когда рассказывали об известных людях (за исключением высоких государственных чинов), например о художниках (*Выставка произведений за-*

служенного деятеля искусств РСФСР Ильи Глазунова открылась...; ...говорит заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Минх. «КП» 3.06.1978), о космонавтах (*Юрий Гагарин*), т. е. о людях, пользующихся славой и высокой репутацией в обществе. В «Комсомольской правде» четверть века назад использование варианта «имя + фамилия» было более частотным, чем в «Известиях». На этом фоне номинация «именной инициал + фамилия» характеризовалась меньшей частотностью. Как показывают результаты исследования, сочетание «именной инициал + фамилия» было раньше довольно общеупотребительным, особенно в «Известиях» (35,5 % всех номинаций), но сегодня эта модель уже не популярна. Данная номинация предпочиталась, главным образом, в контекстах, в которых говорилось о рядовых рабочих (коллектив смены *Е. Матвеева* и бригаду слесарей *Г. Рипки*, заготовщица деталей *В. Захарова*. «Известия» 6.2.1977), менее известных художниках (скульптор *Б. Едунов* и архитектор *М. Насекин*. «Известия» 8.2.1977), рядовых корреспондентах (корреспондент «Известий» *С. Троян*. «Известия» 5.2.1977), менее крупных общественных деятелях (секретарь обкома *В. Супрунов*. «КП» 13.6.1978). Подобное употребление носит официально-деловой отпечаток, а журналист явно дистанцируется от объекта информации. Сегодня вместо этого используется либо полное имя с фамилией, либо одна только фамилия.

**2. Фамилия.** Заметно выросло употребление одной лишь фамилии при указании на человека. Раньше она употреблялась в основном с прилагательным (например, великий *Глинка*) и с приложением типа «товарищ» (товарищ *Косыгин*, космонавты товарищи *Горбатко* и *Глазков*) либо с приложением-титулом (доктор *Иванов*). Чаще всего фамилия без имени и отчества употребляется анафорически: в предыдущем контексте уже упомянуты как имя и отчество (в полной или сокращенной форме), так и фамилия. Одна фамилия предпочиталась и в таком случае, когда сообщалось «на языке закона» о юридических и правовых проблемах, ср. *Грязева требовала от Коваленко выполнения работы...* («КП» 11.6.1978). В данном фрагменте имя упомянуто в предшествующем контексте (*В. Коваленко* и *Р. Грязева*).

Сегодня упоминание одной фамилии при указании на человека очень распространено в газетных текстах, и, само собой разумеется, такое употребление чаще всего анафорическое (см. также [Николаёва 1999]). Правда, нередко фамилия используется также в катафорической функции, в основном в заголовках (*Масхадов бы их осудил*. «Известия» 24.10.2002), когда в последующем тексте человек идентифицируется более развернуто.

**3. Имя, отчество и фамилия.** Упоминание сочетания «полные имя и отчество, а также фамилия» никогда не было слишком частотным в газетном тексте, но еще менее употребительными они стали в последние годы (ср. таблицу). Раньше эта номинация предпочиталась, во-первых, в случаях, когда в тексте представлен человек, о котором в дальнейшем пойдет речь (*Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Виктор Васильевич Горбатко родился...* «Известия» 9.2.1977), и, во-вторых, когда упоминали высоких партийных деятелей (особенно генерального

секретаря Леонида Ильича Брежнева). На сегодняшний же день данная номинация характерна только для лица, занимающего высокий пост в обществе, ср.: *Известный российский детский врач Леонид Михайлович Рошаль, включенный «Комсомолкой» в 2002-м в ее традиционный список «Лица года», вышел...* («КП» 8.4.2003), или о широко известном и уважаемом человеке: *24 апреля знаменитому актеру Юрию Васильевичу Яковлеву исполняется 75 лет...* («КП» 17.4.2003).

Очень заметные изменения в количественном плане претерпела номинация «инициалы (имя + отчество) и фамилия». В 70-е гг. она встречалась в новостях о партийных деятелях, занимавших высокий государственный пост (*А. А. Громыко, Ю. В. Андропов*), о других людях, занимающих ответственную должность (*директор В. К. Бураков рассказывает...* «КП» 7.6.1978), о всеми уважаемых героях (*космонавты В. В. Горбатко и Ю. Н. Глазков проводят операции...* «Известия» 11.2.1977), об ученых и академиках (*член-корреспондент АН СССР В. Л. Барсуков...* «Известия» 11.2.1977), но эта модель редко использовалась в контексте о рядовых рабочих. Сегодня в аналогичных случаях предпочтается либо сочетание имени и фамилии, ср. *министр внутренних дел России Борис Грызлов...*; либо одна фамилия: *Авторитет Путина не помог автолюбителю* («Известия» 8.10.2002). Лишь лица, имеющие отношение к академической сфере, «получают» в текстах СМИ полное имя, отчество и фамилию, ср.: *академик РАМН, профессор Владимир Трофимович Ивашкин проводит интернет-конференцию...*; *профессор В. Т. Ивашкин проводит интернет-конференцию* («КП» 21.4.2003).

**4. Имя.** Как видно из представленной выше таблицы, количество номинаций типа «имя» почти не возросло за последние десятилетия. В исследовательском материале, собранном из «Известий» за октябрь 1977 г., данная номинация вообще не встретилась, что может объясняться составом аудитории, на которую ориентируется газета: «Известия» главным образом читались и читаются нейтральными и немолодыми читателями [Ванхала-Анишевски, Николаева 2002, 67]. На рост употребления одного только имени может, по нашему мнению, оказывать влияние западная речевая традиция представлять лицо по имени. В «Комсомольской правде» как 25 лет назад, так и сегодня наблюдается большая частотность использования имени, что может объясняться также спецификой газеты: ее ориентацией на молодого читателя.

В общем имя предпочитается в случаях, когда рассказывается о молодых; известных и/или любимых публикой людях, либо в случаях, когда пишущий хочет сохранить анонимность человека, на которого в тексте указывается, ср. *Константин, сотрудник одной из столичных туристических фирм, говорит, что сегодня экскурсий по таким местам нет* («Известия» 6.10.2002).

**5. Имя и отчество.** Полное имя и отчество без фамилии в газетных текстах было всегда довольно нечастотно, хотя в «Комсомольской правде» эта номинация встречается чаще, чем в «Известиях». В советский период этот тип номинации использовался в основном при указании на вождей — В. И. Ленина, Л. И. Брежнева, когда их имена, отчества (чаще всего сокращенные) и фамилии были уже упомяну-

ты в предыдущем контексте, ср.: *Этот наказ Леонида Ильича мы еще раз вспомнили...; Прочитав воспоминания Леонида Ильича, ребята комсомольско-молодежной бригады решили...; Советы и рекомендации Леонида Ильича, сделанные во время пребывания в Тюмени...* («КП» 11.6.1978). Подобное употребление свидетельствует о менее официальном отношении к человеку, занимающему важный пост в обществе. Корреспондент как будто обращается непосредственно к нему в более непринужденной форме. Сравним пример: *Помощник мастера Ю. Байдуков пришел на... комбинат...* — это первое представление человека. Далее о нем говорится как о более знакомом, но уважаемом: *Юрий Федорович является членом Калининского горкома КПСС* («Известия» 11.2.1977).

В настоящее время отчество сопровождает имя в таких же случаях, т. е. используется для смягчения официального, делового тона (ср. *Интересно, что на территории России также пытались создавать «путинские маршруты»*. Причем в местах, к которым сам Владимир Владимирович не имеет никакого отношения... («Известия» 6.10.2002). Кроме этого, имя и отчество далее используются при прямом обращении к немолодому человеку и/или человеку, занимающему важный пост, см. [Николаева 1999, 62], ср.: *«Известиям» удалось дозвониться адмиралу Комоедову прямо на борт РКВП «Бора», на которой он вышел в море в день своей отставки. — Владимир Петрович, когда и где вы узнали о своей отставке?* («Известия» 9.10.2002). Подобных примеров с прямым обращением, само собой разумеется, встречается мало в нашем исследовательском материале, состоящем в основном из новостей. В «Комсомольской правде», отдающей предпочтение номинационной схеме «имя + отчество», среди информационных материалов больше, чем в «Известиях», текстов, написанных в жанре интервью.

Сопоставление способов наименования людей в русских газетных информационных текстах в 70-е гг. XX в. и современных материалах привело к довольно интересным выводам. Главное внимание обращается на то, что форсированное использование имени и фамилии, с одной стороны, и только фамилии, с другой, вытеснило номинации, в составе которых есть и отчество. Если посмотреть количество употреблений модели «имя + фамилия» вместе с типом «сокращенное имя + полная фамилия», то больших изменений в течение последних десятилетий не наблюдается. Это означает, что стал иным лишь способ обозначения имени при фамилии: вместо именного инициала сегодня предпочтение отдается полному имени. Это дает основание для вывода о том, что отношение к указываемому человеку становится более индивидуальным, кроме того, подчеркивается значимость его личности.

В использовании отчества, как уже указывалось, заметны большие сдвиги: в газетах 25-летней давности оно встречалось очень часто и, в первую очередь, в виде «инициалы (имя и отчество) + фамилия». При употреблении этой номинации личность, персона человека как бы отстраняется, отчуждается и его социальное положение и официальная роль приобретают большее значение. Здесь следует учесть, что в 70-е гг. газетные информационные материалы главным образом и сообщали об официальных мероприятиях и событиях.

В чем могут заключаться причины изменения именований людей в русской речевой практике, по крайней мере в речевой практике СМИ? Это, на наш взгляд, в основном следствие все возрастающей общественной роли СМИ во всем мире, в которых отражается влияние указанной выше западной речевой традиции. В соответствии с ней при представлении в тексте человека используются лишь имя и фамилия или только фамилия. «Упрощение» русской манеры называния людей тем самым как бы облегчает и восприятие иностранцами русских имен, из которых запоминание отчества нередко вызывает трудности и путаницу. К недлинным номинациям «принуждает» также современная техника коммуникации, стремящаяся к сжатым способам языкового выражения. К сожалению, эта тенденция может привести к тому, что отчество, понимаемое как одна из наиболее ярких и своеобразных черт русского речевого этикета, уходит — по крайней мере в речевом этикете средств массовой информации — в историю.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См. более подробно об истории имени, отчества и фамилии как в Западной Европе, так и в России [Kniffka 1990; Geary 2002; van Langendonck 1990; Ермолович 2001; Успенский 2000].

<sup>2</sup> См. [Fairclough 1992; 1997].

<sup>3</sup> Количество всех наименований.

<sup>4</sup> По нашим предварительным подсчетам среди указаний на президента Путина по имени, отчеству и/или по фамилии в четырех современных газетах (корпус состоит из 436959 слов) именование «Владимир Путин» предпочтительнее в 35,1 %, а «Путин» — 34,8 % всех случаев.

### ЛИТЕРАТУРА

- Ванхала-Анишевски, Николаева 2002 — *Ванхала-Анишевски М. и Николаева Т. М. Семантическая компрессия — тенденции современного текста* // Вавилонская башня. Слово, Текст, Культура. М., 2002. С. 63—94.
- Ермолович 2001 — *Ермолович Д. И. Имена собственные на стыке языков и культур*. М., 2001.
- Николаева 1999 — *Николаева Т. М. Новое употребление «отчества» в русской речевой традиции* // SLAVIA. Ročník 68. Praha, 1999.
- Успенский 2000 — *Успенский Б. А. Поэтика композиции*. СПб., 2000.
- Fairclough 1992 — *Fairclough Norman. Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Fairclough 1997 — *Fairclough Norman. Miten media puhuu*. Tampere, 1997.
- Geary 2002 — *Geary Patrick. Foreword* // *Personal Names Studies of Medieval Europe: Social Identity and Familial Structures* / Ed. by George T. Beech, Monique Bourin, and Pascal Charelle. *Studies in Medieval Culture XLIII*, Medieval Institute Publications. Michigan, 2002. P. vii—viii.
- Kniffka 1990 — *Kniffka Hannes. Calling names across cultures* // *Proceedings of the XVIIth international congress of onomastic sciences*. Helsinki 13—18 August 1990 (ed. by Eeva Maria Närhi). Helsinki, 1990. P. 11—21.
- van Langendonck 1990 — *Langendonck Willy van. On the Combination of Forename and Surname, with Special Reference to Flemish Dialects* // *Proceedings of the XVIIth international congress of onomastic sciences*. Helsinki, 13—18 August 1990 (ed. by Eeva Maria Närhi). Helsinki, 1990. P. 436—443.

81. №2. 1971

СОБАЧЬИ КЛИЧКИ

Т. Н. Свешникова (Москва)

## СОБАЧЬИ КЛИЧКИ: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ВЫСТАВОЧНЫХ КАТАЛОГОВ

Каждая собака знала хозяина и кличку.

Л. Н. Толстой

**Л**юбой тип словесного и — шире — языкового творчества, будь то литература, фольклор или различные публицистические и прочие опыты, — чрезвычайно привлекателен для каждого человека. То, о чем идет речь в данных заметках, относится к кругу явлений того же порядка.

При назывании собак (даже породистых, где существуют определенные ограничения) запретов сравнительно мало, нет списка имен, которых следует придерживаться, поэтому предоставлена большая свобода творчества тому, кто ищет имя своему питомцу. В результате материал, который представлен в каталогах собачьих выставок, разнообразен и интересен для наблюдения<sup>1</sup>.

Прелесть творчества при назывании — в том, что человеку предоставлена возможность выбора, и тут уже каждый действует в соответствии со своим вкусом, культурным багажом, фантазией, характером. Что служит отправным пунктом, толчком при зарождении имени собаки? Внезапно возникает какой-то образ, выделяется признак или совокупность признаков, связанных с тем или иным щенком; так, например, щенок, родившийся с отсутствующими нижними фалангами пальцев и потому лишенный коготков на одной из лап, получает кличку *Варежка*, потому что его лапа без коготков в самом деле напоминает варежку. Часто причины имени носят чисто импрессионистический характер и кроются в подсознательных ощущениях, в образах, которые стремительно проносятся перед человеком, наблюдающим за поведением щенка и его обликом: *Вероника*, *Вита* (сама жизнь!), *Варлам* (солидный, крепкий, серьезный). И здесь следует сказать, что семантический облик имени представляется каждому человеку по-своему, но он непременно присутствует и с ним связаны многочисленные коннотации: На страницах каталогов можно встретить собачьи клички, которые кажутся застывшим выражением восторга, негодования и других эмоций и которые становятся элементами экспрессивной лексики; ср., например: *Мохнатое Чудо*, *Веселый Гном*, *Исадие*, *Цунами*, *Вулкан*, *Эта Штучка*, *Черная Бяка*, *Ни Ни* и др.

В собачьих клубах существует определенная система названия щенков из одного помета: заводчик получает букву, которая служит первым элементом имени каждого из щенков. Выбор имени, как уже говорилось, достаточно свободный, за одним исключением: очень важна звуковая сторона имени, оно должно быть звучным. Затем к имени присоединяется заводская приставка или название питомника, и щенок — «окрещен». Отметим, что заводская приставка или название питомника располагаются как в препозиции к имени, так и в постпозиции к нему. Ср., например, имена щенков одного помета сибирской хаски: *Буран Сибириада*, *Бланш Сибириада*, *Бэль Сибириада*; *Вест Лаки из Дома Елены*, *Вест-Бой из дома Елены*; *Мохнатое Чудо Арабелла*, *Мохнатое Чудо Айвенго*, *Мохнатое Чудо Аманда* (бриар); ср. также: *Черный Круассан Жозефина Бонапарт* (мопс, черный); *Огненный Лев Изабелла* (пекинес — палевый); *Илга Лотос Конгрессмен* (бассет-хаунд); *Милый Зверь Ингрид* (грейхаунд); *Биг Хаус Есения Карден* (нем. овчарка)<sup>2</sup>.

Вооруженный этими простыми правилами владелец собаки увлеченно занят творческими поисками. Отраженный в каталогах собачьих выставок результат этого поиска ошеломляет своим разнообразием и раскованностью. Эпоха проносится перед тобой стремительным калейдоскопом имен, событий, отголосков политической и культурной жизни, ты словно присутствуешь при археологических раскопках и перед тобой — культурный слой конца XX в. в определенной стране, в определенное время. Ср.: *Торнадо Афина* (нем. овчарка), где первый элемент, вероятно, навеян только что пронесшимся ураганом; *Жаклин* (англ. бульдог); *Бельмондо* (бордосский дог); *Пиночет* (южнорусская овчарка); *Хилари* (лабрадор); *Ченгиз* (далматин); *Van Дамм* (бульмастиф); *Фейри* (бобтейл); *Голден Леди* (палевый бриар) и многие другие; клички отражают черты экономической жизни: *Центр* (южнорусская овчарка), географические названия: *Джокер Париж* (бордосский дог), *Верея* (южнорусская овчарка), *Ладога* (черный терьер); архитектурные термины: *Амтип* (белый аргентинский дог); имена героев художественных произведений: *Дульсинея* (шельти), *Дездемона* (англ. бульдог), *Гаргантуа* (бриар); *Воланд* (нем. овчарка); древнегреческие имена: *Солнечная душа Пегас* (колли рыже-белый) и т. д.

Каталоги отражают и столь характерную для нашей эпохи ностальгию по прошлому, стремление восстановить в памяти давно ушедшее, вернуть забытое и сделать все это достоянием времени. Увлечение «стариной» проявляется в нарочитой архаизации, часто странной и даже нелепой, если принять во внимание область ее бытования. Отсюда мелькающие на страницах каталогов такие сочетания, как: *Богдан из Дворянского Собрания*, *Антип Серебряный Век*, *Линда Радонеж*, *Фаберже из Белых Ночей* и замечательно выразительное *Савва Тимофеевич* (русская лсовая борзая)<sup>3</sup>. Характерны в этом отношении названия питомников и заводских приставок: *Русский Двор* (ср. *Серебристый Мальчик-с-Пальчик Русского Двора*); *Троицкое Предместье* (*Амадей из Троицкого Предместья*; *Баловень Николя из Троицкого Предместья и пр.*); *Измайловское Подворье* (*Аделина из Измайловского Подворья*); *Замоскворечье* (*Замоскворечье Варвара*, *Замоскворечье Василий*); *Шапка Мономаха* (*Амулет из Шапки Мономаха*; *Барин из Шапки Мономаха*).

номаха); *Русская Тройка* (Линкольн Русская Тройка); *Злато Скифов* (*Милован из Злата Скифов*); *Красно Солнышко* (ср. *Дарьюшка Красно Солнышко*; Эльф *Красно Солнышко*). Среди этих часто несопоставимых между собой наименований можно встретить и просторечные, и, напротив, чрезвычайно претенциозные, ср., например: *Авентин с Петровского Парка*; ср. также: *Домона Дивная Душица от «Любэ»* (видимо, отражение имени и фамилии владельца и одновременно — вокальной группы).

Совершенно особую, хотя и небольшую группу составляют клички, содержащие своего рода «скрытые цитаты» самого разного происхождения: ср. *Моя Отрада Ласточка* («Живет моя отрада...»); *Госпожа Удача от Бель Биску* («Ваше благородие, госпожа Удача...»); *Утомленная солнцем из Русского Двора* («Утомленное солнце тихо с морем прощалось...»); *Миг Удачи из Эдема* («Ловите миг удачи...»); *Девица красавица* (искаженное «Девицы красавицы...»); *Верос мимолетное виденье* («Как мимолетное виденье...»); *Очей очарованье Ален Деррик* («Унылая пора! Очей очарованье!..»); ср. также: *Душечка из Китайского Дома* («Душечка» А. П. Чехова), и имена персонажей художественных произведений: *Грушенька, Ярославна, Маленький Принц, Царица Ночи* и пр.

Любопытно проследить на представленном материале и тот способ, при помощи которого создается своеобразная «модель мира» (вернее, в данном случае, маленького, узкого, тесного «мирка») с ярко выраженным элементами сказочности, фантастичности, эмоциональности, с цитатами из широко известных сказок (Ср. *Петушок Серебристый Гребешок; Регина из Волшебного Леса; Титус из Русской Былины; Звездный мальчик Дом Тотем; Золотая Рыбка из Розовых Снов; Райская Птица Амадей; Варвара Краса из Аленушкиной Сказки; Ангел с Горы Скоморохов; Ясно Солнышко из Русской Династии; Ивашка; Чародей; Леший; Вурдалак из Приюта у Озера* и др.).

Пестрота и многоцветье всего этого яркого и веселого мира не может не найти своего отражения в именах собак. Ср.: *Дымка* (южнорусская овчарка); *Аким Черный* (черный терьер); *Златовлас* (абрикосовый пудель); *Прекрасная Лиска* (то же); *Голубой Дождь Гвендолин* (керри блю-терьер); *Белый Ландыш Еринка* (далматин) и др.

Особый интерес с точки зрения своего цвета представляют пудели, которых, как известно, принято классифицировать по размерам (большой, малый, карликовый и той-пудель) и по окрасу (черный, белый, серебристый, коричневый, абрикосовый и красный). Первая из указанных характеристик очень редко отражается в кличках (ср., впрочем: *Мелкая Монетка из Зимних Грэз*), в то время как вторая представлена широко и разнообразно — в соответствии с фантазией, воображением и вкусом заводчиков и владельцев собак.

Как представлены обозначения цвета в рассматриваемых структурах? Во-первых, это конкретные прилагательные, указывающие на цвет (иногда в сочетании с существительным, которое содержит соответствующий цветовой признак). Так, например, серебристые пудели в своих кличках имеют прилагательные *серебристый, серебряный, серый, голубой, дымчатый*: *Петушок Серебристый Гребешок;*

*Серебристая Лаванда; Серебряная Горлица; Голубая Незабудка.* Указание на цвет содержат и заводские приставки, ср.: *Констанция Серебряный Век; Ефим Небесная Ласточка* (где название птицы ассоциируется с признаком «серый»). В кличках белых пуделей можно встретить прилагательные *снежный, белоснежный, белый: Белоснежный Бантик; Белоснежная Капелька; Снежный Айенго; Белый Чарльстон;* то же — в заводских приставках: *Анжелика Белоснежная Магия; Милан из Снежной сказки; Игрушка Белое Солнышко; Кинг Белоснежное Кружево; Робин Рой Белый Иней.* В кличках абрикосовых, красных и черных пуделей указание на цвет содержится, чаще всего, в заводских приставках, в самих кличках прямых обозначений цвета, как правило, нет, но встречаются названия-метафоры, порой отражающие буйную фантазию их создателей; ср.: *Ночная Жар-Птица; Восторг Ночи; Пиковая Дама; Пиковый Валет; Чертенок Амур* (клички черных пуделей); *Вариация Белая в Черном* (кличка черного пуделя от черного отца и белой матери); ср. вполне адекватные имена: *Лисенок Людвиг; Груния Ягодка* (абрикосовые пудели); *Мандарин* (красный пудель). Цветообозначения в заводских приставках: чёрные пудели — *Анабель Флер Нуар; Симон Черная Орхидея; Рикки Черный Лебедь* и др.; абрикосовые пудели: *Солнечный Луч; Золотой Лев; Золотое Руно; Златислава Солнечный Зайчик; Ундина дю Солей;* красные: заводские приставки — *Красное Облако; Алый Парус; Утренняя Заря; Красно Солнышко; Красное Очарование; Золотистый Лев; Золотая Лилия; Золотой Огонек.*

Как можно видеть, собачьи клички — так, как они представлены в каталогах выставок, имеют форму клише, которые, как правило, состоят из двух частей: клички собаки, часто в сочетании с прилагательными, указывающими на цвет, и названия собачьего питомника или так называемой заводской приставки. Эти структуры подчиняются определенным синтаксическим правилам, основные из них следующие: а) компонент в форме родительного падежа присоединяется к первому без предлога / при помощи предлогов *из, с, от;* б) второй компонент соединяется с первым способом примыкания (ср.: *Серебристый гусар Русского Двора; Аннетта из Мандаринового Сада; Барт из Волчьего Лога; Галатея из Медвежьего Яра; Вольф с Акуловой Горы; Радость с Елисейских Полей; Влада с Алексеевской; Кевин от Невского Хоббита; Дженар Лион от Королей;* ср. также: *Солнечный Аристократ Летучий Голландец; Звездный Мальчик Дом Тотем.*)

К интересному приему прибегают создатели клише для реализации противопоставления мужской / женский: *Оберон Кудрявый Блондин/Одда Кудрявая Блондинка; Флористан Принц Грез/Флорена Принцесса Грез; Снежный Аристократ Летучий Голландец / Снежная Ауристелла с Летучего Голландца; Кумир Снежный Король / Альба Снежная Королева* и т. д.

Среди множества «неологизмов» в системе собачьих имен существует своего рода «островок», который сохранился в первозданном виде. Это клички русских псовых борзых — они во многом дошли до нас такими, какими мы знаем их со временем «Войны и мира», где в сцене охоты встречаем клички типа *Карай, Ругай и Любим*<sup>4</sup>. Ср.: «*Карай был старый и уродливый бурдастый кобель, известный тем, что в одиночку бирал матерого волка*» [Толстой 1949, 1, 591]; «*Красный Любим вы-*

скочил из-за Милки, стремительно бросился на волка и схватил его за гачи (ляжки задних ног), но в ту же секунду испуганно перескочил на другую сторону» [Там же, 596]; «*Ругай! Ругаюшка!* Чистое дело марш! — закричал в это время еще новый голос, и *Ругай*, красный, горбатый кобель дядюшки, вытягиваясь и выгибая спину, сравнялся с первыми двумя собаками...» [Там же, 603].

Ср. также у Чехова в «Предложении»: «В вас, Иван Васильевич, сидит сегодня какой-то бес противоречия. То выдумали, что Лужки ваши, то *Угадай* лучше *Откатая*» [Чехов 1956, IX, 114]<sup>5</sup>; «Во-первых, наш *Откатай* породистый, густопсовый, он сын *Запрягая* и *Стамезки*, а у вашего муругопегого не доберешься до породы» [Там же, 113]; «Извольте припомнить, в Маруськиных зеленях *Угадай* шел с графским *Размахаем* ухо в ухо, а ваш *Откатай* отстал на целую версту» [Там же, 115]; ср. также: «До угонки он годится, конечно, но если *на-авладай*, то едва ли» [Там же, 113]. Привлекает внимание также «оговорка» одного из персонажей чеховской пьесы — в духе собачьих кличек, которые обыгрываются в тексте: «Видите ли, *Уважай Степаныч...* виноват, Степан *Уважаемыч...*» [Там же, 194]. Эти модели дошли до наших дней и достаточно широко представлены в каталогах: ср.: *Пылай* из Крылатой Легенды; *Загадай* Паладин; *Завладай* Жарко; *Ласкай*; *Играй* Каскад; *Блистай*; *Ругай* и др. К императивным формам присоединяются и псевдоимперативные, сходные по звучанию клички: *Будуйай*, *Гиляй*, *Чугай*, *Барклай* и др. Сохранилась и вторая модель типа уже упомянутой клички *Любим* (в современных каталогах встречается, например, *Победим* из Крылатой Легенды).

Завершая эти «заметки на полях» каталогов собачьих выставок, нельзя не восхлиknуть: неиссякаема творческая жилка в каждом человеке, и лишь только ему предоставляется возможность ее реализовать, он с увлечением это сделает, порой чрезвычайно талантливо и точно, иногда — неуклюже и малоудачно, но всегда увлеченно, самозабвенно, очертя голову. Имена и названия, среди которых мы живем, созданы нашим воображением и воображением всех предшествующих поколений, — любовно, с юмором, а порой и с перцем. Мир имен окружает нас с детства, и мы с радостным волнением вспоминаем летнюю жизнь в какой-нибудь деревне *Свистуха*, поиски грибов в лесу *Зарезном*, прогулки к реке *Яхрома*, купание в речках *Веснушка* и *Поганка*, общение с множеством котов и собак с самыми порой невероятными именами. Эти впечатления от имен любой человек проносит через всю жизнь, полную творчества, как бы оно ни выражалось и во что бы оно ни воплощалось.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См. каталоги выставок Союза «Пудель-клуба» за 1996 г. (18 мая и 27 октября); 1997 г. (24 мая и 26 октября); 1998 г. (31 мая), а также каталоги выставки «Евразия» за 1997, 1998 и 1999 гг., выставки «Россия» за 1996, 1997, 1998 гг.; выставки «Созвездие» за 1997 г. и «Белые Ночи» за 1997 г.

<sup>2</sup> Общение с собакой не ограничивается произнесением ее имени, каждый хозяин вырабатывает своего рода «язык», на котором он с ней разговаривает. В связи с этим см. статью

О. П. Ермаковой «Речевой портрет собаки» в сб.: *Лики языка: К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской*. М., 1998. С. 94—103.

<sup>3</sup> Ср. весьма своеобразное имя с отчеством: *Александра Александровна* (с указанием в каталоге на имя отца — *Александер*).

<sup>4</sup> Л. Н. Толстой. *Война и мир*. I—II. М., 1949.

<sup>5</sup> А. П. Чехов. *Собрание сочинений*. IX. М., 1956.

V.

ФОНЕТИКА.  
ИНТОНАЦИЯ





Л. В. Бондарко (Санкт-Петербург)

## ОБ ОСНОВНЫХ ИНТЕРЕСАХ СОВРЕМЕННОЙ ФОНЕТИКИ

Из всех разделов общего и частного языкоznания именно фонетика выиграла больше других в результате развития цифровых методов хранения и обработки текстовой и звуковой информации. В связи с этим появление фонетических и особенно экспериментально-фонетических исследований можно назвать лавинообразным (сравним количество докладчиков и участников на международных фонетических конгрессах в середине прошлого века и в самом конце его: в 1971 г. в Монреале — около 170 докладов, в 1999 г. в Сан-Франциско — более 600). При всем многообразии конкретных проблем, рассматривающихся в современных экспериментально-фонетических работах, можно выделить один общий интерес, который в явном или неявном виде представлен в подавляющем большинстве, — это проблема взаимоотношения между системой языка и носителем языка. В традиционной терминологии — это отношения между языком и речью: все мы с первых студенческих лет усвоили соссюровское противопоставление языка и речи, которое чаще всего формулируется как противопоставление социального индивидуальному, системного случайному; ср. у Н. С. Трубецкого — «Так как язык состоит из правил, или норм, то он в *противоположность речи* (подчеркнуто нами. — Л. Б.) является системой, или, лучше сказать, множеством частных систем» [Трубецкой, 9].

Следующее из этого противопоставления обязательное различие фонологического уровня как одной из систем языка и фонетического — как нелингвистического вообще — спустя семь десятилетий кажется не только слишком категоричным, но и просто не соответствующим действительности, поскольку известное утверждение Н. С. «Особенно характерно для фонетики полное исключение какого бы то ни было отношения исследуемых звуковых комплексов к языковому значению» [Там же, 17] звучит сегодня как анахронизм. Основной интерес современной фонетики как раз и связан с вопросом о том, каким образом материальные по своей природе и вариативные звуковые средства обеспечивают хранение и передачу нематериальной информации и при этом создают максимально комфортные условия для речевой коммуникации, т. е. для обмена «значениями».

Характерное для современной науки о языке стремление к исследованию процессов, происходящих в системе языка при этом функционировании, привело к возникновению таких расширений термина *лингвистика*, как психолингвистика, прагмалингвистика, нейролингвистика — все эти расширения предполагают обращение к поведению человека, пользующегося языком, т. е. в конце концов к своеобразному «очеловечиванию» лингвистических построений. Похожая ситуация наблюдается и в фонетике, где в противоположность классическим фонологическим постулатам, не принимающим во внимание говорящего и слушающего человека, все чаще говорят о *фонологии носителей языка* как таком наборе правил, которые, с одной стороны, связаны с материальной формой естественной речи, а с другой — обеспечивают порождение и восприятие единиц, имеющих языковое значение в самом широком смысле слова.

В каком же смысле можно говорить о несовпадении этой фонологии с классическими и кажущимися неколебимыми фонологическими аксиомами? При исследовании процессов порождения и восприятия звуковой формы речи мы видим несовпадение тех единиц, которыми оперирует носитель языка, и тех, которые составляют фонологическую систему его языка по мнению лингвистов, какой бы теоретической модели они ни придерживались при собственном лингвистическом описании. Так, в языках фонемного строя минимальной единицей является фонема, и каждое слово должно быть представлено как определенная последовательность фонем. (В дальнейшем будем называть такое представление фонемной моделью.) Однако бесспорным является и то, что минимальной единицей для говорящего является не аллофонема, представляющая в конкретной позиции фонему, и даже не аллофон или фон, а более сложная единица. Как правило — это последовательность согласных, завершающаяся гласным, единица, которую можно условно назвать слогом (говорю «условно», потому что этим термином обозначают в современной фонетике очень разные единицы). Непрерывность артикуляции такой последовательности вырабатывается как специфический механизм, имеющий одновременно и физиологическую и языковую природу. Заметим, что именно эта непрерывность является одной из причин значительной вариативности того, что Н. С. Трубецкой называл «смыслоразличительными звуковыми противоположениями» (с. 21). Чем глубже мы проникаем в механизмы речеобразования, тем больше убеждаемся в невозможности найти инвариантные в фонетическом отношении свойства, которые затем мог бы использовать фонолог на более высоких ступенях фонологического анализа.

Конечно, говорящий использует эти сложные звуковые последовательности лишь как «подручный» материал для организации основной для речевой коммуникации единицы — фонетического слова. Однако уже при произнесении отдельного слова возникает сложность соотнесения его идеальной фонемной модели с фонетической реализацией, то есть для носителя языка слово — вовсе не обязательно определенная по количеству и качеству цепочка звуковых реализаций, соотнесенных с этой фонемной моделью. Не будем сейчас говорить о случаях фонемной интерпретации аллофонем в слабой позиции (известно, что многие предполагают

обязательное соотнесение слабой позиции с сильной, что маловероятно для процессов порождения и восприятия речи в реальном масштабе времени. В связи с этим вспоминается вопрос И. А. Мельчука, обращенный к Л. А. Чистович, организатору и руководителю Лаборатории физиологии речи в Институте физиологии им. И. П. Павлова, — можно ли будет благодаря исследованию механизмов порождения речи установить, на каком этапе «вместо фонем появляются аллофоны»).

Рассмотрим относительно простые случаи, когда проблемы сопоставления с сильной позицией не возникают. Вот некоторые примеры: слово *струсили* артикулируется как последовательность огубленных согласных, за которыми следует огубленный гласный заднего ряда верхнего подъема, постепенно превращающийся в гласный переднего ряда (в результате подготовки к произнесению следующего слога, начинающегося с мягкого согласного), затем следует единственный в этом слове слог, который можно достаточно точно сегментировать на согласный и гласный, а последний слог в нормальном произнесении характеризуется минимальным различием между сонантом и гласным [Бондарко 2001]. Схематически можно изобразить это слово как последовательность следующих «целостных» единиц: [stru — s'i — l'i], каждая из которых может быть охарактеризована как нечленимая с фонетической точки зрения совокупность артикуляционных движений и соответствующих акустических эффектов. Только вся последовательность может быть опознана как соответствующее слово, тогда как по отдельности они вовсе не обязательно и произносятся и могут быть опознаны как составляющие цепочки фонем, образующих фонемную модель этого слова. Каждый из заударных слогов может быть произнесен без гласного, а если они и присутствуют в реализации, то не всегда возможно произвести сегментацию таких слогов на участки, соответствующие артикуляции гласного и согласного. В этом конкретном слове самая сложная проблема — попытка разделить последний слог на 2 фона [l'] и [i].

Значительная редукция заударных гласных и целых слогов находится, заметим, в сильном противоречии с очень значительной функциональной нагрузкой именно этих участков словоформы — в русском языке, где основная грамматическая информация передается при помощи флексий. У частотных слов, подобных словам *сегодня, когда (тогда)*, также особая судьба — их реализация даже в контексте самой нормативной речи не соответствует фонемной модели: [s'odn'i], [kada], [tada]. Особую группу слов составляют формы, содержащие интервокальный /j/ в заударной позиции: *здания, бегущая, смешные* и т. д. В таких случаях исчезновение /j/ приводит к стяжению гласных, качество которых можно назвать «неопределенным», поскольку в каждом конкретном случае оно зависит от фонемной принадлежности гласных, оказавшихся в непосредственном соседстве при выпадении /j/. Если прослушивать эти заударные комплексы вне слова, то они и воспринимаются как слоги типа CV, т. е. с одним гласным.

«Незащищенность» аллофонной реализации от значительной вариативности усугубляется еще и тем, что как только слово включается в более крупную последовательность — синтагму или фразу, так на его фонетический облик начинают воздействовать и просодические факторы — падающая динамическая

линия, замедление темпа к концу синтагмы и т. д. И все же, несмотря на такие значительные модификации звукового облика слова, человек, воспринимающий его, опознает речь в реальном масштабе времени. Как же это возможно, если теоретически предполагаемая операция восприятия речевого сообщения опирается на восстановление фонемного облика (фонемной модели) и отдельных слов, и всего высказывания?

Обращение к процедурам восприятия также показывает несоответствие между теоретическими постулатами и реальным поведением человека. Оказывается, что различительная функция фонемы, лежащая в основе любого из вариантов классической фонологии, значительно редуцирована или вовсе «невостребована» при восприятии: даже на уровне бытового наблюдения можно обнаружить, что количество квазиомонимов в речи чрезвычайно мало, а предположить, что слушающий перебирает все возможные звуковые последовательности для фонемной идентификации слова, просто невозможно (*чашка — ряжска — ляшка — кашка — шашка —* и т. д.). Заметим, что в результате разработки теории восприятия речи многие исследователи приходят к мысли о том, что в основе процедуры лежит поиск определенной лексической единицы, даже если восприятие базируется на идентификации некоторых акустических ключей дифференциальных признаков.

Одно из существенных расхождений между пониманием сущности фонемы и ее роли в передаче значений (лингвистический подход) и механизмами ее функционирования в речевой деятельности заключается в том, что фонемная идентификация не только невозможна без учета возможного аллофонического варьирования, но зачастую базируется на свойствах соседних аллофонов: например, опознание существенного для русских согласных признака твердости — мягкости опирается на характеристики соседнего гласного гораздо в большей степени, чем на собственные характеристики самого согласного. Это означает, что аллофонические различия не игнорируются системой обработки речи при восприятии, а выступают как особые, «полезные» признаки, используемые для узнавания фонологически релевантных признаков [Бондарко 1998, 150—151].

Таким образом, вся успешность речевой деятельности во многом объясняется тем, что она подчинена правилам фонемной идентификации значимых единиц и что между материальными процессами речевой деятельности (говорением и пониманием по Л. В. Щербе [Щерба, 24]) и идеальными процессами обмена значениями и смыслами существуют такие сложные взаимоотношения, которые требуют все большей детализации именно фонетических аспектов этой проблемы.

Фонетическая интерпретация этих взаимоотношений может показаться парадоксальной: при порождении формируется очень приблизительный (вариативный, зависящий от многих фонетических и не фонетических факторов) звуковой облик слова, хотя в основе такого порождения лежит обязательно определенная фонемная модель слова. При восприятии происходит восстановление этой фонемной модели, даже если фонетическая реализация недостаточна. (ср. высказывание Л. Р. Зиндер: «Можно сказать, что восприятие начинается не с фонем, а с общего облика слова» [Зиндер, 105]). Примерами могут служить широко известные среди

фонетистов явления: в слове *хорошо* пауза между двумя предударными гласными воспринимается как нормальный дрожащий сонант, а в слове *соотношение* ударный гласный, имеющий и артикуляторные, и акустические свойства дифтонгоидного закрытого [ы], воспринимается как гласный среднего подъема переднего ряда — т. е. в соответствии с фонемной моделью этого слова — только при восприятии целого слова, тогда как при изолированном предъявлении этого гласного слушающие воспринимают его как [ы] [Бондарко и др., 63], то есть будучи выделенным из слова, он воспринимается в полном соответствии со своим фонетическим качеством. Опознание фонетически вариативных и даже вовсе неинформационных заударных флексий как «правильных» грамматических показателей (*сияя* как *большая*) свидетельствует о постоянном действии сложного речевого механизма, направленного на такое преобразование фонетического облика высказывания, которое обеспечивает восстановление исходной фонемной модели.

В самом общем виде основные расхождения между аксиомами классической фонологии и правилами той фонологии, которые обеспечивают говорящему возможность говорить и понимать речь в реальном масштабе времени, сводятся к следующим пунктам:

1. Для фонолога фонема не является автономной единицей языковой системы и выводится из смыслоразличительных противопоставлений; для говорящего и слушающего — фонемы родного языка образуют систему автономных единиц, связанных между собой как чисто внешними признаками (артикуляционно-акустическими и перцептивными коррелятами полезных признаков), так и внутренними (чредования, обусловленные позицией в словоформе) и вероятностными, вырабатываемыми при овладении не только системой языка, но и свойствами языкового материала, то есть словарем и грамматикой, функционирующими при создании и восприятии текстов на родном языке.

2. С классической для фонологии точки зрения основная функция фонемы — различать значимые единицы (морфемы или словоформы), тогда как для носителя языка основной функцией фонемы нужно считать ее способность выступать в качестве строительного материала, из которого создаются и существуют в языковом сознании фонологические модели всех слов родного языка, как известных и употребляемых, так и вовсе неизвестных. При помощи сравнительно небольшого числа фонем создается практически неограниченное количество слов и форм слов.

3. Фонемная идентификация аллофона для фонолога возможна лишь при сопоставлении его с аллофоном в сильной позиции, которая, по мнению исследователей, обеспечивает сохранность инвариантных признаков фонемы. Для носителя языка в качестве признака, по которому может быть идентифицирована фонема в любой позиции, могут выступать самые различные корреляты (фонетические качества), поскольку окончательное решение принимается на основе более общих операций, чем сопоставление с сильной позицией. Инвариантность для речевой деятельности — это более или менее фикция, поскольку в случаях недостаточности фонетической информации (что вполне обычно для нормальной речи) окон-

чательное решение о фонемной принадлежности любого аллофона может быть принято на основе возможного употребления той или иной фонемы в конкретной фонемной модели.

Эти несовпадения в исходных принципах определения и сущности, и функций фонемы заставляют исследователей речевой деятельности все больше ориентироваться на исследование порождения и восприятия речи, а критерием совпадения или несовпадения исследовательских результатов с самой системой речевой деятельности может выступать возможность их применения в прикладных направлениях — в первую очередь, в системах речевого общения человека с современной информационно-вычислительной техникой.

Если вернуться к той проблеме, которая вынесена в название статьи, то следует заметить следующее: исследование сугубо фонетических (артикуляционных или акустических) характеристик языка — это лишь начальная стадия изучения, сопоставимая с изучением правил сложения, вычитания, умножения и деления — необходимых этапов для дальнейших математических построений. Однако уже на этом начальном уровне происходит явная или неявная оценка фонетических характеристик с точки зрения их роли для восприятия в реальных условиях речевой коммуникации. Многочисленные исследования перцептивного аспекта фонетических свойств, появившиеся в последние несколько десятилетий, демонстрируют безусловную ориентированность исследователей на выявление тех свойств фонетических единиц, которые необходимы для восприятия смысла сообщения. Мы говорим здесь не только об исследованиях сегментных единиц, но и об анализе акцентно-ритмической структуры словоформы (слогоделение, ударение) и, конечно же, о многочисленных исследованиях интонации, которые прежде всего опираются на связь фонетической формы с языковым значением. Здесь достаточно вспомнить многочисленные блестящие работы нашего юбиляра, в которых самый детальный анализ различных компонентов интонационного оформления сочетается с обязательным и детальным анализом смысловых отношений в синтагме, высказывании, тексте.

## ЛИТЕРАТУРА

Бондарко 1998 — Л. В. Бондарко. Фонетика современного русского языка. СПб., 1998.

Бондарко 2001 — Л. В. Бондарко. Как мы говорим и что мы слышим // Говорящий и слушающий. СПб., 2001. С. 6—12.

Бондарко и др. — Л. В. Бондарко, Н. Б. Вольская, В. И. Кузнецов, Н. Д. Светозарова, П. А. Скрепин. Фонология речевой деятельности. СПб., 2000.

Зиндер — Л. Р. Зиндер. Реальный поток речи и «реконструкция» фонемного состава слов // Теория языка, методы его исследования и преподавания. Л., 1981. С. 102—106.

Трубецкой — Н. С. Трубецкой. Основы фонологии. М., 1960.

Щерба — Л. В. Щерба. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкоизнании // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 24—39.

Damir Horga (Zagreb)

## BOUNDARIES BETWEEN LINGUISTIC UNITS AND ARTICULATORY JOINTS

### *1. Introduction*

**S**peech is one of the most complex and unique human activities and skills. In speech production the speaker can be considered an information processor capable of transforming and transmitting various kinds of information (ideas, intentions, feelings, memories, etc.) to the listener. The speaker's intention is to be understood by the listener, who can react to speech not only verbally but also by nonverbal activities. As any complex processor, the speech production and reception processor can be dissected into several sub-systems performing various sub-functions. Speech can therefore be viewed as a multi-componential process. The separate components of this process are important in and of themselves, but their coordination is important as well, in order for the processor as a whole to function effectively.

Among the various models of speech processing the model proposed by Levelt (1989) is generally accepted. Speech production begins with the generation of the information that the speaker wishes to convey to the listener. That is the domain of the **conceptualizer**, which is hierarchically the highest level of the speech production. This information is then linguistically encoded at the level of the **formulator**. The formulator encodes in two ways: grammatically and phonologically. Grammatical encoding comprises the mechanisms that retrieve lexical units from the memory, as well as the syntactical rules used to combine them. Phonological encoding results in the definition of the phonological form. The output from the formulator is the input to the next level of speech production: the **articulator**. The articulator reformulates the linguistically defined information into motor processes that will eventually produce a speech sound. A buffer mechanism is active between the formulator and the articulator, maintaining the recalled elements that are directly incorporated into the utterance. The articulator consists of two phases: the **selection phase** and the **command phase**. The selection phase generates a speech motor program, essentially a series of instructions for the realization of speech motor processes, while the command phase activates and applies the motor program. Actual speech begins at the moment when motor commands are activated. These mechanisms of speech production have various feedback loops that control its outcome (central: at the

level of the central nervous system; internal/endogenous: proprioceptive; and external/exogenous: auditory).

The basic question to be asked in terms of the functioning of the speech production model is how sameness of information representation is generated at different levels of processing. In other words, how is the information reformulated when transmitted from one level to another? Another question is how sameness is achieved between the information produced by the speaker and that received by the listener. At the level of the conceptualizer, information is represented in some kind of abstract cognitive algorithm. At the level of the formulator it is transformed into abstract linguistic units and their syntactic connections. Finally, at the level of the articulator it is represented by various physiological, mechanical, and acoustic speech units. The listener, starting with the acoustical signal, reverses it into auditory units, then into linguistic units, and finally, into cognitive the informational units that were transmitted by the speaker.

In this paper we shall be concerned with the relationship between phonological representation, and the acoustical realization and auditory perception of sound segments at the boundaries between various linguistic units.

It is quite obvious that there is no one-to-one relationship between phonological representation and articulatory/acoustical execution. The same phonological representation can be performed in several ways on the articulatory level and consequently on the acoustical level as well. Below is an example of this from Croatian:

/pet#tona/ 'five tons'	→ [pet#tona]
	→ [pettona]
	→ [pet:ona]
	→ [petona]

On the other hand, different phonological representations can have the same articulatory and acoustic realizations.

/past#će/ '(he/she) will fall'	→ [pašće]
/paš#će/ 'The dog will (do it)' →	

Such a relationship leads to a dichotomy between representational and physical characteristics of speech. The representational level of speech is described as abstract, invariant, and containing discrete units, while the articulatory and acoustic levels are described as variable, continuous, and hard to divide into discrete units because of the considerable overlapping of segments. The variability of segments at the articulatory and acoustical level of speech are due to the physiological and mechanical proprieties of the articulatory organs and the phenomenon of co-articulation, that is, the systematic and reciprocal influence of neighboring segments. Due to the influence of co-articulation, various degrees of adaptations and assimilations of segments can be realized. According to Lindblom's theory of «adaptive variability» and the theory of «hyper and hypo speech» speech variability is caused by the permanent tuning of speech production to the requirements of the communicative situation. In some communicative situations it is necessary to produce speech signals which from the point of view of the listener are maximally contrasted — which means that in the production of the utterance, the me-

chanisms of «hyper-speech» are activated. On the other hand, in other situations a lesser degree of contrast between segments is permitted, and the utterance will be produced by mechanisms of «hypo-speech». That is the reason why the acoustical output in speech production will have a great degree of variability, ranging from hyper-correct to casual and careless pronunciation.

Following the general laws of «hyper- and hypo-speech», the universal laws of co-articulation, and various degrees of segment adaptations and assimilations, the phonemes can be realized in following ways:

1. The phoneme can be realized as a typical sound for that phoneme when the contextual influence is minimal and informational loading is maximal:

/t/ → [t] /to je glas t/ 'that is the sound t' → [toje glas t]

2. The phoneme can be realized as a typical realization of some other phoneme:

/d/ → [t] /pred kućom/ 'in front of the house' → [pretkućom]

3. The phoneme can be realized as an allophonic sound, changing at least one distinctive feature from the typical realization of the particular phoneme:

/n/ → [ŋ] /banka/ 'bank' → [baŋka]

4. The phoneme can be realized as a zero-sound

/d/ → [ə] /pred tobom/ 'in front of you' → [preotobom]

5. Two phonemes can be combined and realized as a typical realization of a third one:

/nj/ → [ń] /sin je/ 'The son did (it)' → [sińe]

6. A zero-phoneme can be realized as non-phonemic sound:

/ə/ → [ə] /peto/ 'five' → [petə]

One of the factors that influences the realization of phonemes, as was mentioned above, can be the co-articulatory influence of neighboring phonemes. Two neighboring phonemes make an **articulatory joint**. The boundary of various types of linguistic units can cross between the neighboring sounds that constitute an articulatory joint. The boundaries between linguistic units are represented in the process of speech production on the linguistic level of the formulator. The question is how they are realized at the articulatory level and how they influence the sounds in the articulatory joint through which the boundary crosses. Is the boundary marked by a pause or by some other sound characteristics? It is supposed that the strength of the boundary can vary and that its co-articulatory influence decreases as it separates «higher» linguistic units. Thus the strength of the boundary will be greater for the proclitic joint *ne#vidim* '(I) don't#see' than for the sentence joint *Stanko još piše#Već je trebao završiti* 'Stanko is still writing#He should already have finished'. This article will investigate articulatory joints that co-occur with five types of linguistic boundary: (1) the sentence joint, (2) the clause joint, (3) the word phrase joint, (4) the prosodic word joint, and (5) the clitic joint (proclitic and enclitic joints).

## 2. Aim

The aim of this paper was to investigate the influence of the various boundary types on the sound realization of articulatory joints in which the boundary separates the two sounds. The realization of the sound segments preceding and following the linguistic boundary was investigated in terms of duration, F1 and F2 values, and intelligibility.

## 3. Method

Two experiments were performed.

In the first experiment a group of 10 native speakers of Croatian were recorded while reading a short narrative passage (cca 1 minute). Three parameters at the boundaries were measured: pause duration and the duration and F1 and F2 values of the vowel /a/ preceding the boundary.

In the second experiment, the intelligibility of the sounds preceding and following the sentence, clause, prosodic word, and clitic boundaries was investigated. From the narrative text recorded by the professional speaker (cca 1 minute), 183 joints were extracted so that two-syllable stimuli consisting of one syllable preceding and one syllable following the boundary were obtained. For example, from the utterance ...*tajnik#Svete* [...] secretary#Of Saint [...] the extracted stimulus was *nik#Sve*. In the extracted stimuli sample there were 7 sentence joints, 9 clause joints, 121 prosodic word joints and 44 clitic joints (16 proclitic and 28 enclitic joints). A group of 7 native speakers of Croatian with normal speech and hearing status listened to the stimuli, writing down what they heard. The stimuli were short enough for the influence of word recognition on their listening to be counted out. The number of erroneous perceptions of the sound preceding and the sound following the boundary were calculated.

## 4. Results

### 4.1. First experiment

The results are shown in table 1.

**Table 1.** Duration of pauses in various articulatory joints (sentence, clause, word phrase, and prosodic word), sound /a/ duration preceding the various articulatory joints, and F1 and F2 values for the same /a/.

Joint type	Pause duration (ms)	Duration of /a/ (ms)	F1 of /a/ (Hz)	F2 of /a/ (Hz)
Sentence	639.2	83.0	600.6	1594.5
Clause	197.0	75.4	680.0	1539.4
Word phrase	5.6	57.6	590.3	1676.7
Prosodic word	0.0	58.0	539.0	1621.8

These results show that the pause duration varies according to the type of linguistic unit boundary. It can therefore be expected that the influence of different types linguistic unit on the sound segments preceding the pause will vary. The duration of the vowel /a/ preceding the linguistic boundary is influenced by the type of boundary. The vowel /a/ is lengthened before sentence and clause boundaries — this phenomenon can be interpreted as final lengthening. Between the elements of the word phrase and prosodic word boundaries, there are no pauses, and the vowel /a/ is significantly shorter. Therefore, the duration of the vowel preceding the linguistic boundary can be a clue indicating the positioning of a linguistic boundary.

The F1 and F2 frequency values of the vowel /a/ show the boundary's influence on the articulatory movement of the vowel. If the values are compared with the F1 and F2 frequency values of a stressed vowel /a/ (F1 — 930 Hz and F2 — 1385 Hz), it can be concluded that the pronunciation of the investigated vowel /a/ is more centralized (i.e., more fronted and more closed than in the stressed position). Apart from this general influence of the linguistic boundary, the results show that, before the sentence and clause boundaries, the articulation of /a/ is more open and more back than before the word phrase and prosodic word pauses.

In general, the results of the first experiment showed that the duration and articulatory movements of the vowel /a/ before a linguistic boundary is influenced by the type of boundary in several ways.

#### 4.2. Second experiment

The results of the second experiment are shown in Table 2.

**Table 2.** Number and percentage of erroneous sound identifications in articulatory joints separated by various types of linguistic boundary (sentence, clause, prosodic word, proclitic, and enclitic).

Boundary type	Number of joints	Percentage of erroneous sound identifications		
		Sounds before and after boundary	Sound before boundary	Sound after boundary
Sentence	7	31.6	61.2	38.8
Clause	9	17.5	41.6	58.4
Prosodic word	121	19.3	65.0	35.0
Proclitic	28	20.0	48.9	51.1
Enclitic	16	27.2	59.0	41.0
$\Sigma$	183	20.6	69.9	30.1

In general, these results show that 20.6% of the sounds neighboring the investigated linguistic boundaries were erroneously identified. The sentence and enclitic joints had

significantly greater numbers of erroneous identifications (31.6% and 27.2%, respectively) than the other three groups (clause — 17.5%, prosodic word — 19.3%, and proclitic — 20.0%).

As far as the first or the second sound member of the joint is considered, the first member of the joint (i.e., the last sound segment of the unit preceding the linguistic boundary) is more vulnerable (69.9%) than the second member (30.1%) of the joint (i.e., the first sound of the linguistic unit following the boundary). Such a relationship is characteristic of sentence, prosodic word, and enclitic joints. This relationship can be explained by the smaller informational load of the final sound of a particular linguistic unit. In the proclitic joints, both elements of the joint are equally vulnerable (48.9% for the first element and 51.1% for the second). It seems that in proclitic joints the two elements are equally influenced by one another, and the boundary strength seems to be very strong. In the clause joint, the second member of the joint is more vulnerable to misinterpretation than the first one (58.4% vs. 41.6%). This can be explained by the non-final character of the clause ending and the more tense and intonationally higher articulation of that part of the clause as a preparation for the following part of the sentence.

### 5. Conclusions

In general, the results of these experiments showed that the various types joints and the linguistic boundaries between various lexical units may influence sound intelligibility in different ways. The higher levels of speech production, including the distribution of the boundaries between the various linguistic units, influenced the execution of the articulatory programs and consequently the acoustical results of the speech movements.

### REFERENCES

- Farnetani, E., Rascasens D. (1999). Coarticulation models in recent speech production theories. In Hardcastle W. J. & N. Hewlett (Eds.): Coarticulation — Theory, Data and Techniques. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- Guseva M. E. (2002). O nekotoryh fonetičeskikh javlenijah na styke slov v sovremennom russkom literaturnom jazyke. In: Problemy fonetiki IV, Moskva, Nauka, 2002. C. 196—200.
- Horga D. (1996). Utjecaj položaja leksičke granice na slogovnu strukturu u hrvatskom govoru. In: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica 1. 1996. S. 55—78.
- Škarić I. (1988). U potrazi za izgubljenim govorom. Školska knjiga, Zagreb, 1988.
- Vuletić B. (1976). Glasovne promjene u izgovoru i svijesti govornika. In: Suvremena lingvistika, 13—14. 1988. S. 5—10.

*Ирина Фузсерон (Париж)*

## ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ

**И**звестно, что динамика высказывания развертывается от элементов, служащих основой для информации, к самой информации, т. е. от темы к реме. Напомним, что мы определяем тему тремя факторами: 1) это элемент, находящийся в начале высказывания; — он предшествует реме; 2) его ударный слог характеризуется восходящим движением основного тона и 3) после этого члена может быть реализована пауза или заменяющий ее мелодический слом. Тема может быть выделенной или нет. Под выделенностью (фокализацией) мы подразумеваем концентрацию внимания говорящего на одном элементе высказывания. Для выделения какого-либо элемента язык располагает целым набором различных средств, в том числе и просодических. В предшествующих работах<sup>1</sup> нами отмечалось, что выделенную тему отличает обязательное наличие реальной паузы или мелодического слома. Этот последний создается за счет более резкого подъема основного тона в пределах ударного слога темы (до 10—12 полутонов для женского голоса против 7—8 полутонов при не выделенной теме) и столь же резкого спада к заударному слогу (или, в зависимости от слоговой структуры компонентов, к начальному слогу ремы). Этот мелодический слом и воспринимается как пауза даже там, где реального перерыва звучания не наблюдается<sup>2</sup>.

1. Чем объясняется появление выделенной темы? Мы постараемся выявить некоторые элементы ответа на этот вопрос на основе анализа некоторых высказываний с союзом «а».

### 1.1. Рассмотрим первый пример:

- (1) [Сын думает о том, как он встретится с матерью после десятилетней разлуки.]  
— И вот я встречу ее. Мы поужинаем дома. Вдвоем. *Она будет рассказывать о своей жизни, а я о своей* (Б. Окуджава. Девушка моей мечты).

Текст вводит в повествование ансамбль: *мы, вдвоем*. Сложносочиненное предложение с союзом «а» показывает, что этот ансамбль неоднороден, и поэтому необходимо обратить внимание на каждый из членов. С этим и связано выделение темы (подлежащего) в обоих членах оппозиции. Этую структуру можно представить схематически:

$$T_1 // R_1, \langle a \rangle T_2 // R_2$$

Вот еще примеры:

- (2) — Мы с вами никогда не поладим. *Вы — аристократ, а я — демократка.*
- (3) — Наташа уложила ребят?  
— *Малыш спит, а Сашка все вскакивает* — папу ждет.

В примере (2) в высказывании, предшествующем оппозиционному, речь идет об ансамбле «мы с вами»; тут же в этот ансамбль вносится некоторое ограничение «не поладим». Цель следующей затем структуры — аргументировать ограничение и разбить ансамбль, показав различие, несовместимость его составляющих.

В третьем примере понятие ансамбля заложено в вопросе: «уложила ребят?», что предполагает *дети спят*. Здесь также можно усмотреть ограничение, хотя и имплицитное: «уложила, но...», оно и вводит понятие о несостоятельности предполагаемого единства. Как и в предыдущем примере, ансамбль разбивается.

Как во втором, так и третьем примере оппозиционные высказывания представляют две темо-рематические структуры: каждому члену ансамбля приписывается свое качество. Именно в случае «пэлементного» сопоставления наиболее полно проявляется исключающий характер связи (*relation exclusive*):

$$*T_1 — R_2, *T_2 — R_1.$$

Несхожесть тем подчеркивается их выделением в каждой структуре. Темы сопоставляются, и оператором сопоставления выступает союз «а», который, связывая две структуры воедино, вместе с тем оттеняет их различие<sup>3</sup>. Упразднение союза приводит, как показывают тесты, к восприятию не сопоставительной структуры, а двух самостоятельных информаций. С исчезновением сопоставления исчезает и выделенность тем.

Что касается интонации, отметим, что ударный слог ремы каждого из членов синтагматической оппозиции реализуется на нисходящем движении основного тона, и, следовательно, каждая из оппозиционных структур характеризуется интонацией, близкой к интонации законченности (рис. 1). Связь же между двумя сочиненными структурами может быть выражена либо слабым подъемом тона в конце первого члена оппозиции, либо отсутствием спада интенсивности в его конечной части<sup>4</sup>.

**1.2.** Подобный анализ можно применить и к высказываниям, где союз «а» заывает серию перечисления. Серия может состоять из одновременных или последовательных фактов, событий, явлений, логически не зависимых друг от друга, но имеющих нечто их обобщающее: перечисление возможно только в рамках определенного семантического поля. Таким полем могут, например, быть занятия членов семьи:

- (4) — Вы на даче?  
— Нет, мама работает, отец в командировке, а Ира готовится к вступительным.

$$T_1 — R_1, T_2 — R_2, \langle a \rangle T_3 — R_3.$$

В вопросе собеседника задан ансамбль — *вы*. Цель говорящего — концентрируя внимание поочередно на каждом из членов ансамбля, показать их различие,

что и достигается *выделением темы в каждом члене перечисления*. Вместе с тем вся серия как бы делится на две части: последний член, введенный союзом «а», стоит совсем особняком: его тема располагается в том же семантическом плане, что и предыдущие, но по своей реме этот член отличается от других. Так, в нашем контексте (4) два первых члена сходны по занятости — родители *работают*, а третий член отличается от них — Ира *учится*. Мы можем переставить члены, но только при условии, что рема третьего так или иначе не может быть приобщена ни к одной из двух первых:

(5) — Вы на даче?

— Нет, мама работает, Ира готовится к вступительным, а отец в командировке.

При таком варианте два первых члена объединены «локально», мама и Ира дома, в городе, а третий член по своей реме несовместим с двумя первыми. Вероятно, этим требованием — схожести двух первых и несовместимости с ними последней ремы — объясняется некоторая неприемлемость другой перестановки: *отец в командировке, Ира готовится к вступительным, а мама работает*. Здесь ремы первого и второго членов не могут быть поставлены в одной плоскости, тогда как третий член может объединяться с первым по занятости или со вторым по месту.

Наше рассуждение особенно отчетливо подтверждается отрывком из романа Бориса Ямпольского «Московская улица»:

(5) Он вынул из кармана какие-то бумажки [...] Он бумажки эти просмотрел, некоторые разорвал, некоторые скомкал и пошел выбросил в урну, а одну бумажку аккуратно сложил, спрятал во внутренний карман и застегнул пуговку.

Все, что находится слева от союза, имеет нечто общее: темы обоих членов относятся к уже заданному ансамблю — бумажки, их ремы находятся в одном семантическом поле — уничтожение. Союз вводит новый член, который прерывает единую линию. Его тема ( $T_3$ ), хотя и относится к тому же ансамблю, но отличается от других числом, его рема прямо противоположна предыдущим. Перед нами тот же «исключающий характер связей».

$*T_{1,2} \rightarrow R_3$ , так же как  $*T_3 \rightarrow R_{1,2}$ .

Таким образом, перечисление членов, представляющих темо-рематические структуры, можно свести к оппозиционной структуре. Мы имеем заданный ансамбль, и его последний член, вводимый союзом «а», противопоставляется предшествующим, взятым вместе.

Вероятно, именно эта рематическая оппозиция, отсутствующая при перечислении единичных компонентов, объясняет тот факт, что их серия закрывается союзом «и», а серия, представленная темо-рематическими структурами, закрывается союзом «а».

### 1.3. Рассмотрим следующий контекст:

(6) — Опять я уговорила ее пойти к врачу. Сходила, вернулась разочарованная:

— Обратно все тоже: нервы, истерика, [...]. Ничего не понимают врачи. *По-ихнему истерика, а по-моему — просто жизнь* (И. Грекова. Пороги).

Здесь мы имеем дело с иным построением информации: в контексте, предшествующем сопоставительной структуре, не упоминается об ансамбле. Оппозиция строится как бы в два приема: ее первая часть тесно связана с непосредственно предшествующим высказыванием, раскрывает его смысл и подытоживает ранее сказанное: «Ничего не понимают врачи. *По-ихнему истерика...*» Несмотря на темо-рематическую организацию, ориентация высказывания налево, на предшествующий контекст, не предполагает его просодической расчлененности: тема не выделена, так как по отношению к этому контексту нет никакой оппозиции. Затем вступает в силу построение оппозиции, а следовательно, ориентация направо. Во второй части внимание концентрируется на говорящем и на несовместимости его точки зрения с «чужой». Противопоставление говорящего врачам: *по-ихнему — по-моему* подчеркивается выделением темы второго члена оппозиции. Интересно обратить внимание на пунктуацию в этом высказывании: внутри первого члена нет никаких знаков препинания, то же самое могло бы быть и во втором, если бы тема не была выделена. Наличие в изданном тексте тире говорит об авторском желании заострить внимание на оппозиционности второго члена, выделив его тему (см. рис. 2).

Организацию этого высказывания можно схематизировать так:

$$T_1(t+r), \text{«а»}. T_2 // R_2.$$

Таким образом, при темо-рематической организации первого члена оппозиции отсутствие выделенной темы показывает *связь* этого члена с предыдущим контекстом.

**1.4.** В рассмотренных примерах мы имеем дело с параллельными структурами: в каждом из двух членов оппозиции компоненты высказывания расположены в одинаковом порядке и в роли темы выступает один и тот же компонент. Однако практика языка показывает, что оппозиция может строиться и иначе. Вот нескольких примеров:

- (7) — Хорошо отдохнула? Место понравилось?  
— Да меня не отпустили.  
— А как же путевка?  
— Ездила сестра. А я в октябре поеду.
- (8) — Ну как, квартира понравилась? Переезжаете?  
— Смотрел отец. Мы поедем завтра. Тогда и решим.

В примере (7) первый член оппозиции сводит на нет пресуппозицию, которая вытекает из слов собеседника, — *ты* ездила отдохнуть по путевке. Говорящий в своей реплике отмечает относительный, частичный характер справедливости пресуппозиции. Именно эта, справедливая часть пресуппозиции и выступает в первом члене оппозиции в роли темы: ездить-то ездила (но не я). Таким образом, создается парадигматическая оппозиция на уровне ремы. И вся структура обращена к левому контексту.

В примере (8) — пресуппозиция: *вы* смотрели новую квартиру. Подтверждается только часть пресуппозиции: смотреть-то смотрели (но не все). Как и в предыдущем примере, тема повторяет элемент пресуппозиции, а на базе ремы строится парадигматическая оппозиция; отсутствие оппозиции на уровне темы делает ее выделение необязательным. Как в примере (7) первый член оппозиции представляет последовательность Т (предикат) + R (подлежащее). Изменение синтаксического порядка слов берет на себя выражение оппозиции и делает факультативным употребление союза «а» (см. пример 8). Однако недостаточно частично отрицать мысли собеседника. Правила диалога требуют удовлетворить его и не позволяют остановиться на сказанном. Отсюда ориентация направо и построение второго члена оппозиции, где «восстанавливается» синтаксический порядок компонентов: Т (подлежащее) + R (предикат). Порядок слов *p / S* (где *p* предикат-тема, а *S* подлежащее-рема) в первом члене оппозиции, нарушая параллелизм сопоставления, приводит к противопоставлению  $R_1$  и  $T_2$ . Подобная усложненность структуры делает выделение темы во втором члене оппозиции факультативным.

Следует заметить, что наряду с отмеченными общими чертами (отсутствием выделенности тем, нарушением параллелизма сопоставлений) контексты (7) и (8) не одинаковы по своей организации. В контексте (7) пресуппозиция касается *одного лица* (*X*), которому приписывается определенное действие, состояние, качество (*Q*). Первый член оппозиции отбрасывает пресуппозицию, говоря, что предполагаемое действие относится к другому лицу (*Y*). Перед нами оппозиция парадигматического характера на уровне ремы. Второй член синтагматической оппозиции эксплицитно вводит лицо *X* и новую информацию о нем. Это можно представить схематически:

$$\begin{array}{l} \text{пресуппозиция: } X \rightarrow Q \\ \text{говорящий: } Q \rightarrow Y, X \rightarrow Q' \end{array}$$

Таким образом, первый член синтагматической оппозиции функционирует как стержень, вокруг которого организуются оба вида оппозиции.

В контексте (8) пресуппозиция касается членов (*X* и *Y*) *ансамбля* (*E*), которым приписывается некоторое качество (*Q*). Высказывание структуры *p / S* сообщает, что пресуппозиция верна лишь частично, она верна лишь для одного элемента (*X*) ансамбля (*E*), что и создает синтагматическую оппозицию с другим членом (*Y*) данного ансамбля. Этому члену сообщается иное качество — (*Q'*). Схематически это может выглядеть так:

$$\begin{array}{l} \text{пресуппозиция: } [E\{X, Y\}] (E) \rightarrow Q \\ \text{говорящий: } Q \rightarrow X, Y \rightarrow Q' \end{array}$$

Как мы видели, в пресуппозиции контекстов этого типа задается ансамбль. Это и объясняет, что в них чаще, чем в контекстах типа (7), выделяется тема первого члена.

Различие между этими двумя типами контекстов со всей отчетливостью проявляется при переводе. Так, французский язык выбирает для перевода каждого типа

оппозиции особое средство: в контексте (7) для перевода парадигматической оппозиции используется оборот *c'est... qui — C'est ma soeur qui l'a utilisée*, — выражающий «выбор, исключающий все прочие» (*choix exclusif*), тогда как для перевода контекста (8) выбирается один из оборотов, позволяющих «разбить» ансамбль: *Il n'y a que ton père qui l'a visité*.

**1.5.** Нарушение параллелизма сопоставления может быть вызвано и тем, что оппозиция связана с широким контекстом и представляет сложную систему оппозиционных отношений. Рассмотрим фрагмент из романа Т. Устиновой «Развод и девичья фамилия».

(9) [Пожилой отец говорит молодому об отношениях с детьми:]

— Хорошо, что вы вернулись, Сергей Константинович. Мальчик без вас совсем заскучал. В молодости не умеешь ценить такие вещи. Пользуйтесь тем, что сейчас вы ему нужны. Только вы, и больше никто. *Нашему сыну нужна карьера, а мы... нет, не нужны.* (...) И карьеры-то никакой нет, так, разговор один.

Оппозиционные связи строятся в несколько этапов. Первый этап — это построение парадигматической оппозиции на уровне темы: *ваш сын >< наш сын*. Тема первого члена сочинения, дополнение (с) «нашему сыну» выделена как член этой оппозиции. Выделение тем более необходимо, что с этой темой рассуждение принимает новое направление (разговор о семье говорящего), которое строится как оппозиция предшествующему: *вашему сыну — нужны вы, нашему сыну — нужна карьера*. Второй этап — это построение синтагматической оппозиции. Здесь, на первый взгляд, мы сталкиваемся с нарушением параллелизма сопоставления, который, кажется, приводит к сопоставлению первой ремы «нужна карьера» со второй темой «мы».

$$T_{(c)} — R_{(pS)}, \text{«а» } T_{(S)} — R_{(p)}$$

Однако более детальный анализ позволяет понять, что сопоставление в действительности проводится не с первой темо-рематической структурой высказывания. Союз «а» и измененный, по сравнению с первым членом, порядок слов сигнализируют наличие имплицитного члена: *карьера — нужна*. С учетом этого члена мы получаем обычную схему сопоставления, которую прямо противоположные ремы делают оппозиционной.

[карьера нужна],	а мы...	нет, не нужны.
[ $T_1 — R_1$ ],	«а»	$T_2 — R_2$

Выделение темы последнего члена имеет двойную функцию: с одной стороны, «подтверждение» оппозиционного сопоставления, с другой, обращение к предшествующему контексту для третьего этапа — построение оппозиции *вы вашему сыну нужны, мы нашему нет*.

Иначе говоря, если в нашем примере мы констатируем выделение темы в обоих членах, то это не потому, что они сопоставляются, а потому, что каждая из них входит в отдельную систему оппозиции, и выделение тем позволяет свести эти системы в единое целое.

2. Помимо сопоставления, вокруг союза «а» строится также тип высказывания, в котором второй член как бы противоречит тому, что можно было бы ожидать после сообщения, заключенного в первом члене<sup>5</sup>.

(10) Вода была холодная, а мы купались.

В подобных высказываниях союз «а» формально может быть замещен союзом «но». Однако как организация высказывания, так и его интонационная реализация будут не одинаковыми. Действительно, при союзе «но» говорящий занимает «нейтральную» позицию, описывая факты как бы со стороны. Каждая из составляющих сложносочиненного предложения представляет самостоятельную в какой-то мере информацию. И даже если вторая составляющая имеет большее значение для целого<sup>6</sup>, обе части могут рассматриваться как однотипные темо-рематические конструкции:

(10a) Вода ( $T_1$ ) была холодная ( $R_1$ ), но мы ( $T_2$ ) купались ( $R_2$ ).

При союзе «а» говорящий не является сторонним наблюдателем, а выражает свое эмоциональное состояние в связи с «нелогичностью» ситуации. Составляющая, предшествующая союзу, не столь важна сама по себе: темо-рематическая структура в целом служит выделенной темой для расчлененного на тему и рему продолжения (рис. 3).

$$T_1(t+r), \langle a \rangle T_2 // R_2$$

Мы видели подобную организацию в примере (6). Однако при формальном сходстве организации мы отмечаем различие в содержании. В примере (6) вокруг союза «а» строится эксплицитная оппозиция. Именно она мотивирует выделенность темы во втором члене. В примере (10) можно говорить только об имплицитной оппозиции. Действительно, вторая часть высказывания «а мы купались» никак не противопоставляется первой тематической части. Но она явно оппозиционна имплицитному выводу из первой части *никто не купался*. Только при учете этой оппозиции можно объяснить выделенность темы во втором члене. Здесь выделение темы делает очевидной оппозицию и служит для выражения эмоциональной настроенности говорящего.

Вероятно, связь с имплицитным выводом объясняет тот факт, что при сравнении высказываний с союзом «но» и с союзом «а» в последнем отмечается возможность изменения порядка слов.

(11) Вскоре я простудился и заболел. Помню, лежал я на горячей печи, но никак не мог согреться (Ф. Шаляпин. Страницы из моей жизни).

В этом высказывании две сочиненные части представляются как самостоятельные информации, хотя, конечно, место нахождения говорящего, его состояние связывают их между собой. При замене «но» на «а» изменяется распределение функций коммуникативных компонентов: первый член сочинения функционирует в целом как тема; после него подразумевается вывод — *мне должно было бы быть тепло, я согрелся*; этому имплицитному выводу и противопоставляется второй

член сочинения, в котором в качестве эксплицитной темы используется имплицитный рематический элемент.

(11а) Вскоре я простудился и заболел. *Помню, лежал я на горячей печи, а согреться никак не мог.*

И, как и в примере (10), тема *согреться* выделяется, указывая на наличие имплицитного элемента, на основе которого строится оппозиция, и выражая эмоциональное настроение говорящего, в данном случае удивление.

**3.** Среди различных употреблений союза «а» встречается то, что обычно называют «*а присоединительное*»<sup>7</sup>. Высказывания, организованные вокруг этого союза, на наш взгляд, неоднородны.

(12) *Около шоссе стояла школа, а за школой начинался лес.* В школу ходили дети из соседних сел (Юрий Нагибин).

В примере (12) перед нами начало описательного текста, последовательная серия картин. Каждый член высказывания, организованного вокруг союза «а», представляет темо-рематическую структуру. Тема в первом сочиненном предложении, находясь в абсолютном начале текста, стоит вне всякой оппозиции и, не будучи в центре внимания говорящего, не выделяется. Во второй части высказывания  $T_2$  «за школой», лексически повторяет ядро  $R_1$  «школа». По мнению наших аудиторов выделение  $T_2$  обязательно в связи с тем, что в продолжении текста снова фигурирует «школ[а]». Вне этого контекста выделение  $T_2$  становится необязательным. При невыделенной  $T_2$  повествование должно было бы сконцентрироваться на слове «лес»: *...а за школой начинался лес. В нем было много старых елей и сосен...*

С точки зрения организации высказывания заметим, что  $T_2$  связана повторением с  $R_1$ . Вместе с тем она связана со своей ремой  $R_2$  и поэтому оказывается в разрыве с планом  $T_1 — R_1$ . Таким образом, перед нами фрагмент «исключительного характера связи»:  $*T_1 — R_2$ .

Подобным образом можно проанализировать и пример (13).

(13) *В день Победы заперлась в комнате и не выходила.* Достучаться никто не мог. Боялись, не сделала ли чего с собой.

*А вышла, будто подмененная.* Начала в компании ходить — пить, петь (Н. Баранская). Отрицательная Жизель.

В отличие от предыдущего примера союз «а» функционирует здесь как внешний<sup>8</sup>, и выделение темы второго члена ( $T_2$ ) здесь необходимо. Действительно, глагол *вышла* несет большую семантико-синтаксическую нагрузку: синтаксически он выполняет функцию придаточного времени, а семантически именно выделенная  $T_2$ , близкая лексически к  $R_1$ , вместе с союзом «а» позволяет, невзирая на «вклинившиеся» высказывания, создать единство с первым членом оппозиции, находящимся на расстоянии.

От разобранных высказываний следует отличать внешне похожие на них, но имеющие, как нам кажется, иную организацию. Это высказывания, в которых некоторый частный случай вписывается в обобщающую перспективу<sup>9</sup>.

(14) Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хоть любви, положим, не было. Нет, любви не было. *Глеб был жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще* (В. Шукшин. Беседы при ясной луне).

В выделенном высказывании первая часть представляет частный случай, переходящий в обобщение во второй. Союз «а» артикулирует этот переход, отделяя план  $T_1 - R_1$  от  $T_2$ . Но  $T_2$  имеет *обобщающий характер* и включает в себя  $R_1$ . Значит, то, что говорится о  $T_2$ , через посредство  $R_1$  может быть сказано и о  $T_1$ . Возникает что-то похожее на обратную цепную реакцию, которая заканчивается установлением связи  $T_1 - R_2$ . Но эта связь возможна только через посредство *обобщающего характера*  $T_2$ . И, чтобы показать первостепенную важность  $T_2$  в установлении внутрифразовых связей, говорящий прибегает к ее выделению.

Существование связи  $T_1 - R_2$  отличает высказывания типа (14) от таких как (13), где подобная связь исключается.

4. Из проведенного анализа можно заключить, что выделение темы мотивируется положением данного высказывания в контексте. Наиболее простой случай представляет построение оппозиции, цель которой показать неоднородный характер заданного ансамбля. К построению оппозиции можно свести и перечисление темо-рематических структур. Отсутствие выделенности темы в первом члене высказывания, организованного вокруг союза «а», является показателем двойной ориентации этого члена. Выделение темы во втором члене сигнализирует наличие имплицитных звеньев в построении сложных систем оппозиций в тексте. Главенствующая роль темы второго члена в организации текста проявляется и в том, что в сложной семантической структуре не может отсутствовать выделенность темы во втором члене.

Из всего сказанного вытекает, что выделение темы ни в коем случае не является случайным или произвольным, а подчиняется требованиям построения текста.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См., в частности: *I. Fougeron. Prosodie et organisation du message*. Klincksieck, Paris, 1989. С. 239—243.

<sup>2</sup> Там же. С. 239—243.

<sup>3</sup> *I. Fougeron. La conjonction adversative «а» en russe contemporain et son rôle dans l'organisation du texte* // *Bulletin de la Société linguistique de Paris*. Т. LXXXVI, fasc. 1. Paris, 1991. P. 245—273.

<sup>4</sup> Там же. С. 243—245.

<sup>5</sup> По содержанию высказывания этот союз «а» нередко называют «а несоответствия» (см.: *Г. Е. Крейдлин, Е. В. Падучева. Значение и синтаксические свойства союза а* // Автоматизация обработки текстов. Н. Т. И. Сер. 2. № 9. 1974).

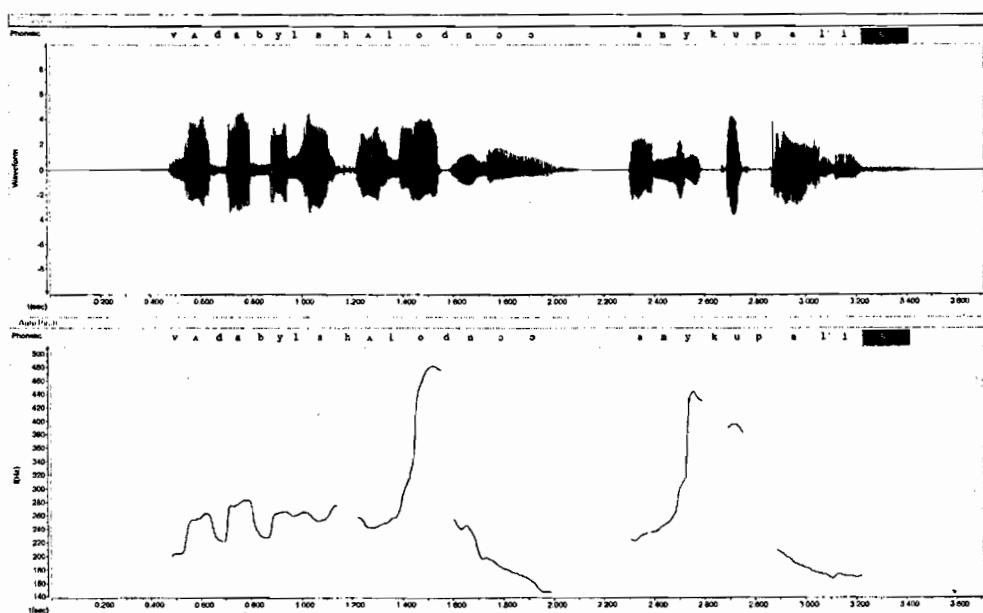
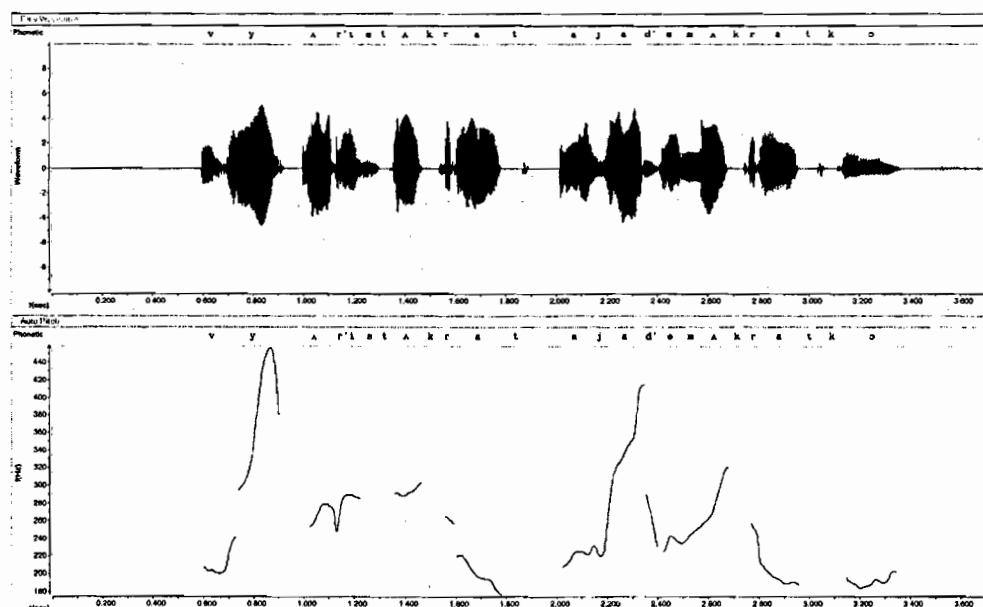
<sup>6</sup> *В. З. Санников. Русские сочинительные конструкции*. М.: Наука, 1989.

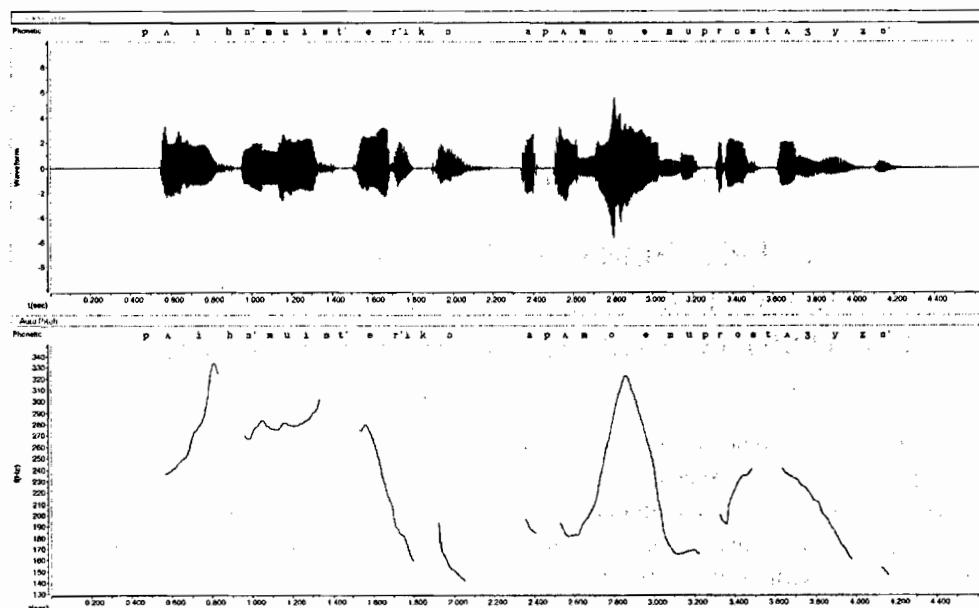
<sup>7</sup> *В. З. Санников. Указ. соч.; Г. Е. Крейдлин, Е. В. Падучева. Указ. соч.*

<sup>8</sup> *S. Karcevski. De l'exclamation à la conjonction* // *S. Karcevski. Inédits et introuvables*. Paris, 2000. P. 137—174.

<sup>9</sup> *Г. Е. Крейдлин, Е. В. Падучева. Указ. соч.*

## ПРИЛОЖЕНИЕ





*Л. Э. Калнынь (Москва)*

## ВОПРОСЫ «ПОЧЕМУ» И «ЗАЧЕМ» ОТНОСИТЕЛЬНО НЕКОТОРЫХ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ НОВАЦИЙ В ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ/ДИАЛЕКТОВ

Анализируя состояние лингвистики на исходе XX в., Т. М. Николаева высказала мысль о том, что «типология диахронических изменений предполагает изменение внимания от Как? не только к Почему?, но и к Зачем?» [Николаева 2000, 17]. Справедливость подобной постановки вопроса очевидна, поскольку она сама по себе провоцирует новые интерпретации таких явлений, для которых в науке уже сложились традиционно принятые толкования.

После падения редуцированных произошли разнообразные изменения в фонетическом строе славянских языков/диалектов. Поскольку эти изменения объединены причинно-следственной связью с падением редуцированных, то и вопрос «почему» в отношении их всех предполагает одинаковый ответ. Но при дальнейшем развитии темы возникновения тех же явлений ссылки на сам факт падения редуцированных недостаточно — меняется вопросная процедура, применимая к данному явлению, и, соответственно, получаемые ответы предлагают новое содержание тех же фонетических процессов.

Это можно показать на примере таких, возникших после падения редуцированных фонологических новаций в славянских языках/диалектах, как формирование корреляции палатализованности и позиционно обусловленное устранение (нейтрализация) оппозиции по участию голоса шумных согласных.

Ответы на вопросы «почему» и «зачем» при интерпретации языкового факта не обязательно образуют непрерывную последовательность. Ответ может остановиться на стадии «почему», а ситуация, предполагающая постановку вопроса «зачем», в применении к тому же явлению не возникает. Примером этого может быть факт формирования корреляция палатализованности.

Появление палатализованных согласных в славянских языках принято возводить к праславянскому сингармонизму, при котором сочетание согласного с передним гласным унифицировалось по высоте тона.

Качество согласных в этой ситуации обычно определяется как «полумягкость» (обозначается как *t'*). Центральным моментом в образовании корреляции палата-

лизованности является утрата слабого переднего редуцированного гласного \**b*, оставлявшего, однако, после себя позиционно обусловленное повышение тона предшествующего согласного. Естественно было бы ожидать, что позиционно обусловленное свойство должно исчезнуть вслед за сегментом, его вызвавшим. Но в данном случае этого не произошло, и в части славянских языков/диалектов палатализованность согласных сохранилась на конце слова и перед согласными вопреки отсутствию следующего \**b*.

Предполагается, что сохранению позиционного качества согласного способствовало его некоторое физическое свойство — а именно происшедшее еще до падения редуцированных усиление полумягкости до мягкости, а там, где этого не произошло, полумягкость согласного исчезла вместе с \**b*. Так в традиционно сложившейся интерпретации формирования корреляции палатализованности дается ответ на вопрос «как?».

В этом рассуждении появление фонологической категории, какой является корреляция палатализованности, ставится в прямую зависимость от интенсивности артикуляции мягкости, поскольку считается, что сильная мягкость согласных сохранилась после утраты следующего \**b*, а слабая — нет (т. е. \**t' b* > *t'*, но \**t' b* > *t*). Однако в действительности мягкие фонемы в тех языках/диалектах, где они имеются, достаточно широко варьируют высоту тона в зависимости от соотношения длительности переходного (*i*-образного) участка и ядра гласного, следующего после согласного (поэтому мягкие фонемы реализуются как мягкими, так и полумягкими согласными). Проблема состоит в том, почему после утраты \**b* вообще сохранилась вызванная этим гласным позиционная мягкость, безразлично какой интенсивности. В языке должен был существовать специальный механизм, провоцирующий такой результат. По этому поводу можно заметить следующее.

Утрата редуцированных гласных не была одномоментным фонетическим сдвигом. По замечанию Бодуэна де Куртене, существовали «переходные стадии от полного существования к исчезновению звука. На этих стадиях имеется еще в душах говорящих воспоминание и представление известного звука, но без необходимости исполнения, которое таким образом является факультативным» [Бодуэн де Куртене 1903]. В ситуации потенциальной вариативности может по-разному проявляться в фонетической программе слова такой синтагматический момент, как антиципация гласного \**b*. При наличии антиципации непроизнесение \**b* создавало контраст между ожидаемым гласным (передним, достаточно высоким) и реально следующей паузой (\**t' b* #). Нереализованное ожидание могло компенсироваться сохранением или даже усилением повышенного тона согласного. Но фонетическая программа слова могла и по-иному реагировать на ослабление участия редуцированного в звуковой цепи — это воспринималось как данность и антиципация \**b* исключалась из правила построения звуковой последовательности. В этом случае позиционная палатализованность согласного утрачивалась вместе с \**b*.

В фонетическом слове, сохранившем антиципацию \**b*, контраст между ожидаемым и реальным сегментом был также ощущим, если после \**b* следовали губной или задненебный (т. е. веляризованные) согласные (\**t' b p*, \**t' b k*). Здесь также вклю-

чался компенсационный механизм сохранения позиционной по происхождению палатализованности. Поэтому позиция перед названными согласными преимущественно является позицией различия твердых и мягких согласных там, где есть корреляция палатализованности.

Вызванный падением редуцированных сбой в фонетической программе слова был менее ощутим, если \**b* утрачивался между губным согласным и паузой (\**p b #*). Низкий тон веляризованных губных препятствовал их компенсационной палатализованности. Поэтому в большей части языков/диалектов, имеющих корреляцию палатализованности, мягкие губные в конце слова отсутствуют. Исключение в этом плане представляют русские говоры юго-восточной части территории ДАРЯ [Атлас 1986] и некоторые серболужицкие говоры [Sorbischer Sprachatlas 1990, 233]. В болгарских диалектах мягкость финальных губных ассоциируется с заимствованной (турецкой) лексикой [Кочев 1968]. И никогда твердые и мягкие губные не образуют оппозицию перед согласными (если не принимать во внимание сочетание слова с частицей, как в русском *огрáp'ka* (imp) — *тр'ápkа*).

Что касается зубных согласных, то они сохраняли палатализованность на конце слова везде, где есть соответствующая корреляция, и по-разному вели себя перед не губными и не задненебными согласными.

Исходя из сказанного, на вопрос, почему после падения редуцированных в одних славянских языках/диалектах появилась корреляция палатализованности, а в других нет, можно ответить так. Потому, что ослабление/утрата редуцированных гласных и осознание этого носителями языка могли не совпадать во времени. Там, где в программе слова сохранялся автоматизм антиципации переднего гласного \**b*, согласные стали мягкими вопреки фактическому отсутствию этого гласного (до этого они могли быть как полумягкими, так и мягкими, т. е. \**t(ʷ)b*). Другой вариант развития выражался в том, что синхронно с утратой \**b*, из программы слова исключалась антиципация этого гласного, что автоматически устранило следы предшествующей палатализованности (как полумягкости, так и мягкости). Надо признать, что это различие вызывает очередной вопрос «почему?», но ответ на него, видимо, надо искать в более общих закономерностях устройства звуковых последовательностей в соответствующих языках / диалектах (характер связи согласного и гласного вообще). Таким образом, вопросы, касающиеся собственно образования корреляции палатализованности, заканчиваются на «почему?». Вопрос «зачем?» не возникает, поскольку никакая лингвистическая цель в связи с наличием корреляции или ее отсутствием не ассоциируется. Те последствия для фонематического устройства языка/диалекта, которые сопровождают корреляцию палатализованности, не являются целью ее появления.

Но вопрос не только «почему?», но и «зачем?» отчетливо просматриваются в тех изменениях, которым подверглась в славянских языках/диалектах после падения редуцированных синтагматика шумных согласных, различающихся участием голоса.

Результатом падения редуцированных явилась последовательность шумных согласных, неоднородных в отношении участия голоса. Это была абсолютная

новация, поскольку контраст по наличию / отсутствию голоса между рядом стоящими шумными согласными до падения редуцированных был невозможен. Как и в случае палатализованных согласных после утраты \**b*, адаптация шумных согласных к новой ситуации (утрата \**b*, \**v*) происходила неодинаково в разных языках / диалектах. При этом следует различать позицию перед согласным (сочетание согласных) и перед паузой (конец слова).

Сочетания шумных согласных, неоднородные в отношении участия голоса, имели альтернативное развитие в зависимости от того, включалась или нет в фонетическую программу слова антиципация второго согласного при выборе первого. В этом случае антиципация была новацией, поскольку до падения редуцированных первый и второй согласный априорно были одинаковы по отношению к участию голоса в их артикуляции (составляли в этом плане артикуляционное единство). Обусловленная антиципацией регressive ассимиляция согласных по участию голоса присутствует в большей части славянских языков / диалектов.

Но в некоторых диалектах антиципация не включается в фонетическую программу слова. В этом случае как бы сохраняется фантомная память о гласном, разделявшем согласные (вновь — «вспоминание и представление известного звука»), и произносится последовательность согласных неоднородных в отношении участия голоса. Включение глухих и звонких согласных в фонетическую программу слова лишено параллелизма. Отсутствие антиципации звонкого согласного при выборе предшествующего шумного (т. е. произношение *td*) является редкостью в славянской речи. Отсутствие же антиципации глухого согласного (т. е. *dt*) достаточно распространено. Традиционно это принято считать проявлением хронологически разных этапов единого процесса регressive ассимиляции по голосу шумных согласных — озвончение глухих (*td* > *dd*) происходило раньше, чем оглушение звонких (*dt* > *t*) [Бернштейн 1961, 263]. Суждение основано на представлении о том, что после падения редуцированных глухие и звонкие шумные согласные образовали один синтагматический класс, в характеристику которого входило отношение к участию голоса.

Однако возможно и другое объяснение тех же различий в образовании сочетаний шумных согласных. Глухие и звонкие согласные различаются не только участием голоса, но и уровнем напряженности основной артикуляции. Различие согласных по типу *fortis* / *lenis*, там, где оно есть, накладывается на различие по участию голоса, и эти признаки могут конкурировать в своей значимости для опознания согласного как звукотипа. От того, какой признак является доминирующим, зависит синтагматическое поведение согласных [Пауфошима 1987, 100]. При этом высказывается предположение, что в славянских диалектах оппозиция согласных по напряженности отражает более раннее состояние, чем различие по голосу [Касаткин 1995].

Исходя из сказанного, можно допустить, что после падения редуцированных антиципация ненапряженного (звонкого) и антиципация напряженного (глухого) согласного при выборе предшествующего шумного согласного могли возникнуть независимо друг от друга, а не как элементы единого процесса. Поэтому совре-

менные модели консонантных сочетаний [*dt*, *dd*] и [*tt*, *dd*], возможно, не находятся в отношении хронологической последовательности, а репрезентуют независимые друг от друга типы включения в фонетическую программу слова сочетаний шумных согласных, появившихся после падения редуцированных. Причину такой дифференциации можно видеть в том, что контраст по звучности или напряженности между хронологически более ранним сегментом \**tъd* и последующим *td*, с одной стороны, и между \**dъt* и *dt* — с другой, был неодинаковый. В первом случае после *t* продолжал следовать сегмент высокой звучности и низкой напряженности (некоторый аналог \**ɸ*), что облегчало включение в программу слова антиципации звонкого / ненапряженного согласного (поэтому почти всегда *td* > *dd*). Во втором случае контраст между сегментами *dъt* и *dt* был более резким и это тормозило включение антиципации глухого / ненапряженного согласного в фонетическую программу слова (сохранение в некоторых диалектах произношения *dt*).

Вероятность различия уровня напряженности у шумных согласных в период после падения редуцированных подтверждается поведением этих согласных в позиции на конце слова, т. е. перед паузой (-#). Принято считать, что оглушение звонких согласных на конце слова — это самое позднее проявление начавшегося после падения редуцированных изменения шумных согласных по участию голоса [Бернштейн 1961, 263; Колесов 1980, 161]. Между тем основания для изменения согласных в названной позиции были иными, чем перед согласными. Падение редуцированных создавало на конце слова принципиально новую синтагматическую ситуацию — возникло сочетание согласного с паузой (C#). Унификацию по участию голоса вновь возникших консонантных сочетаний в принципе можно соотнести с синтагматическим образцом, известным до падения редуцированных, хотя и он не всегда получал продолжение. Для сочетания C# такого образца не было, а сама по себе пауза не может требовать изменения уровня участия голоса в предшествующем сегменте (ср. синтагматику сонантов). Сохранение звонких согласных перед паузой, хотя и более редкое, чем их оглушение, представлено в диалектах разных славянских регионов.

Более распространенная в той же позиции утрата голоса шумным согласным сопровождается и повышением его напряженности. Такое изменение выглядит достаточно мотивированным при контакте со следующим согласным. Но звуковой ноль, каким является пауза, не содержит мотива для выключения голоса. Причина этого явления может состоять в стремлении сохранить консонантный контур слова.

Утрата конечных редуцированных гласных была одним из проявлений того, что конец слова находился в зоне сниженного произносительного внимания. В такой же ситуации оказался конечный согласный. Слабая напряженность звонкого согласного, не поддержанного следующим гласным, т. е. перед паузой, снижала его выразительность и могла способствовать его утрате даже при сохранении голоса, и тем более при выключении голоса (в последнем случае образуется «безголосый lenis»). Можно отметить, что факты утраты финальных звонких заднеязычных спирантов, которые отличаются особенно низкой напряженностью, известны в славянских диалектах.

Изменение  $d > t$  перед паузой является эффективным способом фиксации контура слова в его финальной части. Достигалось это усилением напряженности согласного, что автоматически сопровождалось выключением голоса, так как звонкость должна комбинироваться с ненапряженностью. Напряженность глухого согласного может сопровождаться приыханием, следующим после основной артикуляции [Касаткин 1995, 43]. Такое приыхание в особенности должно сопровождать ту напряженность, которая возникла как реакция на утрату конечного редуцированного, — примеры этого из болгарского говора приведены в [Калнынь, Попова 1993, 132]. Охранительная тенденция в отношении конечного согласного (фонетического контура слова) в русских говорах может проявляться в произношении гласного пазвука типа *d* после звонкого согласного [Атлас 1986, 177] или вообще после конечного согласного независимо от участия голоса — в последнем случае высказывается мнение, что этот гласный является производным от напряженности артикуляции вообще конечных согласных [Виноградов 1918, 8].

В консонантных сочетаниях происходит уподобление по признакам голоса и напряженности — сравнительный уровень приоритета этих артикуляций в данной ситуации не просматривается. В конце слова очевиден приоритет артикуляции напряженности как средства, гарантирующего от ослабления и возможной утраты конечного согласного.

Именно потому что изменения согласных по участию голоса в консонантных сочетаниях и на конце слова имеют в своей основе разные стимулы и акцентируют при этом разные компоненты артикуляции шумных согласных, может существовать временной разрыв между этими изменениями. Это выражается в том, что в славянских диалектах известна ситуация, когда сочетания согласных унифицированы в отношении участия голоса, а на конце слова различаются глухие и звонкие шумные согласные (так, например, в некоторых украинских говорах).

Вопрос *почему?* приложим к изменению шумных согласных по участию голоса перед следующим согласным. Это происходит *потому*, что в фонетическую программу слова включается антиципация следующего согласного при выборе предыдущего. Антиципация звонкого согласного практически генерализировалась в славянских языках / диалектах. Наличие / отсутствие антиципации глухого согласного варьируется по диалектам. Вопрос *зачем?* в отношении изменения согласных в консонантных сочетаниях применим в том случае, если признать сочетание *tt* произносительно более удобным, чем *dt*, что не очевидно.

В отношении оглушения шумных согласных перед паузой (конец слова) доминирует вопрос *зачем?* В этом случае преследуется цель фиксации консонантного контура слова в его финальной части. Если поставить вопрос *почему?*, то только для того чтобы узнать, что подвело к постановке указанной цели, а это опять будет общая причина в виде факта падения редуцированных.

Таким образом, все вышесказанное может показать, что, переместив внимание от вопроса *как?* к *почему?* и особенно *зачем?*, можно выявить в возникших после падения редуцированных фонематических сдвигах такие аспекты, которые отличаются от принятых в славянском языкознании интерпретаций.

## ЛИТЕРАТУРА

- Атлас 1986 — Диалектологический атлас русского языка. Вып. 1. Вступительные статьи. М., 1986.
- Бернштейн 1961 — С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
- Бодуэн де Куртене 1903 — И. А. Бодуэн де Куртене. Лингвистические заметки и афоризмы // ЖМНПр. СПб., 1903. № 4.
- Виноградов 1918 — Н. Н. Виноградов. Послеконечное *ы* в народном говоре Шунгенской волости Костромского уезда // Известия ОРЯС РАН 1917 г. Т. XXII, кн. 2. Пг., 1918.
- Калнынь, Попова 1993 — Л. Э. Калнынь, Т. В. Попова. Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации // Исследования по славянской диалектологии 2. Южнославянские диалекты. М., 1993.
- Касаткин 1995 — Л. Л. Касаткин. Некоторые фонетические изменения в консонантных сочетаниях в русском, древнерусском и праславянских языках, связанные с противопоставлением согласных по напряженности // ВЯ. 1995. № 6.
- Колесов 1980 — В. В. Колесов. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
- Кочев 1968 — Ив. Кочев. О балканском характере мягких согласных в позиции конца слова в болгарском языке // Actes du Premier Congrès international des études balkaniques et sud-est européennes. Sofia, 1968.
- Николаева 2000 — Т. М. Николаева. От звука к тексту. М., 2000.
- Пауфошима 1987 — Р. Ф. Пауфошима. О связях характера прымыкания и звукового эллипсиса с особенностями фонологической системы // Русские народные говоры: Лингвогеографический аспект. М., 1987.
- Sorbischer Sprachatlas 1990 — Sorbischer Sprachatlas, 13. Synchronische Phonologie. Bautzen, 1990.

Л. Л. Касаткин (Москва)

## ОСНОВНЫЕ ИНТОНАЦИОННЫЕ ТОНАЛЬНЫЕ КОНТУРЫ (ИК) РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Описание русской интонации Е. А. Брызгуновой на многие десятилетия определило развитие интонологии и широко используется в практике преподавания русского языка в России и во многих других странах. Эта теория оказала влияние и на разработку интонации целого ряда других языков. Важнейшим положением этой теории является выделение семи интонационных конструкций (ИК), которые характеризуются в первую очередь изменениями основного тона, но также и количественно-динамическими и тембровыми средствами.

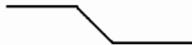
В ИК выделяется предцентр, центр и постцентр. Центр — «слог, на котором происходит изменение интонации, значимое для выражения таких различий, как, например, вопрос-сообщение, вопрос-волеизъявление» [Брызгунова 1977, 17], слог, «на котором начинаются изменения компонентов интонации, значимые для выражения таких различий, как вопрос, утверждение, волеизъявление, незавершенность / завершенность высказывания» [Брызгунова 1980, 97]. Центр ИК в этом определении не соотносится Е. А. Брызгуновой с главным акцентом фонетической синтагмы или фразы, но фактически совпадает с ним: «Подобно тому как в слове выделяются предударные и заударные слоги, так в ИК по отношению к ее центру различаются предцентровая и постцентровая части» [Брызгунова 1980, 102]. Однако при описании вариантов ИК-2 и ИК-4 Е. А. Брызгунова отступает от данного ею определения центра ИК и допускает, что в этих случаях «гласный центра произносится с (...) ровным движением тона в диапазоне предцентровой части» [Там же, 109—111, 115].

Предцентр обычно произносится на среднем уровне тона: «В предцентровой части ИК возможны незначительные повышения и понижения тона, которые происходят в пределах диапазона, характерного для каждого говорящего (...). Эти колебания несущественны для выражения и восприятия таких различий, как вопрос, утверждение, волеизъявление. Уровень тона предцентровой части ИК является линией отсчета для повышения и понижения тона на гласном центре», а в постцентре тон выше или ниже предцентра [Там же, 102, 107].

В 1982 г. я предложил (и многократно повторял это описание, в частности в [Касаткин 1982, 96—97; 2003, 81—85 и др.]) отдельно рассматривать различные интонационные средства: тональные, тембровые и количественно-динамические как разные составляющие интонации, а ИК характеризовать только как тональный контур, при этом центром ИК считать слог, который характеризуется главным акцентом фонетической синтагмы или фразы. В этом случае выделяется шесть ИК из описанных Е. А. Брызгуновой (без ИК-7, которая, по определению Е. А. Брызгуновой, отличается от ИК-3 лишь «смычкой голосовых связок на гласном центре» [Брызгунова 1980, 107]). Однако поскольку у Е. А. Брызгуновой ИК обладает иной характеристикой, следует изменить и название описываемой мною единицы, которая в дальнейшем изложении будет определяться как тональный контур (ТК), свойственный фонетической синтагме или фразе.

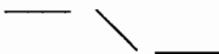
TK, как и ИК Е. А. Брызгуновой, может состоять из трех сегментов. Первый сегмент — предцентр, его тон, как и у Е. А. Брызгуновой, условно определяется как средний<sup>1</sup>. Второй сегмент — центр, это слог, который характеризуется главным акцентом фонетической синтагмы или фразы — области развертывания ТК. Здесь может происходить основное изменение тона — повышение или понижение, но тон может быть также ровный в пределах среднего уровня. Третий сегмент — постцентр. При среднем тоне центра в постцентре происходит основное изменение тона, развертывающееся на протяжении постцентра, — понижение или повышение. В других случаях тон постцентра может быть восходящим от нижнего, нисходящим от верхнего либо ровным низким или высоким. Таким образом, центр ТК и слог, на котором происходит основное изменение тона, могут совпадать и не совпадать. Каждый сегмент ТК может быть схематически обозначен отдельной линией.

Общая схема ТК-1



В зависимости от того, как распределены по этому контуру сегменты, выделяются две разновидности ТК-1:

TK-1.1



Основное понижение тона происходит на звуках центра, тон постцентра ниже среднего. Этот ТК соответствует ИК-1 и обычно встречается при выражении завершенности в повествовательном предложении: *Поздняя осень. Грачи улетели, лес обнажился, поля опустели...* (Н. Некрасов) — центр ТК в примерах выделен, падение тона показано знаком \ после слога, на котором это изменение происходит. ТК-1.1 соответствует одной из разновидностей ИК-2: *Куда ты идёшь?*

TK-1.2



Звуки центра произносятся в пределах среднего тона, на первом слоге постцентра понижение тона ниже среднего уровня. ТК-1.2 обычно встречается в вопроси-

тельных предложениях с вопросительным словом и в предложениях с обращением, волеизъявлением: *Куда ты\ идёшь? Володя\, не ходи туда.* ТК-1.2. соответствует одной из разновидностей ИК-2<sup>2</sup>.

ТК-1.1 и ТК-1.2 могут характеризовать и предложения с одним и тем же лексическим составом:



TK-1.1 *Андрей на заводе был.*

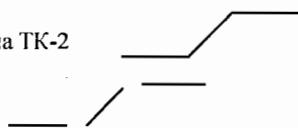


TK-1.2 *Андрей на заводе был*

В первом примере нейтральное утверждение, ТК-1.1 характеризует фразовое ударение на слове на заводе. Во втором примере ТК-1.2 указывает на акцентное выделение слова на заводе.

Общая схема ТК-2

TK-2.1



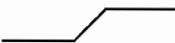
на звуках центра резко восходящее движение тона, тон постцентра выше среднего. ТК-2.1 соответствует ИК-6. ТК-2.1 обычно встречается при выражении неожиданного обнаружения высокой степени признака, действия, состояния: *Какой компот! / вкусный!*<sup>3</sup> *Как она танцует! Сколько воды набралось!* — повышение тона показано знаком / после слога, где оно происходит.

TK-2.2



Звуки центра произносятся в пределах среднего тона, на первом слоге постцентра повышение тона выше среднего уровня, сохраняющееся до конца фонетической синтагмы (фразы). На звуках центра может быть и небольшое повышение тона по сравнению с предцентровой частью. ТК-2.2 соответствует ИК-4<sup>6</sup>.

ТК-2.1 и ТК-2.2 могут характеризовать предложения с одним и тем же лексическим составом:



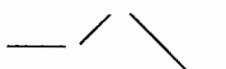
TK-2.1: *Где же был Андрей? — Он на заводе был.*



TK-2.2: *Почему Андрея не было дома? — Он на заводе был.*

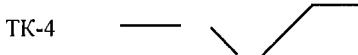
Легко заметить, что ТК-1 и ТК-2 построены как зеркальное отражение друг друга.

TK-3



На звуках центра резко восходящее движение тона, тон постцентра ниже среднего. Это один из наиболее широко употребляющихся тональных контуров, он

характерен для выражения незавершенности речи и соответствует ИК-3. Так, ТК-3 обычно встречается в вопросительных предложениях без вопросительного слова: *Анна пьёт / сок !?* Типичен ТК-2 и для неконечной синтагмы во фразе: *Когда Каштанка опо́ / мнила́сь, | музыка уже не играла* (Чехов). Встречается ТК-3 и при обращениях, выражении просьбы: *Марí / но \ чка, | позвонí / за \ втра.* Тональный контур здесь такой же, как и в *Позвонишь / за \ втра?*

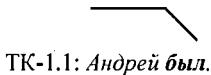


На звуках центра нисходящее движение тона, тон постцентровой части выше среднего. ТК-4 соответствует ИК-4 и обычно встречается в неполных вопросительных предложениях с сопоставительным союзом *а*, в вопросах с оттенком требования: *А Натá\ша/? Ваше й\мя/? Фамí\лия/?* Повышение тона в постцентровой части может происходить на первом заударном слоге: *А Бá\ри / нова?* или на последнем: *А Бá\ринова ?* либо равномерно повышаться на всей заударной части.

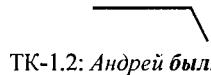
TK-3 и TK-4 (как и TK-1 и TK-2) выглядят как зеркальное отражение друг друга.

Таким образом, основное изменение тона при наличии постцентра может происходить на акцентно выделенном слоге фонетической синтагмы (фразы) или на следующих за ним (случаи основного изменения тона на предцентре тоже возможны, здесь они не рассматриваются).

При отсутствии постцентра основное изменение тона, характерное для данного ТК, происходит в его центре. У ТК-1.1 понижение тона начинается с начала центра, у ТК-1.2. — в конце гласного центра:

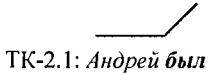


TK-1.1: *Андрей был.*

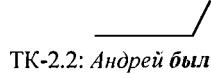


TK-1.2: *Андрей был.*

TK-2.1 в подобном случае отличается от TK-2.2 также местом повышения тона в центре: у ТК-2.1 оно происходит в начале центра, у ТК-2.2 — в его конце:

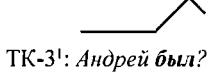


TK-2.1: *Андрей был*

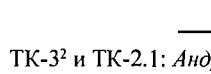


TK-2.2: *Андрей был*

У ТК-3 при отсутствии постцентра повышение тона начинается в начале центра, в конце его может происходить некоторое понижение тона. Это понижение тона может и отсутствовать, в этом случае ТК-3 не отличается от ТК-2.1, они нейтрализуются:

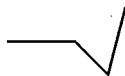


TK-3<sup>1</sup>: *Андрей был?*



TK-3<sup>2</sup> и TK-2.1: *Андрей был?*

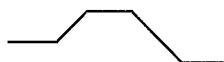
У ТК-4 в этом случае в центре происходит понижение и следующее повышение тона:

ТК-3: *Андрей был*

В примерах на ТК-2 и ТК-4 с отсутствующим постцентром не поставлены знаки препинания, потому что эти предложения могут быть и утвердительными и вопросительными. Различие между ними оформляется главным образом величиной интервала восходящего тона: у вопросительных предложений этот интервал больше, чем у утвердительных.

В отличие от описанных выше тональных контуров ТК-5 характеризуется на протяжении одной фонетической синтагмы (фразы) двумя акцентно выделенными словами и двумя существенными изменениями тона. Е. А. Брызгунова называет слоги, на которых происходят эти изменения тона, двумя центрами ИК-5.

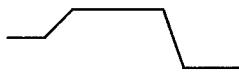
Общая схема ТК-5



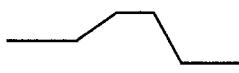
«Предцентровая часть: на среднем тоне говорящего (обычно на нижней границе диапазона среднего тона). Первый центр выделяется восходящим движением тона выше среднего. Уровень тона выше среднего сохраняется на протяжении одного-двух слов. Второй центр выделяется нисходящим движением тона (...). Постцентровая часть произносится на уровне тона ниже среднего» [Брызгунова 1977, 78].

Как у ТК-2 и ТК-1, резкое повышение и понижение тона при ТК-5 может происходить на акцентно выделенном слоге и на следующем за ним слоге.

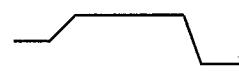
При ТК-5.1 повышение и следующее понижение тона происходит на акцентно выделенных слогах:

*Неужели на заводе был?*

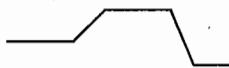
При ТК-5.2 повышение тона происходит на слоге, следующем за первым акцентно выделенным слогом, понижение — на втором акцентно выделенном слоге:

*Неужели на заводе был?*

При ТК-5.3 повышение тона происходит на первом акцентно выделенном слоге, понижение — на слоге, следующем за вторым акцентно выделенном слогом:

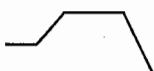
*Неужели на заводе был?*

При ТК-5.4 повышение, а затем понижение тона происходит на слогах, следующих за акцентно выделенными слогами:



*Неужели на заводе был?*

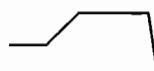
При отсутствии постцентра у ТК-5 его разновидности различаются по месту понижения тона на втором центре: у ТК-5.1 и ТК-5.2 оно начинается в начале центра, у ТК-5.3 и ТК-5.4 — в конце гласного:



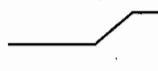
TK-5.1: *Андрей заболел*



TK-5.2: *Андрей заболел*



TK-5.3: *Андрей заболел*



TK-5.4: *Андрей заболел*

Е. А. Брызгунова характеризует ИК-5 не только особенностями тонального контура, но и количественно-динамическими признаками интонации: «Длительность согласных и гласного центра (первого. — Л. К.) увеличена в среднем в два раза по сравнению с другими ударными слогами: за это время можно произнести еще один слог. (...) Оба центра характеризуются также усилением словесного ударения». Предложения с ИК-5 — восклицательные [Брызгунова 1980, 115—118]. Но при характеристике тонального контура количественно-динамические признаки не должны учитываться. ТК-5 может встречаться и в вопросительных и в утвердительных предложениях, эмоционально не окрашенных.

Соотношение ТК-1.1 и ТК-1.2, ТК-2.1 и ТК-2.2, ТК-5.1 и ТК-5.2, ТК-5.3 и ТК-5.4 в некоторых случаях может быть примерно одинаковым, когда вторые члены этих соответствий добавляют к смыслу, выраженному первыми членами, одни и те же компоненты, например, прагматики — особой заинтересованности, чувства говорящего; ср.: ТК-1.1: *Какой\ у нее голос?* — ТК-1.2: *Какой\ у нее голос?* ТК-1.1: *Там опасно* — ТК-1.2: *Там опасно\*. ТК-2.1: *Когда перейдёшь улицу, | свернёшь направо.* — ТК-2.2: *Когда перейдёшь улицу, | свернёшь направо.* ТК-5.1: *Какой\ у нее голос!* — ТК-5.2: *Какой\ у нее голос!* ТК-5.3: *Хорошо ли/ вы спали?* — ТК-5.4: *Хорошо ли/ вы спали?*

С. Оде ввела в описание русской интонации понятие тайминга: «Если посмотреть на конкретные реализации ИК-1 и ИК-2 в примерах, которые соответствуют описанию в таблице Е. А. Брызгуновой [1984, 107], то совершенно очевидно, что здесь различающим признаком между ИК-1 и ИК-2 является *тайминг*. Под этим признаком я понимаю следующее: позиция в ударном слоге, где завершается движение тона, ближе к началу (рано) или ближе к концу (поздно) ударного гласного. ИК-1 имеет признак “ранний тайминг”, а ИК-2 “поздний тайминг”» [Оде 1995, 204].

Понятие тайминга, безусловно, важно в интонологии, и его следует вводить в описание интонации. Однако использовать его следует лишь при различиях в месте начала или завершения подъема или падения тона на одном и том же сегменте ТК — на ее центре или на ее постцентре, но не на разных сегментах. Поэтому ТК 1.1 и ТК-1.2 (соответствующих тому, что С. Оде называет ИК-1 и ИК-2), ТК-2.1 и ТК-2.2, ТК-5.1 и ТК-5.2, ТК-5.3 и ТК-5.4 различаются при наличии постцентра не таймингом, а местом основного изменения тона на центре или на постцентре. При отсутствии постцентра различие между этими же ТК оформляется в центре и характеризуется разным таймингом.

Конечно, могут быть и переходные случаи, когда основное изменение тона начинается в конце центра и продолжается на постцентре. Определение такого ТК как одной или другой его разновидности зависит от соотношения частей изменяющегося тона. Если большая часть интервала изменения тона относится к центру, следует в таком ТК видеть первую его разновидность. Если большая часть интервала изменения тона относится к постцентру, следует в таком ТК видеть вторую его разновидность.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В действительности, и в предцентре возможны существенные изменения тона, которые в данной работе не рассматриваются.

<sup>2</sup> Е. А. Брызгунова видит отличие ИК-2 от ИК-1 в «усилении словесного ударения на гласном центре» [Брызгунова 1980, 98, 107], однако такое усиление словесного ударения может быть при любой ИК и поэтому не может быть дифференциальным признаком этой единицы, см.: [Касаткин 2003, 86]. В работе [Касаткин 1982, 97] я предложил различать ИК-1 и ИК-2 по месту основного понижения тона: у ИК-1 в центре, у ИК-2 в постцентровой части. Позднее эту же мысль высказали С. Оде и К. Кейспер [Оде 1992; 1995, 204; Кейспер 1992].

<sup>3</sup> Этот и некоторые другие примеры заимствованы из работ Е. А. Брызгуновой.

## ЛИТЕРАТУРА

- Брызгунова 1977 — Е. А. Брызгунова. Звуки и интонация русской речи. 3-е изд. М., 1977.
- Брызгунова 1980 — Е. А. Брызгунова. Интонация // Русская грамматика: В 2 т. / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. М., 1980. Т. I. С. 96—122.
- Брызгунова 1984 — Е. А. Брызгунова. Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи. М., 1984.
- Касаткин 1982 — Л. Л. Касаткин. Фонетика // Современный русский литературный язык: Учебник для студентов филолог. специальностей педин-тов / Под ред. П. А. Леканта. М., 1982. С. 80—127; 2-е изд. М., 1988; 3-е изд., испр. и доп. М., 1996; 4-е изд. М. 1999; 5-е изд. М., 2001; 6-е изд. М., 2004.
- Касаткин 2003 — Л. Л. Касаткин. Фонетика современного русского литературного языка. М., 2003.
- Кейспер 1992 — C. E. Keijspers. Resent intonation research and its implications for teaching Russian // Studies in Russian Linguistics. [Studies in Slavic and General Linguistics. Vol. 17]. Amsterdam; Atlanta, GA, 1992.

Оде 1992 — С. Оде. Перцептивная эквивалентность реализаций типов интонационных конструкций Е. А. Брызгуновой // *Studies in Russian Linguistics. [Studies in Slavic and General Linguistics. Vol. 17]*. Amsterdam; Atlanta, GA, 1992.

Оде 1995 — С. Оде. Интонационная система русского языка в свете данных перцептивного анализа // Проблемы фонетики. II / Отв. ред. Л. Л. Касаткин. М., 1995. С. 200—215.

*Сесилия Оде (Амстердам)*

## ПО ПОВОДУ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПЕРЦЕПТИВНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ТОНАЛЬНЫХ АКЦЕНТОВ В РУССКОЙ РЕЧИ\*

Идеальным результатом развития интонологической теории явилось бы унифицированное и точное перечисление универсальных свойств интонации, которое было бы известно каждому исследователю в той же степени, в какой известны, например, сведения по морфологической типологии или транскрипции Международной фонетической ассоциации.

*T. M. Николаева [2000, 185]*

### *Введение*

**В**данной статье обсуждается анализ результатов эксперимента по определению перцептивной эквивалентности тональных акцентов в русской речи. Этот эксперимент проводился в 2002 г. в рамках проекта ToRI по разработке новой транскрипции русской интонации. ToRI (*Transcription of Russian Intonation*) — это транскрибированный корпус звучащих текстов в виде аудиовизуального, интерактивного, бесплатно доступного в Интернете курса по русской интонации. Курс будет состоять из описания и транскрипции форм и коммуникативных функций русской интонации на основе экспериментально-фонетического анализа. Формы и коммуникативные функции интонации будут выражены в однозначных символах (см. идеал, описанный в эпиграфе); каждый символ представляется реализацией одной формы и имеет непосредственные фонетические корреляты. Курс предназначен для лингвистов, преподавателей и студентов на продвинутом этапе, у которых имеются знания в области суперсегментной фонетики. Со всеми подробностями проекта ToRI и с проблематикой, которая лежит в его основе, можно ознакомиться в работах [Оде 2002; 2003; Odé 2003а, б]. Нужно отметить, что существующие транскрипции интонации разных языков (см. там же), в которых используется одна символика, разрабатывались на основе автосегментарного подхода. Будучи убежденным сторонником использования одной символики в транс-

крипции интонации, но не разделяя автосегментарного подхода, я надеюсь найти способ для использования символики, с которой теперь, кажется, мир интонологии так широко знаком.

В ToRI описание форм будет основано на классификации типов тональных акцентов, встречаемых в корпусе 15-минутной спонтанной и подготовленной речи (см. описание в [Odé 1989]). Работа над ToRI началась с проверки данных типов тональных акцентов из корпуса Оде (в дальнейшем *корпус 1*), реализации которых были сверены экспериментальным образом с реализацией тональных акцентов в новом корпусе, состоящем из дигитальных фрагментов речи, записанных на кафедре фонетики СПбГУ (в дальнейшем *корпус 2*). При этом я исходила из следующей позиции: если классификация типов тональных акцентов в корпусе 1 полностью покрывает типы тональных акцентов, встречающихся в корпусе 2, то эта классификация является исчерпывающим представлением форм русской интонации и ее можно непосредственно применить к описанию форм в ToRI. Тогда и любой корпус можно будет описывать с помощью данных типов тональных акцентов.

Классификацию Оде составляют 7 нисходящих типов тонального акцента: Fl-, Fl+, FnI-, FnI+, Fh-, F"+, f-/+ и 6 восходящих типов тонального акцента: Rh-, RI-, Rø-, Rm-/, rl-/, rm-/. Эти символы обозначают следующие признаки: F (Fall), R (Rise) — большое понижение, повышение; f (fall), r (rise) — маленькое понижение, повышение; h (high), l (low), m (middle) — высокий, низкий, средний постцентр; ø — нет постцентра; —, + — ранний, поздний тайминг (позиция в ударном слоге, где завершается движение тона); " — повторная реализация данного движения тона. Однако два акцента не были включены в эксперимент по причине их особого статуса: тип Rø— (нейтрализация типов RI- и Rh— при отсутствии постцентра) и F"+ (интонационная модель: повторная реализация акцента Fl+/FnI+); таким образом, осталось 11 типов акцента для проверки в эксперименте.

### *Описание эксперимента*

Эксперимент был построен для проверки классификации<sup>1</sup>. Сначала я сама сравнивала перцептивную эквивалентность реализаций одного типа тонального акцента в корпусе 1 с мелодически сходными реализациями в корпусе 2. Две реализации тонального акцента считаются перцептивно эквивалентными, когда одна реализация является удачной мелодической имитацией другой реализации. На основе данного понятия я предварительно классифицировала реализации тональных акцентов в корпусе 2 в типах тональных акцентов, встречающихся в корпусе 1. Эта предварительная классификация была проверена в эксперименте.

Стимулы подбирались следующим образом: для каждого входящего в 11 типов тонального акцента были выбраны 10 реализаций из корпуса 1 и 10 перцептивно эквивалентных по своей классификации реализаций из корпуса 2; итого 110 пар стимулов.

В эксперименте приняли участие двенадцать опытных испытуемых (лингвисты, в их числе и фонетисты), носителей русского языка, в задачу которых входило

прослушать эти 110 стимулов, поданных в парах — один стимул из корпуса 1 и один из корпуса 2, — и указать их перцептивную эквивалентность. Участники эксперимента получили подробную инструкцию по выполнению задачи, зная о том, что в эксперименте проверяется классификация типов тонального акцента. Понятие «перцептивная эквивалентность» было четко сформулировано: *два стимула перцептивно эквивалентны, когда один стимул вам представляется хорошей имитацией другого мелодически сходного стимула, несмотря на семантически различное содержание двух стимулов.* Последнее замечание о содержании высказывания мне показалось существенным, ведь проверялось мелодическое сходство реализаций типов тонального акцента, а не целых высказываний.

Испытуемые слушали 110 пар стимулов в произвольном порядке; каждую пару столько раз, сколько им было необходимо; перцептивная эквивалентность / неэквивалентность фиксировалась нажатием на компьютере соответственно кнопки «да» или «нет».

Я ожидала затруднений с парами стимулов, в которых две реализации типа тонального акцента находятся на крайней границе перцептивной допустимости, т. е. один стимул представляет слабый вариант данного типа, а другой — яркий вариант. И мои ожидания подтвердились: большинство участников оказались не в состоянии определить перцептивную эквивалентность, когда в одной паре наблюдались две крайние реализации.

Испытуемые называли четыре фактора, затрудняющие решение задачи, из которых первый — самый значительный:

- 1) неравное число тональных акцентов, когда в одном стимуле имеется два акцента, в другом — один или же в каждом стимуле имеется два типа акцента, один тип — одинаковый в двух стимулах, другой отличается;
- 2) неодинаковая коммуникативная функция (например, вопрос — незавершенность);
- 3) неравная длительность двух стимулов в одной паре;
- 4) тональные акценты реализованы на границе перцептивной допустимости (слабая — яркая реализация).

Поскольку перечисленные факторы являются главной темой статьи, я хотела бы после краткого описания результатов эксперимента подробнее объяснить и обсудить эти факторы на нескольких примерах.

### *Результаты*

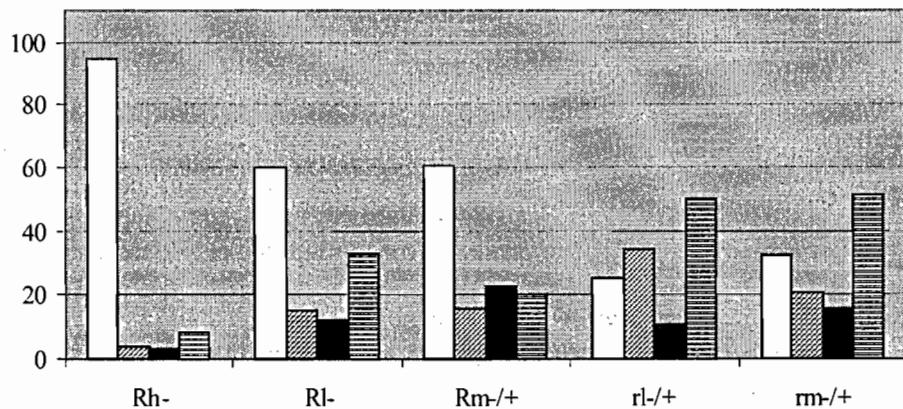
Из-за первой, самой серьезной проблемы из четырех вышеназванных результаты представлены в таблицах для «равных» и для «неравных» пар стимулов. При этом под «равной» парой понимается пара, в которой отсутствует первый фактор.

Внимательно прослушав и проанализировав все 110 пар стимулов, я обнаружила, что для шести типов нисходящих акцентов имеются 24 «равные» пары и 36 «неравных» пар, а для пяти типов восходящих акцентов — 29 «равных» пар и

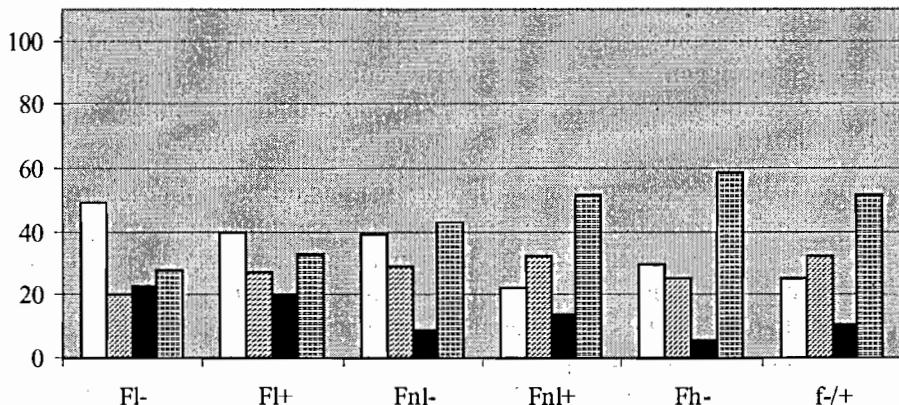
21 «неравная» пара. Поэтому в таблицах 1 и 2, в которых даются результаты для восходящих и нисходящих тональных акцентов, различаются «равные» и «неравные» пары.

Таблицы показывают более высокий процент положительных результатов для «равных» пар по сравнению с «неравными», особенно в случае восходящих тональных акцентов. Этот факт отражает затруднения, с которыми столкнулись испытуемые. И действительно, как показал тест  $\chi^2$ -квадрат, имеется значимая разница между результатами для «равных» и «неравных» пар. В соответствии с тестом  $\chi^2$ -квадрат нулевая гипотеза об идентичности распределений может быть отвергнута с высокой вероятностью:  $p < 0.007$  (см. [Odé 2003b]).

Результаты были проанализированы только для первого, главного из четырех вышеназванных, фактора: неравное число тональных акцентов в двух стимулах одной пары. Ожидается, что, если исключить остальные пары с другими названными факторами, результаты будут еще более убедительны в пользу перцептивной эквивалентности.



**Таблица 1.** Результаты для «равных» против «неравных» пар для восходящих тональных акцентов. Гистограммы показывают настоящие числа сходных / перцептивно-эквивалентных (п. э.) реализаций в «равных» (белый цвет) и «неравных» (диагональная штриховка) парах и несходных / перцептивно-неэквивалентных (п. не э.) реализаций в «равных» (черный цвет) и «неравных» парах (горизонтальная штриховка). На вертикальной оси — число пар (максимально 110); на горизонтальной оси — типы тонального акцента.



**Таблица 2.** Результаты для «равных» против «неравных» пар для нисходящих тональных акцентов. Гистограммы показывают настоящие числа сходных / перцептивно эквивалентных (п. э.) реализаций в «равных» (белый цвет) и «неравных» (диагональная штриховка) парах и несходных / перцептивно неэквивалентных (п. не э.) реализаций в «равных» (черный цвет) и «неравных» (горизонтальная штриховка) парах. На вертикальной оси — число пар (максимально 110); на горизонтальной оси — типы тонального акцента.

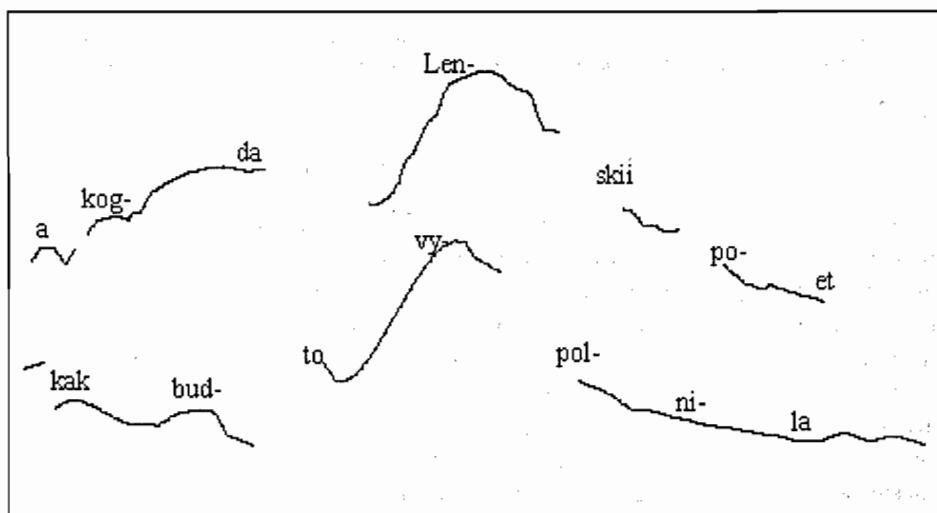
### Обсуждение результатов

Очевидно, испытуемые не были в состоянии сравнивать мелодическую форму акцента в двух стимулах, когда этот акцент выражает разные коммуникативные функции, например вопрос и завершенность. В инструкции, правда, было сказано, что содержание высказываний учитывать не нужно, но тем не менее большинство участников не сумело «отключить лингвистическое сознание». Здесь интересно заметить, что до проведения настоящего эксперимента я сделала пробный тест в нерусской аудитории в Амстердаме, чтобы проверить технику и правильность процедуры эксперимента в компьютере. Испытуемыми были два голландских музыканта и один фонетист, все трое не знающие русского языка. Первые три фактора, названных выше, им не мешали: они прекрасно поняли, какие акценты нужно было сравнить друг с другом в одной паре, даже при наличии одного акцента в одном стимуле и двух акцентов в другом. Однако реализации на границе перцептивной допустимости (четвертый фактор) и у них вызвали затруднения в решении задачи.

Ниже даются рисунки с примерами пар стимулов: сначала «равная» пара с максимально положительным результатом, затем четыре пары согласно четырем вышенназванным факторам и следовательно, с низким результатом в пользу перцептивной эквивалентности:

- пара со сходной мелодией и сходной коммуникативной функцией (рис. 1);
- пара с неравным числом тональных акцентов (рис. 2);
- пара со сходной мелодией, но с разной коммуникативной функцией (рис. 3);
- пара с неравной длительностью двух стимулов в одной паре (рис. 4);
- пара со сходной мелодией и сходной коммуникативной функцией, но реализации находятся на границе перцептивной допустимости (рис. 5).

Все рисунки сделаны с помощью программы для обработки речевого сигнала *Praat*<sup>2</sup>; частота основного тона представлена на шкале полутонов; градуировка не указана, так как для наглядности контуры нарисованы друг над другом. Примеры приводятся с реализациями одного типа тонального акцента (RI-), чтобы легче было сравнить реализации тонального акцента в двух стимулах, изображенных на рисунках. Фонетическая специфика типа акцента RI- следующая: большое, крутое (примерно 75 полутонов в секунду), восходящее движение тона с диапазоном от 13 до 21 полутона (R); в постцентре тон резко падает до самого низкого уровня говорящего (I) и с ранним таймингом (-), т. е. движение тона завершено близко к началу ударного гласного.



**Рис. 1.** Пара стимулов с одним типом тонального акцента (RI-) и с одинаковой коммуникативной функцией (контраст, незавершенность), в верхнем контуре в слове Ленский, а в нижнем — в слове выполнила. Данная пара для всех испытуемых перцептивно эквивалентна

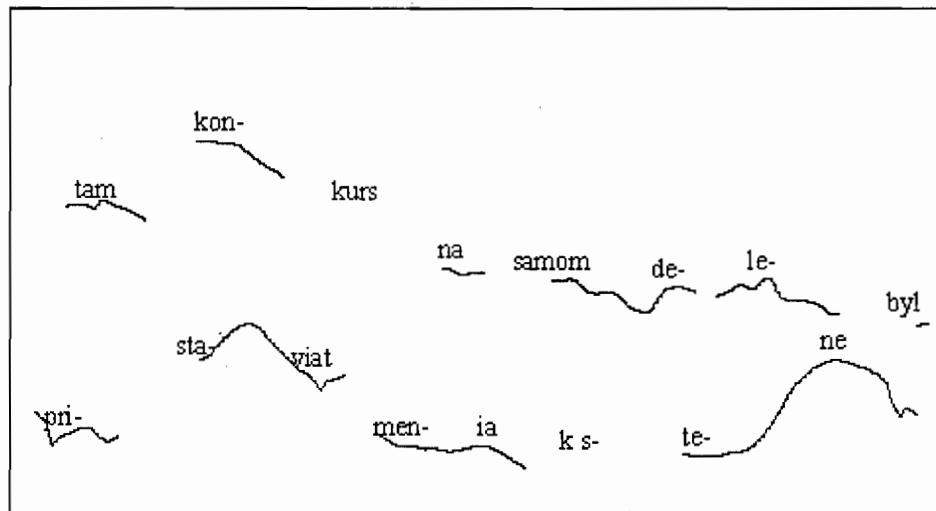


Рис. 2. Пара стимулов с неравным числом тональных акцентов. В верхнем контуре наблюдается один акцент (R1-) в слове *конкурс*, а в нижнем контуре — в словах *приставят* (R1-) и *стене* (R0-). Двое испытуемых указали перцептивную эквивалентность данной пары, остальные десять отвергли ее

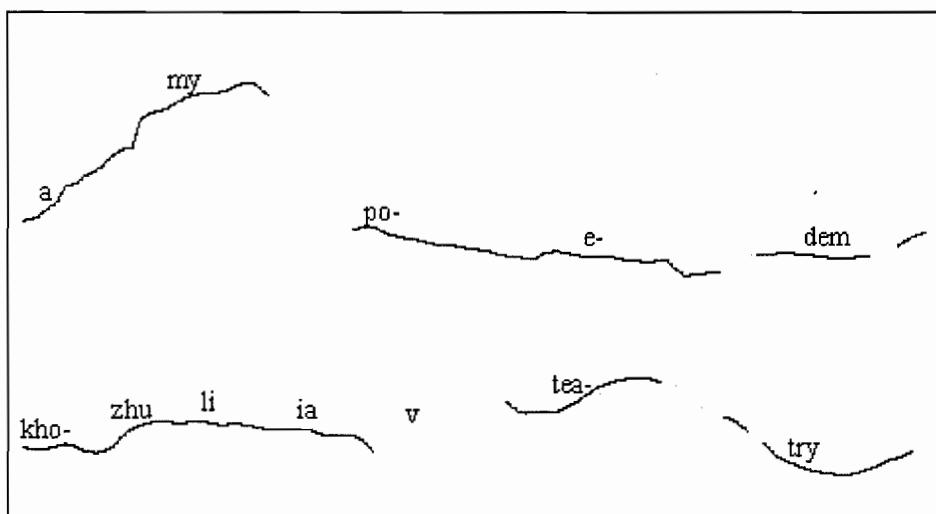
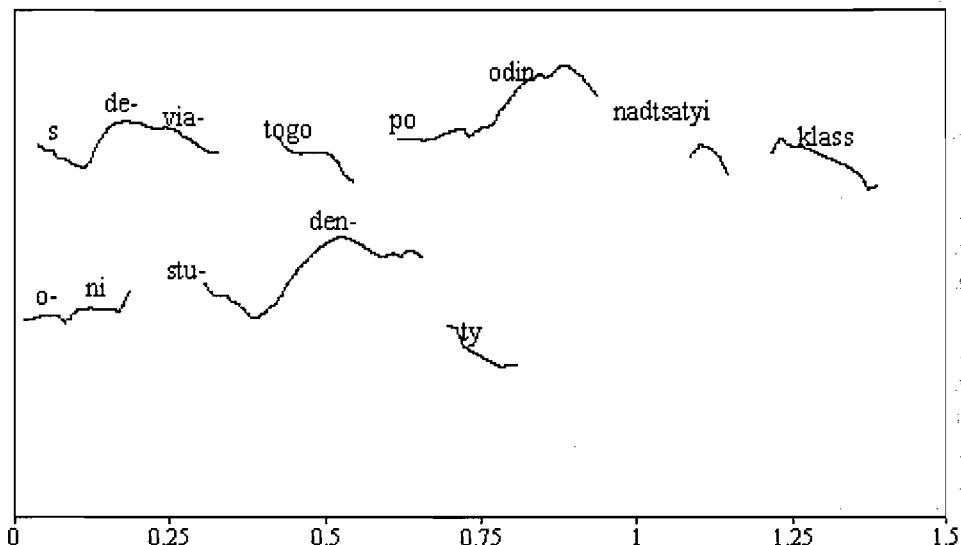
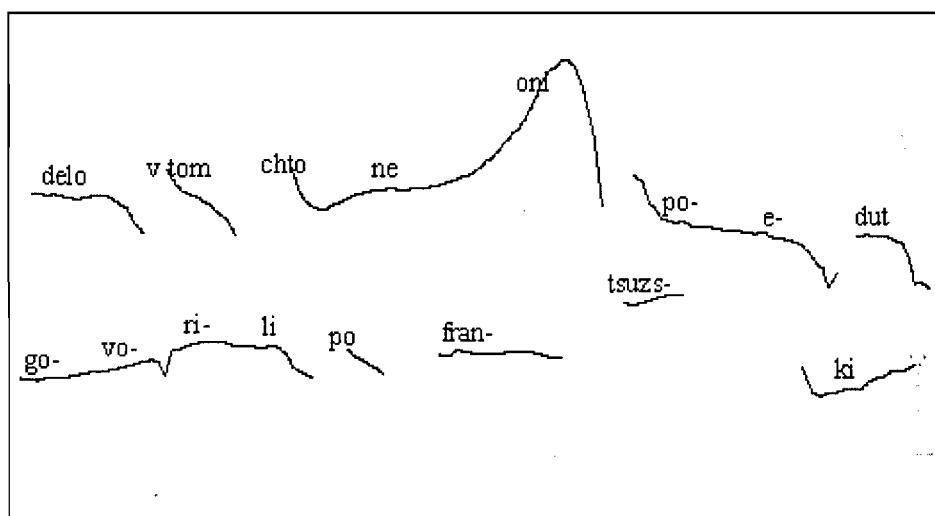


Рис. 3. Пара стимулов с одинаковым типом акцента (R1-), но с разной коммуникативной функцией: в верхнем контуре контраст в слове *мы*, а в нижнем — вопрос в слове *театры*. Четверо испытуемых указали перцептивную эквивалентность, восемь отвергли ее



**Рис. 4.** Пара стимулов с одинаковым типом тонального акцента (Rl-), но с разной длительностью: верхний контур в два раза длиннее нижнего. На горизонтальной шкале указано время в секундах. Здесь половина испытуемых указала перцептивную эквивалентность, другая половина ее отвергла



**Рис. 5.** Пара стимулов с одинаковым тональным акцентом (Rl-) в словах *они* (верхний контур) и *французски* (нижний контур), реализации которого находятся на границе перцептивной допустимости: верхний контур реализован ярко, нижний контур — слабо. Трое испытуемых указали перцептивную эквивалентность, девять отвергли ее

## Выводы

Результаты настоящего эксперимента показали, что в разработке однозначных символов для ToRI необходимо учитывать следующие факторы:

- в каждом примере (в каждом высказывании) должен присутствовать только один тональный акцент, одна коммуникативная функция;
- при выборе примеров типов тональных акцентов главный критерий должен быть яркой реализацией данного типа;
- при выборе примеров следует избегать крайностей: тональные акценты не должны быть реализованы близко к границам перцептивной допустимости данного типа.

## ПРИМЕЧАНИЯ

\* От всей души я поздравляю Татьяну Михайловну с юбилейным днем рождения и желаю ей счастья и вдохновения в личной и в творческой жизни! С большой благодарностью вспоминаю свои с ней беседы на темы от красоты до чепухи, в местах от глубокого леса в России до мансарды в Амстердаме, и искренне уважаю ее любопытство, строгость, требовательность и категоричность — характерные для Татьяны Михайловны качества, которые она любит сопровождать юмором и пониманием, бывает, и самоиронией.

<sup>1</sup> О ходе эксперимента и его результатах см. подробно в [Odé 2003b].

<sup>2</sup> Автор Paul Boersma, [www.fon.hum.uva.nl/praat](http://www.fon.hum.uva.nl/praat).

## ЛИТЕРАТУРА

- Николаева 2000 — Николаева Т. М. От звука к тексту. М., 2000.
- Оде 2002 — Odé C. Перспективы описания и транскрипции русской интонации в корпусах звучащих текстов // Проблемы и методы экспериментально-фонетических исследований: К 70-летию проф. А. В. Бондарко. СПб., 2002. С. 209—214.
- Оде 2003 — Odé C. Как преодолеть препятствия в изучении и преподавании интонации // Русское слово в мировой культуре: Пленарные заседания: Сб. докл. Т. 2. X Конгресс Междунар. ассоциации преподавателей рус. яз. и лит. СПб., 2003. С. 205—212.
- Odé 1989 — Odé Cecilia. Russian Intonation: A Perceptual Description. Rodopi; Amsterdam; Atlanta, 1989.
- Odé 2003a — Odé Cecilia. Description and Transcription of Russian Intonation (ToRI) // Dutch Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana / P. Houtzagers, J. Kalsbeek, J. Schaeken (eds). Rodopi; Amsterdam; N. Y., 2003. (Studies in Slavic and General Linguistics, 30). P. 279—288.
- Odé 2003b — Odé Cecilia. Developing a Transcription of Russian Intonation (ToRI) // Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences: Barcelona, August 3—9. 2003. P. 3097—3100.

*Димитр Попов (Шумен)*

## ФОНОСТИЛИСТИКА ОТВЕТНЫХ РЕПЛИК В РАЗГОВОРНОМ ДИСКУРСЕ (на материале болгарской речи)

### *1. Гипотеза*

**В**ариативность в языке и речи сигнализирует о возможных видах и способах просодического выражения в определенном дискурсе. Она свидетельствует также о разнообразии фоностилистических манифестаций и об отклонениях от определенной языковой нормы. По спектру варьирования элементов интонация всем многообразием своих реализаций претендует на получение примарного статуса среди вариативного инвентаря средств других уровней языка. Однако ее специфика варьирования долгое время являлась объективным препятствием для выделения дискретного характера единиц интонации.

Не учитывая трудности анализа выделения дискретных единиц интонации и субъективность разных методов исследования, теория о дискретном характере интоационных единиц находит все больше надежных сторонников (ср. [Pike 1945; Николаева 1968; 1969; Faure 1971; Брызгунова 1978; Торсуева 1979; Тилков 1981; Мишева 1991]). Одним из ярких защитников данной концепции еще с самого начала является юбиляр настоящего сборника Татьяна Михайловна Николаева.

Данная статья представляет собой, с одной стороны, попытку экспериментального подтверждения дискретного характера некоторых просодических явлений на материале болгарской спонтанной речи, а с другой — попытку выделить фоностилистические варианты просодии ответных реплик в дискурсе. Интерпретация примеров осуществлялась в терминах разных непосредственно релевантных аспектов (фонетический, стилистический и грамматический).

В современных лингвистических исследованиях отношения интонации и грамматики рассматриваются по-разному: Д. Болингер [Bolinger 1986] и Д. Гиббон [Gibbon 1987] понимают просодию и прежде всего интонацию как независимую от грамматики, автономную сигнализирующую систему; Дж. Феби [Pheby 1980] описывает формы и функции интонации в определенной зависимости от грамматических структур [Selling 1995, 18]. В этом смысле учет механизмов компенсации

при соотношении интонации и грамматики тоже имеет свое значение в данном исследовании.

Рассматривая разные гипотезы о соотношении интонации, надстроенной над высказыванием, и смысловым содержанием этого высказывания, Т. М. Николаева ссылается на данные русских интонологов последних лет (Н. Д. Светозарова, С. В. Кодзасов и др.), подтверждающие на материале русского языка гипотезу о принципиальной неоднородности текста высказываний по отношению к тому, насколько «плотно» ложится на них интонационная фигура [Николаева 1989, 8—9; 1996, 41—42]. На основании этого Т. М. Николаева выдвинула гипотезу о том, что существуют по крайней мере три типа высказываний, различающихся по тому, насколько нагружена семантически надстроенная над ними интонация, — высказывания повествовательные, высказывания вопросительные и реплики-ответы [Николаева 1989, 9; 1996, 41].

Объектом исследования данной статьи являются реплики-ответы дискурса, которые резко отличаются от остальных двух типов высказываний своей регулярной краткостью, с одной стороны, и максимально осуществляющей возможностью передавать на кратком сегментном пространстве целую гамму смыслов через интонационные вариации, с другой. Кроме того, мы хотели бы проверить высказанное Т. М. Николаевой предположение, что в высказываниях отмеченных типов по-разному выступают или не выступают на передний план коммуникации отдельные компоненты интонации. Это предположение базируется на наблюдении С. В. Кодзасова, который утверждает относительно русского языка, что в повествовательных структурах играют роль акцентные и временные структуры; в вопросительных типах — мелодика; в репликах-ответах существенны типы фонации. Реплики-ответы, по мнению Т. М. Николаевой, являются наиболее сложными и практически недоступными для анализа исследователям, не являющимся носителями изучаемого языка [Николаева 1989, 10; 1996, 42]. По этому поводу Т. М. Николаева выразила мнение о том, что заниматься анализом ответных реплик стоит лишь в сотрудничестве с лингвистом, совершенно владеющим языком анализа и способным правильно интерпретировать просодические модификации<sup>1</sup>.

Решение поставленной нами задачи связано также с проблемой соотношения семантики интонации высказывания и семантики частиц, рассматриваемого в аспекте лингвистической pragmatики. При этом нужно определить вклад, который вносит «скрытая семантика» частицы в план содержания высказывания.

## *2. Планирование эксперимента*

Цель данного эксперимента предполагала предварительный этап отбора материала: были изолированы определенные речевые отрезки в контексте. Таким образом получились следующие бинарные речевые последовательности реплик-вопросов и реплик-ответов болгарского разговорного дискурса:

- (1)      В: Така ли да го напиша?  
           О: Амми, е така.

- (2)      В: Да го напиша ли така?  
           O<sub>2</sub>; Амми-и, е така?
- (3)      В: Дали пък да не го напиша така?  
           O<sub>3</sub>; Амми-и, е така?!
- (4)      В: Как да го напиша?  
           O<sub>4</sub>; Ами-и-и, е така.
- (5)      В: Така ли да го напиша?  
           O<sub>5</sub>; Ами е така.
- (6)      В: Защо питаш?  
           O<sub>6</sub>; Ами-и, е така.
- (7)      В: Ама, така ли да го напиша?  
           O<sub>7</sub>; Ами-и, е така.
- (8)      В: Защо питаш?  
           O<sub>8</sub>; Аа-ми, е така.
- (9)      В: Да го напиша ли така?  
           O<sub>9</sub>; Аамми, е така.
- (10)     В: Е защо?  
           O<sub>10</sub>; <sup>b</sup>Ами-и е така.

Второй компонент данных последовательностей является настоящим объектом исследований, в то время как первый компонент (вопрос) выполняет только функцию информационного стимула для второго диктора и выполняет для него также роль естественного речевого контекста (пресуппозиции для адресата). Выбранные нами пары ответных реплик спонтанного дискурса были записаны в Лаборатории прикладной лингвистики Шуменского университета (Болгария) с помощью двух дикторов (мужской голос для вопросов и женский голос для ответных реплик) с применением метода речевой имитации.

### 3. Процедура эксперимента

На начальном этапе эксперимента наша цель была распознать на слух смысл предъявленных омонимичных фраз вне контекста. Задача эксперимента предполагала, на основе ощущения возможностей интонационной дифференциации реплик-ответов, имеющих идентичную лексико-синтаксическую структуру, выделить семантические темы полученных 10 омонимических вариантов фразы *Ами е така*, выполняющих роль ответных реплик разговорного дискурса. Во фразах отсутствовала лексико-синтаксическая подсказка, они распознавались аудиторами только по интонации.

Участниками аудиторского эксперимента являлись студенты нефилологических специальностей и преподаватели (эксперты) филологического факультета Шуменского университета.

Для того чтобы выяснить роль интонации в различении 10 омонимических фраз, исследуемые ответные реплики были специально подвергнуты аудиторско-

му анализу вне контекста. Для этого все реализации ответных реплик, полученные в ходе дикторского произнесения (женский голос), были вырезаны из контекста и переписаны на отдельную магнитную ленту. В таком виде они потом были предъявлены аудиторам для прослушивания. Была выработана специальная для осуществления данной цели методика исследования перцепции (см. [Попов 1991]). Задача аудиторов заключалась в распознавании семантом прослушанных фраз в изолированном виде, вне естественного контекста.

Исследователь предполагал выяснить принципиально следующий вопрос: играет ли интонация при различении омонимических высказываний компенсаторную роль для восприятия оттенков значения. Для решения данного вопроса было очень важно, чтобы слушатели опирались не на контекст высказывания, а только на собственное восприятие в качестве неподготовленных слушателей, для которых болгарский язык является родным. Вместе с этим выбранные для анализа фразы не имели никаких лексико-сintаксических компонентов, которые могли бы подсказывать смысл фразы.

На следующем этапе эксперимента аудиторский анализ был комбинирован с инструментальным анализом в связи с нашей презумпцией, что перцептивные интерпретации визуализируются и уточняются в ходе акустического представления. Поэтому выбранные речевые сигналы, которые функционировали для слушателей как стимулы для осуществления аудиторского эксперимента, были проанализированы автором с экспериментально-фонетической точки зрения (с использованием компьютерной программы «Speech Analyzer», версия 1.5).

Полученные таким образом 10 слуховых образов экспериментальных фраз были представлены в виде осцилограммы, интонограммы и сонограммы (см. Приложение). Посредством комбинации обоих методов мы попытались, с одной стороны, дать объективное представление как о восприятии и распознавании конкретных слуховых образов, так и об их возможных дифференциации и локализации в перцептивном пространстве. С другой стороны, было необходимо соотнести это представление с реальными, объективными звуковыми изображениями наблюдаемых просодических вариантов ответных реплик разговорного дискурса.

#### 4. Результаты

Результаты аудиторского эксперимента свидетельствуют о том, что аудиторы легко идентифицируют смысл 10 отдельных фраз, имеющих идентичную лексико-сintаксическую структуру и не имеющих эксплицитной подсказки смысла вне контекста, только на основании их интонационной огласовки. Кроме сигнализируемой информации о семантике высказывания аудиторские тесты содержат также информацию о качестве голоса (фонационный тип), об отношении говорящего и о его маркированном регистре. Соотношение всех исследуемых нами (путем аудиторского восприятия) параметров, характеризующих 10 омонимических фраз *Ами е така*, можно представить в виде следующей таблицы<sup>2</sup>:

№ фразы	Семантича фразы	Фонационный тип	Отношение говорящего (+) : (-)	Регистр
1. <i>Ами е така</i>	отрицание + указание	NPR	презрение (-)	
2. <i>Ами е така</i>	удивление + сюрприз	NPR + SKR	насмешка (-)	высокий
3. <i>Ами е така</i>	удивление + сомнение (дубитатив)	RSL		
4. <i>Ами е така</i>	неуверенность + колебание	RSL + PDH*	сочувствие (+)	
5. <i>Ами е така</i>	самоочевидность + самоуверенность	NPR + SKR	презрение (-)	
6. <i>Ами е така</i>	неуверенность + неопределенность	RSL + PDH	сочувствие (+)	
7. <i>Ами е така</i>	решительность + отклонение	NPR + SKR	презрение (-)	
8. <i>Ами е така</i>	несогласие + отрицание	NEU	доброжелательность (+)	
9. <i>Ами е така</i>	категоричность + отрицание	PDH	презрение (-)	
10. <i>Ами е така</i>	ирония + насмешка	NPR + SKR + PDH*	насмешка (-)	

Взаимодействие всех выявленных интегральных компонентов создает комплексное впечатление о конкретном явном или «скрытом» (подразумеваемом) смысле каждой отдельной фразы и соответствующее ему в плане выражения лингвальное поведение говорящего.

На основании полученных результатов можно утверждать, что выделенные ответные реплики дискурса, имеющие идентичную лексико-синтаксическую структуру, обладают максимально осуществляющей возможностью передавать на кратком сегментном пространстве целую гамму смыслов через интонационные вариации, а также «излучать» тонкие фонационные коннотации, характеризующие «качество голоса» говорящего. Кроме того, они свидетельствуют о положительном или отрицательном отношении говорящего к предмету речи или к собеседнику, а также о его эмоциональном состоянии, выраженном маркированными регистровыми изменениями мелодики. Таким образом, на материале ответных реплик болгарского разговорного дискурса мы подтверждаем гипотезу, высказанную Т. М. Николаевой (см. выше).

Установленные 10 разных огласовок фразы *Ами е така* (каждая в 3 акустических представлениях — см. Приложение) иллюстрируют просодическую вариативность реплик-ответов.

Результаты подчеркивают особую роль просодических средств для идентификации смысла фраз с максимально редуцированным лексико-грамматическим содержанием. В этой связи внимание концентрируется на компенсаторной роли

интонации. Это означает, что интонация реплик-ответов способствует передаче тех потенциальных значений, которые обычно выражаются в более длинных высказываниях с помощью лексико-грамматических средств. В основном при выражении смыслового наполнения наблюдаемой фразы принимали участие два взаимодействующих друг с другом элемента:

- (1) интонация как основное средство для экспликации смысла фразы;
- (2) модальная частица *АМИ* как иллоктивный индикатор, накладывающий дополнительный, тонкий, уточняющий смысл нюанс.

На базе взаимодействия этих двух средств оформлялась конкретная семантиза каждой отдельной фразы.

Экспериментальные результаты, полученные путем интеграции различных методов исследования, подтверждают реальное существование 10 просодических феноменов с идентичной фразовой структурой, т. е. существование 10 просодических вариантов интонемы.

Для целей описания данного эксперимента нужно было выбрать надежную единицу анализа. Мы считаем, что в качестве такой единицы, отражающей «сферу действия» интонации, целесообразно использовать «интонему». Интонема здесь рассматривается как пучок просодических признаков (значений), реализующихся на синтагматической оси, как группа различительных признаков интонации, в которой реализуется один элемент из парадигмы каждого акустического параметра (одна хронема, одна мелодема, одна акцентема) [Николаева 1977, 18—21]. Таким образом, с помощью интонемы передается статус смысловой единицы интонации. В ответах на анкету «Об основах теории интонации» Т. М. Николаева предлагает пользоваться теперь термином «интонационная модель» [Николаева 1995, 190]. В нашем понимании синонимичным обоим терминам является термин «просодема».

Различные наименования единиц системы (интонационный контур, интонационная конструкция, интонема) в понимании Н. Д. Светозаровой почти синонимичны, они отражают разные аспекты интонационных единиц. Термин «интонема», изоморфный другим эмическим терминам, отражает обобщенный, абстрактный характер интонационных единиц, противопоставляя их вариантам [Светозарова 1995, 194]. В этом смысле интонема получает инвариантный статус.

Потенциальные комбинации смысловых вариантов в разговорном дискурсе чрезвычайно многообразны, чему соответствует многообразие просодических комбинаций. К предложенной трактовке содержательной стороны интонационного уровня причисляются и факты системы несобственно языковых отношений, например отношения сомнения, удивления, недоверия и т. п., которые стилистически дополнительно нюансируют факты внутриязыковой семантики.

## 5. Просодическое описание

Дальше в нашем исследовании мы рассматриваем представление не всех возможных интонационных реализаций, а только реально зарегистрированных фоно-

стилистических вариантов интонемы ответной реплики *Ами е така*. Изображая интонационные реализации высказываний, мы не ограничиваемся лишь иллоктивным (собственно ответом в узком смысле слова) компонентом интонации, но анализируем и другие компоненты. Это позволяет дать полную интонационную характеристику рассматриваемых высказываний и указать интонационные варианты наблюдаемой ответной реплики.

В нашем описании предполагалось решение трех задач: 1) установить инвентарь просодических средств; 2) выбрать словесные ярлыки для обнаруженных единиц; 3) выбрать графические средства для их транскрибирования. При регистрации просодических явлений использовались иконические знаки, отражающие перцептуальные характеристики (на основании результатов по восприятию) и акустические характеристики (см. осцилограммы, интонограммы и сонограммы в Приложении) исследуемых единиц. Анализ каждой отдельной реплики отражал соотнесение особенностей рассматриваемого стимула как в плане содержания, так и в плане выражения.

При акустическом анализе тональных особенностей речевых сигналов, реализуемых на осцилограммах, интонограммах и сонограммах, учитывались: 1) мелодические диапазоны (разница между высшей и низшей точками ЧОТ); 2) интервалы (соотношение между этими точками в музыкальных терминах октав); 3) пики; 4) степень крутизны повышения и понижения тона; 5) направление движения ЧОТ (вверх, вниз, ровное); 6) уровни (ярусы) реализации ЧОТ.

Интонация описывается в нашей системе тремя компонентами: уровнем базового тона, скользящими (контурными) тонами и акцентами. Описание интонационных средств проводится по методологии просодического транскрибирования С. В. Кодзасова (см. об этом подробнее [Кодзасов 1989]).

Учитывая все вышеизложенные результаты перцептивных и виртуальных реализаций реплик-ответов с модальной частицей *АМИ*, мы попытались в виде транскрипции изобразить 10 разных вариантных огласовок фраз. Таким образом, были обнаружены следующие семантико-просодические особенности:

(O<sub>1</sub>)      Амми, е така (NPR).  
                 эмi (↖) etəka (↖) (NPR)  
                 модель: [ ð / ð ]

Повтор нисходящих акцентов. Этот повтор состоит в дублировании двух или более нисходящих акцентов на протяжении высказывания. Акцентный повтор используется для выражения *отрицания + указания способа правильности совершения действия*. С помощью акцентного повтора подчеркивается *настойчивость* сообщения. *Напряженный голос* (фонация напряженности) маркирует выраженное в отношении говорящего *презрение*.

(O<sub>2</sub>)      Амми- и, е така (NPR + SKR)?  
                 ammi: (↖ ↖) e təka (↗) (NPR + SKR)  
                 модель: [ ð / ð ]

Тональные импульсы конечного гласного модальной частицы имеют увеличенные интервалы. В этом случае в записи используется удвоение знака акцента. Это удвоение интервала тонального изменения на однословной составляющей принято называть тональной эмфазой.

Такое удвоение акцента используется обычно как фигура *удивления + сюрприз*. Данная фигура реализована на высоком маркированном регистре, при этом *намека* в отношении говорящего выражена сочетанием маркированных фонационных характеристик: *напряженный + скрипучий* голос.

Высокий маркированный регистр представляет информацию как контрастивную. Фигура удивления, сюрприза выражена с помощью адмиративной интонации. Реализация данной фигуры на высоком маркированном уровне зарегистрирована на материале высказываний русского [Кодзасов 1979] и английского (в устном сообщении проф. П. Роуча во время его лекции в Софийском университете в апреле 1991 г.). Просодическая реализация данной фигуры, наверное, является интонационной универсалией.

	\ /
(O <sub>3</sub> )	Амми-и, е така (RSL)?!
	ammi: (↘) etəka: (↗) (RSL)
	модель: [ δ / ó ]

Нисходящий акцент (нисходящий скользящий тон на ударном гласном) на модальной частице и восходящий акцент на фразе. Выраженное *удивление + сомнение* маркировано дубитативной интонацией *расслабленного* голоса. В данной фразе ощущается маркированность по растянутости.

(O <sub>4</sub> )	Ами-и-и, е така (RSL + PDH*).
	amti: (→) etəka (↑ →) (RSL + PDH*)

модель: [ o' / ↑o' ]

Повтор положительных акцентов. Семантича фразы — *не уверенность + колебание*. *Придыхательная* фонация на модальной частице и *расслабленный* голос, маркирующий *сочувствие* говорящего.

	↗ ↘
(O <sub>5</sub> )	Ами е така (NPR + SKR).
	əmietka (↗ ↘) (NPR + SKR)
	модель: [ o ↗ ↘ ]

Восходяще-нисходящий акцент. Восходящий тон в низком диапазоне (ему предшествует понижение с базового уровня на модальной частице). Большая громкость на «е» указывает на значение *самоочевидности + самоуверенности*. Следует заканчивающий фразу нисходящий конец на средне-высоком уровне. Повышенная громкость (и тон) характеризует выражение со значением высокой степени *самоуверенности* говорящего. Сочетание *напряженной* и *скрипучей* фонации маркирует презрение.

(O<sub>6</sub>) Ами-и, е така (RSL + PDH).  
 эми: (→) etka (↑ ↘) (RSL + PDH)  
 модель: [ o' / ↑o ↘ ]

Положительный акцент на модальной частице + композиция положительного и нисходящего акцента. Высокий несущий ровный тон, маркирующий *неуверенность* и *неопределенность*. Сочетание *расслабленной* и *придыхательной* фонации способствует выражению *сочувствия*.

(O<sub>7</sub>) Ами-и, е така (NPR + SKP).  
 эми: (→) etka (→) (NPR + SKP)  
 модель: [ o' / o' ]

Низкий несущий ровный тон и положительный акцент на модальной частице + положительный акцент на фразе. Маркирует *решительность* + *отклонение*. Сочетание *напряженной* и *скрипучей* фонации способствует выражению *презрения*.

(O<sub>8</sub>) Аа-ми, е така (NEU).  
 а:(↘)mi (→) etka (↗) (NEU)  
 модель: [ ð' / o ↗ ]

Композиция нисходящего и положительного акцента на модальной частице + восходящий акцент на фразе. Способствует выражению *несогласия* + *отрицания* и *доброжелательности* в отношении говорящего.

(O<sub>9</sub>) Аамми, е така (PDH).  
 ammi (→) etka; (↘) (PDH)  
 модель: [ o' / o ↘ ]

Сочетание положительного и нисходящего акцента. Здесь значима *придыхательная* фонация, которая маркирует *категоричность* отрицания и *презрение* говорящего.

(O<sub>10</sub>) <sup>↘ ↗</sup> Ами-и е така (PDH\* + NPR + SKP).  
<sup>h</sup>эми: etka (↘ ↗) (PDH\* + NPR + SKP)  
 модель: [ <sup>h</sup>o ↘ ↗ ]

Нисходяще-восходящий акцент. Появление гортанного и фарингального щелевого согласного, тесно примыкающего к акцентированному гласному в начале слова; *аспированность* (обозначающая фрикацию голоса) сочетается с *придыхательной* фонацией модальной частицы. *Ироническое противопоставление* и *отношение насмешки* маркируется сочетанием трех фонационных значений — *придыхательности* + *напряженности* + *скрипучести*.

## 6. Комментарий

При изучении интонации ответных реплик в разговорном дискурсе фонологический подход является необходимым для выделения интонационных единиц (интонем) и их различительных признаков, а также для определения инвентаря просодических средств и их функциональной нагрузки. Когда речь идет об обсуждении интонационных вариантов, следует подчеркнуть, что фонологический критерий не должен быть единственным основанием отбора интонационных моделей, потому что каждый язык располагает еще целым рядом своеобразных правил реализации фонологических единиц. Именно из этих правил складывается понятие *нормы языка*.

При выделении вариативности интонационных явлений необходимо учитывать соотношение интонационных и лексико-грамматических средств (в этом плане и роль модальных частиц) при выражении значений реплик дискурса; необходимо иметь в виду стилистическую обусловленность коммуникативной установки и актуального членения, эмоциональные значения и индивидуальные особенности говорящего.

По мнению И. Г. Торсуевой, вариативность интонации не может являться препятствием для вычленения ее единиц, напротив, именно анализ вариантов может служить отправной точкой в создании общей теории интонации. Решение проблемы соотношения единиц и вариантов интонации лежит в определении соотношения системы и нормы в языке. Единицы в системе связаны отношением различия, противопоставления [Торсуева 1979, 69]. В этом смысле при интерпретации понятия нормы различаются два аспекта:

- 1) норма объективная, обусловленная системой языка и являющая собой область комбинаторных вариантов;
- 2) норма социальная, обусловленная процессом и условиями общения и представляющая собой реальную область существования свободных вариантов. При описании единиц системы указываются исключительно дифференциальные признаки. В аспекте нормы учитываются прежде всего интегральные признаки, т. е., по существу, дается перечень комбинаторных или контекстуальных вариантов. Свободные интонационные варианты следует поместить на уровне речи.

Результаты нашего эксперимента убедительно доказывают, что именно свободные или факультативные варианты интонемы осознаются как существенные для распознавания продуктов речи.

Чтобы интонема выполняла функцию фоностилистического варианта, она должна удовлетворять следующим условиям:

- (1) иметь функцию свободного варианта;
- (2) не выполнять функцию комбинаторного варианта;
- (3) «скрытый» смысл интонемы должен быть коннотативно нюансирован намерением говорящего, его отношением и его эмоциями;

- (4) должна функционировать в сфере социальной нормы;
- (5) не подчиняться закономерностям объективной нормы.

Область изучения свободных вариантов обычно относят к фоностилистике. По мнению П.-Р. Леона и Ф. Мартена, всякое изменение интонации, касающееся идентификации говорящего, его намерений, его эмоций, относится к фоностилистике [Léon, Martin 1969, 64].

Основываясь на концепции В. В. Виноградова, К. К. Барышникова утверждает, что фоностилистические функции выполняются вариантами соответствующих единиц [Baryšnikova 1973].

Из сказанного следует, что изучаемые нами варианты относятся к сфере социальной нормы, к ее дифференциации в области функционирования речи, так как социальная норма представляет собой область свободных вариантов. Однако говорящий выбирает из возможного числа вариантов те, которые продиктованы социальными параметрами общения с учетом определенной коммуникативной цели. На материале примеров эксперимента была продемонстрирована реализация свободных вариантов единицы интонации, которые в ходе перцептивного анализа адекватно воспринимались и идентифицировались аудиторами. Таким образом, путем перцептивной апробации болгарского материала подтверждается высказанный П.-Р. Леоном тезис о том, что фоностилистический код состоит из конечного числа дискретных единиц, фоностилем, которые могли бы дальше быть организованы в четко структурированную систему [Léon 1971, 9].

Выделяя фоностилистические варианты просодем ответных реплик в дискурсе, мы экспериментально подтверждаем мнение защитников концепции о дискретном характере интонации. Таким образом, выбранный нами исследовательский подход может быть охарактеризован как переход от фонетического описания языка к фонологическому описанию речи (ср. [Бондарко 1981]).

Кроме того, в данной статье получает экспериментально-фонетическое подтверждение вторая часть аксиоматического *«принципа замены»*, сформулированного А. М. Пешковским, согласно которому чем яснее выражено какое-либо синтаксическое значение чисто грамматическими средствами, тем слабее может быть его интонационное выражение (вплоть до полного исчезновения), и наоборот, чем сильнее интонационное выражение, тем слабее может быть грамматическое (тоже вплоть до полного исчезновения) [Пешковский 1928, 463].

В заключение необходимо отметить, что результаты данного исследования в целом можно рассматривать как первую попытку становления болгарской фоностилистики на супрасегментном уровне в качестве автономной области лингвистической науки.

## ПРИМЕЧАНИЯ

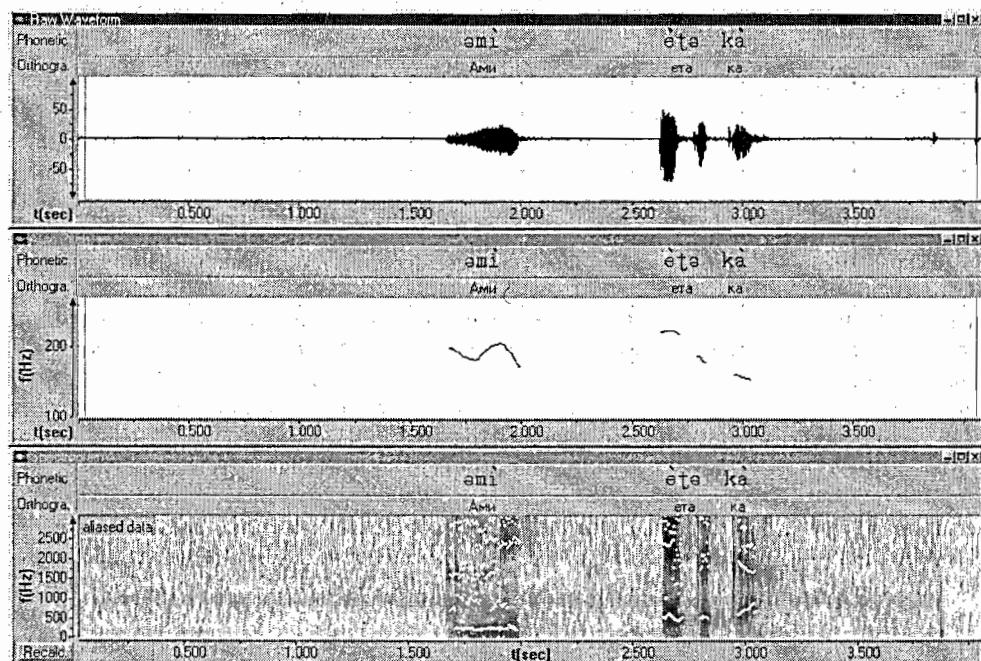
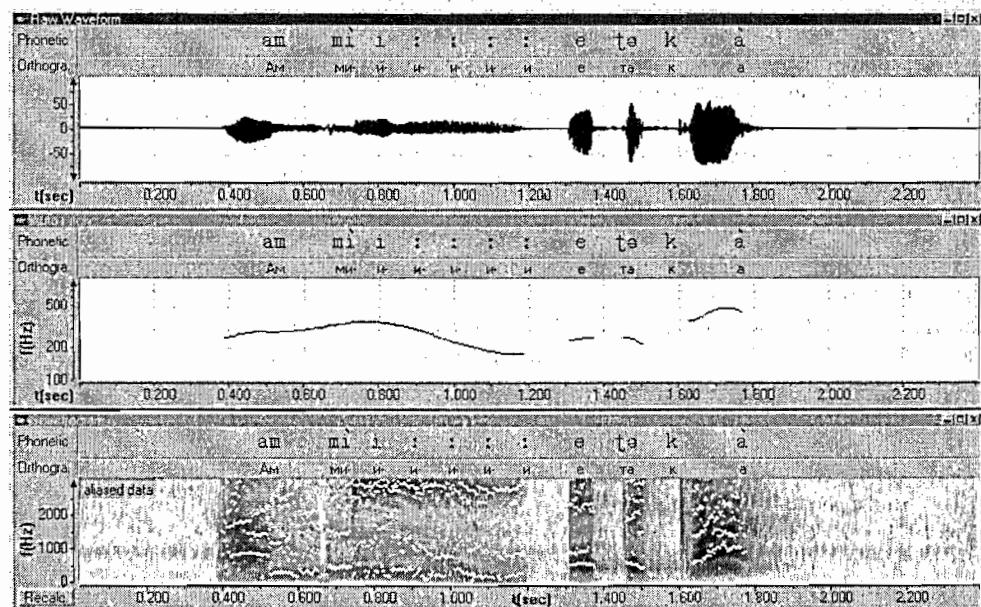
<sup>1</sup> В 1991 г. автор данной статьи имел возможность, будучи тогда аспирантом Т. М. Николаевой, заниматься просодией болгарской речи, а сегодня продолжает исследования в фоностилистическом аспекте.

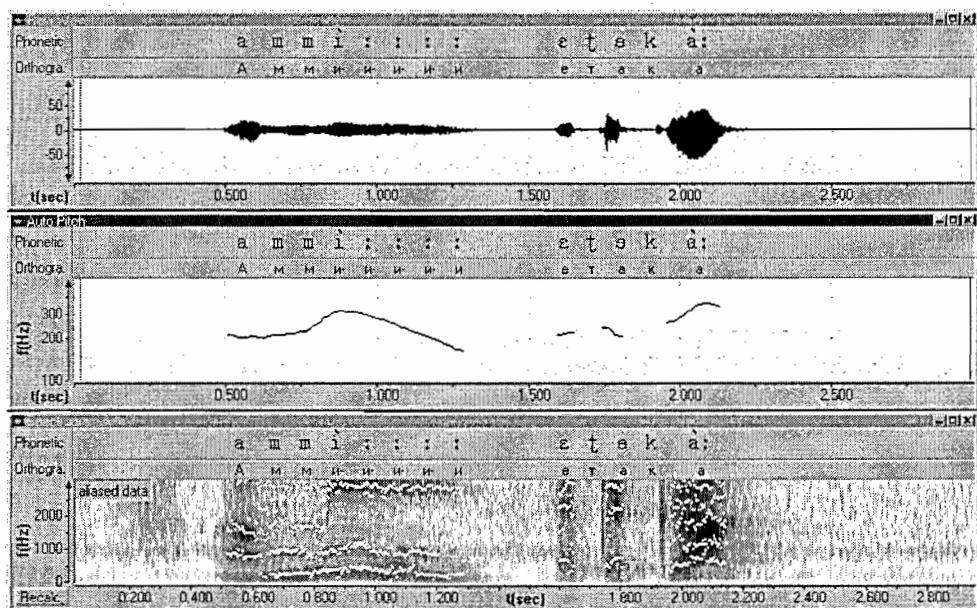
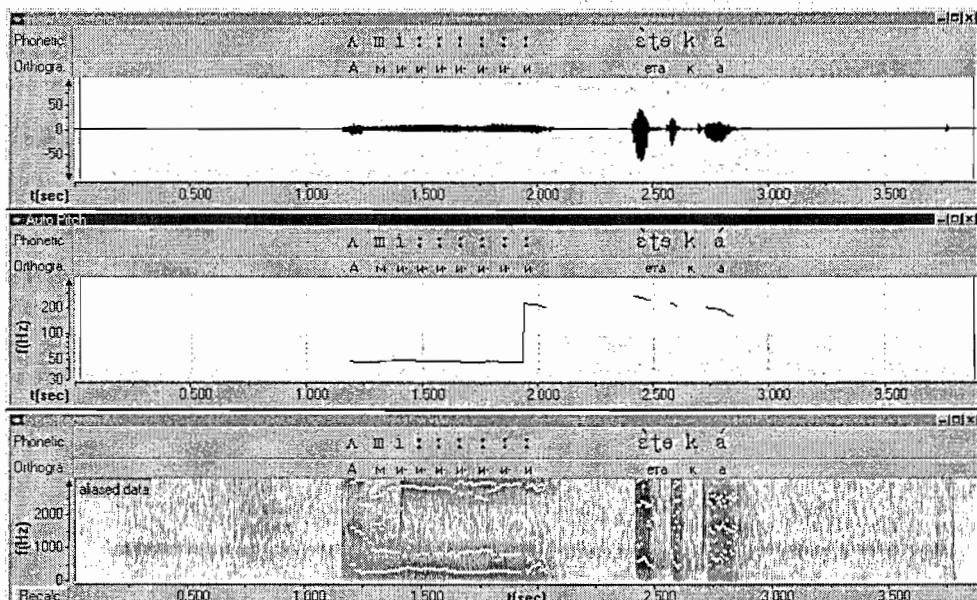
<sup>2</sup> В таблице используются следующие знаки: NPR — напряженный голос; SKR — скрипучий голос; NEU — нейтральный голос; PDH — приыхательный голос; RSL — расслабленный голос; \* — звездочка над фонационной характеристикой обозначает фонационную маркированность модальной частицы *Aми*; (+) и (–) сигнализируют положительную и отрицательную оценку в отношении говорящего.

## ЛИТЕРАТУРА

- Бондарко 1981 — *Л. В. Бондарко*. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. Л., 1981.
- Брызгунова 1978 — *Е. А. Брызгунова*. Фонологический метод в интонации // Интонация. К., 1978.
- Кодзасов 1989 — *С. В. Кодзасов*. Проект просодической транскрипции для русского языка // Бюллетень фонетического фонда русского языка. № 2. Февраль 1989. Бохум, 1989.
- Мишева 1991 — *А. Мишева*. Интонационна система на българския език. София, 1991.
- Николаева 1968 — *Т. М. Николаева*. О соотношении сегментных указателей и суперсегментных языковых средств // Вопр. языкоznания. 1968. № 6.
- Николаева 1969 — *Т. М. Николаева*. Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969.
- Николаева 1977 — *Т. М. Николаева*. Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
- Николаева 1989 — *Т. М. Николаева*. Три типа высказываний и иерархия интонационной нагрузженности // Бюллетень фонетического фонда русского языка. № 2. Февраль 1989. Бохум, 1989.
- Николаева 1995 — *Т. М. Николаева*. Ответы на анкету «Об основах теории интонации» // Проблемы фонетики. Вып. II / Отв. ред. Л. Л. Касаткин. М., 1995.
- Николаева 1996 — *Т. М. Николаева*. Просодия Балкан. Слово — высказывание — текст. М., 1996.
- Пешковский 1928 — *А. М. Пешковский*. Интонация и грамматика // Изв. ОРЯС. Ч. 1, кн. 2.
- Попов 1991 — *Д. Д. Попов*. Лексико-синтаксическая структура и интонационная оформленность реплик-ответов в болгарской спонтанной речи: (Лингвистико- pragmaticический аспект). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1991.
- Светозарова 1995 — *Н. Д. Светозарова*. Ответы на анкету «Об основах теории интонации» // Проблемы фонетики. Вып. II / Отв. ред. Л. Л. Касаткин. М., 1995.
- Тилков 1981 — *Д. Тилков*. Интонацията в българския език. София, 1981.
- Торсуева 1979 — *И. Г. Торсуева*. Интонация и смысл высказывания. М., 1979.
- Baryšnikova 1973 — *K. K. Baryšnikova*. Aspect linguistique des recherches phonostylistiques // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1973. Bd. 26. H. 3—4.
- Bolinger 1986 — *D. Bolinger*. Intonation and its parts. Stanford, 1986.
- Faure 1971 — *G. Faure*. La description phonologique des systèmes prosodiques // Zeitschrift für Phonetik. 1971. Bd. 24. H. 5.
- Gibbon 1987 — *D. Gibbon*. Intonation and discourse // Petöfi, János S. (ed.): Text and discourse constitution: empirical aspects, theoretical approaches. Berlin etc., 1987.
- Léon, Martin 1969 — *P.-R. Léon, Ph. Martin*. Prolégomènes à l'étude des structures intonatives // Studia phonetica. 1969. V. 2.
- Léon 1971 — *P.-R. Léon*. Essais de phonostylistique // Studia phonetica. 1971. V. 4.
- Pheby 1980 — *J. Pheby*. Intonation und Grammatik im Deutschen. Berlin, 1980.
- Pike 1945 — *K. L. Pike*. The Intonation of American English. Ann Arbor, 1945.
- Selting 1995 — *M. Selting*. Prosodie im Gespräch. Aspekte einer interaktionalen Phonologie der Konversation. Tübingen (Linguistische Arbeiten 329), 1995.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Первый просодический вариант фразы *Ами, е тaka*Рис. 2. Второй просодический вариант фразы *Ами, е тaka?*

Рис. 3. Третий просодический вариант фразы *Ами, е така??!*Рис. 4. Четвертый просодический вариант фразы *Ами, е така!.*

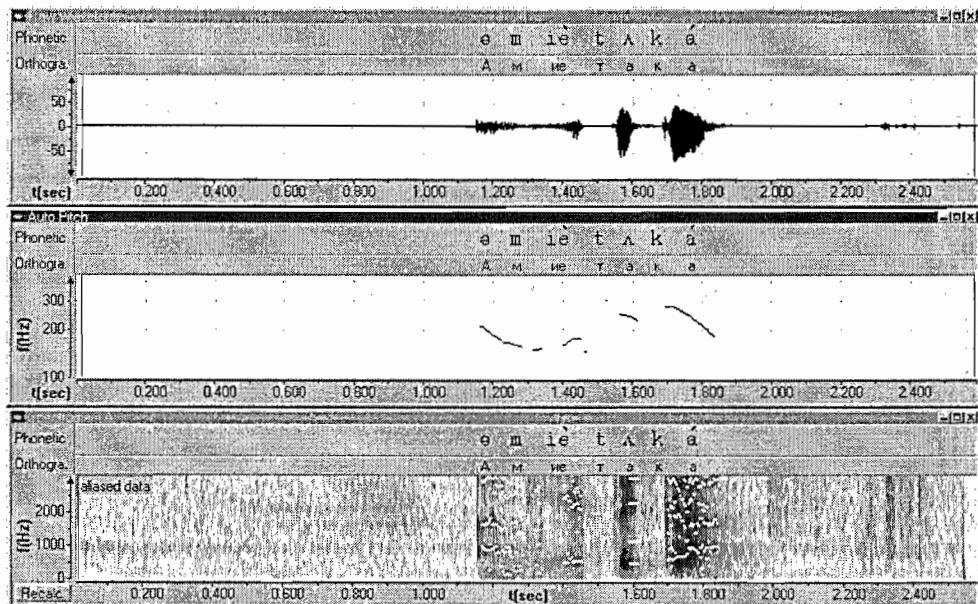


Рис. 5. Пятый просодический вариант фразы *Ами, е така*.

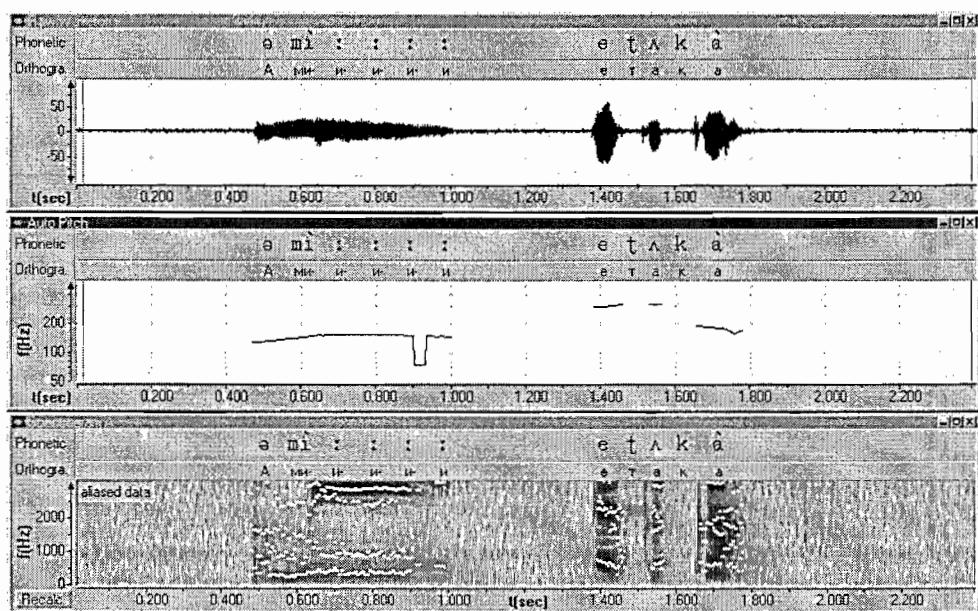
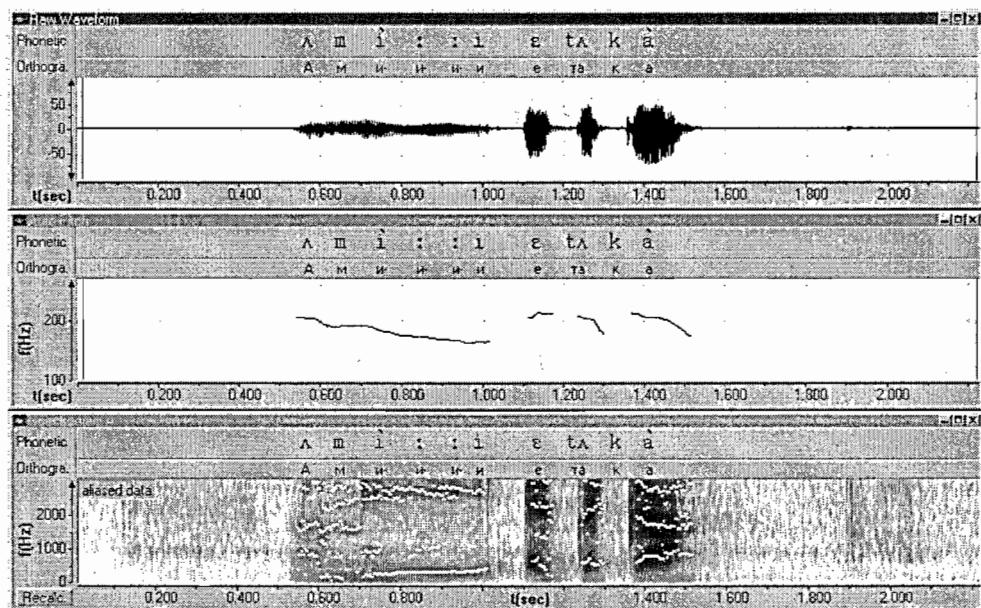
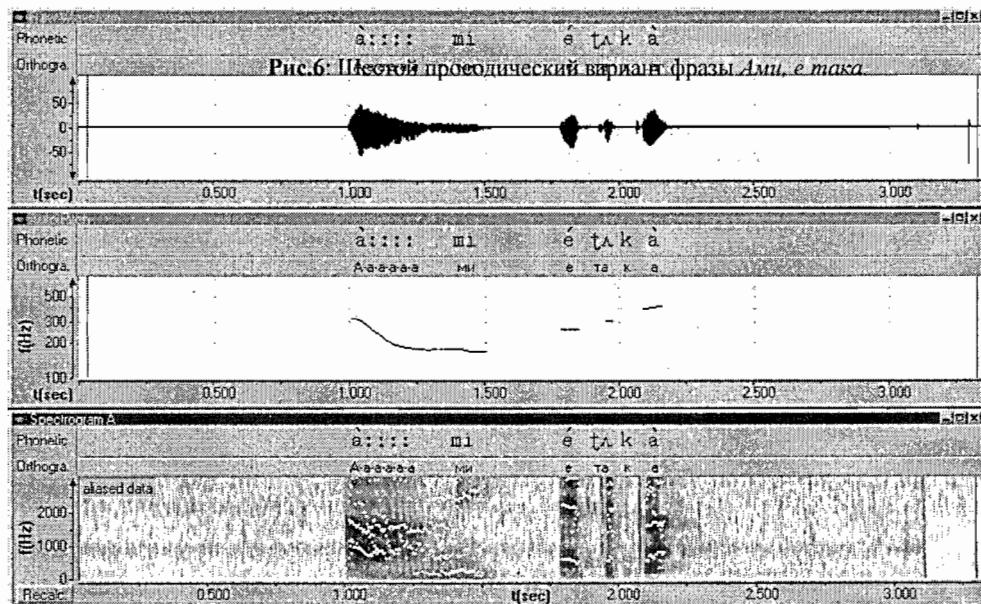


Рис. 6. Шестой просодический вариант фразы *Ами, е така*.

Рис. 7. Седьмой просодический вариант фразы *Ами, е така*.Рис. 8. Восьмой просодический вариант фразы *Ами, е така*.

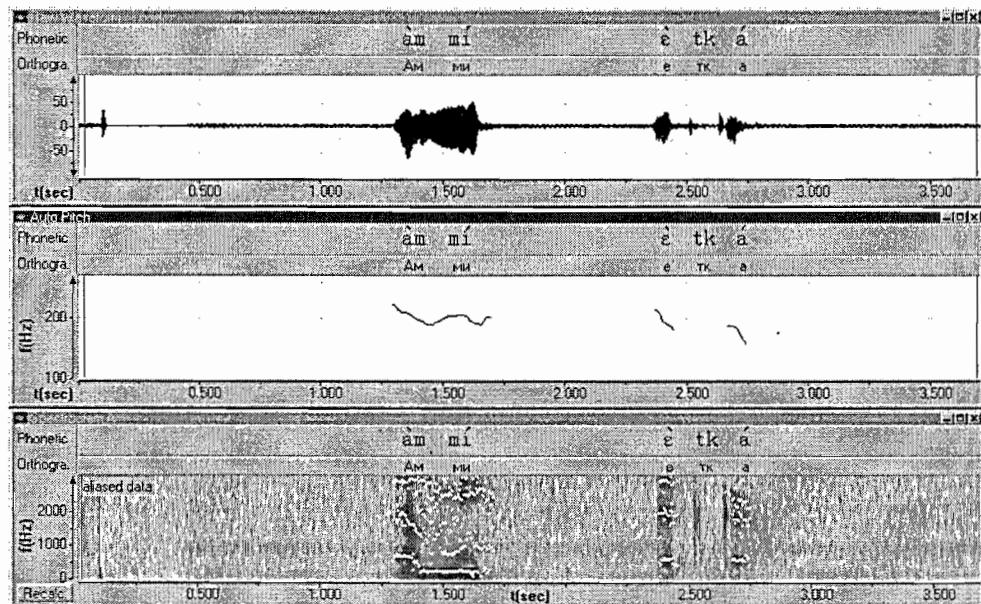


Рис. 9. Девятый просодический вариант фразы *Ами, е така*.

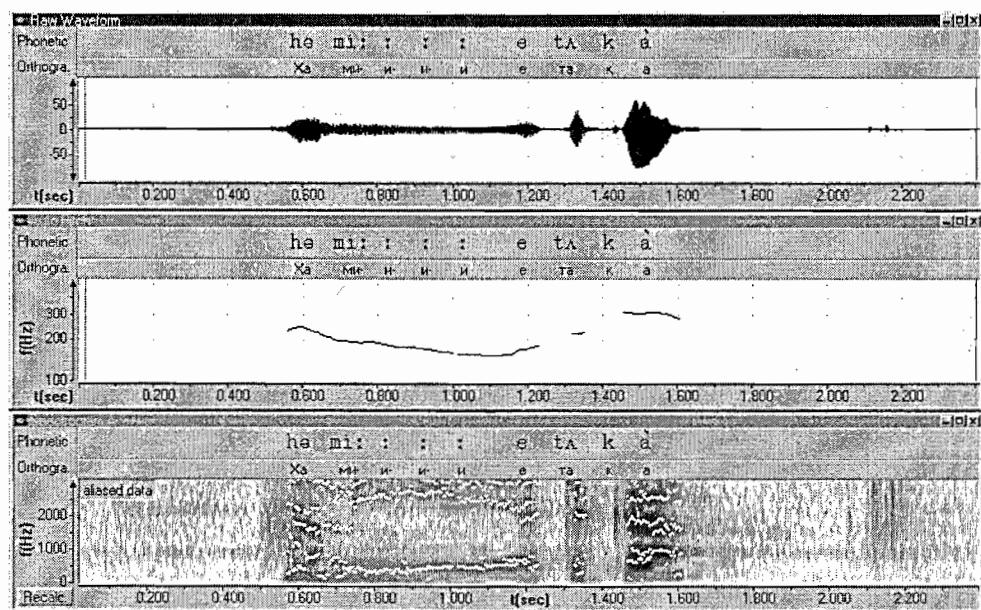


Рис. 10. Десятый просодический вариант фразы *Ами, е така*.

Irena Sawicka (Torunj)

## UPITNA INTONACIJA U ALBANSKOM JEZIKU

**K**ao što je poznato u oblasti rečeničke intonacije balkanski jezici predstavljaju niz interesantnih pojava od kojih najinteresantnije su: slabljenje kadencije u potvrđnim rečenicama i kookurencija dvaju tipa intonacijskih kontura u upitnim *da-ne-rečenicama*. Ovaj će članak biti posvećen ovom drugom problemu na materijalu albanskog jezika.

Dva intonacijska kontura nisu apsolutno ekvivalenta — spadaju u različite jezičke nivoe, a njihova funkcija pokazatelja upitnosti razlikuje se u izvesnoj nijansi, bar u odnosu na slovenske jezike. Pored toga oba su kontura multifunkcionalna.

Prvi kontur — antikadencija — dobija motivaciju iz površinskog, fonetskog nivoa. To znači da nezavisno od semantičkog sadržaja pitanja, njegovo mesto je konstantno. Taj se kontur javlja uvek na poslednjoj reči pitanja i zasniva se na tome što F0 raste izrazito počinajući od postakcenatskog sloga. Pitanje se obično odnosi na čitav sadržaj propozicije. Ovaj tip intonacije služi takođe kao pokazatelj nezavršenosti.

Drugi kontur koji u slavističkim radovima dobija različite nazive (*reverse pattern*, luk) sastoji se od kvazisimetrične relativno visoke, uzlazno-silazne figure F0. Ta se figura realizuje na *word in focus*, dakle, u slučaju pitanja ona se realizuje na reči koja naziva objekat pitanja. To znači da o mestu njene realizacije rešava semantika. Isti tip kontura služi kao eksponent reme u potvrđnim rečenicima ili kao znak emocionalnog markiranja — razlike tih funkcija nalazimo obično u drugostepenim obeležjima, jačini ili visini kontura.

Sve su to poznate dobro činjenice, koje su više puta bile predmet lingvističkih istraživanja, pre svega Tatjane Nikolaeve i Pavle Ivića (upor. naročito [Nikolaeva 1977, 1996; Lehiste, Ivić 1980]). I pored postojanja niza radova na ovu temu, posebno u vezi sa južnoslovenskim jezicima, nemamo jasne orientacije u distribuciji tih dvaju kontura u *da-ne* pitanjima. Čini se, da bar u situaciji kad pitanje dobija morfološki eksponent upitnosti, u obliku rečce *li*, onda se u takvom pitanju realizuje i *reverse pattern*. *Li* je tip čestice koja je postpozitivno vezana za reč koja naziva nešto za šta pitamo da li je istina ili laž, dakle vrstu *word in focus*. Zbog toga prirodno je da bar ta reč nosi *reverse pattern*. To se potvrđuje na bugarskom materijalu (upor. na primer [Penčev 1980]), na makedonskom [Sawicka 1991] bar u odnosu na kratke rečeničke forme. Kratke forme

(od jedne reci) bez *li* najčešće dobijaju antikadenciju. Takvu distribuciju ne potvrđuje Pavle Ivić u odnosu na srpski materijal. Na osnovu jednog eksperimenta vršenog na dosta skromnom materijalu on zaključuje obratno ([Lehiste, Ivić 1980]): da se *reverse pattern* vezuje obično za pitanja bez *li*. Mislim da bi se taj zaključak morao verifikovati na većem materijalu. U svakom slučaju na osnovu materiala iz nekoliko radova možemo zaključiti da distribucija: antikadencija u pitanjima bez *li* i *reverse pattern* u pitanjima sa *li*, preovlađuje u kratkim rečenicama u svim južnoslovenskim jezicima. U dugim rečenicama često su razlike u visini F0 blaže, konturi manje izraziti, a njihova distribucija manje opredelena.

Kao i u drugim balkanskim jezicima, u albanskom jeziku u *da-ne*-pitanjima javlja se i *reverse pattern* i antikadencija. Albanski se, između ostalog, razlikuje od slovenskih jezika po tome, što u njemu nema častice koja bi bila ekvivalentna slovenskome *li*. Doduše, u albanskom ima nekoliko upitnih reči, ali one nemaju ni distribuciju ni funkciju kao što ima *li*. To su naime pokazatelji upitnosti koji se tiču čitave propozicije, imaju prosentencijalnu upotrebu, više liče na poljsko *czy*, a ne srpsko, bugarsko ili makedonsko *li*. Od poljskog *czy* razlikuju se time što mogu stajati kako na početku, tako i na kraju pitanja. To su: *a*, *mos*, *vallë*, *mos nuk*, *mos vallë thua*, *a thua* i sl., na primer: *A diskutuat?*, *Mësoni a?*, *Mos fole gjë?*, *Mos nuk erdhë?*, *Vallë do ma japin librin?* *Do ma japin librin vallë?* *Mos vallë vdiq?*, *A thua do të mijapin mimoza?* *Do të mi japin mimoza thua?* (Primere iz [Boriçi 1987]).

Da bih utvrdila pravila distribucije upitnih intonacija u albanskom služila sam se dos-ta obilnim materijalom od dva eksperimentalna rada [L. Boriçi 1987; I. Lehiste, P. Ivić 1980] i, pre svega, materijalom koji sam snimila na Kosovu i dobila od Nine Oruçaj iz radija Prishtina, kojoj sam duboko zahvaljna. Sakupljeni materijal od nekoliko spikera sastoji se od oko četrdeset kraćih pitanja. Ovaj materijal potvrđuje da se u albanskim *da-ne* pitanjima realizuje kako finalni uzlazni kontur, tako i uzlazno-silazni, neobavezno finalni kontur. Tipičan *reverse-pattern* markira kako pitanja sa morfološkim eksponentom pitanja, tako i bez upitne rečce. Dakle u albanskom ne postoji regularna distribucija dvaju tipa upitne intonacije. Osim toga *reverse pattern* čak se ponekad kontaminira s antikadencijom, ali da se ispravno izgovori pitanje jedan od ovih markera je obavezан. Ako se *reverse pattern* javlja zajedno sa antikadencijom onda on može pokazivati reč koja naziva objekat pitanja, ali ne obavezno — on može takođe obuhvatati čitavo pitanje. Generalno, *reverse pattern* preovlađuje u kratkim pitanjima sa upitnom časticom, dok finalna uzlazna intonacija javlja se češće u *da-ne* pitanjima bez morfoloških pokazatelja upitnosti. Ponekad, ako upitna reč stoji na kraju pitanja, ona može nositi uzlaznu melodiјu dok se *reverse pattern* dodatno realizuje na glagolu. U savakom slučaju da bi se rečenica shvatila kao pitanje, važno je da je promena pravca F0 relativno velika, od jedne oktave najmanje. U drugom slučaju može doći do nesporazuma, naročito zbog toga, što na Balkanu uloga kadencije nije tako izrazita kao na primer u severnoslovenskim jezicima. Indikativne rečenice mogu se izgovarati, naročito u kolokvijalnom izgovoru, sa oslabljenom kadencijom ili uopšte sa ravnom intonacijom na kraju rečenice.

## CITIRANI RADOVI

*L. Boriçi.* Rreth intonacionit të gjuhës shqipe pare edhe në përqasjeme intonacionin e gjuhës frenge. Tirana, 1987 (doktorski rad, neobjavljen).

*P. Ivić, I. Lehiste.* Prilozi ispitivanju fonetske i fonološke prirode akcenata u savremenom srpskohrvatskom jeziku [u:] Zbornik za filologiju i lingvistiku VI/1963, 33—74, VIII/1965, 75—117, X/1967, 55—93, XII/1969, 115—165, XIII/2/1970, 225—246, XV/1/1972, 95—113. 1963—1972.

*P. Ivić, I. Lehiste.* Interrelationship between word tone and sentence intonation, [u:] Elements of tone, stress and intonation. Georgetown University Press. Washington, 1978. P. 100—128.

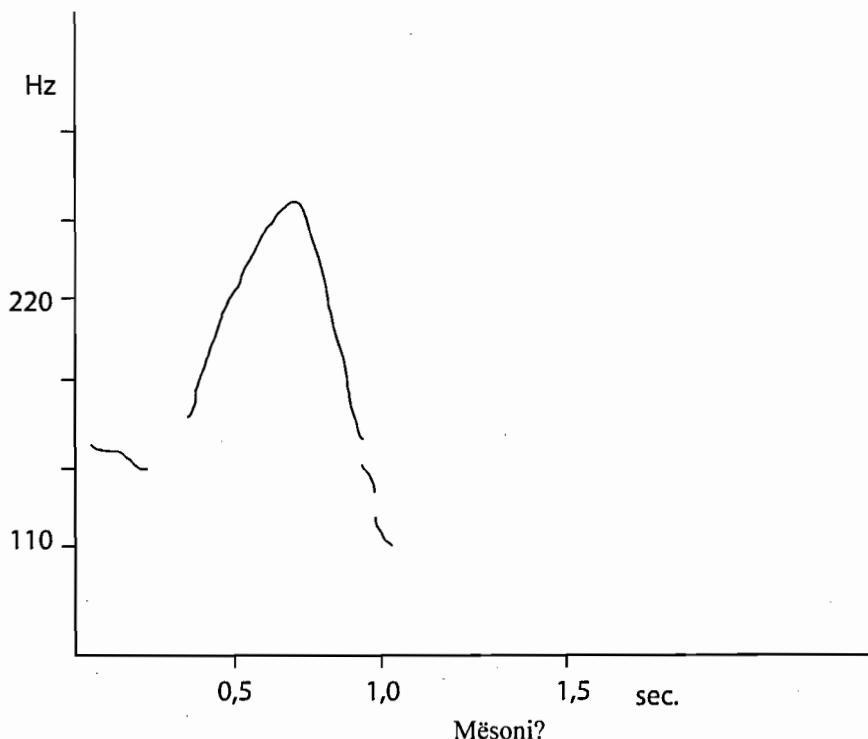
*P. Ivić, I. Lehiste.* The intonation of yes-or-no questions — a new Balkanism? [u:] Balkanistica VI. 1980. P. 45—53.

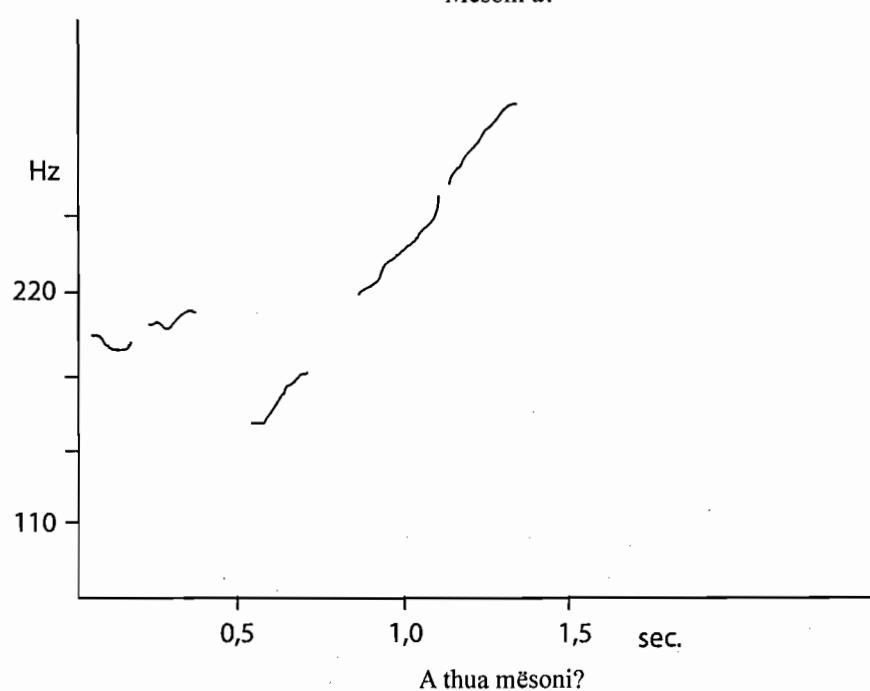
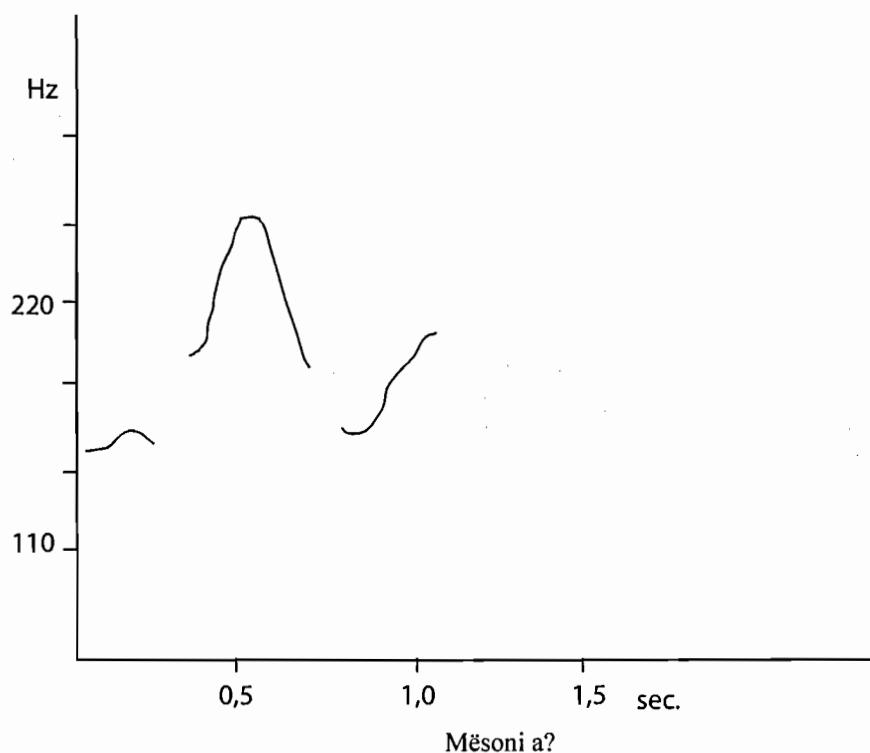
*T. Nikolaeva.* T. M. Nikolaeva. Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.

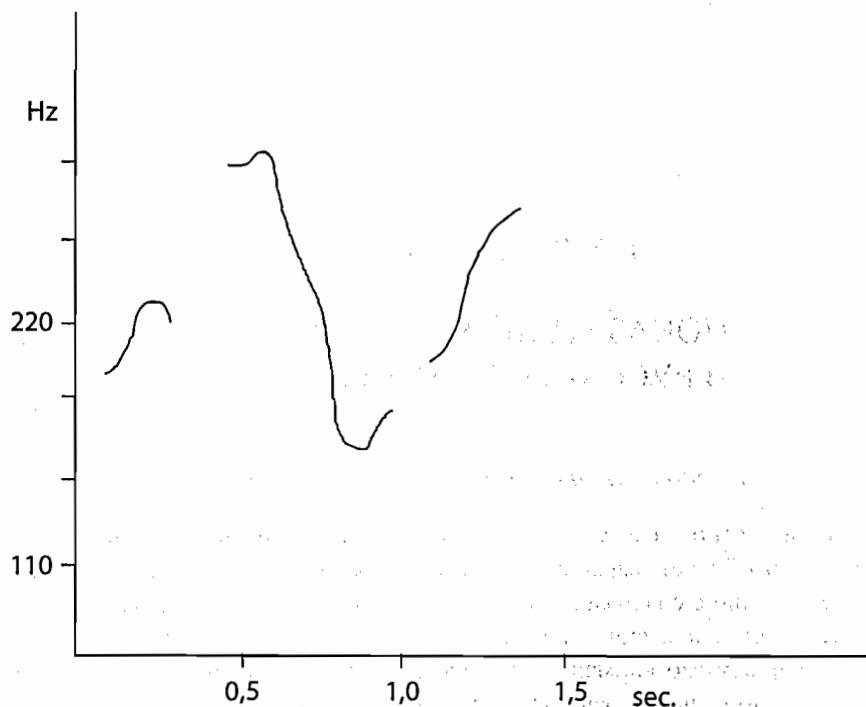
*T. Nikolaeva.* T. M. Nikolaeva. Просодия Балкан. М., 1996.

*J. Penčev.* Й. Пенчев. Основни интонационни контури в българското изречение. София, 1980.

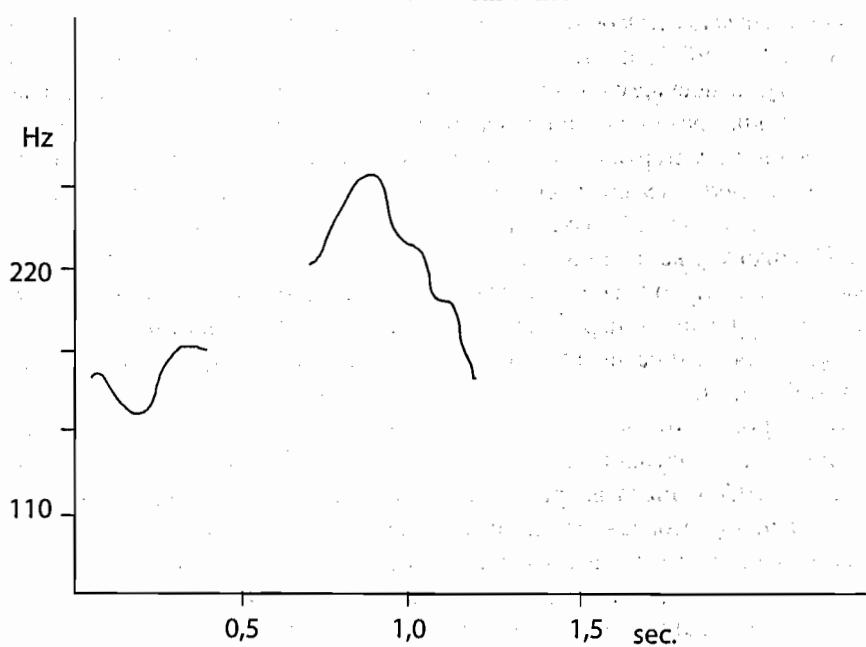
*I. Sawicka.* Intonacja zdaniowa w języku albańskim [u:] Македонски јазик XL—XLI. 1995. S. 503—510.







Mësoni vallë?



Vallë mësoni?

*А. Д. Шмелев (Москва)*

## «ПОКАЗАТЕЛИ ХЕЗИТАЦИИ» В РУССКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ

*Слова-паразиты или pragматические маркеры?*

**В**сем известно, что устная монологическая речь многих носителей языка изобилует «мелкими словами», как будто не связанными непосредственно с содержанием сообщения (всевозможные *значит, короче, типа, как бы, понимаешь, так сказать, там, вот и т. п.*). Эти выражения, как правило, проходили мимо внимания лингвистов и рассматривались по большей части в пособиях по культуре речи. При этом им обычно давалась отрицательная оценка, как единицам, «засоряющим» нашу речь, что нашло отражение в их названиях: *слова-паразиты, упаковочный материал, словесная шелуха, заполнители пауз* и т. д. [Веселитский 1965; Успенский 1976]. Сформировалось отношение к ним как к балласту, не несущему никаких полезных функций, а иногда даже придающему речи оттенки, противоречащие исходному коммуникативному намерению. Выбор «упаковочного материала» при таком подходе представляется исключительно делом привычки, семантически безразличным и связанным лишь с уровнем образования говорящего. Характерно, например, высказывание литературного критика Вл. Новикова, уже цитированное мною в заметке [Шмелев 1998]: «“Как бы” — словечко-паразит, обитающее исключительно в интеллигентских языковых организмах. Это вам не простонародное “бля” (“блин”), но функция у него, должен заметить, та же самая (и, конечно же, тождественная пресловутому “понимаешь”)» [Новый мир, 1998, № 1].

В действительности, отношение к ним как к «словесному мусору» не соответствует подлинным функциям этих слов в русской устной речи. В статье Т. М. Nicolaевой 1970 г. было впервые высказано важное положение, согласно которому устная неподготовленная (спонтанная) речь нуждается в специальных средствах, помогающих говорящему строить свою речь, заполняя паузы, необходимые для обдумывания, поиска нужного слова. В дальнейшем на эту статью ссыпались все исследователи, упоминавшие «заполнители пауз» в разговорной речи (см., например, [Сиротинина 1974, 71; Земская 1979, 88 и др.]), однако, как

правило, авторы ограничивались указанием именно на данную роль «незнаменательной», или «пустой» лексики, не исследуя проблему выбора релевантного показателя в каждом конкретном случае. Между тем «заполнители пауз» не только позволяют говорящему выиграть время, но и задают членение текста на синтагмы и макросинтагмы, управляют вниманием собеседника, маркируют различные этапы построения речи, дают информацию об отношении говорящего к произносимому тексту и могут выражать общие установки, которыми руководствуется говорящий при построении речи. Тем самым каждое из «слов-паразитов» заслуживает самого внимательного лингвистического анализа, направленного на выявление их коммуникативных функций, тем более что, как выясняется, «значимое» и «незначимое» («паразитическое») употребление pragматических маркеров «не всегда легко разграничить» [Сиротинина 1974, 71].

### *Общая идея слова ну*

Рассмотрим в этой связи один из самых интересных и частотных pragматических маркеров русской разговорной речи — частицу *ну*.

Эта частица была объектом проницательного анализа в ряде недавних исследований. Можно упомянуть статью И. М. Кобозевой и А. Н. Баранова, в которой рассматривается использование модальных частиц [Баранов, Кобозева 1988], статью И. Б. Левонтиной, посвященную использованию частиц в повторных просьбах [Левонтина 1999], а также ряд публикаций Ю. В. Дараган, специально посвященных исследованию функций pragматических маркеров и, в частности, «слов-паразитов» в русской устной речи [Дараган 2000; 2002; 2003]<sup>1</sup>. Однако во всех этих работах авторы концентрируются на каком-то одном типе высказываний с частицей *ну*. При этом в рамках каждого такого типа исследователи, как правило, выделяют у частицы *ну* целый ряд лексических значений, не сводимых к какому-либо инварианту.

Мой тезис заключается в том, что в основе всех разнообразных употреблений частицы *ну* в русском языке лежит некоторая общая идея. Каждое конкретное употребление предстает как некоторая модификация этой исходной общей идеи<sup>2</sup>. Важно, чтобы формулировка этой общей идеи была достаточно информативной и позволяла бы объяснить невозможность употребления частицы *ну* в тех случаях, когда она представляется неуместной, а также pragматический эффект, который возникает при ее введении в ситуацию, когда она факультативна. Разумеется, если обнаружится употребление, не укладывающееся в предложенную схему, формулировку исходной общей идеи придется изменить. Тем самым описание оказывается верифицируемым.

В соответствии с гипотезой, высказанной в заметке [Шмелев 1998: 152], общая идея частицы *ну* связана с «вынужденным говорением». *Ну* уместно, когда развитие коммуникативной ситуации заставляет говорящего сказать нечто; говоря это, он апеллирует к тому, что уже в какой-то степени известно адресату речи, и выражает установку на взаимопонимание и кооперацию.

Поэтому частица *ну* не может фигурировать в абсолютном начале дискурса, в составе полностью инициативной реплики. Слово *ну* указывает на то, что данный фрагмент в каком-то смысле вытекает из того, что уже рассказано, и говорящий рассчитывает на то, что адресат речи это понимает.

Правда, когда люди, встретившись, долго молчат, не зная, как начать разговор, кто-то из них может начать первую же реплику с частицы *ну*, например, сказать: «*Ну, здравствуй!*»<sup>3</sup> Формально *ну* здесь находится в абсолютном начале разговора. Но по существу решающим оказывается наличие предшествующей ситуации, которая детерминирует необходимость какой-то начальной реплики (оба участника коммуникации понимают, что надо как-то начать общение). Очевидно, что нельзя сказать *Ну, здравствуй* знакомому, которого случайно встретил по дороге.

Напротив того, частица *ну* часто предваряет прощание: *ну, до свидания* или *ну, я пошел*. В этом случае делается косвенное указание на то, что прощание вынужденно (поскольку исчерпана тема или потому что пора переходить к другим делам), в расчете на понимание со стороны собеседника. Без частицы *ну* прощание во многих случаях звучало бы резко или немотивированно. Использование *ну* при прощании является частным случаем употребления этой частицы в тех случаях, когда говорящий ощущает необходимость завершить некоторую ситуацию и перейти к следующему этапу (и надеется на понимание со стороны адресата). Ср.: *Ну, пошумили, и хватит;* (Долго не начинали собрание, ожидая, пока все соберутся.) *Ну все, пора начинать.*

Очень характерно для частицы (или междометия) *ну* употребление в составе призыва или побуждения к действию (при этом часто выражается нетерпение): *Ну, говори, где ты побывал* [Vasilyeva 1972: 96]; *Ну, давай, давай!*; *Ну, быстрее!* Футболисту, оказавшемуся в удобной позиции для удара по воротам, болельщики кричат *Ну! Ну!* Во всех этих случаях говорящий считает, что ситуация требует соответствующего действия, нетерпение вынуждает его торопить адресата речи и при этом он рассчитывает на понимание, т. е. на то, что его призыв будет исполнен.

Наряду с «призывным», «требовательным» употреблением *ну*, часто используется *ну*, произносимое с особой, «умоляющей» интонацией, обычно в составе повторной просьбы: *Ну я прошу тебя; Ну пожалуйста; Ну, мама!* [Левонтина 1999]. При этом чрезвычайно характерно соседство двух разных *ну* в диалоге, когда одно (возможно, повторенное несколько раз) сопровождает (повторную) просьбу, а другое — согласие [Левонтина 1999: 195]: *Ну дай, ну пожалуйста! — Ну ладно, бери!* Смысл первого, «умоляющего» *ну* состоит в том, что, получив отказ на просьбу (или, по крайней мере, не получив желаемого) и не располагая новыми аргументами в свою пользу, человек тем не менее повторяет просьбу, как бы говоря: «Ты же знаешь, как я этого хочу». Иными словами, полученный отказ вынуждает повторить просьбу в расчете на понимание со стороны адресата. Смысл второго *ну* (*ну «согласия»*) заключается в том, что в ответ на повторную просьбу говорящий вынужден дать согласие в рамках установки на взаимопонимание.

Заметим, что *ну* вообще характерно для формул согласия и используется не только в ответ на долгие уговоры, но и во многих других случаях, в том числе тог-

да, когда никакой подлинной просьбы и тем более уговоров не было, ср.: *Хочешь, я расскажу тебе сказку? Хочешь? Ну, слушай.*

Возможности использования *ну* при отказе значительно более ограничены — в ответ на просьбу: *Дай, пожалуйста!* — сомнителен ответ *Ну не дам*. Частица *ну* при отказе возможна в одном из двух случаев: когда говорящий мотивирует свой отказ, рассчитывая на понимание, например, в очередной раз сообщая о невозможности выполнить просьбу (*Ну не могу я*), и когда он эмоционально отвергает самую возможность выполнения просьбы. В последнем случае он одновременно дает понять, что другие аналогичные просьбы он еще мог бы выполнить (установка на кооперацию и взаимопонимание), но не эту («*И не проси!*»): *Ну, нет* или *Ну уж это ни за что!*<sup>4</sup> Бывает, что, дав такой отказ, говорящий, будучи настроенным кооперативно, в дальнейшем поддается на уговоры, как Котофей из сказки Е. Шварца «Два клена»: *Мышам сказки рассказывать? Ну, это уж нет! это уж ни за что! А впрочем, ладно, так уж и быть.*

Прочие описанные в литературе типы употребления *ну* также вполне укладываются в эту схему. Так, чрезвычайно характерное для монологов *ну* «поиска», описанное И. М. Кобозевой и А. Н. Баарановым применительно к его функционированию в ответах на вопросы [Бааранов, Кобозева 1988: 51—53], используется при коммуникативных затруднениях различной природы (хезитации, затруднениях в линейном построении речи, выборе адекватной дескрипции, необходимости правки при случайной оговорке и т. п.). В основе данного типа употребления лежит представление о необходимости выполнять коммуникативное обязательство (отвечать на вопрос, продолжать рассказ), несмотря на возникшее затруднение (отсюда «вынужденное говорение»). При этом говорящий рассчитывает на понимание со стороны адресата — и в том отношении, что тот не будет в претензии за возможные несовершенства речи, и в том, что адресат сможет домыслить недосказанное («ты же сам понимаешь»). Ср.: (а) *Вы читали этого... как его?.. ну, папироза в зубах, метр курим, два бросаем... сам лопатой не ворочает, других призывает... ну, вот это: Моя милиция — Меня стережёт!;* (б) *«В общем, я удрать хотел. Совсем из этой лавочки». — «Какой лавочки?..» — «Ну, из этого, как его, социализма! Уже у меня изжога от него, не могу!»* (оба примера из романа Солженицына «В круге первом»). Сюда же относится «аппроксимирующее» употребление *ну*, когда в ответ на вопрос говорящий дает вместо точного ответа приблизительную оценку. Например: (а) *Без криптографов мы будем готовы месяца... ну, через четыре, через пять, не раньше;* (б) *«К февралю она будет готова?» — «К февралю? Вы что — смейтесь? Если для отчёта, на скорую руку да на долгую муку — ну, что-нибудь... через полгода!»* (оба примера из романа Солженицына «В круге первом»).

Частным случаем *ну* «поиска» можно считать использование *ну* в качестве «маркера коррекции» (как его назвала Ю. В. Дараган), т. е. для исправления произведенной неточной номинации, для оформления уточняющих мысль вставных конструкций и т. п.: (а) ...*истрепавший нервы... ну, не нервы, а... потративший*

время; (б) ...Мы поехали на Ахтубу. Ну, Ахтуба — это речка, которая... ну, это приток Волги [Дараган 2000, 69; 2002, 120].

Аналогичным образом объясняется и использование *ну* «выбора» (*ну, например*). Используя *ну* «выбора», говорящий показывает, что вынужден говорить, потому что его призывают произвести выбор или привести пример, но он находится в затруднении, поскольку приходится выбирать между равно приемлемыми возможностями. Одновременно он как бы сигнализирует адресату речи: «Ты же сам понимаешь, что приемлемых возможных примеров много». Ср. *Из такого лагеря немцы вдруг взяли его и привезли в Берлин, и там человек* («вежливый, но свирепый»), *прекрасно говоривший по-русски, спросил, можно ли верить, что он тот самый днепростроевский инженер Потапов. Может ли он в доказательство начертить, ну скажем, схему включения тамошнего генератора?* (А. Солженицын. В круге первом).

Нередко частица *ну* используется в тех случаях, когда говорящий, не возражая против того, что говорит или имплицирует собеседник, хочет получить от него дополнительные разъяснения: *Ну и что?; Ну, а дальше что?; Ну и что с того?* Ср. диалог из повести Ю. Вонщева и А. Иванова «Пираты неизвестного моря»: (Вожатый задает пионеру задачу по физике.) *Ты пришел ко мне домой. — Ну, пришел. — У меня на столе стоит графин с водой. — Ну, стоит.* Данный тип употребления *ну*, используемый в ответах на вопрос, был описан И. М. Кобозевой и А. Н. Барановым как *ну* «непонимания цели» [Баранов, Кобозева 1988, 59—60] ср.: *В какой день недели родился ваш сын? — Ну в среду (а что?).* «Вынужденное говорение» во всех случаях такого рода обусловлено тем, что говорящий не понимает, в чем смысл слов собеседника, и ждет от него разъяснений (исходя из установки на взаимопонимание и кооперацию). К этому же типу употребления примыкает использование *ну* в некоторых региональных просторечных вариантах русского языка в функции утвердительного ответа на вопрос ср.: *Полонского-то вроде выкопали? — Ну. В Рязань увезли* (А. Солженицын. Прах поэта).

Заметим, что к данному типу *ну* чем-то близко употребление *ну* при расспросах (почти всегда в сочетании с последующим *а*)<sup>5</sup>. Иногда *ну* «распросторняется» используется, когда говорящий хочет узнать у собеседника различные подробности интересующего его дела, а тот отвечает неохотно и недостаточно подробно (ср. *Ну, а все-таки?*). С другой стороны, встречается и этикетное *ну* «распросторняющее», показывающее, что использующий его человек внимательно слушает собеседника, и подбадривающее собеседника продолжать рассказ (*Ну, а ты что?.. А он что?.. Ну, а ты ему что на это?..*). Такое *ну* показывает, что говорящий не может сдержать любопытства (поэтому «вынужден» задавать вопросы) и рассчитывает, что это любопытство будет немедленно удовлетворено (в силу установки на кооперацию).

Упомянем также *ну* «частичной уступки», используемое для того, чтобы, согласившись с замечанием собеседника (установка на кооперацию), сразу же высказать возражение, сведя на нет возможные выводы из этого согласия. Ср.: (а) *Такой фильм! Такие артисты! Так интересно!* — *Ну интересно, интересно, а кто будет за тебя уроки делать?*; (б) *И вообще это не связано с моей работой.* — *Ну не связ*.

зано. Но ведь речь не только о работе; (в) Я же спешу! — Ну, спешишь. Но не могу же я в одну минуту это сделать [Vasilyeva 1972, 96]. Сюда же относятся случаи, когда говорящий, соглашаясь с замечанием собеседника, считает, что оно ничего не меняет в общей оценке ситуации<sup>6</sup>. Ну «частичной уступки» используется также в тех случаях, когда человек, вынужденный признать некоторый неприятный для себя факт, высказывает некоторое объяснение и рассчитывает, что адресат не будет использовать против него данный факт и примет это объяснение. Ср.: Знаю, что поступил плохо. Ну ошибся человек! Ну не святой я, не святой! [Vasilyeva 1972, 96]; Почему ты не выполнила обещание? — Ну не смогла я. К употреблению ну в функции «частичной уступки» примыкают «полемические» употребления ну, когда частичное согласие только подразумевается (и выражается посредством ну), но на первый план выходит возражение: Такой интересный фильм! — Ну а кто за тебя будет делать уроки?

Можно упомянуть также риторическое употребление ну, используемое в спонтанно возникающих «риторических вопросах» («вынужденное говорение»), когда говорящий приглашает адресата разделить его чувства по поводу ситуации, находящейся в поле зрения: Ну что ты будешь делать?; Ну что за жизнь?; Ну как не порадеть родному человечку. Ср. описанную в книге Виктора Васильева «Актеры шахматной сцены» реакцию одного гроссмейстера на не слишком эстетичный эпизод, рассказанный Ботвинником в его мемуарах «К достижению цели»: «Ну зачем, скажите на милость, он описал эту историю “с пузом”?» — гневался один гроссмейстер. К этому употреблению близки употребления ну в упреках (обычно с частицей же): Ну что же ты?

Предложенному описанию удовлетворяют и употребления ну, которые нередко считают стоящими особняком. Так, используя ну в оценочных реакциях (Ну Фамусов! Умел гостей называть!; Ну красота!; Ну уж!; Ну и ну!; Ну ты и сказал!), говорящий дает понять, что не может сдержать свои чувства по поводу возникшей ситуации («вынужденное говорение»), и призывает адресата речи разделить его чувства (установка на взаимопонимание). В чем-то это употребление близко «риторическому» ну. Именно эта разновидность ну активно используется в современной рекламе, изображающей одновременно неспособность потребителя сдержать свой восторг по поводу рекламируемого продукта и желание в доверительном ключе поделиться этим восторгом с другими потенциальными потребителями (Ну, очень вкусная селедка).

Другое стоящее особняком употребление — это сочетание ну с личным местоимением в винительном падеже (иногда с дальнейшим расширением, например Ну тебя к черту!). Оно выражает требование не надоедать или желание избавиться от чего-то надоевшего, но при этом не заслуживающего внимания. Здесь «вынужденное говорение» обусловлено тем, что ситуация заставляет думать о чем-то не заслуживающем внимания и раздражающем. При этом установка, выраженная в таких высказываниях, вполне укладывается в систему ценностных установок, характерных для русской языковой картины мира и выражаемых также словом плевать и жестом «махнуть рукой» [Шмелев 2002, 100—102]; поэтому говорящий

может рассчитывать на сочувствие со стороны адресата речи (особенно если объектом установки не является сам адресат).

### «Хмыканье» и «меканье»

В реальной русской устной речи многие говорящие не только используют разного рода «слова-паразиты», но, кроме того, часто *хмыкают* и *мекают*, т. е. произносят звуки, не поддающиеся описанию средствами канонической русской фонетики и свидетельствующие об определенных коммуникативных затруднениях, испытываемых говорящим. Эти звуки нередко воспринимаются просто как своего рода озвученные заполнители пауз, неизбежно возникающих в устной речи, когда говорящий обдумывает продолжение своей речи или подыскивает оптимальное средство выражения своей мысли. Соответственно, при письменной фиксации речи (например, при стенографировании) они чаще всего игнорируются; лишь иногда делается попытка хотя бы частично их передавать на письме как знак «фотографически точного» воспроизведения речи; а при трансляции записи публичных выступлений «озвученные паузы», как правило, устраняются.

Между тем, как можно полагать, роль «хмыканья» и «меканья» не сводится к тому, чтобы, заполнив нежелательную паузу, позволить говорящему выиграть время для раздумья. Не будучи эквивалентными «обычным», «неозвученным» паузам, они не являются равносильными и между собою<sup>7</sup>.

«Хмыканье» состоит в резком выдохании воздуха через нос при закрытом рте и напряжении голосовых связок, завершающемся гортанной смычкой. Будучи смычным, звук всегда произносится достаточно кратко; на письме он обычно передается посредством сочетания букв *хм* или (чаще) *гм*<sup>8</sup>.

Такое «хмыканье» представляет собою реакцию на вновь возникшее затруднение в коммуникативной ситуации. Говорящий должен как-то реагировать на вновь поступившее известие, но становится в тупик, не вполне понимая сразу, какой именно должна быть его реакция. Типичным примером такого «хмыканья» является диалогическое «хмыканье» в ответ на какое-то высказывание, поставившее его в затруднительное положение, — например, когда ему задан вопрос, ответ на который ему не сразу приходит в голову, или когда ему не вполне понятна реплика собеседника. Ср. использование «хмыканья» в диалогах из романа Солженицына «В круге первом» (Прянчиковым в диалоге с Абакумовым и Абакумовым в разговоре с Рюминым):

- «Подождите, — опомнился Абакумов. — Вы мне только скажите одно: *когда* будет готово? *Готово* — *когда?*» — «Готово? Хм-м... Я над этим не задумывался».
- «Но что ты хочешь — я тоже не понимаю. Как же можно по телефону по голосу узнать? Ну, неизвестного — как узнать? Где его искать?» — «Так я им ленту дам, разговор записан. Пусть крутят, сравнивают... Там выбирать из человек пяти-семи, кто мог знать, в министерстве». — «Так арестуй их всех, собак, чёго голову морочить? — возмутился Абакумов. — Семь человек! У нас страна большая, не обедняем!» — «Нельзя, Виктор Семёныч, — благорассудно возразил Рюмин. — Это министерство — не Пищепром, так мы все нити потеряем, да ещё из посольств кто-нибудь в невозвращенцы лупанёт».

Тут именно надо найти — кто? И как можно скорей». — «Гм-м... — подумал Абакумов.  
— Так что с чем сравнивать, не пойму?»

Но чаще всего «хмыканье» используется, когда говорящий вполне понимает собеседника, но пока не знает, как реагировать на его слова. Ср. еще три диалога из романа «В круге первом»:

- «И сколько вы написали доносов?» — «Дмитрий Александрович! Я, наоборот, — самые лучшие характеристики!» — «Гм... Ну, пока поверим».
- Но уже и за пять минут Ройтман кое-что успел сообразить. «Видите ли, — говорил он, называя замминистра по имени-отчеству и безо всякой угодливости, — у нас ведь есть прибор видимой речи — ВИР, печатающий так называемые звуковиды, и есть человек, читающий эти звуковиды, некто Рубин». — «Заключённый?» — «Да. Доцент-филолог. Последнее время он у меня занят тем, что ищет в звуковидах индивидуальные особенности речи. И я надеюсь, что, развернув этот телефонный разговор в звуковиды, и сличая со звуковидами подозреваемых...» — «Гм... Придётся этого филолога ещё согласовывать с Абакумовым», — покачал головой Селивановский. «В смысле секретности?» — «Да».
- «Нам демократия кажется солнцем незаходящим. А что такое демократия? — угождение грубому большинству. Угождение большинству означает: равнение на посредственность, равнение по низшему уровню, отсечение самых тонких высоких стеблей. Сто или тысяча остолопов своим голосованием указывают путь светлой голове». — «Хм-м, — недоуменно мычал Нержин. — Это для меня ново... Это я — не понимаю... не знаю... Думать надо... Я привык — демократия...»

Будучи спонтанной реакцией на возникшее затруднение, «хмыканье» имеет и коммуникативную функцию, ставя собеседника в известие об этом затруднении. Когда коммуникативная функция выходит на первый план, т. е. когда главная задача «хмыканья» состоит именно в том, чтобы информировать адресата речи о возникшем затруднении, возможным оказывается произнесение междометия *гм* в соответствии с требованиями канонической фонетики, а именно — как сочетания звуков *г* и *м* (иногда с вставным редуцированным гласным — примерно как *гым*); при этом часто встречается редупликация или даже утройство междометия: *гм-гм* или *гым-гым-гым*.

Указанные функции междометия *гм* обусловливают его позиции в диалоге. Поскольку это всегда реакция на вновь возникшее затруднение, оно всегда находится в абсолютном начале реплики, но никогда не может находиться в абсолютном начале диалога. Характерным является, как уже говорилось, «хмыканье» в начале ответа на трудный вопрос. Иногда продолжения может и не последовать, и это будет означать, что ответ так и не был найден. Но даже в таком случае *Гм...* не представляет собою самодостаточного высказывания и воспринимается как знак попытки найти ответ, которая, как дальше оказалось, не увенчалась успехом.

Можно упомянуть также, что «хмыканье» в целом не очень характерно для просторечия (но, конечно, не следует думать, что пристрастие к «хмыканью» уже само по себе свидетельствует о высокой речевой культуре). Это, по-видимому, отчасти связано с тем, что оно выражает внутреннюю установку на взвешенность всего сказанного и на то, чтобы избегать скоропалительных, непродуманных речевых реакций.

Совсем иные функции имеет «хезитативное» заполнение паузы, которое принято называть *меканьем*. «Меканье» может производиться как с открытым, так и с закрытым ртом. В первом случае оно сводится к произнесению относительно протяженного неопределенного гласного с горловой окраской и на письме чаще всего обозначается как э-э (или э-э-э, ээ... и т. п.), хотя возможны и другие варианты, например а-а-а. При произнесении с закрытым ртом «меканье» превращается в нечто вроде мычания, т. е. произнесения звука, близкого к протяжному звуку м (близость особенно очевидна, если осуществляется с закрытым ртом). На письме в таком случае «меканье» обозначается как м-м, м-м-м, мм... и т. п.

Для «меканья» характерно использование в монологическом режиме, в частности в публичных диалогах: научных докладах, лекциях и т. п. Оно свидетельствует о том, что говорящий, начав свою реплику, затруднился ее продолжить — возможно, из-за того, что колеблется в выборе оптимального способа вербализации своей мысли. Впрочем, «меканье» возможно и в абсолютном начале монолога как знак того, что говорящий подыскивает лучший способ начать речь.

Впрочем, «меканье» в публичных монологах часто используется и в тех случаях, когда, казалось бы, о колебаниях и хезитации не может быть и речи (т. е. в ходе подготовленных публичных выступлений), как в целях более четкого членения текста, так и для выделения особенно важных положений речи. Для членения текста «меканье» может использоваться двояким образом. Оно может осуществляться на границах отрывков речи, составляющих единое целое (делимитативная функция), или же при самом главном элементе в составе единого целого (кульминативная функция). «Кульминативное меканье» дает лектору возможность достичь сразу нескольких целей. Во-первых, хезитативная пауза при ключевых положениях речи позволяет представить это положение как взвешенное, глубоко продуманное, а не высказанное легковесно — настолько продуманное, что перед тем, как преподнести его аудитории, лектор считает необходимым проверить его еще раз. Во-вторых, оно, замедляя темп речи, дает возможность слушателям также вдуматься в него и, возможно, даже записать его. Каждое из слов в составе высказывания, изобилующего «лекторским меканьем», приобретает особый вес. При этом такое «меканье» осознается как принадлежность именно лекторской речи. Студент, отвечающий преподавателю на устном экзамене, не должен прибегать к нему — в противном случае его речь будет звучать несколько поучащие и восприниматься как нарушение социальных конвенций.

В диалоге «меканье» используется, когда надо перейти к новой мысли (а собеседник, возможно, еще не готов к переходу, — говорящий хочет облегчить переход, давая собеседнику время освоить то, что было сказано, и подготовиться услышать новое) или когда говорящий не хочет шокировать собеседника и ослабляет воздействие своей реплики, готовя его к чему-то неожиданному или неприятному. Оно может соответствовать установкам, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу. С одной стороны, это знак колебаний и нерешительности, который может функционировать как своего рода *figura modestiae*. Хезитация говорящего

как бы указывает на то, что его суждение не является безапелляционным. С другой стороны, «меканье» может использоваться при агрессивном стиле речи, когда говорящий дает понять, что, несмотря на то что он временно остановился в развитии своей мысли, его речь пока не закончена и время возражать ему не пришло. Заполняя паузу, он не дает собеседникам возможности вставить слово.

Таким образом, разграничиваются следующие типы употребления «меканья», не сводимые друг к другу: «делимитативное меканье», «хезитативное меканье» и «замедляющее меканье». «Делимитативное меканье», появляется на границах синтагм и служит маркером членения речи. Иногда такое «меканье» маркирует вставную конструкцию — с двух сторон или же только в начале. «Хезитативное меканье» указывает на коммуникативные затруднения, связанные с поиском оптимальной вербализации мысли или с содержательными затруднениями при необходимости говорить в отсутствие предварительного плана речи. Оно может функционировать как *figura modestiae*; кроме того, оно используется для того, чтобы избежать впечатления скоропалительности и представить высказываемое положение особенно продуманным. «Замедляющее меканье» может быть знаком того, что говорящий еще не закончил свою речь и не передает слово собеседнику. Кроме того, оно бывает направлено на то, чтобы адресату было легче воспринять новую или неприятную для него мысль. В лекторской речи оно дает время слушателям вдуматься в лекцию и записать ее.

Возможно, частота и виды «меканья» несколько различны у мужчин и женщин. Однако вопрос о наличии гендерных различий в использовании «меканья» в русской речи требует дальнейшего исследования.

Представляется, что приведенные соображения позволяют включить звуки, произносимые при «хмыканье» и «меканье», в число прагматических маркеров, функционально нагруженных и, вероятно, лингвоспецифичных. Как будто подтверждается гипотеза, высказанная нами в статье [Šmelev, Protassova 1998], в соответствии с которой их национальная специфика по сравнению, например, с английскими или немецкими заполнителями пауз (ср. [Hoffman 1993; Trillo 1994]) заключается не только в исторически сложившихся способах их записи, но и в том, как именно заполнители пауз используются в случае реального коммуникативного затруднения или для его имитации.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В данной статье я опираюсь на некоторые результаты названных работ.

<sup>2</sup> Здесь я вполне солидарен с Т. М. Николаевой, которая писала в книге 1985 г.: «...внимательный анализ функциональной семантики каждой частицы показывает, что у любой частицы есть свое значение. С некоторой натяжкой, как всегда в лексикографической практике, это значение можно сформулировать в общем виде. Это инвариантное значение пронизывает всю систему употреблений... создавая сложную систему смысловых переходов — постепенных, с градуально меняющейся семантикой» [Николаева 1985: 23].

<sup>3</sup> Так, в романе Солженицына «В круге первом» в сцене свидания заключенного Герасимовича с женой, оба они долго молчат, разглядывая друг друга, и наконец жена говорит: «Ну, как там у

тебя?» И далее следует комментарий: *Как будто надо было двенадцать месяцев ждать этого свидания, триста шестьдесят ночей вспоминать мужа на индевеющем ложе вдовы, чтобы спросить: «Ну, как там у тебя?»*

<sup>4</sup> Как отметила И. Б. Левонтина, такие формулы отказа произносятся «с умоляющей интонацией» [Левонтина 1999: 194]. «Формулы отказа» могут считаться частным случаем «формул несогласия», произносимых с той же «умоляющей» интонацией. Ср. следующий характерный эпизод из романа Солженицына «В круге первом»: в ответ на требование полковника Яконова принести чертеж шифратора изготавливший этот чертеж заключенный Сологдин отнекивается: «Я, действительно, сколько умел, работал над шифратором. Но то, что мне удалось и что вы видели, есть создание уродливо несовершенное, в меру моих весьма посредственных способностей». Но Яконов не соглашается: *Ну-у, нет, батенька, уж пожалуйста без ложной скромности!*

<sup>5</sup> Возможно, здесь мы имеем дело не с особым типом употребления частицы *ну*, а с фразеологической единицей *ну а*, обладающей своей семантикой. Отметим, впрочем, что использование частицы *ну* в этом сочетании вполне соответствует его общей идеи, описанной выше.

<sup>6</sup> Характерно использование *ну* «частичной уступки» в диалогах из романа Солженицына «В круге первом»: (а) «Писем вам нет два месяца». — «Больше трёх, гражданин начальник!» — *робко напомнил Дырсин. «Ну три, какая разница?»*; (б) «Я в эту синюю лампочку когда-нибудь сапогом запузырю, чтоб не раздражала». — «Не попадёшь». — «С пяти метров — чего не попасть? Спорим на завтрашний компот?» — «Ты ж разуваешься на нижней койке, метр добавь». — «Ну, с шестью».

<sup>7</sup> Некоторые предварительные соображения о функциях «хмыканья» и «меканья» были высказаны в работах [Шмелев 1998; Šmelev, Protassova 1998]. Здесь предложенное ранее описание несколько уточняется.

<sup>8</sup> Такое «хмыканье» следует отличать от произнесения фонетически сходного, но функционально совершенно иного звука, иногда также называемого *хмыканьем* и соответствующего «сдавленному смешку» в ситуации, когда полноценный смех или, тем более, громкий хохот не поощряется конвенциями поведения. Такой сдавленный смешок никогда не может быть записан как *хм* или тем более *гм*.

## ЛИТЕРАТУРА

- Баранов, Кобозева 1988 — А. Н. Баранов, И. Кобозева. Модальные частицы в ответах на вопрос // Прагматика и проблемы интенсиональности. М., 1988.
- Веселитский 1965 — В. В. Веселитский. «Упаковочный материал» // Наша речь: Как мы говорим и пишем. М., 1965.
- Дараган 2000 — Ю. В. Дараган. Функции слов-«паразитов» в русской спонтанной речи // Тр. международн. семинара Диалог'2000 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. Т. 1. Теоретические проблемы. Протвино, 2000.
- Дараган 2002 — Ю. В. Дараган. Риторическая структура текста и маркеры порождения речи // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Тр. международн. семинара Диалог'2002. Т. 1. Теоретические проблемы. Протвино, 2002.
- Дараган 2003 — Ю. В. Дараган. Паразитизм или симбиоз: механизм преодоления коммуникативных сбоев и обслуживающие его вербальные средства // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Тр. международн. конференции Диалог'2003. Протвино, 2003.
- Земская 1979 — Е. А. Земская. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М.: Русский язык, 1979.

- Левонтина 1999 — И. Б. Левонтина. Стратегии уговаривания: частицы в повторных просьбах // Язык. Культура. Гуманитарное знание: Научное наследие Г. О. Винокура и современность. М., 1999.
- Николаева 1970 — Т. М. Николаева. Новое направление в изучении спонтанной речи (обзор) // Вопр. языкоznания. 1970. № 3.
- Николаева 1985 — Т. М. Николаева. Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков). М.: Наука, 1985.
- Сиротинина 1974 — О. Б. Сиротинина. Современная разговорная речь и ее особенности. М.: Просвещение, 1974.
- Успенский 1976 — Л. В. Успенский. Культура речи. М.: Знание, 1976.
- Шмелев 1998 — А. Д. Шмелев. Слова-паразиты и их роль в построении дискурса // Русский язык в контексте современной культуры. Екатеринбург, 1998.
- Шмелев 2002 — А. Д. Шмелев. Русская языковая картина мира: материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Hoffmann 1993 — L. Hoffmann. Interjektionen und Responsive. Mannheim: IDS, 1993.
- Šmelev, Protassova 1998 — A. Šmelev, E. Protassova. «Хмыканье» и «меканье» в русской речи // [CD-ROM] Aikalainen. Professori Arto Mustajoki juhlateos. Helsinki, 1998.
- Trillo 1994 — J. R. Trillo. Ahm, ehm, you call it theme?.. A thematic approach to spoken English // Journal of Pragmatics. V. 22. 1994.
- Vasilyeva 1972 — A. N. Vasilyeva. Particles in colloquial Russian. M.: Progress Publishers, 1972.

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

VI.

СЕМИОТИКА.  
МИФ. ОБРАЗ





Д. И. Эдельман (Москва)

## ЕЩЕ РАЗ О СЛАВЯНСКОМ ДИВЕ И ИРАНСКИХ ДЭВАХ

**В** работе «“Слово о полку Игореве”. Поэтика и лингвистика текста» [Николаева 1997] Татьяна Михайловна, рассматривая роль различных персонажей «Слова» — исторических и мифических, принадлежащих к реальному миру и «потусторонним», — останавливается, в частности, на образе Дива и задает трудный, но закономерный вопрос: «Что же на самом деле такое Див?» [Николаева 1997, 52]. Как справедливо указывается [Там же], роль Дива в «Слове» определяется не этимологией его имени, а функциями этого персонажа в сюжете. Рассмотрев далее его функции и место среди других персонажей, Татьяна Михайловна приходит к следующему выводу: в тексте «Слова» Див входит в разряд анимизированных существ, ведущих себя как одушевленные, обладающие активной персонифицированной силой, наряду с такими, как Дева-Обида, Карна, Ж(е)ля [Там же, 56]. Они выступают как «олицетворенные несчастья, вестники и носители беды» [Там же, 59], при этом «Див трактуется то как существо, добро-желательное по отношению к русским, то как нейтральное мифологическое» [Там же, 58]. То есть по сюжету Див выполняет функцию скорее вестника, чем носителя беды; роль его в целом неоднозначна.

Об имени Див и о его образе в «Слове» существует большая литература, как указано и в работе Т. М. Николаевой. Следует отметить, что и этимология этого имени, и функции связанных с ним персонажей в славянских верованиях не всеми исследователями трактуются одинаково. Одни этимологи признают в имени Дива связь с древним славянским названием бога, восходящим к индоевропейскому *\*dei̯uo-s* (обожествляемое сияющее небо; небесный; божество, ясного, сияющего неба), другие отрицают такую преемственность. К тому же в некоторых трудах подчеркивается, что «злое», отрицательное начало соответствующих персонажей в верованиях славян связано с иранским воздействием и что древнерусское *дивъ* в значении ‘злой дух’ заимствовано из персидского языка через тюркское посредство. Обсуждение вариантов этимологии и динамики значения см., например, [Фасмер I, 512; ЭССЯ-5, 35; Иванов, Топоров 1997, 377], там же указана более ранняя литература.

С учетом как дискуссионности этимологии имени, так и неоднозначности трактовки образа данного персонажа, анализ Т. М. Николаевой образа Дива в «Слове» и ее выводы представляют особый интерес для иранистов, поскольку вызывают дополнительные вопросы: Связано ли само имя Див в данном тексте с иранским воздействием? Если да, то в какой период и в каком фонетическом облике оно могло быть услышано славянами от иранцев? Не могут ли характер и функции этого персонажа в «Слове» быть результатом контаминации разных образов: а) исконного, продолжающего образ индоевропейского божества *\*dei̥zo-s*, и б) некоего образа, заимствованного из иранского источника? И если этот образ частично или целиком заимствован из иранской стихии, то не связана ли его неоднозначность с неоднозначностью или не-единственностью его иранских корней?

Последний вопрос диктуется тем обстоятельством, что в случае влияния иранской мифологии на славянскую источниками образа славянского Дива или дивов могли быть разные иранские праобразы, в частности, «официальный» персидский и периферийный диалектный раннескифский, уже не сводимые в периоды иранско-славянских контактов в единый «инвариант».

Рассмотрим те образы Дэва, точнее, дэвов, которые (образы) могли бытывать в иранском мире в эпоху, предшествовавшую созданию «Слова». Намеренно принимаю здесь для иранских персонажей написание «Дэв», «дэвы», чтобы а) не отождествлять их наименования со славянским именем Див (и дивы) и избежать прямолинейного отождествления самих соответствующих персонажей; б) приблизить звучание к реальному фонетическому облику *dew*, фиксируемому в большинстве иранских языков, включая среднеперсидский и классический персидский (из которых последний был хронологически относительно близким к «Слову»), в отличие от современного персидского *diw*.

Как известно, праиранское *\*dai̥ça-* ‘Бог, божество’ восходит — через этап общеарийского *\*dai̥ça-* ‘Бог, божество; небесный’ (ср. древнеиндийское *devá-* — прилагательное ‘небесный’, существительное муж. рода ‘Бог’) — к индоевропейскому *\*dei̥zo-s* ‘Бог, небесный’, этимологически общему с обозначением обожествляемого сияющего неба, дня и т. д. [Pokorny 1959, 183—186]. В дальнейшем с распространением другого иранского названия божества — *\*baga-* (ср. русское ‘Бог’), с торжеством зороастризма и провозглашением верховным божеством *Ahura-Mazda-* — Ахурамазда (буквально ‘Благая Мысль’ или ‘Господь Мудрый’), оценка персонажей, называемых *\*dai̥ça-*, меняется с положительной и / или нейтральной на отрицательную. В письменных памятниках древнеиранских языков в их названиях отражена концепция зороастризма, в рамках которой имена, восходящие к праиранскому *\*dai̥ça-*, обозначали уже ‘дозороастрийское божество’ и далее ‘ложное божество; злое, отрицательное божество; демон, дьявол, дэв (в отрицательном смысле)’. Эта трактовка присутствует в языке Авесты — собрания священных текстов зороастрийцев, создание которого относят согласно последним данным ко II тыс. до н. э. (миссионерская деятельность Заратушты — Зороастра — возводится в разных традициях к 1200 или к 1700 гг. до н. э.). Она же отражена в древнеперсидском языке, известном в основном по царским наскальным надписям

середины I тыс. до н. э. в Древнем Иране, где зороастризм стал государственной религией.

Позднее, с принятием в большей части иранского ареала ислама (в разных его толках), представление о дэвах как о злых духах, злых чудовищах, великанах, людоедах и т. д. закрепилось, и они стали отождествляться, особенно в фольклоре и в литературе, с уже мусульманскими джиннами, демонами и даже с мусульманским дьяволом Иблисом. Так, например, Саади в «Бустане» описывает Иблиса как прекрасного, но несчастного дэва, которого изображают страшным, уродливым и отвратительным; а все потому, как считает дэв, что «калям (тростниковое перо) — в руке врага» (то есть человека), мстящего ему за свое изгнание из рая.

Этимологии этого имени в иранских языках и перемене оценки данных персонажей с положительной и / или нейтральной на отрицательную посвящена обширная литература (см., например, [Абаев 1990, 9 и сл., 22, 43, 47, 81—82], там же ссылки на более ранние работы).

Для нас существенно, что такая переоценка не была глобальной для всего иранского мира. Имеются уже древние свидетельства того, что распространение новой религии — зороастризма — было далеко не гладким и что часть населения Древнего Ирана продолжала поклоняться дэвам (см. «Антидэвовскую» надпись Ксеркса [Абаев 1945]). И, что для нас особенно важно, имеются свидетельства сохранения следов древних верований в дэвов у скифов, остававшихся в основном чуждыми зороастризму [Абаев 1990, 47] (см. также ниже).

О значительно более длительном переживании этих верований в периферийных регионах иранского мира, включая отсутствие негативной оценки образов дэвов, говорят разные свидетельства: лингвистические, этнографические, отчасти также фольклорные. Вместе с тем если древние верования скифов и их потомков — осетин, благодаря, главным образом, трудам Вс. Ф. Миллера, В. И. Абаева, Ж. Дюмезиля, получили относительно широкую известность, то связанные с дэвами народные верования, распространенные в некоторых других регионах на периферии иранского мира, в частности в Средней и Центральной Азии, известны лишь специалистам по этим регионам. Поэтому целесообразно рассмотреть здесь некоторые из этих данных, которые, как представляется, могут помочь прояснить отношение разных ираноязычных народов к образам дэвов.

Вначале несколько слов о лингвистических свидетельствах, известных в литературе. Это в основном этимология отдельных слов (главным образом, производных) и семантика словосочетаний. Этимологические свидетельства того, что основа *\*daiça-* еще сохраняла какое-то время архаичный круг значений, прослеживаются не только в устойчивых сочетаниях в языке Авесты (см. [Mayrhofer 1992, 743], там же более ранняя литература), но и в более поздних иранских языках. Так, в осетинском языке слово *ævdīw / ævdew* — обозначение некоего мифического существа, по мнению В. И. Абаева, восходит к *\*avd-dew < \*hapta-daiça-* ‘семь богов (или демонов)’, что соответствует культу семи богов у осетин, подтверждаемому и другими свидетельствами [Абаев 1958, 199—200]; сходное происхождение имеет и осетинское *Avdīwag* — имя некоего божества в эпосе или обозначение благих

существ, небожителей — из \**hapta-daiça-ka-* [Абаев 1958, 84; 1990, 43]. Основа \**daiça-* с архаичным значением ‘небо, небесный’ отражается в согдийских сло-вах: *dēwāk* ‘небесный, голубой’, *dēw-yōt* ‘небесного цвета, голубой’ [Gharib 1995, 150—151]. Подробнее об этих и других этимологических свидетельствах см. также [Расторгуева, Эдельман 2003, 306—310; Эдельман 2002, 162—164]. Следует оговориться, однако, что часть таких производных слов и словосочетаний не столь показательна, поскольку может представлять застывшие рудименты очень ранних образований, включая доиранские.

Более интересны свидетельства живых «малых» бесписьменных иранских языков Средней Азии, где рефлексы \**daiça-* встречаются в относительно новых сочетаниях, в том числе включающих поздние заимствования — в основном из современного таджикского языка. Зафиксированные сочетания обозначают нечто особенное (удивительное, ценное, крупное и т. д.) и при этом не имеют пейоративного оттенка. См., например, в ягнобском языке (потомке одного из согдийских диалектов, распространенному в долине Ягноба, в горах центральной части Таджикистана, входившей некогда в древнюю Согдиану) сочетание, составленное из заимствованных слов: *dewi tayoq/k*, буквально ‘посох дэва’ — название лекарственного растения (*Verbascum sp.*); в язгулямском языке (бесписьменный язык, на котором говорят в одной из долин Западного Памира) сочетание исконных слов: *diwi wadār*, буквально ‘ревень дэва’ — название сорта ревеня (*wadār* ‘ревень’); в ваханском языке (в долине Южного Памира) сочетание слов, заимствованных из разных источников: *liw čarx*, буквально ‘прялка дэва’ — название прялки для козьей шерсти (толстого, крупного прядения — для шнурков, веревок).

Однако наибольший интерес в этом плане представляют сведения этнографического характера. Они особенно наглядно показывают, что не во всех регионах иранского мира образы дэвов стали однозначно ассоциироваться с отрицательным началом и что «официальная» отрицательная трактовка дэвов в части окраинных областей и в древности, и в значительно более поздние эпохи так и не была принята. Отдельные явные следы этого неприятия прослеживаются поныне. В народных верованиях, во всяком случае, у ираноязычного населения Средней Азии дэвы трактуются как сверхъестественные персонажи, которые могут быть и «положительными» и «нейтральными» по отношению к человеку. Это свидетельствуется на протяжении всего XX в., несмотря на неодобрение официального ислама (а начиная с первой половины XX в. также гонения со стороны «воинствующего атеизма»).

Рассмотрим некоторые элементы народных верований этого региона, связанные с дэвами.

Наиболее интересны в этом аспекте представления о дэвах в горных областях, которые в течение длительного времени были труднодоступными для внешнего проникновения, в частности, в горных районах Таджикистана, особенно в долинах Западного Памира и в долине Ягноба. Здесь, если исключить фольклорные сюжеты (о них будет сказано ниже), согласно собственно местным верованиям, дэвы могут быть и благожелательны к людям, могут помогать им, могут покровитель-

ствовать тем или иным хозяйственным занятиям. Дэвы бывают мужского или женского пола. Их отношения с другими сверхъестественными персонажами — пэри, а также с людьми носят непростой характер; при конфликтах дэвов с пэри люди обычно выступают на стороне последних. При этом однако не исключены и браки между дэвами и пэри, дэвами и людьми, пэри и людьми.

В данных областях Средней Азии (а также в Афганистане, Иране, Турции) особенно выделяется персонаж, называемый по-таджикски *Деви Сафед* — Дэви Сафед, буквально ‘Белый Дэв’ и / или ‘Белая Дэв’. В большинстве поверий это женщина-дэв, покровительница прях, среднеазиатский аналог Параскевы-Пятницы, по определению известного этнографа Средней Азии М. С. Андреева (см. [Андреев 1927]). Ей посвящена пятница, и в этот день не прядут (иначе она почувствует сильную боль).

Из таджикского языка это имя *Деви Сафед* заимствовано в ряд местных языков, в частности, именно это название бытует в Язгуляме, в Ягнобе и в соседних с ними местностях (однако в Ягнобе встречается также собственно ягнобский эквивалент *sipita dew* ‘Белый Дэв’). Ее называют в разных местах также *bibi* — Биби, буквально ‘бабушка, пожилая женщина’ с добавлением названий посвященных ей дней недели или с определением ‘пряха’ и т. п. В некоторых языках Памира она называется также просто «пряха»; в долине Хуф (Западный Памир) также *čarx-žibēcak* ‘пряха на прядильном колесе’, *bibi-žibēcak* ‘бабушка-пряха’.

Наблюдаются незначительные местные различия в представлениях о функциях и внешнем виде этого персонажа.

Обычно Дэви Сафед представляется в виде светлой женщины, одетой в белое. В разных местностях вид женщины варьирует в частностях: она может быть старой или молодой, очень высокой (в Ягнобе) или обычного роста (в Язгуляме), однако инвариант — светлая, чистая, добрая женщина в белом — присутствует всюду. В Ягнобе подчеркивается также ее радостный, светлый характер. На Памире считается, что она не только покровительствует пряхам, но иногда ночью сама прядет для них (в доме слышится звук вращающегося прядильного колеса), и если какая-нибудь женщина рано утром успеет найти ее ночную пряжу, то станет искусной пряхой [Андреев 1958, 209—210] и т. д. По «свидетельствам» информантов в Язгуляме, она любит молоко (как символ белого?), и, если ей оставить на ночь лепешку и немного молока, она будет особенно благожелательна, станет еще больше помогать пряхам, увеличивать количество спрятанного.

В Язгуляме имеются также сведения о мужском образе с этим же названием — покровителе мельничного дела, «Хозяине мельницы».

В Ягнобе, кроме того, считается, что Белый Дэв вообще приносит человеку удачу во всех благих делах (ср. ягнобское выражение: *Dewi Safet-tast: ark darraw bud avu* ‘У тебя [в покровителях] Белый Дэв: [твое] дело быстро исполнилось’) [Андреев 1925, 177], хотя особенно благоволит честным, хорошим женщинам: у них хорошо удаётся пряжа (ее много и она хорошего качества), хорошо доится скот, из молока получается много масла. У человека, которому покровительствует Белый Дэв, всегда много муки, и запасы ее не кончаются и т. п. (см. [Андреев

1970, 168—170] — публикация материалов, собранных М. С. Андреевым в 1927—1928 гг.).

Характерно, что практически все ее «подарки» людям — белого цвета или, во всяком случае, светлые. Она сама может превращаться в белые или светлые предметы или животных (например, в фитиль, вату, козленка), но с ними надо быть осторожным, чтобы не вызвать ее гнев или не быть похищенным ею.

Подробнее об образах дэвов в этом регионе см. также [Литвинский 1981, 96—101], там же обширная литература.

Тот факт, что дэвы как персонажи народных верований так и не стали восприниматься как отрицательные божества, демоны, злые духи и т. п., этнографы отмечали уже давно. Как справедливо утверждал еще в 20-е гг. ХХ в. М. С. Андреев: «Приходится отметить большую неясность и неотчетливость в образе дива в таджикских верованиях, что вполне становится понятным, если мы примем во внимание древнеарийское значение этого слова, обозначавшее “божество”... На пространстве Ирана (имеется в виду ареал распространения иранских языков и ираноязычных народов. — Д. Э.) при враждебном отношении последовавших религий, вероятнее всего маздеизма, к божествам прежней веры, последние, вместо представления о них как о добрых, хороших божествах, носителях чистоты, добра, были превращены, как часто бывает на почве борьбы верований, в образы демонов, дьяволов. Эта прежняя роль таджикских дивов совершенно понятна. Но так как в прежних, первоначальных ступенях дивы, очевидно, были разных категорий, то их различные функции, атрибуты и ореолы не могли не отразиться сбивчиво на общем характере теперешнего дива...» И далее: «...образы персидских книжных представлений о дивах, как диких, грубых великанах, вооруженных вырванными ими с корнями деревьями, мало подходят к обычному характеру народных таджикских представлений» [Андреев 1925, 176—177].

Интересно при этом, что в фольклоре, в частности в волшебных сказках, «злое» начало дэвов выступает значительно чаще, чем в народных верованиях, что в немалой степени связано с «бродячими сюжетами», «официальной» трактовкой образов дэвов и с традициями ислама, отраженными в большинстве сказок. Так, в волшебных сказках, которые рассказываются в Средней Азии в этой же среде, дэвы обычно предстают злыми великанами, страшными чудовищами и т. п., то есть являются элементами другой, «официальной» системы. В этой системе тоже имеются разновидности дэвов (наиболее характерны названия дэвов по цвету: Черный Дэв, Красный Дэв и др.), однако все они выступают как враждебные людям. К этой же «официальной» системе принадлежит здесь и злой Белый Дэв, отраженный в сказках и описанный в поэме Фирдоуси «Шах-наме» как враг, чудо-вище-мучитель, с которым сражается герой поэмы Рустам.

Иногда, однако, местные верования проникают и в сказки. Так, в сказках некоторых областей равнинного Таджикистана (и это отразилось также в заимствованных сюжетах узбекского фольклора) дэвы, как и драконы<sup>1</sup>, могут быть благожелательны к людям, могут помогать героям; люди могут обманывать дэвов, могут и сосуществовать с ними и т. д. Иными словами, в местном фольклоре наш-

ли отражение образы дэвов обеих систем — «официальной» и народной. (В связи с этим положение В. Я. Проппа о следах древних верований в волшебной сказке может быть уточнено: из числа этих сказок приходится исключать такие, сюжеты которых были привнесены из другой культурной среды или подверглись вторичной «коррекции» в соответствии с более поздними верованиями.)

Таким образом, дэвы не стали однозначно воплощениями отрицательного начала, злыми духами для всех ираноязычных народов. В окраинных ареалах иранского мира, на периферии государственных религий долгое время сохранялись (а в некоторых местах, как в горах Средней Азии, сохранились поныне) народные верования, в которых продолжают фигурировать различные дэвы. Эти «народные» дэвы живут сами по себе, составляя свою отдельную систему (как и пэри, драконы и др.). Эта система не монотеистична. Разные дэвы не представляют ни верховного божества, ни его антипода; в этом «многодэвье» они наделены различными — каждый своими — функциями. Определить их однозначно со знаком «плюс» или «минус», то есть как «добрых» или «злых», невозможно. Дэвы могут выступать по отношению к человеку различно: они могут быть доброжелателями, помощниками или, наоборот, недоброжелателями, врагами, в зависимости от поступков людей; разные люди могут быть угодными или неугодными им и вызывать соответствующую реакцию и т. д.

И если в образах славянского Дива (или дивов) и других сходных персонажей действительно имеется иранская составляющая, то приходится учитывать, что в контактах со славянским миром (или с разными его представителями) могла проявиться не только «официальная» персидская трактовка образов Дэва (или дэвов) как злого начала, но и периферийная, в том числе степная — раннескифская, бытавшая среди иранских племен Открытого пространства, Степи, с которой контактировали в тот период и славяне, и тюрки, то есть та трактовка, в которой дэвы (не единый Дэв, ср. скифо-осетинское «Семибожье») не были однозначно отрицательными в своих проявлениях по отношению к людям.

### ПРИМЕЧАНИЕ

<sup>1</sup> О гостеприимстве и доброте драконов см., например, [Эдельман 1998]. Ср. также сюжет афганской сказки, где ужасный гигантский дракон окружает и берет в плен царя и его семью, но делает это с единственной и отнюдь не людоедской целью: дракона мучают забравшиеся к нему в нос бабочки, и он хочет послать младшего из царевичей к волшебнице Гульхандон, чтобы он ее рассмешил. Когда она смеется, из ее уст сыплются цветы, а дракон надеется, что аромат этих цветов привлечет бабочек и они оставят его в покое [Афганские сказки 1972, 21—27].

### ЛИТЕРАТУРА

- Абаев 1945 — Абаев В. И. Антидэвовская надпись Ксеркса // Иранские языки. И. М.; Л., 1945.  
 Абаев 1958 — Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.; Л., 1958.

- Абаев 1990 — Абаев В. И. Избранные труды: Религия, фольклор, литература. Владикавказ, 1990.
- Андреев 1925 — Андреев М. С. По этнографии таджиков: Некоторые сведения // Таджикистан: Сб. статей (с картой) / Под ред. Н. Л. Корженевского. Ташкент, 1925.
- Андреев 1927 — Андреев М. С. Средне-Азиатская версия Золушки (Сандрильоны). Св. Параскева-Пятница. Диши-и Сафед // По Таджикистану. Ташкент, 1927.
- Андреев 1958 — Андреев М. С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи). Вып. II / Подгот. к печати и снабжен замеч. и доп. А. К. Писарчик. Сталинабад, 1958.
- Андреев 1970 — Андреев М. С. Материалы по этнографии Я gnоба (записи 1927—1928 гг.) / Подгот. к изд. и ред. А. К. Писарчик. Душанбе, 1970.
- Афганские сказки 1972 — Афганские сказки и легенды / Пер. с пушту. М., 1972.
- Иванов, Топоров 1997 — Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Див // Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. I. А—К. М., 1997.
- Литвинский 1981 — Литвинский Б. А. Семантика древних верований и обрядов памирцев // Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье (история и культура). М., 1981.
- Николаева 1997 — Николаева Т. М. «Слово о полку Игореве»: Поэтика и лингвистика текста; «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., 1997.
- Расторгуева, Эдельман 2003 — Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Т. 2. М., 2003.
- Фасмер 1964 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I (А—Д). М., 1964.
- Эдельман 1998 — Эдельман Д. И. Из иранско-европейских параллелизмов (К типологии поздних сюжетов) // ПОЛУТРОПОН: К 70-летию В. Н. Топорова. М., 1998.
- Эдельман 2002 — Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки: Исторические отношения. М., 2002.
- ЭССЯ-5 — Этимологический словарь славянских языков (праболгарский лексический фонд). Вып. 5 / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1978.
- Gharib 1995 — Gharib B. Sogdian Dictionary: Sogdian-Persian-English. Tehran, 1995.
- Mayrhofer 1992 — Mayrhofer M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Lieferung 10. Heidelberg, 1992.
- Pokorny 1959 — Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd I. Bern, München. 1959.

Т. Я. Елизаренкова (Москва)

## ЗАМЕТКИ ОБ ИМЕНИ В «РИГВЕДЕ»\*

**И**мя в древнеиндийской традиции, особенно имя собственное, занимает совершенно особое положение. Тема имени разрабатывается в философских системах (веды, упанишады, буддизм и проч.), входя в состав различных оппозиций: имя — носитель имени, имя — форма, имя — дхарма, и всегда имени принадлежит высший уровень в иерархии. В этом отношении др.-инд. традиция заметно выделяется в индоевропейской культурной общности.

Др.-инд. имени посвящено специальное исследование Я. Гонды [Gonda 1970], где собран обширный материал, особенно по ведам. Но в этой книге нет строгого разграничения между разными периодами др.-инд. традиции, не делается попытки проследить историческое развитие понятия имени. Между тем было бы важно выяснить, с какой системы взглядов на имя начиналась эта традиция, а началом ее, как известно, является «Ригведа» (РВ).

Цель настоящего сообщения — проанализировать в синхронном плане с помощью лингвистических и филологических методов, как функционирует имя в РВ<sup>1</sup>.

Сначала же надо сказать несколько слов об общих представлениях ведийцев по поводу имени. Во времена РВ считалось, что связь имени с его носителем не случайна [Gonda 1970, 7 сл.]. Имя отражает суть денотата, будь то живое существо или неодушевленный предмет. Это относится в равной мере к имени собственному и нарицательному — различия между тем и другим не делалось, и оба обозначались одним и тем же словом *nāman-*. Без имени не может быть денотата, имя с денотатом отождествляется.

Имя представляется как такая внутренняя самостоятельная сущность, которая может быть проявлена, а может и нет. Имя бога было сакрально, так как оно выражало его божественную сущность (*devatva*). Все сакральное тайно, его надо уметь найти, познать и сделать проявлением, что было доступно лишь мудрым риши, при этом и они могли приоткрыть завесу лишь отчасти.

Вера в то, что имя есть суть его носителя, давала простор для магических манипуляций. Считалось, что произнесение имени бога обладает большой креативной силой: оно дает возможность произносящему приобщиться к божественной природе бога, овладеть им, добиться от него исполнения своих желаний. Оно являет-

\* Английский вариант этой статьи в печати в «*Indologica Taurinensis*».

ся одной из разновидностей того акта, который в дальнейшем получил название «произнесения истины» (*satyakriyā*).

Древним ядром РВ является космогония [Кёйпер 1986, 51]. Поскольку имя создает его носителя, наречение именем принадлежит к космогонической сфере и рассматривается как акт создания вселенной и ее элементов. На основании текстов гимнов РВ нельзя дать однозначный ответ на вопрос, кто является демиургом, дающим имена. Ответы бывают разные. В поздней мандале X в качестве такого демиурга назван абстрактный бог, творец Вишвакарман (*viśvakarman* — букв. ‘создатель всего’) — X, 82. Но в другом месте той же мандалы говорится, что это древние поэты-риши создали Священную Речь, дали имена вещам и тем самым сделали тайное явным — X, 71. Наконец, в разных местах РВ неоднократно упоминается, что боги своими подвигами создали свои имена, т. е. привели себя в соответствие с именем. Постигнуть тайну имени до конца нельзя, истина приоткрывается людям лишь отчасти, как это имеет место в отношении Священной Речи — Вач вообще.

В свете этих общих идей и следует трактовать функционирование существительного *nāman*- п. в РВ. Оно встречается в гимнах 117 раз. В «Большом Петербургском словаре» значения этого слова даны в такой последовательности: 1) отличительный признак, примета; форма проявления (*Erscheinungsform*), форма, образ действий (*Art und Weise*, *modus*; 2) имя, обозначение; 3) имя собственное; 4) имя родовое и т. д. (остальные значения относятся к более позднему периоду) [Böhlingk, Roth 1865, 4. Th. 112—114]. Как видно из этого перечня, слово *nāman*- обладает весьма широким кругом значений, заметно превышающим объем значений этого слова в современных западных языках<sup>2</sup>.

Парадигма существительного *nāman*- представлена тремя падежами: N. (28 раз), Acc. (80) и Instr. (9) в ед. и мн. ч. (двойств. нет). Ед. число преобладает, но при этом следует отметить, что так как существительное *nāman*- среднего рода, то форма ед. ч. *nāma* является формой нейтрализации оппозиции по числу, и может иметь значение как ед., так и мн. числа.

Особенность употребления N. заключается в том, что эта граммема падежа встречается преимущественно в именных предложениях — 23 раза из 28. При *nāman*- подлежащем сказуемое может быть выражено причастием, числительным, прилагательным, например II, 27; 15 и V, 37, 4: *subhágo náma rúṣyan* ‘Он (зовется) счастливым, процветающим’ (букв. ‘[Его] имя — счастливый, процветающий’) или III, 20, 3: *ágne bhūrīṇi táva jātavedo | déva svadhāvo 'mṛtásya náma* ‘О Агни, много у тебя, бессмертного, имен, о Джатаведас, бог самосущий’. Сказуемое может быть выражено также существительным, например III, 54, 16: *násatya te pitára bandhupr̥chā | sajātyām aśvínos cárū náma* ‘Оба Насаты — мои отцы, спрашиваемые о родстве. Общее рождение с Ашвинами — приятный признак’ или VI, 75, 8: *havír asya náma* ‘(Повозка) для жертвы — ее имя’. В подобных именных предложениях предикатом обычно считается имя, занимающее первое место.

N. *náma*, *námanī* употребляется также в роли подлежащего при сказуемом, выраженном глаголом-связкой *as-* ‘быть’. Например, V, 44, 2: *paró māyābhīr ṛtā āsa*

*náma te* ‘Имя твое (всегда) было за пределами колдовских сил, (в лоне) закона’ или X, 54, 4: *catvāri te asuryāṇi náma | -ádābhýāni mahisásya santi* ‘Четыре асурских имени, не поддающихся обману, есть у тебя, быка’. С глаголом *as-* употребителен и предикативный N. от *náman-*, например IV, 58, 1: *úpāmśínā sám amṛtavám āna | ghrtásya náma gúhyam yád ásti* ‘С сомой она приобрела свойства амриты, что есть тайное имя жира’ («она» — медовая волна).

Несколько раз N. от *náman-* является подлежащим при сказуемом с пассивным значением. Например, аог. pass. в I, 57, 3: *yásya dháma śrávase námendriyám | jyótir ákári harító náyase* ‘...чья природа, имя Индры создана для славы как свет, подобно тому как буланые кобылицы — для бега’ или причастие с пассивным значением в I, 164, 3: *saptá svásáro abhí sám navante | yátra gávám nihitā saptá náma* ‘Семь сестер приветствуют криками (ту), на которой сложены семь имен коров’<sup>3</sup>. Из контекстов следует, что глагольные формы выражают здесь состояние.

Один раз N. от *náman-* входит в состав предикативной конструкции с глаголом, не являющимся связкой и не имеющим пассивного значения — II, 35, 11: *tád asyāñikam utá cárū náma | -apīcuyám vardhate náptur apátm* ‘Этот его лик и милое тайное имя Апам Напата возрастает (у бога)’. Имя здесь явно идентифицируется с физической формой бога (ср. одно из значений *náman-* в словаре Бётлинга-Рота). Об Индре, например, не раз говорится в гимнах, что и от сомы, и от хвалебных песен он крепнет и возрастает — ср. X, 94, 9: ...*papiván somyám mádhv | indro vardhate práthate vrśayáte* ‘...выпив сладость сомы, Индра растет, распространяется вширь, мучает’.

Употребление существительного *náman-* в N. свидетельствует о том, что в значении «имя» оно не рассматривается как активный субъект, совершающий действия. Это самодовлеющая, самодостаточная сущность, которая понимается как некая данность — она просто имеет место.

Типичной для *náman-* в N. является конструкция с именем собственным. Оба члена этой конструкции: пом. рг. и *náman-*, представлены N., а сама конструкция может быть слабо связана с синтаксисом соответствующего предложения, входя в его состав как своего рода приложение или даже вводное предложение. Вот некоторые примеры — II, 20, 6: *sá hí śrutá indro náma devá | ūrdhvó bhuvan mánuse dasmálatah* ‘Этот самый бог, прославленный под именем Индры, поднялся ради человека, самый удивительный’ (букв. ‘этот самый бог, [N.], прославленный — имя [N.] Индра [N.] — поднялся...’); III, 26, 7: *ájasro gharmó havír asmi náma* ‘Неистощимый жар, жертвенное возлияние — (вот что) я по имени’ (букв. ‘...жар [N.], возлияние [N.] я есмь имя [N.]’). Рену переводит это место так: «...inépuisable chaleur, offrande, (voilà ce que) je suis quant au nom» [Renou EVP XII, 67], а в комментарии замечает, что именно благодаря подобным текстам произошло развитие адвербиального значения «действительно» у *náman-*, которое засвидетельствовано, начиная с Атхарваведы [Renou EVP, XII, 125]. Ряд словарей (Бётлинг и Рот, Грассман) ошибочно приписывают это значение *náman-* языку РВ.

В функции имени собственного в таких конструкциях могут иногда выступать имена нарицательные. Поскольку считается, что имя передает характерные чер-

ты его носителя, подобное употребление в гимнах достаточно распространено. Например, в гимне-восхвалении лекарственных трав встречаются следующие строки — X, 97, 9: *iṣkṛtir nāma vo mātā | -átho uyyām stha niṣkṛtiḥ* ‘Исцеление’ по имени ваша мать, а вы (сами) — излечения’ и в последней паде этого стиха поясняется: *yád ātmyati nīṣ kṛtha* ‘Что болит, (то) вы излечиваете’. Или же напев ратхантара, который риши Васиштха принес от богов, характеризуется так — X, 181, 1: *práthaś ca yásya sapráthaś ca nāma* ‘Чье имя «распространение» и «далеко распространенный»’. Кстати, входя в состав относительного придаточного предложения, эта конструкция включается в него с помощью релятивного местоимения *yá-* ‘который, чей’. Например, X, 61, 14:

*bhárgo ha nāmotá yásya deváḥ  
svār ná yé triṣadhadhasthé niṣedúḥ |  
agnir ha nāmota jātávedéḥ  
śrudhi no hotar ḥtásya hótādhruúk ||*

‘Чье имя — «блеск», а также «боги» — (те), что сидят на тройном месте (жертвы), как (солнце) на небе, (чье) имя — «Агни», а также «Джатаведас» — услышь нас, о хотар, как благосклонный хотар жертвоприношения!'

Acc. является самой употребительной граммемой падежа в парадигме *nāman-* (80 раз). Обычное грамматическое значение его — обозначать прямой объект при переходных глаголах. Лексическое значение этих глаголов помогает уточнить семантический объем существительного *nāman-*.

Чаще всего с Acc. от *nāman-* употребляется глагол *dhā-* ‘устанавливать’, ‘создавать’, ‘ставить’, ‘класть’ (17 раз). Это «тетический» глагол, принадлежащий к сфере космогонии. В сочетании с *nāman-* этот глагол употребляется в активном и в медиальном залоге. В активном залоге *dhā-* значит устанавливать имя, т. е. создавать его денотат, а денотатами являются элементы мироздания и божественный статус. Например, I, 155, 3: *dádhāti putró 'varam páram pitúr | nāma tṛtīyam ádhi rocané diváḥ* ‘Сын устанавливает посюстороннее (и) потустороннее (имя) отца, третье имя (он помещает) на светлом пространстве неба’. Речь здесь идет о трех космических шагах Вишну, которыми он создает вселенную. Имена — это названия трех шагов, причем третий шаг на светлом пространстве неба — высшее, тайное имя. Сын — Вишну, отец — небо. Сходный мотив засвидетельствован в отношении Сомы-Паваманы в IX, 75, 2: *dádhāti putráḥ pitrór apícyām | nāma tṛtīyam ádhi rocané diváḥ* ‘Сын дает тайное имя двоим родителям, третье (принадлежит) светлому пространству неба’. Здесь под именами подразумеваются те стадии, которые Сома проходит в процессе приготовления амриты. Сын — Сома, родители — Небо и Земля. В приведенных примерах творцами вселенной являются боги, так как они дают имена.

В РВ есть также два контекста, в которых говорится, что имена дают риши, но они дают их богам, укрепляя их в божественном статусе, — V, 3, 10: *bhūri nāma vánḍamāno dadhāti | pitā vaso yádi tāj joṣáyāse* ‘Многие имена дает (тебе), прославляя, отец, о Васу, если ты наслаждаешься этим’. Васу — бог Агни, его

отец — жрец-риши, который его зажигает и поддерживает (в других контекстах его могут называть и сыном Агни, поскольку он нуждается в его поддержке и защите). X, 49, 2: *māt̄ dhur indram nāma devatā | divás ca gmás cāpāt̄ ca jantávah* ‘Меня причислили к богам под именем Индры дети неба и земли и вод’, т. е. боги и люди. Здесь интересна синтаксическая конструкция, в которой *dhā-* управляет тремя Acc. — букв. ‘меня установили как Индру — имя среди богов’.

Во всех остальных случаях глагол *dhā-* в конструкции с *nāman-* бывает в медиальном залоге. Типичной здесь является ситуация, когда бог совершает подвиги или какие-то характерные для него действия и тем самым приобретает себе имя, иным словами, приводит свое поведение в соответствие с именем. Например, VI, 48, 21: *...tvesām̄ śávo dadhire nāma uajñiyam̄ | marúto vṛtrahám̄ śávo jyéṣṭham̄ vṛtrahám̄ śávah* ‘Страшную силу, имя, достойное жертв, приобрели Маруты, силу, убивающую врагов, лучшую силу, убивающую врагов’ — и именно эта сила является именем Марутов, достойным жертв. IX, 92, 2: *áchā nṛcákṣā asārat pavitre | nāma dādhānah kavir asya yónau* ‘Он потек, (бог) со взглядом героя, в цедилке, принимая (свое) имя, поэт, на своем лоне’. Сок Сомы становится напитком богов, приобретая особое качество, т. е. имя, когда он проходит, очищаясь, через цедилку. I, 123, 4: *gṛhám̄-gṛham̄ ahanā yāty áchā | divé-dive ádhi nāma dādhānā* ‘Из дома в дом идет она, несокрушимая (?), изо дня в день принимая разные имена’. Рену это комментирует так: «Ушас каждый день располагает имена..., а это означает, что каждый день она создает новые структуры, принимая на себя (как считается) новые имена без конца» [Renou EVP III, 57].

Сочетание глагола *man-* ‘думать’ с Acc. от *nāman-* значит «сосредоточиться на имени», тем самым овладевая его носителем (встречается 8 раз). Рену передает значение *man-* в этом сочетании как «*invoquer mentalement*» [Renou EVP IV, 118], Гонда как «*evoking; calling up*» [Gonda 1970, 91]. Субъектом этого действия всегда бывает риши, а имя принадлежит богу. Это мысленное действие в РВ приравнивалось по своим результатам к жертвоприношению. Например, I, 24, 1: *kásya nūnát̄ katamásyām̄tānām̄ mánāmahe cárū devásya nāma* ‘Милое имя какого бога, которого из бессмертных мы сейчас призовем?’ (или: ‘на имени какого бога мы сейчас сосредоточимся, чтобы его вызвать’). В стихе 2 поясняется, что сосредоточиться следует на имени Агни. VIII, 11, 5: *mártā ámartyasya te | bhūri nāma manāmahe* ‘Смртные, мы вызываем в памяти многие имена у тебя бессмертного’ (имена Агни). Глагол *man-* в этом сочетании всегда представлен формой множ. числа — речь идет об адептах, взывающих к богу (или об их предках, например, певцах-Ангирасах, сосредоточившихся на тайных именах священной Поэтической Речи и благодаря этому освободивших коров из скалы Вала, — IV, 1, 16):

Глагол *bhar-* ‘носить’ в сочетании с Acc. от *nāman-* значит «носить имя», иметь имя, т. е. называться (встречается 7 раз). Носителем имени обычно бывает бог, имен он может носить много, и каждое должно соответствовать определенной черте его характера. Например, I, 103, 4: *kírtényam̄ maghávā nāma bíbhrat | upaprayán dasyuhátyāya vajrī | yád dha sūnūḥ śrávase nāma dadhē* ‘Нося достойное хвалы имя «Щедрый», выходя на убийство дасью, громовержец приобрел имя «Сын славы».

Это соответствие является основой для «ношения имени», и если носитель имени совершает подвиги, характерные для какого-то другого бога, то он должен носить его имя. Так о Соме-Павамане, когда он очистился, пройдя через цедилку, и смешался с водой, став амритой, вдохновляющей на героические деяния, говорится следующее — IX, 109, 14:

*bibharti cārv īdrasya nāma  
yēna viśvāni vṛtrā jaghāna ||*

‘Он носит милое имя Индры, благодаря которому он разбил все препятствия’.

Следует отметить, что при наличии нескольких имен высшие имена всегда являются тайными, и не только сам носитель «носит» их в тайне, но и тем более adeptы этого бога не должны их произносить. Ср., например, как бог Варуна наставлял риши Васиштху в VII, 87, 4: *triḥ saptā nāmāghnyā bibharti | vidvān padāsyā gūhyā nā vocad* ‘Трижды семь имен несет корова. Кто ведает знак (имени), пусть произносит их как сокровенные’, где корова является символом священной Поэтической Речи.

Есть в РВ контексты, когда *nāma bhar-* можно трактовать как действие, осуществляемое в пространстве. Например, в V, 30, 5 об Индре говорится, что он родился как высший, *parāvāti śrūtyam nāma bibhrat* ‘унося вдали (свое) имя, достойное славы’. А в IX, 99, 4 о Соме сказано так: *utō kṛpanta dhītāyo | devānām nāma bibhratiḥ* ‘И также стремятся (к нему) поэтические мысли, несущие имя богов’. Субъект *bhar-* в сочетании *nāma bhar-* здесь тоже необычен.

Сочетание глагола *kar-* ‘делать’ с Acc. от *nāman-* значит «создавать имя» (встречается 4 раза). *Nāma kar-* весьма близко по значению к *nāma dhā-*. Важное различие однако заключается в том, что *nāma kar-* не относится к области космогонии. Это сочетание означает, что бог своими действиями создает себе имя, свой облик, но не значит, что бог наделяет именами элементы мироздания, что характерно для *nāma dhā-* act. Например, I, 108, 3: *cakrāthe hi sadhryān nāma bhadrām | sadhrīcīnā vṛtrahanā utā sthāḥ* ‘Ведь вы вместе создали себе счастливое имя — вместе вы стали оба убийцами Вритры’ (к Индре и Агни). То же значение имеет *nāma kar-* и в остальных трех случаях: III, 5, 6; I, 161, 5; VIII, 80, 9. Один раз глагол *kar-* в пассиве употребляется в качестве сказуемого при подлежащем *nāma-* в N. (см. I, 57, 3 на с. 2). И в этом контексте тоже речь идет не о космогонии, а о том, как было создано имя самого бога. Можно сказать, что сочетание *nāma kar-* синонимично с *nāma dhā-* med. ‘приобретать имя’, но не с *nāma dhā-* act. ‘устанавливать имя’. При этом *kar-* употребляется как в med., так и в act.

Глагол *jan-* ‘рождаться; порождать’ в сочетании с *nāman-* ‘порождать имя (бога); вызывать его к жизни’ встречается дважды. Оба раза мифологические персонажи создают себе имена. IX, 86, 20: *tritāsyā nāma janāyan mādhu kṣarad* ‘Порождая имя Триты, он струит мед’. Речь идет о соке Сомы в ритуале приготовления амриты; когда он проходит через разные стадии. Рену в комментарии поясняет, что здесь ‘имя’ означает «личность» (personalité). Создается впечатление, замечает Рену, что Трита здесь является заменителем небесного Сомы, неким третьим, как гово-

рят о третьем этапе приготовления напитка [Renou EVP IX, 97]. Другой контекст с *náma jan-* элементарен: Гандхарва, подобно солнцу, создает себе свои любимые имена — X, 123, 7. Ни тот ни другой контекст к космогонии отношения не имеют. Сочетание *náma vid-* (*vétti*) ‘знать имя’, засвидетельствованное 5 раз, означает власть над носителем имени, поскольку известны тем самым его характерные черты, происхождение и проч. Например, X, 45, 2 об Агни: *vidmā te náma paramātī gúhā yád | vidmā tám útsam yáta ájagántha* ‘Мы знаем твое высшее имя, которое в тайне. Мы знаем тот источник, откуда ты пришел’. Субъект действия — адепты, имя принадлежит богу. Один раз субъектом оказывается жертвенный столб, представляющий интересы адептов, — V, 5, 10. Но субъектом может быть и бог, «знающий имена коров», что означает тайны священной Поэтической Речи — Варуна в VIII, 41, 5; Сома в IX, 87, 3; Агни в X, 169, 2 (см. [Гринцер 1998, 33]).

Поскольку высшие имена всегда бывают тайными, их надо найти — *náma vid-* (*vindáti*). Это сочетание встречается в РВ дважды. Находят их Сома — IX, 87, 3 и Гандхарва — X, 123, 4.

Группа глаголов говорения и устного восхваления управляет Acc. от *náman-*. Это глаголы: *hū* ‘призывать’ (3 раза), *gir-* ‘воспевать’ (3), и по одному разу *brū-* ‘произносить’, *prá brū-* ‘восхвалять’, *vac-* ‘говорить’, *prá vac-* ‘проводглашать’, *prá śams-* ‘прославлять’, *gā-* ‘петь’. Дело в том, что за произнесением вслух имени божества признавалась большая креативная сила. Отсюда и обилие глаголов, принадлежащих к данному семантическому полю.

Субъектом, произносящим или прославляющим имя-бога, всегда является его адепт: поэт-риши, жрец. Имя бога нередко открыто приписываются свойства его носителя. Например, II, 33, 8: *gr̥imási tvesám̄ rudrásyā náma* ‘Мы воспеваем буйное имя Рудры’ — буйным является собственно Рудра, а не его имя. IV, 58, 2: *vayátm̄ náma prá bravátm̄ ghṛtásya | -asmín uajñé dhārayátm̄ námobhiḥ* ‘Мы хотим провозгласить имя жира. На этом жертвоприношении мы хотим удержать (его) поклонениями’. Жир здесь — мистическая субстанция. Это не только жертвенное масло, которое льют в костер, но и символ Сомы, а также Поэтической Речи. За словом *náman-* в этом гимне кроется игра денотатами. Удержать же, как сказано в стихе 2, хотя Сомы.

Глагол *par-* (*píparti*) ‘наполнять’, управляя Acc. от *náman-*, означает «заполнять имя» (встречается 2 раза). Имеется в виду, что имя как высшая ценность существует само по себе, а божество своими поступками должно привести свою личность в соответствие с именем. Например, X, 73, 8: *tvám̄ eláni papṛṣe ví náma | iśāna indra dadhiṣe gábhastau* ‘Ты заполнил все эти имена. Как власть имеющий, о Индра, ты несешь их в руке’. X, 74, 6: *yád vāvána purutámat puraṣáḥ | á vṛtrahéndro námanu apráḥ* ‘Так как этот от века побеждавший добился очень многоного, убийца Вритры-Индра заполнил (многие) имена’.

Такова ситуация с именами богов. Если же речь шла об именах врагов, то их следовало *grabh-* ‘захватить’, *tiṣāy-* ‘отнять’, *áva kṣṇi-* ‘стереть’. Поскольку в древнеиндийской модели мира имя было равно его носителю, то лишение имени означало лишение жизни. Этим представлением манипулируют в заговорах — на-

пример, I, 191, 13: *navānām navatīnām | viśāsyā rōpuṣīnām | sārvāsām agrabhaṇ nāma* ‘У девяноста девяти разрушительниц яда у всех я захватил имя’.

Instr. от *nāman-* употребляется в РВ 9 раз (2 раза sg., 7 раз pl.). Он управляет глаголами с разным лексическим значением, устойчивых сочетаний с глаголами определенной семантики нет. Грамматическое значение данного падежа в этих сочетаниях — инструмент, причина, социативность и проч. В некоторых контекстах отчетливо прослеживается связь теофорного имени с ритуалом. Например, V, 52, 10:

āpathayo vīpathayō  
'ntaspathā átipathāḥ |  
etébhīr māhyam nāmabhīr  
yajñām viṣṭārā ohate ||

‘Идущие по дороге», «идущие от дороги», «идущие посреди дороги», «идущие вдоль дороги» — под такими именами для меня жалуют они жертву, широко рассыпавшись’ (они — Маруты).

Или же VII, 57, 6: *utá stutāśo marúto vyantu | viśvebhir nāmabhīr náro havīṣi* ‘И когда (их) прославят, Маруты пусть вкусят, (эти) мужи — всеми своими именами — жертвенные возлияния’<sup>4</sup>. В этом ритуальном контексте имя вновь полностью отождествляется с его носителем.

В V, 43, 10 поэт обращается к Агни, посреднику между богами и людьми, отвоящему жертвы богам: *ā nāmabhīr marúto vakṣi viśvān | ā rūpēbhir jātavedo huvānāḥ* ‘Привези Марутов всех с (их) именами, при(вези) с (их) формами, о Джатаведас, когда тебя зовут’. Рену в этой связи замечает, что соположение в одном контексте *nāman-* / *rūpā-* ‘имя / форма’ напоминает понятие *nāmagāra-* более поздних текстов и дает смысл: «всех со всеми их качествами» [Renou EVP IV, 68].

Продолжая ту же тему, следует добавить, что в РВ есть еще одно место, где эти два понятия встречаются, — III, 38, 7:

tād in nv ḥasya vṛṣabhbāsya dhenór  
ā nāmabhīr mamire sākmyam gōḥ |  
anyād-anyad asuryām vásanā  
nī māyino mamire rūpām asmin ||

‘Вот оно (творение) этого быка (и) коровы (одновременно). Именами они измерили то, что присуще корове. Прикидывая то одно, то другое асурское (качество), (эти) кудесники отмерили ему облик’.

Это стих из мистического космогонического гимна, в котором изначальный Асура отождествляется с Индрой. Этот изначальный бог предстает как андрогинное существо. Поэты-риши силой поэтического видения с помощью имен придали ему облик. Таким образом *nāman-* служит инструментом, отмеряющим, т. е. создающим форму.

Остальные глаголы, управляющие *nāman-* в Acc., редки и концептуально не столь существенны.

Эпитеты, характеризующие *nāman-*, многочисленны и разнообразны (их около 40). Обращает на себя внимание та особенность, что качественные прилагательные, определяющие *nāman-*, как правило, содержат положительную оценку, что вполне понятно в ситуации восхваления. К числу наиболее употребительных принадлежит *cáru-* ‘дорогой, любимый, ценный’ (8 раз), к которому близок по значению эпитет имени *priyá-* ‘приятный, милый’. Гонда не считает их синонимами, видя разницу в референции имени: *cáru-* это имя бога для адепта, который восхваляет его в ритуале, а значение *priyá-* колеблется между «милый, приятный» и «свой собственный» [Gonda 1970, 40—42].

Столь же употребительны эпитеты *gúhya-* ‘скрытый; тайный’ (8 раз) и его синоним *apīcuya-* (4 раза). Как известно, всё сакральное в РВ бывает тайным, скрытым от людских взоров. Тайными являются и высшие имена, которые передают самую суть их носителей. Убедительную иллюстрацию этого положения представляют собой проанализированные Гондой примеры с Сомой [Gonda 1970, 83] типа IX, 96, 16: *abhy ársa gúhyat cárū náma* ‘Струись к (своему) дорогому тайному имени’. Подразумевается здесь то, что «тайное имя» совпадает с высшей, тайной стадией приготовления напитка бессмертия богов амриты из сока Сомы. Сок, очищаясь, вытекает из цедилки и смешивается с добавлениями, превращаясь в амриту. Вот навстречу этой высшей тайной стадии, навстречу «тайному имени» риши и призывает течь сок. Эта концепция «тайного имени» делает понятным употребление с *nāman-* таких эпитетов, как *paramá-* ‘высший’ и противопоставленных друг другу *pará-* ‘потусторонний, далекий’ — *ávara-* ‘посюсторонний’, ‘более близкий’ (I, 155, 3 на с. 4).

Отождествление имени с личностью его носителя проявляется и в той особенности, что ряд эпитетов *nāman-* могут быть в равной мере отнесены к тому и к другому. Таковы, например, *uajjíya-* ‘достойный жертв’ (5 раз), *bhadrá-* ‘приносящий счастье’ (3), *ádábhya-* (1) ‘тот, которого нельзя обмануть’ и др.

Употребление эпитетов *amṛta-* ‘бессмертный’ (3) и *ámartya-* id. говорит о том, что *nāman-* воспринимается в РВ как высшая ценность. Например, I, 68, 4: *bhájanta víśve devatvám náma | rtám sápanto amṛtam évaih* ‘Все приобщились к божественной сути, к имени бессмертному, соблюдая по обычаяу вселенский закон’ (гимн Агни), где *devatvá-, nāman-* и *rtá-* принадлежат, так сказать, к одному уровню.

Имен у одного божества может быть много, и каждое из них будет отражать определенную черту его характера. Сочетание *bhúri náma-* ‘многие имена’ или, как уточняет Пино [Pinault 1998, 117], ‘изобилие имен’ (*une profusion de noms*) в ряде контекстов раскрывается в виде конкретных числительных: *saptá-* ‘7’, *tríh saptá* ‘трижды 7’, *catvári-* ‘4’, *catúrbih navatím ca* ‘четырежды девяносто’.

Ряд эпитетов в РВ обозначает групповые имена, как-то: *asuryāṇi náma* (X, 54, 4) ‘асурские имена’, *ādityéna námnā* (X, 77, 8) ‘именем, соответствующим Адитьям’, *náma mārutm* (VII, 57, 1) ‘имя марутово’. Наконец, такой эпитет может обозначать и социальную принадлежность людей, ср. высказывание Инды о себе в X, 49, 3: *ná yó rará áryam náma dásyave* ‘(Я,) который не выдал дасью арийского имени’, т. е. ариев с характерным для них образом жизни.

Роль эпитетов имен богов не ограничивается в гимнах РВ синтаксической функцией определения-прилагательного к существительному. Постоянные эпитеты богов могут употребляться в качестве их собственных имен. Каждый из этих эпитетов выражает характерную черту бога, но когда он выступает как пом. рг. бога, то семантическая мотивировка такого имени может полностью отсутствовать в контексте. Ср., например, употребление постоянного эпитета Индры *maghávan-* ‘щедрый’ в IV, 17, 8: ...*yó dátā magháni maghávā surádhah* ‘(Я хочу) воспеть... того, кто даритель щедрых наград, щедрый, с прекрасными подарками’ и в I, 103, 2: *áhan áhim ábhinad rauhinám vy | áhan vyátsam maghávā sáčibhih* ‘Он убил змея, расщепил Раухину, он убил Вьянсу, Щедрый, (своими) силами’.

В РВ нет твердой грани между именами собственными и нарицательными. Характерно, что существительное *náman-* объединяет в себе оба эти значения. Целый ряд имен собственных различных мифологических персонажей употребляется в гимнах и как нарицательные имена. Например, *agní-* п. ‘огонь, костер’; пом. рг. бога; *bhága-* т. ‘наделитель’ (эпитет ряда богов, особенно Савитара); пом. рг. бога-сына Адити; п. ‘счастливая доля’, ‘счастье’; *mitrá-* т. ‘друг’; пом. рг. бога-сына Адити; п. ‘дружеский договор’; *áditi-* ф. ‘бесконечность’; пом. рг. богини-матери Адитьев; *vṛtrá-* т. п. ‘враг’; ‘препятствие’; пом. рг. змея, запрудившего реки, и т. д. Те же два значения объединяют в себе некоторые имена деятеля на *-tar-*; *dhátar-* т. ‘распорядитель’; пом. рг. бога; *savítar-* т. ‘побудитель’; пом. рг. бога и др. В качестве собственных имен в поздней мандале X могут функционировать персонификации таких абстрактных понятий, как *tanúy-* ‘ярость’, ‘гнев’; пом. рг. божества в X, 83 и 84; *śraddhá-* ф. ‘вера’; пом. рг. божества в X, 151 и др. В гимнах РВ все время идет игра на именах, балансирование между значениями имени собственного и нарицательного. Вот, например, начало гимна, посвященного богу Митре, — III, 59, 1: *mitró jánan yátiayati bruváno* ‘Митра (другом) называемый, приводит в порядок людей’.

Такого рода неясность, амбивалентность характерна для мировоззрения поэтов-риши, и она всячески поддерживается суггестивным стилем памятника. Попытки западных интерпретаторов придать тексту однозначность не могут иметь успеха. Так, в свое время предлагалось истолковывать имена Адитьев во всех контекстах как персонификации абстрактных понятий [Thieme 1957]: Варуну как «Истинную речь», Митру как «Договор», Бхагу как «Долю» и т. п., но эта точка зрения поддержки не получила.

Особую группу имен собственных мифологических персонажей в РВ представляют собой имена на *páti-* ‘господин’, формально занимающие промежуточное положение между синтаксическими конструкциями и сложными словами. Бога молитвы в РВ зовут *bráhmaṇas páti-* букв. ‘господин молитвы’ (синтаксическое сочетание *páti-* с род. падежом от *bráhma-* ‘молитва’) или *bṛ̥haspáti-* (сложное слово архаичной структуры, в котором каждый из членов сохраняет свое ударение, а первый член — также окончание род. падежа, при том что существительное \**bṛ̥h-* в РВ не засвидетельствовано). Эти два имени свободно чередуются друг с

другом, соотносясь с одним денотатом. В нарицательном значении ни то ни другое теофорное имя не употребляется.

*Prajāpati*- букв. ‘господин потомства’ в РВ большой роли не играет, он входит в силу в более поздний период, в РВ же это слово обозначает самостоятельное божество только в поздней мандале X (см. [Macdonell 1897, 118 сл.]).

*Prajāpati*- представляет собой регулярный тип сложного слова с одним ударением и первым членом в виде основы (а не с флексией). Сравнение контекстов мандалы X показывает, как утрачивается самостоятельное лексическое значение элементов этого сложного слова, и оно становится именем собственным бога без какой-либо семантической мотивации. Ср., например, из свадебного гимна X, 85, 43: *ā naḥ prajām janayatu prajāpatir* ‘Да породит нам потомство Праджапати!’ и из космогонического гимна X, 121, 10: *prajāpate ná tvád etāny anyó | viśvā jātāni pári tā babhūva* ‘О Праджапати, никто, кроме тебя, не охватил все эти существа’ — гимн, в котором Праджапати провозглашается творцом вселенной. В более древних частях памятника слово *prajāpati*- в нарицательном значении употребляется как эпитет разных богов, например Савитара в IV, 53, 2, о котором говорится, что он *divó dhartá bhúvanasya prajāpatih* ‘удерживатель неба, господин (всех) существ в мире’.

*Vāstospáti*- букв. ‘господин жилья’ находится на периферии пантеона. Это покровитель человеческого жилья и хозяйственных помещений, к которому обращен один гимн в РВ — VII, 54. Имя его имеет ту же структуру, что и *bṛhaspáti*-, а значение колеблется между именем собственным и нарицательным<sup>5</sup>. Имя же еще более редкого охраняющего божества *kṣétrasya páti* ‘господин поля’ (структура как у *bráhmaṇas páti*) является синтаксическим сочетанием из двух существительных с нарицательным значением — оно тесно связано с описанием поля и пахоты — IV, 57, 1—3.

Таким образом, можно сказать, что имена на *-páti*- как структурно, так и семантически являются собой шкалу переходов от имени нарицательного к имени собственному.

В хвалебных гимнах РВ ведется изощренная игра именем собственным восхваляемого божества, к чему впервые было привлечено внимание еще де Соссюром в его «Анаграммах» [Starobinski 1964; 1971]. На материале гимна Агни, открывающего РВ, де Соссюр показал, что принципы построения хвалебного гимна РВ совсем иные, чем у обычного текста. Задача автора состояла в том, чтобы в метрически сильной позиции — в начале стиха или строки — употребить имя восхваляемого божества в каком-либо падеже, а в остальном тексте гимна поддержать эту игру звуковыми намеками на теофорное имя.

Поскольку цель гимна заключается в том, чтобы установить контакт с божеством, заставить его «услышать» гимн и в награду за него исполнить желания его автора (круговой обмен дарами), хвалебный гимн можно рассматривать как акт коммуникации со всеми вытекающими из этого последствиями — т. е. как текст с установкой на адресата сообщения и с гипертрофированной изобразительной

функцией языка [Якобсон 1975, 203]. Адресатом же сообщения является божество, произнесение имени которого вслух имеет магическую силу.

Теофорное имя образует «изобразительную парадигму» в отмеченных местах стиха, его разлагают на слоги, которые в разных последовательностях начинают отдаваться в тексте в виде эха, и в результате весь гимн звучит в музыкальном ключе этого имени [Елизаренкова 1993]. Вот некоторые примеры. Гимн, посвященный Ушас, VII, 79, 1:

*vy ṣādāvah pathyā jānānām  
páñca kṣitīr mānuṣīr bodhāyanī |  
susamdēgbhir uksābhīr bhānūm aśred  
ví sūryo rōdasī cākṣasāvah ||*

‘Ушас осветила пути людей, пробуждая пять человеческих поселений. (Правя самими) прекрасными на вид быками, она распространила свет. Сурья открыл (из тьмы) взглядом два мира’.

Здесь происходит семантизация формы без каких-либо этимологических оснований. Случается также обыгрывание слов, произведенных от того же корня, что и теофорное имя. Такова, например, в гимнах Соме (*sóma*- имя от корня *su-* ‘выжимать’) игра различными образованиями от корня *su-* типа IX, 107, 8: *sóma* и *suṇvāñāḥ soñbhir* ‘Сома, выжатый выжимателями’. Или же в гимнах Савитару (*savitár-* nom. ag. от *sū-* ‘побуждать’, ‘вызывать к жизни’) постоянно встречаются глагольные и именные формы, произведенные от корня *sū-*. Например, V, 82, стих 3: *sá hí rāmāni dāśuṣe | suvāti savitā bhágah* ‘Ведь этот Савитар-счастье пусть вызывает к жизни сокровища для почитателя’; стих 4:

*adyā no deva savitāḥ  
prajāvat sāvītī sāubhagam |  
pára duṣvārpnyat suva ||*

‘Сегодня, о бог Савитар, вызови к жизни для нас удачу, заключающуюся в потомстве! Прочь отзови дурной сон!’

Обычно же, как в этом последнем стихе, комбинируется случайная семантизация формы с этимологической.

Следует упомянуть еще такой крайний случай игры именем восхваляемого божества, когда само имя нигде в гимне не называется, но всюду содержатся звуковые намеки на него, по которым его следовало угадать. Такой формальной изощренностью отличается гимн богине Священной речи — *Vāc Āmbhṛ̥ti* (т. е. *Vac* — дочь риши *Ambhṛ̥ua*), построенный на привлекающем к себе внимание повторении слов *āt* / *aṭ* и *vā*, входящих в состав имени богини [Елизаренкова 1993, 137].

Существительное *nātān-* входит в состав ряда сложных слов, из которых наиболее интересны сочетания с именными основами от корня *dhā-* ‘устанавливать’, — они обнаруживают те же значения, что и соответствующие синтаксические конструкции. Таких сложных слов два: *nāmadhā-* т. ‘нарекающий именем’ (X, 82, 3) и *nāmadhēya-* п. ‘нарекание именем’ (X, 71, 1). Оба слова встречаются по одному разу в поздней части памятника в космогонических контекстах.

Х, 82, 3:  
 yó naḥ pitā janitā yó vidhātā  
 dhāmāni vēda bhūvanāni viśvā |  
 yó devānām nāmadhā éka evā  
 tām̄ samprāsnām bhūvanā yanty anyā||

‘Кто наш отец, родитель, кто наделитель, (и) знает все состояния (и) существа, кто один-единственный дает имена богам, к нему идут другие существа, чтобы спросить его’.

Речь здесь идет о Вишвакармане, боже-создателе всего, позднему абстрактному божеству, которому в РВ посвящено два гимна X, 81 и 82. Кроме того, дважды *viśvākarmā-* выступает в роли эпитета других богов: Индры в VIII, 98, 2 и Сурьи в X, 170, 4. Подобный путь развития: от теофорного эпитета к теофорному имени собственному типичен для РВ.

Уже в следующем стихе этого гимна, в X, 82, 4, говорится, что это древние риши создали все существа, т. е. они были помощниками Вишвакармана, а в последнем стихе 7 сказано: ‘Вы не сможете найти того, кто породил эти (существа), — (нечто) иное возникает между вами’. Здесь, как и в знаменитом космогоническом гимне X, 129, в стихах 6—7 ставится под вопрос возможность познания сотворения мира и возникновения богов.

X, 71, 1:  
 bṛhaspate prathamāṇ vācō ágram  
 yát prāirata nāmadhēyām dādhānāḥ |  
 yád eṣām śréṣṭhaṁ yád ariprám áśī  
 preñā tād eṣām nihitaṁ gūhāvīḥ ||

‘О Брихаспати, первое начало Речи (возникло), когда они пришли в действие, давая имена (вещам). Что было у них лучшего, незапятнанного, это тайно скрытое в них проявилось с помощью любви’.

Знаменитый гимн «Познание» (*jñāna*) обращен к богу молитвы Брихаспати. Он начинается с утверждения о том, что Священную Речь создали древние риши («они» — понятие, раскрываемое далее), дававшие имена вещам. Связь *nāman-* с *dhā-* здесь демонстрируется дважды: в составе сложного слова и в синтаксической конструкции: *nāmadhēyām dādhānāḥ* букв. ‘устанавливающий установление имен’. Сочетание *nāman-* с *dhā-* является индийским вариантом, отражающим древний общеиндоевропейский миф о наречении именем [Иванов 1964, 85—94]. Субъект, совершающий этот сакральный акт, в индийской мифологии выражен несколько неопределенно: это могут быть боги, могут быть мудрые риши, но вообще создание Священной Речи и связанное с этим возникновение вселенной скрыто туманом.

Дважды в РВ встречается в одном контексте соположение существительных *nāman-* и *dhāmān-* (от корня *dhā-*). Последнее слово многозначно, фактически со стершимся значением: ‘местопребывание’, ‘место’ (жертвоприношения, жертвенного костра, Сомы); ‘окружение, сопровождение’; ‘закон’; ‘форма’; ‘суть, природа’ и др. Вот эти контексты. 1, 57, 3: *yásya dhāma śrávase nāmendriyām jyótir ákāri harito nāyase* ‘Чья природа, имя Индры созданы для славы как свет, подобно

тому как булавые кобылицы — для бега'. X, 45, 2: *vidmā te dhāma vibhrītā purutrā* | *vidmā te nāma paramāt gūhā yád* 'Мы знаем твои жилища, распределенные по многим местам. Мы знаем твое высшее имя, которое втайне'. Л. Рену видит в подобном употреблении *nāman-* и *dhāman-* стадию, предшествующую возникновению понятия *nāmarūpā* 'имя и форма', сыгравшего столь существенную роль в различных более поздних индийских философских системах (см. [Радхакришнан 1956, 156, 333]). Само сложное слово *nāmarūpā* в РВ отсутствует, при том что противопоставление *nāman-* и *rūpā*- в одном контексте встречается (см., например, на с. 9—10 III, 38, 7; V, 43, 10), и *nāman-* всегда имеет более высокий статус. Таким образом, первичность имени по отношению к форме, первичность слова вообще по отношению к материи провозглашается в индийской традиции, начиная с РВ:

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Подробнее об этих методах см. [Елизаренкова 1999: Введение].

<sup>2</sup> Следует отметить, что при переводе ведийских цитат значение слова *nāman-* передавалось, как правило, единообразно — «имя», чтобы не вносить элемента интерпретации в контекст.

<sup>3</sup> Загадка, допускающая несколько отгадок, — см. [Ригведа 1989, 645—646].

<sup>4</sup> Этот перевод следует интерпретации Рену [Renou EVP X, 44]. Гельднер понимает иначе: «Und nachdem sie mit allen Namen geprisesen sind, sollen die Herren Marut die Opferspenden gern in Empfang nehmen» [Geldner 1951, 2, 233], пренебрегая разделением стиха цезурой.

<sup>5</sup> Кстати, западные ученые колеблются в трактовке этого имени как сложного слова *vāstospáti-* (Бётлинг, Гельднер, Рену) или как синтаксического сочетания *vāstoś pátī-* [Ауфрехт, Макдонелл].

### ЛИТЕРАТУРА

- Гринцер 1998 — Гринцер П. А. Тайный язык «Ригведы». М., 1998.
- Елизаренкова 1993 — Елизаренкова Т. Я. Язык и стиль ведийских риши. М., 1993.
- Елизаренкова 1999 — Елизаренкова Т. Я. Слова и вещи в Ригведе. М., 1999.
- Иванов 1964 — Иванов В. В. Древнеиндийский миф об установлении имен и его параллель в греческой традиции. Индия в древности. М., 1964. С. 85—94.
- Кёйпер 1986 — Kœïper Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986.
- Радхакришнан 1956 — Radhakrishnan C. Индийская философия. Т. I. М., 1956.
- Ригведа 1986 — Мандалы I—IV / Изд. подгот. Т. Я. Елизаренкова. М., 1989.
- Якобсон 1975 — Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
- Böhtlingk, Roth 1865 — Böhtlingk O., Roth R. Sanskrit-Wörterbuch. 4. Theil. St. Petersburg, 1865.
- Geldner 1951 — Geldner K. F. Rig-Veda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt. 2. T. Cambridge (Mass.), 1951.
- Gonda 1970 — Gonda J. Notes on names and the name of god in Ancient India. Amsterdam; London, 1970.
- Grassmann 1955 — Grassmann H. Wörterbuch zum Rig-Veda. Wiesbaden, 1955 (3. Aufl.).
- Macdonell 1897 — Macdonell A. A. Vedic mythology. Strassburg, 1897.
- Pinault 1998 — Pinault G.-J. Védique *bhūri-*, un ancien substantif // Bulletin d'études indiennes, № 16. Paris, 1998. P. 89—121.

- 
- Renou 1955—1969 — *L. Renou. Études védiques et pāṇinéennes.* (EVP). T. I—XVII. Paris, 1955—1969.
- Starobinski 1964 — *J. Starobinski. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. Textes inédits // Mercure de France.* 1964. Février.
- Starobinski 1971 — *J. Starobinski. Les mots sous les mots — les anagrammes de Ferdinand de Saussure.* Paris, 1971.
- Thieme 1957 — *P. Thieme. Mitra and Aryaman.* New Haven, 1957.

*Donatella Ferrari-Bravo (Pisa)*

LA «PAROLA» E L'ICONA  
DALLA VERITÀ DELLA CONOSCENZA  
ALLA VERITÀ DELLA VISIONE E RITORNO  
(SU MATERIALE DI PAVEL FLORENSKIJ)

Parlare in forma visibile.  
*Alexander Conze*

**L**a parola [*slovo*] e l'icona [*ikona*], ciascuna presa per se stessa, sono realtà peculiari e complesse, caratterizzate da una struttura materiale e simbolica particolarmente densa, articolata in vari livelli e ricca di riflessi culturali.

La parola e l'icona rappresentano due distinti universi in cui si dispongono esperienze soggettive e oggettive e dove la parte e il tutto producono giochi diversi sui quali il fruttore può di volta in volta costruire un'immagine complessa, ora concettuale, ora visiva della realtà.

I sistemi cui si riferiscono le due realtà della parola e dell'icona, quello linguistico e quello iconografico, sono diversi ma nello stesso tempo presentano tutta una serie di analogie, di simmetrie o somiglianze che rendono possibili oltre che interessante, un tipo di analisi comparativa. La liceità del parallelo deriva soprattutto da due fattori di diversa natura ma entrambi significativi; uno riguarda la *struttura*, l'altro il valore e più specificatamente il *significato* simbolico che le due realtà hanno nei rispettivi sistemi.

*Struttura* e *significato* sono, come si sa, due aspetti fondamentali di ogni oggetto, sia sul piano linguistico, sia su quello metalinguistico.

L'analisi (sia pure solo a livello comparativo) di questi due universi si presenta non facile dato che implica la considerazione di varie prospettive e di differenti tipologie strutturali dei soggetti in questione: le analogie infatti oltre a riguardare, come dicevo, il piano strutturale e quello del significato, tengono conto della *funzione* (comunicativa), così come dell'«orientamento», o ancora del *punto di vista* del sistema cui si riferiscono e così via.

Le singole analogie e/o meglio l'analogia basilare, in questo senso, ci induce a osservazioni che spaziano in aree diverse, riguardando problematiche lontane, ma in qualche modo fra loro interrelate.

Un percorso di analisi corretto, o comunque utile, potrebbe iniziare con la *definizione* di entrambe le realtà per proseguire con la *decifrazione* dei rispettivi significati, o del significato ultimo che le caratterizza entrambe.

A questo punto è opportuno distinguere, in entrambe, il piano della *forma* e quello del *contenuto*. Salvo poi a ricomporli in un'unità che si presenta come una tendenza o orientamento di fondo.

Ecco, in ordine sparso, alcune definizioni trascelte fra le tante possibili.

«L'icona è la reminiscenza di un archetipo celeste».

«L'icona evoca un archetipo cioè desta nella coscienza una *visione* [corsivo mio] spirituale».

«Le icone testimoniano con la loro forma artistica immediatamente e graficamente della realtà di queste forme: esse pronunziano in linee e colori — trascritto coi colori — ...il Nome di Dio...».

«...l'icona essendo *manifestazione* [corsivo mio], energia, luce di un'essenza spirituale».

«Ogni icona è una *rivelazione*... [corsivo mio] che deve poggiare su una qualche *visione*».

...«L'icona *rivive* [corsivo mio] e compie la sua opera: la *testimonianza* [corsivo mio] attorno al mondo superiore».

«A fondamento di una icona sta un'*esperienza* [corsivo mio] spirituale».

«Alla sua base sta la *percezione* [soggettiva] [corsivo mio] autentica. Questa esperienza può essere fissata in una particolare icona».

«L'icona è identica alla *visione celeste* e non lo è...».

Vorrei, al proposito, sottolineare la centralità dei termini impiegati: *visione*, [teofania] *manifestazione*, *rivelazione*, *testimonianza*, *esperienza*, *percezione*.

Istruttivo il fatto che i termini impiegati per definire l'icona ricorrono, con lo stesso peso, per quel che riguarda la parola; ad esempio: «Per parola — egli scrive — bisogna intendere ogni *manifestazione* [corsivo mio] autonoma della nostra essenza in assoluto, dal momento che noi riteniamo che lo scopo di questa manifestazione non siano le energie, fisiche, occulte e di altro genere... ma il significato che mediante loro penetra nel mondo transoggettivo». La parola viene assai spesso riferita, e non solo nella teoria florenskiana, a considerazioni linguistiche e filosofiche relative alla *percezione*, alla *esperienza*.

La parola, in Florenskij, non è concepita, peraltro, solo come struttura linguistica, ma come parte di un universo in cui si mescolano le dimensioni opposte, sia pure strettamente collegate, dell'astratto e del concreto, dell'universale e del particolare, del comune e dell'individuale.

L'intendimento della parola e del suo inveramento nell'esistenza materiale e fisica dell'uomo, ma anche in quella somma sua spiritualità, si presenta, nel pensiero di Florenskij, come un continuo frantumarsi di elementi che si combinano (*unitarietà*) ogni volta diversi (*molteplicità*) in uno *spazio* infinito dove il dettaglio ne è riprova inconfondibile: «un processo sonoro individualmente distinto dal resto della natura [...], questo essere individuale di natura verbale [la parola] [che] si muove nello *spazio* [corsivo mio]

come un tutto unitario, e, muovendosi, porta sempre con se il proprio significato». Ma, al di là delle varie accezioni filosofiche, la più poetica e la più suggestiva delle metafore con cui indica la parola riguarda i fili «invisibili» che da essa si diramano «come teneri e tenaci tentacoli che si avvinghiano attorno a tentacoli di altre parole».

All'interno della complessa e articolata trattazione della parola, Florenskij arriva a dare molteplici e diversificate definizioni che, semplificando, vogliamo qui ricordare; *tout court*, al fine di dare un'idea della ricchezza della concezione florenskijana. La parola viene identificata con i concetti-metaphora di *cerchio*, *isotropo* (ontologico), *condensatore*, *organismo* (essere vivo), *seme*, *cellula*, *energia*, *semema*. Da qui a sostenere che «la parola è la realtà stessa» il passo è breve. Il *significare* e l'*essere* sembrano insomma essere un forte punto di contatto.

Da queste varie definizioni, pur nella varietà concettuale, si può dedurre che l'icona e la parola sono entità dotate di una vita intensa e dinamica; esse sono capaci di «rappresentare» realtà sia astratte sia concrete. Icona e parola sono *rappresentazioni* nel senso che nel segno verbale, come nel segno iconico, sono racchiusi gli elementi che *traducono* un'idea, un concetto; un pensiero che in qualche modo *riproduce* il mondo, o meglio un modello del mondo, *teologico* o *logico* che esso sia.

Sia l'una che l'altra, la parola e l'icona *realizzano*, nel senso saussuriano del termine, in modo diverso, acustico e/o verbale e visivo la possibilità che ogni mittente ha a sua disposizione, come se fosse un dialogo orientato principalmente sul destinatario.

Entrambe *alludono* a qualcosa che è fuori da esse, ma che in qualche modo è, invece, incorporato nel segno iconico e nel segno verbale; due linguaggi diversi, ma con funzioni analoghe chiaramente identificabili così nella *funzione comunicativa* come in quella *significativa*.

Ma in quale rapporto stanno queste due funzioni?

L'icona e la parola sono forme comunicative rivolte al rispettivo frutto o destinatario; curioso che l'elemento del significato fraisca per essere equivalente a ciò che viene comunicato, nel senso che il significato ingloba il messaggio identificandosi con esso; e ciò è tanto più interessante in quanto in genere in ambito semiotico di due soggetti semiotici si tratta, *comunicazione* e *significazione* appartengono a due ambiti differenti. Qui invece, siamo in presenza di una totale osmosi dei due piani. Questo in virtù della particolare natura delle due entità che nello stesso tempo *sono*, *significano* e *comunicano*, o meglio *significano* e *comunicano* perché sono. L'elemento ontologico è infatti un loro tratto fondamentale. Probabilmente la natura semiotica si risolve nell'essere esse, la parola e l'icona, soggetti di *modellizzazione* dove appunto *essere* e *significare* coincidono.

L'icona e la parola hanno un rapporto unico e privilegiato (direi quasi insostituibile) con la realtà che esse rappresentano, nel senso che instaurano un rapporto biunivoco tra *significato* e *significante*, il valore segnico essendo valore fondamentale di entrambe.

L'icona è l'immagine di un volto, il volto per eccellenza, il volto di Cristo, cioè di un oggetto *concreto*; la parola è l'immagine o rappresentazione di un concetto, cioè di un oggetto *astratto*. D'altra parte, se l'icona è, in realtà, un'immagine concreta di qualcosa che si vede, anche se essa travalica la concretezza per giungere ad una valenza più

astratta, spirituale e metaforica, la parola, viceversa è astratta, rappresentando un'idea, un'entità metalinguistica, concettuale, ma si radica su una datità concreta, acustica, grafica. Possiamo quindi concludere che l'*astratto* e il *concreto* nell'icona e nella parola sono invertiti, speculari: in entrambe, sia pure con vettori diversamente orientati, coesistono le due dimensioni. Questa concezione dell'icona e della parola corrisponde alia *metafisica concreta* di Florenskij; ché non si tratta di un ossimoro, ma di una visione globale dove le antinomie si oppongono ad un primo grado ma si completano, e si fondono, in una sintesi organica, ad uno superiore.

Nessuna realtà più dell'icona e della parola poteva permettere di tradurre il bisogno di assoluto e di universalità insite nello spirito di Florenskij in modo così completo e sostanzioso. Cioè a dire che l'interpretazione e la descrizione che egli dà della parola e dell'icona sono conformi alla sua teoria, e, d'altra parte, questa non poteva trovare esempi più consoni a confermarne la veridicità. Prima di entrare nello specifico delle singole analogie, in questa sede più asserite che dimostrate, è opportuno fare una premessa onde evitare alcune ambiguità del discorso.

Quando si affronta il tema della *parola* (*slovo*), sia in Florenskij ci si può riferire a due accezioni distinte, diverse, solo in alcuni casi sovrapponibili: 1) un'accezione puramente religiosa del termine, inteso come rivelazione e testimonianza divina, come *logos* e 2) un'accezione «laica», con la quale ci si riferisce ad una realtà puramente linguistica e non metalinguistica. Due prospettive ugualmente valide sia per l'autore sia per il lettore.

Delle due accezioni la prima riguarda i contenuti (il piano religioso), la seconda la forma (vale a dire la struttura); i due piani poi risultano sommarsi nell'ontologia florenskiana. Da un punto di vista metodologico è opportuno separarli, anche se Florenskij non sembra distinguere tra il piano del significato (teologico) e quello logico-linguistico, almeno per quanto concerne la concezione generale della parola; sul piano della trattazione poi egli distingue bene tra valenze *spirituali* e *religiose* da un lato e fatti linguistici dall'altro, esempi ne siano opere così diverse come *Ikonostas* e *Magija slova*.

Le analogie tra icona e parola, dove quest'ultima è presa nell'accezione religiosa del termine, risultano essere in qualche misura più omogenee; più disomogenee esse appaiono nella seconda accezione: si tratta comunque di individuare, su una base di analisi linguistico-strutturale, una struttura i cui elementi abbiano valore o *funzioni* analoghe.

Per quanto riguarda quest'ultima accezione («linguistica») della parola, si ricorderà la struttura triadica che Florenskij individua nel *fonema*, nel *morfema*, nel *semema*, elementi fondanti della parola. L'analisi dell'icona dal suo canto contemplerà elementi strutturanti come i colori, la luce, la disposizione geometrica delle figure; si pensi, ad esempio, alla composizione della *Trinità* di Andrej Rublëv, caratterizzata dalla armoniosa suddivisione dell'icona in tre parti uguali.

La vita della parola così come la vita dell'icona si svolge attorno alla combinazione degli elementi suddetti, che, sia pur nelle differenze sistemiche, hanno molti tratti geometrico-strutturali in comune che finiscono per produrre un'insieme onnicomprensivo iconico e/o psicolinguistico.

Il pittore di icone non può tralasciare l'aspetto geometrico su cui si fondono le proporzioni; così come colui che parla non può non strutturare le parole indipendentemente dalla funzione che esse hanno nell'ambito della frase.

In ultima analisi l'analogia è lecita e possibile in virtù della constatazione di carattere generale che anche l'arte è un linguaggio con una sua sintassi, una sua grammatica, una sua strutturazione precisa.

Le analogie tra parola e icona, relativamente all'ambito religioso, sono, dicevo, più omogenee perché insite nella natura stessa delle due realtà. Penso, ad esempio al rapporto che entrambe esse hanno con l'*Ortodossia* e la teologia della bellezza. «La bellezza salverà il mondo»: l'idea, di memoria dostoevskiana, ha radici antiche che si collegano alle origini stesse della cultura russa. Si pensi ad esempio a Teofane il greco, il maestro di Rublëv che cercava di materializzare nella pittura la bellezza spirituale, l'immateriale, l'*immagine* di ciò che è *invisibile* («Egli [il Verbo] è l'*immagine* di Dio invisibile [...]») (Lettera ai Colossei 1, 15).

Nella liturgia ortodossa, Parola [*slovo*] Icona [*ikona*] e Musica [*salmi cantati cheruvim*] sono realtà intimamente legate nel senso di una profonda corrispondenza incentrata sull'*immagine* o rappresentazione. Entrambe sono orientate verso l'alto, verso il mondo spirituale, verso l'armonia celeste, verso l'assoluto: *icona* «finestra sull'assoluto», *parola* «finestra sull'assoluto».

L'icona delle grandi feste completa i testi liturgici e durante la liturgia cantata il prete mette l'icona su un leggio. La *vista* e l'*udito* sono, così, uniti: l'orecchio vede e l'occhio ode. L'icona va *ascoltata* perché vi si manifesti la parola. L'*immagine* dell'icona e il suono della parola sono potenziati dalle note musicali che ne sostanziano l'*esperienza* in una totale sinestesia. «Attraverso l'ascolto la persona si risveglia all'intelligenza delle realtà divine; attraverso la vista alla loro contemplazione», scrive E. Yon o.s.b.

D'altra parte si ricorda (come vedremo più oltre) che sulle icone sono siglate parole e intere didascalie. Come ricorda Quenot, secondo San Gregorio Magno «le icone sono per gli illitterati ciò che per la Sacra Scrittura è per i letterati». A dire il vero più che di analogia, come sosteniamo qui, per Florenskij, sulla scia delle affermazioni del settimo Concilio Ecumenico, si tratta di «equivalenza dell'icona e della predicazione: la pittura di icone per gli occhi è come la parola per le orecchie [...] sia le icone che il discorso come loro oggetto immediato da cui sono inscindibili, [...] hanno un'unica ed identica realtà spirituale» [...] «[...] sicché vuol dire che la pittura di icone è una metafora come la metafisica è per sua natura pittura di icone della parola». La complementarietà, l'equivalenza e l'unità tra parola e immagine è chiaramente sostenuta anche da Ephrem Yon: «Essa non è una illustrazione... è un linguaggio equivalente».

L'icona, dunque, per usare l'espressione di Quenot, è «una *teologia in immagine* che annuncia con i colori e attualizza il messaggio proclamato dal Vangelo con la parola [...]. L'icona, come la parola, veicola la tradizione della chiesa». L'icona e la parola hanno la stessa valenza liturgica, totalizzante e testimoniale.

Nella prospettiva ortodossa la finalità della esistenza è diventare ὀφθαλμός, sviluppare la visione, la visione che è bellezza e verità ad un tempo: la verità della trasfigurazione

di Cristo; ma la verità (*istina*) della visione si «scioglie» nella verità della conoscenza: «Santificaci nella verità.: la tua parola è verità» (Gv 17, 18—17.).

Ho visto e quindi so (*oīda*), anzi so perché ho visto. Un sapere che si identifica o equivale al vedere. Curioso che per quel che riguarda il piano etimologico il termine russo *slovo* (parola) è collegato a *slyt'* (risuonare, sentire) e *sluch* (suono) che richiama un altro senso, l'uditio; la verità dunque è quella di un'immagine acustica: si potrebbe dire «so», perché «sento». La musica, infatti, esprime, insieme alla parola e all'immagine la concezione della *sintesi* delle arti che caratterizza le funzioni della liturgia ortodossa: «Tutto è sottomesso ad unico scopo, al supremo effetto catartico di questo dramma musicale, e perciò tutto qui è reciprocamente subordinato, e non esiste se preso isolatamente». Ma già Vladimir Solov'ëv aveva recuperato tale suggestione liturgica, trasponendola su un piano filosofico.

Insomma verità della visione ma anche verità della parola, unificate dallo splendore sonoro delle note musicali.

Quel che nel mondo biblico era parola in quello evangelico diviene, mediante il processo dell'*incarnazione*, visione: «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv. 14,9).

«L'incarnazione è il fondamento dell'icona nel senso che essa mostra la persona del Verbo eterno incarnato [...]. «L'immagine racchiude una specie di presenza dell'essere rappresentato; così essa può diventare oggetto di venerazione [...]. Non è il significante in quanto materia che è venerato ma il significato rappresentato [...]. Il Vangelo, rispetto all'icona del Salvatore, è l'icona verbale».

Scopo dell'icona non è mostrare la bellezza naturale, ma di visualizzare le verità teologiche e di *incarnare* una presenza spirituale: «[...] Il significato dell'icona, nella sua intellettualità visibile o intellettuale visibilità — è l'incarnazione». D'altra parte la parola, il *Verbum* è l'*incarnazione* di Dio. La parola è traduzione, attualizzazione delle potenzialità divine *ad extra*, ma anche umane.

Qui mi piace ricordare come la metafora visivo-verbale della *carne* è stata ripresa anche dal poeta Mandel'stam: «La parola è carne e pane. Condivide la sorte del pane e della carne: la «sofferenza».

Tornando ora al parallelo con il secondo tipo di accezione della parola, quello di natura linguistica o psicolinguistica, vale a dire non relativa al piano del contenuto veicolato (religioso) bensì alla struttura formale, vorrei osservare che come l'icona ha la sua fonte in un modello storico preciso, il volto di Cristo, che rappresenta l'archetipo, così anche la parola, nella sua essenza più profonda, è un *archetipo*. Si pensi, a questo proposito, alla definizione data da Potebnja e Veselovskij della parola come archetipo [*pervoobraz*] ripresa in seguito, da Špet fino a Lotman.

«L'icona è la reminiscenza di un archetipo celeste», scrive Florenskij, la parola è la reminiscenza di un archetipo culturale, aggiungiamo noi. Il concetto di *archetipo*, sia pure con le dovute differenze, è infatti alla base di entrambe le esperienze, quella *religiosa* e quella *linguistica*.

Questo valore archetipico, della parola che «suona» da un lato e dell'icona che «si mostra» dall'altro, è un tratto comune di particolare importanza nel senso che permette

di considerare le due esperienze oltre che su un piano religioso e linguistico, anche su quello culturologico.

Osserveremo infine che l'icona e la parola agglutinati dalla musica partecipano di *opposizioni* su cui si fondano la teoria del linguaggio sia iconico sia verbale utilizzati da Florenskij, vale a dire visibile/invisibile, concreto/astratto, fisico/metafisico, contingente/assoluto; è chiaro poi che ognuna di queste opposizioni traduce i rispettivi concetti nei due sistemi differenti della *rappresentazione* artistico/liturgica e di quella logico/cognitiva.

Insomma come l'icona è una «*teologia dell'immagine*», la parola è una *logica dell'immagine*. In queste due immagini, quella verbale e quella visiva, *energie* della nostra esistenza, si riassume la elaborata concezione di Florenskij. Ricapitoliamo qui dicendo che:

1. Entrambe sono considerate una traduzione, una concretizzazione materiale (*incarnazione*) o attualizzazione di potenzialità illimitate nello spazio e nel tempo verso valori assoluti ed eterni.
2. Entrambe non solo significano, ma *sono*, vale a dire acquistano un valore ontologico e assoluto.
3. Entrambe partecipano di un alto valore *simbolico* in cui possiamo riconoscerle.
4. Entrambe hanno una funzione *comunicativa* della quale vivono: entrambe sono legate alla percezione del fruitore con cui dialogano.
5. Entrambe sono *vive* perché sono *viste e ascoltate/pronunziate*. Esse infatti non sono materia morta, ma vita e energia. Sono la vita dell'intelletto che vede, una sorta di pensiero visivo.
6. Entrambe, sia pur in modi diversi, sono legate al *Nome*.
7. Entrambe, fondate su un *intelligere* «rappresentativo», si concretizzano nell'*esperienza*, mistica e/o linguistica.
8. Entrambe sono espressioni di una visione-concezione del mondo. In questo senso esse sono forme di conoscenza, una espressione della conoscenza irrazionale e contemplativa, l'altra di una conoscenza logica. «Il campo della parola non è inferiore alia conoscenza, se non addirittura superiore. Tutto quanto si rivela alla conoscenza si traduce nella parola».

Tutta la filosofia florenskiana è basata sull'elemento conoscitivo che ne costituisce il suo nucleo duro; è attraverso il conoscere, il connettere, attraverso l'*intelligere*, che il cammino dell'uomo si avvicina alia *verità*, verità relativa o assoluta che sia.

«Ogni parola — scrive Mandel'stam — è un fascio di significati che, lungi dal convergere in un medesimo punto [...] si irradiano in diverse direzioni. Dire 'sole' significa compiere un lunghissimo viaggio... parlare significa essere sempre in cammino».

La conoscenza equivale a essere in cammino. E uno dei cammini è quello della visione.

Lo sguardo si rivolge verso i *simboli* (figurali o scritti) incastonati nell'icona, così che la verità della visione diviene narrazione, racconto, cioè *parola* che «dice» e fa conoscere, verità della conoscenza.

...Ma la verità della conoscenza che è nella parola si sublima a sua volta nella verità della visione armonica.

Ora questo parallelo tra il significato della parola e quello dell'icona, depositarie di una verità assoluta, ancorché concreta, potrebbe apparire frutto di astrazioni o di riflessioni soggettive. Al proposito, osserveremo che queste analogie trovano un *fondamento storico* nella cultura mssa; se la parola e l'icona sono unite, la spiegazione va cercata essenzialmente nel rapporto tra due sistemi di riferimento, la letteratura e l'arte figurativa, accomunate da una precisa tradizione storica così come magistralmente dimostrato da Lichaëv. «Nell'antica Rus' — scrive Lichaëv — la parola e l'immagine erano legate più di quanto non sarebbero state in seguito. Tale compenetrazione è un dato di fatto della loro struttura interiore che va considerata ... anche dal punto di vista teorico».

Nel mondo medievale russo la pittura era strettamente collegata alla letteratura. I soggetti delle arti figurative erano infatti soprattutto letterari; la fonte era quasi sempre la letteratura ecclesiastica.

Le *Vite dei santi*, gli *Annali*, le *Cronografie*, la *Palejá*, erano illustrate da miniature; anche i temi della storia russa, della vita quotidiana si riflettevano nella pittura. Dietro le raffigurazioni dei volti dei santi, dei principi, dei personaggi dell'Antico e Nuovo Testamento, dei sovrani c'era una tradizione non solo pittorica ma anche letteraria.

I due canoni, quello figurativo e quello letterario convivevano e si intrecciavano, si scambiavano i ruoli.

La narrazione verbale si sommava a quella pittorica. Le miniature e le icone *raccontavano* e illustravano testi letterari contribuendo tra l'altro alla soluzione dei problemi filologici, come la datazione di un testo.

Bisogna poi osservare che accanto a questo doppio binario, comunicativo e narrativo, vale a dire accanto ai due sistemi della letteratura e della pittura basati peraltro su una stessa «lingua» o grammatica, è presente un altro aspetto più specifico, meno vasto, ma non per questo meno significativo che riguarda non più l'analogia di struttura e significato, oppure lo scambio tra parola e immagine, bensì la *funzione* che la parola ha rispetto all'immagine.

Il ruolo delle parole nelle opere d'arte è fondamentale, come conferma la presenza diffusissima di didascalie, di Vangeli aperti, di iscrizioni che arricchiscono il disegno pittorico. Tutti i personaggi cercano di parlare, di pronunziare parole; la tensione verso la parola è molto forte.

Le immagini dei santi si rivolgono agli oranti, mostrando loro libri aperti o rotoli di scrittura svolti. Si pensi ad esempio a Cristo in Maestà o Cristo nella *deesis* o a *San Nicola* che tengono il Vangelo in mano, o ai *profeti* con in mano i rotoli sui quali sono scritte le profezie di Cristo, o a Giovanni Damasceno in piedi con un rotolo svolto nelle mani.

La parola interviene non solo come scrittura sonora (*zvukopis'*), ma anche con il suo segno di immagine visiva.

L'inserto scritto era significativo anche nel mondo occidentale; al proposito von Schlosser nel suo fondamentale studio *L'arte del Medioevo* scrive: «[...] elemento stra-

rdinariamente importante per la comprensione dell'arte Medievale e soprattutto della pittura è il *titulus* ossia l'iscrizione che ha lo scopo di illuminare lo spettatore sul contenuto spirituale delle immagini e di condurlo, al di là delle apparenze sensibili e particolari allo spirito trascendente [...].

Ma al di là dell'elemento specifico del *titulus*, quello che vorrei sottolineare (ma è cosa ovvia) è che non solo nel Medioevo russo i libri miniati costituiscono documenti preziosi per la storia della pittura: «durante tutto il Medioevo e per buona parte del Rinascimento i documenti per la storia della pittura sono costituiti in prevalenza da ... libri miniati.

Il fenomeno infatti si può spiegare se si tiene conto che l'arte cristiana avvertiva la profonda necessità di illustrare il testo sacro, la *Biblia* in quanto fonte della rivelazione divina.

L'iconografia medievale occidentale, opera quasi esclusiva di monaci artisti che lavoravano indefessamente nelle officine dei monasteri, mostra quella stessa forza propulsiva, ideologica e spirituale che troviamo nell'iconografia medievale orientale.

In quest'ultima, probabilmente, è la *parola* a trovare un maggior peso: «a cominciare dalla fine dell'antichità la parola delle guide spirituali nel Cristianesimo (specie in Oriente) cominciò ad essere diffusa tra i 'poveri di spirito' per mezzo delle immagini, usate come scrittura».

Comunque sia, questa sorta di equivalenza semantica di *parola* e *immagini* nella cultura russa trova, come del resto per il mondo occidentale latino, la sua motivazione profonda nella spiritualità cristiana medievale dove l'attitudine di fondo è sollevarsi verso l'eterno e l'universale «visibili» nell'immagine archetipica della verità rivelata del *logos*, nella raffigurazione dell'immateriale.

Florenskij, uomo colto, raffinato, teologo e logico viveva in questa dimensione culturale, in questa tradizione iconografica dai colori splendenti e metafisici densi di significati dottrinari.

Egli aveva la consapevolezza che l'universo delle idee, dei concetti non può che passare attraverso il prisma delle immagini, ora immagini umane, ora immagini divine, ma pur sempre *immagini*.

Nel cammino florenskiano tra parola e icona insomma vi è lo stesso legame che tra conoscenza e verità, l'una non può vivere senza l'altra: «Il cammino tribolato della ricerca intellettuale è coronato dalla beatitudine della conoscenza assoluta».

*И. А. Седакова (Москва)*

## ЗАМЕТКИ О ЯЗЫКЕ, КОТОРЫЙ НАС ОКРУЖАЕТ: ПРОШЕДШЕЕ В НАСТОЯЩЕМ

**С**оединение временных пластов в тексте — одна из многих тем, исследованных Т. М. Nicolaевой. На материале «Слова о полку Игореве» она анализирует «противопоставление (и смысловое объединение) настоящего и прошлого» [Николаева 1997, 80—81]. В нашей статье объектом исследования является особая ментально- temporальная категория, получившая развитие в русском языке в последние два десятка лет. *Прошедшее* (давнопрошедшее) событие<sup>1</sup>, актуальное для говорящего (пишущего), включается в определенных риторических, стилистических, идеологических или иных целях в *настоящее*. Отчасти эта категория покрывает значение перфективности (важен результат прошлых действий), она необходима для проведения сравнений или, наоборот, для противопоставления; для напоминания забывшим или для просвещения тех, кто этого не знает. Такая временная двуплановость (порой даже многоплановость), совмещение прошедшего и настоящего постоянно присутствует в современной речи, воспринимаемой устно и зрительно.

Говоря о языке, который нас окружает, я имею в виду, в основном его устную и письменную формы — именно с ними человек сталкивается в своем повседневии. Современный язык «аггрессивен», он буквально преследует людей, навязывая свои штампы и апеллирующие преимущественно к массовой культуре образы. Аудиовизуальный образ языка сегодняшнего дня — это особый конгломерат явлений, который отражает изменения, произошедшие с серединой 80-х гг. XX в. То, что мы слышим по радио и телевидению, читаем в Интернете, газетах и журналах, на многочисленных уличных плакатах, в рекламе, видим в качестве названий магазинов, заведений, фирм, продуктов, — это, как отмечают многие лингвисты, одна из самых динамичных сфер русского языка. И постоянным фоном для языковых метаморфоз и инноваций служит в той или иной степени то, что было, *прошлое*.

Сразу отметим, что это *прошлое* весьма диверсифицированно. Если в начале перестройки деление времени было на советское (иногда более дробное — годы сталинских репрессий, «оттепель» и пр.) и дореволюционное, то сейчас в истории даже постперестроечной России отмечены свои временные точки и короткие пе-

риоды: путч, дефолт, ельцинские годы, «вольные 90-е» и др. Каждый из указанных моментов характеризуется своим языковым окружением и особыми лексическими средствами. Интерес к дореволюционному, отчасти вызванный необходимостью заполнения образовавшегося после отказа от новоязия вакуума, а также для словесных поисков, не уменьшается. Но, конечно, советское как прошлое сегодняшнего общества, как пережитое, доминирует в языковых образах.

От воспоминаний о советском прошлом, от многих его ментальных и языковых стереотипов избавиться нелегко. Соединение, совмещение, сопоставление или смешение временных пластов стало почти нормой в языке, культуре и других сферах. Мы по-прежнему тесно связаны с советским прошлым — взять, к примеру, географические и др. названия. Ленинские и революционные именования изменились частично — *Санкт-Петербург* окружен *Ленинградской областью*, а *Екатеринбург* — *Свердловской*, рядом с *Самарой* находится *Куйбышевское водохранилище*; выходят газеты «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец»; работают кинотеатры «Слава» и «Ударник», фабрики «Красный Октябрь», «Большевик», «Микояновский»; ср. также *Ленинский проспект*, *Ленинградский проспект* и др. В провинции, даже в ближайшем Подмосковье, концентрация советских названий еще очень велика (вот, например, реальный адрес фабрики мебели «Форема»: Люберецкий район, *Октябрьский пос., ул. Ленина*)<sup>2</sup>. Идеологические названия или остались, или возвращаются в связи с относительно новой модой на «советское», ср. компьютерный центр «Буденный», ночной клуб «Чкалов» и пр. Использование советской эмблематики (майки с красными звездами, с надписью «СССР», домен USSR.to и др.) некоторые воспринимают как свойственный молодежи протест против настоящего.

Но поскольку изменения в стране затронули буквально все сферы, для советского прошлого в его «чистой» форме не осталось места (за исключением, может быть, самых удаленных провинциальных уголков или музейных экспозиций<sup>3</sup>). Всем приходится сталкиваться с новыми типами дискурса — в сферах политики, экономики, искусства, этики, религии и т. д. Остатки, элементы советского новоязия сочетаются с новыми языковыми средствами. Коммунисты прибегают к религиозной риторике (Г. Зюганов: «Нам не простит ни народ, ни Бог, если мы поддержим этот законопроект») или повествуют об оберегах и об астрологических прогнозах (Николай Харitonов в своих предвыборных речах и деятельности)<sup>4</sup>.

Советское прошлое выступает как хронотоп, сочетающий в себе параметры пространства и времени, равно важных для сравнения с хронотопом российского, постсоветского. Нередко «наше» сегодняшнее пространство совпадает с советским — в зависимости от интенций говорящего это может быть идеологией или просто оговоркой. А. Починок в интервью журналисту говорит: «Наша «Массандра», потом сразу же исправляет себя: «Теперь, правда, не наша»<sup>5</sup>. Некоторые, однако, осознанно не воспринимают переименования, возвращаясь к советскому хронотопу. «Для нас Екатеринбург по-прежнему Свердловск», — утверждают музыканты из Казахстана (ТВ-программа «Рок старый и новый»).

Идеологически прошлое может составлять «географическую» оппозицию западному, американскому, ср. телевизионную информацию (сентябрь 2003) о школе без оценок: «Еще совсем недавно испуганных первоклашек школа встречала ленинским “Учиться, учиться и учиться”, а теперь детям по-американски внушают, что “они и являются самой главной ценностью”». Подобное противопоставление встречается нередко, ср. в интервью солист группы «Спасибо» рассказывает о себе: «Мы пытались выдавить из себя советское, американизировались, но вернулись в Россию».

Безусловно, обращение к прошлому связано с неопределенностью *настоящего времени*. Само слово *время* весьма частотно в окружающем нас русском языке, что отнюдь не случайно. Показательны в этом плане названия программ на телевидении — исчезнувшая в постсоветские годы и возродившаяся информационная программа «Время», затем «Времечко» и, наконец, относительно недавно появившиеся познеровские «Времена» (его же фраза из этой передачи «Время покажет») и «Тем временем» на канале «Культура». О времени нам постоянно напоминают и в популярных рекламных слоганах, где *время* выступает в значении ‘пора’. Это слово содержит в себе ту императивную модальность, которая в других лозунгах выражается глаголами в повелительном наклонении «Время есть!» (кулинарная программа, ресторан), «Время слушать книги» (о аудиозаписях художественной литературы), «Время менять коней!» (о новых машинах), «Время проявить себя» (майонез «Calve») и т. д. и т. п. Используется и синонимичное *пора*: «Пора обЛАДАТЬ» (реклама магазина по продаже российских автомобилей «Лада»), «Пора по пабам», «Пора избавиться от грибка!» и др. Заметим, что слоганизация была частью языковой политики послереволюционных лет [Moskovich 1989], остается она актуальной и сегодня, хотя содержание призывов изменилось кардинально.

Время — одна из самых важных категорий для манипуляции сознанием. Всем известные языковые клише о светлом будущем, о героическом прошлом — хороший тому пример. Игра с этими клише, столь распространенная в конце 90-х, сейчас почти сошла на нет, в прессе, однако, можно найти примеры («Бернардо Бертолуччи мечтает о светлом прошлом» — название статьи в «Коммерсанте» от 04.09.03, бард-клуб «Светлое прошлое» и др.).

Настоящее<sup>6</sup> время не подвергается столь многим образным характеристикам, как раньше. В течение нескольких лет почти все репортажи — как устные, так и письменные — начинались словами «В наше нелегкое, тяжелое, мрачное, грустное... время» (подробнее см. [Седакова 1995]). Это уже устаревший прием. Чаще встречаются реплики о *советском* времени как о трудном периоде: 30-летний солист одной музыкальной группы в беседе с журналисткой говорит: «Мы с тобой росли в другое время». Ведущая при этом иронизирует: «Да, в тяжелое, трудное время» (декабрь 2003). Теперь время *другое*, значит, есть еще больше оснований для сравнения, для актуализации прошлого<sup>7</sup>.

Мы живем в другой стране, в новой — этот факт утверждается многократно (например, об олимпийских чемпионах «Новые спортсмены новой страны» и мн. др.)<sup>8</sup>. Настоящее на самом деле очень далеко отстоит даже от недавнего про-

шлого — скажем, 80-х гг. ХХ в. Это не только «наш» процесс, это общемировое явление, связанное с развитием новейших технологий и распространением неологизмов, без которых обойтись нельзя. В этом плане прошедшее несопоставимо с настоящим. Это особенно ощущается, когда даже советские по духу и лексике телевизионные программы, адресованные старшему поколению, начинаются словами: «Вы можете прочитать на *сайте*», «номер нашего *пейджера*...» Развитие технологий проходит столь быстро, что в какой-то мере можно согласиться с рекламным слоганом «Будущее уже наступило» (о мобильном телефоне с встроенной видеокамерой). Сейчас настоящее становится прошлым очень быстро, и язык успевает за этими переменами — выражение «*кликните на мышку один раз*» не вызывает вопросов<sup>9</sup>.

Парадокс состоит в том, что в иное время эта другая страна — Россия третьего тысячелетия — во многом остается советской. По-моему, советское постепенно мутировало в русское, российское, «наше»<sup>10</sup>. По «Русскому радио», так же как по «Радио СССР», звучат в основном шлягеры советского периода, ср. и слоган «Нашего радио»: «Времена меняются, “наше” остается». Теперь в названиях доминирует *русское* — от понятных «Русская красавица» и «Русские сувениры» (и «Русский промысел») до «Русский корень» (лекарство), «Русский огород» (семена), «Русский дом» (фирма по уборке помещений), «Русский холодъ» (комбинат по производству мороженого), «Русский размах» (мороженое), «Русские раки», «Русский повар», «Русская семья» (издательство), «Русская печка» (кондитерские товары), «Русское море» (морепродукты) и т. д. и т. п.

Нельзя утверждать, что новояз окончательно ушел в пассив. Об этом свидетельствуют последние политические события февраля—марта 2004 г., вернувшие лексику (и даже обращение «товарищи») и речевые обороты советских времен. Участился и пересказ анекдотов советской эпохи. Накануне утверждения премьер-министра М. Фрадкова в Думе журналист комментирует: «Завтра будет как в советском анекдоте: “А веревку с собой приносить?”» Рассказывая об истории КГБ, ведущий телепрограммы напоминает, что говорили об известном здании на Лубянке: «Был Госстрах, стал Госужас». Типичные демагогические обороты, строящиеся на ключевых, знаковых словах строительной, созидательной метафорики (*вертикаль*, *стержень*, *пирамида*), которые в общем-то ничего не значит, увязываются с репликами диалогов высших политических деятелей: «Будем руководствоваться...», «Пора приступать к созидательному труду», «Президент дал нам мощный заряд к активной деятельности»<sup>11</sup>. Показательно, что на этот факт (по выражению одного журналиста, «бред старшего поколения») сразу же обращают внимание все СМИ.

Итак, советское языковое прошлое легко узнается, и его можно использовать в разных целях. Представляется, что по-прежнему актуальны те коммуникативные ситуации, которые привела Т. М. Николаева в статье [Николаева, Седакова 1994]: **Свое для своих; Свое для чужих; Чужое для своих и Чужое для чужих** и которые впоследствии она обозначила как два типа функционирования клише: 1) функция согласия и 2) функция протеста<sup>12</sup> [Николаева 2000, 153]. В зависимости от аудито-

рии (кто считается «своим») говорящий (пишущий) прибегает к разным языковым стратегиям и субъективно оценивает прошлое.

Во многих коммуникациях прием «прошлое в настоящем» играет особую роль. Здесь можно выявить несколько типов ситуаций: от полного отрицания периода тоталитаризма — до сознательного его воспроизведения и его идеализации. *Прошлое* в языке может быть синонимом советского как неприемлемого, отвратительного или, наоборот, хорошего, добротного, надежного, порядочного и т. д. В последнем случае *прошлое* соединяется с традиционным, проверенным и выступает антонимом непредсказуемого *настоящего*. Прошлое может служить фоном для сравнения, художественным приемом, без определенной идеологической привязанности к советскому, причиной обращения к минувшему является нередко ностальгия («Старые песни о главном» и мн. др.).

Осмысление дат советской истории в СМИ особенно наглядно демонстрирует модальность высказываний. 80-летие со дня смерти Ленина широко обсуждалось в прессе. Само имя интерпретировалось в неожиданном ракурсе: «Этот раскрученный бренд купили швейцарцы для линии продуктов питания». (ТВ, «Новости», январь 2004). Газета «Коммерсант» (21.01.04, с. 7) в связи с этой датой провела опрос: «Когда Ленина забудут?» Коммунистически настроенные респонденты отвечали: «Никогда». Характерен ответ внука Л. И. Брежнева члена КПРФ Андрея Брежнева: «Никогда. Мы же о Боге не забываем». Высказывались и другие мнения — забудут через несколько поколений, но: «Ленин... давно стал исторической реликвией, а памятники нельзя уничтожать» (Г. Райков).

Для введения в текст аллюзий *прошлого* распространены зачины — описательные, без уточнения или называния периода («Еще недавно, лет 10—15 назад»), временные и др. обстоятельственные конструкции («В эпоху тотального дефицита», «Во времена, если кто помнит, пионерских отрядов...») или просто «В советские годы», «На прилавках советских магазинов...»). Интересны случаи отрицательного параллелизма в начале текста: «Это не ударная <sup>13</sup> комсомольская стройка, это всего лишь возведение моста...» (ТВ, ноябрь 2003). Нередки и вводные предложения: «как сказали бы в советское время», «то, что в брежневские времена называлось...» и др. Иногда одно короткое наречие перечеркивает все наследие прошлого: «Мы уже жили в безальтернативном обществе...» То же может относиться и к притяжательному местоимению «наше». Журналистка, рассуждая о российской моде, прибегает к стереотипу: «Это синдром Советского Союза — “наše” значит плохое».

Используется и множество других способов введения компонентов *прошедшего* в целях сопоставления и / или противопоставления: «Вместо трех источников и трех составных частей марксизма мы получили многоуровневую пирамиду правительства»; «Долгое время вместо “дома” фигурировало “место прописки”»; «У нас давно не появлялось фильмов о рабочих. В советское время их снимали по разнорядке...» В репортаже о митинге в поддержку русскоязычных школ в Латвии демонстрация характеризовалась как «европейская по содержанию, советская по

форме». Тот же прием встречается в СМИ при описании судебных процессов в России: «Наше судопроизводство все еще советское по форме...» Выборы, в ходе которых проводятся «селекторные заседания» (февраль 2004), по определению журналиста, обладают «стойким советским запахом». Встречаются и самооценки, апеллирующие к прошлому или к фоновому советскому знанию: «Будучи глухим совком, я приехал в Париж» (из рассказа одного из гостей ток-шоу «Принцип до-мино»); «Я мечтатель, только не кремлевский, а медведковский» (певец Владимир Пресняков). Упоминаются «старые шутки», как бы к слову: «Помните советскую шутку? „Длинный, зеленый, колбасой пахнет? — Электричка из Москвы”» (передача «Смак», август 2003). Конечно, очень часто встречаются мемуарные высказывания по радио или телевидению: «Вы не поверите, но в советские времена и меня однажды назвали писателем-порнографом» (В. Войнович).

При упоминании о новых реалиях, которые отсутствовали или же запрещались в советские годы, напоминание о прошлом обязательно. Так, в передаче о свободной продаже пистолетов журналист сообщает: «Любое оружие в Советском Союзе было незаконно», ср. и игривое замечание ведущего кулинарной передачи: «Такой скромненький коктейльчик — киви, бананы и манго. Сказал бы так кто-нибудь лет этак десять-пятнадцать назад...» Изменение существовавших в СССР явлений и реалий также комментируется путем сопоставления: «Героям Страны Советской обещают достойную жизнь в стране несоветской»; «Вагоны, именовавшиеся ранее СВ, стали теперь ВПК<sup>14</sup> — вагонами повышенной комфортности» и мн. др.

Говоря о прошлом, нельзя не говорить о традиции, которая связывает минувшее с настоящим. Традиции, прерванные на десятилетия в ХХ в., стали особой темой в сегодняшнем повседневном дискурсе. Эта тема несколько уязвима, поскольку во многих сферах именно традиция и была прервана. Опираться на это слово нельзя; однако нередко разрыв в семьдесят лет игнорируется. Наряду с указанием 200-летней традиции идет и новый отсчет — «Нам уже 7, 9, 10 лет». Еще одно важное слово в сопоставлении пластов прошлого и настоящего — это *наследие (наследство)*, амбивалентное по своей оценке, ср. «Наше наследие» (лекарство из трав) и «Большая часть рынка упаковки не имела “наследства” от бывшего СССР в виде устаревших производств» («Коммерсант», 05.02.04). В этом же ряду находится лексема *достижения*, позитивная по своей общей семантике. Однако она, как и *наследие*, содержит в себе имплицитное сравнение с прошедшим и может иметь противоположную, негативную оценку, особенно в сочетании с определениями или обстоятельствами (*тяжелое наследство, сомнительные достижения* и др.).

Амбивалентность лексем, выражений, цитат, даже информации советской эпохи служит причиной того, что языковые игры не прекратились. Они по-прежнему строятся в основном на фонде советских знаний человека средних лет и старше, что отмечала Т. М. Николаева в своих докладах и публикациях. Новое поколение, сверстники перестройки, почти не подверглись влиянию языка советского, он приходит в пассиве — из контекста — из песен, фильмов, литературы и др.<sup>15</sup> Особую

роль играют цитаты и аллюзии в названиях газетных статей [Николаева 2002], в беседах журналистов на телевидении. Так, в передаче о российском законе о недрах ведущий обращается к приглашенному в студию политическому деятелю: «Ведь у нас, как в песне: “Широка страна моя родная, много в ней лесов, морей и рек...”»<sup>16</sup> Один из репортажей программы «Намедни» анонсировался так: «Журналист N убедился в том, что “Кто хоть раз увидит Север, не забудет никогда”» (март 2004). Многие цитаты из песен и литературных произведений трансформируются, но их пафос узнаваем, ср. рекламу пылесоса «И хорошее настроение нее покинет больше ВАХ»; рекламу лекарства: «Легко на сердце от чистых сосудов»; магазина по продаже техники «В жизни всегда есть место электронике». Известный пассаж «тебе дается одна жизнь, которую нужно прожить, чтобы не было мучительно больно», разбивается на фрагменты, смысл при этом искажается: «...чтобы не было мучительно скучно». А неизмененное «чтобы не было мучительно больно» используется в прямом смысле как реклама анальгетика: «Никто не забыт и ничто не забыто» превращается в «Никто не забыт, но ничто не раскрыто» (по поводу годовщины со дня убийства журналиста Влада Листьева).

Обыгрывается и русская классика, правда, именно те цитаты, которые входили в школьную программу и признавались подходящими для советской идеологии: «В человеке все должно быть прекрасно...» изменяется: «В женщине всё должно быть прекрасно... и мобильный телефон».

Патетическое наполнение цитат снижается: «От советского “Информбюро”: Компанией X созданы блины, блинчики, оладьи» (реклама, ТВ, 2003); слоган пива «Все ушли за “Клинским”»; «Дело ЮКОСа живет и побеждает»; «Магазины решают всё» («Коммерсант» 25.02.03). Переосмысливаются, лишаясь идеологической составляющей, названия телевизионных программ: «Их нравы», «Страна советов» и др.

Особое место в языке, который нас окружает, занимают пословицы и поговорки. Они нейтральны (Алан Данис характеризовал пословицы как «канонимное прошлое»), хотя некоторые из них стали идеологически маркованными, социальными, ассоциируются с «советской мудростью». На продуктах питания мы читаем: «Мельница сильна водою, а человек — едою», в Интернете постоянно мелькают «Готовь сани летом, а телегу зимой», «Мал да удал» (о ноутбуке)<sup>17</sup>. Использование пословиц и поговорок укладывается в тенденцию «активизации» русского языка, поэтому не только расхожие клише, но и более редкие, мало кому известные выражения, архаизмы и пр. могут встретиться в рекламе, газетах, в речи выступающих по радио или телевидению.

Целенаправленный подбор пословиц — обязательная деятельность при составлении имиджевых выступлений, при подготовке репортажей, при создании рекламного лозунга. В речи политических деятелей, как отмечают исследователи [Järv 1999: 79, 93], сильными позициями являются начало и концовка: это дает возможность предстать перед читателем или слушателем в образе «своего». Похоже, что и в композиции репортажей пословицы или цитаты сознательно «пристраивают» к зажину. Начало репортажа об успешном выступлении спортсмена:

«Говорят, плохому танцору и ноги мешают» не увязывается с содержанием (так же как случайны многие заголовки газетных статей), ср. более понятное и логичное: «Женщины, как известно, есть еще в русских селеньях, а мужчины...» (репортаж об удачном выступлении теннисисток и проигрыше мужчин-теннисистов).

Наряду с постоянными языковыми играми в русском языке наблюдается настоящий словотворческий бум. В языке СМИ изыскиваются особые способы выразительности, в рекламе — оригинальные и действенные слоганы; а также удачные названия для брендов или заведений и пр. (см. статьи Р. Ратмайр, М. И. Китайгородской и Н. Н. Розановой в этом сборнике). Хотя смена ценностей, модальности очевидна, прослеживается и языковая преемственность. В языке политиков — поиск ключевых, знаковых слов, заштампованные. В других сферах — наоборот, активны поиски живого слова, неожиданного, приятного: «Успокой» (использование глагольных названий стало нормой, не только именные конструкции), «Похудей-ка», «Вырастай-ка», «Встрой-ка»; с использованием терминологии родства: «Тещины блины», «Бабушкин сироп», «Для зятя»; «Как у мамы» или просто забавные: «Сыренок», печенье «Сытый ежик», носки «Волшебная пятка».

В названиях продуктов и компаний проявляется тот факт, что за постперестроечные годы заметно изменилось отношение к отчествам (см. семиотический анализ отчеств в статье Т. М. Николаевой [Николаева 1999]). Если сразу после перестройки пытались перенять западную манеру обращения и отчеств многих политических деятелей даже не знали, то теперь играют на «русскости» этих антропонимов. Именование *только* по отчеству (по отношению к людям это проявление *своего, разговорно-бытовое* обращение), ср. «Петрович» (чай от похмелья), «От Семеновны» (семечки), «От Палыча» (пельмени), «Михалыч» (фирма по ремонту компьютеров), «У Тимофеича» (трактир), можно рассматривать как языковое выражение национальной идентичности.

Давнопрошедшее — если можно обозначить так дореволюционное, возвращается в язык и существует с реликтами советской эры и западными заимствованиями. Применяется дореволюционное правописание и орфография (нередко нелепое и/или неверное): «Мономахъ Сити» — агентство недвижимости, аптека «ЛекарЪ», «Карпъ “ШамбОРь” в ресторане “Семь пятницъ”», «Коммерсанть» и «Ъ» как знак издательского дома, «Пироговъ и Каравеевъ» (выпечка), Банкъ «Империаль», ср. также слоган о питьевой воде «Ять»: «Качество на пять». В настоящем воссоздается дореволюционное, досоветское прошлое (на базе общего, российского, русского); т. е. новое — это «хорошо забытое старое». Отказ от советского, противостояние западному и при этом стремление привести словарь в соответствие с многообразием реалий жизни реанимирует такие слова, как *лавка, трактир, корчма*.

Та лексика, которая в словарях помечена как историческая или устаревшая, прочно вошла в реестр названий: «Князь», «Княгиня», «Боярин», «Государь»; судоходная компания «Сударь», жилой комплекс «Княжий берег», «Тихвинская

усадьба», «Особняк на Остоженке»; молоко «Дворцовое» (ср. «Домик в деревне»).

Весьма популярна в массовом языке «царская тема», особенно в названиях продуктов и в рекламе («Царева аптека», «Царская охота» и др.). Интересно, что советская верхушка ассоциируется с царской семьей, ср. рекламу с упоминанием Кремля («Милюковский» — поставщик Кремля с 1935 г.).

Язык, который нас окружает, наполнился приметами, суевериями, названиями календарных праздников (ср. хотя бы ежедневные метеопрогнозы, а также утренние радио- и телепередачи, рассказывающие об именинниках, об особенностях соответствующего дня в народном календаре, поверьях и пр.). Вот, например, полупросветительские-полуразвлекательные сообщения наподобие: «14 декабря. Пророк Наум наставляет на ум» или «По народному календарю сегодня Алексей — с гор вода» и т. д. Или: «Сегодня один из самых любимых праздников в русском календаре (?) — Фомино воскресенье, или Красная горка. В Древней Руси считалось, что самые крепкие браки заключаются именно в этот день. Кто на Красную горку женится, тот не разведется».

К дореволюционному прошлому (или неофициальному советскому) следует отнести язык оккультных наук. В наши дни вера в чудеса<sup>18</sup> и магию принадлежат массовой культуре. Официальное возрождение отчасти традиционно народных русских практик (захарство, ворожба и пр.) пришлось на пору перестройки и остается популярным и поныне. Во всяком случае, это то, что присутствует в языке, который нас окружает, что поддерживается газетными объявлениями, телевизионными программами и даже рекламными щитами на улице. Это и интерес к прошлому, но ориентированный на настоящее, на сегодняшнюю реальность. Постсоветская оккультная реклама с годами меняется, приспосабливаясь к запросам общества. Речь идет о снятии родового проклятия и венца безбрачия, о заговорах на успех в бизнесе, на деньги и пр. Гарантируется 100—1000-процентный успех, говорится о «надежной методике приворотов», об исцелении от наркомании и игромании и пр. Вот краткий пример сочетания, казалось бы, невозможного в одном из газетных объявлений: «Наталья Владимировна Степанова — потомственная сибирская ведунья поможет в кратчайшие сроки вернуть любимого, оградит от предательства и измен. Гарантия безупречной работы, проверенной временем» (газета «Центр-Плюс», май 2003).

Особый интерес представляет антропонимикон этих объявлений и формулы представления гадалок и магов. В первые послеперестроечные годы преобладали старинные русские имена или имена говорящие — *бабушка Агафья, сестра Валентина, потомственная колдунья Вера*. Встречались необычные, исключительные имена, маркированные (цыганка Гизела, ведьма Андрагора). Сейчас в подобных объявлениях доминируют, буквально по советскому образцу (как в анкете на выезд), Ф.И.О.: *Иванова Мария Петровна* и штампованные фразы, будто заимствованные из характеристик советских времен, к которым добавилась стилистика любовных романов («Вырву мужа из рук любовницы...»; «Наглость соперницы не знает границ?»; «Ваш любимый приползет к Вам на коленях» и др.).

Таким образом, в скрытом или явном виде минувшее присутствует в современных текстах и во всем своем многообразии существенно влияет на тот язык, которым мы окружены сегодня. Более того, оно направляет те процессы, которые происходят в языке наших дней. Прошлое посылает импульсы в настоящее, помогая вернуть утраченное (дореволюционное), избавиться от советского новояза, сделать язык менее бюрократическим. Таким образом, минувшее (как дореволюционное, так и советское) через язык воздействует на формирование новой идеологии, нового мировоззрения. Историческое и культурное прошлое составляет базу не только для настоящего состояния языка, но и для его будущего, создавая возможности для творческих комбинаций: новое не может существовать без старого.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Конечно, *событие* — это очень условный термин, который не отвечает всей сложности явлений минувшего. Советская эпоха кроме специфической идеологии, ментальности и мн. др. отличалась особыми свойствами, или, как сейчас говорят и пишут в СМИ, — «запахом», «аурой», «формой» и «содержанием».

<sup>2</sup> Отметим особую инертность советского менталитета. Так, переименованию производственных названий — поселок ДРП-4 — в традиционные русские (деревня Рождественское) с соблюдением различия между селом и деревней (наличие/отсутствие храма) противостоят привыкшие к старому местные жители (ТВ, декабрь 2003). С другой стороны, наличие «ленинских мест» и памятников советской эпохи свидетельствует о том, что «общество еще недостаточно очистилось» (Виктор Ерофеев).

<sup>3</sup> Например, в телевизионном репортаже из Днепропетровского музея Л. И. Брежнева (декабрь 2003) гид говорила на советском официальном языке, практически не обращаясь к языку и реалиям нашего времени.

<sup>4</sup> В. Шандыбину, по его собственным словам, с детства внушили, что череп у него должен быть голым — «для лучшей связи с космосом», теперь, побрав голову, он «действительно это чувствует» (ТВ, февраль 2004).

<sup>5</sup> Подобную оговорку допустил и Ю. Лужков в выступлении в Крыму: «Этот полуостров занимает особое место в России» и после неловкой продолжительной паузы произнес: «Я имею в виду Украину» (2003).

<sup>6</sup> Социолингвистическая интерпретация категории будущего — отдельная тема. Отметим только, что в нашем языковом окружении отражены диаметрально противоположные взгляды на перспективы. С одной стороны, это официальное «Мы строим будущее», поддерживаемое и многими коммерческими рекламными плакатами («С нами время меняется к лучшему», — уверяет агентство по труду и устройству). С другой стороны, встречаются заголовки наподобие интернетовского «Наше будущее сыграло в ящик». Насаждение позитива, заимствованного из шлягера «Все будет хорошо», натыкается на ироническое «Все будет хорошо. Готовьтесь» (ТВ-программа «Личный вклад» А. Герасимова).

<sup>7</sup> Ср. зчин репортажа о московской жизни «В наше тяжелое капиталистическое время в Москве не осталось места для уголков советской эпохи. Я имею в виду обычные пункты проката» (сентябрь 2003).

<sup>8</sup> Настоящее время именуется *путинским*, эта тема разрабатывается в СМИ, ср., например, радиопрограмму «Семья времен Путина», «Путинское время армейских реформ» и др.

<sup>9</sup> Вспомним первые годы перестройки, когда постепенное знакомство с достижениями западной цивилизации в сфере быта и технологий сопровождалось в нашей стране множеством

неологизмов. Расширение словаря за счет заимствований, отсутствие русского описания на «заграничных» продуктах вызывало протест у людей старшего поколения, не владевших иностранными языками.

<sup>10</sup> В начале перестройки патриотическая лексика была своего рода табу. Постепенно в идеологически окрашенной лексике стали восстанавливаться значения нейтральные, особенно в коммерческом дискурсе.

<sup>11</sup> Новояз обыгрывается в повседневной коммуникации. Ср. шутливую, но очень показательную реплику одного из участников диалога об издании тома научных статей: «Я отношусь к этому с чувством советского человека — то есть с чувством глубокого удовлетворения».

<sup>12</sup> См. сн. 9. И в наши дни безудержное использование заимствований вызывает протест. Их «чужесть» проявляется и в устной, и в письменной формах. О неудобстве кириллицы для передачи заимствований см. статью Михаила Эпштейна [Эпштейн 2003]. Это касается не только орфографии, но и фонетики: сложность произнесения www — «три дабл ю» — при указании адреса сайтов в Интернете, названия компаний «Бразерс энд Ко», «Плазма Фьюжн» и др.). Отсюда же следует разнобой в написании и произнесении заимствований, что «размывает» правила русского языка: брэнд — бренду, дистрибьютор — дистрибутор, офшор — офшор и др. Многие термины вполне можно было бы переводить, а не навязывать их американские аналоги: «праймериз», «экзит пуль», «селебризм» и др.

<sup>13</sup> Ср. рубрику «Ударники капиталистического труда» в программе «Намедни».

<sup>14</sup> Столь популярные в советские годы аббревиатуры востребованы и сейчас. «ДОН-строй» расшифровывается как «Дома особого назначения», известная с советских времен «ЖЗЛ» получает иную расшифровку — «Жизнь зарегистрированных людей» (программа по телевидению перед выборами) или используется в другом контексте «Жизнь замечательных людей» (рекламный слоган строительной компании), такое же название с идентичной расшифровкой носит ночной клуб в Москве.

<sup>15</sup> Отсюда типичное незнание и угадывание советских реалий, ср. диалог-перевод в ресторане: «У вас есть комплексные обеды?» — Официантка: (заминка) «У нас есть бизнес-ланч» (февраль 2003).

<sup>16</sup> Игра с продолжением этой строфы в ночной очереди перед ОВИРом — «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» описана в [Седакова 1995, 225].

<sup>17</sup> Пословицы и афоризмы также переделываются, сокращаются или расширяются, ср. «Краб познается в еде», «Здоровье не купишь, а «Профилактику» может купить каждый».

<sup>18</sup> Чудеса и чудесное, сказочное — все еще частые мотивы в языке, который нас окружает. Это, безусловно, прерогатива языка рекламы и рекламируемых продуктов: названия «Ворожея», «Фея» и пр. Действия этих товаров «магические», «волшебные» и пр.

## ЛИТЕРАТУРА

- Николаева 1997 — Николаева Т. М. «Слово о полку Игореве»: Поэтика и лингвистика текста. М., 1997.
- Николаева 1999 — Николаева Т. М. Новые употребления «отчества» в русской речевой традиции // Slavia. Ročn. 68. Konfrontační studium inovačních procesů ve slovanských jazycích. Praha, 1999.
- Николаева 2000 — Николаева Т. М. От звука к тексту. М., 2000.
- Николаева 2002 — Николаева Т. М. Лингвотекстологические особенности подачи информации в русскоязычных газетах // Встречи этнических культур в зеркале языка. М., 2002.
- Николаева, Седакова 1994 — Николаева Т. М., Седакова И. А. Ценностная ориентация клише и штампов в современной русской речи // Revue des études Slaves. T. 66. Paris, 1994. P. 607—625.

Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996.

Седакова 1995 — Седакова И. А. О советизмах в русском языке // Знакомый незнакомец. М., 1995.

Эпштейн 2003 — Эпштейн М. Н. Варваризация и латинизация // <http://www.languages-study.com/russian-letters.html>

Moskovich 1989 — Moskovich W. Planned Language Change in Russia since 1917 // Language Planning in the Soviet Union / Ed. by Michael Kirkwood. London, 1989.

Järv 1999 — Järv Risto. Is providing proverbs a tough job? References to Proverbs in Newspapers Texts // Folklore. Tartu, 1999. Vol. 10.

*M. B. Китайгородская, Н. Н. Розанова (Москва)*

## ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАКИ

Мой идеал теперь — хозяйка,  
Мои желания — покой,  
Да щей горшок, да сам-большой...  
*A. C. Пушкин*

В волшебном царстве калачей,  
Где дым струится над пекарней,  
Железный крендель, друг ночей,  
Светил небесных светозарней.  
Внизу под кренделем — содом.  
Там тесто, выскочив из квашен,  
Встает подобъем белых башен  
И рвется в битву напролом.

*H. Заболоцкий*

Облака плывут, облака,  
Не спеша плывут, как в кино.  
А я цыпленка ем табака,  
Я коньячку принял полкило.

*A. Галич*

### *Вступление*

**П**роблемы языка и его «хозяина», т. е. антропоцентрические аспекты языковой сферы, занимают значительное место в научном творчестве Т. М. Николаевой. Одна из тем в рамках этой проблематики, которой Татьяна Михайловна посвятила целую серию работ, — речевые и ментальные стереотипы носителей современного русского языка. Основной функцией стереотипов, как отмечала Т. М. Николаева, является функция социальная, они «встроены» в обычную, неклинированную речевую ткань: «Количество клишированных речений в коммуникации может говорить о социализированной стабильности данного социума и в то же время ясно, что клише воспринимаются на речевой оси только в синтагматическом контрасте с не-клише, зонами свободного речевого выбора»

[Николаева 1995, 85]. При этом выделяются речевые, коммуникативные и ментальные стереотипы. Ментальные стереотипы, отражая некоторые относительно устойчивые представления членов данного социума о себе и об окружающем мире, «реализуются (манифестируются) также на вербальном уровне» [Николаева 2000, 164]. Нетривиальная, часто неожиданная интерпретация Т. М. Николаевой, казалось бы, обыденных, хорошо всем знакомых языковых фактов имеет конструктивный характер и способствует решению широкого круга исследовательских задач.

В данной работе мы обратимся к проблемам социального речеповедения «человека жующего» — попытаемся обозначить некоторые стереотипные представления современных носителей языка, находящие отражение в пищевом дискурсе.

Сфера материально-телесного бытия человека попадает в поле зрения лингвистов не так уж часто. А концепт «еда», отражающий одно из главнейших условий самого существования человека, остается пока малоизученным (см. одну из немногих работ по русистике на эту тему [Миронова 2002], а также работы, в которых описывались отдельные фрагменты тематического поля «еда», «пища» или отдельные лексические единицы: [Конычева 2002; Левонтина, Шмелев 2002; Дмитриева 1999; Михайлова 1998; Эно-Сахно 2001] и др.).

По-видимому, отсутствие активного исследовательского интереса к данному фрагменту лексической системы русского языка в какой-то мере может объясняться причинами социокультурного характера. Если исходить из оппозиции «духовное» / «материальное», то, как неоднократно отмечалось многими исследователями, для русской культурной традиции характерно разграничение материально-телесной и духовной сфер бытия с признанием приоритета последней [Булыгина, Шмелев 1997: 481—495; Вежбицкая 1996; Лотман, Успенский 1994 и др.]. Это в значительной степени определялось и поддерживалось этико-религиозными христианскими представлениями. Морально-этические концепты, сформированные в религиозном дискурсе, оказывали (и оказываются) определенное влияние на сферу повседневного речевого общения. В обыденном сознании ориентация личности на сферу физического потребления нередко воспринимается как символ бездуховности. Ср. расхожие цитаты и речения, активно функционирующие в повседневном речевом обиходе: «Не хлебом единым!», «Не делайте из еды культа!», «Не быть рабом желудка!», «Сколько можно о жратве говорить!», «Я не сижу на диете. Все время думать о еде — это просто унизительно» и мн. др.

Свою «лепту» в подобное положение внесла и русская литература. Так, известный исследователь «кулинарной» проблематики В. В. Похлебкин, анализируя в одной из своих книг репертуар кушаний и напитков в русской классической драматургии конца XVIII — начала XX в., отмечал почти полное отсутствие в русской литературе этого периода кулинарного жанра, широко распространенного в литературах Западной Европы. По мнению автора, это связано с тем, что «активную сознательную часть русского общества всегда интересовали вопросы чистые, высокие, идеальные, а не низменные и мелкие, конкретные» [Похлебкин 1993, 19]. Ср.

ироническое отображение подобных устремлений главного героя — Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя: «Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить: хочешь, наконец, пиши для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться». Заметим, что комический эффект подобных рассуждений усиливается тем, что на протяжении всего действия пьесы, особенно в ее начале, Хлестакова заботят прежде всего вопросы «пиши для тела».

В творчестве Пушкина гастрономическая тема занимает довольно значительное место<sup>1</sup>, несмотря на традиционную ориентированность художественной речи на «высокое». Числовым подтверждением интереса поэта к этой тематике могут служить данные СЯП<sup>2</sup>. Приведем некоторые лексемы (по мере убывания их частоты): *тир* — 133; *обед 1, 2* — 129; *обедать* — 83; *есть 1* ('принимать пищу') — 69; *пировать* — 40; *ужин 1, 2* — 38; *ужинать* — 16; *кормить 1* ('давать кому-, чему-н. пищу, еду') — 18; *кушать 1* ('есть, принимать пищу') — 14; *варить 2* ('приготовлять кипячением пищу, еду') — 12; *готовить 2* ('стягивать') — 6. Тем не менее встречаемость слов, отражающих ментальную и эмоциональную сферы жизни человека, значительно выше, чем слов лексического поля «пища». Ср.: *любовь* — 630; *любить* — 614; *чувство 1* ('внутреннее психическое состояние человека, его душевное переживание') — 217; *мечта* — 187; *желать* — 184; *чувствовать* — 154.

В сознании советского общества сфера «еды» ассоциировалась со сферой призывающего человека быта. Особенно ярко эта тенденция проявила себя в советском пропагандистском дискурсе 20—30-х гг., когда шла активная борьба за «новый быт» и «раскрепощение женщины-труженицы»<sup>3</sup>. В массовое сознание внедряется положительная оценка процесса сокращения личной бытовой сферы человека за счет расширения «прогрессивных» общественных форм быта (ср. распространение домов-коммун, предприятий общепита, таких как домовые кухни, фабрики-кухни, рабочие столовые и т. п.).

«Утилитарный» подход к пище как к своеобразному «топливу» для человеческого организма находит отражение в признаковых метафорах, имеющих направление «машина» > «человек». Ср.: *зарядиться, подзарядиться, бросить в тонку* и нек. др. О живом характере данных ассоциаций в современном языке свидетельствует, например, шутливое название пивного ресторана «Заправочный».

Повышенное внимание человека к материальной стороне жизни в советском обществе расценивалось как мещанство. Наиболее остро тема борьбы с «вешизмом» зазвучала в 60-е гг. Своего рода манифестом времени явилась пьеса В. Розова «В поисках радости» с ее антимещанским пафосом и бунтом главного героя против удушающего «быта», идеологии накопительства и стяжательства. Идея отказа от материальных благ (или по крайней мере сведения их к необходимому минимуму) ради высоких духовных идеалов звучала и в публицистических статьях драматурга. Ср.: «Думаю, что со мной согласится каждый читающий эти строки, если я скажу, что жить в простом доме, в скромной квартире без особого комфорта, но быть

окруженным добрыми, сердечными людьми, людьми-друзьями лучше, нежели поселиться в роскошной квартире, но иметь соседями людей лживых, завистливых, недобрых. (...) Жизненные испытания могут быть иногда и неожиданного характера. Есть испытания на успех, на славу, на высокую должность. Недаром сложились исстари поговорки и пословицы, к сожалению, еще не всегда потерявшие смысл и сейчас: «Деньги портят человека», «Успех кружит голову», «Сытый голодного не разумеет» [Розов 1969, 325]. «К сожалению, у современной молодежи тяга к приобретению вещей чрезмерно велика и возникает чересчур рано. Когда юноша или девушка бьется изо всех сил, чтобы обзавестись той или иной вещью не первой необходимости, — смотреть на это и горько и жалко. Привить с детства ровное, спокойное отношение к вещам — большое благо и для молодых людей и для всего общества» [Там же, 356].

В контексте подобных ценностных идеологических установок, принятых в советском обществе, престиж «пищевых профессий» был невысок. В конце 70-х — начале 80-х гг. одной из популярных масок классического недотепы на советской эстраде являлась маска студента кулинарного техникума в исполнении Г. Хазанова. Показательно, что в перестроенное время повальные переименований учебных заведений Московский технологический институт мясной и молочной промышленности (МТИММП) избирает эвфемистическую номинацию — Московский государственный университет прикладной биотехнологии (МГУПБ).

Кардинальные социально-экономические изменения последних лет сопровождаются во многом болезненным процессом утраты традиционных для советского общества представлений, их переоценкой и внедрением новых ценностей, ориентированных на «общество потребления». Одним из важных каналов распространения новой ценностной доминанты гедонистичности (цель жизни — получение удовольствия) является реклама, определяющий девиз которой: «Бери от жизни все!»

Основные рекламируемые товары относятся к сфере материального потребления (пища, парфюмерия, косметика и т. п.). Ключевыми словами в рекламных слоганах являются слова удовольствие, наслаждение, радость<sup>4</sup>, счастье, любовь, блаженство и слова, ассоциируемые с семантической сферой удовольствия. Ср. рекламные слоганы: (шоколад) «Дупло» — это удовольствие, от которого легко потерять голову!; (шоколад) «Баунти» — райское наслаждение!; Сыр Хохланд — неземной вкус!; (реклама на этикетке печенья) Кондитерский рай. Сладость в радость!; (реклама бульонных кубиков) Gallina Blanca — любовь с первой ложки! (ср. любовь с первого взгляда); (реклама сока Rich) Жизнь прекрасная штука! Как ни крути. Ср. также товарный знак кондитерской фабрики г. Екатеринбурга: Слад&К°. Фабрика удовольствий.

Однако границы между духовным и материальным как в реальной жизни, так и в культуре, языке оказываются зыбкими, взаимопроникаемыми. Подтверждением этого может служить широкое использование «пищевой» лексики, фразеологии, презентирующей концептосферу «еда», для описания ментальных процессов,

эмоциональных состояний, межличностных отношений и т. п.: *котелок не варит, проглотить обиду, хлебать не расхлебать, с ним каши не сваришь, коврижками не заманишь, не по зубам, взять измором, есть поедом, отдать на съеденье, в общий котел, заварить кашу, ни рыба ни мясо, выглядит как огурчик, как пить дать и мн. др.*

Общая направленность «пищевых» метафор — «материальное» > «нематериальное» — определяет их экспрессивный снижающий характер и преимущественное функционирование в сфере непринужденного общения. Наблюдения над словоупотреблением в РР и в СМИ говорят о живом характере и высокой встречаемости пищевых метафор, сравнений: (из разговора о книге, которую у А. взяли почитать и не возвращают) *«... буквально изо рта вынули»* // Там как раз «Записки юного врача» / понимаешь? [PPP-78, 128]; (отрицательная оценка концерта через образное сопоставление «высокой» и «низкой» — пищевой — ситуаций с характерным набором актантов) То есть ты понимаешь / он там тебе пародирует / и «Вешние воды» Рахманинова / и «Крейцерову сонату» Бетховена / и когда вы сидите за рюмкой водки / с капустой / и слушаете это / это действительно здорово // Но когда вы приходите на концерт / в Большой зал консерватории / [PPP-78, 132]; (радио «Эхо Москвы». «Новости культуры», 05.02.2003) В концертном зале «Россия» сегодня так называемая *«сборная солянка»* // Артисты всех возрастов / и всех жанров //. Отметим интересный пример индивидуального сравнения, источником которого послужила современная пищевая ситуация: «*Мюзиклы*, пришедшие в Москву, напоминают мне экзотические продукты, которыми заполнены наши магазины. Приживутся они или нет — вопрос времени» (из интервью с Г. Хазановым. «Аргументы и факты», 2003, № 1—2).

Актуализация устойчивых пищевых метафор, фразеологизмов характерна и для современного политического дискурса: *политическая кухня*<sup>5</sup>, *делить* (нефтяной, иракский, федеральный и т. п.) *пирог, муhi отдельно — котлеты отдельно* (этот цитата из известного анекдота стала особенно популярной в СМИ после одного из интервью Путина).

Подобно одухотворенному «вещному» миру, окружающему человека, в духовное пространство личности входят и некоторые прецедентные предметы «пищевой сферы», в которых фиксируются символы времени, воспоминания о семье, детстве, важных событиях в жизни и т. п. В качестве примера приведем фрагмент воспоминаний о детстве. Рассказ отражает жизнь семьи в начале тридцатых годов XX в., в повседневном укладе которой значительная роль принадлежала стереотипам пищевого поведения, выстроенным по принципу хронотопа. (Данный отрывок связан с темой «Хлеб». Текст насыщен «хлебной» лексикой. Представлены прямые значения слова *хлеб*, номинации хлебных изделий — по форме, типу муки.)

**О. Мы ели / свой хлеб // Редко когда покупали / в магазине // Покупали муку / и пекли свой хлеб // Раз в неделю // В субботу пекли хлебы // На всю неделю // Их выставляли / на полотенце / в сенях выставляли вот так / круглые караваи чёрного хлеба / и круглые караваи белого // И калачи / обязательно // Н. Ну калачи наверно токо в вос-**

кресенье ели // **О.** Не-е-т / ну к... да! ну... почему? Калачи каждый... это как хлеб // **Н.** А-а // **О.** Это же не крендели были // Это вот калачи / они толщиной вот / с руку // Вот такой вот (показывает) // И вот такой величины // **Н.** А-а / понятно // **М.** Большие / как белый хлеб // **О.** Как белый хлеб // **Н.** А чем же тогда белый хлеб / отличался от калача? Только формой / или мука была? **О.** Только формой // Абсолютно та же мука // **Н.** М-м // **О.** Калачи могли сделать / и из пшеничной муки / калачи мо... ну / на Урале там уже / ржаной хлеб был // Э-э в Сибири-то... Ну я правда уехал маленьким оттуда // Но я помню как сёстры / они / радовались / шо они переехали на Урал / наконец-то будут кушать чёрный хлеб // В Сибири же нет чёрного // **Н.** (удивленно) Да-а? Не ели чёрный? **О.** Да / только белый // **Н.** А почему? То есть там не выращивают? **О.** Не растёт пшениц... э... **Н.** (правляет) Рожь // **О.** Только пшеница // **Н.** Надо же! **О.** Да-а // Радовались / что будем есть чёрный хлеб // (тихо) Господи! Чёрный хлеб будем есть! Вот // **Н.** Но они же из Сибири // А как они / откуда они / чёрный хлеб тогда знали / если там не ели? **О.** Ну привозили же / с Ура-а-ла / **Н.** А-а! **О.** Отец с Урала был / потом ну... купцы-то / завозили! А потом / э... девушка / по матери / он же хлебом торговал! **М.** О-о! **Н.** Да-а? **О.** Не хлебом / а-а... **М.** Ну / **О.** зерном // **М.** Зерном // (изрёз) **О.** Он и в Китай возил / с... э... караваны... **Н.** О-о! **О.** пшеницы // Ну а / привозил / соответственно то что / редкость / была // **А-а** / редкость / она / всегда приносит прибыль //

### *Сtereотипные представления о еде с современных носителей языка*

Стереотипные представления носителей современного русского языка о еде, актуализируемые в разных типах «пищевого» дискурса, соотносятся с определенным набором антонимических противопоставлений, многие из которых сопровождаются оценочными и культурными коннотациями. К их числу относятся такие характеристики еды, как вкусная — невкусная, полезная — вредная, дорогая — дешевая, своя — чужая, простая — изысканная, сытная — несытная, домашняя — недомашняя, будничная — праздничная, постная — скромная и др. Антонимические противопоставления проявляют себя в номинативных единицах и на уровне текста. Одни из них являются «универсальными» и применяются как к продуктам питания (в виде сырья), так и к блюдам (кушаньям), другие противопоставления определенным образом распределяются между этими двумя группами пищевых «объектов». Подробное описание выделенных оппозиций представлено в [Китайгородская, Розанова 2003].

В реальной речевой практике перечисленные параметры по-разному взаимодействуют друг с другом и имеют разнообразное речевое воплощение. Обычно, описывая продукт или блюдо, говорящие не ограничиваются одним-двумя признаками, а перечисляют целый ряд характеристик. Некий утилитарный идеал, к которому стремится «человек жующий», предполагает, что пища должна быть вкусной, полезной, хорошего качества, недорогой, «быстрой» (т. е. с минимальными временными затратами на ее приобретение и приготовление), сытной и т. п. Приведем показательный отрывок из «Кулинарной книги лентяйки» Д. Донцовой:

Чем хороши фаршированные овощи? Во-первых, они получаются замечательно даже у самой нерадивой хозяйки. Во-вторых, мужская часть семьи, не желающая есть

полезные кабачки, баклажаны и капусту, обычно смиряется, увидав, что в начинке присутствует говядина. В третьих, данные кушанья, если делать их летом, необременительны для кошелька [Донцова 2003, 77].

В многочисленных высказываниях на тему «еды» обнаруживает себя целый ряд ментальных стереотипов, существующих в виде расхожих суждений типа *Все женщины любят сладкое; В детстве еда была вкуснее; Мужчины любят мясо; Голодный мужчина — злой; Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок*. Подобные стереотипные суждения, не подлежащие верификации (ср. [Сандомирская 1995, 107—108]), «работают» на стратегию убеждения как в повседневной коммуникации, так и в рекламном дискурсе. Ср., например, рекламные слоганы: (реклама зефира в шоколаде) *Шармель — маленькая женская радость*; (реклама овсяного печенья) *Вкусно, как в детстве*; (реклама пива) *Свободу настоящему мужику!, Пиво с мужским характером!*

Характеристики продуктов и блюд, актуализируемые в пищевом дискурсе, могут нести информацию о *прагматическом характере*, отражая стереотипные модели пищевого поведения членов данного социума, их привычки, пристрастия, оценки, предубеждения и т. п. Кратко остановимся на тех оппозициях, в которых наиболее очевидно присутствие социокультурной составляющей.

Общесемиотическое противопоставление «*свое*» / «*чужое*» актуально и для пищевого дискурса.

Прежде всего, причина этого — в реальном положении дел: в повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с продуктами и блюдами, имеющими разное «происхождение». На уровне текста члены этого противопоставления представлены целым рядом конкретных лексических реализаций. «*Свой*» — *национальный, отечественный, российский, наши* и т. п.; «*чужой*» — *иностранный, импортный, «колониальные товары», экзотический* и т. п. Ср.: Скажите / у вас яблоки *отечественные* или *импортные*?; Я куры только *наши* покупаю // *Иностранные* всегда мороженые //; (о супермаркете) Там много *импортных* / дорогих продуктов // Но есть и *дешевые наши / отечественные* //.

Кроме того, в разных типах пищевого дискурса мы регулярно наблюдаем проявление и вербализацию разного рода *стереотипных представлений* о «*своей*» и «*чужой*» пищевой культуре. Примером этого могут служить расхожие неверифицируемые суждения о национальных пищевых предпочтениях типа: *Все итальянцы едят макароны, Все французы пьют красное вино и едят лягушек, Все немцы пьют пиво и едят колбасу*, породившие устойчивые номинации-дразнилки представителей соответствующих наций: *макаронники, лягушатники, колбасники*. Подтверждением существования подобных устойчивых гетеростереотипов может служить их активное использование в современной рекламе и игровых наименованиях городских объектов (кафе, ресторанов, баров). (Подробный анализ современных московских «пищевых» вывесок представлен в [Китайгородская 2003].) Так, в основе наименований пивных баров и ресторанов лежит традиционная ассоциация *пиво — Германия*: ресторан «Пивная келья “Манкс&Ханс”», пивной бар «*Dac Капитал*», пивной ресторан «Старина Мюллер». Ср. также некоторые

«французские» названия кафе-кондитерских: «Ле Безе», «La femme», «Солей экспресс» (сопровождающий текст на вывеске: «Любимое кафе Людовика XIV, Короля-Солнце»).

Сtereотипы пищевого поведения носят динамический характер. В истории широко известны случаи, когда социально-экономические перемены в обществе сопровождались изменением традиций пищевого потребления (ср. распространение кофе при Петре I, картофеля при Екатерине II и т. п.). Подобные процессы происходят сейчас на наших глазах. Ср. характерное для современной Москвы появление сетевых кофеен, формирующих определенный тип поведения горожанина. Наряду с кофейнями все возрастающую популярность получают многочисленные суши-рестораны и бары. Процесс освоения «чужой еды», изменения пищевых привычек имеет характерные языковые приметы. Так, заимствование продукта и его наименования может сопровождаться в реальной речевой практике сигналами превращения «чужого» в «свое»: ср. название на упаковке: *Наши мюсли*. С изменением пищевых привычек связано освоение разговорной речью номенклатурной номинации *морепродукты* (в связи с отсутствием соответствующего разговорного родового обозначения)<sup>6</sup>. Одним из речевых механизмов, способствующих «движению» нового пищевого продукта, является языковая игра, широко использующаяся в рекламных целях. Ср., например, городские вывески: суши-бар «Суши весла!», суши-бар «Японка мама», суши-ресторан «Сюси-пуши», кафе «Жар-пицца», «Пицца-фабрика» и т. п. В приводимом ниже примере представление рецепта «чужого» блюда из «экзотических» ингредиентов (авокадо, перец чили, лайм) сопровождается шутливым его переименованием путем создания окказионального слова по ставшей в последнее время регулярной жargonной модели с прозрачной внутренней формой (*макать — макалово*):

Беспрогрышный вариант — мексиканское гуакомоле: размятое авокадо смешивается с измельченными помидорами, красным репчатым луком, перчиками чили и заливается большим количеством сока лайма; лимон тоже сойдет. А если ту же размятую плоть просто заправить майонезом с тем же лаймом или лимоном, то получится замечательное и очень популярное в Америке блюдо — *dip из авокадо* (от английского *to dip* — «макать», «окунать») — это нечто консистенции сметаны, во что можно макать нарезанные овощи, чипсы, сухарики и прочее. В «Аппу» такое называется модным словом «*курудите*», а мы прозвали это по-простому — *макалово* (Дюка Бруни. Просто макалово // Наш город. 26 марта 2004 г.: 29).

Происходящие изменения в структуре общественного питания — появление сетевых кафе быстрого обслуживания (типа «Макдоналдс»), а также линий продуктов быстрого приготовления — способствовали распространению целой группы наименований с прозрачной внутренней формой, содержащей компонент ‘быстрый’ (ср. англ. *Fast food*): *Быстросуп*, каша «*Быстро*», каша «*Быстронон*». См: также актуализацию этого компонента в рекламных текстах: (текст рекламы в метро) «Ролтон» — линия быстрых продуктов. Одна остановка до вкусного блюда». В современный речевой обиход активно проникает и английское заимствование *фаст-фуд*. О степени его освоенности носителями языка свидетельствуют

случаи игрового употребления. Ср. показательный фрагмент интервью с актером Ефимом Шифриным: «*Фаст-фуд* я просто не приемлю и, в силу обстоятельств, очень редко на это соглашаюсь. Мне не подходит даже такой *фуд*, когда надо всего лишь разогреть в микроволновке полуготовый продукт из супермаркета» (газета «Новый вкус», № 3(20), 2004, с. 5).

Идентифицирующая роль оппозиции «свой» / «чужой» проявляется и в пищевом дискурсе. При этом в повседневной коммуникации «контексты идентичности» обычно носят оценочный характер. Ср. показательные примеры из разговорной речи:

- (А. пришла в гости к Б. и В. и принесла в подарок мандарины)
- А. У нас в палатке мандарины совершенно потрясающие / абхазские//
- Б. С косточками?
- А. Такие вкусные / что я даже не поняла //
- В. (шутливо) Она их с кожурой прям ела // (пробует мандарин) Действительно не-плохие //
- А. Я разные покупала / и испанские / и марокканские /
- В. Да это всё дерньмо //
- А. лучше абхазские всё равно // Это ж *почти что наши* можно сказать //.

\* \* \*

- А. Вкусный сыр //
- Б. *Наш* //
- А. А *наша жратва жратвее всей жратвы* //.

Апелляция к фактору «своего» является одним из существенных аргументов убеждения в современной пищевой рекламе<sup>7</sup>. Нередко рекламный текст в результате эксплуатации данного приема приобретает комический характер, поскольку не соответствует типу рекламируемого товара и его имени. Ср.: «Если вы остановите выбор на чипсах “Big Bon” со вкусом сметаны с зеленью, то, без сомнения, сразу же окажетесь в России. Что может быть привычнее и любимее, чем традиционное для нашей кухни сочетание зелени с картошкой? Кстати, для приготовления чипсов используется натуральная зелень укропа».

Противопоставление «своей» и чужой пищевой культуры с положительной оценкой «своего» является одним из устойчивых стереотипов, нередко облекаемых в художественные формы:

Горшок горячих, добрых щей,  
Копченый окорок под дымом;  
Обсаженный семьей моей,  
Средь коей сам я господином,  
И тут-то вкусен мне обед!

А как жаркой еще баран  
Младой, к Петрову дню блюденный,  
Капусты сочных кочан,  
Пирог, груздями начиненный,  
И несколько молочных блюд, —

Тогда-то устрицы го-гу,  
 Всех мушелей заморских грузы,  
 Лягушки, фрикадельки, рагу,  
 Чем окормляют нас французы,  
 И уж ничто не вкусно мне.

(Г. Р. Державин. Похвала сельской жизни)

Одним из актуальных параметров, определяющих ситуацию «Трапеза» и характер ее протекания, является время. В соответствии с набором оппозиций циклического времени могут быть выделены и определенные «разновидности пищи». Наиболее культурно нагруженным является противопоставление *будничная еда — праздничная еда*, соотносимое с общесемиотической оппозицией «*будни* / «*праздники*».

С ситуацией «праздника» традиционно коррелируют представления об *обильной и разнообразной пище*. Распространенное в РР выражение *богатый стол* включает значения ‘обильный, разнообразный, красивый’. Ср. фрагмент описания праздника: *Стол был богатый // Закусок всяких полно / салатов видов пять / рыбка / колбаска / икра*<sup>18</sup>.

Повседневная речевая коммуникация дает богатый материал для выявления стереотипных представлений о праздничной еде. Так, в русской культуре «праздничные коннотации» традиционно связаны с *пирогами*. Показательны следующие примеры из РР: Люблю когда *пирогами пахнет* / сразу чувствуешь / вот и *праздник* //; (обсуждают меню праздничного стола) А. Пирожка можно испечь / да возиться неохота // Б. Да нет / надо / надо // *Какой же праздник без пирога?* Представление о пирогах как о праздничной еде часто эксплицируется в текстах СМИ. Ср. тему обложки журнала «Лиза» (№ 45, 2002): «*Пироги начинкой дразнят, в них как будто спрятан праздник*».

Некоторые блюда (или продукты) соотносятся с определенным праздником, являясь необходимым его атрибутом. Например, Пасха — *кулич, крашеные яйца*, масленица — *блины*. С ритуальной пищей нередко связаны и определенные стереотипы поведения, описанные в многочисленных воспоминаниях и художественных произведениях, посвященных русскому быту рубежа XIX—XX вв. Попытки возродить некоторые из этих поведенческих стереотипов можно наблюдать в последние годы. Ср., например, заметку о масленичных гуляниях на Васильевском спуске в Москве:

В понедельник, 3 марта, начинаются проводы зимы. Целую неделю столица будет гулять и веселиться. Главные торжества пройдут в соответствии с давней традицией в самом центре города на Васильевском спуске Красной площади. Здесь возведут настоящий *Масленичный городок*, где каждого пришедшего будут угождать блинами, ублажать взор карнавальными шествиями, а слух — выступлениями фольклорных коллективов.

В четверг, 6 марта, нас ожидает необычайный аттракцион: известные политики будут соревноваться друг с другом, кто больше напечет блинов. Политики намерены таким образом войти в Книгу рекордов Гиннеса, представители которой будут фиксировать результаты кулинарного конкурса. По замыслу организаторов, за два часа стопка блинов должна вырасти на два метра. Чтобы блины не развалились, их будут насаживать на шест.

(О. Сапрыкина. Блины насадят на кол. Как москвичам отпраздновать Масленицу? // Комсомольская правда, 23 февраля — 6 марта 2003 г.).

Заметим, что национальные пищевые традиции, связанные с христианским годовым кругом — печь блины на масленицу, готовить пасху, красить яйца и выпекать куличи на Пасху — не прерывались и в советское время. Однако в этот период их существование ограничивалось рамками семейного круга и не попадало в публичную сферу. Показательно, что традиционному наименованию *кулич*, функционировавшему в РР, соответствовали «официальные» магазинные номинации *кекс Майский*, *кекс Весенний*. В последние годы «реабилитированное» слово *кулич* активно употребляется на упаковках и этикетках. Ср. целый ряд названий: *Пасхальный кулич*, *кулич Коломенский*, *кулич Архиерейский*, *кулич Монастырский* и т. п.

Современный праздничный стол включает в себя определенный набор *предентных продуктов и блюд*: салат «Оливье», икра, студень, заливная рыба, мандарины (как символ новогоднего праздничного стола) и нек. др. Наименования этих «культовых» для нашего общества блюд актуализируются в многочисленных предпраздничных (особенно предновогодних) публикациях. Приведем показательный пример (обсуждается меню новогоднего стола):

Традиционный семейный стол накроют в каждом третьем доме России. Важно приготовить побольше разных закусок, чтобы порадовать всех членов семьи. [...] «Гвоздем» *семейного стола*, как всегда, станет салат «Оливье», одно название которого уже синоним праздника («Комсомольская правда», 20 декабря 2002).

Некоторые праздничные блюда имеют устойчивые культурные ассоциации. Например, выражение «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» из кинофильма «Ирония судьбы» (его традиционно демонстрируют по телевидению во время новогодних праздников) часто цитируется или подвергается шутливому обыгрыванию в устной речи и в публицистике. Ср. название статьи и подзаголовок к ней Сергея Цигаля: *Какая гадость эта ваша... Заливное — обязательное блюдо любого праздника* («Еженедельный журнал», 14 марта 2004 г., № 09 (110), с. 76).

Симптоматично, что данная цитата употребляется уже не только в кулинарных контекстах. На радио «Эхо Москвы» во время передачи, посвященной обсуждению в Госдуме нового закона о митингах и манифестациях, пришло сообщение от одного из слушателей, выражавшего недовольство по поводу того, что обозреватели обсуждают не содержание закона, а выражают лишь свое эмоциональное отношение к нему: «Похоже, полтора часа уйдут на то, чтобы рассказывать друг другу, «какая гадость эта ваша заливная рыба»».

С противопоставлением *будничная еда — праздничная еда* соотносится оппозиция *«скоромное» / «постное»*, являющаяся одной из ключевых для славянской традиционной культуры [Толстая 2002; Якушкина 2002]. Этую оппозицию сопровождает целый ряд культурных, в том числе этических, коннотаций. Христианские посты обусловливают соблюдение хронотопного типа питания, предполагающего запрет или разрешение на употребление того или иного типа продуктов. В на-

стоящее время в современном российском обществе наблюдается возрождение интереса к христианской традиции. Однако, как можно заметить, духовно-религиозное содержание понятия «пост» нередко приобретает «гастрономический» оттенок. Показательны, например, рекламные слоганы, регулярно появляющиеся во время Великого Поста: *Поститесь с удовольствием!*; *Пусть пост вам будет в радость!* В подобных речениях *постная еда*, как и любая другая еда в рекламе, рассматривается с гедонистических позиций — как один из способов получения физиологического удовольствия, наслаждения. Ср. также рекламный плакат перед входом в ресторан «Пивнушка» на Ленинском проспекте: *Поститесь постом приятным в «Пивнушке»!* Комический эффект рождается на столкновении в одном текстовом пространстве двух функционально-стилистически несовместимых дискурсов — религиозного и бытового (начало стихиры понедельника 1-й седмицы Великого Поста<sup>9</sup> и сниженно-разговорная номинация питейного заведения). При этом происходит смешение двух практически противоположных значений слова *приятный* — религиозно-этического ‘благоприятный, угодный Богу’ и повседневно-бытового ‘доставляющий удовольствие’.

В повседневной речевой практике прилагательное *постный* может употребляться по отношению и к скоромной пище (например, названия мяса и мясных продуктов), реализуя «светское» значение ‘нежирный’: *постное мясо* (*свинина, говядина, курица*), *постная ветчина* (*буженина, грудинка, корейка*). Ср. типичные для РР ситуации и контексты:

(в мясном отделе покупатель обращается к продавцу)

А. Мне пожалста грудинки кусочек попостнее взвесьте //;

(фрагмент домашнего разговора)

А. Тань / с чем мне бутербродик сделать? Чё-то поесть захотелось //

Б. Ну возьми / отрежь там кусочек буженинки себе // Я сёдня купила / отличная / постная //

В сочетании с некоторыми названиями блюд *постный* выступает синонимом слова *пустой*, употребляемого в типично разговорном значении ‘лишенный какого-либо ингредиента’, ср. синонимичные пищевые номинации: *постные щи* — *пустые щи*. В приводимом ниже примере одна из собеседниц (Б.) дает толкование значения слова *пустой* через контекстный синоним *постный*:

(разговор во время обеда)

А. Ну спасибо / очень вкусно всё //

Б. Вкусно конечно / да только всё *пустое* //

А. Что значит *пустое*? Что ты имеешь в виду?

Б. Ну *постное* //

А. Какое же постное? Каша со сливочным маслом //

Б. Каша одна / без мяса / без рыбы //

А. А-а / в этом смысле // Но всё равно вкусно //.

Целый ряд разновидностей пищи определяется социальными характеристиками «человека жующего». Социально дифференцированная еда — это еда,

«ориентированная» на разные социальные группы по параметрам пол, возраст, профессия, социальное и имущественное положение, корпоративная принадлежность и нек. др. В дореволюционной России существовала достаточно четкая взаимосвязь между социальным положением и характером питания. Ср., например:

О с и п. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть.

М и ш к а. Да для вас, лядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят.

О с и п. Ну, а простова-то что у вас есть?

М и ш к а. Щи, каша да пироги.

О с и п. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, все будем есть (Н. В. Гоголь. Ревизор).

Расхожие представления членов социума о «социальной ориентированности» некоторых продуктов и блюд соотносится с целым рядом характеристик еды: мужская — женская, детская — взрослая, богатая — бедная и т. п. Эти «пищевые стереотипы» не всегда соответствуют реальному положению дел, однако они присутствуют в повседневном речевом обиходе. Приведем фрагмент разговора, в котором Б., высказывая свое наблюдение о мужских предпочтениях в еде, пытается их объяснить. Данный текст интересен также тем, что в нем представлено метафорическое «армейское» наименование перловой каши — шрапнель:

(дочь А. рассказывает матери Б. о том, что ее знакомый очень любит перловую кашу еще со времени службы в армии)

Б. Вот почему-то все мужики / служившие в армии / любят эту кашу // И папа (отец А.) тоже любил // Их наверно там кормят перловкой //

А. Да наверно //

Б. Она же так и называется / шрапнель //.

Наши представления о гендерных и возрастных различиях в еде также достаточно стереотипизированы и существуют в обыденном сознании в виде расхожих мнений и суждений. Обобщенный портрет представителя той или иной социальной группы ассоциируется с устойчивыми пищевыми образами: дети — каша (нелюбимая, но чрезвычайно полезная еда), молочные продукты, конфеты, мороженое; мужчина — мясо, суп, колбасные изделия; женщина — легкие овощные блюда, шоколад. Эти стереотипные представления часто вербализуются в текстах СМИ. Ср. показательные примеры:

*Дети не любят кашу. Просто терпеть ее не могут. Ненависть к каше в восприимчивых детских душах взрослые упорно воспитывают еще с пеленок, закармливая вареной крупой своих отпрысков с маниакальным упорством»* (журнал «Большой Город», 7 февраля 2003, с. 66).

Но есть, есть на бескрайних московских просторах места, где собираются настоящие мужчины! В этом я недавно убедился, зайдя в кафе «Чемпион» недалеко от Самотеки. (...) Казалось тут собрались челентаны и бандерасы со всей округи. (...) Потом у зарезервированного столика на восьмерых оказалась вообще кинематографическая ком-

пания — четверо больших людей в черном и четверо героев в камуфляже и с короткими автоматами наперевес. Они сели аккуратно друг против друга, как две делегации на переговорах, и, не отстегивая шпаг, стали молча поглощать дымящиеся супы и большие куски мяса... (О. Назаров. Одиноким женщинам, мечтающим познакомиться // «Столица», 26 марта 2004, № 52.2 (270)).

Ср. также фрагмент из «Кулинарной книги лентяйки» Дарьи Донцовой [2003, 10]:

Согласитесь, это правда. Большинство женщин недолюбливает первые блюда, а мужчины, наоборот, с большим удовольствием поедают их даже поздно вечером. А поскольку путь к сердцу мужчины, как известно, лежит через его желудок, суп, как одну из цементирующих семью составляющих, готовить придется.

Подобные «пищевые стереотипы» активно эксплуатируются при создании торговых брендов и номинаций продуктов. Так, разного рода каши, молочные продукты нередко носят «детские» названия: Быстренок, Агуша, Растишка, Рыжий Ап! Интересно распределение «мужских» и «женских» имен по актантным позициям на упаковках замороженных полуфабрикатов (пельменей, котлет и под.). Название самого продуктадается по субъекту потребления — котлеты Боярские, пельмени Богатырские, котлеты Барин — нередко с соответствующим изображением на упаковке основного потребителя-мужчины. Названия многих торговых марок, обычно дающиеся по субъекту-производителю, могут быть «женскими»: Мастерица, Дарья, от Ильиной. Показательно, что рекламные тексты некоторых из этих продуктов «подаются» от лица потребителя-мужчины. Ср.: Кончен день, / Пришел с работы, / Никакой тебе заботы. / Мне готовит Мастерица. / Ох, и шустрая девица...; Полакомлюсь как встарь я. Сама лепила, Дарья!

Одним из наиболее значимых (особенно в последние десятилетия) социально отмеченных противопоставлений в пищевом дискурсе является противопоставление «бедный» / «богатый». Обращение к материалам живой разговорной речи показывает, что ее носители для выражения материального благополучия — неблагополучия используют определенный набор «прецедентных» пищевых номинаций; представляющих своего рода «потребительскую корзину»<sup>10</sup>. Некоторые из этих названий входят в состав устойчивых выражений, характеризующих бедность или богатство: *едят икру ложками, сидят на хлебе и воде, покупают только хлеб и молоко, едят одну картошку* и т. п. Показательны следующие фрагменты записей устной речи (из фонда университета г. Тампере):

(муж и жена высказывают свое представление о материальном достатке)

Ж. Но хотя бы / покупать какие-то продукты / можно было бы

[ на рынке / щас мы рынком практически не пользуемся //

[М. но по крайней мере-е / иметь э-э шоколад /

иметь э-э м-мясо /

Ж. Ну ладно /

[ шоколад / то это не самое / фрукты (нрэбр) / да //

[М. так сказать / регулярно на столе / фрукты и так далее /.

\* \* \*

(собеседник оценивает материальный уровень своей семьи как средний через набор типовых продуктов)

**А.** В общем *самое необходимое / всегда есть // Картошка / мясо / так сказать э... там-м... макароны-ы...* Ну то есть тот ст... то... тот необходимый / уровень пи... необходимый опять же уровень питания /

Представления о «богатой» / «бедной» еде соотносятся с противопоставлениями *дорогой — дешевый, изысканный — простой*. Дорогие изысканные кушанья предполагают обычно большое количество нередко дорогих «ингредиентов», процесс их приготовления достаточно трудоемкий. Высшая оценка качества таких блюд обычно маркируется и соответствующими номинациями, «отсылающими» к именам лиц высшей социальной иерархии: *Мясо по-царски, Королевское варенье, кулич Архиерейский, Сельдь, маринованная способом принца Евгения*. Ср. «антонимичные» номинации: пирог «Бедный студент», омлет «Армериттер» (бедный рыцарь), Суп *бедного бедняка*.

### *Продукты питания как социокультурные знаки*

В русской культурной традиции существует определенный набор продуктов и блюд, составляющих не только основу питания, но и обладающих определенной культурной значимостью. Некоторые из них воспринимаются как национальные символы. Так, одним из центральных для традиционной русской культуры является концепт «хлеб»: *Хлеб — всему голова*<sup>11</sup>. В русском языковом сознании хлеб концептуализируется не просто как пищевой национальный символ, а как основа самого существования человека. Об этом свидетельствуют вторичные переносные значения лексемы: хлеб — ‘средство к существованию, заработка’ (легкий, тяжелый хлеб, хлебное место).

Отголоски религиозных представлений о сакральности «хлеба наущенного» можно обнаружить и сегодня в сохранившемся обычае не выбрасывать хлеб (выбрасывать хлеб нельзя, нехорошо), ср.:

- А.** (убирает со стола после обеда, собирает остатки хлеба) Куда это всё? Выбрасывать нехорошо / хлеб все-таки //
- Б.** Да птичкам вон отдан! // (заглядывает в хлебницу)

\* \* \*

- Б.** Здесь тут всё какое-то давнишнее совсем //

- А.** Это можно наверное птицам всё // [PPP-78, 188].

Хлеб как концепт присутствует во многих пословицах и поговорках. В них находит отражение народная этика, философские представления о жизни: *Попрекать своим хлебом-солью грехино; На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай и свой наживай; Не красна изба углами, а красна пирогами; Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой*<sup>12</sup>. Хлеб служит мерилом достатка и благополучия: *Пирог*

*дошел (закончился), так хлеб пошел, а хлеб дошел, так по миру пошел.* Ср. также примеры из современной РР: Пойду в магазин схожу // Дома ни куска хлеба //; А. Ну как живешь? Б. Да ничего / на хлеб хватает / и даже с маслом //.

«Хлебная лексика» входит в большое число фразеологических выражений: *калачом не заманишь, первый блин комом, ломаться, как вяземский пряник, хлебом не корми* и мн. др. На ней базируется большое количество метафор, ср. *черствый человек, сухой человек* и др. В современной повседневной речи «хлеб» по-прежнему служит строительным материалом для создания новых устойчивых сочетаний; ср., например, выражения, распространенные в современной молодежной речи: *прикидываться пряником* ‘играть в дурачка’, *тульский пряник* ‘недотепа’ [Макловски, Кляйн, Щуплов 1997, 59], ср. также: *не кроши батон, не мочи корки* [Там же, 8, 172].

Не менее традиционным в русской культуре является и концепт «каша». Пословицы, поговорки, устойчивые сочетания и фразеологизмы с ключевым словом *каша* относятся к «живой фразеологии» и активно функционируют в современной РР: *кашу маслом не испортишь, башмаки каши просят, с ним каши не сваришь, заварить кашу, расхлебывать кашу, каша во рту, в голове каша, кашамалаша, щи да каша — пища наша* и др. К блюдам, выполняющим роль культурных знаков, можно отнести также: *щи, блины, кисель, пироги* и нек. др.

Помимо этих, известных каждому носителю русского языка национальных пищевых символов (их «символический» статус находит отражение в семантической структуре слова, фразеологии и закрепляется в словарях), в современном речевом обиходе присутствует целый ряд и других слов — наименований продуктов и блюд, ставших своего рода социокультурными знаками. Как представляется, механизм превращения «пищевых» слов в знаки-символы базируется на ослаблении и размытости связей слова и денотата, развитии вторичных переносных значений, появлении оценочно-культурных коннотаций. Подобные пищевые номинации могут попадать в культурный обиход из разных функционально-речевых сфер.

Так, источником целого ряда «пищевых» социокультурных знаков является художественная сфера (литература, кино, театр). К ним можно отнести *варенную полбу, тюрю* (как символы скучной еды: «Есть же мне давай вареную полбу», «Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет»), *ананасы и рябчики* («Ешь ананасы, рябчиков жуй...») и нек. др. Часть из них в языковом сознании большинства носителей современного русского языка лишена связей с референтом (*полба, тюря, сбитень, Страсбургский пирог нетленный*), другие, сохраняя референтную соотнесенность своих компонентов, выступают в роли социокультурных знаков в составе фразеологических сочетаний и хрестоматийных цитат (*ананасы в шампанском, бараний бок с гречневой кашей, Какая ж гадость эта ваша заливная рыба!*). Примером слов, которые в советское время ассоциировались с красивой западной жизнью, могут быть, например, *омары, устрицы, авокадо*. Показательно, что входящее в речевой обиход в последние годы слово *лобстеры*, обозначающее новый на российском потребительском рынке морепродукт, по нашим наблюдениям, не

воспринимается как синоним «литературного» слова *омары*. Поэтому в языковом сознании *омары* остаются словом-символом (омары — еда богатых), а для слова *лобстеры* характерно референтное употребление: Обычными являются контексты типа *Ну лобстеры это такие большие раки / на креветки похожи //*.

Источником других «пищевых» символов является повседневный опыт и реальная речевая практика членов социума. Ярким примером может служить функционирование «пищевого» слова *колбаса*, ставшего наиболее многозначным пищевым символом советского времени<sup>13</sup>. Показательно, что в словаре В. И. Даля статья, посвященная *колбасе*, невелика по объему. В отличие от статей, посвященных другим «пищевым» словам (хлеб, каша, пироги и т. п.), в ней приводится лишь две пословицы: *На колбасах штаны проел!* дразнят приказных; *Коли б у колбасы крылья, то б лучшей птицы не было!* Став одним из основных продуктов питания советских людей, *колбаса* прочно вошла и в их повседневный речевой обиход. Данная лексема является составной частью многих живых фразеологических выражений и поговорок: *крутиться колбасой;* *Катись колбаской по Малой Спасской;* *Что ты понимаешь в колбасных обрезках?*; *Лучшая рыба — это колбаса, а лучшая колбаса — это чулок с деньгами.* Ср. также глаголы *колбасить, наколбасить*<sup>14</sup> и т. п.

В РР слово *колбаса* употребляется в контекстах разного типа, реализуя круг ситуативных значений, не отмечаемых словарями. Возможность появления подобных значений во многом определяется особенностями разговорного словоупотребления — использованием неточных номинаций, разного рода эрзац-обозначений и т. п.

Для РР характерно употребление слова *колбаса* в расширительном значении как родового слова на месте номенклатурного наименования *колбасные изделия*. Подобные замещения типичны для РР, поскольку специфически разговорными родовыми обозначениями РР не всегда располагает. Эти номинации возникают по принципу синекдохи<sup>16</sup>: А. (заглядывает в холодильник) А *колбаски* у нас никакой нет? Б. Посмотри / там по-моему *ветчина* оставалась //. Ср. также торговые наименования — магазин «Колбасы», колбасный отдел (в них ассортимент не ограничивается только колбасными изделиями).

Дальнейшее расширение значения наблюдается в контекстах, где словом *колбаса* называется ‘еда вообще’ (не только колбасные изделия): А. Ты куда собралась // Б. Пойду в магазин / *колбасы какой-нибудь* купить //. Ср. близкие контексты — еды *какой-нибудь* купить, *поесть чего-нибудь* купить. Показательными в этом отношении являются и примеры из СМИ. Так, статья, в которой речь идет о торговле некачественными просроченными продуктами, имеет заголовок «Москвичей кормят колбасой второй свежести» («Комсомольская правда», № 57 (23244) 27 марта 2004, с. 8).

Постепенно в устном обиходе, а затем и в публистике слово *колбаса*, впитывая в себя социокультурные коннотации, элементы устойчивых контекстов, ослабляет денотативные связи, развивает переносные значения и концептуализируется,

становясь «пищевым» национальным символом советского периода жизни социума. В современной речевой практике происходит дальнейшее осмысление этого концепта, а нередко и эксплуатация его в демагогических контекстах.

Итак, знаком чего может выступать «пищевое» слово *колбаса*?

### ***Колбаса — это ‘еда для народа’ (простая еда)***

*Колбаса* — это знак минимального уровня потребления, ниже которого опускаться нельзя. Ср. типичные для РР выражения: *Ни кусочка колбаски*; *Даже колбасы в доме нет*; *Колбасы не на что купить*; *Колбасу не помню когда и ели*. Ср. также:

Подался на режиссерский, но вовремя понял, что здесь, в Кемерове, и без того самый лучший, и уехал в Москву. Фарцовкой занимался, в подвалах жил без прописки. Семь лет бамжевал. *Колбаса по 2,20 деликатесом* казалась (МК, 2 февраля 2003).

В подобных контекстах речь идет о дешевой вареной колбасе. Заметим, что основная мера этого продукта — *батон*. Ср. пример из РР: В заказе дали *полбатона колбасы* //.

*Колбаса* во времена тотального товарного дефицита — это еще и дефицитная еда, которую можно было купить только в центральных городах: (из записей РР) Из Москвы все приезжие батонами *колбасу везут* / потому у нас ничего и нет //. Был широко известен следующий анекдот-загадка: «Длинное, зеленое, пахнет колбасой?» (ответ: поезд «Москва — Воронеж»). В эти же годы распространяется устойчивое сочетание *колбасный поезд*, *электричка* — поезд, на котором возвращаются из Москвы домой жители других городов, нагруженные дефицитными товарами, приобретенными в столице.

Ср. также отрывок из интервью с Егором Гайдаром:

Сегодня вы свободно ездите за рубеж, к празднику вы не выпрашиваете продовольственный заказ, не унижаетесь перед мясником, не везете в деревню батоны *колбасы* и пачки макарон. Все изменилось (АиФ, 2003, № 1—2).

В постсоветский период постепенно закрепляется (по-видимому, не без идеологического воздействия) ассоциативная связь между словами *коммунист*, *коммунистический* и *колбаса*. Ср. ироничные контексты:

Песни Г. Мамонова напоминали совку, что если при коммунистах не было *ни колбасы, ни свободы*, то при некоммунистах не будет *ни коммунистов, ни колбасы* [Макловски, Кляйн, Щуплов 1997, 141].

(Фрагмент записей устной речи из материалов фонда университета г. Тампере) Хотя бы / мини... прожиточный минимум обеспечить // Ну а прожиточный минимум / я понимаю / это не только продукты питания / что там / ту *пресловутую каммунистическую колбасу* там / которую все поминают / но и мало того что и одежду и обувь и прочее чтобы мог ты купить / и ну и хотя бы э-э... чтобы мог воспитывать ребенка // Хотя бы вдвоеем //

*Колбаса* в значении ‘еда для народа’ в современных политических и публицистических текстах нередко обрастает отрицательно-оценочными коннотациями

(еда предстает в качестве средства «оболванивания» народа). При этом объектом осуждения является не сама еда, а ее «потребитель». Приведем фрагмент разговора: (собеседники обсуждают итоги президентских выборов) Вадим сказал / что он разочаровался в наших людях / потому что им нужна не свобода / а колбаса и кулак // (ср. устойчивые сочетания, употребляющиеся обычно, когда говорят о примитивных вкусах народа, его рабских инстинктах и т. п., которые ловко используют в своих интересах власть предержащие: *действовать кнутом и пряником, требовать хлеба и зрелицы*).

Колбаса как базовый пищевой продукт для современного российского человека, успешно конкурирующий с традиционным хлебом, продолжает «питать творчество» современных молодых поэтов. Ср. шутливые стихи А. Садовского, помещенные им в Интернете (<http://sadovsky.humor.ru/stories/sausage.htm>):

Пусть говорят «хлеб — голова»,  
Но мы прекрасно знаем,  
Что хлебом будешь сыт едва  
И даже если с чаем.  
Другое дело — колбаса:  
И вкусная, и сытно!  
А цены — просто чудеса:  
За родину не стыдно.

### ***Колбаса как символ благополучия, символ праздника***

Данный образ-символ противоположен первому (колбаса — ‘еда для народа, простая будничная еда’). В контекстах, относящихся к ассоциативному полю праздника, речь идет о так называемой *хорошей колбасе, сухой колбасе, дорогой колбасе*, т. е. о колбасе сыропеченой. В отличие от дешевой вареной, мера такой колбасы — *палка*. Ср.: (о меню праздничного стола) Купить бы палочку *хорошей колбаски* / вот это было бы отлично //; (в магазине) Мне две палки Брауншвейгской завесьте //. Сыропеченая колбаса в сознании советского (российского) обывателя прочно ассоциируется с ситуацией праздника. Ср.:

Нет на свете радости повсеместней и всеобщей... У всех праздник, у всех новая жизнь. Праздник у колбасы (...) пробил и ее час. Айда валяться по тарелкам, падать в салат, носиться колбасой («Газета», 1 января 2001).

### ***Колбаса как знак приземленности, бездуховности, прозаичности***

Широкий круг контекстов — от разговорной речи до публицистики — актуализирует данное метафорическое значение. *Колбаса* символизирует материально-телесное обыденное существование человека в противоположность возвышенному, духовному, поэтическому восприятию мира. Ср. расхожие выражения: *Хватит вам о колбасе говорить! Что мы все о колбасе да о колбасе, нет чтобы о чем-нибудь возвышенном*.

Экспрессивный потенциал подобного рода контекстов возникает за счет максимальной удаленности и несовместимости сопоставляемых объектов. *Колбаса* — слово с конкретной предметной семантикой, символизирующее принижающий

человека быт и соотносимое с коммуникативными сферами, которые могут иметь отрицательные коннотации (ср. *торговать колбасой*). Предметом сравнения оказываются объекты «высоких сфер» — искусства, политики и т. п., что рождает эффект стилистически сниженной метафоры. Приведем в качестве примера высказывание известного бизнесмена Александра Смоленского по поводу закрытия принадлежащего ему Московского центра искусств: «На вопрос корреспондента о том, кому теперь будет отдано здание галереи и означает ли скандал с закрытием МЦИ, что меценатство больше в его планы не входит, господин Смоленский ответил следующее: «Это не ваше собачье дело. Я эту галерею десять лет держал на свои собственные деньги, она принадлежит мне и моему сыну, и мы можем там делать все что угодно — хоть колбасу резать и продавать ее потом под маркой МЦИ». (А. Харченко и М. Орлова. «Мы можем там хоть колбасу резать»: Отец и сын Смоленские закрывают Московский центр искусств // «Коммерсантъ». 25 декабря 2003. № 235, с. 22).

### **Колбаса как знак нездоровой пищи, символ неправильного, нездорового образа жизни**

Данное стереотипное представление сложилось в последние годы. Оно часто вербализуется в разговорных текстах, например:

- А. Что-то колбасы совсем не хочется //
- Б. И не надо / это же такая гадость // Я ее вообще не ем //.

Распространенность подобных стереотипных оценок косвенно подтверждается рекламными текстами, в которых колбаса позиционируется как полезный продукт:

(о новой «Легкой» колбасе из серии «Дымов-Актив»)

Больше не надо делать мучительный выбор между здоровьем, хорошей фигурой и вкусной колбасой. И все это благодаря уникальному рецепту и уникальным технологиям. Специалистами компании «Дымов» удалось создать продукт нового поколения, низкокалорийный, содержащий полезные вещества, легко усваиваемый организмом и позволяющий вести активный образ жизни, оставаясь всегда в прекрасной физической форме.

Названия продуктов и блюд, стереотипы «пищевого» речеповедения в языковом сознании носителей русского языка нередко перерастают в определенные образы, с помощью которых человек передает свои представления о разных сторонах жизни — о бедности и богатстве, о праздниках и буднях, о «своем» и «чужом», о «хорошем» и «плохом» и т. п. Некоторые пищевые продукты становятся «героями своего времени», приобретают устойчивые социально-исторические коннотации и вместе с другими одухотворенными объектами материальной культуры закрепляются в памяти социума.

### **ПРИМЕЧАНИЯ**

<sup>1</sup> В этом сам поэт признается на страницах романа «Евгений Онегин»:

И к статье я замечу в скобках,  
Что речь веду в моих строфах  
Я столь же часто о пирах,  
О разных кушаньях и пробках,  
Как ты, божественный Омир,  
Ты, тридцати веков кумир!

Анализируя «кулинарный антураж» в романе «Евгений Онегин», В. В. Похлебкин отмечает, что «здесь предстает весь современный автору репертуар кушаний и напитков, в котором он разбирается не как дилетант-потребитель, а как знаток» [Указ соч., 101].

<sup>2</sup> Заметим, однако, что числовые показатели нуждаются в «качественном» комментарии, ср.: «Можно сказать, что А. С. Пушкин по многообразию форм использования кулинарного антуража и по количеству кулинарных лексем не только не уступает никому из русских классиков, включая Н. В. Гоголя и А. Н. Островского, но даже оставляет позади узкоспециализирующегося на кулинарной поэзии своего современника В. С. Филимонова, ибо те, превосходя, разумеется, Пушкина по частоте употребления кулинарного материала, совершенно не могут состязаться с ним в утонченности и разнообразии форм подачи, в легкости и органичности введения “кулинарных” инкрустаций в текст, в сюжет, в окраску психологической характеристики и тем более в... политическую полемику и политическую сатиру» [Похлебкин 1993: 95].

<sup>3</sup> См. об этом подробнее в [Вайс 2003].

<sup>4</sup> Концепты радость — удовольствие, счастье — наслаждение в русской языковой картине мира рассматриваются в [Пеньковский 1991; Зализняк 2003].

<sup>5</sup> Ср. обыгрывание данного фразеологизма, в основе которого лежит столкновение прямого и переносного значений слова кухня: (заголовок) Немцов решил быть поближе к кухне, по дальше от политики; (врезка к статье) Бывший лидер партии СПС, а ныне председатель совета директоров концерна «Нефтяной» Борис Немцов отныне будет консультантом у известной сети ресторанов «Ростик Групп». Он будет двигать куриные ножки «Ростикс» в российскую глубинку и страны СНГ (газета «Столичная», 24 марта 2004, № 50.2 (268), с. 2).

<sup>6</sup> Подтверждением освоенности данного слова в современном речевом обиходе являются данные анкеты в [Занадворова 2003].

<sup>7</sup> Об идентификационном потенциале рекламы в России см. в статье [Хоффманн 2003].

<sup>8</sup> Подобные представления объективируются и в ответах реципиентов на вопросы анкеты (см. [Занадворова 2003]): «Применительно к праздничной еде эти критерии часто воплощаются в синкретичных определениях, выраждающих одновременно идею о б и л и я и разнообразии. Ср.: ее (еды) разнообразие; разнообразная; множество салатов, обилие салатов, всевозможные нарезки; много закуски, много фруктов. Идея разнообразия выражена также формами множественного числа, указывающего здесь на наличие нескольких сортов: салаты, закуски и т. п.» [Указ. соч., 54].

<sup>9</sup> «Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглашения, лжи и клятвопреступления. Сих оскудение, пост истинный есть».

<sup>10</sup> Ср. ответы на вопросы анкеты в [Занадворова 2003].

<sup>11</sup> Ср.: ХЛЕБ. — Хлеб, «хлебушко» — в теперешней России все еще, как и в старые времена, основной продукт питания. Автор и то, еще не очень старый человек, помнит на протяжении всего своего детства (значит, не такое уж далекое прошлое — 1930-е годы, после морового голода на Украине 1932 года и долгих голодных лет в русской деревне), как по московским домам ходили-«побирались» сотни нищих, большей частью люди не городские, деревенские, крестьянские, с детьми («Подайте Христа ради...»), и всегда главное, что им подавали, — хлеб. (Они прижимали левую руку поперек груди и туда складывали кусочки.) Хлеб у русских — боль-

ше, чем пропитание, он — символ пропитания. Вот и сейчас часто говорят, например, картошка — наш второй хлеб. Во Франции, в Испании нищие просят «на чашечку кофе», у нас — «на кусок хлеба» [Степанов 1997, 202].

<sup>12</sup> Анализ концепта «хлеб» в лингвокультурологическом аспекте представлен в [Синячкин 2002].

<sup>13</sup> Колбаса как своего рода памятник уходящей эпохи рассматривалась во многих публицистических статьях и литературных эссе. Ср.: «Лауреат премии Юрий Казакова за лучший рассказ 2001 года (...) выпустил в свет книгу эссе. Круг тем (тут точнее будет — вертикаль тем): от Пушкина до горшка щей. В одной парадигме с А. С. П. и его зрелым идеалом рассмотрению подвергнуты феноменология Набокова и Платонова, феноменология колбасы как фаллоса социализма, семантика Ясненева с его скрипящими параллелепипедами новостроек и обетшалой усадьбой Трубецких санаторного типа» («Газета», 17 января 2002).

<sup>14</sup> ‘Совершать невероятные поступки, скандалить, куролесить’. Ср. шутливые пародийные стихи Михаила Светлова, посвященные Евгению Евтушенко:

Потом опять наколбасив с разгону,  
Я к самому поеду Арагону  
И закричу: «Здорово, друг Луи,  
Как нравятся тебе стихи мои?»

<sup>15</sup> Современное молодежное экспрессивное выражение со значением ‘ему не сидится на месте, его крутит’ или ‘он не в себе’. От жаргонного глагола *колбасить* образована номинация *колбаса* для обозначения ритмичной танцевальной музыки в стиле «техно», т. е. музыки, под которую «колбасятся». Ср.: «Любителям мелодичной музыки и ненавистникам “колбасы” не стоит бояться экзерсисов Джимми Тенора. Он давно отошел от ноиза, а с примитивной танцпольной музыкой никогда дела не имел» («Газета», 17 января 2002).

<sup>16</sup> Ср. замечание Л. А. Капанадзе: «Замещения, подмены разного рода очень явственно обнаруживаются по отношению к названиям родовых понятий. Не все, но многие родовые обозначения отсутствуют в РР. Это относится к таким родовым наименованиям, как *кондитерские изделия, школьно-письменные принадлежности, канцелярские товары, головной убор, сельскохозяйственные животные* и под. Не подлежит сомнению, что обозначения названного вида — специфически книжные, сугубо кодифицированные» [PPP-73, 459].

## ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1995 — Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопр. языкоznания. 1995. № 5.
- Арутюнова 1999 — Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека М.: Языки русской культуры, 1999.
- PPP-78 — Русская разговорная речь. Тексты / Отв. ред. Е. А. Земская, Л. А. Капанадзе. М.: Наука, 1978.
- Булыгина, Шмелев 1997 — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Языки русской культуры, 1997.
- Вайс 2003 — Вайс Д. Реклама продуктов питания в советских плакатах 1920—1930 годов // Московский лингвистический журнал. Т. 6. № 2. М., 2003.
- Вежбицкая 1996 — Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996.
- Дмитриева 1999 — Дмитриева С. В. Лексика тематической группы «Питание» в народной речи в ареальном аспекте. Автореф. ... канд. дис. Псков, 1999.
- Донцова 2003 — Донцова Д. А. Кулинарная книга лентяйки. М.: Эксмо, 2003.
- Зализняк 2002 — Зализняк Анна А. Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира // Русский язык в научном освещении. 2002. № 5.

- Занадворова 2003 — Занадворова А. В. Языковые стереотипы, характеризующие представления о питании (по материалам анкеты) // Московский лингвистический журнал. Т. 6. № 2. М., 2003.
- Китайгородская 2003 — Китайгородская М. В. «Еда» в зеркале московских вывесок // Московский лингвистический журнал. Т. 7. № 1. М., 2003.
- Китайгородская, Розанова 2003 — Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Тема пищи в повседневной разговорной речи: характеристики еды сквозь призму актуальных противопоставлений // Московский лингвистический журнал. Т. 6: № 2. М., 2003.
- Конычева 2002 — Конычева Ю. Д. Лексико-семантическая группа «наименования пищи и напитков» в контексте сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина / Автореф. ... канд. дис. М., 2002.
- Левонтина, Шмелев 2002 — Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Лексика начала и конца трапезы в русском языке // Логический анализ языка: Семантика начала и конца. М.: Индрик, 2002.
- Лотман, Успенский 1994 — Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. М.: Гнозис, 1994.
- Макловски и др. 1997 — Макловски Т., Кляйн М., Щуплов А. Жаргон-энциклопедия московской тусовки. М.: Издат. центр; Лист Нью, 1997.
- Миронова 2002 — Миронова И. К. Концептосфера «Еда» в русском национальном сознании: базовые когнитивно-пропозициональные структуры и их лексические репрезентации / Автореф. ... канд. дис. Екатеринбург, 2002.
- Михайлова 1998 — Михайлова О. А. Ограничения в лексической семантике. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1998.
- Николаева 1995 — Николаева Т. М. Качели свободы / несвободы: трагедия или спасение? // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии: Тезисы конференции. М., 1995.
- Николаева 2000 — Николаева Т. М. От звука к тексту. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Олянич 2003 — Олянич А. В. Гастрономический дискурс в системе массовой коммуникации (семантико-семиотические характеристики) // Массовая культура на рубеже ХХ—XXI веков: Человек и его дискурс. М.: Азбуковник, 2003. С. 167—200.
- Пеньковский 1991 — Пеньковский А. Б. Радость и удовольствие в представлении русского языка // Логический анализ языка: Культурные концепты. М.: Наука, 1991.
- Похлебкин 2002 — Похлебкин В. В. Моя кухня и мое меню. М.: Центрполиграф, 2002.
- Розов 1969 — Розов В. Мои шестидесятые... (Пьесы и статьи). М.: Искусство, 1969.
- Сандомирская 1995 — Сандомирская И. Стереотип как суждение vs. стереотип как нарратив // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии: Тезисы конференции. М., 1995.
- Синячкин 2002 — Синячкин В. П. Концепт хлеб в русском языке. Лингвокультурологические аспекты описания. Автореф. ... канд. дис. М., 2002.
- Степанов 1997 — Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Языки русской культуры, 1997.
- Толстая 2002 — Толстая С. М. Оппозиция «постный-скромный» в свете диалектной семантики // Русская диалектная этимология: Мат-лы IV междунар. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002.
- Хоффманн 2003 — Хоффманн Э. Продукты питания, культура и реклама: дискурсивные процессы // Московский лингвистический журнал. Т. 6. № 2. М., 2003.
- Эно-Сахно 2001 — Эно-Сахно К. Некоторые наблюдения над префиксацией глаголов со значением ‘принимать пищу’ // Московский лингвистический журнал. 2001. Т. 5. № 1. С. 201—206.
- Якушкина 2002 — Якушкина Е. И. Диалектные названия скромной и постной пищи и их вторичные значения // Русская диалектная этимология: Мат-лы IV междунар. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002.

*Ренате Ратмайр (Вена)*

## НЕМЕЦКО-РУССКИЕ СОВПАДЕНИЯ И РАЗЛИЧИЯ НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ\*

### *1. Введение*

**Н**азвания продуктов, так называемые «прагматонимы», в настоящее время развиваются быстрее всего (ср. [Platen 1997, 11])<sup>1</sup>. Быстрый рост их количества вызван экономической природой и необходимостью различать в условиях конкуренции все большее количество однородных продуктов. Названия продуктов одновременно являются зеркалом или, по крайней мере, кривым зеркалом актуальной ситуации в обществе (ср. [Ronneberger-Sibold 2004]). Есть определенные правила, которые следует соблюдать при их выборе, ср., например, ГОСТ (51074-97 от 17.7.1997 г.), Охрана товарных знаков в Российской Федерации (2002), Федеральный закон (2003) и реестр зарегистрированных торговых марок. В сущности, названия должны вызывать положительные ассоциации у реципиентов, что позволяет сделать выводы о господствующей в определенном обществе в определенное время системе ценностей (ср. [Ronneberger-Sibold 2004]). Это верно, несмотря на то что в отдельных случаях названия выбираются и совершенно случайно. Ср., например, имя автомобильной марки «Ауди», которое было выбрано по совету изучающего латинский язык внука владельца, господина Хорха (Horch), что на латинском означает именно ‘ауди’, или, другой пример, название «Walkman» (уокман), являющееся результатом плохого знания английского языка одного менеджера, которое Акио Морите, основатель компании «Sony» и «философии бизнеса, именуемой Made in Japan», сначала во что бы то ни стало хотел изменить. Как известно, уокман моментально стал «бешеным успехом», так что Акио Морито смирился с этим «смешным» названием (ср. [Михайлец 2002]).

Несмотря на такие случайности, в названиях отражается политическая обстановка. В этом плане интересна судьба старых советских марок. Бывшие «почетные» идеологизированные советские названия известных торговых марок типа *Рот Фронт*, *Ударница*, *Большевик* и *Красный Октябрь*<sup>2</sup> особенно четко свиде-

\* Данное исследование выполнено при финансовой поддержке INTAS. Проект № 2000-00688 («Food stuff information: reality and illusion»).

тельствуют об изменении функций названий: они потеряли почетную идеологическую функцию и служат только рекламным целям (ср. [Hoffmann 2000, 373 и сл.]), но никак не потеряли свою популярность.

Одновременно эти названия вписываются в стратегию создания новой идентичности в постсоветской России, подчеркивающей «русскость», «свое» и «родное». Ельцин еще в 1996 г. объявил всероссийский конкурс идей, с целью нахождения новой «русской идеи». В немецкой русистике теперь говорят о «патриотическом консенсусе» [Simon 1997; Sperling 2001], который заполняет идеологический вакуум после распада Советского Союза. Любое общество обнаруживает себя в традициях и культурных ценностях, которые оно передает из поколения в поколение. Какое именно прошлое оно актуализирует, какие ценности служат для идентификации, — все это свидетельствует о характере и целях общества (ср. [Assmann 2003, 68]). Поэтому личности царских времен, как и герои советского периода, присутствующие в «национальной культурной памяти», — это значимые элементы создаваемой сейчас новой постсоветской русской идентичности. Национальная культурная память находит свое выражение в первую очередь в таких символах, как праздники (9 мая — День Победы), в «проявлении» новых архитектурных памятников (памятник Николаю II, который в советское время был табуирован, памятник Петру I — который не был табуированной личностью — в самом центре на Москве-реке), а также в таких «побочных» явлениях, как номинация, в частности, в названиях пищевых продуктов. Их «вездеприсутствие» действует порой не менее сильно, чем парады и памятники.

Немецко-говорящие страны не обладают такой единой базой идентичности, на которую они могли бы опираться. Это, безусловно, связано с историческими причинами (Германия — до 1989 г. две Германии), а также с современной социально-политической ситуацией (Швейцария, в отличие от Австрии и Германии, не входит в Европейский союз). Другой фактор — не преодоленное до конца национал-социалистическое прошлое и господствующие в этот период правила номинации продуктов и фирм в Германии. Все слова, способные вызывать ассоциации с национал-социализмом, в Австрии и Германии были и — частично — есть абсолютно табуированы. Этот запрет во времена фашизма распространялся даже на такое слово, как ‘народ’ (*Volk*), которое тогда использовалось только для государственной продукции, ср.: автомобиль *Volkswagen* и радиоаппарат *Volksempfänger*. Частным фирмам было категорически запрещено употреблять слова, близкие к идеологии, к которым относились даже имя мифологической геройни *Lorelei*<sup>3</sup> и народные песни (ср. [Roppeberger-Sibold 2004]). Таким образом, идеологизированных названий типа *Rot Front* среди австрийских и немецких найти нельзя<sup>4</sup>.

## 2. Метод и цель

Лингвистическая прагматика изучает употребление языковых знаков в интеракции. В частности, изучается связь между материальной и нематериальной сторонами реализации коммуникации, то есть между коммуникативной интенци-

ей, с одной стороны, и языковыми и неязыковыми средствами, с другой стороны. Относительно хорошо изучены, например, разные речевые акты (директивные акты, извинения, приветствия, выражения благодарности) и некоторые жанры деловой речи (деловая переписка и переговоры). Рассматривались также такие категории, как вежливость и степень имплицитности выражения коммуникативных интенций. Сравнительная прагматика изучает реализацию этих речевых явлений в разных языках и культурах (ср., например, [Писарек 1993; Blum-Kulka, House, Kasper 1989; Rathmayr 1988; Ратмайр 2003; Snell-Hornby 1984]).

В данной статье предпринимается попытка сравнить названия пищевых продуктов, продававшихся соответственно в России и в Австрии в 2001—2002 гг. В качестве эмпирической базы данного исследования использованы упаковки пищевых продуктов, собранные в Москве, Омске, Инсбруке и Вене<sup>5</sup>. Корпус состоит из 511 русских и 534 австрийских упаковок, точный состав корпуса отражен в приведенной в приложении таблице. Собранные в Москве упаковки, как и собранные в Австрии, были введены в базу данных в Вене, собранные в Омске — в Омске. В первую очередь рассматриваются названия следующих продуктов питания: молоко, йогурт (продукты повседневного потребления), соки, конфеты (менее потребляемые продукты) и некоторые другие.

Названия были разделены на мотивированные одним из актантов продукта и немотивированные самим продуктом названия. Цель статьи — показать, какие явления культуры могут послужить объяснением сходств и различий употребляемых типов названий в русском и австрийском обществе.

### *3. Мотивированные одним из актантов продукта названия*

Мотивированные названия имеют прозрачную прагматическую интерпретацию. Я в дальнейшем объединяю в одну группу достаточно неоднородные наименования, но объединяю их с целью выделить некоторые общие тенденции номинации в немецком и русском языке. Название может даваться по субъекту действия, владельцу или другому реальному или фиктивному производителю (полуфабрикаты *Продукт от Ильиной, Мастер Вкуса, Настоящая пицца, Вареники от Палыча с вишней ~ Oskars feinstie Cevapcici, Käpt'n Iglos Fischstäbchen*, пицца *Pietro Pizzi*, шницель из индюка *Schweizer Putenschnitzel Mère Josephine*, мука *Fini's Feinstes*)<sup>6</sup>. Используется также образная метафорическая мотивация, при которой связи с продуктом — метонимическая, ср., например, молочные продукты *Пастушок, Доярушка ~ Almliesel, Heidi*. Если в русском языке в этих названиях источником служит уменьшительная форма нарицательного имени, обозначающего профессию, то в немецком — имя собственное, характерное именно для представителей данной «профессии», в первом примере в сочетании с ‘Alm’, то есть ‘горное пастбище’ (об употреблении имиджа Альп см. ниже).

В других случаях названиедается по реальному или фиктивному месту производства (конфеты *Иркутск, Покров*, сок *Ибица*, хлеб *Бородинский ~ печенье Mailänder, Neapolitaner, Florentiner*, кофе *Wiener Gold*, сок *Florida Orange*, хлеб

*Tiroler Fladenbrot*, молочные продукты *Домик в деревне* ~ *Landliebe*; в последнем немецком названии содержится деревенский мотив, вместо ‘домика’ однако употреблено слово ‘любовь’, которое здесь вызывает две ассоциации: любовь к деревне и любимая женщина в деревне).

Названия печенья и пирогов часто мотивированы ингредиентами, к которым в некоторых случаях добавляется слово, содержащее положительную оценку (пирог *Фантазия ореховая*, *Суфле кокосовое* ~ *Nusstrauß*; *Kokosbusserln*, куриное мясо *Золотой петушок* ~ *Maitre Special Hähnchen*; пористый шоколад *Воздушный*, печенье *Лимонное* ~ *Zitronenkekse*, «Ушки» слоеные с маком ~ *Mohnschnecke*, сыр *Веселая Буренка* ~ *La vache qui rit*).

Немножко сложнее обстоит дело с названием молочных продуктов *33 коровы*, в котором «источник» сырья выражен не прямо, а через аллюзию на известную песню. На упаковках марки *33 коровы*, действительно, изображены 33 коровы. Кроме того, данная номинация дополнительно актуализирует у потребителя ассоциативную связь с песней из популярного мюзикла «Мэри Поппинс». Интересно, что на пакете присутствует другая мотивация названия: «Если ты будешь каждый месяц выпивать 33 стакана молока, то будешь здоров как 33 богатыря»<sup>7</sup>. В немецком языке нет параллели, хотя само «сырец» используется в качестве названия, ср. *Die leichte Muh* (дословно: легкое мычание в смысле ‘легкая корова’). В данном названии одновременно указывается на низкую степень жирности молочных продуктов этой марки. Для наименования употребляются также признаки продукта, связанные с его приготовлением или процессом потребления. Замороженное состояние продукта служит мотивом таких названий, как *Морозко*, *Блинчики с курагой* ~ *Polar Frost*. Быстрое приготовление служит мотивом таких названий, как каша *Быстров* ~ суп *Die schnelle Tasse* (дословно: быстрая чашка), макароны *Pasta pronto* (итал., дословно: быстрые макароны); простое, реализуемое даже детьми приготовление мотивирует название каша *Поваренок*. Адресат продукта или время потребления мотивируют названия конфет *Для тебя*, *Единственной*, *Чудный вечер*, *С Новым годом!* ~ *Ferrero Küsschen*, *After Eight*, *Prosit Neujahr!*.

Русские мотивированные названия, как показывают примеры, находят параллели среди распространенных в Австрии немецких названий, а если они отсутствуют, то их без проблем можно было бы образовать. Одно из немногих исключений — мотивация марок пива названиями рек, озер и моря, например *Дон*, *Волга*, *Оша*, *Балтика*, *Ладожское*. Аналогичные названия в немецком языке недопустимы, ср.: \**Inn*, \**Donau*. Однако эта недопустимость не абсолютная, а связана с продуктом (пиво), основная составляющая которого именно вода. Название озера, например, является вполне удачным для австрийского сыра, ср.: *Traunseer*. Очевидно в названиях пива в России ассоциируется собственно локальное значение, место производства, а в немецком языке при использовании водных топонимов применительно к пиву актуализировалось бы ассоциация с водой как сырьем, взятым из реки. Другие названия пива, мотивированные местом производства (не реки), имеют параллели, ср. *Московское*, *Клинское* ~ *Salzburger Stiegl*, *Ottakringer*. В других сопоставимых названиях пива присутствует обозначение емкости, сосуда

(ср. бочка, Pass): *Бочкарев ~ Goldfassl*. Первое название образовано по модели говорящих фамилий, во втором присутствует рекламный компонент ‘Gold’ (золото), само слово ‘бочка’ (Fass) в уменьшительной форме. Рекламный компонент ‘золото’, в свою очередь, присутствует в русском названии пива *Золотой хмель*, при этом, конечно, нужно указать на дополнительную мотивацию употребления слова ‘золото’ цветом самого продукта.

Большие расхождения между Австрией и Россией наблюдаются в сфере немотивированных самим продуктом названий. Подробно это будет показано на примере таких названий, которые я условно объединяю в группу «культурно-исторических ассоциаций», а также на примере экзотизмов, то есть названий, либо целиком заимствованных, либо с заимствованными элементами.

#### *4. Не мотивированные (самим продуктом) названия продуктов питания*

##### **4.1. Культурно-исторические ассоциации**

В группу названий, вызывающих культурно-исторические ассоциации, входят имена персонажей из сказок и литературных произведений, имена исторических личностей и названия исторических событий и национальных символов власти. Сюда же могут быть отнесены названия, которые в данный исторический период имеют устойчивые, положительные, «престижные» коннотации, как, например, «русскость» продукта и подчеркивание «своего» и «родного» характера продукта.

Персонажи из сказок и имена знаменитых реальных или фиктивных персонажей и мотивов из литературы в немецком языке употребляются гораздо реже, чем в русском, но персонажи из сказок и названия сказок употребляются, ср. конфеты *Мишка косолапый*, *Три медведя* и *Белочка*, шоколад *Аленка*, *Иван-да-Марья*, *Кузя*, *друг Аленки*, *Сказы Бажова*, *Сказочный мир* ~ конфеты *Dornröschen* (*Спящая красавица*), шоколад *Hänsl und Gretel*, *Das tapfere Schneiderlein*, *Die Bremer Stadtmusikanten*. В Австрии также можно найти шоколад *Max und Moritz* — это персонажи не из народных сказок, а герои известной книги того же названия немецкого автора *Wilhelm Busch*; продаётся мороженое *Tom und Cherry* и *Rumuckl*, но это персонажи из современных комиксов или сериалов. В ГДР существовало шампанское *Rotkäppchen Sekt*. Большие различия касаются персонажей и мотивов из художественной литературы: конфеты *Белый парус*, шоколад *Лукоморье*, пиво *Обломов*. В Австрии гораздо больше номинаций связано с музыкой, ср., например, конфеты *Mozart Kugeln*, *Mozart Taler*, *Johann Strauss*, *Schubert Taler*. Эта область среди российских продуктов меньше распространена, хотя тоже встречается, ср. мороженое *Щелкунчик*. Предпочтение мотивов из литературы у русских можно, с одной стороны, объяснить легендарной любовью русских к литературе и к чтению классики, с другой стороны, здесь, наверное, отражается более высокая оценка всего духовного и более низкая всего материального в русской культуре<sup>8</sup>.

Особо следует выделить использование табуированных в советское время названий с «буржуазным» оттенком, такие как *Царские сладости* (пряники), *Элитное* (мороженое), *Сибирская корона* (пиво), *Купеческий* и *Княжеский* (хлеб), *Люкс* (шоколад), которые на немецком языке давно употребляются, ср., например, *Jacobs Monarch* и *Wiener Krönung* (кофе), *Luxusmischnung* (печенье).

Больше параллелей, чем использование героев недавнего прошлого (ср. введение), показывает использование героев более далекого прошлого, царское время в России и имперская Австрия, которые служат мотивацией для названий продуктов, ср.: шоколад *Царь Петр* ~ австрийские булочки *Kaisersemmeln*, серия конфет *Российские монархи* ~ кофе *Wiener Krönung*. Серия *Российские монархи*, выпускаемая фирмой Держава, посвящена представителям Дома Романовых, в нее входят конфеты *Михаил Федорович 1596—1645; Алексей Михайлович 1629—1676, Петр I 1672—1725, Пётр II Алексеевич 1715—1730, Александр I Павлович 1777—1825, Александр III Александрович 1845—1894*. Поучительная цель очевидна: на внутренней стороне каждой упаковки находится информация о данном царе (ср. [Schimpfössl 2003]). Название пива *Степан Разин* напоминает «противника» царя, параллелью могут служить конфеты *Andreas Hofer Kugeln*, ссылающиеся на тирольского борца за свободу.

Особого интереса заслуживают те названия, которые подчеркивают национальное происхождение продукта: яйцо *Русское*, шоколад *Славянский*, мюсли и сухари *Наши*. Среди немецких названий также нам встречалось сливочное масло *Österreichische Teebutter* и пиво *Germania Pils*. Однако последнее название обычноносителями немецкого языка отвергается из-за возможной ассоциации с третьим рейхом. Местоимение *\*Unsere*, однако, представляется невозможным как название продукта. В Австрии гораздо шире, чем идея «родного» как такового, используется имидж гор и Альп (Berg, Alpen, Alm — горное пастбище), то есть идея «своего» выражается через топонимические образы: шоколад *Alpenschokolade*, напиток *Almdudler*, йогурт *Almighurt*, молоко *Tiroler Bio vom Berg*, сыр *Tiroler Alpenkäse*, сгущенное молоко *Maresi Alpennmilch*, сливочное масло *Floralp* (от лат. Flora, значение примерно ‘альпийский цветок’, продается в Швейцарии). Скорее всего, неполитическая сущность делает Альпы таким популярным элементом имиджа не только Австрии и Швейцарии, но также и Баварии (южной части Германии). Альпы не только один из главных элементов имиджа австрийцев о самих себе, но они ассоциируются с Австрией и у опрошенных о «культурной карте» Европы русских студентов (вместе с вальсом, ср. [Тер-Минасова 2000, 43]).

#### 4.2. Экзотизмы

В первые годы перестройки, когда открылись границы и стали поступать иностранные товары, газеты и продукты, все иностранное имело высокий престиж ([Ефименко, Соснов 1996]). Наглядным примером этого явления может служить основанная в 1992 г. компания «Вимм-Биль-Данн», которая вначале писала свое название латинскими буквами и выбрала в качестве эмблемы нечто похожее на Микки-Мауса, вызывающее ассоциации с Америкой. (С 1995 г. эта компания

пишет свое название кириллицей.) Несмотря на то что эта компания целиком основана на российском капитале (только в самое последнее время ее акции стали продаваться и на нью-йоркской бирже), многие ее марки «звучат» не по-русски: марки сока *J-7 [Джей севен]* — может быть, эта марка образована по аналогии с распространенной на Западе маркой *7-Up — Gold Premium, Rio Grande<sup>9</sup>, D-J* и *Рыжий An*, созданной специально для группы шести-девятилетних потребителей соков, а для йогуртов была создана марка *Frugurt*. В настоящее время фирма целиком переориентировалась в соответствии с новой модой на российские названия и с 1998 г. распространяет «звучащие» по-русски марки, такие как *Домик в деревне* и *Любимый сад*.

Таким образом, если в начале 90-х гг. (1994—1998) даже российские компании выбирали себе иностранные имена, а прагматонимы (названия товаров) были на 95 % иноязычного происхождения, а эргонимы (названия фирм) на 60 % (ср. [Hoffmann 2000, 380 и сл.]), то с тех пор наблюдается противоположная тенденция. Новые названия фирм и продуктов крайне редко используют стилистический прием заимствованных названий. Скорее наоборот, иностранные фирмы выбирают для российского рынка русские названия своих продуктов: произведенное в Новой Зеландии сливочное масло называется *Доярушка*, а на этикетке изображена бабушка с внуком; произведенное в Финляндии масло называется *Вологодское* и произведенное по лицензии в Санкт-Петербурге немецкое пиво называется *Балтика* (ср.: «Итоги», 16.5.2000, 10—11). Молочная компания «Danon» создала себе не чисто иностранный имидж, а представляет свой кефир в рекламной компании 1999 г. как удачное сочетание русской традиции и западной технологии, на что ссылается название фирмы: «Это любимый и знакомый с детства вкус» (см. [Kreisel 2000, 250]). Поскольку компания вышла на российский рынок только в 90-е гг., она не может быть знакома российским потребителям с детства, в отличие от кондитерской фабрики «Красный Октябрь», которая совершенно естественно использует слоган «вкус детства». Немецкая компания *Ehrmann*, производящая молочные продукты, в основном йогурты, называет свои продукты, используя русские словообразовательные элементы (*Йогуртович*), и пишет все, кроме названия фирмы, кириллицей, даже сокращенное название фирмы, входящее в название продукта: *Эрмигурт-шоко*, *Эрмигурт-фруктовый*. Смесь «своего» и «чужого» встречается и у абсолютно российских продуктов, например на упаковке пельменей: *Пельмени по-итальянски!! Mата Mia!* На упаковке присутствует текст: *Пельмени изготовлены по оригинальному итальянскому рецепту*. Тут в одном названии и дополнительном тексте используются одновременно и имидж родного, отечественного и имидж чужого. Примеры для такого как бы синонимического объединения обоих параметров — свой и чужой — приводят Китайгородская, Розанова [Китайгородская, Розанова 2003, 25—26; текст на упаковке топленого молока]: «ЗАО СХП “Дружба” предлагает Вам молочные продукты, изготовленные по традиционным русским рецептам. Собственные молочные фермы и новейшее голландское оборудование позволяют максимально сохранить питательные и вкусовые качества нашей продукции. Приятного аппетита».

В Австрии можно покупать продукты всех категорий с иностранными названиями и, как показала Ronneberger-Sibold [Ronneberger-Sibold 1998, 225], немецкий язык в конце XX в. уже не играет ведущей роли в названиях продуктов вообще. Нужно специально задуматься, чтобы осознать, что такое название конфет, как *After Eight*, в принципе иностранное, английское. А того феномена, чтобы зарубежные фирмы для Австрии производили продукты «под звучащими по-немецки названиями», вообще не наблюдается. В этом отражается начавшаяся в немецко-говорящих странах сразу после окончания Второй мировой войны американизация. В России, если эта тенденция и наблюдается, то имеет несколько иные формы выражения. Другой фактор, способный объяснить различия в этой области, заключается в том, что с 1994 г. законодательство, действующее в каждой из стран Европейского Союза, должно соответствовать законам Европейского Союза, которые дают гораздо больше свободы в области названий продуктов, чем действующие до этого регламенты отдельных стран.

### 5. Заключение

На основе корпуса из более 1000 упаковок пищевых продуктов, собранных в России и в Австрии, были проанализированы названия продуктов. Цель статьи — показать, какие явления культуры могут послужить объяснением сходств и различий употребляемых типов названий в русском и австрийском обществе. При анализе названия были разделены на мотивированные одним из актантов самого продукта и немотивированные самим продуктом названия. Подводя итоги, можно сказать, что расхождения наблюдаются главным образом среди не мотивированных актантами самого продукта названий продуктов. Сходства характерны для области мотивированных.

Были обнаружены следующие закономерности в области названий: и для русских, и для австрийских продуктов распространенная модель названия использует связанные с самим продуктом актанты (производитель, место производства, ингредиенты, способ приготовления и потребления). За исключением пива, которое в России называется и по водным топонимам, большинство названий имеют параллели на другом языке или, по крайней мере, могли бы иметь такие параллели. Иначе обстоит дело с не мотивированными самим продуктом названиями. Тут оказывается специфичность оценки недавнего прошлого XX в., продолжение и полная интеграция не только царской, но и русско-советской традиции, подчеркивание «своего» и «родного», с одной стороны, отсутствие ассоциации с эпохой фашизма и ссылка только на более далекое прошлое, с другой. Несколько обобщая, можно сказать, что вместо Родины и художественной литературы — важных мотивов для российских названий продуктов — в Австрии используются топонимический мотив Альп и классическая музыка.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Корпус упаковок

Категория продукта	Русские упаковки	Австрийские упаковки
пиво	31 (Омск)	29
хлеб	39: 26 (Омск), 13 (Москва/Вена)	44
йогурт	43: 30 (Омск), 13 (Москва/Вена)	74
конфеты	81: 30 (Омск), 51 (Москва/Вена)	57
печенье и пирожное	38: 30 (Омск), 8 (Москва/Вена)	41
молочные продукты (за исключением йогурта)	40 (Москва/Вена)	56
сок	70: 35 (Омск), 35 (Москва/Вена)	72
шоколад	57: 43 (Омск), 13 (Москва/Вена)	42
чипсы	23 (Москва/Вена)	29
полуфабрикаты	48 (Москва/Вена)	51
разное	6 (Москва/Вена)	30
макароны	8 (Москва/Вена)	9
мороженое	27 (Омск)	0

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Platen [1997] по отношению к названиям продуктов употребляет термин «экономы».

<sup>2</sup> Компания «Красный Октябрь» до революции называлась «Абрикосов и Сыновья».

<sup>3</sup> Lorelei — название горного обрыва на берегу реки Рейна. В разных произведениях литературы и народных песнях рассказывается история о безумно красивой женщине по имени Lorelei, сидевшей на вершине этой скалы и певшей так красиво, что все лодки, плавающие вдоль Рейна, пропадали.

<sup>4</sup> Такая параллель проводится на основании того, что в настоящее время на Западе стало обычным сравнивать тоталитарную систему сталинизма с диктатурой Гитлера в Германии и Австрии (ср., например, исследования языка тоталитаризма [Sériot 1985; Weiss 1986]).

<sup>5</sup> Благодарю М. В. Китайгородскую, Н. Н. Розанову и О. С. Иссерс за предоставленный материал.

<sup>6</sup> Здесь, как и в дальнейшем, приводятся по возможности параллели на русском и немецком языке, которые объединяются знаком «~».

<sup>7</sup> Введение марки 33 коровы стоило очень дорого, а когда Наум Олев, автор одноименной песни жаловался на нарушение его авторских прав, компания имела большие проблемы (<http://nauka.relis.ru/cgi/nauka.pl?02+0107+02107078+html>; посещение сайта 15.3.2002).

<sup>8</sup> Эта оценка отражается в приведенных М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой [Китайгородская, Розанова 2003, 10] расхожих цитатах и речениях, активно функционирующих в повседневном речевом обиходе: «Не хлебом единым!», «Не делайте из еды культа!», «Не быть рабом желудка!», «Сколько можно о жратве говорить!», «Я не сижу на диете. Все время думать о еде — это просто унизительно» и мн. др.

<sup>9</sup> «Rio Grande» — это американо-мексиканское название реки [Lötscher 1992: 249].

## ЛИТЕРАТУРА

- ГОСТ 51074-97 — Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования. Принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 17.7.1997г. № 255 (дата введения 1.1.1998 г.)
- Ефименко, Соснов 1996 — *A. Ефименко, A. Соснов.* Колбаса имени демократии: Отечественные пищевики сумели вытащить изрядный кусок рынка из пасти транснациональных корпораций // Огонек. № 144. 28.10.1996.
- Китайгородская, Розанова 2003 — *M. B. Китайгородская, H. N. Розанова.* Тема пиши в повседневной разговорной речи: характеристики еды сквозь призму актуальных противопоставлений // Московский лингвистический журнал. 6/2. 2003. С. 7—48.
- Михайлец 2002 — *Г. Михайлец.* Человек по имени Маде ин Япан // Бизнес: Организация, стратегия, системы 2002-07 ([http://www.bossmag.ru/show\\_arhive.php?mode=print&yaer=0&mon](http://www.bossmag.ru/show_arhive.php?mode=print&yaer=0&mon); посещение сайта 19.5.2003).
- Охрана товарных знаков в Российской Федерации. М., 2002.
- Писарек 1993 — *Л. Писарек.* Сопоставительное изучение речевых актов // *Studia rossica Posnaniensia.* Vol. XXIV. С. 181—188.
- Ратмайр 2003 — *R. Rattmayr.* Прагматика извинения: Сравнительное исследование на материале русского языка и русской культуры / Пер. с нем. М., 2003.
- Тер-Минасова 2000 — *C. T. Тер-Минасова.* Языки и межкультурная коммуникация. М., 2000.
- Федеральный закон 2003. Вып. 19 (94). М., 2003.
- Assmann 2003 — *J. Assmann.* Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität // Jürgen Bolten, Glaus Ehrhardt (Hg.). *Interkulturelle Kommunikation. Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln.* Sternefels, 2003. S. 61—70.
- Blum-Kulka, House, Kasper 1989 — *Blum-Kulka, S. House, G. Kasper.* Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies. Norwood, NJ. 1989.
- Hoffmann 2000 — *E. Hoffmann.* Onymischer Wandel // L. N. Zybatow (Hg.). *Sprachwandel in der Slavia: Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert.* Bd. 1. Frankfurt/M. u.a., 2000. S. 369—385.
- Kreisel 2000 — *A. Kreisel.* Russland und der Pausensnack // Das Eigene und das Fremde in der russischen Kultur. Kontinuitäten und Diskontinuitäten der Selbstdefinition in Zeiten des Umbruchs / von B. Henn, A. Kreisel, D. Steinweg (Hgg.). Bochum, 2000. S. 244—271.
- Lötscher 1992 — *A. Lötscher.* Von Ajax bis Xerox. Ein Lexikon der Produktnamen. Zürich, 1992.
- Platen 1997 — *Ch. Platen.* Ökonomie. Zur Produktnamenlinguistik im europäischen Binnenmarkt. Tübingen, 1997.
- Rathmayer 1988 — *R. Rathmayr.* Kontrastive Pragmatik anhand russischer und deutscher Werbetexte // Zielsprache Russisch 1. 1988. S. 7—18.
- Ronneberger-Sibold 1998 — *E. Ronneberger-Sibold.* Form follows Function': Zur Geschichte deutscher Markennamen // A. Alexiandou, N. Fuhrhop, U. Kleinhenz, P. Law (Hg.). *ZAS Papers in Linguistics.* Vol. 13. Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Universalienforschung. 1998. S. 212—232.
- Ronneberger-Sibold 2004 — *E. Ronneberger-Sibold.* Markennamen als (Zerr)spiegel gesellschaftlichen Wertewandels in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts // Dumiche, Beatrice, Kladen, Hildegard (Hg.). Werbung und Werbesprache. Wilhelmsfeld: Egert. (В печати)
- Schimpffössl 2003 — *E. Schimpffössl.* Produktnamen als Abbild kultureller und gesellschaftlicher Entwicklungen. Ein sprachlicher und sozio-kultureller Vergleich der Namengebung bei Nahrungsmitteln in Russland und Österreich. Diplomarbeit an der Universität. Wien, 2003.
- Sériot 1985 — *P. Sériot.* Analyse du discours politique soviétique. Paris, 1985.

- 
- Simon 1997 — *G. Simon*. Russland auf der Suche nach seiner politischen Identität. Visionen und Wirklichkeiten, Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien. 33. Köln, 1997.
- Sperling 2001 — *W. Sperling*. «Erinnerungsorte» in Werbung und Marketing. Ein Spiegelbild der Erinnerungskultur im gegenwärtigen Russland? *Osteuropa* 11/12. 2001. S. 1321—1341.
- Snell-Hornby 1984 — *M. Snell-Hornby*. The linguistic structure of public directives in German and English // *Multilingua* 3—4. 1984. P. 203—211.
- Weiss 1986 — *D. Weiss*. Was ist neu am «Newspeak»? Reflexionen zur Sprache der Politik in der Sowjetunion // R. Rathmayr (Hg.). *Slavistische Linguistik* 1985. München, 1986. S. 247—325.

*E. A. Земская (Москва)*

## О ФУНКЦИЯХ РАЗГОВОРНОЙ И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ СТИХИЙ В ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКЕ КОНЦА XIX в. (по материалам семейного архива Булгаковых)

Частная переписка прошлых эпох представляет собой неоценимый интерес для истории языка, так как она сохраняет для нас специфические особенности непринужденного неофициального общения того времени, которое недоступно для непосредственного наблюдения современному лингвисту. Ведь подлинные данные *устной* (т. е. основной) формы непринужденного общения (иными словами: разговорного языка) стали объектом языкознания в связи с развитием техники лишь в 60-е гг. XX в.

Эта статья основана на материалах конца XIX в., т. е. изучается язык, отдаленный от нас временем более чем в сто лет. Исследовались материалы семейного архива Булгаковых.

В этой статье я рассматриваю письма Михаила Васильевича Покровского (1830—1894), протоиерея церкви Казанской Божьей Матери маленьского городка Орловской губернии Карабчева. Отец Михаил — дедушка писателя Михаила Булгакова по материнской линии.

Сестра писателя Надежда Афанасьевна Булгакова (в замужестве — Земская; 1893—1972) была всего на два года моложе брата. Она раньше других членов семьи (еще в юности) поняла его талантливость и намеревалась писать его биографию. Она собирала и хранила всевозможные материалы, отражающие жизнь семьи: переписку бабушки и дедушки, родителей, братьев и сестер, дневники, мемуары. Н. А. сберегла письма бабушки и дедушки Покровских, посланные из г. Карабчев в Киев будущим родителям писателя — дочери Варваре Михайловне и ее мужу Афанасию Ивановичу Булгакову. Имеется два письма, написанных дедушкой, и семь писем закрытых и две открытки, написанных бабушкой.

Письма о. Михаила относятся к 1890 г. и 1892 г., письма его жены Анфисы Ивановны — к 1894—1910 гг. Основная часть писем бабушки написана после смерти мужа. Два письма написаны о. Михаилом, но подписывает он их двумя именами — своим и жены.

Почему я избрала для изучения письма о. Михаила? М. В. Покровский был священником. Язык его писем является собой соединение двух основных начал — высокого, церковного, и обыденного, разговорного. Это позволяет понять, как именно использовались разговорная и церковнонадежная стихия в языке конца XIX столетия, какие функции они выполняли в непринужденной неофициальной, хотя и письменной, речи. Очевидно, что у лиц других сословий и профессий церковнонадежная стихия представлена менее значительно. Между тем вопрос о функционировании церковнославянской стихии в русском языке конца XIX—XX в. почти не изучался. При характеристике стилистической дифференциации современного русского языка *сфера культа* обычно даже не упоминается. Лишь в самом конце XX в. лингвисты обратили внимание на то, что разновидность языка, обслуживающая религию, отсутствует в описаниях функциональной структуры русского языка (см., например [Крысин 1996]). Делается попытка выделить религиозно-проповеднический стиль ([Крысин 1996]; см. также исследование Н. Н. Розановой, посвященное языку храмовой проповеди [Розанова 2003, 341—363]). Очевидно, что в русском языке советского времени такое отношение к языку религии объясняется экстралингвистическими причинами. Очевидно также и то, что функциональные разновидности русского языка XX в. резко отличаются от ситуации Московской Руси прошлых эпох, для которых было характерно церковнославянское/русское двуязычие [Успенский 1994].

Я намеренно употребляю нестрогое выражение *церковная стихия*, так как считаю, что вопрос о статусе этого компонента в языке XX в. требует дополнительного изучения (ср.: [Шмелев 1999, 222 и сл.]). Я сознаю малый объем и ограниченность рассматриваемых в этой статье материалов, но думаю, что они имеют некоторый интерес и ценность, так как показывают *реальное функционирование* элементов церковной стихии не в храме, не в проповеди или молитве, но в обычной жизни — в жанре частной переписки.

Привожу тексты двух писем о. Михаила полностью. Сохраняю орфографию и пунктуацию писем, заменяя лишь некоторые вышедшие из употребления буквы (ять; и десятеричное — і; фита) в соответствии с правилами современной орфографии и устраняя ер (ъ) в конце слова. Знаком (?) указаны сомнительные прочтения. В тех случаях, когда слово или группа слов осталась неразобранной, в скобках ставится (*и*рзб). Необходимо добавить, что почерк М. В. Покровского крайне труден для чтения (мелкий, бисерный), а бумага плохого качества: буквы сквозь нее просвечивают. Именно этим объясняется большое количество неразобранных слов. В архиве сохранились не только письма о. Михаила, но и их копии, сделанные его внучками Надеждой и Верой Булгаковыми уже в Москве. Эти копии очень помогли мне, без них число неподдающихся прочтению слов возросло бы.

### Письмо № 1

21<sup>е</sup> Сент. 1890 года

Драгоценные наши детки: Афанасий Иванович и Варичья!

Без двух дней два месяца прошло, как мы расстались с Вами и мне не пришлося написать Вам ни одной строчки, но этому причина небеспечность моя и леность, а много-

сложный порядок дел и семейных и служебных. Все было по милости Божией и при Вас и после прекрасно; в родительских душах наших обитали одни только соуслуждения (?) семейным нашим положением, как вдруг роковой день 21<sup>го</sup> Августа разрушил все<sup>1</sup>. Слава Богу, что я возвратился ночью под этот день, а дети Захарий с Колею не уезжали от нас, а то 19 и 20 была дома одна мать, случись такая пертурбация, то что бы тогда стало с нею!! На съезде пробыл я одиннадцать дней. Седьмого числа Бог дал Олечке сына Владимира при полном благополучии. Мамаша ездила в Брянск и пробыла двое суток, а 11 — вечером возвратилась, через час после моего приезда из Орла. На другой день отправили утром Колю в Москву. Дети в Орле живут хорошо и ладят между собою. Саша [младшая дочь] тоже сжилась с Орлом. У сватов любезных [в семье Булгаковых] я был 5 сент. на именинах Захара, где мы с о. Матвеем Андреевичем обедали. Они были полны радушия и ласки. Много пришлось, по приезде, провозиться с бумагами, которых накопилось порядочное количество за отсутствием моим. А с прошлой недели поднялась строительная часть только не в таком порядке, как писал Вам Коля. Преосвященный[ый] с удовольствием разрешил занять [нрэб несколько слов] и обычную; но оказалось, что они сложены, только в полтора кирпича и неизбежно уже нам прозябать (?) и иметь большую сырость. Посему дело приняло другой оборот. Ктитор<sup>2</sup> отделяет нам дом, который занимал диакон против Анюши (?). Он прирубает к нему по улице 10 аршин, что составит всего по улице 20<sup>го</sup> аршин с 6<sup>го</sup> окнами, а по двору 10 аршин, и под новою постройкою кладется каменный выход со сводами, большие сени с двумя кладовыми чуланами, и в 9<sup>го</sup> аршин прекрасная кухня. Надеемся устроиться хорошо, если Бог даст. Жалеем и скорбим за Вас, что навязавшаясь в прислуги кислая Ольга нарушает Ваше спокойствие; но это дело поправимое, заведется, Бог даст и местною прислугою, лишь бы только не попалась пьяница инахал. После рассказа о своих делах нахожу нужным сказать и про Г. Святитского, который с 20<sup>го</sup> Августа все разежжает и сватается, и, кажется, остановился в Ельце у Священника Александровского, но это только слух, а от него ничего мы не имеем. Он задался вопросом, чтобы жениться на Гимназистке, непременно, и если сбудется брак его в Ельце, то цель будет достигнута.

Извините, любезный Афанасий Иванович, что в начале письма забыл поздравить Вас с чином Надворного Советника, прошу извинить мою растрепанность и принять мое искреннее поздравление в конце, с прибавлением [нрэб несколько слов] о чем и мы Господа Бога молим и просим.

Да не забудь, дорогой, прописать о всех предерзостях Вашей против Вас супруги, дабы дать нам возможность написать в счет обуздания их. А когда мать прибудет к Вам лично по управке дел, то она озаботится сделать ей внушение.

Даблагословит Вас Господь миром, спокойствием и благополучием.

Искренне любящие Вас и молитвенно всегда помнящие родители:  
Михаил и Анфиса Покровские.

## Письмо № 2

Maia 4<sup>го</sup> 1892 года

г. Карабчев

Прелюбезнейшие наши дети  
Афанасий Иванович и Варичька  
а также и милейший наш внуконочик,  
многолетствуите!

Письмо съ карточкою Мишутки мы получили, и вдоволь им налюбовались. Внуконочик настолько хороши, что мы цены ему представить не можемъ. Ты, Варичька, пишешь, чтобы откровенно написать, не стесните ли Вы насъ своимъ приездом и не обе-

зпокоите ли собственно меня? Да разве дети могут причинить родителямъ беспокойство, особенно тем, которые всегда дышат на детей своихъ всецелою отеческой любовью; больше радости и довольства Вы ничего нам недоставите своимъ пріездомъ; посему все Ваши мысли отложите въ сторону, и какъ только вздумается и представится возможность къ отезду, пріезжайте, ничто же сумнясь и ничим еще нестесняясь. Афанасию Ивановичу нашъ искрений привет и поздравлениe съ чином Коллежского Советника.

В ожиданіи Вашего къ намъ пріезда остаемся родители Ваши:  
Михаиль и Анфиса Покровские.

В приведенных письмах разговорная и церковная стихия представлены по-разному. Первое письмо имеет обыденный характер, второе несет печать особой торжественности. Это обнаруживается во многом. Оно написано «парадным» почерком, отличающимся большей разборчивостью, на более хорошей бумаге. Во втором письме высокий слог проявляется ярче. Я думаю, что это объясняется торжественностью ситуации: родители, приглашая дочь с первенцем на лето, адресуют письмо и малознакомому зятю, именуя его по имени и отчеству, поздравляют его с чином Коллежского Советника. Отмечу, что это письмо — первое в семейном архиве, в котором находим упоминание о Михаиле Булгакове.

Особенно торжественны начало и конец второго письма (известно, что эти позиции дают наиболее важные жанровые характеристики текста): *Прелюбезнейше дети наши... многолетствуйте!* (церковнославянизм, устарелый уже в XIX в.; ср. обычные: *желаем вам многих лет жизни; живите многие лета;* еще более просто: *живите долго*).

В первом письме начало менее торжественно: *Прелюбезнейшие детки наши...* без столь высокого глагола и с использованием ласкового *детки*, а не *дети*. Однако и первое письмо содержит многочисленные приметы самого высокого слога: *в родительских душах наших обитали одни лишь соуслаждения; многосложный порядок дел; леность (не лень!)*. Ср. также выражение *всецелою отеческою любовию* (не: *всеселой отеческой любовью*).

Высокая стихия обнаруживается и в синтаксисе, особенно наглядно в порядке слов — постпозиции прилагательных и притяжательных местоимений.

Вместе с тем эти письма адресованы родной дочери, они дышат любовью и лаской. Ср. многочисленные уменьшительные формы — *Мишутка, Варичъка, вну-чоночик, дѣтки*. Дочерей о. Михаил именует ласкательными формами (*Варичъка, Олечка*), а сына — нейтрально (*Коля*).

Разговорная и высокая стихия размежеваны композиционно и по содержанию. Разговорные элементы используются при рассказе о делах, о бытовых фактах, о житейских ситуациях: *случись такая пертурбация; провозиться с бумагами; на-вязавшаяся в прислуги кислая Ольга; лишь бы только не попалась пьяница и на-хал; но это дело поправимое; как только вздумается; все ваши мысли отложите в сторону; была дома одна мать; мамаша; у сватов любезных; заведетесь, Бог даст, и местною*.

К числу разговорных элементов относится глагол *прозябать* в значении ‘мерзнуть, замерзать’. В наше время этот глагол утратил такое значение. Сл. Уш. еще

фиксирует это значение. Он дает при глаголе *прозябать* помету *разг.*, а *прозябнуть* характеризует как *простор*. БАС у глагола *прозябать* отмечает лишь значение ‘произрастать’ (как *устар.*) и значение переносное: ‘вести бесцельный образ жизни’.

Высокий слог прикреплен к началам и концовкам писем. Церковные термины (*ктитор*, *Преосвященный*) используются как необходимые для содержания номинации.

М. В. Покровскому не чужда и официально-деловая стихия языка. Он употребляет выражения, несущие отпечаток канцелярского слога: с временным значением — *по управке дел*, с причинным значением — *за отсутствием моим* (ср. нейтр.: *из-за моего отсутствия, по причине моего отсутствия*), фразеологизм *нахожу нужным; он задался вопросом, чтобы жениться на Гимназистке непременно* (ср.: *он хочет непременно жениться*).

Выделию один наиболее выразительный абзац первого письма, который наглядно рисует не только стиль, но и нравы Михаила, а также отношения в семье. М. В. уже рассказал обо всех событиях (пожар, постройка нового дома, рождение сына Владимира у дочери Олечки, отъезд в Москву сына Коли, неудачная прислуга «кислая Ольга»), слегка посплетничал о поисках Г. Святитским невесты — непременно Гимназистки, поздравил зятя с чином Надворного Советника, именуя его при этом любезный *Афанасий Иванович*, закончил это поздравление торжественными словами *о чем и мы Господа Бога молим и просим*. И непосредственно за этим идет текст, пронизанный мягким юмором, шутливой иронией и добрым лаской. М. В. переходит на *ты* с зятем и использует дружеское обращение к нему *дорогой*, но через строчку возвращается к *Вы*:

«Да не забудь, дорогой, прописать о всех предерзостях Вашей против Вас супруги, дабы дать нам возможность написать в счет обуздания их. А когда мать прибудет к Вам лично по управке дел, то она озаботиться сделает ей внушение».

В этом фрагменте высокие элементы (*предерзости, обуздания, дабы* и др.) соседствуют с нейтрально бытовыми (*не забудь, дорогой; напоминательная* частица *да* и др.) и официально-канцелярскими (*мать, прибудет лично, по управке дел, озаботиться сделать внушение*). Подобные стилистические объединения и переходы усиливают общий шутливый тон этого пассажа. Заканчивая письмо, о. Михаил вновь избирает высокий регистр: «Да благословит Вас Господь миром, спокойствием и благополучием». Концовку этого письма завершает подпись: *искрение любящие Вас и молитвенно всегда помнящие родители...* включающая морфологический церковнославянизм — наречие *молитвенно* (ср. *помнить в молитвах*).

Письма М. В. Покровского показывают нам сосуществование в языке конца XIX в. в одном тексте высокого слога и живой разговорной стихии. О. Михаил умел пользоваться разнообразными красками языка, переходя с одного регистра на другой, нередко помешая в непосредственное соседство контрастирующие слова и выражения. Ср. соседство церк.-сл. *ничто же сумняясь с обычным бытовым: ничим еще не стесняясь*. Элементы высокого слога он использует и как средство

торжественности, и как краску, служащую для создания легкой шутки или самоиронии.

Некоторые фрагменты рассмотренных писем вызывают вопросы: что это — описка? погрешность против норм языка? свидетельство старой нормы? Так, говоря о найме прислуги вместо «кислой Ольги», о. Михаил пишет: «Лишь бы не попалась пьяница *инахал*». Слово *пьяница* может быть отнесено к лицам обоего пола. Но почему *нахал*, а не *нахалка*, если речь идет о прислуге женского пола?

В этом же абзаце совершенно отчетливо написано: *«навязавшаяся в прислуги кислая Ольга»*. По нормам современной грамматики допустимы два варианта: *навязавшись в прислуги, кислая Ольга нарушает...* или *навязавшаяся в прислуги кислая Ольга нарушает...* В данном случае автор очевидно использует в причастии разговорную форму на *-сь* (*навязавшаясь*), тогда как в современном языке допустимо только *-ся* (*навязавшаяся*).

Не вполне понятна человеку рубежа XX—XXI вв. фраза *на съезде пробыл одиннадцать дней*. О чем идет речь? На каком съезде? Вероятно, слово *съезд* использовано в значении современного *отъезд*, т. е. о. Михаил был в отсутствии (вне дома) 11 дней. Слово *съезд* функционирует как синтаксический дериват от глагола *съехать — съезжать откуда* (не обязательно *вниз!*). Так понять существительное *съезд* позволяет толкование глагола *съехать* в словаре Даля: *съехать — уезжать, отъезжать с места* (т. 4., с. 676).

Отмечу еще некоторые особенности писем М. В. Покровского. Названия месяцев он пишет с большой буквы: *Сентябрь, Май*. И в начале, и в конце писем он ставит обобщающее двоеточие в традиционных формулах обращения и подписях:

Драгоценные детки наши: Афанасий Иванович и Варичька!

...родители: Михаил и Анфиса Покровские.

В слове *Варичька* всегда ставит мягкий знак после *ч*. Его жена так не делает.

В редких случаях он пишет союзы слитно со следующим словом: *Даблагословит, инахал*. Скорее это можно расценивать как описку, чем как незнание правил орфографии.

После написания второго письма М. В. Покровский прожил всего два года. Приведу фрагмент из некролога, озаглавленного «Любимый пастырь», написанного священником Андреем Бархатовым: «...в наш век не так часто встречаются такие светлые личности, какою был покойный. Много потрудился он на различных поприщах духовной и общественной деятельности. Но не здесь его главная заслуга. Любовь, уважение и известность приобрел он там, где являлся духовным отцом, учителем и руководителем своей паствы и всех, кто к нему обращался. Здесь главной чертой покойного, лучшею и достойною высокого почтения являлась широта и обилие любви к ближнему. О. Михаил Васильевич был полон неподдельного благодушия, приветливости и ласковости ко всем. И его благодушие было ключом для него к сердцам прихожан и всех, его знавших. Между ним и его паствой установились чисто-отеческие отношения. Он, среди пасомых, был как бы старшим членом семьи и жил с ними одними интересами. Он успел приобрести познание о нравах тех, которыми управлял, и по примеру Пастыренаачальника

Христа поистине знал овец своих и овцы знали его. Обладая при этом в значительной степени даром совета, он тем самым обеспечивал к себе полное доверие и заставлял каждого чувствовать, что он такой руководитель, на которого можно положиться. И сколько добра сделал почивший, благодаря основательному знанию характера своей паствы, благодаря своей доступности и общительности со всеми, благодаря силе и твердости своего духа, на которую другие могли опереться!»

Этот отрывок по высоте слога близок приведенному выше письму. Здесь и словоформы твор. падежа прилагательных на *-ю* (*лучшую и достойную высокого почтения*; отмечу, что в той же фразе выше находим словоформы с флексией *-ой*: *главной чертой*), и постпозиция местоимений, и церковно-славянская лексика и метафорика (*пастырь, паства, пасомые; знал овец своих и овцы знали его; почивший; Пастыреначальник Христос*). Особого внимания заслуживает слово *благодущие*. Даль дает: «*Благодущие. Доброта души, любовное свойство души, милосердие, расположение к общему благу, добру.*». Значительный семантический сдвиг фиксирует Сл. Уш.: «*Мягкость характера, хорошее настроение. Он отличался неизменным благодущием.*» БАС выделяет два значения: 1. Добродущие, мягкосердечие, доброта [примеры из Тургенева, М.-Печерского, Болотова и др.] (...) Душевное спокойствие, хорошее расположение духа. 2. *Устар.* Великодущие, доблесть. В МАС толкование прикреплено к прилагательному «*благодущный. Добродушный, мягкосердечный*»; существительное *благодущие* tolкуется: Свойство по знач. прилагательного «*благодушный. Добродущие, мягкосердечие*».

Мы видим, что в слове *благодущие* произошел семантический сдвиг, характерный для многих церковнославянанизмов: внутренняя форма слова тускнеет, значение компонента *благо-* затмняется. Происходит обмирщение семантики (аналогичное изменение претерпевают кальки с греческого с компонентами *добро-, мало-*, типа *добродущие, малодущие*). В некрологе слово *благодущие* употреблено в своем исключном церковном значении. Изменение значений многих церковных сложных слов характерно для истории русского литературного языка. И. С. Ильинская пишет: «В значении целого ряда слов, представляющих собой сложные образования из двух основ, например, *великодущие, малодущие, добросовестный* и другие, первоначально заметно приступало значение каждой основы, и общее значение сложного слова представлялось как бы членным, состоящим из суммы значений двух частей. (...) На основе этих первоначально членных значений впоследствии развиваются другие, уже не членные по смыслу значения, существующие некоторое время наряду со старыми, а потом вытесняющие их. (...) Процесс утраты сложными словами старых членных по смыслу значений коснулся многих сложных слов» [Ильинская 1963, 39—40]; см. также: [Ильинская 1970].

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Пожар дома, где жили Покровские и где венчалась Варвара Михайловна [Примечание Н. А. Булгаковой-Земской].

<sup>2</sup> Церковный староста.

## ЛИТЕРАТУРА

- БАС — Словарь современного русского языка. Т. 1—17. М.; Л., 1948—1965.
- Даль — Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. 3-е изд. Т. 1—4. 1903.
- Ильинская 1963 — И. С. Ильинская. О богатстве русского языка. М., 1963.
- Ильинская 1970 — И. С. Ильинская. Лексика стихотворной речи Пушкина. М., 1970.
- Крысин 1996 — Л. П. Крысин. Религиозно-проповеднический стиль и его место в функционально-стилистической парадигме современного русского литературного языка // Поэтика. Стилистика. Язык и культура: Памяти Т. Г. Винокур / Отв. ред. Н. Н. Розанова. М., 1996. С. 135—138.
- МАС — Словарь русского языка. Т. 1—4. 3-е изд. М., 1981.
- Розанова 2003 — Н. Н. Розанова. Сфера религиозной коммуникации: храмовая проповедь // Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация / Отв. ред. Л. П. Крысин. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 341—363.
- Сл. Уш. — Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1—4. М., 1934—1940.
- Успенский 1994 — Б. А. Успенский. Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка // Б. А. Успенский. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М., 1994.
- Шмелев 1999 — А. Д. Шмелев. Функциональная стилистика и моральные аспекты // Язык. Культура. Гуманитарное знание: Научное наследие Г. О. Винокура и современность / Отв. ред. С. И. Гиндин, Н. Н. Розанова. М.: Научный мир, 1999. С. 217—230.

*О. Б. Йокояма (Лос-Анджелес)*

## ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В КРЕСТЬЯНСКИХ ПИСЬМАХ КОНЦА XIX в.

### *0. Введение*

**Д**о недавнего времени сведения о звуковых аспектах даже живого языка почерпывались преимущественно из письменных источников. Так, например, к занятиям просодией и интонацией Т. М. Николаеву, по ее собственным словам, привело изучение письменного литературного языка [2000, 291]<sup>1</sup>. В предлагаемой здесь статье мы тоже пытаемся использовать научный потенциал письменных источников в целях реконструкции отношения к языку, в частности к его интонационному аспекту, «наивного» носителя полуграмотного или не вполне литературного русского языка позапрошлого века. Мы рассмотрим один аспект графической формы этого языка, а именно знаки препинания в частных письмах представителей двух поколений крестьян вятской, членов одного семейства: матери, отца, сына и дочери<sup>2</sup>. Авторы рассматриваемых здесь писем стоят на разных ступенях освоения грамотности, от элементарной в случае матери до почти полного владения разговорным литературным языком в случае дочери. Знаки препинания употребляются в письмах неравномерно и используются авторами по-разному: от чисто словоделительной функции до относительно грамотного употребления их в качестве внешней и внутренней пунктуации<sup>3</sup> в соответствии с правилами того времени<sup>4</sup>. В разделах 1—6 мы опишем особенности употребления знаков препинания в шести письмах, а в разделе 7 сделаем выводы о том, что дает наш материал для этнографии «народного языкоznания».

Письменная форма любого языка двойственна, и в ней неизбежно имеет место огрубление и упрощение. Русская орфография, с одной стороны, огрубляет сегментную фонетическую действительность, с другой же, она не вполне последовательно соответствует не вполне научному — часто спорному — представлению о фонемном составе языка. Пунктуационная система страдает теми же недостатками. С одной стороны, она даже грубее, чем орфография, отражает некоторые фонетические (интонационные) реалии, с другой же, она стремится принять на себя, несмотря на ее чрезвычайно ограниченный графический инвентарь, роль

показателя весьма сложных — и в научном отношении еще менее изученных, чем фонология, — отношений пропозиционной семантики, дискурса и прагматики. Двойственность означаемого пунктуационным знаком неизбежна, ибо семантические, дискурсивные и прагматические категории отчасти кодируются в устном языке с помощью интонационных средств<sup>5</sup>. Тот факт, что таким пунктуационным знаком, как точка, одновременно кодируется и изъявительное наклонение (категория дискурсивно-прагматическая), и завершительная интонация (категория супрасегментной фонологии), поэтому вполне естествен. Чтобы освоить пунктуацию там, где она отражает пропозиционные, дискурсивные или прагматические категории, носитель языка должен научиться отдавать себе отчет в этих категориях, весьма часто плохо поддающихся интроспекции. Задача усложняется тем, что корреляция этих категорий с интонацией осуществляется далеко не всегда и отнюдь не одними и теми же интонационными контурами. Запятая, например, не всегда соответствует паузе, а пауза — запятой. Если у пунктуации, как у любой семиотической системы, главная задача — однозначно установить соответствие означаемого и означающего, то отсутствие этой однозначности в русской пунктуационной системе представляет для наивного носителя языка весьма серьезные трудности. Анализ рассмотренных здесь писем проливает свет на то, какие пунктуационные решения принимали их авторы и почему.

### *1. Лист 153<sup>6</sup> (1895 г.)*

В написанном печатными буквами письме матери<sup>7</sup>, приводимом ниже в иллюстрациях (1а) и (1б), используется всего лишь один небуквенный знак — точка. Он используется не как знак внешней пунктуации, а как помета границы слова. Точки ставились не при проверке, а по ходу письма, в пользу чего говорит тот факт, что после точки почти всегда сохраняется пробел.

(1а) Лист 153, текст

(см. рис. 1).

(1б) Лист 153 об.

(см. рис. 2).

Во всем письме встречается лишь два случая, где точка отсутствует: раз после цифры (6 ФЕВРАЛЯ)<sup>8</sup> и раз после предлога (ОТ ЛИЗОВЕТЫ). Последнее отклонение представляет некоторый интерес с лингвистической точки зрения: Предложных словосочетаний в этом письме всего, включая адрес, четыре (ОТ БОГА, ОТ ЛИЗОВЕТЫ, В. ГОРОДЬ, В. КОНТОРУ), из них точка отсутствует только в одном случае; пробел соблюден во всех четырех словосочетаниях. С другой стороны, в данном письме слитно написаны предлог ЗАМЕСТО и наречие ЗАТЕМЪ. Правильное деление на слова, наблюдаемое в данном письме, является в нашем материале скорее исключением, чем правилом, т. к. последовательно

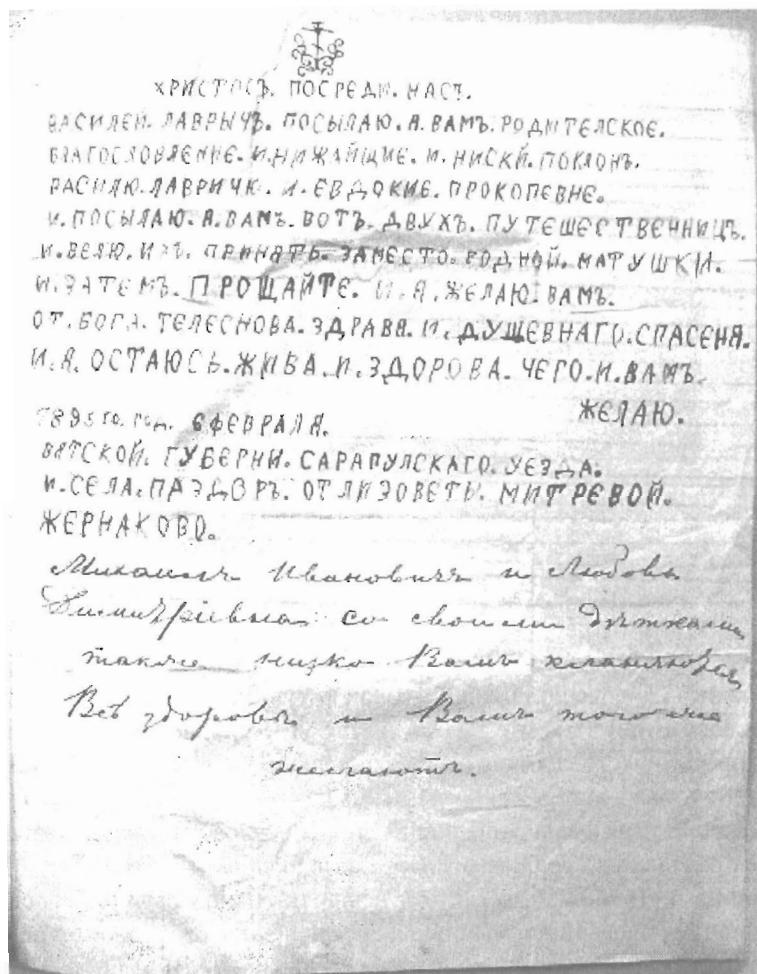


Рис. 1

раздельное написание предлога весьма необычно среди рассматриваемых нами писем, где даже намного более привычные авторы часто пишут предлог слитно со следующим за ним словом<sup>9</sup>. Вопрос «слитно или раздельно?» был, по-видимому, для наших авторов одним из самых сложных. Заметим, что в письме на л. 153, несмотря на правильное раздельное написание предлога во всех приведенных предложных словосочетаниях, в них нарушается правило употребления твердого знака после последней согласной предлога, во всех других случаях аккуратно соблюданное автором. Возможно, что этот автор исключительно чутко относился к слову как языковой единице и в то же время воспринимал членение предложного словосочетания менее отчетливо, чем другие виды словоделения<sup>10</sup>. Вместе с опущением твердого знака единичный случай опущения точки в словосочетании ОТ ЛИЗОВЕТЫ, возможно, является дополнительным свидетельством особого ста-

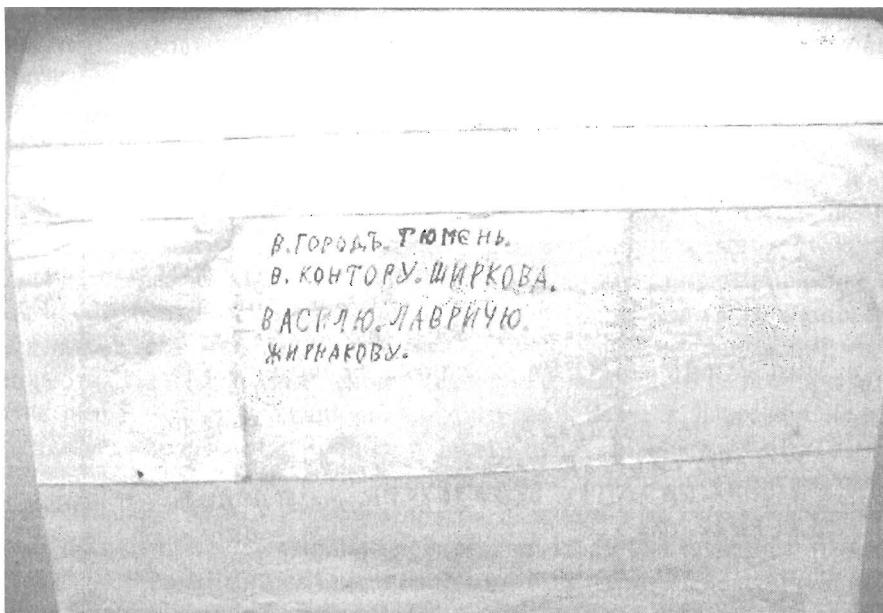


Рис. 2

туса предложных словосочетаний в языковой интуиции автора. В написании предложных словосочетаний можно видеть намек на более архаичное отношение к слову как к просодической единице, включающей проклитики<sup>11</sup>. Думается, однако, что понимание слова у автора данного письма не столько фонологическое, сколько синтаксическое, т. к. раздельно она пишет лишь предложные словосочетания, безударные же приставки в предлоге и в наречии написаны у нее слитно.

В письме на л. 153, если не считать исключительно правильного словоделения, сознание графической нормы ощущается наиболее слабо. Автор не стремится регламентировать написание имен собственных (ЛАВРЫЧЬ и ЛАВРИЧЮ, ЖЕРНАКОВОЙ<sup>12</sup> и ЖИРНАКОВУ). Буквы используются ею для передачи звука, пусть приблизительной; она довольствуется узнаваемостью слова, старательно выводя буквы и выделяя каждое слово точкой. О выделении мысли, предложения или о различных связях между мыслями автор не беспокоится. И все же весь текст письма на л. 153 прочитывается достаточно однозначно. Его не приходится перечитывать, как бывает, когда интонация пишущего не соответствует ожиданиям читающего. По-видимому, обилие и распространенность формул приветствий и приподнятый повелительный тон двух строк, в который укладываются в письме все «свои» мысли автора, исключают возможность разночтения не только в плане содержания, но и в pragматических и в интонационных отношениях. Соответствующая заданному порядку слов интонация вычитывается как повествовательная, а это определяет место интонационного спада, обычно обозначаемого точкой, и делает тем внешние знаки препинания факультативными.

## 2. Лист 27 (1883 г.)

Полной противоположностью в отношении точек является письмо отца, в котором знаков препинания почти нет<sup>13</sup>. Приводим первую страницу письма:

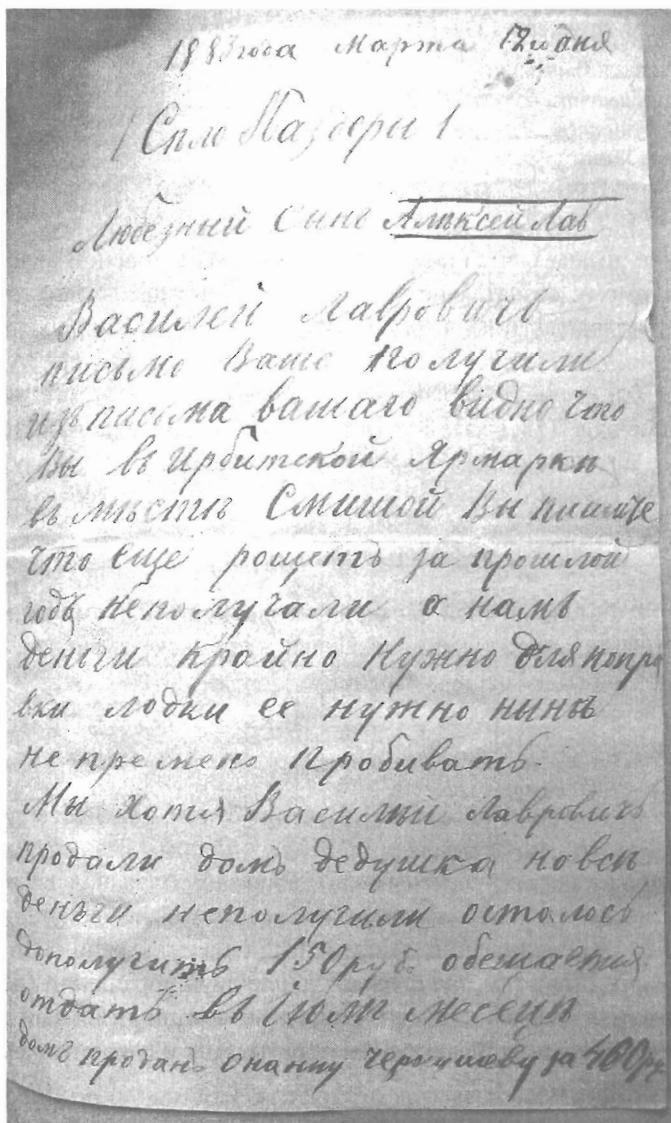


Рис. 3

Во всем письме встречается всего четыре точки, из них три после сокращения слова рубль (как руб. или как ру.). В качестве внешних знаков препинания точка практически не используется. Есть две запятые при перечислении однородных

членов предложения, употребленные непоследовательно: *Вамъ кланяютсъ я бабушк*а* [Ba]ня, и Ганя, Таня и всѣ знакомые*<sup>14</sup>. Отсутствие внешних знаков препинания не компенсируется заглавными буквами, т. к. последние употребляются преимущественно в именах собственных и личных местоимениях 2-го лица. В двух местах, однако, заглавная буква стоит в начале абзаца после слаборазличимой красной строки; см. примеры (3) и (4):<sup>15</sup>

- (3) Мы хотіа Василѣй Лавровичъ  
продали домъ дедушка но всѣ  
деньги неполучили (л. 27)
- (4) Остаемся всѣ Живы  
и здоровы чегои Вамъ  
желаем (л. 27 об.)

Это выделение абзаца сочетанием заглавной буквы с красной строкой производилось, по-видимому, сознательно, будучи вполне оправданным с точки зрения структуры текста. Словоделение, выраженное в письме на л. 27 пробелами, весьма непоследовательно, чем это письмо отличается от предыдущего; ср. ЗАМЕСТО из письма на л. 153 с *въместѣ смишой* в письме на л. 27. Однако отсутствие пунктуации, как и в письме на л. 153, в какой-то мере восполняется повествовательным порядком слов с его интонационным спадом в конце предложения, способствующим распознаванию его границ.

### 3. Листы 5—6 (1881 г.)

Это письмо состоит из главной части, адресованной старшему сыну Алексею от имени отца, но написанной рукой сына Ивана, в приписке от лица самого писца, подростка 14 лет. Приводим первую страницу:

- (5) Лист 5  
(см. рис. 4).

Старательность, с которой юный писец выводит буквы, нажим и волосяные линии — все это свидетельствует о давлении школьной нормы. Из содержания этого и других писем можно заключить, что отец недавно забрал Ивана из школы, чтобы отдать в услужение, но пока Иван живет дома. Следы школьного обучения видны в этом самом раннем из сохранившихся писем Ивана и в пунктуации. Внешние знаки препинания часто стоят там, где следует; после двух обращений (одного в начале письма и одного в начале приписки) стоит даже восклицательный знак. Точки почти все на месте, ими заканчиваются как простые, так и сложные предложения; см. примеры (6)—(7)<sup>16</sup>:

- (6) Ваня живеть дома. | у Чугракова дела плохи.
- (7) Исписьма вашего | видно что Вася приехалъ | въ тюмень.

Точкой также отмечается сокращение денежных единиц: *p., к.* В приписке от лица Ивана обращает на себя внимание употребление точки там, где следовало бы быть запятой:

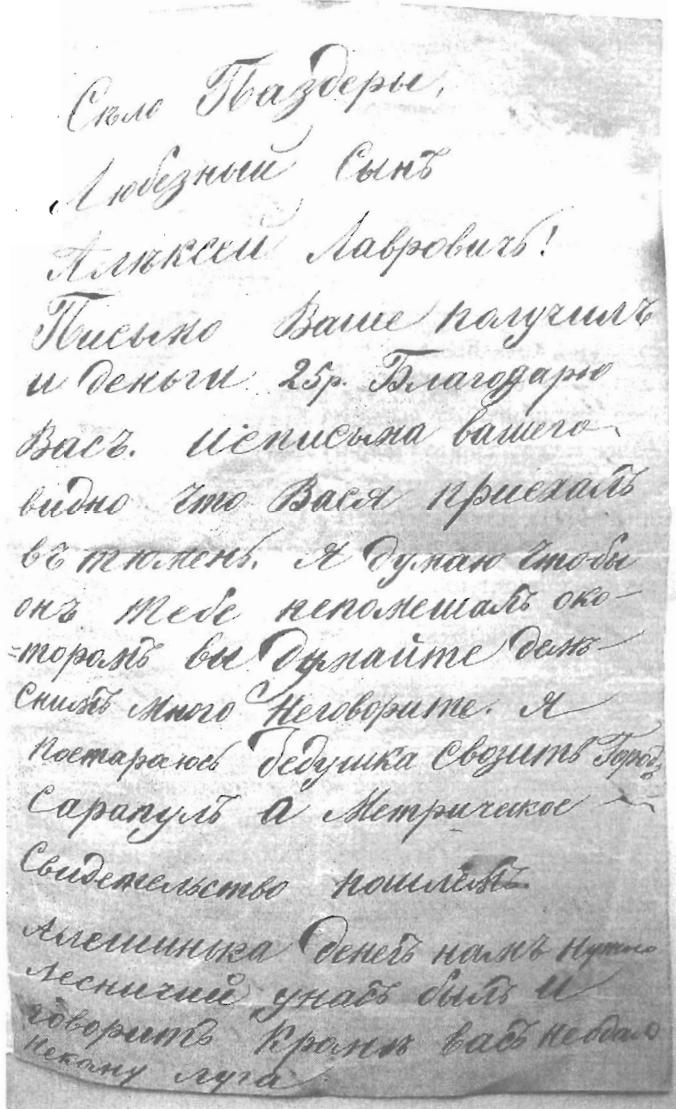


Рис. 4

- (8) (а) Я живу дома въторой месецъ | должностніи нѣть. (б) Нигде нео| казывается. (л. 6)  
(9) (а) Пополученію этого письма пишите | Поксоря. (б) Спервой Почтой. (л. 6)

Примеры (8) и (9) интересны тем, что, скорее всего, точка отражает тут интонационную завершенность фраз (а) и эмфатичность фраз (б). Линейности мысли и спонтанности чувства, отражаемых в выделенной таким образом парцелляции, в главной части письма не встречается. Эллиптические фразы типа (б) едва ли рекомендовались школьной грамматикой<sup>17</sup>, и примеры (8) и (9) следуют расценивать как творческое употребление точки подростком.

Запятых в письме безошибочно всего одна: после названия села в самом начале письма. Есть еще похожие на запятые знаки в конце письма после подписей; см. (10)–(11):

- (10) Любешій Васъ, Михаилъ Жернаковъ<sup>18</sup> | 1881года 5го іюня. (л. 6)  
 (11) Гавриль Жернаковъ, Татьяна Жернакова (л. 6)

Пунктуация в (10) не легко поддается анализу. В первую очередь обращает на себя внимание точка с запятой, которой отделяется рука Ивана от руки младшего брата Михаила; она тут, возможно, служила пометой того места, откуда Михаилу следовало писать. Запятая после подписи Михаила находится выше обычного места в строке и, возможно, тоже была поставлена Иваном еще до того, как Михаил поставил свою подпись; в таком случае она могла служить просто пометой конца того места, которое старший брат выделил Михаилу для подписи. Знак после даты — нечто среднее между запятой и точкой. Из предшествующего ей росчерка однако скорее всего следует заключить, что это точка. Следующие затем подписи Гавриила и Татьяны в (11) поставлены самим Иваном; следовательно, запятой тут разделяются члены перечисления. Эта запятая однако тоже определяется нечетко.

Интересно отсутствие пунктуации в структурно сложных случаях (12) и (13):

- (12) Я думаю Чтобы | онъ Тебе непомешаль око- | =торомъ вы думайте делъ —<sup>19</sup> Сним  
 Много Неговорите. (л. 5)  
 (13) Лесничий унась быль И | говорить Кроме васъ неодамъ | некому луга. (л. 5)

В примере (12) порядок слов сугубо разговорный, если не просторечный, с каким в школе детям не проходится иметь дело в письменном виде в наше время. Возможно, что за отсутствием нормативной модели писец вынужден был тут руководствоваться интонацией и поставил точку там, где ему слышалось понижение тона; места же для запятых, по правилам, которые подросток учил в школе, не нашлось. В примере (13) интересна заглавная буква, с которой начинается слово *кроме*. Возможно, что она возвращает собой отсутствие нормативных знаков препинания, которые требуются при введении прямой речи.

Кроме точек, запятых и восклицательного знака в части письма от лица отца, встречается один перенос в необычном сочетании со знаком равенства (*око | =торомъ*, л. 5), хотя в более спонтанной приписке от лица подростка знак переноса отсутствует (*нео | казывается*, л. 6).

#### 4. Листы 43–44 (1888 г.)

Это письмо написано 20-летним Иваном старшему брату Василию. Приводим первую страницу:

- (14) Лист 43

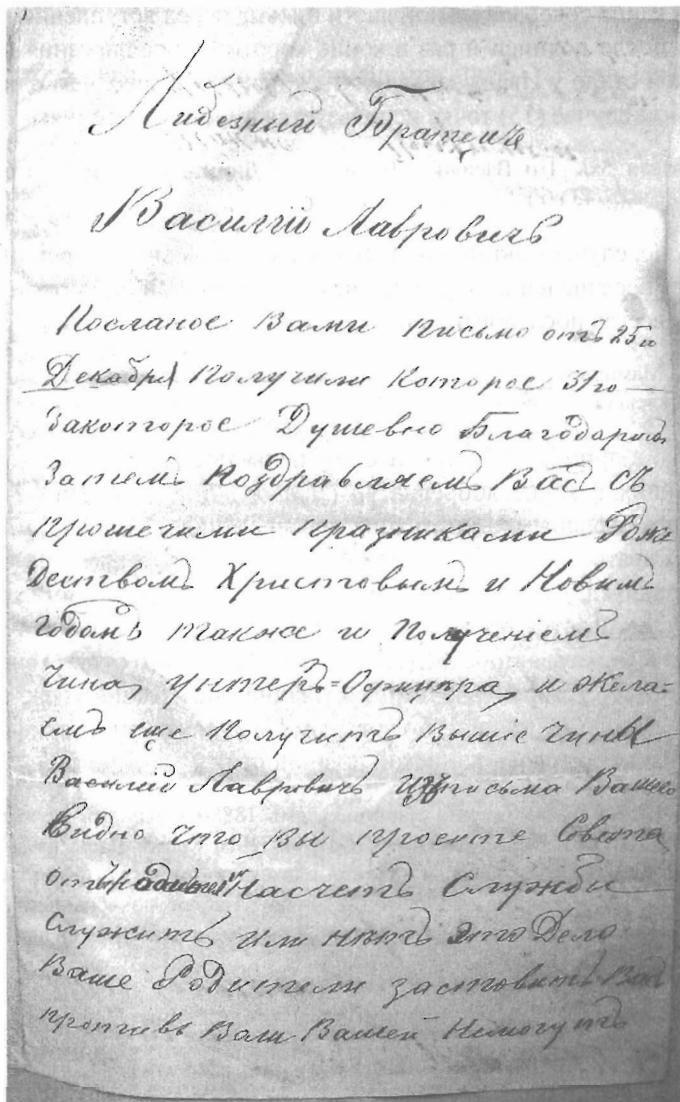


Рис. 5

Из сравнения с письмом на л. 5—6 яствует, что за семь с половиной лет после ухода из школы Иван отказался почти от всех знаков препинания кроме запятых. Исчезли не только восклицательные знаки после обращений, но также и почти все внешние пунктуационные знаки (точки сохраняются однако после сокращений: чл., Петров., Баб.). В функции внешних знаков препинания точка используется в этом письме из трех с половиной страниц всего 4 раза. Это случается всегда в конце целого цикла предложений на одну тему: раз в конце абзаца, завершающего

страницу, раз в конце содержательной части письма перед вступлением в формулу прощания, раз после подписи и раз в конце короткого предложения в приписке. Очевидно точкой стало у Ивана заканчиваться нечто большее, чем одна пропозиция. В единичном случае (15) точка используется вместо двоеточия:

- (15) из Них взяли 5хъ. 1го Василія | Игонина 2го Димитрія Ятихина | 3го Игнатія Филипова Соседа (л. 43 об.)

Во всех других случаях автор обходится без внешних знаков препинания.

Запятые при перечислении, с его яркой интонационной семантикой, сохраняются, хотя и не всегда последовательно; см. (16):

- (16) Тятинька, Маминька, | Алѣксей Лавров. Раиса Дав. | Баб. Татьяна Григоревн(а), Параксов. Василевн(а), | Таня, Ганя, Коля, Вера, Петя | Всѣ Живы и здоровы (л. 44)

Отметим, что в примере (16) запятые опущены там, где они оказались бы после точек, стоявших в конце аббревиатур (*Лавров.*, *Дав.*). Сочетание «.,» могло показаться автору странным, а интонация перечисления, возможно, могла, по его мнению, обслуживаться и уже стоящей там точкой.

В одном большом блоке, где запятые стоят вместо точек, а иногда и вовсе отсутствуют, прослеживается постепенное развитие одной мысли на тему, близко затрагивающую интересы автора. Можно предположить, что отсутствие точек или запятой тут отражает ускоренный темп интонации; нагнетание убеждения путем нагромождения доводов и причин, по которым Иван считает возможным просить брата не сокращать срок своей воинской повинности:

потомучто Если | Вы выйдите в Наступающемъ 1888м | году изъ службы Домой то — | пріидется служить Миѣ надежды | Никакой Нѣть Кромѣ Вась, да | Дальнего Жеребья, ныне не дальныя | Жеребья надежда плохая, потомучт(о) | Много Браковки изъ нельготнихъ, | Так что Вныешнемъ 1887<sup>1</sup> года | Наборе новобранцев Дальнихъ Жереб- | евъ нехватило взяли Двухъ чело | вект льготы 2го Разряда у насъ | въ Паздерахъ Призывалось 6 чел. | (л. 43 об.)

Один раз запятой отделяется аппозиционное приложение (*Поздравляем Вась съ (...) съ Полученiemъ Чина, унтер=Офицѣра*). Возможно, что в данном случае запятая отражает интонационную паузу — результат уточнения или просто колебание перед написанием заимствования; ср. в этой связи написание *его* через необычный знак равенства и употребление более трудной и ненужной здесь буквы Ѣ.

В письме на л. 43—44, особенно в начале его, Иван весьма серьезно относится к различию между прописными и строчными буквами, иногда переправляя их с одной на другую. Отойдя от школьных правил, он, по-видимому, стал экспериментировать с графикой, создавая свою собственную систему. Это дает нам повод предположить, что и знаки препинания являются у него не результатом небрежности, а скорее отражают некую систему, достаточно последовательно обрисовывающуюся, если учесть фактор интонации.

## 5. Листы 47—48 (1888 г.)

Автору этого первого из ее сохранившихся писем 11 лет. Приводим его начало:

(18) Лист 47

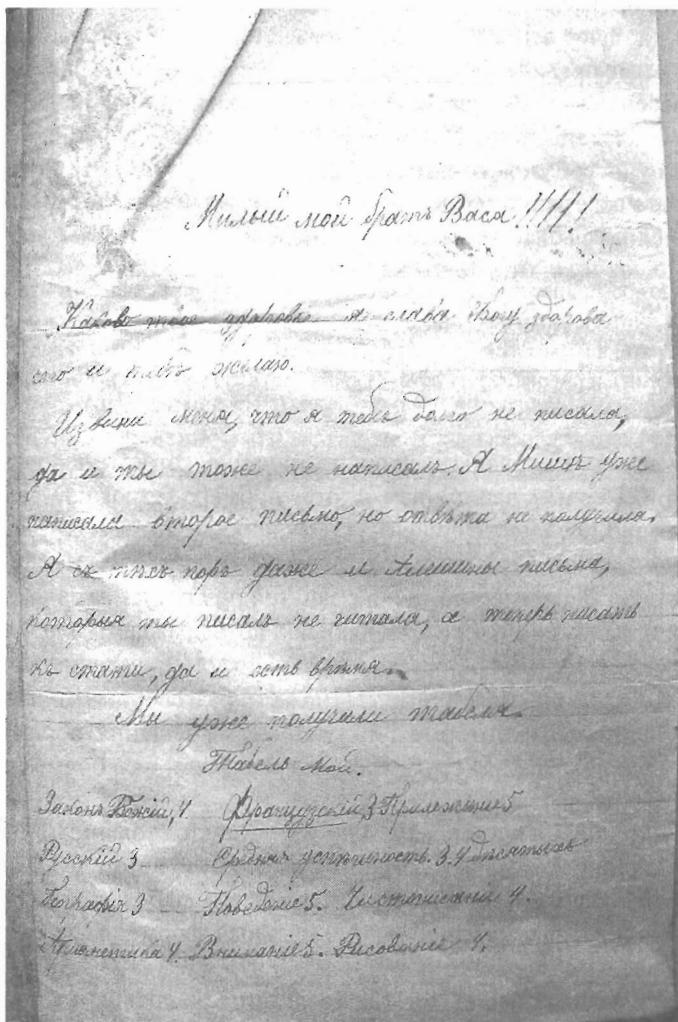


Рис. 6

Сразу бросается в глаза мелкий, но еще полудетский почерк, красная строка, малое число прописных букв, употребленных где следовало в соответствии с правилами того времени, и обилие и разнообразие знаков препинания, правда, не всегда на своем месте. Здесь есть не только точки и запятые, но и восклицательные знаки, двоеточия, точки с запятой и даже многоточие. Отсутствует только вопросительный знак.

сительный знак в зчине письма после осведомления о здоровье. Судя по тому, что этой формулой, состоящей из вопроса и следующего за ней оповещения о здоровье адресанта и пожелания здоровья адресату, начинаются почти все письма в этой семье, девочка, скорее всего, использовала ее, не чувствуя ее семантической структуры и не ощущая ее формальной вопросительности.

Все менее частотные знаки препинания (т. е. не точки и не запятые) в этом письме свидетельствуют об осмысленном отношении к ним автора, пытающегося применять школьные правила их употребления, но, разумеется, в собственном толковании. Интересен девчачий<sup>20</sup> ряд восклицательных знаков в обращении (*Милый мой братъ Вася!!!!*), наверное, отражающий радостную интонацию. Знаки препинания девочка употребляет сознательно, как видно из примера (19), где подчеркнутые запятые, точка с запятой и точка, судя по значительно более темному цвету чернил по сравнению с контекстом, были добавлены при проверке:

- (19) Учится во второмъ класѣ очень трудно: напрі- | мѣръ намъ задаютъ изъ француз- скаго, переводъ, читать, | глаголь, статью переводить. Да... еще изъ русскаго | зададутъ переложеніе писать, и грамматику на | изустъ выучить, да изъ географіи зададутъ | цѣлое государство выучить и рисоватъ(ъ) на изустъ | карту; вотъ тутъ и учи какъ знаешь: учишь | учишь да и надоестъ. (л. 47 об.)

В этом примере есть и «трудные» знаки препинания, которые девочка явно употребляет с охотой. Первым двоеточием в этом примере (строка 1) вводится, как и следует, пояснение предшествующего утверждения, а вторым (строка 7) — несколько менее однозначно — вводится результат. Точка с запятой в седьмой строке вполне соответствует определению точки с запятой по Гроту: «как знак, служащий для разделения предложений, представляющих по выражаемым в них мыслям довольно близкую между собою связь» [1906, 102]. Стремление использовать пройденные знаки препинания в примере (19) с его разговорным синтаксисом заставило девочку принять и некоторые пунктуационные решения, образцы которых в школе не проходились, как это случилось, мы полагаем, с ее братом в примерах (12) и (13).

Остальная пунктуация в письме на л. 47—48 — точки, стоящие почти всегда на месте. Исключение представляет пунктуация табеля, где автор, судя по стоящим в середине строки словам «Табель Мой.», скорее всего, переделанным из «Табель Жернаковой», пытается воспроизвести официальный формат табеля, плохо поддающийся передаче на нерасчерченном листе.

Запятые стоят в начале письма там, где полагается по школьным правилам: перед *что*, *но*, *который*, *а*, *да*, *когда* и т. д.<sup>21</sup> К концу второй страницы, где тема меняется с отметок на более веселые школьные дела, пунктуация начинает хромать;ср. фразу в начале письма (20) с вставленной при проверке запятой и фразы в начале третьей страницы (21), где нет запятых даже перед такими четкими показателями как «но», «который» или перед причастным оборотом:

- (20) Извини меня, что я тебѣ долго не писала, | да и ты тоже не написаль. (л. 47)

- (21) Я взяла | три билета но мнѣ ничего не досталось. | Разыгрывали корову, коверъ ко-  
торый стоить | 200 руб., одяло вышитое шерстями, | два самовара одинъ серебряный  
другой мѣдный. (л. 47 об. — 48)

К концу третьей и на протяжении почти всей четвертой страницы пропадают даже некоторые точки; две из них, однако, опущены в формуле прощания (л. 48 об.: *Затѣмъ прощай мнѣ напиши и Прощай остаюсь въ ожиданіи письма.*), где, как и ранее в формуле здания, скорее всего, произошла десемантизация. Примечательно, что более сложные знаки препинания — двоеточия и точки с запятой — сохраняются до конца письма, хотя и не всегда оправданно.

Общая картина пунктуации письма на л. 47—48 отражает сильное влияние школы и относительно твердое усвоение правил. Более конкретно сформулированные правила (где ставить запятые перед *что*, *но*, *который* и т. д.) или соблюдаются девочкой, или же она, увлекшись содержанием, о них забывает. О более абстрактно сформулированных правилах (когда ставить двоеточия и точки с запятой) она не забывает никогда, хотя и не всегда правильно их применяет; возможно, что, как более трудные, они привлекают к себе ее внимание во всех контекстах. Особенно сложными для девочки была, по-видимому, пунктуация, сопутствующая разговорному синтаксису (см. пример (19)), где было трудно применять заученные в школе правила в ее непринужденном стиле; так же трудным оказалось, естественно, воспроизведение граф табеля. Внутренняя пунктуация, очевидно, зависела не только от внимательности ребенка или от степени усвоения правил, но также и от отсутствия опыта передачи некодифицированного стиля в письменном виде.

#### 6. Листы 196—197 (1896 г.)

Семь с половиной лет спустя Таня уже пишет вполне литературно, как видно из этого письма, написанного в непринужденном разговорном стиле. Приводим его начало:

(22) Лист 196

(см. рис. 7)

Хотя общее число внешних и внутренних знаков препинания в этом письме возросло соответственно сложности мыслей и синтаксиса, в сравнении с орфографической нормой они все же часто пропускаются. Кроме отсутствия запятых в местах, где Таня семь лет назад их бы наверняка поставила, немало и пропущенных точек; см. (23) и (24):

- (23) Ты конечно | знаешь что братъ Ваня жени- | лся свадьба была 21 Января. | (л. 196)

- (24) Я была съ невѣстой въ Мензе- | линскѣ тамъ у нихъ тоже | домъ хорошій живеть  
Иванъ | Ильичъ. (л. 196 об.)

«Трудные» знаки препинания исчезли бесследно; восклицательный знак после обращения сохранился; вопросительный знак отсутствует. В последнем случае, правда, вопрос, после которого его следовало бы поставить, почти входит уже в

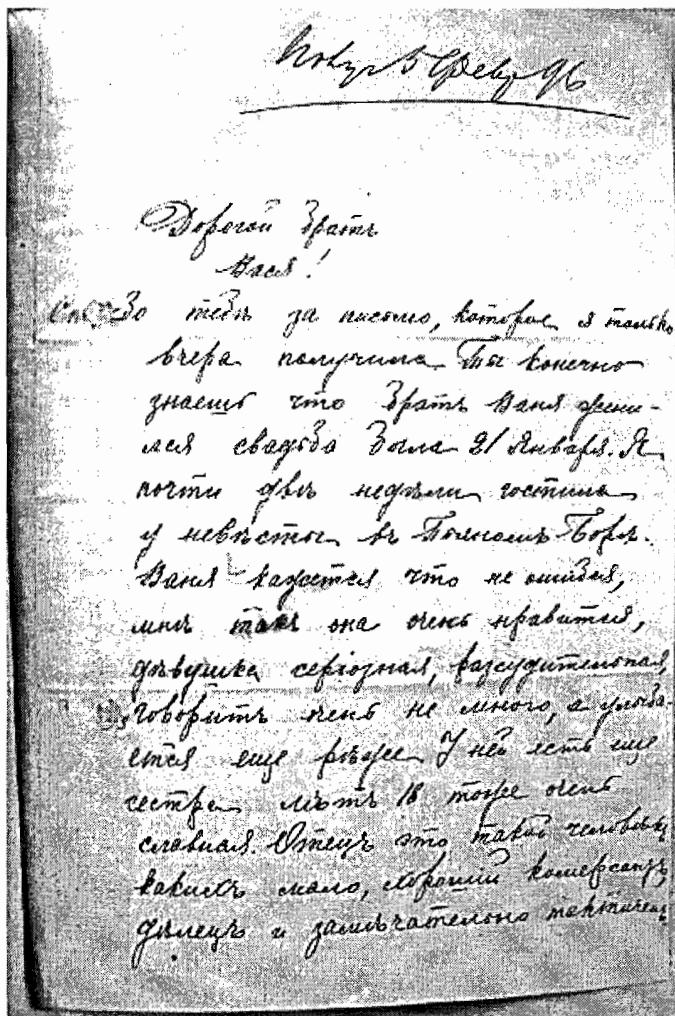


Рис. 7

формулу прощания (Какъ здоровье [у] | дѣтишекъ, навѣрно ужѣ | гренадеры со-  
всѣмъ.), и на отсутствие вопросительного знака, возможно, повлияло бесспорное  
интонационное примыкание вопроса к последующей фразе о гренадерах.

Пропуск основных внешних и, еще чаще, внутренних знаков препинания в этом письме разбросан по всем четырем страницам и отношение между пунктуационными ограждами и структурой, семантикой или стилем не поддается определению. Лучше всего сохраняются запятые при однородных членах предложения, что мы объясняем опять-таки их характерной интонацией. Это не меняет общего заключения, что после ухода из гимназии<sup>22</sup> как внешняя, так и внутренняя пунктуация у Татьяны сильно упростилась и что, несмотря на явно значительное повышение степени владения литературным языком, автор целиком отказался от дифференциации логических отношений, выражаемых «трудными» знаками препинания.

## 7. Выводы

Письменный язык более нормативен, чем устный. Он усваивается в школе, в ситуации чужого модуса. Как любая языковая норма, он упрощает языковую действительность и оказывает на носителей языка определенное давление социолингвистического характера. Рядовой носитель языка, обучавшийся в школе, воспринимает норму не столько как условие наиболее точной и удачной передачи своих мыслей, сколько как «правило», которому он должен следовать, если он хочет считаться грамотным человеком. В нашем материале такие рядовые носители позапрошлого века представлены в лице Ивана и Татьяны. В случае этих двух авторов можно говорить о степени усвоения нормы и о ее последующей потере. На материале их писем, проанализировав принимаемые их авторами пунктуационные решения, можно проследить, как относился к письменной (в данном случае к пунктуационной) норме молодой недоучившийся человек из народа, какие из правил он усваивал, от чего впоследствии отказался и почему.

Металингвистические представления народа о языковых категориях, обозначаемых пунктуацией, у Ивана и Татьяны контаминированы нормой, от которой авторы постепенно отходят. При сравнении более ранних и более поздних писем Ивана и Татьяны совершенно четко вырисовывается процесс потери пунктуационных правил. Если в ранних письмах их нарушения коррелируют с увлекательным или волнующим для пишущего содержанием, с разговорным синтаксисом или со стилистически трудными для автора контекстами, то в поздних письмах такой корреляции не устанавливается.

У Ивана потеря пунктуации как бы освобождает его от школьных правил и приводит к эксперименту: Иван начинает изобретать свои правила использования графики, и в том числе знаков препинания, в целях кодирования pragматической информации. При этом выступают две особенности в отношении Ивана к знаку: во-первых, Иван явно усвоил концепт семиотического потенциала графического знака; во-вторых, он столь же очевидно недооценивает контрактного аспекта знака, не заботясь о том, как его самодельные правила декодируются читающим.

У Татьяны потеря пунктуационных правил после ухода из школы проходит иначе. Если в школе она пыталась использовать самые разные знаки препинания и при том отдавала себе отчет в семантических отношениях между разными частями своего текста, передавая их читателю в соответствии с правилами, диктующими их значение, то, перестав учиться, она свою пунктуационную систему упростила. Теперь она уже не кодирует эксплицитно смысловые различия, передаваемые двоеточием или точкой с запятой, предоставляя читателю понимать это связи по-своему. Трудно сказать, отдает ли выросшая Татьяна себе отчет в различных связях, которые она, будучи гимназисткой второго класса, старалась эксплицировать на письме знаками препинания, или же теперь она довольствуется недифференцированными отношениями между пропозициями. Во всяком случае, прирост в лексическом и синтаксическом богатстве у нее идет за счет обеднения пунктуации.

И у Ивана, и у Татьяны в поздних письмах из знаков препинания наиболее хорошо сохраняются запятые при однородных членах. Возможно, что этому способствует однозначная связь между пунктуацией и ярко выраженной интонацией перечисления. В отличие от синтаксически, а не интоационно обусловленных запятых перед такими союзными словами как *что*, *но*, *который*, запятые при перечислении подкрепляются повторным использованием одних и тех же контуров, реализуемых на однородных членах, а также, как правило, хорошо ощущимы разделительными паузами. Эти интоационные признаки не сопутствуют материалу, находящемуся перед союзными словами типа *что*, *но*, *который*, где в расставлении знаков препинания носителю остается ориентироваться на заученные школьные правила, без опоры на собственную интонацию<sup>23</sup>. Заметим, что пунктуация при перечислении достаточно часто встречается уже в новгородских берестяных грамотах<sup>24</sup>.

В пунктуации письма отца усматривается дальнейшая стадия потери правил. Хотя нам не известно точно, кем это письмо было написано, почерк письма говорит в пользу формального обучения чистописанию. Если это так, то к моменту написания этого письма писец потерял почти всю свою пунктуацию, сохранив лишь запятые при перечислении. Отсутствие знаков препинания здесь функционально равносильно использованию точек в словоделительной функции у матери, наименее грамотной из наших авторов. Мать почти не затронута письменной пунктуационной нормой, если не считать ее очевидного стремления отмечать слово-деление (что она тем не менее делает поразительно правильно). Главная функция письменного кода у матери состоит в передаче слова, в том, чтобы сделать слово узнаваемым для читающего. Сочетать слова в предложении, эксплицировать связь между мыслями и воссоздавать интонацию завершенности фразы она предоставляет адресату. Задача соответствия между интонацией пишущего и прочтением ее читающим не ставится, и сама возможность хотя бы приближенного графического соответствия автору, скорее всего, вовсе не представлялась. Интересно то, что в письмах отца и матери соответствующая порядку слов интонация вычитывается вполне однозначно как повествовательная, что в свою очередь определяет место интоационного спада, обычно обозначаемого точкой, делая тем внешние знаки препинания факультативными.

У младшего поколения повествовательный порядок слов нередко уступает спонтанному. У Ивана он местами требует сентенциального ударения, и этим — там, где Иван опускает внешние знаки препинания, — расшифровка потенциально осложняется; там же, где он, не опуская их, использует их по-своему (например, ставит на месте запятой точку), индивидуальность его интонации выявляется эксплицитно и его пунктуация оказывается наиболее эффективной. Сравнение порядка слов в нашем материале приводит к предварительному заключению, что отсутствие внешней пунктуации как у матери, так и у отца не представляет особых препятствий для коммуникации именно вследствие повествовательного порядка слов, предполагающего некоторую формальность отношений и однозначно определяющего повествовательную интонацию, а вместе с нею и место заключительного исходящего тона в конце высказывания. У молодежи же, с ее разговор-

ным стилем, предполагающим близость между коммуникантами, использование спонтанного порядка слов приводит как к повышенной зависимости от знаков препинания, так и к большей «коммуникативной утечке» из-за их некодифицированного употребления. Возможно, что именно это является одним из факторов графического экспериментирования у выросшего Ивана и даже у гимназистки Тани. Эту связь, впрочем, надлежит проверить на более обширном материале.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См., например, [Николаева 1969].

<sup>2</sup> Письма находятся в Государственном архиве Тюменской области, Фонд И-134, Опись 1, Дело 1. Данная статья, в которой используются любезно предоставленные нам в 2001 г. их ксерокопии, является первой из серии предпринятых нами работ, посвященных различным аспектам этого материала. Мы не сомневаемся, что по мере нашего ознакомления с материалом некоторые из наших заключений будут пересмотрены.

<sup>3</sup> Терминология Т. М. Николаевой [2000, 292].

<sup>4</sup> См., например, [Грот 1906, 101—120].

<sup>5</sup> Об отражении тонких семантических и прагматических категорий в русской пунктуации см. [Николаева 2000].

<sup>6</sup> Нумерация писем соответствует нумерации листов архива.

<sup>7</sup> По данным Ревизской сказки 1850 г. с. Шаркан Сарапульского у. (ГАКО, ф. 176, оп. 2, д. 1335, лист 1844), автору в 1895 г. было около 55 лет. Адресаты этого письма — сын Василий и его жена Евдокия.

<sup>8</sup> Мы не считаем отсутствия точки после цифр 1893. Здесь «го» является частью слова «пятого», и словodelения мы здесь не усматриваем, несмотря на немного длинный пробел перед «го».

<sup>9</sup> Ср.: исписьма (л. 5), отъродителей (л. 43) и въ месть, не премено (л. 27).

<sup>10</sup> Пресловutoе трудное определение «слова» с лингвистической точки зрения находит отражение в истории графики. Стремление к сегментации речевого потока наблюдается в новгородских берестяных грамотах [Янин, Зализняк 1986], в которых границы фонетического слова, правда непоследовательно, отмечаются точкой без пробела. Они, хотя тоже непоследовательно, отмечаются и в древнесербских и древнеславянских текстах [MacRobert 2002]. Особенно частотное отсутствие словodelения в предложных словосочетаниях древнегреческих и латинских текстов отмечают [Федорова 1969; Wingol 1972; Gordon 1983; Davis 1987; Vine 1993 и Devine, Stephens 1994]. Там же см. об использовании точек и других знаков в функции словodelения, в которой они стали употребляться раньше, чем пробел, появившийся лишь в Средние века [Parkes 1992].

<sup>11</sup> Ср. употребление пунктуации в этой функции в новгородских берестяных грамотах, например, 109, 335, 578 и 43 [Зализняк 1995, 235, 306, 476 и 542].

<sup>12</sup> В цитированных примерах мы используем ⟨ ⟩ для нормализованных прочтений, а [ ] в неоднозначных случаях.

<sup>13</sup> По данным актовых записей Крестовоздвиженской церкви села Гольянского (ГАКО, ф. 237, оп. 79, д. 61, л. 662 об.), автор родился в августе 1836 г. В марте 1883 г. ему было 47 лет. Адресат — сын Василий, именем которого, по-видимому, был заменен первоначальный адресат сын Алексей. Письмо подписано отцом, но писцом, скорее всего, был кто-то другой, так как почерк письма достаточно отличается от подписи.

<sup>14</sup> Ваня, Ганя и Таня — дети пишущего.

<sup>15</sup> В этих двух примерах сохраняется строка оригинала.

<sup>16</sup> Знаком «⟨⟩» в нашем тексте мы обозначаем переход с конца одной строки на другую.

<sup>17</sup> По Гроту, например, предложения типа (8) и (9) считались «слитными», и части (а) и (б) в них следовало отделять точкой с запятой [Грот 1906, 102—103].

<sup>18</sup> В цитированных примерах курсивом обозначаем куски, написанные другой рукой; здесь — рука брата Михаила (12 лет).

<sup>19</sup> Чертой после слова *делб* в иллюстрации (5), как показывают еще более ясные случаи, заполняется лишний пробел в конце строки, по-видимому, во избежание переноса; см. такую же черту послу слова *31го* в иллюстрации (14).

<sup>20</sup> Об обилии маркеров эмфатической интонации как об отличительном признаке женского письма в английском языке Lakoff [1976, 56—57] писала, что женщины говорят как бы курсивом, и чем женственнее, тем больше таких интонационных выделений.

<sup>21</sup> Ср. [Грот 1906, 104—105, 110—115].

<sup>22</sup> Из других писем известно, что девочку взяли из гимназии по окончании 4-го класса.

<sup>23</sup> Если правильно наше предположение о том, что невозможность опереться на свою интонацию служит помехой для усвоения пунктуационных правил носителями языка, то ориентирующиеся на интонацию принципы пунктуации, предложенные Пешковским [1918], вновь обретают актуальное значение в наше время, когда вновь пересматриваются нормы русской орфографии.

<sup>24</sup> См., например, грамоты 609, 438, 390, 138 [Зализняк 1995, 352, 356, 410, 436].

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Грот 1906 — Я. К. Грот. Русское правописание. СПб.: Типография императорской Академии наук. 1906.
- Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древнерусский диалект. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.
- Николаева 1969 — Т. М. Николаева. Интонация сложного предложения в славянских языках. М.: Наука, 1969.
- Николаева 2000 — Т. М. Николаева. Что стоит за сложными правилами русской пунктуации? // От звука к тексту. М.: Языки славянской культуры, 2000. С. 291—298.
- Пешковский 1918 — А. М. Пешковский. Школьная и научная грамматика. М., 1918.
- Федорова 1969 — Е. В. Федорова. Латинская эпиграфика. М., 1969.
- Янин, Зализняк 1986 — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте, из раскопок 1977—1983 гг. М.: Наука, 1986.
- Davis 1987 — Anna M. Davis. Folk-linguistics and the Greek Word // G. Cordona, N. H. Zide (eds.). Festschrift for Henry Hoenigswald. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1987. S. 263—280.
- Devine, Stephens 1994 — A. M. Devine, Lawrence D. Stephens. The Prosody of Greek Speech. New York; Oxford: Oxford UP, 1994.
- Gordon 1983 — A. E. Gordon. Illustrated Introduction to Latin Epigraphy. Berkeley, LA, 1983.
- Lakoff 1976 — R. Lakoff. Language and Woman's Place. New York: Octagon Books, 1976.
- MacRobert 2002 — C. M. MacRobert. The linguistic basis of textual segmentation in Serbian Church Slavonic sources of the 14<sup>th</sup>—15<sup>th</sup> centuries. Oxford Working Papers in Linguistics, Philology, and Phonetics, Vol. 7. 2002. P. 207—224.
- Parkes 1992 — M. B. Parkes. Pause and Effect: An Introduction to the History of Punctuation in the West. Aldershot, 1992.
- Vine 1993 — Brent Vine. Studies in Archaic Latin Inscriptions. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft: Innsbrück, 1993.
- Wingo 1972 — E. O. Wingo. Latin Punctuation in the Classical Age. The Hague; Paris, 1972.

**С. Ю. Неклюдов**

## «ЦЫПЛЁНОК ЖАРЕНЫЙ, ЦЫПЛЁНОК ПАРЕНЫЙ...»\*

### 1.

**П**есенка о приключениях злополучного цыпленка знакома у нас почти каждому — большей частью с детства, причем вспоминаются, как правило, только первые полтора-два куплета (например, в такой «краткой» редакции поет эту песенку Борис Рубашкин [1995, № 17]). Однако существует и несколько «полных» версий, довольно сильно отличающихся — именно в своих менее известных концовках и «продолжениях».

А. Козлов [1998, № 7], основатель группы «Арсенал», вспоминает цикл из шести куплетов (версия I), восходящий, как можно понять, к послевоенным временам. Практически тот же вариант (лишь с незначительной перестановкой строф) опубликован в сборнике И. В. Луговой [2001: 141—142], а также на сайте «Песенник анархиста-подпольщика». Иная сюжетная линия (версия II) представлена в песне из репертуара группы «Эшелон» [Таганка 2002, № 6/A], близкий к ней (но «детский») вариант, относящийся к концу 1930-х гг., вспоминает А. Сергеев [1997, 26]; о других «детских» редакциях речь пойдет дальше. Следующая версия (III), датированная 1963 г., также атрибутируется как детская и московская [Бройдо А., Кутына Я., Бройдо Я., ДeM 1963 I22I4 дет]. Этот текст не полон (нет завершения второго куплета и начала последнего), к тому же он контаминирован со строфой из другой песни («Мы анархисты, народ веселый...», см.: [Мурка 2002, № 12]), источником которой является кинофильм; к логике этой контаминации мы еще вернемся. Однако конец своеобразен.

Версия I	Версия II	Версия III
Козлов 1998	Таганка 2002	Сергеев 1997
1. Цыпленок жареный Цыпленок пареный, Пошел по улице гулять. Его поймали, Арестовали, Велели паспорт показать.	1. Цыпленок жареный, Цыпленок пареный — Цыпленок тоже хочет жить! Его поймали, Арестовали, Велели паспорт показать.	1. Цыпленок жареный, Цыпленок пареный Пошел по улице гулять. Его поймали, Арестовали, Велели паспорт показать.

\* Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Форда (проект № 1015-1063).

<p>2. Паспорта нету — Гони монету. Монеты нет — снимай пиджак. Цыпленок жареный, Цыпленок пареный, Цыпленка можно обижать.</p> <p>3. Паспорта нету — Гони монету. Монеты нет — снимай штаны. Цыпленок жареный, Цыпленок пареный, Штаны цыпленку не нужны.</p> <p>6. — Я не советский, Я не кадетский, Я не партийный большевик! Цыпленок жареный, Цыпленок пареный, Цыпленок тоже хочет жить.</p> <p>7. Он паспорт вынул, По морде двинул, Ну а потом пошел в тюрьму. Цыпленок жареный, Цыпленок пареный, За что в тюрьму и почему?</p> <p>la. Цыпленок жареный. Цыпленок пареный — Цыпленки тоже хотят живот! Его схватили, Остановили, Велели паспорт предъявить.</p>	<p>2. Паспорта нету — Гони монету! Монеты нету — снимай пиджак! Пиджак не снимешь, Не дашь монету, То ты не будешь здесь гулять!</p> <p>4. Цыпленок плакал, В штаны налякал, Пошел на речку Штаны уплыли, А он за ними, Стал он тонуть, на помощь звать.</p> <p>4a. Его достали, Арестовали, Велели паспорт показать. Его скрутили И долго били И отпустили погулять.</p> <p>4b. Цыпленок вышел, Водички выпил, Взглянул на небо и вздохнул, Увидел маму, Увидел папу, Устал цыпленок и заснул.</p>		<p>2. Паспорта нету, Давай монету, Монеты нет — ступай в тюрьму...</p> <p>4. А он заплакал, В штаны накакал, И стал бумажечку искать, Бумаги нету — Давай газету, И стал он жопу вытираять.</p> <p>5. Была бы шляпа, Пальто из драпа, А к ним живот и голова, Была бы водка, А к водке глотка, Все остальное тычин-трава.</p> <p>5a. (Цыпленок жареный) ... Он уцепился за трамвай, Трамвай поддернул, Кондуктор пернул И улетел цыпленок в Божий рай!</p>
---	---	--	--

Я помню эту песенку с детства (вторая половина 40-х гг., Москва, коммунальная квартира в Кривоарбатском переулке). «Цыпленок», а также «Крокодила» и «Яблочко» воспринимались именно как «детские песенки», хотя их иронические интонации ощущались в полной мере. Этому в немалой степени способствовало характерное для детского фольклора наличие персонажей-животных (и персонажей-предметов), которые ходили по улицам. «Крокодила», возможно, как-то увязывалась с «Крокодилом» Чуковского, а Яблочко было персонажем, похожим на сказочный Колобок: катилось «само собой» по каким-то своим делам; вероятно, одушевленное — раз с ним можно разговаривать; находилось под угрозой съедения, причем именно эта угроза и являлась предметом разговора. Вообще, в центре — «гастрономическая» тема: Цыпленок и Яблочко прямо представляли собой еду (Цыпленок даже фигурировал в уже приготовленном виде); Крокодила, напротив, «голодная была» и пыталась съесть что-то несъедобное («Во рту она держала / Кусочек одеяла, / И думала она, / Что это ветчина»). Впрочем, все же присутствовало знание (от старших?), что тексты эти — старые, времен революции и гражданской войны. «Цыпленок» и «Яблочко» (первый — вопреки логике содержания) приписывались разгульной и беззаконной вольнице («анархистам»); что, вероятно, также связано с каким-то советским кинофильмом, в который эти песни были включены.

Следующие куплеты я услышал в августе 1966 г. на второй Летней школе по вторичным моделирующим системам (Эстония, Кяэрику), где они — по крайней мере, на этой сессии — сразу вошли в наш хоровой репертуар (сейчас уже не могу вспомнить, кто именно принес их туда). Начиналась песенка с общезвестных строф 1 и 2, а далее следовали строфы 6—9—9а—9б. Добавлю, что буквально у меня на глазах в результате переосмыслиния плохо рассыпанной строчки «Когда верблюд и рак / Станцуют краковяк...» возник вариант «Когда ваш лютый враг / Станцует краковяк...» (верблюд и рак → ваш лютый враг). Никогда более это продолжение «Цыпленка» (версия IV) я вживе не слышал. Существует, кажется, ее единственная публикация [Бахтин 1997, 784], имеющая своим источником тетрадь известного фольклориста Е. А. Костюхина, которая датируется 1955—1957 гг. (МГУ) и, вероятно, представляет собой фиксацию той же самой традиции, но без последней строфы. Наконец, Аркадий Северный [1997, 293; ср. сайт «Песенник анархиста-подпольщика»] предлагает несколько иной финал, который помимо всего прочего отличается точной «питерской» локализацией событий (версия V).

Версия IV		Версия V
Самозапись	Бахтин 1997	Северный 1997
1. Цыпленок жареный, Цыпленок пареный Пошел по улицам гулять. Его поймали, Арестовали, Велели паспорт показать.	1. Цыпленок жареный, Цыпленок пареный, Цыпленок тоже хочет жить. Его поймали, Арестовали, Велели: — Паспорт покажи!	1. Цыпленок жареный, Цыпленок пареный. Пошел по Невскому гулять. Его поймали. Арестовали; Велели паспорт показать.
6. — Я не кадетский, Я не советский, Я не народный комиссар. Не агитировал. Не саботировал,— Я только зернышки клевал!	6. — Я не кадетский, Я не советский, Я не народный комиссар. Не агитировал, Не амнистировал, А только зернышки клевал.	6. — Я не советский, Я не кадетский. А я куриный комиссар — Я не расстреливал, Я не допрашивал, Я только зернышки клевал!
9. А на бульваре Гуляют баре, Глядят на Пушкина в очки: — Скажи нам, Саша, Ты — гордость наша. Когда ж уйдут большевики?	9. А на бульваре Сидят бояре, Глядят на Пушкина в очки: — Скажи нам, Саша, Ты гордость наша, Когда уйдут большевики?	9. Но власти строгие, Козлы беззрогие, Его поймали, как в силки. Его поймали, Арестовали И разорвали на куски.
9a. — А вы не мекайте, Не кукарекайте,— Пропел им Пушкин тут стишки,— Когда верблюд и рак Станцуют краковяк, Тогда уйдут большевики!	9a. — А вы не мекайте, Не кукарекайте! — Сказал им Пушкин тут стишки, Когда верблюд и рак Станцуют краковяк — Тогда уйдут большевики!	8a. Цыпленок жареный, Цыпленок пареный Не мог им слова возразить. Судьей задавленный, Он был зажаренный... Цыпленки тоже хотят живь!
9b. Тверская улица, Кудахчет курица: — Когда ж уйдут большевики? Полночи нету, А по декрету Уже пропели петухи.		

Но вернемся к «детским» редакциям.

При разборе данного материала на занятиях третьей Международной школы по фольклористике (май 2004, Псков) ее участниками (И. Иткиным, А. Петровой, А. Юдиным, С. Бурлак, Е. Жигариной) было предложено еще пять вариантов песенки о цыпленке, бытование которых (среди детей 6—14 лет) в трех случаях локализуется и датируется довольно точно: Москва, середина 1980-х гг. (И. Иткин), Ульяновск, 1984—1985 гг. (Е. Жигарина), Ашхабад, конец 1980-х — начало 1990-х гг.

(А. Петрова). Как можно убедиться, все пять текстов должны быть отнесены к одной версии (VI), однако вариант Е. Жигариной (не включающий общеизвестного первого куплета) и вариант И. Иткина содержат оригинальные завершения сюжета, отсутствующие в других текстах.

Версия VI				
И. Иткин (Москва)	А. Петрова (Ашхабад)	А. Юдин (Одесса)	С. Бурлак (Москва)	Е. Жигарина (Ульяновск)
1. Цыпленок жаре- ный, Цыпленок паре- ный Пошел по улице гулять. Его поймали. Арестовали, Велели паспорт показать. 2a. — Паспорта нету — Гони монету! — Монеты нету — Иди в тюрьму! <sup>1</sup>	1. Цыпленок жареный Цыпленок пареный, Пошел по улице гулять. Его поймали. Арестовали, Велели паспорт предъявить. 2a. Паспорта нету — Гони монету! Монеты <sup>2</sup> нет — садись в тюрьму. Тюрьма закрыта — Горшком забита <sup>3</sup> , В корыте плавает говно.	1. Цыпленок жареный, Цыпленок вареный — Цыпленки тоже хотят жить! Его поймали, Арестовали, Велели паспорт показать. 2a. Паспорта нету — Гони монету. Монеты нету — садись в тюрьму. Тюрьма закрыта — Садись в корыто, В корыте грязная вода.	1a. Цыпленок дутый, В лаптях обутый — Цыпленок тоже хотеть жить! ...	
2b. — Не убивайте, Мне жизнь оставьте — Я буду верно вам служить! Не убивайте, Мне жизнь оставьте — Цыпленки тоже хотят жить!			2a. Паспорта нету — Гони монету. Монеты нету — садись в тюрьму! Тюрьма закрыта — Садись в корыто, Корыта тоже нет нигде.	2a. Монеты нету — Садись в карету. Кареты нет — садись в тюрьму. Тюрьма закрыта — Садись в корыто, В корыте нет ни стен, ни дна.
<sup>1</sup> Очевидно, стро- фа не допева- лась.	<sup>1</sup> Вар.: конфету. <sup>2</sup> Вар.: конфеты. <sup>3</sup> Вар.: Садись в корыто.			2c. Цыпленок помер И ножки поднял. Майор завидел тут его. Майор завидел И не обидел — Он взял свисток и засвистел. Цыпленка взял он, Арестовал он, И тут же ужин свой он съел.
				Начало песни отсутствует.

На том же псковском семинаре д-р К. Рангочев вспомнил о варианте, бытовавшем в первой половине восьмидесятых годов среди студентов факультета славянской филологии Софийского университета им. Св. Климента Охридского и обычно исполнявшемся под гитару. Одна из представленных ниже записей сделана им по памяти, второй текст записан им от д-ра Р. Малчева (орфография сохранена). Тексты не представляют какой-либо особой версии, но включают одну характерную деталь, не встретившуюся нам в других случаях.

Рангочев 2004	Малчев 2004
<p>Цыпленок жареный, цыпленок вареный, цыпленок тоже хочет жить. Его поймали, арестовали, хотели паспорт показать. Паспорта нету, Отдай монету. Монету нет — снимай пиджак. Я не советский, я не кадетский, а я же просто анархист.</p>	<p>Цепленок жареный, цепленок вареный, цепленок тоже хочет жить! Его поймали, арестовали, хотели паспорт показать. «Паспорту нету!» «Давай монету!» «Монеты нет!» «Снимай пиджак!» «Я не советский, я не кадетский, я просто вольный анархист!»</p>

## 2.

Итак, у нас есть шесть версий (более полутора десятка текстов). Как можно было убедиться, повсюду практически дословно совпадают первые куплеты (*зачин / арест*), а затем начинаются расхождения, и чем дальше от начала песенки, тем они значительнее. Среди других куплетов — наиболее частый № 6 (заявление *цыпленка о его непричастности к политической деятельности*). Он встречается везде, кроме версий II, III и VI, причем в версии I в качестве завершения используется не логическое продолжение слов персонажа (как в версиях IV и V: «Не агитировал, не саботировал...»), а слова рефrena («Цыпленок жареный, цыпленок пареный — / Цыпленок тоже хочет жить!»), полностью или частично встречающиеся в большинстве куплетов и в этом смысле контекстно не специфичные. Комбинацией таких же «не специфичных» строк является завершающий куплет 5 в версиях I и II. В тех же версиях повторяется куплет 2 (вымогательство: *монета, пиджак*), однако непосредственное развитие темы (куплет 3), построенное на ее редупликации (вымогательство: *монета, штаны*), присутствует только в версии I.

За пределами перечисленного корпуса строф остается вторая половина песенки, как уже было сказано, гораздо менее известная и сильно различающаяся по разным версиям. Речь идет о куплетах 7 (версия I), 4—4а—4б (версия II), 5—5а (версия III), 9—9а—9б (версия IV), 8—8а (версия V), 2а—2б—2с (версия VI).

Самое краткое завершение приключений цыпленка (*сопротивление и тюрьма*) представлено в версии I («Он паспорт вынул, по морде двинул, / Ну а потом пошел в тюрьму...»). Это — единственный эпизод, в котором персонажу приписывается некий протестный жест, во всех прочих случаях он оказывается исключительно страдательной фигурой, не способной сопротивляться насилию, — его беспомощность, невинность и полная непричастность к чему-либо являются лейтмотивом песенки. Также лишь в одном случае он предлагает «верно служить» насильникам, пытаясь таким образом спасти себе жизнь (строфа 2б версии VI).

До предела тема произвола (*убийство и приготовление в качестве пищи*) доведена в версиях V («Но власти строгие, козлы безрогие, / Его поймали, как в силки... / И разорвали на куски... / Не мог им слова возразить...») и VI («Майор завидел тут его. / Майор завидел / И не обидел — / Он взял свисток и засвистел»). Заметим, что этот драматический финал переводит исходный образ (*цыпленок жареный*) из плана аллегорического в план буквальной реализации, в силу чего последние строчки («Судьей задавленный, он был зажаренный...»; «Цыпленка взял он, / Арестовал он, / И тут же ужин свой он съел») звучат вполне гастрономически. Тематически эти версии (V и VI), несомненно, являются родственными.

Версия II (*приключение со штанами*) представляет собой, по всей видимости, сюжетное развитие куплета 3 —ср. очевидный семантический параллелизм куплетов 3 и 4, имеющий в своей основе мотив *потери штанов*, который во втором случае получает новую фабульную интерпретацию (куплеты 4—4а).

Куплет 3 (версия I)	Куплет 4 (версия II)
Паспорта нету — гони монету. Монеты нет — снимай штаны. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, Штаны цыпленку не нужны.	Цыпленок плакал, в штаны налякал, Пошел на речку полоскать; Штаны уплыли, а он за ними, Стал он тонуть, на помощь звать.

Включение в версию III строфы из другой песни («Была бы шляпа, пальто из драпа...») происходит на основе ритмических совпадений с основным корпусом «Цыпленка» (ямы: 5 + 5 + 8 слогов; куплеты 1 и 8 несколько отличаются: 6 + 6 + 8), а также, по всей видимости, в силу упоминавшейся «анархистской» атрибуции, приписываемой этой песенке; вспомним также, что в варианте из Болгарии цыпленок сам рекомендует себя как «анархиста». Кроме того, контаминированный куплет мог продолжить ассоциативный ряд *тиджак — штаны — ...шляпа — пальто*. Что же касается завершающей строфы (5а), то она, с одной стороны, продолжает разработку «анально-фекальной» тематики, характерной именно для «детских» традиций и заявленной в версии II (строфа 4; ср. строфу 2а версии VI [А. Петровой]), а с другой, предлагает свой вариант гибели цыпленка (под трамваем?) и его попадание в рай. Этот финал дает основания и для более отчетливого понимания строфы 4б (версия II): «...Взглянул на небо и вздохнул, / Увидел маму,

увидел папу, / Устал цыпленок и заснул», где также имплицитно присутствует «райская» тема (своих родителей персонаж видит на небе).

На финальной гибели цыпленка особенно настаивают «детские» версии (III и VI). Неординарное начало одного из этих текстов «Цыпленок дутый, / В лаптях обутый...» (С. Бурлак), скорее всего, связано с интерпретацией нашего героя как попавшего в город крестьянина («дутого» / «надутого», т. е. напыжившегося от растерянности?). Разумеется, типично «детской» является замена «монеты» на «конфету», а строка «Садись в карету» наверняка возникает из строки «Садись в корыто» (кстати, *карета* в детском фольклоре сохранилась до наших дней, например, «Ехала карета, сломалось колесо...» [Лойтер 1991, № 758] и т. п.). Что же касается *корыта*, характеризуемого как место скверное и грязное («В корыте плавает говно» / «В корыте грязная вода»), то за ним вероятно стоит образ *гроба*. Это объясняет смысл строки «В корыте нет ни стен, ни dna» —ср. проклятие «Ни dna [тебе], ни покрышки», представляющее собой пожелание кому-либо быть похороненным без гроба [Максимов 1955, 334]; вспомним также загадку «Одно корыто другим накрыто» (*Гроб*).

Наиболее оригинальна версия IV. Ее куплеты 9—9а—9в являются в полном смысле слова сюжетным продолжением песенки, поскольку действие в них (*разговор с Пушкиным*) явно происходит уже без участия цыпленка и после его приключений (чем бы они ни завершились). Заметим, что «баре» («бояре») почти наверняка разговаривают с опекунским памятником Пушкина на Тверской, точнее — на Тверском бульваре. Естественно, вспоминается «Юбилейное» Маяковского (1924), которое, начавшись беседой с книгой («Я ташу вас. Удивляешься, конечно? / Стисну? Больно? Извините, дорогой»), заканчивается разговором с памятником («На Тверском бульваре очень к вам привыкли. / Ну, давайте, подсажу на пьедестал»); не сыграли ли тут свою роль эти завершающие куплеты «Цыпленка»? Впрочем, как пишет С. Б. Адоньева [2001, 66—69], Пушкин в русской культуре вообще воспринимается как возможный собеседник и адресат различных вопросов о будущем; в частности, особое значение он имеет в современных гаданиях (где том его сочинений фигурирует рядом с Библией), включая спиритические сеансы (его дух является наиболее часто вызываемым). Кстати, тема спиритизма, хотя несколько по другому поводу, всплывает и у Маяковского в «Юбилейном».

### 3.

В основе зачина песенки лежит бином *жареный-пареный* (или реже *вареный-жареный*: «Цыпленок вареный, / Цыпленок жареный...» [Луговая 2001, 141]). В русском языке он встречается в составе словосочетаний, связанных с обозначением домашнего приготовления пищи. Таково, например, употребляемое в этом смысле устойчивое выражение *жарить-варить-парить* [Жигарина 2004] (ср. формулу *чистота-теплота в доме* для обозначения деятельности по установлению порядка в хозяйстве — тот же источник). Компоненты данного выражения входят в паремии «Ни тепло, ни холодно, ни жареное, ни печеное», «И то говорит-

ся, ни жарится, ни варится». [Даль, I, 526—527]. При этом слово *парить* в подобных контекстах значит либо ‘готовить овощи в собственном соку, в печи, в закрытой посуде’ (например, *пареная репа*), либо ‘шпарить, обваривать, обдавать паром или кипятком’. Кстати, *шпарить* (вероятно, из польского) является производным от *пар* и в этом смысле родственно *парить*, причем подобное родство, скорее всего, ощущается языком как актуальное —ср. в «Коньке-горбунке» П. П. Ершова: «Шпарят только поросят, да индюшek, да цыплят». Естественно, в нашей песенке слово *пареный* имеет именно последнее значение и должно бы стоять перед словом *жареный* (цыплят *шпарят / парят*, чтобы затем оципать и *зажарить*). Инверсия, очевидно, обусловлена паремиологической инерцией — в клишированных оборотах слово *жареный* прочно занимает первое место. Еще одна постоянная формула в «Цыпленке» — «Я только зернышки клевал!» — также связана с пословицей: «Курочка по зернышку клюет, да сыта живет» [Даль 1984, 2, 45]. Наконец, реплика Пушкина «А вы не мекайте, / Не кукарекайте», очевидно, появляется из выражения «Ни бэ, ни мэ, ни кукареку» (*Ни бэ, ни мэ* — о полном незнании [Ушаков 1935, 214]), в свою очередь, происходящего из более старого выражения «Не смыслить *ни а, ни б, ни аза, ни буки*» [Даль, 1; 32]. Пользуюсь случаем поблагодарить М. Л. Гаспарова и И. Б. Иткина, указавших мне на эти две параллели.

Вероятно, генезис данного текста вообще имеет «ровербиальный характер». Песенка могла вырасти из некоторых пословиц или пословичных речений, их образов и условных конструкций, связанных с «ситуациями потенциальными» (при широко понимаемой условности) [Николаева 2000, 402—403]. Вспомним о верблюде и раке из версии IV. Это — отсылка к «формуле невозможного» (П. Г. Богатырев), которая строится здесь на готовых мотивах: евангельском (о верблюде и игольном ушке) и фольклорно-ровербиальном («Когда рак на горе свистнет»). Кстати, *петух* и *курица* довольно устойчиво входят в подобные формулы, например: «Кому поживется (поведется), у того и петух несется», «Не петь курице петухом, не владеть бабе мужиком» [Михельсон 1896, 165, 269]. Сам «цыпленок жареный» — тоже, возможно, из построенной на «формуле невозможного» легенде о вареном / жареном петухе и жареной рыбе, оживших при воскресении Христа; эта легенда апокрифического происхождения является довольно распространенной («Народная Библия»: Восточнослав. этиологические легенды / Сост. и comment. О. В. Беловой. М.: Индрик, 2004. № 758—768). Таким образом, связь между двумя внешне автономными частями песенки в версии IV — не сюжетная, а ассоциативная, через упомянутую «формулу невозможного» и ее персонажей (жареного цыпленка и курицу; ср. также слова *не кукарекайте* в реплике Пушкина).

## 4.

За исключением версий IV и V, события песенки не имеют конкретной локализации, однако «московская тема» (версия IV) разработана гораздо обстоятельнее, чем питерская у Аркадия Северного (версия V), у которого она выглядит скорее вторичным приурочиванием («по Невскому» вместо «по улицам»); подобное явле-

ние вообще характерно для городского песенного фольклора (ср. Дерибасовская — Багартьяновская / Богатыновская улица в известной песне о Ростовской / Одесской пивной [Джекобсон М. и Л. 1998, 194—198]). Данный прием не раз использовался Аркадием Северным, у него даже Гоп-со-смыком «Родился на Форштадте / на Фурштадской» [Северный 1997, 56—57; ср. Никоненко 2000, 106—107] — вместо обычного «Родился (или: Жил-был) на Подоле...».

У меня нет сомнений в том, что версия IV относится к самым старым редакциям этой песни. Здесь и употребление слова «бар», позднее ушедшее из активного обихода; и сама постановка вопроса «Когда уйдут большевики?», несомненно, относящаяся к тому же времени, ср.: «В октябре 17-го года дал обет не бриться и не стричься до тех пор, пока не падут большевики» [Анненков 2001, 238]. Правда, моя бабушка еще на моей памяти (т. е. во второй половине 40-х — начале 50-х) раскладывала пасьянсы: «Когда кончатся большевики?» (если пасьянс сойдется, то скоро); впрочем, это уже была дань привычке. Традиция раскладывать упомянутый пасьянс восходила к послереволюционным годам и к ее жизни в родном Саратове. Эта традиция была семейной (по словам матери, — насколько я их помню, — такой же пасьянс раскладывали ее тетя и бабушка), но, конечно, принадлежала она более широкому кругу дворянства; т. е. тех самых «бар», которые упоминаются в песенке.

Однако наиболее точным пространственно-временным указанием является последний куплет. Тут и Тверская улица, и бульвар у Тверских ворот с памятником Пушкину (естественно, до передвижения монумента в 1950 г. на противоположную сторону улицы), и «декретное время», введение которого еще воспринимается как новшество. Первое постановление о нем (т. е. о переводе стрелок на час вперед с 30 июня 1917 г.) было принято Временным правительством 27 июня, но в декабре того же года отменено большевистским Совнаркомом, вновь восстановившим «астрономическое» время. В дальнейшем, однако, советское правительство неоднократно переводит стрелки часов (на 1, на 2, даже на 3 часа), а окончательно «декретное время» устанавливается в конце 1922 г. По разным свидетельствам, многими эти временные смещения воспринимаются весьма болезненно (так, Хармс [1991, 96] еще в 30-е гг. продолжает в дневнике отмечать астрономическое время).

Скорее всего, песенка отражает ситуацию 1918—1921 гг. (К. В. Душенко [1997, 429] прямо датирует ее 1918 г.). Еще в обиходе старые паспорта — единая советская паспортная система будет введена только 27 декабря 1932 г. (постановлением ЦИК и СНК). Сохраняет свою актуальность прилагательное «kadetский», в активное употребление входят слова «агитация» («контрреволюционная») и «саботаж» («Не агитировал, не саботировал...»); кстати, слово «амнистировал» в варианте Е. А. Костюхина, скорее всего, является актуальной заменой более раннего «саботировал» (напомню, что датируется этот вариант 1955—1957 гг., т. е. периодом, очень близким по времени к имевшей огромный общественный резонанс «воронцовской» амнистии 1953 г. Наконец, происходят внезапные переводы часовых

стрелок, причем довольно значительные (часа на 2—3 вперед — чтобы первые петухи сумели пропеть до «декретной» полуночи):

Но главное — разгул террора, допросы и расстрелы («Я не расстреливал, я не допрашивал...»), уличные облавы с проверками документов, вымогательством и грабежами («Паспорта нету — гони монету! Монеты нету — снимай пиджак!» / «Садись в тюрьму!»). В повести А. Н. Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924—1925) подобный арест описывается следующим образом:

Из темноты выросли трое рослых в солдатских шинелях. Крикнули грубо:

— Что за люди?

— Покажь документы [Толстой 1987, 133].

После этого герой действительно оказывается в тюрьме, где происходит весьма любопытный разговор с соседями по камере:

Он подполз к ним, всмотрелся, сказал шепотом:

— Меня допрашивали насчет сапожного крема...

— Анархист? — спросил левый из сидевших у стены.

— Боже сохрани. Никакой я не анархист. Я просто — мелкий спекулянт.

— Цыпленок пареный, — сказал правый у стены, с ввалившимися щеками.

— Растолкуйте мне, хоть намек дайте, — что это за крем такой, за что они меня мучат?.. [Толстой 1987, 138].

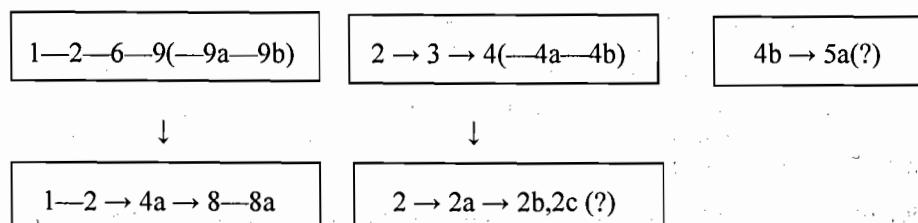
Нет никакого сомнения в том, что собеседник Невзорова имеет в виду нашу песенку (это едва ли не первое ее упоминание в литературе), а слова «Я просто — мелкий спекулянт. — Цыпленок пареный...» звучат почти как прямая цитата из нее. Толстой же покинул Москву в 1918 г., в 1919-м через Украину и Одессу уехал за границу, вернулся в Советскую Россию только в 1923 г. Не исключено, что куплеты о цыпленке он знал еще до эмиграции (действие повести происходит как раз в 1919 г.). Интересно и другое: схваченного на улице и посаженного в тюрьму спекулянта («цыпленка пареного») спрашивают, не анархист ли он, — вспомним приведенные выше «болгарские» варианты, которые в заключительных строках, вероятно, сохранили мотив из старейшей редакции данного сюжета:

\* \* \*

Подведем итоги. Как можно было убедиться, рассмотренные фабульные линии не совмещаются в пределах какого-либо одного текста (по крайней мере, судя по нашему материалу); с этой точки зрения, их следует считать альтернативными, дифференциирующими разные версии. Однако большей частью они не являются и логически взаимоисключающими, а при желании могут быть выстроены в единую цепь эпизодов — именно такую теоретически мыслимую сюжетную последовательность отражает нумерация куплетов в приведенных таблицах. Тем не менее, за этим, скорее всего, не стоит какая-либо более полная «протоворсия». Сюжетное «ветвление», очевидно, порождено автономными куплетными разработками отдельных тем, присутствовавших в «первотексте». К подобному «первотексту» можно предположительно отнести строфы 1—2—6—9—9a—9b.

Строфа 3 возникает при редупликации строфы 2 (с заменой слова *тиджак* на слово *штаны* и подбором рифмующейся строки: *штаны... не нужны*). Появившийся здесь мотив *потери штанов* далее разрабатывается в строфе 4 («Штаны упали, а он за ними»), а ее сюжетное продолжение (стrophe 4а) повторяет и отчасти продолжает тему первых двух строф (*поймали / схватили / достали — остановили / скрутили / долго били; кстати, это совпадает с описанием злоключений «классических» фольклорных неудачников — Фомы и Еремы устных и лубочных текстов: ухватили / сгребли / поймали / сыскали / нашли / не пустили — били / схоронили / погребли* [Неклюдов 2002, 252]). Подобным же образом возникают строфы 8—8а. Наконец, тема *небесного видения* (из строфы 4б), возможно, получает отдельную разработку в строфе 5а (*отправление в рай*). Надо полагать, автономной разработкой строфы 2 являются строфы 2а, 2б и 2с версии VI.

Сказанное можно представить в виде следующей схемы:



## ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

- Адоньева 2001 — С. Б. Адоньева. Категория ненастоящего времени (антропологические очерки). СПб.: Петербургское востоковедение, 2001.
- Анненков 2001 — Ю. П. Анненков (Б. Тимирязев). Повесть о пустяках // Коммент. А. Л. Данилевского. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001.
- Бахтин 1997 — В. С. Бахтин (сост.). Не сметь думать что попало! // Самиздат века/. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М.: Полифакт, 1997.
- Бройдо А., Кутыина Я., Бройдо Я. — Боян. Поэтическая речь русских: Народные песни и современный фольклор / Собр. Андрей Бройдо, Яна Кутыина, Яков Бройдо. (<http://www.caida.org/broido/lyr/TO/TO.142.koi.html>).
- Даль 1984 — Пословицы русского народа: Сборник В. Даля: В 2 т. М.: Худ. лит., 1984.
- Даль I—IV — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. М.: Русский язык, 1989—1991.
- Джекобсон М. и Л. 1998 — М. Джекобсон, Л. Джекобсон. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (1917—1939). М.: Совр. гуманит. ун-т, 1998.
- Дущенко 1997 — К. В. Дущенко. Словарь современных цитат. 4 300 ходячих цитат и выражений XX века, их источники, авторы, датировка. М.: Аграф, 1997.
- Жигарина 2004 — Е. Е. Жигарина. Устная информация о речевом обиходе Е. Н. Жигарина (1948 г.р., Ульяновск).
- Козлов 1998 — А. Козлов. Пионерские-блатные, 2. М.: Музык. изд-во М. О., 1998 (CD).
- Лойтер 1991 — Русский детский фольклор Карелии / Сост., вступит. ст. и коммент. С. М. Лойтер. Петрозаводск: Карелия, 1991.

- Луговая 2001 — Постой, паровоз! Блатные песни / Сост. И. В. Луговая. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001.
- Максимов 1955 — Крылатые слова по толкованию С. Максимова. М.: ГИХЛ, 1955.
- Михельсон 1896 — *M. I. Михельсон*. Ходячие и меткие слова: Сб. русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний). СПб., 1896.
- Мурка 2002 — Легенды блатной песни. Мурка. М.: Русский Компакт Диск, 2002 (аудиокассета).
- Неклюдов 2002 — *C. Ю. Неклюдов*. Вариант и импровизация в фольклоре // Петр Григорьевич Богатырев: Воспоминания. Документы. Статьи / Сост. и отв. ред. Л. П. Солнцева. СПб.: Алетейя, 2002.
- Николаева 2000 — *T. M. Николаева*. От звука к тексту. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Никоненко 2000 — Блатные и застольные песни / Сост. С. С. Никоненко. М.: Лабиринт-К, 2000.
- Песенник... — «Песенник анархиста-подпольщика» (<http://a-pesni.narod.ru>).
- Рубашкин 1995 — *Б. Рубашкин*. Любо, братцы, любо... Одесский фольклор. Русские народные песни. Песни на стихи русских поэтов. «RDM» Co. Ltd. 1995 (CD).
- Северный 1997 — Аркадий Северный: Две грани одной жизни / Авт.-сост. М. Шелег. М., 1997.
- Сергеев 1997 — *A. Сергеев*. Omnibus: Альбом для марок. Портреты: О Бродском. Рассказики. М.: НЛО, 1997.
- Таганка 2002 — Легенды блатной песни. Таганка. М.: Русский Компакт Диск, 2002 (аудиокассета).
- Толстой 1987 — *A. Толстой*. Похождения Невзорова, или Ибикус // Окрыленные временем. М.: Правда, 1987.
- Хармс 1991 — *Д. Хармс*. Горло бредит бритвою. Случаи, рассказы, дневниковые записи. [Б. м.]: Глагол, 1991.



VII.

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА





Е. В. Невзглядова (Санкт-Петербург)

## ВИРТУАЛЬНОЕ ИНОБЫТИЕ ПОЭЗИИ

— О, как Ты съешься на пороге!  
Как бы двойного бытия!..

1

## *Инфинитивное письмо*

**Л**юбое наблюдение, касающееся стихотворной речи, восходит к ее онтологическому признаку, к специфике стиха как формы речи. Эту связь можно проследить и на характерном для поэтических текстов употреблении инфинитивов, которому А. К. Жолковский обоснованно придал статус особыго *инфинитивного письма*<sup>1</sup>.

Под инфинитивным письмом (ИП) А. К. Жолковский понимает «тексты, содержащие достаточно автономные инфинитивы, т. е. либо

- (а) абсолютные инфинитивы, образующие самостоятельные предложения (*Грешить бесстыдно, непробудно*), не подчиненные управляемым словам (типа *чтобы; можно; хочу; желание*) или связкам (в отличие от *Печальная доля так сложно, Так трудно и празднично жить*) и не привязанные к конкретным лицам и модальностям (в отличие от *Быть в аду нам...; Эх, поговорить бы иначе...; Мне бы жить и жить...; Не поправить дня усилиями светилен...*); либо

(б) однородные инфинитивные серии, зависящие от одного слова и благодаря своей протяженности развивающие самостоятельную инерцию; ср. почти целые строфы в “Евгении Онегине”, начиная с первой, описывающей характер и времяпрепровождение героя (*Какое низкое коварство полуживого забавлять, Ему подушки поправлять...*); две из четырех строф державинского “Снигиря” (*Кто перед ратью будет, пылая, Ездить на кляче, есть сухари...*); и почти все “Я пришел к тебе с приветом...” Фета с его четырьмя анафорическими *Рассказать»* (Жолковский 2000, 187).

Приведу (вслед за Жолковским) один из примеров ИП — стихотворение Саши Чёрного:

Жить на вершине голой.  
Писать простые сонеты...  
И брать от людей из дома  
Хлеб, вино и котлеты.

Сжечь корабли и впереди и сзади,  
Лечь на кровать, не глядя ни на что,  
Уснуть без снов и, любопытства ради,  
Проснуться лет через сто.

Само по себе наличие инфинитивов, даже в заметно большом количестве, не привело бы к возникновению термина *инфinitивное письмо* (как наличие большого количества местоимений вряд ли может послужить основанием для выделения текстов в отдельную категорию *местоименного письма*), если бы в текстах, имеющих инфинитивные конструкции, не обнаружилось определенное содержание — примечательный (и не замеченный грамматистами) семантический ореол. Семантический ореол инфинитивного письма (ИП) А. К. Жолковский определяет как «медитацию о виртуальном и событии». Инфинитивное письмо, пишет Жолковский, «оказывается носителем особого размытого модально — “модифицированного” — наклонения... Это наклонение, продукт многообразной стихотворной разработки, для практической речи нехарактерной, можно считать вкладом поэзии в обогащение естественного языка»<sup>2</sup>.

В самом деле, в описанном значении инфинитивных конструкций присутствует момент трудно определимого, но от этого не менее ощутимого явления Поэзии<sup>3</sup>. Поэтичность — расплывчатое понятие. Вопросом *Что такое поэзия?* озаглавлена статья Анненского, начинаяющаяся со слов: «Этого я не знаю». Однако интуитивно поэт и его читатель противопоставляют поэзию прозе — не столько словесному творчеству, сколько прозе жизни. Фет говорил, что жизнь без поэзии — кормление гончих на зловонной псарне. Поэзия предполагает особое состояние души, не всецело поглощенной повседневными занятиями, дистанцированной от реальной действительности: «Вот я иду, а рядом ты летишь И крыльями взволнованными машешь», — говорит Бродский, обращаясь к своей душе. Поэтическое восприятие переносит обыденные обстоятельства в иную плоскость, находит в будничном и приземленном течении жизни нечто потустороннее по отношению к практической реальности. Можно сказать, что поэзия — это и есть виртуальное и событие субъекта.

У виртуальной реальности поэтического восприятия есть свои символы — звезды, облака например.

Морские волны вылепил создатель  
И смуглые над ними облака.

Обоим нам смотреть на них приятней,  
Чем на людей — весь день не надоест.  
А в жизни, как в конюшне, голубятне,  
Глаза все тот же спертый воздух ест —

сказано современным поэтом (вероятно, не без оглядки на фетовскую мысль, учтивая еще и морфологическое сходство слов *конюшня*, *голубятня* и *псарня*).

Душа поэта постоянно стремится к виртуальному и nobility, на свою историческую родину, свою Итаку. Перемещение происходит невольно и беспрепятственно: для въезда в эту область не требуется ни визы, ни прописки; поэт просто не замечает, что он находится и «тут» и «там» одновременно. Когда Пруст, описывая Сен-Лазар, «похожий на иные небосводы... под которым может произойти только что-нибудь страшное и торжественное; вроде отхода поезда или воздвижения креста»<sup>4</sup>, — через запятую как однородные перечисляет такие разные явления, то ясно, что реальный и виртуальный мир в его сознании неразделимы. Замечательно, что Пастернаку (еще не читавшему Пруста) приходит в голову такое же, сходное сближение: «И в мае, когда поездов расписанье Камышинской веткой читаешь в пути, Оно грандиозней Святого писанья, Хотя его сызнова всё перечти».

Разнородные явления и предметы, принадлежащие разным областям, в стихах с легкостью сочетаются, становясь в один ряд:

Друзья мои, держитесь за перила,  
За этот куст, за живопись, за строчку,  
За лучшее, что с нами в жизни было,  
За сбивчивость беды и проволочку...

Перила, куст, живопись, строчка и сбивчивость беды воспринимаются как единообразные объекты, они образуют смысловое единство. Между тем различие областей, из которых они приведены, существует не только оттого, что часть из них представляет собой конкретные предметы, а часть является абстрактными понятиями, хотя можно сказать и так: в этом их существенное отличие. Однако речь идет о непосредственном восприятии. Сошлюсь еще раз на Пруста, заметившего, что «...произведение искусства, на которое мы смотрим во время обеда, не вызывает у нас упоительного восторга, чего мы вправе требовать от него только в зале музея» — оттого, что в обстановке чьей-то гостиной среди безделушек и во время трапезы утрачиваются отличительные особенности, символизирующие «те духовные пространства, куда художник уединяется, чтобы творить»<sup>5</sup>. Эти «пространства» читающим должны быть подключены к тексту произведения, иначе он значит не то, что должен значить (разумеется, при том условии, что они как-то отражены в тексте). Зафиксированное инфинитивной конструкцией особое наклонение — мысленное помещение субъекта в иное пространство / время; — тесно связано с тем изъятием из повседневности, которое в своем сознании совершает поэт.

Отметим в этой связи два интересных факта: 1) не всегда инфинитивные конструкции, обладающие значением «виртуальное и nobility субъекта», обеспечивают наличие этого значения в контексте и 2) это же значение может быть выражено другими языковыми средствами.

1) Чрезвычайно любопытно, что в семантике стихотворения Гандлевского «Устроиться на автобазу...», которым А. К. Жолковский иллюстрирует инфинитивное письмо, — с нашей точки зрения, отсутствует тот содержательный момент,

который совпадает со значением инфинитивов в инфинитивном письме и часто ими привносится.

Устроиться на автобазу  
 И петь про черный пистолет.  
 К старухе матери ни разу  
 Не заглянуть за десять лет.  
 Проездом из Газлей на Юге  
 С канистры кислого вина  
 Одной подруге из Калуги  
 Заделать сдуру пацана.  
 В рыгаловке рагу по средам,  
 Горох с треской по четвергам.  
 Божиться другу за обедом  
 Впаять завгару по рогам...

Метафизика инфинитивов существует отдельно от контекста, семантика которого не достигает поэтического виртуального инобытия. Это особенно очевидно при сравнении с блоковским стихотворением «Грешить бесстыдно, непробудно...», интертекстуальная связь с которым подтверждена самим автором (как можно понять из слов Жолковского).

Все, что описано Гандлевским, принадлежит здешнему бытию и быту: *устроиться на автобазу, петь песню Высоцкого, заделать пацана, божиться за обедом, впаять завгару по рогам* и т. д. В стихотворении нет ничего соразмерного с блоковскими: *грешить бесстыдно, непробудно; пройти сторонкой в божий храм; преклониться долу* и т. д. Когда человек говорит: *грешить бесстыдно, непробудно*, он смотрит со стороны, даже если речь идет о самом себе. Присутствующая в этих словах оценка отражает дистанцированность автора от лирического героя и в случае их предполагаемого тождества. Сознание, таким образом, раздвоено, частично помещено в какую-то иную плоскость: «вот я иду, а рядом ты летишь». Поэт как бы незримо вводит свою снабженную крыльями душу, уносящую в виртуальное инобытие и оттуда взирающую на земную жизнь. У Блока, замечает Жолковский, «вслед за по-декадентски двусмысленным “своим” грешить появляются явно “чужие” предикаты вроде “обмерить” и *переслонить купоны... в тяжелом завалившемся сне*, идентифицирующие типового “русского обывателя”» [Жолковский 2002, 41]. Благодаря этому создается «сопряжение» двух далековых идей: «реального своего» и «мыслимого другого», создается свойственная поэзии тропичность, «мерцающее стирание граней между реальным и виртуальным, (перво)личным и неопределенноподличным, субъектом и окружением... конструктивный принцип ИП, его основной тропологический ход, его поэтический *raison d'être*»<sup>6</sup>.

В упомянутой статье «Что такое поэзия» Анненский говорит о том, как пытается выразить и одновременно прячет поэт в самых разных предметах и явлениях — от капели (в сонете Бодлера и повести Достоевского) до перечня кораблей у Гомера — «отзвук души... на ту печаль бытия, которая открывает в капели другую,озвученную себе мистическую печаль» [Анненский 1979, 204]. Ситуативную печаль поэт свя-

зывают с метафизической, в этом заключается его профессиональный труд, и этим, можно сказать, поэт отличается от версификатора. Инфинитивы же Гандлевского принадлежат скорее ко второму типу, выделяемому А. К. Жолковским: «зависимые серии» типа *ему подушки поправлять, печально подносить лекарства* — в них перечисляются действия, принадлежащие известной ситуации «здесь» (хотя и не «сейчас»). Нет разрыва между «своим» и «чужим». Однако (все сложнее, чем кажется) нельзя не заметить, что за счет контекста, который этот поэт сам себе создал и другими стихами, и прозой, можно почувствовать лирическое начало, целиком убранное в подтекст, — особую «гандлевскую» лирическую горечь, что выступает под «чужим словом», просматривается в «подводной части айсберга».

Но значения инфинитивов, по всей видимости, не достаточно, чтобы выразить поэтическое «виртуальное иnobытие субъекта».

2) Поэтический смысл, о котором идет речь, не обязательно должен быть выражен в прямых обозначениях речи, когда поэт прямо говорит об отчуждении от реальной действительности («Я в хоровод теней, топтавших нежный луг, С певучим именем смешался...»). Наоборот: «мечтательное наклонение», прослеженное в некоторых инфинитивах, характеризуется недосказанностью, неопределенностью. Например, сослагательное наклонение само по себе — в отличие от инфинитива — им не обладает как раз потому, что прямо говорит о желательности, тогда как инфинитив об этом умалчивает. Инфинитив обозначает не столько действие, сколько его возможность; в этой форме выражена потенция, именно она снабжена поэтическим ореолом (по свидетельству Анненского, поэт старается и выразить и одновременно спрятать сокровенное чувство). А. К. Жолковский, по-разному определяя трудноопределимый семантический ореол инфинитивного письма, в одном месте говорит: «медитация об альтернативном жизненном пути». Но альтернативный жизненный путь предполагает возможность осуществления, тогда как виртуальное иnobытие в принципе неосуществимо. Оно не может заменить реальный жизненный путь — оно лишь сопутствует ему.

Поэтическое виртуальное иnobытие выражается самыми разными языковыми средствами. Например, риторическими вопросами и восклицаниями. «Откуда же эта печаль, Диотима? Каким увереньем прервать забытье? (Пастернак). Откуда? Оттуда же — понимает читатель — из виртуального иnobытия, из той мистической области, о которой говорит Анненский. Доказать это точными методами невозможно, но почувствовать необходимо, иначе прелесть этих строк пропадет, то есть их поэтический смысл окажется не воспринятым.

Типичное для поэзии одушевление неодушевленных предметов тоже несет в себе признаки виртуальной поэтической местности. В этом отношении характерны многочисленные обращения к разным объектам неживой природы, неупотребляемые в прозе: к чернильнице, письменному столу, облакам, деревьям, даже к лиялой занавеске (*Опустись, занавеска лиялая, На больные герани мои!* Разве представима такая реплика в реальной жизненной ситуации? Даже в художественной прозе непредставима).

Непосредственно виртуальное инообытие выражается в семантике, а семантические наблюдения, по справедливому замечанию Л. В. Щербы, «всегда субъективны» [Щерба 1923, 17]. В стихотворении «Я вас любил, любовь еще, быть может...» мы с наибольшей силой чувствуем присутствие поэзии, я думаю, в последних двух строках — не потому, что они «трогательны» (сколько угодно сентиментальных стихов к поэзии не имеют отношения), а потому, что двойственность выраженного чувства указывает на двойное бытие сознания, на присутствие виртуального инообытия.

Однако природная неопределенность поэтического смысла («неочевидные смыслы») — и это чрезвычайно важно! — поддается дешифровке, или конкретизации, при подходе к тексту «как многомерному смысловому пространству... Суть в том, что подробный анализ того, “как это устроено”, не ведет, как ранее надеялись, с неизбежной логикой к тому, “что же здесь сказано”. Как и всякое научное открытие, открытие смысла есть некоторый “прорыв вверх” из плоскости эмпирических фактов. Поэтому, постепенно понимая, “что здесь сказано”, мы уже посредством циклизированного анализа воссоздаем, “как устроено то, что здесь сказано”», — пишет Т. М. Николаева [Николаева 2000, 424—425]. Именно такой начальный толчок от смысла дает исследователю возможность пройти путь «от звука к тексту» — воспользуемся этим выражением, озаглавившим монографию Т. М. Николаевой.

## 2.

### *«Как устроено то, что сказано»*

Было бы странно, если бы собственно-поэтический момент, о котором идет речь, — момент, онтологически присущий поэтической речи, — не был отражен в самой форме, избранной поэзией для бытования, — в форме стиха. Более того. Возникновение особой формы речи, которую А. М. Пешковский назвал «недоконченной строкой» [Пешковский 1925, 155], обусловлено необходимостью выразить то самое необыденное состояние мысли, которое можно определить как виртуальное инообытие.

Когда речь теряет адресованность, выражаемую фразовым ударением, — а именно это и происходит под воздействием стихотворного ритма, не связанныго — в отличие от ритма прозы — с логикой и грамматикой фразы, — меняется интонация: она становится подобной музыкальной мелодии в том отношении, что утрачивает исконную обращенность к слушающему. Неадресованность ритмической монотонии — специфический признак стихотворной речи. (При делении речи на стиховые отрезки возникает пауза, заканчивающая каждую стиховую строку, которая требует замены фразовой интонации на ритмическую монотонию.)<sup>7</sup>

Неадресованность ритмической монотонии, обязательной в стихах даже и при отсутствии в них метра, влечет к важным и любопытным последствиям. Обычная речь зависит от конкретных речевых ситуаций, она прикреплена к разным обстоятельствам, которыми при всех условиях земного существования опущан

человек, — как бы подвержена закону земного тяготения. И когда из интонации исчезает фразовое ударение, свойственное прозаической речи (как устной, так и письменной) — именно оно прикрепляет речь к речевой ситуации и адресует ее собеседнику, — сознание получает возможность оторваться от конкретного и частного, перемещаясь в виртуальное и nobытие.

Поэзией мы называем прорыв сознания «во области заочных». Печаль в блоковских стихах *На улице дождик и слякоть; / Не знаешь, о чем горевать* — это не сожаление по поводу плохой погоды, а некая метафизическая печаль. Неадресованность в интонации, создаваемая монотонией трехстопного амфибрахия, отнимает у фразы все возможные обертоны смысла, прикрепляющие ее к какой-то данной реальной ситуации. И вопрос *Что же ты потупилась в смутилье?*, который можно произносить по-разному: насмешливо, гневно, укоризненно, ободряюще и т. д., — приобретает, благодаря 5-ст. хорею, обобщенный характер, не позволяющий подмешивать ни одну из перечисленных эмоций. Звучание речи получает свободу от каких бы то ни было реальных обстоятельств, как голос пастора под сводами готического собора. Ритмическая монотония, выражающая неадресованность, как бы служит заслоном для сиюминутных, злободневных эмоций, и они замещаются теми «вечными» — скажем так, которые свойственны человеческой психике и хранятся в придонных ее областях, бытовыми условиями не востребованные.

Неадресованность, вписанная при помощи разделения на стиховые отрезки, приподнимает речь над конкретной ситуацией, дает возможность выражения тем скрытым состояниям души (или лучше скажем — сознания), которые переносят поэта и его читателя в виртуальное и nobытие. Поэт интонационно обращается к несуществующему адресату.

При этом даже самые незначительные, пустячные реалии «здесьнего» бытия и быта, столь охотно привлекаемые поэзией прошлого и нынешнего века, не только не мешают перемещению, но играют роль показателей дальности расстояния, пройденного поэтической мыслью, стремительности, с которой она соединяет «далековатые» миры.

Исследуя ИП, А. К. Жолковский набрел на интересный случай — аграмматические инфинитивы Шершеневича, которым посвятил отдельную статью. И здесь наблюдения исследователя имеют прямое отношение к речевому механизму стиха, подтверждая его интонационную природу. Примеры аграмматических инфинитивов появились у Шершеневича в связи с его переводами манифеста и прозы Маринетти, ломавшего грамматику. Сама установка на ломку синтаксиса, позаимствованная Шершеневичем у Маринетти, оказалась возможной потому, что опиралась на одно из основных свойств поэтического смысла — его синкретизм.

Если мы зададимся вопросом, почему, собственно, стиховой смысл разрушается при пересказе прозой (нет никакого очарования в признании: «я вас любил; может быть, любовь в моей душе не совсем угасла, но пусть она больше не тревожит вас» и т. д.), придется признать, что стиховой смысл возникает лишь при одновременном воздействии ритма, рифмы, лексики и грамматики, то есть при синкрети-

ческом восприятии логико-грамматических и чисто стиховых элементов речи. Да и логические элементы в стихах связаны зачастую нелогической (аграмматической) связью, что заставляет исследователей говорить о контрапункте. Поэтический синтаксис сам по себе, можно сказать, без усилий новаторов стихотворной речи ломает установленный грамматикой порядок. Такие синтаксические аномалии, как *Я берег покидал туманный Альбиона* (*я берег и туманный Альбиона*), возможны только в стихотворной строке. Примеров недопустимых в прозе инверсий много, не стоит на них останавливаться, обратим лишь внимание на их естественность в стихотворной речи, обусловленную необычной для прозы интонацией неадресованности — ритмической монотонией.

В основе поэтического восприятия смысла (и, соответственно, поэтического выражения) лежит ассоциативный способ мышления. Э. Сэпир, приводя пример бессмысленного соположения слов *sing praise*, говорит: «Оказывается психологически невозможным услышать или увидеть эти слова вместе, не постаравшись хоть сколько-нибудь связным образом их осмыслить» [Сэпир 1934, 49]. При этом связь в сознании образуется без помощи логики и грамматики, то есть не аналитически, а ассоциативно. Этот пример объясняет природу рифмы, ее семантико-фонетический комплекс, служащий фундаментом поэтического смысла.

Наблюдая случаи аграмматических инфинитивов Шершеневича, А. К. Жолковский рассматривает их как логический эллипсис, который можно и даже следует восстановить для понимания.

...Лечь — улицы. Сесть — палисадник. Вскочить — небоскребы до звезд...

Одно из возможных толкований: «Улицы виртуально ложатся, палисадник виртуально садится, небоскребы виртуально вскакивают»; другое: «субъект [я] виртуально ложится на улицах, садится в палисаднике, вскакивает при виде небоскребов». Справедливо замечая, что «вследствие рассогласованности, связь... не ослабляется, а освежается и укрепляется»<sup>8</sup>, объясняя это остранныющим затруднением (в духе формалистов), исследователь оставляет в тени характер этой связи; не придавая ему значения, предпринимает попытки введения логики в этот и ему подобные тексты. Однако именно неоднозначность конструкции создает поэтический смысл, а линейно-логическая реконструкция, которую можно применить, разрушает его.

Предложенное М. И. Шапиром «радикально отличное понимание» — образное приравнивание трех инфинитивных предикатов (*лечь, сесть, вскочить*) трем вертикально противопоставленным объектам (*улице, палисаднику, небоскребу*)<sup>9</sup> — ближе поэтическому восприятию тем, что опирается на ассоциативное мышление. Но, вообще логическое «осмысление» идентифицирует поэзию с прозой, стихотворную речь с прозаической — обычная, надо сказать, ошибка стиховедов. К «толкованию», устанавливающему логические связи, вынужденно прибегают при прозаическом пересказе стихов, но при пересказе теряется главное — поэтический смысл, тот смысл, ради которого поэт обращается к стихотворной речи. Стихотворная речь построена иначе, иначе звучит и, соответственно, иное значит.

В конце концов, надо не упускать из вида, что поэтический смысл, который вкладывает поэт, хотя и требует для восприятия определенных способностей, данных не каждому читателю, не является чем-то привносимым в текст, а принадлежит тексту как имманентное свойство и зависит от правильного прочтения текста.

Читатель не предается при чтении разнообразным возможностям «осмысления» аграмматизмов поэта, он легко может воспринять связь между существительными *улицы, палисадник и небоскребы* и глаголами *лечь, сесть и вскочить*, не придавая ей никакой грамматической формы, на что и полагался, несомненно, автор.

В стихе Шершеневича *слезы кулак зажать* так же излишне задаваться вопросом об «актанте» (производителе действия), потому что слова указывают на вполне понятную ситуацию, играют действительскую роль при смысловом единстве, не нуждающемся в расшифровке. Этих трех слов, поставленных Шершеневичем в заглавие, достаточно, чтобы представить себе ситуацию. Каких подробностей не хватает исследователю? Здесь нет эллипса. Поэт просто не думал о тех деталях происходящего, которые вносятся в данном случае грамматической нормой. Потому и пренебрег ими (и ею), что они не важны. В данном случае предлагаемая операция (*кулак, зажимающий слезы или некто, сжимающий слезы в кулак*) напоминает реализацию метафоры — не нужную и часто смешную.

Поэт стремится передать *нерасторжимое смысловое единство, подобное музыкальному*, и читатель способен его воспринять и понять. Рассматривая «звуки, которые слышат только поэты», Т. М. Николаева обнаруживает их «двустороннюю структуру: объективный аспект и субъективный» (с. 454). При анализе стихотворного текста это необходимо учесть. Субъективный аспект звуков, занятых поэту (и его не случайному читателю), дает ключ к аномальным с точки зрения логики явлениям, сплошь и рядом встречающимся в поэзии<sup>10</sup>. Например, тексты Пастернака — этот клубок мыслей, чувств, представлений, ощущений, воспоминаний, упоминаний и уподоблений связан с мнимой ситуацией намеренно не логическим путем. «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе Расшиблась весенним дождем обо всех, Но люди в брелоках высоко брюзгливы И вежливо жалят, как змеи в овсе». Говорится, как помним, о «взрослом» и «детском» (обыденном и поэтическом) восприятии мира: «У старших на это свои есть резоны. Бессспорно, бессспорно смешон твой резон, Что в грозу лиловы глаза и газоны, И пахнет сырой резедой горизонт. Что в мае, когда поездов расписанье...» В перечень «резонов» попадают самые разнородные вещи, явления, впечатления: «С матрацев глядят, не моя ли платформа, И солнце, садясь, соболезнует мне...»

Понять Пастернака — это не значит, насильственно вводя логику, избавить его от самой характерной его особенности, это значит включить имеющиеся у нас иные возможности понимания, воспользоваться иной формой познания, иной «эпистемой». Тут можно вспомнить насмешившую Мишеля Фуко («бессспорно, бессспорно смешон твой резон») «Китайскую энциклопедию» Борхеса, в которой говорится, что «животные подразделяются на а) принадлежащих императору, б) бальзамированных, в) приученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак...» и т. д. в том же роде; и процитировать поставленный

по этому поводу вопрос Фуко: «На каком “столе”, согласно какому пространству тождеств, черт сходства, аналогий привыкли мы распределять столько различных и сходных вещей?» [Фуко 1994, 32]. И еще: «Невозможным является не соседство вещей, но общая почва их соседствования. Где бы еще могли встретиться животные “и” буйствующие, как в безумии, к) неисчислимые, л) нарисованные очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти», как не в бестелесном голосе, осуществляющим их перечисление, как не на странице, на которой оно записывается? Где бы еще могли быть сопоставлены, как не в не имеющем места пространстве языка?» (с. 29). Поззия — это как раз то место, где сами собой сходятся *гетеротопные* смыслы. «Гетеротопии тревожат, видимо, потому что... они “разбивают” нарицательные имена...» (с. 31). А поэт стремится именно к разрушению нарицательности, к созданию индивидуального. Повторю: поэтический смысл — это система иного порядка, он образуется синтезом (требующим осторожного прикосновения; в этой связи не могу не вспомнить удивительный анализ Николаевой стихотворения Булата Окуджавы, ключом к внутренней семантике которого послужили сочинительные союзы! — тонкая лингвистическая работа, основанная на декларируемом автором подходе; см. уже цитированные страницы 3-й главы «Язык манипулирует текстом»).

И еще одно соображение. «Китайская энциклопедия» Борхеса — феномен, по всей видимости, не случайный. Заинтересовавшись источниками инфинитивного письма Шершеневича, Жолковский обращается к китайскому языку, его лишенному морфологии строю (вполне вероятно, повлиявшему на Шершеневича) и замечает, что «китайские параллели оказываются неожиданно продуктивными». Пересказывая наблюдения М. Ямпольского над китайским письмом (вводную главу его книги «О близком» [Ямпольский 2001]), Жолковский говорит: «Использование синтаксических неоднозначностей, возникающих благодаря отсутствию грамматических форм и обязательному или факультативному опусканию личных местоимений... приводят к парадоксальному приравниванию подлежащих, дополнений, обстоятельств места и времени. В результате создается эффект слияния лирического “я” с окружающей природой — “близость”, которой в европейской традиции мешает логико-грамматическое противопоставление субъекта, объекта и предиката»<sup>11</sup>.

Вот в дословном переводе стихотворение Ван Вэя: *Пустая гора не видеть никого / В одиночестве слышать голоса людей звучать / Заходящее солнце проникать глубокий лес / Долго задерживаться на зеленом мхе*. Первая строка читается так, цитирует Жолковский Ямпольского: «На пустой горе я никого не встречаю», но... «благодаря отказу от личного местоимения поэт полностью идентифициируется с пустой горой, перестающей быть обстоятельством места» [Ямпольский 2001, 12–13]. (Между прочим, читатель вправе спросить: зачем же переводить, привлекая личное местоимение, когда можно без него обойтись и тем самым передать нужный эффект, связанный с его отсутствием? Например, так: *Пустая гора! Не видеть никого!* Или так: *На пустой горе не видно никого / В одиночестве слышать, как звучат голоса людей (звук людских голосов)* и т. д.)

Китайские параллели в самом деле могут быть продуктивны и это закономерно. Дело все в том же способе мыслить, которым пользуются поэты и который внушается стихотворным текстом читателю поэзии. Не анализ, а синтез в его основе.

Не откажу себе в удовольствии процитировать свидетельство поэта, на которое мне уже приходилось ссылаться в печати. Едучи по необходимости на очередной урок, герой Набокова поэт Годунов-Чердынцев мечтает про себя: *Вот бы и преподавал то таинственнейшее и изысканнейшее;* что он, один из десяти тысяч, ста, быть может, даже миллиона людей, мог преподавать: например — многообразность мышления: смотришь на человека и видишь его так хрустально ясно, словно сам только что выдул его, а вместе с тем никакого ясности не мешая, замечаешь побочную мелочь — как похожа тень телефонной трубки на огромного, слегка подмятого муравья и (все это одновременно) загибается третья мысль — воспоминание о каком-нибудь солнечном вечере на русском полустанке, то есть о чем-то не имеющем никакого разумного отношения к разговору, который ведешь [Набоков 1972, 184—185]. Из этого отрывка можно понять и почувствовать, насколько ценно для поэта умение сопрягать разнородные частицы смысла, помещать сознание в разные области, одновременно находиться и «там» и «здесь».

Китайская грамматика говорит о том, что не только поэты способны к восприятию синтетического смысла. Синтетические операции предусмотрены нашим мышлением. «Слияние лирического “я” с окружающей природой», которое достигается в стихотворении Ван Вэя отсутствием логико-грамматической формы, тоже имеет свое объяснение в психологии, в свойствах человеческого мышления. Позволю себе высказать некоторые философские соображения, касающиеся специфики поэтического смысла.

Во-первых, окружающая природа и шире — картина мира — изначально слита с человеческим («лирическим») «я». Пуанкаре считал, что характерная особенность пространства, заключающаяся в том, что оно обладает тремя измерениями, есть, так сказать, внутреннее свойство человеческого ума (был бы он устроен чуть иначе — появилось бы и четвертое измерение); «современная экспериментальная психология, — говорит по этому поводу Вяч. Вс. Иванов, — далеко продвинулась по пути, подтверждающему догадку Пуанкаре» [Иванов 1998, 420]. Не лишено убедительности мнение, что «картину мира в нашем сознании создает некая встроенная в нас “линза” — что-то вроде глаза, только не внешнего оптического, а внутреннего, умственного» [Яржембовский 2002, 230]<sup>12</sup>.

Во-вторых, мышление человека при обычном речевом акте протекает в образах — не силлогизмами мы мыслим. Аналоговый характер нашего мышления проявляется в метафоричности языка. На эту фатальную, можно сказать, метафоричность обратил внимание Нильс Бор. Он говорил, пишет Вяч. Вс. Иванов, что «ключевые слова естественного языка, относящиеся к психической деятельности, всегда (в соответствии с принципом дополнительности) используются хотя бы в двух (если не более) разных смыслах — например, воля в значении желания и свободы... Бор полагал, что каждое такое слово тем самым относится хотя бы к двум разным “плоскостям” деятельности» [Иванов 1998, 435]. Даже в искусственных

языках математической логики, замечает Вяч. Вс. Иванов, «стремление к однозначности не может привести к полностью непротиворечивым результатам, как позволяет думать наличие логических парадоксов и теорема Геделя» [Там же].

Все это говорит о неком противоречии между мыслью и ее языковым оформлением, о специфической недостаточности логико-грамматических средств — факт, в науке известный, но слишком часто не оставляющий следа в анализах и рассуждениях о поэтических текстах. Между тем именно оно, это противоречие, преодолевается стихотворной формой, позволяющей привлечь в письменный текст голос как самое эффективное средство преодоления.

Стихотворная речь своим построением, делением на строки, вызывающим определенное изменение в интонации, содействует тому нелогичному соединению смыслов, которое свойственно поэтическому мышлению. «Повторяющаяся звуковая фигура» [Якобсон 1975, 205]<sup>13</sup> — что это как не способ соединения смысловых представлений?

Когда Жолковский противопоставляет два минималистских стиля — инфинитивный и назывной — по признаку «там» и «здесь», он рассматривает семантику этих грамматических форм — рассматривает фразы, изъятые из стихотворного контекста. Фетовское «Это утро, радость эта, Эта мошь и дня, и света, Этот синий свод...» (назывной стиль) не в меньшей степени выражает виртуальное и nobis-тие субъекта, чем его же «Я пришел к тебе с приветом...» (инфinitивный стиль) с анафорическим «рассказать», которое исследователь приводит в качестве типичного примера ИП. Полагаю, что пространные объяснения тут излишни: ритмическая монотония, то есть интонационная взволнованность этой речи, говорит сама за себя, отсылая к поэтическому и nobis-тию. Чтобы это почувствовать, достаточно сравнить назывные конструкции Фета с подобными им прозаическими предложениями, что-нибудь такое: *Это утро и эта радость запомнились мне особенно*. Или просто произнести фетовские стихи с нестиховой интонацией обычного прозаического перечисления типа: *этот дом, это дерево, эта улица, этот город* (допустим: *все было разрушено войной*).

И когда исследователь, констатируя «мощный модернистский всплеск» ИП в поэзии ХХ в., верно объясняет его эстетизацией «иного» — и как «возвыщенно творческого», и как «аморально декадентского»<sup>14</sup> — он все-таки игнорирует специфику стихотворного смысла<sup>15</sup>. Тут дело не просто в «эстетизации иного», а в характере мышления, в синcretической поэтической мысли, отраженной в речевом механизме стиха, средствами которого достигается перемещение в «иное». Семантический ореол инфинитивного письма совпадает с семантическим ореолом речевой формы, избранной поэзией. Это становится ясно, если, доверившись слуху, рассматривать стихотворные тексты, не ограничиваясь грамматикой и синтаксисом, включая иные, соответствующие текстам возможности понимания. Они не только не мешают исследованию, но наоборот: помогают анализу быть верным.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> А. К. Жолковский. Бродский и инфинитивное письмо // Новое литературное обозрение. № 45. 2000; *Его же*. К проблеме инфинитивной поэзии (Об интертекстуальном фоне «Устроиться на автобазу...» С. Гандлевского) // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 61. 2002; *Его же. Инфинитивное письмо: тропы и сюжеты (Материалы к теме)* // Эткиндовские чтения. (В печати); *Его же: Об одном казусе инфинитивного письма; Об инфинитивных неограмматизмах Шершеневича* // Хроника семинара ИРЯ РАН «Проблемы поэтического языка» (4 июля 2002 г.): <http://www.irlras-cfri.rema.ru:8101/publications/annotch.htm>

<sup>2</sup> А. К. Жолковский. Инфинитивное письмо: тропы и сюжеты. Прим. 5 (цит. по рукописи).

<sup>3</sup> Указывая на «тропичность» ИП, А. К. Жолковский отмечает «одну из наиболее органичных манифестаций общепоэтической установки на “переносность” — езду в незнаемое» [Там же].

<sup>4</sup> Марсель Пруст. Под сенью девушки в цвету. СПб.: Амфора, 1999. С. 241.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> А. К. Жолковский. Об инфинитивных неограмматизмах Шершеневича (цит. по рукописи).

<sup>7</sup> См. об этом: Е. В. Невзглядова. Звук и смысл. СПб., 1998. С. 12—82.

<sup>8</sup> Жолковский А. К. об инфинитивных неограмматизмах Шершеневича. (В печати).

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Подыскивая слова, поэт не упускает из виду унифицированную стиховую интонацию, необходимую не только для правильного чтения стихов, но — прежде всего — для их написания.

<sup>11</sup> А. К. Жолковский. Об инфинитивных неограмматизмах... (Ч. 3).

<sup>12</sup> Станислав Яржембовский поясняет: «Это означает, что в принципе мы изначально знаем всё... Мы наделены... способностью мгновенно опознавать то или иное явление как уже известное. Эту функцию выполняет наш высший разум — интуиция... тогда как низший разум — способность к рациональному анализу... — занимается исключительно вторичными функциями подгонки, подчистки, структуризации полученного интуитивным путем знания» (с. 230—231). Чрезвычайно любопытно, что согласно этой философской теории, мимикрия в животном мире (поведение хамелеона, камбалы и закрепленная генетически окраска птиц, бабочек, гусениц и пр.) — это низшие формы познания. Ребенок тоже познает мир способом подражания. Слияние с окружающим миром так органично, что перерезать эту пуповину не представляется возможным. Поэту, художнику — и вовсе ненужным. Наоборот, его задача — преодолеть аналитические формы сообщения, чтобы иметь возможность выразить свое интуитивное, нерасчененное знание.

<sup>13</sup> Пользуясь этим выражением Гопкинса, Якобсон указывает на ритмическую монотонию стихотворной речи. Подробно об этом см.: Е. В. Невзглядова. Звучание и значение в стихотворной речи // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1998. С. 715—724.

<sup>14</sup> Инфинитивное письмо: тропы и сюжеты.

<sup>15</sup> Разумеется, эстетизация «иного» имеет место и должна быть рассмотрена — в историческом аспекте трансформации ИП. Но есть еще и генезис явления.

## ЛИТЕРАТУРА

- Анненский 1979 — Анненский И. Что такое поэзия? // Книги отражений. М.: Лит. памятники, 1979. С. 201—207.
- Жолковский 2000 — Жолковский А. К. Бродский и инфинитивное письмо. НЛО. № 45. 2000. С. 187—191.
- Жолковский 2002 — Жолковский А. К. К проблеме инфинитивной поэзии (Об интертекстуальном фоне «Устроиться на автобазу...» Гандлевского) // Известия РАН. Сер. лит-ры и яз. 61. 2002. С. 34—42.

- Жолковский (в печати) — Жолковский А. К. Об инфинитивных неограмматизмах Шершеневича; Об одном казусе инфинитивного письма // <http://www.irrlras-cfrl.rema.ru:8101/publikations/annotch.htm>
- Жолковский (в печати) — Жолковский А. К. Инфинитивное письмо: тропы и сюжеты // Эткандовские чтения. СПб.: Европейский ун-т. (В печати).
- Иванов 1998 — Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и динамика знаковых систем // Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 1998. С. 381—589.
- Набоков 1972 — Набоков В. Дар. Анн Арбор, 1972.
- Николаева 2000 — Николаева Т. М. От звука к тексту. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Невзглядова 1998 — Невзглядова Е. В. Теория стихотворной речи // Звук и смысл. СПб., 1998. С. 9—82.
- Пешковский 1925 — Пешковский А. М. Стихи и проза с лингвистической точки зрения // Методика родного языка, лингвистика, стилистика. М.; Л., 1925.
- Пруст 1999 — Пруст М. Под сенью девушек в цвету. СПб.: Амфора, 1999.
- Сэпир 1934 — Сэпир Э. Язык. М.; Л., 1934.
- Щерба 1923 — Щерба Л. В. Опыты лингвистического толкования стихотворений // Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
- Якобсон 1975 — Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против». М., 1975.
- Ямпольский 2001 — Ямпольский М. О близком. М., 2001.
- Яржембовский 2002 — Яржембовский С. Мир в поле зрения «третьего глаза» (В защиту интуитивизма) // Звезда. 2002. № 6. С. 230—234.

*Н. А. Фатеева*

## ГЕНДЕРНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ «СДВИГИ» КАК ВЫРАЖЕНИЕ АВТОРСКОЙ СТРАТЕГИИ

Он говорил о лете и о том,

Что быть поэтом женщине — нелепость.

*А. Ахматова*

Искусство, однако, не желает знать никаких слепых инстинктов  
критика и ни малейших двух мер, одну для Николашечки,  
другую для Машечки.

*Л. Пущин. [З. Гиппус]*

**Е**ще Р. Якобсон вслед за О. Есперсеном выделил особые категориальные показатели — шифтеры, которые обозначают связь сообщения с актом речи, с адресантом (Я) и адресатом (Ты). Прежде всего это показатели лица и глагольные формы [Якобсон 1972]. Однако, безусловно, обозначения субъекта и глагольные формы в русском языке, прежде всего в контексте прошедшего времени, не могут не указывать на род, а следовательно и пол говорящего. Значит, явление сексуализации категории рода тоже можно отнести к сфере действия шифтеров.

Вследствие этого с точки зрения коммуникативной организаций художественных текстов особенно релевантным оказываются те случаи, (1) когда автор одного пола организует текст от лица другого, употребляя соответственно грамматические формы в противоположном по отношению к себе роде; (2) когда автор прибегает к коммуникативному переходу от 1-го лица к 3-му лицу, тем самым то включая, то исключая «Я» из текста и создавая мерцательный эффект «присутствия-отсутствия» другого или наблюдателя в тексте либо эффект расщепления Я<sup>1</sup>. Данные переходы, переключения, или «шифты», по-разному проявляют себя в стихотворных и прозаических текстах, а следовательно, имеют разные поэтические функции.

Обратимся сначала к поэтическим текстам, в которых лирический субъект не совпадает по своей родополовой принадлежности с автором. Одной из немногих работ, посвященных этому феномену, является статья Сары Пратт [Pratt 1989], название которой в буквальном переводе звучит так: «Дополнение себя самого: гендерные сдвиги в стихотворениях Тютчева и Ахматовой» (The obverse of self: gender shifts in poems by Tjutchev and Axmatova). Это название тем более показательно, что

в англоязычной лингвопоэтической традиции принято различать понятия «*subject*» и «*self*». Термин «*obverse*» (кстати, одно из значений этого слова — ‘лицевая сторона’; а буквальный перевод ‘оборачивание’ — ср. оборотень) обозначает одновременно и оппозицию, и функцию в качестве составной части внутри определенной системы: в анализируемых стихах лирический субъект противоположного пола, с одной стороны, противопоставлен подразумеваемому естественному, с другой — как бы дополняет его, помогая рассматривать всю ситуацию с обратной стороны. Исследовательница анализирует данные сдвиги как особый прием: его функция — фундаментальное изменение сексуальной идентичности<sup>2</sup>. Эффективность этого приема зависит от того, насколько автор способен психологически интегрировать себя и другого, чтобы стать этим «другим» в образе лирического субъекта. Так, по мысли С. Пратт, в стихотворениях Ф. Тютчева («Не говори, меня он, как и прежде, любит...») и А. Ахматовой («Неправда, у тебя соперниц нет...», «В тот давний год, когда зажглась любовь...») отчетливо изменение стилистической манеры каждого из поэтов: текст Тютчева приобретает не свойственную ему аффектацию, эмоциональность, получающую звукописную и интонационную основу, а тексты Ахматовой строятся как подчеркнуто аргументированные, логически выстроенные. В первом случае, пишет Пратт, текстопорождение как бы подчиняется «аниме» мужчины-поэта, во втором — «анимусу» поэтессы. Так, «часть психики каждого из авторов идентифицируется с лицом противоположного пола — в терминах Юнга *anima* и *animus*, что позволяет найти более полное выражение собственной личностной идентичности поэта и поэтессы, т. е. выводит на поверхность их обратную сторону» [Pratt 1989, 241].

В этом смысле можно говорить об явлении «автопоэзиса»<sup>3</sup>, внутренняя форма которого складывается из греческих слов *autos* ‘само’ и *poeisis* ‘достраивание’. Выступая в качестве «наблюдателя», реальное «Я» поэта как бы достраивает себя самого. Недаром стихотворения Ахматовой, написанные от лица мужчины, образуют цикл под заглавием «Другой голос». С лингвистической точки зрения смена гендерной стратегии связана с учетом определенного набора pragmaticальных установок и импликаций, релевантных в данной дискурсивной ситуации (см. [Йокояма 2002]), типа:

- (1) [я тебе свой] [ты мне свой / своя]
- (2) [я тебе чужая] [ты мне чужой / чужая]
- (3) [я женщина / мужчина] [ты мужчина / женщина / ребенок].

Понятно, что в случае, когда автор выбирает для себя способ порождения текста от лица противоположного пола, то он этим самым отказывается от естественного способа выражения. Создается «напряжение», связанное с настройкой на речетворчество от лица «другого», но не просто «другого», а лица другого пола, что ведет к «шифту» (переключению) глагольных форм. Возникает естественная функциональность, а с ней и нарративность; не свойственная лирическому тексту, а именно, появляется опосредующая инстанция, через призму которой описываемая ситуация преломляется.

Самый простая мотивация подобного переключения — построение своего текста как «подражательного» по отношению к поэту противоположного пола либо встраивание в определенную литературную или фольклорную парадигму с ее стереотипами плана содержания и плана выражения. Разберем несколько возможных случаев. Будем называть тексты, в которых автор-мужчина пишет от женского лица, гинотекстами, а в которых женщина трансформирует свой пол в мужской, — андротекстами, и в обоих случаях мы будем иметь дело с авторским трансвестизмом, т. е. сознательной сменой принадлежности по полу лирического субъекта или рассказчика.

Подражание автору противоположного пола может задаваться как самим заглавием произведения (ср. «Подражание И. Ф. Анненскому» А. Ахматовой), так и адресацией посвящения (ср. стихотворение «Не забывшая» М. Лозинского с посвящением А. Ахматовой, «В безумный месяц март» П. Соловьевой с посвящением Вяч. Иванову и первыми и последними строками: *В безумный месяц март Я родился на свет...*). В рамках заданной структуры вся ситуация ахматовского стихотворения-подражания естественно воспринимается как написанная от лица поэта-мужчины, и в ней роли шифтеров распределены так: Я м. рода — Ты ж. рода. Внутренняя перспектива текста также организована от мужского лица, «Я» женское же принадлежит адресату-персонажу, которое даже наделяется даром речи:

*И с тобой, моей первой причудой,  
Я простился. Восток голубел.  
Просто молвила: Я не забуду.  
Я не сразу поверил тебе.*

Стихотворение М. Лозинского «Не забывшая» написано как бы от лица самой А. Ахматовой, которая, как мы знаем, довольно часто сама использовала Gender Shifts для моделирования любовной коллизии с обратной, мужской стороны (ср. ее строки: *Увы! лирический поэт Обязан быть мужчиной, Иначе все пойдет вверх дном*). Кроме уже названных, обращает на себя внимание ее стихотворение «Шелестит о прошлом старый дуб...» (1911), в котором Я-мужчина вспоминает свою былую, теперь уже больную подругу. И в этих воспоминаниях-размышленииах наиболее отчетливы женские губы, которые так и остались без его прикосновения: *Я твоих благословенных губ Никогда мечтою не коснулся*, а также обратная реакция героини: *Как давно я знаю твой ответ: Я люблю и не была любима*. У Лозинского ситуация вторично переворачивается — ведущим становится женское Я, но отношения между адресантом и адресатом принципиально симметричны: ср. строку Лозинского *Я знаю — есть покой, и я хочу Тебя любить и быть тобой любимой...* И даже губы повторяют очертанье раз уже отпечатавшихся в памяти: *И на губах, как темное пятно, Холодных губ горит напечатленье*.

Важно заметить, что тексты с Gender Shifts подчеркнуто диалогичны как по своему строению (они содержат реплики и прямые высказывания), так и по своей интертекстуальной заданности. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что тексты с гендерными переворачиваниями содержат в себе либо указания

на какие-то телесные атрибуты (упоминаются глаза, губы, руки адресата *Ты*: противоположного пола), посредством которых обычно вступают в тесный контакт с партнером, либо в них упоминаются определенные телодвижения и жесты Я-героя или его парного субъекта (ср. *Пальцы холодают и дрожат, Тонкость рук твоих припоминая у Ахматовой и ранее Хоть, вижу, позя в руке его дрожит* у Тютчева). Так в подобных текстах возникает определенное коммуникативное пространство с внутренней кинесикой [Крейдлин 2002], наполненной и движениями глаз и «присодическими жестами» [Николаева, Успенский 1966, 67], которые обязательно сопровождают вербальную основу стихотворений.

Особая организация этого коммуникативного пространства не всегда позволяет механически переворачивать агента и пациента одной и той же ситуации. Прежде всего это касается описания ментальных процессов. К примеру, когда в современной песне строки А. Ахматовой 1962 г. (*И в августе зацвел жасмин, И в сентябре — шиповник, И ты приснился мне — один Всех бед моих виновник*) подаются от первого мужского лица (*Приснился я тебе — один Всех бед твоих виновник*), то получается неорганичное и странное высказывание: о том, что человеку снится, может знать только он сам и пересказать это «другим голосом» невозможно.

Если подражательную стратегию А. Ахматовой можно считать оригинально-авторской, то в большинстве андротекстов З. Гиппиус, а также других поэтесс этого времени (П. Соловьевой, Н. Крандиевской) гендерный сдвиг скорее используется для принятия на себя символистской установки в диалогических рамках «Я м. р. — Бог, Творец», «Я (творец, художник м. р.) — Ты, Она (Прекрасная дама)», «Я м. р. — Ты (моя Душа)». В этом смысле эти произведения интертекстуальны, поскольку они по своей концептуальной установке и структурно-семантической модели повторяют тексты А. Блока, С. Соловьева, А. Белого и нередко содержат посвящение этим авторам. Заимствование стиля распространяется и на формальный уровень организации текста: поэтессы используют типичные поэтизмы-прилагательные в форме мужского рода (ср. у Гиппиус: *Смотрю на море жадными очами, К земле прикованный, на берегу...*), которые являются строевыми и при построении типично символистских рифменных соответствий: ср. *влюбленный / завороженный* у З. Гиппиус в стихотворении «К ней» (*Мой сад, тобой завороженный... В моем саду проходишь ты, — И я тоскую, как влюбленный*), *неповторенный / завороженный* у Н. Крандиевской (*Для каждого есть в мире звук, Единственный, неповторенный. Его в пути услышишь вдруг И, дрогнув, ждешь завороженный*).

По поводу стихотворений З. Гиппиус довольно определенно высказывается И. Одоевцева [1989, 36] в своих воспоминаниях «На берегу Сены». Она пишет, что и до личного знакомства в Париже она знала стихи Гиппиус, но они ей «не очень нравились своей рассудочностью и, главное, тем, что она писала о себе в мужском, а не женском роде». Одоевцева воспроизводит и одну из легенд, ходивших о Гиппиус в Петербурге: «Рассказывали, что она выходила на сцену в белом хитоне с распущенными длинными рыжими волосами, держа лилию в руках, и молитвенно произносила: *Я сам себя люблю, как Бога*» [Там же]. При этом Гиппиус часто вы-

бирава загадочные названия для своих стихотворений типа «Она», «Он-Ей», «Кней», в которых таинственная «Ты-Она» все время меняла облик. Но основанием для легенды, вероятно, послужило стихотворение под заглавием «Я» (от чужого имени) с первой строкой *Я Богом оскорблен навек...*

Известно, что З. Н. Гиппиус как критик часто выступала под мужским псевдонимом Антон Крайний, чьи суждения были беспощадны. У нее в одежде было много мужских атрибутов: она носила монокль, который в начале XX века был в ходу лишь у изящных стариков и снобистских молодых людей. В то же время, как замечает Одоевцева [Там же, 38—39], «ни у кого “внешнее” и “внутреннее” так не расходились и даже, казалось, не враждовали друг с другом». «Неженский ум» Гиппиус в итоге оказывался все же «женским», поскольку, как пишет Одоевцева, Зинаида Николаевна со своей копной рыжих, морковно-красных волос<sup>4</sup> напоминала «ведьму», а «ведьма — женщина» [Там же, 40].

Надо отметить, что ситуации «ведовства» и «гадания» прежде всего соотносятся в поэзии с женским образом и женской атрибутикой, и эту особенность культурного сознания как раз используют мужчины при порождении гинотекстов. В этом смысле показательно стихотворение акмеиста В. Нарбута «Гадалка», написанное от лица женщины, которой гадают<sup>5</sup>. Однако сама «гадалка», не обещающая Я-героине ничего радужного, в описании Нарбута получает некоторые мужеподобные черты: зеленые глаза — глаза кота, скучные губы — сборками поджаты; а жили — верный кровянной вожатый. Маскулинность проявляется себя прежде всего в роде объектов сравнения (*кот, вожатый*) (см. [Гин 1992, 111—112]). Но при этом общий облик гадалки напоминает степную Русь, и поэтому ее «земляное, злое ведовство» героиня принимает «без слез, без злобы», «как в осень пашня — вызревшие зерна». Благодаря последнему уподоблению матушке-земле образ Я-героини наращивает свою феминность.

Стереотипный сценарий гадания служит основой трансформации гендерной точки зрения и в произведениях крестьянских поэтов, например у А. Ширяевца. Так, в его стихотворении «Гадание» точно воспроизводится вся женская атрибутика гадания (*Крестик снят... Одна я в горнице, Ставлю свечи у зеркал...*) и его типичные речевые формулы (— Выйди, званный, выйди суженый! Правду, зеркальце, открай!). Чисто женская эмоциональность при ожидании «суженого» воспроизводится здесь в звуковой огласовке текста (основа ее состоит из шипящих согласных) и многочисленных многоточиях, которые С. Пратт отмечала как маркеры женской стилистики еще в тексте Ф. Тютчева. Ср. *Я стражду, не живу... им, им одним живу я — Но эта жизнь!.. О, как горька она!* у Тютчева и *Вот и полночь... Жутко... Слычу я...* у Ширяевца.

Еще один любимый «женский» фрейм — ожидание любимого, жениха или сына, нетерпение в желании побыстрее увидеть его. В таких случаях мужчины-поэты часто берут за основу народные песенные образцы, лишь немного трансформируя их<sup>6</sup>. Традиция подражания фольклорным образцам задана еще «Казачьей колыбельной песней» М. Лермонтова (ср. *Стану я тоской томиться, Безутешно ждать; Стану целый день молиться, По ночам гадать*). Однако у некоторых поэ-

тов XX в. смена гендерной установки не ограничивается лишь заимствованием исходного образца, и они активно принимают на себя новую женскую роль. Причем большинство примеров «универсального» авторского трансвестизма укладывается в форму, которую мы по аналогии с повествовательным сказом, представляющим собой имитацию устной монологической речи, назвали бы «лирическим сказом»: лирический стихотворный текст обретает повествовательную фабулу и строится в порядке ее непосредственного говорения. Наиболее показательны в этом отношении «Ожидание» В. Казина и «Черный любирь» В. Хлебникова — первое стихотворение поражает неожиданным разрешением лирического сюжета, второе — стремлением поэта заменить все обычные слова и выражения словообразовательными и грамматическими неологизмами.

Стихотворение «Ожидание» В. Казина, на первый взгляд, начинается очень обычно: *Я ждала, ждала тебя, любимый...* затем появляются привычные образные атрибуты «угасания дня» (день неугасимый, огневое золотое волокно), предикаты «томления» и «нетерпенья», но постепенно «ожидание» приобретает неожиданную форму, а именно — «обманутого ожидания», напряженность которого задается многоточиями: атрибуты «ожидаемого» (*Близже... блуз... чья-то блуз...* Синяя... твоя... твоя...) и предикаты, передающие его движения (*Подошел... Прильнул...*), не находят искомого «человеческого» субъекта, и поэтому антропоморфные черты присваиваются окружающей природе, причем для обозначения неизвестного ожидаемого субъекта выбирается существительное мужского рода: *Aх, и как я обозналась, ненаглядный, — Это вечер обнимал меня впомьмах.* Как писал Я. И. Гин [1992, 26], олицетворение в поэтическом языке нейтрализует фундаментальную семантическую оппозицию «лицо / вещь», «лицо / нелицо», выводя на поверхность особый, синкетический характер художественной реальности. Но если олицетворение нейтрализует оппозицию одушевленный / неодушевленный, то Gender Shifts — оппозицию мужской / женский, однако оба этих «сдвиги» в дифференциации носят одинаковый симулятивный, перцептивно-символический характер.

Во «Фрагментах речи влюбленного» Р. Барт пишет, что в «каждом мужчине, говорящем о разлуке с другим, проявляется женское: тот мужчина, который ждет и от этого страдает, чудесным образом феминизирован» [Барт 1999, 314]. В главе, посвященной встрече «ожидаемого возлюбленного» («Как лазурь была светла»), Р. Барт пишет, что вначале Я-влюблённый испытывает «нежданную адекватность некоего объекта моему желанию» — это сладость начала; затем он «всесело (до дрожи) устремлен» к его раскрытию (или раскрытию «моего другого») [Барт 1999, 117, 119]. В данном случае уже относительно безразлично, кто этот «другой» — мужчина или женщина. С этой точки зрения показательны будут произведения поэтов и поэтесс, имевшие нетрадиционную сексуальную ориентацию, в соответствии с которой выстраивали свою гендерную идентичность (см. ниже), — в них лирический субъект не всегда идентифицируется по полу, но зато адресатом любовного послания является человек единого с автором пола (случай, дополнительный по отношению к авторскому трансвестизму). Все подобные «сдвиги»

связаны с «диалогичностью желания», которую М. Н. Эпштейн [2003] уподобляет «диалогичности слова» в понимании М. М. Бахтина: «как всякая речь есть ответ и обращение к чужой речи, так желание говорит с чужими желаниями». Далее Эпштейн пишет: «Эротика — это непрерывный диалог моего желания с другими желаниями, в котором собственно сексуальная сторона, тело, его органы и зоны выступают не как последняя реальность “утоления и разрядки”, а как средства коммуникации». Таким средством коммуникации и становится имитационный, симулятивный сказ.

В стихотворении Хлебникова «Черный любирь» для обозначения повествующего женского начала даже находится новое слово — *смеярышня* (по типу *боярышня, барышня* — ср. *Я смеярышня смехочество*), противопоставленное по роду и полу знаменитым «смехачам». (Кстати, идентификация автора-исполнителя в первой строке традиционна для народных песен, и потому она используется и в подражательных текстах — ср. «Я сгорела молоденька без огня...» у Н. Клюева, «Я — простая девка на баштане...» в «Песне» И. Бунина и др.) При этом текстовое пространство у Хлебникова организовано так неопределенно, что установить реальные связи между субъектами и объектами изображаемого мира почти невозможно. Из-за аморфности грамматических связей как внутри предложения, так и между ними создается аномальная семантическая перспектива, ср.:

*Я смеярышня смехочество  
Смехистинно беру  
Нераскаянных хохочество  
Кинь злооку — губирю.*

Если пытаться выстроить нормативную сеть грамматических связей, то слово *кинь* мы должны считать существительным, а *злооку* — кратким прилагательным. Тогда непонятно, почему автором используется глагол «брать» с дательным падежом (*губирю*) вместо глагола-конверсива «дать»: благодаря рифме *беру-губирю* или здесь зашифровано переворачивание отношений между мужчиной и женщиной и женщина становится берущей? Словотворчество с точки зрения женской перспективы также оставляет толкование общего смысла неопределенным: кто такой или что такое *любирь* — это заглавное слово не повторяется в тексте. В тексте есть, как мы видели, лишь слово *губирь*, образованное по аналогичной модели (по типу *визирь*). Значит ли это, что остается принять обычную расстановку сил в ситуации любви — *тот, кто любит, тот и губит*, и считать, что мужчина обычно выступает по отношению к женщине как губительное начало. Если отнести слово *любирь* к неодушевленным объектам, то находится аналогия  *псалтирь, псалтырь*, слово, которое имеет подвижность по роду, — может быть и женского, и мужского рода. В последнем случае «Черный любирь» можно толковать как собрание псалмов о «черной любви»<sup>7</sup>, причем  *псалтырь* имел(а) в простонародье и гадательную функцию. Конец же текста позволяет оба толкования: в нем в противовес «губирю» появляются  *милари*, которые «зовут так сладко Потужисть за лесом совкой», а также упоминается цветок, используемый при гадании, однако несущий и губительное начало: *Aх на той горке есть цветочек куманка заманка.*

Идея доминации мужчины над женщиной и ее стремление перевернуть эти отношения и одержать победу над мужчиной также одна из ведущих в гинотекстах, созданных самими мужчинами. Эта установка может реализовываться как в примитивно-мужицком плане с опорой на фольклорно-песенные источники (ср. «Я сгорела молоденька без огня» Н. Клюева: *Уж как мой муж недобрый до меня (...)* *Муженек на перинушке лежит, А меня, младу, на лавочку валит, Из головыицем ременну плеть кладет...*), так и образовывать сюжетно-нarrативный план стиха (ср. «Подруга боксера» В. Набокова). В обоих случаях в рамках лирического текста появляется женщина — диегетический нарратор, только в первом случае мы имеем дело со стилизацией сказа, а во втором — с приближением к повествовательной манере прозаика. Так, у Набокова само заглавие задает персонажную точку зрения — далее мы переключаемся в сферу сознания и речи «подруги боксера», которая не совпадает с авторской. Точной переключения и становится заглавие-ремарка, делающая акт наррации эксплицитным. Ср. две последние строфы из стихотворения В. Набокова:

*Волненье, гул... Тебя уносят двое  
в фуфайках белых. Победитель твой  
с улыбкой поднимает руку. Вой  
приветственный, — и смех мой в этом вое.*

*Я вспоминаю, как недавно, там,  
в гостинице зеркальной, встав с обеда, —  
за взгляд и за ответный взгляд соседа  
ты бил меня наотмашь по глазам.*

Показательно, что здесь мужчина-антагонист в изложении женщины сам становится объектом агрессии (*Тебя уносят двое в фуфайках белых. Победитель твой с улыбкой поднимает руку*), и женщина смеется над ним (*и смех мой в этом вое*). В последней же строфе, разъясняющей такую женскую реакцию, агрессия как раз направлена мужчиной на женщину (*ты бил меня наотмашь по глазам*). Таким образом, рассказчицей у Набокова так же как у Хлебникова, становится своеобразная «смеярышня», которая своей «кинью злоокой» противостоит «губирю»<sup>8</sup>.

Поэтический гинотекст, написанный мужчиной, имея форму лирического сказа, может становиться и дополняющей частью прозаического произведения. С таким явлением встречаемся в романе «Доктор Живаго» Б. Пастернака: в цикле стихотворений Юрия Живаго два стихотворения «Магдалина I» и «Магдалина II» написаны от первого женского лица, также заданного заглавием. Оба этих стихотворения в мифопоэтическом плане соотносимы с главной героиней романа — Ларой, образ которой не менее значим в общей структуре романа, чем образ самого поэта Живаго. Строя в тексте проекцию на библейский сюжет «Живаго/Лара ⇔ Иисус/Магдалина», Пастернак наделяет свой сложный женский образ поэтическим даром речи, и вся история смерти и воскресения Христа здесь подается «глазами женщины». Нам кажется, что такая «гинопроекция» выбрана Пастернаком не случайно — это своеобразное интертекстуальное продолжение диалога Христа и

Магдалины из цикла «Магдалина» Мариной Цветаевой: первая часть текста написана поэтессой от женского лица (*Во времена евангельские Была б одной из тех...  
К тебе б со всеми немощами Влеклась, стлалась — светла Масть! — очесами демонскими Таясь, лила б масла И на ноги бы, и под ноги бы, И вовсе бы так, в пески...*), а третья — от мужского (*О путях твоих пытать не буду, Милая! — ведь все сбылось. Я был бос, а ты меня обула Ливнями волос — И — слез*). В связи с именем She-автора предшествующих строк у Пастернака в сцене похорон Живаго важным оказывается то, что его сразу оплакивают две женщины-«мироносицы» — Лара и Марина, и их телодвижения уподоблены тем, что мы встречаем на живописных полотнах «Оплакивания» и «Положения во гроб». При этом у Пастернака важна идея не оппозиции мужского / женского начал, а слияния их в одно целое: *Когда я на глазах у всех С тобой, как с деревом побег, Срослась в своей тоске безмерной*. В прозаическом же корпусе романа любовь Лары и Живаго предстает как раз как «какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого, (...) все стало душою» [Пастернак 1990, 3, 428]: Круг этой «совместности» замыкается сценой прощания у гроба, в котором лежит Живаго, а Лара покрывает его тело «собою, головою, грудью, душою и своими руками, большими, как душа» [Пастернак 1990, 3, 493].

Известно, что стремление увидеть мир «глазами женщины» было присуще Пастернаку с самых ранних произведений, — свою настоящую прозу он открывал повестью «Детство Люверс», где весь мир подается сквозь призму души и сознания девочки. По поводу этой повести М. Цветаева писала, что в ней «даны все составные элементы девочки», т. е. «девочка, данная сквозь Бориса Пастернака: Борис Пастернак, если бы был девочкой, т. е. сам Пастернак, весь Пастернак»<sup>9</sup> [Цветаева 1986, 413]. Естественность такого перевоплощения доказывает и последовательность стихотворений в книге «Сестра моя — жизнь», создававшейся параллельно с повестью: «Зеркало», первоначально имеющее заглавие «Я сам», и далее «Девочка». Правда, в своем раннем прозаическом тексте Пастернак избирает эзекиетическую нарративную стратегию — от лица всевидящего и всезнающего нарратора, проникающего в сферу ощущений герoinи.

В данной статье мы подробно не будем останавливаться на прозаических текстах, написанных с использованием Gender Shifts<sup>10</sup>, однако отметим, что структурный принцип отражения, заданный именно зрительным восприятием; в некоторых из них становится основой переворачивания ситуаций, при этом осью подобного «обращивания» становится «зеркало». Прежде всего в этой связи интересны два «зеркальных» по отношению друг к другу произведения: первое написано в начале XX в. мужчиной — В. Брюсовым от лица женщины — «У зеркала. Из архива психиатра», второе — в самом конце XX в. женщиной — Н. Габриэлян — повесть «Хозяин травы», в которой в роли диегетического нарратора выступает мужчина, страдающий нарциссизмом<sup>11</sup>.

У Брюсова реальная женщина меняется местами со своим зеркальным образом настолько, что он полностью довлеет над ее жизнью. В результате герояня, завороженная своим зеркальным двойником, сходит с ума (см. подробно [Жеребкина

2001, 147—152). Подобная же «мена» происходит и с героем повести Н. Габриэлян по имени *Павел*. Он, хотя и находит для себя вторую половину — *Полину* (имена двух героев как раз паронимичны словами *пол*, *половина*), но никак не может отдалиться от своего зеркального двойника-мальчика, который возник перед ним еще в детстве: *«Я целовал его холодные, стеклянные губы, пытался гладить вздрагивающие плечи, но руки мои натыкались на твердую серебряную поверхность, разделяющую нас, непроницаемую для моих ласк. Сквозь слезы я видел за его спиной комнату, почти такую же, как наша спальня, и все-таки чуточку иную...»* [Габриэлян 2001, 22]. Если же мы сравним этот текст с брюсовским, то увидим, что стремление слиться со своим «вторым Я» (между прочим, противоположным по полу с авторским) в реальной жизни натыкается на твердую, холодную поверхность, что порождает острую боль: ср. *«...мои руки коснулись у стекла ее рук, я вся помертвела от омерзения. А она властно взяла меня за руки и уже силой повлекла к себе. Мои руки погрузились в зеркало, словно в огненно-студенистую воду. Холод стекла проник в мое тело с ужасающей болью, словно все атомы моего существования переняли мое взаимоотражение. Еще через мгновение я лицом коснулась лица моей соперницы, видела ее глаза перед самыми моими глазами, слилась с ней в чудовищном поцелуе. Все исчезло в мучительном страдании, несравнимом ни с чем, — и, очнувшись из этого обморока, я уже видела пред собой свой будуар, на который я смотрела из зеркала»* [Брюсов 1991, 57].

Когда в повести «Хозяин травы» *Павел* встречает *Полину*, то она на какое-то время заменяет ему свое зеркальное «Я»<sup>12</sup>, но затем ему снова начинает не хватать Его — своего зеркального двойника, и он начинает заниматься любовью с Полиной перед зеркалом. В конце же повести *Полина-половина* умирает, пытаясь избавиться от «общего» с обеими половинами мужского Я-героя<sup>13</sup> ребенка. Фактически мужское Я-героя «губит» *Полину*, чтобы вновь объединится со своим детским отражением в зеркале, но в реальной жизни последнее оказывается невозможным. Показательно, что название повести соотносимо к кузнецом, который Полина рисует на своей ужасающей картине «Хозяин травы» (заметим, что «хозяин» — слово мужского рода). Если же следовать реальной фабуле, то на Полину нападает самка-кузнец *Saga Pedo* (по этимологии это слово означает «прорицательница»), которой присуще бесполое размножение — партеногенез. Так, «бесполое размножение» связывается с зеркальным отражением: именно перед зеркалом Полина беременеет, а ее смерть наступает при разрешении от бремени.

Если структурировать смысл повести, то получается, что отказ от своего «женского Я» для самой женщины автора (т. е. транспонирование себя в мужской пол героя-рассказчика) на деле оборачивается поиском своей «нераскрывшейся» женской половины, которая трагически погибает. Особенно отчетливо эта женская половина выступает в другом рассказе Н. Габриэлян «Озеро». Там мотив нарцисизма также подан в раздвоении героя, и сквозь переходное мужское «Он-Я» просвечивает женское начало: *«И тогда из зеркальных глубин его существа всплыло отражение этой женщины и его губами стало страстью целовать саму себя. И поскольку губы его перестали принадлежать ему, то он не смог вы-*

говорить того, что почувствовал: «Холодно. Очень холодно»» [Габриэлян 2001, 112].

Подобные «странные» привязанности к лицу единого с автором пола встречаем и в поэзии. Понятно, что естественным контуром диалогической ситуации любовного стихотворения являются «Я м. р. — Ты (Вы) ж. р.», «Я ж. р. — Ты (Вы) м. р.». Однако в некоторых стихотворениях великих русских поэтов мы встречаемся с опытом представления интимных отношений в рамках «мужчина — мужчина», «женщина — женщина». Показательны в этом отношении любовные стихотворения М. Кузмина<sup>14</sup>, обращенные к Ю. Юркуну и В. Князеву, и цикл М. Цветаевой «Подруга», адресованный С. Парнок. Напомним, что С. Парнок была чуть ли не первой русской поэтессой, которая открыто писала о лесбийской любви (ср. Да, сестра моя, вот так она Зацеловывает — любовь!).

Стихотворение М. Кузмина, обращенное к В. Князеву, открывается строкой *Целованные мною руки Ты не сжигай, но береги*, что является ответом на строки адресата, представленные в эпиграфе: *Тобой целованные руки Сохжу, захочешь, на огне*. Уже атрибуция этих строк выводит на поверхность необычность отношений между адресантом и адресатом и смещение обычного интерсексуального восприятия. И хотя по тексту невозможно определить грамматический род, а значит и пол говорящего (стихотворение написано от 1-го лица настоящего времени), самым органичным становится соотнесение пола лирического субъекта с полом автора. В этом произведении идея доминации в любви переносится и на отношения «мужчина — мужчина», правда, здесь они, начиная с эпиграфа, принципиально обратимы — субъект становится объектом и наоборот. Ср. у Кузмина: *И никогда не уничтожишь Сознанья, что в веках ты — мой. Ты — мой, и ты владеешь мною, Твоим дыханьем я дышу И стон последний заглушу Перед стрелою неземной*. Осью переворачивания здесь становится «стрела», которая имеет как поэтико-мифологическую (стрела Амура), так и эротическую семантику: *Чтоб ты стрелу благословил, «Плененный прелестью певучей»*.

Отношения с любимым у Кузмина становятся аналогичными и родственным отношениям «брать — брат», «отец — сын»: ср. далее в стихотворении к Князеву: *Дороже сына, роднее брата Ты стал навеки душа моей*, а также строки, обращенные к Юркуну: *Бывают мгновенья, когда не требуешь последних ласк, а радостно сидеть, обнявшись крепко, крепко прижавшись друг к другу. (...) Сердце (не дрянное, прямое, родное мужское сердце) близко бьется, (...) Твои руки и грудь пеjasны, оттого что молоды, но сильны и надежны; твои глаза доверчивы, (...) и я знаю, что мои и твои поцелуи — одинаковы, непроторны, достойны друг друга, — зачем же тогда целовать? (...) сидеть, обнявшись крепко, крепко прижавшись друг к другу!.. сердце близко бьется успокоительно, (...) а голос густой и пеjasный, как голос старшего брата, шепчет: «Успокойтесь: все хорошо, спокойно, надежно, когда вы вместе»*. Как мы видим, маркерами близости в этих стихотворениях так же, как и в случае гетеросексуальных отношений, выступают глаза, губы, руки, грудь, сердце, и они оформляют проксемное пространство стихотворения. Однако к этим визуальным и тактильным «носителям» добавлен еще голос, который, по

мнению Ж. Лакана, так же как и взгляд, знаменует собой вхождение субъекта в зону Другого.

«Мой женский брат» — так первоначально было названо и эссе М. Цветаевой, известное как «Письмо к Амазонке» и обращенное к французской «амазонке» Н. Барни. Стимулом к написанию подобного эссе стали отношения Цветаевой с С. Парнок и С. Голлидэй — первой она посвятила стихотворный цикл «Подруга» (1916), второй — «Повесть о Сонечке» (1938). В обращенных к ней стихах Цветаевой Парнок предстает то как «героиня шекспировских трагедий», как женщина со всеми женскими атрибутами (пышным платьем, мехом шубки, брошкой); то наделяется мужскими чертами и атрибутами. Так, сначала «подруга» предстает в мужском облике «демона крутолобого» (*За то, что Вам, мой демон крутолобый, Скажу прости...*), то затем мужские и женские признаки смешиваются (*Незнакомка с челом Бетховена; И лоб Ваш властолюбивый, Под тяжестью рыжей каски*) и двоятся (*Извилина пеярких губ Капризна и слаба. Но ослепителен уступ Бетховенского лба*). ·

Но и сама автор стихов воображает себя то «маленьким мальчиком», «спартанским ребенком» по отношению к адресату (*Ваш маленький Кай замерз, О Спесная Королева*), так что также возникает гендерная асимметрия — одному и тому же субъекту присваиваются то признаки мужского, то женского рода (*Как Вы меня дразнили мальчиком, Как я Вам нравилась такой...*), то поэтесса не может определить свою гендерную принадлежность: *Не женщина и не мальчик, — Но что-то сильней меня!* Она также не в состоянии и дать ответ, кто в этих отношениях сильная, а кто слабая сторона: *Кто был охотник? — Кто — добыча? Все дьявольски-наоборот! (...) Так и не знаю: победила ль? Побеждена ль?* Таким образом, гомосексуальные отношения подаются авторами как более симметричные и обратимые, чем гетеросексуальные, а маскулинность и феминность становятся динамическими концептами. Как считают современные феминистки, «то, что делает возможным лесбийскую сексуальность, в отличие от гетеросексуальности, — это фантазия телесного необладания, то есть не желание по отношению к другой женщине, но структура, которая называется “желание к желанию”» [Жеребкина 2001, 266].

В заключение остановимся на функции подобных переходов, или «шифтов». На наш взгляд, большинство коммуникативных и гендерных «сдвигов» укладываются в компенсаторную модель реструктурирования индивидуальности. Это относится и к обычным переходам в прозаическом повествовании от 3-го лица к 1-го лицу, т. е. переключению из эзегетического плана в план диегетический. Такие переходы были свойственны В. Набокову: например, в рассказе «Тяжелый дым» и романе «Дар» писатель акцентирует множественность «Я» героя и мобильность перехода между инстанциями «Я — поэт» — «Он — простой смертный».

Другим проявлением подобного «сдвига» оказывается нарративная стратегия металеписиса, т. е. вторжения «Я» автора в мир своих героев, к которым он не принадлежит. С явлением металеписиса мы сталкиваемся в недавно опубликованном романе Л. Цыпкина «Лето в Бадене» (1982) — его использование дает автору

возможность поменяться местами с Достоевским: Я-Цыпкин выступает в роли великого писателя, а Федя (Федор Михайлович) лишь один из его героев, который ведет себя аналогично героям самого Достоевского.

И наконец, использование Gender Shifts действительно позволяет автору как бы дополнить себя самой воображаемой «другой половиной», но, как ни странно, большинство этих воображаемых «дополнений», особенно со стороны мужской половины, оказывается чрезвычайно стереотипными. Например, когда Набоков, издававшийся над женской прозой и поэзией и пародирующий своих современниц (А. Ахматову, М. Цветаеву, З. Гиппиус, И. Одоевцеву и др.), сам решился написать рассказ от женского «Я», то потерпел фиаско. «В патетическом голосе героини “Случая из жизни”, — пишет М. Шрайер [2000], — смешалось все то, что Набоков, видимо, презирал в женской литературе и что так высмеивал в своих рецензиях. (...) этот блеклый фельетонный рассказ так и не становится достойной пародией на женское повествование. Вместо этого читатель невольно подмечает корявые швы, там и сям видные на поверхности ткани текста, — и ощущение такое же, как если бы мастеру дамасских клинов вздумалось вышивать гладью».

Ответом на этот «пародийный» парадокс служит замечание Р. Барта [1972, 163]: «Я того, кто пишет Я, — это не то же самое Я, что прочитывается тобою. Это фундаментальная диссимметрия языка, лингвистически объясняемая Есперсоном и Якобсоном в терминах “шифтера” или частичного совпадения сообщения и кода, кажется в конце концов вызывала озабоченность и у литературы, показав ей, что интерсубъективность, или скорее интерлокуция не может быть достигнута одним желанием, а только глубоким, терпеливым и часто лишь косвенным погружением в лабиринты смысла».

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В этом отношении интересна работа Р. Якобсона о великом немецком поэте Гёльдерлине [Якобсон 1987, 364—386]. В ней Якобсон показывает, как после психического заболевания у поэта резко изменилась манера организации стихотворного текста: главное отличие состояло в полном отсутствии шифтеров — показателей 1-го и 2-го лица, на которых строилась грамматическая структура предшествующих стихотворений. Якобсон объяснял такое изменение как утрату способности и воли к диалогической речи.

<sup>2</sup> Вопрос об идентичности «Я» (personal identity), наверное, центральный в современной философии и психологии. Каковы критерии «идентичности» личности? Это прежде всего физическая пространственно-временная континуальность «тела» и «мозга как носителя сознания» (brain — головной мозг и интеллект), но при этом понятие «идентичности» также включает в себя параметры самосознания (self-consciousness) и непрерывности памяти [Friedman 1992; Fitzgerald 1992]. Следовательно, понятие идентичности имеет «биологическую» и «социально-психологическую» составляющие — они вместе выводят нас на так называемую «гендерную идентичность» личности, под которой понимается моделирование личностью своей биологической идентичности в соответствии (или несоответствии) с социально обусловленным каноном для лиц разного пола.

<sup>3</sup> Этот термин введен нейробиологами У. Матураной и Ф. Варелой. Хотя концепция «автопоэзиса» создавалась в области биологии, она приобрела перспективную интердисциплинарную

методологию, так как вобрала в себя идеи кибернетики, когнитивной психологии, нейролингвистики и теории искусственного интеллекта. Основные тезисы ее были сформулированы относительно живой системы как системы сложной, самоорганизующейся и наблюдающей саму себя: (1) «Все, что сказано, сказано наблюдателем... Наблюдатель — человек, т. е. живая система, поэтому все, что справедливо относительно живых систем, справедливо также относительно самого наблюдателя»; (2) «Тот мир, который мы видим, не есть определенный мир, но некий мир, который мы созидаем вместе с другими»; (3) «Живые системы — это когнитивные системы, а жизнь как процесс представляет собой процесс познания». Принцип операционной замкнутости был выдвинут как один из основных принципов автопоэзиса: в силу необходимости иметь возможность отличить одну сущность от другой часто в роли второй сущности оказывается сам наблюдатель.

<sup>4</sup> Надо отметить, что рыжий цвет волос был отличительной чертой облика самой И. Одоевцевой. У нее даже есть стихотворение, в котором обыгрывается гендерная параллель «рыжая женщина — рыжая кошка», правда, от женского лица: ср. *Вот вхожу я к тебе кошкой рыжей... Не уйти тебе от кошки рыжей — С рыжей женщиной ты был жесток* («Под окном охрипшая ворона...»).

<sup>5</sup> «Гадание» от первого женского лица часто можно встретить в произведениях молодой А. Ахматовой: ср. *О нем гадала я в канун Крещенья. Я в январе была его подругой; Я гадаю: кто там? — не жених ли, Не жених ли это мой?*...

<sup>6</sup> Эти образцы охватывают не только сценарии «свидания», «разлуки», «ожидания» (*«Весенняя любовь»* И. Доронина, *«Беглянка»* П. Орешина, *«Атаманова зазноба»* А. Ширяевца), но и фреймы типично женских занятий: вышивания (*«Посадская»* Н. Клюева), прядения (*«Пряха»* М. Праскунина), мытья и полоскания холстов (*«У речки»* И. Доронина). Прежде всего подобные гинотексты встречаются у крестьянских и пролетарских поэтов. Во всех текстах подобного типа семантическое пространство моделируется с точки зрения молодой женщины-крестьянки, почти всегда упоминаются детали ее внешнего облика (ситцевый платочек, коса), реалии ее женского быта, обильные слезы, а также деревья и растения, с которыми обычно девушка ассоциируется в фольклоре: кудрявая рябина, яблонька зеленая, трава-травинушка.

<sup>7</sup> Ср. у Пастернака: *Когда случилось петь Дездемоне, И голос завела, крепясь, Про черный день чернейший демон ей Псалом плакучих русл припас* (*«Уроки английского»*).

<sup>8</sup> С этой точки зрения интересно, что коммуникативный переход от эзекетического повествования от 3-го лица к диегетическому повествованию от первого женского лица в прозе буквально может подаваться как взгляд «ее глазами». Яркий пример — заглавие главы романа Б. Пильняка *«Голый год»* — *«Глазами Ирины (Это маленькая поэзия Ирины: ее глазами)»*, в которой ведущей является реплика героини, обращенная к ее «любирю»: *«Разве мужчины просят? — мужчины берут! Берут свободно ивольно, как разбойники и анархисты! В жизни все-таки есть цари, — те, у кого мышцы сильны, как камень, воля утруга, как сталь, ум свободен, как черт, и кто красив, как Аполлон или черт...»* [Пильняк 1990, 87].

<sup>9</sup> Для Пастернака, в связи с образом *«Девочки»*, женская ипостась *«Я»* едва ли не более важна, чем мужская. Сам Пастернак пишет об этом в письме к Цветаевой (11.7.1926): *«Во мне пропасть женских черт. Я черезсур много сторон знаю в том, что называют страдательностью. Для меня это не одно слово, означающее недостаток; для меня это больше, чем целый мир. Целый действительный мир, т. е. действительность сведена мною (во вкусе, в болевом отзыве и в опыте именно к этой страдательности, и в романе у меня герояния, а не герой — не случайно»* [Переписка, 385—386] (романом здесь именуется *«Детство Люверса»*). Далее поэт пишет о Н. Тихонове, проведшем 7 лет на войне, и в соседстве с которым *«все его [Пастернака] особенности достигают силы девичества, превосходя даже степень того, что называют женственностью»* [Там же]. Стихотворной иллюстрацией этих слов являются приведенные в письме строки И.-Р. Бехера, которые в переводе звучат так: *Мой взор застлан слезами, Я чувствую себя далеким и женственным...*

<sup>10</sup> Среди них наиболее известны «Семейное счастье» Л. Толстого, «Золотой узор» Б. Зайцева, «Последние страницы из дневника женщины» В. Брюсова, «Случай из жизни» В. Набокова; из современных — «Русская красавица» Викт. Ерофеева, несколько повестей Нины Габриэлян, «Мужской роман» О. Новиковой (о последнем см. подробно [Фатеева 2002]).

<sup>11</sup> О нарциссических нарративах см. [Hutcheon 1984].

<sup>12</sup> Ср. *Не знаю, зачем это понадобилось живущему в зеркале? Ведь на других женщин от так не реагировал. По всей видимости, Полина заняла в моей жизни то место, на которое до нее не претендовали, — его место* [Габриэлян 2001, 57—58].

<sup>13</sup> Ср. *Мы ласкали ее в четыре руки, человали плечи, детские, хрупкие, под нашими ласками она двоилась...* [Габриэлян 2001, 63].

<sup>14</sup> Надо заметить, что у Кузмина есть несколько стихотворений, написанных от женского лица, но, в основном, это стихотворения, укладывающиеся в традиционные подражательные структуры: «Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было...», «Разве неправда...», «Не знаю, как это случилось...», «Не похожа ли я на яблоню...» и др.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Барт 1991 — *Барт Р.* Фрагменты речи влюбленного. М.: Ad marginem, 1999.
- Брюсов 1991 — *Брюсов В.* В зеркале: Из записок психиатра // *Брюсов В.* Последние страницы из дневника женщины. М., 1991.
- Габриэлян 2001 — *Габриэлян Н.* Хозяин травы. М., 2001.
- Гин 1992 — *Гин Я. И.* Поэтика грамматического рода. Петропавловск, 1992.
- Жеребкина 2001 — *Жеребкина И.* Страсть: Женское тело и женская сексуальность в России. СПб., 2001.
- Йокояма 2002 — *Йокояма О.* Когнитивный статус гендерных различий в языке и их прагматическое моделирование // *Gender-Forschung in der Slawistik. Wiener Slawistischer Almanach, Sbd. 55.* Wien, 2002.
- Николаева, Успенский 1966 — *Николаева Т. М., Успенский Б. А.* Языкоизнание и паралингвистика // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966.
- Одоевцева 1989 — *Одоевцева И.* На берегах Сены. М., 1989.
- Пастернак 1989—1992 — *Пастернак Б. Л.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1989—1992. Т. 3. М., 1990.
- Переписка — Переписка Бориса Пастернака. М., 1990.
- Пильняк 1990 — *Пильняк Б.* Человеческий ветер: Романы, повести, рассказы. Тбилиси, 1990.
- Фатеева 2002 — *Фатеева Н. А.* Современная русская «женская» проза: способы самоидентификации женщины-как-автора // Стил. № 1. Белград, 2002.
- Цветаева 1986 — *Цветаева М.* Проза. Кишинев, 1986.
- Шраер 2000 — *Шраер М.* Почему Набоков не любил писательниц? // Дружба народов. № 11. 2000.
- Эпштейн 2003 — *Эпштейн М. Н.* Поэтика близости // Звезда. 2003. № 1.
- Якобсон 1972 — *Якобсон Р.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
- Якобсон 1987 — *Якобсон Р.* Взгляд на «Вид» Гельдерлина // Работы по поэтике. М., 1987.
- Barthes 1972 — *Barthes R.* To write? An intransitive verb? // The Structuralists. Garden City, 1972.
- Fitzgerald 1992 — *Fitzgerald P.* Carry on being: An investigation into continuity of personal identity. Dissertation submitted for BA Hons, Brighton Polytechnic, 1992.
- Friedman 1992 — *Friedman J.* Narcissism, roots and postmodernity: the constitution of selfhood in global crisis // Modernity and Identity. Oxford UK & Cambridge USA, 1992.
- Hutchesson 1984 — *Hutchesson L.* Narcissistic narrative. The metafictional paradox. N.Y.; L., 1984.
- Pratt 1989 — *Pratt S.* The obverse of self: gender shifts in poems by Tjutchev and Axmatova // Russian Literature and Psychoanalysis. Amsterdam; Philadelphia. 1989.

*M. B. Завьялова*

## ФОЛЬКЛОРНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В НОВЕЛЛЕ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ «ЛОКИС» \*

**Медведь.** Когда какая-нибудь первая попавшаяся принцесса меня полюбит и поцелует — я разом превращусь в медведя и убегу в родные мои горы.

**Хозяйка.** Боже мой, как это грустно!

**Хозяин.** Вот здравствуйте! Опять не угодил...  
Почему?

**Хозяйка.** А о принцессе-то вы и не подумали?

*E. Шварц. Обыкновенное чудо*

**О**ценивая авторское произведение через призму народной культуры, мы неминуемо сталкиваемся с проблемой разграничения художественного вымысла, игры воображения писателя и некоторой архетипической реальности, лежащей, как правило, в основе любой фантазии. Новелла Мериме «Локис» относится как раз к разряду таких произведений, в которых фантазия, игра (с немалой долей иронии) и фольклор переплетены в единое целое. Фольклорная и мифологическая основа произведения очевидна. Несомненно, автор сознательно старался использовать известные ему данные, касающиеся литовской народной традиции (об этом подробно см. исследования: [Urbšienė-Mašiotaitė 1930; Venclova 1969 и сокращенный русский перевод: Венцлова 1999; Nastopka 1998]. Однако не менее интересно и то, что, возможно, осталось за гранью рационального восприятия писателя, но так или иначе оказалось отражено в произведении — что-то, вероятно, благодаря интуиции автора, что-то, может быть, на уровне неосознанных архетипов.

Известно, что П. Мериме интересовался народными традициями, особенно нецивилизованных, «диких» народов, в которых он стремился найти образцы «чистого» человеческого естества. В новелле «Локис» писатель также воплотил

\* Благодарю Андрея Дмитриевича Михайлова, побудившего меня обратиться к этой теме. Также выражают большую признательность Ниёле Лауринкене за помощь при сборе материала и Дайнюсу Резаускусу за предоставление необходимой информации, полезные консультации и ценные замечания.

свои постоянные искания человека «естественного», «натурального», истинной сущности человеческой природы. Неудивительно, что местом для поисков он избрал Литву — далекую и непонятную для него окраину Европы, где сохранился древний язык и самобытные верования. Неудивительно также и то, что главным персонажем новеллы является медведь, выступающий во многих традициях мира яркой фольклорной и мифологической ипостасью. Фабула и главная идея новеллы, кажется, проста и прозрачна: «дикой», «варварской» стране с сильными языческими традициями и первозданной природой противопоставляется цивилизованный, христианский и ученый мир в лице профессора лингвистики и одновременно пастора, который явился ее «образовывать» — т. е. дать письменность умирающему языку и Слово Божье невежественному народу. Ведущей линией новеллы, как и других произведений Мериме, является двойственность человеческой природы, в которой борется первозданная дикасть с цивилизованностью, инстинкты и чувства с логикой и разумом, «звериная» природа с человеческой. В данном случае фигура графа Михаила Шемета олицетворяет языческую Литву, фигура профессора Виттембаха — христианский Запад; исследователи [Nastopka 1998] подчеркивают, что оппозиция «дикий» — «цивилизованный» в новелле имеет не только общекультурное и конфессиональное, но и лингвистическое воплощение: отсутствие языка (или бесписьменный язык) *vs.* литература, изучение языка, образование. Противопоставление это можно усмотреть даже на уровне значений имен главных персонажей: в фамилии профессора Виттембаха просматривается сочетание лексем нем. *wittern* ‘(нюхать) чуять’, *Witterung* ‘нюх, чутье’ (ср. д.-в.-н. *wizdan* ‘знать’, гот. *witan*, др.-инд. *vidā* ‘знание’, англ. *wit* ‘ум, разум’) и *Bach* ‘ручей (ключ, источник)’, что можно было бы интерпретировать как ‘источник разума’; фамилия графа Шемета отсылает к лексемам с комплексом значений ‘невнятные звуки, неразумная речь, шепот’ (ср. лит. *šetēti* ‘шепестеть, шуршать’ [LKŽ, XV, 630]; *šamatūoti* ‘болтать’; *šamatà* ‘кто чушь говорит, болтает’; *šamatākas* ‘болтун, хвастун’ [LKŽ, XV, 497]; рус. *шамать* ‘шамкать, шуршать, шаркать’, укр. *шамати* ‘шуршать’ [Фасмер, IV, 402], *шамишурить* ‘шептать’, *шамша* ‘болтун, лгун’; *шамшить* ‘шептать, нашептывать, болтать’) [Фасмер, IV, 403]<sup>1</sup>.

Таким образом, Жемайтия с ее «умирающим» языком и жителями, не умеющими читать, стоит на одном полюсе, а образованная Европа, стремящаяся дать ей Веру и Слово (т. е. Евангелие на местном языке) — на другом. То, что происходит на уровне взаимодействия культур, мы можем проследить и на примере внутренней драмы одного человека — главного персонажа новеллы Михаила Шемета, в котором цивилизованность и дикасть находятся в постоянной борьбе. В результате этой напряженной внутренней борьбы «звериная» природа одерживает верх, жертвой оказывается невинная девушка, олицетворяющая светскость и образованность («литовская муз»), а потрясенный профессор возвращается в свой мир, пытаясь объяснить произошедшее свойственным ему логическим путем — этимологией имени зверя.

Но так ли все просто и однозначно в этом сюжете? Почему все-таки Мериме выбрал именно Литву, хотя культ медведя был известен почти во всей Европе, и

не только в ней? Ведь о Литве он мало знал, гораздо лучше был знаком с Польшей и Россией, откуда он и почерпнул материал для новеллы (из произведений Мицкевича и Пушкина и из переписки с Тургеневым). С другой стороны, почему писатель выбрал именно образ медведя, когда первым по популярности в сфере «оборотничества» традиционно считается волк? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, обратимся сначала к некоторым неточностям, несовпадениям с реальностью, которые были отмечены многими исследователями этого произведения Мериме.

Прежде всего бросается в глаза несоответствие исторического времени и социальных реалий, описываемых в новелле<sup>2</sup>. Мериме продлил срок существования прусского языка более чем на 100 лет, в то же время жемайтийский язык объявил исчезающим, хотя он существует и поныне. Мериме также упоминает никогда не существовавшие книги и издания. Не соответствуют реальности и социальные отношения, изображенные в новелле: по свидетельству литовских специалистов, после восстания 1863 г. (о котором не мог не знать Мериме, так как после этого восстания многие литовцы эмигрировали во Францию, и есть свидетельства того, что Мериме был знаком с некоторыми из них) литовская знать не могла общаться с русскими генералами и запросто приглашать их на обед, так же как панна Ивинская не могла веселиться на офицерском балу в Вильнюсе. Не вполне правдоподобным выглядит и то, что граф Шемет изображен протестантом, в то время как в Жемайтии протестантизм не был распространенной религией, скорее это было актуально для Пруссии, т. е. Малой Литвы [Nastopka 1998]. Известно, что Мериме интересовался, какие еще религии кроме католичества распространены в Литве. Видимо, в данном случае граф Шемет был «обращен» автором в иную, отличную от распространенной веру намеренно — таким образом он оказывается на одном уровне с профессором Виттембахом, представителем протестантской Европы, что еще больше подчеркивает их различия во всем остальном.

Довольно много несовпадений и в картине быта, ритуалов и фольклора, изображенной Мериме. Он вводит колоритное описание литовского леса — непроходимой чащи, в которой господствует «звериное королевство», однако среди зверей он упоминает и таких, которые давно исчезли. Возможно, этот прием служил цели создания общей картины «вневременности» затерянного в пространстве уголка первозданной природы и жизни. Для усиления колорита Мериме вводит описание колдуны со змеей — это очень верный ход, поскольку культ змеи действительно пользовался в Литве необычайной популярностью и сохранялся весьма длительное время. «Нежные» отношения со змеями — не редкость в Литве, однако невозможно представить, чтобы кто-то обращался к ней именем языческого бога-Громовержца Перкунаса. Как известно, бог-Громовержец и змей в индоевропейской мифологии представляют собой две противоположные ипостаси, мог ли об этом не знать Мериме, увлекавшийся мифологией и фольклором? Возможно, эта нестыковка добавляет парадоксальности в сюжет, и так отмеченный смешением времени и фактов, схождением противоположностей. Незнанием реалий и смешением традиций вследствие некоторого отождествления литовцев со славянами

можно считать многочисленные отсылки в новелле к русской культуре (сарафан, игра в дурака, танец «Русалка»). Однако последнее выглядит уж слишком нарочито, чтобы можно было это принять за случайность.

Танец Юльки играет в новелле ключевую роль — призванный якобы имитировать народные обычай, он фактически служит завлечением графа, чреватым соблазнением и гибелью последнего, который, потеряв разум и самообладание, должен последовать за русалкой в «черное болото». Вот что говорит о нем Юлька: «Русалка — это водяная нимфа. В каждом из болот с черной водой, которыми славятся наши леса, есть своя русалка. Не подходите к ним близко, не то вынырнет русалка, еще прекраснее меня, если это возможно, и увлечет вас на дно, а там уж наверно загрызет вас...» (...) «Он, — продолжала панна Ивинская, указывая на графа Шемета, — молодой рыбак, простачок, который попался в мои когти, а я, чтобы продлить удовольствие, его зачаровываю, танцуя вокруг него...» [Мериме 1978]. Таким образом из невинной жертвы панна Ивинская превращается в коварную соблазнительницу из потустороннего мира, стремящуюся увлечь за собой графа, который сам в свою очередь играет роль невинной жертвы; и заключительным аккордом танца должно было бы быть падение графа, изображающего бездыханное тело. Однако он неожиданно изменил ход действия и роли: вместо жертвы он превращается в победителя и овладевает коварной кокеткой (т. е. целует ее). Несомненно, этот эпизод является предвестником дальнейшего развития сюжета.

По мнению исследовательницы творчества Мериме Кларис Рекена, этот эпизод перекликается с поэмой Пушкина «Русалка», с которой Мериме, несомненно, был знаком [Requena 2000]. В пушкинской «Русалке» сюжет иной, однако присутствует мотив свадьбы, невинной жертвы, которая тем не менее жаждет мести (а именно соблазнения и увлечения на дно предавшего ее князя). Насколько на Мериме повлияла именно поэма Пушкина, неизвестно, однако доподлинно известно, что, работая над новеллой, Мериме интересовался, как в Литве называются феи, колдуны и есть ли там русалки (это следует из переписки писателя с польским литератором Эдмундом Хоецким [Venclova 1969, 76]). Несомненно, образ русалки связан с представлениями о женской демонологической природе, которая обладает вредоносной силой (именно по отношению к мужчинам). Немаловажно и то, что русалками, по народным поверьям, становились девушки, умершие до замужества или просватанные, то есть не успевшие еще достичь единения с мужским началом и обладающие поэтому в некотором смысле «истинной» женской сущностью. Таким образом, русалка является одновременно и жертвой, и нечистой силой, демонологическим существом, губящим мужчин. Мужчина (в данном случае и князь у Пушкина, и граф Михаил Шемет у Мериме) становится жертвой женского коварства, а priori принадлежащего потустороннему миру.

Идея свадьбы как соединения противоположных начал, объединение мужского и женского, земного мира и иного, символическая смерть и возрождение, приобретает у Мериме архетипическое, мифологическое звучание, и здесь мотив медведя находит как нельзя лучшее выражение. Как известно, культ медведя был связан у многих народов с идеей плодородия, продолжения жизни, что нашло отражение в

свадебных обрядах. В Литве «медведем» часто назывался сват или сама невеста в свадебных обрядовых песнях, маски медведя часто надевали гости-ржаные, пришедшие на свадьбу [Vélius 1987, 102]. Особенno сохранились фольклорные данные об этом в Жемайтии: ср. жемайтскую версию свадебной песни: *meška matužė kraitelj klojo* ‘медведица-мать корзинку накладывала’ [Vélius 1987, 59]. Молодоженам для плодовитости в первую брачную ночь подавали жареные яйца медведя или козла [Repšienė 1997, 104]. Еще в середине XX в. в Литве называли роженицу медведицей [Gimbutienė 1989, 34]. Когда роженица после родов впервые входила в баню, ее встречали криками: *Meška, ateina! Moterys, išeikite, nes meška ateina! Meška ateina, eikit iš pirties!* ‘Медведица идет! Женщины, выходите, потому что медведица идет! Медведица идет, выходите из бани’. Образ медведя был тесно связан с сексуальными коннотациями: «Существует множество текстов из раздела неприличных песен, в которых мотив убийства черного медведя означает половые отношения, а *lācis* (медведь) становится эквивалентом женских половых органов (волосистой части)» [Reidzanė 1992, 194]. Таким образом, медведь предстает однозначно в женской ипостаси, является воплощением женского начала, материнства. Надо отметить, что в славянской традиции также сохранились некоторые поверья, указывающие на взаимосвязь медведицы с роженицей: считалось, что целительная сила медведя избавляет беременную от угрозы колдовства; существует сказочный мотив воспитания медведем детей, которыми была беременна женщина в момент встречи ее с медведем; бытовало поверье, что по тому, как берет медведь хлеб из рук беременной женщины, можно судить о поле ребенка [Иванов, Топоров 1965, 160]. Однако все эти данные указывают лишь на следы бытования когда-то культа медведицы-роженицы, в то время как в литовской традиции эти свидетельства более очевидны.

Литовский культ медведицы-матери подкрепляется также фольклорными данными, в которых медвежья утроба сравнивается с человеческой жизнью, сам медведь — метафора не только хозяеки дома, но и самого дома, печки, бани, улья, ср. поговорку: *Mirė meška, mesk šalin ir dūdas (žmonai mirus, baigiasi draugystė su jos giminėmis)* ‘Умер медведь, выбрасывай и дудки (когда умерла жена, прекращается дружба с ее родственниками)’ [Balys 2000, 87]; загадки: *Meška stovi, grobai kruta* [LMD, I, 723(121)]; *Meška tupi, viduriai (žarnos) kruta* [LTR 4513 (21)] ‘Медведь стоит, бедра шевелятся’; ‘Медведь сидит, внутренности (кишки)<sup>3</sup> шевелятся’ = изба; *Guli meška negyva, viduriuose kruta* [LTR 4511 (478)] ‘Лежит медведь неживой, внутри двигается’ = баня; *Meška guli, meška tiso, meškos pilve jomarkas pyška* [LTR 1609 (166)] ‘Медведь лежит растянувшись, в животе медведя ярмарка шумит’ = улей. Подобно сравнению внутренностей, кишок и бедер медведя с жизнью людей и пчел, другие отдельные части его тела сравниваются с частями дома: *Augulis ant augilio, augulis ant augilio, o ant augilių meška guli* [LMD, I, 733 (40)] ‘Росток на ростке, росток на ростке, а на ростках медведь лежит’ = крыша; *Meškos nagas duonos prašo* [LTR 1001 (441—2)] ‘Медвежий коготь хлеба просит’; *Meškos kojos surakintos* [LTR 421 (540—23)] ‘Медвежьи ноги скованы’ = угловые перекладины дома. Примечательно, что в русских загадках в качестве метафоры избы вместо

медведя часто фигурирует бык: *Стоит бычище, проклеваны бочища* = изба (Ярославская губ.; [Садовников 1901, № 17]). В редких случаях метафора медведя встречается в русских загадках наряду с метафорой быка, ср.: *Медвежий глаз в избе* (Ярославская губ.; [Садовников 1901, № 36(г)]); *Медвежий глаз на полке лежит* (Новгородская губ.; [Садовников 1901, № 36(д)]); *Бык в хлеве, рога в стене* (Московская губ.; [Садовников 1901, № 37]), однако в этих случаях через медведя (быка) загадывается сучок, имеющий опосредованное отношение к избе и миру человека.

Чаще в русских загадках встречаются уподобления медведя некоторым объектам хозяйства, в этом случае они аналогичны литовским; ср. *Dvi meškytės susipjovė, balti kraujai bėga* [LTR 323 (192—7)] ‘Два медвежонка подрались, белая кровь льется’; *Bėga meška maurodama, baltas pusnis (sniega) pustydama* [LTR 5247 (167)] ‘Бежит медведь рыча, белые сугробы (снег) раздувая’ = жернова; *В темной избе медведь ревет* = жернова [Садовников 1901, № 1094]; *Медведь стоит, а уши пляшут* = толчая [Садовников 1901, № 1112] (Псковская губ.); *Meškos papai (nagai, subinė) taukuoti* [LTR 366 (158—51); 1039 (1188); 784 (36)] ‘Медвежьи груди (когти, задница) жирные’ = ковш; *Meškos snukis (kūnas) taukuotas* [LTR 2078 (85); 1912 (15—8)] ‘Медвежья морда (тело) жирная’ = колодезный «журавль»; *Meška senyp, nagai aštryn* [LTR 4527 56 (8)] ‘Медведь старее, ногти острее’ = метла; *Медвежья лата в избе* = помело [Садовников 1901, № 318].

Продолжая линию соотнесения медведя с пространственными объектами, более полно отраженную в литовской традиции, можно вспомнить мотивацию этимологии имени медведя в индоевропейских языках, отсылающую к семантике шерсти<sup>4</sup>, что в свою очередь восходит к комплексу понятий, связанных с и.-е. \**uel-*, в числе которых и производное *h<sub>2</sub>ulaleššar* ‘оболочка, горизонт, окоем’ [Иванов, Топоров 1974, 52]. Таким образом, семантика шерсти, являющаяся главным компонентом значения ‘медведь’, может иметь отношение и к глобальному вместе-лищу всего живого — некоторой оболочке, внутри которой зарождается жизнь. Это может проявляться как в качестве утробы роженицы, так и применительно ко всему мирозданию (ср. название созвездия «Большая Медведица» и связанные с ним поверья). В литовском фольклоре отражается образ медведя, перенесенный в небесную сферу, ср. загадку: *Vidury dvaro meška kabo* [LTR 5304(236)] ‘Посреди двора медведь висит’ = солнце или луна. Примечательно, что в славянской традиции медведь сравнивается, как правило, с луной (а не с солнцем), что, вероятно, отражает представления о его связи с потусторонним миром, ср.: луна — «медвежье солнышко» [Иванов, Топоров 1965, 164], загадка: *Девка коровку доит, а медведь в подворотни глядит* = месяц [Садовников 1901, № 1833] или русский заговор, в котором наряду с медведем выступают месяц и мертвец: *Месяц в небе, медведь в лесу, мертвец в гробу; когда эти три брата сойдутся вместе, тогда пусть болят зубы у раба (имярек)* [Майков 1994, № 75].

Возвращаясь к образу медведя как метафоре дома человека, следовало бы особо отметить связь медведя с образом очага, печки, огня. В Литве ‘медведем’ называли горизонтальный дымоход, ведущий от печи к трубе; пучок хвороста,

используемый для битья печки [LKŽ VIII, 87], ср. также загадки, в которых через метафору медведя загадывается печка, кострище: *Meška šakaliuota* ‘Медведь лучинистый’ = печка [Lipskis 2002, 59]<sup>5</sup>; *Kur tūpėjo meška, liko vieta juoda* ‘Где сидел медведь, осталось черное место’ = кострище [Lipskis 2002, 122]. В последнем примере медведь прямо ассоциируется с огнем, ср. также поверье: «если в усадьбе появится медведь, она когда-нибудь сгорит» [Vėlius 1987, 104] или «если во сне увидишь медведя, в том месте, где увидел, будет пожар» [Elisonas 1932, № 2556]. Таким образом, медведь соотносится с самим человеком, материнским началом, материю-прародительницей, плодородным чревом и охранителем жизни — очагом, домом. Медведь также являлся символом богатства, достатка, благополучия в доме. В Литве существовал обычай обводить медведя вокруг дома, чтобы в нем было благополучие, в новую избу вводили медведя, говорили: «новую избу раньше освящали медведи». Медведь — гарант благополучия, ср. поговорку: *Ramiai gyvena, kaip meškos ausyje* ‘Живет спокойно, как в ухе у медведя’ [Vėlius 1987, 104]. Ухо медведя выступает как источник богатства и в популярной сказке о нелюбимой падчерице, которая оказалась в лесу в жилище медведя и которую он одарил подарками, посыпавшимися у него из уха (AT 480).

Сказки с подобным сюжетом очень распространены на территории Литвы, известны они и в других традициях. Однако здесь мы сталкиваемся с противоположной ипостасью медведя: его принадлежностью потустороннему миру, миру леса, звериному царству. По традиционной линии развития сюжета падчерица, выгнанная злой мачехой в лес на верную погибель, попадает в жилище медведя, который велит ей затопить печку, сварить кашу, подоить (!) медведя и налить в кашу молоко. Далее в сюжете появляется мышь, которая просит дать ей немного каши, но медведь не велит падчерице делать это. Падчерица втайне от него кормит мышь, и та обещает ей помочь. Медведь велит падчерице лечь на припечку, но мышь советует спрятаться под припечкой. Медведь кидает с печки камень, желая убить падчерицу, но за нее отвечает мышь. После неудачной попытки убийства медведь просит падчерицу поискать у него в голове, и падчерица находит в ухе карету с семью лошадьми, на них она уезжает домой [LMD, I, 840 (10)]. Сказка называется «Ведьма-медведица»<sup>6</sup>, и речь в ней идет, несомненно, о женской ипостаси медведя. Детали сюжета: дом, печка, молоко, ухо с богатством отсылает к идее медведицы-прародительницы, однако лес, вредоносная сущность медведицы (ведь она собирается падчерицу убить) соотносит ее с потусторонним миром.

В данном сюжете нет сексуальных коннотаций, однако они появляются в другом, очень распространенном сюжете о похищении медведем женщины и сожительстве с ней, в результате чего, по разным версиям, появляется ребенок — получеловек-полузверь (в литовской традиции знаком его медвежьей природы оказывается опять же именно ухо, о чем свидетельствует и его имя — Медвежеухий), обладающий чудесной силой и выступающий при дальнейшем развитии сюжета в качестве культурного героя. В данном случае налицо смена роли медведя и одновременно его пола: он выступает как жених, мужчина-оплодотворитель, хозяин леса, а не как мать-прародительница и хранительница очага (однако существует и вариант,

в котором медведица похищает священника и у него рождается ребенок — [LTR, 768 (428, 429)], но сюжет о похищении медведем женщины несомненно более популярен). Его функция в данном случае заключается только в том, чтобы дать жизнь необыкновенному человеку, после чего его, как правило, убивают (и делает это его же сын, превосходящий отца по силе и другим качествам). Детали сюжета (он живет обычно в пещере, заваленной камнем, и женщина, ставшая его женой, сбегает от него, переправившись через реку на лодке или с помощью рыбаков) свидетельствуют о хтонической сущности медведя, противопоставляя его тем самым миру человека.

Здесь уместно вспомнить отождествление медведя с лешим, чертом и Велесом — противником Громовержца, отраженное в славянской и балтийской традициях (см. об этом: [Воронин 1960; Иванов, Топоров 1965; 1974; Успенский 1982]). Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров соотносят эту связь с уже упоминавшейся выше этимологией названия медведя, означающей шерсть. Круг понятий, связанных с этим концептом: волосы, скот, воды (волна), власть, — отсылают к проблематике противника бога-Громовержца, повелителя скота и нижнего мира. Такая же роль, видимо, отражается и в приведенных выше сказках: в сказке о падчерице оппонентом медведя оказывается мышь, которая, как показал В. Н. Топоров, является воплощением детей бога-Громовержца, в наказание превращенных в хтонических персонажей [МНМ 1997, II, 190]; в сказке о сожительстве с женщиной медведь живет в пещере, за рекой, похитив женщину, он заваливает пещеру камнем (ср. мотив о сокрытии скота в пещере). Подтверждением хтонической сущности медведя в литовской традиции может служить и изофункциональность медведя и черта: в некоторых сюжетах они взаимозаменяемы. Однако есть поверья и о том, что медведь отпугивает черта.

Ярко отражается хтоническая природа медведя и в сказаниях о его происхождении: пастухи (в вариантах: пахарь, еврей, музыкант) решили напугать людей, спрятавшись под мостом (вар.: у дороги, за кустом, у камня), они накрылись вывернутой шубой. По мосту шел Христос со своими учениками, пастухи выскочили из-под моста, заревели и стали ковылять как медведи. Христос сказал, что за это они и станут медведями; превратившись в медведей, пастухи убежали в лес [LTR, 1118 (79); 989 (15); 1405(165)].

Инверсивная ипостась медведя проявляется в сказаниях, где медведь сравнивается со священником или даже Богом: «Зимой ехал человек по лесу. На медведя напали волки, он вскочил к человеку в повозку. Лошади от испуга кинулись вскачь, и человек из повозки выпал. Пошел человек по дороге, встретил еврея и спросил, не видел ли он кого-нибудь в повозке. Еврей сказал: “видел вашего ксендза, в шкуру одетого, едет, а за ним овечки бегут” (вар.: проезжая мимо кладбища, медведь схватился за крест, выдернул его, с ним и поехал дальше, приехал в деревню, а бабы, решив, что это Бог, стали у него просить благословения)» [LMD, I 483(6)].

Таким образом, медведь предстает одновременно в образе хтонического и божественного персонажа, несущего человеку смерть и благополучие, являющегося одновременно матерью-прапородительницей, хранительницей очага и хозяином

леса, нижнего мира, противником Громовержца. Такая двойственность отражается и в древних культурах, связанных с медведем; корни ее, по-видимому, следует искать в архаических религиозных верованиях. Исследовательница балтийских древностей М. Гимбутене выделяет в пантеоне балтийских божеств два уровня: индоевропейский (связанный прежде всего с божествами небесной сферы, в частности с богом-Громовержцем) и древнеевропейский (доиндоевропейский), связанный с культом земли и матриархатом, во главе которого стоит мать-прародительница. В литовской мифологии образ последней воплотился в богине Лайме, от которой зависела долгая и счастливая жизнь, часто богиня изображалась в виде медведицы [Gimbutienė 1985, 155]. Наряду с этим существовало божество леса — богиня Медейне, хозяйка леса, также имеющая облик медведицы [Dundulienė 1990, 115]. По данным М. Гимбутене: «Медведица, как символ материинства, хорошо известна по скульптурам 5 тысячелетия до н. э. (...) В фольклоре сохранилось много информации о когда-то жившей медведице-прародительнице и медведице-матери, дающей новую жизнь» [Gimbutienė 1996, 179]. Таким образом, получается, что медведь именно в своей женской ипостаси является отражением наиболее архаического пласта европейской культуры. Противопоставление медведя миру людей и соотнесение с хтоническими персонажами, по всей видимости, имеет более позднее происхождение.

Возвращаясь к Жемайтии, стоит отметить, что именно здесь культ медведя отличался особой популярностью. Медведица считалась прародительницей Жемайтии, на гербе Жемайтии, который появился в XV в., изображена черная медведица, стоящая на задних лапах. Сведения об истории появления этого герба довольно туманны. Исследователь литовской геральдики Э. Римша пишет: «...считается, что истоки герба Жемайтии связаны с легендарной теорией о романском происхождении литовских князей. Согласно ей, один из родов, переселившихся из Италии в Литву, назывался Урсинами (лат. *ursus* ‘медведь’). Если это так, то одно в этой истории неясно: вызвала ли теория романского происхождения появление и укоренение на Жемайтийской земле этого герба или символ медведицы, использовавшийся до этого в Жемайтии, был хитро вплетен литовскими летописцами в легендарное повествование» [Rimša 1998].

Примечательно, что подобный вопрос ставит перед нами и новелла Мериме. Известно, что вскоре после публикации новеллы обнаружилось, что в Литве действительно живет некая семья Шеметов, имеющая в своей родовой истории грустный эпизод, связанный с медведем: якобы один из Шеметов держал у себя в доме медведя, который однажды напугал его беременную жену, и у него родился ненормальный ребенок. Мериме поначалу обвиняли в том, что он изобразил в новелле реальную семью, переиначив их семейную историю по-своему; однако из писем Мериме следует, что он не знал о существовании в настоящее время такой фамилии и просил извинить его за то, что «опозорил» честный род [Venclova 1969, 78]. На самом деле никто и не думал обижаться, а история о медведе с гордостью была принята настоящими Шеметами как семейное предание. То, что новелла по-

служила толчком для развития легенды, очевидно, однако примечателен тот факт, что история была принята весьма охотно.

Жемайтия действительно была выбрана автором новеллы не случайно: именно здесь кульп медведя сохранился в своей первозданности, и многие языческие обычаи позволяли долгое время считать ее «дикой» страной, сильно отставшей в своем развитии от цивилизованного мира. Вот что писал о своем путешествии в Жемайтию в 1589 г. Йоханн Давид Вандерер: «Далее мы отправились в Жемайтию через густые и необыкновенно большие леса, в которых в разное время при свете дня возникали страшные видения и привидения. Ученые считают, что так происходит потому, что до сих пор многие люди живут как звери, без веры и религии, и не только почитают своих животных и другие змеиные страшилища, но еще и потому, что они с помощью дьявола превращаются в волков и медведей, так что сатана, как мы видим, у них еще имеет большую силу; они тогда в разных видах появляются перед путешественниками, могут напасть на них в облике волка и задрать» [BRMŠ 2001, 637—639]. По данным археологических раскопок, литовских князей хоронили с медвежьими и рысьими когтями — считалось, что с их помощью покойник легче сможет забраться на гору, в царство мертвых. Продырявленные клыки медведей и кабанов находили при раскопках литовских курганов [Vélius 1987, 103]. Все это, несомненно, свидетельствует об укорененности культа медведя у древних литовцев.

Литва, естественно, не является уникальной в распространении культа медведя — известен он и в других странах Европы, и в Сибири; однако литовский фольклор и мифология действительно сохранили большое количество архаических деталей, связанных с почитанием медведя. Некоторые исследователи даже считают, что сказки с сюжетом о падчерице в гостях у медведя распространились по всему славянскому и североевропейскому ареалу из балтийской традиции: «В. Е. Робертс, пытаясь установить ареал происхождения и распространения архетипа и подтипов сказки типа АТ 480, утверждает, что сказка “Падчерица в избе медведя” появилась в балтийских краях или в России и отсюда перешла в другие страны [Roberts 1958, 149]. ... Многочисленные записи сказки “Падчерица в избе медведя” показывают, что у литовцев из всех сказок о невинно преследуемой падчерице она была самой популярной» [Seselskytė 1985, 43]. К слову сказать, в собрании сказок А. Н. Афанасьева есть только одна сказка, отчасти повторяющая этот сюжет (с той разницей, что медведь убивает двух девушек и высасывает их кровь (!), а одна спасается благодаря мыши), и записана она в Белоруссии [НРС 1957, № 557]. Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров также отмечают, что остатки культа медведя особенно сохранились у белорусов [Иванов, Топоров 1965, 161], что позволяет сделать предположение о балтийском влиянии на славянскую традицию.

Возвращаясь к новелле Мериме, следует отметить, что, несмотря на многие неточности, отмеченные выше, автор гениально уловил суть литовской народной традиции, подметил важные ее черты и особенности, а что-то, вероятно, просто интуитивно почувствовал. Это проявляется не только в основном сюжете, но и в отдельных эпизодах, перекликающихся с литовской мифологией и фольклором.

Например, игра с горшком меда<sup>7</sup>, несомненно, имеющая аллюзии с природой главного персонажа, в контексте литовской обрядности приобретает и еще один смысл: мед участвует в литовском свадебном обряде, невесте мажут губы медом и завязывают глаза, потом ее ведут вокруг всего дома, она должна коснуться всех дверей и постучаться. Это связано с поверью, что молодую невесту из родительского дома выманивает пчелиный бог Бубилас. Перешагивая порог будущего дома, молодая невеста вырывается из власти Бубиласа и переходит под покровительство богини пчел Аустеи, производительницы благ и бережливой хозяйки [Nastopka 1998, 60]. Даже название места действия — Мединтилтай, что в переводе означает «деревянные мосты», отсылает к приведенным выше сказаниям о превращении Христом человека в медведя, который прятался под мостом. Мотив питья крови медведем, так усиленно обыгрываемый у Мериме<sup>8</sup>, помимо символического значения, имеет еще и параллели в литовском фольклоре: существует сказание, в котором медведь просит комара сказать, чья кровь вкуснее, чтобы он знал, кого нужно загрызать: людей или животных. «...Комар попробовал, вкуснее всего оказалась кровь пахаря. Медведь пошел в то место, где был пахарь, но его не нашел. Теперь медведь потому всех подряд и грызет, что не знает, чья кровь вкуснее. Если бы нашел тогда человека, то только людей бы и загрызал» [LTR, 1248 (51)]. Согласно другому сказанию, медведь поймал женщину в лесу и начал сосать ее грудь, высосав молоко, начал сосать и кровь. Женщина вытащила нож и убила медведя [LTR, 1438 (328)]. По народным поверьям, медведь не загрызает людей, а только, поймав их, лижет языком. Но язык у медведя такой острый и жесткий, что он впивается глубоко под кожу, и им медведь всю кровь человека выпивает [LTR, 1657 (26)]. Это поверье просто полностью повторяет концовку новеллы Мериме.

Интересно, что литовские исследователи новеллы интерпретируют поступок главного героя так же неоднозначно, как неоднозначен его прообраз в литовском фольклоре: «Как хтоническое существо, медведь выступает в весенних ритуалах, когда он пробуждает и оплодотворяет землю. Двусмысленность фольклорного мотива — одновременно это и зверь, и культурный герой — позволяет двузначно интерпретировать и медвежью природу графа Шемета. Выпивая кровь панны Ивинской, граф-медведь исполняет тот же ритуал, что и участники свадебного обряда, пьющие “кровь невестки” для продолжения рода. То, что в дневнике профессора оценивается негативно, как победа зверя над человеком, в мифическом контексте приобретает положительное значение. Превращаясь в медведя, граф становится священным животным. Принимая медвежью долю, он помогает понять, что наряду со Священным Писанием есть и другие священные тексты, которые также следует уважать и ценить» [Nastopka 1998, 56—57]. Таким образом, исследователь постулирует священность архаических взглядов литовцев-язычников, считавших оправданными кровавые жертвы, и противопоставляет христианское мировоззрение верованиям своих предков, склоняясь к истинности последних. Если французские исследователи творчества Мериме подчеркивали его убежденность в невозможности слияния двух начал человека и обреченности на провал любых попыток их сближения (ср.: «В “Локисе” равновесие Природы и Совести оказывается не-

возможным. Звери, сосланные к людям, погибают так же, как и люди, пришедшие в лес... Любая попытка совместить звериную природность и цивилизацию — это нарушение, поэтому оно гибельно, обречено на поражение. Настоящий пессимизм “Локиса” проявляется в том, что человек вынужден выбирать животворящие, но губительные силы или равнодушную, бескровную цивилизацию и что синтез этих двух полюсов в одно и то же время является обязательным, но невозможным» [Simonsen 1994, 95]), то литовские литературоведы считают иначе. Выбор, который французскому исследователю кажется невозможным, не представляет проблемы для литовца, он приписывает этот выбор и профессору Виттембаху, и самому Мериме: «Предлагая свою этимологию медведя, профессор Виттембах не только разгадывает загадку истории графа как Эдип, роль которого он не хотел принимать, но в определенном смысле сам становится вайдой — литовским бардом. Эту роль, не найдя лучшего литовского соответствия слову “профессор”, Виттембаху назначает граф. Проспер Мериме дает два взгляда — христианский и языческий, — готовясь сказать, какой из них правильный. Он подводит к мысли, что мир открывается человеку не только как парабола Святого Писания, но и как загадка Сфинкса» [Nastopka 1998, 58]. Таким образом, в наше время, в конце XX в. (цитированные исследования были написаны в 1994 и 1998 гг.) мы можем говорить о противопоставлении жемайтийского (литовского) мира европейскому; христианскому мировоззрению — языческого, которое кое-где живо и поныне.

Исследуя стереотипы Литвы, Виргиниус Савукинас отмечает особую роль леса, который «маркирует нецивилизованность, указывает на антикультурное пространство, в котором могут произойти неожиданные вещи, в котором можно встретить всевозможные природные казусы. Лес уже теряет религиозную коннотацию (место дьявола), но сохраняет негативное значение: это место неприятных явлений и существ. Однако уже во второй половине XIX в. литовское национальное движение все больше развивается. Литовцы сами начинают о себе говорить. Вместе с тем перенимаются и метафоры, которыми писалось и думалось о Литве. Литовцы сами начали создавать свои мифологии, в которых отрицательные коннотации леса были заменены на положительные» [Savukynas]. Таким образом, то, что отмечал Мериме, частично руководствуясь отрывочными знаниями о Литве, частично собственным вымыслом, актуально и сейчас, и проблема двойственности человека и человеческой цивилизации является насущной проблемой для Литвы, совмещающей и в наше время стремление к европейской цивилизации и возврат к древнейшим своим корням, имеющим истоки в гуще непроходимых жемайтийских лесов.

Обращаясь еще раз к проблеме двойственности, вспомним концовку новеллы Мериме, когда профессор Виттембах объясняет своим слушателям этимологию наименования медведя в литовском языке. Мериме, который интересовался лингвистикой и, несомненно, наделил своих персонажей «говорящими» именами, в имени графа закодировал другое название медведя — Мишка, Михаил. Однако истинная этимология этого имени — ‘подобный Богу’. В то время как имя панны Ивинской — Юлька — означает ‘ кудрявый, пушистый, сноп’, т. е. семантически отсылает как раз к этимологии медведя. Здесь следует обратить внимание на эпи-

граф к новелле (*Miška su Lokiu abudu tokiu* ‘Мишка и Медведь — одно и то же’), в котором обыгрываются два названия медведя в литовском языке, однако немаловажно и то, что эти два слова разного рода: *meška* — женского, *lokys* — мужского. Первое — славянское заимствование, второе — исконно литовское, восходящее к индоевропейской праформе. В литовском языке более употребительно первое, как и более популярен культ медведицы-матери, а не медведя-самца. Однако именно первое отражено в имени главного героя — мужчины, а второе вынесено в заглавие и обозначено в конце, его же смысл перекликается с именем главного женского персонажа новеллы — Юльки. Не является ли это еще одним аспектом парадоксальной игры Мериме с единством противоположностей? Таким образом, в новелле происходит объединение и пересечение, слияние и борьба не только звериного и человеческого начала, дикого и культурного, языческого и христианского, но и женского и мужского, жертвы и преступника, искусителя и соблазненного, богини-Матери и черта-лешего, и все это отражается в двух литовских словах (исконном и заимствованном), обозначающих медведя.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Значения литовских и русских лексем удивительным образом совпадают, помимо приведенных примеров лексемы с тем же корнем имеют значения ‘непродуктивная работа’ и ‘беспокойное движение’, причем все три комплекса значений (включая речевое) в некоторых словах сочетаются, спр.: *šamatuoti* ‘болтать, ходить взад-вперед, вертеться, наспех что-то делать’, *šemeklinėti* ‘плохо, неумело работать’, *šetmeliotis* ‘немного работать, копаться, скрестись, возиться’ [LKŽ, XV, 629], *шамкаться* ‘вяло делать что-то, долго копаться, возиться, мешкать’ [Даль, IV, 620], *шеметать, шеметиться* ‘заниматься бездельем, пустяками, метаться туда и сюда, суетиться попусту’ [Даль, IV, 628], *šemelioti* ‘бесноваться, беситься, шуметь, гудеть, метаться, сновать (о комарах)’, *šemerioti* ‘прогуливаться, шнырять, всюду лазить’ [LKŽ, XV, 629], *шамать* ‘пришепетывать по-стариковски, шаркать ногами, ходить вяло, волочить ноги’ [Даль, IV, 620]. Фасмер определяет этимологию этих слов как «темную», предполагая, что корень может быть звукоподражательным. Многие значения говорят в пользу этого предположения, и это тем более правдоподобно, учитывая выбор Мериме фамилии главного персонажа: вряд ли он знал о всем комплексе упомянутых значений, однако сам по себе звуковой ряд (глухой шипящий и губной смычный) и связанные с ним ассоциации могли создавать некий образ, соответствующий характеристике персонажа, не говоря уж об анаграмматическом повторе в этой фамилии славянского названия медведя и имени графа (Мишка — Шемет).

<sup>2</sup> Более подробно об этом см. [Venclova 1969].

<sup>3</sup> Ср. сопоставление внутренностей человека и внутреннего пространства дома в русских загадках, где матица загадывается через кишку: *Все кишки вдоль пришли, одна кишка поперек пришла* (Самарская губ.; [Садовников 1901, № 44]).

<sup>4</sup> См. [Топоров 1986, 220].

<sup>5</sup> Ср. также русские загадки: *Стоит медведь, около него сума висит* (Псковская губ. [Садовников 1901, № 135]) = печка и заслон; *У нас под лавкой медвежья лапка* (Пермская губ. [Садовников 1901, № 178]) = полено. Однако эти примеры довольно редки.

<sup>6</sup> Связь медведя с колдовством отсылает к тому же комплексу значений и.-е. корня, связанного с понятием шерсти (и волос): ср. этимологию слав. *волхв, волховать*. В литовских поверьях отражается способность медведя распознать порчу: «Раньше люди, если кому-то не шла в руки лошадь, верили, что медведь обладает способностью показать порчу. У них был обычай для

обнаружения порчи приглашать медвежатника, который приводил медведя к хлеву, где стояли испорченные лошади. Если медведь не шел перед самим порогом в хлев, то медвежатник в этом месте рыл землю и находил «порчу»: волосы или что-то еще. Он таким образом снимал порчу, и лошади шли в руки» [Elisonas 1932, 2552].

7 Игра, придуманная Юлькой Ивинской, состояла в том, что мужчинам завязывали глаза и просили дойти до стены, дотронувшись до нее вытянутой вперед рукой: «Нужно было сделать всего пять-шесть шагов. Я стал двигаться очень медленно, убежденный, что наткнусь на какую-нибудь веревку или табурет, предательски поставленный мне на дороге, чтобы я споткнулся. Я слышал заглушенный смех, что еще увеличивало мое смущение. Наконец, по моим расчетам, я подошел вплотную к стене, но тут мой палец, который я вытянул вперед, погрузился во что-то липкое и холодное. Я отскочил назад, сделав гримасу, заставившую всех расхохотаться. Сорвав повязку, я увидел подле себя панну Ивинскую, держащую горшок с медом, в который я ткнул пальцем, думая дотронуться до стены. Мне оставалось утешаться тем, что оба адъютанта вслед за мной подверглись такому же испытанию и вышли из него не с большим успехом, чем я» [Мериме 1978].

8 «...Конечно, ее можно назвать красавицей... Кожа у нее чудесная... А скажите, профессор, кровь, которая течет под этой кожей, наверно, будет получше лошадиной крови? Как вы думаете?

И он расхохотался, но от его смеха мне стало как-то не по себе. (...)

...Я собирался провести некоторые любопытные подробности относительно спряжения в языке “чарруа”, но граф прервал меня, спросив, в каком месте следует делать надрез лошади, чтобы выпить ее крови.

— Ради бога, дорогой мой профессор, — воскликнула с притворным ужасом панна Ивинская, — не говорите ему! Он способен зарезать всю свою конюшню, а когда лошадей не хватит, съест нас самих» [Мериме 1978].

## ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

- Венцлова 1999 — Венцлова Т. Последняя новелла Проспера Мариме // Т. Венцлова. Свобода и правда. М., 1999.
- Воронин 1960 — Воронин Н. Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI веке // Краеведческие записки государственного Ярославо-Ростовского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Ярославль, 1960. Вып. 4.
- Даль — Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1995.
- Иванов, Топоров 1965 — Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы: (Древний период). М., 1965.
- Иванов, Топоров 1974 — Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- Майков 1994 — Великорусские заклинания: Сборник Л. Н. Майкова. СПб., 1994.
- Мериме 1978 — Мериме П. Локис / Пер. с фр. М. Кузмин // П. Мериме. Новеллы. М., 1978.
- МНМ 1997 — Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1997.
- НРС 1957 — Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1957.
- Садовников 1901 — Садовников Д. Загадки русского народа. СПб., 1901.
- Топоров 1986 — Топоров В. Н. Кельтиберская надпись из Боторриты в свете балто-славянского сравнения // Балто-славянские исследования. 1984. М., 1986.
- Успенский 1982 — Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
- Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. СПб., 1996.

- AT — The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography / Antti: Aarne's Verzeichnis der Märchentypen, translated and enlarged by Stith Thompson // FF Communications. Helsinki, 1961.
- Balys 2000 — *Balys J. Raštai. T. II*. Vilnius, 2000.
- BRMŠ 2001 — Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / Sudarė N. Vėlius, II. Vilnius, 2001.
- Dundulienė 1990 — *Dundulienė P. Senovės lietuvių mitologija ir religija*. Vilnius, 1990.
- Elionas 1932 — *Elionas J. Mūsų krašto fauna lietuvių tautosakoje* // *Mūsų tautosaka*. T. V. Kaunas, 1932.
- Gimbutienė 1985 — *Gimbutienė M. Baltai prieistoriniais laikais*. Vilnius, 1985.
- Gimbutienė 1989 — *Gimbutienė M. Baltų mitologija 2* // *Mokslas ir gyvenimas*, 1989. Nr. 2.
- Gimbutienė 1996 — *Gimbutienė M. Senoji Europa*. Vilnius, 1996.
- Lipskis 2002 — Mjslių skrynelė: 3000 lietuvių mjslių ir minklių / Sudarė Stasys Lipskis. Vilnius, 2002.
- LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1941—2002.
- LMD — Lietuvių mokslo draugijos rankraštynas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).
- LTR — Lietuvių tautosakos rankraštynas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).
- Mérimée 1915 — *Mérimée P. Lokys: lietuvių legenda*. Vilnius, 1915.
- Mérimée 1955 — *Mérimée P. Lokys: novelė: Žemaitijos grafo Šemėtos šeimos tragedija*. Vilnius, 1955.
- Mérimée 1995 — *Mérimée P. Lokys: tekstas ir dvi interpretacijos*. Vilnius, 1995.
- Nastopka 1998 — *Nastopka K. Mīslingoji «Lokio» Žemaitija* // *P. Merimee. Lokys: profesoriaus Wittenbacho rankraštis*. Vilnius, 1998.
- Reidzanė 1992 — *Reidzanė B. Lokio suvokimas latvių liaudies poeziijoje ir etimologijos problema* // *Senovės baltų simboliai*. Vilnius, 1992.
- Repšienė 1997 — *Repšienė R. Sakralumo prasmė. Lietuvių etiologinės sakmės: zoomorfinis aspektas* // *Metai. Lietuvos rašytojų sąjungos metraštis*, 1997. 4.
- Requena 2000 — *Requena C. Unité et dualité dans l'oeuvre de Prosper Mérimée. Mythe et récit*. Paris, 2000.
- Rimša 1998 — *Rimša E. Žemaitijos herbas* // *Žemaičių kultūros draugijos redakcija*. 1998. <http://daugenis.mch.mii.lt/apsamogitia/STORIJA/herbas.htm>
- Roberts 1958 — *Roberts W. E. The Tale of the Kind ant the Unkind Girls*. Berlin, 1958.
- Savukynas — *Savukynas V. Lietuvos stereotipai: miškai* // (<http://www.artium.lt/brevi/varia/misk.html>)
- Seselskytė 1985 — *Seselskytė A. Lietuvių stebuklinės pasakos apie pamotę ir podukrą*. Vilnius, 1985.
- Simonsen 1994 — *Simonsen M. Gamta ir kultūra Merimee «Lokyje»* // *A. J. Greimo centro studijos. Semiotika. T. 3: Lokys: tekstas ir dvi interpretacijos*. Vilnius, 1994.
- Urbšienė-Mašiotaitė 1930 — *Urbšienė-Mašiotaitė M. Prospero Merimė lietuviška novelė «Lokys» = «Lokio» pėdomis ir kt. straipsniai apie lokį*. 1930 (рукопись).
- Vėlius 1987 — *Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis: Folklorinio velnio analizė*. Vilnius, 1987.
- Venclova 1969 — *Venclova T. Dėl Prospero Merimė novelės «Lokis» šaltinių* // *Literatūra XI (3)*. Vilnius, 1969.

*T. V. Цивьян (Москва)*

## ИЗ ЗАМЕТОК О ПОЭТИКЕ КАВАФИСА: КОЛОРИСТИКА КАВАФИСА

### *1. Мотив драгоценностей\**

**Ц**ель предполагаемых заметок — подход к поэтике Кавафиса в несколько ином, чем это обычно принято, аспекте. Речь, конечно, не идет о претензиях на новизну ради новизны. Напротив, мы исходим из тех многочисленных анализов и наблюдений, из тех исследований, которые выявили структуру его поэтического мира и которые, в определенном смысле, верифицированы им самим — в стихах и в прозе — поскольку для Кавафиса жанр автометаописания был чрезвычайно важен. Путь Кавафиса от «сложного» (романтического, парнасского, символистского, от модернистского вообще) к «простому» несомненен. Хрестоматийный пример о скульптуре, который создает свое произведение, отсекая от мрамора лишнее, к Кавафису более чем приложим. Экономия выразительных средств у него такова, что иногда трудно понять, каким образом едва ли не обыденная проза превращается в высокую поэзию (о чем в свое время писал Г. Сеферис).

Эта простота обманчива: она маскирует весьма сложную поэтическую технику. Каждое стихотворение Кавафиса многослойно, но эти слои спрессованы настолько, что образуют некий монолит. Переводчики Кавафиса знают, как трудно преодолеть эту целостность, эту закрытость, как передать «поэтику поэзии Кавафиса», а не превратить ее в прозаический пересказ или другая крайность — не «опоэтизировать» стихи, компенсировав простоту «художественностью»<sup>1</sup>.

Нам представляется, что Кавафис, быть может, не столь однозначно спрятал свой путь, что он не забыл свои собственные начала, но замаскировал их, преобразил до неузнаваемости и оставил следы, пусть неясные, тех поэтических приемов, от которых сам же и отказался: романтизм, восточная орнаментальность, торжественность парнассизма и усложненность символизма и т. п. — все, что так далеко от поэтики зрелого Кавафиса (можно ли сравнить, например, образную перегруженность его ранних «Картин», халдейской, индийской, пеласгийской, с благородным лаконизмом «Фермопил», «Мартовских ид», «Ты не познал» и т. д.).

\* Статья написана при поддержке гранта РГНФ № 03-03-00220.

И все же, хотя бы в виде эксперимента, мы позволяем себе предположить, что первые опыты не были отвергнуты целиком и полностью, но, если можно так сказать, пресуществлены в совершенно иную материю. Неоднократные возвращения Кавафиса к ранним стихотворениям, которые он — при всей требовательности к самому себе — оставлял в своем «Каталоге», как кажется, являются свидетельством в поддержку этого.

В своих наблюдениях мы обращаемся к колористике Кавафиса и здесь выбираем один фрагмент из его цветовой палитры: *драгоценности*<sup>2</sup>. Наша цель показать, как этот способ указания на цвет минимизирует соответствующие эпитеты, являясь одним из способов «поэтического сжатия» и лаконизма, но при этом может прикованно отсылать и к художественным приемам других стилей и эпох.

В первом полном однотомнике стихотворений Кавафиса, вышедшем в 2003 г. в Афинах (составитель и автор вступительной статьи С. Ильинская)<sup>3</sup>, есть стихотворение, которое помещено в раздел «Стихи, сохраненные в архиве»: эти стихи Кавафис не публиковал, но хранил разложенными по конвертам в строгом порядке. Название стихотворения условно, и оно имеет помету «неоконченное, без даты». Можно воспринимать его как набросок, но, как кажется, в нем просвечивают и иные смыслы, принципиально важные для уяснения поэтики Кавафиса. И тогда незаконченность стихотворения может восприниматься как *открытость*, а отсутствие даты — как *панхронность*. Вот это стихотворение и его подстрочный перевод:

#### [ХРОМАТА]

Τα κόκκινα, τα κίτρινα, και τα μαβιά  
των λουλουδιών είν' έμορφα, το παραδέχομαι.  
Αλλά το χρώμα σαν φανταζομαι,  
το σταδερό κι αμέλυντο το χρώμα,  
δεν πάει ο νοος μου στα λουλούδια, αλλά  
στο κόκκινο το δουμπίνη η το κοράλλι,  
στο κίτρινο του τοπαζιού και στο μάλαμα,  
και στους σαπφείρους και των περουζέδων τα μαβιά.

#### [ЦВЕТА]

Красные, желтые и синие [цвета]  
[у] цветков<sup>4</sup> прекрасны, я это признаю.  
Но когда я представляю себе цвет,  
стойкий и чистый цвет,  
мысль моя обращается не к цветкам, но  
к красному рубину или кораллу,  
к желтому [цвету] топаза и к золоту,  
и к [цветам] сапфиров и бирюзы — синим.

Это «яркое», «цветное» стихотворение выделяется на фоне экономной, аскетичной поэтики Кавафиса, который, как уже было сказано, стремится избавиться от эпитетов (прилагательных), тем более таких «прямолинейных». При этом

стихотворение можно считать программным, поскольку оно вполне вписывается в ряд подчеркиваемого Кавафисом предпочтения культуры=искусства природе, более того, дистанцирования от природы, ср. декларативное стихотворение «Искусственные цветы» (1895, 1903):

Мне скучен, тягостен вид настоящих лилий,  
живых нарциссов, неподдельных роз,  
что в пошлости земных садов, из слякоти и пыли  
сегодня выросли, а завтра сгнили —  
недолговечность их горька до слез.

Хочу искусственных<sup>5</sup> цветов, из воска и металла,  
они не вянут, не сгниют, не сбросят лепестков сухих,  
(...)

Люблю стеклянные цветы и золотые.

Искусство на века взрастило их.

Легли эмаль и перламутр на венчики литые,  
чистейшую мечту их формы воплотили,  
а краски — благороднее живых...<sup>6</sup>

(пер. Евг. Смагиной)

Та же мысль косвенно просматривается в стихотворении «Дом с садом» (1917), где *огромный сад* не предназначен для *цветов, деревьев и травы*, хотя (в скобках и со снисходительной ironией) — *пусть будут и они, ведь это так красиво!* (пер. Е. Солововича), и отчасти в прозаическом фрагменте о нелюбви к деревне:

Я никогда не жил в деревне. И не думал о деревне — даже от случая к случаю, недолго, как другие. При этом я написал стихотворение, где воспеваю деревню и пишу, что обязан ей своими стихами. Стихотворение немногого стоит. Это самая неискренняя вещь, какая только бывает; истинная ложь. Но теперь мне приходит на ум: действительно ли это неискренность? Разве искусство не лжет постоянно? Или, точнее, не тогда ли искусство более всего лжет, когда более всего творит? Когда я писал те стихи, не был ли это подвиг искусства? (Если стихи не получились совершенными, это, может быть, не следствие недостатка искренности: как часто человек терпит неудачу, исходя из самых искренних предпосылок.) В тот момент, когда я сочинял стихи, разве не было у меня искусственной искренности? Разве не было мое воображение направлено так, как будто я и на самом деле жил в деревне?

(пер. Евг. Смагиной)<sup>7</sup>

Итак, недолговечность «тленных» цветов противопоставлена вечности камня и металла. Конечно, речь идет об обработанных (драгоценных) камнях и металлах, ставших или «готовых стать» украшениями. Этот мотив появляется и в других стихотворениях, список которых оказывается достаточно пространным. Приведем основной корпус:

(Глаза, как) сверкающие алмазы, кораллового (цвета губы), (зубы, как) жемчуг («Dünya güzeli»<sup>8</sup>, 1884); (стены дома аэда из) магического изумруда («Аэд», 1891, 1892); серебряная (церковная утварь) («В церкви», 1891, 1901, 1906, 1912); (бесчисленные сокровища) серебро, алмазы, золото («Пеластигийская картина», 1892);

(украшения врат, скипетра, венка) сверкающий жемчуг, алмаз, аметист, темный сапфир, драгоценный коралл, золото («Индийская картина», 1892); жемчужный (гребень) («Погребение Сарпедона», 1892, 1898, 1908); (пилон из) серебра («Vulnerant omnes», 1893); золото (из сокровищницы) («Ночной путь Приама», 1893); (перстни с драгоценными) камнями («Гораций в Афинах», 1893, 1897); коралловые (орлы, украшающие эбеновое ложе Нерона) («Шаги», 1893, 1897, 1908, 1909); (любовь к) золоту («Эпитафия», 1893, 1925); (украшения из) сапфиров и алмазов («В доме души», 1894); коралловые (украшения) («Корабли», 1895, 1896); (цветы из) золота, перламутра (эмали, стекла) («Искусственные цветы», 1895, 1903); серебряные (украшения) («Перед статуей Эндимиона», 1895, 1916); золотое (блюдо) («Саломея», 1896); малахитовый (алтарь губительной страсти) («Венки», 1897)<sup>9</sup>; (браслеты с) аметистами, (кольца с) изумрудами, (жезлы, украшенные) серебром и золотом («Ожидая варваров», 1898, 1904); золотые (одежды) («Царь Деметрий», 1901, 1906); (украшенный) бирюзой («Ороферн», 1904, 1916); перламутр, коралл, янтарь («Итака», 1910, 1911); многоценные алмазы («Недовольство Селевкида», 1910, 1915); (пояс с двойным рядом) аметистов и сапфиров, (ленты, расшитые) розовым жемчугом («Александрийские цари», 1912); (розы из) рубинов, (лилии из) жемчуга, (фиалки из) аметистов («В магазине», 1913); сапфирно-синие (глаза) («Вдали», 1914); алмазы («Могила Игнатия», 1916, 1917); опал с серым оттенком («Серые», 1917); (кратер из) чистого серебра («Мастер кратеров», 1903, 1912, 1921); серебряная (утварь) («Иоанн Кантакузин одерживает верх», 1924); драгоценные камни («Из цветного стекла», 1925); (статуя из) золота (и слоновой кости) («Аполлоний Тианский на Родосе», 1925); золотая и серебряная (утварь) («Мирис (Александрия, 340 год), 1929), рубин, топаз, золото, сапфир, бирюза («[Цвета]»).

Этот материал дает возможность составить «словарь драгоценностей» у Кавафиса. Здесь мы ограничиваемся драгоценными и полудрагоценными камнями и металлами, прибавляя (условную) цветовую гамму:

алмаз (бриллиант), (сверкающий) белый; аметист, лиловый, сиреневый; бирюза, голубая, зеленоватая; изумруд, зеленый; жемчуг, (сверкающий) белый, розовый; коралл, красный; малахит, зеленый; опал, серый; перламутр, (сверкающий, переливающийся) белый; рубин, красный; сапфир, (темно)синий; топаз, желтый; янтарь, желтый.

Золото, (сверкающее) желтое; серебро, (сверкающее) белое или «серое».

Строго говоря, этот словарь должен быть расширен за счет разных сортов мрамора (в том числе и прозрачного, называемого лихнитом «светильником»<sup>10</sup>), алеабастра, слоновой кости, эмали, драгоценных пород дерева, драгоценных тканей и т. п. и иногда даже естественных цветов (= цветков), что в конце концов приведет к благовониям и тем самым к одному из основных эротических концептов поэтического мира Кавафиса — *сладострастию θδούγ*. Ср. два из наиболее ярких примеров:

#### ИТАКА

...у финикийцев добрых погости  
и накупи у них товаров ценных —

черное дерево, кораллы, перламутр, янтарь —  
и всевозможных благовоний сладострастных...  
(пер. С. Ильинской)

### АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ЦАРИ

[прекрасный юноша<sup>11</sup>] ...Цезарион  
в одеждах нежно-розового шелка [досл. ‘шелка цвета розы’],  
украшенный [цветочной] гирляндой гиацинтов<sup>12</sup>,  
с двойным узором аметистов и сапфиров  
на пояссе и с [розовым] жемчугом на [белых] лентах,  
увивших ноги стройные его...

(пер. С. Ильинской)

Так составляется цветовая гамма Кавафиса: яркая, сверкающая и переливающаяся и одновременно нежная, тонко нюансированная (‘неопределенная’): белый, серый (сероватый)/серебряный, желтый/золотой, красный/розовый, зеленый, особо проработанным оказывается синий цвет и его оттенки: (темно) синий/лазурный/голубой/цирневый/лиловый<sup>13</sup>.

На прилагательных, обозначающих цвета из этой гаммы, построены по крайней мере два стихотворения Кавафиса, разделенные тридцатилетним перерывом и оба весьма значимые с точки зрения приемов поэтической метафорики; стихотворение в прозе «Одежды» (1894—1897?) — синий, красный, желтый, черный (*κυανός, κόκκινος, κίτρινος, μάυρος*) и «Из цветного стекла» (1925) — красный, зеленый, синий (*κόκκινος, πράσινος, γαλάζιος*).

В первом из них, подчеркнуто символистском, цвета одежды моей жизни, которые хранятся в сундуке из драгоценного эбенового (т. е. черного) дерева, меняются по мере «проживания» этой жизни — от ярких красок детства и юности, с их надеждами, к постепенному выцветанию и мраку:

«Голубые/синие одежды. И затем красные, самые красивые из всех. И затем желтые. И в конце опять синие, но гораздо более блеклые, чем первые, (...) А когда я надену черные одежды и буду жить в черном доме, в темной комнате, я буду время от времени открывать сундук — с радостью, страстью и безнадежностью».

Второе также основано на символе (но здесь Кавафис уходит от поэтики «прямого» символизма, о чем более подробно см. далее). В нем описывается «венчание на царство Иоанна Кантакузина и его супруги во Влахернском соборе в Константинополе. Диадемы и одежды венчаемых украшены поддельными драгоценностями, поскольку казна истощена междуусобицей»<sup>14</sup>:

...они надели стеклыши цветные. Кусочков множество  
стеклянных, красных, синих, зеленых.  
(...)

Они — лишь символы того, что полагалось,  
и что иметь бы, несомненно, полагалось,  
в момент венчания владыке Иоанну Кантакузину  
и госпоже Ирине, дочери Андроника Асена<sup>15</sup>.

(пер. Ю. Мориц)

Эти примеры подводят нас к непосредственному предмету статьи: мотив драгоценностей как художественный прием поэтики Кавафиса.

Основной «сгусток драгоценностей» приходится на ранние стихотворения, написанные в 90-е гг., когда в произведениях Кавафиса наиболее очевидно пропало увлечение парнассизмом и символизмом<sup>16</sup>. Леконт де Лиль, Теофиль Готье, Эредиа, Бодлер, Роденбах, Т. де Банвиль и др. — их влияние просматривается у раннего Кавафиса более чем явно; заметим в скобках, что исследование творческого наследия и творческой личности Кавафиса *sub specie* интертекста (цитат, аллюзий, реминисценций, словом «круга чтения») и паратекста (названий, дат, эпиграфов, посвящений), по сути, только начинается и представляет значительные трудности, поскольку сам Кавафис был чрезвычайно закрыт и в этом отношении: он называл лишь те имена и произведения, о которых писал — в своей критической прозе, в рецензиях, в письмах — или приводил в качестве эпиграфа — в стихотворениях. Это античные, византийские и современные ему греческие авторы; классики европейской литературы (Данте, Шекспир, Теннисон, Китс, Шелли, Броунинг, Гарди, Т. С. Элиот...). Перед исследователями стоит увлекательная (и нередко рискованная) задача «опознания неназванного»<sup>17</sup>.

Мотив драгоценных камней, золота, серебра может отсылать не только к символу как таковому, но и к роскоши, красоте, изысканности, иными словами к эстетизму/эстетству и — соответственно — к старшему современному Кавафиса «великому эстету» Оскару Уайльду. Трудно представить себе, что столь укоренившийся в англоязычной литературе и культуре (не говоря и о других основаниях) Кавафис мог пройти мимо этой яркой и трагической фигуры *fin de siècle* и мимо его произведений, хотя прямых отсылок к Уайльду у него, как будто, нет.

Говоря об особом пристрастии Уайльда к драгоценным камням, здесь сошлемся только на одну работу: очерк Корнея Чуковского «Оскар Уайльд», опубликованный в 1912 г. («во времена Кавафиса») в первом томе Полного собрания сочинений Оскара Уайльда, «...что же такое была для него красота? (...) сколько эстетической радости доставляло ему, напр., созерцание драгоценных камней»; далее перечисляется избыточный, изысканный, предельно детализированный «ювелирный» словарь Уайльда<sup>18</sup>. При этом Уайльд не только называет камень, но и детально (и прежде всего) описывает его цвет, со всеми оттенками и переливами<sup>19</sup>. Добавим к этому постоянно декларируемое Уайльдом предпочтение искусственного естественному, культуры — природе, чтобы увидеть вполне убедительные схождения с Кавафисом.

Схождения, но в той же степени и противопоставления, вплоть до отталкивания. В словаре Уайльда (далеко не полном) мы выделили жирным шрифтом «кавафианский фрагмент». Словарь Кавафиса гораздо более ограничен и включает, если можно так сказать, стандартный набор драгоценных камней, без раритетов, по большей части незнакомых читателю. Далее: у Кавафиса нет таких пышных и сложных описаний, и в его указаниях цвета и оттенка камня точность имеет преимущество перед метафорической художественностью, свойственной его ранним стихам: *пурпурный аметист, темный сапфир, драгоценный коралл*

(«Индийская картина»), магический изумруд («Аэд»); сверкающий алтарь из камня малахита («Венки»), розовый жемчуг («Александрийские цари»), блестящие изумруды («Ожидая варваров»), сапфирно-синие глаза («Вдали»), опал с серым оттенком, напоминающий серые глаза («Серые») — едва ли не все примеры уточнения цвета или свойства камня, не считая, конечно, заглавного стихотворения «Цвета» с красными рубином и кораллом, желтыми топазом и золотом и синими сапфирами и бирюзой.

Теперь обратимся к датам. Уже говорилось о нагнетении драгоценностей в раннем творчестве Кавафиса, из чего легко сделать вывод, что это — дань эпохе<sup>20</sup>. Однако обратим внимание на то, что на значительной части стихотворений стоит несколько дат, причем последняя — двадцатые годы: это означает, что зрелый Кавафис возвращался к ним, перерабатывал, считал их значимыми и включал в свой «Каталог» (alias основной корпус)<sup>21</sup>. Конечно, можно говорить о том, что в большей части стихотворений присутствие драгоценных камней, золота и серебра диктуется сюжетом и потому функционально: церковная утварь, пышность царских одежд и украшений и под.<sup>22</sup>

В общем корпусе произведений Кавафиса такие сюжеты составляют лишь относительно небольшую часть. Однако это не отменяет, но, напротив, подчеркивает их особую выделенность: можно говорить, что мотив драгоценностей был у Кавафиса не только прочным, но обратился в своего рода троп. Оказывается, что камни прежде всего создают цветную декорацию (хотя признак роскоши и изысканности тоже существен). Цвет и свет (=блеск) — основные составляющие визуального восприятия картины мира, и ее красота для Кавафиса сосредоточена в украшениях из драгоценных камней. Чем любуется ювелир в стихотворении «В магазине»?

Он завернул их бережно и тщательно  
в зеленый драгоценный шелк. Внимательно  
  
разглядывая розы из рубинов алых,  
венцы жемчужных лилий, аметистовых фиалок,  
  
он видит, как они прекрасны, не похожи  
ни на один живой цветок. Попозже  
  
он спрячет в кассу их — образчик своего труда,  
и дерзновения, и мастерства. Заходят покупатели; тогда  
  
он продает браслеты, перстни, ожерелья им — но те  
творенья лучшие таятся в темноте.  
(пер. Евг. Смагиной)

Стихотворение обманчиво простое<sup>23</sup>. В оригинале есть только одно прилагательное, обозначающее цвет, πράσινος ‘зеленый’ (шелк); (рубины) алые привнесено переводчиком. Дословно первые две строфы выглядят так:

Он завернул их тщательно, по порядку  
в зеленый драгоценный шелк.

Из рубинов розы, из жемчужин лилии  
из аметистов фиалки...

*Красные розы, белые лилии, лиловые фиалки на зеленом шелке, «яркие цветы на траве»* — искусственный (сделанный с помощью искусства, искусно созданный) пейзаж, который по своей красоте превосходит природу. Его единственный зритель — сам создатель, который «упорядочивает» эти цветы/цвета, избегая природных случайностей, хранит «под спудом», в темноте, оберегая от превратностей времени. Это как бы экспликация стихотворения «[Цветá]», попытка заменить непрочные творения природы (долго)вечными творениями искусства; сохранив не только красоту формы, но и то отадефó хi амólито то ҳәфма ‘стойкий и чистый цвет’.

Говоря об «экономии зрелости» в поэтике Кавафиса, Бродский пишет: «Так, например, он называет изумруды “зелеными”...» — но Кавафис изумруды зелеными как раз не называет, и немногочисленные прилагательные при названиях камней лишь уточняют их оттенок или (в ранних стихотворениях) являются художественными эпитетами (см. выше). В том-то, как нам кажется, и состоит ключ к колористике Кавафиса, что он заменяет название цвета (прилагательное) названием предмета, символизирующего этот цвет (существительное)<sup>24</sup>. Эта функция цвета у драгоценного камня особенно явна на фоне обозначения цвета ткани (ткани бывают разные, поэтому для них необходимо уточнение: зеленый, розовый, пурпурный и т. д. цвет).

Можно сказать, что у Кавафиса *драгоценный камень* или *металл* — и изредка *цветок* — представляют не столько метафору цвета, сколько метонимию (на лингвистическом уровне они оказываются полными синонимами). В стихотворении «В магазине» использован двойной метонимический ряд: *рубин-роза=красный, жемчуг-лилия=белый, аметист-фиалка=лиловый* (или *циреневый*).

И тогда возникает вопрос, правомерно ли видеть в этом только экономию, лаконизм, аскетизм его поэтических приемов? Сам Кавафис писал, что его стиль является плодом аристократической естественности, и это определение звучит почти оксюмороном, поскольку в основе естественности аристократа лежит культура, выработанная поколениями и опирающаяся на строгие правила. Замкнутый в круге собственного творчества, как в цикличном времени «вечного возвращения», Кавафис, переступая через свои начала, увлечения молодости, период ученичества, не уничтожал свое прошлое, поскольку это было бы отказом от самого себя (не случайно одной из основных семантем его поэтического мира является *память*), — он совершенствовал свою поэтику, пропуская ее через фильтр *аристократизма*. Именно этот фильтр заставлял его «отвергать», откладывать, перерабатывать свои произведения, публиковать лишь малую их часть. Подобно ювелиру из собственного стихотворения, он хранил свои творения в темноте.

Повторим известное и бесспорное: между ранним и зрелым, поздним Кавафисом, как между восточной орнаментальностью и фольклорной формульностью «Dünya güzeli» (1884) и изысканностью стихотворения «В магазине» (1913),

лежит дистанция огромного размера, — но нельзя забывать, что образность и того и другого построена на колористике драгоценных камней (там губы = коралл, зубы = жемчуг — здесь розы = рубин, лилии = жемчуг), хотя она имеет разные источники. Как представляется, парнасские, символистские, «эстетские», модернистские слои в поэтике Кавафиса были им не только преодолены, но отфильтрованы так, что обнаружить их с первого взгляда нелегко. Мы понимаем, что на фоне канонического и признанного подхода к поэтическим приемам Кавафиса («от сложного к простому») это утверждение может показаться натяжкой, и все-таки предполагаем, что изысканная образность Кавафиса, в частности его колористика (конечно, не ограниченная драгоценностями)<sup>25</sup>, указывает на сохранение этих связей<sup>26</sup>. Для их обнаружения нужна постоянная тонкая интеллектуальная работа, которую Кавафис ожидал от своих будущих исследователей<sup>27</sup>.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Весьма равноты не сумеешь / Стекла зубами укусить... — слова Мандельштама уже приводились нами в связи с темой «Бродский и Кавафис» (Т. В. Цивьян. Бродский и Кавафис // Russian Literature XLVII. 2000).

<sup>2</sup> The last not the least — тема драгоценностей показалась нам удачной для этого юбилейного сборника.

<sup>3</sup> Напомним, что С. Ильинская была первооткрывателем Кавафиса для русского читателя: публикация нескольких стихотворений поэта в ее переводе («Иностранный литература», 1967) стала началом того приобщения к Кавафису, которое было ею продолжено — в виде монографии о его жизни и творчестве, многочисленных статей и новых переводов (см. том: Русская Кавафиана / Сост. С. Ильинская М., 2000). См. теперь особенно ее вступительную статью к упомянутому однотомнику: Κ. Π. Καβάφης. Απαύτα τα ποιήματα. Εισαγωγή Επιμέλεια Σόνια Ιλίσκαγια. Αθήνα, 2003. Стихотворения Кавафиса по-гречески цитируются по этому изданию (хотя и с упрощенной диакритикой, что, вообще говоря, нарушает традицию публикации текстов Кавафиса), русские переводы — по изданию «Русская Кавафиана». В тех случаях, когда переводчик не указан, перевод выполнен автором статьи. Курсив в цитатах везде наш. — Т. Ц.

<sup>4</sup> В русском языке корень *цвет-* обозначает и цветок и цвет (краску): получается игра слов, которой нет в греческом оригинале. Поэтому пришлось ввести стилистически небезупрочное *цветки*.

<sup>5</sup> Искусственные < искусство (τεχνητά < τέχνη).

<sup>6</sup> Με χρόματ' απ' τα φυσικά πιο έμοφα βαζαίνεα.

<sup>7</sup> Константин Кавафис. Проза. М., 2003. С. 225. Запись 1902 г. Но в раннем стихотворении «Поэт и муз» (1886) воспевается природа — долины и цветы (розы, фиалки, нарциссы).

<sup>8</sup> «Красавица земли» (тур.), персонаж балканского фольклора.

<sup>9</sup> В этом стихотворении как раз изобилие естественных трав и цветов — но все они зловещие:

Полынь, дурман, волчец и белена,  
цикута, чемерица, аконит —  
весь яд полей, вся горечь полевая  
дадут свой страшный лист и цвет смертельный...  
(пер. Евг. Смагиной)

Прекрасные белые цветы кладет на гроб друга юноша в стихотворении «Он положил цветы» (1929).

<sup>10</sup> Мотив *света* (в том числе *искусственного*, сильная и слабая освещенность, от ослепительной люстры до догорающей свечи) и *темноты* (от сумерек до мрака) — у Кавафиса маркирован; это не столько реалия или троп, сколько составляющая сюжета. Этот мотив должен быть рассмотрен специально.

<sup>11</sup> Ср. раскрытие этого образа в стихотворении «Цезарийон».

<sup>12</sup> Цветовая гамма гиацинтов — от нежных белого, розового, сиреневого к густому лиловому. Гиацинтом называется не только цветок, но и драгоценный камень, прозрачная красная или розовая ювелирная разновидность циркона.

<sup>13</sup> Ср. лексическое разнообразие прилагательных, обозначающих собственно синий цвет: *μαζί*, *κνανός*, *γαλάζιος*.

<sup>14</sup> Русская Кавафиана, 275.

<sup>15</sup> Здесь как бы двойной уход от природного и естественного: *цветок* → *драгоценный камень* → *страз (стекло)*.

<sup>16</sup> Об этом периоде и об истоках/источниках поэзии Кавафиса см. наиболее подробно в главе «Первая ступень» монографии С. Б. Ильинской «Константинос Кавафис» (Русская Кавафиана).

<sup>17</sup> Это в последние десятилетия достигло расцвета в работах по русской семантической поэтике (центонная поэзия, аллюзии, реминисценции, наконец, совпадения). См., в частности, работы юбиляра по структуре текста, из недавних особенно «О возможном влиянии одного текста О. Бальзака на судьбы русских поэтов (Пушкин и Лермонтов)» (Изв. АН. Сер. лит-ры и яз., 2000. Т. 89. № 3).

<sup>18</sup> Агат, алмазы, аметисты, бериллы, бриллианты, бирюза, вениссы, гиацинты, жемчуг, изумруды, карбункулы, кимофаны, нефрит, ониксы, опалы, рубины, сапфиры, сердолик, топазы, халцедоны, хризолиты, шпинели, янтари, яхонты, яшма и т. д., «(хватило бы ювелирам всего мира) — и сколько золота, серебра, слоновой кости!» — и мрамора, черного и кедрового дерева, хрусталя, фарфора, шелка, парчи, благовоний и т. д. (К. Чуковский. Оскар Уайльд (1854—1900) // Оскар Уайльд. Полное собрание сочинений. СПб., 1912. Т. 1. XVI сл.).

<sup>19</sup> Ср. хотя бы коллекцию Дориана Грея: «оливково-зеленые хризобериллы, кажущиеся красными при свете лампы; кимофаны, перерезанные серебряной линией, точно проволокой; фисташковые хризолиты, красные, как роза, и желтые, как вино, топазы, огненно-пурпурные карбункулы, с дрожащими в них звездочками о четырех лучах; кровавые вениссы, оранжевые и лиловые шпинели...» Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея // Оскар Уайльд. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 132.

<sup>20</sup> Отданная многими и многими. Из бесчисленных примеров приведем лишь один: первое опубликованное стихотворение «не-символистки» Ахматовой (в редакционной переработке Гумилева и в его журнале «Сириус», Париж, 1907, № 2), которое она сама относила к «детским» (в «кавафинской» терминологии — *отвергнутым*):

На руке его много блестящих колец —  
Покоренных им девичьих нежных сердец.

Там ликует алмаз и мечтает опал,  
И красивый рубин так причудливо ал...

О параллелях Кавафиса с русской поэзией начала XX в. см. цикл статей: С. Б. Ильинская. К. П. Кавафис и русская поэзия «серебряного века» // Русская Кавафиана. См. особенно «О преодолении символизма»: К. Кавафис — Н. Гумилев, «отчасти параллельные».

<sup>21</sup> «В церкви», 1891, 1901, 1906, 1912; «Погребение Сарпедона», 1892, 1898, 1908; «Шаги», 1893, 1897, 1908, 1909; «Эпитафия», 1893, 1925; «Искусственные цветы», 1895, 1903; «Перед статуей Эндимиона», 1895, 1916 «Ожидая варваров», 1898, 1904; «Царь Деметрий», 1901, 1906; «Ороперн», 1904, 1916. Ср. также стихотворения 10—20-х гг.: «Итақа», 1910, 1911;

«Недовольство Селевкида», 1910, 1915; «Александрийские цари», 1912; «В магазине», 1913; «Вдали», 1914; «Могила Игнатия», 1916, 1917; «Серые», 1917; «Мастер кратеров», 1903, 1912, 1921; «Иоанн Кантакузин одерживает верх», 1924; «Из цветного стекла», 1925; «Аполлоний Тианский на Родосе», 1925; «Мирис (Александрия, 340 год)», 1929.

<sup>22</sup> И несомненно, источником сакрального, символического словаря камней в первую очередь является Библия, ср. особенно Исх. 28, 17—20; Откр. 21, 11—21.

<sup>23</sup> В подлиннике бросаются в глаза тавтологические рифмы. Рифмующиеся слова отличаются на письме, но полностью совпадают при произнесении: [me táxi — metáxi], [kríni — kríni], [físi — afísi], [íkanís — kanís]. Только заключительная строфа привносит некоторое разнообразие [stolídia — dahtilídia], и только первая имеет рифму на ударное а, остальные — на ударное і.

<sup>24</sup> Конечно, это относится не только к обозначениям цвета. Кавафис называл эпитеты слабостью, ослаблением речи, не видел ценности в описаниях с множеством эпитетов и считал, что поэтическая речь должна быть построена на существительных.

<sup>25</sup> Ср. хотя бы «Море утром» (1915), где природный пейзаж «раскрашен» самим морем, сверкающей синевой безоблачного неба и желтым песком.

<sup>26</sup> Созвучные мысли мы нашли в проницательной рецензии В. Аристова на книгу «Русская Кавафиана»: Владимир Аристов. В окрестности легенды // Русский журнал, 12.02.2001.

<sup>27</sup> В «Похвальном слове самому себе». Цит. по: С. Б. Ильинская. Константинос Кавафис // Русская Кавафиана, 451. — «Кавафис представляется мне поэтом сверхсовременным, поэтом будущих поколений. (...) ...целостность его стиля, порой достигающая лаконизма, его умеренный энтузиазм, вызывающий интеллектуальное волнение, его правильная фраза — плод аристократической естественности, его легкая ирония являются собой начала, которые еще больше будут оценены поколениями будущего, воспитанными в условиях прогресса все новых открытий и сопряженной с ними более тонкой интеллектуальной работы».

inlav

VIII.

РУССКАЯ И СЛАВЯНСКАЯ  
ЛИТЕРАТУРЫ





*A. A. Зализняк (Москва)*

## ЗАКЛИНАНИЕ ПРОТИВ БЕСА НА СТЕНЕ НОВГОРОДСКОЙ СОФИИ

Одна из самых больших и самых необычных по содержанию надписей, сохранившихся на стене новгородского Софийского собора, — 11-строчная надпись, зафиксированная в своде А. А. Медынцевой под № 199; она находится на центральном столбе лестничной башни.

Приведем вначале чтение этой надписи, предложенное в издании [Медынцева 1978, 142]. Воспроизведем его в той же системе обозначений, которой мы обычно пользуемся при записи древних текстов, а именно: буквы, читающиеся неоднозначно (из-за повреждений или плохой видимости) даются в квадратных скобках; чистые конъюнктуры (т. е. полностью отсутствующие буквы) даются в круглых скобках (в книге А. А. Медынцевой система обозначений другая).

гололе́железньчъ  
камян[ъ]и пъръ  
си мѣдѧ[н]да  
голова лип[о]—  
ва [ч]елюсть [в]ъ зол-тѣ  
ев-анид... во руки  
бесе сотова тате[мь]  
таръ ио добръ ако  
нена[а]...  
леведа...  
в[ъа]ти- - аминь

Как указывает издательница, полностью читаются только первые пять строк. В частично осовремененной форме она представляет их так: «Гололе Железничъ, камяный перси, медяная голова, липова челюсть, в золоте...» Далее она пишет: «Из последующего текста можно разобрать слово “руки”... Седьмая строка читается полностью, хотя контекст не ясен: “бесе сотова татем”..., затем “...добр ако...”. Бессспорно чтение последнего слова — “аминь”».

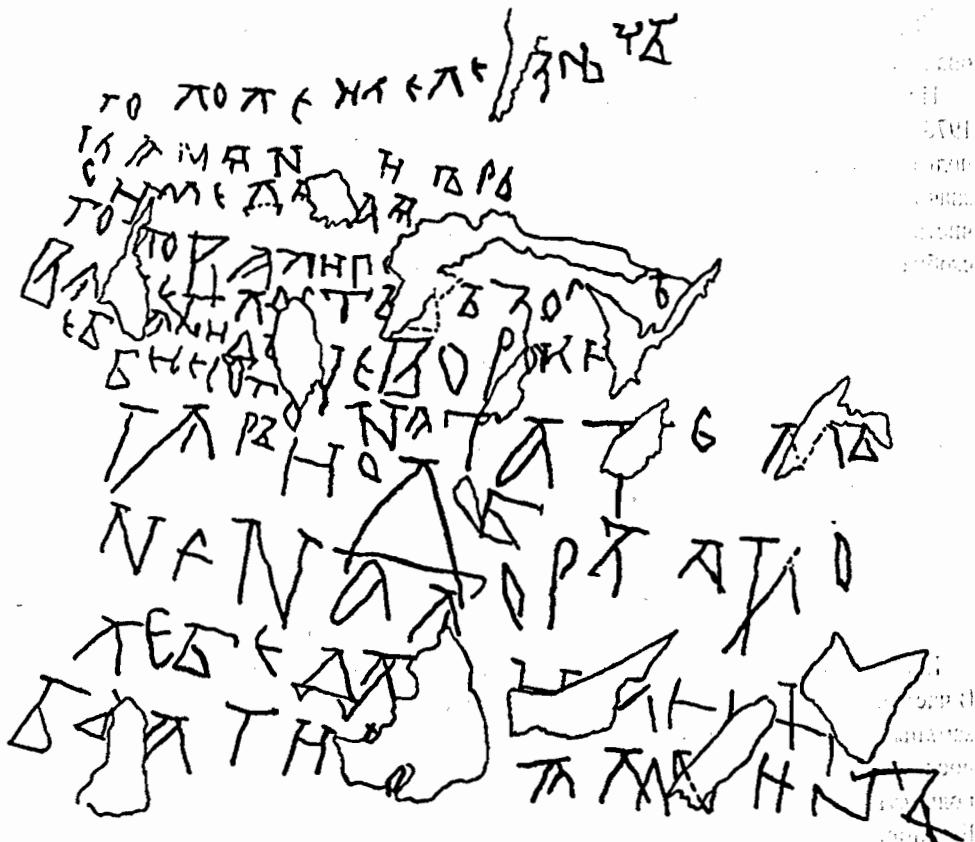
А. А. Медынцева сопоставляет прочтенную часть текста с загадками и рассматривает начальное слово *гололе* как имитацию колокольного звона. Ее общее

заключение: «Таким образом, надпись № 199 — загадка, в которой под словами “Гололе Железнич” имеется в виду колокол или колокольня. К сожалению, плохая сохранность и своеобразная графика надписи не позволяют восстановить ее дальнейший связный текст. Однако те отдельные слова, которые можно прочесть, не противоречат такому толкованию. Упоминаются бесы, сатана, тати, которые, очевидно, боятся колокольного звона».

Все это представляется, однако, в значительной мере гадательным, пока надпись прочтена столь неполно. Ясно, что здесь необходимо пытаться что-то дочитать или хотя бы найти какие-то правдоподобные конъюнктуры.

Надпись исследовалась нами по опубликованной в книге А. А. Медынцевой фотографии и по сделанной с нее сканировке.

Ниже воспроизведена опубликованная в этой книге прорись данной надписи. Если не считать некоторых деталей, о которых сказано ниже, она достаточно точна (насколько это вообще возможно для неполнотой истолкованной записи) и дает необходимое представление об особенностях документа.



Прорись надписи № 199

Условия чтения в данном случае весьма сложны: текст поврежден многочисленными насечками, штрихи тонки и частично стерлись, а от самой записи, по словам А. А. Медынцевой, «создается впечатление, что автор надписи сознательно стремился затруднить ее прочтение». Он то и дело резко изменяет размер очередной буквы и/или смещает ее вверх или вниз, строки различны по длине, извилисты и нередко вклиниваются одна в другую. (Как мы увидим ниже, для подобной «шифровки» у автора действительно имелись серьезные основания.)

Наши основные усилия были направлены на перепроверку тех звеньев текста, где при имеющемся чтении получается абракадабра.

Так, бессмысленный отрезок *таръ* в начале 8-й строки должен быть отдельным словом, поскольку он стоит после законченного слова *татемъ* перед *и* (очевидно, союзом). Весь наш опыт работы с берестяными грамотами и надписями говорит о том, что в полностью расшифрованных документах этого рода бессмысленные последовательности букв не встречаются почти никогда. То, что представляется на первый взгляд бессмысленным обрубком, почти всегда оказывается либо неизвестным ранее словом, либо результатом ошибочного прочтения каких-то букв или неверного словоединения. Попытки найти в словарях слово *таръ* или хотя бы подыскать какие-то лингвистические основания для возможного существования неизвестного слова такого вида оказываются безуспешными. Между тем весьма подозрителен вид первой буквы: верхняя горизонталь гораздо короче, чем у задомых *т* (в словах *челость* и *татемъ*), и, в отличие от них, не имеет засечек. Больше всего эта фигура похожа на мачту буквы *к* (с широкой засечкой сверху) в слове *ако* (в конце той же строки). Это направление поиска уже приводит к успеху: при тщательном изучении фотографии обнаруживается, что слева от данной фигуры сохранились еле видимые следы от еще нескольких штрихов, и становится ясно, что это не *т*, а *ц* (с широкими засечками сверху). Итак, перед нами не *таръ*, а *царъ*, и в тексте стоит совершенно осмысленный и выразительный ряд: *бесе, сотона, татемъ царъ*.

Далее убеждаемся, что этот ряд можно увеличить и спереди: в конце 6-й строки стоит не *во роуки* (якобы с лигатурой *у* и *к*), а *вороже* (с несколько необычной формой *ж*). Получаем: *вороже, бесе, сотона, татемъ царъ*, где сама стройность перечисления является лучшим подтверждением того, что мы на правильном пути.

Где же начало этого перечня? Понятная часть надписи кончается на середине 5-й строки. Предложенная в издании для конца 5-й строки реконструкция *въ зол(o)тѣ* (с лигатурным *тѣ*) неправдоподобна: ни одного достоверного *ѣ* в документе нет вообще, и при такой версии нет никакой увязки со следующей строкой. Неясный участок, охватывающий конец 5-й строки и начало 6-й, реально выглядит так: [в]ъзо... ...|еб-[ѧ]нид--е. Отдельно стоящий знак в конечной части 5-й строки, истолкованный в издании как лигатура *тѣ*, в принципе может быть буквой *с*. В отрезке *д--е*, заканчивающем данную цепочку, от буквы *д* сохранился левый край и это может быть буква *в*, а от следующей буквы сохранился правый край и это может быть буква *и*.

Перебор возможностей позволяет предложить следующее решение, вполне согласующееся с видимыми элементами букв: [в]ъзо(ри) [с](р)е[б](р)[а]ни д[у]ш[e] (от первого *r* в слове *сребрани* на фотографии, как кажется, даже видны некоторые элементы, но это ненадежно; соответственно, в тексте могло стоять и *серебрани*). *Възори сребрани* ‘серебряные взгляды’, ‘серебряные глаза’ — это конец перечня внешних черт идола, *душе* — начало перечня наименований сатаны. Слово *духъ* очень часто применялось именно к злым духам (обычно с эпитетами *зълии, нечистыи* и т. п., но также и без них).

Вернемся к 8-й строке. Обнаруживаем, что в отрезке *добръ ако* после *r* стоит не *ъ*, а несомненное *з*. Тем самым выявляется словоформа *законе* (что *т* в этой надписи заменяется на *e*, мы уже знаем из *железн-, медян-*). Получившаяся последовательность *и о добр законе* требует поиска буквы *e* после *r* — и эта буква действительно обнаруживается (в виде слабых следов) выше буквы *r* и чуть вправо от нее. Мы уже знаем, что писавший играл тем, что писал очередную букву выше или ниже предыдущей и больше или меньше по размеру, поэтому такое «засекреченное» расположение буквы *e* нас не удивляет.

Логика выявленного перечня требует, чтобы дальше стояло какое-то слово, означающее осквернителя доброго закона. Это слово несомненно начинается с *на* и, по-видимому, содержит восемь букв, т. е. доходит до слова *да* в следующей строке. Обозначив сомнительные буквы прочерками, его можно представить как *на-о---е*. Проверку этих букв естественно производить не вообще, а параллельно с построением гипотез о том, что это может быть за слово. По смыслу было бы приемлемо слово *нарушитель*, но оно не проходит по числу букв. Но с *на* начинаются и другие *nominia agentis*, связанные с агрессивными действиями, — в частности, такими, как *нападение, наездъ* ‘разбойное нападение на дом, деревню’, *находъ* ‘то же в случае, когда нападающие не приехали, а пришли пешком’.

Выясняется, что одно из этих *nominia agentis*, а именно *находъце*, полностью подходит к изучаемому месту. Буква после *на*, похожая на прориси на *л*, в действительности имеет и верхние усики: это *х*. Первая буква следующей строки — не *л*, а *д*: у нее можно разглядеть ножки. Буква *e*, видимая далее на прориси (впрочем, мало похожая на другие *e* данного текста), — это в действительности лишь несколько трещин, буква, похожая на *б*, — это *ъ*. Между *ъ* и *e* стоит не отразившаяся на прориси буква *ц*, от которой хорошо видна правая вертикаль, а остальные штрихи еле заметны.

Слово *находъцъ* ‘участник разбойного нападения’ в древнерусском языке известно. Ср. в [Слов. XI—XVII, 10, 299]: *сильный находецъ* ‘тот, кто совершает разбойное нападение, вторжение’ (*сильный* означает здесь ‘применяющий насилие’). Таким образом, в нашем перечне сатана получает еще эпитет ‘разбойник (агрессор) в отношении доброго закона’. Словами *добръ законъ*, очевидно, обозначена христианская вера.

Заметим, что в слове *на[x]о[дъц]е* целых пять букв опознаны не так, как в издании (где на этом месте читалось *на[а]...|лебе*). Это яркая иллюстрация того

принципа, что при изучении плохо сохранившихся документов попытки опознать отдельную букву без опознания слова, в которое она входит, и без понимания хотя бы ближайшего контекста этого слова обречены на высокий процент ошибок (в данном случае часть буквенных ошибок здесь, по-видимому, навеяна иллюзией присутствия в тексте слова *лебеда*).

Остается темный заключительный отрезок между *[фыц]e* в предпоследней строке и ‘аминь’ в последней. Этот отрезок начинается с бесспорного *да*. Но далее 6—8 букв жестоко повреждены насечками. В начале последней строки неправдо-подобное *б[ъа]ти* явно следует исправить на *б[r]ати*. Далее можно разглядеть букву *и*. Перед отрезком, прочитанным в издании как *амнинъ*, усматривается легкий след буквы *с*. Соответственно, *с амнинъ* необходимо переинтерпретировать как *с[ʌ] амнинъ*; совокупность видимых штрихов это в принципе допускает (просто в этом месте имеются некоторые лишние штрихи). Тем самым в тексте уже не остается странного *амнинъ*. Буква между *б[r]ати* и *с[ʌ]* практически уничтожена; но уже нет сомнений, что это было *и*. В итоге мы восстановили всю строку: *б[r]атиши(u)с[ʌ] амнинъ*.

Нетрудно догадаться, что фраза содержала слова *да* ... (*о*)*браташиися*. Остается исследовать неясный отрезок между этими словами (длиной примерно в шесть букв). Тщательное изучение фотографии позволяет представить этот отрезок в виде *-а--[н]-*. Затем удается получить и полную реконструкцию всей фразы: *да [н]а [м]а [н](е о)|б[r]атиши(u)с[ʌ]*. В ходе этой работы выясняется также, что прорись этого участка не очень удачна: часть представленных на ней штрихов не имеет отношения к надписи, а некоторые штрихи не уловлены. Но удивляться этому не приходится: на участках, где у изготовителя прориси нет вообще никаких гипотез о том, какие здесь были буквы, подобный эффект возникает очень легко.

Вернемся теперь к началу надписи.

«Глоссолическое» *гололе* признать невозможно: подобные звукоподражания без всякого грамматического оформления в древнерусских текстах неизвестны, и мы уже знаем, что в надписи речь идет не о колоколе, а о бесе. При этом в предполагаемом *гололе* буква *г* совершенно ненадежна, а под вторым *л* отчетливо видны два глубоких штриха, которые, по-видимому, представляют собой не случайную царапину, как полагает А. А. Медынцева, а правую половину платформы буквы *д*.

К сожалению, несомненного решения для этого места пока найти не удалось. Наиболее вероятным представляется прочтение *[в]оло[ð]e*. Незасвидетельствованное слово *володъ* может быть либо вариантом слова *волотъ* ‘великан’, ‘исполин’, либо означать ‘волос’, ср. собирательное *володъ* ‘волосы’ (см. [Срезн., I, 291]), а также имя *Б'ловолодъ*, т. е. ‘беловолосый’ (в Ипат., л. 225, под 1185 г.). С точки зрения смысла, конечно, предпочтительно первое решение, но остается проблемой варьирование *т* — *д* (возможно, мифологический термин *волотъ* подвергся здесь влиянию корня *волод-* ‘володеть’, ‘властвовать’).

Что касается странного *железнъчъ*, то оно тоже требует корректировки. Прежде всего, его нельзя трактовать как отчество («Железнъчъ»), поскольку и здесь могло

бы быть заменено на *ь* только в силу прямой ошибки. Можно было бы думать разве что о неизвестном производном \*желѣзъцъ. Но в действительности в тексте, по-видимому, нет и *нь* (записанного, согласно издательнице, лигатурой): дужка справа от буквы *н* является частью длинной царапины, уходящей далеко за пределы данной буквы. Буква *ч* вообще сомнительна: это несколько очень слабых штрихов, возможно, не относящихся к нашему тексту. Правее, как кажется, усматривается слабенькая буква *ъ* (или *ы*); может быть, это окончание к *железн*. Но надежен в действительности только отрезок *железн*. Поскольку целых четыре последующих словосочетания построены одинаково (с точностью до порядка членов): существительное + прилагательное, указывающее материал ('каменные', 'медная', 'липовая', 'серебряные'), — то и в первой строке с высокой вероятностью стояло просто прилагательное 'железный'.

К сожалению, не удается надежно восстановить окончание словоформы 'каменные' во 2-й строке, которое представляло бы определенный грамматический интерес. Указанное в издании окончание *-[ы]и* прочтено лишь предположительно и противоречит другим показаниям данной надписи (вместо *и* здесь ожидалось бы *e* или *ѣ*). В такой ситуации лингвисту целесообразнее воздержаться от реконструкции.

Приводим полученную реконструкцию надписи в целом:

[в]оло[д]е желеzin-(  
 каман- - пъръз  
 си мѣда[н]ам  
 голова лип[о]-  
 ва [ч]ел[юс]т[ъ в]ъзо(рн) [с](р)-  
 ев(р)[а]ни д[ѹш]е вороже  
 вesse сотона татемъ  
 [ц]аръ но д[о]бре закон-  
 не на[х]о-  
 [дыц]е да [н]а [м]а н](е о)-  
 в[ѹ]атниш(и)с[л]ам]инъ

Перевод: 'Великан (?) железный, каменная грудь, медная голова, липовая челясть, взоры серебряные. Дух, ворог, бес, сатана, ворам царь и доброму закону разбойник, да не обратишься ты на меня! Аминь'. (Вариант для 1-й строки: 'Волос железный').

Отметим необычайно точную в художественном отношении эскалацию отрицательных наименований сатаны. Со смысловой стороны происходит нагнетание отрицательности: слово «дух» еще в сущности амбивалентно, «ворог» уже безусловно отрицательно, «бес» сильнее, «сатана» еще сильнее. Параллельно с формальной стороны происходит увеличение длины звеньев перечня: от совсем короткого *ѹше* и чуть более длинных (в частности, *сатана*) к двусловному *татемъ царь* и самому длинному *о добре законе находъце*.

Итак, надпись представляет собой обращение к бесу, сатане, причем ему отчетливо приданы внешние черты языческого идола. Вспомним хотя бы описание

Перуна в «Повести временных лет» (под 980 г.): *И нача княжити Володимеръ въ Киевѣ единъ и постави кумиры на холму вътѣ двора теремного — Перуна дрѣвна, а главу его сребрену, а оусь златъ...* А вот описание истукана из Книги Даниила (2.31—33, где Даниил истолковывает сон Навуходоносора); приводим по Острожской библии (в упрощенной орфографии; слово *тѣло* выступает здесь в одном из своих древнейших значений — ‘истукан, идол’): *И се тѣло едіно веліе, тѣло то и обличие его окрѹгло, стоял пре<sup>п</sup> лицемъ твои<sup>и</sup>, и озракъ лица его страшенъ, тѣло его же глава ў злата жива, рѹщѣ и перси и мыщѣ его сребренѣ, чрево и стегнѣ мѣдѧнѣ, голени же лѣзни<sup>и</sup> и часть нѣкак скѹделна. Слова глава, перси, сребренѣ, мѣдѧнѣ, же лѣзни здесь просто те же, что в нашей надписи. Заметим, что это место из Ветхого Завета было хорошо известно в древней Руси; оно цитируется, в частности, в книге Козьмы Индикоплова. Добавим сюда еще фразу, разоблачающую иолов, из Супрасльского кодекса (л. 89), где список материалов, из которых сделан идол, почти совпадает с настоящей надписью: *сии бо бози аже мѣниши, каменик и дрѣво, мѣдь и же лѣзни сѧть.**

Автор надписи надеется своим заклинанием отвести от себя исходящую от беса пагубу. При этом ясно чувствуется, что он в сущности преклоняется перед могуществом сатаны, рисует его облик хотя и отталкивающим, но безусловно грозным и мощным.

Вся ситуация представляет большой историко-культурный интерес. Автор-христианин оставляет на стене главного христианского храма надпись, обращенную к сатане, который в его сознании слит с образом языческого бога. По-видимому, он осознает предосудительность этого действия и потому отчасти шифрует запись, заплетая строки и всячески затрудняя опознание букв. (Возможно, именно поэтому надпись так и не была в дальнейшем уничтожена цензорами.)

Вера в силу языческого бога и в полезность каких-то обращений к нему — очевидное проявление столь живучего в древней Руси двоеверия. В то же время отождествление языческого бога с сатаной означает, что позиция автора сближается с манихейством и другими дуалистическими учениями, признающими равное участие Бога и сатаны в управлении мирозданием.

Язык надписи — в своей основе наддиалектный древнерусский. Отметим полногласные [в]оло[ð]е, голова, вороже; но встретилось также и неполногласное (o)братишисѧ. Вокативы дѹше, вороже отличают язык надписи от древневновгородского диалекта. Но имеется все же по крайней мере одна точка, где с определенностью проявилось новгородское происхождение писавшего: конечное че в находъче. Если это номинатив, то специфически новгородской чертой здесь является окончание -е, а если это вокатив, т. е. находъч<sup>и</sup>е, то цоканье. Окончание -е в [в]оло[ð]е является новгородизмом, если это номинатив; но это может быть и вокатив. Написание ьрь в пърьси весьма характерно для новгородской зоны, но все же такие орфограммы встречаются и за ее пределами.

Представляет интерес неустойчивость в выборе между номинативом и вокативом. Так, в перечне эпитетов сатаны представлены как заведомые вокативы (дѹше,

вороже), так и заведомые номинативы (*сотона, царь*); словоформы *б(ѣ)се, находъце* в древненовгородском диалекте в этом отношении двусмысленны. Внешние черты языческого бога названы, как и следует ожидать, в номинативе (падеж словоформы [в]оло[ð]е устанавливается ненадежно).

Из этих колебаний не следует заключать, однако, что в речи автора вокатив вообще начал смешиваться с номинативом. Это было бы несколько странно, если учесть, что новгородские берестяные грамоты такого смешения не обнаруживают. Скорее дело здесь в том, что он просто легко мысленно переходил он речевого акта словесного описания объекта своей мысли к речевому акту обращения к нему. Первое, естественно, требует номинатива, второе — вокатива. Наличие двусмысленных в этом отношении словоформ типа *бѣсе* дополнительно способствовало этим мысленным переходам.

Из прочих языковых особенностей отметим отвердение *p* в словоформе *царь*; ср. аналогичные примеры в новгородских берестяных грамотах (см. [ДНД, § 2.43]). Эта словоформа представляет также большой интерес как самый ранний ныне известный пример односложной основы *цар-*, записанной без титла и, следовательно, читаемой однозначно. Самые ранние такие примеры, известные до сих пор, содержатся в ярлыке Менгу Темира 1267 г. и в завещании Ивана Калиты 1327 г.

А. А. Медынцева относит надпись к концу XII — XIII в., и это в целом не вызывает возражений; но можно, по-видимому, указанный интервал несколько сузить. Начертание буквы А с головкой, образованной двумя параллельными штрихами, на которое ссылается А. А. Медынцева, по данным нынешнего корпуса берестяных грамот, появляется со 2-й четверти XII в., наиболее активно представлено в середине — 2-й половине XII в., а позднее встречается заметно реже (см. [Палеогр. 2000, 152 и 220, модель «А широко раскрытое»]). И приблизительно такое же хронологическое распределение имеет представленная в данной надписи модель буквы З с выступом справа вверху (см. [Там же, 168 и 222]). Наличие верхних засечек у букв И, Н, К при отсутствии нижних — черта в основном XI—XII вв., позднее она встречается лишь изредка (см. [Там же, 230]). Ранним признаком (XI—XII вв.) является также написание *пърси* — без прояснения *ьр* в *ер* (при отсутствии смешения *ъ, ь с о, е*; см. [Там же, 277]). С другой стороны, упрощение *цъс* в *ц* в слове *царь*, если судить по материалу берестяных грамот, указывает на время не ранее конца XII в. По совокупности этих признаков надпись должна быть отнесена к до-монгольскому времени, вероятнее всего — к концу XII — 1-й трети XIII в.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

<sup>1</sup> Сходство слов *галени желѣзи* с началом изучаемой надписи порождает даже желание проверить, нельзя ли прочесть первое слово надписи как [г]ол[ен]е; но видимые части двух букв, следующих за л, все же не позволяют принять такую версию.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- ДНД — *A. A. Зализняк. Древненовгородский диалект.* М., 1995.
- Медынцева 1978 — *А. А. Медынцева. Древнерусские надписи новгородского Софийского собора XI—XIV века.* М., 1978.
- Палеогр. 2000 — *А. А. Зализняк. Палеография берестяных грамот и их внетретаграфическое датирование // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990—1996 гг.).* М., 2000. С. 134—429.

*B. M. Живов (Москва)*

## РАННЯЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ АГИОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМА ЖАНРА В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

**Я** начну с нескольких теоретических соображений, не слишком содержательных, но нужных мне, для того чтобы обозначить ту проблему, которой будут посвящены настоящие заметки. Что такое жанры? Жанры — это определенный историко-литературный принцип членения совокупного литературного пространства или, во всяком случае, той его части, которая в данную эпоху признается литературой (или может быть названа, вслед за М. М. Бахтиным, «большой литературой»)<sup>1</sup>. Все множество литературных текстов распадается на ограниченное число классов, и в каждом классе входящие в него тексты воспроизводят одни и те же принципы организации или, по крайней мере, принципы организации, обладающие семейным сходством. Отсюда следуют два момента. Во-первых, в воспроизведстве принципов организации осуществляется историзм жанрового членения: новые тексты данного жанра репродуцируют уже сложившиеся особенности организации текстов, жанровое членение — это наследуемое членение. Во-вторых, с содержательной стороны жанровые признаки (в отличие от иных принципов организации литературного пространства) обеспечивают многоуровневое соотнесение структурных характеристик текста, т. е. его мотивики, композиции, стиля — с его функциональными характеристиками, т. е. с теми задачами, для которых создается данный текст. Эта соотнесенность двух планов — структурного и функционального — обусловливает внутреннюю диалогическую динамику жанрового принципа, когда функциональные сдвиги (появление или выделение новых коммуникативных задач) приводят к сдвигам структурным и наоборот.

Из историзма жанрового принципа вытекает одно парадоксальное, но логически необходимое следствие: в начале литературы, когда литературное пространство представляет собой *tabula rasa*, никакого жанрового членения у литературы быть не может. Тем не менее в наших построениях истории литературы — и я здесь говорю не о дидактике, а об истории литературы как автономном органическом процессе — жанры присутствуют с пеленок<sup>2</sup>. Литературная Венера появля-

ется из пены в уже расчлененном виде, с минимальным по крайней мере набором жанровых атрибутов. Отсутствие логики, как это часто бывает, указывает не на интеллектуальную распущенность исследователей, а на неполную адекватность исходных постулатов. В данном случае таким не вполне адекватным постулатом является столь любимое формалистами представление об автономии литературы и, в частности, об автономии «национальных» литератур.

Литература не рождается *ex nihilo*. Древние (первоначальные) литературы наследуют фольклору (хотя механизм наследования, как об этом и пишет Бахтин, остается во многом темным и недоступным для нашего анализа). Фольклор, конечно, не структурирован по жанровому принципу, он представляет собой вербальный слой разнородных сфер социально-религиозной деятельности, не обладающей ни автономией, ни органическим единством. Однако в нем присутствует функциональная дифференциация, и она может рассматриваться как основа того, что иногда именуется «протожанрами». Выделение этих протожанров (скажем, упрощая, эпоса, лирики, драмы) происходит во взаимосвязи с появлением собственно литературного пространства, т. е. с автономизацией — всегда относительной и неполной — литературы. Этот генезис изящной словесности и есть *raison d'être* (пусть и недостаточный) представления истории древних литератур в терминах жанров.

Что же касается новых литератур, то здесь мы говорим о жанрах, апеллируя к преемственности, т. е. на том гипотетическом и обычно недостаточно отрефлектированном основании, согласно которому новые литературы преемственно воспроизводят риторическое членение древних; при этом они лишь частично адаптируют его к новой культурной ситуации. Принцип преемственности служит и для концептуализации появления новых жанров в отдельных национальных литературах. Когда не находится внутренней преемственности, ее замещает преемственность внешняя. Это значит, что тексты, относящиеся к новому жанру, рассматриваются как находящиеся в отношениях преемственности с текстами соседней литературы. Скажем, русская романтическая баллада может интерпретироваться как наследница английской или немецкой романтической баллады. Понятно, что представление об автономии национальных литератур в этой ситуации оказывается беспочвенным.

Вот в этом теоретическом контексте литература восточных славян начального периода (XI—XII вв.) занимает весьма специфическое, во многом даже исключительное положение<sup>3</sup>. Древнерусская литература возникает в определенном смысле на пустом месте. Она не вырастает из фольклора, как литература греческая или латинская, и вместе с тем не образует преемственного континуума с риторически организованными древними литературами, как западные христианские литературы, формирующиеся, как показал в своем классическом труде Э. Курциус [Курциус 1984], внутри латинской литературы, доступной всякому средневековому автору и обеспечивавшей его полным репертуаром разработанных вербальных форм (о западной агиографии в этом отношении см., например: [Хеффернен 1988]).

Оба эти положения, конечно же, дискуссионны. Дискуссионны они, на мой взгляд, в силу того, что истории литератур создаются по трафарету. Исходя из

малоправдоподобной гипотезы об универсальности литературного процесса их пытаются сверстать по одной схеме; мы все помним, как в результате подобных усилий появляются монстры типа русского предвоздрождения. Именно как дань универсальной схеме говорится и о зависимости древнерусской литературы от восточнославянского фольклора. Конечно, отдельные фольклорные элементы можно обнаружить и в «Повести временных лет», и в «Сказании о Борисе и Глебе». Но это ни о чем не говорящие частности. Древнерусская литература конституирует себя как литература христианская, находящаяся в прямой оппозиции языческому «устному народному творчеству», тому одиозному для нее бесовскому козлогласованию, которое она не устает обличать и которое в этих условиях не имеет никакого шанса эволюционировать в трагедию.

Столь же плачевно обстоит дело и со вторым положением, которое высказывалось в разных вариантах, но в целом может быть сведено к известному тезису Д. С. Лихачева о трансплантации византийской культуры на восточнославянскую почву [Лихачев 1973]. Отдельные тексты византийской литературы действительно усваивались (в основном в южнославянских переводах), но никакого перенесения византийского литературного пространства не происходило и не могло происходить. Для этого нужна была бы сходная с византийской литературной культурой, та образованность «господствующих социальных групп», паидея, которая питала византийских авторов и обеспечивала им адекватное читательское восприятие. Для этого нужно было бы, наконец, общераспространенное в образованном секторе общества адекватное знание греческого языка. Хотя византийские образцы играли определенную роль в возникновении древнерусской литературы (именно роль частных образцов), однако степень их трансформации в новом культурном контексте была столь велика, что нет никакой возможности говорить о преемственном континууме. Эти образцы были отдельными кирпичиками, тогда как само здание возводилось на пустом месте и конструкция его была вполне оригинальной<sup>4</sup>.

Это означает среди прочего, что существование жанров как принципа членения древнерусского литературного пространства является весьма проблематичным. Тем не менее жанровая классификация без стеснения прилагается к древнерусской литературе и нередко служит той концептуальной рамкой, в которой рассматривается древнерусский литературный процесс. В свое время Дм. Чижевский даже утверждал, что в древнерусской литературе в большей степени, чем в литературе последующих эпох, «композиция, стилистические особенности и до какой-то степени даже содержание зависят от принадлежности произведения к определенному жанру» [Чижевский 1954, 105]. Этот подход пытался обосновать Р. Ягодич, ученик Н. С. Трубецкого [Ягодич 1957—1958], и он был принят Д. С. Лихачевым в его «Поэтике древнерусской литературы» (ср.: [Лихачев 1979, 55 сл.]).

Не буду сейчас подробно останавливаться на критике этого подхода, указывавшей на связь жанрового принципа с эстетической установкой автора и на отсутствие такой установки у восточнославянских книжников. Метафора литературного этикета ни в малой степени не описывает риторические стратегии (вербальное поведение) Нестора или его современников. Отдельные элементы изложения,

несомненно, «литературны», в том смысле что они взяты из репертуара приемов доступной восточнославянским авторам переводной литературы (только об этом и свидетельствуют разнообразные примеры, приводимые Лихачевым), однако они не складываются в единое целое, в организованную совокупность формальных средств (поэтики), определяющих структуру произведения. В этом плане ранние восточнославянские тексты (в том числе и агиографические) радикально отличаются от, скажем, житий Симеона Метафраста, литературная форма которых была едва ли не основной заботой их автора (о литературных устремлениях Метафраста см.: [Циллиакус 1938; Пейр 1992]).

Основные заботы восточнославянских книжников, в том числе и агиографов, были совсем иными. Именно это обстоятельство было, вполне справедливо, взято за основу в историко-литературных построениях Берлинской школы во главе с покойным Клаусом Зееманном. Для этих построений главным понятием было *Sitz im Leben*, взятое из работ *Formgeschichtliche Schule* (Рудольфа Бультманна, Мартина Дибелиуса и др.). С точки зрения этой школы словесное поведение определяется социологической ситуацией функционирования текста (это и есть *Sitz im Leben*), и поэтому всякая верbalная форма есть вместе с тем и даже в первую очередь социологический факт. То, что смущает в этих построениях, — это определенная абсолютизация понятия словесной формы как устойчивой и достаточно абстрактной данности. Именно множество этих форм соотносится со множеством также достаточно абстрактных коммуникативных функций (*Interaktionsbereiche*): жития — с культом святых, проповеди — с христианским назиданием, летописи — с документированием истории [Шмидт и Зееманн 1987; Зееманн 1987а; б]. Немногим лучше обстоит дело в данном отношении с более тонкой и нюансированной теорией протожанров, предложенной Г. Ленхофф [Ленхофф 1984; 1987]. И здесь вербальные формы соотносятся с «one or more cultural systems or subsystems» [Ленхофф 1987, 264]. Система культуры (а тем более существующие в этой системе подсистемы), по крайней мере в применении к культуре Киевской Руси XI—XII вв., есть, на мой взгляд, абстрагирующая метафора, которая никак не проясняет ни культурную, ни литературную ситуацию. Скорее мы имеем дело с бриколажем, составленным из разнородных, не подходящих друг к другу запасных частей, и вся занимательность происходящих на этой неустроенной территории процессов состоит в том, как из этих частей пытаются собрать несколько (отнюдь не один) действующих механизмов. Христианская культура Киевской Руси и есть один из этих самодельных и недоделанных механизмов. Превращая этот механизм в систему, мы радикально упрощаем ситуацию и абстрагируемся от диалогической сложности происходящих в Киевской Руси процессов<sup>5</sup>.

Прояснив эти теоретические вопросы, вернемся теперь к агиографической проблематике. Ранняя восточнославянская агиография представлена очень ограниченным набором памятников. Это тексты борисоглебского цикла и «Житие Феодосия Печерского». Сюда можно было бы добавить еще «Память и похвалу князю Владимиру Иакова мниха», которую мы рассматривать не будем, поскольку обе существующие редакции (из которых первоначальной является, видимо, про-

странная) представляют собой результат позднейшей переработки. И борисоглебские тексты, и «Житие Феодосия» никакой жанровой структурой не обладают, так что — при сопоставлении с житийной литературой, как византийской, так и латинской, включая те сочинения, которые известны в древнейших славянских переводах, — эти памятники, строго говоря, не могут быть охарактеризованы как жития, как образцы жанра житийной литературы. То же самое, впрочем, может быть сказано и о «Памяти и похвале князю Владимиру»: построение пространной редакции хаотично и страдает немотивированными повторами (ср.: [Подсальский 1982, 116—117; 1996, 198—199]). Я имею в виду тот факт, что риторические стратегии этих памятников нельзя рассматривать как адаптацию, пусть и не слишком удачную, стандартной схемы агиографического произведения. Такая адаптация в замыслы авторов не входила.

Это вполне очевидно в случае борисоглебского цикла. Ни «Сказание», ни «Чтение» житиями не являются (и не называются этим термином в рукописной традиции). Основная часть в обоих случаях посвящена гибели святых братьев. Предпосланная основной части начальная часть в обоих случаях соединяет в себе агиографическое вступление (сведенное к одной фразе в «Сказании» и развернутое в малоуместный очерк священной истории в «Чтении») и биографическую экспозицию. Как бы то ни было, собственно биографический нарратив в обоих текстах отсутствует, и это не позволяет считать их житиями. Эту проблему решали разным образом, считая, например, «Сказание» жанровым гибридом гомилии и жития [Ранчин 1994, 10], или почти приравнивая его к гомилии, в которой Борис и Глеб олицетворяют «род праведных» в соответствии с тематически ключевым текстом [Пс. 111, 2—3; Пикко 1977, 15], или, наконец, рассматривая интересующие нас тексты как *Passio* (мартирний); неуместно и последнее определение не только в силу несходства наших текстов с древними мартириями, но и в силу того, что эти мартирии были восточнославянским авторам неизвестны и потому не могли быть избраны в качестве образцов.

Немногим лучше обстоит дело и с «Житием Феодосия». В нем, конечно, есть биографический нарратив, и начальная часть написана вполне приемлемым для агиографического жанра образом. Однако биографическая последовательность выдерживается только до того момента, когда речь заходит о жизни Феодосия в монастыре. С этого момента, как давно было отмечено Фраuke Зифкес [Зифкес 1970, 51—59], хронологическое построение сменяется тематическим. К хронологическому принципу Нестор возвращается лишь в самом конце, при описании болезни и смерти Феодосия и дальнейших судеб Киево-Печерского монастыря. Описание монашеских подвигов Феодосия, т. е. основная часть жития, построена, согласно Зифкес, по тематическому принципу, однако и тематический принцип строго не соблюдается, эпизоды громоздятся один на другой без ясной содержательной связи. Для византийских житий тематический принцип не характерен, и тип построения вполне ясно указывает на источник этой композиционной нечеткости. Основная часть жития устроена как патерик [Ленхоф 1987, 265], и это, конечно, дисквалифицирует произведение Нестора в жанровом отношении.

Какие же задачи стояли перед первыми восточнославянскими агиографами, что они так мало внимания уделяли литературной форме, пренебрегая теми жанровыми образцами, которые давала византийская литература? Объяснения, на мой взгляд, следует искать в том, как складывалось в Киевской Руси почитание местных святых, если угодно, в социологии раннекиевской святости. Святые, конечно, были образцами богоугодной жизни и небесными заступниками для призывающих их имя христиан. Вместе с тем хорошо известно, что они — при жизни и после своего успения — играли важную роль как медиаторы социальных отношений, отвечающие на основные озабоченности почитающего их социума [Браун 1982]. Более того, агиографические тексты выполняют ту же медирирующую функцию, что и сами святые, или, иными словами, граница между святым как историческим деятелем и святым как агиографическим персонажем остается размытой: действия святого выполняют ту же функцию в отношении верующего; прибегающего к его помощи, что и описание действий этого святого, услышанное им и подарившее ему решение его жизненных проблем (см.: [Камерон 1999]).

Особенности киевской агиографии связывали с характерными чертами восточнославянского почитания святых многие исследователи, однако никто, насколько мне известно, не видел кардинальной проблемы в том, какие святые — святые каких разрядов святости — стали первыми почитаться в Киевской Руси. А между тем это очевидный ключ к пониманию специфики киевской религиозной (литературной) ситуации. Как замечает В. Водофф, «*dans la “Sainte Russie”, la culte des saints est resté longtemps exceptionnel, répondant seulement à des besoins précis de la société*» [Водофф 2003, 163]. Из всего того широкого спектра святости, который даровала восточным славянам христианская традиция, они избирают слабо обозначенный в православии разряд страстотерпцев и разряд преподобных создателей монастырей. Именно эти типы святости оказались востребованы киевским обществом. Конечно, можно сказать, что спрос определялся предложением. Каких святых Бог послал киевлянам, тем они и покланялись.

Представляется, однако же, что у киевлян был достаточно большой выбор. У них были мученики, например, те два пострадавшие за веру варяга, Феодор и его сын, которые упоминаются в «Повести временных лет» под 980 г., или, столетием позже, киево-печерский монах Кукша, который отправился с миссией к вятичам и был ими убит. Никакого реального культа этих святых не возникло. В Киевской Руси было множество епископов: киевских митрополитов и епископов Переяславля, Чернигова, Новгорода, Белгорода, Ростова. Мы мало о них знаем, но нет причин сомневаться в том, что некоторые из них вели праведную жизнь. То, что они не почитались в качестве святых, не может быть объяснено их нравственными изъянами. Первые почитаемые святители (Леонтий Ростовский и Авраамий Смоленский) появляются лишь в конце XII в.; культ Леонтия распространяется Андреем Боголюбским как знак властного самостояния Северо-Восточной Руси (ср.: [Ленхофф 1992]). Наконец, в Киевской Руси были анахореты. Наиболее знаменит из них св. Антоний Печерский. Однако его реальное почитание возникает лишь в конце XIV в. в религиозно-культурной ситуации, нисколько не

напоминающей Киевскую Русь XI в. Хотя в Киево-Печерском Патерике (в посланиях Симона и Поликарпа) он может именоваться святым, однако здесь такое же наименование прилагается и к другим киево-печерским подвижникам XI в. и ни о каком установившемся культе не свидетельствует (см.: [Томсон 1995, 658]). Что же касается жития Антония, упоминаемого в нескольких ранних источниках и принимаемого за реальный агиографический памятник (а отсюда и за свидетельство почитания) многими исследователями (включая, например, А. А. Шахматова и Д. Чижевского), характер этого гипотетического текста остается неясным, но в любом случае не укладывающимся в житийный жанр и не имевшим культового употребления, а тем самым ничего не говорящим о его почитании (см.: [Томсон 1995, 658—659]). Вся известность Антония — это побочный продукт почитания преп. Феодосия, независимым статусом он не обладает<sup>6</sup>.

Реальное почитание засвидетельствовано для свв. Бориса и Глеба и для преп. Феодосия, и это все. Данный факт означает, что эти святые медиировали самые насущные нужды киевского общества, и вопрос, который следует поставить, состоит в том, каковы были эти нужды (замечу, что это не вопрос о том, каков был процесс возникновения культа или какую роль в этом процессе играли совершенные святыми чудеса). В самом общем виде на него можно ответить так: в обоих случаях речь шла о том, какова должна быть власть в христианском обществе. Я имею в виду, конечно, не одну административную власть, но всю совокупностьластных отношений: подчинение авторитету, убеждению, устанавливаемой частью общества поведенческим нормам, традициям и инновациям и т. д. Речь идет в конечном счете об одной из самых актуальных для современной религиозной истории тем — святость и власть или святость как власть (укажу здесь вновь на недавние работы Питера Брауна: [Браун 1992; 1995; 2002]). В только что христианизировавшемся обществе это не могло не быть самой животрепещущей проблемой: новая религия кардинально меняла сложившуюся социальную систему, и адаптация этой системы к новой вере непосредственно затрагивала всю киевскую элиту.

Культ Бориса и Глеба отвечал на эту озабоченность самым прямым образом. Прежде всего, он задавал образец святости для мирян и специально княжеской святости. Он вводил христианскую норму в публичную жизнь варварского общества и устанавливал братскую любовь (филодельфию) и добровольное подчинение как политические принципы для христианской династии. Вместе с тем он легитимировал династию Рюриковичей как род христианских князей. Осуждение Святополка Окаянного имело в этом отношении не меньшее значение, чем прославление его невинно убиенных братьев. В конце XII в. автор «Слова о князьях» писал: «Слышите князи противящеся старѣйшей брати и рать въздвижуше и поганыя на свою братию возводяще, не обличиль ти есть Богъ на страшнѣмъ судищи. Како святый Борисъ и Глѣбъ претерпѣста брату своему не токмо отъятие власти; но отъятие живота» [ПЛДР, XII в., 338]. Этот моральный дискурс, этот этос родственных обязательств был обязан своим возникновением культу Бориса и Глеба и, возможно, делал излишним почитание их отца Владимира (ср.: [Водофф 2003, 119—133])<sup>7</sup>.

Можно было бы возразить, что Рюриковичи продолжали котормовать. Тем не менее перемена была разительна. Надо помнить, что до этого братоубийство было естественным способом, с помощью которого решались проблемы передачи власти. Св. Владимир, отец окаянного Святополка, стал единовластным правителем после убийства двух его братьев, и Святополк, можно сказать, действовал по традиции, установленной отцом. С появлением культа Бориса и Глеба это решение перестало быть привлекательным для Рюриковичей. Все пять сыновей Ярослава умерли своей смертью при всей остроте их борьбы за власть. Символические действия, связанные с культом страстотерпцев, были важным средством в обуздании междуусобного насилия. Достаточно вспомнить описание перенесения мощей святых в «Повести временных лет» под 1072 г.: «Пронесоша сѧ стаға строцца Бориса и Глѣба, совокупившесѧ гарославичї. Изаславъ. Стославъ. Всеволодъ. митрополитъ же тогда бѣ Георгіи еп'пъ Петръ Переѧславъскыи. Феодосии же игуменъ Печеръскыи. Софронии стағ Миханла игуменъ. Германъ игуменъ. стағ Сѣса Никола игуменъ Переѧславъскыи. и вси игумени. и створше праздникъ праздноваша свѣтло (...) И ѿгѣвшє лингургию. швѣдаша братыа на скѹпъ кождо съ богары своими. съ любовью великою (...) посем же раздошаася въ своя си» [ПСРЛ, I, стб. 181—182]. Это религиозно-социальное значение культа было важнейшим фактором его первоначального распространения, а отнюдь не его соответствие кенотической природе восточнославянской духовности, вымышленной Федотовым (ср.: [Федотов 1990, 49—50]; ср.: [Федотов 1975, 103—105]).

Данные обстоятельства проливают свет и на то, как сделаны памятники борисоглебского цикла. Византийская агиография создавалась в совершенно иных обстоятельствах, святых с аналогичными функциями в Византии не было, а потому не было и подходящих источников. Куда больше сходств было с варварским Западом, где культ князей-мучеников, погибших в результате политического убийства, не был редкостью. Западная агиография, и прежде всего «Житие Вячеслава», несомненно, повлияла на восточнославянских авторов. Этот агиографический прецедент хорошо известен (см.: [Ингем 1965; 1973; 1984; Живов 2002, 88—92]) и эксплицитно зафиксирован в «Сказании». О мученичестве св. Бориса в нем говорится: «По мышлаждѣть же мѣнѣ и страсть ст҃го мѣнка Никита и ст҃го Вячеслава подобно же семоу вывѣшию оубикинию» [Успенский сборник 1971, 47]; ср.: [Ревелли 1993, 206]. Отдельные элементы византийского агиографического дискурса тоже, конечно, встречаются (особенно в «Чтении») — в топосах, в обосновании святости как отвержения мира, даже в упоминании св. Никиты, воина-мученика, мало схожего с Борисом и Глебом. Эти элементы не определяют структуру и жанровые характеристики памятников, но они достаточны для того, чтобы вписать их в православную традицию. Большой адаптации византийских образцов (например, создания правильной аскетической биографии святых) было не нужно, она была бы даже контрпродуктивной, поскольку затрудняла бы идентификацию адресата рассматриваемых текстов с их протагонистами.

Не менее важную роль в христианизации киевского общества играл и культ Феодосия. Феодосий воплощал в себе христианский нравственный авторитет,

стоящий вне общества и вместе с тем прямо с этим обществом связанный, на-висающий над ним и обладающий духовной властью, диалогически корректирующей властные отношения в миру. В христианской традиции эта роль чаще всего принадлежала епископам основных центров политической и культурной жизни, таким как Амвросий Медиоланский или Иоанн Златоуст. Киевские митрополиты такими функциями обладать не могли, они были греками, смотрели на свою паству как на варваров и в жизнь киевского общества вмешивались лишь незначительно. Соответственно и киевляне смотрели на них в целом с равнодушием, так что никакой основы для их почитания не было (ср.: [Иванов 2003, 233—237]).

Феодосий с самого начала ставит свой монастырь в самые близкие отношения с киевским обществом, и этим он отличается от преп. Антония, который стремился отдалить себя и своих собратий от мирской жизни. Феодосий был духовным отцом многих мирян. Князья и бояре «приходяще къ великоуомоу Феодосию исповѣдающе томоу грѣхы своя» [Успенский сборник 1971, 93]), и именно с него начинается русская традиция исповеди у черного духовенства. Вблизи монастыря Феодосий построил богадельню, «тоу же повелѣ прѣбывать нищимъ и слѣпымъ и хромымъ. и троудоватьни. и ѿ манастирѣ подавааше имъ иже на потрѣбоу. и всего соѹщааго манастирьскааго десѧтою часть дашаишъ и. и ище же и по вѣса соѹботы посылаше въ потрѣбоу возь хлѣбъ. соѹщимъ въ оѹзахъ» [Там же, 110]. Феодосий не только принимает мир у себя в монастыре, но и сам отправляется в Киев, посещая князя и бояр и подавая им духовное наставление. Всем памятны его слова князю Святославу, когда он, посещая князя, застал его развлекающимся играми и пением и преподал ему урок православного благочестия: «и яко малы вѣсклонивъ сѧ рече къ томоу то боудеть ли сице на ономъ свѣтѣ. Тоже тоу авникъ онъ съ словъми блаженааго. оумили сѧ и малы просльзи си. повелѣ тѣмъ прѣстати. и ѿтолѣ аще коли приставаше тыа играти. ти слыша аще блаженаго пришдѣша. то повелѣвааше тѣмъ прѣстати. ѿ таковыиа игры» [Там же, 123—124].

Наиболее показательны, конечно, отношения Феодосия со Святославом, который, вместе со Всеволодом, изгнал из Киева старшего брата Изяслава и занял киевский престол. Феодосий обличал Святослава неустанно, указывая ему, что «гла́въ брата твоего вѣпніетъ на тѧ къ бѹ. яко авелика на канна. и инѣхъ многиихъ дрѣвнинихъ гонитель и оубонникъ. и братоненавидыникъ привода» [Там же, 121]. Феодосий добился покаяния Святослава, хотя и не добился восстановления прав Изяслава. И в житии Феодосий, обращаясь к кающемуся Святославу, формулирует самый принцип взаимодействия духовного авторитета и мирской власти: «се намъ подобаетъ обличити и гла́ти вамъ иже на спасение дши. и вамъ лѣпо исть послѹшати того» [Там же, 123]. Феодосий создает парадигму такого взаимодействия, регулируя тем самым важнейший аспект социального устройства восточнославянского христианского общества. Понятно, что и культ Феодосия имеет для этого устройства принципиальное значение.

Этим определяется и структура созданного Нестором жития. Хронологический принцип оказывается уместен лишь в рассказе о том, как Феодосий достиг той ду-

ховной высоты, которая обеспечила ему нравственный авторитет, — через благочестие в детстве и аскетические подвиги в юности. Когда же речь заходит о том, как реализуется духовная власть Феодосия, более подходящим становится принцип тематический, позволяющий обозреть разные аспекты того, как авторитет святости выстраивает христианский социальный порядок. Новеллы патерикового типа вполне соответствуют этой задаче, а сама задача оказывается для Нестора куда более важной, чем следование византийскому жанровому канону. Этой же задаче подчинено и использование разнородных агиографических источников. Наряду с житиями палестинских общежительных игуменов, близких Феодосию по типу святости (жития св. Саввы Освященного и св. Евфимия, написанные Кириллом Скифопольским), Нестор пользуется и «Житием св. Антония Великого», и «Житием Иоанна Златоуста» (ср.: [Зифкес 1970, 149—164]). Хотя они описывают иной путь святости, роль святого как социального медиатора изображена в них особенно рельефно, и это определяет их ценность для восточнославянской агиографии вне зависимости от типа биографического нарратива.

Итак, и формальные характеристики первых памятников восточнославянской агиографии, и отбор использованных при их написании источников определяется важнейшими социальными потребностями христианизирующегося общества, утверждением христианских принципов, христианской святости в отношениях власти. Литература включена в исторический контекст, а не в призрачный литературный ряд. Соображения литературного «этикета», вообще соображения эстетического порядка для первых киевских агиографов существенного значения не имеют. Не волниут их, в частности, и жанровая преемственность, проблема жанровой упорядоченности только еще нарождающего литературного пространства. Поэтому никаких жанров в ранней восточнославянской агиографии нет. Пространство словесности заполняется медленно, по мере создания новых памятников и включения разнообразных переводных текстов в литературный процесс. Задача упорядочения литературного пространства возникает не ранее XV в. (имею в виду, например, деятельность Пахомия Логофета), и только тогда на его карте приступают первые очертания жанрового членения.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ср. у Бахтина: «[В] большой литературе (то есть в литературе господствующих социальных групп) все жанры в известной мере гармонически дополняют друг друга и вся литература, как совокупность жанров, есть в значительной мере некое органическое целое высшего порядка» [Бахтин 1975, 448]. При таком устройстве литературного пространства у него есть свои аутсайдеры, как, например, роман в литературе классицизма (или в римской литературе, или — если говорить о более близкой нам проблематике — в литературе византийской).

<sup>2</sup> Позволю себе в этой связи еще раз процитировать Бахтина, а именно его рассуждение об эпопее с ее сложившимися жанровыми признаками, которые вряд ли могут быть отнесены к ее генезису: «Мы говорим об эпопее как об определенном реально дошедшем до нас жанре. Его совершенство, выдержанность и абсолютная художественная ненаивность говорят о его старости как жанра, о его длительном прошлом. Но об этом прошлом мы можем только гадать, и

нужно прямо сказать, что гадаем мы об этом пока весьма плохо. Тех гипотетических первичных песен, которые предшествовали сложению эпопеи и созданию жанровой эпической традиции, которые были песнями о современниках и являлись непосредственным откликом на только что совершившиеся события, — этих предполагаемых песен мы не знаем. (...) И у нас нет никаких оснований думать, что они были более похожи на поздние (известные нам) эпические песни, чем, например, на наш злободневный фельетон или на злободневные частушки» [Бахтин 1975: 457—458].

<sup>3</sup> Оговорюсь, что здесь и в настоящих заметках в целом я имею в виду исключительно европейский литературный процесс, не вдаваясь в силу неосведомленности в своеобразие неевропейских литературу. Соответственно, под новыми литературами подразумеваю христианские литературы. Оговорюсь далее, что по поверхности моих знаний не берусь судить о возможных аналогиях в армянской, грузинской или эфиопской литературах.

<sup>4</sup> Здесь, видимо, следует сделать оговорку, касающуюся богослужебных текстов. В этой области действительно можно говорить о трансплантации византийских образцов на русскую почву, хотя, как кажется, в этом случае нет нужды в специальных терминологических ухищрениях. Богослужебные тексты были почти на 100 % переводными, а те незначительные добавки, которые делались восточными славянами, в своих формальных характеристиках последовательно имитировали усвоенные модели (об уникальном отклонении от этой нормы в паремийном чтении Борису и Глебу и о том, как в этом случае наследуемая модель — паремии «Мученику единому» и «апостолу единому» — поглощает местный материал см.: [Успенский 2000]). Понятно, что в христианизации восточнославянского общества богослужение играло важнейшую роль, однако в силу своей стабильности оно не отражало и не могло отразить той сложной неготации между усвоенной христианской традицией и локальными социальными установлениями, которая создавала культурное пространство ранней восточнославянской письменности. В отношении к динамике культурного процесса в Киевской Руси богослужение было маргинально, оно как бы конституировало средоточие христианской жизни, вынесенное на границы культурного пространства. Поэтому представляется лишенным всякого смысла говорить, основываясь на воспроизведстве литургических моделей, о литературах *Slavia byzantina*, как это делает Г. Роте [Rote 1997, 259]. Роте подсчитывает процент литургических рукописей в общем корпусе письменных источников XI—XIII вв., делает отсюда неправомерный вывод о том, что ранняя восточнославянская книжность была на 83,7 % богослужебной, и говорит о проблеме жанров в составе данного корпуса, нерепрезентативность которого хорошо известна (ср. более плодотворный подход к этой проблеме в книге Р. Марти — [Марти 1989]). Отсюда и проблема жанров сводится к проблеме типов богослужебных песнопений. «Wir wissen, — пишет Роте, — daß die einzelnen Gattungen (Stichera, Hirtoi, Tropar, Kontakirn, Kanon, Ode und weitere) sehr genau definiert sind» [Там же, 257]. Не буду обсуждать вопрос о том, насколько правомерно говорить о данных типах как отдельных жанрах, поскольку в славянском переводе они утрачивают большинство тех формальных признаков, которые отличают их в греческом. Ясно, что такой подход редуцирует проблему жанров, а любые социологические параметры (в том числе и Sitz im Leben, о котором мы будем говорить ниже и которому, по видимости, посвящена статья Роте) теряют всякое значение: у всех перечисляемых Роте литургических «жанров» эти параметры совпадают, а более интересная задача реконструировать социальный контекст отдельных частей богослужения (общего богослужения, треб, проповеди и т. д.) им не ставится.

<sup>5</sup> У этого миража системности есть, конечно, свои концептуальные последствия. Когда, например, К.-Д. Зееманн утверждает, что «the social context of a medieval genre is of a general kind. The field of interaction to which the texts of a genre belong is intelligible (...) as a conventionalized, if not indeed an institutionalized domain» [Зееманн 1987, 251]. Если, скажем, областью взаимодействия (коммуникативной сферой) является культ святых вообще, а отдельные агиографические тексты находятся в вертикальной связи с этой абстрактной областью, то те радикальные раз-

личия, которые существуют в этой сфере между Византией и Киевской Русью, оказываются затушеванными, и византийские модели «can be cautiously utilized» [Там же].

<sup>6</sup> Фр. Томсон в качестве первого свидетельства культа Антония приводит сообщение Никоновской летописи под 1394 г. о том, что тверской епископ Арсений «постави церковь теплую во имя святых отец Антония и Феодосия Печерских» [ПСРЛ, XI, 156]. Развитие культа должно было на сколько-то лет предшествовать этому событию, однако вряд ли более чем на одно-два десятилетия. Фр. Томсон справедливо и с уместной ссылкой на религиозно-культурную ситуацию замечает: «The reason for this lack of an early cult of St. Anthony was clearly that ascetic withdrawal from the world to live as a hermit was neither in keeping with the spirituality of the infant Russian church nor did it contribute to the propagation of the faith and it is hardly coincidental that the origins of the cult date precisely from the period when the first signs of an interest in the anchoritic life begin to appear among the East Slavs» [Томсон. 1995, 661]. Духовность — это, конечно, слово с расплывчатым значением, но в любой конкретной исторической проекции синонимичное социальному-культурным параметрам религиозной жизни общества.

<sup>7</sup> Мне представляется наиболее правдоподобным, что почитание Бориса и Глеба развились уже при Ярославе, при котором и возникает новое социальное самоощущение христианизированной элиты Киевской Руси. Понятно, что оно распространяется прежде всего среди князей — родичей убиенных (в качестве своеобразного родового культа) и в окружении этих родичей (что в общем как раз и совпадает с составом христианизированной элиты). Рассуждения Л. Мюллера [Мюллер 2000, 71—87] о ранней канонизации Бориса и Глеба, высказанные им в полемике с А. Поппе [1995], кажутся мне, однако же, бессодержательными — не в малой степени в силу того, что развитие почитания не предполагало в этот период какого-либо формального, фиксируемого в источниках акта (который стоило бы называть канонизацией). Бездоказательны, на мой взгляд, и попытки связать с этой ранней (до 1072 г.) канонизацией и какие-либо определенные тексты, дошедшие до нас или реконструируемые в качестве их возможного источника; конструкты последнего типа создают, по справедливому замечанию Поппе [Там же, 45], «лишь видимость выхода из затруднительного положения». Существовали ли какие-либо записи, предшествующие сохранившимся борисоглебским текстам, или нет, никакой проверке не поддается и, в сущности, не имеет принципиального значения.

## ЛИТЕРАТУРА

- Бахтин 1975 — Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худ. лит., 1975.
- БЛДР, I—XX — Библиотека литературы древней Руси / Под ред. Д. С. Лихачева и др. Т. I—XX. СПб.: Наука, 1997—. (Издание продолжается.)
- Браун 1982 — Brown P. The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity // P. Brown. Society and the Holy in Late Antiquity. Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 1982. P. 103—152.
- Браун 1992 — Brown P. Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Christian Empire. Madison: The Univ. of Wisconsin Press, 1992.
- Браун 1995 — Brown P. Authority and the Sacred: Aspects of the Christianization of the Roman World. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995.
- Браун 2002 — Brown P. Poverty and Leadership in the Later Roman Empire. Hanover and London: University Press of New England, 2002 (The Menahem Stern Jerusalem Lectures).
- Бугославский 1928 — Бугославський С. Пам'ятки XI—XVIII вв. про князів Бориса та Гліба (Розвідка та тексти). Київ, 1928 [Збірник Історично-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук, № 77].

- Водофф 2003 — *Vodoff V.* Christianisme, pouvoir et société chez les slaves orientaux (X<sup>e</sup>—XVII<sup>e</sup> siècles). Autour du mythe de la Sainte Russie. Paris: Institut d'études slaves, 2003 [Centre d'études slaves; cultures & sociétés de l'Est, 37].
- Еремин 1966 — *Еремин И. П.* Литература древней Руси. М.; Л., 1966.
- Живов 2002 — *Живов В. М.* Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Зееманн 1987а — *Seemann K.-D.* Zum Verhältnis von Narration und Gattung im slavischen Mittelalter // Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen / Ed. K.-D. Seemann. Wiesbaden, 1987. S. 207—221.
- Зееманн 1987б — *Seemann K.-D.* Genres and the Alterity of Old Russian Literature // Slavic and East European Journal. 31 (1987). P. 246—258.
- Зифкес 1970 — *Siefkes F.* Zur Form des Žitije Feodosija. Vergleichende Studien zur byzantinischen und altrussischen Literatur. Bad Homburg; Berlin; Zürich: Verlag Gehlen, 1970 (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe III. Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, 12. Bd.).
- Иванов 2003 — *Иванов С. А.* Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М.: Языки славянской культуры, 2003.
- Ингем 1965 — *Ingham N. W.* Czech Hagiography in Kiev: The Prisoner Miracles of Boris and Gleb // Die Welt der Slaven, 10 (1965). P. 166—182.
- Ингем 1973 — *Ingham N. W.* The Sovereign as Martyr, East and West // Slavic and East European Journal, 17 (1973). P. 1—17.
- Ингем 1984 — *Ingham N. W.* The Martyred Prince and the Question of Slavic Cultural Continuity in the Early Middle Ages // Medieval Russian Culture / Ed. by H. Birnbaum, M. Flier. Berkeley; Los Angeles, 1984. P. 31—53 (California Slavic Studies, XII).
- Камерон 1999 — *Cameron A.* On Defining the Holy Man // The Cult of Saints in Late Antiquity and the Early Middle Ages. Essays on the Contribution of P. Brown // Ed. by J. Howard-Johnston, P. A. Hayward. Oxford: Oxford Univ. Press, 1999. P. 27—43.
- Курциус 1984 — *Curtius E. R.* Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Zehnte Aufl. Bern; München: Francke Verlag, 1984.
- Ленхофф 1984 — *Lenhoff G.* Toward a Theory of Protogenres in Medieval Russian Letters // The Russian Review, 43 (1984). P. 31—54.
- Ленхофф 1987 — *Lenhoff G.* Categories of Early Russian Writing // Slavic and East European Journal, 31 (1987). P. 259—271.
- Ленхофф 1989 — *Lenhoff G.* The Martyred Princes Boris and Gleb. A Socio-Cultural Study of the Cult and the Texts. Columbus, 1989. P. 75—77.
- Ленхофф 1992 — *Lenhoff G.* Canonization and Princely Power in Northeast Rus': The Cult of Leontij Rostovskij // Die Welt der Slaven, 37 (1992). P. 359—380.
- Линд 1990 — *Lind J.* The Martyria of Odense and a Twelfth-Century Russian Prayer: The Question of Bohemian Influence on Russian Religious Literature // The Slavonic and East European Review, 68 (1990), 1. P. 1—21.
- Лихачев 1973 — *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973.
- Лихачев 1979 — *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд.. М., 1979.
- Марти 1989 — *Marti R.* Handschrift — Text — Textgruppe — Literatur. Untersuchungen zur inneren Gliederung der frühen Literatur aus dem ostslavischen Sprachbereich in den Handschriften des 11. bis 14. Jahrhunderts. Wiesbaden, 1989 (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin, Bd. 68).
- Мюллер 2000 — *Мюллер Л.* Понять Россию: историко-культурные исследования. Авторизованные переводы с нем. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

- Пейр 1992 — *Peyr E.* Zur Umarbeitung rhetorischer Texte durch Symeon Metaphrastes // *Jahrbucher der Österreichischen Byzantinistik*, 42 (1992). P. 143—155.
- Пиккио 1973 — *Picchio R.* Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom // *American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists*. Vol. II. The Hague, 1973. P. 439—467.
- Пиккио 1977 — *Picchio R.* The Function of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of Slavia Orthodoxa // *Slavica Hierosolymitana*, 1 (1977). P. 1—31.
- ПЛДР, XII в. — Памятники литературы Древней Руси. XII век / Под ред. Д. С. Лихачева. М.: Худ. лит., 1980.
- Подскальский 1982 — *Podskalsky G.* Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus' (988—1237). München: C. H. Beck, 1982.
- Подскальский 1996 — *Подскальски Г.* Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988—1237 гг.). 2-е изд., испр. и доп. для русского перевода. СПб.: Византинороссика, 1996 (*Subsidia byzantinorossica*, 1).
- Поппе 1995 — *Ponne A.* О зарождении культа свв. Бориса и Глеба и о посвященных им произведениях // *Russia medievalis*, VIII, 1 (1995). С. 21—68.
- ПСРЛ, I—XLI — Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографическою комиссию. Т. I—XLI. СПб.; М., 1841—1995.
- Ранчин 1994 — *Ранчин А. М.* Княжеские жития в чешской и русской литературе древнейшего периода: Проблемы жанра и поэтики: Автореф. канд. дис. / Институт славяноведения и balkанистики РАН. М., 1994.
- Ревелли 1993 — *Revelli G.* Monumenti letterari su Boris e Gleb. Литературные памятники о Борисе и Глебе. Geneva, 1993.
- Соболева 1975 — *Соболева Л. С.* Паремийные чтения Борису и Глебу // Вопросы истории книжной культуры: Сб. научных трудов. Вып. 19. Новосибирск, 1975. С. 104—123.
- Томсон 1978 — *Thomson Fr. J.* The Nature of the Reception of Christian Byzantine Culture in Russia in the Tenth to Thirteenth Centuries and its Implications for Russian Culture // Belgian Contributions to the 8th International Congress of Slavists. Zagreb, Ljubljana, September 1978. *Slavica Gandensia*. 5. 1978. P. 107—139.
- Томсон 1993 — *Thomson Fr. J.* The Corpus of Slavonic Translations Available in Muscovy. The Cause of Old Russia's Intellectual Silence and a Contributory Factor to Muscovite Cultural Autarky // Christianity and the Eastern Slavs. Vol. I. Slavic Cultures in the Middle Ages / Ed. by B. Gasparov and O. Raevsky-Hughes. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1993. P. 181—182 [California Slavic Studies, XVI].
- Томсон 1995 — *Thomson Fr. J.* Saint Anthony of Kiev — the Facts and the Fiction: The Legend of the Blessing of Athos upon Early Russian Monasticism // STEFANOS: *Studia byzantina ac slavica Vladimíro Vavřínek ad annum sexagesimum quintum dedicata*. Prague: Slovanský Ústav, 1995. С. 637—668 [*Byzantino-slavica*, LXVI].
- Трубецкой 1973 — *Trubetskoy N. S.* Vorlesungen über die altrussische Literatur. Firenze, 1973 (*Studia historica et philologica. Sectio slavica*, 1).
- Успенский сборник 1971 — Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.
- Успенский 2000 — Успенский Б. А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Федотов 1975 — *Fedotov G. P.* The Russian Religious Mind (I). Kievan Christianity. The 10th to 13th Centuries. Belmont, 1975.
- Федотов 1990 — *Федотов Г.* Святые Древней Руси. М., 1990.
- Хеффернен 1988 — *Heffernan Th. J.* Sacred Biography: Saints and Their Biographers in the Middle Ages. New York; Oxford: Oxford University Press, 1988.

- Циллиакус 1938 — *Ziliacus H.* Zur stilistischen Umarbeitungstechnik des Symeon Metaphrastes // *Byzantinische Zeitschrift*, 38 (1938). S. 333—350.
- Чижевский 1954 — *Čizevskij D.* On the Question of Genres in Old Russian Literature // *Harvard Slavic Studies*, 2 (1954). P. 105—115.
- Шмидт и Зееманн 1987 — *Schmidt W.-H., Seemann K.-D.* Erzählen in den älteren slavischen Literaturen // *Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen*. Ed. K.-D. Seemann. Wiesbaden, 1987. S. 1—25.
- Ягодич 1957—1958 — *Jagoditsch R.* Zum Begriff der «Gattungen» in der altrussischen Literatur // *Wiener Slavistisches Jahrbuch*, 6 (1957—1958). S. 113—137.

*Л. А. Софронова (Москва)*

## ФОРМУЛЫ ОБЩЕНИЯ В ПЬЕСАХ СТАРИННОГО РУССКОГО ТЕАТРА\*

Т. М. Nicolaeva, разрабатывая понятие речевых стереотипов как отрезков высказывания, включенных «в контекст, представленный “свободными” компонентами высказывания» [Николаева 2000, 149], выделяет также группу коммуникативных стереотипов, понимая под ними «те случаи речеговорения, когда в одних и тех же ситуациях говорящий употребляет одни и те же обороты-клише» [Там же, 150]. Исследователь относит к ним «формулы вежливости, формулы поведения в разных социализированных ситуациях и под. Сюда же относятся и формулы делового языка, формульные клише конференций, заседаний, этикетных встреч и т. д.» [Там же, 163]. В данной статье мы хотели бы представить, как выглядят эти формулы не в жизни, а на сцене, избрав для анализа тексты пьес русского театра XVIII в., «охотничьего», или любительского [Старикова 2000]. Этот театр был одним из видов массового искусства того времени, предназначался для широких кругов московской публики. Он тяготел к формульности, наследуя как ослабленной риторике, так и фольклору. Она сказывалась в сюжете, художественном пространстве, костюме, слове.

Театральные персонажи очень редко беседуют о чем-то существенном. В основном, они обмениваются оборотами-клише, которые произносятся по самым разным случаям. Они пользуются ими как «готовым» словом. Его разновидностей столь много, что, кажется, весь словесный ряд пьес состоит из них. Они подменяют собой непосредственные контакты героев на уровне слова, превращаясь в специфические формулы общения. Обмен этими формулами порой бывает главным средством их взаимодействия. На первый взгляд они несут очень мало «полезной» информации, почти недвигают действие вперед, а чаще даже замедляют его. Они довольно слабо участвуют в развитии сюжета, редко содержат оценку происходящих событий. Характеристики персонажей выявляются в них с трудом. Можно сказать, что формулы общения свидетельствуют о некоей осторожности старинного театра, о его недоверии к самому себе. Он как бы опасается ничем не сдерживаемых речей своих героев и в формулах общения ищет свою опору, и нужно сказать,

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 03-04-0022а.

что находит, но не только в плане развития театрального слова. Формулы общения, оставаясь семантически «пустыми», играют важную роль в становлении искусства сцены, так как в них скрываются указания на построение системы персонажей и художественного пространства. Кроме того, они провоцируют игру, требуют приличествующих жестов, предполагают особый тип сценического движения. На их предельно малом пространстве, следовательно, организуется сценическая коммуникация. Они являются подступами к полноценному диалогу, который еще только становится. Потому персонажи обходятся этими формулами, которые, конечно, не были неизменными, а варьировались и обогащались дополнительной информацией, сохраняя при этом свое ядро.

Любительский театр часто прибегает к самопредставлениям. Их произносит Юпитер, сидя на троне в окружении эллинских богов: «Аз, сильный бог Юпитер, семо пребываю» (5, 255)<sup>1</sup>. Только со словами самопредставления выходят на сцену короли и цари: «Аз есмь Атигрин, цесарь трапезонтский» (5, 131). Часто говорят о себе храбрые кавалеры: «А о имени моем изволиш узнати: Алколес есть кралевич такова познати. // О вашем же имени слышати желаю» (5, 159). Также, следуя этикету, поступают второстепенные персонажи, называющие себя славными победителями «в подсолнечном свете». Порой это их единственное выступление на сцене. Начинают свой выход с самопредставлений, обычно очень кратких, аллегорические фигуры: «Аз, гишпанская Слава, / Летаю повсюду, что Фама» (5, 77). Редко, когда самопредставления делались не сразу. Граф Фарсон, появившись в первый раз, называет себя чужестранцем и только потом объявляет: «Имя мое граф Фарсон / От высоких персон» (4, 361). Самопредставления обязательно повторяются, создавая явную избыточность информации. Вряд ли царь Целюдор не знает своего сына, но, явившись перед ним после долгой разлуки, тот ему (или зрителям) представляется. Сыновья Палиартеса, Калеандр и Алкабель, обращаясь к нему, не забывают сказать: «Аз бо есмь Калеандр, сын ваш от тебе рожденынны (...) И аз, сын твой Алкабель, тоежде желаю» (5, 216).

Строятся самопредставления сходно и — что очень важно — обнаруживают способность перерастать в монолог. Цари не только называют себя, перечисляют титулы, но и «возвышают» свое царство, хвалятся собственной мощью. Король гишпанский напоминает о своем сильном флоте морском; Король дацкий — о кавалерии и инфanterии крепкой; Король саксонский — об артиллерии и гвардии. Царевны и герцогини не забывают упомянуть о том, что они «в чистоте» пребывают. Просвещиваются в самопредставлениях и сюжетные линии. Князь Иефай, например, говорит о намерениях выступить с войной. Также в самопредставлениях вводятся иные персоны — цари рассказывают о своих прекрасных дочерях и храбрых сыновьях. Представляясь, персоны дают волю чувствам. Цари и короли беспрестанно радуются военным успехам и богатству: «Никакой печали истинно не знаю, себя же ей радостным всегда признаваю» (5, 131). Эти слова и им подобные произносятся не раз. Так поддерживается основной модус любительского театра, отличавшегося жизнеутверждающим началом и разделявшего оптимизм всей эпохи, сделавшей праздник основным своим ядром [Сиповская 2000, 23]. Правда,

иногда персоны грустят, произнося слова самопредставления: «Только в печали немалой ныне обретаюс (...) печал сокрышила с сего мя днес света» (5, 358).

Такое построение этой формулы общения выдерживается не всегда, что говорит о ее способности к перестраиванию. Некоторые ее части опускаются. Дукс Сарпид, даже не назвав себя, сразу хвалится мощью и силой. Царь Целюдор лишь рассуждает о своей немолчной славе и требует, чтобы его прославляли аллегорические фигуры. Самопредставление даже может исчезать. Князь Волхван обходится без него и сразу «учиняет банкет». Другой правитель, только появившись, сразу объявляет начало турнира. Эти примеры свидетельствуют о неустойчивом положении самопредставления, которое вдобавок не изолировано и обычно получает отклик окружения персоны. Порой она сама требует этого, как Король дацкий, который велит Сенаторам: «Хвалите зде» (5, 499). Слова самопредставления повторяются в речах других персон. Услышав речи своего сына, царь тут же говорит: «Радуюся ныне, что так мне явися, Алкобел бо сын мой таков предявися» (5, 359). Самопредставления также увязываются с сюжетными ситуациями. После них разворачивается совет с приближенными, начинается пир или прием послов. Так они вступают в сценическое действие и перестают быть безотносительным сообщением о высокой персоне.

Итак, самопредставления не только вводят героев в действие, но и косвенно задают точки пересечения пространства, в котором они действуют. Они фиксируют отдельные сюжетные ситуации в свернутом виде, заранее совершают перевод потенциального действия в слово. Они упрочивают систему персонажей, так как свидетельствуют о положении в ней героев, служат напоминанием о расстановке сил в пьесе, косвенно задают их характеристики. Они стимулируют развитие театрального слова, так как требуют ответной реакции в отличие от самопредставлений, например, в средневековом театре. Конечно, они подменяют собой взаимодействие персон, но все же могут являться и стимулом для него. Вдобавок самопредставления всегда взывают к рассматриванию. Представляясь, персона остается неподвижной. Такая ее позиция заставляет зрителя присматриваться к ней, как к персонажу лубочной картины, «прочитывать» ее слова, как подпись к лубочному изображению.

Активность персон и их взаимодействие усиливаются при произнесении ими этикетных формул приветствия, прощания, пожелания. Очень редко, выйдя на сцену, они сразу начинают вести свои речи. Предварительно персоны здороваются, выражают почтение, желают здравствовать «от искренности сердца». Без этикетных формул они не обходятся, покидая сцену. Можно было бы ожидать, что формулы вежливости, в основном, произносят персоны низкого звания, обращаясь к более высоким. Это не так. Частотность их употребления увеличивается по мере повышения статуса персоны. Исключения из этого правила определяет тип системы персонажей. Такая важная по статусу персона, как Французский Король, не существует в сюжете и появляется лишь в заключительной сцене пьесы о Фарсоне. Не следя этикету, он сразу сообщает о своем намерении короновать сына Кралевны. Других реплик у него нет.

Этикетные формулы легко разрастаются. Чаще они наделяются уточнениями: «Здравствуйте, (...) / чесо ради зде совокупно беседовасте» (5, 92), «А, здравствуй, моя преблагая советница, / в разуме и красоте почтеннейша девица!» (5, 106). Обычно в них по имени называется то лицо, к которому обращается персона: «Здравствуй, дщи короля Гишпанского, / Поздравляет вас сын короля Португальского» (5, 71). Здороваюсь, герой дает этому лицу лестные характеристики: «Здравствуй, мой господин, купец честный, / о вас многия люди известны. / Я пришла к вам поклониться / и желаю до милости твоей явиться» (5, 755). Слова приветствия дополняются выражением почтительного отношения: «Велия во мне радость ныне процветает, егда бо мой зрак вас зде оглядает. Наслаждаюсь, зряще ковалерску входу, радуюсь любезно вашему приходу. Прошу вас, изволте семо веселитца. На сих местах честных позвольте садитца» (5, 229). Приветствие часто сопровождается благопожеланием: «Цесарева славна, герцогиня главна! Тебе поздравляю, радости желаю. Ныне веселися, во здравии явися» (5, 265). Иногда оно заменяет собой приветствие. Неизбежателно происходит обмен этикетными формулами. Часто вновь появившаяся персона здоровается и, не ожидая ответной реакции, вступает в беседу. Граф Фарсон обращается к Сенаторам со словами: «Здравствуйте, господа сенаторы / И высокопочтенные прешийторы» (4, 398). Они же сразу приглашают его садиться. Возможно и другое, когда персоны столь долго обмениваются приветствиями, что никак не могут приступить к делу. Говорят они с особыми жестами. Калеандр при словах приветствия кланяется, Фарсон снимает шляпу. Сценический жест мог записываться в приветствии: «Величество твое поздравляю, / И со учтивостию главу приклоняю» (5, 71).

Прощание не так интенсивно разработано, как приветствие. Отправляя героев на битву со змеем, царь Атигрин только и может сказать: «Простите доутрея, любезныя други» (5, 138). Купидо, покидая сцену, лишь произносит: «Прощайте, любезныя, бывшия мы други, показал бо аз вам многи сердечны услуги» (5, 382). Когда Полиартес отправляет на войну своих сыновей, он не выражает никаких эмоций, не говорит напутствий: «Прощайте, чада мои предрагия, истинно изрядны и весма благия» (5, 220). Могут слова прощания подменяться уверениями в вечной преданности, обещаниями верно служить и во всем угоджать. Зато с возлюбленными персоны прощаются пространно, кланяясь, обнимаясь и целуясь. Они ведут любовные монологи, за которыми следует обмен клятвами в верности: «Прости, мое сердце, в том разлучаюсь, / В верности же моей никогда пременяюсь (...) Прости, моя радость, ко мне возвратися» (5, 511). Этикетные формулы здесь перерастают в лирические партии юных героев. Трогательные слова, а не этикетные формулы звучат и в сценах прощания с родителями: «Простите, родители мои предражайши, / теперь отлучаюсь я в страны далечайши (...) Прости, дом родителски и верная слуги, / сродники, приятели, любезныя други» (4, 327). Поцеловав всех на прощанье, герои «отходят», получая богатые дары.

Формулы приветствия и прощания включают устойчивые выражения почтения. Когда они становятся самостоятельными, их обычно произносят сенаторы и вельможи, без конца изъявляющие верность государю и сгорающие от нетерпения

всех победить в его честь: «Торжествуй, царю, торжествуй, со лики, / Ибо содер-  
жиши власти превелики» (4, 296). Сходное отношение они выражают к сыновьям  
властителей: «Вашему величеству Богом данна сына / в храбости искуснейша от  
прочих едина, / Я изо всей Европы первым почитаю / и с тем атестатом вам его  
представляю» (4, 320). Иногда они даже решаются на музыкальное воплощение  
своего чувства: «Вдруг поют все Сенаторы» (5, 57). Без слов почтения эти персо-  
нажи не появляются на сцене. Все они при этом выражают радость: «Веселится  
Англия, и мой дух играет, / Радостей источник на всех истекает. (...) Англия ликует,  
торжество настало, / Здравствуйте, монарх наш, достигнувши трона» (5, 399). Так  
вновь звучит основная тема любительского театра. Выражение почтения слива-  
ется с благопожеланиями, как и слова приветствия: «Ликуй, король наш славны, /  
Днесъ процветай на троне, избранны, / Живи благополучно с нами купно, / Мы же  
готовы служить неотступно (...) Аз же ваше величество поздравляю / И под ноги  
ваша главу приклоняю» (5, 56). Короли ждут подобных речей и от аллегорий: «Ты  
ш Слава, что молчиш, что не прославляеш, а ты Предуведение, чтож не провеща-  
еш?» (5, 132).

Персоны не забывают благодарить друг друга, выражать благодарность за ока-  
занную милость королям и царям. Признательны они аллегориям: «Благодарен  
вам, Гиниюш, за совет твои драгии» (5, 154). Персоны благодарят богов, принося  
им жертвы. Слова благодарности они воссыпают Господу: «Благодарю аз Бога, сие  
чуда давша / На удивление всем нам в царство пославша» (5, 426). Персоны также  
постоянно поздравляют друг друга: с удачным завершением сражения, с браком,  
с восхождением на трон — «Мы вас поздравляем, / Здравия желаем, / В радости  
вам жити, / Чада получити» (5, 189), «Поздравляю тя ныне, о царю избранны, /  
Наследии государь от Бога нам данны» (5, 423). Произносятся поздравления в  
связи с рождением детей: «Надобно цесарю с дщерию поздравляти, о Диалде  
нимало ему поминати» (5, 218). Иногда поздравления переходят в канты, один из  
которых завершается трогательным благопожеланием: «Дай Бог на веки во любви  
вам жити, / Чтобы опосле с мужем не тужити» (5, 180). Поздравления обязательно  
подкрепляются подарками: «При сем всепочтенно вас презентую сими / от каме-  
ней честных сих подарки драгими» (4, 354). Слова благодарности относительно  
однообразны, зато они сопровождаются соответствующими жестами: «кланеется  
Полиартесу» (5, 161). «Благодарствую вас попремногу / И кланяся рабски до  
ногу» (4, 364). К поздравлениям примыкают тосты, которые время от времени пре-  
рываются криками *vivat*. Все, поздравляя друг друга то с победой, то со свадьбой,  
восклицают: «Вам поздравляем (...) Виват восклицаем» (5, 171). Так поступают и  
аллегории. Например, Радость с другими аллегориями виват «поет смело». Даже  
один эпилог начинается словами: «Виват вам, господам, поздравляю / И в сей день  
радоватися желаю» (4, 411).

Слышатся со сцены благословения. Иполит, услышав рассказ Пастора о том,  
что они с Жулией не брат и сестра, воспринимает его слова как благословение:  
«Жулию благословил в жену мне взяти» (5, 479) и просит отца благословить их  
брак, чего тот, правда, не делает. Другие родители благословляют брак своих де-

тей. Благословение также давалось героям, отправлявшимся учиться или воевать. Ксенофонт велит Иоанну и Аркадию ехать учиться в Афины, давая им благословение и целование. «Буть ты благословен отныне да века (благословляет его отец)» (5, 156) — с этими словами царь отправляет своего сына на войну. Полиартес благословляет своих только что родившихся детей, принося им богатые дары со словами: «Отеческим словом их благословляю, богов же бессмертных за то величаю» (5, 203). Некоторые герои просят благословения на царство, как Аданий у иерея Авиафара в «Истории о царе Давиде и царе Соломоне». Тот благословляет его и «иелей» на него возливает.

Этикетные формулы в отличие от самопредставлений ведут себя более свободно, легко принимают дополнительную информацию и сочетаются друг с другом. Они строятся более замысловато. Например, в них включается фигура умолчания: «От великой радости ни едина слова / к тебе, сыне мой Петре, имам аз готова» (4, 353), «Чем вас благодарити, короли венчанны, / за милость и приветства ко мне показанны?» (4, 354). Они уже готовы к построению диалогических конструкций.

Другие формулы общения не только служат упрочению контактов героев, но и участвуют в развитии сюжета. Это путевые формулы. Они представляют собой распространенные высказывания, в которых персоны выражают намерения отправиться в путь или сообщают о том, где им довелось побывать. Прибыв на новое место, путешественники указывают, откуда они родом и с какой целью приехали. Также они заявляют о своем возвращении. Таким образом, ни одно перемещение героя не является неожиданным. Повествуя о предстоящем или совершенном путешествии, персоны полностью его описывают. Они указывают на пункт, из которого вышли и к которому направляются: «Из Армении тракт мой тебе являю» (5, 249), «Иду до Египта аз, Целюм, с тобою» (5, 327). Объясняют, почему покидают родные пределы, подробно рассказывают о целях приезда и отъезда. Обязательно обещают вернуться. Подобные сообщения столь детализированы, что иногда утомляют и самих героев: «Много разговоров нечево плодить, / Время отсель выходит» (5, 62).

Их произносят наиболее активные юные герои, хотя и аллегорические фигуры сообщают о своих намерениях отправиться в путь: «Пойду еще во свете иных аз прелщати и тем бо потщуся себя утешати» (5, 182). Юные герои уезжают в дальние страны обучаться военным наукам, политесу, участвовать в сражениях. Просят родителей отпустить их, в результате чего те входят в действие и разворачивается самостоятельный сюжетный эпизод. Родители соглашаются на отъезд любимого чада отнюдь не сразу. Калеандр и Алкабель хотят идти «в разны государства врагов победити», но их отец возражает: «Каких бо врагов побеждати хощете? (...) Не лутше ль вам, чада, сие отложити» (5, 219), но потом все же дает разрешение. Отец графа Фарсона радостно принимает решение сына. Он доволен, что тот не желает «в покое преобитати». Он запрещает ему «досаждать» жителям иностранных государств, прельщаться прекрасными женами и творить скверный блуд: «Аще преступиши заповедь мою, / То узриши всю жизнь пагубную свою» (4,

360), — говорит он, как бы предвещая развитие действия. Родители, наконец, отпускают героев в путешествие, дают им наставления, как отец князя Петра, Волхван, который велит ему «содержать» компанию только с честными «людьми», дает в сопровождение лакеев и наделяет казной, чтобы Петр жил в чужих странах «не убого». Интермедиальные персонажи со слезами отдают своих детушек в «серимарию»: «Все мои знакомцы и вся моя родня! Сберитесь сюда; / Посмотрите, какая на меня пришла беда: / Детей моих от меня отнимают» (4, 484). Путешественников провожают не только родители, но и возлюбленные: «Прости, любезны, и счастливы буди, и мене, невесты своей, не забуди» (5, 172). Здесь путевые формулы, как в пьесе о князе Петре Златых Ключей, сближаются с ростками лирического монолога, переплетаются со словами любовных признаний. Князь Петр решает из Неополитании вернуться во Францию и просит Магилену отпустить его. Она решает ехать с ним, и они отправляются в путь. Так на сцене представляется, видимо, одно из первых бегство влюбленных.

Путевые формулы вызывают эмоциональные реакции как самих героев, так и их окружения. Персоны радуются при встрече и печалятся при расставании. Дополняются их высказывания словами молитвы. Например, их произносит Ксенофонт, отправляющий сыновей обучаться наукам в Афинах. Если герои не связаны узами родства или даже незнакомы, они все равно рассказывают о том, что уезжают или уже приехали, так как все присутствующие на сцене интересуются, куда направляется герой или откуда прибыл: «Возвести ми, камо грядеши» (4, 208), «Друзи, откуды есте, изволти сказать, и о приходе вашем ясно показати» (5, 185).

Эти формулы в отличие от других не столь устойчивы. Они подвергаются значительным изменениям, распространяются, но тем не менее легко вычленяются из текстов старинных пьес. Их можно считать попыткой определить место персоны в художественном пространстве и ориентировать в нем зрителя. Относительная свобода, проявляющаяся в построении путевых формул, способствует тому, что они привлекают сюжетный материал в большей степени, чем другие. Они распространяются, например, за счет введения повествования о сборах в дорогу или ложных мотиваций. Отправление в путь можно считать своеобразной заставкой к действию, без которой оно также могло начаться. Возвращение на самом деле интересно только тогда, когда на сцену выходит герой, которого давно считали погившим. Но эпизоды, основанные на путевых формулах, присутствуют практически во всех пьесах, видимо, потому, что они прорисовывают характер отдельных мизансцен, расчерчивают художественное пространство, выступая на уровне слова замещением пути, практически никогда не представляющегося на сцене, а только подразумевающегося. Они маркируют переходы героев от покоя к активности и, пусть лишь на уровне слова, лишают пьесы статичности. Способствуют они развитию контактов персон, позволяют им выражать эмоции.

Совершенно иначе выглядит ситуация приказа. Здесь резко сокращается расстояние между формулой общения и действием, они не отдалены во времени. На сцене не раз слышалось: «Тако повелеваю тебе сотворити» (4, 121), на что сразу

следовал ответ: «Все повеленное подщусь сотворити» (5, 194). Об исполнении приказов немедленно сообщалось: «Ныне повеленное твое скоро сотворил» (4, 112). Только граф Фарсон отказывается их выполнять: «Не токмо в салдатех, но и в фертмаршалах не хощу быти: / При девице быти и самому девицею слыти» (4, 372). Таким образом, приказ — это двойная формула общения, которая тщательно и полно «прописывается». Часто приказы передаются по цепочке, в результате чего пьесы бывают просто испещрены ими. Например, приказ Кралевны зачислить Фарсона в полк драбантский ему сообщает Сенатор, требуя прибыть на караул к ее величеству. Фарсон повинуется: «Господин одъютант, готов сие сотворити / И сей приказ в роте своей объявити» (4, 390). Приказ передается далее, и вот уже Фарсон обращается к драбантам, веля им отдавать честь Кралевне. Иногда сообщение, передаваемое по цепочке, так тщательно не детализировалось: «Как при этом поступать вы сами знаете» (5, 62). Владетельные персоны могут снисходить до просьб: «Днесъ азъ всехъ моей прозбой утружаю, / повеселится со мною усердно желаю» (4, 317), «Изволь, князь Петр, бится днес на поединке» (4, 319). Просьбами изобилуют речи Фарсона. Он не раз просит сенаторов оказать ему милость. У Кралевны он просит повышения чина, на что она велит Сенаторам писать «патенты во все наши регименты». Те же боятся, что Фарсон будет просить у Кралевны «апшиту».

Приказы и просьбы, соединяя персонажей между собой, порой выступают единственным видом их общения и всегда свидетельствуют об иерархичности их системы. Обычно приказы раздают короли, цари, «фелтмаршалы». Они велят лишать жизни злодеев, арестовывать преступников или невинных, требуют отправляться на войну. Военные эпизоды старинного театра во многом состоят из приказов, они практически подменяют этот вид активного действия. Палиартес повелевает храбро выступать против «трапезон». Тигрина, шествующая впереди своего войска, отвечает ему: «Не боимся мы твоего днес гласа, побежден ты будеш нами сего часа» (5, 313). Калеандр отдает приказание выступать против греков. «Что вы так стоите, ил дрема объяла? Что же приуныли, ил беда настала? Или вы заснули в сицевой озnobе?» (5, 315), — кричит он своим врагам.

Приказы необязательно определяют основную линию развития сюжета. Короли, сенаторы и другие важные персоны отдают мелкие приказания воинам, послам, пажам: «Придворныя лакеи, Министров почтите, / наполнившe пакалы, оным подносите» (4, 331). Те обычно сразу отвечают согласием. Такими выскакиваниями пестрят многие сцены. Правда, иногда слуги остаются лишенными слова, а порой они даже грубыят господам. Редко, когда подобные формулы служат основой сценического эпизода. Так происходит в пьесе о Петре Златых Ключей. Прекрасная Магилена отправляет Девку искать Мамку: «Девка! / Что, государыня моя, изволите? / Пришли мамку ко мне скоро» (4, 334). Затем приказание получает Мамка: «Поди в скорости, ищи того кавалера» (4, 335). Она не собирается его выполнять и даже напоминает Магилене о том, что она королевская дочь, которой не пристало быть любовницей кавалерской: «Не могу я истинно сей ваш приказ зделать» (там же). Услышав эти слова, Магилена «упадает на постеле замертва» (там же).

же), и Мамка смягчается, вспомнив о своей подчиненной роли: «Я готова в услугах ваших находицца» (4, 336).

К приказам и просьбам примыкают советы. Приближенные, сенаторы и министры, не только прославляют государей. Свои речи, обычно по требованию властителей, они не раз начинают словами: «Аз советую тако» (4, 586). Редко они затевают совет сами, как в пьесе о Фарсоне, где совещаются, как лучше его убить. Один из сенаторов просит предлагать «свое мнение», и все выступают с предложениями и «резолюциями». Так как Сенаторы, или Министры, выступают последовательно, в пьесах вырастают особые эпизоды; на которых обсуждаются дела военные, дипломатические, матrimониальные. Выслушав советников, с одним из них владетельная персона обычно соглашается; и действие идет далее. Но не все бывают довольны советами: «Вси ваши советы от ся отвергаю, но в слезах отселе всегда пребываю» (5, 213). В некоторых пьесах советы повторяются столь часто, что становятся основными сценическими эпизодами, как в «Гистории о Кире царе перском и царице Тамире скифской», где битва Кира с сыном Тамиры окружена бесконечными советами. Кир сначала советуется с Сенаторами, затем с Воинами. Тамира держит совет с аналогичными персонами. Совет повторяется и после смерти ее сына. На эту особенность построения пьесы обратил внимание А. С. Демин [Демин 1998, 546].

Советы бывают столь однообразными, что повтор становится основным принципом их построения. Советники как бы передают по цепочке одно и то же высказывание, в том числе и тогда, когда обсуждаются совершенно незначительные вопросы. Например, пятеро Сенаторов последовательно сообщают Царю о прибытии купцов. Он советуется с ними, что делать: просить у купцов чудесную «лвицу» или дань. Сенаторы недоумевают: «По воли царской буди, мы того не знаем, / Что угодно избери, согласно вещаем» (5, 425). Встречаются, конечно, единичные советы. Обычно это высказывания аллегорий, к которым цари обращаются неоднократно. Так, царь Целюдор, не зная как ему поступить, спрашивает Гениуша: «Тепер же советую с тобою разумно: скажи мне, пожалуй, будущее умно» (5, 173). Тот ему отвечает. Иной раз аллегории бывают очень активными и, не ожидая просьб со стороны «реальных» героев, сами требуют от них «правильного» поступка: «Верность Тигрине велит жениха иного искать» (5, 188). Ярость требует от Силодона, чтобы он погубил Целюма.

Однообразие советов изредка нарушается, в результате чего они превращаются в диспут. Тогда Сенаторы, или Министры, не соглашаются между собой и возражают друг другу, а иногда и государю. «Непристойно цесарю сицево вещати, еще живу сущу наследства прошати» (5, 152). Один из них, например, советует Атигрину отдать дочь замуж за Алкалеса, а другой напоминает, что она уже невеста другого. Один Сенатор предлагает королю начать войну, а другой — собрать храбрейших кавалеров, чтобы выбрать сестре короля самого лучшего жениха. Королевская сестра получает советы от придворных дам, также противоположные по смыслу. Одна думает, что лучше подчиниться решению брата, другая — что все нужно «творить» по своей воле: «От сего и смерть может солучитца, как ку-

пидинск пламен в тебе возгоритца» (5, 235). Не всегда советы протекают столь бурно. Порой один из сенаторов заранее соглашается с мнением остальных: «Вы советуйте, я не спорю, / Предаюся в вашу волю» (5, 68). Некоторые вообще боятся что-либо сказать: «Ничтоже глаголати, о царю, дерзаю, / Ни уст моих к словесем ныне отверзаю» (5, 411). Иногда вместо конкретного совета сенаторы произносят сентенции: «Что Бог даст, то и будет, / А чему быть, того никто не избудет» (5, 64).

Приказы, просьбы и советы соединяют отдельные линии сюжета, способствуют расширению театрального пространства, так как благодаря им действие переносится за сцену. Может быть, они могли бы в этом случае поменяться местами, чего никогда не происходит. Приказы не отдаются за сценой, как не даются советы и не произносятся просьбы. Потому эти формулы общения более других представляются избыточными: То, что можно сказать одним словом, становится развернутым сообщением, которое варьируется и повторяется всеми участниками беседы. На него непременно следует реакция. В результате словесный ряд пьесы будто засоряется вводными высказываниями, недвигающими сюжет. Они замедляют развитие сценического действия, зато лишний раз подтверждают расстановку театральных героев, указывают на их зависимость друг от друга. Следовательно, они демонстрируют устойчивость системы персонажей. Очень редко кто-то из них вырывается за пределы отведенного ему пространства и нарушает правила общения, предписанного этикетом. Но такие случаи встречаются, что предвещает будущее перестраивание единой версии взаимодействия персон старинного театра. Если приветствия, благопожелания, благословения только маркируют отношения героев, то приказы, и еще более советы, становятся ядром самостоятельных сюжетных эпизодов. Все они служат отправной точкой будущих диалогов.

Эти формулы объединяют героев разных уровней. Существует и такая, которая связывает героев, равных по статусу. Это пароль, давая который, герои следуют этикету, но не бытовому, а рыцарскому. Он пришел на любительскую сцену из переводных романов и повестей, бывших литературной основой старинных пьес. Пароль — это знак чести и верности: «Даю вам верной мои пароль и присягу» (5, 483). Он менее развернут, чем другие формулы общения, зато непосредственно определяет движение сюжета, участвует в формировании эмоциональных характеристик персонажей, четко свидетельствует об их отношениях между собой: они мирятся и ссорятся, всегда упоминая о пароле. Следовательно, в отличие от других формул он прочно вписан в текст, а также тесно связан с линией сюжета, которую способен изменять.

Чаще всего пароли дают юные герои, подтверждая свои чувства. Иполит уверяет Жулию: «Верный мой ковалерский пароль и аз утверждаю: / Никого, кроме тебя, серце мое не желаю» (5, 479). О том, чтобы ей тоже когда-нибудь дали пароль, мечтает Лушница, подруга Жулии. Услышав слова любви от Дукса, она просит их «ковалерским паролем утвердити» (5, 483), что тот и делает. Индрек, расставаясь с Мелендой, вручает ей перстень, подтверждая им верный свой пароль. Она помнит об этом и в монастыре: «Не хотела того сотворити, / Вернаго пороля нашего

пременити» (5, 531). Пароли не только сопровождают объяснения в любви. Они подтверждают желание вступить в брак. Увидев друг друга, Палиартес и Тигрина сразу желают жениться: «Дай ми в том порол, что супругой будеш (...) В верности пороля с тобою ручаюсь» (5, 162—163). При заключении пароля часто присутствует Купидо, который скрепляет клятвы влюбленных: «В верности сей вам порол заключаю (...) (Заключив порол, Купидо отходит)» (там же). За исполнением паролей следит сам Юпитер: «Прежния пароли все соединяты, и оныя с вами в дружбе объявятца» (5, 312). Пароли дают навсегда. Принцесса Штелла уже заключила пароль с одним из кавалеров, Уранием. Теперь она не желает выйти за Эдомира, настаивая на том, что не может нарушить данное ею обещание. К счастью, оказывается, что ее возлюбленный просто взял другое имя. Пароли хранят втайне. Полемондр «за паролем верным» (5, 241) не может открыть, что за прекрасные кавалеры сражались на поединке. Когда Арфелион просит оруженосца Руилло рассказать все подробности трапезонской войны, то обещает дать ему пароль в том, что никому не расскажет услышанное.

Но все же пароль нарушают, благодаря чему действие приобретает динамичность. Магилена, услышав, что Петр возвращается на родину, возмущается: «На что ты пременяешь свой пароль почтены?» (4, 343), но делает это зря. Петр остался ей верен. Правда, сраженный красотой возлюбленной, он готов «пременить» еще один пароль, нарушить слово сохранить ее девство до брака. Он уже готов оказать ей «знаки любовныя»: «Вижду, что пременить пришло пороль верны / и знаки любовныя казать лицемерны» (4, 346). Нарушается пароль и в пьесе о Калеандре и Неонилде. Палиартес, обещая жениться на Тигрине, женится на другой. Как выражается аллегорическая фигура Верности, он Тигрине «слово верно пременил» (5, 182). Из-за этого начинается война, длящаяся очень долго, о чем вспоминает Палиартес, наконец, встретившись с Тигриной: «За наше неправду сие сочинялось, за разрыв паролов тако сотворялос» (5, 368). Ее отец когда-то пожелал отомстить «неустойку», «смех» и оскорбление, нанесенное Палиартесом. С криком: «Экой каналия, что ты сотворил, за что же порол с нами разрушил» (5, 186) — он начал войну. Тигрина о его пароле помнит всю жизнь, упоминает о нем, выдавая замуж дочь, рожденную от другого, утверждая, что все «по нашим паролем тако учинитца» (5, 369), т. е. не оставляет надежду соединиться с Палиартесом. Этого ожидает и Предуздание, полагая, что «пароли» этой пары персон скоро «совершатца», что наконец и происходит. Пароли дают не только возлюбленным, но и их родителям. Палиартес, обещая жениться на Тигрине, уезжает, обещая вернуться и дает в этом пароль ее отцу Атигрину. Атигрин торжественно принимает его слова.

Персоны заключают «парол» и по другим поводам. Например, Адмирал просит Фелтмаршала дать «последни парол свой верный» (5, 469); он хочет, чтобы тот не оставил его дочь, если он погибнет. Царь Атигрин дает пароль храбрым кавалерам в том, что победителю отдаст в жены свою дочь. Они сами настаивают на этом: «Дай же нам парол, что отдашь в супругу (...) А бес пароля нейдем змия убивати и занапрасно живот свой теряти» (5, 138). Арфелион, назвав Палемондра своим братом, заключает с ним «брательский» пароль. Иногда и интермедиальные персо-

нажи дают пароли, или обещания, которые никогда не выполняют. В «Шутовской комедии» Шут объясняет свату, что он слово дал и хочет в нем «устоять», но тут же выражает сомнения в своем будущем счастье: «Хочет ли этого блятка, то сама ведает, только чтоб про то не знал» (3, 383).

Пароли соединяют и разъединяют героев, бывают средством выражения эмоциональных состояний и намерений персон относительно друг друга. Будучи более сжатыми, чем другие формулы общения, они выделяются в потоке театрального слова, объединяют отрезки сюжетной линии и участвуют в развитии сюжета в целом.

Однообразность формул общения — специфическая черта любительского театра, тяготевшего к «готовому» слову и еще не решавшегося на создание слова индивидуального. Этих формул столь много, что порой кажется, что они, в основном, составляют словесный уровень пьесы. Это, конечно, не так, но конкретная информация все же тонет в них. Они явно не нацелены на «коммуникативную удачу» [Николаева 2000: 17], а подчиняются идее нормы языкового поведения, которая является результатом этикетного поведения [Там же: 156].

Частое повторение формул общения приводит к тому, что они становятся словесной тканью пьесы. Оно же разрешает предположить, что персоны не всегда и не сразу готовы вступить в непосредственный речевой контакт, потому требуется еще и еще раз сказать одно и то же. Персоны будто забывают о том, что только что произошло или о чем говорил их собеседник, на что пронизательно обратил внимание А. С. Демин в своей части вступительной статьи к пятому тому издания «Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII в.)» «Аффекты драматических героев первой половины XVIII в.» [Демин 1976, 16—20]. Он обнаружил целый ряд причин для объяснения нарушения контактов между театральными героями. Для нас же важно то, что, создавая подобные ситуации, драматурги явно стремились к эстетизации слова, оттачивали его в повторах формул общения. Они не разбросаны хаотически по всем пьесам и не только проявляют способность сцепляться с театральным словом. Они не разведены и между собой, что приводит к тому, что возникают целые потоки формул общения, которые следуют одна за другой. Например, после самопредставления короля идут похвалы, благопожелания и советы приближенных. Затем начинается пир, на котором произносятся поздравления и тосты. Персоны прощаются, получая благословение, произнося путевые формулы, которые сближаются со словами прощания или приветствия. Так, небольшие отрезки пьесы наполняются самыми разными формулами общения. Они всегда ожидаются. Как только королевна и храбрый кавалер влюбляются, они дают друг другу пароль в верности. Как только царь решил начать войну, он советуется с Сенаторами и дает приказ войску выступать. Как видим, формулы общения закреплены за определенными персонами. Самопредставления произносят высокие персоны; пароли, в основном, дают влюбленные кавалеры; приказывают короли и приближенные, которым разрешено давать советы. Выражение почтения к государю также записано за этой группой персон. Короли и цари не пользуются путевыми формулами, зато их все время произносят юные герои. Слова прощания

обычно произносят родители и возлюбленные. Как видим, формулы общения по-разному распределяются между различными персонами.

Они, хотя и замедляют действие, будто отвлекают пьесу от динамического движения, насыщают ее повторами, в то же время сближают персонажей, определяя их контакты между собой, намечая их движение навстречу друг другу. Кроме того, в них возникают краткие словесные (авто)портреты. Они предупреждают развитие сюжета и даже в некоторой степени участвуют в нем, определяя характер отдельных ситуаций или скрывая в себе свернутый эпизод. Они структурируют художественное пространство, не раз служат исходным материалом диалога или монолога. Некоторые из формул общения сохраняют независимое положение. Другие готовы сблизиться с театральным словом, как, например, путевые. Они движутся по направлению к полноценному выступлению персоны или становятся его органической частью, способствуют развитию игры, подтверждают композицию пьесы и выявляют принципы размещения героев на сцене.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ранняя драматургия (XVII — первая половина XVIII в.): Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974; Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в. М., 1975; Пьесы любительских театров. М., 1976. В скобках эти тома соответственно обозначаются как 3, 4, 5.

### ЛИТЕРАТУРА

- Демин 1976 — Демин А. С. Аффекты драматических героев первой половины XVIII в. // Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII в.): Пьесы любительских театров. М., 1976.
- Демин 1998 — Демин А. С. О художественности древнерусской литературы. М., 1998.
- Николаева 2000 — Николаева Т. М. От звука к тексту. М., 2000.
- Сиповская 2000 — Сиповская Н. П. Искусство к слуху // Ассамблея искусств: Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII в. М., 2000.
- Старикова 2000 — Старикова Л. М. Москва стародавняя. Герои жизни и сцены. М., 2000.

Эрик де Хаард (Амстердам)

## «СТРАННИК» А. Ф. ВЕЛЬТМАНА КАК ОБРАЗЕЦ ПРОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ТЕКСТА

**В** предисловии к своему переводу «Слова о полку Игореве» Владимир Набоков характеризовал «Слово» как полупоэму, полуречь (*half-poem, half-oration; [1961, 3]*) и заглавное слово он перевел как «Song». Наверное нужно это интерпретировать в том смысле — выраженнном многими другими читателями и исследователями, — что в «Слове» можно различить как сильное лирическое (субъективно-описательное, комментирующее), так и объективно-эпическое (повествовательно-историческое) начала, которые естественно связываются, одно — с поэзией, другое — с прозой. Соответственно, автор «Слова» нередко обозначается как «певец», самохарактеристика, которая охотно заимствуется из самого текста.

Исследователи пытались по-разному выделить в этой «лирическо-поэтической» стихии «Слова» особую ритмичность (также в связи с разными типами звуковых и словесных повторов) и установить наличие таких регулярных просодических явлений, которые позволили бы говорить о «ритмизированной прозе», даже о полноценных «стихах» или различных «размерах», — в отличие от пассажей, где такая регулярность явно отсутствует и которые можно считать просто прозаическими.

Однако о поэтическом, а более точно, стихотворном характере хотя бы некоторых частей «Слова» высказаны глубокие сомнения (напр. [ЭСПИ]). С самой принципиальной точки зрения эти сомнения выражены Т. М. Nikolaевой [1997, 106].

«[Аспект ритмический и связанный с ним вопрос о поэтическом/прозаическом статусе памятника] в нашей книге рассматриваться не будет, как ни парадоксально, из-за большого опыта автора в области экспериментального изучения просодии. По нашему мнению, экспериментальная наука к реконструкции просодической структуры древних шедевров еще не готова — ни теоретически, ни практически».

С определенной точки зрения можно сожалеть о том, что скепсис Т. М. Nikolaевой является вполне оправданным и что высказывания о частично прозаической, частично стихотворной, смешанной природе «Слова» (пока?) не поддаются ни подтверждению, ни опровержению. Это отнимает надежду уста-

новить с уверенностью, принадлежит ли «Слово» к типу текста, различительным признаком которого является именно смешение жанров прозы и поэзии — прозиметр. Приходится довольствоваться тем, что «Слово» только в гипотетическом смысле является прозиметрическим текстом — феноменом, встречающимся во многих литературах в разные эпохи, хотя и находящимся (и типологически-формально, и эстетически) на периферии истории и теории литературы.

Однако прозиметрические тексты заслуживают особого внимания в силу своей маркированности, принципиальной неоднородности, поскольку представляют собой смесь/переводование прозы и стихов (о проблемах точного определения см. ниже) и поскольку играют скромную, но все же интересную роль в русской литературе.

Европейская традиция прозиметра (существуют и богатые традиции во многих восточных литературах) ведет свое начало от менипповой сатиры (*satura*), и самым ярким образцом этого жанра в античности является «Satyricon» Петрония. Далее известны, например, «Апоколокинтозис» Сенеки, сатиры Лукиана, в поздней античности «Об утешении философии» Боэция. Весьма богато прозиметрическими (среднелатинскими) текстами европейское средневековье. Впоследствии эту традицию продолжает Данте в своей «Новой жизни».

В русской литературе прозиметрические (переводные) тексты появились не позже конца XVII в., о чем свидетельствует перевод с польского «Золотого ига супружества». Примечательно, что прозиметрической является одна из первых книг послепетровской литературы — перевод Тредиаковского «Езды в остров любви» Таллемана.

В данной статье вкратце рассматриваются некоторые вопросы определения, терминологии и типологии таких гибридных текстов, связанные с различиями в соотношениях прозы и стихов. Далее обсуждаются некоторые аспекты одного из замечательных образцов прозиметра в русской литературе — «Странника» А. Ф. Вельтмана.

«Прозиметр» как обозначение / термин — не однозначен, причем дело усложняется различным употреблением слова в разных языках (прозиметр, просиметрия, prosimetrum, англ. prosimetry, ит. prosimetro). Одна из главных проблем касается различия или тождественности «прозиметра» и «менипповой сатиры»: 1) в понимании историков литературы они отличаются друг от друга (не)серьезностью или (не)сатирической природой, но вопрос усложняется и разнообразием самих текстов, и неоднозначными представлениями о «сатуре» (именно у самого Мениппа). Так, например, Crabbe просто идентифицирует прозиметр (Боэция) с «сатурой» типа «Сатирикона» Петрония [Crabbe 1981, 238]. Однако в целях более точного определения может иметь смысл различить прозиметр от менипповой сатиры, с одной стороны, и от прозаических текстов с незначительным количеством стихотворных вставок, с другой.

На практике встречается несколько значений-определений, в которых употребляется этот термин, причем играют роль разные параметры-критерии:

Назовем здесь:

- серьезность, комичность;
- количественная и качественная равноправность прозы и стихов;
- систематичность/регулярность чередования прозы и стихов;
- цельность (стихи или «стихотворения»);
- (не)цитатность стихотворных кусков;
- (не)мотивированность смены прозы и стихов: присутствие/отсутствие «цитатных маркеров» (авторских слов): «текст в тексте» или «текст за текстом».

Приведем несколько возможных (и существующих) определений, причем по практическим причинам исходим из первичности прозы, хотя это фактически не обязательно.

Самое широкое определение:

- 1) любое сочетание прозы и стихов в рамках одного текста;
- 2) более узкое — более или менее частое или систематическое чередование прозы и стихов (Eckhardt: «A text composed in alternating sections of prose and verse»; [1983, 21]);
- 3) более узкое (количественное) — стихотворные отрывки должны иметь значительный объем;
- 4) самое узкое — стихотворные части *не* имеют статуса *цитат*, а «продолжают» прозу, другими словами, требуется специфическое чередование прозы и стихов, чтобы можно было говорить о чистом прозиметре. Это последнее, самое узкое понятие прозиметра предложено Пабстом — в его формулировке: «Прозиметр — это литературное произведение [в иных местах Пабст употребляет термины «формальный тип», «modus scribendi»], состоящее в (обычно преобладающей) прозе и количественно значимом (пропорционально к целому) ряде пространственно обособленных стихотворных частей, где проза и стих (как правило) принадлежат одному и тому же автору, созданы для данного текста, находятся на одном и том же уровне изображения и функционально соотнесены» [1994, 15]. Тут сразу выявляется условность такой строгой дефиниции, поскольку на ее основании Пабст вынужден исключить один специфический смешанный текст, который другими исследователями — итальянскими дантоведами — традиционно рассматривается как «prosimetro» par excellence: «Новая жизнь» Данте.

Однако Пабст допускает некоторую (впрочем вполне функциональную) терминологическую свободу, когда называет «Новую жизнь» «только *внешне* прозиметрической» (курсив наш. — Э. Х. [1994, 2]). Впоследствии автор, с целью характеристики переходных явлений, вводит весьма удобный термин «прозиметроиды» [1994, 19].

Очевидно, в определении Пабста важнейшим критерием является требование, чтобы проза и стихи «находились на одном и том же уровне изображения».

Другими словами, требуется непрерывность прозаического и последующего стихотворного фрагмента. Требуется полное отсутствие авторских слов (или того, что можно тоже назвать «цитатные маркеры» чужого слова), таких как, например,

тические *verba dicendi* («она запела»), *sentiendi* («слышалось») и *cogitandi* («мне вспомнилось»), но и существительные («рассказ о том, что...»), или «вот что» или даже простое двоеточие.

Эти маркеры являются сигналами (нередко вместе с графическими средствами) того, что происходит смена субъекта речи (в таком узком, абстрактном, понимании, что субъект речи может меняться), в то время как мы имеем дело с тем же индивидуумом, например, в цепочке *Я сказал: «я сразу приду»*. [Здесь имеется один говорящий, но два высказывания и два субъекта речи, причем в повествовательном тексте происходит сдвиг от (первичного) повествовательного уровня к вторичному (к чужой, воспроизведенной речи), причем и здесь повествователь и персонаж могут совпадать (чужая речь может являться «бывшей своей речью»)<sup>1</sup>]. Другими словами, прозаический текст при отсутствии маркеров цитатности *не обрамляет*, а просто *предшествует* стихотворному пассажу и следует за ним, и, с другой точки зрения, стихотворный пассаж *не внедряется* в прозаический контекст, а тоже просто предшествует прозе и следует за ней. Эффект можно сформулировать и так, что чередование прозы и стихов (реалистически; логически; лингвистически) не *мотивировано* и на первый взгляд воспринимается как произвольное. В результате для читателя достаточно остро возникает вопрос, почему происходят такие смены. Как самый известный пример такого «чисто» прозиметрического текста Пабст приводит, среди многих других, «Об утешении философии» Бозия, V в.

Если же цитатные маркеры употребляются в виде авторских слов (которые могут быть не только вводными, но и постпозитивными), указывающих на цитатный, внедренный, статус стихов, то мы имеем дело со стихотворными *вставками*, причем безразличны объем и количество стихов, являются ли они совсем чужими или «бывшими своими». Пример последнего налицо именно в «Новой жизни» Данте, в которой автор (первичный субъект речи) цитирует и комментирует свои прежние стихи (с вводной стандартной формулой: «И тогда я написал/сочинил следующий сонет»). Впрочем, близко к этому типу текста «Путешествие» Радищева, цитирующего и комментирующего (хотя бы под псевдонимом «новомодного стихотворца») свою собственную оду.

Формально таким же образом функционируют стихотворные вставки (вставленные стихотворения) в романах немецких романтиков (например, «Генрих фон Офтердинген» Новалиса) и их последователей, в том числе и в России.

К последним, безусловно, принадлежит Каролина Павлова (что не исключает ее смелой оригинальности, об этом см. ниже), которая после (не совсем «серезного», как увидим ниже) «Странника» Вельтмана поставила новую веху в истории русского прозиметра: «серезный» роман «Двойная жизнь». В нем, как известно, чередуются повествовательная проза и значительные стихотворные отрывки. Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что «Двойная жизнь» не представляет собой самый «чистый» прозиметр. Павлова не вполне последовательна в не-употреблении цитатных маркеров: в переходе от прозы к стихам в гл. 6 все-таки употребляются авторские слова («звуки чудные»... «*Ego* призыв»... «*Ego* привет»; [Павлова 1964, 295]). Кроме того, в «Двойной жизни» встречаются

примеры двусмысленности, когда неясно, имеем ли мы здесь дело с маркерами цитатности, поскольку «подозрительные» слова находятся достаточно далеко от начала стихотворного фрагмента. Так, например, в гл. 3 «пение» и «вдохновенные слова» предшествуют стихам, но за ними вводятся другие мотивы, так что нельзя сказать с уверенностью, нужно ли их интерпретировать как авторские слова, непосредственно относящиеся к следующим стихам, или нет [Там же, 249].

Впрочем, в одном из самых ранних прозиметрических текстов, «Сатириконе» Петрония, нередко встречается и тот и другой принцип: как мотивированный авторскими словами ввод стихов или целых стихотворений, так и непосредственное чередование прозы и стихов. Это характерно для многих текстов, в этом важном отношении не отвечающих самым строгим требованиям, но было бы нецелесообразно на этом основании лишать их статуса прозиметра.

Уже отмечалось, что — в литературно-художественном плане — отсутствие авторских слов (цитатных маркеров) лишает переход от прозы к стихам *мотивированности* как аспекта (внешней) текстовой когерентности. В сущности, прозиметрическое построение можно рассмотреть как разновидность монтажа (ср. [Орлицкий 1999])<sup>2</sup>, структурного принципа, основанного на (реалистически или логически) не- или слабо мотивированных переходах. Не случайно это характерный принцип многих модернистских текстов, кроме всего прочего требующий сравнительно более интенсивного внимания и интерпретативной активности у читателя, теряющего опору на обычные иерархические принципы членения текста, на связные или незаметные переходы от одного куска текста к другому. Однако тем более примечательно, что как раз «настоящий» прозиметр встречается в стольких немодернистских текстах (например, в средневековых, в огромной и разнообразной неолатинской традиции, зарисованной Пабстом [Pabst 1994]).

Тем не менее в истории литературы, как мы уже указали, он остается относительно периферийным феноменом. Это можно объяснить тем, что «первичные» стили (литературные системы) по природе своей враждебно относятся к специфическому построению прозиметрического текста: классицизм стремится к жанровой ясности, не терпит «нечистоты», смешанной природы такого типа текста. Реализм, который, особенно в русском литературном контексте, можно рассматривать как преодоление поэзии, также не желает «не знать на что решиться», отвергает его как «ни то ни се», избегает такого явного обнаженного приема, легко нарушающего иллюзию реальности, довольствуется небольшими мотивированными стихотворными вставками — обычно для характеристики персонажа или среды. (Другой вопрос — сколько русских реалистических писателей-прозаиков были также и поэтами и сумели бы сочинить прозиметрический текст. В достаточной степени ответ на него дает В. Марков [1994].)

Однако «вторичные» стили (романтизм, неоромантизм, символизм) также с недоверием относятся к прозиметру, как будто бы две стихии, проза и поэзия, не связываются. При бесспорном первенстве поэзии в романтизме можно было бы подумать, что поэзия в состоянии возвышать прозу, однако представляется гораздо более опасным, что проза может снижать поэзию. Одно сугубо идеалистическое

решение, нейтрализующее это противопоставление, предложил Ф. Шлегель: «Вся поэзия должна быть прозой, вся проза должна быть поэзией. Вся проза должна быть романтической» (цит. по [Meyer 1995, 413]).

Другое решение нашла Каролина Павлова, которая систематически и смело пользовалась противопоставлением прозы и поэзии, связав тематические планы и духовные сферы с той и другой соответственно. В «Двойной жизни» она последовательно создает художественно-философский образ двоемирия посредством изображения бытовой жизни — в прозе, и «иного» мира — в поэзии (ср. [Ефимова 1927, 78]; далее об этом см. ниже). В этом последовательном распределении содержательных задач обеих стихий наблюдается формальная аналогия с Боэцием — однако как раз не семантическая. В его «Утешении философии», в полном соответствии с платоновской традицией, поэзия — весьма амбивалентное, скорее опасное явление, даже выступающее в облике развратной Музы, размалеванной блудницы, в то время как Философия связывается с «мудрой» прозой (ср. [Crabbe 1981, 249—250]).

В русском символизме в общих чертах повторяется отношение романтизма к смешанным текстам. Исключением является чередование прозы и поэзии в драмах Блока — «Балаганчик», «Роза и крест», имеющее свои корни в «Борисе Годунове», в свою очередь ведущем начало от пьес Шекспира. (Разумеется, драматический смешанный текст имеет свои особенности, которые здесь не затрагиваются.) В рамках символизма характерно, что Андрей Белый ищет художественное решение не в смешении, а в синтезе двух стихий — в ритмизованной и метризованной прозе<sup>3</sup>.

Однако вернемся к русскому романтизму, в котором можно обнаружить не только более или менее «полноценные» прозиметрические тексты, как, например, стихи с прозой Андрея Тургенева «В дыхании зефиров...» [1799; Поэты 1917, 235—236], «Поездку в Ревель» Марлинского 1821 г., но и тяготение к нему в виде прозиметроидов и незавершенных замыслов (напр. «Русский Декамерон» Кюхельбекера, цикл «кантичных» отрывков Пушкина (см. [de Haard, в печати]). Причем, как уже отмечалось в литературе, это происходит по следам эпистолярной практики (чередование прозы и стихов встречается в письмах Карамзина и его современников, но и у Пушкина, например в письме к дяде Василию Львовичу 28 дек. 1816, и др.). Интерес Пушкина к возможностям гибридной формы проявляется и в некоторых его стихотворениях (напр., «Разговор книгопродавца с поэтом»; «Череп»; ср. [Сидяков 1974]).

Теперь обратимся к самому, пожалуй, «образцовому» тексту, который занимает в русской литературе уникальное место как прозиметрическая большая форма, но и отличается другими замечательными качествами: роман Александра Вельтмана «Странник» 1831—1832 гг. К самому Вельтману в определенном смысле подходит название другого его романа — «Баловень судьбы» [= переименованный «Чудодей»]. Он не достиг статуса классического писателя (поэтом назвать его трудно, по крайней мере, в высоком смысле, приписанном этому званию в Золотой и Серебряный века). Превратности судьбы были такими, что на «Странник» он

получил положительные отзывы с разных сторон, но еще большую популярность приобрел повестями и циклом «занимательных» светских романов «Приключения, почерпнутые из моря житейского». После периода относительного забвения исследователи формалистского толка в 1920-е гг. вновь возбудили интерес к формальным аспектам его творчества (в особенности «Странника»). В советское время он надолго выпал из милости именно потому, что был истинным романтиком, у которого сила воображения, неровность стиля, вольность композиции, полный отказ от «психологии» в реалистическом смысле и от реалистического изображения среды и общества сделали его неугодной фигурой (ср. [Meyer 1995, 382, 386 и сл.]). С публикации «Странника» в 1977 г. (а вскоре других романов и повестей) вновь возник вопрос интерес к Вельтману. В настоящее время судьба его сложилась даже так, что его цикл романов «Приключения» публикуется в серии «Барышня — Бестселлеры дамского чтения» (М.: Эксмо, 2002).

В критической литературе о «Страннике» изучены и в подробностях описаны разные аспекты его построения и тематики, его места в литературной традиции:

- модель (воображаемого) путешествия и ее основоположники в русской и западноевропейских литературах (ср. [Роболи 1926; Бухштаб 1926]);
- разнородность и фрагментарность в построении романа [Ефимова 1927; Акутин 1977], в (кажущемся) противовесе к которым функционирует четкая и строгая внешняя композиция романа — разделение на три части, 45 «дней», 325 главок;
- «ориентировка», «движение/странничество» как романтические принципы, картография как основная метафора и другие философско-тематические комплексы [Meyer 1995];
- пародийность всех аспектов построения.

Перечисленные аспекты романа явно способствуют впечатлению о «модерности» «Странника»: ассоциативность, принцип монтажа гетерогенных «кусков», относительная (реалистическая и логическая) немотивированность, разностильность и многоязычность, капризная болтовня автора-повествователя-героя<sup>4</sup>. Однако как раз главный внешний признак романа, его прозиметрическая структура, осталась, по сравнению с другими аспектами, без особого внимания исследователей. Б. Бухштаб называет «Странник» «первым произведением в прозе» Вельтмана, не упоминая, таким образом, другой «половины» текста. Позже, во впечатляющем перечне жанров, среди «вставленных кусков» исследователь упоминает и «стихотворные» [1926, 200]; далее он выражается так: «здесь мы находим большое количество стихотворений» (201). К вопросу, можно ли говорить о «стихотворениях», мы вернемся ниже. Т. Роболи приводит образцы смеси поэзии и прозы, которыми мог бы воспользоваться Вельтман: «Путешествие» Измайлова [1926, 60], «Поездку в Ревель» Марлинского (65), справедливо указывая на «собственные стихи» «как непосредственный переход от прозы» (60) «вне всякой тематической мотивировки» (65) и вдобавок обращает внимание на уже упоминавшийся выше источник прозиметрических структур: «В русской литературе такая свободная перебойная

манера связана с эпистолярным стилем и в путешествиях Дюпати — карамзинского типа использована впервые» (65). Т. Роболи также указывает на получившуюся в результате стилистическую гетерогенность романа: «Последовательно проведенный через весь “Странник” эпистолярный способ ввода стихов входит в общую перебойную стилистическую систему» (68). Однако остается еще не совсем ясно, какую именно роль играют проза и стихи, соответственно, во всей стилистической системе «Странника». К этому вопросу вернемся ниже. З. Ефимова в своем исследовании уделяет больше внимания смешанной природе «Странника» и связывает роман с традицией прозиметрических текстов («Поездка в Ревель» Марлинского). На тему прозиметра в «Страннике» у исследователя мы сталкиваемся со следующими формулировками: «Также случайны и немотивированы скачки от прозы к стиху и обратно» (курсив наш. — Э. Х. [1927; 67]); «В “Страннике” прихотливо сочетаются обе формы речи без всяких оснований перехода от одной к другой» (78). Ефимова также проводит параллель с более поздней «Двойной жизнью»: «Такое сочетание мы находим у Каролины Павловой в “Двойной жизни”, но с тою разницей, что там строго выдержано разграничение: проза соответствует внешней жизни героини, стихи — внутренней» (78). Ю. Акутин [1977], освеживший интерес к Вельтману и его «Страннику», почти не затрагивает соотношения прозы и стихов, кроме констатации, что «прозаический текст чередовался со стихотворными фрагментами», однако приводит весьма интересный материал из эпистолярной практики Вельтмана (письма к возлюбленной Китти; со стихами и ритмизованной прозой) [Акутин 1977, 279—282]. Х. Мейер предлагает взгляд на «Странника» как образец романтической литературы, исходя из «ориентации» как главного принципа и картографии как метафоры романтического взгляда на пространство (и время). Исследователь также уделяет внимание смене прозы и стихов, в особенности содержательным и жанровым аспектам последних. При этом несколько раз обозначает стихи в «Страннике» как «стихотворения» («Gedichte»).

Терминология исследователей заставляет пристальнее рассмотреть стихи в «Страннике», их статус в количественных и качественно-содержательных отношениях и их соотношение с прозой. Мы несколько раз сталкивались с обозначением «стихотворение». Однако все стихи в «Страннике» характеризуются «внешне» — в соотношении с контекстом (прозаическим), — но и часто внутренне, принципиальной фрагментарностью, которая как раз не позволяет говорить о «стихотворениях». Ведь последнее имплицирует цельность, законченность (хотя, разумеется, «фрагментарность» может быть интенциональным признаком самого по себе законченного стихотворного текста, особенно в романтической поэтике).

Однако именно немотивированный переход от прозы к стихам в прозиметрическом романе Вельтмана обусловливает фактическую фрагментарность стихов. Укажем на то, что стихотворных заглавий нет (причем единственное исключение, вставную поэму «Эскандер», следует рассматривать не как стихи, а как метризованную прозу, еще более осложняющую структуру романа). Хотя обнаруживаются и стихотворные куски с достаточно ясным началом и концом, большинство из них начинается «из ничего», как простое продолжение прозы. Что касается концовок,

то Вельтман, правда, любит достигать сильного эффекта пунта, чаще всего посредством заключительной (каламбурной) рифмы, особенно в стихах эпиграфического характера, но такая «удовлетворительная» концовка еще не делает стихи «стихотворением», тем более что начала стихового отрывка как раз характеризуются неопределенностью. Однако куски нередко демонстративно обрываются: последний стих остается без рифмующего партнера или последняя строка редуцируется до полустишия, даже до одной стопы, заменяется многоточием, употребляется «и т. д.». За исключением нескольких отрывков, которые эксплицитно объявляются законченными, нет указаний, что они не составляют континуума с соседствующей прозой: наоборот, перед нами многие случаи, когда стихи синтаксически вытекают из предшествующей прозы.

Казалось бы, те стихи, которые занимают целиком одну главку в тексте «Странника», составляют отдельное стихотворение. Но даже такая крепкая обрамленность не является гарантией, что тот или иной кусок можно назвать «стихотворением». Кажущаяся законченность не исключает того, что это только одна строфа из многих, и это подтверждается как раз в особом случае, когда документально известно, что Вельтман употреблял «готовые» стихи, например, 3-23/248 (ср. с. 319).

Другой вопрос касается количественных аспектов. С первого взгляда можно установить, что стиховые куски занимают значительное место в целом тексте. Тут стоит отметить, что Х. Мейер справедливо указывает на последствия различий в оформлении оригинального издания 1831—1832 гг. и издания [1977]. В первом издании страница наполовину меньше, что придает стихотворным кускам больше самостоятельности, проминентности [Meyer 1995, 434, примеч. 1591].

Помимо этого, чисто количественный фактор всегда приходится ставить под некоторое сомнение ввиду разницы в «удельном весе» прозы и стиха (которая меняется еще в зависимости от литературной системы). Как справедливо утверждает Т. В. Цивьян: «Сравнивать стихи и прозу по количеству — примерно то же, что складывать яблоки и дома» [1997, 434].

Другой спорный вопрос — сколько отдельных стихотворных кусков можно различить. Иногда трудно сказать, является ли определенный кусок продолжением предыдущего, прерванным лишь куском прозы (иногда одним-единственным прозаическим словом), или имеются причины считать каждый отрывок отдельной единицей. Х. Мейер подсчитывает 150 «лирических пассажей», по его словам, по «методу, отмечающему метрически и тематически родственные и только прозой прерываемые стихотворения в одной и той же главке как единый лирический текст. Однако, если рассматривать эти стихотворения как отдельные тексты, число стихотворений умножается наполовину» [1995, 413, примеч. 1536]. Здесь последнее не совсем понятно, получилось бы около 225 кусков, в то время как подсчет всех стихотворных отрывков отдельно (то есть границей является тут либо прозаическое слово, либо начало или конец главки) дает 165 или 166 отрывков (один неоднозначный случай — стихи в начале главки 317 [1977, 167], которые типографически расположены на странице как эпиграф, однако как таковой они представляли

бы единственный стихотворный случай в книге (к тому же это собственные стихи автора). В отличие от всех других они сразу комментируются в последующей прозе. Это заставляет нас сомневаться в статусе этого отрывка как паратекста — эпиграфа (может быть это все-таки текст?).

Что касается качества стихов, то они в общем и не претендуют на высокий статус, причем в некоторых из частых автокомментариев автор-рассказчик с явной самоиронией отзыается о собственных стихах. Подавляющее большинство из них принадлежит к легким, шуточным жанрам. В них широко представлена бытовая тематика и, соответственно, встречаются разговорные элементы, вульгаризмы, прозаизмы, макаронический стих. Совсем редки отрывки, в которых выдерживается серьезный тон, а чаще всего философски-афористические стихи на вполне серьезные темы к концу принимают оборот к легкому жанру из-за уже названных каламбурных пуантов-рифм. Элегический тон вообще чужд Вельтману. В противоположность этой тенденции к легкости и прозаизации стихов проза в «Страннике» во многом как раз тяготеет к поэтизированию. На это явление уже обратил внимание анонимный современник, рецензент журнала «Молва»: «⟨...⟩ в его стихотворных опытах ⟨...⟩, несмотря на стопы и рифмы, поэзии было несравненно менее, чем в огненной, кипучей прозе “Странника”» (цит. по [Акутин 1977, 297])<sup>5</sup>. Б. Бухштаб весьма метко характеризовал прозу Вельтмана как «поэтическую прозу», типичную для романтизма, изобилующую метафорами и особенно излюбленной фигурой — перифразой [1926, 201]. Примечательно, что именно в прозаических частях затрагиваются — в особенно экспрессивных тонах — «серьезные», философские вопросы, касающиеся мироустройства, человеческой жизни, «идеальной» любви (хотя и в прозе Вельтман широко использует каламбур, предотвращая грозящую высокопарность; ср. [Бухштаб 1926, 201]), в то время как в стихи попадают бытовые, эротически-любовные мотивы, сатирические портреты.

Таким образом, в «Страннике» получается до некоторой степени инверсионная ситуация. Проза и поэзия меняются традиционными местами (которые позже у Павловой восстанавливаются в более традиционном романтическом распределении ролей, или скорее в ключе другой разновидности русского романтизма)<sup>6</sup>.

Однако нельзя сказать, что в «Страннике» у прозы и стихов имеется подобное жесткое распределение ролей. Речь идет об общей тенденции прозы к лирической, эмоциональной окраске, к субъективному выражению личностного начала, в то время как «поэзия» тяготеет к легкости тематики, как раз к юмористическим оборотам. В конце концов, это приводит к дальнейшему смешению форм и традиционных содержаний, к разбросанности, гетерогенности и непредсказуемости, характерной и для других (де)конструктивных принципов построения текста.

Выше мы представили роман «Странник» как образец прозиметрического текста. Однако кажется вполне оправданным возражение, что это далеко не «чистый» прозиметр. В самом деле, в нем не так редко встречаются авторские слова (цитатные маркеры) при переходах от прозы к стихотворным отрывкам; кроме того, есть несколько случаев, когда можно сомневаться в отсутствии/наличии маркера.

Всего насчитывается около 25 % переходов от прозы к стихам, при которых как-то указывается на воспроизведение (квази)чужих слов, на сдвиг ко вторичному уровню (включая постпозитивные цитатные маркеры, когда цитатный статус стихотворного отрывка указывается в последующем прозаическом контексте). Однако именно из-за фундаментальной отрывочности стихотворных кусков это не «нарушает нарушения», не слишком упорядочивает неупорядоченный — принцип немотивированного «монтажа».

Другой важный критерий прозиметрического текста также не нарушается: все «цитаты» в конце концов «свои», они только «квазичужие», что естественно не только в случае слов и мыслей повествователя, но и в случае такой фиктивной фигуры, как «поэт» (см. «День 41»; [Вельтман 1977, 150—152]).

Теперь рассмотрим типы немотивированного перехода от прозы к стихам и обратно:

- 1) Нередко чередование происходит внутри предложения, внутри синтаксического интонационного целого.
- 2) Начинается новое предложение, но имеется очевидная смысловая непрерывность (логическая, дискурсивная, повествовательная).
- 3) Связь обеспечивается посредством словесного повтора: одно из последних слов прозаического куска подхватывается в начале стихотворного фрагмента (анадиплозис).
- 4) Связь обеспечивается полусинонимами и, шире, словами, близкими по значению, принадлежащими к одному и тому же семантическому полю.
- 5) Ход повествования или мыслей более или менее резко обрывается.

Для характеристики последнего типа стоит прибегнуть к некоторым из обильных автометаописаний в «Страннике»: Вельтман-повествователь сам обсуждает проблему связности своего текста в разных местах, с употреблением разных терминов. Он развертывает свою основную метафору путешествия, дороги: «Читатели, я поднял уж *заставу* / Для выезда из скучной сей главы» (с. 87), говорит о «резком переходе в нижеследующее из вышеописанного» (с. 95). Однако самое удачное автометаописание, даже имеющее значительную описательную силу — не меньше других литературных терминов, — это его образ «переправы», от одной «острова-главы» к другой, которые «разделяют друг от друга пучина вод», развернутый автором в двух местах в романе. В главке CLI читаем: «Так как предыдущая глава началась переправою, то я хотел и заключить оную рассуждением о затруднении переправы смысла из главы в главу, из стиха в стих и т. д., но я должен был невольно отложить это предприятие до статьи об Архипелаге» (76), «статьи», в самом деле помещенной на с. 116 (уже на большом расстоянии в пространстве текста — в первый «день» третьей книги, гл. ССХХIII), где мы читаем: «Нужно ли напомнить догадливому главе CLI и то, что я, как торопливый путешественник, с таким же вниманием взглянул на рассеянные острова по Архипелагу, как торопливый читатель на главы, рассеянные по моему *Страннику*. Их разделяет друг от друга пучина вод; сообщение между ними трудно, я согласен; но виновен ли я, что мое

воображение произвело умственный Архипелаг?» — после чего следует воображаемое путешествие по греческим островам.

Итак, чередование прозы и стихов, «переправы между островками» обеспечивается звенями-повторами, логическими или синтаксическими формами связи, но часто таких «скреп» нет, и — если расширить образ Вельтмана — приходится просто плыть дальше, пока не почувствуем твердую почву под ногами.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Если в синтаксическом плане по сравнению с косвенной и несобственно-прямой речью (гипотактически передающими чужую речь) прямая речь является парапатактической, то на уровне текстового членения (в синтагматическом плане) (вторичная) прямая (воспроизведенная) речь подчинена контролю вводящей ее (первичной) речи.

<sup>2</sup> Автору не удалось ознакомиться с книгой Ю. Орлицкого «Стихи и проза в русской литературе» (М., 2002), кроме как в объявлении в Интернете (Шведская лавка, <http://www.russ.ru/krug/vybor>). В ней обсуждается прозиметр. Судя по статье [Орлицкий 1999], в которой рассматриваются прозиметрические тексты русского авангарда, исследователь придерживается узкого определения прозиметра.

<sup>3</sup> В литературном авангарде / постсимволизме намечается значительный рост прозиметрических и прозиметроидных текстов: у Крученых, Каменского, Терентьева (ср. [Орлицкий 1999]), а также и у Ахматовой («Энума Элиш»), в 1-й главе «Дара» Набокова и др.

<sup>4</sup> Здесь мы не затрагиваем вопроса, насколько автору «Странника» была известна традиция прозиметра. Начитанный Вельтман мог быть знаком со всеми вехами прозиметрической традиции: с Бозицем, хотя бы по русскому переводу конца XVIII в., мог знать и «Новую жизнь», и Петрония (хотя бы во французском переводе), и немецких романтиков (Новалиса). В самом «Страннике» аллюзий на такие тексты обнаружить не удалось.

<sup>5</sup> Известна реакция Пушкина на роман Вельтмана, в которой бросается в глаза его характеристика как «несколько манерная болтовня» (*bavardage un peu maniére*) [Пушкин 1979, X, 271]. Интересны взаимные отношения Пушкина и Вельтмана. С одной стороны, можно предположить, что Вельтман учился у Пушкина — у вышедших глав «Евгения Онегина» и, с другой, может быть, он воплощал принцип «болтовни» последовательнее, чем сам Пушкин.

Х. Мейер высказывает интересное предположение, что Пушкину было несколько не по душе появление «Странника», и потому он достаточно неопределенно отзывался о Вельтмане как о профессиональном конкуренте [1995, 385]. Добавим здесь, что, возможно, Вельтман опередил Пушкина в использовании прозиметрических структур, которые сильно занимали Пушкина (см. [de Haard, в печати]). Впрочем, в тексте «Странника» нет никаких конкретных следов «влияния» или «ученичества» ни Пушкина, ни других русских писателей. В «Страннике» даже бросается в глаза как раз отсутствие ссылок, ориентации на русскую литературную традицию и современность. В отличие от чуть ли не всех современников Вельтман воздерживается от цитат, кажется, даже игнорирует всю русскую литературу (за тремя исключениями: одного упоминания басни Крылова, цитирования одного стиха из державинской «Фелицы» и ссылки на непервоклассного поэта-сатирика Нахимова). Это явление «отказа», этот «минус» особенно заметен ввиду того, что Вельтман обильно ссылается на французских авторов-поэтов и на целый ряд античных авторов. Это имеет демонстративный характер, как показ самостоятельности, оригинальности в русском литературном контексте 1820—1830-х гг.

<sup>6</sup> Соотношение прозы и стихов не всегда состоит в максимальном противопоставлении, т. е. в обостренном контрастивном использовании прозаичности прозы и поэтичности стихов (как это делает, например, Пушкин в «Разговоре книгопродавца с поэтом» или Павлова в «Двойной

жизни»). Например, проза в стихотворении Андрея Тургенева «В дыхании зефиров...» не менее лирична, чем стихи.

## ЛИТЕРАТУРА

- Акутин 1977 — *Акутин Ю.* Александр Вельтман и его роман «Странник» // *А. Ф. Вельтман. Странник.* М.: Наука, 1977. С. 247—300.
- Бухштаб 1926 — *Бухштаб Б.* Первые романы Вельтмана // *Русская проза: Сб. статей / Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова.* Л.: Academia, 1926. С. 192—231.
- Вельтман 1977 — *Вельтман А. Ф. Странник / Изд. подгот. Ю. М. Акутина.* М.: Наука, 1977.
- Ефимова 1927 — *Ефимова З. С. Начальный период литературной деятельности А. Ф. Вельтмана // Русский романтизм: Сб. статей / Под ред. А. И. Белецкого.* Л.: Academia, 1927. С. 51—87.
- Лихачев 1972 — *Лихачев Д. С. Вступительная заметка // Слово о полку Игореве.* М.: Детская литература, 1972. С. 41—42.
- Марков 1994 — *Марков Вл.* Стихи русских прозаиков // *О свободе в поэзии: Статьи. Эссе. Разное.* Пб.: Изд. Чернышева, 1994. С. 240—277.
- Николаева 1997 — *Николаева Т. М. «Слово о полку Игореве»: Поэтика и лингвистика текста. «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты.* М.: Индрик, 1997.
- Орлицкий 1999 — *Орлицкий Ю.* Пушкин с нами? // *Новое литературное обозрение. № 36.* 1999.
- Павлова 1964 — *Павлова Каролина.* Полное собрание сочинений. (Б-ка поэта. Большая сер.). М.; Л.: Сов. писатель, 1964.
- Поэты 1971 — *Поэты 1790—1810 годов.* (Б-ка поэта. Большая сер.). Л.: Сов. писатель, 1971.
- Пушкин 1979 — *Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т.* Л.: Наука, 1979.
- Роболи 1926 — *Роболи Т.* Литература путешествий // *Русская проза: Сб. статей / Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова.* Л.: Academia, 1926. С. 42—73.
- Сидяков 1974 — *Сидяков Л. С. Стихи и проза в текстах Пушкина // Пушкинский сборник. Вып. 2 // Учен. зап. Латвийского гос. ун-та. Т. 215.* 1974. С. 4—31.
- Цивьян 1997 — *Цивьян Т. В. Проза поэтов о прозе поэта // Russian Literature. XLI.* 1997. С. 423—436.
- ЭСПИ 1995 — Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995.
- Crabbe 1981 — *Crabbe, Anna. Literary Design in De Consolatione // Boethius. His Life, Thought and Influence / Ed. Margaret Gibson.* Basil Blackwell, Oxford, 1981. P. 237—274.
- Curtius 1963 — *Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter.* Francke, Bern; München, 1963.
- Eckhardt 1983 — *Eckhardt, Caroline D. The Medieval Prosimetrum Genre (from Boethius to Boece) // Genre. Vol. XVI. No. 1.* 1983. P. 21—38.
- de Haard, в печати — *Haard, Eric de. Verse Insertions and Prosimetrum in Pushkin's Works // Two Hundred Years of Pushkin.* Vol. 3. *Pushkin's Legacy / Eds. Robert Reid and Joe Andrew.* Rodopi; Amsterdam; New York.
- Meyer 1995 — *Meyer, Holt. Romantische Orientierung. Wandermodelle der romantischen Bewegung (Russland): Kjuchel'beker — Puškin — Vel'tman.* München, Otto Sagner, 1995.
- Nabokov 1961 — *Nabokov, Vladimir. Foreword // The Song of Igor's Campaign. An Epic of the Twelfth Century. Translated from Old Russian by Vladimir Nabokov.* London, Weidenfeld and Nicholson, 1961.
- Pabst 1994 — *Pabst, Bernhard. Prosimetrum. Tradition und Wandel einer Literaturform zwischen Spätantike und Spätmittelalter.* Köln; Wien, Böhlau, 1994.

*Стефано Гардзонио (Пиза)*

## ЕЩЕ РАЗ О СТИХЕ ПЕРЕВОДА БАТЮШКОВА ИЗ РОЛЛИ

**В** своем новом капитальном труде «Батюшков и литература Италии»<sup>1</sup> И. А. Пильщиков анализирует многочисленные батюшковские переводы и переделки итальянских стихотворений. Среди них есть и частичный перевод стихотворения Паоло Антонио Ролли (1687—1765)<sup>2</sup> «Piangete o Grazie, piangete Amori». Русский текст, оригинал которого долго и до относительно недавнего времени оставался нераскрытым, состоит из шести строк и представляет собой перевод трех начальных и трех заключительных стихов итальянского источника. Вот текст оригинала и батюшковский перевод:

Piangete o Grazie, piangete Amori,  
Della Ninfa mia nel volto pallido,  
Tutti si perdono gli almi colori (...)  
O Amica Venere, di Giove figlia,  
Se i voti accogli d'amante fervido,  
Non lasciar perdere chi t'assomiglia.

Рыдайте Амуры и нѣжныя Граці,  
У Нинфи моей на личикѣ нѣжномъ,  
Розы поблекли и вянуть всѣ прелести.  
Венера Всемощная! Дочерь Юпитера! —  
Услыши моленія и жертвы усердныя:  
Не погуби на тебя столь похожую! —

Дальше Пильщиков трактует вопрос о стихотворном размере русского перевода и приводит разные предложенные истолкования. В частности, он определяет его как 4-стопный трехсложник с переменной анакрисой и спорадическими усечениями на цезуре<sup>3</sup>. Затем он оспаривает мнения С. Л. Матяш, которая идентифицировала размер батюшковского стихотворения как 4-ударный дольник, «используемый в целях стилизации под античную строфу»<sup>4</sup>, В. Б. Сандомирской, неточно определившей размер перевода как «своеобразное сочетание амфибрахия и дактиля без рифм»<sup>5</sup>, С. Л. Кибальника, определившего размер как 4-стопный амфибрахий «с односложной катаlekтой»<sup>6</sup>, и, наконец, А. С. Янушкевича, увидевшего в стихе не-рифмованный 4-стопный амфибрахий<sup>7</sup>.

После этого, Пильщиков замечает: «Ближе других к определению размера батюшковского стихотворения подошел С. Гардзонио: “Трехсложник с переменной анакрусой и слоговыми усечениями (*contrazioni sillabiche*)”<sup>8</sup>, служащий для передачи итальянских эндекасиллабов», — и заканчивает: «Однако Скоппа объясняет, что стихи Ролли, строго говоря, “не являются ни *декасиллабами*, ни *эндекасиллабами*”: каждая строка представляет собой два пятисложника, которые “соединены вместе и легко расчленимы” благодаря постоянной цезуре после пятого слога (...). Батюшков выбирает размер, близкий к 4-стопному амфибрахию, и, таким образом, действительно обнаруживается связь перевода из Ролли со вторым переводом из Касти, где пятисложник передан нерифмованными 2-стопными амфибрахиями»<sup>9</sup>.

Тут можно полностью согласится с Пильщиковым (и как иначе, учитывая, что он практически полностью разделяет наше давнее указание о батюшковском размере), но с одним интересным уточнением или, лучше сказать, несогласием-добавкой. Имеется в виду его утверждение: «Однако Скоппа объясняет, что стихи Ролли, строго говоря, “не являются ни *декасиллабами*, ни *эндекасиллабами*”».

Это значит, что здесь небесполезно добавить некоторые данные о размере итальянского оригинала и о возможных соображениях его русского переводчика. В итальянской метрике существует форма, которую обычно называют *endecasillabo rolliano*. Она является и в то же время не является эндекасиллабом. С одной стороны, у нее есть ударение на четвертом и десятом слоге, с другой — она жестко разделена на два пятисложника, первый из которых имеет обязательное дактилическое окончание<sup>10</sup>. С этой точки зрения его можно определить и как двойной пятисложник<sup>11</sup>. Тут надо отметить неточность вышеприведенного описания Скоппы, согласно которому стих имеет постоянную цезуру после пятого слога: при дактилическом окончании первого пятисложника цезура проходит после шестого слога, напр.: Non lasciar perdere // chi t’assomiglia.

*Endecasillabo rolliano* — производная форма от латинского катуллианского эндекасиллаба<sup>12</sup>. Вот пример из Катулла и его передача в итальянских стихах Ролли:

Cui dono lepidum novum libellum  
Arida modo pomice expolitum?

Cui dono il lepido nuovo libretto  
Pur or di porpora coperto e d’oro?

Однако Ролли развивает и модифицирует тоническую передачу латинского количественного стиха и строит новую форму терцины, где рифмующие первый и третий стих состоят из пятисложника с дактилическим окончанием плюс пятисложник женского окончания, а второй, безрифменный, состоит, наоборот, из пятисложника женского окончания плюс пятисложник белого дактилического окончания<sup>13</sup>. Таким размером написан знаменитый его цикл, «Endecasillabi», который долго имитировали, по крайней мере, до Дж. Кардуччи. В таком случае перед нами эндекасиллаб с женским окончанием плюс декасиллаб с дактилическим окончанием:

○○○-○○/○○○-○  
○○○-○/○○○-○○

Так построен переведенный Батюшковым текст, так построен следующий гимн Ролли:

O bella Venere, figlia del *giorno*,  
destami affetti puri nell'animo,  
e un guardo volgimi dal tuo *soggiorno*.  
Te non accolsero da' flutti *infidi*,  
nata dall'atro sangue saturnio,  
di Cipro fertile gl'infami *lidi*;  
a te non fumano le are in *Citera*,  
né ti circonda con le Bassaridi  
de' Fauni e Satiri l'impura *schiera*.  
Dell'astro fulgido che *riconduce*  
Dall'inde arene i di che riedono,  
scintilli splendida nell'aurea *luce*;  
solo dal candido tuo sen *seconde*  
vien quel sottile soave spirto  
detto *grand'anima* che avviva il *mondo*.

Если смотреть на русский перевод уже с этой точки зрения, то становится ясно, что перед Батюшковым стояла очень сложная задача построения ритма на разном чередовании дактилических окончаний в цезуре и в окончании.

Вот как выглядит ритмическая схема переводного отрывка Батюшкова:

○-○○-○/○-○○-○○  
○-○○-○/○-○○-○  
-○○-○/○-○○-○○  
○-○○-○○/-○○-○○  
○-○○-○○/○-○○-○○  
○○○-○○-○/○○-○○

Действительно, если учесть разделение на полустишия, то перед нами многочисленные формы 2-сложного амфибрахия с дактилическим окончанием (есть, однако, и дактиль и анапест), т. е. того же размера, который применен Батюшковым во втором переводе из Касти («Il contento», русский перевод «Радость»):

Любимца Кипридина  
И миртomy и розою  
Вънчайте, о юноши  
И дѣвы стыдливы!  
○-○○-○○

С силлабической точки зрения в переводе из Ролли перед нами одиннадцатисложники и двенадцатисложники. Неправильно было бы думать, что тут Батюшков стремился к силлабизму, но, с другой стороны, любопытно отметить, как два одиннадцатисложника (третий и шестой стих) имеют регулярное ударение на 4-м

и 10-м слогах, в то время как четыре двенадцатисложника носят обычные ударения итальянского *dodecasillabo* (т. н. *senario doppio*). В таком случае стало бы вполне законным чтение слова *моленія* как 4-сложное в предпоследнем стихе<sup>14</sup>.

Если обратиться к истории русского стиха, стоит упомянуть тесную личную связь Ролли с Антиохом Кантемиром (они познакомились в Лондоне, и, кажется, Ролли помогал Кантемиру в изучении итальянского языка и литературы<sup>15</sup>). Поэтому неудивительно, что в своем «Письме Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских» Кантемир предлагал и катулианский эндекасиллаб:

Если кто склонен подражать катулианским эндекасиллабам, должен: 1) делить одиннадцатисложный их на два полустишия таким образом, чтоб в первом было шесть, во втором пять слогов; и 2) неотменно хранить в первом полустишии четвертый слог долгий, пятый и шестой короткие, а во втором — четвертый долгий.

Пример:

Ко/му/дам/но/ву/ю//книж/ку,/и/с/прав/но  
Многим очищенну трудом недавно?  
Книжку забавную тебе дам, другу,  
Никито, ты мои стишки с досугу  
Охотно преж сего чел, признавая,  
Что в шутках кроется польза какая...<sup>16</sup>

Кантемир, хотя трактует форму античного стиха, отступает от схемы античного фалакия, предлагает итальянский его вариант, и вдобавок в рифменной форме. Тут влияние итальянского силлабизма и, в частности, самого Ролли очевидно.

Батюшков отказывается от рифмы, и с этой точки зрения он стремится передать итальянский текст в форме античной безрифменной поэзии (тут какое-то оправдание получает и мнение Матяш). Однако неоконченность текста не дает веских элементов для дальнейшего обсуждения. Стоит лишь отметить, что Батюшков не выбрал самое естественное решение задачи, т. е. перенесение текста в русло русского двусложного стиха. Так поступил, наоборот, А. Норов в полном переводе того же стихотворения Ролли<sup>17</sup>:

Младые Грации, Амуры, лейте слезы! –  
Покрылись бледностью Элизы красоты! –  
Лишь лилии цветут, где расцветали розы...  
Венера милая! О мать Любви! О ты,  
Из волн рожденная для обладанья миром  
И принесенная в счастливый Кипр Зефиром!  
Сойди на скорбный одр красавицы моей!  
Рассей болезнь в груди Элизы несравненной  
Воззрением твоих божественных очей!  
Киприда, где ж теперь таится сын твой нежный?  
Не вижу я его ни на ланитах сих,  
Ни под ресницами сих взоров голубых...

Вели ж ему опять, богиня, возвратиться;  
В его любимое жилище поспешить —

В каких устах ему так можно насладиться?  
 Откуда может он верней сердца ловить? —  
 Молчит ли, молвит ли она устами сими —  
 Всегда в них Грации с Амурами твоими.

Элиза! но теперь! нет сей улыбки там,  
 Которая всегда из уст твоих порхала  
 И разливалася по всем твоим чертам...  
 Как приуныла ты! Куда, куда пропала  
 Та живость острая небесных взоров сих?  
 Та сладость тайная, начертанная в них?

И перси белые, любовной неги полны,  
 Не вздымаются из дымковых преград.  
 Как ветром на брегу колеблемые волны...  
 О ты, Зевеса дочь, Киприда! мать отрад!  
 Коль правда, что никто не звал тебя бесплодно —  
 Не дай увянуть ей, красой тебе подобной!

Норов в качестве функционального эквивалента предпочел применить цезурный строфический шестистопный ямб в духе антологической поэзии, в то время как Батюшков, более внимательный к ритмическим особенностям оригинала, т. е. к *endecasillabo rolliano*, испробовал применение белого трехсложника в качестве эквивалента итальянской стилизации античного стиха. Безусловно, его попытка, хотя и безуспешная, свидетельствует о новаторском характере метрико-ритмических исканий поэта, и, как мне кажется, здесь многое еще впереди.

Флоренция, сентябрь 2003 г.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Пильщиков И. А. Батюшков и литература Италии: Филологические разыскания. М., 2003.

<sup>2</sup> Поэт-классицист. Участвовал в литературной полемике Академии Квирини с Аркадией. Жил в Англии, где служил при дворе короля Георга II наставником его сыновей. Полемизировал с Вольтером об эпической поэзии. Переводил Анакреона, Вергилия, Стиля, Мильтона, Расина, Ньютона. Автор многочисленных мелодрам, а также сборника «Поэтические сочинения» (1753, расширенное издание 1782).

<sup>3</sup> Пильщиков И. А. Батюшков и литература Италии. С. 84. Интересно также отметить, что дальше у Пильщикова обсуждается и отвергается возможность трактовки этого размера как строфического логазда. Он пишет: «Фрагмент, процитированный Скоппой и переведенный Батюшковым, представляет собой два терцета (стихотворение Ролли написано *in terza rima*). Ритмика батюшковского шестистишия корреспондирует со строфической структурой оригинала: 1-й стих ритмически соотносится с 4-м (это два 4-стопных амфибрахия), 3-й стих соотносится с 6-м (это два 4-стопных дактиля); 2-й стих содержит цезурное усечение, а 5-й — может статься, цезурное наращение. Нет, однако, достаточных оснований, чтобы интерпретировать перевод как строфический логазд» (Пильщиков И. А. Указ. соч. С. 208, примеч. 197).

<sup>4</sup> Матяш С. А. Метрика и строфики К. Н. Батюшкова // Русское стихосложение XIX века: Мат-лы по метрике и строфики русских поэтов. М., 1979. С. 100.

<sup>5</sup> Сандомирская В. Б. К. Н. Батюшков // История русской поэзии. Т. 1. Л., 1968. С. 267.

<sup>6</sup> Кибальник С. А. Катулл в русской поэзии XVIII — первой трети XIX века // Взаимосвязи русской и зарубежной литературы. Л., 1983. С. 64.

<sup>7</sup> Янушкевич А. С. Книги К. Н. Батюшкова в библиотеке В. А. Жуковского // Русская книга в дореволюционной Сибири: Читательские интересы сибиряков. Новосибирск. С. 19.

<sup>8</sup> Garzonio S. La poesia italiana in Russia: Materiali bibliografici. Firenze, 1984. P. 68.

<sup>9</sup> Пильщиков И. А. Указ. соч. С. 84. Книга Скоппы — это знаменитый трактат начала XIX в.: Scoppa A. *Traité de la poésie italienne, rapportée à la poésie française*. Paris-Versailles, 1803. Именно этим изданием пользовался Батюшков для ознакомления с итальянской поэзией. Его личный экземпляр хранится теперь в Библиотеке В. А. Жуковского (в хранилищах библиотеки Томского университета) и был описан А. С. Янушкевичем в вышеупомянутой статье (см. сн. 7).

<sup>10</sup> См.: Beltrami P. G. La metrica italiana. Bologna, 1991. P. 343.

<sup>11</sup> Там же. С. 174.

<sup>12</sup> Стих происходит из эолийской силлабометрики и обычно называется *фалекий*. Схема античного стиха следующая: X X – ∅ ∅ – ∅ – ∅ – X (ср.: Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. С. 57). В итальянской стилизации он получает следующий вид: ∅ ∅ ∅ – ∅ ∅ / ∅ ∅ ∅ – ∅. Небезынтересно отметить, что для Батюшкова стихотворение Ролли ассоциировалось со стихотворением Катулла на смерть воробья Лесбии. Об этом сходстве писал Скоппа (1803. С. 3—94), а в связи с Батюшковым писали Кибальник (1983. С. 63—64), Янушкевич (1990. С. 17) и пишет Пильщиков (С. 84—85).

<sup>13</sup> Там же. С. 197.

<sup>14</sup> Тут надо напомнить, что Пильщиков проверил батюшковский текст по рукописям и отметил неточность в передаче пятого стиха. Во всех изданиях он передан как «Услышь моления и жертвы усердные» в то время как в беловой рукописи он выглядит как «УслышИ моленія и жертвы усердныя». Таким образом, если читать слово *моленія* как четырехсложное, придется допустить, что стих имеет цезурное наращение. Пильщиков учитывает и такую возможность, и возможность йотированного чтения *молен[‘]я* (в черновой рукописи стих читается: «УслышИ моленЬЯ и жертвы усердныя»). Вопрос остается открытым.

<sup>15</sup> Ср. Пумпянский Л. В. Кантемир и итальянская культура // Сб. XVIII век. М.; Л., 1935. С. 89, 92, 94.

<sup>16</sup> Кантемир А. Д. Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских // Кантемир А. Д. Собрание стихотворений. Л., 1956. С. 417.

<sup>17</sup> Большой Элизе. Из Паоло Ролли // Благонамеренный. 1821. Ч. XIII. № 2. С. 82—83.

*B. N. Топоров (Москва)*

## К ПРОБЛЕМЕ «ПОВТОРОВ» И ИХ «УРОВНЯХ» В ПОЭЗИИ БАРАТЫНСКОГО (РАННИЙ ПЕРИОД)

**И**звестно, что Баратынский принадлежит к числу наиболее глубоких поэтов своего (и, конечно, не только своего) времени.

Но он по существу и один из наиболее сложных русских поэтов независимо от того, сознает ли читатель эту «сложность» или не сознает. А эта присущность поэзии Баратынского глубины и сложности как бы предполагает в читателе тот уровень, который позволяет ему понять хотя бы в общем самое глубину замысла автора и распутать (и тоже до определенного предела) сложность конкретного поэтического текста, по крайней мере «войти» в него, найдя в нем нечто новое, с первого взгляда необнаруживаемое. Баратынский знал такого читателя из числа своих современников и верил в то, что такой читатель найдется и в будущем.

В этом смысле можно сказать, что Баратынский требователен к своим читателям и доверяет им, полагая, что они хотят адекватно понять то, что хотел выразить поэт, и войти в подлинную глубину и замысла поэта, и его осуществления. Он учительен, и его труд не напрасен — стихи его при внимательном, неторопливом, нередко многократном чтении начинают обучать читателя, постепенно входящего в «сношенье» с поэтом, который тем самым и сам входит в «сношение» с читателем и не менее ему благодарен, чем сам читатель поэту, чье бытие может быть «любезно» читателю (слово *бытие*, как и понятие *сношенье*, ключевое для Баратынского в ситуации встречи поэта с читателем):

Мой дар убог и голос мой не громок,  
Но я живу, и на земли [так!] мое  
Кому-нибудь любезно бытие:  
Его найдет далекий мой потомок  
В моих стихах; как знать? душа моя  
Окажется с душой его в сношеньи,  
И как нашел я друга в поколеньи,  
Читателя найду в потомстве я.

У этого «сношенья» сквозь время и пространство главный посредник бытие, состоянием души определяемое. Читатель в стихах поэта открывает его душу-бытие. Но и поэт уповаает, что через его стихи читатель, может быть, откроет и для себя душу поэта, его *любезно бытие*, хотя и не может не предупредить читателя о сложности самого языка поэзии и богов — ... | *Но не желай моих стихов: | Не многим избранным понятен | Язык поэтов и богов* («Лиде», 1821), 1827), тема, намеченная еще в середине XIX в. в индоевропейском сравнительном языкоизнании и ставшая профилирующей в XX в. в исследованиях, обозначаемых как «Die Ursprünge der indogermanischen Poetik»). Высокое мнение поэта о языке поэтов (разумеется, подлинных), приравниваемом к языку богов или, по меньшей мере, сопоставляемом с ним, также должно быть принято во внимание.

Материал, относящийся к теме этой статьи, весьма обширен и может быть здесь приведен лишь отчасти — с ограничением и по времени (ранние поэтические опыты Баратынского — первое издание «Стихотворений Евгения Баратынского», 1827), и по количеству примеров, многочисленных и в упомянутом издании, и в последующих публикациях 1835 и 1842 гг. («Сумерки»), не говоря уж о стихах, оставшихся за пределами указанных изданий. Учитывая, что Баратынский датировал свои стихи редко, проблема хронологии остается насущной, приходится в большинстве случаев датировать стихотворения по времени их первого появления в печати (а не по времени написания). Так это делается в издании стихотворений Баратынского, подготовленном С. Г. Бочаровым. Дата, заключенная в угловые скобки, означает, что стихотворение написано не позже указанного года, ср. «Последняя смерть» (1827). — В ряде случаев приходится приводить «избирательно» примеры, почерпнутые из стихотворений, написанных позже издания 1827 г. и используемых как своего рода комментарий или параллель к первому изданию стихов 1827 г. Впрочем, надо заметить, что автор этой статьи предполагает (при возможности) расширить эти наброски на средний и поздний периоды творчества поэта.

Конечно, было бы целесообразно сгруппировать разные типы повторов у Баратынского в целокупные единства, характерные для его поэзии рассматриваемого здесь периода. Однако два обстоятельства вынуждают автора отказаться, во всяком случае здесь и сейчас, от выбора именно такого плана. Для этого есть две причины. Во-первых, при таком варианте разрушалось бы то единство, которое характеризует каждое отдельное стихотворение, и, во-вторых, потребовалось бы гораздо большее пространство, претендовать на которое здесь автор не может. К тому же, неизбежная неполнота используемого материала оправдывает делаемый здесь выбор.

Для поэзии Баратынского рассматриваемого периода во многих случаях отмеченным оказывается самое начало стихотворения, определенные черты которого часто имеют отклик в других частях того же стихотворения (в начале строф, в начале отдельных стихов и т. п.). Имплицирующая (иногда, можно было бы сказать, провокативная) роль начала, как бы «просвечивающего» ту же тему с помощью той же фоники, задает особый тип связанности текста, проявляющейся и в

том, что она настраивает и контролирует «тональность» смежных частей или — в отдельных случаях — всего стихотворения в целом: — Приступая к анализу отдельных стихотворений, необходимо указать, что в большинстве случаев, когда звук и буква отражают одну и ту же сущность и, следовательно, взаимно конвертируются (ситуация твердого согласного, согласный перед гласным непереднего ряда и некоторые другие более частные случаи), звук и буква по сути дела однозначны, разница между говорящим и пишущим, слушающим и читающим в указанном отношении как бы нивелируется, и пересчет с графики на фонику становится своего рода автоматизмом; на достаточной глубине анализа и исторически и по существу определяющей задачу стихотворного текста, является фоника, а не графика, звук, а не буква, хотя с известного периода графика оказывается более простым и удобным инструментом знакомства со стихами. Но при более тонком анализе стиха с языковой точки зрения существенно помнить, что за буквами *я*, *ю* стоят соответственно буквы *a*, *u* с мягкостью предшествующего согласного, за буквой *ё* — *o* с той же мягкостью согласного или *j* (¾). — Следует помнить и о некоторых других тонкостях в соотношении буквы и звука, графики и фонетики.

Из ранних стихотворений Баратынского в связи с рассматриваемой здесь темой показательно написанное в 1819 г. стихотворение «Дельвигу». Первые четыре стиха задают главную фоническую доминанту — ударное *á*, хотя и безударное *a*, не подлежащее (говоря в целом) редукции, не должно сбрасываться со счета. Ср.:

Тák, любезный мой Горáций,  
Тák, хоть ráд, хотí не ráд,  
Но тепérь я Муз и Грáций  
Променял на вáхтпáрад.

Таким образом, уже в первых четырех стихах отмечено десять ударных *á* — так что на каждый из них в среднем приходится по 2,5 *á* (следует заметить, что эти *á* умело распределены поэтом — насыщенность по горизонтали [ср.: *Ták, хоть rád, хотí не rád*], отмеченность по вертикали [*Ták... Ták*], «рамочность»: *Ták... ne rád; Promenял... вахтпáрад*] [ср. начальное *Iták* в стихотворении «Брату при отъезде в армию» (*1820*), (*1827*)]. Следует отметить и появления безударного *a*, вносящего свой вклад в фонетическую *a*-доминанту. До сих пор говорилось об одном — о фонэстетическом *á* в четырех начальных и, как бы настраивающих на продолжение стихах. Но далее, в оставшихся в первой строфе десяти стихах (5—14) поэт идет на ограничение фонической стихии *á* через резкое снижение частотности этого *á*. Результат — пять *á* на десять стихов. Иначе говоря, одно *á* приходится в среднем на два стиха, а на один стих — 0,5 *á*. Во второй строфе (стихи 15—22) эта тенденция продолжается — 4 *á* на 8 стихов, т. е. в среднем 0,5 *á* на один стих. — В третьей строфе (стихи 23—40) на 18 стихов приходится 11 *á*, в среднем одно *á* на 1,6 стиха.

В этом же стихотворении «Дельвигу» начинаются опыты Баратынского, пока относительно робкие и нечастые, в рифме и звукописи. Ср. рифмы *Горáций* — *Гráций* (т. е. *G-ráций* — *Gráций*); *o купléтах* — *в штibléтах*; *Вольный бáловень*

*забáвы — Говорливые дубráвы; в долине злáчной, | ...ключ прозрáчный* (с выделением л : р); *кручине — чужбине.*

Одно из ранних стихотворений Баратынского — «Моя жизнь» (1818—1819/?). Оно состоит из трех четверостишных строф с четырьмя анафорическими *Люблю — Люблю за дружеским столом...* (стих 1) & *Люблю пиров веселый шум* (стих 5) & *Люблю забыть для сердца ум* (стих 8) & *Люблю с красоткой записной...* (стих 9). Вскоре Баратынский предлагает более «тесный» вариант, в котором начальное *Люблю...* повторяется шестикратно, ср. *Люблю я бранные шатры, | Люблю беспечность полковую, | Люблю красивые смотры, | Люблю тревогу боевую, | Люблю я храбрых, воин мой, | Люблю их видеть в битве шумной | Летящих в пламень роковой...* (двенадцатикратное лю и отдельно лю в любовник [л'у...]) определяют фонику этого стихотворения и роль слова *Люблю* как отсылки к главной теме, к нарастанию охватывающего поэта чувства).

Нужно сказать, что подобные *Люблю*-тексты были характерны для поэтов пушкинской эпохи и для самого Пушкина, ср.: *Люблю тебя, Петра творенье, | Люблю твой строгий, стройный вид, | ... | Люблю зимы твоей жестокой | Недвижный воздух и мороз, | Люблю воинственную живость | Потешных Марсовых полей, | Пехотных ратей и коней | Однообразную красотость* и др. — О теме у и 'у в фонике Баратынского см. и далее.

В частности, можно сослаться и на ближайшее по времени стихотворение поэта «Ропот» (<1820>, <1827>): ... | Тебя мой друг, увижу я! | Что ж не трепещет грудь моя? | ... | С тоской на радость я гляжу, — | ... | И я напрасно упованье | В больной душе моей бужу. | Судьбы ласкающей улыбкой | Я наслаждаюсь не вполне: | ... | И не к лицу веселье мне. Ср. повторение в начальном стихе — *Он близок, близок день свидания | ...*

Двукратное анафорическое *Прости* определяет первые две строфы стихотворения «К Кюхельбекеру» (18 января 1820). Ср. «К-у»: *Изменят скоро дни младые, | Изменят скоро нам любовь!*

В стихотворении «К Кюхельбекеру» (18 января 1820) первые две строфы начинаются словом *Прости*. И это *Прости, Поэт! | ... | Прости!* одновременно и просьба о прощении, и, может быть, предчувствие прощения, но и ответный дар — *О милый мой! все в дар тебе — | И грусть, и сладость упованья, и выражения чувства дружества, столь развитого у поэта, и тревоги — Изменят скоро дни младые, | Изменят скоро нам любовь* («К-у», <1820>). К подчеркнутости ё ср. в середине стихотворения — *Часы летят! — Скорей зови | Богиню милую любви! | ... | Альков уютный приготовь!* Пять первых стихов уже предвещают дальнейшую роль у (ў): *Любви веселый проповедник, | Всегда любезный говорун, | Глубокомысленный шалун, | Назона правнук и наследник! | Дана на время юность нам.*

В «Послании к барону» Дельвигу» (1820), состоящем из 14 четырехстишных строф, снова посвященном теме дружбы и принадлежащем к лучшим образцам поэзии Баратынского, индуцирующим является первый стих первой строфы, точнее, формула риторического вопрошания — *Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой?* (стРОфа 1), не раз воспроизводимая в тексте. Ср.: *Где ты,*

*о Дельвиг мой! (3); — И где ж брега Невы? где чаши веселый стук? (13).* И дело не только в повторении указанной формулы, но и в самом **вопросительном** модусе, характерном для строф 2 (*Ужель душе твоей | ... | ?*); — 3 (*Ужель не ищешь ты... | ... | ?*); — 4 (*Ты помнишь ли те дни... | ... ?*); — 5 (*Что в славе? что в молве? на время жизнь дана!*), 8 (*Взгляни! ты видишь ли... | ... | Томленья страстного в душе своей полна, | Счастливца ждет моя Лилета?*), 13 (*И где ж брега Невы? где чаши веселых стук? | ...*). Вопросительность в стихотворении существует с восклицательностью,ср. 5 (*на время жизнь дана!*), 6 (*на стогнах тишина!*), 7 (*Пусть дремлет труженик усталый!*), 8 (*Взгляни!...*), 9 (*Толпа безумная! напрасно ропщешь ты!*), 10 (*За царства не отдаст покоя сладкий миг | И наслажденья миг крылатый!*), 13 (*Исчезли радости, как в вихре слабый звук, | Как блеск зарницы полуночной!*). Ср. в стихотворении «Разлука» (<1820>, <1827>) — *Не буду я дышать любви дыханьем! | ... | Лишь начал сон... исчезло сновиденье!*

В стихотворении «Финляндия» (<1820>, <1827>) то же соприсутствие обоих модусов — восклицательного и вопросительного, с преимуществом первого (14 ! против 8 ?). Эпиграмматически краткий, точный и острый (о строение в его высоком значении), знающий цену отпущенными пространству (текстовому) и времени, Баратынский тем не менее не чуждался повторов, в которых общее разнообразится отличным друг от друга, его вариациями, — варьирование общего и единого, стремление извлечь из него всё возможное или же введение альтернативы, сталкивание того и другого и возникающие из этого поэтические эффекты. Ср., с одной стороны, *В свои расселины вы приняли певца, | Граниты финские, граниты вековые, | ... — Поклон его [scil. певца], поклон | Громадам, миру современным;* — *Так вот отчество Одиновых детей, | ... | Так это колыбель их беспокойных дней, | ... — Вы ль, на скалы ее вперив скорбящи очи, | Плывете в облаках туманною толпою? | Вы ль? дайте мне ответ, услышьте голос мой; — Что нужды до былых иль будущих племен? | Я не для них бренчу незвонкими струнами; | Я, невнимаемый, довольно награжден | За звуки звуками, а за мечты мечтами* (ср. звонк... За звук... звук-).

А перед этими строками — верх «эпиграмматизма», образ взаимной самоотдачи, снятие границ (*И провести границы меж нас я не могу;* — скажет век спустя другой поэт):

Но я, в безвестности для жизни жизнь любя,  
Я, беззаботливый душою,  
Вострепещу ль перед судьбою?  
Не вечный для времен, я вечен для себя:  
Не одному ль воображенью  
Гроза их что-то говорит?  
Мгновенье мне принадлежит,  
Как я принадлежу мгновенью!

Острый укол, выпад, острие, точка (ср. франц. *point* и *pointe*) в последних двух стихах (см. выше) о награде поэта звуками за звуки и мечтами за мечты только и являются собой единственную форму награды поэта, когда тоже нет границы между

внешним и внутренним, и дар высоких звуков — самопогруженье *нас самих во всех других*, как бы им в даренье, как скажет другой поэт. Звуки, слышимые поэтом (внутреннее), и звуки, порождаемые им (внешнее), на известной глубине нерасторжимы, как звуки и мечты, жаждущие воплощения. Само сочетание двух этих понятий и слов стало несколько позже своего рода клише (ср. первый некрасовский сборник «Мечты и звуки», 1840).

Несколько примеров повторов из стихотворений 1820—1821 гг.

«К Коншину» (1820): *Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам; | Не испытав его нельзя понять и счастья: | Живой источник сладостраствия | Дарован в нем его сыном. | Одни ли радости отрадны и прелестны? | Одно ль веселье веселит? | Бездейственность души счастливцев тяготит; | Им силы жизни неизвестны. | ... | Счастливцы мнимые, способны ль вы понять | Участья неожиданную услугу? | Способны ль чувствовать, как сладко поверять | Печаль души своей внимательному другу? | Способны ль чувствовать, как дорог верный друг? | ... [некоторые из этих «риторических» ходов были усвоены и развиты Мандельштамом, к Способны ль чувствовать, как сладко повторять... Баратынского ср. мандельштамовское Всё перепуталось, и сладко повторять: | Россия, Лета, Лорелея («Декабрист», 1917) и др.]; — Хвала всевидящим богам! | Пусть мнимым счастием для света мы убоги, | Счастливцы нас бедней, и праведные боги | Им дали чувственность, а чувство дали нам (два десятка д, четыре десятка с при том, что эти звуки-буквы с высокой частотностью входят в более емкие последовательности, внутри которых разыгрываются и другие фонические мотивы).*

«Отъезд» (1820): *Прощай, отчизна непогоды, | Печальная страна, | Где, дочь любимая природы, | Безжизненна весна; Где солнце нехотя сияет, | Где сосен вечный шум, | ... | Где, отлученный от отчизны | ... | Где позабыт молвой гремучей, | Но все душой пиит, | ... | Где я в размолвке с тихим счастьем | Провел мою весну... | Это шестикратно повторяющееся Где в данном случае имеет не только отношение к фонике, но и — что важнее — организует более емкие фрагменты текста, к тому же на более высоком уровне (так называемый *цио-текст*).*

«Коншину» (1821): *Пора покинуть, милый друг | Знамена ветреной Киприды | Предупредить, пока досуг. | Чьих ожидать увещеваний! | Мы лишены старинных прав | На своеолие забав, | На своеолие желаний. | Уж отлетает век младой, | Уж сердце опытнее стало | ... | Нам исступленье не пристало! | Оставим юным шалунам | Слепую жажду сладостраствия; | Не утоения, а счастья | Исскать для сердца должно нам, | ... | Нельзя ль найти любви надежной, | Нельзя ль найти подруги неожиданной, | ... | Где же обреченная судьбою? | На чьей груди я успокою | Свою усталую главу | Или с волнением и тоскою | Ее напрасно я зову?; — И тихий свет ее очей | Не озарит их тьмы глубокой, | Не озарит души моей!..*

«Уныние» (1821): *Рассеивает грусть пиров веселый шум. | Вчера за чашей круговою, | ... в ней утопив мой ум, | Хотел воскреснуть я душою. | Туман полуночный на холмы возлегал | ... | ... и пенистый бокал | С весельем буйным осушали. | ... | Но*

что же? Вне себя я тщетно жить хотел: | Вино и Вакха мы хвалили; | Но я безрадостно с друзьями радость пел: | Восторги их мне чужды были. || Того не приобрести, что сердцем не дано. | Рок злобный к нам ревниво злобен. | Одну печаль свою, уныние одно | Унылый чувствовать способен.

«Элизийские поля» (1821?) — отмеченное начало: Бежит неверное здоровье, | И каждый раз готовлюсь я | Свершить последнее условье... || О Дельвиг! Слезы мне не нужны; | Верь: в закоулкой стороне | Прием радушный будет мне: | Со мною Музы были дружины! | ... и др.

«Родина»: Я возвращуся к вам, поля моих отцов, | ... | Я возвращуся к вам, домашние иконы! | Пускай другие чтут приличия законы; | Пускай другие чтут ревнивый суд невежд | ...; — Пускай летит к шатрам беспрепятственный герой; | Пускай кровавых битв любовник молодой | С волнением учится, | ...

«Водопад» (1821): первая и последняя строфы стихотворения практически совпадают полностью, если не считать, что последнее слово его имеет восклицательный знак, отсутствующий в том же слове в первой строфе. Ср.: Шуми, шуми с крутой вершины, | Не умолкай, поток седой! | Соединяй протяжный вой | С протяжным отзывом долины (при долины! в последней строфе); — Зачем с безумным ожиданьем | К тебе прислушиваюсь я? | Зачем трепещет грудь моя | Каким-то веющим трепетаньем.

«Цветок» (1821) — стихотворение из семи четырехстишных строф, в каждой из которых в четном стихе находится одно и то же слово — цветок, ср.: С восходом солнечным Людмила, | Сорвав себе цветок, | Куда-то шла и говорила: | «Кому отдам цветок?» Существенно, что в каждой строфе это слово повторяется в новом контексте, которых в стихотворении 14 (в данном случае следует предполагать влияние Жуковского).

«Дельвигу» (1821) — очевидное влияние поэтики Жуковского, в частности его «Теона и Эсхина» (в партии Теона). Само название стихотворения уже есть полный или частичный повтор других стихотворений, обращенных к Дельвигу. Ведущая фонетическая тема — á (35 повторов на 28 стихов), при том что следует учитывать и безударное a. В первом стихе два ударных á — Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти. Во втором и четвертом стихах первой строфы стихотворения, написанного белыми стихами, любопытна изощренная квазирифма — В сей жизни блаженство прямое: | Небесные боги не делятся им | С земными детьми Прометея (лишь звук-буква т не находит себе соответствия). Далее (с указанием строфы) — созданье свое; и страшная казнь; Постигнула чад святотатства (2); Наш тягостный жребий: положенный срок | Питаться болезненной жизнью, Любить и лелеять недуг бытия | И смерти отрадной страшиться (3); — Рабы самовластного рока! | Земным ощущеньям насильственно насы | Случайная жизнь покоряет (4); — Но в искре небесной пришли мы жизнь, | Нам памятно небо родное, | В желании счастья мы вечно к нему | Стремимся нейским желаньем!.. (5); Сияет красою над нами | ... | Торжественный свод опирает... (6); и — с нарастанием девятикратное á в заключительной строфе 7: Но нам недоступно! Как

*блочный Тантал | Сгораёт средь влаги прохладной, | Так, сердцем постигнув блаженнейший мир, | Томимся мы жаждою счастья.*

«Разуверение» ((1821)) — одна из наиболее совершенных элегий Баратынского, получившая широкое распространение благодаря романсу Глинки. Наиболее яркий повтор — в стихах 5—6: *Уж я не верю увереньям, | Уж я не верю в любовь | ... с семью у* (всего их в стихотворении 19 при 7 *ы*) и отмеченностью контраста между уверениями и любовью, объединяемыми тем, что и в то и в другое поэт не верит. Основная фоническая доминанта стихотворения — *у*. Стихи, в которых присутствует *p* (прежде и ярче всего в упомянутых строках 5—6, всего же их — 11), связанные с темой разочарования, утраты веры, находятся в контрасте как с начальным стихом (*Не искушай меня без нужды*), так и с несколькими другими стихами, в которых (как бы в противопоставлении с *p*-стихами) заметно усиливается *л*-стихия, ср.: *Слепой тоски моей не множь, | ... | Я сплю; мне сладко усыпленье; | Забудь бывалые мечты; | В душе моей одно волненье, | А не любовь [пробудишь ты].* — Ср. стихотворение Баратынского «Уверение» (1828(?)).

«Песня» ((1821)) — написана в духе народной песни. Состоит из восьми четырехстишных строф. 3-я и 4-я строфы составляют центр повторов. Известно, что песня пользовалась успехом — переписывалась в альбомах и перепечатывалась. Была напечатана под заглавием «Русская песня». В 20—30-е гг. опыты в разработке русской народной песни предпринимались (и в большем количестве) и Дельвигом. Ср. начало «Песни»: *Страшно веет, завывает | Ветр осенний*, своего рода figura etymologica. Но сущение повторов следует далее — *О, куда, куда вас, тучи, | Ветер гонит? | О куда ведет судьбина | Горемыку? || Тошно жить мне: мать родную я покинул! | Тошно жить мне: с милой сердцу | Я расстался!* — *Ветр осенний* открывает «Песню», а *Ветер бурный* завершает стихотворение: никто не слышит слов печальных... | *Их разносит, заглушает | Ветер бурный* (к слышит: заглушает).

«Рим» (1821) — Стихотворение построено на серии повторяющихся вопросов: на 16 стихов их приходится 10. Непрерывная их серия охватывает всю вторую строфиу, присоединяя к себе и начальный стих третьей строфи. Заглавие «Рим» (ср. «перевернутое» *мир*, как и известную формулу «Миру и Риму») своим *и* индуцирует обильный ряд *и*-ударных слов. Всего их 20, не считая самого заглавия. Ср.: *Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель, | Ты был ли, о свободный Рим?* [ср., кстати, повторение начал первых двух стихов — *Ты был ли (гордый V свободный) Рим*, а также два первых стиха второй строфи — *За что утратил ты... и За что, державный Рим...*]. К серии ударных *и* далее — *твой, навеститель, величье, Рим, твой, сильные твой, изменил, Стойши, погибших, грозишь с твоих семи [холмов], возвеститель, призрак-обвинитель, предстойши, твой [сынов].* Практическая нередуцируемость безударного *и* еще более расширяет *и*-сферу в стихотворении «Рим». Стбит напомнить, что в «кримском» тексте русской и мировой литературы все звуки, составляющие соответствующее слово (*Rim, Rota* и т. п.), весьма часто вступают в обыгрывание их. В тексте «Рима» соотношение часто выступающих как фонические доминанты *у* и *и* несколько от-

ходит в сторону, причем ы сильно уступает звуку у (соотв. 16 ы при 7 у). Ср. *Град пышный* — *пышный саркофаг*, откуда град = саркофаг.

Чтобы уплотнить картину, не ставя перед собой задачу исчерпания примеров, уместно ограничиться выбором словесных повторов, которые, впрочем, дают информацию и о собственно фоническом уровне. Ср.: *Но пылкой жизнью юных дней, | Пока дышалось, дышали; | ... | ... Подумай, мы ли | Переменили жизнь свою, | Иль годы нас переменили?* («К...», (1821)); — *Равно исчезнут в бездне лет | И годы шумные побед, | И миг незнамой забавы! | [...] | И философа болтуна, | И длинноусого корнета | И в молдаванке шатуна, | И в рубище анахорета. | Кто был счастливей, был умней. | Будь дружен с Музою мою, | Оставим мудрость мудрецам* («Добрый совет К-ну», (1821)), ср. там же — *Всех смертных ждет судьба одна; | Всех чередом поглотит Лета.*

«Л-ой» (1821?) — Когда неопытен я был, | У красоты самолюбивой, | Мечтатель слишком прихотливый, | Я за любовь любви молил. — В фонике стихотворения подчеркнутую роль играют звуки у (14 раз) и ы (7 раз). Следует учесть имевшую некогда место генетическую связь у и ы, так как русск. ы — из и.-евр. \*ū, тогда как у — из и.-евр. \*oi, из чего для определенного периода в развитии ранне-раславянских диалектов реконструируется сосуществование пары \*й и ū.

«Дель в и гу» ((1822)) — очередное стихотворение, обращенное к своему другу: *Дай руку мне, товарищ добрый мой, | Путем одним пойдем до двери гроба, | И тщетно нам за грозюю бедой | Беду грозней пошлет судьбыны злоба. | ... | Душа моя не ведает боязни, | Души моей ничто не изменит! | ... | Удвоишь ты моих счастливых дней | Неполное без разделенья счастье; | ... | моляся я судьбине, | Чтоб для тебя я стал хотя отныне, | Чем для меня ты стал уже давно.*

«Дели и» ((1822), (1827)) — *Немирного душой на мирном ложе спа | Так убегает усыпенье.*

«Поцелуй» ((1822)) — *Мне снисься ты, мне снится наслажденье! | Обман исчез, нет счастья! и со мной | Одна любовь, одно изнеможенье.*

«Сестре» (1822) — *Как чистая роса живит своей прохладой | Среди нагих степей, — спасительной уладой | Так оживиши мне чувства ты.*

«Падение листьев» ((1822), (1827)), вольный перевод «La chute des feuilles» (Мильвуа) — Желтел печально злак полей, | Брега взрывал источник мутный, | И голосистый соловей | Умолкнул в роще бесприютной. | ... | Прощался так младой певец | ... | Вы улетели сны златые | ... | Покину все, что сердцу мило. | Уж мглою небо обложило. | Уж поздних ветров слышен свист! | Что медлишь? время наступило; | Вались, вались, поблеклый лист! | ... Вались, вались! Мой холм могильный | ... | Последний лист упал со дерева, | Последний час его пробил. | Близ рощи той его могила! | С кручиной тяжкою своей | К ней часто мать приходила... | Не приходила дева к ней!

«Лета» ((1823)) — Я минувшее люблю | И вовек утех забвеньем | Мук забвенья не куплю.

«Безнадежность» ((1823), (1827)) — Но прихотям судьбы я боле не слушуся: | Счастливым отдыходам, на счастье похожим, | Отныне с рубежа на проще гляжу | — И скромно кланяюсь прохожим.

«Н. И. Гнедичу» ((1823)) — Наставлен давнею превратностью судьбины, | Учусь покорствовать судьбине я своей; | ... | Вникая в сердце их, слезису его движенья, | И в сердце разуму отчет пытаюсь дать! | ... | Кто блеском почестей пленен в душе своей; | Кто создан для войны и любит стук мечей; | ... | Там к хорам чистых дев прислушивался я, | Там, очарованный влюбился я в искусство. | ... Но ни души моей восторги одиноки, | Ни любомудрия полезные уроки, | Ни песни мирные, ни легкие мечты, | ... | Не заменяют мне людей для сердца милых (сердце: разум: душа).

«Истина» ((1823)) — О счастии с младенчества тоскуя, | Все счастьем беден я, | ... | Пускай со мной ты сердца жар погубишь, | Пускай, узнав людей, | ... | Я бытия все прелести разрушу, | ... | Я оболью суровым хладом душу, | ... | Я трепетал, словам ее внимая, | ... | Я счастья не найду; | [...] | Один я побреду.

«О своем равной София!» ((1823)) — На ваших ужинах веселых, | Где любят смех и даже шум, | Где не кладут оков тяжелых | Ни на уменье, ни на ум, | Где для холопа иль невежды | ... | Я основал свои надежды | [...] | За то я всеми недоволен, | Что недоволен я собой.

«Признание» ((1823), (1834)) — два двойных анафорических повтора: Но годы долгие в разлуке протекли, | Но в бурях жизненных развлекся я душою. | Уже ты искала неверной тенью в ней; | Уже к тебе взывал я редко, принужденno [с продолжением — И пламень мой, слабея постепенно, | Собою сам погас в душе моей]; — Верь, жалок я один. Душа любви желает, | Но я любить не буду вновь; | Вновь не забудусь я: вполне упоевает | Нас только первая любовь. Далее следует фрагмент текста с фонической темой у: Грущъ я, но и грусть минует, знаменуя | Судьбины полную победу надо мной: | Кто знает? мнением солыся я с толвой; | Подругу без любви, кто знает? изберу я. | На брак обдуманный я руку ей подам | И в храме стану рядом с нею, | Невинной, преданной, быть может лучшим сном, | И назову ее мою [ср. figura etymologica — ...изберу я. На брак...]; | ... | Мы не сердца под брачными венцами, | Мы жребии свои соединим. || Прощай! Мы долго шли дорогою одиною: | Путь новый я избрал, путь новый избери...

«Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» (1823, (1827), (1834)) — тема и жанр этого ответа на уговоры, на послание (если угодно, послания на послание) не располагает к «художественности», к «поэтичности». Поэтому повторов в стихотворении относительно мало (а если они и есть, то это характерно в принципе для каждого текста). Ср.: Враг суетных утех и враг утех позорных [Adj. & Subst. при Subst. & Adj.] | Не уважаешь ты безделок стихотворных [таковыми скромно считает поэт свои стихи] | Не угодит тебе сладчайший из певцов | ... — Далее — в духе «L'Art Poétique» Буало: Того ль я устрашу, кому не страшен суд, | Кто в сердце должного укора не находит, | Кого и Божий гнев в заботу не приводит, | Кого не оскорбит язвительный язык! | Он совесть усыпал, к позору он привык. Речь идет о таком поэте, который ...исключительно

посредственность любя, | Спешит высокое унизить до себя; | ... | **Нет, нет!** разумный муж идет путем иным, | ... (Сходная тема в стихотворении «Богдановичу» (1824)).

«Младые Грации сплели тебе венок» (1823—1824) — Да поздно милая вспомянет. | Да поздно юных снов утратит легкий рой | И скажет в тихий час случайного раздумья: | Не другом красоты, не другом остроумья — | Он другом был меня самой.

«Любовь» ((1824)) — Мы пьем в любви отправу сладкую; | Но все отправу пьем мы в ней, | ... | Огонь любви — огонь живительный.

«Череп» ((1824), (1834)) — Усопший брат! кто сон твой возмутил? | Кто пренебреж святынею могильной! | ... | Когда б тогда, когда б в руках моих | Глава твоя внезапно провещала! | Когда б она... | Живи живой, спокойно тлей мертвей! | [...] | Пусть радости живущим жизнь дарит, | А смерть сама их умереть научит.

«Звезда» (1824) — Взгляни на звезды: много звезд. | В. безмолвии ночном | Горит, блестит кругом луны | На небе голубом. || Взгляни на звезды: между них | Милее всех одна! | За что же? Ранее встает, | Ярчай горит она? || Она на небе чуть видна, | Но с думою глядит, | Но взору шлет ответный взор | И нежностью горит. || ... | И провожаем мы ее | На небо и с небес || Себе звезду избрал ли ты? | В безмолвии ночном | Их много блещет и горит | На небе голубом. || Ту назову своей звездой, | Что с думою глядит, | И взору шлет ответный взор, | И нежностью горит.

«Буря» (1824) — стихотворение, отчасти предвосхищающее некоторые поздние творения Баратынского. — Чья неприязнена сила; | Чья своевольная рука | Сгустила в тучи облака | И на краю небес ненастье зародила? | ... | Не тот ли злобный дух, геенны властелин, | Что по вселенной разлил горе, | Что человека подчинил | Желаньям, немощи, страстям и разрушению | ... | Когда придет желанное мгновенье, | Когда волнам твоим я вверюсь океан? | ... | Меж тем от прихоти судьбыши, | Меж тем от медленной отравы бытия, | В покое раболепном я | Ждать не хочу своей кончины; | ... | Она отраднее гордыне человека! | Как исаждал радостей младых | Я на заре младого века, | Так ныне, океан! Я исажду бурь твоих! | Волнуйся, восставай на каменные граны; | Он веселит меня, твой грозный, дикий рев, | Как зев к давно желанной браны; | Как мощного врага мнё чём-то лестный гнев.

«Леда» ((1824)) — ... | Покровы пали на цветы, | И Леды прелести нагие | Прозрачной влагой приняты. | Легко возлегшая на волны, | Легко скользит по ним она; | Роскошно пёнясь перси полны | Лобзает жадная волна; | ... | Он [лебедь, в которого превратился Зевс] в пёсне радостной и сладкой | Как бы красы ее поет, | Как бы поет живую нёгу! | [...] | Затрепетали крылами он, | И вырывается у Леды | И дёства крик и нёги стон.

«Песня» (1824 или 1825) — Когда взойдет денница золотая, | ... | И славит все существованья сладость; | С душой твоей | Что в пору ту? скажи: живая радость, | Тоскали в ней? || Когда на дев... | ... | Глядишь порой, | Глядишь и пьешь

их томных взоров сладость; | С душой твоей | Что в пору ту? скажи: живая  
радость, | Тоска ли в ней? || ... | Будь новый день любимцу счастья в сладость! |  
Душа моей | Противен он! что прежде было в радость, | То в муку ей. || ... |  
Обманчив он! [scil. взор] знаком с его отравой | Я с давних пор. | Обманчив он! его  
живая сладость Душа моей | Страшна теперь! что прежде было в радость; |  
То в муку ей. — Весьма интересен круг ударных гласных в этом стихотворении и,  
главное, их распределение (иной аспект — их частотность). Бесспорное преиму-  
щество принадлежит á (35 примеров на 32 стиха, причем нечетные стихи имеют  
два ударных, независимо от чего-либо, гласных, а четные — четыре). Оно про-  
является и в том, что в двух стихах из трех наблюдается по три á, ср.: И славит все  
существование сладость; — Обманчив он! его живая сладость, а однажды — че-  
тыре á, ср.: Страдаю я! Из-за дубравы дальний | ... Второе место занимает é (19  
примеров), третья — ó (11 раз, причем однажды три раза в стихе — Глядиши и  
пьешь их томных взоров сладость), четвертое — í (9 раз), пятое — ý (всего три  
раза, что может быть признано отеснением ý на последнее место, более того —  
поражением).

«Как много ты в немного дней...» (конец 1824 — начало 1825) —  
Пять ударных ó и шесть шипящих согласных (4 ю и 2 жс), как и пять ч, существен-  
но определяют фонику стихотворения, особенно если учесть первый стих с двумя  
ударными ó. Ср. далее: Происить, прочувствовать успела! | В мятежном пламени  
страстей | Как страшно ты перегорела! | Раба томительной мечты! | В тоске  
душевной пустоты, | Чегд еще душю хочешь? | Как Магдалина плачешь ты, | И  
как русалка ты хохочешь. Первый стих уже задает тему совмещения противопо-  
ложных понятий — многое в немногом (стих 1) и плачешь в чередова-  
нии с хохочешь (стихи 8—9), иначе говоря, contradictio in adjecto, снимаемое  
учетом разных фаз в душевном состоянии той, кто обозначен как ты, но и как Раба  
томительной мечты, как плачущая Магдалина и хохочущая русалка, как богомол-  
ка (последним словом Баратынский намеревался заменить в издании 1827 г. имя  
Магдалина). Эта внутренняя противоречивость женского образа стихотворения на-  
ходит оправдание в том женском типе, который был явлен Аграфеной Федоровной  
Закревской (урожд. графиня Толстая), в чьи «волшебные сети» попал и сам поэт  
в конце «финляндского» периода своей жизни. — К теме повторов ср. 17-кратное  
появление согласного т, впрочем, характеризующегося высокой частотностью как  
у Баратынского, так и в русском языке в целом.

В стихотворении «Надпись» ((1825)) первые четыре стиха — о человеке,  
взглянуть на которого hic et nunc как бы приглашает поэт, причем с известной на-  
стойчивостью, даже повелительностью, — Взгляни на лик холодный сей, | Взгляни:  
в нем жизни нет; | Но как на нем былых страстей | Еще заметен след! — Вторые  
четыре стиха — о природном феномене, соотносимом с человеком и проясня-  
ющим его, — Так ярый ток оледенев, | Над бездою висит, | Утратив прежний  
грозный рев, | Храня движенья вид. Это сравнение носит усиливающий характер —  
холодный лик человека и оледеневший ярый ток не одно и то же. Едва ли это  
«обобщенный образ»: хочется думать или, по крайней мере, верить подзаголовку,

«А. С. Г.» в копии Н. Л. Баратынской 40-х гг. и атрибуции его. Есть альтернатива, выбор вероятен, но все-таки пока не сделан. Высказывается предположение, что «Надпись» имеет в виду Закревскую, основанием для чего — «близость созданному в стихотворении образу характеристик Закревской в письмах Баратынского». И все-таки предпочтительнее считать, что и Грибоедов, и Закревская в известной степени отражали более или менее общий (независимо от пола) тип, которому присуще наличие двух чередующихся фаз душевного состояния.

*«Стансы» ((1825)) — Мы все блаженствуем равно; | Но все блаженствуем различно.*

Дорога жизни (особенно однообразная) в одноименном стихотворении ((1825)) снижено сопоставляется с «почтовыми» («перекладными») — *Нас быстро годы почтовые | С корчмы довозят до корчмы, | И спами теми путевые | Прогоны жизни платим мы*. Ср. «фоническое» притяжение в стихах 2—3 — *Своих сынов & Снов золотых*.

*«К\*\*\* при посылке тетради стихов» ((1825)) — Стихи холодные дышали | Души холодною тоской.*

*«Л. С. П-ну» ((1826)) — ...а мне, мне предоставь огонь бесплодный | ... | Умом оспоривать сердечные мечты | И чувство прикрывать улыбкою холодной* (ср. лик *холодный сей* в «Надписи»).

*«Эпиграмма» (Что ни болтай...) ((1826)) — Я знаю свет, — держусь Христа и беса, | С ханжой ханжа, с повесою повеса; | ... | Фаддей мой друг, Фаддей, душа моя.*

*«Эпиграмма» (Не трогайте...) ((1826)) — Не трогайте Парнасского пера, | Не трогайте, пригожие вострушки! | ... | Любовь ли вам оставить в забытьи | Для жалких рифм? | Над рифмами смеются; — «К\*\*\*» ((1827)) — Прости: я громко негодую; | Прости, наставник и пророк!*

*«Эпиграмма» (Околченная летунья...) ((1827)) — Эпиграмма хохотунья, | Эпиграмма егоза (одно из остроумных определений эпиграммы).*

*«Она» ((1827)) — Есть что-то в ней, что красоты прекрасней; | ... | Есть что-то в ней над сердцем самовластней | Земной любви и прелести земной || Как сладкое души воспоминанье, | Как милый свет родной звезды твоей; | Какое-то влечет очарованье | К ее ногам и под защиту к ней. || Когда ты с ней, мечты твоей неясной | Неясною владычицей она | ... | присутствием душа твоя полна. || ... | Ты полон весь мечтою необъятной, | Ты полон весь таинственной тоской (к мечте: тоска).*

*«Стансы» (1827) — Степного неба свод желанной; | Степного воздуха, струи, | ... | С тех пор по свету я бродил | И наблюдал людское племя | И наблюдая восскорбил. || ... || Пускай, пускай в глухи смиренной | ... || Пускай, о свете не тоскуя, | ... | Кумиры сердца сберегу я | Одни, одни в любви моей.*

*«Последняя смерть» ((1827)) — Одно из ключевых стихотворений Баратынского, в котором открывается подлинная глубина его поэтического дара, подтвержденная стихами позднего периода его творчества, способностью видеть то, что не открыто другим: Он в полноте понятия своего, | А между тем как волны*

*на него, | Одни других мятежней, своюнравней, | Видения бегут со всех сторон: | Как будто бы своей отчизны давней | Стихийному смятению отдан он; | Но иногда, мечтой воспламененный, | Он видит свет, другим не откровенный.*

Первые два слова стихотворения — жесткий тезис, утверждение — **Есть бытие**, двойная (*есть и быть*) отсылка к бытийственности. Имя бытия назвать трудно, но все-таки, хотя бы приблизительно, можно назвать, чем оно *не* является, — *Ни сбы онб, ни бденье; | Межс них оно, и в человеке им | С безумием граничит разуменье*. Слово *граничит* (ср. *Межс, между*) важное, потому, в частности, что бытие всегда погранично с небытием, и в этом контексте ясно выступает мотив обреченности бытия человека. В самом деле — *Он в полноте понятия своего, | А между тем как волны на него; | ... | Видения бегут со всех сторон, и — о поэте — Стихийному смятению отдан он*. Но это лишь первое испытание. Была и награда — но *предо мной тогда | Раскрылися грядущие года; | События вставали, развивались, | ... | И полными эпохами являлись | От времени до времени очам, | И наконец я видел без покрова | Последнюю судьбу всего живого*. Сначала явлен был дивный сад: *Везде искусство, обилия приметы; | Близ веси весь и подле града град, | Везде дворцы, | театры, водометы, | Везде народ... и т. п.* Одним словом, *Все на земле движением дышало, | Все на земле как будто ликовало. | ... | Вот, мыслил я, прельщеный дивным веком, | Вот разума великолепный пир! | ... | Вот до чего достигло просвещенье! | ... | Что человек? что вновь открыто им? | ... и что же мне предстало? | Что суевь рождало в их отцах, | Что мысли их, что страсти их, бывало, | Влечением всесильным увлекало. | ... | Свершалася живущего судьбина. | Где люди? где? Скрывался в гробах! | ... | И в дикую порфиру древних лет | Державная природа облачилась.*

Стихотворение «Последняя смерть» может считаться межевым. Оно как бы подводит итог раннему периоду в творчестве поэта и вместе с тем открывает новое поэтическое пространство (или намекает на него) в эволюции Баратынского.

Продолжая тему повторов после предыдущего раздела, в котором в центре внимания был фонический уровень, стоит (хотя бы вкратце) обратиться к той же теме, но уже с акцентом на синтаксисе повторов, точнее — на общей организации повторов как в грамматическом, так и в текстовом плане (хотя, впрочем, нередки пересечения и с тем материалом, который ранее уже рассматривался, прежде всего в плане фоники). Предварительно, однако, нужно сказать о самом термине «повтор» применительно к исследуемому материалу. Строго говоря (и это соответствует этимологическим реалиям) слово *повтор* обозначает воспроизведение одного и того же (того же самого) один раз после того, как это же самое впервые было явлено в тексте; в «специализированных» текстах слово-термин *повтор* (*вторить : второй*) употребляется и тогда, когда речь идет о первофеномене, воспроизведном и во второй, третий, четвертый и т. д. раз, в принципе — до бесконечности. Такое употребление этого слова едва ли будет оспорено и тем более отменено [к тому же, этимологические аргументы, между прочим и с точки зрения семантики, или недостоверны или двусмысленны:

если верна связь слов *второй*, *вторить* и с праслав. \**vyltorъ*, сопоставляемым с др.-инд. *vítaras* ‘ведущий далее’, *vitarám* ‘дальше’, авест. *vitara-* ‘дальше’ и т. п., то отпадают возражения против реконструкции значения ‘второй’; должно, однако, предполагать, что реконструкция формы \**vyltorъ* для праславянского вполне реальна, но интерпретироваться она должна скорее иначе; лучшим решением представляется связь с др.-инд. *vi-tar-* ‘проникать’ (себств. и ‘распространяться’), с явными звуковыми коннотациями; при этом префикс *vi-* ‘рас-/раз’, ‘врозь’, ‘прочь’, ‘от’ отсылает к идеи рас пространения, проникания внутрь, а корень *tar-* — к отчетливо звуковым ассоциациям, к громкости, пронзительности, резкости, трещанию-треску и т. п.; из огромного количества примеров здесь можно ограничиться минимумом, ср. прусск. *tārin* ‘голос’, лит. *tařti* ‘говорить’, *taryti*, то же; russk. *торотóрить/таратóрить*, др.-греч. *τοφος* ‘пронзительный’, ‘громкий’; ирл. *torann* ‘гром’ и т. п., см. Рокоту 1070—1072 и др.; в связи со славянским материалом особенно значимыми оказывается арх. *вторье* ‘эхо’, ‘отголосок’, ‘отгул’ (*по голосу и вторье*, ср. также *отголосок с раскатом в тории выстрелам*), см. Даль s.v. *второй*].

Говоря о синтаксисе повторов и об организующей роли их, необходимо обозначить основные типы их, так сказать, текстовой топографии. Следующий далее список примеров неполон и легко мог бы быть увеличен. Но он, собственно, здесь и не обязательен. Кроме того, здесь не учитывается определенная совокупность фактов, когда в начале соседних стихов повторяются слова, которые условно можно назвать «короткими» и которые реализуются незнаменательными словами (частицами, междометиями, союзами), а также некоторыми местоименными и наречными примерами. Среди этой «исключенной» группы повторов в начальной позиции («нулевой» тип) находятся *Не, Ни, Но, На, Вом, Уж, Так, Там, Тут, Как, Когда, Где, Что, За что, Кого, Я, Ты, Он, Мы* и некоторые другие.

Первую группу составляют повторы внутри одного стиха, но в начальной позиции. Ср.: *Шуми, шуми с крутой вершиной* («Водопад»), но этот повтор в объеме всего стиха повторяется дважды — в первом стихе первой строфы и в той же позиции в последней строфе; — *Вались, вались, поблеклый лист* («Падение листвьев»); — *Нет, нет, не отменю священного обета!* («Родина»); — *Живи ясной...* («Череп») и др. (общая формула а-а).

Вторую группу образуют примеры повторов в пределах одного (и только одного) стиха. Ср.: [...награжден] | *За звуки звуками, а заметы мечтами* («Финляндия»); — *Одни ли радости отрадны* («К Коншину»); — [*Кумиры сердца сберегу я*] | *Одни, одни в любви моей* («Стансы»); — [...не скажет ни единый] | *Осине дубом стать, или дубу быть осиной* («Гнедичу...»); — *Близь веси весь и подле града град* («Последняя смерть») и др. (общая формула в двух вариантах — стих: а-а или а-а-в-в).

Третья группа — повторы в соседних стихах (смежность). Ср.: шестикратное начальное *Люблю* в шести стихах подряд; — *Мгновенье мне принадлежит, | Как я принадлежу мгновению* («Финляндия»); — [и праведные боги] | *Им дали чувственность, а чувство дали нам* («К Коншину»);

— [...Подумай, мы ли] | *Пе ре ме ни ли* жи знь свою, | Иль го ды на с *пе ре ме ни ли*? («К...»); — *Кто зна ет?* мнени ем сольюся я с толпой; | *Подругу без любви, кто знает?* изберу я; — *Зато я вами н е до волен,* | *Что н е до волен я собой* («О своенравная София!») — *Душа моя не ведает боязни,* | *Души моей ничто не изменит!* («Дельвигу»); *Когда ты с ней, мечты твоей н е ясной | Н е ясно ю аладычицей она* («Она») и др. — Эта группа из числа наиболее распространенных. Ее общая формула — стих 1: **a-a**, стих 2: **b-b**. Впрочем, следует заметить, что количество таких примеров приходится несколько сократить, ориентируясь на те, в которых повторы абсолютно точны, как в последнем примере.

Четвертая группа — повторы в близких, но не смежных стихах (интервал 3—4 стиха). Ср.: *Есть ч то - то в н ей*, что красоты прекрасней, | ... | *Есть ч то - то в н ей* над сердцем самовластней | ... («Она»); — *Обманчи в он!* знаком с его отравой | ... | *Обманчи в он!*.. («Песня»); — *Вали сь, вали сь,* поблеклый лист! | ... | ... | *Вали сь, вали сь!* мой холм могильный («Падение листьев»); — *То шно жи с ть м и е:* мать родную | *Я покинул!* | *То шно жи с ть м и е:* с милой сердцу | *Я расстался* («Песня»); — *Зачем с безумным ожиданьем | К тебе прислушиваюсь я?* | *Зачем трепещет грудь моя | Каким-то веющим трепетаньем?* («Водопад») и др. Примеров этого рода у Баратынского можно найти в изобилии. Общая формула примеров этой группы: стих **a** | ... | ... | **a**... и т. п.

Пятая группа образуется примерами повторения первого стиха в начале строфы в той же позиции в других строфах. Ср.: *Прошли века. Яснеть очам моим* (стrophe 5) | *Прошли века, и тут моим очам | Открылася ужасная картина* (стrophe 7) [«Последняя смерть»]; — *Взгляни на звезды: много звезд | В безмолвии ночном | ...* (стrophe 1) || *Взгляни на звезды: между них | Милее всех одна!* (стrophe 2); — *Люблю за дружеским столом | ...* (стrophe 1); — *Люблю пиров веселый шум* (стrophe 2; кстати, в ней в стихе 3 — *Люблю забыть для сердца ум*); — *Люблю с красоткой записной | ...* (стrophe 3); — *Когда взойдет денница золотая* (стrophe 1); — | ... | *Когда на дев цветущих и приветных | ... | ... | Глядишь порой,* | ... (стrophe 2) и др. Общая формула повторов этого типа: **a<sub>1</sub>**... | **a<sub>2</sub>**... и т. д. (предполагается начальная позиция в строфе).

Шестая группа повторов является как бы продолжением с умщением и тягой к генерализации по сравнению с предыдущей группой. В этом случае речь идет о повторах, представленных в достаточном количестве (и, естественно, в начальной позиции стиха), чтобы считать эти повторы средством существенной организации всего текста стихотворения. Ср. семикратное воспроизведение *Где в стихотворении «Отъезд» — Прощай отчизна непогоды, | ... | Где, дочь любимая природы, | Где солнце нехотя сияет, | Где сосен вечный шум, | ... | Где, отлученный от отчизны | ... | Где позабыт молвой гремучей, | ... | Где я в размолвке с тихим счастьем | Провел мою весну, | Но где порою житель неба...* — Весьма характерен для этого типа текстов «варирующийся» повтор в стихотворении «Цветок», состоящем из семи четверостишных строф, в каждой из которых четный стих (2-й и 4-й) оканчивается на слово, совпадающее с заглавием, — *цветок*: *Сорвав себе цветок & Кому отдаам цветок || Лелеять свой цветок & душистый мой цветок ||*

*Прекрасен твой цветок! & Отдай мне твой цветок || Прекрасен мой цветок & Другому мой цветок || У девушки цветок & У девушки цветок [полный повтор!] || Он прелестью цветок & Возьми же мой цветок! || На что мне твой цветок? & Уянул твой цветок* (всего 14 раз). Известны и другие примеры этого типа повторов. Последняя группа повторов характерна для творчества Баратынского, хотя обычно нагнетение их не достигает того уровня интенсивности, что в «Отъезде».

В связи с темой этой статьи (и оставляя в стороне конкретные поэтические тексты Баратынского) возникает немало вопросов, причем нередко напрашивающихся. Основной вопрос связан с проблемой закономерности и случайности в распределении букв (resp. «соответствующих», насколько это возможно, звуков) в текстах вообще, в частности поэтических, включая в их число и стихи Баратынского.

В русском алфавите, после исключения буквы ё, не исчерпавшей (по крайней мере в ряде ситуаций) своих полезных «разрешающих» возможностей хотя бы в узко практических рамках, насчитывается 31 буква. Сейчас, когда более или менее надежно известна их частотность, стало возможным подсчитать, какой длины должен быть текст, в котором появляются все буквы русского алфавита. Если исключить буквы с наименьшей частотностью, то насыщенность текста, так сказать, «ходовыми» буквами возрастает и их частотность увеличивается, как и их «активность». Существует достаточное количество отнюдь не поэтических текстов, в которых повторение букв приближается к ситуации поэтических текстов, хотя, конечно, между теми и другими во многих случаях остается ничем не заполняемый разрыв. В текстах «непоэтических», более того, в «узкоспециализированных» текстах (например, математических) частотность букв оказывается производной от частотности «ключевых» слов данной области науки. Для таких специализированных текстов нередко характерны две особенности — высокая частотность таких слов, а соответственно и звуков, в эти слова входящих (во-первых), и предельная удаленность от сферы «поэтического», точнее же — невозможность какой-либо связи с нею (во-вторых). Именно в силу этих обстоятельств одинаковая частотность в принципе никак не меняет суть дела. Впрочем, однако, частотность и характер распределения звуков и суперсегментных элементов в стихах резко отделяет их от упомянутых выше специализированных прозаических текстов, хотя бы тем, что само наличие рифмы уже предполагает совпадение, полное или частичное, концов стиха; ср. также опыты анаграммирования, наличествующие в ряде текстов разных поэтических традиций. Само явление анаграммы обладает высокой информативной ценностью и бросает луч света на некоторые более важные проблемы. Прежде чем вернуться к теме звуковых (но не словесных) повторов, необходимо отметить, что ошибочно мнение, согласно которому анаграммирование и его результат — анаграмма — всегда умышлены, сознательны, как всякая планируемая конструкция. Поэт, чуткий к звуковой стихии, может, не сознавая этого, в самом процессе творчества, поддаваться инерции звукового ряда в предыдущей части стихотворения и «зараженный» ею, воспроизводить фоническую структуру уже «пройденного» им фрагмента. Но чтобы уяснить суть этого

явления у чуткого к «звуковому» поэта, нужен и чуткий же и/или дотошный читатель, умеющий реконструировать из кажущейся случайностью последовательности звуков некий смысл.

И в этом контексте необходимо сказать несколько слов об анаграмме. Более или менее случайная (как бы произвольная) последовательность и/или совокупность звуков может стать анаграммой только тогда, когда это множество звуков **осмыслено** читателем, если он сам (со своей стороны) умеет «вживить» в него **смысл**. Искать анаграмму просто так, сугубо эмпирически, опираясь исключительно на факт наибольшего звукового подобия криптограммы и неких фрагментов предлежащего текста, **бессмысленно**. Этот «бессмысленный» поиск анаграмм означает отдачу на милость случая как такового и сведение анаграммы к простому кунштюку. На самом деле анаграмма обращена к **содержанию**. Она его сумма, итог, резюме, но выражается это содержание не словарно или грамматически институализированными формами, имеющими обязательное значение для всех членов данного языкового коллектива, а как бы **случайно** выбранными точками текста в его буквенно-звуковой трактовке (т. е. вне текстовой упорядоченности обычного типа, предусмотренной как структурой данного языка, так и спецификой соответствующего текста).

Иначе говоря, **вверх** (квинтэссенция) смысла соотносится с **низом** формы, с предельно внешними и случайными ее элементами (так сказать, «*forma formalissima*», которая настолько разведена с содержанием, что сама мысль о ее семантизации кажется малореальной). Но весь смысл и эстетическая ценность анаграммы как раз в том, что она, подобно электрической искре, пробивает эту пустоту между предельно разведенными друг от друга содержанием и формой (и даже не формой в ее целостности, а чисто механическим экспериментом из нее, казалось бы, уже никак не связанным с какими-либо смыслами), позволяет **осмыслить** и те элементы, которые понимаются как лежащие **ниже** границы, откуда начинается сфера содержания. Анаграмма ищет и формирует (индуцирует) смысл там, где он отсутствует и вообще не предусмотрен структурой языка. Именно в силу этих особенностей об анаграмме можно говорить как о категории, апеллирующей к содержанию прежде всего. В свою очередь **содержание** в его особо значимых сгущениях при резком возрастании смыслового напряжения, порождающего новые энергии, может указывать на возможность нахождения анаграмм. С другой стороны, можно сказать, что, когда форма (и соответствующее ей читательское восприятие) обнаруживает признаки перенапряжения, гипертрофии (гиперморфизма), она, подобно изнемогающему от избытка силы былинному богатырю (*силушка по жилочкам поигрывает*) типа Святогора, ищет себе нового применения, той высшей инстанции, во власть (в распоряжение) которой можно было бы отдаваться. Поэтому, имея в виду анаграмму и ряд других ситуаций, относящихся к соотношению пары «звук и смысл», можно было бы вкратце и нарочито подчеркнуть сказанное и так: смысл полагает, что он подчиняет себе звуки и использует их как строительный материал, нередко забывая (или не помня, или вообще не зная), что контрабандой («втихую») звуки в той или иной степени подправляют намере-

ния смысла и, более того, его представления о границах пространства, в котором он присутствует. Одним словом, и анаграмма, и более простые звуковые структуры типа аллитерации, ассоцанса и др., наконец, такие явления, как метр, ритм, пауза, перебой и т. п., находятся в двойном отношении друг к другу, и попытка выяснить, что было раньше — смысл или знак (в данном случае — звук), напоминает «неразрешимую» проблему, что было раньше — яйцо или курица (наука строит свои предположения или, можно сказать, знает ответ, но в сфере художественного творчества любая «объективность» по существу оказывается фикцией и не требует ни доказательств, ни опровержений: на первое место выходит интуиция). В данном случае важнее то, что звук и смысл зависимы друг от друга и ищут встречи: звук — для своего осмыслиения, смысл — для своего воплощения. И проблема не в том, что для чего и что из чего, что причина и что следствие. Дерзать ответить на этот вопрос значит уйти в совсем иное пространство и время, за пределы существования *homo sapiens*, туда, где все слито, смешано, взаимопроникаемо, и именно это состояние оказывается первичной реальностью, где все возможно, потому что все связано, более того, где сам творец (поэт) и его творчество могут быть увидены в двух образах — поэта, творящего свое творение, и творения, творящего самого творца-поэта.

И это состояние — особый род бытия. *Есть бытие*, — писал Баратынский, — но именем каким | Его назвать? Ни сон оно, ни бденье; | *Меж них оно, и в человеке им | С безумием граничит разуменье* («Последняя смерть» (1827)). В этом *Меж них* — главное, потому что именно оно «разрешает» (развязывает) то, что человек связывает воедино, классифицирует и низводит высокое бытие до насущного бытия. Через девять лет, по сути дела, об этом же напишет Тютчев — *Тени сизые смесились, | Цвет поблекнул, звук уснул — | Жизнь, движенье разрешились | В сумрак зыбкий, в дальний гул. | Мотылька полет незримый | Слышен в воздухе ночном... | Час тоски невыразимой!.. | Всё во мне, и я во всём!.. | Чувства — мглой самозабвенья | Переполни через край!.. | Дай вкусить уничтоженья, | С миром дремлющим смешай!*! («Сумерки», март 1836). — В середине ХХ в. та же тема и тот же взгляд — в стихах Пастернака из его романа — *Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье | Нас самих во всех других | Как бы им в даренье* («Свадьба») или — *И оттого двоится | Вся эта ночь в снегу, | И провести границы | Меж нас я не могу* («Свидание»). — В этой череде — и Баратынский, один из первых.

Возвращаясь к теме «повторов» и в общем плане, и в конкретном, связанном с поэтическим творчеством Баратынского, нужно обозначить тот минимальный контекст, внутри которого «повтор» обретает свое место, сопоставляясь с тем, что «повтором» не является, — уклонение от него или выраженное отрицание его. В первом случае игра ведется на тождестве, однообразии, неизменности, во втором — на различии, разнообразии, отрицании. Здесь необходимо сказать, что при определенном ракурсе рассмотрения в «категориальной» паре *тождество — различие* первичным и ключевым является *тождество*, апеллирующее к стабильности (*status quo*), основательности, надежности, в определенных случаях и положительности. «Различие» же при определенном взгляде выглядит

как вторичная категория, как разрушение цельноединства и устойчивости, свойственных тождеству (разумеется, оправдан и другой взгляд, при котором «различие» — необходимое условие диверсификации, порождения нового и его умножения, собственно говоря, всего того, что привело к творению мира в космогонических мифах). Мифологическое (и специально мифопоэтическое) сознание использует обе эти категории, в каждой из которых видит и положительное, и отрицательное. Тождество, апеллирующее к надежности, исходит из того, что важнее устойчивость, то, что уже есть, довольствуясь уже имеющимся. Различие, в отличие от консервативного тождества, не довольствуется имеющимся, хочет лучшего или как минимум нового — «а там посмотрим» — так можно было бы сформулировать его девиз. В «малом» плане тождество и различие противоположны (утверждение *contra* отрицание), в «большом» — они не только соперники, но и сотрудники в строительстве нового мира, новой жизни, нового человека. И у тождества, и у различия свои планы, каждый из которых ценен и преимуществен в свое время и при определенных условиях.

Основным, наиболее полным и надежным источником сведений о тождестве и различии, устойчивости и риске-инициативе является то, что говорит об этом «народная Психея» — фольклор в разных его жанрах и разновидностях иного типа. Достаточно сослаться на русскую фольклорную традицию — мифы, ритуалы, молитвы, сказки, былины, песни, причтания, плачи, говоры и т. п. В них отчетливо видна ориентация на **то** (тождественное, идентичное, сущее) и **не то** (разное, различное, иное, в слабой степени — отсутствие реакции на предполагаемый выбор между крайностями). В связи с рассматриваемой темой **то** важнее не только по ряду принципиальных соображений, но и потому, что именно **то** предполагает (и даже вызывает) повтор, более того, повторы (нередко сериальные), что и об разует тему этой статьи.

*A. B. Пеньковский (Москва)*

**ЗАГАДКИ ПУШКИНСКОГО ТЕКСТА И СЛОВАРЯ:  
«Но наконец она вздохнула / И встала со скамьи своей...»**  
(Евгений Онегин, 3, XLI, 1—2)\*

...имя вещь такая,  
В которой толку вовсе нет:  
Оно лишь назовет предмет,  
Совсем его не объясняя.

*B. A. Жуковский.*  
Послание к П. А. Вяземскому, 1816

Назовите то, что добрые люди видят  
и чувствуют ежедневно, словами, — они  
не поймут вас и никогда не узнают в  
ваших словах близких знакомых...

*A. I. Герцен.*  
Письма об изучении природы, 3,  
1844—1845

**C**лово *вздохнула* в вынесенных в подзаголовок пушкинских строках как будто ничем не привлекает к себе внимание. Читатель, увлекаемый моргучим поэтическим потоком, конечно же, не останавливается на этом родном и вполне понятном слове. Комментаторы [Бродский 1950; Číževsky 1953; Nabokov 1964; Лотман 1983] обходят молчанием и само слово, и его ближайший контекст.

Переводчики пушкинского текста (например, на английский язык) автоматически передают его значение и смысл стандартными эквивалентами — простым «*to sigh*» ‘вздыхать — вздохнуть’: «*But finally she sighed / and from her bench arose; / started to go*» [Nabokov 1990: 173] или аналитическим «*to heave a sigh*» ‘испустить вздох’ (ср.: [Katzner 1984: 321, 163]): «*But at last she heaved a sigh, / And slowly from the bench she rose*» [Emmet 1999: 214]: «*But finally she heaves a sigh, / And from the bench gets up to walk*» [Ledger 2001: 49] — в точном соответствии с толкованием,

\* Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 04-06-80443).

которое предлагает «Словарь языка Пушкина», первой же иллюстрацией отсылающий к тем же строкам третьей главы «Евгения Онегина»: «*Вздохнуть* (47) Испустить вздох. Но наконец она вздохнула...» [СП 1956: I, 267]<sup>1</sup>. То же в общих словарях (с отсылкой к форме несовершенного вида *вздыхать*: «испускать вздохи» [Уш. 1935: I, 279; БАС 1951: 2, 303—304] или «делать вздохи» [Ож 1975: 75; МАС 1985: I, 167; ОШ 1997: 80]. Ср. с явным нарушением пушкинского текста: «*But then, at last she started sighing, / And from her bench began to rise*» [May 1999: 246].

Все здесь как будто всем ясно, понятно и просто, и нет никакого предмета для обсуждения. На самом деле, однако, это лишь видимость ясности, лишь кажущаяся понятность и иллюзия простоты, поскольку при таком толковании пушкинского слова и рядовой читатель, и переводчики, и лексикографы остаются на уровне его стандартного значения. Действительно, сочетание *испустить* (*сделать*) *вздох* значит ‘сделать глубокий вдох и выдох’, что происходит (в отступление от обычного, нормального, естественного дыхания, в особых контекстных условиях) либо произвольно — по предложению врача при прослушивании, при попытке самонаблюдения над собственными легкими, при физкультурных упражнениях и т. п., либо непроизвольно — как отражение и проявление тех или иных внутренних, физических и душевных, состояний, когда физиологический акт выступает в своей вторичной, знаковой функции — в качестве знака — симптома.

Такие знаки могут работать в пределах своей собственной сферы (таковы, например, кашель как симптом простуды и специфически легочных заболеваний, как следствие «першения» в горле и т. п. или и кота как симптомом нарушений пищеварения или медикаментозных отравлений), но могут подниматься на более высокий, ментальный уровень. Так, хрипота или перехват голоса могут быть не только симптомом простуды, но и знаком неконтролируемого волнения и, следовательно, для постороннего наблюдателя, нуждаются в интерпретации и в адекватном истолковании. Ср., например, крыловское объяснение в подобном случае: «Вещуньяна с похвал вскружилась голова, / От радости в зобу дыханье сперло...»

К числу такого рода знаков-симптомов принадлежат и *вздохи*<sup>2</sup>, в частности, по-видимому, и *вздох Татьяны*. И, поскольку Пушкин не объяснил его сокровенного значения и смысла (ср.: «В ту ночь два-три страдальца окружали / Отжившего изгнанника кровать; / Смолк *вздох его*, разгаданный едва ли...» — К. Павлова. «Зовет нас жизнь...», 1846), мы должны задуматься и попытаться понять, (1) что обозначают слова *вздох* и *вздохнуть-вздыхать* в реальной действительности и (2) что стоит за словом *вздохнула* в интересующей нас конкретной романной ситуации. Это тем более требует размышления, что *вздох*, в отличие от *кашля* и *икоты*, *хрипоты* и *перехвата голоса*, **многозначен и многосмыслен**. Как писал поэт, «Воды немного, несколько солей, / Снабженных слабою, животной теплотою, / Зовется издавна и попросту слезою... / Но разве в том определенье ей? // A тихий вздох людской? То — груди содроганье, / Освобожденье углекислоты?! / Определения, мутящие сознанье / И полные обидной пустоты!..» (К. Случевский. Воды немного..., 1899).

Действительно, есть абсолютно неподконтрольные сознанию вздохи во сне<sup>3</sup>, есть невольные, безадресные<sup>4</sup>, но поддающиеся осознанию и контролю вздохи скорби и отчаяния, сокрушения и тоски, грусти и печали<sup>5</sup>, соболезнования, сочувствия и сострадания<sup>6</sup>, вздохи разочарования, обманутых ожиданий и безнадежности<sup>7</sup>, вздохи страха и ужаса<sup>8</sup> и есть вздохи облегчения и избавления от опасности<sup>9</sup>, вздохи радости и восторга<sup>10</sup> и др.<sup>11</sup>. Именно о таких — невольных — вздохах (в противопоставлении *намеренным, искусственным* вздохам!) может быть сказано, что их «уронили» или «потеряли»: «Она взглянула на него в слезах / И вздох душевного страданья уронила» (В. Н. Олин. Страдание, 1828); «Но если бледный вялый цвет ланит / И равнодушный молчаливый вид, / Но если вздох, потерянный в тиши, / Являют грусть глубокую души, — / О, не завидуйте судьбе такой...» (М. Ю. Лермонтов. Джюлио. Вступление, 1830). И именно такие вздохи, поскольку взывающий способен осознавать и контролировать их (ср.: «Увы! ты изменил мне / Нескромный друг Морфей! / Один ты был свидетель / Моих скрытых чувств, / И вздохов одиноких, / И тайных сердца дум...» — Н. И. Гнедич. К Морфею, 1816), могут «сдерживаться» и «удерживаться»: «...задумчивость его час от часу увеличивалась. Когда казалось ему, что за ним никто не примечает, вздохи вырывались из груди его...» (А. Погорельский. Двойник, или Мои вечера в Малороссии, 1, 3, 1825), могут «подавляться»: «...облако как бы осело под горизонт, и вчерашняя звезда появилась в еще более грозном виде. Как бы по сигналу все сняли шапки и перекрестились. Послышиались тяжелые, где подавленные, где громкие вздохи...» (Д. И. Завалишин. Воспоминания, I. M., 2003. С. 15); «Ах, дитя мое, дитя мое! — сказал он мне однажды, подавляя вздох, — я молчу, потому что мне не поверят, что я был богат...» (Я. П. Полонский. Признания Сергея Чалыгина, XVI, 1867) и могут «удушаться»: «...клики веселых пиршеств и стук заздравных ковшей заглушали тихие вздохи горести, задушаемые в груди бедного соседа» (Н. А. Полевой. Клятва при гробе Господнем, 2, VI, 1832). Ср. также пропущенный словарями фетовский «полувздох»: «Еще одно забывчивое слово, / Еще один случайный полувздох — / И тосковать я сердцем стану снова, / И буду я опять у этих ног...» (А. А. Фет. «Еще одно забывчивое слово...», 1884) и «непрошеный» «случайный» вздох у Б. Окуджавы (Путешествие дилетантов, I, 21, 1971—1977). Ср. еще раньше у Баратынского: «В ней говорит / И жар ланит, / И вздох случайной... / О! я знаком / С сим языком / Любви тайной!» («Любви приметы...», 1822).

В обширном репертуаре смыслов, передаваемых вздохами, первое место, конечно, принадлежит *вздохам тоски*<sup>12</sup>, или, как их называют наши словари, *вздохам «горестного чувства»*<sup>13</sup>.

Именно так — как выражение тоски — и поняли в здох Татьяны и, проясняя пушкинский текст, отразили такое понимание в своих переводах Ch. Johnston «But finally she heaved a yearning / sigh, and stood up, began to pace...» [Johnston 1977: 108 — букв. тоскующий вздох] и — в еще более сильном варианте — D. Hofstadter: «At last she curbed her savage yearning, / From bench arose and, with a sigh, / Set off...» [Hofstadter 1999: 51 — укротила свою дикую тоску]. Тот же или близкий смысл как результат ошибочного превращения однократного действия («вздохну-

ла») в многократное (*«she started sighing»* — *«она начала вздыхать в тоске»*) несет, по-видимому, и цитированный выше неудачный перевод В. Мея. И такую, расширяющую пушкинский текст «тосклившую» интерпретацию Татьяниного «вздоха», поскольку она как будто вполне соответствует ситуации Татьяны, ожидающей мучительного от неопределенности объяснения с Онегиным, который вот-вот должен перед ней появиться, можно было бы принять, если бы не два коротких слова, открывающие строку о «вздохе».

Это предшествующий словам о «вздохе» и не привлекающий к себе внимания двучлен *«но наконец»*, которому во всех переводах соответствует англ. *but at last* и который не совмещается с *вздохнуть*, если это последнее понимается в симптоматически-знаковом, и, в частности, в «тоскливом» смысле. Действительно, как было показано в работе [Пеньковский 2000], наречие *наконец* имело для Пушкина, как и для нас сегодня, три основных значения:

1. Значение характеристики определяемого действия-состояния как некоего завершающего этапа более или менее длительного нецеленаправленного, неконтролируемого процесса.

Именно так, чтобы *«промотаться»* *«наконец»*, отец Онегина должен был длительное время проматывать свое (и сына) состояние, что он и делал, *«жывя»* *«долгами»* и *«давая»* *«три бала ежегодно»* (1, III, 1—4).

2. Значение характеристики определяемого действия как желаемого и достигнутого результата другого определенного целенаправленного (контролируемого) действия.

Именно так *«сваха»* должна была *«недели две»* *«ходить»* *«к родне»* няни, чтобы *«наконец благословил»* ее *«отец»* (3, XVIII, 9—11), а Татьяне (или Лариной-старшей) пришлось достаточно долго уговаривать *«кочующего купца»*, чтобы *«он уступил»* ей *«наконец»* *«за три с полтиной»* *«глубокое творенье»* Мартына Задеки (5, XXIII) и т. п.

3. Значение характеристики определяемого действия как последнего, причем особенно показательного и яркого акта в некотором более или менее длинном ряду актов.

Именно так Ларина-мать должна была постепенно изживать формы квазимантического поведения своих молодых лет (*«Бывало, писывала кровью, / Она в альбомы нежных дев, / Звала Полиною Прасковью / И говорила нараспев, / Корсет носила очень узкий, / И русский Н как Н французский / Произносить умела в нос»*), чтобы перейти к обычному для захолустной, смирившейся со своей участью помещицы затрапезу: *«Корсет, альбом, княжну Полину / Она забыла: стала звать / Акулькой прежнюю Селину...»* и опустилась до такой степени, что *«обновила наконец / На вате шлафор и чепец»* (2, XXXIII).

Очевидно, что глагол *вздохнуть*, если видеть в нем не более чем неконтролируемое физиологическое действие, являющееся отражением и проявлением тоскливого состояния души Татьяны, не соответствует ни одному из трех указанных выше типов действий, которые могут быть охарактеризованы как совершившиеся *наконец*<sup>14</sup>.

Не соответствует тák понимаемое *вздохнуть* и целостному смыслу вмещающего его высказывания, открывающегося противительным «но», поскольку в предтексте нет другого действия, которому его можно было бы противопоставить<sup>15</sup>. Зато в этом предтексте есть нечто другое — подробнейшее, со всеми деталями, описание душевного состояния и физических действий Татьяны, с нетерпением и одновременно с тоской ждавшей приезда Онегина (3, XXXVII, 9—14, 3, XXXVIII, 1—2), но со страхом услышавшей «топот» его коня на дороге к усадьбе (3, XXXVIII, 3—4) и в ужасе бросившейся в паническое бегство: «...“Ах!” — и легче тени / Татьяна прыг в другие сени, / С крыльца на двор, и прямо в сад, / Летит, летит; взглянуть назад / Не смеет; мигом обежала / Куртины, мостики, лужок, / Аллею к озеру, лесок, / Кусты сирен переломала, / По цветникам летя к ручью, / И, задыхаясь, на скамью, // Упала...» (3, XXXVIII, 5—14; XXXIX, 1).

Задохнувшись и от долгого стремительного бега и от объявившего ее отчаяния, Татьяна, даже полулежа на скамье, никак не могла восстановить дыхание и — со стиснутым горлом, в котором билось ее трепещущее сердце, — безуспешно пыталась справиться со своим волнением, не слыша песни, которую пели неподалеку крепостные девушки: «Они поют, и с небреженьем / Внимая звонкий голос их, / Ждала Татьяна с нетерпеньем, / Чтоб трепет сердца в ней затих, / Чтобы прошло ланит пыланье. / Но в персях то же трепетанье, / И не проходит жар ланит, / Но ярче, ярче лишь горит...» (3, XL, 1—8).

Пушкину понадобилось еще шесть наполненных консонантными повторами строк и еще одно «трепещет» (в сравнении с «зайчиком»), чтобы дать Татьяне время овладеть собой и отдохнуть... «Но наконец она вздохнула...» = ‘но наконец-то ей удалось вздохнуть’.

В этом широком контексте находят свое непротиворечивое объяснение и противительное «но», и наречие «наконец», раскрывающееся как *наконец*<sup>2</sup><sup>16</sup>, и загадочное «вздохнуть», являющееся предметом наших размышлений.

*Вздохнуть* здесь, в отличие от *вздохнуть* 1 ‘сделать вдох и выдох’ [Уш. 1935: 1, 277] и от обычного и общеупотребительного *вздохнуть* 2 ‘сделать вдох’ с доминирующей фазой выдоха и определенной ментальной подкладкой, должно пониматься, несомненно, как *вздохнуть* 3 в его устаревшем, прямом, чисто физиологическом, значении — ‘преодолеть состояние задыхания’, то есть ‘восстановить дыхание’, ‘отдохнуться’. Иначе говоря, осуществить то, что обозначается фразеологизованными оборотами *перевести дыхание* или *перевести дух*. Ср. показательные толкования словарей: «глубоко вздохнуть, отдохнуться» [Ож. 1975: 458; МАС 1987: III, 51; ОШ 1997: 501 — разрядка моя. — А. П.], ‘делать вдох, свободно вздохнуть’ [БАС 1959: 11, 490 — разрядка моя. — А. П.], а также обычную связку: *задохнуться, запыхаться — перевести дыхание*: «Перевести дух или дыхание (разг.) — (...) вздохнуть свободнее (о запыхавшемся)» [Уш. 1939: III, 103]; «...бегло обозрев все эти произведения, зритель чувствовал, что в голове его делался страшный хаос, в глазах у него рябило, а ноги подгибались от усталости... Наконец, запыхавшись, о блаженство! он достигал

*до последней залы, чтобы перевести дух, и садился на окно...»* (И. И. Панаев. Белая горячка, I, 1840); «Игривый шел скоро; ему беспрестанно казалось, будто за ним кто-то гонится, будто его зовут; он бежал, придумывая, куда бы ему укрыться; наконец, запыхавшись, остановился, поднес руку ко лбу, перевел дух...» (В. И. Даль. Павел Алексеевич Игривый. 1847); «Уф, как задохнулся! Дайте дух перевести, — отвечал он, расстегивая жилет, — проклятая лестница: ступень будет с полтораста...» (В. А. Вонлярлярский. Воспоминание о Захаре Ивановиче, 1851); «[Агафья] несмело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Запыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всяким при переходе в ночное время через брод» (А. П. Чехов. Агафья)<sup>17</sup>. Ср. также устар. *отвести дух* в том же значении: «...через полчаса вдруг шасть к двери названая мать моя, старуха Катерина. Она вошла запыхавшись и едва успела отвести дух, как залилась слезами и начала причитывать по мне, как по покойнике...» (В. И. Даль. Вакх Сидоров Чайкин, V, 1843).

Но восстановление сбитого дыхания, как подтверждают и приведенные выше словарные толкования, начинается не с выдоха (задохнувшемуся просто нечего выдохнуть!), а с вдоха, которому препятствует спазм дыхательных путей, требующий усилий и времени для преодоления. Ср. прямое описание этой ситуации: «Взгляни ж на землю! Вот она — / Как из насильственных объятий / Освобожденная жена, / Борьбы и ужаса печати / Еще с прекрасного чела / Она изгладить не могла. / Коса и локоны развиты, / Глаза в слезах, уста раскрыты, / И тщетно сilitся вздохнуть / Ее истерзанная грудь...» (А. И. Подолинский. Смерть Пери, З, 1834—1836). Или (с иной этиологией): «...Арбузов вдруг вскочил и сел на кровати, охваченный чувством дикого ужаса и нестерпимой физической тоски, которая начиналась от сердца, переставшего биться, наполняла всю грудь; подымалась до горла и сжимала его. Легким не хватало воздуху, что-то изнутри мешало ему войти. Арбузов судорожно раскрывал рот, стараясь вздохнуть, но не умел, не мог этого сделать и задыхался....» (А. И. Куприн. В цирке, III, 1901).

Здесь, таким образом, очевидно доминирует фаза вдоха, и *вздохнуть* 3, строго говоря, значит (помещая в фигурных скобках пресуппозитивную часть значения) ‘{преодолевая затруднение, сделать вдох, чтобы получить возможность} восстановить спокойное дыхание’.

Важно отметить такие характеристики действия, называемого глаголом *вздохнуть* 3, как «глубина» и «свобода», которые выделяются и подчеркиваются именно потому, что к ним приходится пробиваться через препятствие. Этот глубокий и свободный вдох — вдох до глубины груди (ср. *вздохнуть всей/полной грудью*), и именно эта физическая глубина (ср.: «Она долго лежала неподвижно; но открыла наконец глаза, вздохнула глубоко, прерывисто и радостно, как человек, только что спасенный от неминучей смерти...» — И. С. Тургенев: Песнь торжествующей любви, IX, 1879) отличает его от метафорически глубокого тоскливого вдоха — выдоха, который идет из самой глубины души и сердца: «“Ах, Мария!” — воскликнул он; *вздохнул из глубины сердца*, и голова его склонилась ко груди» (В. А. Жуковский. Марьина роща, 1809);

«Возьмет он руку, к сердцу жмет, / Из глубины души вздохнет» (А. С. Грибоедов. Горе от ума, I, 5). Физическая же глубина легко трансформируется в ширину: «И грудь вздыхает радостней и шире, / И вновь кого-то хочется обнять...» (А. А. Фет. «Еще весна...», 1847), а вдох — вдох переходит в естественное дыхание<sup>18</sup>.

Отсюда энергетическая сила такого вдоха — вдоха, подготавливающего новое активное действие и обеспечивающего его осуществление, и, с другой стороны, — в отражении — сжатая повествовательная энергия глагола *вздохнуть* 3 в рассмотренном значении, для которого невозможна позиция абсолютного исхода фразы. Вдох — вдох (не только при физическом задыхании, но также и в ситуациях нравственных затруднений, когда приходится преодолевать себя и, что называется, «собираться с духом»!) позволяет сконцентрироваться для приступа к действию и / или к делу и этим напоминает крестное знамение или его словесные аналоги. Если вдох — выдох как знак «горестного чувства», выражением которого может завершаться определенная жизненная и речевая ситуация, это вдох с коннотацией финальности<sup>19</sup>, — другой тип вздоха, вдох — вдох, требует разрешения и получает его в обязательном действенном и повествовательном продолжении. Одна из типичных ситуаций такого рода — вдох — вдох перед предстоящим физическим или нравственным испытанием, например, а) перед публичным выступлением, перед трудным объяснением или перед тем, как б) войти в дом, где входящего ожидает нечто тревожащее или волнующее, или в) отправиться туда, куда неприятно или опасно отправляться и т. п.:

а) «Наташа подала ему *(Пьеру)* руку и вышла. Княжна Марья, напротив, вместо того чтобы уйти, опустилась в кресло и своим лучистым, глубоким взглядом строго и внимательно посмотрела на Пьера. (...) *Она тяжело и продолжительно вздохнула, как будто приготавливаясь к длинному разговору...*» (Л. Н. Толстой. Война и мир, 4, 4, XVII); «Я скажу знаю. (...) — Вот как! Ну садись ко мне, рассказывай! — Шура взбралась к папе на колени, глубоко вздохнула, еще раз переглянулась с Лизой и, улыбаясь, поправила на себе передник. — Ну, раз были три девочки...» (В. В. Вересаев. Порыв, I, 1889);

б) «Весною 1868 г. часу в первом дня, в Петербурге, взбирался по черной лестнице пятиэтажного дома в Офицерской улице человек лет двадцати семи, небрежно и бедно одетый. Тяжело шлепая стоптанными калошами, медленно покачивая грунзое, неуклюжее тело, человек этот достигнул наконец самого верха лестницы, остановился перед оборванной полураскрытоей дверью и, не позвонив в колокольчик, а только *шумно вздохнув, ввалился в небольшую темную переднюю...*» (И. С. Тургенев. Новь, 1, 1, 1876); «Джуゼppe: это ты?» — «Я, я, синьор!» / «И ты один?» — «Один». — «С которых пор / Тебя не видно, голова лихая? / Войди». *И гость, входя, как бы вздохнул — / То был не вздох: порог переступая, / Он только носом воздух потянул...*» (Я. П. Полонский. Братья, 4, 3, 1866—1870).

в) «И снова я увидел край земной; / Досадой вид его меня наполнил, / И боль душевных ран, на краткий миг / Лишь заглушенная боязнью, с новой силой, / Огнем отчаянья возобновилась; / И (странныо мне), когда увидел ту, / Которую любил так сильно прежде, / Я чувствовал один холодный трепет / Досады горькой — и толпа друзей / Ликующих меня не удержала, / С презрением на кубки я взглянул, / Где грех с вином кипел — воспоминанье / В меня вплилось когтями, — я вздохнул / Так глубоко, как только может мертвый — / И полетел к своей могиле...» (М. Ю. Лермонтов. Ночь, 1, 1830)<sup>20</sup>.

Но именно такова ситуация с восстанавливающим дыхание вдохом Татьяны, за которым следует ее движение вперед, навстречу Онегину: «Но наконец она вздохнула / И встала со скамьи своей; / Пошла...»<sup>21</sup>.

Предложенное толкование глагола *вздохнуть* З, какой бы парадоксальной ни казалась его постулируемая пресуппозитивная часть, полностью соответствует и структуре обозначаемого им реального действия, и семантическому устройству русских глаголов «дыхания», общей особенностью которых является переход от значения двуединого комплекса двунаправленных («в себя» — «из себя») физиологически и логически равноправных актов вдоха — выдоха к сдвинутым, асимметричным, специализированным употреблениям со значениями актуализованного и акцентированного выдоха в одних случаях и актуализованного и акцентированного вдоха в других.

Так, глагол *дышать* имеет три взаимосвязанных семантических варианта, на базе каждого из которых формируются различные сдвинутые вторичные и третичные значения:

- (1) *дышать 1* — «делать вдохи и выдохи, вбирать и испускать воздух легкими» [Уш. 1935, I, 822]; «втягивать и выпускать воздух легкими» (Ож. 1975: 170); «вбирать и выпускать воздух (о человеке и животных)» [БАС 1954: 3, 1205]; «при помощи органов дыхания втягивать в организм воздух (кислород) и удалять углекислый газ» [ОШ 1997: 184]<sup>22</sup>;
- (2) *дышать 2* — ‘делать выдохи’ или, в неполном определении БАС, «выпускать струю воздуха из легких на что-либо» [3, 1205]. Ср.: *дышать на кого — на что*: «Татьяна пред окном стояла, / На стекла хладные дыша, / Задумавшись, моя душа, / Прелестным пальчиком писала / На затуманенном стекле / Заветный вензель О да Е» (А. С. Пушкин. Евгений Онегин, 3, XXVII)<sup>23</sup> и *дышать на кого / кому чем*: «Толпа закрутила ее в своем водовороте и прижала к ней какого-то мужика, дышавшего ей в лицо отвратительной смесью табака и сивухи» (Ф. Крюков. Черное облако, 1916)<sup>24</sup>;
- (3) *дышать 3* — ‘делать вдохи’. Ср.: «дышать воздухом, кислородом» [БАС 1954: 3, 1205]; «Дышал ли запахом цветов — / В нем скорбь о неизвестном...» (В. А. Жуковский. Двенадцать спящих дев, II, 1814—1817). Ср. также *нечем дышать*: «Безвольно слабеют колени. / И кажется, нечем дышать» (А. Ахматова. «Как площади эти обширны...», 1917).

Такова же семантическая структура глагола *дохнуть* и его просторечного варианта *дыхнуть* ‘сделать вдох и выдох’ (НСРЯ 2000: 436), представляющих однократное соответствие к *дышать*: «И робко шла ко мне она — / Голубоокая жена, / И вдруг бросалась мне на шею, / Я счастлив, я дохнуть не смею...» (Н. П. Огарев. Тюрьма, 1857); «В окно я, словно против воли, / Глядела, и от резкой боли / Дрожащая сжималась грудь; / Глядела я, не в силах взгляда / Спустить с безвестного обряда, / Не в силах тронуться, дохнуть...» (К. Павлова. Кадриль, 1859). Эти два глагола также могут употребляться либо с актуализацией выдоха: «Фельдшер подбежал к нему и подал два скальпеля, причем не уберегся и дохнул в его сторону» (А. П. Чехов. Неприятность, 1896), либо с актуализацией вдоха:

«Петру Ивановичу особенно приятно было дохнуть чистым воздухом после запаха ладана, трупа и карболовой кислоты» (Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича); «Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, наслушаться ее голоса...» (А. А. Бестужев. Страшное гаданье, 1831).

В этом свете вполне проясняется и семантическая структура интересующего нас глагола *вздохнуть*, которому также свойственны все три указанных выше типовых значения, — в том числе и значение, связанное с актуализацией вдоха.

В отличие от *вздохнуть 2*, за которым стоит непроизвольное, хотя и поддающееся контролю действие (производство искусственных, рассчитанных на эффект вздохов мы во внимание, разумеется, не принимаем), *вздохнуть 3* обозначает намеренное, волевое контролируемое действие, осуществляемое — в отличие от спокойного беспрепятственно осуществляемого естественного рефлексивного, субъектно-ориентированного *вдыхать* — *вдохнуть 1* (ср.: «Целый день сырой морозный воздух / Я вдыхал в смятеньи и тоске» (О. Мандельштам, Золотой, 1912)<sup>25</sup> — в условиях и с целью преодоления физического (физиологического) препятствия, каким является задыхание.

Противопоставление действий, называемых глаголами *вз-дохнуть 3* и *в-дохнуть*, находит свое внешнее, в сущности иконическое, выражение в противопоставлении входящих в их состав приставок *вз-* и *в-* (ср. отношения в парах *взъехать — въехать, вздеть — вдеть, вздернуть — вдернуть, вспрыгнуть — впрыгнуть, востекать — втекать* и др.).

*Вздохнуть 3* — это, как было сказано, действие, имеющее целью обеспечение свободы дыхания, представляющееся его субъекту необходимым (нередко — жизненно необходимым!) или, во всяком случае, желательным. Ср.: «Она сделала движенье — клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение. Он смотрел на нее, не шевелясь, и видел, что ей нужно было после своего движенья вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыхание» (Л. Н. Толстой. Война и мир, 4, 1, XVI).

Это действие обнаруживает себя контекстными показателями:

а) затрудненности дыхания: «Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась, как и остальные члены...» (И. С. Тургенев. Живые монстры, 1874); «Пусть наши сердца загорятся, забыются, / Взволнуется юная кровь, / И крепко уста поцелуем замкнутся / И вздохом раскроются вновь...» (Н. Ф. Щербина. Дифирамбы, 2, 1852);

б) стремления, хотения, желания, а в случаях, когда это зависит от других, просьбы, мольбы или требования: дать, разрешить, помочь перевести дыхание и добиться желаемого результата: «Дайте мне умереть, говорил он в горести души своей, — дайте мне умереть покойно! (...) Но перестаньте гнать несчастного! Лишите меня дневного света и только в ночное время позовите мне, бедному, вздохнуть на свежем воздухе!» (Н. М. Карамзин. Письма русского путеше-

шественника, январь 1790); «Когда мы в памяти своей / Проходим прежнюю дорогу, / В душе все чувства прежних дней / Вновь оживают понемногу: / И грусть и радость те же в ней, / И знает ту ж она тревогу, / *И так же вновь теснится грудь, / И так же хочется вздохнуть*» (Н. П. Огарев. 2, 9, 1840—1841); «Ей все понятно стало. Яркий свет / Вдруг озарил ее рассудок. Страстно / Они друг друга любят... в этом нет / Теперь уже сомнений... // В Дуняше кровь вся к сердцу прилила, / Потом к лицу. Так хорошо, так больно / Ей стало вдруг... *бедняжка не могла / Вздохнуть, как бы хотелось ей, довольно / Глубоко...*» (И. С. Тургенев. Андрей, 1, LVII, LIX, 1845); «...но столько мук / В ее очах: больной их взгляд проник / Палящим, пожирающим огнем / В его давно истерзанную грудь... / Он тихо встал и два шага потом / К дверям он сделал... *он хотел вздохнуть, / И зарыдал, как женщина...*» (А. Григорьев. Видения, 7, 1846); «Мне снился сон, что сплю я непробудно, / Что умер я и в грэзы погружен / (...) / В груди восторг и сдавленная мука, / Хочу привстать, хоть раз еще вздохнуть / И на волне ликующего звука / Умчася вдаль, во мраке потонуть...» (А. А. Фет. Грэзы, 1859); «Распахни объятья твои, / Густолистый, развесистый лес! / Чтоб в лицо и горячую грудь / Хлынул вздох твой студеной волной, / Чтоб и мне было сладко вздохнуть» (А. А. Фет. «Солнце нижет лучами в отвес...», 1863 — с игрой на столкновении противоположных «направительных» значений слов *вздох* и *вздохнуть!*); «[Сестра] Что сделала вам я! Молю я! / Четыре кинжала мне в грудь! / Молю вас, колени целуя... / Покров мой!.. О дайте вздохнуть!» (Д. П. Ознобишин. Покров, 1839); «Постой... рыданья давят грудь, / Дай мне очнуться и вздохнуть, / Чтоб передать любви той повесть...» (А. Григорьев. Вверх по Волге, 1, 1862) и под. Ср. также: «Тоскливыи сон прервать единством звуком, / Упиться вдруг неведомым, родным, / Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, / Чужое вмиг почувствовать своим...» (А. А. Фет. «Одним толчком согнать ладью живую...», 1887).

*Вздохнуть 3*, в отличие от *вздохнуть 1* и от *вздохнуть 2*, может иметь при себе управляемую форму творительного падежа имени, которая в одних случаях имеет инструментальное (*вздохнуть полной грудью*), а в других — объектное значение. Ср.: «Страшен путь, как взглянуть; / Но свежей дышит грудь, / Сладко небом вздохнуть! / Где скала для крыла / Гор Альпийских орла / Лишь доступна была...» (Д. П. Ознобишин. Ездок, 1833); «...я, кажется, другого блага для себя бы и не пошел, как только хоть бы разок еще вздохнуть воздухом какого-нибудь самого глухого захолустья Малороссии» (Н. Я. Прокопович — Н. В. Гоголю, 26 апреля 1850); «...вместо страсти хочет грудь / Вот этим воздухом вздохнуть...» (А. А. Фет. «Какая ночь! Как воздух чист...», 1857); «...он радовался слухаю освежиться и встряхнуться, вздохнуть чистым воздухом того мира, где не личные заботы и печали томят людей» (В. В. Вересаев. Поветрие, 1897); «На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но, ох как хорошо поглубже вздохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром...» (И. А. Бунин. Сосны, I, 1901); «Иевлев с удовольствием завалил назад отяжелевший верх *(тарантаса)* и свободно вздохнул пахучей сыростью поля...» (И. А. Бунин:

Грамматика любви, 1915). Ср. также усилительный оборот *вздохнуть* (*глубоким, вольным*) *вздохом*: «Она *лошадь повествователя* уже вся потемнела от горячего пота, похудела в ребрах, в пахах, но я знал ее выносливость, то, что *ей достаточно единственного глубокого вздоха, которым она вздохнула, остановясь, чтобы снова пуститься в путь во всю меру своих уже немолодых сил, своей неизменной безответности и любви ко мне*» (И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева, 3, XI); «И с этим *с обдуманной готовностью идти навстречу смертельной опасности* Долгожив *вздохнул вольным вздохом во всю свою молодую грудь* и запел нараспев громким голосом и стал нагребать в корзины из вороха рисовое зерно, *приготовленное на корм слонам...*» (Н. С. Лесков. Брамадата и Радован, 5). Ср. также случай преобразования усилительного оборота *вздохнуть вздохом* путем синонимической замены его глагольного компонента: «Иногда легкая пара, ища отдыха *от танцев* мелькнет подобно теням к неосвещенному корабельному борту, и *тщетно тяжелыми вздохами вбирают в себя прохладу* — сердца их боятся сильнее, волнение чувств становится больше...» (Н. А. Бестужев. Об удовольствиях на море, 1824)<sup>26</sup>.

Отсюда — с естественным сдвигом значения — переход от идеи обретения свободы дыхания к идеи обретения свободы физических действий и душевых движений с акцентом на обретении свободы: «[Стено] Да, / Моя душа — вот это море, Джгулиа, / Когда, забыв мои страданья, я / Вздохну **свободно** после долгой / Борьбы с самим собой...» (И. С. Тургенев. Стено, 1834); «...она захотела подышать свежим воздухом и отворила окно. В противоположном доме окно уж было отворено. У окна стоял вчерашний юноша. Настенька гневно захлопнула ставень и не отворяла его уж несколько дней. Наконец как-то нечаянно взглянула к соседу: у соседнего окна никого не было. Настенька вздохнула **свободно**...» (В. А. Сологуб. Старушка, 1850).

Ср. еще примеры, позволяющие различать а) физические и б) ментальные варианты рассматриваемого значения:

а) «Оставив шум войны, Градив, / Изранен весь, избит, чуть жив, / К полночным с южных стран склонился, / Искал к покою гор, пещер, / У финских спать залег озер, / Тростник подстлав, травой покрылся; / «Теперь уж, — молвил, — я вздохну: / Изойдут язвы толь глубоки. / Бежите, браны прочь жестоки, / Ищите вам мою сестру...» (М. В. Ломоносов. Первые трофеи Его Величества Иоанна III, 1741, поздняя редакция); «Наконец, не имея силы побеждать душевного волнения, Татьяна вышла из хижинки *вздохнуть свободнее на чистом воздухе...*» (В. Измайлов. Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор, 1818); «Один в своих чертогах он; / Свободней грудь его вздыхает / Живее строгое чело / Волненье сердца выражает» (А. С. Пушкин. Бахчисарайский фонтан, 1822); «Груды денег, лежавшие перед ним, казалось ему, будто бы поминутно росли и наконец наполнили свою всю комнату, в которой он, от тесноты, почти не мог перевести дыхания. Не скоро мог он *вздохнуть свободнее* и забыться впервые после очень долгого времени сладкою дремотой» (О. Сомов. Сказки о кладах, 1829); «Прошедши две трети, то есть верст пять в гору, мы были остановлены, и я имел

полный досуг вздохнуть, дать разгул очам своим. Я уже стоял за границей растения, на крутом гольце...» (А. А. Бестужев. Письма из Дагестана, 1831); «Царской фамилии еще не было, — все жужжало и колебалось в роскошном ожидании, в томлении нетерпеливостию. В это время в третьем ряду кресел два человека учтиво пробирались на свои места, платясь извинениями за каждый переход через чужие ноги и поклонами за то, что протирались мимо чужих грудей. Наконец они, положив шляпы на кресла свои, вздохнули и обозрелись свободно» (А. А. Бестужев. Фрегат «Надежда», IX, 1832); «Она, раскинувшись небрежно, / Лежала; только сон мятежный, / Волнуя девственную грудь, / Мешал свободно ей вздохнуть» (М. Ю. Лермонтов. Каллы: Черкесская повесть, 1830—1831); «Когда ноги невинной жертвы коснулись до земли, когда грудь ее вздохнула свободно, то казак повторил прежние свои вопросы» (М. Ю. Лермонтов. Вадим, 1832); «...вечная жизнь в сыром и низком подвале. В запахе кожи и ваксы, впроголодь, без любви, света и радости, давила его организм к земле, и всегда, когда он разгибал спину, ноющую от согнутого положения, ему казалось, что он с болезненным надрывчатым усилием подымает какую-то страшную, неодолимую, не дающую вздохнуть, тяжесть...» (М. П. Арцыбашев. Из подвала, 1904).

б) «Ей надобно удалиться отсюда на несколько времени, окружить себя новыми предметами (...) — Бедная Любаша и сама понимала, что *ей необходимо вздохнуть на свободе или задохнуться в этом чаду...*» (В. И. Даль. Павел Алексеевич Игриный, 1847); «Наконец венчание кончилось. (...) Атуев вздохнул свободнее; он уже несся со своею молодою женой сам-друг в карете...» (Я. П. Полонский. Женитьба Атуева, XI, 1869); «Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру: она “выбросила сыну кусок” (...) кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей. *В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно*» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы, 1876); «Меня задавило одиночество — без семьи, без крова, без надежд, которые убивает мое горе, — куда деться мне? *Меня придавила та тяжелая атмосфера, когда нет возможности глубоко вздохнуть* — и тоска, и бессилие...» (И. А. Бунин — В. В. Пащенко, 27 февраля 1895). Ср. еще в рассказе И. И. Пущина о его встрече с Пушкиным в Михайловском воспоминание о мучительном для обоих разговоре, в котором всплыли «подозрения насчет общества». Пушкин, «успокоившись, продолжал: “Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, — по многим моим глупостям”. Молча я крепко расцеповал его; мы обнялись и пошли ходить: *обоим нужно было вздохнуть*» (Пушкин в воспоминаниях современников. СПб., 1998. Т. I. С. 94)<sup>27</sup>.

Отсюда также идея облегчения или легкости: «— Велик бог милостью, ваше высокоблагородие! Он утешил вас за долгое терпение! — проговорил капрал с облегчающим вздохом, которым он как будто перевел дыхание после продолжительного, тяжкого труда...» (О. Сомов. Сказки о кладах, 1830); «Но посмотрим, что делает Любаша, опомнившись после обморока. (...) Открыв глаза и облегчив свою грудь несколькими глубокими вздохами, она долго смотрела как спросонья...»

(В. И. Даль. Павел Алексеевич Игриный, 1847); *«Старик, которому после долгого и трудного пути удалось наконец устроиться на ночлег»* «лег, покрылся своей ветошью, да и уснул с одного вздоха от усталости...» (Н. С. Лесков. Маланья — голова баранья, 1888). В этой связи можно было бы вспомнить знаменитое «легкое дыхание» героини одноименного рассказа И. А. Бунина: «И вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы...» (И. А. Бунин. Легкое дыхание, 1916).

Дальнейшее семантическое развитие окончательно преобразует восходящую к идею «свободы дыхания» идею обретения физической свободы и душевного успокоения в упрощенную и огрубленную идею физического отдохна: *вздохнуть* 3 получает значение, которое наши словари, квалифицируя его (все — кроме БАС) как «разговорное», толкуют как «Вздохнуть. 2. Передохнуть, отдохнуть» [Уш. 1935: I. 277; БАС 1951: 2, 304; МАС 1981: 1. 166; Ож. 1978: 74; ОШ 1992: 78; НСРЯ 2000: I, 171]. То же в «Словаре русского языка XVIII века»: «3. Передохнуть, отдохнуть». «(...) только б ему *оленю* давали *через 20 верст* *немалое число* *вздыхать*, *поесть* снегу и *выспаться*» (Л., 1987. Вып. 3. С. 124).<sup>28</sup>

Это толкование словари обычно подкрепляют таким гиперболически говорящим о предельной занятости и потому — от противного — подсказывающим мысль об отдохне фразеологизмом, как *вздохнуть (дохнуть / дыхнуть)* *некогда* (*невозможно / нет времени*). Ср. в «Словаре русского языка XVIII века»: «Я не сплю и не ем; когда служишь публике, то некогда и вздохнуть» (С. 124). Ср. также: «— Городишко осточертел по самое горло, делать нечего. — Это тебе-то делать нечего? А сам *жаловался*, что *вздохнуть некогда...*» (М. П. Арцыбашев. Санин, II, 1907); «...я завален глупейшей работой — и *решительно дохнуть свободно не могу...*» (И. С. Тургенев — Е. Е. Ламберт, 2 мая 1860); «Кроме головной боли, мне *дыхнуть сегодня не было времени...*» (Н. А. Полевой — С. Д. Полторацкому, 24 ноября 1828)<sup>28</sup>.

Та же линия семантического развития обнаруживается и в истории толкующих *вздохнуть* 3 1) глагола *передохнуть* (*передыхать*) и 2) фразеологизованных оборотов *перевести* (*переводить*) *дыхание* (*дух*), *не переводя духа* (*духу, дыхания*), которые на базе исходного «дыхательного» сформировали вторичное переносное «отдыхательное» значение. Ср., например, в БАС:

1) *Передыхать.* 1. Делать глубокий вдох и выдох при затрудненном дыхании; переводить дух. Она внезапно выпрямилась, подняла голову кверху и глубоко передохнула. Купр. Поединок. Говорит, а сам задыхается, слово скажет, передохнет и опять. Сераф. Машинист, *отсюда также фразеологизованные не передохнуть, не передохнешь* 2. Делать короткий перерыв для отдыха во время каких-либо движений, работы и т. п. — Эй, Параша, будет тебе, передохни. Обедать пора!.. — Ну-у... — недовольно ответила Параша и принялась косить еще в большим азартом. Мам.-Сиб. Лес. Он то пускался бежать, то, задохнувшись, переходил на шаг.

Передохнув, опять бежал, тяжело дыша и обливаясь потом. Б. Полев. Горячий цех. Валентина поднялась на холм и присела передохнуть на кучу валежника. Николаева. Жатва [9, 592]<sup>29</sup>.

(2) *Переводить (перевести) дух (дыхание)*. а) Делать вздох, свободно вздохнуть. Тише, детушки,тише! — говорил, запыхавшись, один седой старик, которого двое взрослых винчат вели под руку: — дайте дух перевесть! Загоск. Юр. Милославский. (...) Ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решилась этого сделать и осторожно переводила дыхание. Л. Толст. Война и мир. б) *Перен*. Делать краткий перерыв в чем-либо, отдых, перешыкну. Цепи остановились среди изрубленного польского батальона перевести дыхание. Вс. Иван. Пархоменко...» [9, 490]<sup>30</sup>.

Есть, по-видимому, все основания утверждать, что «отдыхательная» семантика глагола *вздохнуть* обнаруживает действие механизма регулярной многозначности, который объясняет также и «дыхательный» генезис значений возглавляющих эту группу глаголов *отдыхать* — *отдохнуть*, проделавших весь путь от ‘*отдышаться*’ = ‘*вздохнуть 3*’ (*перевести дух, дыхание*) → ‘ *успокоиться*’ = ‘*восстановить душевые силы*’ (*отдохнуть душой*) → ‘*восстановить физические силы*’ = ‘*отдохнуть телом*’ (*отдохнуть*)<sup>31</sup>.

Отмечаемое словарями значение *вздохнуть 2* ‘немного отдохнуть, передохнуть’, иллюстрируемое такими примерами, как «Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галлереи *sic!*, чтобы *вздохнуть* под ее тенью» (Лермонтов) и «Поступил я в гостиницу и *немного вздохнул*. Обязанность легкая — сиди и пиши отъезжающим счета» (Куприн), не связано с ситуациями физиологического «задыхания» и, следовательно, не тождественно пушкинскому *вздохнуть* ‘*отдышаться*’.

Замечу, что в пушкинскую эпоху — как наследие языка XVIII в. — это значение глагола *вздохнуть* ‘*отдышаться*’ обычно передавалось не имеющим видовой пары однокоренным *отдохнуть*: (...) Потом в него *в голубя* мальчишка — / Знать, голубиный был и в том еще умишка — / Для шутки камешек лукнул / *И так его зашиб, что чуть он отдохнул...* (И. И. Дмитриев. Два голубя, 1795); ...Схвативши / Шляпу, стремглав пустилась к гостинице Эми. Бледнее / Смерти в двери вбежала она и долго промолвить / Слова не в силах была; отдохнув, наконец рассказала / То, что ей в замке привиделось... (В. А. Жуковский. Две были и еще одна, 1831); — Друг мой, успокойся! Отдохни! — говорила мать рыдающей дочери *(потерявшей жениха)* (Н. В. Станкевич. Несколько мгновений из жизни графа Т\*\*\*, 1833); Мария вышла, но она была в таком положении, что *(после чудовищного предложения Мазепы отравить любимого ею человека)* должна была *отдохнуть* и успокоиться с полчаса, в саду, прежде нежели осмелилась показаться в люди: (...) Она была бледна и расстроена (Ф. В. Булгарин. Мазепа, XIII, 1833—1834); ...Мазепа улыбнулся и замолчал *(после пламенной речи)*. Отдохнув несколько и собравшись с мыслями, он сказал... (Ф. В. Булгарин. Мазепа, XVII, 1833—1834); Эйзенберг пробежал мимо дома и выбежал на дорогу. Вдали ехала телега. Он догнал крестьянина, который сидел в ней, и уговорился с ним, чтобы он довез его до

города (...) Крестьянин поглядел на него с участием, помог ему усесться и погнал лошадь. Вальтер *отдохнул немного*; он закрыл глаза, взял себя за голову и лег на спину, стараясь заснуть, но не мог... (К. С. Аксаков. Вальтер Эйзенберг, 1836); Зоя выбегала весь сад, перелетала с места на место (...), а Юрий догонял ее (...) задыхаясь от усталости, он шел уже, отирая пот с лица. Наконец, Зоя как будто сжалась над ним, села: — *Вы очень устали, вы не привыкли скоро ходить... отдохните!* — сказала она ему (А. Ф. Вельтман. Сердце и думка; 3, VI, 1838); ...как-то раз, встретив на улице девушку, слегка похожую на нее, *пustился бежать без оглядки и отдохнул* только в кондитерской, за пятый слоеным пирожком... (И. С. Тургенев. Андрей Колосов, 1844); [Ракитин] ...Вы иногда так глубоко вздыхаете... вот как усталый, очень усталый человек вздыхает, которому *никак не удается отдохнуть*... (И. С. Тургенев. Месяц в деревне, 2, 1850); На другой день (после не состоявшейся дуэли) Владимир Сергеич уехал очень рано к себе в Сасово. Целое утро провел он в волнении, чуть было не принял приезжего купца за секунданта и *отдохнул* только тогда, когда лакей принес ему письмо Стельчинского... (И. С. Тургенев. Затишье, 1854); ...Параша скоро воротилась и сказала, что *дедушка начал было томиться, но опять отдохнул*... (С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова внука, 1858); ...Вдруг фея выскоцила, крикнула: «Кто догонит меня?» — и полетела вперед. Мне удалось броситься за нею первым; аллея была не прямая, а с поворотами (...). В тот момент, когда я уже был близко к фее, она мелькнула вон из аллеи в сторону; я за нею, и мы очутились у пруда, около которого находилась деревянная скамья, окруженная большими деревьями (...). *Запыхавшись*, фея села на скамью и сказала: «*Отдохните немного*»... (В. А. Панаев. Воспоминания, 1883) и т. п.<sup>32</sup>.

Особо должно быть отмечено использование такого *отдохнуть — отдыхать* в описаниях ситуаций, связанных с «задыханием» при долгой напряженной речи, судорожным смехом и т. п. Ср.: — Кто столько мог тебя, мой друг, развеселить? *От смеха ты почти не можешь говорить...* (...) / — Ах, *дай мне отдохнуть*, ты ничего не знаешь! (Д. В. Давыдов. Сон, 1803); *Несколько раз остановился и отдыхал по несколько мгновений Юрий*, произнося свою длинную речь... (Н. А. Полевой. Клятва при гробе Господнем, 3, IV, 1832); Степан Петрович *упал*, наконец, на диван в судорогах истерического смеха. (...) Наконец Степан Петрович умолк, приподнялся, *отдохнул* и начал ходить по комнате... (И. С. Тургенев. Два приятеля, 1853) и т. п.

Как ни странно, даже наши «большие» словари (БАС и МАС), вопреки их принципиальной «ближнедиахронической» ориентации, не фиксируют это значение *отдохнуть*, несмотря на чрезвычайно высокую частотность и безусловную авторитетность таких его словоупотреблений<sup>33</sup>. Они знают лишь современное «Восстанавливать силы (после работы, утомления) изменением или прекращением деятельности, пребыванием в состоянии бездействия, покоя» [БАС 1959: 8, 1359; НСРЯ 2000: I, 1169], «Провести некоторое время в отдыхе, восстановить свои силы отдыхом» [МАС 1986 II, 676] и т. п. То же — в «Словаре языка Пушкина»: «Восстановить силы (после утомления), передохнуть; некоторое время побывать без занятий, утомительного дела, без чего-н. обременительного» [СП 1959: III, 203].

Под это значение подводится здесь и «*Отдохнув от злой погони, / Чуя родину свою, / Пытят уже донские кони / Арпачайскую струю*» (Дон, 1829), хотя описываемая в этом тексте ситуация делает предпочтительным другое прочтение — с *отдохнуть* 2 ('отдышавшись'). Ср. близкое с *вздохнуть*: «*Перевязав последних (раненых), я дал вздохнуть лошадям и, отправя пехоту в Ермаки, выступил к Лосмину...*» (Д. В. Давыдов, 1812 год); «*Страшно было видеть, как кучер поднял всю четверню бурых на дыбы, и они ринулись. По невольному движению кучер Гаврилы Михайловича вскочил и пустил за коляскою своих вздохнувших (после погони) лошадей*» (Н. В. Соханская. Из провинциальной галереи портретов, 1859).

В этих глаголах мы не узнаем теперь ни их первичных прямых физиологических значений 'вздохнуть-вдохнуть' и 'отдышаться', 'перевести дыхание' (а потому не понимаем и того, что стоит за «вздохом» Татьяны в «конегинском» тексте!), ни их вторичных «высоких» значений, как в лермонтовском «Подожди немножко — *отдохнешь* и ты», и ошибочно «понижаем» их.

Тем более закрыты от нас такие — нередкие в поэтическом языке пушкинской эпохи — словоупотребления глагола *вздохнуть*, которые могут быть адекватно поняты лишь при учете типичного для этого языка феномена лабильной, текучей семантики поэтического слова, — слова, способного совмещать в каждом данном употреблении весь спектр или часть спектра значений, которыми оно обладает. Ср., например, у Батюшкова:

- (1) «*Но солнце на лоно Фетиды / Склонялось, и новый готовился бой. / Очистите поле, возницы! / Спешите! Залейте студеной струей / Пылающи оси и спицы; / Коней отрешите от тягостных уз / И в стойлы прохладны ведите; / Вы, пылью и потом покрыты бойцы, / При пламени светлом вздохните...*» (Гезиод и Омир — соперники, 1816—1817);
- (2) «*Пускай и в сединах, но с бодрою душой, / Беспечен, как дитя всегда беспечных граций, / Он некогда придет вздохнуть в сени густой / Своих черемух и акаций*» (Беседка муз, 1817);
- (3) «*Помедлите, венки! Еще не увидайте! Но если явится, — пролейте на нее / Все благовоние свое / И локоны ее слезами напитайте. / Пусть остановится в раздумье и вздохнет. / А вы, цветы, благоухайте / И милой локоны слезами напитайте!..*» (Из греческой антологии, 2, 1817—1818).

Если в (1) *вздохнуть* в императиве призывает уставших бойцов расслабиться в промежутке между двумя боями, отдошаться и передохнуть, то в (2) за выдвинутым на передний план значением 'отдохнуть' мерцает индуцируемая указанием на «густую сень» «черемух и акаций» мысль об аромате этих растений и о поглощающем их *вздохе* — *вдохе*. В (3) эти два значения осложняются еще и третьим, связанным с возможностью воспринимать *вздохнет* в контексте «раздумья» и «слез» как глагол «горестного чувства».

В этой связи естественно было бы задаться вопросом о возможности распространения такого понимания и на обсуждаемый «вздох» Татьяны. Но ответить на него, вследствие акцентированной ситуации «задыхания», пришлось бы отрицательно: «*вздохнуть*» здесь характеризуется целостной, полной и чистой семанти-

кой «восстановления дыхания» в отличие от другого *вздохнуть* в той же 3-й главе «Евгения Онегина» с значением физического действия как выразителя сложного комплекса чувств и переживаний Татьяны: «Татьяна *то вздохнет, то охнет;* / Письмо дрожит в ее руке; / Облатка розовая сохнет / На воспаленном языке» (3, XII, 1—4)<sup>34</sup>.

\* \* \*

В заключение — в качестве приложения — два небольших размышления о *вздохе*.

### 1.

Вздох как единичный акт естественного дыхания, представляющий единство двух действий — вдоха и выдоха, осуществляется в условиях вялой работы дыхательного аппарата действием так называемых «эластических сил» при расслабленных голосовых связках. Такой вздох беззвучен или, точнее говоря, слабозвучен, поскольку состоит только из шумов, воспринимаемых невооруженным слухом лишь при переходе через некоторый порог шумности при затрудненном — «тяжелом» — дыхании в случае тех или иных заболеваний, при одышке, воспалении легких и т. п., либо в условиях тяжелой физической работы, при неудобном положении во сне и т. п. Ср.: «Здоровый молодой парень, прислонив голову в угол передней, спал, сидя на подоконнике; рот его был полуоткрыт, и по толстым губам, несмотря на звучное дыхание, которое, как ветер, вырывалось между них, прогуливалось общество мух...» (М. В. Авдеев. Подводный камень, 1, 3, 1860). Поэтому принятое в наших словарях введение в толкования *вздоха* определений «усиленное» («усиленное вдыхание и выдыхание воздуха» [БАС 1951: 2, 304]) и «протяжное» («Усиленное протяжное вдыхание и выдыхание воздуха» — [Уш 1935: I, 277]) следует признать ошибочным, равно как и отождествление двух разных вздохов — *вздоха* как одного из бесчисленных актов в процессе естественного дыхания (*вздох 1*)<sup>35</sup> и *вздоха* как знака-симптома (*вздох 2*).

*Вздох 2* осуществляется с включением в работу еще и межреберных мышц, а по мере нарастания напряжения — и брюшного пресса, чем обеспечивается большая интенсивность шумов при сохранении глухости.

Другой физиологический вариант того же вздоха образуется при напряженных голосовых связках и, кроме шумов, включает еще и *голос*<sup>36</sup>. Отсюда — учитывая возможные различия в степени длительности и интенсивности обеих фаз вздоха (фазы вдоха и фазы выдоха), а также различия, связанные с участием-непартиципацией во вздохе работы голосовых связок на фазе выдоха), — различение и противопоставление вздохов: а) *коротких и долгих* или *продолжительных и протяжных*, б) *легких, слабых и тяжелых, тяжких или глубоких*: «Вздохнула тяжко грудь, уста затрепетали...» (А. И. Подолинский. Смерть Пери, 8, 1834—1836); «Николай поднялся, прощаясь. (...) — Прощайте, княжна, — сказал он. Она опомнилась, вспыхнула и тяжело вздохнула. — Ах, виновата, — сказала она, как

бы проснувшись. — Вы уже едете, граф; ну, прощайте...» (Л. Н. Толстой. Война и мир. Эпилог, 1, VI). Ср. также: «Евграф Павлыч выходил в свой кабинет, где его уже ожидал графин с водкой, — нужно было поправиться, и барин крякал и вздыхал, точно вез тяжелый воз» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Из уральской старины, III); «Вы не измучены душевною грозой, / Вам не узнать, что в мире есть несчастный, / Который жизнь отдаст за мимолетный вздох...» (А. Блок. «Душа моя тиха...», 1898).

Большая интенсивность фазы вдоха, когда вздох заставляет грудь вздыхающего подниматься («Трудным вздохом подымая / Человеческую грудь, / Разом Пери молодая / Хочет крылья распахнуть...») — А. И. Подолинский. Смерть Пери, 1, 1834—1836), делает вдох видимым, более или менее заметным постороннему наблюдателю. Ср. «Она сидела, как статуя Агриппины; голова упиралась мраморным подбородком в нежную грудь, и эту грудь подымали редкие, но глубокие тяжкие вздохи...» (Н. В. Кукольник. Психея, VII, 1840); «Останься здесь. Побудь пока! / Я ложем поделюсь с тобою... / Поникнув робко головою, / Не смея и боясь взглянуть, / Она присела; вся пылает, / И вздох невольный воздымает / Ее девическую грудь...» (Д. П. Ознобишин. Виденье, 1844); «...То во тьме / Мелькает образ девушки, давно / Мной позабытой... Опустив глаза / И наклонив печальную головку, / Она проходит мимо... слабый вздох / Едва заметно грудь приподнимает...» (И. С. Тургенев. «Один, опять один...», 1844); «...я взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляюще глядя ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза...» (И. А. Бунин. Ворон, 1944). То же в отрицании: «Печальный бард задумчиво сидел. / Его ланит не орошили слезы, / И персей вздох не волновал...» (А. А. Шишков. Бард на поле битвы, 1828). Ср. «обрыв» вдоха на вдохе в случае «последнего вздоха»: «...Изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскaledенного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу...» (А. А. Бестужев. Аммалат-бек, II, 1831); «О, какой важный и серьезный стал Митрофан! Голова маленькая, гордая и спокойно-печальная, закрытые глаза глубоко ввалились, большой нос обрезался; большая грудь, поднятая последним вздохом, точно закаменела, а ниже ее, в глубокой впадине живота, лежат большие восковые руки...» (И. А. Бунин. Сосны, II, 1901). Ср. также примеры, в которых описание «видимого» проявления вздоха (например, подъема груди, плеч, движение одежды и др.) заменяет указание на сам вздох: «Как будто сердце ей твердило: “Погибло счастье твое!” / Насильно слов уста искали, / Грудь поднялась — и как ручей, / Из голубых ее очей, / Сверкая, слезы побежали!..» (К. А. Бахтурин. Насильный брак, 1836); «Ах, посмотри сюда, кузина. / Вот этот!» «Где? Майор?» — «О, нет! / Как он хорош, а конь — картина, / Да жаль, он, кажется, корнет... / Как ловко, смело избочился... / Поверишь ли, он мне приснился... / Я после не могла уснуть...» / И тут девическая грудь / Косынку тихо поднимает...» (М. Ю. Лермонтов. Тамбовская казначейша, VI, 1836); «— Поверите ли? Мне жаль жизни по привычке к ней. Здесь останется у меня много друзей, — прибавила она с улыбкою, между тем как слеза трепетала на реснице ее, — вы,

небеса, липы, вечерняя заря... — *〈...〉 Батист сильно поднимался на груди ее»* (М. С. Жукова. Вечера на Карповке, 1, 1837). Ср. также: «Сначала голос Ольги был тверд и выразителен, но когда речь коснулась до братской привязанности, он сталтише и нежнее, дыхание прерывалось, замирало; *тоска высоко поднимала грудь...*» (А. А. Бестужев. Испытание, VIII, 1830).

Между тем вдох — это акустический сигнал, и делает его таковым, прежде всего, интенсивность выдоха. Именно выдох (особенно при его озвученности) позволяет нам услышать или подслушать вдох (ср. *шумно, громко — тихо вздохнуть-вздыхать, шумный, громкий — тихий вдох*, а также «Но весело, должно быть, господа, / Разгар любви следить в душе прекрасной, / Подслушать вдох, задумчивую речь, / Подметить взгляд доверчивый и ясный, / Былое сбросить все, как ношу с плеч...» — И. С. Тургенев. Параша, XLI, 1843).

При большой звучности и силе вдох может долетать и доноситься до слушателя издалека; отсюда слышимость вдоха как мера расстояния: «*До нас твой вдох не долетает...*» (А. А. Фет. И. С. Тургеневу, 1865 — Первая редакция). Вдох способен также колебать легкие предметы: «*Все вечность умчала в свой быстрый поток, / И след ее умер для света! / Напомнит лишь разве, наверно, листок, / Дрожащий от вдохов Поэта!*...» (Д. П. Ознобишин. «Я понял! Не бьется лишь сердце в одной...», 1847).

Соответственно, если вздыхающий контролирует свое поведение на людях, он может стараться сделать вдох не слышным — «немым», вдохом «про себя» (в противопоставлении обычному вдоху «вслух») (Б. Пастернак. Спекторский, 5, 1925): «*И легкий трепет наших рук, / И нежной речи слабый звук, / Ее доверчивый покой, / И долгий взгляд, и вдох немой — / Все говорит мне: ты любим...*» (И. С. Тургенев. Разговор, 1844); «*Почти всегда приходил он к чаю. Посидит подле круглого стола, выпьет две чашки китайского нектара, разливающегося Зоей (...)* посмотрит на голову Зои Романовны, потом на ручки и на ножки, *повздыхает про себя...* Чай уберут, Зоя Романовна уйдет в свою комнату, а Порфирий раскланяется и уйдет домой...» (А. Ф. Вельтман. Сердце и думка, 3, II, 1838). Вдох, как было сказано выше, можно также удерживать: «*На, поделись с бедной братией и помолитесь за меня!* — промолвил Мельский, схватя свой бумажник и вынув из него сторублевую ассигнацию (... — Поздно! — отвечал Василь, как бы удерживая вдох...» (О. Сомов. Юродивый, 1827) или подавлять: «*Что, что с тобою друг бесценный?* — / Вскричал Арсений. Слух его / Внял только вдох полустиранный...» (Е. Боратынский. Бал, 1825—1826); «*Пока спокойною стопою / Иду, и мыслю, и пою, / Смеюсь над жалкою толпою / И вдохов ей не отдаю...*» (А. Блок. «*Пока спокойною стопою...*», 1899); «*Нет, хоть в конце тревожного скитанья / Найду пути, и не вздохну о дне! / Не омрачить заветного свиданья / Тому, кто здесь вздыхает обо мне*» (А. Блок. «*Не жаль мне дней...*», 1901).

Но именно потому, что вздохи подконтрольны сознанию, вздыхающий может вздыхать на мэрено, рассчитывая на определенного слушателя, с заранее продуманными целью и эффектом. Отсюда — светская «наука вдохов» как составная часть (наряду с особыми взглядами, жестами, позами) более широкой науки свет-

ского обольщения: «Я не поведал вам, читатель, / Что казначей мой был женат. Благословил его создатель, / Послав ему в супруге клад. / Ее ценил он тысяч во сто, / Хотя держал довольно просто / И не выписывал чепцов / Ей из столичных городов. / Предав ей таинства науки, / Как бросить вздох иль томный взгляд, / Чтоб легче влюбчивый понтер / Не разглядел опасной штуки...» (М. Ю. Лермонтов. Тамбовская казначайша, X, 1836).

С доминирующей фазой *вздоха* семантически согласуются такие предикаты *вздоха*, как *вылетать*: «Взор Эльвирин, встречаясь с моим, опускался к земле или обращался на небо. Два вздоха вылетали, соединялись и, мешаясь с зефиром, исчезали в простраствах воздуха» (Н. М. Карамзин. Сиерра-Морена, 1795), *вырываться*: «Тяжелые вздохи вырывались из его груди; меня самого объяло уныние» (А. Погорельский. Двойник, или Мои вечера в Малороссии, 2, 6, 1825); «Тяжелый вздох из груди вырывался» (М. Ю. Лермонтов. Сашка, ХCVIII, 1839); «Над крейсером взвился сигнал / (...) / Он вырвался, как вздох / Со дна души...» (Б. Пастернак. Лейтенант Шмидт, 2, 5, 1926), *срываться* (с уст): «Жаль небывалого мне снова, / Простор грядущего мне пуст: / Мелькнет призрак, уронит слово, / И тщетный вздох сорвется с уст» (К. Павлова. Дума, 1843), *нестись* (вослед кому): «Что нужды вам, что в сердце чьем-нибудь / Вы лучшие сгубили упованья, / Что чья-нибудь больна чахоткой грудь, / Что вам вослед несется вздох страданья?» (А. Григорьев. Дневник любви и молитвы, 2, VI, 1850-е), *лететь*: «Надежда сердцу изменила, / И вздох за нею вслед летит...» (К. Н. Батюшков. Элегия, 1804), *долететь*: «Но я на севере, а ты под солнцем юга — / И мой тяжелый вздох к тебе не долетит...» (Я. П. Полонский. Туман, 1856), *доходить*: «К пределам горним подлетая, / Ты вспомнил о друзьях земли, / И до тебя в блаженстве рая / Их вздохований дошли...» (В. А. Жуковский. «Молитвой нашей Бог смягчился...», 1839) и др.

Ср. в этой связи анахронично принятый в наших «больших» словарях для глаголов *вздохнуть* / *издыхать* толкующий оборот «*и спустить* / *испускать вздох*», используемый также в значении ‘умереть’ (в параллель к *испустить дух*, *испустить последнее дыхание*), откуда далее *услышать* / *принять* (чей-либо) *последний вздох* («Старею, дряхлею и не вижу другой перспективы, кроме совершенной старости посреди нищеты, долгов и одиночества, а далее... придет *(sic!)*, может быть, умереть так, что *никто не услышит и последнего моего вздоха*» (И. И. Дмитриев — П. П. и И. П. Бекетовым, 26 декабря 1787). То же в переносном употреблении: «Ты (цвет) сорван был моей рукой, / С каким блаженством и тоской, / То знает Бог!.. / Останься ж на груди моей, / Пока любви не замер в ней / Последний вздох» (Ф. И. Тютчев. «Сижу задумчив и один...», 1830-е). И в параллель к «*последнему вздоху*» и «*последнему дыханию*» ср. также «*последнее издыхание*» в фразеологизованных оборотах «*до последнего издыхания*» и «*при последнем издыхании*», в асимметричной стилистически-оценочной связи с которыми становится понятной внутренняя форма глаголов *издохнуть* — *издыхать* ‘умереть’ ← ‘испустить последний вздох’. Ср. проясняющее этот сдвиг переносное употребление глагола *издохнуть*: «Буря издохла с последним ударом своей ярости. Ветер упал вдруг...» (А. А. Бестужев. Мореход Никитин, 1834).

С фазой выдоха связаны также:

- ⟨1⟩ Синтаксическое расширение глаголов *вздыхать* — *воздохнуть* в церковнославянском языке посредством управляемого члена со значением «направления»: «Любо жатвы злакам тучным, / И цветам, и древесам — / Быть с тобою неразлучным, / Воздыхая к небесам» (Вяч. Иванов. Песнь потомков Каиновых, 1903), а также представление вдоха как адресованного послания: «И часто к затворнице сонной / Я страстные вздохи свои посыпал / По ветру, в струе благовонной...» (Я. П. Полонский. Соловьиная любовь, 1856);
  - ⟨2⟩ Описание вдоха в терминах «подъема из груди» («— Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь! — Госпожа закрыла глаза и, снова быстро подняв веки, взглянула на горничную. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель...» — Л. Н. Толстой. Три смерти, I, 1858), «вызыва» и «созыва» его «из глубины (со дна) души и сердца» («Тобой забытым быть скорее я б желал, / Чем вызвать памятью из сердца вздох глубокий» — Д. П. Ознобишин. К \*\*\*, 1841; «Коль жалость и ужас вдыхаешь / И жжешь ты хладные сердца, / С глаз токи, с души вздохи сзываешь...» — Г. Р. Державин. Г. Озерову на приписание Эдипа, 1806);
  - ⟨3⟩ Переносное употребление слова *вздох* применительно к звукам ветра и различных воздуходувных механизмов — мехов, парового молота, паровоза и т. п.: «Света бледно-нежного / Догоревший луч, / Ветра вздох прибрежного, / Край далеких туч...» (В. Соловьев. На смерть Я. П. Полонского, 1898); «За окном, словно жалуясь на непогоду, тяжело вздыхает ветер» (П. Романов. Старушка, 1924)<sup>37</sup>; «Наконец послышался третий звонок, с ним вместе слился пронзительный звук свистка, клубы густого пара ударились в железную кровлю дебаркадера, и вот слышите вы тяжелые и резкие вздохи паровоза...» (М. В. Авдеев. Поездка на кумыс, 1852); «На всех парах несется поезд, / Колеса вертят паровоз. /.../ Машина испускает вздохи / В дыму, как в шапке набекрень...» (Б. Пастернак. Поездка, 1958)<sup>38</sup>.
  - ⟨4⟩ Другие образные повороты связи вдоха и ветра: «Рассказывал ей про чужбину, слушал ее с восхищением; и обыкновенно горький вздох развеивал (‘развеивал’) его блестящие замки, и он со слезами на глазах провожал взорами свою любезную...» (А. А. Бестужев. Ревельский турнир, II. 1825).
- В высокой поэзии тот же образ передает:
- ⟨1⟩ благоухание растений: «Там эха хохотанье; Тут шепоты ручьев, / Здесь розы воздыханье...» (Г. Р. Державин. Прогулка в Сарском Селе, 1791); «Он славит красоту и чары, как влюбленный / И в звезды, и в грозу, что будит воздух сонный, / И в тучки сизые, и в ту немую даль, / Куда уносятся и грезы, и печаль, / И стаи призраков причудливых и странных, / И вздохи роз благоуханных» (Я. П. Полонский. А. А. Фет, 1888). Ср. также: «Здесь наклоняется береза / С роскошным шелестом листов, / Блестя росой там пышет роза, / Вздыхая негую садов» (Д. П. Ознобишин. Космогония, 1829);
  - ⟨2⟩ различные эманации земли и воды: «Дикою, грозною ласкою полны, / Бьют в наш корабль средиземные волны, / Вот над кормою стал капитан. / Визгнул

*⟨sic!⟩ свисток его. Братствуя с паром, / Ветру наш парус раздался недаром: / Пеняясь, глубоко вздохнул океан!»* (Е. Боратынский. Пироскаф, 1844).

Отсюда же образное превращение в *вздоха* в морозные узоры на холоде: «Мороз забрасывает стекла / И веет холодом. Злодей! / Он подглядел, как сердце былое; / Любовь, и страсти, и мечты. / И вздох мой — все преобразилось / В кристаллы, звезды и цветы...» (Я. П. Полонский. Зимой в карете, 1889). Ср. также поэтический образ «окрыления» речи, сопровождаемой вздохом: «И, вздохом окрылен, трепещущий, стыдливый, / Сольется с шепотом любви моей счастливой / Или со временем, давно забытый мной, / Печальный, он блеснет понятною слезой» (А. И. Подолинский. Стих, 1837). Ср. также: «О чём молиться ей — и к небу сердца звуки, / Вздыхая, воссылать в уныньи и слезах?» (С. П. Шевырев. Мадонна, 1840). Ср. также уникальную в русской литературе персонификацию духа-вздоха у Баратынского: «И ношусь, крылатый вздох, / Меж землей и небесами» («Недоносок», 1835), указанием на которую я обязан И. А. Пильщикову, внимательно прочитавшему эту работу и сделавшему целый ряд других ценных дополнений и замечаний. Пользуясь случаем, обращаю слова благодарности к С. В. Кодзасову, с которым я обсуждал проблемы фонетики и физиологии вздохов, к Г. Е. Крейдлину, чьи советы способствовали улучшению этой работы.

## 2.

Вздох как носитель ряда указанных выше значений — это невербальная речевая единица, или звуковой жест, который может функционировать как самостоятельно («Повесы на коней вскочили / И думы мрачные свои / Друг другу вздохом сообщили» — М. Ю. Лермонтов. Монго, 1836), так и в свободном взаимодействии:

- ⟨1⟩ с другими невербальными средствами своего класса;
- ⟨2⟩ с эквивалентными телесными жестами и паразыковыми проявлениями (ср.: «Мой друг, уста скучают тщетным излияньем, / А я хочу мои уста с твоими слить, / Хочу с тобой биенъем сердца говорить, / Да вздохом только, да лобзанием...» — Н. П. Огарев. Разговор, 1843);
- ⟨3⟩ с вербальными единицами речи, сопровождая их (вздохнуть и сказать; вздохнув, сказать; сказать и вздохнуть; сказав, вздохнуть, сказать со вздохом...): «...хозяин, обратясь к соседу, *молвил, глубоко вздохнув*: — Дожили мы до поры, Лука Матвеич! И детям рад не будешь...» (А. О. Корнилович. Андрей Безыменный, 1832). «Вошедши в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресла и наконец *после нескольких вздохов сказал*: Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастье?..» (Н. В. Гоголь. Нос, 1836).

Вздохам огорчения, грусти и печали могут сопутствовать стоны и слезы: «Ах, вокруг меня все страждёт, все вздыхает, все стонет!..» (И. Георгиевский. Евгения, или письма к другу, 1818); «Когда же увидел, что Варенька, нездолго бросившая куклы, дотоле робкая, как серна, послушная, как ягненок, *вместо вздохов и слез* являет решимость и сопротивление его воле, совершенно потерялся»

(А. О. Корнилович. Андрей Безыменный, VII, 1832); «Зачем же томный вздох и слезы на глазах?» (Е. Боратынский. «Есть милая страна...», 1835); «О, сколько вздохов, сколько слез, / Надежд, безжалостно разбитых, / Молитв и криков сердца скрытых / Московский дым с собой унес!...» (Ф. Глинка. Московские дымы, 40-е гг.); «Мы тогда откроем двери, / И заплачим, и вздохнем, / Наши зимние потери / С легким сердцем понесем...» (А. Блок. «На весенний праздник света...», 1902). Ср. градуально-степенное сопоставление слез и вздоха: «...и он (...), хотя и не выронил слезы, но вздохнул, и вздохнул очень глубоко» (А. А. Бестужев. Лейтенант Белозор, I, 1831). Ср. также: «— ...только и ведала, что горе, словно свечка истаяла, иссохла как лучинка. И день и ночь то и дело что тоскует. Слез нет, а только что вздыхает, да так тяжело, что не приведи господь...» (А. О. Корнилович. Андрей Безыменный, 1828).

Вздохи могут сопровождаться семантически согласующимся с ними жестом «сокрушенного» «покачивания головой»: «К ней являлись женихи; окрестные помещики, молодые чиновники, богатые купцы засыпали свах; один ответ: “Батюшка, я не хочу замуж!” Старик вздыхал и качал головою...» (М. С. Жукова. Вечера на Карповке, 2, VI, 1838). «...Настасья Ивановна даже от жалости к такой махонькой твари прослезилась и, глубоко вздохнувши, покачала головой...» (В. И. Даля. Вакх Сидоров Чайкин..., IV, 1843). Ср. в комплексе: «Видит он, что Ундина, жемчужными зубками стиснув / Палец ему, сердито нахмурила бровки, и в глазках, / Ярко светившихся, бегали слезки; потом на Гульбранда / С грустным упреком взглянув, она ему погрозила / Пальцем; потом вздохнула, потом наклонила головку...» (В. А. Жуковский. Ундина, IV, 1831—1836); «Буря утишилась не скоро, да и могла ли она скоро утишиться? Истерики и крики сменялись вздохами, стонаами, покачиваниями голов, всхлипываниями и жалобами на судьбу...» (И. И. Панаев. Хлыщ высшей школы, II, 1857). То же в случаях с выражением «удивленного восхищения»: «Он был с чувствительной душой / Рожден; и в старческие годы / При зрелище красот природы / Вздыхал, качая головой...» (И. С. Тургенев. Помещик, VII, 1845). Ср. также такие ряды, как «улыбки, взгляды, вздохи, изъясненья» (М. Ю. Лермонтов, Начало поэмы, IX, 1839).

Наконец вздохи могут подкрепляться междометными «охами», которые являются результатом «вербализации» звукового комплекса в здохе, пропущенного через фонологический фильтр русского языка.

Ср. фразеологизованные рифмопары охи и вздохи, с вздохами и охами, без охов и вздохов: «...она (умирающая Лукерья) рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие» (И. С. Тургенев. Живые монстры, 1874). Ср. также охать о ком-чем ‘вздыхать о ком-чем’: «Веду себя скромно и порядочно. Гуляю пешком и верхом, читаю романы Вальтер Скотта, от которых в восхищении, да охаю о тебе» (А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной, 25 сентября 1835)<sup>39</sup>.

Вздох предполагает ответную реакцию: «Друг, на земле великое не тщетно; / Будь тверд, а здесь тебе не изменят; / О милый, здесь не будет безответно / Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд» (В. А. Жуковский. Голос с того света, 1817),

а в случае ее отсутствия, нарушающего указанную этическую норму, характеризуется как *тищетный, пустой и бессильный* («*Не тронет вздох тебя бессильный, / Не омрачит земли тоска; / У ног твоих, как дым кадильный, / Вияся, тают облака*» (А. А. Фет. Горная высь, 1886). В то же время в з д о х и сам может служить ответной реакцией на воздействия окружающего мира: *вздохнуть в ответ, вздохнуть вместо ответа, только вздохнуть*. Ср.: «...однажды утром он приехал к своему дядюшке с объявлением о том, что он получил место в \*\*\*. Дядя вздохнул и только мог промолвить: — А имение?» (В. Ф. Одоевский. Черная перчатка, 1838). См. о такого рода ответах специально в работе [Пеньковский 1995: 128—133].

В з д о х может предварять высказывание («Он к Дуне молча подошел / И на лицо ее навел / Взор отуманенный тоскою; / Потом стал длинный ус крутить, / Вздохнул, и начал говорить...» (М. Ю. Лермонтов. Тамбовская казначейша, XXXV, 1836); может сопровождать высказывание, эмоционально усиливая его содержание (*сказать со вздохом*)<sup>40</sup>, но может и вступать в противоречие со сказанным: «Ну, прощай, Мари, — сказала Наташа. — Знаешь, я часто боюсь, что мы не говорим о нем (князе Андрее), как будто мы боимся унизить наше чувство, и забываем. — Княжна Марья тяжело вздохнула и этим вздохом признала справедливость слов Наташи; но словами она не согласилась с ней. — Разве можно забыть? — сказала она...» (Л. Н. Толстой. Война и мир, 4, 4, XVII); «Доктор говорит, что нет опасности, — сказала графиня, но в то время, как она говорила это, она со вздохом подняла глаза кверху, и в этом жесте было выражение, противоречащее ее словам» (Там же, 4, 1, XIV). Ср. также поэтически фразеологизованное «ни слова, ни вздоха»: «Лет ты много / Прожил строго, / Память в сердце истребя; / Для былого / Нет ни слова, / Нет ни вздоха у тебя» (К. Павлова. Монах, 1840); «Молчанье — молчанье — ни слова, / Ни вздоха... Одна лишь рука / Незримая руку мне жала / И трепетала слегка...» (Я. П. Полонский. Тишина и мрак, 1856—1860); «*Ни слова, о друг мой, ни вздоха... / Мы будем с тобой молчаливы...*» (А. Н. Плещеев. Молчание, 1861). Ср. еще: «И каждый раз потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадать ее (прекрасной девушки) появление, оно сливалось с грезами горячки, так что *первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: “Это сон!”...*» (А. А. Бестужев. Аммалат-бек, III, 1831). Или: «О, Святая, как ласковы свечи, / Как отрадны Твои черты! / Мне не слышны ни вздохи, ни речи, / Но я верю: Милая — Ты» (А. Блок. «Вхожу я в тесные храмы...», 1902).

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> А рядом помещена цитата из «Сказки о царе Салтане» («Лебедь тут, вздохнув глубоко, / Молвила: «Зачем далеко? / Знай, близка судьба твоя / Ведь царевна эта — я»), хотя ее следовало бы поместить среди примеров к оттенку значения, которое определяется как «Вздохом выразить печаль, сожаление». И только иллюстрация из «Бориса Годунова» («*Не смел вздохнуть, не только шевельнуться*») соответствует приjectому в [СП] толкованию.

<sup>2</sup> Ср.: «— Дети? — Трое, — сказала она с тяжелым вздохом. — Почему ты вздыхаешь, добрая женщина? — Потому, — сказала она, помолчав немного, — что я должна прийти к ним в пустыми руками, — а они... они уже другой день сидят без хлеба...» (Н. А. Бестужев. Русский в Париже 1814 года, 1840).

<sup>3</sup> «Наталья Николаевна (...) услыхала, верно, своим материнским ухом, что Соня не шевелится, и вышла взглянуть. Она взяла подушку и, подняв своей большой белой рукой раскрасневшуюся спутанную голову девушки, положила ее на подушку. Соня глубоко, глубоко вздохнула, повела плечами и положила свою голову на подушку...» (Л. Н. Толстой. Декабристы, I, 1856); «Он разъединил ее ноги, их нежное горячее тепло — она только вздохнула во сне, слабо потянулась и закинула руку за голову...» (И. А. Бунин. Таня, 1940). Ср. также редкий пример со- и противопоставления двух типов в здоха: «Тут глубокий вздох вашего сиятельства прервал нить моего рассказа; в первом движении я обрадовался этому неприворному созвучию к моему слову; но пооглядевшись хорошенько, вижу, что вздох ваш был не следствием моей геремиады о дороге, а просто произвольность сна» (Ю. Н. Бартенев. Письма князю Голицыну. 1836—1839 // Русский архив, 1886. Кн. 3 Вып. 9. С. 163).

<sup>4</sup> Точнее было бы говорить о вздохах в отсутствии свидетелей, поскольку наличие стороннего наблюдателя делает верификацию «невольности» вздоха затруднительной или невозможной. Ср.: — «...Верно, много горя пришлось тебе измыкать на своем веку? — Век прожить — не поле перейти, — отвечал он, вздохнул как бы невольно и кулаком утер слезы, навернувшиеся у него на глазах» (М. П. Погодин. Нищий, 1826).

<sup>5</sup> Ср.: «...он бросился на траву, засился слезами и целый день пролежал на одном месте неподвижно, вздыхал и терзался,...» (В. А. Жуковский. Марьина роща. 1809); «Неутолимая печаль / Ее, тягча, снедала тайно; / Ее тоски не зрея москвали — / Она ни разу и случайно / Врага страны своей родной / Порадовать не захотела / Ни тихим вздохом, ни слезой...» (К. Ф. Рылеев. Войнаровский, 2, 1823—1824); «...Он подстережет вздох грусти, слезу сожаления — сожаления, предтечи любви, — и упадет к ногам своей тронутой любовницы» (А. А. Бестужев. Фрегат «Надежда», IX, 1832); «Печально мать-красавица молчала, / То плакала, то тяжело вздыхала (над гробом ребенка)» (Н. П. Огарев. Fatum, 1849). «Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти лакомства и как она, грустно вздыхая, умолкала» (Л. Н. Толстой. Воспоминания, VI, 1903—1906). Ср. также: «Наконец раненый открыл глаза. Он вздохнул, как бы первое чувство жизни было уже для него скорбью» (М. С. Жукова. Вечера на Карповке, 2, 1837). Или: «Она (Наталья Ласунская) чувствовала глубоко и сильно, но тайно; она и в детстве редко плакала, а теперь даже вздыхала редко, и только бледнела слегка, когда что-нибудь ее огорчало» (И. С. Тургенев. Рудин, V, 1855); «Марья Ивановна почти не слушала, как только брат начал об естественных науках. Ей как будто вдруг взгрустило. (...) Она глубоко вздохнула...» (Л. Н. Толстой. Декабристы, III, 1856). Или: «Опять уперся он точно в какую стену. Дальше думать в этом направлении было слишком горько. (...) Лука Иванович болезненно вздохнул. Он решительно не мог выносить больше всех этих вопросов» (П. Д. Боборыкин. Долго ли? V, 1875).

<sup>6</sup> Ср.: «Много воды утекло с того времени, как ты оставил наше селение, — отвечал пастух. — Мария твоя — перелетная птичка; она покинула родимое гнездышко и хочет лететь на чужую сторону; она разлюбила тебя; она отдала свою душу богатому и могучему витязю Рогдаю! Ах! бедный Услад, для чего возвращался ты на свою родину? — Пастух посмотрел на него с состраданием, вздохнул...» (В. А. Жуковский. Марьина роща. 1809).

<sup>7</sup> Ср.: «Я взгляделся: то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени (...) Она была очень недурна собою (...) Вся ее головка очень была мила; даже немного толстый и круглый нос ее не портил. Мне особенно нравилось выражение ее лица: так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоумения перед собственной грустью. Она, видимо, ждала кого-то; в лесу что-то слабо хрустнуло: она тотчас подняла голову и оглянулась; в прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как у лани. Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытых глаз с места, где раздался слабый звук, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась...» (И. С. Тургенев. Свидание, 1850)

<sup>8</sup> Ср.: «...не женский страх / Ее заставил вздрогнуть, и вздохнуть, / И голову поспешно отвернуть, / И белою рукой закрыть глаза, / Чтоб изменить не смела ей слеза» (М. Ю. Лермонтов. Литвинка, 10, 1830).

<sup>9</sup> Ср.: *вздох облегчения, вздохнуть облегченно, с облегчением*: «...когда женщины вышли, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи Мурат достал один из хозяйств черкески...» (Л. Н. Толстой. Хаджи Мурат, I, 1896). Ср. устар. *вздохнуть облегчительно*: «Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку. — Вы? — сказал он...» (Л. Н. Толстой. Война и мир). Ср. также: «...при взгляде на меня глубокий вздох вылетел из ее груди и, казалось, облегчил ее. С изумлением прочитал я в глазах Адельгейды чувство: “Слава Богу! Это не он!”...» (Н. А. Полевой. Блаженство безумия, 1833); «Вот это и прекрасно! — радостно вскричал он (...) и даже испустил вздох, видимо облегченный результатами сделки...» (П. Д. Боборыкин. Долго ли?, XXX, 1875); «Кто же вздохнул у могилы, / Чья облегчается грудь? / Скорбную душу помилуй, / Господи! Дай отдохнуть» (А. Блок. «Кто-то вздохнул у могилы...», 1902). Ср. также: «...стало быть, уже так плохо, что никакого средства нет, когда уже дал всем заметить (что близко разорение). Жаль право! Другие скажет: поделом! А третий хоть ничего не скажут, но *так вздохнут, как будто бы у них гора с плеч свалилась*. Ведь чужое счастье иным, право, гора на плечах» (М. С. Жукова. Дача на Петергофской дороге, I, 1845). Ср. еще: «Она, родильница, встречает боль слезами / И ловит бледными, холодными губами / Живого воздуха ленивые струи, / Чтобы, заслышиав крик рожденного созданья, / Вздохнуть и позабыть все, все свои страданья...» (К. К. Случевский. «Да, нет сомненья в том, что жизнь идет вперед...»).

<sup>10</sup> «Бог мой бог! Коснись перстом [творящим] / [До груди] разрозненной моей, / Каплю влаги дай глазам пальцим, / Удели мне тишины твоей. / И, твой, творец благословенный, / Бледное чело я подыму — / Всей душой, душой освобождённой, / Набожно и радостно вздохну» (И. С. Тургенев. «Отрывки и наброски» (1), 1838); «Ведь ты пойдешь со мною? — На край света! — воскликнул Нежданов, и голос его внезапно зазвенел от волнения и какой-то порывистой благодарности. — На край света! — В эту минуту он точно бы ушел с нею без оглядки, куда бы она ни пожелала! Марианна поняла его — и коротко и блаженно вздохнула». (И. С. Тургенев. Новь, I, XXII, 1876); «Бабушка стала смеяться (...) потом понюхала табаку, вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнув...» (М. Горький. Детство) и др.

<sup>11</sup> Ср.: «Княгини мамушка седая / Перед иконою стоит, / И вот уж, набожно взыхая, / Земной поклон она творит» (Е. Боратынский. Бал, 1825—1826); «Вздох волшебный сладострастья / С стоном девы пролетел...» (А. И. Полежаев. Романсы, II, 1831); «Зачинайся русский бред... / Так звени стрелой в тумане, / Гневный стих и гневный вздох, / Плач заказан, снов не свяжешь...» (А. Блок. Русский бред, Конец 1917); «Молодежь засмеялась, засвистала; люди постарше за-вистливо вздохнули вслед ему...» (М. Горький. В людях); «Так, так, — говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. — Главное — сервировка. То-то... — и он уходил, самодовольно взыхая, опять в гостиную» (Л. Н. Толстой. Война и мир, I, I, VII); «Les souverains? Je ne parle pas de la Russie, — сказал виконт учтиво и безнадежно. — Les souverains, madame! (...) И он презрительно вздохнув, опять переменил разговор...» (Л. Н. Толстой. Война и мир, I, 1, IV); «...он насыпал перцу в стакан пенного вина, размешал ложкой, выпил разом, болезненно вздохнул...» (А. И. Герцен. Былое и думы, 2, XVIII, 1854); «Молчание еще более тяжелое воцаряется в комнате (в предвидении кончины среднего Головлева). Арина Петровна как-то безнадежно взыхает...» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы, 1874—1876) и др. Еще есть любопытный пример у Баратынского: «Кто на красавицу очей ни возведет: / Холодный старец улыбнется, / А пылкий юноша вздохнет» («Н. Е. Б.», 1832).

<sup>12</sup> Именно на базе этого — наиболее распространенного — типа *вздоха* сформировалось переносное, чисто ментальное, значение глагола *вздыхать* (*воздыхать*) ‘тосковать, гревать, грустить’ (о ком-чем, по ком-чему, по кому-чему) «...вы не удивитесь, что *русские* *вздыхают* об этом *крае*, обетованном для юношей» (А. А. Бестужев. Вечер на Кавказских водах

в 1824 году, 1830); «...между ними, в высшем кругу их, была одна, которая посереди золоченых зал, в роскошных кабинетах, упитанных запахом гиацинтов и лилий, (...) вздыхала о светленькой маленькой горенке...» (М. С. Жукова. Вечера на Карповке, 2, V, 1838). «(...) В таких и им подобных заявлениях Белинского сквозило желание иметь дело с общественной литературой, занимающейся насущными вопросами дня (...) (он вздыхал по литературе этого рода и в одном из тогдашних своих годичных обозрений словесности)...» (П. В. Анненков. Замечательное десятилетие. 1838—1848, 1880); «И, разлучась навеки, мы поймем, / Что счастья взрывы мы промолчали оба / И что вздыхать обоим нам по нем, / Хоть будем врознь стоять у двери гроба» (А. А. Фет. «Светил нам день...», 1887). Можно с уверенностью говорить о том, что во многих такого рода словоупотреблениях обнаруживается дальнейшая интеллектуализация чувственного значения: ‘горевать, тосковать о чем-л.’ → ‘с грустью, с тоской думать о чем-л.’ Ср.: «Всем сердцем благодарю вас за альманак (*sic!*), и за все прекрасные цветы собственной вашей оранжереи; равно и за песнь Онегина, хотя я вздохнул, что она последняя...» (И. И. Дмитриев — А. С. Пушкину, 1 февраля 1832).

Отсюда далее — с новым семантическим сдвигом — не имеющий видовой пары глагол *вздыхать* (о ком) ‘быть (безответно) влюбленным в кого-л.’, имена *вздох*, *в(о)зздыхание* как знаки страдающей влюбленности (именно такие *вздохи* могут быть «*страстными*»): «Пройдет в печалих жизнь моя. / Тебя не тронут вздохи страстны, / На что смущать твои дни ясны.— / Пускай один страдаю я!» — С. Н. Марин. К Н. А. К. До 1813) и *вздыхатель*, *-ница* (*воздыхатель*, *-ница*) как имена безнадежно влюбленных, поддержаные франц. *soûpirant*. Ср.: «Сегодня еду слушать Давыдова, не твоего *супиранта*, а профессора...» (А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной, 27 сентября 1832). Ср. слова Шаликова в «*Видении на берегах Леты*» К. Н. Батюшкова: «Увы, я пастушок, / Вздыхатель, завсегда готовый» (1809). Ср. еще: «И робко я глядел на зёркальные очи / Моеi красавицы — гречанки молодой. / Надеждой грудь жила, и как мечтал я юный! / Но, гордая, она не замечала вздох, / И про любовь мою ей напевали струны, / Что на словах бы ей я высказать не мог» (Д. П. Озиобишин. Гречанка, 1839); «По живости своего молодого темперамента и чистоте своих помыслов она никак не могла допустить, чтобы Пруденций, который был моложе ее на пять лет и с которым она всегда обходилась как с милым ребенком, незаметно для нее загорелся к ней такой неукротимою страстной любовью (...) И вот теперь ей говорят, что это, однако, свершилось... До сих пор Мелита этого не замечала, но теперь (...) она сама стала припоминать глубокие вздохи невинного Пруденция и его долгие взгляды...» (Н. С. Лесков. Невинный Пруденций, VII, 1891). Сюда же производное *вздыхательный*: «Где истинная любовь? — нет ее! Я верю одной *вздыхательной*, петракизму, т. е. живущей в душе поэтов, и более никакой» (К. Н. Батюшков — Н. И. Гнедичу, 19 сентября 1809 г.).

<sup>13</sup> Понятна поэтому связь такого рода в здохов с другими проявлениями «горестного чувства». Ср.: «Как ты переменился!» — восклинули мы оба, глядя пристально друг на друга. «Как все переменилось с тех пор, как я тебя видел здесь!» — прибавил Старожилов с тяжелым вздохом, от которого морщины на его лице сделались еще глубже» (К. Н. Батюшков. Прогулка в Академию художеств, 1814). Или: «Вздохнул отец; со вздохом мать / Пошла в свою светлицу; / Ей долго ночь в слезах встречать, / В слезах встречать денницу» (В. А. Жуковский. Вадим, 1817).

Со вздохами «горестного чувства» (ср. также *воздыхания* ‘жалобы, сетования’) и со вздохами «неразделенной любви» связана заслуживающая специального глубокого изучения особая глава в истории русской литературы и культуры — глава о сформированной русским сентиментализмом культуре вздохов, которая создала особый тип человека — «человека со вздохом». Ср. в «Горе от ума»: «Берем же побродяг, и в дом и по билетам, / Чтоб наших дочерей всему учить, всему, / И танцам! и пенью?! и нежностям! и вздохам! / Как будто в жены их готовим скоморохам». Отсюда — в качестве иронической реакции — смеховые антропонимические маски героев этого психологического типа, видных деятелей литературы «со вздохом и слезой»: Ахалкин как эпиграмматическое прозвище Карамзина (см. о нем ниже, на с. 820) и Вздыхалов как

эпиграмматическое имя князя П. И. Шаликова, Ср. о последнем: «По свету белому *Вздыхалов* / Пустился странствовать пешком. / Прости, жестокая Аглай! — / Он говорит в последний раз, / *И вздох за вздохом, грудь стесня, / Его перерывают глас...*» (В. Л. Пушкин. Отъезд Вздыхалова, 1811); «Пускай *Вздыхалов* томный / Томит пастушек нежный слух» (П. А. Вяземский. В альбом Неселову, 1815). Его же: Эпизодический отрывок из путешествия в стихах. Первый отдых *Вздыхалова* (1827) // П. А. Вяземский. Стихотворения. Л., 1958. Эти антропонимические маски — пародийное выражение специального языка, выработанного культурой русского сентиментализма. Ср., например:

а) представление *вздоха* как некой самостоятельной предметной сущности, пребывающей в груди в готовом виде и даже во множестве: «...потупив голову (несчастный Услад), стараясь удерживать *стеснившиеся в груди вздохи*, пошел назад, чтобы никогда, никогда не возвращаться в то место, где все, что радовало его в жизни, погибло навеки» (В. А. Жуковский. Марьина роща, 1809);

б) представление источником и одновременно субъектом вздохов *сердца* и / или *души*: «Так Лилу страсть моя не может огорчить / Не оскорбит ее *вздох сердца сокрушенна...*» (С. Н. Марин. К Н. Н.); «*Вздох еще из сердца страстина* / Еще вздох к тебе летит...» (С. Н. Марин. Песня, № 10); «Тут невольный *вздох* вылетел у меня *из сердца...*» (Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника, 6 июля 1789); «Сердце его вострепетало, как древесный лист, от нежного ветерка содрогающийся; *невольный и потаенный вздох* вылетел из внутренности *души его*» (А. Клушин. Несчастный М-в, 1793); Отсюда далее «*вздох, разрывающий сердце*» (А. А. Бестужев. Изменник, V, 1825);

в) совершенно невозможные сегодня «приглашения к *вздоху*»: «Я сорвал мох (с могильной плиты) и с каким-то чувством, которого изъяснить не умею, смотрел на истертые временем буквы, и наконец вот что увидел: «Прохожий, если ты имеешь чувствительное сердце, *вздохи об участии несчастных...*» (Карра-Какуэлло-Гуджи. Бедная Хлоя, 1804 // Ландшафт моих воображений. Страницы прозы русского сентиментализма, М., 1990. С. 222); «*Вздохнем, любезный друг, от глубины сердца и скажем...*» (К. Батюшков. Прогулка по Москве, 1811—1812); «Когда ж узнаешь, что печали / В пустынной скучной стороне / Несчастну жизнь мою скончали; / Хоть раз ты вспомни обо мне! / Приди — под сосной вековою, / На камень опершись рукою, / *Вздохни — и прах почти слезой!* / Читай: “и в гробе нет покою / Скончал он век, сражен тоскою, / А в свете жил одной тобой!”» (С. Н. Марин. К Н. А. К. До 1813); «*Подруги милые! вздохните!* / Он сколько мог любви служил...» (Е. А. Боратынский. Прощание, 1819). Ср. также: «Нам судьба велит разлуку... / *Как же быть, друзья? — вздохнуть, / На распутье скать мне руку / И сказать: счастливый путь*» (Е. А. Боратынский. Больной, 1821);

г) неизвестное нам сегодня выражение «*посвятить вздох каму-нибудь*» как свидетельство о жившем в сознании людей этой эпохи особом категориальном типе вздоха — «*вздохе памяти*»: «Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? — Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, *посвятив искренний вздох Лизе своей...*» (Н. М. Карамзин. Бедная Лиза, 1792); «Ты сдержал свое слово! — говорил Мельский. — Ты привел меня на могилу тетки, и сам пришел *посвятить последний вздох свой благодарному о ней воспоминанию...*» (О. Сомов. Юродивый, 1827). Эти примеры позволяют глубже и точнее понять пушкинские строки о Ленском: «Своим пенатам возвращенный, / Владимир Ленский посетил / Соседа памятник смиренный, / *И вздох он пенду посвятил*» (Евгений Онегин, 2, XXXVII). Ср. также: «Прости, прости! *Ni вздохам, ни слезой / Не вспомнишь ты страну, тебе чужую...*» (А. Григорьев. Дневник любви и молитвы. 2, VI, 1850-е). То же в оптативе: «Не шуми ж ты, не шуми, / Буйный ветер, надо мной; / Полети ты, полети /

Вдоль дороги столбовой! / По дороге столбовой / Скачет воин молодой; / Налети ты на него, / На тирана моего: / Просвищи, как жалкий стон, / Прошепчи ему поклон / От высоких от грудей, / От заплаканных очей, — / Чтоб он помнил обо мне / В чужедальной стороне; / Чтобы с лютовою тоской, / Вспоминая, вздохнул...» (А. И. Полежаев. Песня, 1831);

д) выразительный образ счета времени аналогами минут — вздохами (вздыханьями): «Надеждой душу — друг сердечной — / Почто несчастному питать? / Я осужден к печали вечной, / Мой жребий слезы проливать. / Терзаться страстию жестокой, / Любить — молчать — в тоске глубокой / Минут вздоханьями знать щет. / Не долго жизнь моя продлится, / Не долго буду я томиться, / Все грусти алчна смерть прервет» (С. Н. Марин. К Н. А. К. // С. Н. Марин. Полное собрание сочинений, М., 1948. С. 33);

е) или еще: «Она уехала! Да, мой друг, Мария уехала, и я не мог с нею проститься, не мог облить слезами ее груди и, слыша тайный вздох, исшедший из глубины ее души, не мог принять сего вздоха моими устами» (М. Сушкин. Российский Вертер, до 1792 г.); «Я заключил в свои объятия любезнью — на сердце моем было слышно биение ее сердца, каждый вздох ее влетал в грудь мою и вырывался оттуда с моим вздохом...» (В. Измайлова. Ростовское озеро, 1795); «Любовники долго безмолвствовали. Сама любовь запечатлевала стыдливые уста красавицы; вскоре слезы сладострастия заблистали, как перлы, на длинных ее ресницах, розы запылали на щеках, грудь, изнемогая под бременем любви, едва-едва волновалась, и прерывистый томный вздох, подобно шептанию майского ветерка, засыпающего на цветах, вылетел из груди ее, вылетел... и замер на пламенных устах любовника» (К. Н. Батюшков. Предслава и Добрыня, 1810) и др. под.

<sup>14</sup> Ср. показательный пример из Тургенева, где та же связка «наконец» — «вздохнуть» также не находит текстуального оправдания и поддержки: «...Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати; он велел постлать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу; он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте; ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают. Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул» (И. С. Тургенев. Дворянское гнездо, XIX, 1858). Можно предположить, что, строя этот фрагмент своего текста, Тургенев — вместо «Наконец он, вздохнув, натянул на себя одеяло и заснул» — неосознанно подчинился литературной памяти, услужливо подсказавшей ему рассматриваемую нами пушкинскую формулу из 3-й главы «Евгения Онегина».

И с другой стороны, вполне оправданное «наконец» в ситуации, близкой к ситуации Татьяны, у Боратынского: и между тем / Покрыла бледность гробовая, / Ее дыханье отшло, / Уста застыли, посинели; / Уважил хладный пот чело, / Неподтверждые блестели / Глаза одни. *Вещать хотел / Язык мятежный, но коснел, / Слова сплавились в лепетанье. / Мгновенье долгое прошло, / И наконец ее страданье / Свободный голос обрело...*» (Е. Боратынский. Бал, 1825—1826).

<sup>15</sup> Ср. что-нибудь вроде: *В атмосфере общего отчаяния она пыталась сохранять душевное спокойствие, но наконец и она приуныла.* Или: «...один только полицеймейстер долго еще слушал, думая, не будет ли по крайней мере чего-нибудь далее, но наконец рукой махнул, сказавши: «Черт знает что такое!»» (Н. В. Гоголь. Мертвые души. Т. 1, гл. X).

<sup>16</sup> «Словарь языка Пушкина» указывает шифр интересующих нас строк (ЕО, 3, XLI, 1—2) под первым значением этого слова «После всего, под конец, напоследок, в конце концов» [СП 1957: II, 701—702] и ошибается, так как в тексте нет необходимого для такого *наконец* перечислительного ряда действий.

<sup>17</sup> Ср. случай, где «задыхание» вызвано «техническими» причинами: — C'est ça! — подтвердила мать и грамко перевела дух — корсет давил ей грудь и щеки стали иссиня красные (П. Д. Боборыкин. Поумнел..., XIII, 1890).

<sup>18</sup> Понятно, что если в здох — вдох, наполняя грудь воздухом, поднимает и расширяет ее, то в здох — выдох, напротив, заставляет грудь опуститься и сжаться. Ср.: «Вздохи следовали один за другим и теснили грудь его» (Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника). Исходя из этого, вздох в карамзинском «облегчить стесненную грудь вздохом» должен пониматься именно как в здох — вдох. Ср. контекст этого выражения: «Деревенский начальник лежал на земле и не кричал уже для того, что почитал себя мертвым. Б\* поднял его, поставил на ноги и, тряся за ворот, говорил ему: “Если ты не безумный, то скажи мне, с каким намерением вы пришли вооруженные и за кого меня принимаете?” Приятель мой старался разуверить его, показал ему свой паспорт и говорил с ним так тихо и ласково, что бедный храбрец перестал дрожать, облегчил вздохам стесненную грудь свою, бросился обнимать Б\* и сказал...» (Письма русского путешественника, март 1790). Ср. также: «Тосклиwyй сон прервать единым звуком, / Упиться вдруг неведомым, родным, / Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, / Чужое вмig почувствовать своим...» (А. А. Фет. «Одним толчком согнать ладью живую...», 1887).

<sup>19</sup> Ср.: «...Боже, что бы могло быть из такого характера и при такой красоте! Но несмотря на все усилия, на образование даже, — все погибло! Неошлифованный алмаз — я несколько раз говорил это... И Афанасий Иванович глубоко вздохнул» (Ф. М. Достоевский. Идиот, I, XVI, 1868).

<sup>20</sup> Ср. случай, где контекст таков, что позиция этого имени на границе двух высказываний позволяет интерпретировать его и как «тосклиwyй» в здох — выдох, исходя из содержания предтекста, и как в здох — вдох с функцией «приступа», что подсказывается посттекстом: «Друг сердца, сильным страх, / Красою образ Дида, / С унынием в очах, / С блестаньем Световида, / Сказал: прости навек! / Шелом надвинул бранной, / Вздохнул, как вихъ потек, / И с сонмом ратных сил / Исчез в дали туманной...» (В. А. Жуковский. Песнь барда над гробом славян-победителей, 1806).

<sup>21</sup> В здоху — вдоху, выполняющему функцию «приступа», может быть со- и противопоставлен специфический в здох — вдох — всхлип, которым избываются плач и рыданье: «Он очень похудел с тех пор, как я его видел в последний раз, взгляд его бегал. Он изредка вздыхал, как дитя после плача...» (И. С. Тургенев. Силаев, 1870-е); «...он смолк, закрыл лицо руками и затрясся от беззвучных рыданий. А наплакавшись, глубоко вздохнул, снял темный широчайший халат и лег спать...» (И. А. Бунин. Свет зодиака, III, 1907). Ср. толкование БАС (квалифицирующего всхлип как просторечие): «Звук прерывистого рыдания» (2, 395). Ср. также: «Эмилия лежала в креслах, склонив голову на плечо, закрыв глаза; крупные капли слез катились из-под опущенных ресниц; всхлипывания приподыimalи ее грудь судорожными движениями» (Н. А. Бестужев. Русский в Париже 1814 года, 1840). По-видимому, нужно учитывать, что и здесь, при сильном плаче и рыданиях, имеет место специфическое состояние «задыхания». Ср. стандартный образ слез, которые «душат». Ср. также: «Она замолчала; грудь ее спиралась рыданием» (В. А. Жуковский. Перевод с франц. [Е. Суза Ботелло. Мария], 1808).

<sup>22</sup> Отсюда — с понятным сдвигом значения — переход от дышать ‘осуществлять процесс дыхания’ к обобщающему и обобщенному дышать ‘живь’ть’: «[Дон Гуан] Вели — умру; вели — дышать я буду / Лишь для тебя...» (А. С. Пушкин. Каменный гость, IV). Отсюда естественно дыхание — ‘живь’ть’, и далее — дыхание ‘живое существо’: «Отныне тому, чье даянье / Все блага земные, и сила, и честь, / Кому не помедлю на жертву принести/ И силу, и честь и дыханье» (В. А. Жуковский. Граф Гапсбургский, 1818). Ср. также другие примеры, отражающие связь дышать — живь’ть: «Но жив один, опасный мститель; / Пока он дышит... победитель, / Не доверяй своей судьбе» (В. А. Жуковский. Поликратов перстень, 1831); «Погода была чудная. Это было одно из тех невыразимых мгновений, когда живь’ть значит не вспоминать, действовать или надеяться, а просто дышать, смотреть на небо, на зелень, на цветы...» (Н. Ф. Павлов. Ятаган, 1835); «— ...Вы вот еще будете живы... Будете ходить, смотреть на эту луну, дышать, пройдете мимо моей могилы...» (М. В. Арцыбашев. Санин, IV, 1907); «Я знаю: он жив, он дышит, / Он смеет быть не печальным» (А. Ахматова. «Безвольно пощады просят...», 1912). Ср.

также фразеологизованные *дышать одним воздухом с кем* и *дышать одним дыханием с кем* в параллель с *жить одной жизнью с кем*: «Иметь друга, иметь существо, усвоивающее каждое движение души твоей, дышащее одним с тобой дыханием, живущее одною с тобой жизнью...» (А. В. Тимофеев. Художник, 1834). Отсюда *не дышать и перестать дышать* — ‘умереть’, а *переставать дышать — умирать*: «Я слышать мог, как он дышал, / Как он дышать переставал...» (В. А. Жуковский. Шильонский узник, VII, 1821—1822).

<sup>23</sup> Сравнительно редко используемое в финитных формах, это значение вполне обычно в номинализированном *дыхание ‘выдох’*: «Молодой человек подвинул кресла к камину, посадил на них прекрасную женщину, разул ее и старался согреть прелестные ножки своим дыханием...» (В. Ф. Одоевский. Княжна Мими, V, 1834); «Александр... заговорила она, и приступ нервности зазвучал в ее голосе. Ее дыхание, горячее и порывистое, доходило до его лица...» (П. Д. Бородыкин. Поумнел..., IX, 1890); «Его согревало дыханье вола...» (Б. Пастернак. Рождественская звезда, 1947), откуда далее уже вполне опредмеченное значение ‘след от дыхания’: «На стекла вечности уже легло / Мое дыхание, мое тепло...» (О. Мандельштам. «Дано мне тело...», 1909).

<sup>24</sup> Отсюда выразительный художественный образ ‘смешения’ дыханий влюбленных: «Красавица обнимала его лилейными руками, сердце ее билось, билось так близко его сердца; дыхание ее смешивалось с его дыханием...» (К. Н. Батюшков. Предслава и Добриня, 1810). Отсюда же *не дышать (бояться дышать / дохнуть) (на кого — на что)* со сдвинутыми значениями (1) ‘молча, так, чтобы не помешать, не пропустить что-либо’: «Я не дышал во время представления, боялся проронить слово...» (Ф. Ф. Вигель. Записки, I, 1850-е) и (2) ‘так, чтобы не причинить ни малейшего вреда или беспокойства кому-либо’: «Климена скромная, на ляльку опустясь, / Ни молвить, *ни дышать не смей*, / Любуется плодом бесценным Гименея...» (И. И. Дмитриев. К А. Г. С(еверино)й, 1791). Ср. в этой связи также фразеологизованные *затаить (притаить) дыхание*. Ср. также не отмеченный нашими словарями и, по-видимому, принадлежащий поэтическому идиолекту Н. П. Огарева глагол *сдыхаться* в значении ‘слегать вместе с дыханием’, также акцентирующем фазу *выхоха*: «И я один хранил в воспоминанье / И утро тихое, и ваши спокойный лик, / И светлос, как в праздник одеянье, / И то, что с ваших уст, как веянье весны, / Сдыхались Шиллера мечтательные сны» (К Д., XXXII, 1842); «Еще до слуха и до сердца не касаясь, / Слова уже остынут, с уст моих сдыхаясь» (Разговор, 1843).

<sup>25</sup> Ср. *вдыхать в себя* с эксплицитным выражением субъектной ориентации: «— Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала! — молвила она, *вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи, тютюна и прокислых овчин*» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы, 1874—1876) и объектно-ориентированное *вдыхать 2* в двух его семантических вариантах: редком физическом (об искусственном дыхании) и обычном — переносном — ментальном значении ‘внушать, вселять что-л. в кого-л. / кому-л.’: «Сюжетов и планов нагромоздилось во время езды ужасное множество (...) Но эжар *вдыхает страшную лень...*» (Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому, 15 июля 1835); «Балет и опера — царь и царица петербургского театра. Они явились блестящее *(sic!)*, шумнее, восторженнее прежних годов, и упоенные зрители позабыли, что существует величавая трагедия, *вдыхающая невально высокие ощущения в согласные сердца* сей безмолвно слушающей толпы» (Н. В. Гоголь. Петербургские записки 1836 года, II); «Явись: *вдохни восторг и рвенье* / Полкам, оставленным тобой» (А. С. Пушкин. «Перед гробницею святой...», 1831), откуда далее — ‘вдохновлять’. Ср.: «“Последний день осужденного” — ужасная прелест!.. Это *вдохнуто* темницей, писано слезами, печатано гильотиной...» (А. А. Бестужев — Н. А. Полевому, 18 мая 1833). То же в редком (не отмеченном словарями) абсолютивном употреблении: «Хороши краски кабинета, но краски природы лучше. Моя палитра — синь моря, радуга неба, льдины гор, мрак тучи. Колдун — воспоминание, но живая природа — бог. Она свежит, *она вдыхает*, она сама расстилается слогом...» (А. А. Бестужев — Н. А. Полевому, 18 мая 1833).

<sup>26</sup> Явление синонимических замен одного из компонентов усилительных образований широко распространено в различных типах художественной речи, но недостаточно изучено. В данном случае импульсом преобразования могло стать подсознательное стремление пишущего преодолеть видовую асимметрию глагола *вздохнуть* З (ср. *дохнуть / дыхнуть* — \**дохать, \*дыхать; вздохнуть* З — \**вздыхать* З). Действительно, во всем наличном материале глагол *вздыхать* З представлен одним-единственным употреблением: «...то разовьет он (змей) свои кольцы, и добыча его, вздыхая свободно, мыслит о побеге и свободе, — то снова стискивает он ее в своих губительных объятиях...» (Н. Иванов — Пушкину, 2 ноября 1835), где более естественным было бы «*дыша свободно*».

<sup>27</sup> Ср. текст, где в близком соседстве представлены два рассмотренных семантических варианта глагола *вздохнуть*: «И послал он (Московский князь Семен) по княжну Евпраксию, дочь князя Смоленского. Княжна плакала, не хотела — она уж, видите, любила князя Фоминского, Федора Красного. (...) только, как люби не люби, Смоленский князь прикрикнул на дочку свою — *замерла, бедная, будто сердечушко выскоило у нее из груди...* Что же? Ходит, говорит, смотрит глазами, а точно каменная — и как только привели ее к князю Семену, он хочет обнять ее — ан она и побледнеет; хочет поцеловать — она и помертвеет. (...) князь Семен *вздохнул тяжело* — хороша была княжна Евпраксия, — посадил ее в возок, насыпал ей досканец золота и отправил ее к отцу. Выехала она из Москвы, и в первый раз *вздохнула как живая...*» (Н. А. Полевой. Клятва при гробе Господнем, 2, VI, 1832).

<sup>28</sup> Ту же связь значений обнаруживает и (отмеченный только в [БАС 1961: 12, 318—319]) глагол *раздышаться*: 1. Отдыхаться. Начать дышать легко, свободно: «...один раз, когда Нельгин утолял жажду, какой-то взрослый болван, верзила-разносчик, снял со своей головы лоток, поставил бережно на мостовую и равнодушно, но расчетливо ударил мальчика по затылку. Нельгин захлебнулся и *едва раздысался...*» (А. И. Куприн. Храбрые беглецы, 1917); 2. Отдохнуть, успокоиться. «— Конца-краю этим заботам и неприятностям нет. Уехать бы куда-нибудь от людей, *раздышаться...*» (П. Д. Боборыкин. Чертова кукла. 1892).

<sup>29</sup> Из трех воспроизведенных здесь иллюстраций БАС к второму — «отдыхательному» значению *передохнуть* (*передохнуть*) только первая может быть признана соответствующей предложенному толкованию. Третья не исключает возможности «задыхательного» понимания ситуации, а вторая только такое понимание и допускает. Ср. также: «— О-о-о! — *вдруг застонала она и крепко прикусила губу.* — Липатьевна, голубушка, подай мне ту коробку с облатками! — *сказала она, передохнув*» (В. В. Вересаев. Порыв, IV, 1894).

<sup>30</sup> Иллюстрация БАС к «отдыхательному» значению оборота *перевести дух* неудачна, поскольку предтекст говорит не просто о физической усталости, а о специфическом — после и в результате изнурительной «рубки»! — состоянии «задыхания» каждого солдата в цепи. Ср., с одной стороны: «Вступая на лестницу, я готов был хвалить с жаром монархию и некоторых вельмож, покровителей отечественных муз; но докучный Старожилов воскликнул, с трудом переводя дух и отдыхая на первых ступенях: “Боже мой! какая крутая лестница! И как она узка и безобразна...”» (К. Н. Батюшков. Прогулка в Академию художеств, 1814) и, с другой, «чистые» примеры, где «перевод духа» никак не связан ни с дыханием, ни с задыханием: «С тех пор, как я здесь, я до того был завален делами (...), что решительно не имел времени дух *перевести...*» (И. С. Тургенев — Н. С. Тургеневу, 9 февраля 1865). Отсюда — с дальнейшим семантическим сдвигом: ‘отдохнуть’ → ‘успокоиться’: «Только три или четыре дня по приезде моем на родину я чувствовал себя хорошо. Потом беспрерывные расстройства в желудке, в нервах и в голове от этой адской духоты, томительнее которой нет под тропиками. Все переболело и болеет вокруг нас. Холера и все роды поносов **не дают перевести дух**» (Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову, 12 июля 1848).

<sup>31</sup> Ср. пример, где *перевести дыхание* должно, по-видимому, пониматься именно в значении ‘успокоиться’: «Бумага пылала; она смотрела, опершись обеими руками на стол, и, когда потух

огонь, дотлелся малейший клочок, самый глубокий, самый тяжелый вздох вырвался из ее груди, *тут только, казалось, она перевела дыхание...*» (Н. Ф. Павлов. Маскарад, 1835). В том же — не отмечаем словарями! — значении может использоваться и глагол *передохнуть*: «Зачем я остановился здесь? Неужели разрешать нравственные задачи жизни человеческой? *Нет!* мое сердце было так полно чувствами, что я не мог ехать далее — мне надобно было передохнуть здесь — мир счастья душил меня!..» (Н. А. Полевой. Дурочка, I, 1839).

<sup>32</sup> Единственный во всем имеющемся материале случай использования в рассматриваемом значении соотносительной формы *н е с о в е р ш е н н о г о* вида — *отдыхать* может объясняться тем, что значение ‘выхода из задыхания’ перекрывается здесь значением ‘восстановления физических сил’: «*Сначала ревущие кони реались один перед другим; но, пробежав верст двадцать, стали призадумываться и наконец, поднявшись с трудом на крутую гору, пошли смиренным шагом. (...) Пока усталые кони, идя шагом, отдыхали, Заруцкий рассказывал мне про настоящее свое житье-бытье....*» (М. П. Погодин. Вечер на Хопре, 1834). Дальнейшее развитие семантики глагола *отдохнуть* ведет его к значению кратковременного перерыва (перерыва, а не прекращения!) действия — и, значит, без акцента на восстановлении физических или душевных сил его субъекта: «На столах вместо вина — пиво и пунш. Осененные облаком, с глиняными трубками в зубах собеседники пьют, но молча и *отдыхая только, чтоб всасывать и выпускать из себя табачный дым*» (А. О. Корнилович. Андрей Безыменный, XV, 1828). То же устаревшее значение у соотносительного имени *отдых* в ментальном контексте в составе фразеологизованного оборота *без отдыха*: «Он сделал себе общественное положение своими нападками и заставил бесхарактерное общество терпеть розги, которыми он *хлестал его без отдыха*» (А. И. Герцен. Былое и думы, 2, XIV, 1856). Ср. также специализированное значение слова *отдых* в метаязыке литераторского дела в предпушкинскую эпоху: «Всякий предмет имеет единство и, несмотря на обширность свою, может быть заключен в единой речи. Препинания, *отдыхи*, отсечения должны употребляться в предметах различных между собою...» (К. Н. Батюшков. Об искусстве писать, 1805).

В этой связи может быть понято также находящееся за пределами нормы новейшее современное значение *отдохнуть* — *отдыхать* ‘развлечься — развлекаться’ (и с дальнейшим сужением и специализацией — об организации выпивки).

<sup>33</sup> Ср. еще пример из четвертой главы хрестоматийного текста «Тараса Бульбы» в сцене встречи Андрия с татаркой, служанкой его возлюбленной, когда Бульба в предсонье едва не разоблачил его измену: «Если бы кто-нибудь в то время посмотрел на Андрия, то бы почел его за мертвца, вставшего из могилы. — Эй, смотри, сын! ей-богу, отдало тебе батогом так, что до представления света будет болеть спина. Бабы не доведут тебя к добру. — Сказавши это, Бульба (...) повернулся на другую сторону и заснул. *Андрей отдохнул*».

<sup>34</sup> Тщательно прописанная здесь Пушкиным натуралистическая деталь общей картины — ‘облатка’, ‘сохнувшая на воспаленном языке’ Татьяны, — не замечается ни комментаторами, ни читателями, хотя, несомненно, заслуживает самого пристального внимания и обдумывания.

<sup>35</sup> Вздох I, поскольку он принадлежит естественному и в норме беспрерывному процессу дыхания, выделяется из него лишь как виртуальная дискретная единица и предстает нам как физическая и физиологическая реальность, как дыхательный ‘квант’ только в случае так называемого ‘последнего вздоха’. Ср. также ‘последнее дыхание’: «...едва они успели войти в комнату, как государыня тихо и неприметно испустила последнее дыхание» (Д. Д. Благово. Рассказы бабушки, 17, VII, 1850-е), где дыхание — ‘вздох’. Ср. также к этому последнему значению, не отмеченному словарями: «Смертный час, видимо, близился, — и ужасна казалась кончина умирающему. (...) Каждое дыхание его было вздохом тоски неизъяснимой...» (А. А. Бестужев. Вечер на Кавказских водах в 1824 году, 1830); — Но соседка твоей Софии, Жозеф, прелестна, как сама задумчивость, — посмотри: каждый взор ее черных глаз блестит грустью, будто слеза; *каждое дыхание вырывается вздохом...*» (А. А. Бестужев. Фрегат

«Надежда», IX, 1832); «Я бы знала все твои желанья, / Поняла бы гаснущую речь, / Я б сумела каждое дыханье, / Каждый трепет сердца подстеречь...» (А. Н. Апухтин. Королева, 1860-е).

То же в случае переносного употребления членов этой пары: «На пригорке то сырьо, то жарко, / Вздохи дня есть в дыханье ночном...» (А. А. Фет. Вечер, 1855). Ср. также: «Травы спят красивые, / Полные росы. / В небе тайно лживые / Лунные красы. / Этих трав дыхания / Нам обманный сон. / Я в твои мечтания / Страстно погружен...» (А. Блок. «Травы спят красивые...», 1902); «...опять наступила глубокая тишина, полная шороха волн и дыханий машины» (И. А. Бунин. Море богов, III, 1907).

<sup>36</sup> Именно с этим — звонким («голосовым») — вариантом вздоха связана возможность использования вздоха в качестве эталона сравнения и базы метафорического обозначения звуков певческого голоса и струнных инструментов: «Рояль был весь раскрыт; и струны в нем дрожали, / Как и сердца у нас за песню твоей. / (...) / И много лет прошло, томительных и скучных, / И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, / И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, / Что ты одна вся жизнь, что ты одна — любовь...» (А. А. Фет. «Сияла ночь...», 1877).

<sup>37</sup> Ср. традиционный и стертый образ дыхания ветра: «... поля, покрытые нивами, которых сизые волны колебались тихо от дыхания ветра» (М. С. Жукова. Вечера на Карповке, I, 1837) и параллельный образ дыхания паровоза: «С призраком дыханья паровоз докучный/ Мчится и грохочет мертвыми громами...» (В. Соловьев. На поезде утром, 1896); «... и вот как-то космато зачернел вдали паровоз, показался медленно идущий под его тяжкое дыхание страшный треугольник мутно-красных огней...» (И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева, 5, VI).

<sup>38</sup> Ср. более сложный случай, где «вздохи паровоза» находятся в широком олицетворяющем контексте всеохватной тоски Анненского: «Мы на полустанке, / Мы забыты ночью, / Тихой лунной ночью, / На лесной полянке... / Бред — или воочью / Мы на полустанке / И забыты ночью? / Далеко зашел ты, / Паровик усталый! / Доски бледно-желты, / Серебристо-желты, / И налип на шпалы / Иней мертвенно-талый. / Уж туда ль зашел ты, / Паровик усталый? / Тишина в лунном свете, / Или только грэза / Эти тени, эти / Вздохи паровоза / (...)?» (И. Анненский. Лунная ночь в исходе зимы, 1906).

<sup>39</sup> Наряду с «ох»-вздохами, характеризующимися слабо лабиализованным [o]-образным вокалическим центром и гортанным поствокальным консонантным сужением, существуют еще:

(1) «Ах»-вздохи с широким открытым [a]-образным вокалическим центром: «Любовь Аполлоновна была что-то сердита; она бросилась в кресла внутри палатки и глубоко вздохнула с воскликанием совершенно ненужным: “Ах, как я устала!”...» (А. Ф. Вельтман. Сердце и думка, 2, XVI, 1838); «Из глубины кабинета, из красноватой полумглы, послышался чей-то вздох, глубокий и мгновенный, словно шепотом произнесенное “ах!” (...) Снова короткое «ах!» выплеснулось из полумглы. Вздыхай, отчаявайся, простирай руки, лей слезы, теряя остатки своей нехитрой надменности...» (Б. Окуджава. Путешествие дилетантов, I, 40, 1971—1977). Ср. также: «Ах, какая чудная луна! — томно вздохнула Вера. Соня засмеялась. — Вот, смотри, Митя, она всегда такая: просто не может равнодушно видеть месяца. (...) Такая сентиментальная» (В. В. Вересаев. Без дороги, 1892—1895). Отсюда Ахалкин как антропонимическая маска сентиментального вздохателя и, в частности, шутливое эпиграмматическое прозвище Карамзина: Пускай наш “Ахалкин” стремится в новый путь / И вздохами свою наполнив томную грудь, / Опишет свойства плакс, дав Игорю и Кию / И добреньких славян и милую Россию» (С. Н. Марин. М<sup>и</sup>лонову М<sup>ар</sup>ин здравия желает, 1811).

(2) Сильно напряженные [ъх]-вздохи с [ъ]-образным вокалическим центром и с так называемым «твердым приступом» («гортанным щелчком»), которые — в связи с особенностями русской графики, не имеющей специальных средств ни для обозначения «средних» (так называемых «редуцированных») гласных, ни для обозначения гортанного щелчка — не получают письменного выражения и потому ускользают от нашего сознания и оказываются за границами

научного описания. Между тем можно предполагать, что этот тип вздохов представлен в широком ряду звуковых образований, которые русский язык называет **кряхтением**.

Если свести воедино различающиеся лишь деталями свидетельства наших словарей, то мы получим следующее определение глагола *кряхтеть*: «Издавать негромкие, глухие или глуховатые, неясные, отрывистые, стонущие звуки (при боли, усилии, физическом напряжении, неудобном положении и т. п.)» [Уш. 1935: I, 1537; БАС 1956: 5, 1769; Ож. 1975: 284; МАС 1986: II, 142]; [ОШ 1997: 311] — определение, которое восходит к Далю, вводящему в этот толковательный ряд также *охать* — глагол чистой семантики «вздоха» [Даль 1881: II, 193].

В этой связи обращает на себя внимание регулярное текстовое соединение глаголов *вздыхать* и *кряхтеть*, *стонать* и *кряхтеть* и такое же соединение их номинализаций: «Они (жители дома) часто слышат, как оно (привидение) ходит по чердаку, *вздыхая и кряхтя*, как будто на плечах у него тяжелая ноша, которую оно сбрасывает иногда с таким шумом, что полы в доме трещат и окна дрожат» (А. Погорельский. Двойник, или Мои вечера в Малороссии, 1, 2, 1825); «Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу *кряхтел и вздыхал* (переживая потерю украденного пуделя)» (А. И. Куприн. Белый пудель, VI, 1903). То же в словарных иллюстрациях: «[Раменский] конфузливо говорил: — Свинство! Все *кряхчу, стону*, а раны пустячные. Вересаев. Исполнение земли» [МАС].

(3) Вздохи с сильным лабиализованным [y]-образным центром и двоякими — губно-губными и/или придыхательными пред- и поствокальными консонантными сужениями типа [фу:] // [фу:h] // [hy:h] // [y:h] // [у:f:] и т. п., стандартными словными фонологизованными представителями которых являются междометия *уф* и *ух*. Ср.: «Уф, как задохнулся! *Дайте дух перевести*, — отвечал он, расстегивая жилет, — проклятая лестница: ступень будет с полтораста...» (В. А. Вонлярлярский. Воспоминание о Захаре Ивановиче, 1851); «— Уф! — звучно вздохнула она (с трудом выпроводив назойливого гостя) и жестом руки пригласила Луку Ивановича сесть поближе...» (П. Д. Боборыкин. Долго ли? XX, 1875); «— Уф! — сказал он, *выпуская из легких весь воздух*. — То есть вот как замучился!» (А. П. Чехов. Ненастье). Словарные толкования либо сводят его значение к «выражению» «усталости, утомления, истомы» [Уш. 1940: IV, 1027] или осложняют этот комплекс противоположным значением «облегчения» [ОШ 1997: 844] и « успокоения» (БАС 1964: 16, 1096; МАС 1988: IV, 538; НСРЯ 2000: II, 881). Едва ли однако следует жестко противополагать одно другому: «облегчение» и «успокоение» могут пониматься как разрешение и выход из «усталости» и «истомы». Ср.: «Она сделала шаг с громким вздохом то ли страдания, то ли облегчения...» (Б. Окуджава. Путешествие дилетантов, I, 40, 1971—1977). То же можно сказать и о междометии *ух!* Ср. «...Вот едет ко мне Безобразов — прощай. Ух, на силу отвязлся. Два часа сидел у меня...» (А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной, 15 сентября 1834). В этой связи можно было бы обратить внимание на необходимость разграничения *ух 1* и *ух 2* в зависимости от соотношения с *уф*. Ср. *Ух / уф как устал!* и *Ух / \*уф как здорово! / какая красота!..*

Ср. также в отражающем живую речь письме П. В. Нащокина Пушкину 10 января 1836 г. свидетельство прямой связи междометий *ох* и *уф* с перечеркивающей заменой первого на второе: «...и теперь такие слухи носятся *(sic !)* по Москве, что *уф* (переделано из *ох*) [для меня] как не хороши» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, М., 1997, Т. 16. С. 75; курсив мой. — А. П.).

Можно предположить, что описанные выше *уф*-вздохи-выдохи со сложной семантикой утомления и облегчения связаны с тем «дыхательным» действием, которое мы называем глаголом *отдуваться*, значение которого словари сводят к физическим характеристикам дыхания — «тяжело и шумно дышать». Ср. еще в этой связи выразительный пример из Толстого: «Дай-ка сюда это письмо, — сказал Кутузов, обращаясь к князю Андрею. — Вот изволите видеть, — и Кутузов, с насмешливо улыбкой на концах губ, прочел по-немецки австрийскому генералу следующее место из письма эрцгерцога Фердинанда: (далее следует немецкий текст больше

чем на полстраницы) *Кутузов тяжело вздохнул, окончив этот период...*» (Война и мир, 1, 2, III). О широком комплексе проблем, связанных с фонетикой русских междометий, см. в работе [Пеньковский 1973].

<sup>40</sup> Отсюда — как специальный прием, используемый русской художественной речью с конца XIX в., — представление речевого действия в поглощении сопутствующим вздохом: *сказать со вздохом* → *вздохнуть ‘сказать со вздохом’*: «О Петя, Петя! Всегда-то ты меня обижаешь! — *вздохнула* Вера...» (В. В. Вересаев. Без дороги, I, 1894); «Дед *вздохнул*: — Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум дает...» (М. Горький. Детство, 1913).

## ЛИТЕРАТУРА

- БАС — Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л.: ИАН, 1950—1965.
- МАС — Словарь русского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1986.
- НСРЯ — Новый словарь русского языка. М.: Русский язык, 2001.
- Ож. — *Ожегов С. И. Словарь русского языка*. М.: Русский язык, 1975.
- ОШ — *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка*. М., 1997.
- Пеньковский 1973 — А. Б. Пеньковский. Фонологическая интерпретация фонетических долгот гласных в русском языке (В связи с особенностями словообразования первичных русских междометий) // Проблемы теоретической и прикладной фонетики и обучение произношению. М., 1973. С. 59—63.
- Пеньковский 1995 — А. Б. Пеньковский. Глагольное действие *sub specie adverbiorum*: 2. Ответные действия и языковые ответы // Грамматические категории и единицы. Синтагматический аспект. Тез. междунар. конф. Владимир, 1995.
- Пеньковский 2000 — А. Б. Пеньковский. Загадки пушкинского текста и словаря («Евгений Онегин», 1, XXXVII, 13—14) // *Philologica*, 1999/2000. М., 2001. В. 6. № 14/16.
- САТГ — Словарь автобиографической трилогии М. Горького: В 6 вып. Л., 1974—1987.
- СП — Словарь языка Пушкина: В 4 т. М., 1956—1961.
- СЦРЯ — Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской академии Наук. СПб., 1867.
- Уш. — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова: В 4 т. М., 1935—1940.
- Čiževsky 1953 — *Eugenij Onegin. The Russian text, edited with introduction and commentary by Dmitrii Čiževsky*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1953.
- Emmet 1999 — A. S. Pushkin. Eugene Onegin. Translated by Olivia Emmet, Svetlana Makourenkova. Progress. Tradition. Moscow, 1999.
- Hofstadter 1999 — Eugene Onegin: A novel in verse. A novel versification by Douglas Hofstadter. Basic Books. New York, 1999.
- Johnston 1979 — Eugene Onegin. Translated by Charles Johnston. — Scolar Press, Yorkshire. 1977; The Viking Press, New York, 1978. Republished with minor revisions by Penguin Books, 1979.
- Katzner 1984 — *Katzner Kenneth. English — Russian. Russian — English dictionary*. Wiley-Interscience Publication. New York, 1984.
- Ledger 2001 — Pushkin's Yevgeny Onegin. A dual language version. English translation by G. R. Ledger. Oxquarry Books LTD. MMI. Oxford, 2201.
- May 1999 — Eugene Onegin: Novel in poems. Translated by W. May // Aleksander Pushkin. Lyrical poems. Tragedy. Story. Moscow; Bishkek, 1999.
- Nabokov 1990 — Eugene Onegin: A novel in Verse. Translated by Vladimir Nabokov. Volume I. Introduction and Translation. Princeton University Press. 1990.

*Мария Лангебен (Иерусалим)*

## ТЫ И ВЫ В ФИНАЛЬНОЙ СЦЕНЕ «КАМЕННОГО ГОСТЬЯ» А. С. ПУШКИНА

Пустое вы сердечным ты  
Она, обмолвясь, заменила...

*А. С. Пушкин*

**В** 4-й сцене «Каменного гостя» Дон Гуан под чужим именем входит в дом вдовы Командора. Этот финал предсказан в самом начале драмы, когда Дон Гуан, мимолетно увидев на монастырском кладбище закрытую «вдовьим черным покрывалом» Дону Анну, мгновенно решает: «Слушай, Лепорелло, / Я с нею познакомлюсь». Знакомство, с немедленным объяснением в любви, состоялось в 3-й сцене, на том же кладбище. Дон Гуан объяснился Доне Анне и даже получил приглашение назавтра к ней в дом.

От начала драмы до заветного tête-à-tête Пушкин провел своего героя через ряд острых ситуаций, в которых он поворачивается разными сторонами своего непознаваемого характера. Он — искатель приключений и острых ощущений, неизменный победитель в дуэлях и любви и — на удивление чуткий собеседник. Его реакции мгновенны и точны, и, в зависимости от ситуации, он может быть бессердечным или осторожным, отчаянно дерзким или вкрадчиво любезным, бесчеловечным или чутким, эгоистичным или сентиментальным. Постоянно в нем только одно — его талантливость.

На протяжении трех сцен проявления высокой одаренности Дон Гуана постепенно усиливаются и, наконец, с несомненностью раскрываются в 3-й сцене. Дон Гуан знакомится с Доной Анной на монастырском кладбище не случайно, а по тщательно разработанному и виртуозно выполненному плану. На глазах у Доны Анны он сбрасывает личину монаха, превращается в безнадежно влюбленного незнакомца и зачаровывает неприступную вдову прямо у гробницы ее мужа своим ослепительным красноречием. Похоже, что у Доны Анны от его речей слегка затуманилось сознание, иначе как могла бы она пригласить в свой уединенный дом совершенно неизвестного ей человека, — лишь уже пригласив, она спохватилась, что не знает даже имени незнакомца<sup>1</sup>: «Да, завтра, завтра. / Как вас зовут? — Диего де Кальвадо». В самом деле, страстная прямолинейность Дон Гуана в этой сцене

ошеломительна. Какая это прямолинейность — видимая или истинная, определить нельзя, ибо Дон Гуан — гениальный актер, живущий в своей роли и неотделимый от нее.

Но Дон Гуан не только актер. Как несравненный душевед, он манипулирует людьми, дирижируя их действиями по своей воле и прихоти. Он себялюбец, но эгоизм его не разумен в обыденном смысле, это эгоизм драматурга, художника<sup>2</sup>. Дон Гуан не признает никаких ограничений, кроме самим собой назначенного поэтического задания, и устраивает свою жизнь как бесконечную увлекательную драму. Путь его от 1-й сцены к 4-й был полон разнообразных трудностей, но он блестяще и дерзко устраниет все препятствия. Побег из ссылки, дуэль, любовь Лауры, убежище в монастыре, знакомство с Доной Анной — все удается ему, и не по случайности, а в силу его действительного превосходства. На протяжении трех сцен он неустанно доказывал себе и читателю, что может добиться всего, чего желает. Для полного триумфа ему осталось только одно — завоевать Дону Анну, набожную вдову убитого им Командора. И вот наконец он входит в дом Доны Анны для победы, которая станет его последним подвигом на поприще любви.

Задача, которую ему предстоит во время визита решить, головоломно сложна. Мало того, что Дона Анна должна его люто ненавидеть. Эта «странная вдова» вообще «никогда с мужчиной / Не говорит». Дон Гуан, прия к Доны Анне под чужим именем, хочет заставить ее полюбить себя, Дон Гуана, убийцу ее мужа, — именно себя, запятнанного преступлением, а не приятного, невинного Диего де Кальвадо.

*Tête-à-tête* начинается, и разговор вначале течет спокойно, но постепенно противостояние партнеров обнажается, обостряется и становится невыносимо напряженным. Искусно лавируя, ведя диалог к своей цели, Гуан-Диего аннулирует свое фиктивное имя и завоевывает любовь вдовы под своим настоящим именем. Отношения их стремительно меняются и проходят очень непростую эволюцию: от осторожной вначале вежливости — к обоюдной агрессивности, которая постепенно превращается в теплую взаимность и наконец увенчивается обещанием любви.

Диалог во всех «Маленьких трагедиях» отличается своими искусно встроенными подтекстами. С. М. Бонди писал:

Все время мы видим, как сквозь простой и прямой смысл реплик просвечивает друг, более глубокий психологический план, как подлинные скрытые желания, чувства и мысли говорящих образуют как бы второй диалог, сопровождающий речи, ведущиеся вслух. (...) Изумительно в этом отношении построены сцены Дон Гуана с Доной Анной [Бонди 1983, 226—227].

Вот этот второй тайный диалог иногда можно выявить и уточнить по совершиенно определенным языковым маркерам. Так, в заключительной сцене «Каменного гостя» неустойчивость взаимоотношений собеседников проявляется в их речи, в частности в чрезвычайной изменчивости обращений. Переходы от одного эмоционального состояния к другому можно проследить по тем именам и местоимениям, с которыми партнеры обращаются друг к другу. В этой статье мы сосредоточимся

на одних только именах и личных местоимениях (*вы, ты, он / она*) в 4-й сцене, в надежде на то, что необычайное разнообразие форм обращения, может быть, приоткроет некоторые тайны пушкинского драматического искусства.

\* \* \*

В любом акте прямой коммуникации обращение к партнеру играет первостепенную роль. Тип обращения определяет уровень иерархию отношений. В литературном диалоге, где все детали рассчитаны и структурированы, способы обращения приобретают особую важность. Собственные имена, с титулами и без них, анафорические и дейктические замены имен — по этим элементам можно определить степень близости собеседников, а значит, и всю сеть отношений между ними.

Произнося имя своего собеседника, говорящий может сделать это имя вокативным или невокативным, тем самым определяя коммуникативный статус своего партнера на данный момент. Имя-вокатив — это сигнал полной, прямой коммуникации двух собеседников; оно замещается анафорическим местоимением 2-го лица, в единственном или множественном числе: *ты* или *вы*<sup>3</sup>. В обоих случаях носителю имени дарован статус участника в беседе, однако расстояние между вежливым *вы* и фамильярным *ты* очень велико и ощущается как резкое различие в типе отношений. *Вы* соединяет партнеров вежливо и осторожно, иногда холодновато, тогда как *ты* тесно сближает говорящих, делает их отношения простыми и интимными.

Но если имя собеседника произнесено как невокативное, то оно как бы отстраняет собеседника, формально выключает его из акта коммуникации. В этом случае имя анафорически заменяется местоимением не 2-го, а 3-го лица, *он, она, они*. Такая референция символически затрудняет прямой контакт, и собеседник оказывается посторонним, за пределами досягаемости. Доступ к нему прегражден отдаляющим 3-м лицом.

\* \* \*

Особенность диалога в 4-й сцене состоит в том, что Дона Анна и Дон Гуан пользуются попеременно всеми формами обращения, вокатив то и дело сменяется невокативом, единственное число — множественным, 2-е лицо — 3-м.

Дона Анна открывает сцену, обращаясь на *вы* к Диего де Кальвардо, а в конце свидания она обращается на *ты* к Дон Гуану. Расстояние между этими двумя местоимениями всегда неблизкое, а в этом особом случае оно еще более велико, чем обычно. Изменилась не только степень близости партнеров, но и сами партнеры изменились: в начале сцены Дона Анна говорит с почти незнакомым поклонником Диего, обаятельным и неопасным, а в середине сцены его вдруг заменил Гуан, убийца ее мужа. Между Доной Анной и ее заклятым врагом, внезапно оказавшимся у нее в гостях, начинается бурный диалог, с каскадом различных настроений. Неотъемлемой частью этого стремительного потока является неустойчивость

имен, личных местоимений и соответствующих им глагольных форм. Референция на протяжении этой сцены меняется настолько часто, что собеседники успевают перебрать практически все допустимые формы обращения — до тех пор, пока не достигают взаимного *ты*. Мелькание референции в этом диалоге любопытно не только как формальный прием, но и как выражение душевного переворота, переживаемого обоими героями.

Чередование местоимений и вокативов далеко не хаотично; взглянувшись, можно увидеть в нем систему и точно рассчитанную намеренность. Ступени сближения Доны Анны и Дон Гуана согласованы с изменениями в формах обращения; следуя за изменяющейся референцией, можно увидеть весь диалог как длинную, извилистую горную тропу, ведущую от церемонной вежливости к острой враждебности, далее к потрясению, растерянности, к трудному примирению и наконец к полному согласию и предвкушению полной близости. Оказывается, что все эти тонкие нюансы человеческих отношений поддаются измерению. Предельно взвинченная эмоциональная температура в этой сцене расчислена формами обращения собеседников друг к другу. Во все усиливающемся напряжении нет никакого беспорядка — оно с начала до конца исподволь, но очень строго градуировано и тесно сопряжено с формальными маркерами.

Мы проследим все стадии этого бурного диалога и сопряжение уровня близости с формами обращения. Дон Гуана, вплоть до его саморазоблачения, будем называть двойным именем, Гуан-Диего.

### 1-я стадия

Момент входа и первого приветствия скрыт от читателя. Сцена открывается, когда разговор уже начался. Гость молчит, и хозяйка дома обращается к нему на *вы*, вежливо называя его Дон Диего:

Я приняла  *вас*, Дон Диего; только  
Боюсь, моя печальная беседа  
Скучна  *вам* будет: бедная вдова  
Все помню я свою потерю. Слезы  
С улыбкою мешаю, как апрель.  
Что ж  *вы* молчите?

Гуан-Диего отвечает ей еще более церемонно. Он сначала называет ее по имени, но в невокативной форме, как будто все еще видя в ней не собеседницу, а недоступный объект своих желаний. Но к концу той же реплики он уже переходит на *вы*, и тем самым вступает с ней в прямой контакт:

Наслаждаюсь молча,  
Глубоко мыслю быть наедине  
С прелестной Доной Анной. Здесь — не там,  
Не при гробнице мертвого счастливца —  
И вижу  *вас* уже не на коленах  
Пред мраморным супругом.

В этой реплике дважды упомянут муж Доны Анны, с эпитетами, как бы изгоняющими его из настоящего и будущего, — он счастливец, но *мертвый*, он супруг — но *мраморный*. Но Командор не только не изгнан, но и становится главной темой беседы между своей вдовой и своим убийцей, задолго до того как его Статуя входит в комнату. Затронув эту тему, Гуан-Диего совершает дополнительную дерзость: зритель должен помнить, что мраморный Командор был им накануне приглашен и, значит, в эту самую минуту уже стоит, как ему было велено, «у двери на часах». Так Командор становится участником диалога, до времени невидимым и неслышимым.

Дона Анна с готовностью откликается на предложенную тему, обвинением в ревности придавая ей несколько вольный оттенок. При этом, в полном согласии со своим гостем, она поддерживает нейтрально-вежливый уровень общения — называет его Дон Диего, *вы*:

Дон Диего,  
Так *вы* ревнивы — муж мой и во гробе  
*Vас* мучит?

Ответ Доны Анны позволяет ее гостю продолжать ту же тему, в предложенном ею амурном направлении. Отсюда и далее, уже не самый Командор, а его любовь к жене становится общей темой<sup>4</sup> беседы. Принижая ценность любви супруга, Гуан-Диего изливает свои чувства к вдове:

Если б  
Я прежде *vas* узнал, с каким восторгом  
Мой сан, мои богатства, всё бы отдал,  
Всё за единий благосклонный взгляд;  
Я был бы раб священной *вашей* воли,  
Все *ваши* прихоти я б изучал,  
Чтоб их предупреждать; чтоб *ваша* жизнь  
Была одним волшебством беспрерывным.

Как можно судить по ответу Доны Анны, обожание и преданность нового знакомого, по-видимому, произвели на нее большое впечатление. Она с привычной набожной скромностью останавливает его излияния:

Диего, перестаньте: я грешу,  
Вас слушая, мне *vas* любить нельзя.

Но Дона Анна лицемерит. Она просит его *перестать* — и сама же торопит события, отвечая на незаданный им вопрос. Ведь он еще не просил ее о любви, а она уже торопится отказать: «Мне вас любить нельзя», прямо называя цель свидания. Кроме того, она, как бы в знак признательности, отменяет титул и называет его просто *Диего*, и тем самым сокращает дистанцию между собой и гостем, делая первый шаг по дороге к близости.

Довольный своим первым успехом, Гуан-Диего пробует продвинуться дальше. Он позволяет себе намекнуть на какую-то вину свою перед ней:

Не мучьте сердца  
Мне, Дона Анна, вечным поминаньем  
Супруга. Полно *вам* меня казнить,  
Хоть казнь я заслужил, быть может.

Намек неясен, он осторожно и двусмысленно упакован в нереальную сослагательность. Совершенное им тяжкое преступление представлено как всего лишь возможность, а заслуженная казнь — как метафора.

Эта короткая, туманная реплика мгновенно всколыхнула поверхность беседы, до сих пор относительно гладкую. Все, что было сказано прежде, — лишь вступление к настоящему объяснению: Вступление длилось долго (оно занимает 37 строк из 130), но в этот момент оно закончилось. Температура беседы резко подскакивает.

## 2-я стадия

Дона Анна заинтригована тайной, любопытство ее возбуждено до крайности. И вот тут-то и начинается бурный спор, теснейшая коммуникация, настоящий штурм, в котором характеры собеседников раскрываются со стремительной скоростью. Хозяйка дома и ее гость схлестнулись не на шутку. Упервшись на узкой площадке общей темы, раскрытия тайны, они выставили друг против друга свои противоположно направленные индивидуальные темы. Ее тема — жесткое требование, его — не менее жесткий отказ. Обращаются они друг к другу, конечно, на *вы*; она зовет его запросто *Диего* и, похоже, крепко уверовала в свою над ним власть.

Поведение обоих собеседников изменилось до неузнаваемости. От приличной, сдержанной куртуазности не осталось и следа. Дона Анна вдруг оказывается женщиной твердой, упрямой. Заинтригованная, она требует, настойчиво добивается немедленного разъяснения тайны. Чтобы заставить своего гостя выдать свой секрет, она готова применить любые средства. Дона Анна яростно нападает, речь ее вдруг становится нетерпеливой, реплики ее императивны, перемежаются с угрозами: *Скажите; Я вас прошу, я требую, Я рассерджусь, Диего: отвечайте*. Она сбрасывает личину скромности и повелевает, как раздраженный деспот, уверенный в своей власти: *Я вас заранее прощаю, / Но знать желаю*. Но Гуан (точнее, все еще Гуан-Диего) если и подданный, то весьма проблематичный и не менее упорный. В притворной — а может быть, и непрятворной боязни утратить ее благосклонность, он охраняет свою тайну. Он ничего не объясняет и не сдается; на все ее требования отвечает кратко и однообразно: *Нет, / Нет, никогда; Нет, нет; Не смею; Не жалейте знать*. Диалог буксует на одном месте:

- |       |  |
|-------|--|
| Д. А. | Разве <i>вы</i> виновны<br>Передо мной? <i>Скажите</i> , в чем же. |
| Д. Г. | Нет,   |
|       | Нет, никогда;  |
| Д. А. | Диего, это странно:<br><i>Я вас прошу, я требую</i> .              |
| Д. Г. | Нет, нет.  |

- Д. А. А! Так-то *вы* моей послушны воле!  
 А что сейчас *вы* говорили мне?  
 Что *вы* рабом моим желали быть.  
 Я рассержусь, Диего: отвечайте,  
 В чем предо мной виновны *вы*?
- Д. Г. Не смею.
- Вы* ненавидеть станете меня.
- Д. А. Нет, нет. Я *вас* заранее прощаю,  
 Но знать желаю...
- Д. Г. Не желайте знать  
 Ужасную, убийственную тайну.
- Д. А. Ужасную! *вы* мучите меня.  
 Я страх как любопытна — что такое?  
 И как меня могли *вы* оскорбить?

Не получая ответа, Дона Анна начинает рассуждать сама, очевидно, мысленно перебирая возможных оскорбителей. И вот в ее размышлениях возникает «убийца мужа». Не называя его по имени, Дона Анна вводит в комнату истинного Гуана, в его исключительной роли убийцы:

- Д. А. Я *вас* не знала — у меня врагов  
 И нет и не было. Убийца мужа  
 Один и есть.

Безымянная пока тень Гуана выводит диалог в критическую fazu, начало которой отмечено многозначительной ремаркой в сторону: «Идет к развязке дела!» Этой ремаркой Дон Гуан выдает (читателю и зрителю, но ни в коем случае не своей собеседнице!) всю сложность своей роли — он не только гость, захваченный спонтанным разговором, развивающимся неведомыми путями. Он — прежде всего автор и режиссер этой сцены и держит течение диалога под неусыпным контролем. Он знает, что наступает ответственный момент, когда он может начать осторожно снимать личину Диего и стать самим собой.

### 3-я стадия

Гуан-Диего принимает предложенную Доной Анной тему — собственную личность, которая на довольно долгое время становится новой общей темой. Эта тема его очень устраивает, так как он на самом деле вполне готов сообщить ей свой секрет. Ибо он хочет любить Дону Анну не иначе как под своим настоящим именем.

И опять схлестнулись две воли, но теперь они парадоксально однона правлены: Дона Анна по-прежнему жаждет узнать секрет, а Гуан-Диего рвется его ей сообщить. Мгновенно переходя от пассивного запирательства к словесной атаке, он сразу называет имя убийцы Командора — свое собственное имя. Имя это вдове Командора хорошо известно, и если она сама не назвала его раньше, то только потому, что, по словам самого Дон Гуана, этого имени она «не может слышать». Он знает об этом табу и тем не менее не щадит ее ушей. В этот момент ему важно,

чтобы его имя, запретное в этом доме, открыто прозвучало именно здесь и именно сейчас. Он начинает раскрывать свой секрет, но, будучи очень хитер, делает это не напрямую. Как бы подражая допрашивающей его Доне Анне, он тоже строит свое признание как допрос. Теперь спрашивает он, вынуждая ее отвечать:

- |       |  |
|-------|--|
| Д. Г. | Скажите мне: несчастный <b>Дон Гуан</b><br><b>Вам</b> не знаком? |
| Д. А. | Нет, отроду <i>его</i><br>Я не видала.                           |
| Д. Г. | <b>Вы</b> в душе к нему<br>Питаете вражду?                       |
| Д. А. | По долгу чести.  |

Дон Гуан назван в первом же вопросе, — но назван в 3-м лице, как некто отсутствующий и к сегодняшнему любопытству Доны Анны отношения не имеющий. Так, во всяком случае, решила Дона Анна, которая, ответив на его вопросы, вдруг спохватилась, что ее собственный вопрос остался неотвеченным. Она снова требует ответа:

- |       |   |
|-------|---|
| Д. А. | Но <b>вы</b> отвлечь стараетесь меня<br>От моего вопроса, <b>Дон Диего</b> —<br>Я требую... |
|-------|---|

Скращение двух допросов — великолепный прием, усиливающий и без того большое напряжение, не только влияющий на структуру, но и обнажающий психологию обоих героев. Ведь вопросы Дон Гуана — это и есть тот самый ответ, которого домогается Дона Анна, но она, в пылу своего собственного допроса, этого не замечает, продолжая требовать то, что самодается ей в руки. И она, как угрожала, уже очень рассержена. Гнев ее проявляется не только в повелительном тоне, но и в том обращении, которым она его наделяет. Фамильярное *Diего*, которым она прежде милостиво одарила своего гостя, отменено, и ему возвращен его титул. Формальное обращение, *Дон Диего*, которым она его наделяет, на этот раз звучит не вежливо, а сурово — как наказание за непослушание. Но и ее неудовольствие, и ее суровость пропадают втуне. Игнорируя ее настроение, ее гость кует железо, пока горячо, он задает еще один, решительный вопрос — и получает такой же решительный ответ:

- |       |   |
|-------|---|
| Д. Г. | Что если б <b>Дон Гуана</b><br><b>Вы</b> встретили? |
| Д. А. | Тогда бы я злодею<br>Кинжал вонзила в сердце.       |

#### 4-я стадия

Благородная Дона Анна обещает зарезать человека — своими руками — в отличие от актрисы Лауры, которая все-таки хотела поручить это своим слугам<sup>5</sup>:

Лаура. Да я сейчас велю тебя зарезать  
 Моим слугам, хоть ты испанский гранд.  
 Дон Карлос (*встает*). Зови же их (Сцена II).

Ясно, что справедливая ненависть вдовы раскалена до предела. Вот здесь наконец должен произойти тот неминуемый взрыв, к которому Гуан, в облике Диего, сознательно вел беседу, так мирно начатую. Он не реагирует на ее изменившийся тон, может быть, потому, что знает — открыв свое имя, он все равно потеряет все привилегии, уже заработанные Диего. Он отлично понимает, что в качестве Гуана ему придется начать все сначала, и в несравненно худших обстоятельствах. И потому идет напролом, не перечит ее кровожадному порыву, а, наоборот, с готовностью присоединяется к нему:

Дона Анна,  
 Где *твой* кинжал? вот грудь моя.

Это предложение, потрясающее само по себе, еще усилено неожиданным скачком от неизменного до сих пор *вы* к невероятному в этой ситуации, недопустимому *ты*. Но путь к отступлению еще не закрыт — отождествление имени с гостем еще не состоялось. И Дона Анна, которая вдруг оказалась лицом к лицу со своим единственным и смертельным врагом, хватается отнюдь не за кинжал, а за другое имя: Диего. Она восклицает:

Диего! Что *вы*?

В этом вскрике — бездна ощущений. Попав в невозможную ситуацию, Дона Анна ищет выхода и инстинктивно отрицает все, что узнала и поняла. Нет здесь страшного Дон Гуана, а есть милый сердцу Диего. Она вторично опускает его титул, забыв о своей мгновенной суровости к любезному поклоннику и тем самым снова приближая его к себе. Но Гуан уже слишком далекошел в своем признании, Диего ему больше не нужен. И он грубо выталкивает Диего, объявив свое настоящее имя в непререкаемо ясной форме:

Я не Диего, я Гуан.

Начиная с того момента, как гость Доны Анны меняет свою личность, преображается и его словесный стиль. Речи его на время утрачивают сложность. Дон Диего был сладкоречив и уклончив, а первые реплики Дон Гуана — это декларации, примитивно простые и ничем не украшенные.

После этой реплики соревнование двух гостей, Диего и Гуана, составит главный фокус диалога, не всегда видимый, но жизненно важный для обоих собеседников. Заявление Гуана однозначно и не оставляет места для сомнений. Спокойный и уютный мирок Доны Анны внезапно рухнул, и она пытается отвести от себя нарянувший на нее ужас:

О Боже! нет, не может быть, не верю.

Но верит или не верит, а имени Диего она больше не произносит. Реплика ее обращена не к Диего, а к Богу, и, по всей видимости, до нее все-таки начинает доходить кошмарная истина — что здесь, в ее покоях, никакого Диего нет и не было. Дон Гуан, со свойственной ему быстротой, мгновенно понимает, что ложный поклонник больше для Доны Анны не существует и что теперь ему нужно утвердить себя, не обращая более внимания на Диего. И он повторяет свое заявление, опустив, вслед за Доной Анной, имя Диего:

Я Дон Гуан.

Дона Анна больше не упомянет имени Диего, и в этот момент кажется, что Диего окончательно устранен, но это не так. Соревнование гостей-близнецов еще не закончено, и вскоре имя Диего снова всплынет, в речи Дон Гуана.

Диего и Гуан — не только разные имена, между ними для Доны Анны — не проходимая пропасть. Дон Диего для нее просто привлекательный незнакомец, сущий приятную любовную авантюру, но Дон Гуан хорошо известен ей как опаснейший преступник, о котором у нее есть вполне определенные представления. Она точно знает, что он «убийца», «злодей», «демон». Понятно, что с таким человеком продолжать сближение по дорожке, уже проложенной в разговоре с Диего, никак невозможно. Отношения с Гуаном должны быть совершенно иными, и надо начинать все заново.

Спор продолжается теперь уже в штормовом режиме, настроения партнеров крайне неустойчивы, и их отношения меняются в каждой реплике. Дон Гуан уже произнес *ты* — но это была с его стороны не более чем дерзкая попытка, Доной Анной не поддержанная. Тем не менее он продолжает в том же духе и еще раз обращается к ней на *ты*, одновременно вколачивая в нее ужасную правду — на сей раз не свое имя, а свое преступление, свою вину перед ней:

Я убил / Супруга *твоего*.

Секрет, которого Дона Анна столь упорно домогалась, лежит перед ней оголенный, без всякой смягчающей упаковки. Но теперь она, с таким же упорством, отказывается этот секрет принять. Она вторично отталкивает от себя правду, но на сей раз обращается уже не к Богу, а к самой себе. Внутренне сопротивляясь своему опасному теперь гостю, она избегает местоимений вообще:

Что слышу я? Нет, нет, не может быть.

В ответ на упорное недоверие Доны Анны, он еще раз повторяет свое имя, опять обращаясь к ней на *ты* и предлагая ей свою любовь:

Я Дон Гуан и я *тебя* люблю.

На глазах Доны Анны, мирный, любезный гость обернулся немыслимой комбинацией убийцы и любовника. Эту страшную метаморфозу невозможно осознать и принять, и Дона Анна покидает реальность. Она теряет сознание.

### 5-я стадия

Обморок Доны Анны дает короткую передышку, после которой стремительный поток эмоций возобновляется. Неустойчивость имен, личных местоимений и соответствующих им глагольных форм достигает здесь предела. Однако все грозы и молнии, все ураганные чувства превосходно организованы и сопровождаются интереснейшей игрой референции.

Дона Анна лежит на полу без чувств, но Дон Гуан продолжает говорить. Естественно, что, находясь в бессознании, она беседу поддерживать не может, и он немедленно реагирует на ее состояние. Гуан начинает свою реплику, обращаясь не к ней, а в пространство, местоимением 3-го лица, *с нею*. Увидев, что она приходит в себя, он тут же снова переходит на *ты*:

Небо!  
Что с *нею*? что с *тобою*, Дона Анна?  
*Встань, встань, проснись, опомнись: твой Диего,*  
*Твой раб у ног твоих.*

В этой его реплике — новый, ошеломительный сдвиг отношений. Дона Анна в шоке, но и Дон Гуан потрясен. Пораженный ее обмороком и, видимо, впервые осознав, какую невыносимую боль он ей причинил своей прямолинейной откровенностью, он бьет отбой. Мгновение назад, он жестко и бескомпромиссно тянул ее к себе, такому, какой он есть, преступному, хитрому, любящему и безжалостному. И вдруг он опять иной — полный сострадания, готовый на жертвы. В поразительном акте самоуничижения, он берет назад свое признание. Он добровольно отказывается от своего имени, он согласен быть ее рабом по имени Диего. Но при этом крепко держится за неразрешенное, узурпированное *ты*, которое повторяет в этой реплике восемь раз: четыре местоимения и четыре императива в ед. ч.

Бескорыстное сочувствие Дон Гуана себя окупает: Дона Анна, все еще в полузабытьи, отзыается на его *ты* своим, повторенным трижды (два местоимения и императив):

*Оставь меня!*  
О, *ты* мне враг — *ты* отнял у меня  
Все, что я в жизни...

Такой ответ дает Гуану право продолжать на той же волне, и он повторяет *ты*, как бы уже одобренное, четыре раза (два местоимения и два императива). Следует отметить, что здесь к нему полностью возвращается его несравненное красноречие:

Милое созданье!  
Я всем готов удар мой искупить,  
У ног *твоих* жду только приказанья,  
*Вели* — умру; *вели* — дышать я буду  
Лишь для *тебя*...

Первый обмен репликами на *ты* состоялся, но он еще весьма непрочен. Как мы вскоре увидим, до настоящего взаимного, теплого *ты* еще не близко.

### 6-я стадия

Между тем Дона Анна полностью приходит в себя, и тут обнаруживается, что произнесенное и повторенное ею *ты* было не более чем обмоловкой и что она еще совсем не готова подружиться со своим смертельным врагом. В своих первых сознательных словах она произносит его запретное имя, но от вокатива уклоняется. Своему гостю она назначает не *ты* и даже не *вы*, а указательное *это* в сочетании с невокативным именем:

Так *это* Дон Гуан...

Такой референцией она исключает Дон Гуана из области контакта. Иными словами, в человеке, стоящем перед ней, она видит не собеседника, а отстраненный объект, опасный и неприкасаемый. Чуть следящий за ее настроениями, Дон Гуан откликается в том же тоне. Он разражается длинной репликой, в которой прежде всего устраняется от контакта, принимает на себя 3-е лицо (*он*), а к ней обращается уже не на *ты*, а на *вы*:

Не правда ли, *он* был описан *вам*  
Злодеем, извергом.

Однако на протяжении той же реплики он пытается, очень осторожно, восстановить нарушенный контакт. Для этого он прежде всего заменяет отстраняющее местоимение *он* — изящной метонимией, *усталой совестью*:

— О, Дона Анна —  
Молва, быть может, не совсем не права,  
**На совести усталой много зла,**  
Быть может, тяготеет.

Только после этой метонимии он позволяет себе соскользнуть к «я» и так называет себя несколько раз подряд, продолжая отстраняться от содеянного зла, — не развратник, а всего лишь ученик персонифицированного Разврата:

Так, Разврата  
**Я** долго был покорный ученик,  
Но с той поры как *vas* увидел *я*,  
Мне кажется, *я* весь переродился.

Его обращение к Доне Анне, имени которой он в этой реплике не называет, переживает сходную трансформацию. От формального *вы* он переходит к метонимии, подставляя вместо Доны Анны возвышенную *добродетель*, которая, в свою очередь, замещается почтительным анафорическим местоимением 3-го лица, *перед ней*:

*Vas* полюбя, люблю *я добродетель*  
И в первый раз смиленно перед *ней*  
Дрожащие колена преклоняю.

Реакция Доны Анны на все эти уловки уклончива. Она все еще не готова к прямому контакту с Дон Гуаном и опять прибегает к невокативной форме его имени в сочетании с местоимением *он*:

О, Дон Гуан красноречив — я знаю,  
Слыхала я; *он* хитрый Искуситель.

Дона Анна по достоинству оценила словесное искусство Гуана и боится его обаяния. Но, странное дело, то преступление, за которое она готова была его заколоть, ее как будто больше не беспокоит, и она осторегается не Дон Гуана — убийцы мужа, а Дон Гуана — искусителя. Это впечатление подтверждается продолжением ее реплики:

*Вы*, говорят, безбожный развратитель,  
*Вы* сущий демон. Сколько бедных женщин  
*Вы* погубили?

В этих словах Дона Анна de facto отменяет неприкасаемость Дон Гуана: ведь обратившись к нему на *вы*, она снова вступила с ним в контакт, пусть обвинительный, но прямой. Но только на одно мгновение — в следующей своей реплике она опять избегает прямого к нему обращения, прибегнув к уже дважды опробованному обходному маневру — к невокативному имени и местоимению *он*:

И я поверю,  
Чтоб *Дон Гуан* влюбился в первый раз  
Чтоб не искал во мне *он* жертвы новой!

По-видимому, такая отстраняющая референция помогает ей отречься от присутствия Гуана, защититься от его чар. Однако это была ее последняя попытка удержаться на безопасном расстоянии от Дон Гуана, отдалить его от себя. После этих слов Дона Анна окончательно примиряется с его присутствием и с его личностью и обращается к нему на *вы*.

Мы были свидетелями бури потрясенных чувств и оглушительного шквала местоимений: *ты* > *он/она* > *он*. Но фаза максимальной нестабильности отношений пройдена, и за ней следует новая полоса отношений более ровных.

### 7-я стадия

Дона Анна и Дон Гуан обмениваются репликами, в которых звучит устойчивое, взаимное *вы*:

- |       |   |
|-------|---|
| Д. Г. | Когда бы <i>vas</i> обманывать хотел,<br>Признался ль я, сказал ли я то имя,<br>Которого не можете <i>вы</i> слышать?<br>Где ж видно тут обдуманность, коварство? |
| Д. А. | Кто знает <i>vas</i> ?  |

Взаимное *вы* — это тот нейтральный уровень отношений, с которого началось свидание Доны Анны с Диего. Кажется, что теперь убийце Гуану дарован тот же

статус, что и милому незнакомцу Диего. Но сразу же выясняется, что статус Гуана даже значительно выше или, точнее, ближе к сердцу вдовы. В самом деле, Дона Анна вдруг и очень искренне беспокоится о благополучии Гуана:

Но как могли прийти  
Сюда *вы*; здесь узнать могли бы *вас*,  
И *ваша* смерть была бы неизбежна.

На это Гуан отвечает с бесстрашием и галантностью:

Что значит смерть? За сладкий миг свиданья  
Безропотно отдан я жизни.

Говоря это, он явно рассчитывает еще подогреть беспокойство уже влюбленной женщины и, вероятно, предвидит ее немедленную реакцию:

Но как же  
Отсюда выйти *вам*, неосторожный!

Страх за его жизнь заслонил для нее все остальные страхи. Она больше не боится ни убийцы, ни искусителя — она боится *за* этого человека, кем бы он ни был. Такие чувства ведут напрямик к настоящей близости, к давно желанной интимности. Это дорога верная, и конец ее уже ясно виден.

### 8-я стадия

Гуан, который отлично понимает, что победа уже в его руках, еще раз пробует, нельзя ли ему перейти на *ты*. Помня свои прежние неудачи, он делает это очень осторожно. Реплика его состоит из двух, очень хитро устроенных предложений, восклицательного и вопросительного. В восклицании он называет по имени себя, в вопросе — Дону Анну, причем оба имени поставлены в конце строк. На фоне этого равновесия выделяется разность формы двух имен: ее имя Гуан произносит в вокативной форме, а свое — в приятном Доне Анне 3-м лице. И вот, держась в таком скромном отдалении, как отстраненный неучастник, он обращается к Доне Анне в первом предложении на *вы*, а во втором — на *ты*:

И *вы* о жизни бедного Гуана  
Заботитесь! Так ненависти нет  
В душе *твоей* небесной, Дона Анна?

Дону Анну, видимо, все еще несколько коробит обращенное к ней *ты*, и она не решается отказаться от привычного *вы*. Но она, поскольку тоже изобретательна, находит обходной способ выразить свое согласие. В той же реплике ей удается найти для *ты* пристойную замену — 1-е лицо множественного числа, соединяющее ее с Дон Гуаном:

Ах если б *вас* могла я ненавидеть!  
Однако ж надоно расстаться *нам*.

До сих пор сближение героев происходило очень медленно, с возвратами, отношения их колебались. Бесконечно чередовались разнообразные полутона между двумя крайностями: безличным *он* и фамильярным *ты*. Дон Гуан уже многое достиг: ему удалось представить вдове Командора себя и всю жестокую правду о себе; он успешно вытеснил Дона Диего и утвердился на том же нейтральном уровне отношений, что и этот ничем не запятнавший себя поклонник Донны Анны. Более того, она показала, что его жизнь ей дорога. Однако все его попытки перейти на устойчивое взаимное *ты* были до сих пор тщетны. И вот теперь сама Дона Анна указывает ему путь к цели. Употребив глагол во взаимном залоге, *расстаться*, в сочетании с включительным *нам*, она тем самым сознательно связала себя с Дон Гуаном, и тот немедленно ухватывается за предоставленную ему возможность. В своей ответной реплике он употребляет глагол в той же форме (тот же залог, лицо, число), обходясь без откровенного *мы*, которое могло бы снова отпугнуть Дону Анну:

Когда ж опять увидимся?

Обоюдное *мы* — последняя веха на трудном пути к интимности. Врата, ведущие к свободному общению на *ты*, раскрылись, но ни один из партнеров не торопится в них войти. Избегая личных местоимений и личных глаголов, Гуан и Анна обмениваются несколькими краткими репликами:

- |       |                           |
|-------|---------------------------|
| Д. А. | Не знаю.<br>Когда-нибудь. |
| Д. Г. | А завтра?                 |
| Д. А. | Где же?                   |
| Д. Г. | Здесь.                    |

В этих беглых словах, тесно уложенных в одну строку пятистопного ямба, есть всё — и быстрое дыхание, и уже достигнутое взаимное согласие, и неустойчивая неизбежность. Завтра, здесь, в этой самой комнате, они станут окончательно близки — и кажется, что сейчас, сию минуту Дона Анна подарит Гуану желанное *ты*.

### 9-я стадия

Но Дона Анна оттягивает это событие еще на одно мгновение. Назначение свидания она встречает уклончивым, но очевидным согласием:

О Дон Гуан, как сердцем я слаба.

Вернемся назад, к тому моменту, когда Дон Гуан снял маску Диего. С тех пор Дона Анна произнесла его имя трижды, но только в невокативной форме:

- (1)      Так *это* Дон Гуан...
- (2)      О, Дон Гуан красноречив — я знаю...
- (3)      И я поверю,  
              Чтобы Дон Гуан влюбился в первый раз...

Так она говорила с ним, едва очнувшись после обморока (6-я стадия). Затем, в полном сознании, она долго (7-я и 8-я стадии) избегает называть его имя. И вот теперь, после взаимного мы, уже согласившись на следующее свидание, Дона Анна произносит это имя как нормальный в разговоре вокатив. Здесь оно в ее устах звучит совсем иначе, чем прежде. Тогда она произносила его имя, чтобы отдалить от себя, теперь же она называет его, чтобы приблизить. Местоимения при этом имени нет, и, строго говоря, анафорой может оказаться *вы*. Так Дона Анна в последний раз уклоняется от повисшего в воздухе, почти состоявшегося *ты*.

Но и то, что она прямо обращается к нему по имени, уже очень, очень много. Это означает, что его имя уже не пугает ее и не вызывает жестоких чувств. Запрет снят, и ненавистный враг стал другом. Гуан в этом настолько уверен, что, в нетерпеливом ожидании нового свиданья, просит немедленного поцелуя:

В залог прощенья мирный поцелуй...

Заметим, однако, что он, неизменно чуткий к ее настроениям и словесным склонностям, эту смелую просьбу формулирует без обращения и без местоимения.

Дона Анна не соглашается, она просит его уйти, но одновременно с отказом она делает решительный шаг, сметающий все оставшиеся преграды — она обращается к Гуану с императивом в ед. ч.:

— Пора, *поди*.

Много раз Дон Гуан порывался перейти на *ты*, но получал отпор; теперь Дона Анна делает это сама, по собственной инициативе. Следуя примеру Дон Гуана, она стыдливо избегает неприкрытоого *ты*; но глагол достаточно красноречив. Долгожданное *ты*, которого так добивался Дон Гуан, падает ему в руки, как сочревший плод. Ободренный успехом, он настаивает на поцелуе, но опять без личного обращения:

Один, холодный, мирный...

и она, с неожиданно вульгарной развязностью, исполняет его желание:

Какой *ты* неотвязчивый! *На*, вот он.

Но немедленно вслед за тем, испугавшись стука в дверь, она отсылает его прочь:

Что там за стук?.. О скройся, Дон Гуан.

Итак, бесценное *ты* произнесено, в сопровождении двух глаголов во 2-м л. ед. ч. Дон Гуан радостно отвечает, с глагольным *ты* и ласковым именем:

*Процай же, до свиданья, друг мой милый.*

Очевидно, что достигнуто полное взаимопонимание, планы на будущее составлены, и убийца Командора покидает дом его вдовы как ее душевный друг и

будущий любовник. Его новый статус подтвержден в неожиданном эпилоге, когда перепуганный Гуан вбегает обратно, и Дона Анна спрашивает его, с уже привычным *ты*:

Что с *тобой*? А!..

Разговорам Анны с ее блистательным кавалером не суждено продолжиться, потому что в следующее мгновение она опять теряет сознание, на сей раз надолго, может быть, навсегда. Возвращение Дон Гуана и крик Доны Анны — резкая граница, отделяющая долгое, многокрасочное свидание от окончательной развязки сцены, быстрой и однотонной. Длительная, изощренная романическая игра напрочь отрезана от краткого (всего 8 стихов) последействия. Вслед за Гуаном — «Входит статуя командора, Дона Анна падает».

В последовавшем за тем лапидарном диалоге Дон Гуана и Статуи Дона Анна безучастна и забыта вплоть до самого конца, до заключительной реплики Дон Гуана. Его последние шесть слов к Статуе не обращены. Потеряв надежду на спасение и подчинившись судьбе, он говорит уже сам с собой:

Я гибну — конечно — о Дона Анна!  
(Проваливаются.)

Этот односторонний монолог разорван на три предложения: личное «Я гибну», безличное «конечно» и обращение к Доне Анне. Последнее, скорее всего, не апелляция к лежащей на полу женщине<sup>6</sup>, а горестное резюме последней любовной победы прославленного Дон Гуана — победы самой дерзкой, самой блестящей и до тла разрушительной.

\* \* \*

Подведем некоторые итоги. С самого начала 4-й сцены вплоть до вторжения Статуи, в комнате находились в полном одиночестве только два визуально неизменных персонажа — однако, Диего был заменен Гуаном. Ничем не прерываемый разговор с глазу на глаз длится долго, при высоком напряжении. На длинной, извилистой тропе, которая пролегла между исходным «вы» и конечным «ты», оба им пришлось преодолеть мучительную борьбу подавляемых страстей, пережить душевный переворот. Делая то шаг вперед, то шаг назад, то сближаясь, то отдаляясь, влюбленные продвигаются к заветному *ты*, к полному взаимопониманию. Продвижение идет мучительно медленно, с возвратами, и текучесть форм обращения отображает напряженную работу собеседников на трудной дороге к сближению. Добиваясь признания и любви Доны Анны, Дон Гуан показал не только свое великолепное красноречие, но и необычайную коммуникативную гибкость, ловко приспосабливаясь к настроениям и предпочтениям собеседницы и диригируя сложнейшим диалогом с подлинным артистизмом.

Замена местоимения *вы* на *ты* — стандартное языковое средство, которым часто маркируется изменение дистанции в отношениях между собеседниками, переход от вежливой отстраненности к неформальной фамильярности. Два че-

ловека становятся друзьями, любовниками, членами одной семьи — и одновременно начинают обращаться к друг другу иначе, заменяя «пустое *вы* сердечным *ты*». Такова культурная норма, укоренившаяся в тех языках, где различаются *вы* и *ты*. Особенность финальной сцены «Каменного гостя» — не сама по себе смена форм обращения, а необычная частота этих изменений. Собеседники движутся от начального *вы* к конечному *ты* по невероятно запутанному, петлистому пути, используя все допустимые в языке формы референции. Столь многочисленные переходы, скачки и возвраты в пределах одного диалога следуют отнести к особенностям не языка, а словесного искусства.

Схема расчленения сцены на стадии приведена в конце статьи.

### *Youis* и *tu* в «Дон Жуане» Мольера

Один из предшественников «Каменного гостя», знаменитый «Дон Жуан» Мольера<sup>7</sup>, несомненно повлиял на построение и характеры пушкинской драмы: «Дон Жуан» написан на языке, в котором *vous* и *tu* противопоставлены приблизительно так же, как *вы* и *ты* в русском. Чтобы по достоинству оценить лингвопсихологическую сложность финала пушкинской драмы, полезно сравнить изменчивость местоимений в «Каменном госте» со сходными явлениями в «Дон Жуане».

Выбор между *vous* и *tu* в комедии Мольера, как правило, регулируется социальным статусом. При разности социального положения, делается различие между служебным подчинением и независимостью. Слуги, обращаясь к своим господам; употребляют *vous*, господа же слугам говорят *tu*. При равном статусе собеседников делается различие между простолюдинами и благородными. Простолюдины между собой употребляют *tu*, благородные персонажи — *vous*, причем с этим же вежливым местоимением адресуются друг к другу даже и члены одной семьи: муж и жена, отец и сын, два брата. Такое употребление *vous* нормально в французском языке по сей день<sup>8</sup>, но для современного русского языка оно не совсемично<sup>9</sup>.

Но, сравнивая обращения в «Дон Жуане» и в «Каменном госте», можно заметить различие, не имеющее отношения к разности социолингвистических норм, — различие скорее художественное. Для каждого двух собеседников в «Дон Жуане», форма обращения остается неизменной с начала до конца их диалога. Случается, однако, что мольеровский благородный персонаж вдруг и сильно гневается, и тогда он мгновенно и односторонне перескакивает с *vous* на *tu*. Таким образом, на фоне общей стабильности отношений между собеседниками выделяются три ситуации, происходящие в различных обстоятельствах, с различными участниками; но похожие друг на друга внезапным взрывом гнева одного из собеседников и его же односторонним переходом с *vous* на *tu*. По этой модели устроены три диалога между членами одной семьи. В первом акте неистово кричит на Дон Жуана его покинутая жена Донна Эльвира, и то же самое делает его отец Дон Луис в четвертом акте. В третьем акте Дон Алонзо, в припадке ярости, кидается на своего брата Дон Карлоса. И всякий раз взрыв гнева сопровождается не только сменой местоимения, но и бранными словами. Так, Донна Эльвира, теряя самообладание, вдруг нападает на своего беглого мужа со следующими словами:

Ah! scélérat, c'est maintenant que je *te* connais tout entier, et, pour mon malheur, je *te* connais lors qu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer; mais sache que *ton* crime ne demeurera pas impuni, et que le même Ciel donc *tu te* joues me saura venger de *ta perfidie* (Acte I, Sc. III).

Очень похоже себя ведет Дон Луис; выведененный из себя наглостью своего сына, Дон Жуана, он, как и Эльвира, внезапно переходит с уважительного *vous* на *tu*, подкрепляя это снижение оскорбительными выражениями:

(...) je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur *ton* âme. Mais *sache, fils indigne*, que la tendresse paternelle est poussée à bout par *tes* actions, que je saurai, plutôt que *tu* ne penses, mettre une borne à *tes* dérèglements prévenir sur *toi* le courroux du Ciel et laver par *ta* punition la honte de *t'avoir fait naître* (Acte IV, Sc. IV).

В том же гневном тоне Дон Алонзо оскорбляет своего брата Дон Карлоса, защищая честь своей (и Карлоса) сестры Эльвиры от Дон Жуана:

Ah! *traître*, il faut que *tu* périsse, et... (Acte III, Sc. IV).

В каждой из этих трех сцен поток браны на *tu* выплескивается внезапно, после долгой,держанной беседы на *vous*. Впоследствии Донна Эльвира и Дон Луис, успокоившись, возвращаются к привычному, пристойному *vous*. Что касается Алонзо, то неизвестно, вернулся ли он к *vous*, так как он более на сцене не появляется.

\* \* \*

«Дон Гуан у Пушкина не осужден и не прославлен, — он объяснен»  
[Гуковский 1953, 301].

На фоне определенности употребления *vous* и *tu* в «Дон Жуане», лингвистический психологизм «Каменного гостя» представляется еще более гибким и тонким. Диалог финальной сцены с начала до конца полон напряжения и взаимного, сдерживаемого желания, в смене местоимений читаются малейшие оттенки настроений. Головокружительно сложный переход с *вы* на *ты* связывается не с унижением собеседника, а с искренним стремлением к интимной близости. Если в «Дон Жуане» оппозиция *vous* и *tu* создает резкий контраст белого и черного, то переключение референции в «Каменном госте» рисует характеры в деликатнейшем, все объясняющем *chiaroscuro*. Дон Гуан и Дона Анна открывают нам свои чувства в ажурной светотени сменяющихся местоимений.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Это было отмечено И. Д. Ермаковым [Ермаков 1923, 105].

<sup>2</sup> Мнения о характере Дон Гуана разнообразны и часто противоположны. Так, Д. Благой приписывает ему рассудочную расчетливость [Благой 1931, 213], И. Ермаков — интеллектуальную слабость, бессмыслие и безрассудство [Ермаков 1923, 114—119]. А. Ахматова [1947, 528] видит в нем «смесь холодной жестокости с детской беспечностью», Г. А. Гуковский [1953, 303—305] — воплощение свободного, буйного духа Ренессанса. Ахматова первая заметила в

Дон Гуане поэта [1947, 527], Гуковский — артистизм. См. об этом также недавнюю интересную статью Д. Хермана [Herman 1999].

<sup>3</sup> Различие между *ты* и *вы* существует во многих языках; эти местоимения сокращенно обозначают как Т/В. Сравнительное исследование семантики и прагматики Т/В, сделанное Брауном и Гилманом во французском, немецком и испанском языках [Brown and Gilman 1960], не утратило своей ценности. См. об этом также [Lambert and Tucker 1976]. Об употреблении имен в диалоге см. [Levinson 1983, 70—71].

<sup>4</sup> *Общая тема* в диалоге — это повторяемое высказывание (поверхностное или глубинное), которое, варьируясь, передается от одного собеседника к другому и позволяет проследить за непрерывной нитью диалога. Общая тема создает платформу, разделяемую обоими партнерами, независимо от того, согласны или несогласны они друг с другом. Высказывание, которое обрабатывается только одним из собеседников, порождает *индивидуальную тему*. (Подробнее об этих понятиях см. [Langleben 1998].)

<sup>5</sup> Как было замечено И. Ермаковым [1923, 111] и Д. Благим [1931, 217], параллельны не только эти кровожадные импульсы Лауры и Доны Анны, но и целиком обе сцены.

<sup>6</sup> Д. Благой [1931, 215] считает, что проваливаются все трое — Статуя, Дон Гуан и Дона Анна. Вернее об этом у А. Ахматовой [1959, 545]: «мы даже не знаем ее судьбу — умерла она или упала в обморок».

<sup>7</sup> О роли «Дон Жуана» и других литературных источников «Каменного гостя» см. [Томашевский 1935].

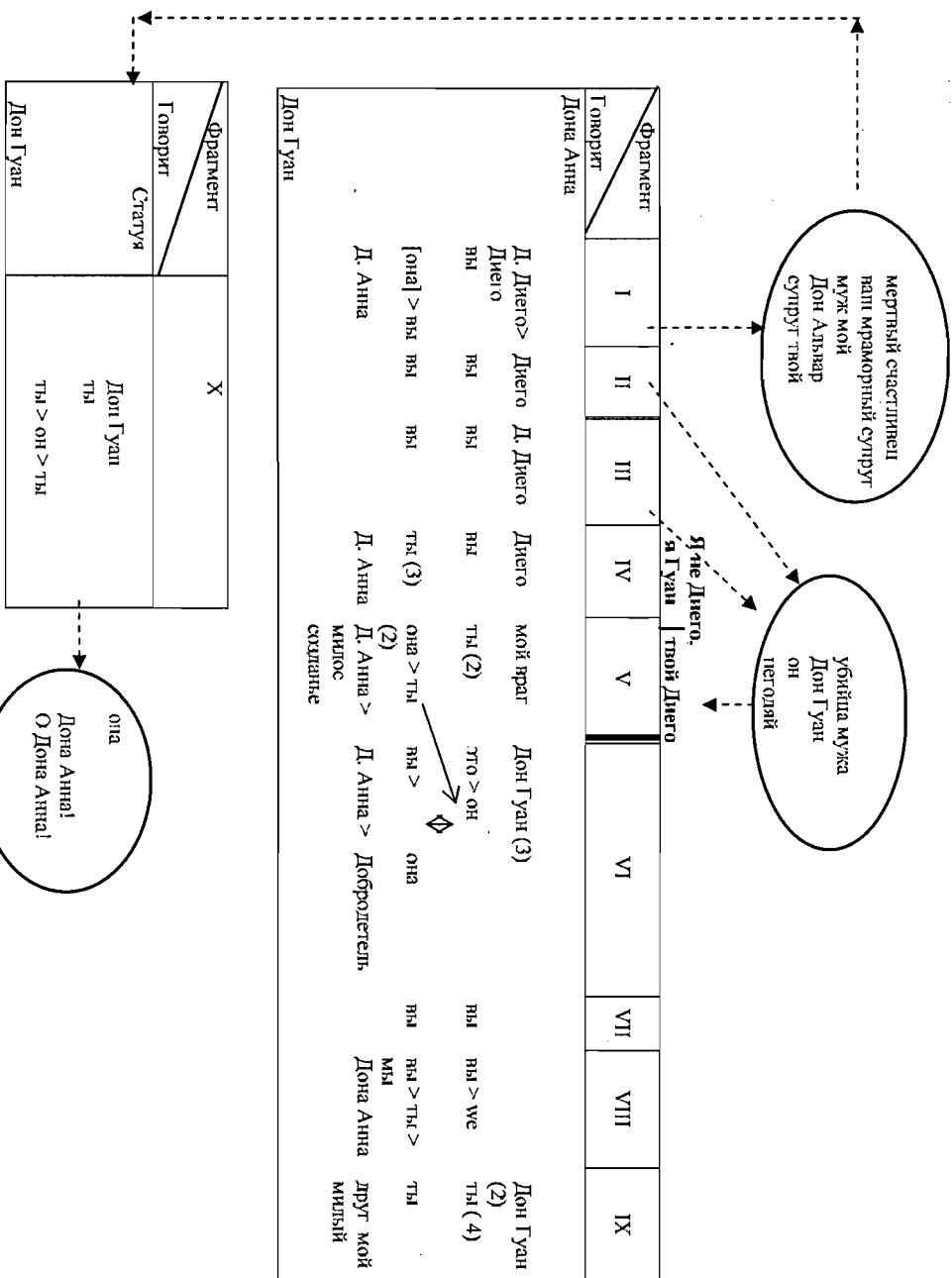
<sup>8</sup> Согласно Brown & Gilman [1960, 262—263], эта норма сохраняется в современном французском языке.

<sup>9</sup> Но случается: напр., взаимное *вы* было принято в семье Марины Цветаевой. Ср.: «Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы — есть, раз я Вам пишу! (...) Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака» («Письмо в тетрадку» к С. Я. Эфрону, в записях 1917 г., см. [Цветаева 1979, 21]).

## ЛИТЕРАТУРА

- Пушкин 1935 — Пушкин А. С. Каменный гость // Полное собрание сочинений. Т. 7. Драматические произведения. М.: Изд-во АН СССР, 1935. С. 135—171.
- Ахматова 1947 — Ахматова А. А. «Каменный гость» Пушкина // Анна Ахматова. Стихи и проза. Л.: Лениздат, 1976. С. 523—542.
- Ахматова 1959 — Ахматова А. А. К статье «Каменный гость» Пушкина. Дополнения 1958—1959 гг. // Ахматова 1976. С. 543—550.
- Благой 1929—1931 — Благой Д. Социология творчества Пушкина. 2-е изд., доп. М.: Кооперативное издательство «Мир», 1929—1931.
- Бонди 1941/1983 — Бонди С. М. Драматургия Пушкина // С. М. Бонди. О Пушкине: Статьи и исследования. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1983. С. 166—238.
- Брюсов 1929 — Брюсов В. Я. Маленькие драмы Пушкина // Валерий Брюсов. Мой Пушкин: Статьи, исследования, наблюдения. М.; Л.: Гос. изд-во, 1929. С. 167—172.
- Гуковский 1953 — Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1953.
- Ермаков 1923 — Ермаков И. Д. Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина. М.; Л: Гос. изд-во, 1923.
- Томашевский 1935 — Томашевский Б. В. Каменный гость // А. С. Пушкин 1935. С. 547—578.
- Цветаева 1917—1937 — Цветаева М. И. Избранная проза: В 2 т. 1917—1937. Т. 1.
- Brown, & Gilman 1960 — Brown, Roger & Gilman, Albert. The Pronouns of Power and Solidarity. P. 253—276 // Th. A. Sebeok. Style in Language. Cambridge, Mass: The MIT Press, 1960.

- Herman 1999 — Herman, David. Don Juan and Don Alejandro: The Seductions of Art in Pushkin's Stone Guest Comparative Literature. 51(1). P. 3—23. Winter, 1999.
- Wallace & Tucker 1976 — Lambert, Wallace E. & G. Richard Tucker. Tu, vous, usted: a social-psychological study of address patterns. Rowley, Mass.: Newbury House, 1976.
- Langleben 1998 — Langleben, Maria. Thematic development in literary dialogue // Dialoganalyse VI: Proceedings of the 6th Conference. Prague, 1996. Teil 2 (Beiträge zur Dialogforschung, Bd. 17). P. 345—354. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1998.
- Levinson 1983 — Levinson, Stephen C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Molière 1947 — Molière J.-B. Dom Juan ou Le festin de Pierre // Œuvres complètes de Molière. Imprimerie Nationale de France, Éditions Richelieu, 1947. P. 21—129.



*C. V. Кодзасов (Москва)*

## К ТИПОЛОГИИ ПОЭТИЧЕСКОГО РИТМА (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОВ А. ФЕТА)

### *Введение*

**И**зучение ритмики русского стиха отечественными стиховедами до сих пор в малой степени опиралось на лингвистические исследования фразовой акцентуации. Например, в посвященных ритмике статьях представительного сборника «Славянский стих» (2001) ссылки на работы лингвистов полностью отсутствуют. Ситуация существенно отличается от той, которую мы находим в зарубежном стиховедении. Так, последние описания ритмики английского стиха тесно связаны с новейшими просодическими моделями, созданными западными фонетистами.

Между тем акцентологические исследования отечественных языковедов дали ряд важных результатов, которые могли бы послужить основой для продвижения в понимании ритмики русского стиха. В работах И. И. Ковтуновой были сформулированы законы размещения фразовых ударений (ФУ) в нарративных русских текстах и выявлены особенности акцентуации в поэтических текстах [Ковтунова 1976а; 1976б]. Было показано, что постановка ФУ в словосочетании имеет грамматическую мотивацию: она задается синтаксической структурой группы. Для прозы типична конечная позиция слова, несущего ФУ. В поэтическом тексте требование соблюдения размера часто заставляет нарушать прозаический порядок. При этом действуют несколько иные законы расстановки ФУ. Ритмика значительного числа русских стихов может быть описана на основе закономерностей, выявленных И. И. Ковтуновой.

Однако для описания поэтической ритмики в целом недостаточно опираться на ФУ — ведь многие стихотворения содержат акценты не только синтаксической, но и семантической природы — это «выделительные» акценты (ВА). Помещение выделительных акцентов в фокус внимания при акцентных исследованиях, описание их семантики и особенностей употребления — заслуга Т. М. Николаевой [Николаева 1982; 2000]. Как было ею показано, использование ФУ ограничено некоторыми регистрами речи. В реальном дискурсе акцентуация отражает не столько синтаксическую, сколько коммуникативную структуру предложения.

Роль ВА в ритмике русского стиха до сих пор не обсуждалась сколько-нибудь детально. Между тем стиховой ритм может быть основан как на ФУ, так и на ВА, причем тип акцентуации внутри стихотворения может меняться. Имеются также факторы, которые могут нивелировать акцентную структуру стиха. Обилие акцентно релевантных факторов создает достаточно большое пространство ритмических возможностей. Возникает задача создания типологической схемы, в рамках которой описывалась бы ритмика конкретных стихотворений.

Естественно было бы соотносить ритмическую типологию с содержательной типологией поэтических текстов, опирающейся на их логико-коммуникативные характеристики. Однако до сих пор не существует какой-либо общепринятой классификации такого рода. Причина этого в том, что логико-коммуникативная характеристика высказывания — многомерный (причем весьма сложный) объект [Арутюнова 1988; 1998; Золотова и др. 1998; Падучева 1996], причем эта характеристика меняется в разных фрагментах текста. Поэтому возможны различные классификации «коммуникативных регистров» как отдельных высказываний, так и текстов, ориентированных на разный состав признаков и на разную их иерархию.

Для конкретных дескриптивных задач удобны частные классификации, учитывающие кластеры признаковых значений, характерные для текстов исследуемого типа. Данная работа представляет собой опыт именно такого подхода: мы пытаемся наметить контуры типологии поэтических текстов. В качестве материала используются стихи А. Фета. Причины выбора этого поэта очевидны: Фет создал совершенные, причем весьма разнообразные по форме, образцы русского классического стиха XIX в. Если предлагаемая ниже типологическая схема позволит получить достаточно успешную ритмическую классификацию стихов Фета, можно попробовать применить ее и к стихам других поэтов.

Перечислим основные логико-коммуникативные параметры, которые предположительно определяют тип акцентуации стихов Фета. Начнем с параметров, характеризующих природу описываемых поэтом явлений. Здесь на одном конце находятся состояния, на другом — активные действия, а между ними — некоторые нейтральные события в мире.

Стативность, пассивность, непроизвольность описываемого маркируются общим низким уровнем громкости. Напротив, динамичность, активность и контролируемость изображаемого имеют громкую маркировку. Нейтральность интегральных огласовок отражает немаркированное состояние описываемого. У Фета доминируют тексты последнего типа, однако немало тихих и громких стихов.

Второй параметр касается установок наблюдателя. Здесь на одном конце находится дистанцированность автора текста от наблюдаемого, малая релевантность для него предмета описания, а на другом — заинтересованность, вовлеченность в интерпретацию описываемого. Промежуточное положение снова занимает некоторое нейтральное отношение.

Значения второго параметра символизируются типом акцентуации. Для текстов с установкой дистанцированности характерна невыраженность акцентной струк-

туры, лишь конечные слоги синтагм получают слабые тональные акценты, имеющие чисто фазовую функцию. Нейтральные тексты получают фразовые ударения, а вовлеченность автора в актуальную интерпретацию наблюдаемого отражается выделительными акцентами.

Имеется тенденция к кластеризации значений первого и второго параметров: стативное скорее оформляется не только как тихое, но и как слабоакцентное, а активное как громкое и сильноакцентное. Однако встречаются и разнонаправленные сочетания: стативной природы и ее активной интерпретации наблюдателем, активных событий и дистанцированной позы наблюдателя. В таких случаях состояние мира предопределяет общий громкостный фон стихотворения, а установки наблюдателя — характер акцентуации.

Как будет далее показано, уровень громкости существенно влияет на общий фон ритмики. Низкая громкость как бы приглушает акценты, нивелируя ритмическую структуру. Напротив, высокая громкость подчеркивает акцентную схему стиха.

Перейдем теперь к третьей группе логико-коммуникативных параметров. Они касаются планов обработки информации: явления мира характеризуются либо эпистемически (как «факты», включенные в систему знаний), либо онтологически (как наблюдаемые, «события»). С этой оппозицией соотнесено различие клишированных комбинаций элементов описываемой ситуации, выступающих как стандартные компоненты памяти, и наблюдаемых окказиональных сочетаний. Данное противопоставление занимает важное место в семантической теории Н. Д. Арутюновой (указ. соч.) и весьма существенно для понимания акцентуации стиха. Однако в контексте данной работы нам кажется удобным использовать и другие номинации для членов оппозиции: «интерпретированное» (наряду с «фактами») и «наблюдаемое» (наряду с «событиями»).

Описанная оппозиция имеет ясное акцентное выражение: клишированные семантические комплексы («факты», «интерпретированное») огласуются с помощью групповых акцентов (ФУ или ВА), связывающих их в единое ритмическое целое. Напротив, «события» («наблюдаемое») имеют пословную акцентуацию текста, причем в этом случае используются только выделительные акценты.

Выделительные акценты не одинаковы по функциям и форме [Николаева 2000]. Они делятся на два основных класса: неконтрастивные и контрастивные. При пословной акцентуации используются только неконтрастивные акценты, тогда как для подчеркивания отдельных слов или словосочетаний могут использоваться как неконтрастивная, так и контрастивная разновидность ВА. Оба типа ВА отличаются от ФУ более активным использованием средств подчеркивания (громкости и длительности). При этом, однако, синтаксические законы постановки ВА внутри группы не отличаются от законов для ФУ. Различие появляется лишь в том случае, когда ВА используется противопоставительно и в качестве сферы действия имеет один из компонентов группы. В такой ситуации ВА ставится на фокусе противопоставления.

Следует предупредить, что ВА используется не только как средство окказионального подчеркивания значимости или неожиданности сообщаемого (либо как знак наличия противопоставления). Имеется немало лексем со встроенными ВА [Скорикова 2002], причем семантическая мотивация акцентного усиления слова не всегда очевидна.

Еще одну группу параметров составляют характеристики интерактивной ситуации стихотворения: текст представляет собой либо неадресованное сообщение, либо отражает рефлексию автора, либо имеет внешнего адресата того или иного типа. С этой оппозицией соотнесены жанровые и иллокутивные характеристики стихотворений. Упрощая ситуацию, мы выделяем три класса текстов: описательные, рефлексивные и диалогические (к последним близки инструктивные).

Эти иллокутивно-жанровые различия имеют тональные корреляты: тональные акценты (ТА) в текстах рефлексивного типа ослаблены и в основном носят фазовую функцию, а в диалогических и инструктивных текстах характеризуются большой амплитудой изменения, что влияет на степень выраженности ритмической схемы стихотворения.

Суммируем сказанное в виде таблицы:

Логико-коммуникативные характеристики текста	Просодические показатели текста
<b>Характеристика наблюдаемого</b>	<b>Общий уровень громкости</b>
Стативность Нейтральность Активность	Тихо Нейтрально Громко
<b>Установка наблюдателя</b> Дистанционность Нейтральность Вовлеченность	<b>Тип акцентирования 1</b> Безакцентность Фразовые ударения (ФУ) Выделительные акценты (ВА)
<b>Способ представления информации</b> Интерпретированное (факты) Наблюдаемое (события)	<b>Тип акцентирования 2</b> Локальная акцентуация Пословная акцентуация
<b>Интерактивный режим текста</b> Описание  Рефлексия Диалог и инструкция	<b>Тональные акценты</b> Тональные акценты (ТА), присоединяемые к ФУ и ВА Слабые ТА на конечном слоге группы ТА, присоединяемые к ВА

Эта таблица допускает большое число потенциальных сочетаний семантических характеристик и соответствующих просодических огласовок, задающих типологическое пространство ритмики, и в стихах Фета мы находим многие из этих типов. Однако в пределах небольшой статьи невозможно обсудить все реально использованные Фетом комбинации. Поэтому мы рассмотрим лишь те из них, которые наиболее характерны для поэта. В качестве заголовков для подразделов

будут использоваться сочетания семантических характеристик, задающие коммуникативный тип стихотворений рассматриваемой группы.

Следует учесть, что многие стихи Фета совмещают акцентуацию разных типов, что отражает переход автора от одних коммуникативных установок к другим в пределах одного текста.

### *1. Нейтральность — Нейтральность — Интерпретированное — Описание*

В стихах этого коммуникативного типа ритм основан на фразовых ударениях, произносимых на общем нейтральном по громкости фоне с добавлением нейтральных же тональных акцентов. Обычное понимание термина «ритм» в отечественном стиховедении связано прежде всего с акцентуацией этого типа. Оно восходит к работам А. Белого, который называл «ритмом» акцентную структуру, возникающую из-за пропуска сильных позиций в метрической схеме (прекрасное изложение концепции Белого дано Жирмунским [Жирмунский 1975]). Особое внимание последующих исследователей привлекал «альтернирующий» ритм, который является следствием регулярных пропусков ударения на иктах (через один) в двусложных размерах.

Существование вторичного ритма, надстроенного над первичным ритмом (метром), обусловлено двумя обстоятельствами: большими расстояниями между словесными ударениями и нерелевантностью для ритмики тех словесных ударений, которые не несут фразовых акцентов [Кодзасов 2003]. В то время как первичный ритм создается словесными ударениями, вторичный ритм определяется фразовыми ударениями или выделительными акцентами, т. е. словесными ударениями, имеющими повышенную степень ударности. Вопреки мнению А. Белого, считавшего, что пропуски сильных позиций разнообразят монотонность базовой метрической схемы, мы полагаем, что эти пропуски участвуют в создании регулярного ритма второго порядка.

Проиллюстрируем «напевную» ритмику, основанную на равном числе фразовых ударений в строках, на материале одного из ямбических стихотворений Фета:

*Не первый \* год у этих \*мест  
Я в час \*вечерний \*проезжаю.  
И каждый \*раз гляжу \*окрест  
И над \*березами \*встречаю  
Все \*тот же золоченый \*крест.*

*Среди \* зеленои \* густоты  
\*Карнизов обветшальных \*пятна,  
\*Внизу могилы и \*крести,  
И \*мне — мне кажется \*понятно,  
Что шепчут \* куполу \*листы...*

Здесь и далее слова, несущие ФУ, мы помечаем звездочкой. Расстановка ФУ в большинстве групп цитированного стихотворения соответствует стандартным акцентным правилам. В частности, при прямом порядке в группе Адъектив + Субстантив акцент ставится на субстантиве (*первый \*год, этих \*мест, каждый \*раз, золоченый \*крест*), а при обратном — на адъективе (*час \*вечерний*). Имеется два отклонения от этого правила (*\*зеленои \*густоты* и *\*карнизов обвет-*

шальных), однако они имеют простое объяснение. В первом случае мы имеем дело с семантически необычным сочетанием, а в этом случае акцентуация пословна [Кодзасов 1996]. Во втором случае в дело вмешивается фактор лексической безакцентности: слова с семантикой стативности и непроизвольности акцента не принимают. Лексическая безакцентность слова *обветшалый* делает, например, неприемлемым двустишие: *В притадке дерзости удалой Разрушил дом свой обветшалый (?)*.

В рассмотренном выше стихотворении используются две разных акцентных схемы: xxxXxxxX(x) и xXxxxxxX(x). Различие акцентных схем строк при равенстве числа акцентов в них — частое явление в русской поэзии. Очевидно, оно не существенно для восприятия вторичного ритма [Кодзасов 2003].

## 2. Нейтральность / Стативность — Вовлеченность — Интерпретированное — Описание

Ритмика стихотворений этого типа отличается от ритмики стихотворения, рассмотренного выше, заменой фразовых ударений на выделительные акценты. Это отличие связано с более активным характером интерпретирующей деятельности поэта, его вовлеченностью в наблюдаемое. Выделительные акценты на нейтральном громкостном фоне обозначаются двойной звездочкой перед словом. В случае низкого уровня громкости, который снижает степень выраженности выделительных акцентов, они помечаются знаком «+». Приведем фрагмент из хореического стихотворения Фета, в котором происходит громкостный перелом между строфами:

<i>Глубь **небес опять **ясна,</i>	<i>Спит во +гробе +ледяном,</i>
<i>Пахнет в **воздухе **весна;</i>	<i>+Очарованная +сном, —</i>
<i>Каждый **час и каждый **миг</i>	<i>Спит, +нема и +холодна,</i>
<i>**Приближается **жених.</i>	<i>Вся во + власти +чар она.</i>

Это стихотворение интересно отсутствием «ударной константы» на конечной стопе второй строфы, такого рода схемы Фет использовал неоднократно. Этот факт — еще одно свидетельство того, что число акцентов для эвфонического ритма важнее, чем их расположение в строке.

Текст этого стихотворения, равно как и текст, рассмотренный в предыдущем параграфе, содержит ясные показатели того, что рисуемая картина представляет не «события», а «факты». Информация не «считывается» с наблюданной действительности, но уже пропущена через интерпретирующую систему, предполагающую сопоставления и ментальные оценки. На это указывают фрагменты *не первый год, час вечерний, каждый раз, мне кажется* в первом отрывке и *опять, каждый час и каждый миг, вся во власти чар* — во втором.

Несколько иную ситуацию мы находим в следующем стихотворении:

<i>Зреет **рожь над жаркой **нивой</i>	<i>Робко **месяц смотрит в **очи,</i>
<i>И от **нивы и до **нивы</i>	<i>**Изумлен, что день не **минул.</i>

Гонит \*\*ветер \*\*прихотливый  
\*\*Золотые \*\*переливы.

Но \*\*широко в область \*\*ночи  
День \*\*объятия \*\*раскинул...

Метафорическая интерпретация наблюдаемого здесь также сопровождается выходом из сенсорного регистра: его анимистическая проекция является результатом интерпретирующей деятельности наблюдателя и оформляется в виде когнитивных блоков, манифестируемых акцентно объединенными словосочетаниями.

### 3. Нейтральность — Нейтральность — Наблюдаемое — Описание

Для ритмики стихотворений этого типа решающим является параметр «наблюдаемое», который задает режим пословных выделительных акцентов, которые в данном стихотворении произносятся на нейтральном по громкости фоне и без увеличения тонального интервала. Пословность выделительных акцентов ниже маркируется двойной звездочкой при квадратных скобках, показывающих сферу действия акцентуации.

[Скрип шагов вдоль улиц белых,  
Огоньки вдали;  
На стенах оледенелых  
Блециут хрустали.

От ресниц нависнул в очи  
Серебристый пух.  
Тишина холодной ночи  
Занимает дух...]\*\*

Обратим внимание на характерное начало стихотворения — номинативные конструкции (*Скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали...*) указывают на «приглазный» характер идентификации и задают коммуникативный регистр всего стихотворения.

Еще один пример такого рода — стихотворение «Весенний дождь»:

[Еще светло перед окном,  
В разрывы облак солнце блещет.  
И воробей своим крылом,  
В песке купаяся, трепещет.

А уж от неба до земли,  
Качаясь, движется завеса.  
И будто в золотой пыли  
Стоит за ней опушка леса...]\*\*

Структура текста однозначно свидетельствует о том, что зритель текущим образом «считывает» эпизоды разворачивающегося перед ним сценария начала дождя.

### 4. Стативность — Дистанцированность — Наблюдаемое — Описание

Низкая громкость, предопределенная стативным характером изображаемого, оказывает решающее влияние на ритмику стихотворения. Фразовые ударения, произнесенные на низком уровне громкости, очень ослаблены, так что акцентная структура текста почти нивелирована. Она поддерживается в основном автомати-

ческими тональными движениями малой амплитуды на конечных словах синтагм, которые функционируют как препаузальные фазовые показатели (отмечаем их апострофом). Приведем две начальные строфы знаменитого стихотворения Фета «Шепот сердца, уст дыханье...»:

*Шепот 'сердца, уст 'дыханье,  
Трели 'соловья.  
'Серебро и 'колыханье  
Сонного 'ручья.*

*Свет 'ночной, ночные 'тени,  
Тени без 'конца.  
Ряд 'волшебных 'изменений  
Милого 'лица.*

Однако третья строфа нарушает ритмическую монотонность текста: последние две строки содержат слова, маркированные выделительными акцентами (в данном случае лексическими):

*Бледный 'блеск и пурпур 'розы,  
Речь не 'говоря,  
И +лобзания, и +слезы,  
И +заря, +заря!..*

Встроенная акцентированность слов *лобзания, слезы, заря* обусловлена, несомненно, компонентом эмоционального возбуждения, который содержит их семантика. Поэт прекрасно чувствовал повышенную экспрессивность конечного фрагмента, снабдив его знаком «!..».

Также и другие стихотворения рассматриваемого типа иногда обнаруживают вторжение лексической просодии, которая компенсирует слабую выраженность ритмики. Так, в нечетных строках стихотворения «Сerenада» содержатся слова, которые имеют буккальную (губно-щечную) напряженность ударного слога. Эти «усиления» (отмечены двойным апострофом) приходятся на 2-ю стопу строки, что в сочетании с конечным усилением создает своеобразный двухакцентный ритм:

*Тихо "вечер 'догорает,  
Горы 'золотя.  
Знойный "воздух 'холодает,  
Спи, мое 'дитя.*

*"Соловьи давно 'пропели,  
Сумрак "возвестя.  
Струны "робко 'зазвенели,  
Спи, мое 'дитя...*

## 5. Стативность — Нейтральность — Интерпретированное — Описание

Имеется, однако, иной вариант ритмизации при представлении стативной картины наблюдаемого. Он связан с более активной позицией наблюдателя, которая проявляется в его ментальной интерпретации такой картины. Типичный пример дает стихотворение «Лес», которое, несмотря на общий низкий уровень громкости, характерный для изображения стативного, имеет достаточно сильные выделительные акценты:

*Куда ни обращаю +взор,  
Кругом синеет мрачный +бор,*

*У ног гниет столетний +лом,  
+Гранит чернеет, а за +пнем*

*И день +права свои +утратил,  
В глухой дали стучит +топор,  
+Вблизи стучит вертлявый +дятел.*

*Прижался +заяц серебристый.  
А на,+сосне, поросшей +мхом,  
Мелькает +белки хвост пушистый.*

Здесь выделительные акценты маркируют переходы фокуса наблюдения (*топор* — *дятел*, *лом* — *гранит*, *заяц* — *хвост белки*), которые в ряде случаев сопровождаются сопоставлением локализаторов: *стучит в глухой дали — стучит вблизи, у ног — за пнем — на сосне*. Примечательна перекличка акцентных схем строф: в 1-й строфе строки 1, 2 и 4 имеют одиночный конечный акцент, а строки 3 и 5 имеют по два акцента, во 2-й строфе одиночный акцент имеют строки 1, 3 и 5, а два акцента — строки 2 и 4. Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что акцентному тождеству строк *Прижался заяц серебристый* и *Мелькает белки хвост пушистый* отнюдь не препятствует лексическая безакцентность рифмующихся слов. Это одно из многих проявлений того, что для восприятия ритма акцентность конечной стопы не обязательна.

### 6. Стативность — Дистанцированность — Наблюдаемое — Рефлексия

Наиболее высокую степень аритмичности обнаруживают рефлексивные верлибры Фета. Нам уже приходилось говорить о семантико-просодической базе русских верлибров: в них обычно описываются состояния и непроизвольные действия [Кодзасов 2003]. В данном случае нужно указать также на отстраненность автора: он «отчуждает» себя, смотрит на себя как на объект, претерпевающий разные состояния.

Приведем характерный пример фетовского верлибра:

*Я люблю 'многое, близкое 'сердицу,  
Только редко 'люблю я.  
  
Чаще всего мне нравится скользить по 'заливу  
'Так — 'забываясь  
Под звучную меру 'весла,  
Омоченного пеной 'шипучей, —  
Да 'смотреть, много ль 'отъехал,  
И много ль 'осталось.  
Да не видать ли 'зарницы...*

В верлибрах Фета трудно усмотреть какие-либо следы регулярной ритмизации текста, в лучшем случае речь может идти о слабых автоматических тональных движениях на конечных ударных слогах строки и перед внутристрочными паузальными разрывами (отмечены апострофами).

### 7. Активность — Вовлеченность — Наблюдаемое — Диалог

С немецкой тщательностью Фет исследовал все просодические возможности русского стиха XIX в. Было бы странно, если бы он пропустил totally акцентированный громкий стих! Прекрасный пример такого ритма дает его знаменитое стихотворение «Я пришел к тебе с приветом...»:

[Я пришел к тебе с приветом,  
Рассказать, что солнце встало,  
Что оно горячим светом  
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,  
Весь проснулся, веткой каждой,  
Каждой птицей встрепенулся  
И весенней полон жаждой ...] \*\*

Здесь на общем громком фоне акцентировано выделительным и тональным акцентом каждое полнозначное слово (знак \*\* после скобки, указывающей сферу действия totalной акцентуации). Это соответствует «активным» значениям всех семантических параметров стихотворения: активности происходящих в природе процессов и вовлеченности наблюдателя, «приглазному» способу показа происходящего (вопреки тому, что оно дается в подчиненной предикации), возбужденному вторжению в интерактивную сферу партнера.

### 8. Активность — Вовлеченность — Интерпретированное — Автоинструкция

Рассмотрим начальную строфу одного из лучших «инффинитивных» стихотворений позднего Фета:

Одним \*\*толчком \*\*сognать ладью \*\*живую  
С \*\*наглаженных \*\*отливами \*\*песков,  
Одной \*\*волной \*\*подняться в жизнь \*\*иную,  
Учуять \*\*ветр с \*\*цветущих \*\*берегов...

Регулярный трехакцентный ритм этого стихотворения возникает как следствие пропуска иктов в длинных словах (*наглаженных*, *неведомым*, *почувствовать* и др.) и отсутствия акцента на первом компоненте двусловной группы (*одним* \*\**толчком*, *учуять* \*\**ветр* и др.). Автопобудительный характер стиха исключает пословное «вдалбливание» инструкции типа: — \*\**Сделай* \*\**это* \*\**одним* \*\**движением!*

Отчасти регулярность акцентуации обусловлена здесь ритмической инерцией. Так, в группе *с цветущих берегов* акцент на первом слове не обязателен: в потенциальной строке *Цветущий \*берег \*скроется в \*тумане* прилагательное без акцентно.

### 9. Мена ритма внутри стихотворения

Для анализа ритма особенно интересны стихи, в которых происходят переломы акцентной схемы. У Фета мы находим большое число примеров такого рода, но

вынуждены ограничиться здесь двумя. Рассмотрим сначала две строфы хрестоматийного стихотворения «Ласточки»:

\*Природы праздный \*соглядатай,  
\*Люблю, забывши все \*кругом,  
Следить за \*ласточкой \*стрельчатой  
Над \*вечереющим \*прудом.

Вот \*\*понеслась и \*\*зачертила —  
И \*\*страшно, чтобы \*\*гладь \*\*стекла  
\*\*Стихией \*\*чуждой не \*\*схватила  
\*\*Молниевидного \*\*крыла...

Переход от отстраненной рефлексии *праздного соглядатая* к отслеживанию активных событий сопровождается эмоциональной мобилизацией автора и полной сменой просодической схемы: фразовые ударения на нейтральном фоне сменяются пословными выделительными акцентами на громкое.

Приведем, наконец, начальную и завершающую строфы стихотворения «Рыбка»:

\*Тепло на \*солнышке. \*Весна  
\* Берет свои \*права;  
В \*реке \*местами глубь \*ясна,  
На \*дне видна \*трава...

Но вот \*\*опять \*\*лукавый \*\*глаз  
\*\*Сверкнул \*\*невдалеке...  
\*\*Постой, \*\*авось на \*\*этот \*\*раз  
\*\*Повиснешь на \*\*рюбочке!

Здесь мы имеем сходный переход от констатирующего наблюдения статики природы к активному отслеживанию событий, ведущему к интерактивному взаимодействию с объектом наблюдения. Этому снова соответствует замена фразовых ударений, объединяющих синтаксические группы, пословными выделительными акцентами.

### Заключительные замечания

Типологическая модель ритма русского стиха только начинает создаваться. Даже ритмика классического стиха XIX в. изучена пока недостаточно. Причина этого в том, что прежние стиховедческие исследования в этой области не имели достаточной концептуальной опоры ни в области просодической формы стиха, ни в области его логико-коммуникативной организации. Соответствующие дескриптивные средства должны быть гораздо детальнее и техничнее, чем те, которые были до сих пор в распоряжении исследователя стиха. Создание полноценного аппарата для описания ритма стиха — весьма сложная задача, требующая совместных усилий стиховедов, фонетистов и специалистов по семантике. Настоящая работа — всего лишь попытка наметить подходы к решению этой задачи.

Отметим в заключение, что существует еще проблема прочтения стихотворения. Многомерность семантической структуры поэтического текста создает достаточно обширное поле потенциальных интерпретаций. Для продуктивного обсуждения возможных разнотечений необходимо осознание всех вовлеченных

категорий. Только идентификация спорного параметра может вскрыть источник разногласий.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Арутюнова 1988 — *Арутюнова Н. Д.* Типы языковых значений: Оценка, событие, факт. М., 1988.
- Арутюнова 1998 — *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. М., 1998.
- Золотова, Онищенко, Сидорова 1998 — *Золотова Г. А., Онищенко М. К., Сидорова М. Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.
- Жирмунский 1975 — *Жирмунский В.* Теория стиха. Л., 1975.
- Ковтунова 1976а — *Ковтунова И. И.* Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.
- Ковтунова 1976б — *Ковтунова И. И.* Порядок слов в стихе и прозе // Синтаксис и стилистика. М., 1976.
- Кодзасов 1996 — *Кодзасов С. В.* Законы фразовой акцентуации // Просодический строй русской речи. М., 1996.
- Кодзасов 2003 — *Кодзасов С. В.* Просодический космос русского стиха // Логический анализ языка. Космос и хаос. М., 2003.
- Николаева 1982 — *Николаева Т. М.* Семантика акцентного выделения. М., 1982.
- Николаева 2000 — *Николаева Т. М.* От звука к тексту. М., 2000.
- Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования. М., 1996.
- Скорикова 2002 — *Скорикова Т. П.* Принципы описания акцентогенных свойств лексем // Проблемы фонетики. IV. 2002.
- Славянский стих. Лингвистическая и прикладная поэтика // Мат-лы межд. конф. М., 2001.

*B. A. Плунгян (Москва)*

## К ЭВОЛЮЦИИ РУССКОЙ МЕТРИКИ: НЕМОНОТОННАЯ СИЛЛАБО-ТОНИКА

**В** настоящих заметках речь пойдет о некоторых тенденциях в эволюции русской метрики на ее «позднеклассическом» этапе, т. е. в период с середины XIX в. приблизительно по середину XX в. (в отдельных случаях рассматриваются и тексты второй половины XX в.). В этот период русский стих вступает с уже хорошо разработанным репертуаром базовой силлабо-тоники — правильными двусложными (освоенными уже в первой трети XIX в.) и трехсложными размерами (полное освоение которых происходит на несколько десятилетий позже; подробнее см., например, [Гаспаров 2000]). Возникает обычная в подобных ситуациях необходимость преодоления инерции устоявшихся форм. Это преодоление, как известно, может быть радикальным (и в этом случае историки предполагают говорить о «сломе» или «разрушении» старого формального репертуара), но может быть и эволюционным: в этом случае существующий репертуар подвергается относительно небольшим формальным модификациям, вскрывающим еще не использованные внутренние резервы метра. Второй путь может быть внешне менее заметным и ярким, но его изучение в каком-то смысле более интересно для понимания структуры и функции поэтических средств. В конце XIX в. русский стих пошел именно по второму пути: новые возможности были открыты внутри традиционной метрики и реализованы в виде тонких модификаций ее строевых элементов. Конечным этапом этой эволюции стало возникновение разных форм дольника и акцентного стиха, но в данной работе эти процессы уже не будут рассматриваться. Основное внимание будет уделено особенностям развития русской метрики, если можно так выразиться, «на подступах к дольнику».

Как известно, формальным приемам свойственно со временем «изнашиваться»: утрачивается эффект новизны, и те свойства, которые казались на предыдущем историческом этапе привлекательными и яркими, начинают казаться тривиальными, а их достоинства превращаются в недостатки<sup>1</sup>. Правильные силлабо-тонические размеры русского стиха — не исключение. Возникнув в первой половине XVIII в. в результате адаптации немецкого стиха, они существенно выигрывали эстетически на фоне господствовавших в ту эпоху силлабических адаптаций

польского стиха, так как лучше использовали фонетические особенности русской речи. Однако «естественность» и «гибкость» силлабо-тоники была таковой только в сравнении с гораздо менее «естественнymi» экспериментами; в действительности, правила силлабо-тонического стихосложения налагают на допустимые в стихе структуры слишком большое количество ограничений (несвойственных, например, русскому народному стилю). Основное из этих ограничений то, что силлабо-тонический стих в нормальном случае основан на ритме, связанном с повтором одинаковых последовательностей сильных и слабых слогов («стоп»): например, строка, начинающаяся ямбической стопой, не должна продолжаться стопой анапеста и т. п. В этом смысле классическое русское силлабо-тоническое стихосложение может быть названо «монотонным». Этот термин в прямом значении не претендует на оценочность (ср. понятие монотонной функции в математике), однако не следует забывать, что избыток монотонности в наивной картине мира, как правило, получает отрицательную оценку: монотонность ассоциируется с предсказуемостью и однообразием, т. е. низкой информативностью и, как следствие, — пониженней эстетической выразительностью. Классическое русское силлабо-тоническое стихосложение — одно из самых монотонных и в терминологическом<sup>2</sup>, и в «наивном» смысле этого слова; и если эстетическими преимуществами, вытекающими из этого свойства, могли считаться особого рода «строгость» и «чеканность» формы классического стиха, то и эстетические потери оказывались не меньшими. Более того, с течением времени эстетические преимущества монотонного стиха ослабевали, тогда как его отрицательные стороны усиливались.

Проблема излишней монотонности классического русского стиха, как представляется, была осознана достаточно рано — собственно, уже в послепушкинскую эпоху, когда двусложные размеры были полностью канонизированы и возникла потребность в их эстетическом оживлении (первоначальным ответом на эту потребность было освоение трехсложных размеров, начатое Жуковским и продолженное Лермонтовым и Кольцовым). Особенностью второй половины XIX в. является то, что попытки уменьшения монотонности стиха происходят в это время не непосредственно в сфере метрики, а скорее в сфере строфики, нарушения же силлабо-тонического ритма носят очень робкий и единичный характер. По-видимому, более сильные нарушения оказались бы просто несовместимы с господствовавшим тогда представлением о том, что такое стих, и вызвали бы упрек в недостаточном владении профессиональным мастерством. Не случайно переводы немецких стихов, написанных дольником, делались в XIX в. почти исключительно правильными силлабо-тоническими размерами, а спорадически еще встречавшиеся в поэзии XVIII в. (и исчезнувшие вскоре после Державина) дольники и логаэды были, по удачному выражению М. Л. Гаспарова [2000, 129], не более чем «побочными продуктами проблемных сочетаний» различных правильных стоп, хотя примеры таких несовершенных логаэдов можно найти даже у Жуковского (ср. выдержанную в наивно-сентименталистской стилистике XVIII в. «Жалобу пастуха»: *На ту знакомую гору // Сто раз я в день прихожу*, 1817, >АфЗжм, 1—2<sup>3</sup>).

Соответственно, именно в XIX в. получает наибольшее распространение такой прием, как чередование внутри одного размера строк с разным количеством стоп — регулярное или нерегулярное («вольное»). Регулярные и вольные разностопники (в особенности с контрастирующей клаузулой) были, как представляется, основным и, так сказать, самым «легитимным» средством компенсации силлабо-тонической монотонности в ту эпоху. При этом они тяготели к лирическим и к наиболее «эмоциональным» эпическим жанрам — балладам (*Ты помнишь ли вечер, как море шумело, // В шиповнике пел соловей*, А. К. Толстой, Аф4ж / Аф3м) и романам (*Белой акации гроздья душистые // Вновь аромата полны*, Пугачев, Д4д / Д3м). Из вольных размеров при этом использовался фактически только ямб (ср. [Гаспаров 2000, 186 и сл.]), что также не случайно: ямб как наиболее распространенный (и наиболее канонизированный) размер нуждался в более сильных средствах компенсации монотонности, и регулярного разностопного ямба для этой цели было уже недостаточно.

Из собственно же метрических средств преодоления монотонности в XIX в. (ограниченно) использовались в основном следующие три: перебои ритма, так называемая гетерометрия (или строчные логазды, ср. [Гаспаров 1993, 119—120]), и, наконец, цезурные эффекты. Их мы и рассмотрим более подробно.

Перебоем обычно называется единичный сдвиг схемного ударения внутри стопы, в результате которого сильное место стопы оказывается безударным, а слабое — ударным. Заметим, что ударность слабого места стопы допускается и в классической силлабо-тонике, но при условии обязательной ударности также и ее сильного места — так называемое сверхсхемное ударение, например (сильное место выделено полужирным, слабое ударное место подчеркнуто): *Я, Мать Божия, ныне с молитвою* (Лермонтов, 1837, Д4д) или *Пуст — хлеба вкус* (Цветаева, 1940, Я2м). Таким образом, перебои могут рассматриваться как дальнейшее развитие метрического приема, еще более ослабляющего связь между сильным местом метрической схемы и его ударностью (напомним, что в правильной силлабо-тонической стопе сильный слог может, а слабый — не может быть ударным при безударном сильном). Сверхсхемные ударения и перебои нередко возникают в одном и том же тексте, как в только что процитированном стихотворении Лермонтова, где «чистый» перебой представлен, например, в строке *Окружи счастием душу достойную*. Сочетание этих двух приемов возможно даже в одной и той же строке, ср.: *Задушить грусть, печаль выплакать* (Кольцов, 1840, Х4д), где на слово *грусть* приходится сверхсхемное ударение, а на соседнее (семантически тождественное!) слово *печаль* — перебой.

В XIX в. перебои не использовались систематически, как последовательный прием построения стиха: наиболее известные удачные образцы их применения эксплуатируют именно спонтанный характер перебоев, подчеркивающий резким нарушением монотонности эмоционально наиболее важные фрагменты. Впрочем, относительно более свободное использование перебоев допускалось в коротких «песенных» хореях (как считается, изначально не без влияния украинского силла-

бического стиха); эта традиция сохранялась и на протяжение всего XX в. (ср.: *В шелковые сети // Постой — не лови*, Окуджава, 1967, Х3жм или *Зайду к Белле в кабинет, | скажу: «Здравствуй, Белла!»*, Окуджава, 1985, Х4м|Х3жм).

Вместе с тем для анализа перебоев существенно, что перенос ударения ссильного места на слабое может иметь своего рода побочный эффект — строка в целом начинает восприниматься как написанная другим (но также правильным) силлабо-тоническим размером<sup>4</sup>. Вообще говоря, вероятность такой интерпретации тем больше, чем больше в стихотворении перебоев на одинаковых местах строки. Так, хрестоматийное «*Silentium*» (Тютчев, 1833, Я4м) содержит по крайней мере три строки с однотипным сдвигом ударения, и все они могут восприниматься как Аф3м (*Встают и заходят оне // Безмолвно, как звезды в ночи* и др.).

Тем самым точно так же как перебои могут рассматриваться как прием, связанный с экспансией сверхсхемного ударения, дальнейшая экспансия самих перебоев порождает второй прием из нашего списка — гетерометрию, или комбинацию различных строк, написанных правильными силлабо-тоническими размерами. По отношению к XIX в. речь должна идти скорее о нерегулярных (как бы случайных) комбинациях такого рода; эксперименты с регулярной гетерометрией более характерны для начала XX в. — у таких авторов, как Брюсов, Герцык, Городецкий и в особенности Парнок, хотя и в XIX в. отдельные примеры подобных стихов встречаются. При этом наиболее типичны нерегулярные комбинации трехсложных размеров: вариативность здесь возникает в результате колебания числа начальных слабых слогов (от нуля, что соответствует дактилю, до двух, что соответствует анапесту) — так называемая «переменная анакреза» [Гаспаров 1993, 75]<sup>5</sup>. Этот прием встречается уже в произведениях 1830-х гг., ср. такие известные образцы, как *Русалка плыла по волне голубой // Озаряема полной луной // +И старалась она доплеснуть до луны // Серебристую пену волны* (Лермонтов, 1832, Аф~Ан4м / Ан3м, где дополнительным средством преодоления монотонности является регулярная комбинация четырехстопных строк с переменной ненулевой анакрозой и правильных строк Ан3) или *И море, и буря качали наши челн* (Тютчев, 1836, Аф~Д~Ан4м; этот тип стиха можно было бы назвать «вольным четырехстопным трехсложником»). Примером регулярного чередования разных трехсложных размеров («урегулированная переменная анакреза») может служить *Только в мире и есть, что тенистый // Дремлющих кленов шатер* (Фет, 1883; Ан3ж / Д3м).

Трехсложная гетерометрия, никогда не будучи широко распространенной; тем не менее устойчиво присутствует в метрическом репертуаре как XIX, так и XX века. К ее более поздним образцам относятся, в частности, *И ветер, и дождик, и мгла // +Над холодной пустыней воды* (Бунин, 1903, Аф3м. / Ан3м); *+В этот вечер нам было лет по сто. // Темно и не видно, что плачу* (Парнок, 1915, Ан3ж / Аф3ж); *+Не воздух, а золото, // Жидкое золото // Пролито в мир* (Городецкий, 1905, Аф~Д2дм); *Красною кистью // +Рябина зајглась* (Цветаева, 1916, Д2ж / Аф~Д2м) и др. (первые два примера представляют урегулированную переменную анакрезу, вторые два — вольную). Переменная анакреза при двусложных размерах

развивается несколько позже, но в поэзии конца ХХ в. играет важную роль (см. ниже, Замечание).

От использования переменной анакрузы следует отличать то, что можно назвать «радикальной» гетерометрией, т. е. различные сочетания двусложных и трехсложных размеров. Прием этот в целом более редок, хотя принципиальная возможность сближения двусложной и трехсложной ритмики в русской поэзии существует, и о ней уже говорилось выше в связи с перебоями. Эксперименты с радикальной гетерометрией (в рамках имитаций народного стиха) были уже у Кольцова и Никитина, ср. *Я затеплю свечу // Воску ярова* (Кольцов, 1830, Ан2м / Х2д); *Ни кола, ни двора, // Зипун* — весь пожиток (Никитин, 1858, Ан2м / Х3ж, с перебоями в хореических строках). В начале ХХ в. новая традиция радикальной гетерометрии возникла, по всей вероятности, после брюсовских экспериментов, в том числе наиболее известного «В Дамаск» (*Лубы мои приближаются // К твоим губам*, 1903, Д3д / Я2м). Эту линию продолжают, например, *Речи погасли в молчании, // Слова — как дымы* (Герцык, 1910, Д3д / Я2ж), *Нет прекраснее // И таинственней нет* (Герцык, 1919, Х2д / Ан2м) и др., вплоть до поздних стихов Парнок начала 1930-х гг. Все эти образцы, как можно заметить, иллюстрируют регулярную гетерометрию: вольные сочетания разных размеров в этом типе редки, поскольку привели бы к слишком заметному разрушению ритма. Уникально ранним образцом вольной радикальной гетерометрии является *Слышу ли голос твой* (Лермонтов, 1838, с нерегулярным чередованием Д2д, Аф2д~ж и Я2д~ж); «метрическая эстетика» этого стихотворения (не случайно считавшегося современниками незаконченным черновиком) опередила свое время как минимум на 60 лет.

**З а м е ч а н и е.** Интересно, что в метрическом репертуаре второй половины ХХ в. наблюдается заметный рост всех видов гетерометрии (как радикальной, так и основанной на анакрузе, причем в последнем случае переменная анакруза используется не только в трехсложных, но и в двусложных размерах). Эта вторая гетерометрическая волна опирается, скорее всего, не столько на эксперименты начала ХХ в., сколько на народную и песенную традицию, демонстрируя своего рода компромисс между канонической силлабо-тоникой и тоническим стихом (с перевесом канонической силлабо-тоники, но максимально освобожденной от «культурной узды» монотонности). Действительно, подобный тип стиха сохраняет отчетливый «фольклорный» и «простонародный» ореол. Он очень характерен для текстов песен — от ранней «белогвардейской» *Слышали, деды? // +Война началася* (Д~Аф2ж) до поздней «советской» типа *Эх, дороги... // Пыль да туман* (Ошанин, 1945, комбинации разностопного хорея с короткими трехсложными размерами в виде строф Х2ж / Д2м / Х3жм, Х3жм / Х4ж / Аф2ж и др.); с большим мастерством он был использован Чуковским в его лучших «детских» текстах типа «Мухи-Цокотухи» (*Эй, сороконожки, // +Бегите по дорожке, // +Зовите музыкантов, // Будем танцевать!*, 1927, Х~Я3)<sup>6</sup>. Эта народно-песенная интонация подхватывается и поэтами 1960-70-х гг., в частности Рубцовым, Высоцким и Галичем, которые много и активно используют гетерометрию, причем именно в указанном стилистическом ключе. Ср. характерные примеры неурегулированной переменной анакрузы с трехсложными: *Мы похоронены где-то под Нарвой, // +Мы были — и нет* (Галич, 1962, Д4ж / Аф~Д2м) и с двусложными размерами: *У него — твой профиль выколот снаружи, // +А у меня — душа искалата внутри* (Высоцкий, 1961, Я~Хбжм) или *+И там, где полюс был — там тропики, // +А где Нью-Йорк — Наичевань, // +А что мы люди, а не бобики, //*

*Им на это начихать!* (Галич, 1962, Я~Х4dm; ср. анализ других фрагментов этого текста ниже). Этот же тип гетерометрического стиха — своего рода «мягкий дольник» — остается одним из наиболее характерных и для современных песен массового репертуара, причем в равной степени используются как переменная анакрауза, так и радикальная гетерометрия. Два примера из текстов постсоветского времени: *Батька Махно | смотрит в окно, // На дворе темным-темно* (Шаганов, Д2m|Д2m / X4m) и ритмически практически идентичный римейк *Будет гитара | как у фирмы, // Хоть и сделана в Перми* (Трофимов, Д2ж|Д2m / X4m). Гетерометрия в современной поэзии, безусловно, нуждается в самостоятельном исследовании; во всяком случае, верное по отношению к предыдущему периоду утверждение о том, что «[в] двусложных размерах переменные анакраусы встречаются очень редко» [Гаспаров 1993, 75] совершенно не подтверждается материалом стиха 1930—1990-х гг.

С гетерометрией (или даже с простыми разностопными комбинациями канонических размеров) оказывается в какой-то степени связан и третий прием, для которого мы хотели бы предложить обобщающий термин «цезурные эффекты». Речь идет о возможности добавления или усечения слабых слогов перед цезурой внутри строки; получающийся таким образом стих фактически представляет собой комбинацию двух самостоятельных стихов одинакового размера, но записанную без разделения на строки<sup>7</sup>. Лишний или недостающий слог на конце первого полустишия делает ритм менее монотонным, хотя это нарушение ритма при постоянной цезуре само является достаточно предсказуемым.

Один из самых ранних примеров удачного использования цезурных эффектов<sup>8</sup> (причем пример, демонстрирующий как раз цезурное усечение) — стихотворение «Черные очи» Вяземского (1828) с очень своеобразным и прихотливым ритмическим рисунком. Приводим его полностью:

Южные звезды!   Черные очи!	Д2ж Д2ж
Неба чужого огни!	Д3м
Вас ли встречают   взоры мои	Д2ж Д2м
На небе хладном   бледной полночи?	Д2ж Д2ж
Юга созвездье!   Сердца зенит!	Д2ж Д2м
Сердце, любяся вами,	Д3ж
Южною негой,   южными снами	Д2ж Д2ж
Бьется, томится, кипит.	Д3м
Тайным восторгом   сердце объято,	Д2ж Д2ж
В вашем сгорая огне;	Д3м
Звуков Петрарки,   песней Торквато	Д2ж Д2ж
Ищешь в немой глубине.	Д3м
Тщетны порывы!   Глухи напевы!	Д2ж Д2ж
В сердце нет песней, увы!	Д3м
Южные очи   северной девы,	Д2ж Д2ж
Нежных и страстных, как вы!	Д3м

Как можно видеть, это стихотворение представляет собой нерегулярное чередование строк Д4 и Д3 с мужской или женской клаузулой (только в последних двух четверостишиях строфика приобретает регулярный характер). При этом все без

исключения строки Д4 разбиты цезурой на два полустишия с одним усеченным слогом перед цезурой. В данном случае также, по-видимому, можно говорить о метрической инновации, опередившей свое время (подобно лермонтовскому *Слыши ли голос твой*): цезурные эффекты в стихах середины XIX в. в целом используются более осторожно, т. е. присутствуют в меньших масштабах и тяготеют к регулярным чередованиям цезурованных и нецезурованных строк (последние, как правило, содержат меньшее число стоп, как и у Вяземского). Именно таким образцом регулярного стиха с цезурным наращением является «Будрыс и его сыновья» Пушкина (*Три у Будрыса сына, | как и он, три литвина. // Он пришел толковать с молодцами*, 1833, Аи2ж|Аи2ж / Аи3ж), где разбитая цезурой «длинная» строка Аи4ж с дополнительным слогом (и внутренней рифмой) регулярно чередуется с «короткой» строкой Аи3ж. «Балладный» ритм стихотворения Пушкина существенно более монотонный и предсказуемый, чем «романтический» ритм стихотворения Вяземского. Можно сказать, что у Пушкина нарушение монотонности, произошедшее благодаря цезурным наращениям, максимально нейтрализовано, так что стихотворение воспринимается практически как последовательность из двух строк Аи2ж и одной Аи3ж (сам этот размер возник явным образом под влиянием польского оригинала Мицкевича). Как кажется, ни сам Пушкин, ни его современники в эпической поэзии балладного типа к использованию цезурных эффектов в целом не стремились, предпочитая компенсировать метрическую монотонность простым чередованием правильных разностопных размеров (в том числе и с внутренней рифмой): так написана и «Песнь о вещем Олеге» Пушкина (1822, Аф4м / Аф3ж, с усложненной строфикой), и «Замок Смальгольм» Жуковского (1822, Аи4м / Аи3м, со спорадической внутренней рифмой в строке Аи4 — собственно, именно этот образец, по-видимому, и имел в виду Мицкевич, а естественная для польского стиха замена мужских клаузул на женские при внутренней рифме привела к цезурным наращениям). Тип стихотворения, в котором использование цезурных эффектов оказалось наиболее подходящим, был лучше угадан Вяземским: это не баллада, а эмоциональная импрессионистическая лирика. Интересным образом, особый дробный ритм стиха с цезурными эффектами часто служил для описания ритмичных «серий» (движений, звуков, и т. п.) — морского прибоя, взлетов качелей, мерцания звезд и др. Таков уже «Пироскаф» Баратынского (1844) с его нерегулярным чередованием правильных бесцезурных строк вида Д4жм и строк с цезурным усечением вида Д2ж|Д2м (усеченные строки встречаются только с мужской клаузулой: *Вот над кормою | стал капитан*)<sup>9</sup>.

Другим известным образцом стиха с цезурными эффектами в XIX в. стала «Последняя любовь» Тютчева (*О, как на склоне наших лет // нежней мы любим | и суеверней*, 1854, Я4м / Я2ж|Я2ж). Здесь также имеется чередование бесцезурного и цезурованного Я4 с добавлением одного слога перед цезурой (а в двух строчках этого стихотворения ритм еще более расшатан диерезами, т. е. сверхсхемными слабыми слогами в произвольных местах; этот прием начинает систематически использоваться гораздо позже, при переходе от дольника к акцентному стилю в первом десятилетии XX в.). Семантический фон стихотворения (ритмично вспы-

хивающие и гаснущие отблески вечерней зари), как можно видеть, идеально соответствует той области, где цезурные эффекты более всего применялись.

Вслед за Вяземским, Баратынским и Тютчевым ритмiku цезурных эффектов продолжали использовать поэты начала XX в., и даже в больших масштабах: так, этот прием нередок у старших символистов (у Гиппиус, Сологуба и особенно Бальмонта), а в дальнейшем его активно осваивает Северянин. Чаще всего в этот период встречаются цезурные наращения в строках Я4: *Я вольный ветер, | я вечно вею* (Бальмонт, 1898, Я2ж|Я2ж — порывы ветра), *На лунном небе | чернеют ветки* (Гиппиус, 1905, Я2ж|Я2ж — взмахи качелей), *В ландо моторном, | в ландо шикарном // Я проезжаю | по Островам* (Северянин, 1911, Я2ж|Я2жм — пружинящие рессоры экипажа) и др. Несколько меньше имеется примеров цезурных наращений в анапесте: *Я мечтою ловил уходящие тени, // Уходящие тени | погасавшего дня* (Бальмонт, 1894, Ан4ж / Ан2ж|Ан2м); *Это было у моря, | где ажурная пена, // Где встречается редко | городской экипаж* (Северянин, 1910, Ан2ж|Ан2жм), а также цезурных усечений в дактиле (появившихся, как мы видели, в русской поэзии раньше всего): *Есть у сирени | темное счастье — // Темное счастье | в пять лепестков!* (Тэффи, 1910, Д2ж|Д2жм).

Примечательно, что в метрическом репертуаре второй половины XX в. цезурные эффекты (близкие по своей природе к гетерометрии) также оказались активно востребованы. Однако используются они в этот период двумя разными способами: (1) в составе классических силлабо-тонических размеров (как двусложных, так и, в меньшей степени, трехсложных) и (2) в сочетании с двусложной гетерометрией, о которой шла речь выше. Первый способ фактически без изменений воспроизводит традицию XIX и начала XX в. (быть может, лишь несколько расширяя область применения и размывая семантику цезурных эффектов). Из поэтов данного периода им в наибольшей степени пользовался Окуджава, что хорошо соответствует его установке на условно-романсную поэтику рубежа веков с опорой на ритмiku Бальмонта и Северянина. Наиболее многочисленны у Окуджавы примеры цезурного наращения в строках Я6: *Забудешь первый праздник | и позднюю утрату* (1967, Я3ж|Я3жм), *Я выселен с Арбата, | арбатский эмигрант* (1982, Я3ж|Я3м) и т. п. (встречавшиеся ранее, в основном, у Бальмонта); ср. также пример цезурного усечения в хоре: *Что-то дождичек удач | падает не часто* (1985, Х4м|Х3жм) и др. Редкое цезурное наращение в анапесте представлено в «Парижской фантазии»: *Петербургскою ветхой салфеткой | прикрывая от пятен колени, // Розу красную в лацкан вонзая, | скатерть белую с хрустом стеля* (1982, Ан3ж|Ан3жм).

С другой стороны, сочетание цезурных эффектов с двусложной гетерометрией фактически подчиняет ритмiku цезурных эффектов ритмике гетерометрии и лишает ее самостоятельной семантики. Поэтому написанные таким образом стихи звучат совсем иначе, чем традиционные стихи с цезурными эффектами. Это, по большей части, сочетания двух коротких полустиший от Я~Х2 до Я~Х4 с переменной клаузулой в каждом: наиболее характерна дактилическая клаузула, которая может нерегулярно чередоваться с мужской; реже встречается женская клаузула

(потому что при хорее она не создает цезурного эффекта, а хореические строки в таком типе стиха все-таки преобладают). Иными словами, это двусложный размер с нерегулярной переменной анакрузой и нерегулярной переменной клаузулой, записанный «длинными» строчками по пять–восемь стоп с цезурой типа 3 | 2, 4 | 3, 4 | 4 и т. п. По своей эстетике и ритмической семантике такой стих существенно ближе к народному и, действительно, широко используется именно теми поэтами, которые придерживаются установки на имитацию «низовой» культуры — прежде всего, Галичем и Высоцким. Разберем два примера: начало уже цитированной выше известной песни Галича «Про мальяров, истопника и теорию относительности» (1962, нерегулярная гетерометрия на основе Х~Я3|Х~Я1~2~3м~д; рефрен Х~Я4дм, см. выше) и начало одной из самых ранних песен Высоцкого «Красное, зеленое» (1961, несколько более регулярная гетерометрия на основе Х~Я3|Х~Я3~4дм); для наглядности слабые слоги в анакрузах и срединных клаузулах подчеркнуты.

#### Галич, 1962:

...Чуйствуем с напарником:   ну и ну!	X3д Х2м
Ноги прямо ватные,   все в дыму.	X3д Х2м
Чуйствуем — нуждаемся   в отдыхе,	X3д Х1д
Чтой-то нехорошее   в воздухе.	X3д Х1д
Взяли «Жигулевское»   и «Дубняка»,	X3д Я2м
Третьим пригласили   истопника,	X3ж Я2м
Приняли, добавили   еще раза, —	X3д Я2м
Тут нам истопник   открыл глаза.	X3м Х3м

#### Высоцкий, 1961:

Красное, зеленое,   желтое, лиловое,	X3д Х3д
Самое красивое —   на твои бока!	X3д Х3м
А если что дешевое —   то новое, фартовое, —	Я3д Я3д
А ты мне — только водку,   ну и реже — коньяка.	Я7м (= Я3ж Х4м)

Интересно, что обе техники использования цезурных эффектов существуют не полностью изолированно друг от друга и оказывают некоторое взаимовлияние. Так, в поэзию Окуджавы проникают не свойственные классическому репертуару дактилические цезурные наращения (хотя и без гетерометрии) —ср.: *Из окон корочкой | несет поджаристой, // За занавесочкой — | мельканье рук* (1958, Я2д|Я2дм); *Ваше благородие, | госпожа разлука* (1967, X3д|Х3ж). На фоне общей «аристократической» ритмики Окуджавы этот прием получает удачную семантизацию — он звучит как нота стихийного начала, своего рода голос «почвы и судьбы». С другой стороны, примером совершенно неожиданного в семантическом отношении текста, систематически использующего цезурные наращения в строках правильного Я4 à la Бальмонт, оказывается «Милицейский протокол» Высоцкого (1971):

Не запирайте, люди, — плачут дома детки, — Ябж  
Ему же — в Химки, | а мне — в Медведки!.. Я2ж|Я2ж

*Да всё равно: автобусы не ходят,  
Метро закрыто, | в такси не содют.*

Я5ж  
Я2ж|Я2ж

О народной гетерометрии здесь напоминает разве только разностопный ямб, но и этот разностопный ямб не вольный, а регулярный: редкое изысканное чередование стоп 6 — 4 — 5 — 4 неукоснительно выдерживается на протяжении всего этого удивительного текста: прием, которым сколько-нибудь широко пользовался, пожалуй, опять-таки один только Бальмонт (ср. разностопный ямб с регулярным чередованием стоп 6 — 3 — 6 — 2 в таких его вешах, как, например, *Я в этом мир пришел, чтоб видеть Море // И пышный цвет долин. // Я заключил миры в едином взоре, // Я властелин*, 1903).

Обобщая всё сказанное, можно заключить, что поэзия XIX в. вплотную подошла к дольнику, предварительно испробовав целый ряд других, более «мягких» приемов уменьшения монотонности классического силлабо-тонического стиха (наибольшее количество таких инноваций встречается, как мы видели, у Лермонтова и Тютчева). Все эти приемы привносили некоторое разнообразие в традиционный репертуар, но все же их формальный эффект был не настолько значителен, чтобы говорить о выходе за пределы данного репертуара. Именно по этой причине практически весь XIX век (по крайней мере, период с 1820-го по 1890-й) может быть определен как эпоха безраздельного господства классической монотонной силлабо-тоники: до этого времени классическая силлабо-тоника только формируется (и поэтому логазды Державина или Жуковского еще оказываются возможны), после — начинает последовательно разрушаться.

Следует, впрочем, иметь в виду, что в XIX в. все-таки осваиваются и два особых типа неклассического стиха, не получившие, правда, в ту эпоху широкого распространения (см. подробнее [Гаспаров 2000]). Это, во-первых, имитация народного нерифмованного акцентного (тонического) стиха, ярче всего представленная в «Песнях западных славян» и некоторых других произведениях Пушкина (образцом может служить *У ворот сидел Марко Якубович*, 1834; ср. также, например, более позднее *Государь ты наш батюшка*, А. К. Толстой, 1861), и, во-вторых, имитация античного гекзаметра или элегического дистиха (реально представлявшая собой дольник на основе Д6 или сочетаний Д6 и Д5; впрочем, в качестве имитации гекзаметра использовался и полностью правильный дактиль, как, например, в античных стилизациях Ап. Майкова). Оба эти размера в ту эпоху обладали слишком отчетливым *couleur locale* и в основной метрический репертуар не входили. Массовое освоение акцентного стиха произойдет приблизительно через 80—90 лет после пушкинских экспериментов и будет иметь другие источники. Гекзаметр же так и не преодолел своего маргинального положения; спорадические попытки его адаптации к темам, не связанным с античностью, большого успеха не имели: один из немногих, если не вообще единственного по-настоящему удачный образец, — *«Юноша»* Вагинова (*Помню последнюю ночь в доме покойного детства*, 1922), представляющий собой нерифмованный дольник на основе вольного дактиля (>Д6~Д5ж с отдельными правильными Д5), где, благодаря ритмической

апелляции к элегическому дистиху, сквозь эпически отстраненный перечень ужасов гражданской войны пропадают едва заметные контуры овидиевской ...*illīus trīstissima noctis imāgo*. Не лишены интереса в этом плане также некоторые опыты Комаровского начала 1910-х гг.<sup>10</sup>

Конечно, отказ от правила однородных стоп, т. е. разрешение комбинаций разных стоп внутри одной стихотворной строки, был бы более сильным и прямым средством преодоления монотонности. Однако специфика развития русской метрики в XIX в. не позволяла осуществить такой отказ слишком радикально — это вызвало бы разрыв с предшествующей традицией, который культура того времени не могла поддержать. Разностопные комбинации проникали в русскую метрику постепенно. Собственно, введение цезурных эффектов было самым первым, очень осторожным шагом по этому пути. Следующим шагом стало освоение того, что можно было бы назвать «синкопированными трехсложными размерами», или дольником в узком смысле. Этот процесс разрушения силлабо-тоники активно развивается в начале XX в., а ко второй половине XX в. позиции силлабо-тоники в русском стихе вновь несколько усиливаются. Однако поздняя — «постклассическая» — силлабо-тоника оказывается в целом существенно менее монотонной, чем классическая, как раз за счет прочного усвоения цезурных эффектов и гетерометрии.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Канонические силлабо-тонические размеры в статье обозначаются следующим образом: трехсложные — *An* (анапест), *Af* (амфибрахий) и *D* (дактиль), двусложные — *X* (хорей) и *Я* (ямб); цифра после сокращенного обозначения размера соответствует количеству стоп, строчная буква после цифры — типу клаузулы (*m* — мужская, *ж* — женская, *ð* — дактилическая, *г* — гипердактилическая). Так, обозначение *Af3ж* соответствует трехстопному амфибрахию с регулярным чередованием женской и мужской клаузулы (т. е. размеру типа *Шумела полночная вьюга // В лесной и глухой стороне*, Фет). Регулярные чередования разностопных строк обозначаются с помощью косой черты (например, *Ябм / Я4ж*), нерегулярные — с помощью тильды (например, *Я4~Я5~Я6*, «вольный ямб»). Дольники на основе силлабо-тонических размеров обозначаются с помощью знака *>* и кода соответствующего размера (например, *>An3ж* или *>Af~D3мж*). Цезура обозначается вертикальной чертой (*|*), конец строки — двойной наклонной чертой (*//*). При обозначении отступлений от канонических размеров используются также следующие символы: \* — синкопа слабого слога, + — диереза (в середине строки) или анакруза (в начале строки). Место синкопы слабого слога обозначается указанием на предыдущий и последующий икты; например: *В пещере твоих \** ладоней (Волошин, >Af3ж, 2—3).

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Размышлений об этом много в работах Татьяны Михайловны, чье внимание всегда было приковано к понятию эволюции и тому, что можно назвать «внутренней динамикой формы». Как сама Татьяна Михайловна в свойственной ей афористически-парадоксальной манере определила свои научные интересы, они «всегда сводились к чему-то, если можно так выразиться, сукцессивному» [Николаева 2000, 179—180].

<sup>2</sup> Другие известные системы стихосложения либо имеют гораздо меньше ограничений на допустимые структуры стиха (как в случае силлабического или тонического стихосложения), либо не требуют обязательного чередования одинаковых стоп (как в случае античного метрического стихосложения, допускавшего — и, более того, активно использовавшего — так называемые стопные логазды, т. е. строки, состоящие из фиксированной последовательности различных стоп).

<sup>3</sup> См. список условных обозначений метрических схем в конце статьи.

<sup>4</sup> Напомним, что сама по себе возможность нескольких метрических интерпретаций имеется уже и для правильных силлабо-тонических размеров (ср., например, [Гаспаров 1993, 90 et passim]): как известно, строки двусложных размеров с большим числом безударных сильных мест в принципе могут восприниматься и как написанные трехсложным размером (например, *Преследуя свой идеал* — Я4 или Аф3, и т. п.). Роль перебоев состоит скорее в том, что они просто облегчают возникновение таких альтернативных интерпретаций.

<sup>5</sup> Более редким случаем (не отмеченным, в частности, в [Гаспаров 1993]) является «сверхдлинная» анакруза, т. е. строка анапеста с третьим дополнительным начальным слабым слогом; именно такая интерпретация наиболее естественна для примеров типа *+Лишь только вечер затеплится синий* (Будищев). Этот же «романсовый» прием сверхдлинной анакрузы в XX в. используется в текстах песен, ср. *+Легко на сердце от песни веселой* (Лебедев-Кумач, 1934), а также в дольниках на основе анапеста, например, *Он один подходил \* так нежно, // он один \* не делал мне больно. // Его ласка была белоснежной, // +и ей душа открывалась невольно* (Шкапская; в оригинале без разделения на строки).

<sup>6</sup> Несколько особняком в этом ряду стоит, пожалуй, только «Маленький барабанщик» Светлова (*Мы или под грохот канонады, // Мы смерти смотрели в лицо*, 1929, Я4ж / Аф3м), где последовательно выдерживаемая радикальная гетерометрия апеллирует не столько к простонародной стихии, сколько к наднациональной революционной романтике и немецкой ритмической эстетике (в духе Гейне). Интересно также, что гетерометрия практически отсутствует у Окуджавы, поэтике которого установка на ментальность «простого человека» вообще, как правило, чужда.

<sup>7</sup> В [Гаспаров 1993] (и др. работах) рассматриваются преимущественно так называемые «цезурные наращения»; однако «цезурные усечения», особенно в трехсложных размерах, также играют важную роль в создании метрических модификаций и должны рассматриваться совместно с наращениями; ср. для двусложных размеров обзор в [Бейли 1971].

<sup>8</sup> В качестве экспериментов цезурные усечения в дактиле встречались и у поэтов допушкинского времени; ср. нерифмованное «Кладбище» Карамзина (*Страшно в могиле, | хладной и темной! // Ветры здесь воют, | гробы трясутся, // Белые кости стучат*, 1790-е гг., Д2ж|Д2жж / Д3м) и в особенности «Снигирь» Державина (1800), где среди преобладающих строк Д2ж|Д2жм возникают даже образцы настоящего дольника: *Что ты заводишь | песню военную // Флейте подобно, | милый снигирь? // С кем мы пойдем \* войной на Гиену? // Кто теперь вождь наш? | Кто богатырь?*

<sup>9</sup> Этот же ритм Д4жм воспроизведен в «морских» стихотворениях Каролины Павловой (*Снова над бездной, опять на просторе*, 1857) и Тютчева (*Как хорошо ты, о море ночное*, 1865), но в обоих случаях без сложной строфики Баратынского и без цезурных эффектов.

<sup>10</sup> Читателя, более глубоко интересующегося местом гекзаметра в русской поэзии и его метрическими разновидностями, отсылаем к специальным исследованиям [Гаспаров 1990] и [Шапир 1994].

## ЛИТЕРАТУРА

Бейли 1971 — Бейли Дж. Русские двусложные размеры с сильной цезурой с 1890 по 1920 г. // Бейли Дж. Избранные статьи по русскому литературному стилю. М., 2004. С. 220—251.

- Гаспаров 1990 — Гаспаров М. Л. Дериваты русского гексаметра (о границах семантического ореола) // Res philologica. Филологические исследования: Памяти акад. Г. В. Степанова. М.; Л., 1990. С. 330—342.
- Гаспаров 1993 — Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х — 1925-го годов в комментариях. М., 1993.
- Гаспаров 2000 — Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 1984; 2-е изд. (доп.). 2000.
- Николаева 2000 — Николаева Т. М. От звука к тексту. М., 2000.
- Шапир 1994 — Шапир М. И. Гексаметр и пентаметр в поэзии Катенина (о формально-семантической деривации стихотворных размеров) // Philologica. 1994. Т. I. № ½. С. 43—107 [также в кн.: М. И. Шапир. Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX веков. М., 2000].

*Франческа Фичи (Флоренция)*

## ФЛОРЕНЦИЯ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ: «ВОСПОМИНАНИЕ» И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Отсутствие — лучшее лекарство от забвения.

*Анна Ахматова*

### *1. Воспоминание как деятельность*

Для северного путешественника, особенно русского, посещение исторических мест Италии часто имело все признаки паломничества в места памяти. Это паломничество шло обычно по определенному пути, с севера на юг. Каждый этап означал еще одну ступень посвящения, начатого в домашних библиотеках на произведениях классиков итальянской поэзии. Такими этапами, длительное время остававшимися неизменными, были: Венеция, Верона, Падуя, Равенна, Флоренция. За ними следовали Рим и Неаполь.

В каждом городе скрещение личного запаса воспоминаний с исторической памятью принимало конкретную форму в зависимости от многочисленных обстоятельств, связанных с осуществлением путешествия, обстоятельств объективного или личного характера.

С этой точки зрения, город представлял собой (и до сих пор для многих еще представляет) текст, и текст этот каждый читал по-своему, сочетая собственные знания (объективные, культурные) и узнавания (чисто индивидуальные): у каждого есть образы, прочно зафиксированные в памяти. Мандельштам писал: «Видеть, слышать, понимать: эти три значения сливались в одном семантическом пучке» («Путешествие в Армению»).

У поэтов узнавание происходит благодаря особо острым органам зрения, которые находятся «на кончике пальцев» и видят то, что обычно глаза не-поэтов не в состоянии различить. Поэтому Мандельштам «видел» то, что физически другим было недоступно. И механизм памяти в смысле узнавания у него активизировался независимо от физического присутствия объекта. У него глаза смотрели и на внешность и внутрь. При этом физическое присутствие на месте оказывалось несущественным. Если запас воображения достаточно богат, «форма выжимается из содержания концептов» (Мандельштам О. Разговор о Данте). Узнавание озна-

чает воспоминание процесса, при котором орган восприятия скрещивается с тем, что накоплено в памяти. В русском же языке такой акт принимает форму в двух словах, этимологически сходных со словом *тпетос* (греч. μνήμη): память как абстрактная способность и *воспоминание* как активизация данной способности. Переход с одного проявления этих двух аспектов ментальной деятельности к другому требует непрерывной декодификации и кодификации, конкретным результатом которых являются воспоминания. Поэтому *помнить* — это весьма сложный процесс, который активизирует все органы восприятия, прежде всего глаза (видеть — это восприятие формы; это узнавание, [Bergson 1949]) и ум как способность зрящего человека. И *вспоминать* значит «видеть снова», как писал Пушкин в стихотворении «Воспоминание».

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,  
В безумстве гибельной свободы,  
В неволе, бедности, в чужих степях  
Мои утраченные годы.

Вспоминать значит, прежде всего, узнавать через органы восприятия; прибыв в новый город, путешественник прежде всего ищет знакомое. В Венеции, в ее дворцах, которые отражаются в воде, в каналах, в изящности и в грязи, русский путешественник узнает свой Петербург, и в мосте Вздохов свой мост вздохов на Неве («Тоска по Востоку», [Меднис 1999]).

С другой стороны, выход из хранилища воспоминаний, столкновение с действительностью может привести к крушению. Особенно когда узнавание не может осуществиться и путешественник чувствует себя сиротой. Вполне справедливо Т. М. Николаева отметила, что Италия может быть символом, раem для тех, кто ее не видел, а только мечтал увидеть [Николаева 1989].

## 2. Флоренция русских поэтов

Три образа Флоренции особенно близки русскому поэту-путешественнику (реальному или виртуальному): Данте, Савонарола и Анджелико («пленительный Фра Беато», А. Блок). Во время своего пребывания во Флоренции вместе с Анной Ахматовой, в 1912 г., Николай Гумилев в стихотворении «Фра Беато Анджелико» определил свое отношение к флорентийскому монаху-художнику:

В стране, где тихи гробы мертвцев,  
Но где жила их воля, власть и сила  
Средь многих знаменитых  
Ах, одного лишь сердце полюбило  
(...)  
На всем, что сделал мастер мой, печать  
Любви земной и простоты смиренной.

В доминиканском монахе Джироламо Савонароле Гумилев видит, прежде всего, преследователя тиранов. Под маской дракона тиран-Медичи

Шипит: «Вотще Савонароллей  
Мой дом державный потрясен» (1913).

Поэт Анна Баркова в лагерные годы написала балладу, где собственное «я», как Жанна д'Арк в вечной борьбе между сомнением и экстазом, отождествляется с образом Савонаролы, жертвой папской мести и своеволия:

Я когда-то в век Савонаролы  
Жгла картины на святых кострах,  
Низводила грешных пап с престола,  
Возбуждала ненависть и страх.  
(...)  
Папский суд, продажный, как Иуда,  
Наконец на казнь меня обрек.

В тот миг познала облегченье  
Искупила внутренний позор.  
В том же темном, бедном облаченье  
Я взошла спокойно на костер (1938).

Но образ Флоренции сливается прежде всего с образом Данте. Данте — поэт-изгнаниник, как изгнаниником чувствовал себя всякий поэт, особенно русский. Данте вызывает воспоминания, впечатления, размышления. Анна Ахматова посвятила стихи «Данте» памяти Гумилева:

Он и после смерти не вернулся  
В старую Флоренцию свою.  
Этот, уходя, не оглянулся,  
Этому я эту песнь пою.

Образ Данте сопровождал Ахматову всю жизнь. Он был кольцом, объединяющим трех поэтов, как она сама выразилась в одном из последних выступлений, 19 октября 1965 г.

Для моих друзей и современников величайшим, недосягаемым учителем всегда был суровый Алигьери. И между двух флорентийских костров Гумилев видит, как

Изгнаник бедный Алигьери  
Стопой неспешной сходит в Ад.

Осип Мандельштам положил годы жизни на изучение творчества Данте и написал о нем целый трактат «Разговор о Данте» [Ахматова 1986].

В одном из последних стихотворений Осип Мандельштам писал:

С черствых лестниц, с площадей  
С угловатыми дворцами  
Круг Флоренции своей  
Алигьери пел мощней  
Утомленными губами [Мандельштам 1990].

Это стихи, связанные с памятью о Флоренции. Столкновение с реальностью вызывает другие эмоции. Всякое восприятие определяется личным состоянием, тем более восприятие города, требующее сосредоточия и усилия.

После прибытия во Флоренцию, в мае 1909 г., под влиянием первых впечатлений Блок писал матери: «Флоренция — совсем столица после Равенны... Во Флоренции надо засесть подольше, недели на две» [Блок 1963]. Но две недели спустя его состояние меняется, и атмосфера города становится мучительной, нестерпимой. На это влияют не столько внешние обстоятельства, сколько сложные отношения с женой и тоска по России, которая преследует русского путешественника: «Флоренцию я проклинаю не только за жару и москитов, но и за то, что она сама себя предала европейской гнили». Другими словами, он не узнает города: Флоренция не та, какую он ожидал увидеть. «Из глубины обнаженных ущелий истории возникают бесконечно бледные образы, и языки синего пламени обжигают его», пишет он в очерке «Молнии искусства» [Блок 1962].

С той же самой поездкой связаны знаменитые стихи:

Умри, Флоренция, Иуда,  
Исчезни в сумрак всковой!  
Я в час любви тебя забуду,  
В час смерти буду не с тобой!

В черновиках того же самого стихотворения Duomo ассоциируется с публичным домом:

...словно девка площадная  
Вся обнажилась без стыда!

Ты ставишь, как она, в хоромы  
Свою зловонную постель!  
Пред пышным, многоцветным Duomo  
Взнося публичный дом — отель! [Блок 1960]

Во Флоренции происходит очередной разрыв между Ахматовой и Гумилевым. В 1912 г. поэты приехали в Италию:

«Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь», — пишет Анна Андреевна в «Коротко о себе». Но на впечатления Гумилева влияет прежде всего ревность к жене. Скорбь и обида преобладают над зрелищем флорентийских красот, и он торопится покинуть город и жену. Через несколько лет он упомянет эти драматические минуты в стихотворении «Сон»:

Застонал я от сна дурного  
И проснулся, тяжко скорбя:  
Снилось мне — ты любишь другого,  
И что он обидел тебя.

Анна не жалеет об отсутствии мужа. Несмотря на беременность, она может впитывать без свидетелей красоту города и может дать волю своим мыслям:

Слаб голос мой, но воля не слабеет,  
Мне даже легче стало без любви.

Флоренция русских поэтов то превращается в немого свидетеля их размолвок и тревог, то ассоциируется с лицами, дорогими памяти и культуре. Иногда встреча с произведениями искусства превращается в навязчивый бред. Иногда зрелище памятников архитектуры оставляет их безразличными. Как будто внешность города не жила в творческой памяти поэтов. Видимо, они чувствуют некую враждебность города: Флоренция не любила своих поэтов, как Россия, и царская и советская, не любила своих.

### *3. Пребывания русских во Флоренции*

Впечатления о городе связаны с обстоятельствами пребывания в нем. Сегодня специалисты по туризму говорят, что хороший путешественник должен забыться и полностью погрузиться в культуру места (*cultura loci*). Но забвение дается с трудом.

Осенний климат не давал Денису Фонвизину наслаждаться городом. Его мучили комары. В октябре 1785 г. он писал сестре: «Комары итальянские похожи на самих итальянцев: так же вероломны и так же изменники кусают». Еще меньше русский дипломат ценил флорентийский образ жизни: «Я до Италии не мог себе представить, чтоб можно было в такой скуке проводить время, как живут итальянцы. На конверсацью съезжаются поговорить: да с кем говорить и о чем? В редких домах играют в карты, а то по гривне в ломбер. Угощение у них в вечер... четверть рубля не стоит... Мой банкир, человек преображеный, дал мне обед... Я, сидя за столом, за него краснел: званый его обед несравненно был хуже моего вседневного в трактире» (цит. по [Кара-Мурза 2002, 41]).

И в дневнике Фонвизин записал: «Рады мы, что Италию увидели, но можно искренно признаться, что если б мы дома могли так ее вообразить, как нашли, то конечно б не поехали...»

К счастью, не все относились к городу так, как щепетильный дипломат. В те же самые годы русский купец Николай Демидов купил виллу в Сан Донато и определил свое место жительства в Палаццо Серристори, на набережной реки Арно. С проживанием в Тоскане другой знатной русской семьи, Трубецких, связано открытие Италии и итальянского искусства Аполлоном Григорьевым.

В 1857 г. Аполлон Григорьев, после закрытия журнала «Москвитянин», принял, через посредство М. П. Погодина, место воспитанника пятнадцатилетнего князя И. Ю. Трубецкого. Он пробыл во Флоренции около шести месяцев, о которых оставил яркое свидетельство в письмах московским друзьям, М. П. Погодину, Е. Н. Эдельсону и любимой Екатерине Протопоповой [Григорьев 1999].

В те же годы в Риме сформировалась настоящая колония русских художников, самыми знаменитыми из которых были Карл Брюллов и Александр Иванов, оба умершие в Риме. И молодой «странствующий романтик», как любил опре-

делять себя Аполлон Григорьев, воспитывает свой эстетический вкус. В письме А. Н. Майкову от 24 октября 1857 г. он излагает свои размышления об искусстве, об отношении между красотой и религией, об отношении между русской иконописью и западным искусством.

Иногда его толкование произведения искусства до того субъективно, что легко превращается в нечто близкое к лихорадочному возбуждению. Самое острое впечатление производит на него созерцание Мадонны Мурильо в Галерее Уфици.

К ней он обращается как влюбленный к объекту своих чувств, для него она олицетворяет идеал женской красоты и чистоты. И он воображает себя рыцарем этого женского идеала, готовым оградить ее от опасности:

Я за тебя дрожу, о призрак мой,  
Прозрачное и юное виденье;  
И страшен мне твой спутник, мрак немой;  
О, как могла ты, светлая, сродиться  
С словешею, тебя объявшей тьмой?

Как всякий русский, манихеец Григорьев стремится к крайностям. И во Флоренции его привлекает не только Мадонна-свет. Он чувствует некое сродство и с тьмой узких, грязных углов, которая превращает Флоренцию в «севера милого дочь».

Почему я рад как дурак, что грязна,  
Как Москва, и Циттà деи Фиори?  
Что луна в облаках, как больная, бледна;  
Смотрит с влагою тусклой во взоре?

Видимо, во Флоренции он тоскует по «своей» Москве и радуется, когда узнает в ней что-то знакомое. Такие же чувства не раз вызовет суровый город и у Ф. М. Достоевского, прибывшего впервые во Флоренцию после ссылки в 1862 г. вместе с Н. Н. Страховым (о флорентийском периоде жизни Достоевского см. [Прожогин 1981] и [Tonini-Steidl 2000]). Присутствие близкого друга помогает ему преодолеть чувство одиночества и чуждости, которое его преследует с тех пор, как он покинул свою Россию, свою почву.

Во Флоренции Достоевский закрывается в гостинице, пансионе Suisse, и читает роман В. Гюго «Отверженные», первые выпуски которого только что начали выходить. Чтобы следить за новостями русской литературы, он посещает «Кабинет Вьесе», где каждый день проводит по несколько часов. Вечером, обмениваясь впечатлениями со Страховым, он признается, что Арно напоминает ему Фонтанку.

Видимо, на всякое впечатление накладывается душа петербуржца. Тяга к родному городу становится еще сильнее во время второго пребывания во Флоренции, вместе с женой. Он ценит красоту, хотел бы иметь репродукцию «Райских ворот» в своем кабинете, но его душу тянет в Петербург. И 27 мая 1869 г. он пишет А. Н. Майкову:

Надоела мне эта Флоренция, а теперь от тесноты и от жары даже и за работу сесть нельзя. Вообще тоска страшная. А пуще — от Европы, на все здесь смотрю как зверь. Решил во чтобы то ни стало воротиться к будущей весне в Петербург.

Наконец в августе 1869 г. ему удается покинуть Флоренцию. Успокоившись, он с неким сарказмом описывает туристов-энтузиастов, которые не чувствуют ни жары, ни тоски:

Я не понимал, ходя по городу и встречая нарядных англичанок и даже француженок: как можно жить добровольно в таком аде, имея деньги на выезд (Письмо 10 сентября 1869, С. А. Ивановой, из Дрездена).

#### *4. Флоренция, или Путешествие как ремесло*

Иван Михайлович Грэвс (1860—1941) и Николай Павлович Анциферов (1889—1958) представляют собой новый тип русского путешественника. Грэвс был специалистом по истории античности и западного средневековья. Не случайно учениками Грэвса оказались несколько десятков специалистов (среди них Н. П. Оттокар, О. А. Добиаш-Рождественская, Л. П. Карсавин), и его имя стоит в ряду ярчайших представителей петербургской школы медиевистики. Ровно век назад был опубликован его очерк «Научные прогулки по историческим центрам Италии. Очерки Флорентийской культуры» (М., 1903), который сейчас стал библиографической редкостью.

Грэвс бывал во Флоренции несколько раз, начиная с 1890 г. Сначала чтобы поработать в библиотеке (*Biblioteca Nazionale*) и чтобы встретиться с итальянскими историками (среди них П. Виллари и А. Де Губернатис), затем вместе с группой студентов, чтобы завершить курс истории Средневековья. Во время первой поездки он оказался свидетелем разрушения части средневековой Флоренции, где находилось старое гетто. На его месте собирались построить площадь в честь короля Виктора Эммануила. Грэвс прокомментировал это событие такими словами:

Разрушали драгоценности, создали банальщину, но отпраздновали с большой помпой, чуждой, однако, всякой оригинальности. Приезжал король с королевой, был военный парад (...) пущен был фейерверк. Но все страдало холдностью и шаблоном [Грэвс 1903].

Несколько лет спустя в Петербурге состоится торжественное открытие памятника Александру Третьему, настоящего шедевра безвкусицы.

Грэвс сопровождал своих студентов по Италии, движимый духом настоящего ученого-педагога. Годы учения должны быть на самом деле и годами «странствий. Без этого трудно поддерживается прогресс в жизни духа (...). От книг к памятникам, из кабинета — на реальную сцену истории, и с вольного исторического воздуха опять в библиотеку и в архив» [Грэвс 1903].

О путешествии во Флоренцию, в «лучшую школу гуманизма», в 1912 г., остался весьма живой рассказ его питомца Н. П. Анциферова, ставшего потом крупным специалистом по культуре, душе и биографии Петербурга [Анциферов 1992].

Рассказ Анциферова начинается с описания «домашних семинаров», которые проводились у самого Ивана Михайловича, для того чтобы готовить студентов к путешествию в Италию. Во время этих семинаров у «padre sereno», как молодые называли Грэвса, изучались и комментировались произведения Данте, такие как «De Monarchia», «Convito», «Vita nuova», и изучалась история Флоренции. «Тускано-умбрское паломничество», как его называл Грэвс, могло состояться только по завершении этих семинаров.

Во время пребывания в Италии, несмотря на то что интерес путешественника был сосредоточен на памятниках искусства, с чувствительностью молодого интеллигента Анциферов уловит и дух новых событий. Путешествие имело место в 1912 г., и он не мог не заметить волнений, связанных с войной в Африке, завершившейся завоеванием Ливии. Весьма живо и подробно он излагает впечатления, производимые на него выражением разных, противоречивых страстей. Во время прогулки по узким улочкам и площадям Венеции сначала его внимание привлекают песни колониалистов, восхваляющих новые завоевания. Почти одновременно с этим, увидев маленькую пеструю группу гарibalдийцев, он решает идти за ними. Его поражают антиколониалистские слова одного старого патриота: «Кто боролся за свободу своей страны, не может лишить свободы другие народы». На что Анциферов горько замечает: как изменились итальянцы.

Во время поездки русские студенты останавливаются в Равенне, чтобы увидеть дворец Франчески (да Римини) и гроб Данте. Образ поэта-изгнанника представляется им как главный символ Флоренции, и с этим впечатлением они и подъезжают к Флоренции. Когда поезд приближается к городу, как только становятся видны Duomo и Palazzo Vecchio, все голоса звучат как один: Данте, Данте.

Каждый член группы получает впечатления, не совпадающие с впечатлениями других. Сами произведения искусства воспринимаются по-разному, так как на восприятие каждого путешественника влияет его собственная личность и душевное состояние. Одного поражает Гирландайо, как хрониста флорентийской истории, другого поражает Страшный Суд Орканья. Всех привлекают Беато Анджелико и Савонарола, до сих пор близкие сердцу русского путешественника. Беато Анджелико как символ чистоты, Савонарола — как символ борьбы против власти и коррупции во имя чистоты нравов, в церкви и в миру.

### 5. Русские во Флоренции в XXI веке

В течение многих лет русские не посещали Флоренцию. Причины этого хорошо известны. Только в последнем десятилетии XX в. русская речь вновь зазвучала во флорентийских переулках. Сначала флорентийцы поражались этой мало знакомой музыкальности, потом привыкли и перестали обращать на нее внимание. Русские вернулись во Флоренцию.

Для тех, кто приезжал во Флоренцию впервые, процесс открытия и освоения города начался заново. Но между тем люди изменились, и город изменил свой облик. Остались памятники искусства, как знаки, помогающие ориентироваться

экскурсионным группам. Времена другие для всех, и русские путешественники уже не ищут своей почвы. Они спешат, как все. Как все, они тоскуют по былой медлительности и тем не менее бегут. Русские уже не отличаются от иных, они уже не путешественники, а туристы, которые смешиваются с другими туристами (т. е. с людьми, которые совершают тур, tour, по городам). Это только одна из цен, которую мы все вместе платим за никем не любимую глобализацию.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Ахматова 1986 — *Ахматова А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1986.*  
 Анциферов 1992 — *Анциферов Н. П. Из дум о былом. М., 1992.*  
 Баркова 2002 — *Баркова А. ...Вечно не та. М., 2002.*  
 Блок 1963 — *Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л. Т. 3. 1960. Т. 5. 1962. Т. 8. 1963.*  
 Блок 1965 — *Блок А. Записные книжки. М., 1965.*  
 Грэвс 1903 — *Грэвс И. М. Научные прогулки по историческим центрам Италии: Очерки флорентийской культуры: М., 1903.*  
 Григорьев 1990 — *Григорьев А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1990.*  
 Григорьев 1999 — *Григорьев А. А. Письма. М., 1999.*  
 Гумилев 1988 — *Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1988.*  
 Достоевский 1986 — *Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в тридцати томах. Письма. Л., 1986.*  
 Кара-Мурза 2001 — *Кара-Мурза А. Знаменитые русские о Флоренции. М., 2001.*  
 Меднис 1999 — *Меднис Н. Е. Венеция в русской литературе. Новосибирск, 1999.*  
 Муратов 1994 — *Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994.*  
 Мандельштам 1987 — *Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987.*  
 Мандельштам 1990 — *Мандельштам О. Стихотворения. Переводы. Очерки. Статьи. Тбилиси, 1990.*  
 Николаева 1989 — *Николаева Т. М. Текст итальянского города в поздней русской поэзии (А. Блок, Н. Гумилев, В. Ходасевич) // История, культура и поэтика. М., 1989.*  
 Bergson 1944 — *Bergson H. Matière et memoire. Paris, 1944.*  
 Tonini Steidl 2000 — *Tonini Steidl L. I soggiorni fiorentini di Fedor Dostoevskij // Antologia Viesseux VI (18) 2000.*

*Н. Н. Казанский (Санкт-Петербург)*

## «АНТИЧНАЯ СТРАНИЧКА» АННЫ АХМАТОВОЙ

Два стихотворения А. А. Ахматовой, объединенные под таким заголовком, впервые появились в сборнике «Бег времени»:

### Античная странничка

#### I. Смерть Софокла

Тогда царь понял, что умер Софокл.  
*Легенда*

На дом Софокла в ночь слетел с небес орел,  
И мрачно хор цикад вдруг зазвенел из сада.  
А в этот час уже в бессмертье гений шел,  
Минуя вражий стан у стен родного града.  
Так вот когда царю приснился странный сон:  
Сам Дионис ему снять повелел осаду,  
Чтоб шумом не мешать обряду похорон  
И дать афинянам почтить его отраду.

1958—1961

#### II. Александр у Фив

Наверно страшен был и грозен юный царь,  
Когда он произнес: «Ты уничтожи Фивы».  
И старый вождь узрел тот город горделивый,  
Каким он знал его когда-то встарь.  
Все, все предать огню! И царь перечислял  
И башни, и врата, и храмы — чудо света,  
Как будто для него уже иссякла Лета,  
Но вдруг задумался и, просветлев, сказал:  
«Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта».

Октябрь 1961

Ни время, ни повод создания этих стихотворений неизвестны<sup>1</sup>. Как это было обычно в творчестве Анны Андреевны и что отражало самую суть «тайны мастерства» и мировосприятия, при котором, как известно, «света источник таинственно скрыт».

В 1966 г. Т. Б. Казанская сделала несколько набросков воспоминаний об Анне Андреевне, с которой была близка в послевоенные годы. Напомню, что из стихов Татьяны Борисовны Анна Андреевна взяла эпиграф к Седьмой книге<sup>2</sup>. В этих воспоминаниях Т. Б. содержится черновой набросок, касающийся истории создания «Античной странички»: «о Софокле папа ей рассказал, она написала стихи “Дом Поэта”»<sup>3</sup>.

Отец Татьяны Борисовны — Борис Васильевич Казанский (1989—1962), в конце 50-х гг. опубликовал серию статей об античном театре<sup>4</sup>, так что нетрудно восстановить разговор, в котором упоминались биографические подробности, в том числе и те, которые в курсы античной литературы обычно не включаются.

Интерес к устному рассказу, к историческому анекдоту оставался у Б. В. Казанского долгие годы, а занятия последними днями Пушкина заставляли задумываться над глубинным смыслом биографии. Он использовал и собрания современных биографий (томики «Curiosités biographiques») и изучал особенности биографического жанра, в котором переплетена жизнь (биография как творение и «жизнетворчество») и литература (биография как литературный жанр), причем литература бралась целиком со всеми несуразицами, перешедшими из устной новеллы в литературный жанр.

Именно эти занятия и сам (неожиданный, особенно по тем временам) способ изучения жизненных обстоятельств послужили, надо думать, поводом процитировать отрывок из 30-й главы VII книги Плиния Старшего, где речь идет том, что служит «ingeniorum gloriae» — к славе гениев. В этой главе после достаточно характерного рассказа о том, как Александр Македонский приказал выбросить из драгоценного ларца притирания, для которых этот ларец заказал Дарий, и поместить в него свитки с текстом поэм Гомера, Плинний переходит к следующему поступку Александра: Item Pindari vatis familiae penatibusque iussit parci, cum Thebas caperet ‘Он приказал также пощадить семью и дом поэта Пиндара, когда взял Фивы’. Далее, завершая перечисление деяний Александра, Плинний говорит: «Он приказал отстроить родной город Аристотеля», а затем безо всякой логики переходит к вмешательству божества в биографии поэтов и, упомянув о том, что Аполлон указал на убийцу Архилоха, когда они пришли в Дельфы, рассказывает: Sophoclem tragicī cothurni principem defunctum sepeliri Liber Pater iussit, obsidentibus moenia Lacedaemoniis: Lysandro eorum rege in quiete saepius admonito, ut pateretur humari delicias suas. Requisivit rex, quis supremum diem Athenis obiisset: ne difficulter ex iis, quem deus significasset, intellexit: pacemque funeri dedit ‘Дионис приказал совершить погребение главы悲剧ской сцены Софокла во время осады стен спартанцами: он несколько раз просил царя Лисандра во время ночного отдыха (т. е. во сне), чтобы тот позволил похоронить delicias suas (того, кто составлял его отраду). Царь же запросил (имена тех) кто умер в Афинах и без труда понял, кого имел в виду бог и дал мир для совершения похорон’.

Как можно видеть, некоторые особенности текста — дословные совпадения; такие как *delicias suas* — «его отраду», в переводе Анны Андреевны прямо отсылают к этому тексту. Б. В. Казанский, прекрасно владевший латинским язы-

ком с гимназической скамьи, совершенствовавший знания классических языков в Петербургском университете под руководством Ф. Ф. Зелинского, М. И. Ростовцева и И. И. Толстого Мл., вероятно, цитировал Плиния на латыни, к чему располагало и то обстоятельство, что Анна Андреевна также училась у Ф. Ф. Зелинского. Вероятнее, что Борис Васильевич цитировал текст по памяти, а не по книге. И процитировал больше того, что прямо касалось Софокла, — филологи этого поколения отрывков вне контекста не признавали. Отсюда при подробном цитировании оба эпизода и оказались объединенными в единое целое, как это было у Плиния.

Скорее всего, разговор о Софокле происходил в нашей коммунальной квартире на углу Невского и Марата прямо над надписью «Фрукты-консервы», где в узкой и заставленной книгами комнате жил Борис Васильевич, а в более просторной — все остальные. Эта комната была и столовой, и гостиной, где вокруг круглого стола собирались и для чая, и для беседы с гостями.

И разговоры, и люди, их ведшие, были всякий раз неординарными — художники, большей частью еще друзья старшей маминой сестры, М. Б. Казанской, Виктор Владимирович Виноградов с женой. Помню приезд В. Б. Шкловского — последнего из коллег-друзей, с кем Б. В. был на ты. За этим столом велись беседы. Не профессиональные — для них была комната дедушки, и там подолгу велись беседы с Аристидом Ивановичем Доватуром, Яковом Марковичем Боровским, Георгием Андреевичем Стратановским, приезжавшими из Москвы Симоном Перетцевичем Маркишем, Марией Евгеньевной Грабарь-Пассек.

Анна Андреевна бывала у нас на Невском, и, вероятно, там, в «гостиной по совместительству», и рассказывал Б. В. Казанский о легенде, связанной со смертью Софокла. В середине 50-х гг., в начале «оттепели», Б. В. заведовал кафедрой классической филологии и возобновил исследования по античной литературе и театру, которые вновь заняли основное место в занятиях последних лет его жизни. Я уже упомянул опубликованную им в эти годы серию статей по истории античного театра; на филологическом факультете он читал также курс античной литературы, делая, насколько позволяют судить подготовленные им материалы и рассказы его учеников, упор на греческую литературу.

Размышления над тем, что заведомо ни в какие курсы войти не могло, в том числе и приведенный рассказ из Плиния, в части, касающейся Софокла, дополненный по «Жизнеописанию Софокла», были темой разговора в один из вечеров на Невском.

Плиний Старший тогда не привлекал к себе внимания и переведен еще не был. Между тем именно рассказ Плиния, причем с характерным для текста нанизыванием разновременных эпизодов и с не менее характерным, очень римским восприятием «отрады Диониса», лег в основу «Античной страницки», объединяющей два эпизода так, как они объединены в тексте Плиния Старшего, но в обратном порядке.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В книге «Бег времени» (М.; Л., 1965. С. 428—429) оба стихотворения датированы 1961 годом; в рукописях сохранились даты, приведенные выше (см.: А. Ахматова. «В то время я гостила на земле...»: Стихотворения. Поэмы. СПб., 1995). В комментариях М. М. Кралип отметил: «Легенда приводится в “Жизнеописании Софокла”, а ко второму стихотворению заметил, что «биографическая легенда гласит», без указания на источник.

<sup>2</sup> Л. К. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. М., 1997. С. 636—637.

<sup>3</sup> Архив Н. Н. Казанского.

<sup>4</sup> Б. В. Казанский. 1) Возникновение театра // Вестник Ленинградского ун-та. 1949. № 9. С. 43—65; 2) Общественно-историческая обстановка возникновения драмы // Учен. зап. Ленинградского ун-та. № 192. Сер. историч. наук. Вып. 21. 1956. С. 3—20; 3) Общественно-исторический смысл древнегреческой трагедии // Научные доклады Высшей школы. Филологические науки. 1958. Вып. 53. С. 108—119.

*Н. Д. Арутюнова (Москва)*

## КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ МИР ДОСТОЕВСКОГО: МЕЖДУ ОБРАЗОМ И КОНЦЕПТОМ \*

*Дорогой Татьяне Михайловне с неколеблющейся любовью*

Уже был Мальтус, друг человечества. Но друг человечества с шагостию нравственных оснований есть людоед человечества (Достоевский, 8, 312)<sup>1</sup>.

Гений Достоевского покончил с *прямолинейностью* мысли и сердца; русское познание он невероятно углубил, но и *расширил* ([В. В. Розанов 1990: 317]; курсив автора).

**В** настоящей статье мы хотим показать на примере одного из видов движения — движение от наглядного образа к отвлеченному понятию; а затем движение в обратном направлении — из ментального мира в физический, в котором метафора вновь обретает плоть, осуществляя синтез переносного и прямого значений, образа и концепта. Значение сначала «извлекается» из плоти, а потом вновь ее обретает. Метафора получает аллегорическую функцию.

В языке каждого писателя можно выделить ключевые слова-концепты, несущие особую нагрузку, близкую к символической. Они не случайны. Их обуславливает ряд факторов, личных и социальных. К их числу можно отнести: актуальное состояние мира, в котором протекает жизнь писателя, его общая мировоззренческая и идеологическая ориентация, а также тот язык, на котором мыслит и сквозь призму которого воспринимает жизнь писатель. «Язык, родина и вместелище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека» (Б. Пастернак).

В художественных текстах, в частности в текстах Достоевского, нередко прослеживается сам процесс зарождения ключевых для автора концептов в образах наблюдаемого им мира, обретение концептами новых образов, а также совместная реализация образа и концепта в аллегорическом письме. А. Л. Волынский видел в манере письма Достоевского «какой-то научно-философский шифр, который приходится разгадывать, переводить на язык обычных представлений и понятий при

\* Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте».

помощи логического анализа» [Волынский 1904: 44]. Будучи обусловлены мироощущением автора и состоянием его сознания, ключевые слова не разрознены, а тяготеют друг к другу, образуя концептуальные сферы; см. об этом [Топоров 1997; Аллен 1993: 81—140; Арутюнова 1998: 846—847; Арутюнова 2001; Карапулов 2001; Кожевникова 2001; Будагов 2002 и др.]. Одной из весьма важных для письма Достоевского семантических зон является зона «хаоса»: *беспорядка, сумбура, сумятицы, неустойчивости, смятения, кутерьмы, неурядицы, сбивчивости, расшатанности, шатания, шатости*. Ниже мы остановимся только на одном понятии, входящем в эту зону, а именно на понятии «шатости», характерном для всех сфер человеческой жизни — личной и социальной.

Ключевые для мировосприятия писателя слова-понятия, не обязательно отличающиеся частотностью употребления в окончательном тексте художественного произведения, но они со всей очевидностью «показывают себя» в его предварительных вариантах и заметках, касающихся авторского замысла. «Ключ» постоянно притягивает к себе руку автора, когда она выходит из-под его контроля. Предварительные материалы (далее ПМ) — это тот хаос, из которого зарождается космос искусства. В. Ф. Ходасевич писал: «Художественное произведение есть как бы космос, мир самодовлеющий, замкнутый в себе, целостный в своем разнообразии: мир, устроенный, организованный из первобытного хаоса чувств и мыслей, возникающих и мятущихся в душе художника» [Ходасевич 1995: 247]. Поэтому, замечает далее В. Ф. Ходасевич, имея в виду, в частности, произведения Достоевского, планы, наброски, черновики большого писателя, в которых проглядывает еще «первобытный хаос», дают возможность «подсмотреть, как совершается чудо искусства» [Там же]. «Чтобы проникнуть в этот процесс, — заключает свои наблюдения В. Ф. Ходасевич, — нужно добраться до той глубины, где самая психология мастера возникает из психологии человека, где художество зарождается из жизни» [Там же: 48; курсив автора].

Действительно, ключевые слова, характеризующие мировосприятие Достоевского, обнаруживаются в ПМ и заметках, предшествующих основному тексту его романов, статей и очерков, а также в «Дневнике писателя», в котором открыто и ясно сформулирована авторская позиция. В окончательном тексте своих произведений Достоевский часто сознательно избегал эксплицитности в выражении мыслей. «О, недоговаривать ужасно важная вещь», — замечает он в своих заметках к «Дневнику писателя» за 1876 г. (23, 184:ср. также: 16, 47, 96; 24, 229). В письме к Вс. С. Соловьеву Достоевский пишет: «Поставьте какой угодно парадокс, но не доводите его до конца, и у вас выйдет и остроумно, и тонко и comme il faut; доведите же иное рискованное слово до конца (...) и вам никто не поверит» (29, 2; 102). Отчасти этим можно объяснить то, что в большинстве своих произведений Достоевский уступает место всеведущего автора не вполне осведомленному рассказчику, опирающемуся на сомнительные слухи и ненадежные свидетельства. Даже тогда, когда изложение ведется от лица автора, а не рассказчика, повествователь постоянно говорит о затруднениях в интерпретации событий и поступков своих героев: «Мы чувствуем, что должны ограничиться простым изложением

фактов, по возможности без особых объяснений, и по весьма простой причине: потому что сами во многих случаях затрудняемся объяснить происшедшее» (8, 475). Но оказывается, и факты не достаточны для проникновения в суть событий. Познакомив читателя с фактами, автор замечает: «Таких странных фактов перед нами очень много, но они не только не разъясняют, а, по нашему мнению, даже затемняют истолкование дела, сколько бы их ни приводить» (8, 478).

Неокончательность, незавершенность, полуоткрытые тайны, недомолвки и намеки, табуирование, употребление местоимений без антецедентов играют чрезвычайно важную роль в поэтике Достоевского, при том что его тексты, даже диалогические, весьма растянуты. Многословие не исключает полуслов.

Достоевский, как известно, принадлежит к числу наиболее многозначных, или полифонических, в терминологии М. М. Бахтина, писателей. В сущности, Достоевскому нужен был «Дневник писателя» и обширная переписка именно для того, чтобы договорить и до конца высказать свою мысль, особенно там, где это касалось текущей политической и социальной ситуации.

«Полуслова» и «полумысли» обернулись для Достоевского тем, что около полутораста лет его многочисленные критики и почитатели (реже читатели) заняты домыслами: доказыванием его сказов и домысливанием его мыслей. Но дело не только в недосказанности мыслей, но также в недорисованности образов многих персонажей — неуловимых и влекомых неуловимым течением времени. В ПМ к «Бесам» Достоевский так определяет свой метод: «Главное — особый тон рассказа, и всё спасено. Тон в том, что Нечаева и Князя не разъяснить» (11, 261; курсив автора; см. также с. 276). Между тем в ПМ к «Бесам» характер и природа обоих этих персонажей — Петра Верховенского и Ставрогина (особенно первого) — весьма подробно, хотя далеко не всегда однозначно, разъясняется (11; 155, 175—178, 204 и др.).

Туманность некоторых образов Достоевского определялась тем, что их можно было видеть лишь через затуманенное стекло смутного времени, которое переживала Россия. «Кто не задумывался над современной минутой? Мы входим в новую неизвестность», постоянно повторял Достоевский (21, 297; ср. также 21, 41 и др.). М. М. Бахтин писал, что «в произведениях Достоевского нет окончательного, завершающего, раз и навсегда определяющего слова. Поэтому нет и твердого образа героя, отвечающего на вопрос — “кто он?”. Здесь есть только вопросы — “кто я?” и “кто ты?”. Но и эти вопросы звучат в непрерывном и незавершенном внутреннем диалоге» [Бахтин 2002: 279].

Здесь следует подчеркнуть, что художественная мысль, в отличие от логической, вообще не может быть конечной, не может быть окончательным и художественным образом. Но неокончательность мыслей и неоднозначность образов Достоевского усиlena тем, что его творчество пришлось на время, когда ослабли позиции религии в обществе, пошатнулись этические суждения, когда рациональность и польза столкнулись с гуманностью и христианской моралью. Поэтому историки и критики не только весьма по-разному домысливают «полумысли» Достоевского, но также постоянно дорисовывают и перерисовывают его портрет-

ные эскизы. Фантастический реализм Достоевского породил фантастический критицизм его произведений.

Особенно многолик князь Мышкин, лики которого в большой степени подсказаны его фамилией и его титулом. Чтобы проникнуть в суть этого образа, привлекается обширный и неоднозначный корпус мифологии — античной, библейской, египетской, народной, а также весь русский «мышиный» фольклор, весьма неблагоприятный для этого зверька. Начинается игра в кошки-мышки. Для проникновения в суть Мышкина привлекается французский аналог его имени *Léon*, который употребляли в обращении к нему полюбившие его швейцарские дети. Если прочесть французское имя наоборот, получится *Noël* — Ноэль, т. е. не князь *Христос*, как Достоевский называл Мышкина в ПМ к роману, а ложный Христос — «Рождество» наоборот, т. е. «верная гибель» [Роман «Идиот» 2001: 312]. Не случайным считается и то, что Мышкин обрел самосознание, услышав крик осла, символизирующего «плотского человека, низшую человеческую природу». Осел, по мнению автора, является также символом человека *самостного*, поскольку голос осла звучит как: *Иа-Йа* — Я [Там же: 67—68]. Этим предсказан жизненный путь князя, «устремленный к самому низу мира, в глубину плоти и греха, по сути в адскую бездну» [Там же: 70]. Мышкин предстает то как неверующий святоша, то как идол, то как бес [Там же: 310]. Так дорисовывается образ Мышкина: одни авторы добавляют к нему рожки [Там же: 298], другие — ослиные уши и тушу.

\* \* \*

Язык Достоевского тесно связан со спецификой русского языка, отражающей национальную картину мира [Арутюнова 1998: 846—870]. Такого рода связь особенно ярко проявляется в переходные периоды истории России, то есть тогда, когда на первый план выдвигаются следующие друг за другом актуальные события, резко меняющие ход жизни, делающие неясными ее перспективы и, что особенно важно, *расшатывающие* системы ценностей, нравственные устои и социальные правила, а также характер, типы, сознание и даже подсознание людей. Вследствие этого ослабевает контроль над речью не только говорящих, но и пишущих: их первом начинает водить язык. «Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить» (Б. Пастернак). Именно такой период переживала Россия второй половины XIX в. Эта мысль открыто выражена в ПМ к «Бесам»: «Первое дело цивилизации, казалось бы, должно состоять в твердости приобретенных нравственных оснований. И что ж, чем далее, тем они более расшатываются» (11, 193). Проблеме «нового человека» целиком посвящены два раздела «Дневника писателя» за октябрь 1876 г. (23, 153—162). Достоевский обращает внимание на то, что на фоне «общей шатости и неопределенности» пошатнулся и образ «лучшего человека». После долгих дискуссий о «новом русском» «решили, наконец, что этот новый и “лучший” человек есть просто человек просвещенный, “человек” науки и *без прежних пред-*

*рассудков»* (23, 156; курсив автора). Но вскоре пошатнулся и этот образ, так как «находила новая гроза, наступала новая беда — «золотой мешок»» (23, 157).

Человек стремится сделать правильный прогноз, определиться, не метаться из стороны в сторону даже в «мечущееся время» (так определял Достоевский современную ему эпоху; см. 22, 35), почувствовать под ногами твердую почву и не ...шататься, но его продолжает *шатать*. *Шатается* человек, *шатаются* и те понятия, которые сложились в его голове, *шатаются* нравственные устои, *шатается* окружающая его социальная среда. Для того чтобы остановить шатание, недостаточно ввести сухой закон. Итак, мы подошли к одной из причин неопределенности, беспорядка и хаоса — колебаниям и шатаниям человека, столь характерным для героев Достоевского. Они вызваны колебаниями почвы под их ногами или колебаниями понятий, идей и верований в их голове. Не случайно в материалах к неосуществленному роману о «Житии великого грешника» (9, 123—139) Достоевский так формулирует его основную идею: «Хотя деньги и страшно его устанавливают на известной *твёрдой* точке и решают *все* вопросы, но иногда *точка* колеблется... Это-то состояние *колебания* и составляет роман» (9, 130; курсив автора; см. также с. 139). В письме к Майкову от 25.03.1870 г. Достоевский разъясняет, в чем состоят колебания, определяющие линию жизни великого грешника: «Там, герой в продолжении жизни то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист» (29, 1; 117). Колебания линии жизни героя вызваны, прежде всего, нетвердостью его веры. Эта основная форма «шатости» проходит через все романы Достоевского и завершается разговором Ивана Карамазова с чертом (15, 69—84). Человек Достоевского живет в колеблющемся мире неразрешенных вопросов — философских и нравственных, которые в период *безверия* или *неверия* (Достоевский употреблял оба эти слова) решены быть не могут, и это отзывается колебанием линии поведения персонажей его произведений. Таким образом, сам концепт колебаний и шатаний приобретает сюжетообразующую функцию.

\* \* \*

В русском языке существует ряд глаголов, обозначающих неустойчивость: *склоняться, сгибаться, крениться, качаться, колебаться, колыхаться, метаться, подlamываться, подгибаться* (о ногах), *трястись, шататься, пошатнуться, шаткий, шатко, шатающийся, шатость, шаткость, шатание*. Достоевский склонен пользоваться словами «шатости» (*шататься, расшататься, пошатнуться, шаткий, шатко, шатающийся, шатость, шаткость, шатание*). Они часто употребляются в ПМ к романам и в «Дневнике писателя». В «Дневнике» 1876 г. слова «шатости» встречаются почти на каждой странице, а в записях и материалах к «Дневнику» иногда по несколько — вплоть до пяти — раз на одной странице (24; 159, 161, 167, 171, 197, 198, 200, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 217, 218, 219, 274 и др.). Между тем в опубликованном недавно чрезвычайно нужном и важном «Статистическом словаре языка Достоевского» [Шайкевич 2003] слова шатости (*шаткий, шататься, шатание*) обладают невысокой частотностью: они встречаются всего 56 раз (с. 450). В таблицах лексических маркеров слова шатости

вообще отсутствуют. Среди лексических маркеров художественных текстов упоминается только фамилия *Шатов* (см. с. 536).

Чем можно мотивировать склонность Достоевского к образу шатания, положенного в основу концепта «шатости»?

Глагол *шататься* регулярно употребляется для характеристики нетвердой походки пьяного человека. Образ шатающихся людей, выходивших из питейных заведений, постоянно был в поле зрения Достоевского. Район, в котором он жил в период написания «Преступления и наказания» (1864—1867 г.) и в котором живет Раскольников, изобиловал питейными заведениями; см. об этом (7, 332—333). Напомним, что «Преступлению и наказанию» предшествовал замысел романа под названием «Пьяненькие». Он не был осуществлен, но частично вошел в «Преступление и наказание» с образом Мармеладова, шатающегося физически и духовно. Феномен пьянства отнесен Достоевским уже в «Записках из Мертвого дома», в которых говорится о том, что «везде в русском обществе к пьяному чувствуется некоторая симпатия, в остроге же к загулявшему даже делались почтительны» (4, 35). Пьяный человек дает целостный образ «шатости»: шатается не только его походка, но и его сознание.

В «Преступлении и наказании» на первый план выдвинулась тема идейных и нравственных шатаний. Шатость перешла от Мармеладова к Раскольникову, внутренние шатания которого давали о себе знать в его походке. Он *шатается*, идя в контору, он *шатается*, идя по улице после убийства процентщицы, и его принимают за пьяного (7, 5, 13, 14; 6, 70) (см. об этом также ниже). Так, концепт шатости и лежащий в его основе образ слились в некое единство. В письме к издателю «Русского вестника» М. Н. Каткову Достоевский пишет о «шатости в понятиях» своего героя, поддавшегося «недоконченным идеям» (7, 310), и далее о «необыкновенной шатости понятий, подвигающих на ужасные дела» молодых людей (7, 311). Так, опьянение физическое сменилось «опьянением» разума: состояние сознания Раскольникова, в котором постоянно мешаются мысли, воспоминания и образы, у которого «клочки и отрывки мыслей кишат в голове целым вихрем» (7, 6), у которого все время кружится голова, вполне аналогично состоянию сознания человека, опьяненного вином. Не случайно антоним прилагательного *пьяный* — *трезвый* употребляется также в значении «здравый, здравомыслящий, рассудительный», а Раскольникову противопоставлен *Разумихин*. Достоевский видел в неустойчивом и колеблющемся состоянии сознания большой части современных ему интеллектуалов своего рода умственное опьянение.

Склонность Достоевского к понятию «шатости» подтверждается тем, что фамилия одного из основных персонажей романа «Бесы» — *Шатов*, а в фамильярном обращении к нему Марии Лебядкиной — *Шатушка*. Напомним, что в ПМ к роману он фигурировал под фамилией *Шапошников*, вынесенной в заглавие раздела (11, 66). На выбор этой фамилии, по мнению М. С. Альтмана, повлияла фамилия петрашевца Шапошникова, стоявшего на эшафоте вместе с Достоевским и единственного из числа осужденных, который не отказался от исповеди, что согласуется с религиозностью Шатова [Альтман 1975: 105]. Очевидно, что замена фамилии

не была случайной. Это подтверждается эксплицитно выраженной ассоциацией душевного состояния Шатова с шатанием; ср.: *Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно. Как будто что-то шаталось в его голове и само собою, без воли его, выливалось из души* (10, 452; выделено мной. — H. A.); ср. также в заметках к роману: «Они (т. е. правители) затеяли много реформ и этим только нам послужили... потому что неопределенности, слабости реформ они произвели в обществе *шатость, как говорит Шатов* (вписано), неопределенность, сумбур, слабость убеждения и веры» (11, 148; курсив мой. — H. A.).

Но важнее другое. Жизненный путь Шатова не был прям (10, 27—28). Действительно, Шатов постоянно *шатался* из стороны в сторону, из одной крайности в другую. Так, уехав за границу, «Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность» (10, 27). Шатов метался вместе с мечущимся временем: Заметим вскользь, что слова *шататься* и *шапки*, лежащие в основе фамилий *Шатов* и *Шапошников*, не чужды друг другу. Они соединены в приводимой далее пословице: «Время шатко: береги шапки!» Герой, которого Достоевский сначала определил словом *коренник* (11, 66), указывающим на твердый корень, не уберег *шапки* и стал *Шатовым*. Идея шатания и подсказанная ею фамилия *Шатов* уже зафиксированы в черновиках к роману «Преступление и наказание», в которых эта фамилия стоит обособленно перед репликой героя романа (7, 93; 12, 232); см. об этом также [Коган 2001: 173].

Шатание среди молодых людей, к числу которых принадлежал Шатов, резюмировано Достоевским в заметках о «шатости» в «Записной тетради» за 1876 г.: «Молодой человек собирается и читает Евангелие, другой изобретает религию, проповедует нигилистам, бежит в Америку, жена его слушает курсы... *Шатаются!* Да ведь сама эта *шатость* есть чрезвычайное явление» (24, 161; курсив мой. — H. A.).

Достоевский видел в шатании целую эпоху в истории России. «Шатость во всем двухсотлетняя. Вся реформа наша, с Петра начиная, состояла лишь в том, что он взял камень, плотно лежавший, и ухитрился поставить его на кончик угла. Мы на этой точке стоим и балансируем. Ветер дунет и полетим» (11, 156). Между тем Шатов стремился сойти с этой точки, вновь «перевернуть камень» и плотно поставить его на почве. Он стал *почвенником*. В ПМ к «Бесам» Шатов с восторгом говорит Ставрогину: «Мы новая Россия, мы *твердый камень* в выветрившемся слое» (11, 285; курсив мой. — H. A.). Камень, который Петр I поставил на кончик угла, рухнул и придавил многих молодых людей. В «Дневнике писателя» Достоевский пишет о молодежи: «Пройдет это жалкое, уродливое племя, корчащихся под свалившимися на них камнями, засветит, как солнце, новая великая мысль и укрепится шатающийся ум» (23, 26). Образ камня как некой опоры, которую, однако, можно пошатнуть и перевернуть, проходит через ряд произведений Достоевского, но здесь мы не можем на этом останавливаться.

Что оправдывает новую фамилию персонажа, назвавшего себя *твердым камнем*? Надо полагать, что его неспособность обрести веру в Бога. Вера в Бога — это

та точка опоры, тот твердый камень, который исключает шатание. Не случайно слова *шатъ*, *шатун* означали «нечистый, злой дух, черт», а *шатуна* значило «дьявольщина» [Даль 1980: 623—624]. Без веры сильный человек ослабевает, им может овладеть злой дух, как это случилось со Ставрогиным. Тихон говорит Ставрогину: «Но сильные натуры сами собой не примиряются и твердого камня ищут, на котором бы утвердиться. Камня этого нет у вас, ибо он один, а вы не верите» (11, 275; курсив автора).

На вопрос Ставрогина о вере в Бога, Шатов отвечает: «Я верую в Россию, я верую в ее православие, я верую в тело Христово, я верую, что новое пришествие совершился в России, я верую...» Ставрогин настаивает на своем вопросе: «А в Бога? В Бога?..» Шатов смущенно отвечает: «Я... я буду веровать в Бога» (10, 200—201). Степан Трофимович относит Шатова к категории *недосиженных*: «Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный» (10, 29). В цитированной выше «Записной тетради» Достоевский пользуется в аналогичном смысле выражением «недоконченные типы» (24, 163). В 1877 г. он пишет: «Недоконченный век — недоконченные люди» (25, 235). Говоря о «недосиженности» Шатова, Степан Трофимович выражает сомнение в его вере: «Шатов верует насильно, как московский славянофил» (10, 33). Сомневается в подлинности веры Шатова и его жена. К словам Шатова о том, что он «проповедует Бога», она добавляет: «В которого сами не верите» (10, 442—443). Вера пошатнулась подобно тому, как пошатнулся и перевернулся камень, придавив собой многих молодых людей. Образ камня является как бы символом того, что пошатнулись самые твердые и весомые начала того мира, в котором живет человек. Альтернативой и «преемницей» пошатнувшейся веры является в текстах Достоевского совесть, диктующая, подобно Богу, свои законы, заветы, запреты и судящая за их нарушение. Ср. следующее высказывание Достоевского: «Есть преступления и впечатления, которые не подлежат земному суду. Единый суд — моя совесть, то есть судящий во мне Бог» (24, 109). Но и совесть можно перевести на утилитарную основу, заменив арифметикой или «золотым мешком». Поэтому ее не следует отделять от веры: «Совесть без Бога есть ужас. Она может заблудиться до самого безнравственного» (27, 56).

Выбор фамилии *Шатов*, таким образом, естественно объяснить самой семантикой «шатания». В чем же состоит специфика значения глагола *шатать(ся)* в сравнении с другими членами синонимического ряда. В. И. Даль ставит глагол *шатать* в следующий ряд синонимов: *качать, колебать, трясти, наклонять, туда и сюда*. Значение прилагательного *шаткий* Даль определяет как «нетвердый в основании, валкий, покачливый, ненадежный, изменчивый, непостоянный». Иначе говоря, шатание грозит падением. Даль иллюстрирует состояние «шатости» пословицей: *Живи ни шатко, ни валко, ни на-сторону*; ср. также о пьяном Мармеладове: *Улицу переходит, шатается, чуть не валится* (6, 136). От глагола *шатать / шататься* Даль приводит существительное, обозначающее одно движение *шатом*, — *шаток*, которое иллюстрирует следующим примером: *От добра до худа один шаток* [Даль 1980: 624]. Таким образом, шатание ведет от добра к худу. Ср. напутствие Мурова Ордынову в повести «Хозяйка»: «А теперь ступай подоб-

ру-поздорову, да смотри ж, не шатайся, — прибавил он вполголоса отеческим тоном, — не то, худо будет» (1, 317: курсив мой. — Н. А.).

Шататься (не в смысле «бродить») может все, что имеет ноги или ножки: человек, стул, скамья, на которую Онегин *слагает Татьяну и клонит голову свою к ней на плечо*.

Шатание вертикального объекта движется верхней точкой по дуге или части окружности, края которой обращены вниз. *Шататься* могут не только вертикальные, но и горизонтальные объекты, если они служат точкой опоры, основанием. И в том и в другом случае «шатание» предполагает наклон то в одну, то в другую сторону. Когда говорят, что *шатается* пол, то подразумевают его потенциальное свойство, реализуемое тогда, когда по нему что-либо или кто-либо движется. Идя по *шаткому* полу, человек его *шатает* и, вследствие этого, *шатается* сам. Столь же опасно шатание почвы во время землетрясения. *Шатание*, таким образом, совместимо с движением. Все то, что *шатается*, может *свалиться, упасть, рухнуть, обрушиться* или сбросить с себя то, что на нем находится: *Земля волнуется — С шатнувшихся колонн Кумиры падают* (Пушкин). Так, в самой фамилии Шатова заложено предвидение или предсказание его гибели. *Шатость* противостоит *твердости*. Оппозиция шатости и твердости обусловлена состоянием точки опоры.

Итак, в семантике шатания акцент поставлен на движении концами или краями вниз. Ее специфика состоит в том, что глагол *шататься* обозначает не столько ритмичный процесс, сколько невольные, ненамеренные движения, влекущие вниз. Танец балерины не описывается в терминах *шатания* или *пошатывания*. Точно так же к движениям рук (в отличие от ног) не применим глагол *шататься*, поскольку руки в норме не служат для человека точкой опоры, но об идущем на руках акробате допустимо сказать, что он *пошатнулся и упал*. Семантика шатания отлична от значения глаголов *качаться* и *покачнуться*. Когда поют о том, что *красная рябина качается до самого тына*, то не имеют в виду неустойчивость ее корней, но когда говорят о дереве, что оно *шатается*, это значит, что ослабли его корни. При *качании* точка опоры может находиться как вверху, так и внизу; ср. *качается маятник* и *качается дерево*. При шатании, как отмечалось, точка опоры расположена в корне, который, впрочем, может находиться вверху; ср. *шатается верхний зуб*. Здесь выбор глагола объясняется опасностью выпадения зуба. *Качаться* обычно означает ритмическое движение (ср. *качаться на качелях, в качалке*). Люльку *качают*, чтобы убаюкать младенца, куст *шатают*, чтобы его *расшатать* и выдернуть.

*Покачнуться* еще не значит утратить контроль над движением. Приведем тому пример. Когда Митя Карамазов спросил, верит ли Алеша, что отца убил он, «Алешу как бы всего покачнуло и в сердце его, он слышал это, как бы прошло что-то острое». Но он, не колеблясь, сказал: «Ни одной минуты не верил, что ты убийца» (15, 36; курсив мой. — Н. А.). Выбор глагола здесь не случаен: *пошатнуться* в приведенном контексте значило бы хоть на минуту допустить, что совершил преступление Митя.

Когда речь идет о человеке и его мире, точка опоры может перемещаться в сознание, то есть как бы вверх, в голову. Ср. о Шатове: *как будто что-то шаталось*

*в его голове* (10, 452); ср. также в ПМ к «Братьям Карамазовым»: *Митя устал, ослаб, утро, дождь. Что-то как бы шаталось в его голове* (15, 292). Потеряв точку опоры «в голове», человек может ее утратить и под ногами (см. выше о Раскольникове). Создается своего рода аллегорический образ нравственной неустойчивости.

Если имеются в виду идеологические или нравственные шатания, колебания в принятии решения и др., то слова шатости получают переносное значение: они переносятся в психологическую или социальную сферу. При этом предполагается утрата точки опоры в корнях или почве, то есть положение точки опоры не меняется. Но меняется конфигурация движения. В сознании или душе шатание идет не по дуге, а скорее по прямой, соединяющей противоположные точки: например веру и безверие, добро и зло, любовь и ненависть. Прямая может представляться горизонтально или вертикально. Шатания, связанные с этическим выбором, перемещаются по вертикали, то есть также грозят падением или, по крайней мере, движением вниз. Особенно *шаток* человек широкий, «способный вмещать все возможные противоположности и разом созерцать обе безздны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну *самого низшего и зловонного падения*», как говорит о Мите Карамазове прокурор Ипполит Кириллович (15, 129; курсив мой. — Н. А.). Этическая «широкость» как бы меняет горизонталь на вертикаль. Грехи и преступления *опускают* один конец «ширины» широкого человека вниз, и человек *опускается*. Метафорика имеет свои геометрические ориентиры [Арутюнова 2000]. Ассоциация с движением придала глаголу *шататься* обособившееся значение «бродить». Но нас интересует здесь значение наклона в разные стороны движущегося объекта, то есть совмещение шатания с ходьбой, шатания человека на жизненном пути; ср. *Ходи не штайся, стой не качайся* (пример Даля).

Итак, *шататься* может не только вертикально стоящий объект (дерево, столб), но также движущийся объект — идущий человек. В первом случае объект *склоняется* то в одну, то в другую сторону, во втором — *слоняется*. В первом случае неустойчивы его корни, во втором — изменчиво направление движения.

Тогда, когда «начала» перемещаются в сознание человека, между шатанием в двух- и трехмерном пространстве возникает логическая связь: мена идеей оборачивается меной целей, нетвердость убеждений ведет к изменениям направления движения.

Концепт «шатости» в ряду приводившихся выше синонимов имеет наиболее ёмкое значение: *шатается* вертикально стоящий объект, почва, на которой он стоит, а также движущийся объект. Итак, *шатание* свидетельствует о неустойчивости точки опоры, находящейся в корнях (1), оно непроизвольно (2), ведет от добра к худу (3) и грозит падением (4).

\* \* \*

Как известно, большинство предикатов динамики в своем первичном значении относятся к миру предметов — одушевленных и неодушевленных. Затем под

действием аналогической метафоры семантическое поле движения почти целиком переносится в мир абстрактных понятий и, прежде всего, в ментальный мир человека. Глаголы движения, как правило, допускают употребление как в прямом, так и в «ментальном» смысле. Это позволяет использовать их в символической, точнее, симптоматической функции, характеризуя психологическую динамику через физическую.

Достоевский часто употребляет глагол *шататься* сразу и в прямом и в метафорическом смысле, относя его одновременно к физическому и психическому процессу. В *шатании* Раскольникова и Ивана Карамазова прямое значение совмещено с метафорическим: шатающаяся походка была образом внутренней неустойчивости и колебаний. Такого рода аллегорическое письмо весьма характерно для Достоевского.

Раскольников осознал, что он идет нетвердой походкой только тогда, когда прохожий принял его за пьяного: «Как сквозь сон, помню чей-то оклик подле меня: “Ишь нарезался”. Должно быть, я был очень бледен или шатался» (7, 5). Когда Раскольников шел по вызову в контору, он уже сознавал свою *шатость*: *Тяжело мне было очень, когда я взял шляпу и вышел шатаясь на лестницу* (7, 13; см. также 7, 14).

*Шатающаяся* походка маркирует моменты наибольшего нравственного *шатания* Ивана Карамазова. Показателен следующий пример *шатания* Ивана после последнего свидания со Смердяковым: «Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. “Это что-то физическое”, — подумал он, усмехнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость; конец колебаниям его, столь ужасно мучавшим его все последнее время! Решение было взято, “и уже не изменится”, — со счастьем подумал он» (15, 68; курсив мой. — Н. А.). Однако, как только Иван отказался от мысли «теперь же пойти к прокурору и всё объявить... вся радость его, всё довольство прошли в один миг» (15, 69). Ему стало очевидно, что его шатание было не просто «что-то физическое», а было знаком еще не осознанной им нравственной неустойчивости. Подсознательный процесс обнаружил себя в физическом движении, природа нравственная в природе физической. Следует подчеркнуть, что Достоевский вполне сознательно моделировал духовную жизнь своих персонажей как *шатание*, то есть как постоянную смену убеждений, переход от веры к неверию, от европеизма к славянофильству, от интернационализма к почвенничеству. Характерно, что даже Алеша Карамазов пошатнулся под впечатлением «тлетворного духа», появившегося в келье старца Зосимы после его кончины, но для Алеши *падение на землю* заключало в себе его спасение.

Модель «шатающегося» героя возникла у Достоевского на основе его впечатлений от текущей жизни. Здесь ясно прослеживается переход от актуального к вечному, от непосредственных наблюдений над поведением человека к скрытым глубинам его души, от частных случаев к проблемам философской антропологии. Отправным пунктом на пути Достоевского к вечным вопросам служат стоящие перед человеком и обществом задачи настоящего момента: «Посмотрите на сотни,

на тысячи наших внутренних, текущих вопросов — и что за всеобщая шатость, что за неустановившийся взгляд, что за непривычка к делу» (23, 41). Шатается весь мир (см. 24, 274), но особенно заметно это явление в России. Оно началось с эпохи Петра: «Все после Петра подверглось шатанью», — пишет Достоевский (23, 165). Шатание пришло в Россию извне, но в ней усилилось: «Где, в какой Европе найдете вы теперь более шатости во всевозможных направлениях, как у нас в наше время!» (21, 128). К мысли «о шатании нашем» Достоевский возвращается неоднократно (21, 9; 23, 415; 24, 206, 218). Естественно, что Европа пошатнула, прежде всего, высшие слои общества и интеллигенцию: «Шаткость высших слоев общества» (21, 94). Шаталась то *вправо*, то *влево* интеллигенция (23, 165).

Что касается народа, то тут заметна у Достоевского некоторая «шатость»; ср. его формулировку «шатость, которой нет в народе» (24, 218). Но после реформы 1861 г., не найдя опоры в просвещенной части общества, зашатался и народ. Достоевский пишет: «Освобожденный великим монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни... закутил и запил — сначала с радости, а потом по привычке» (21, 94). Раз запил, то и зашатался. Или наоборот: раз зашатался, то запил. Так, всеобщее пьянство привело к всеобщей шатости, а шатость — к пьянству. Образовался порочный круг. Покачнулась даже мирская сходка. «Эта сходка — это все, что осталось твердого и краеугольного в народном русском строе. ...И вот вы видите, что уже во многом это лишь одна форма, но что *внутренний дух ее, внутренняя вековая правда ее пошатнулись — пошатнулись вместе с зашатавшимися людьми.* ...Цинизм уже в том проявляется, что против обычая и древнего правила в начале сходки мир допускает попойку: “С угарцем-то будет лучше судить!”, зубоскаля говорят предводители сходки» (21, 100; выделено мною. — Н. А.). Сходка принимает решение «вопреки правде и ради первой текущей выгоды» (Там же). Зашатался народ, зашаталась и народная правда, или наоборот. «Шатание» опять соединило в себе образ и концепт, то есть стало симптомом внутренней болезни — «общей шатости и неопределенности» (23, 156). Достоевский сам пишет о «физическом и духовном праздношатайстве» (25, 205).

Зашаталось все общество — его верхние и нижние слои — и, прежде всего, его основная ячейка — семья. «Да и никогда семейство русское не было более *расшатано, разложено, более нерассортировано и неоформлено*, как теперь» (25, 173; курсив мой. — Н. А.); см. также (24, 295), «Внутрисемейное» шатание привело к созданию «случайных семейств» (25, 173, 178, 179).

Итак, «в тумане фальшивых идей, миражей и предрассудков» (21, 136) зашаталось всё и вся: люди (23, 135; 24, 158, 206), особенно мужчины, которые «и были шатки, теперь же пуще развратились стяжанием и цинизмом» (24, 200), и молодежь (30, 1; 121), связь с почвой (21, 9), вера (11, 175, 178; 16, 135), душа (23, 8), ум (23, 26), мысли (23, 139; 312; 24, 37, 198), идеи (16, 21, 26, 128), мнения (22, 172), основные общественные убеждения (21, 131), нравственность (22, 165; 26, 167), представления о жизни, церковное единение (25, 73), семья, идеалы (26, 126), понятия, воля и чувства (22, 117), все слои общества — высшие и низшие, народ (11, 155), национальность (23, 89), вековая правда народа, формы традиционной жиз-

ни, социальные структуры, экономика и даже рубль и кредит (10, 24, 202; 11, 67); см. также (11, 147, 148, 154—156, 179; 23, 89, 163, 164; 24, 218, 219, 274 и др.).

Так, образ шатающегося пьяного человека, динамика сознания которого аналогична его походке, стал всеобъемлющим, создав широкий концепт неустойчивости разных категорий и объектов, относящихся к миру человека, личному, социальному и национальному.

\* \* \*

Семантический комплекс «шатания» был не случаен для Достоевского: шатание определяется состоянием почвы. Достоевский, как известно, все более склонялся к почве и почвенничеству. Пока нетверда почва и ненадежны уходящие в почву корни, или пока колосс стоит на глиняных ногах, которые если и не шатаются, то подламываются, сохраняется опасность падения.

Шатание русского общества было обусловлено и тем, что оно стояло на не вполне твердой почве, но также и тем, что оно не верило в твердость народных начал. Среди склонных к шатанию верхних слоев общества было, как писал Достоевский, распространено мнение, что «духа народного нет у нас вовсе, потому что и народа нет вовсе, ...что всё, напротив, расшатано и проедено нигилизмом» (25, 96; курсив автора).

С началом Балканской войны и движения за освобождение славян от власти турок у Достоевского появилась надежда на прекращение шатости, объединение общества и стабилизацию русской жизни. «Если предположить даже самый худший, самый даже невозможный худший исход для... войны... но колосс всё же не будет расшатан и рано ли, поздно ли, а возьмет всё свое» (25, 96; курсив мой. — Н. А.).

Объединяющая сила войны, как виделось Достоевскому, демонстрировала твердость народных начал и возрождала надежду на стабилизацию общества. Но это уже другая тема, которая заставила бы нас задуматься над тем, насколько отразилась уверенность Достоевского в твердости почвы в его позднем художественном творчестве.

## ПРИМЕЧАНИЕ

<sup>1</sup> Здесь и далее отсылки к текстам Достоевского даются в круглых скобках с указанием тома и страницы по Полному собранию сочинений в 30 т. (Л., 1972—1990).

## ЛИТЕРАТУРА

Аллен 1993 — Аллен Л. Достоевский и Бог. СПб., 1993.

Альтман 1975 — Альтман М. С. Достоевский: по вехам имен. Саратов, 1975.

Арутюнова 1998 — Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998.

Арутюнова 2000 — Арутюнова Н. Д. Два эскиза к «геометрии» Достоевского // Логический анализ языка: Языки пространств. М., 2000.

Арутюнова 2001 — Арутюнова Н. Д. Символика единения и уединения в текстах Достоевского // Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Ю. С. Степанова. М., 2001.

- Бахтин 2002 — *Бахтин М. М.* Собрание сочинений. Т. 6. Проблемы поэтики Достоевского. М., 2002.
- Будагов 2002 — *Будагов Р. А.* Слова-ключи — les mots-clés — Schlüsselwörter // *Будагов Р. А.* Язык и культура. Ч. 3. Социолингвистика и стилистика, М., 2002. С. 63—68.
- Волынский 1904 — *Волынский А. Л.* «Книга великого гнева». СПб., 1904.
- Даль 1980 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1980.
- Караулов 2001 — *Караулов Ю. Н.* Понятие идиоглоссы и словарь языка Достоевского // Слово Достоевского. М., 2001.
- Кожевникова 2001 — *Кожевникова Н. А.* Сквозные слова в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Слово Достоевского. М., 2001.
- Коган 2001 — *Коган Г. Ф.* Почему Родион Раскольников? (Источники имен и фамилий персонажей) // Слово Достоевского. М., 2001, С. 173.
- Розанов 1990 — *Розанов В. В.* На лекции о Достоевском // Опыты. Литературно-философский ежегодник. М., 1990.
- Роман «Идиот» 2001 — Роман Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. М., 2001.
- Топоров 1997 — *Топоров В. Н.* О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления. «Преступление и наказание» // Из работ московского семиотического круга. М., 1997.
- Топоров 1997 — *Топоров В. Н.* Пространство и текст // Там же.
- Ходасевич 1995 — *Ходасевич В. Ф.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. 1995.
- Шайкевич 2003 — *Шайкевич А. Я., Андрющенко В. М., Ребецкая Н. А.* Статистический словарь языка Достоевского. М., 2003.

*M. V. Ляпон (Москва)*

## ПАРАДОКС В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТИ

### 1.

Парадокс — одна из тех абстракций (или один из тех *концептов* — как принято говорить сегодня), периферийные стороны которых неожиданно превращаются в главные и, вытесняя сущность, помогают ее увидеть в новом измерении. К парадоксу нельзя приступить с четкой концепцией, потому что «при всей своей красоте четкая концепция всегда означает сужение смысла, отсечение всяческой бахромы. Между тем бахрома-то как раз и важнее всего в мире феноменов, ибо она способна переплетаться» (И. Бродский. Поклониться тени. СПб., 2001. С. 96). Парадокс привлекателен своей смысловой многоликостью: сфера компетенции этого загадочного феномена не может быть строго очерчена (философия — теория познания — логика — психология личности — филология — риторика — стилистика — синтаксис). Впрочем многоликость может быть и барьером для пристального внимания к этой проблеме: парадоксы, наблюдаемые в авторских текстах, обычно отмечаются просто как примета идиостиля.

В поисках сущности парадокса попадаешь в ловушки того же самого феномена: «Парадокс — остроумная попытка *уйти от истины*», — считает Г. Манн; «Парадокс — вот *единственная правда*», — полагает Б. Шоу. Тот и другой называют сущностные признаки парадокса, но Б. Шоу явно противоречит Г. Манну.

Возможно, один из самых информативных ликов парадокса — портрет говорящего разоблачителя, его речевое поведение. И если в ответ на вопрос «Что такое парадокс?» мы услышим: «Это трудно объяснить — это нужно видеть», то такой ответ не следует считать пустой отговоркой. «Он... был органически не способен ни к какой банальности. Избитая истина слетала с его уст только затем, чтобы оказаться полностью перевернутой в конце фразы» (Я. Гордин. Предисловие // И. Бродский. Поклониться тени. СПб., 2001. С. 10). «На людях он всегда блестал остроумием — не столько ради окружающих, сколько потому, что был органически не способен на банальность. Расхожая идея слетала с его уст лишь для того, чтобы к концу фразы от нее остались пух и перья. При этом себя он тоже не стремился развлечь: просто его речь пыталась не отстать от непрерывного бега мысли и потому нередко оказывалась непредсказуемой для него самого» (И. Бродский. Соч. Т. VI, с. 398; пер. А. Сумеркина).

Приводимые два отрывка из эссе И. Бродского «Памяти Стивена Спендера»<sup>1</sup> — по существу лаконичный портрет истинного парадоксалиста, каким был и сам И. Бродский. Тяга человека к парадоксу опознается по его речевому портрету, составленному прямым наблюдателем. В дневнике Достоевского читаем: «У меня есть один знакомый парадоксалист... Он защищал войну вообще и, может быть, единственно из игры в парадоксы» (Ф. М. Достоевский. Соч.: В 30 т. Т. 22. С. 122). Такой парадоксалист не убедителен, потому что он не подтвержден собственным речевым портретом.

Еще пример, иллюстрирующий тактику самого Бродского в ситуации диалога: «Частную беседу, особенно если она требовала долгого монолога, Бродский вел с таким напряжением, что его собеседника бросало в пот. Дефицит инерции — отсутствие само собой разумеющегося — мешал собеседнику поддакивать, тем паче спорить, даже тогда, когда Бродский говорил что-нибудь диковинное... Свойственная поэзии Бродского бескомпромиссность в разговоре отзывалась непредсказуемым разворотом мысли... Бродский обгонял собеседника на целый круг, и тогда он включал улыбку, сопровождающую теми вопросительными “да?”, которыми пересыпаны все его интервью. Он просил не согласиться, а понять. Улыбка... походила на ждущую точку в разговоре, полувынужденную паузу, дающую его догнать. Не унижая собеседника, улыбка деликатно заменяла разговор. Так тормозят на желтый свет, когда не уверены, сменится он зеленым или красным» (Александр Генис. Бродский в Америке // И. Бродский: творчество, личность, судьба. СПб.: Звезда, 1998. С. 11—12). Явные признаки парадоксалиста — в портрете Цветаевой, нарисованном В. Е. Чириковой: «Как будто стенографически записывая за жизнью, Цветаева мимоходом высказывала вслух свои мысли-формулы: несколько отрывисто брошенных слов, но так много в себе вмещавших. При этом в голосе ее слышались как бы удары молотка, заново забивающего гвоздь там, где картина истины висит криво или незаметно для других. Стиль ее разговорной речи был тот же, что в ее творческой прозе. Иной Марины / Цветаевой вообще не существовало» (В. Е. Чирикова. Костер Цветаевой // Наше наследие. IV (22). 1991. С. 51).

Парадокс обладает двойной смысловой энергией: он одновременно и продукт мысли, и сильно действующее средство, способное инициировать мысль. Парадоксы нуждаются, по крайней мере, в мотивации двух видов:

- (1) собственно смысловой (истолкование логической аномалии, сдвига, нарушения конвенций, действующих в рамках логики здравого смысла) и
- (2) психологической (осмысление особенностей афористического мышления; выявление авторских предпочтений тех или других правил игры со смыслом; поиск ключа к тому, что можно назвать индивидуальной стилистикой авторского остроумия). В статье предпринята попытка обобщить некоторые результаты поисков в том и другом направлении.

## 2.

Образно говоря, парадокс — это состязание двух правд, в котором ни одна не одерживает победы, своего рода соревнование, всегда оканчивающееся вничью.

Непременным «спутником» всякого парадокса является состояние недоумения, ментальный дискомфорт, обусловленный оборачиваемостью истины и лжи, их способностью превращаться друг в друга. По-видимому, это и есть тот общий признак, который роднит разные виды парадоксов и естественным образом переплетает интересы философов, логиков, психологов и языковедов, изучающих этот загадочный феномен. Рассматривая парадокс в разных ракурсах и с разными целями, те и другие в конечном счете имеют дело с человеческой мыслью, которая либо предпочитает нетривиальный путь поиска истины, либо, столкнувшись с аномалией, ищет выход из логического тупика. «Парадоксы увлекательны лишь тогда, когда инициируют мысль» [Делёз 1998, 107]; «Значимость парадокса заключается в пробеге, который он заставляет совершать мысль от языкового выражения к референту и обратно» [Дюбуа 1986, 258].

Парадокс есть ментальная потребность языковой личности, и изучение семантики парадокса не может быть продуктивным без пристального внимания к психологической стороне его сущности. В своем исследовании «Остроумие и его отношение к бессознательному» З. Фрейд обращает внимание на то, что смысл понятия «остроумие» (как способности к афористическому мышлению) хорошо раскрывается старым термином *Seelenvermögen*, который буквально значит ‘духовное достояние’. «У остроумных людей нужно предполагать, — пишет Фрейд, — особое дарование или особые психические условия, которые способствуют работе остроумия» [Фрейд 1925, 188].

Исследователи, изучающие проблему остроумия, единодушно признают, что самое трудное определить, что такое юмор: попытки найти некую базисную «грамматику юмора» или «глубинную комическую структуру» не могут увенчаться успехом, потому что, «чем дальше занимаемся мы поисками этой общей структуры, тем более очевидным становится досадное отсутствие единства во всех многообразных проявлениях юмора» [Минский 1988, 297]. В поисках природы юмора в фокус внимания неизбежно попадает парадокс — феномен семантически многомерный и трудно уловимый для убедительного однозначного толкования.

### 3.

Проза Цветаевой и Бродского — авторитетный источник, способный обогатить энциклопедию афористики, внести вклад в теорию и стилистику остроумия. У этих авторов мы находим богатый материал для построения системы аргументов, подтверждающих стилистическую целостность личности. Остроумие Цветаевой и Бродского не развлекательное, оно окрашено философской проницательностью, и главной формой игры со смыслом здесь является парадокс.

Афористическое мышление открывает то, что не лежит на поверхности вещей. Афоризмы — плод ума, склонного к опровержению, настроенного на поиск слабых мест тривиальной логики, на подрыв авторитета так называемого здравого смысла<sup>2</sup>. Как справедливо отмечает Л. Я. Гинзбург, — «шутка ни в какой мере не является выражением легкости существования. Шутка... выражает скорее семантическую сложность бытия; отсутствие точных смыслов, вечное несовпадение

слов со словами и слов с предметами. Главная аномалия остроты, по-видимому, связана с феноменом, который теоретики остроумия называют “смыслом в бессмыслице”. За остротой стоит психологическая реальность, а именно — удовольствие от игры со смыслом, момент освобождения “от гнета критического разума” [Гинзбург 1987, 231].

Изучению афористического мышления изнутри помогает сам создатель афоризмов, если он склонен к самопознанию и способен к адекватной самооценке. Таким автором и является Цветаева-прозаик. Проза Цветаевой содержит богатый материал для сопоставления авторской афористики с «идиоматикой» самой личности создателя афоризмов. Афоризм — один из типичных приемов ментальной стратегии Цветаевой-прозаика, одна из стилистических доминант ее прозаического текста в целом, включая дневники и письма. Суждение И. Бродского, что Цветаева, «с ее внестрофическим — вообще внестиховым мышлением» [Бродский 1997, 67], нуждалась в прозе, — подтверждает сама Цветаева. «Прозу люблю почти так же, как и стихи, — читаем в одной из ее записей начала 30-х гг., — и отнюдь не придаю ей оскорбительного общепринятого значения... Проза — проработанная в слове жизнь. То есть, как всякое завершение, уже над=жизнь» [Цветаева 1992, 4]. В той же записи Цветаева формулирует одну из главных, на наш взгляд, причин, по которым она любит прозу: «Работа прозаика протекает, главным образом в мысли, а не в слове» [выделено мною. — М. Л.]. Возможно, именно проза, в которой Цветаева проявляет себя как писатель-концептуалист, дает основание называть поэта Цветаеву «наиболее интересным мыслителем своего времени» [Бродский 1997, 69].

В условиях прозы афористическое мышление, заинтригованное тайнами бытия, обретает широкие возможности удовлетворять свое пристрастие к парадоксу. Парадоксы Цветаевой — отпечаток духовной концепции личности, которая покушается на незыблемость абсолютов. Ее парадоксы — естественная реакция мысли, всегда внутренне готовой к опровержению очевидного, отклик сознания, озадаченного метаморфозами истины и лжи. «Нет ведь окончательной лжи, у каждой лжи ведь хотя бы один луч — в правду. И вот она вся идет по этому лучу» [Цветаева 1994—1995, IV, 518]<sup>3</sup>. В тяге Цветаевой к парадоксу проявляется не только эвристическая активность (антитипия к стереотипу, всепроникающая, неутолимая рефлексия). Парадокс как метод постижения истины импонирует искателю трудностей, он созвучен духовному этимону личности Цветаевой: «Прежде всего и во всем: мой инстинкт всегда ищет и создает преграды, т. е. я инстинктивно их создаю — в жизни, как и в стихах» [VII, 378]. Это свойство можно назвать своеобразным духовным тонусом личности, своего рода темпераментом мысли. «Мысль — тоже страсть», — говорит сама Цветаева [Цветаева НСТ, 12]<sup>4</sup>.

#### 4.

В смысловом потенциале парадокса отражается фундаментальная универсалия окружающей действительности: постоянное столкновение двух истин — априорной и актуальной. Человеческое сознание как бы настраивается в унисон с

этой закономерностью и превращает истину из некогда данной, не подлежащей сомнению, — в искомую. Парадокс как результат антисозерцательного восприятия мира, плод остромыслия обнажает вечную конкуренцию двух логических сущностей: альтернативы и тождества. В рамках этой конкуренции интуитивно выделяются три вида игры со смыслом: (1) неожиданное открытие в единой сущности двух противоборствующих начал, разрыв целого на две части, одна из которых уничтожает другую; (2) категорическое перечеркивание очевидной антагонии, (3) мена позиций (цель — целеполагающее начало, причина — следствие). (1) Пример амбивалентности смысла *есть* ('есть для других' и 'есть для меня'; 'есть для других — нет для меня'): «Разве Вы не знаете, что для меня дважды *нет дождя* 1) п. ч. *есть* т. е. как все в природе — люблю 2) даже если бы не любила, Вас — люблю и ни с каким ливнем бы не посчиталась» (Из письма М. Цветаевой к Л. И. Шестову // Наше наследие. IV (22), 1991. С. 49). Иллюстрацией самозарождающегося конфликта и самоуничтожения смысла 'скука' может служить стихотворение-парадокс:

— «Все перемелется, будет мукой!»  
 Люди утешены этой наукой.  
 Станет мукой, что было тоской?  
 Нет, лучше мукой!  
 Люди, поверьте: мы живы тоской!  
 Только в тоске мы победны над скукой.  
 Все перемелется? Будет мукой?  
 Нет, лучше мукой! [I, 65].

«Сила парадоксов, — утверждает Ж. Делёз, — не в том, что они противоречивы, а в том, что они позволяют нам присутствовать при генезисе противоречия» [Делёз 1998, 107]. Действительно, для сознания, увлеченного поиском сущности, мало принять противоречивость двух вещей. Парадокс — это следующий виток мысли, аннулирующий противоречие. Несколько иллюстраций второго вида «игры»: «Вечной верности мы хотим не от Пенелопы, а от Кармен — только верный *Дон-Жуан* в цене! Знаю и я этот соблазн. Это жестокая вещь: любить за бег — и требовать (от Бега!) покоя!» [VI, 612]<sup>5</sup>; «Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать знакомого» [IV, 484]; «Радость — иной вид горестей, может быть — острейший» [VI, 749]; «Самозабвение: полнейшее самосознание при полнейшем забвении всего, что не ты: не *то* в тебе. — Другозабвение» [НСТ, 66]; «Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство — мужественно» [VI, 480]; «Кем нужно быть, чтобы так разочаровать, так смутить, так уничтожить человека отрицательным ответом? — Просто материю» [IV, 522]; «Отсутствие произвола — власть над предметом путем подчинения ему — ах, поняла: *Победа путем отказа!*» [НСТ, 15]; «Люди ревнуют только к одному: одиночеству. Не прощают только одного: одиночества. Мстят только за одно: одиночество. К тому — того — за то, что смеешь быть один» [НСТ, 155]; «Как странно, что пространство (т. е. вся свобода между двумя) — стена, в которую ломишься» [НСТ, 217]; «Каждая книга — кража у собственной жизни. Чем

больше читаешь, тем меньше умеешь и хочешь жить сам. Книги — гибель! Много читавший не может быть счастлив. Ведь счастье — всегда бессознательно» [VI, 46]; «Книгу должен писать читатель. Лучший читатель читает закрыв глаза» [НСТ, 132]; «Дать можно только богатому и помочь можно только сильному — вот опыт всей моей жизни — и этого лета» [VII, 405]: «Крылья — свобода, только когда раскрыты в полете, за спиной они — тяжесть. Крылья — синоним не свободы, а силы, не свободы, а тяжести» [НСТ, 20].

Прозаический текст Цветаевой — своего рода практикум по семантике парадокса, это школа постижения правил игры антиномиями. Сильным разрушителем идеального парадокса (суждения-миниатюры, оторвавшегося от контекста) оказывается «я» субъекта: при его включении в состав изречения открываемая истина перестает быть всесовместной и всевременной: «Мне все скучно. Заранее и заранее, когда я с людьми, я несчастна: пуста, т. е. полна ими. Я — выпита» [НСТ, 220]; «Я — врач: — Я боюсь — Потому что я не знаю. Вы боитесь — потому что вы знаете» [НСТ, 453]; «В четверг Вы были один дома, в субботу я — одна, а встретились мы в пятницу. Что это, как не жизнь, с ее непрерывными случайностями, с ее мазней, жизнь — обратное сну (чистовику сна), где все когда надо и как надо» [НСТ, 393]; «Мой друг, скучаю без Вас. Скука во мне — не сознание отсутствия, а усиленное присутствие, так что, если быть честным (точным!): не без Вас, а от (!) Вас» [НСТ, 219]; «...Мне нужно одно: доверие и некое чудо проинновения в мою настежь распахнутую и посему трудно-читаемую душу. (В раскрытые двери собаки входить боятся. Им нужна цель: чтобы мордой)» [НСТ, 181]. Такие изречения, благодаря оставленному в них авторскому «автографу», ограждены от превращения в стереотип, но при этом они не утрачивают парадоксальной основы. Здесь мы наблюдаем идиому в «тепличных» условиях, она неотделима от контекста.

В афоризмах Цветаевой находит отражение парадоксальное переосмысление семантики цели (превращение самой цели в активное целеполагающее начало; отказ от достижения безусловно желаемого, преобразование цели в антицель). «В какую-то секунду пути цель начинает лететь на нас. Единственная мысль — не уклониться» [НСТ, 544]; «Змея не хочет зачаровать птицы — это птица хочет засоряться, верней птица, взглянув, не может оторваться. Засоренность птицы держит змею» [НСТ, 391]. Здесь нарушена грань допустимого в отношениях самой цели и ее антиподы — сознательного целеполагающего начала (эти две сущности меняются ролями). Превращение цели в антицель часто связывается у Цветаевой с парадоксальным осмыслением понятия *победы* («скука победы»; «ступик победы»; «победа путем отказа» и др.); «Чувство — после поцелуя — позорной победы, постыдного торжества. Скука победы» [НСТ, 36]; «Неуменье наслаждаться чувством победы... глубокое недоумение перед ней, а главное — полное незнание, что с ней делать, тупик победы, сразу превращающий меня из победителя в побежденного» [НСТ, 178]; «Ответ в любви — для меня тупик. Я ишу не вздохов, а выходов» [IV, 526].

Смысловая модификация антицели — предвосхищение, мысленное опережение, отказ от того, что неизбежно только с точки зрения внешней, поверхностной

логики. Ср. парадоксальную версию окончательной победы в таком ее изречении: «Первая победа женщины над мужчиной — рассказ мужчины о его любви к другой. А окончательная ее победа — рассказ этой другой о своей любви к нему, о его любви к ней. Тайное стало явным, ваша любовь — моя. И пока этого нет, нельзя спать спокойно» [IV, 478].

Парадокс ставит знак равенства там, где стереотипное мышление видит несовместимые вещи, он отрицает очевидную оппозицию, опровергает безусловную антитезу, доказывает равнозначность антиподов. Парадокс — это конкуренция двух сущностей, которая оборачивается то конфликтом, то компромиссом. Модель парадокса — лента Мёбиуса: встреча полярных смыслов и их логическое примирение. Формально за истинным парадоксом скрывается логическая манипуляция, а именно — превращение категорической (сильной) альтернативы в тождество (ср. выше: «Либо любовь, либо предательство» → «любовь = предательство»; «либо власть, либо подчинение» → «власть = подчинение»; «либо сон, либо действительность» → «сон = действительность» и т. п.). Но с парадоксом не спорят, понимая, что это продукт ума, склонного к гиперболизации сути, своего рода уловка мысли, которая желает привлечь к себе внимание.

### 5.

Серьезный повод задуматься над логикой парадокса находим у М. Пруста, который наглядно иллюстрирует смысл формулы «несмотря на то что», давая возможность наблюдать еще один лик парадокса: «Моя мать восхищалась, что он был столь точен, несмотря на то что столь занят; столь любезен, несмотря на то что столь избалован светским обществом; ей не приходило в голову, что “несмотря на то что” — это всегда неопознанные “потому что” и что те же самые привычки позволяли маркизу де Норпуга выполнять его многочисленные обязанности и аккуратно отвечать на письма, блистать в обществе и быть любезным с нашей семьей (точно так же как старики удивляют бодростью для своего возраста, государи — своей простотой, а провинциалы — тем, что они в курсе всего» (M. Пруст. В поисках утраченного времени; цит. дана в переводе Ю. С. Степанова). Построение Пруста предстает в виде сценария, в котором в лицах разыграно столкновение двух версий: мать (носитель априорной оценки) и автор (разоблачитель стереотипа); за кадром «объекты», вызывающие восхищение матери. В этом сценарии просматриваются две ментальные позиции: 1) наивный наблюдатель (толkующий *точность* и *занятость* как несовместимые сущности); 2) критик — разрушитель догмы (*точность вопреки занятости*) и объясняющий *точность занятостью* (*точность благодаря занятости*). Позиция разоблачителя прочитывается следующим образом: поступки маркиза, как и другие стереотипы поведения, наблюдаемые, напр., у стариков, государей, провинциалов, не должны вызывать удивления; наивный наблюдатель допускает логическую ошибку, принимая мнимую причину за причину подлинную. Источник ее заблуждения — принцип «вопреки», понятый ею как аксиома.

Рассуждение, которое строится по формуле «несмотря на то что...» уязвимо и опровергимо: оно скрывает неопознанную причину и может использоваться не как аксиома, а скорее — как загадка, информация к размышлению. Пруст показывает амбивалентность истины и многоступенчатость познавательного цикла (догма — осознание ее ошибочности — открытие истинной причины заблуждения) в его чисто человеческих коннотациях (бездумное восхищение, недоумение, сомнение, разочарование, удовлетворенность обретением здравого смысла). Весь этот ореол значений окружает логику уступительности и объясняет, почему в естественном языке диапазон языковых средств ее оформления оказывается таким широким. Пруст помогает ощутить смысловой потенциал одной из самых сложных синтаксических абстракций. Сама амбивалентность формулы парадокса оказывается многозначной.

Афоризм, построенный по принципу парадокса, имплицирует семантику удивления. И это не просто аморфное удивление. Реакция на парадокс зафиксирована языковым сознанием и существует в виде синтаксического клише — я имею в виду хорошо известное и достаточно частотное выражение «*как это ни странно, но...*». Это прагматическое резюме, подтверждающее парадоксальный характер высказанного суждения (*Как это ни странно, но вечной верности мы хотим не от Пенелопы, а от Кармен; как это ни странно, но предательство уже указывает на любовь* и т. п., см. примеры выше).

Языковое сознание явно реагирует на странности парадокса. Например, примирение двух конкурирующих истин (априорной и актуальной) отражено в языковом клише «*и то правда*». Часто, называя ситуацию парадоксальной, мы одновременно оцениваем ее как комическую, используя выражение: «*Весь юмор положения заключается в том, что...*» Это синтаксическое клише является функциональным синонимом (аналогом) фразеосхемы «*как это ни странно, но...*». Переплетение трагического и иронии в парадоксе — еще одно подтверждение ликости (оборачиваемости) этого феномена. Парадокс — точка пересечения разума и эмоции. Это триумф мысли, уловившей момент истины, и психологическая реальность, естественно сопутствующая этому моменту, — состояние интеллектуального экстаза.

## 6.

Главная компетенция Цветаевой как генератора парадокса в условиях прозы — лаконичная формула, в которой логическая аномалия и сам механизм переворачивания истины более доступны наблюдению. Но для Цветаевой — интуитивного лингвиста — необходимо вторжение в саму фактуру текстовой ткани, которую она расплетает и по-своему переплетает. Ее радиус захвата как экспериментатора расширен за счет пристального внимания к чисто языковым (к собственно лингвистическим) феноменам. Объект ее рефлексии (переосмысления и опровержения) — языковые единицы разных уровней, включая служебные слова, грамматические закономерности и внутрисистемные языковые оппозиции. Языковые эксперименты Цветаевой — тема отдельная, но наблюдения над ее грамматическими окказионализмами дают материал и для изучения Цветаевой-

парадоксалиста. Один пример, показывающий, как Цветаева опровергает логику союза только — знака исключения: «*Но и он (Д. Иловайский) ей — немало прощал, не только всю ее сущность... но и самое для него в ней существенное, ее юдо-приверженность: постоянную и в России и за границей окруженностъ евреями, не объяснимую ни происхождением (полупольским), ни кругом (очень правым), только Генрихом Гейне, только Рубинштейном, только... ее женским вдохновением, только ее разумом, только ее совестью, — хотела сказать только ее христианством, но, вспомнив слово “несть ни эллин ни иудей”, не могу, ибо для нее иудеи — были, и были — милее “эллинов”, и обертоном всех этих “только” (всех не перечислишь!), лейтмотивом ее и моей жизни — толстовским “против течения!” — хотя бы собственной крови — и против стояния — всякой среды (стоячей воды)» (М. Цветаева). Продолжение ряда (всех только не перечислишь) не усиливает смысл «исключение», а, наоборот — опровергает, перечеркивает этот смысл. Избыток исключений обнажает скрытое (неопознанное) правило — такова логика цветаевской модели умноженного союза только. Повторение как риторический прием у Бродского невозможен, очевидно, из-за его принципиальной антипатии к монотонности в любой ее форме<sup>6</sup>.*

Как и Цветаева, Бродский улавливает слабые места языковой системы, обнаруживает парадоксальную оборачиваемость языковых форм, подчеркивает тождество того, что в системе языка является устойчивой функциональной оппозицией<sup>7</sup>.

## 7.

Образ разрушителя стереотипа Бродский утверждает за собой прежде всего оригинальным «покроем» своего стиха, предлагая тем самым собственную теоретическую версию поэтического текста. В этой роли Бродский приглашает нас к разгадке парадокса: каким образом две качественно разнородные текстовые структуры (стихи и проза) превращаются не просто в симбиоз, а в органическое слияние? Бродский убеждает нас в том, что такое слияние — реальность, и главным аргументом является здесь — сама личность автора, представляющая собой гармоническое единство языковой интуиции, развитой в превосходной степени, и особой этики по отношению к языку.

В этом смысле поэтический текст Бродского в целом можно рассматривать как эксперимент виртуозного превращения альтернативы в тождество и наоборот (логическая манипуляция, которая лежит в основе всякого парадоксального переосмыслиния вещей).

Сам текст энергично вовлекает вас в процесс рождения стиха, делает соучастником сложной процедуры раскрытия ткани (текстового пространства), настраивает на поиск секретов стихотворной техники; это школа постижения специфики поэтического языка, его главных измерений. Читатель невольно включает сразу несколько каналов восприятия, чтобы уследить за ритмикой и прежде всего — за тем, не теряет ли рифма предназначенную для нее сильную позицию в строке. Своим экспериментом Бродский убеждает в том, что только рифма и способна спасти поэзию. «В рифме он видел самое интимное свидетельство о поэте, неподдельный —

оттого что бессознательный — опечаток авторской личности» (*А. Генис. Бродский в Америке // Там же. С. 12*). Поэт заражает читателя острым ощущением реальности сътворчества и совместной ответственности за результат. Не случайно сам Бродский (может быть, даже без иронии) утверждает право на соавторство того, кто оказывается в позиции потребителя чужого текста: «Жить — в каком-то смысле значит цитировать, и когда ты что-то выучил наизусть, заученное принадлежит тебе в той же степени, что и автору» (*И. Бродский. Соч. Т. VI. С. 389*).

Поэтика переброса стимулирует поиск ответа на вопрос: в чем суть оппозиции проза / стих; читатель вместе с поэтом идет как бы по лезвию ножа, балансирует на грани двух измерений и оказывается свидетелем рождения текста, который только что был тривиальной прозой и в любой момент готов к новой метаморфозе в обратном направлении. Оппозиция стих / проза по существу опрокидывается: автор как бы демонстрирует нам реальную ленту Мёбиуса, символизирующую логическую схему парадокса, секрет его оборачиваемости. Поэтика Бродского — главное свидетельство парадоксалистической сущности его личности. Своим экспериментом он подтверждает любимый тезис об амбивалентности всего существующего в мире.

Творческий акт — состояние по сути парадоксальное: это рассеянность и собранность в одно и то же время — чтобы в гипнотизирующем шуме словаря в любой момент услышать отрезвляющий голос грамматики. Поэтический текст Бродского в целом — иллюстрация и такого парадокса. Пoэзия Бродского — это своего рода подробный отчет о том, как он выполняет главную заповедь стихотворца: поэт проверяет свою интуицию интуицией самого языка<sup>8</sup>. Разгадка «Эврики» Бродского (и его многочисленных малых «эврик») очень проста. Обожествляя язык, он скромно умалчивает о беспощадности к самому себе: Бродский совершенствовал собственную языковую интуицию, уподобляясь боксеру, который работает в темноте и не знает, откуда ждать удара<sup>9</sup>.

## 8.

В прозе стратегия парадоксалиста выступает в таких формах, которые более доступны выявлению и интерпретации. Однако и проза, написанная тем же почерком разоблачителя стереотипов, не утрачивает сходства с «мешком фокусника», который у Бродского наполнен не только парадоксами. Для адекватного прочтения и осмыслиения такого текста здесь также нужен особый оптический прибор.

В условиях прозы Бродский — прежде всего генератор идеи-антинципента, в его синтаксисе доминирует многоступенчатая иерархия каузальности. Выстраивая аргументацию, Бродский принципиально не пользуется союзом *хотя*, считая это грамматическое слово знаком компромисса: Язык, «зиждущийся на хотя», по мнению Бродского, наделен характерной риторической стратегией, т. е. задает самой мысли особый ритм: «Любая изложенная на языке этом идея тотчас перерастает в свою противоположность, и нет для русского синтаксиса занятия более увлекательного и соблазнительного, чем передача сомнения и самоуничижения»<sup>10</sup>

(И. Бродский. О Достоевском // Набережная неисцелимых. Тринадцать эссе. М., 1992. С. 75).

Бродский выбирает форму постулата: его причина — главная, глубинная и непрекаемая, и его интуиция предпочитает союз *ибо*. Союз *ибо* привлекателен для Бродского своей однозначностью, этот союз отвергает модальную коррекцию, в отличие от других причинных союзов (ср.: *возможно, потому-то; прежде всего потому что; особенно потому что; очевидно, потому что; якобы потому что; вряд ли потому что; может быть, именно оттого что* и т. п.). Союз *ибо* не допускает субъективных поправок, превращающих констатацию причины в рефлексию над тем, правильно ли она найдена (ср. *\*якобы ибо; \*вряд ли ибо* и т. п.)<sup>11</sup>.

По той же причине Бродского привлекает форма *суть* («слово, хранящее значение философской абстракции»). Форма *суть*, широко распространенная в его поэзии<sup>12</sup>, так же идеально соответствует риторической стратегии Бродского: *суть* и союз *ибо* нужны Бродскому как знаки неопровергимости его «эврики» (поэтической, логической, концептуальной). Каждым последующим *ибо* Бродский отражает удар потенциального оппонента, воображаемого критика: В условиях прозы он остается боксером, работающим в темноте, подтверждая верность своим когнитивным принципам.

Цветаева предпочитает семантически нерасчлененную форму обусловленности («причина-цель» или «следствие-результат»). Предмет ее рефлексии — прототипический мотив — на поверхностном (синтаксическом) уровне не всегда опознается, т. к. часто выражается при помощи тире. Этот знак у Цветаевой может указывать на внутренний импульс к мотивации сказанного или просто — к продолжению темы, заданной предтекстом (т. е. выражать чистую идею следования). Поэтому ее проза часто напоминает психограмму, синхронную запись поиска, воспроизводит сам процесс блуждания вокруг денотата.

## 9.

Бродского привлекают еще не развенчанные концепты; он выбирает нетривиальный путь опровержения прописных истин. Вылавливая неопознанные причины, его интуиция открывает новые метаморфозы видимого и сути, проходящего и подлинной ценности, сближает антиподы и расшатывает безусловные тождества. Внутренняя логика таких феноменов, как *пространство, время, язык, память, свобода, тирания* и др., предстает в новом ракурсе; стереотипные образы и символы (напр., *вода, зеркало, пыль* и др.) у Бродского диаметрально перестраивают свою семантику.

Приведу некоторые примеры.

1) Разрабатывая формулу *тюрьмы*, Бродский перечеркивает постулаты, которые стоят за понятиями *враг, гражданин, личность, армия*. Он выстраивает антитезы: «гражданин — личность»; «враг в тюрьме — враг в армии (версия врага, внушаемая в армии)» и опирается на тождества: «свобода = избыток свободного времени»; «свобода = свободная личность»: «На мой взгляд, тюрьма гораздо лучше армии. Во-первых, в тюрьме никто не учит тебя ненавидеть далекого “птен-

циального” врага. В тюрьме твой враг — не абстракция; он конкретен и осязаем. Возможно, “враг” — слишком сильное слово. В тюрьме имеешь дело с крайне одомашненным понятием врага, что делает всю ситуацию приземленной, обыденной» (*И. Бродский. Меньше единицы // Там же. С. 88*); «Именно армия окончательно делает из тебя гражданина; без нее у тебя еще был бы шанс, пусть ничтожный, оставаться человеческим существом. Если мне есть чем гордиться в прошлом, то тем, что я стал заключенным, а не солдатом» (*Там же. С. 89*); «Формула тюрьмы — недостаток пространства, возмешенный избытком времени. Вот что тебе действительно досаждает, вот чего ты не можешь одолеть. Тюрьма — отсутствие альтернатив, и с ума тебя сводит телескопическая предсказуемость будущего» (*Там же. С. 89*). В ходе его рассуждений выделяются три шага: (1) превращение категорической альтернативы в равенство («или тюрьма — или свобода» → «тюрьма = свобода»); (2) построение новой нетривиальной альтернативы («тюрьма или армия?»); (3) предпочтение тюрьмы армии. Взгляд со стороны (критика? метанаблюдателя?) обнаруживает, что преимущество тюрьмы по сравнению с армией утверждает сама жертва заключения. Эта жертва — писатель.

Новый «виток» рефлексии Бродского над формулой тюрьмы — его эссе «Писатель в тюрьме» (1995 г.; перевод Е. Касаткиной): «Написанное в тюрьме — о страдании и стойкости. Как таковое оно вызывает неодолимый интерес у публики в целом, которая все еще блаженно воспринимает *заключение как аномалию*. Именно для того чтобы это представление сохранилось в грядущем мире, написанное в застенках должно быть прочитано. Ибо нет большего искушения, чем рассматривать *заключение людей как норму*. Так же как нет ничего проще, чем усматривать в тюремном опыте — и даже извлекать из него — пользу для души» (*И. Бродский. Соч. Т. VII. С. 219*). Не меняя своей прежней (1976 г.) формулировки<sup>13</sup>, Бродский размышляет здесь над глобальным противостоянием двух версий: «заключение есть аномалия» и «заключение есть норма». Очевидно — это ответ тем, кто пытается спорить с парадоксами.

Но парадокс нельзя опровергнуть, так же как нельзя доказать. В конце концов — это игра со смыслом, своего рода манипуляция: перевод «побочного эффекта» в сущность. Об этом сам Бродский однажды замечает в скобках: «...сущность всех моих путешествий (их, так сказать, *побочный эффект, переходящий в их сущность*) состоит в возвращении сюда, на Мортон-стрит: во все более детальной разработке этого нового смысла, вкладываемого мною в “домой”. Чем чаще возвращаешься, тем конкретней становится эта конура. И тем абстрактней моря и земли, в которых ты странствуешь» (*И. Бродский. После путешествия, или Посвящается позвоночнику // Там же. С. 172*). Сила парадокса, очевидно, в том, что иногда побочный эффект способен заменить сущность. Так или иначе — тюрьма у Бродского радикально меняет свою семантику: обретает признаки *свободы*, т. е. сближается со своим смысловым антиподом.

2) Концепт *память* Бродский развенчивает по всем его смысловым параметрам, приводя в своих рассуждениях аргументы, компрометирующие способность

памяти запечатлевать точно, удерживать, хранить и воспроизводить (вспоминать): «Память, я думаю, отражает качество реальности примерно так же, как утопическая мысль» (*И. Бродский. Полторы комнаты // Там же. С. 45*); «Память, я полагаю, есть замена хвоста, навсегда утраченного нами в счастливом процессе эволюции... Помимо этого, есть нечто явно атавистическое в самом процессе вспоминания — потому хотя бы, что процесс этот не бывает линейным. Кроме того, чем больше помнишь, тем ты ближе к смерти» (*И. Бродский. Меньше единицы // Там же. С. 95*); «Что роднит память с искусством, так это способность к отбору, вкус к детали. Лестное для искусства (особенно для прозы), для памяти это наблюдение должно показаться оскорбительным. Оскорблению, однако, вполне заслужено. Память содержит именно детали, а не полную картину: сценки, если угодно, но не весь спектакль. Убеждение, что мы каким-то образом можем вспомнить все сразу, оптом, такое убеждение, позволяющее нам как виду продолжать существование, — беспочвенно. Более всего память похожа на библиотеку в алфавитном беспорядке и без чьих-либо собраний сочинений» (*И. Бродский. Полторы комнаты // Там же. С. 56*); «Я вижу их лица, его и ее, с большей ясностью, во всем разнообразии выражений, но тоже фрагментарно: моменты, мгновения... Время от времени я начинаю подозревать свой ум в попытке создать совокупный обобщенный образ родителей: знак, формулу, узнаваемый набросок — в попытке заставить меня на этом успокоиться. Полагаю, что мог бы; и полностью осознаю, сколь абсурден мотив моего сопротивления: отсутствие непрерывности у этих фрагментов. Не следует ждать столь многое от памяти; не следует надеяться, что на пленке, отнятой в темноте, проявятся новые образы. Нет, конечно. И все же можно упрекать пленку, отнятую при свете жизни, за недостающие кадры» (*Там же. С. 59*).

Логическая альтернатива «память — забвение» подвергается серьезной семантической атаке: «Память искаляет, особенно тех, кого мы знаем лучше всего. Она союзница забвения, союзница смерти. Это сеть с крошечным уловом и вытекшей водой» (*Там же. С. 58—59*).

3) Бродский обращает внимание на амбивалентность *пыли*, подчеркивая ее животворящее, конструирующее начало: *пыль* ('прах, ничто') превращается в свой антипод («плоть и кровь времени»): «Всю дорогу хватало призрачности; тут ее стало через край. Хозяин и мои спутники где-то отстали; я был предоставлен самому себе. Повсюду лежала пыль; цвета и формы всего окружающего смягчались ее серостью. Инкрустированные мраморные столы, фарфоровые статуэтки, кушетки, стулья, сам паркет. Ею было припудрено все, иногда, как в случае бюстов и статуэток, с неожиданно благотворным эффектом: подчеркивались рты, глаза, складки, живость группы. Но обычно ее слой был толстым и густым; более того, окончательным, будто новой пыли уже не было места. Жаждет пыли всякая поверхность, ибо пыль есть плоть времени, времени плоть и кровь, как сказал поэт; но здесь эта жажда прошла. Теперь пыль проникнет в сами предметы, подумал я, сольется с ними и в конце концов их заменит. Это, разумеется, зависит и от материала; попадаются довольно прочные. Предметам не обязательно разрушаться: они

просто посереют, раз время не пропь принять их форму, как оно это уже сделало в веренице пустых комнат, где оно настигало материю» (*И. Бродский. Fondamenta degli incurabili* // Там же. С. 255).

4) Если зеркало-стереотип — абстракция, означающая способность идеально отображать, то зеркало Бродского — реальный физический барьер, надежно заслоняющий то, чего видеть не нужно или не хочется; зато оно обладает способностью отразить неочевидное, невидимый смысл, непреходящую сущность. Несколько примеров: «Потом — эти зеркала, два или три на комнату, разных размеров, но чаще всего прямоугольные. Все в изящных золотых рамках, с искусными гирляндами или идиллическими сценками, привлекавшими к себе больше внимания, чем сама зеркальная поверхность, поскольку состояние амальгамы было неизменно плохим. В каком-то смысле, рамы были логичней своего содержимого, которое они удерживали, словно не давая расплескаться по стенам. В течение веков отыкнув отражать что-либо кроме стены напротив, зеркала отказывались вернуть тебе твоё лицо, то ли из жадности, то ли из бессилия, а когда пытались, то твои черты возвращались не полностью. Я, кажется, начал понимать де Ренье. От комнаты к комнате, пока мы шли по анфиладе, я видел в этих рамках все меньше и меньше себя, все больше и больше темноты. Постепенное вычитание, подумал я; чем-то оно кончится? И оно кончилось в десятой или одиннадцатой комнате. Я стоял у двери в следующую комнату и вместо себя видел в приличном — метр на метр — прямоугольнике черное, как смоль, ничто» (*И. Бродский. Fondamenta degli incurabili* // Там же. С. 254); «В моем номере в “Глории” — довольно шикарном по любым понятиям (как-никак я был почетным членом американской делегации) — висело огромное озероподобное зеркало, потемневшее и сильно зацветшее рыжеватой ряской. Оно не столько отражало, сколько поглощало происходящее в комнате, и я часто, особенно в сумерках, казался себе неким голым окунем, медленно в нем плавающим среди водорослей, то удаляясь, то приближаясь к поверхности. Это ощущение было сильней реальности заседаний, разговоров с делегатами, интервью прессе, так что все происходившее происходило как бы на дне, на заднем плане, затянутое тиной... Строчки — водоросли, и ваша память — тот же окунь, между ними плитающий. С другой стороны, возможно, все объясняется бессознательным нарциссизмом, обретающим посредством распадающейся амальгамы оттенок отстранения, некий вневремённой привкус, ибо смысл всякого отражения не столько в интересе к собственной персоне, сколько во взгляде на себя извне» (*И. Бродский. После путешествия, или Посвящается позвоночнику* // Там же. С. 174—175).

5) По принципу зеркала, лишенного своего сущностного признака, Бродский строит символическое «анти-окно» (окно, лишенное смысла ‘просвет, доступ к свету’): «Англо-русский словарь толщиной в стену был по существу дверью или, лучше сказать, окном, поскольку оно нередко бывало туманным, и чтобы сквозь него что-то разглядеть, требовалась некоторая сосредоточенность» (*И. Бродский. Т. VI. С. 394*). Текст, в котором такое «окно» остроумно используется в роли пре-

диката, отражает рефлексию автора (*стена? — дверь? — туманное окно*), сам момент рождения парадоксальной метафоры.

Риторическая стратегия Бродского (она же его когнитивный метод) — это не безапелляционное опрокидывание привычной логики; он выбирает лучший способ убеждения: завоевать читателя сязаемостью самого аргумента. Своими парадоксальными преобразованиями Бродский-философ демонстрирует глубинное свойство человеческой психики — потребность сознания отдыхать от высоких абстракций, делать обратный ход от недосягаемого, отвлеченного к миру реальных, ощущимых вещей. Денотат Бродского (чем бы он ни был: конкретным предметом или абстракцией) — это многомерная, поливалентная и предельно объективированная целостность, которая, попадая в водоворот авторских смысловых коннотаций (и метаконнотаций), остается одним из членов созданного Бродским «тропеического квадрата»: Дух — человек — веять — слово<sup>14</sup>. Семантическая многомерность слова — главный источник непредсказуемых оппозиций и тождеств Бродского. Парадоксы Бродского — это и есть его универсальный метод посредничества между миром и текстом, метод, демонстрирующий неисчерпаемость смысла.

## 10.

Преимущество цветаевского текста для изучения парадокса — высокая степень рефлексивности авторской мысли, ее прямое обращение к собственной ментальной деятельности. «Знаете, как это бывает? Вы ставите вопрос, сгоряча, первым движением: — нет, потом — глубже: да, потом — еще глубже: нет, глубже глубокого: да... (не четыре ступени: сорок!) и конечное: да» [НСТ, 130]. Так Цветаева представляет схему своего познавательного цикла. Сам парадокс — предмет рефлексии Цветаевой: «Не есть ли это закон — вопреки?» [НСТ, 14]; «Что такая полярность с ее распределенным притяжением перед расстилающейся бесконечностью неизмеримых заполярностей» [НСТ, 15]. Пристрастие к парадоксу она оценивает как устойчивый признак собственного стиля. Приведу отрывок из дневниковой записи под заголовком «Сон». Цветаева (во сне) читает вслух письмо: «...в комнате множество народа, несколько дам... почерк ужасный, мушиные лапы, листков — оказывается — бесконечность... После, мое утверждение: — Можно убить, но писать нужно хорошо (разборчиво). Непонимающий одобрительный смех как после парадокса (*т. е. обычного моего высказывания — наяву*)» [НСТ, 480].

В афористике, так же как и в сфере фразеологической идиоматики, каждая единица уникальна. Единичная острота требует к себе «персонального» внимания. Для адекватной интерпретации было бы идеальным, как говорит Фрейд, «знание субъективных условий в душе того, кто эту остроту создал» [Фрейд 1925, 169]. Но авторский афоризм идиоматичен прежде всего потому, что за ним стоит не «единичная» психологическая реальность, а психологическая тенденция, отпечаток ментального модуса личности создателя. «Две любимые вещи в мире, — говорит Цветаева о себе, — песня и формула (то есть... стихия — и победа над ней!)» [IV, 527]; «Написать Вам исчерпывающее письмо в ответ на Ваше — было бы отка-

заться от всякого: знаю себя, — стала бы, как всегда, когда пишу — чтобы ни писала — добиваться формулы, а время бы шло, а его у меня вообще нет...» [VII, 380].

Афоризмы Цветаевой несут отпечаток интроверсии как психологической позиции вообще. Интроверт, по словам Юнга, «доверяется формуле как средству защиты от беспредельных возможностей жизни» [Юнг 1997, 361]. Он «возводит интеллект на престол на место внешней обесцененной реальности», — пишет Юнг [Юнг 1997, 602]. Ср. у Цветаевой: «Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес — только преображенная, т. е. — в искусстве... Мне вешь сама по себе не нужна» [VI, 344]; «Мне внешне всегда плохо, потому что я не люблю его (внешнего), не считаюсь с ним, не отдаю ему должной важности и с него *ничего* не требую. Все, что я люблю, из внешнего становится внутренним...» [VI, 349]; «Все мои друзья мне о жизни *рассказывают*, как моряки о далеких странах — мужикам... Из этого заключаю, что я в жизни не живу, что впрочем ясно и без предпосылки» [VI, 354]; «Некоторые люди относятся к внешнему миру с какой-то придиличной внимательностью (дети, дальновидные — писатели типа Чехова и А. Н. Толстого). С такими мне утомительно и скучно» [IV, 573]. «Симптомы» интроверсии Цветаевой рассматриваются также в [Ляпон 1995].

Специфика мироощущения интроверта заключается в том, что для него решающее значение имеет не реальность объекта, а «реальность субъективного фактора, и именно изначальных образов, которые в их совокупности представляют собой психический мир зеркальных отображений. Но это зеркало обладает своеобразным свойством — оно изображает наличные содержания сознания не в знакомой и привычной нам форме, но... примерно так, как видело бы их сознание, прожившее миллион лет... Настоящий момент является для этого сознания неправдоподобным... Интровертное ощущение передает образ, который не столько воспроизводит объект, сколько покрывает его осадком стародавнего и грядущего субъективного опыта. От этого простое чувственное впечатление развивается в глубину, исполненную предчувствий, тогда как экстравертное ощущение схватывает мгновенное и выставленное напоказ бытие вещей» [Юнг 1997, 480—481].

## 11. Заключение

Парадокс оказывается тем автографом, по которому мы опознаем автора, одаренного специфическим (бифокальным) видением мира. Парадоксальные оппозиции Цветаевой и Бродского наглядно иллюстрируют принцип «вопреки» — кредо разрушителя стереотипа. Для Цветаевой банальность — преграда, а ее «инстинкт» жаждет преодоления («в жизни, как и в стихах»). Жажда преодоления — внутренний диктатор, руками которого сделана судьба Бродского. Тяга к парадоксу, обусловленная антипатией к стереотипу, — сильный акцент в психологическом портрете этих двух-исследователей трудностей и аргумент их внутренней близости...

Размышляя над парадоксами Цветаевой и Бродского, мы не замечаем, где кончается стилистика и начинается человековедение в собственном смысле слова. В авторских парадоксальных построениях скрыта информация о типичной психоло-

гической тенденции (о ментальном модусе) личности. Парадоксальная формула отражает и мудрость бесконфликтного созерцания, являясь защитой от «беспрепредельных возможностей жизни» (см. Юнг об интровертах), и, наоборот, воинствующий поиск неопознанных причин и непредсказуемых возможностей.

В содержании авторских парадоксальных формул можно наблюдать два отпечатка: (1) след конкретно-личного жизненного опыта (попытку объективировать собственную меру вещей, свой критерий подлинного и иллюзорного), (2) след логической манипуляции, допускаемой правилами игры со смыслом. Эти два начала конкурируют, преодолевая друг друга. Остроумие, в конечном счете, и есть ловкость, проявленная в такой игре. В контексте личности парадокс предстает как стилистическая идиома и в то же время раскрывает секреты своей семантики и логического устройства.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Перевод текста, написанного по-английски, осуществлен разными авторами.

<sup>2</sup> Проблема остроумия оказывается междисциплинарной проблемой. Такие «операторы» остромыслия, как интуиция и фантазия, привлекают внимание и филолога, и логика, изучающего «цикл становления истины»; см., напр.: [Бахтияров 2000а, 56]. «Многомерность познания, — читаем у того же автора, — является типичной человеческой чертой. В ней секрет любого творческого начала. Парадоксы — это не тупик, а блеск в конце туннеля, освещдающий путь к творческой свободе» [Бахтияров 2000б, 101].

<sup>3</sup> Далее при ссылках на многотомное издание Цветаевой 1994—1995 гг. в скобках указывается номер тома и страница:

<sup>4</sup> Далее — НСТ и номер страницы.

<sup>5</sup> Любить человека за определенное качество и одновременно требовать отсутствия этого самого качества — парадоксальность такого положения вещей очевидна. Функция местоимения «мы» в данном высказывании (как и в других подобных высказываниях обобщающего типа) за-служивает специальной интерпретации. Информация, передаваемая «мы», может быть понята двояко: (1) ‘Все, и в том числе Я’; (2) ‘все другие, кроме меня’ (‘все вы, но не я’). С помощью «мы» в подобных случаях говорящий затушевывает свою причастность ко всем, для кого верна найденная им формула, во всяком случае, его отнесенность ко множеству «мы» завуалирована: оппозиция «вы» (‘все вы’) — «я» смягчается. Говорящий включает свое «я» в «мы» из вежливости. В самом деле автор формулы, как открыватель закономерности, свойственной массе, имеет право на особое место среди *всех*, он как бы встает над другими. Таким образом, «мы» в этих условиях может означать мнимое включение, выполняя одну из ключевых ролей в структуре парадокса — сокрытие информации о себе. Не случайно Цветаева уточняет свою формулу дальнейшим рассуждением: «Знаю и я этот соблазн...».

<sup>6</sup> Повторяемость, монотонность, «тавтология», «тиражность», банальность — все эти понятия для Бродского (изначально и неизменно) наделены отрицательным смыслом. «...в сущности, всю мою жизнь, — пишет он, — можно рассматривать как беспрерывное старание избегать наиболее назойливых ее проявлений. Надо сказать, что по этой дороге яшел весьма далеко, может быть, слишком далеко. Все, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежащало удалению. Это относилось к фразам, деревьям, людям определенного типа, иногда даже к физической боли; это повлияло на отношения со многими людьми. В некотором смысле я благодарен Ленину. Все тиражное я сразу воспринимал как некую пропаганду» (*И. Бродский. Меньше единицы // И. Бродский. Поклониться тени. СПб., 2001. С. 72*).

<sup>7</sup> Изучая синкетизм существительного *суть* и глагольной формы *суть* в поэзии Бродского, Л. Зубова пишет: «Обращение к вопросам бытия, попытки преодоления времени в образах разрушения бытия временем, утверждение тех ценностей, которые времени не подвластны, диктует смешение — а точнее, взаимодействие стилистически разнородных языковых элементов — архаических, современных и таких, которые опережают современное состояние языка. Устранение оппозиций между высоким и низким, сакральным и профанным, культурой и природой, умозаключением и эмоцией ведет и к устраниению оппозиции между синхронией и диахронией (то есть между современным состоянием языка и его развитием). Тексты Бродского становятся не столько речью, делающей выбор из разных возможностей, сколько собственно языком во всем его стилистическом многообразии и в динамике — совокупностью одновременно реализуемых потенций» (Л. Зубова. Форма *суть* в поэзии Иосифа Бродского // Wiener Slawistischer Almanach 37 (1996). С. 112).

<sup>8</sup> Такое доверие языку, по мнению Бродского, оплачивается сторицей: «Во многих отношениях Достоевский был первым нашим писателем, доверявшим интуиции языка больше, чем своей собственной, больше, чем установкам своей системы убеждений или же своей личной философии. И язык отплатил ему сторицей» (И. Бродский. Катастрофы в воздухе // Там же. С. 110).

<sup>9</sup> Я использую метафору А. Гениса (А. Генис. Бродский в Америке // Там же. С. 11).

<sup>10</sup> Ср. выше о формуле «несмотря на то что» у М. Пруста.

<sup>11</sup> См.: М. В. Ляпон. Прагматика каузальности // Русистика сегодня. М., 1988. Она же. Сложное предложение как иерархия оценочных инстанций // Русский язык за рубежом. М., 1998. № 3.

<sup>12</sup> Л. Зубова. Форма *суть* в поэзии Иосифа Бродского // Wiener Slawistischer Almanach 37 (1996). С. 109—118.

<sup>13</sup> Ср. начало эссе 1995 г.: «Тюрьма — это, по существу, недостаток пространства, возмещенный избытком времени; для заключенного то и другое ощутимо» (Там же. С. 216).

<sup>14</sup> См.: В. Полухина. Поэтический автопортрет Бродского // И. Бродский: творчество, личность, судьба. С. 149. «Универсалы диапазона Бродского, — считает В. Полухина, — позволяет ему уравнять в правах все четыре категории и тем самым выстраивать новую систему аналогий и оппозиций». Смысловые преобразования у Бродского «могут быть заданы любой из четырех категорий: “все может быть одухотворено, олицетворено, овеществлено или превращено в знак средствами языка”» (Там же. С. 149).

## ЛИТЕРАТУРА

- Бахтияров 2000а — Бахтияров К. И. Стили мышления в логике // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2000. № 1. С. 56—67.
- Бахтияров 2000б — Бахтияров К. И. Блеск парадоксов // Реальность и субъект. Т. 4. СПб., 2000. № 1—2. С. 99—101.
- Бродский 1992 — Бродский И. Набережная неисцелимых. Тринадцать эссе. М., 1992.
- Бродский 1997 — Бродский И. Поэт и проза // Бродский о Цветаевой. М., 1997. С. 56—76.
- Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трёх конференций. СПб.: Звезда, 1998.
- Бродский 2000 — Бродский И. Большая книга интервью. 2-е изд. М., 2000.
- Бродский 2001а — Бродский И. Сочинения. Т. I—VII. СПб., 2001.
- Бродский 2001б — Бродский И. Поклониться тени. СПб., 2001.
- Гинзбург 1987 — Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности. Л., 1987.
- Делёз 1998 — Делёз Ж. Логика смысла. М., 1998.
- Донгак 2000 — Донгак С. Б. Лингвистический статус афоризма и парадокса // Риторика. Лингвистика: Сб. статей. Смоленск, 2000. С. 206—212.

- Дюбуа 1986 — *Дюбуа Ж.* и др. Общая риторика. М., 1986.
- Зубова 1996 — *Зубова Л. В.* Форма суть в поэзии Иосифа Бродского // *Wiener Slawistischer Almanach*, 37 (1996).
- Ельницкая 1990 — *Ельницкая С.* Поэтический мир Цветаевой. Wien, 1990.
- Лаврова 1998 — *Лаврова С. Ю.* Формулы в текстовой парадигме (на материале идиостиля М. Цветаевой). М., 1998.
- Ляпон 1988 — *Ляпон М. В.* Прагматика каузальности // *Русистика сегодня*. М., 1988. № 1.
- Ляпон 1998 — *Ляпон М. В.* Сложное предложение как иерархия оценочных инстанций // *Рус. яз. за рубежом*. М., 1998. № 3.
- Ляпон 1999 — *Ляпон М. В.* Текст как отпечаток психологической доминанты личности (окказионализмы М. Цветаевой) // *Речевые и ментальные стереотипы*. М., 1999. С. 56—60.
- Минский 1988 — *Минский М.* Остроумие и логика когнитивного бессознательного // *НЗЛ. Вып. XXIII*. М., 1988. С. 281—309.
- НСТ — *Цветаева М.* Неизданное. Сводные тетради. М., 1997.
- Полухина 1998 — *Полухина В.* Поэтический автопортрет Бродского // *И. Бродский: творчество, личность, судьба*. СПб., 1998.
- Пруст — *Пруст М.* В поисках утраченного времени / Пер. с фр. Ю. С. Степанова.
- Садовая 1976 — *Садовая Г. Г.* Языковая природа и стилистические функции сентенций: Автореф. канд. дисс. М., 1976.
- Санников 1999 — *Санников В. З.* Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
- Фрейд 1925 — *Фрейд З.* Остроумие и его отношение к бессознательному. М., 1925.
- Цветаева 1992 — *Цветаева М.* О поэзии и прозе / Предисл. и публ. Е. Б. Коркиной // *Звезда*. 1992. № 10. С. 3—4.
- Цветаева 1994—1995 — *Цветаева М.* Соб. соч.: В 7 т. Т. I—VII. М., 1994—1995.
- Чирикова 1991 — *Чирикова В. Е.* Костер Цветаевой // *Наше наследие*. VI. 1991.
- Шмарина 1975 — *Шмарина В. И.* Универсальное высказывание и лингвистические средства его выражения: Автореф. канд. дисс. М., 1975.
- Юнг 1997 — *Юнг К. Г.* Психологические типы. М., 1997.

*E. V. Падучева (Москва)*

## ИГРА СО ВРЕМЕНЕМ В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ РОМАНА В. НАБОКОВА «ПНИН»

Ключ к Набокову — скорее всего, у Гоголя.  
*Г. Адамович.* Набоков

### *1. Повествовательная форма и эгоцентрические элементы языка. Модернизм*

Годунов-Чердынцев старший из романа Набокова «Дар», как известно, возмущался «мордой модернизма». На фоне постмодернизма та деструкция, которую нес с собой модернизм, предстает как нечто мягкое и уютное, т. е. скорее удовлетворяющее нашу ностальгическую тоску по нормальной литературе. Первая глава романа «Пнин»<sup>1</sup> — это умеренный, приятный (по сравнению, в том числе, и с другими опытами Набокова, см. [Левин 1990]) вариант игры с нормами классического нарратива, когда автор еще оставлял читателю возможность непротиворечивой интерпретации текста в рамках здравого смысла.

В первой главе романа три части. Основным предметом нашего внимания будет часть 1, в которой нас будет интересовать ее повествовательная форма.

Повествовательная форма (термин встречается еще у Эйхенбаума; см. также [Манн 1992] и подробно о повествовательных формах в [Падучева 1996, 199—219]) является важной глобальной функциональной характеристикой нарративного текста. Повествовательной формой называют тот параметр текста, значениями которого являются, в частности:

- повествование от 1-го лица (*Ich-Erzählung*), как в «Капитанской дочке» Пушкина;
- традиционный нарратив (т. е. повествование в 3-м лице), как в «Пиковой даме»;
- свободный косвенный дискурс (СКД), как у позднего Чехова (например, в рассказе «Архиерей»).

Понятие повествовательной формы носится в воздухе, но еще не получило общего признания (ср. термин «тип повествования» в [Кожевникова 1994]). Из исследований на эту тему в русской традиции наиболее насыщенные материалом

(такие как [Виноградов 1936/1980; Гуковский 1959]) посвящены исключительно классическому нарративу (первобытному и третьесловичному). Интерес к неклассическим формам нарратива сейчас резко возрос, что делает несомненной потребность в обобщающем понятии.

Выбор повествовательной формы — один из важных моментов в создании художественного текста. Так, известно, что Достоевский менял повествовательную форму повести «Бедные люди» — сначала это был дневник Вареньки; и лишь потом текст принял свой окончательный вид романа в письмах, см. об этом [Топоров 1995, 172].

Другой пример. Мандельштам пишет в «Египетской марке»:

Какое наслаждение для повествователя от 3-го лица перейти к 1-му! Это все равно, что после мелких и неудобных стаканчиков-наперстков вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды.

«Египетская марка» — один из первых образцов модернистской прозы; и самое ощутимое проявление модернизма в этом тексте состоит в нарушении норм, характеризующих уже сложившиеся повествовательные формы, ср. [Тименчик 1993].

Третий пример — роман Олеши «Зависть». Здесь для нашей темы интересно то, что во второй, неоконченной части романа автор отказался от требовательной и трудной первобытной формы первой части и перешел к немудрящему третьесловичному нарративу.

Изучение повествовательных форм можно считать основным предметом лингвистики нарратива. Чем в первую очередь отличается язык нарратива от разговорного, который составляет традиционную задачу для «просто» лингвистики? Ответ на этот вопрос стал сейчас очевидностью — коммуникативной ситуацией, в которой происходит передача сообщения от одного субъекта к другому. Лингвистика в основном изучает язык как средство общения, и в полную меру эти возможности языка раскрываются в канонической коммуникативной ситуации, где есть говорящий и слушающий, которые видят друг друга. Между тем нарратив — это передача сообщения в условиях неполноценной коммуникативной ситуации, и лингвистика нарратива — это лингвистика неполноценных коммуникативных ситуаций. Разные повествовательные формы — это разные способы преодоления неполноценности коммуникативной ситуации и использования возникающих возможностей игры на неполноценности.

В нарративе говорящего и слушающего заменяют, соответственно, повествователь и читатель: при каждом прочтении текста повествователь «представляет» текст новому адресату. Повествовательная форма определяется типом повествователя. Три основные повествовательные формы, упомянутые выше, определяются тогда следующим образом.

I. *Повествование от 1-го лица*; повествователь — это рассказчик: он сам принадлежит миру текста, т. е. участвует в изображаемых событиях.

II. *Повествование в 3-м лице*, традиционный нарратив в узком смысле, как в «Пиковой даме». Повествователь не принадлежит миру текста. Целью такого по-

вествования является «создание картины объективного бытия, действительности как реальности, независимой от восприятия ее автором» [Гуковский 1959, 210]. Эта повествовательная форма создает видимость объективности: мир предстает перед читателем как бы сам по себе, никем не изображаемый — в противоположность первоначальной форме.

В первоначальном нарративе мир коммуникативной ситуации тождествен миру текста. И повествователь может открыто обнаружить свое присутствие — он находится в мире текста «по праву». Между тем в традиционном нарративе повествователь, вообще говоря, принадлежит другому миру — альтернативной реальности. Он вынужден скрывать свое присутствие в мире текста, поскольку оно незаконно. Участники коммуникативной ситуации — повествователь и читатель — законно присутствуют только в лирических и прочих отступлениях, составляющих своего рода рамку для основного текста; только в таких рамках повествователь может открыто обозначить 1-м лицом себя и 2-м — своего читателя.

III. *Свободный косвенный дискурс*, или персональная форма. Тут повествователь (внеположный миру текста) частично уступает персонажу свое право на речевой акт. Возникает чисто литературная фигура — говорящий в 3-м лице, — невозможная в обыденном языке: персонаж 3-го лица замещает говорящего. Это Джейн Остин, Джойс, Фолкнер, Вирджиния Вульф и мн. др. Интересна в этом плане повесть Пастернака «Детство Любверс». Прекрасным образцом свободного косвенного дискурса является повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Свободный косвенный дискурс (СКД) — это повествование, в существенной степени заполненное несобственной прямой речью героев (чаще — одного героя).

Диагностика повествовательной формы требует анализа эгоцентрических элементов текста. Эгоцентрические элементы — это дейкстис, модальность, оценочные слова, диалогические слова, показатели экспрессии (*я, здесь, вон, вот, наверно, кажется, да, пожалуй, внезапно, неожиданно, незаметно, прекрасно, правда, между прочим, например, увы* и др.). В речевом режиме эгоцентрики обычно ориентированы на говорящего. В нарративе они находятся во владении повествователя или персонажа.

Эгоцентрическими, по Берtrandу Расселу, элементами языка называются слова, категории и конструкции, семантика которых предполагает отсылку к говорящему субъекту или к каким-то его аналогам. Сам Рассел имел в виду прежде всего дейктические слова (типа *я, ты, здесь, сейчас, тут, там, этот, тот, вон, вот*). Но к эгоцентрическим элементам следует относить также дейктические грамматические категории (такие как вид и время), показатели субъективной модальности (в частности, вводные слова и предложения, типа *к сожалению*); оценочные слова и экспрессивы разного рода; иллокутивные и метатекстовые показатели, типа *разве и неужели* или *по правде говоря*.

Главный признак СКД — это интерпретация эгоцентристов, ориентированная на персонажа в 3-м лице. В контексте 1-го лица те же экспрессивные и диалогические элементы будут интерпретироваться иначе. Так, отрывок из рассказа Набокова

«Весна в Фиальте» — это не свободный косвенный, а, так сказать, «свободный прямой» дискурс:

Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва воображимой, напоенной наперед страстью, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа, к тишине прошлого? Глупости, глупости! Да и она, связанная с мужем крепкой каторжной дружбой... Глупости! Так что же мне было делать, Нина, с тобой, куда было сбыть запас грусти, который исподволь уже накопился от повторения наших как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч!

Эгоцентрический элемент в норме требует контекста полноценной коммуникативной ситуации, которая включает говорящего и слушающего. В [Падучева 1986] было введено, с целью уточнения различия между планом повествования и планом речи по Бенвенисту, понятие режима интерпретации эгоцентрического элемента: речевой режим, возможный только в условиях полноценной коммуникативной ситуации, противопоставлен синтаксическому и нарративному.

Эгоцентрические элементы делятся на первичные (которые употребляются только в речевом режиме) и вторичные, которые допускают, наряду с речевой, синтаксическую и нарративную интерпретацию. Ср. частицы *вот* и *вон*; первая допускает, наряду с речевым, нарративное употребление (*Вот едет могучий Олег со двора*, в смысле ‘теперь мы видим, как’ или просто ‘потом’); а *вон* не переводится в нарративный режим<sup>2</sup>; пассаж из рассказа Набокова «Облако, озеро, башня» — это, конечно, вопиющее нарушение нарративных норм:

Безумно быстро неслась плохо выглаженная тень вагона по травянистому скату, где цветы сливались в цветные строки. Шлагбаум: ждет велосипедист, опираясь одной ногой на землю. Деревья появлялись партиями и отдельно, поворачивались равнодушно и плавно, показывая новые моды. Синяя сырость оврага. Воспоминание любви, переодетое лугом. Перистые облака, вроде небесных борзых. *Нас с ним* [т. е. героя и повествователя в 1-м лице] всегда поражала эта страшная для души анонимность всех частей пейзажа, невозможность никогда узнать, куда ведет *вон та* тропинка, — а ведь какая соблазнительная глупыш!

В традиционном нарративе первичные эгоцентрики возможны только в контексте отступлений — повествовательных рамок. Так, фразу (1) хочется отредактировать — либо заменив *Пнин* на *я*, либо убрав вводный оборот:

(1) *По правде говоря*, в эту минуту Пнин был очень доволен собой (Набоков. Пнин).

Различие между первичными и вторичными эгоцентриками было продемонстрировано Ю. Д. Апресяном [Апресян 1986] на материале дейксиса. Далее оказалось, что сфера применения этого противопоставления может быть гораздо более широкой. Так, пресуппозиции, носителем которых является не говорящий, а субъект синтаксически подчиняющего предложения, всегда были предметом недоверия. А между тем слова и категории с такими пресуппозициями просто попадают в класс вторичных эгоцентрических элементов. Или другой пример явления, которое находит себе естественное место в рамках этой концепции: про широко

распространенное в русском языке относительное употребление времен можно сказать, что наст. время в русском языке употребляется как вторичный эгоцентрик (т. е. и дейктически и анафорически), тогда как, скажем, в английском ситуация иная: нельзя употребить будущее время там, где требуется будущее в прошедшем.

В сфере видо-временного дейксиса противопоставление первичных и вторичных эгоцентриков отражается как противопоставление «момент речи vs. точка отсчета (point or reference)», которое дает новый подход ко многим проблемам аспектологии — таким как инвариант видового значения, семантика общефактического и актуально-длительного значения НСВ, перфектное и акциональное значение СВ, видовое значение перформативов, семантическое различие между прош. нарративным и наст. историческим, сочетаемость видо-временной формы с обстоятельствами времени и длительности, и др. Текстовые функции вида и времени — это сдвиг интерпретации, при котором референциальный центром для видо-временной формы становится не момент речи, а текущий момент текста.

Понятие режима интерпретации позволяет рассмотреть все эгоцентрики (шифтеры по Якобсону) в единой системе и выявить аналогии между дейксисом и субъективной модальностью — в плане синтаксической неподчинимости, нецитируемости, поведения в контексте прямой и косвенной речи. Параметры, возникающие при изучении дейксиса (прежде всего, противопоставление первичный/вторичный эгоцентрик), могут быть перенесены на модальность.

Чтобы определить повествовательную форму в лингвистических терминах, достаточно охарактеризовать ее по двум параметрам: 1) какие эгоцентрики допустимы в данной форме; 2) в чьем распоряжении они находятся, т. е. кто в тексте с данной формой замещает говорящего. А именно, в традиционном нарративе диалогические эгоцентрики не употребляются; а обычные первичные эгоцентрики контекстуализуются только через повествователя. В свободном косвенном дискурсе употребляются все виды эгоцентрических элементов, включая экспрессивные и диалогические, как в первоначальной форме; и все они могут находиться в распоряжении персонажа. Единственное, чего не может персонаж СКД, — это называть себя в 1-м лице: он называется в 3-м лице, потому что 1-е лицо оставляет за собой повествователя.

Итак, в СКД 3-е лицо распоряжается эгоцентрическими элементами, как если бы оно было первым. Фраза (2б), где *лично* в тематической позиции требует местоимения 1-го лица, уместна только в персональной форме:

- (2) а. Лично мне это безразлично; б. Лично ей это было безразлично.

Из сказанного ясно, что свойственное модернизму разрушение повествовательной формы — это пренебрежение правилами употребления эгоцентрических элементов языка, ср. *Я должен сперва посоветоваться с мэром, который только что умер и еще не избран* (Набоков. Посещение музея), вплоть до нарушения «референциального паритета» (ср. термин «дейктический паритет» в [Дымарский 2001]) — договоря читателя с писателем о том, что текст поддается непротиво-

речивой интерпретации, которая соотносит его с некоторым фрагментом альтернативной реальности.

## 2. Повествовательные формы у Набокова

Отобрав всего несколько рассказов и ранних повестей Набокова, можно составить весьма полное представление о типологии повествовательных форм.

### а) Традиционный нарратив

Один из ранних рассказов — «Бахман» (1924), о гениальном пианисте и композиторе. Это традиционный нарратив. В тексте имеется не только повествователь (который называет себя в 1-м лице), но и целый ряд других «рамок». Начинается — рамкой:

*Не так давно промелькнуло в газетах известие, что...*

Основным источником информации у повествователя является рассказчик — одно из действующих лиц рассказанной истории, антрепренер Бахмана Зак. Ссылками на Зака буквально пронизан текст:

*Зак мне потом рассказывал, что в тот первый вечер она произвела на него впечатление необыкновенно темпераментной, — как он выразился, — необыкновенно издерганной женщины;*

*Зак думает, что, в первый раз прослушав Бахмана и вернувшись к себе домой, Перова села у окна и просидела так до зари, вздыхая и улыбаясь;*

*Он [Зак] уверяет, что еще никогда Бахман так хорошо, так безумно не играл;*

*— Бахман мучил ее, — настойчиво повторял мне господин Зак; и т. д.*

Потребность в рамке часто ставит автора в трудное положение. Так, если речь идет о внутренних состояниях или передаче внешности, повествователь должен изворачиваться:

*Я особенно ясно представляю себе, как надела она черное, открытое платье, быстрым движением надушила себе шею и плечи, взяла веер, трость с бирюзовым набалдашником и, посмотревшись напоследок в тройную бездну трюмо, задумалась и оставалась задумчивой всю дорогу от дома своего до дома подруги. Она знала, что некрасива, не в меру худа, что бледность ее кожи болезненна...*

Есть даже пресловутый «посторонний наблюдатель» *a la Достоевский*:

*Посетители сомнительных кабачков, ядовито пылавших в тумане угрюмого предместья, видели плотного низенького господина с растрепанной плешью и глазами, мокрыми, розовыми, как язвы (...).*

Наконец, последняя сцена рассказа, — которая никак не могла иметь свидетелей, — предваряется словами:

*Я думаю, это была единственная счастливая ночь во всей жизни Перовой. Думаю, что эти двое, полуумный музыкант и умирающая женщина, нашли в эту ночь слова, какие не снились величайшим поэтам мира.*

И дальше снова появляется Зак-рассказчик:

Когда, на следующее утро, негодующий Зак явился в гостиницу, он *нашел* Бахмана, глядевшего с восторженной тихой улыбкой на Перову, которая лежала без сознания под клетчатым одеялом поперек широкой постели.

В некоторых местах повествователь напоминает нам того, который известен из гоголевской «Шинели», сообщая нам не только то, что знал Зак, но и чего он не знал:

Лично господин Зак его [мужа Перовой] *не знал*.

Но в отличие от Гоголя у Набокова в рассказ вводится динамика узнавания истории самим повествователем:

*Оказывается*, что в ночь приезда в Мюнхен Бахман удрал из гостиницы...

Ср. также:

*Просматривая с господином Заком* тяжелый, как гроб, альбом газетных вырезок...

Громоздкая, навязчивая анфилада рамок производит впечатление издевательства над условностями традиционного нарратива. Зная последующие отношения Набокова с повествовательной формой, нельзя считать это нагромождение случайным: возможно, это уже был подкоп.

Вскоре Набоков стал справляться с проблемой стереоскопии с помощью системы «представителей» повествователя. Самый чистый пример — в «Других берегах», где автор посыпает представителя на место происшествия, что позволяет ему в полную меру использовать весь дейктический и субъективный пласт языка — наст. время, несов. вид, близкий дейксис и проч.; пример (в эпизоде о «Мадмуазель О»):

Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти верстах от нас; но теперь высыпаю туда *призрачного представителя* и через него *вижу* ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глушь небольшой оснеженной станции в глубине гиперборейской страны и что она чувствует при этом.

В рассказе «Облако, озеро, башня» (1937) идет игра на неоднозначности слова *представитель*. Читатель, знающий «Набор» и «Другие берега», может подумать, что этот такой же, как те:

Один из моих *представителей*, скромный, кроткий холостяк, прекрасный работник, как-то на благотворительном балу, устроенном эмигрантами из России, выиграл увеселительную поездку.

В конце рассказа читатель склоняется было к тому, чтобы понять слово *представитель* как ‘представитель фирмы’. Однако в конце туманное *сил больше нет быть человеком* показывает, что начальное предположение все-таки справедливо; что я — это никакой не босс героя, а речь идет о двойничестве героя с автором:

По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что принужден отказаться от должно-

сти, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что *сил больше нет быть человеком*. Я его отпустил, разумеется.

Итак, «Бахман» — это пока безупречный традиционный нарратив.

### б) СКД

Прямой противоположностью «Бахману» является рассказ «Подлец», 1927 г. (о человеке, который бросил вызов на дуэль, но в последний момент в страхе сбежал), где большую роль играет персональная интерпретация эгоцентрических элементов повествования — возникают целые пассажи СКД; эгоцентрические элементы текста, в том числе первичные эгоцентрики, находятся в распоряжении героя в 3-м лице:

Эта поспешность безобразна. Берг нарочно заставляет его сбегать вприпрыжку.

Какая пытка... Третий этаж... второй... Когда эта лестница кончится?

Хотя об СКД говорят обычно в связи с синтаксически явными нарушениями (традиционного) нарративного стиля, единственno общим определением может быть только то, которое апеллирует к интерпретации. Ср. отрывок из «Мастера и Маргариты» (приводится в [Падучева 1996, 352]), где Воланд вводит в заблуждение Лиходеева, который накануне был пьян и может поверить во что угодно:

- (1) (... ) и рассказал все по порядку. Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в варьете. Степа позвонил в московскую областную зрелицкую комиссию и вопрос этот согласовал (Степа побледнев и заморгал глазами), подписал с профессором Воландом контракт на семь выступлений (Степа открыл рот), условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в десять часов утра сегодня... Вот Воланд и пришел!

Ни одно из событий, о которых говорит Воланд (кроме того, что он пришел), не имело места в мире романа. Индикатив этих предложений принадлежит не повествователю, а персонажу. Таким образом, этот текст идентифицируется как СКД. Наше определение СКД, которое опирается не на форму текста, а на интерпретацию, охватывает этот случай: утвердительная модальность — это один из эгоцентрических элементов языка; чья утвердительность — это так же важно, как чья референция, чья номинация и проч.

В [Tammi 2003] анализируется следующий отрывок из романа Джейн Остин «Эмма»:

- (2) He [Frank Churchill] stopped again, rose again, and seemed quite embarrassed. — He was more in love with her than Emma had supposed (...).

Второе предложение этого текста передает впечатление Эммы — которое, как читатель скоро узнает, не соответствует действительности. Следовательно, перед нами свободный косвенный дискурс. Причем его нельзя распознать, в примере (2) — так же как в (1), по формальным признакам: все решает интерпретация.

Если в (1) заранее очевидно, что эпистемическое обязательство несет не повествователь, а персонаж, то в рассказе «Подлец» читатель не сразу понимает, что

речь не идет о событиях в мире текста; что это картина, которая рисуется воображению героя и, увы, не соответствует действительности:

(3) — Но как же так? Нужно на что-то решиться, — тонким голосом сказал Антон Петрович. *Может быть, есть какой-нибудь выход?* Помчили его и довольно. Да, нужно решиться. Подозрительный взгляд взъерошенной личности [речь идет об администраторе гостиницы]. Что сказать ей? Ну да, ясно: я иду за вещами, они остались на вокзале. Так. С этой гостиницей он рассчитался навеки. Улицы, слава Богу, свободна — Леонтьев подождал и ушел. Как мне пройти на ближайшую остановку трамвая? Ах, идите прямо и вы дойдете до ближайшей остановки трамвая. Нет, лучше автомобиль. Поехали. Улицы становятся опять знакомыми. Спокойно, совсем спокойно он вылез из автомобиля. Он — дома. Пять этажей. Спокойно, совсем спокойно он вошел в переднюю. Но все-таки страшно. Он быстро открыл дверь в гостиную. Ах, какое удивление! (...)

Митюшин и Гнушке бросились к нему, заговорили, перебивая друг друга: «Ну и повезло тебе, Антон Петрович! Представь себе, господин Берг тоже струсил. Нет, не тоже струсил, а просто: струсил. Пока мы ждали тебя в трактире, вошли его секундантны, сообщили, что Берг передумал. (...) Вот как тебе повезло, Антон Петрович! Все, значит, шито-крыто. И ты вышел с честью, а он опозорен навсегда. А главное — твоя жена, узнав об этом, сразу бросила Берга и вернулась к тебе. И ты должен простить ее».

СКД начинается со слов *может быть*. А переход из «реальной» картины в воображаемую — после *Да, нужно решиться*. См. о рассказе «Подлец» в [Tammi 2003].

### в) Повествователь как создатель текста: «Королек»

Рассказ «Королек» (1933) — это уже серьезное нарушение того, что дозволено в нарративе, как классическом, так и неклассическом. Автор не скрывает, что он создатель мира текста (не отводя себе никакого места в этом мире): он ставит декорации, запускает на сцену героев —

Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы (...). Поторопитесь, пожалуйста. (...) Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал, где ему приказано — у высокой кирпичной стены — целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы. (...) И хотя все это только намечено и еще многое нужно дополнить и доделать, но на один из балкончиков уже выходят живые люди — братья Густав и Антон, — а во двор вступает, катя тележку с чемоданом и кипой книг, новый жилец — Романтовский.

После чего как ни в чем не бывало следует и следит за их действиями как обычный повествователь. Повествователь в роли наблюдателя обнаруживает себя, например, так:

*Раздается голос Антона.*

Если автор позволил себе такую роскошь — признаться в том, что он сам все придумал, — он должен за это поплатиться: отказать себе в праве на незнание. Однако Набоков и не думает ни от чего отказываться. По ходу дела он, в духе Гоголя, признается, что не имеет достоверных сведений о частных деталях:

Голосуйте за список номер такой-то. Ее [надпись легтем на кирпичной стене] перед выборами намалевали, вероятно, братья;

он [Романтовский] счел уместным скрыть неприязнь, боясь, должно быть, пренебрежением к Анне разъять ее жениха.

Но главное — он «не ожидал», что Романтовский окажется фальшивомонетчиком, месяц назад выпущенным из тюрьмы. Обращаясь к своему герою (*Мой бедный Романтовский!*) на ты, он говорит:

А я-то думал вместе с ними, что ты и вправду особенный. Я думал, признаться, что ты замечательный поэт, принужденный по бедности жить в том черном квартале.

Рамка в рассказе «Королек» служит, как кажется, для того, чтобы смягчить и даже снять ужас, который читатель должен испытать от сцен насилия, издевательства и, в конце концов, убийства, мотивированного идеей ‘не наш человек’. Вечно жизненная тема незащищенности хрупкой индивидуальности от окружающего хамства оказывается переведенной в модальность ‘это было и не было’, см. [Якобсон 1975, 221]. Как пишет Г. Адамович [Адамович 2003, 209], Набоков не позволяет читателю испытать «обыкновенную эмоцию», окутывая каждую историю сетью той или иной изощренной формальной задачи, каждый раз разной.

Несмотря на столь сильную позицию повествователя, в рассказе есть фрагменты с персональной интерпретацией первичных эгоцентрических элементов, т. е. несобственная прямая речь:

- (4) Еще раз: мир будет потен и сыр. Бездельникам, паразитам и музыкантам вход воспрещен. Пока сердце качает кровь, нужно жить, черт возьми. Густав вот уже два года копил деньги, чтобы жениться на Анне, купить буфет, ковер.
- (5) Выхнились и другие причуды: свет горит почти всю ночь; необщителен.
- (6) Так дальше нельзя. Он отравляет жизнь честным людям. Еще, пожалуй, в конце месяца съедет — целый, неразобранный, гордо отворотив нос.

Как мы видим, повествователь и СКД вполне совместимы в одном тексте.

На фоне этого яркого разнообразия повествовательных стратегий мы рассмотрим теперь первую часть главы 1 романа Набокова «Пнин».

### 3. Пространственно-временная структура сцены в поезде

Роман «Пнин» позволяет сделать некоторые наблюдения о возможности различного течения времени у персонажа и повествователя. Два субъекта — повествователь и персонаж — конкурируют за право владения эгоцентриками.

Несколько соображений, касающихся первой из трех частей главы 1.

В первом абзаце романа масса свидетельств присутствия синхронного наблюдателя. Самое вопиющее — *сейчас*, которое означает ‘в тот момент, когда я на него смотрю’:

Пожилой пассажир (...) был никто иной как профессор Тимофей Пнин. Совершенно лысый (...) он начинался весьма солидно (...), но как-то неожиданно заканчивался парой

журавлиных ног (*сейчас* они во фланелевых штанах одна на другой) и хрупкими на вид, почти женскими ступнями.

Фигура повествователя — поначалу экзегетического — откровенно искусственна. Говорится, что Пнин сидел рядом со свободным местом напротив двух незанятых, а через несколько строк сказано:

Таким его мог бы увидеть попутчик; но если не считать солдата, севшего в одном конце, и двух женщин, занятых младенцем, в другом, Пнин был один в вагоне.

Если так, то где же помещался наблюдатель, который, судя по всему, должен был в и д е т ь, в какие брюки Пнин одет и в какой позе сидит?

Кондуктор, с которым Пнин будет потом объясняться по поводу расписания поездов, находится в этот момент в другом конце поезда и, следовательно, должен был бы быть невидим для повествователя, едущего в одном вагоне с Пнином. Между тем повествователь видит кондуктора так же хорошо, как Пнина, — во всех деталях, в частности,

с кусочком запачканного пластиря на большом пальце [NB Гоголь. Шинель].

Получается, что повествователь и персонаж находятся как бы в несоизмеримых пространствах — повествователь видит (изблизи) Пнина, но одновременно он видит и кондуктора. Все это, впрочем, укладывается пока в условные нормы повествования с экзегетическим рассказчиком.

Пока повествователь и Пнин находятся в разных пространствах, время повествователя протекает как бы независимо от времени Пнина: повествователь не следует во времени за персонажем, он живет в своем времени. В доказательство того, что это не безответственная метафора, а лингвистически доказуемое утверждение, приведем несколько фактов, касающихся семантики обстоятельств времени и частиц.

**1.** Течение текстового времени в 1-й главе ориентировано на повествователя: во фразе *сейчас они во фланелевых штанах* слово *сейчас* фиксирует настоящий момент повествователя вне связи с какими бы то ни было событиями в жизни персонажа. Рядом в тексте настоящее время героя, по всем законам традиционного нарратива, выражено грамматическим прошедшим:

Теоретически было вероятно, что он забудет переложить ее [рукопись] из пиджака, который на нем был, в тот, который на нем будет.

## 2. Посмотрим, что значит *теперь* во фразе

Откроем *теперь* секрет: профессор Пнин по ошибке сел не в тот поезд.

В принципе, *теперь* (в одном из своих значений) значит ‘после чего-то’. Но это *теперь* не может значить ‘после чего-то, произшедшего с героем’, поскольку пока что никаких событий с Пнином, едущим в поезде не происходило: речь шла о 40-х гг. и жизни Пнина в Европе, а современный Пнин описывается только в расширенном настоящем (*Ныне, в пятьдесят два года, он был помешан на солнечных ваннах* и т. д.), а не в актуальном. Следовательно, *теперь* тоже ориентировано на

повествователя — оно значит ‘после того, как повествователь рассказал то, что он рассказал’.

3. Дальше снова идут общие сведения о Пнине — о колледже, о том, что Пнин был не в ладу с вещами, и т. д. — а затем второе возвращение к актуальному состоянию Пнина, опять-таки ничем не мотивированное: *Что, впрочем, не меняет того факта, что Пнинехал не в том поезде*. Ничего не произошло такого, что могло бы изменить это обстоятельство, — потому что в актуальном времени текста не произошло ничего.

4. В абзаце, посвященном кондуктору, *теперь* тоже можно считать ориентированным на повествователя:

Кондуктору (...) оставалось *теперь* пройти всего три вагона до того, как добраться до последнего, в котором сидел Пнин.

Здесь *теперь* значит ‘после того, как повествователь рассказал нам об отношениях Пнина с английским языком’.

5. Особенно характерно третье возвращение к актуальному Пнину:

И он *все еще* не знал, что сел не в тот поезд.

Это *все еще* не относится к какому бы то ни было временному интервалу диегетического мира — в этом мире время не движется, поскольку в нем не произошло пока ни одного события; *все еще* апеллирует к времени повествователя, а именно к временному интервалу, прошедшему между двумя последними возвращениями повествователя к актуальной ситуации в поезде.

Наконец, идет абзац, посвященный актуальному Пнину. Характерное *тем временем* маркирует смену актуального пространства — повествователь переходит от пространства кондуктора к пространству Пнина:

*Тем временем* Пнин предался удовлетворению особой пнинской страсти. Он был в пнинском затруднении.

Поэтому когда следующий абзац начинается словами *Кондуктор вошел* и не сказано, куда, мы понимаем, что он вошел в вагон, где сидел Пнин — и повествователь, который находится пространственно рядом с ним, тут дейктический нуль. В тот момент, когда Пнин и кондуктор оказываются в одном пространстве, пространство повествователя сужается, совпадая с пространством Пнина, и с этого момента время Пнина и время повествователя становятся, наконец, едины.

Таким образом, получается, что пока повествователь находится в отдельном от героя пространстве, он имеет и отдельно текущее время: это время определяется только событиями, происходящими с ним, повествователем, и не охватывает героя. Так формируется поразительный по геометричности своего построения хронотоп. Можно подумать, что Набоковставил своей целью показать реальный характер связи между временем и пространством. Пока у повествователя свое пространство (более широкое, чем у Пнина), у него и свое время. Как только кондуктор входит в вагон Пнина, т. е. все трое — Пнин, кондуктор и повествователь — оказываются в одном месте, повествователь сливаются с Пнином во времени.

Особый эффект связан с тем, что поначалу повествователь не называет себя местоимением 1-го лица, заставляя читателя думать, что он имеет дело с традиционным нарративом. Первое лицо появляется сначала в виде наблюдателя при *сейчас* в первом абзаце; потом в форме глагола 1-го лица мн. числа (*откроем теперь секрет*) и в форме притяжательного местоимения 1-го лица (*нашего приятеля; нашего друга; с письма, написанного им с моей помощью; нашему бедному другу; мой приятель*); в качестве субъекта неопределенности: *в 1925, что ли, году*. Но дальше 1-е лицо все-таки появляется:

я тоже хочу это понять; я его врач; я сомневаюсь в этом; некоторые люди — в их числе я — терпеть не могут счастливых развязок.

Мы еще вернемся к тому, как повествователь перевоплощается в текстового персонажа в последующих главах романа.

#### 4. Путешествия во времени

Если первую часть главы 1 мы рассматривали на фоне экспериментов с повествовательной формой, то вторая естественно входит в контекст набоковской темы времени. Время принадлежит к числу излюбленных тем Набокова, см. [Saputelli 1986; Toolan 1992]. Сердечный приступ во второй части главы 1 — это один из многочисленных изощренных механизмов, позволяющих Набокову осуществлять свои путешествия во времени (без плоского «и тут ему вспомнилось...»).

Это сцена, когда Пнин выскочил из автобуса, идущего в Кремону, поняв, что лекция таки осталась в чемодане, который он для скорости решил не брать из камеры хранения:

Внезапно Пнин (уж не умирает ли он?) заметил, что соскальзывает назад, в свое детство. (...) Все это произошло мгновенно, но нет возможности передать это короче, чем чередою слов.

Как справедливо замечает Б. Бойд [Бойд 2001, 329], время интересует Набокова, когда он изучает возможности сознания, соперничающего с реальностью и одерживающего над ней победу: прошлое существует в памяти, и эта форма существования может оказаться более ценной, чем реальное. В этом отношении естественно сопоставить повесть «Машенька» (Берлин, 1926 г.) и рассказ «Возвращение Чорба». В «Машеньке» герой воскрешает свое воспоминание:

Он был богом, воссоздающим погибший мир. Он постепенно воскрешал этот мир, в угоду женщине, которую он еще не смел в него поместить, пока весь он не будет закончен. Но ее образ, ее присутствие, тень ее воспоминанья требовали того, чтобы наконец он и ее бы воскресил, — и он нарочно отдвигал ее образ, так как желал к нему подойти постепенно, шаг за шагом, точно так же как тогда, девять лет тому назад. Боясь спутаться, затеряться в светлом лабиринте памяти, он прежний путь свой воссоздавал осторожно, бережно, возвращаясь иногда к забытой мелочи, но не забегая вперед.

Но после того как работа по воскрешению была закончена, реальная Машенька оказалась, как мы знаем, ненужной:

Ганин глядел на легкое небо, на сквозную крышу — и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, — эти четыре дня были быть может счастливейшей порой его жизни. Но теперь он *до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им*, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминанием.

Воспоминание о Машеньке заместило живую женщину, которую герой в свою реальную жизнь не пустил, наколов ее, как бабочку, — без большого сожаления — в отведенном ей участке своего сознания. Автор утверждает право героя поступать как сверхчеловек, взирая на свои поступки с чувством превосходства, не уступающим онегинскому. Читатель же скорее испытывает разочарование из-за несостоинности героя и его вызывающего индивидуализма.

Близкая схема реализуется в рассказе «Возвращение Чорба» (1925). При внимательном чтении читатель объяснит поведение Чорба как продиктованное безумным горем, не заметив, из чувства самосохранения, той формальной идеи, которую заложил в нее автор, — что это сознательный поступок, продиктованный желанием героя сохранить свое прошлое для себя, перенеся его в сознание:

На самом деле он вернулся из-за границы один и только теперь сообразил, что ведь придется все-таки объяснить, как жена его погибла и почему он ничего не писал. Все это было очень трудно. Как объяснить, что он *желал один обладать своим горем, ничем посторонним не засоряя его и не разделяя его ни с кем?*

Чорб перенес прошлое в свое сознание и тем самым сохранил его. Видимо, таким образом спасал себя и сам Набоков, перенося в сознание утраченную им Россию. Другое дело, что сила и возможности сознания у автора «Истребления тиранов» недоступны рядовому читателю.

Итак, в «Пнине» машиной времени, возвращающей героя в прошлое, служит сердечный приступ. Повествователю, впрочем, не нравится тривиальное физиологическое объяснение происшедшего, и он оставляет возможность более неопределенной трактовки:

Была ли эта схватка сердечным припадком? Сомневаюсь. В настоящую минуту я его врач, так что позволю себе повторить, что я в этом сомневаюсь.

В лингвистическом отношении здесь важно то, что сознание предстает как видение: временная точка, в которой находится герой, зависит от того, видит ли он рододендроны в парке Уитчерча или узоры обоев своей детской в России.

Предмет специальной заботы Набокова в «Машеньке» — неопределенность временной локализации, см. [Дымарский 2001, 258]:

В этой комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин, и зародилось то счастье, тот женский образ, который, спустя месяц, он встретил наяву. В этом созворении участвовало все, — и мягкие литографии на стенах, и щебет за окном, и коричневый лик Христа в киоте, и даже фонтанчик умывальника. Зарождавшийся образ стягивал, выбирал всю солнечную прелесть этой комнаты и, конечно, без нее он никогда бы не вырос. В конце концов это было просто юношеское предчувствие, сладкие туманы, но Ганину *теперь* казалось, что никогда такого рода предчувствие не оправдывалось так совершенно. И це-

лый день он переходил из садика в садик, из кафе в кафе, и его воспоминанье непрерывно летело вперед, как апрельские облака по нежному берлинскому небу.

Только место позволяет читателю уловить сдвиг во времени: то, что *теперь* обозначает текущий момент вспоминающего, а не вспоминаемого, понимается из того, что небо над головой Ганина *берлинское*. Неопределенность временной локализации свидетельствует о том, что набоковская повествовательная форма уже в «Машеньке» не хочет оставаться традиционным нарративом.

\* \* \*

«Пнин» начинается как традиционный нарратив, с внеположным повествователем; всячески подчеркивается условность фигуры повествователя, который неизвестно где помещается и живет по собственным законам пространства и времени. Далее повествователь проявляет, в различных ситуациях, безжалостное отношение к своему герою; обнаруживает, по разным поводам, свою неполную осведомленность касательно фактов его биографии, и так на протяжении пяти глав.

Но вот наступает глава шестая, где читателя поджидает фраза *И Пнин и я примирились с тем (...) фактом, что (...)*: эзгегетический повествователь превращается в рассказчика-персонажа в 1-м лице с именем Набоков: этот Набоков постоянно одерживает верх над Пнином на сюжетном уровне — от любви к нему пытается покончить с собой женщина, в которую Пнин безнадежно влюблен; его берут на работу в колледж, откуда Пнину приходится уйти, и т. д. Но еще задолго до того, в главе первой, повествователь, который еще не Набоков, уже доминирует над Пнином на чисто нарративном уровне, не давая ему права голоса (а точнее, не отдавая в его распоряжение эгоцентрических элементов языка) и издеваясь над его беспомощностью. Это напоминает гипертрофированного рассказчика в гоголевской «Шинели». Набоковская игра на повествователе идет дальше, чем у Гоголя, но является ее прямым продолжением.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Мы пользуемся русским изданием 1983 года в переводе Г. Барабтарло.

<sup>2</sup> О неречевом употреблении *вот* см. [Николаева 1978].

### ЛИТЕРАТУРА

- Адамович 2002 — Адамович Г. Одиночество и свобода. СПб.: Алетейя, 2002.
- Апресян 1986 — Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986. С. 5—33.
- Бойд 2001 — Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. М.: Изд-во «Независимая газета», 2001.
- Гуковский 1959 — Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.: ГИХЛ, 1959.
- Дымарский 2001 — Дымарский М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст: На материале русской прозы XIX—XX вв. М., 2001.

- Кожевникова 1994 — Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX—XX вв. М., 1994.
- Левин 1990 — Левин Ю. И. Биспациальность как инвариант поэтического мира В. Набокова // *Russian Linguistics*. XXVIII. 1990. P. 45—124.
- Манн 1992 — Манн Ю. В. Об эволюции повествовательных форм (вторая половина XIX в.) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1992. Т. 51. № 1.
- Николаева 1978 — Николаева Т. М. Синтаксис устного высказывания и проблемы лингвистики текста // *Tekst. Język. Poetyka*. Warszawa: Ossolineum, 1978.
- Падучева 1986 — Падучева Е. В. Семантика вида и точка отсчета // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1986. Т. 45. № 5. С. 413—424.
- Падучева 1995 — Падучева Е. В. В. В. Виноградов и наука о языке художественной прозы // Изв. ОЛЯ. Серия лит. и яз. Т. 54. № 3. 1995. С. 39—48.
- Падучева 1996 — Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М.: Языки русской культуры, 1996.
- Падучева 1996 — Падучева Е. В. Подразумеваемые субъекты неопределенных местоимений, или кто же вышел из «Шинели» Гоголя? // Изв. РАН. 1997. № 2.
- Тименчик 1993 — Тименчик Р. Еврейские подтексты в «Египетской марке» Осипа Мандельштама // *Jews and Slavs*. СПб., 1993.
- Топоров 1995 — Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
- Якобсон 1975 — Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 193—230.
- Saputelli 1986 — Saputelli L. N. The long-drawn sunset of Fialta // Connoli J. W., Ketchian S. I. (eds). Studies in Russian Literature in honor of Vsevolod Setchkarev. Columbus: Slavica publishers, 1986. P. 233—241.
- Tammi 2003 — Tammi P. Risky business: probing the borderlines of FID. Nabokov's *An affair of honor (Podlec)* as a test case // Linguistic and literary aspects of free indirect discourse from a typological perspective. Tampere, Tamperen yliopisto taideaineiden laitos, 2003. P. 41—54.
- Toolan 1992 — Toolan M. J. Narrative: a critical linguistic introduction. London, 1992.

*Даниела Рицци (Венеция)*

## ВЫМЫШЛЕННЫЙ ТЕКСТ И МИСТИФИКАЦИЯ: ЗАМЕТКИ ОДНОМ РАССКАЗЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

### 1.

**В** настоящей статье дается краткое изложение основных направлений более обширного исследования, которое автор намеревается посвятить творчеству Владимира Набокова. Это и обусловило то, что в работе привлекается лишь ограниченная часть материала, а предлагаемые выводы следует рассматривать как предварительные.

### 2.

Хорошо известно, что горизонты творчества Набокова металлитературны и что именно здесь кроется объяснение творческой стратегии, определяющей его романы, — одни почти целиком, другие частично, но в той или иной степени все: игра слов, языковые и литературные пастиши, повторяющиеся мотивы, скрытые цитаты и аллюзии, внутренние отсылки, интертекст, свой собственный и чужой. Как говорит Зине Федор в романе «Дар», «все самое очаровательное в природе и искусстве основано на обмане». Даже наука, по мнению Набокова, не знает иного способа проверить свои гипотезы, кроме «мимикрии правды и ее пантомимы» («Ultima Thule»).

Нередко эта тенденция проявляется в обращении к литературной практике, которую принято называть «текст в тексте» и которая охватывает обширную область явлений: от присутствия внутри набоковской книги некоей другой книги (произведения одного из персонажей) до простого упоминания вымышленного автора или названия, от переходов от более или менее обширной цитаты к подробному пересказу.

Итак, широкая гамма литературных мистификаций, вплоть до высшей точки, когда автор и его вымысел становятся сообщниками. Именно так обстоит дело с эпиграфом к «Приглашению на казнь», взятым из трактата Пьера Делаланда «Рассуждение о тенях»: «Comme un fou se croît Dieu nous nous croyons mortels». Спустя почти четверть века после выхода в свет русского текста романа, в предисловии к английскому переводу, появившемуся в конце 50-х гг., Набоков признает-

ся, что его удивляет, отчего среди авторов, с которыми сопоставляют его критики при выходе каждого его очередного романа, «ни разу не был упомянут один автор, единственный, влияние которого во время написания этой книги я с благодарностью признаю, печальный, сумасбродный, мудрый, остроумный, волшебный и восхитительный Пьер Делаланд (1768—1849)». В том же предисловии Набоков приводит несколько цитат из Делаланда. «Автора, которого выдумал я сам», добавляет он как бы между прочим.

Некоторые из набоковских «текстов в тексте» можно назвать *подделками*. В приложении к тексту категория *подделки* подразумевает прежде всего, что он действительно существует, т. е. *подделка* — текст, который можно прочитать. Однако отношение автор — текст (единственный автор данного/единственного текста, его создатель и «владелец») оказывается измененным. Подобные измененные отношения бывают разного рода (апокриф, плагиат, найденная или опубликованная рукопись, литературное произведение одного из персонажей романа и т. д.). Такими *поддельными* произведениями (приписываемыми выдуманным авторам, но вместе с тем обладающими реальностью и конкретностью, поскольку они способны пройти «испытание пудингом», т. е. чтением) являются у Набокова «Бледный огонь» Джона Шейда, комментарий к «Бледному огню», принадлежащий Чарльзу Кинбоуту, книга о Чернышевском и стихи Федора Годунова-Чердынцева в «Даре», текст исповеди/признания Цинцинната в «Приглашении на казнь», рассказ убийцы Германа, главного героя «Отчаяния» и другие. В некотором смысле к ним же относятся «Лолита» и «Ада», поскольку в обоих романах автор заявляет, что пишет дневник или хронику, которые затем попадают в руки издателя-редактора, который «правит» текст для его дальнейшей публикации.

*Вымыслом, а не подделкой* является плод фантазии; то, что не существует в реальности и не принадлежит к разряду явлений; верифицируемых чувственным восприятием; то, что можно объявить реальным лишь в определенном контексте, например в контексте литературного произведения. Иначе говоря, *вымышленная книга* — это «книга без текста», при том что ее автор может быть и вымышленным или реальным. Эту книгу не возьмешь в руки, не перелистаешь, не прочтешь: *вымышленная книга* имеет название, она описывается, пересказывается, бегло цитируется и даже комментируется, но никогда не появляется, потому что ее нет. Внутри литературного произведения *вымышленная книга* играет роль вторичного текста, приписываемого автору другому, нежели автор основного текста; подобная практика знает немало precedентов, из которых достаточно упомянуть один — библиотеку аббатства Сен-Виктор, описанную Рабле.

Именно этот тип чаще всего встречается у Набокова. Большинство книг, упоминаемых или цитируемых в его романах, не существует; по приблизительным подсчетам, вымышленная набоковская библиотека включает не менее двух сотен томов. Именно такое количество вымышленных литературных произведений включено в реальные романы и рассказы Набокова. Вероятно, даже рядом с такими конкурентами, как Хорхе Луис Борхес и Жорж Перек, если ограничиться XX веком, за Набоковым следует признать абсолютное первенство.

«Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Лолита», «Ада», «Смотри на арлекинов!» содержат широкий репертуар вымышленных произведений.

Все книги Себастьяна Найта, умершего писателя, сводный брат которого предпринимает попытку написать его биографию, с большей или меньшей степенью подробности цитируются и пересказываются. Тот же статус «реальности» приписан в романе литературоведческому труду, посвященному Найту, — книге мистера Гудмена «Трагедия Себастьяна Найта».

В «Лолите» упоминается значительное число действительно существующих книг вперемешку с правдоподобными, но, на самом деле, вымышленными текстами, включающими труды Гумберта Гумберта «Прустовская тема в письме Китса к Бенджамину Бейли» и «Краткая история английской поэзии», «Крейцерову Сонату» Ренэ Принэ, «Мемуары юной исследовательницы» Ширли Холмс и многие другие. Книжная изобретательность достигает пика в самом начале романа, когда главный герой наталкивается на страницу из «Who's Who» в мире сцены за 1946 г., материализующую роковую для главных героев романа фигуру Клэра Куильти, плодовитого драматурга. Перу Куильти принадлежат произведения, заглавия которых наделены для главного героя «Лолиты» глубоким смыслом: «Дама, любившая молнию», «Темное время», «Странный гриб», «Отцовская любовь» и, наконец, «Маленькая нимфа», выдержавшая 280 представлений.

«Ада», в свою очередь, оказывается настоящим словесным и книжным лабиринтом. В фантастической Антитерре, где Калугу и Ардис разделяют несколько километров, в четвертом языковом измерении (русско-французско-английском), которое является языковой средой и ментальной географией Набокова, счет вымышленным книгам, то откровенно пародийным, то умело замаскированным под настоящие, идет на десятки. Назовем хотя бы несколько: «Бриллиантовая река» Мадемуазель Иды Ларивье, сюжет которой, как становится понятно из повествования, представляет собой пародию на «Ожерелье» Мопассана, которого, как известно, Набоков не любил и который, в свою очередь, также цитируется в романе, но в другом месте. Мадемуазель Ларивье публикует свой рассказ под псевдонимом Гийом де Монпарнас (контаминация Ги де Мопассана, Гийома Аполлиnera, Монпарнаса и «моего Парнаса»).

Одна из служанок Ады читает «Любовные похождения Доктора Мертваго», «мистический роман, сочиненный протестантским пастором»; сама же Ада читает «Калипсо в стране чудес» и «Терзания Свана», из которых дается отрывок. Второй главный герой романа Ван Веен является весьма плодовитым писателем: «Письма из Терры» (философский роман; во второй главе второй части романа Набоков добросовестно приводит «две рецензии» на него, рецензии, которые, в свою очередь, содержат головокружительное число каламбуров); «Ясновидение», «Идея измерения и деменция», «Мобилированное пространство», «Нечитаемые подписи», «Ткань времени», «Когда не спится психиатру», «Самоубийство и душевное здоровье», «Размышления в Сидре». Кроме того, упоминается произведение, написанное Адой и Ваном в четыре руки: «Информация и форма». «Вилла Венеры:

упорядоченная мечта» — так озаглавлен неизданный труд юного Эрика Веена, эротическая утопия. Дед писателя обнаруживает рукопись и воплощает проект в жизнь, в память о преждевременно ушедшем внуке. И это не считая безграничной семейной библиотеки в Ардисе, включающей 14841 тома, часть из которых перечислена в главах 21 и 22.

Главный герой романа «Смотри на арлекинов!» — писатель Вадим Вадимович; список его публикаций приведен в конце текста. Эта книга — подобие автобиографии Набокова, но автобиографии недостоверной и ироничной; почти во всех книгах из списка можно увидеть переложение сюжета какого-нибудь известного романа или пародийное смешение двух романов самого Набокова. Например, «Королевство на морском берегу», сюжет которого мы узнаем благодаря тому, что сам Вадим Вадимович читает его изложение (опошленное и полное опечаток) на обложке выпущенного «Формозой» пиратского издания, экземпляр которого он случайно обнаруживает в кресле зала ожидания аэропорта Орли. В романе узнается смесь «Бледного огня» и «Лолиты». Его название, заимствованное из стихотворения По «Аннабель Ли», некоторое время было предварительным названием «Лолиты».

### 3.

Рассмотрение типологии и функций *вымысленной* книги в произведениях Набокова рискует совпасть с анализом одной из основных составляющих его текстов (как формальной, так и содержательной) и должно осуществляться в рамках специального исследования.

Но есть один короткий рассказ (шесть печатных страниц, последний рассказ, написанный Набоковым по-русски), который можно попытаться интерпретировать так, что это бросит свет на другие произведения писателя.

Этот текст — самое настояще «погружение во тьму» литературных мистификаций; возможно, именно в нем автор делает принципиальное заявление, касающееся смысла и герменевтического потенциала самой мистификации. Назван рассказ по имени одного из его героев «Василий Шишков». В конце указана дата — 1940-й, год, когда Набоков покидает Европу, хотя на самом деле рассказ был опубликован в 1939 г. Действие разворачивается в конце 30-х гг. в Париже. Шишков, молодой и неизвестный русский поэт, просит одного довольно значительного литератора, русского эмигранта, как и он, о встрече. Поэт хочет услышать мнение маститого коллеги о своих стихах, а также узнать, не согласится ли известный литератор войти в редакцию журнала, который он намеревается основать. Ему удается и то и другое, но идея журнала проваливается, герои встречаются в последний раз, после чего молодой поэт исчезает, оставив литератору тетрадь своих стихов.

Стихи, представленные Шишковым на суд собеседника как «удостоверение личности», поначалу описаны «физически» (тетрадь, почерк), затем по существу: «Стихи были ужасные — плоские, пестрые, зловеще претенциозные. Их совершенная бездарность подчеркивалась шулерским шиком аллитераций, базарной роскошью и малограмматностью рифм». Для примера приводится пара подобных

рифм. «А о темах лучше и вовсе умолчать: автор с одинаковым удальством воспевал все, что ему попадалось на глаза. Читать подряд было для нервного человека истязанием».

Но поскольку стоящий перед ним молодой автор с доверием ожидает его суждения, литератор, от лица которого ведется повествование, залпом прочитывает все тридцать стихотворений. В конце концов, он все же решается честно высказать свое мнение и с вежливой жестокостью объявляет, что стихи безнадежны.

«Стихи не мои, — говорит ему Шишков, — то есть написал-то я сам, но это так, подделка. Все тридцать написаны сегодня, и мне было довольно противно пародировать продукцию графоманов. Теперь зато знаю, что вы безжалостны, то есть, что вам можно верить. Вот мой настоящий паспорт».

Итак, подделка, но подделка особая: мистификация, цель которой — проверить степень искушенности собеседника. Убедившись в последней, можно предъявить «настоящий паспорт», то есть удостоверение личности художника, которое и должно установить между собеседниками настоящее общение.

Здесь повествование меняет тему и переходит к произведениям старшего литератора. Дабы оградить себя от подозрений в попытках завоевать благосклонность собеседника, Шишков заявляет, что ему его книги не нравятся (и дает краткий разбор: они для него «как сильный свет или как посторонний громкий разговор»). Однако он признает за старшим коллегой то, что тот владеет «тайной писательства, секретом каких-то основных красок», хотя и «применяет его по-пустому». «Но так как вы тайной обладаете, с вами нельзя не считаться». В «заметках на полях», графически взятых в скобки (кстати, это прием будет использован в «Аде»), объект критики набрасывает краткое «опровержение», суть которого сводится к тому, что по меркантильным соображениям ему приходится идти на уступки вкусу публики, и это, в той или иной степени, дает ему ощущение отстраненности от судьбы своих книг: «Хвала мне кажется странной фамильярностью, а хула — праздным ударом по призраку».

Затем литератор погружается в чтение «подлинника» и находит стихотворения прекрасными, хотя, чтобы показать свою добросовестность, все же делает несколько незначительных замечаний, одно из которых в рассказе приведено. Он прибавляет, что в скором будущем намеревается вернуться к этим стихотворениям, поговорить о них в одной из ближайших своих статей и что по его ходатайству одно стихотворение было опубликовано и привлекло внимание любителей поэзии.

Тема словесного творчества, его видов и его оценки, обрывается, чтобы освободить место для другой истории, касающейся задуманного Шишковым журнала: Объясняя причины, подтолкнувшие его к подобному предприятию, Шишков делает набросок автобиографии, оказывающейся одновременно психологическим портретом, выдающим некоторую наивность своего героя. Журнал должен называться «Обзор Страдания и Пошлости» и выбирать из газетной хроники как можно большее число реальных примеров существования зла в его самых бесцветных повседневных формах, в миллионах эпизодов, обреченных быть забытыми на следующий же день. Пример, приведенный Шишковым, располагается между Чеховым

и худшими страницами Андреева: потерявшая терпение мать убивает маленькую дочь, утопив ее в ванной, после чего купается в ней сама — «ведь не пропадать же горячей воде». В этом явно просматривается довольно злое «переворачивание» тургеневского стихотворения в прозе «Щи» («а щам не пропадать же, ведь они посолённые»), как, возможно, и (пародийная) реминисценция из Достоевского (которого, как известно, Набоков не любил): собрание анекдотов о человеческой жестокости, о «бессмысленном страдании», которыми Иван Карамазов мучает брата Алешу, прежде чем угостить его «Легендой о Великом Инквизиторе» (еще один «текст в тексте»).

Однако, как объясняет повествователь (здесь в историю вмешивается новый вымыселный экстратекстуальный элемент), его рассказ — результат смешения реальной беседы и содержания письма, полученного от Шишкова на другой день после встречи.

Собрание членов будущей редакции, на которое отправляется литератор, смутно напоминает быт русской общины в Париже (среди других персонажей не составляет труда узнать карикатуры на Гиппиус и Мережковского). Как и можно было ожидать, затея журнала проваливается.

Точно замыкая кольцо повествования, сцена второй и последней встречи героев разыгрывается в тех же декорациях, что и первая, в присутствии тех же статистов (немцев, которые говорят о визах и приветствуют друг друга по-французски); по сути, вторая встреча является продолжением первой. Шишков описывает свое эзистенциальное положение как безвыходное. Сразу отметя несколько решений, который он сам называет нереальными (уехать в Африку, вернуться в Россию, постричься в монахи, покончить с собой), он заявляет, что ему остается только одно — «исчезнуть, раствориться».

Позже повествователь узнает от приятеля Шишкова, что молодой поэт на самом деле исчез, и даже полиция не смогла найти этому объяснение. «На случае, с которого начинаются криминальные романы, кончается мой рассказ о Шишкове», — признается он. Единственное, что оставил после себя Шишков, — тетрадь со стихами и «скучные биографические сведения», опираясь на которые случайный духовный наследник намеревается когда-нибудь написать шишковскую биографию.

«Но куда же он все-таки исчез?» — спрашивает себя автор. «Что вообще знали эти его слова — “исчезнуть”, “раствориться”? Неужели же он в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле имел в виду исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих стихах, оставить от себя, от своей туманной личности только стихи? Не переоценил ли он “прозрачность и прочность такой необычной гробницы”?» — так, цитатой из стихотворения Шишкова (насколько можно понять из текста), заканчивается рассказ.

Повествование ведется от первого лица, и реалистичность обстановки подталкивает к идентификации рассказчика с автором. В пользу подобной трактовки говорит то, что в английской версии рассказа, переработанного Набоковым тридцать лет спустя, Шишков обращается к авторитетному литератору, называя его Месье Набоков.

Неслучайно и то, что *Шишков* — псевдоним, под которым Набоков опубликовал несколько стихотворений в «Современных Записках», и что рассказ имеет прочный подтекст: аллюзии на эпизоды из жизни русских литераторов в Париже, включая вражду между Алдановым и Набоковым и благосклонное суждение, высказанное Алдановым по поводу произведений неизвестного поэта Шишкова. Следовательно, рассказ повествует о встрече автора с собственной литературной мистификацией, явно открывая еще один уровень прочтения.

Но даже если не знать всего этого, «Василий Шишков» оказывается поразительной концентрацией воображаемых текстов, сосредоточенных в более чем ограниченном пространстве; текстов, разговор о которых не прерывается ни на мгновение: стихи одного, фальшивые и настоящие, сопровождающиеся набросками стилистических замечаний; романы второго, также прошедшие критический разбор; письмо, переданное в форме беседы; воображаемый журнал, задуманный как собрание газетных вырезок (т. е., в свою очередь, вторичный текст); ненаписанная, но набросанная биография, элементы которой уже начинают проглядывать. Плотная последовательность текстов, открывающаяся тем, что можно назвать «мистификация-инициация».

#### 4.

Краткий этимологический экскурс, основанный на гипотезе, предложенной Жандией. *Мистификация*: в современном значении слово входит в употребление во французском языке в XVIII в., затем распространяется в другие европейские языки, включая итальянский и русский (любопытно, что в английском есть два глагола-омографа «to mystify»; один был заимствован из французского в начале XIX в.; для второго зафиксированы случаи употребления до 1734 г., образован от существительного «mist», туман, так что в конце концов значения двух глаголов почти совпадают). У французского глагола «mystifier» суффикс восходит к латинскому глаголу «facere», но этимология корня окончательно не ясна, что отразилось в разногласиях между лексикографами XIX в. Суть сводится к следующему: по мнению лексикографа Луи Делатра (1854), точка зрения которого принята многими лексикографами и отражена в «Grand Dictionnaire Larousse», по своей этимологии корень связан с греческим *μύστης*, ‘прошедший инициацию’, ‘мист’, тогда «mystifier» должно означать ‘воспользоваться чьим-то доверием, как поступают с человеком, проходящим инициацию’, иначе говоря, обманывать, манипулировать, исказить истину, но одновременно ‘вести себя как некто, наделенный властью, посвящать другого в культ, в ритуал, в тайну’. Лакруа (1856) видит родственную связь между «myste» и «mystagogue», греческим словами, попавшими в средневековый французский через позднелatinскую форму «mysticare», «включать» таинственный смысл. В таком случае речь идет не о единичном прямом заимствовании из греческого языка, а о группе терминов, пришедших во французский язык из латыни. Остается проблема семантики. Джон Винсент-Бенн предложил в качестве базового толкования ‘инициировать кого-то, превращать кого-то в иницииированного’. Как связать это с современным значением? Как разрешить противоречие

между семантическим ядром и употреблением слова? Робер говорит о значении слова «*mystification*» в XVIII в.: (испытание) «шутливая инициация во вред доверчивым людям». Следовательно, объяснение кроется в перенесении практики инициации в сферу внерилигиозной жизни, придании ей комического характера. «Если согласиться с этой семантической гипотезой, ничто не мешает установить парадоксальную, но логичную связь между тайной, мистификацией и инициацией. Поскольку именно тайна лежит в основе мистического ритуала, знания, доступного немногим посвященным, человек, прошедший мистификацию, может восприниматься как тот, кто прошел инициацию, тот, кого тайными путями приводят к познанию тайны (или, по крайней мере, тот, кто так полагает)», — пишет Жандилю (с. 19—20).

С этой точки зрения, рассмотрение мистификации как обмана, намеренного искажения реальности с целью розыгрыша существенно сужает сферу его значения. Как кажется, в мистификации можно видеть связь с уровнем некоей «высшей реальности», связь, допускающую при этом и присутствие ощущимого шутливого компонента.

## 5.

На мой взгляд, рассмотренный выше текст Набокова содержит близкие идеи.

Набоковский рассказ похож на притчу о литературе (на этой теме будет построен его следующий роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта») и о герменевтической роли, которую играет в ней мистификация.

Прежде всего, сам рассказ — упражнение в литературной мистификации, не большее и не меньшее, чем, например, написанная в те же годы Ходасевичем «Жизнь Василия Травникова». Кроме того, в нем повествуется о литературной мистификации, где скрыта связь, о которой только что говорилось: первая тетрадка стихов Шишкова — мистификация, ее смысл — испытание (инициация), «проверяющее», можно ли впустить повествователя (а вместе с ним и читателя) в художественный мир, суть которого — тайна. Художественное творчество по своей природе мистериально, и «ключ», открывающий к нему дверь, есть своего рода «мистификатор». Наконец (вспомним о биографическом подтексте), мистификация идентифицируется с возможностью «потеряться» в механизме литературы, в секрете литературности.

Естественно, у Набокова ничего не следует понимать буквально. Всякий, кто прочел хоть несколько его страниц, знает, что набоковская умыселность противостоит всякой попытке трансцендентальной интерпретации литературного факта. Поэтому, чтобы мозаика сложилась, целесообразно понимать мистификацию как своего рода бурлескную инициацию. В самой идее растворения автора в произведении нет ничего мистического, как могло бы показаться: она указывает на сложность отношения *автор / читатель*, возрастающую, благодаря постоянному камуфляжу, и в итоге максимально разводящую буквальный смысл и литературный сигнifikат.

Иными словами, «Василий Шишков» предваряет то, что, впоследствии (т. е. в большей степени, чем в русский период творчества) станет сутью набоковского письма: изгнание реального и даже его мимесиса из творческого акта; разреживание слоя реального через последовательные ступени мистификации; вовлечение автора и читателя в игру аллюзий, смысл которых — испытание («инициация»); игру нередко парадоксальную, но всегда наделенную смыслом. Формула этого метафорически зашифрована в «набоковской энциклопедии», романе «Ада»: героиня описана Ваном в хронике, которую в последствии публикует редактор и которая и есть роман, который мы читаем, когда она срисовывает с иллюстрации в ботаническом атласе цветок, который, в процессе биологической мимикрии, маскируется под ночную бабочку, которая, в свою очередь, маскируется под скарабея.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

- Vl. Nabokov.* Собрание сочинений русского периода: В 5 т. Т. VI. М., 2000.
- P. Лахман.* Семиотика мистификации: «Отчаяние» // ПОЛУТРОПОН: К 70-летию В. Н. Топорова. М., 1998. С. 756—762.
- J. Geoffroy.* Mille et un livres imaginaires. Canevas Editeur. Frasne, 1997.
- J. Gleize.* Le double miroir. Le livre dans les livres de Stendhal à Proust. Paris, 1992.
- J.-F. Jeandillou.* Esthétique de la mystification. Tactique et stratégie littéraires. Paris, 1994.
- M. D. Shrayer.* Nabokov's *Vasiliy Shishkov*: an Author=Text Interpretation // Torpid Smoke: the Stories of Vladimir Nabokov. Ed. by Steven G. Kellmann and Irving Malin, Amsterdam-Atlanta, 2000. P. 133—171.
- J. Vincent-Benn.* Historique du mot *mystifier* // Revue de philologie française et de littérature 37/1 (1925).

*A. Ф. Журавлев (Москва)*

## ОБРАТНАЯ АНАГРАММА

[Пушкин(?). Мандельштам. Гандлевский]

**Е**сли в поэтике под анаграммой (анаграммированием) понимается разложение некоего слова, реже словосочетания, на отдельные звуковые (и/или графические, буквенные) комплексы<sup>1</sup> и их дальнейшее, в разных последовательностях, воспроизведение в составе некоего неоднословного текста, то «обратная анаграмма» представляет собою противоположное явление — «собирание» отдельных звукокомплексов или буквенных комбинаций, вычленяемых в разных словах, которые составляют некий текст M, в цельное слово, воспроизведенное в другом тексте N, достаточно очевидным образом, цитатно или аллюзивно, с этим предыдущим текстом M связанном. Вне выявления такой связи между двумя текстами разговор об обратном анаграммировании не имеет смысла.

В обратной анаграмме традиционная функция анаграммы — звуковое, позже графическое кодирование слова (часто, а для сакральных и автобиографических текстов обычно, имени собственного<sup>2</sup>) — оказывается вывернутой наизнанку: «шифрующим» предстает не «младший» текст — вторичный по отношению к находому в нем имени, а текст «старший», предшествующий: имя из него извлекается, монтируется из его отдельных элементов.

Допускаю, что термин «обратная анаграмма» не слишком удачен: при беглом восприятии он может быть неправильно (узко) понят как ‘чтение a tergo, справа налево, строго зеркальная перестановка букв, палиндром’, но лучшего как будто не находится.

Мне удалось обнаружить несколько случаев в русской поэзии, ориентированной, более или менее условно говоря, на традиционную поэтику (то есть не какой-либо «барочной» или «формалистической», подчеркнуто «экспериментальной», специально «демонтажно-комбинаторной», «палиндромической» и проч.), которые могли бы быть охарактеризованы как примеры обратного анаграммирования, но при этом только три представляются мне бесспорными. Здесь я приведу четыре случая — эти три бесспорные и один из сомнительных.

## I

Начну с последнего, то есть с того, в котором обратная анаграмма не прочитывается директивно, а вполне может быть приписана чересчур пылкому читательскому воображению (моему)<sup>3</sup>.

В строфе LI первой главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» есть строка, которая представляет собою трудноопровергимую цитату из семнадцатой строфы известнейшего, в наставительном жанре, стихотворения Г. Р. Державина «Вельможа», написанного в 1794 г. и изданного до начала работы Пушкина над «Онегиным» несколько раз.

У Пушкина:

...Заимодавцев жадный полк.

У Державина:

...Заимодавцев полк стоит...

Удивительным образом упоминаемое текстуальное пересечение не было замечено комментаторами, по крайней мере Н. Л. Бродским, В. В. Набоковым и Ю. М. Лотманом; ничего не сказано о нем и в статье *Заимодавец* новейшей «Онегинской энциклопедии»<sup>4</sup>: в ней объясняется только обозначенная словом реалия (фигура кредитора, ее важность в общественном устройстве первой половины XIX в.), но истоки пушкинского текста не затрагиваются.

Слова *полк* и *заимодавец* принадлежат не самым частым словам русского языка (хотя в пушкинскую эпоху их употребительность была намного большей, чем теперь<sup>5</sup>). Небанальность их сочетания не оставляет сомнения в том, что у Пушкина это цитата<sup>6</sup>.

Различия состоят в том, что совпадающая именная группа у Пушкина координирована с другим глаголом (*собрался*), а существительное *полк* определено прилагательным *жадный*, которого нет в «Вельможе».

Можно присмотреться к прилагательным в державинской строфе, содержащей стих, отголосок которого слышится в романе «Евгений Онегин». Пространственно ближайшими к нему словами этой части речи оказываются *жирный* (в контексте слева) и *сладкой* (в контексте справа):

А там, — где *жирный* пес лежит,  
Гордится вратник галунами, —  
Заимодавцев полк стоит,  
К тебе пришедших за долгами.  
Проснися, сибарит! — Ты спиши  
Иль только в *сладкой* неге дремлешь...

Окраинные фонетические и графемные комплексы *ж...* и ...*ный* прилагательного *жирный* и срединный фонографемный комплекс ...ád... (д здесь фонетически [т]) прилагательного *сладкой*, будучи «сложенными», дадут находимое в пушкинском «варианте» слово *жадный*. Подобный синтез слова из частей других

слов, входящих в более ранний фиксированный текст; и целесообразно именовать термином «обратное анаграммирование».

Но подлинно ли такая рекомбинация — на грани поэтического фокусничества — имеет место в приведенном фрагменте «Евгения Онегина»? Отчасти вопрос в том, является ли пушкинское цитирование осознанным или бессознательным. Может статься, что в глубинах памяти Пушкина, «Вельможу», конечно же, читавшего, застяло необычное словосочетание *полк заимодавцев*, которое потом и было повторено в его собственных стихах без открытого соотнесения с текстом державинской пьесы. При большой вероятности именно такого обстояния дел предполагать в пушкинском прилагательном *жадный* обратную анаграмму по отношению к «соседним» для воскрешенного словосочетания державинским прилагательным *жирный* и *сладкой* было бы, пожалуй, весьма рискованно, тем более что явных наклонностей к экстравагантной формальной игре Пушкин, насколько мы его знаем, не демонстрировал<sup>7</sup>. Однако для обрисовки самого механизма обратного анаграммирования пример, кажется, пригоден — хотя бы из-за его относительной технической простоты.

## II

...Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром сиреневым.  
«Нет, не мигрень...»

Другой случай обратной анаграммы, на этот раз для меня совершенно несомненный, отмечается у О. Э. Мандельштама.

23 мая 1932 г., в Москве, Мандельштам сочинил стихотворение «Импрессионизм». Напомню его первую строфу:

Художник нам изобразил  
Глубокий обморок сирени,  
И красок звучные ступени  
На холст, как струпья, положил<sup>8</sup>.

Вторая строчка мандельштамовского стихотворения (*Глубокий обморок сирени*) создана с явным отталкиванием от второй строки второй строфы стихотворения Б. Л. Пастернака «Душная ночь», входящего в книгу «Сестра моя — жизнь» (1922, 1923 гг.):

...Был мак, как обморок, глубок...

Вновь мы имеем дело с трансформирующим, но хорошо распознаваемым цитированием: если *глубокий обморок* — словосочетание довольно шаблонное<sup>9</sup>, то синтагматическая — и в пределах одного стиха — сопряженность слова *обморок* с названиями ‘цветка’ и ‘цветов (цветущего куста)’ носит характер метафорического изыска. Различиями в синтаксическом устройстве выражений, сконструированных Пастернаком и, десятилетие спустя, Мандельштамом, который заменил *мак* на *сирень*, можно пренебречь как малосущественными: редкостью отмеченной тропеинической связи они абсолютно подавляются.

Наверное, эта метафорическая перекличка найдена кем-либо ранее: моя освещенность в мандельштамо- и пастернаковедческих исследованиях скромна. Дело в другом.

Дело в том, что *сирень* в пастернаковской «Душной ночи» действительно присутствует. Но присутствует не лексемно, а в ином, несобранном виде, фонетически (и графически) рассыпанная между другими словами, окружающими «обморочный» стих; Пастернак как бы невольно «продиктовал» ее Мандельштаму<sup>10</sup>. Выделю словесные сегменты, фонетика которых явно соотносится с фонетикой слова *сирень* (полужирным курсивом; букв, набранных светлым курсивом, — л, кодирующей мягкое [л'], ц и ш — в написании этого слова не имеется, но обозначаемые ими звуки все же акустически достаточно близки мягкому вибранию [р'] и глухому свистящему фрикативному [с'], которые встречаются в строфах «Душной ночи», цитируемых ниже; эта близость здесь усиливается их позицией в выделяемых фонографемных последовательностях, сходных с отдельными звеньями звуковой цепочки артикулируемого существительного *сирень*):

*Селенье не ждало целенья,  
Был мак, как обморок, глубок,  
И рожь горела в воспаленыи,  
И в роже пух, и бредил бог.*

*В осиротелой и бессонной  
Сырой, всемирной широте...*

Как и в случае цитирования Пушкиным Державина, можно допустить, что воссоздание пастернаковской формулы у Мандельштама является ненамеренным, и тогда вероятность сконструированности обратной анаграммы снижается, но вовсе не исключается: фонетическое окружение пастернаковской строки, с изменениями повторенной у Мандельштама, настолько ярко и осязательно, что также может запечатлеться в памяти или, скорее, в подсознании как некий назойливый «внешнеартикуляционный» ее ореол, безотчетно просящийся в лексическое оплотнение. Внимательное сличение фонетической и лексической ткани обоих стихотворений толкает, однако, к предположению о вполне умышленном цитировании. Тем более что к «Сестре моей — жизни» Мандельштам испытывал особое, пристрастное чувство.

Восхищавшийся фонетикой этих стихов («полнота звука, полнота жизни», «прямое токование», «сборник прекрасных упражнений дыханья» — «Заметки о поэзии», 1923 г.), Мандельштам физиологически остро ощущал «заязданность» звучания и смысла, акустики и образа, неотдельность поэтического слова (лексемы), его невырываемость из стихотворного контекста. Чуть ли не именно об этом он писал позже, в «Разговоре о Данте»: «Всякий период стихотворной речи — будь то строчка, строфа или цельная лирическая композиция — необходимо рассматривать как единое слово».

Совпадение звуковых и зрительных (буквенных) последовательностей в других отдельных словах сравниваемых стихотворений («накрапывало», «грозовом»,

«*мешке*», «*доездь*», «*в пилолях*»... в первом — соответственно «*красок*», «*изобразил*», «*запекшееся*», «*художник*», «*лиловым*»... во втором), как можно судить, не выходит за пределы нормальной фонетико-сintагматической статистики, и вряд ли в таких сближениях следует задним числом видеть какие-либо артикуляционные реминисценции. Но, при всей отдаленности содержательной стороны того и другого стихотворений, чего касаться здесь, наверное, не обязательно, корневое и отчасти аффиксное пересечение некоторых слов с идентичными (или почти идентичными) синтаксическими (частеречными) свойствами не может не насторожить: к словам *обморок* и *глубок(ий)* нужно добавить перекличку мандельштамовской строчки-сintагмы (*рас)шир(ен)-н-ое* (в) *дух-от-у* (вторая строфа) со словами *души-н-ая* (в названии) и *шир-от-е* (третья строфа) у Пастернака. Для двух небольших текстов («Импрессионизм» — полсотни, «Душная ночь» — менее восьмидесяти полнознаменательных слов) это явно много.

К моментам сходства между сопоставляемыми стихотворениями следует отнести одинаковый размер, которым они написаны, — четырехстопный ямб с мужскими и женскими окончаниями. Рифмовка, впрочем, различается: чередующаяся у Пастернака (*aBaB*) и смежно-опоясывающая у Мандельштама (*Abba*). Однако в финальном шестистишии «Душной ночи» нарушается характер рифмования, заданный предыдущими четырьмя строфами: последовательность *aBaabb* несколько ближе к тому, что мы находим в «Импрессионизме», и это может служить пусть не очень значительным, но все же еще одним аргументом в пользу внутренней, необходимой связи между разделенными десятилетием стихотворениями Пастернака и Мандельштама<sup>11</sup>.

### III

Люблю появление ткани...

(Из «Восьмистиший»)

Третий пример обратной анаграммы, который я намерен привести в настоящих заметках, также регистрируется у О. Э. Мандельштама, но этот случай сложнее. Во-первых, дело касается словесной и фонетической переклички между его собственными стихотворениями. Во-вторых, синтаксис сопоставляемых словесных единиц в них столь различен, что лингвистическую связь между двумя опусами следует понимать как лишь аллюзивную, но не прямо цитатную. И тем не менее этих аллюзий достаточно, чтобы считать стихотворения связанными не только тематически, но и текстуально. А именно это и является непременным условием для констатации факта обратного анаграммирования. В-третьих же, слово, явившееся результатом этой операции, само становится источником дальнейших анаграмм, теперь уже «прямых».

Подразумеваются разделенные интервалом менее трех лет стихотворения «Ариост» («Во всей Италии приятнейший, умнейший...», май 1933 г.) и «Улыбнись, ягненок гневный...» (январь 1936 г.). Тематическое соприкосновение этих двух опусов (Италия, искусство, «программная» для Мандельштама «тоска по мировой культуре»...) поддерживается наблюдаемыми в них многочисленными

лексическими и семантическими схождениями (слева от тире слова из «Ариоста», справа — из стихотворения 1936 г.): «(деве) на скале»<sup>12</sup> — «На скале... (молодых тростинки рош)», «(Феррара) черствая» — «черствее (хлеба)», «двуухстворчатый жемчуг» — «раствори жемчужин (боль)»; море, черноморье — океан, лазурь — «синий-синий цвет (синели)», «неистовый досуг» — «бурного покоя».

Но более прочего привлекает внимание начальная фраза воронежского стихотворения — «Улыбнись, ягненок...», которая является лексическим и синтаксическим (с переменой субъектно-адресатных отношений) отголоском распространенной синтагмы на стыке шестой и седьмой строф «Ариоста»:

И улыбается в крылатое<sup>13</sup> окно  
Ягненку на горе...

Последнее указанное совпадение является для затронутого случая ключевым (понятно, что я говорю о «поверхностных» текстуальных, здесь — лексических, совпадениях: ягненок в одном стихотворении ‘дитя овцы’, в другом — ‘(Младенец) Иисус’, русифицирующий трансформ церковнославянского *Агнец*).

Обратим внимание на фонетику (графику) некоторых слов, входящих в контекст синтагмы *улыбается...* ягненку:

В Европе *холодно*, в Италии темно.  
Власть отвратительна, как руки брадобрея.  
А он вельможится все лучше, все хитрее  
И улыбается в крылатое окно

Ягненку на горе, монаху на *осляти*,  
*Солдатам* герцога...

В позднейшем стихотворении повторены не только соединение слов *улыбаться* и *ягненок*<sup>14</sup>, но и выделенные здесь полуожирным курсивом графемные (фонограммные) последовательности, его окружающие; при этом они сотканы в цельную лексему — *холст*, которая в форме родительного падежа занимает в стихе маркированную окраинную позицию:

Улыбнись, ягненок гневный, с рафаэлева *холста*...

Я нисколько не сомневаюсь, что и здесь присутствует явление, которое можно квалифицировать как обратную анаграмму. Думается, что не имеют принципиального значения собственно фонетические различия (реализация фонемы /o/ ударным [o] в *холодно* и безударным [a] в *холста*, расхождения между согласными звуками по признаку твердости / мягкости: [л] в *холодно*, *власть*, *солдатам* и *холста* — [л'] в *осляти*; [с'] и [т'] в *власть*, *осляти* — [с] и [т] в *солдатам*, *холста*)<sup>15</sup>. Нестрогость фонетики подобных совпадений заставляет думать о равноправии в поэтическом ощущении слова его зрительного представления и его характеристической произносительно-аудиальной целостности («фонемы», по расхожему пониманию этого термина в начале прошлого века).

Однако приписывать Мандельштаму осознанное использование приема анаграммирования, наверное, не стоит. Его творческая манера очень далека от вычурного и холодно-рассчетливого графического рукоделия (как, скажем, у Вознесенского). По всей видимости, «улыбка ягненку» из «Ариоста» оказалась для поэта неотделимой от своего артикуляционного контекста. Будучи воспроизведенной (с синтаксической трансформацией) в его собственных же более поздних стихах, она заставила окрестные разрозненные артикуляционные звёнышки раннего текста сконденсироваться в отдельную, плотную лексическую форму — холст(*a*) — едва ли не помимо авторской воли, но уж во всяком случае не как результат прямого, заранее обдуманного поэтического словообразовательного трюка.

Рассматриваемое здесь стихотворение 1936 г., как множество иных произведений Мандельштама, отмечено богатством межсловных фонетических сближений. Ср., например, звуковые отголоски начальных трех слов *Улыбнись, ягнёнок гневный...* в четвертом стихе и последнем его двустишии, в словах *синий-синий цвет синели, хлеба, молодых, плыёт углами неба* (в выделенных, кроме прочих, губных согласных *n* / [n] и *m* / [m'] варьируют произносительные и акустические признаки согласного *b* / [b']). Но еще остнее дальнейшее анаграммирование самого слова *холст(a)*:

...На холсте *уста* вселенной, но она уже не *та*...

В легком *⟨г = [χ]⟩* воздухе свирели раствори жемчужин боль —  
В синий-синий *цвёт* синели океана въелась соль.

Цвет воздушного разбоя и пещерной *густоты*...

На скале черствее хлеба — *молодых тростинки* рощ,  
И *пыльвет* углами неба восхитительная мощь<sup>16</sup>.

Многочисленные лексические и фразовые межтекстовые переклички в поэзии О. Э. Мандельштама должны бы стать темой специального обширного лингвистического исследования. Можно надеяться, что направленное чтение его стихов, с нарочитым вниманием к подобным отзвукам и совпадениям, позволит, помимо прочего, отыскать иные примеры обрисованного здесь поэтического явления.

#### IV

Обратное анаграммирование любопытно было бы проследить в нынешней постмодернистской поэзии, одной из показательных особенностей которой является откровенная и густая, до злоупотреблений, интертекстуальность.

Четвертый пример, предлагаемый мною, так же как и предыдущий, представляет собою сплетение разных видов анаграммы, хотя здесь, понятно, интересна прежде всего ее «обратная» версия.

В стихотворении Сергея Гандлевского (числить которого по ведомству постмодернизма нужно, наверное, все же с оговорками) «Дай бог памяти вспомнить

работы мои...»<sup>17</sup> цитируется, с незавершением, строчка из известнейших стихов военного времени:

Жизнерадостный труд мой расцвел колесом  
Обозрения с видом от Омска до Оша.  
Хватиши лишку и Симонову в унисон  
Знай бубниши помаленьку: «Ты помнишь, Алеша?»

Оборвана двусловная цепочка *дороги Смоленщины*. Наречие *помаленьку* у Гандлевского очевидным образом анаграммирует слова *помнишь* и *Смоленщины* у К. М. Симонова. Перекличка затрагивает и фонетический, и графический уровни. Один и тот же звук в отмеченных словах передается разной графикой: [н'] орфографически предстает в виде буквы *н* в *Смоленщины* и буквосочетания *нь* в *помаленьку*, двояко же передается гласный [а] предударного слога — через *о* в *Смоленщины* и через *а* в *помаленьку*; одна и та же буква *о* соответствует разным звукам — [о] в *помнишь*, [а] в *Смоленщины* и [ы] в *помаленьку*.

Этой констатацией можно было и ограничиться, если бы мое желание замыкалось в показе «чистого» экземпляра обратной анаграммы — синтеза в более позднем тексте N одного слова из элементов нескольких других слов другого, предшествующего текста M. Однако нельзя не увидеть, что разбираемый пример осложнен неоднократным «прямым» анаграммированием. Во-первых, графическая форма симоновского глагола *помнишь*, непосредственно цитируемого в «Дай бог памяти...», разложена (довольно простым способом: пополам) и метатетически воспроизведена в словосочетании *бубнишь помаленьку*. А во-вторых, фонографемные элементы слова *Смоленщины* могут быть обнаружены в нескольких буквенных сгущениях, предваряющих в тексте Гандлевского незавершенную этим словом цитату: *мой, колесом, обозрения, Омска, Симонову, унисон...* Отсутствующий в этом фрагменте у Гандлевского графически броский и акустически яркий элемент *иц* / [ш'] в немалой мере компенсируется многократным *иц(ь)* / [ш]. Если к тому же иметь в виду, что за названием географического региона *Смоленщина* стоит мотивирующее его и легко «восстановимое» имя города *Смоленск*, то перечень участвующих в анаграмме, явно и косвенно, фонографемных элементов может быть увеличен за счет *к* / [к] в словах *колесом* и *Омска* (графическое представление топонима *Омск*, как, впрочем, и апеллятивного слова *колесом*, вообще целиком, но с перестановкой букв, входит в написание *Смоленск*; тождественность топономастического суффикса *-ск* лишь усугубляет явленную реминисцентность стихов).

В случае со стихотворением «Дай бог памяти...» я не берусь ни с какой долей уверенности судить о соотношении сознательной стихотворной техники и поэтической интуиции в построении обнаруженных анаграмм, в частности анаграммы «обратной» разновидности.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Определенное неудобство принятого после публикаций работ Ф. де Соссюра термина «анаграмма» состоит в том, что он этимологически отсылает лишь к письменному представлению слова, тогда как применяется для обозначения поэтических операций и с графикой, и с собственно звуковой материей. В практике анаграммирования, если речь идет о письменно фиксированных текстах, звук и буква обычно плохо различимы. Для пишущего и читающего буквенный эквивалент звука оказывается не менее важным, чем артикуляторно-акустический образ. С этим приходится считаться в лингвопоэтическом анализе (реприманд Ю. Олеше за то, что он в пушкинской строчке «И пусть у гробового входа...» увидел «пять раз повторяющееся “о”», мне кажется слишком строгим).

<sup>2</sup> Ср. анаграммирование имени *Пастернак* в имени заглавного персонажа стихотворного романа «*Спекторский*».

<sup>3</sup> О том, что в поисках анаграмм раскованность фантазии может обещать далеко ведущие открытия, говорит следующий пример. Почему бы не поверить, что в строках А. А. Ахматовой «И серые пушки гремели / На Троицком гулком мосту, / А липы еще зеленели / В таинственном Летнем саду. / И брат мне сказал: настали / Для меня великие дни...» последовательно зашифрованы имена Троцкого, Ленина и Сталина? Особенно если забыть дату написания стихотворения «Тот август, как желтое пламя...», из которого они взяты, — 1915 г.

<sup>4</sup> Онегинская энциклопедия. Т. 1. А—К. М., 1999. С. 428—429 (автор словарной статьи — В. А. Кошелев).

<sup>5</sup> Согласно моим статистическим наблюдениям [сделанным по изданию: Материалы к Частотному словарю языка Пушкина (проспект). М., 1963 (Предварительные публикации Сектора структурной и прикладной лингвистики Института языкоznания АН СССР)], существительное *полк* во всех текстах Пушкина встретилось 192 раза на 544 777 словоупотреблений и занимает 324-ю позицию в его частотном словаре — то есть в 3,7 раз чаще, чем в современном литературном языке, если верить не очень надежному «Частотному словарю русского языка» под редакцией Л. Н. Засориной (М., 1977). Существительное *заимодавец* у Пушкина отмечено всего 10 раз (при этом в «Евгении Онегине» только единожды, в упомянутом месте) и с еще 361-м словом делит позиции с 5333-й по 5694-ю; в наше время, по крайней мере в обиходной речи, слово чрезвычайно малоупотребительно (в словарях Ушакова, Ожегова — Шведовой и др. оно снабжено пометой «спец.»).

<sup>6</sup> Труднее было бы доказать цитатную природу уже выражения *толпе заимодавцев* в «Моей песне» (1811) Дениса Давыдова.

<sup>7</sup> И даже каламбурное обыгрывание горациева *rus* в эпиграфе ко второй главе «Онегина» обременено вовсе не легковесным содержательным моментом.

<sup>8</sup> Принято считать, что Мандельштам говорит об известной картине К. Моне «Сирень на солнце»; см.: [М. Л. Гаспаров.] Комментарии // О. Мандельштам. Стихотворения. Проза. М., 2001 (Б-ка поэта). С. 654. Не зная о конкретных биографических импульсах к созданию разбираемых стихов и никоим образом не стремясь опровергнуть приведенное мнение, я нахожу возможным зачислить в подозреваемые и картину В. ван Гога «Сиреневый куст» (1889 г.) (хотя, строго говоря, ван Гога к импрессионизму относить не следует, он — постимпрессионист). Мандельштам, с его интересом к западноевропейской живописи, мог знать ее хорошо. В 10-х гг. она находилась в коллекции С. И. Щукина, затем попала в Музей современного западного искусства в Москве, а сейчас (по сведениям любезно консультировавшей меня И. Е. Даниловой — с 1948 г.) хранится в питерском Эрмитаже. На такие соображения наталкивают характеристики *красок звучные ступени, струпья*, которые к живописной манере ван Гога применимы вполне: на упомянутом его полотне многочисленны в разных местах выразительные горизонтальные

мазки, действительно могущие ассоциироваться со ступенями. Впрочем, это лишь попутное замечание, имеющее очень малое отношение к основному предмету настоящих заметок.

<sup>9</sup> По-видимому, в это время «сверлившее» творческое сознание Мандельштама (ср.: «Меня преследуют две-три случайных фразы — / Весь день твержу: ...» — «10 января 1934»), оно, с тем же необязательным в общезыковой норме распространением в виде родительного падежа предметного имени, относящегося к неодушевленной природе, встречается в стихотворении «О, как мы любим лицемерить...», которое было написано на месяц ранее «Импрессионизма», в апреле того же 1932 г.: «Линяет зверь, играет рыба / В глубоком обмороке вод...»

<sup>10</sup> Мне кажется, будет нeliшним сказать, что в других опусах, составляющих сборник Пастернака «Сестра моя — жизнь», слова *сиренъ* и *сиреневый* встречаются суммарно 6 раз.

<sup>11</sup> Об анаграмматических пересечениях других мандельштамовских стихов с текстом сборника «Сестра моя — жизнь», в сущности о фонетических «воспоминаниях»-воскрешениях, см. также в книге Н. А. Фатеевой «Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов» (М., 2000. С. 78—79 и др.).

<sup>12</sup> Дева на скале (с дальнейшим упоминанием *покрывала*) — почти прямая цитата из «Бури» (1825) Пушкина, где это сочетание употреблено дважды (в разных падежах опорного слова); ср.: [М. Л. Гаспаров.] Комментарий... С. 657.

<sup>13</sup> В разных изданиях вариант: *открытое*.

<sup>14</sup> Трудно удержаться от соблазна продолжить наблюдения над развитием этого устойчивого мотива у Мандельштама, несмотря на то что они не имеют непосредственного касательства к теме, заявленной названием данных заметок. В конце строфы стихотворения «Ариост», которая содержит перечисление адресатов «улыбки Ариоста», — назван последний из них: «...И в сетке синих мух уснувшему *дитяти*». Синтагма *улыбается... дитяти* в варианте стихотворения «Внутри горы бездействует кумир...» (декабрь 1936 г.) подвергнута трансформациям, напоминающим о синтаксической судьбе ягненка: «...бездействует кумир / С улыбкою *дитяти* в черных сливах...» (к отмеченным сходствам нужно добавить присутствие в процитированных стихах с *дитятей* колористических эпитетов *синих* и *черных*, которые определяют близкие участки цветового спектра в наивно-языковой картине мира и, кроме того, совпадают флексивно, хотя их грамматические функции не тождественны). В том же декабре появляются строки «Подивлюсь на свет еще немного, / На *детей* и на снега, / Но улыбка неподдельна, как дорога, / Непослушна; не слуга...» («Подивлюсь на свет...»), «Детский рот жует свою мякину, / Улыбается, жуя...» (в ранней редакции стихов «Мой щегол, я голову закину...») и стихотворение «Рождение улыбки»: «Когда заулыбается *дитя*...». Концентрация «детских улыбок» и «улыбок ребенку» в мандельштамовских стихах первых двух третей 30-х гг. когда пишутся «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Кама», да и упомянутое — довольно зловещее — «Внутри горы...» (где *кумир*, помимо Будды, может быть отождествлен то ли с живым идолом в Кремле, то ли, если согласиться с комментатором, с трупом в мавзолее), неслучайна.

<sup>15</sup> Гласные по Мандельштаму, менее весомы: «Множитель корня — согласный звук, показатель его живучести... Слово размножается не гласными, а согласными. Согласные — семя и залог потомства языка» («Заметки о поэзии»).

<sup>16</sup> Анаграмматические связи сочетаний *ягнёнок гневный* и *плывёт углами неба* заметил и Ю. В. Казарин: Ю. Казарин. Проблемы фоносемантики поэтического текста. Екатеринбург, 2000. С. 135.

<sup>17</sup> Опираюсь на публикации в сборниках «Рассказ. Книга стихотворений» (М., 1989. С. 11—12) и «Порядок слов. Стихи, повесть, пьеса, эссе» (Екатеринбург, 2000. С. 60—61).

IX.





*B. A. Успенский*

## ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА НИКОЛАЕВА КАК СОБЕСЕДНИК

**М**огу указать точную дату, с которой я знаю Татьяну Михайловну: 21 мая 1958 г. В тот день состоялось закрытие первой (она же и последней) Всесоюзной конференции по машинному переводу, проводившейся в стенах Московского государственного педагогического института иностранных языков (ныне — Московский педагогический лингвистический университет). На заключительном пленарном заседании я делал доклад об итогах работы одной из двух секций конференции, а именно секции алгоритмов машинного перевода. После доклада ко мне подошла незнакомая молодая женщина — подошла с тем, чтобы выразить неудовольствие (если не сказать: возмущение) по поводу некоторых моих высказываний. Эта молодая женщина и оказалась Т. М. Николаевой. Оказалось также, что она меня знает уже более полутора лет, поскольку регулярно посещает занятия семинара «Некоторые применения математических методов в языкознании», которые с сентября 1956 г. проходили на филологическом факультете Московского университета; семинаром руководили Петр Саввич Кузнецов, Вячеслав Всеволодович Ива́нов и я.

Это был не единственный реприманд, который я получил от Татьяны Михайловны: помню ее остроумное возражение на одно из положений моего оппонентского выступления на защите ее кандидатской диссертации в Институте русского языка в апреле 1962 г.

С тех пор Т. М. Николаева написала много научных трудов (см. их список на с. 959—975 настоящего сборника). Однако некоторые замечательные свойства ее интеллекта никогда не были зафиксированы. Оно и понятно, поскольку эти свойства раскрываются прежде всего в ее частных беседах. Каким термином следует обозначить эти свойства, я не знаю, но проявляются они в ее умении охарактеризовать то или иное явление посредством лаконичной и часто неожиданной формулы<sup>1</sup>. Татьяна Михайловна всегда стремится представить собеседнику свою мысль в максимально ясной форме и предложить четкое определение обсуждаемым предметам. Некоторые из таких определений будут даны ниже, и читатель сможет оценить их почти математическую точность.

В этой заметке я попытался воспроизвести те из сообщенных мне Татьяной Михайловной формул, которые мне запомнились. Наверное, были и другие, которые мне не удалось запомнить. Но в этом естественном отборе, произведенном памятью, есть и свои преимущества: кто-то верно подметил, что начинать изучение звездного неба следует в сумерках, потому что тогда видны только самые яркие звезды.

### *Определение брака*

Начну с определения брака, сформулированного Т. М. Николаевой на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов XX в. Датировка здесь существенна, поскольку определение годилось именно для того времени. Оно оставалось справедливым еще два-три десятилетия, но, пожалуй, уже не отражает реалий сегодняшнего дня. В ноябре 2003 г. Татьяна Михайловна призналась мне, что ныне она уже не знает, что такое брак. Свою мысль она пояснила таким пассажем:

Теперь кинозвезда говорит: «Мы с Джоном уже столько лет вместе, имеем троих детей, а вчера он сделал мне предложение. Это было так неожиданно, и я очень рада». И ведь это реальный текст!

Определение Т. М. Николаевой начинается с того, что вводятся в рассмотрение три признака: регистрация, совместный быт, наличие интимных отношений. Браком считается состояние, при котором присутствуют любые два признака из перечисленных трех. То же самое более подробно: 1) наличие любых двух признаков из трех порождает брак; 2) если имеет место брак, то какие-то два признака из трех непременно присутствуют. Недостаточность присутствия только одного признака подчеркивается тем, что в языке имеется специальная терминология для таких случаев: *фактивный брак* для случая, когда существует только регистрация, и *любовная связь* для случая, когда существуют только интимные отношения.

Как недавно сказал Т. М. Николаевой один из лингвистов среднего поколения (выпускник знаменитого ОСИПЛА, а ныне профессор РГГУ): «Мы ухаживали и женились, ни на минуту не забывая того Вашего определения брака, с которым мы выросли». Предполагаю, кстати, что автору приведенных только что слов определение брака известно, скорее всего, от меня, хотя и не прямо, а косвенно, через цепочку посредников. Потому что Татьяна Михайловна, сообщив мне более сорока лет назад свое определение, далее — насколько мне известно — его уже никому не повторяла. Пишу об этом для того, чтобы указать следующее качество Т. М. Николаевой как собеседника: найдя удачную формулу и высказав ее кому-нибудь, она как бы избавляется от этой формулы и не видит нужды ее повторять в последующих беседах с другими лицами. Поскольку, очевидным образом я не был единственным ее собеседником, то почти наверняка она делилась другими своими формулами с кем-нибудь другим. Но пока этот другой об этом не расскажет или не напишет, эти другие формулы так и останутся неизвестными.

### *Определение романа*

Примерно в те же годы, когда Татьяна Михайловна дала свое классическое определение брака, ею было случайно обронено определение романа. Понятие ‘роман’ представляется мне еще с большим трудом поддающимся определению, чем понятие ‘брак’, а потому предложенное определение я нахожу еще более замечательным. Под словом *роман* здесь понимаются романтические отношения, а не литературный жанр<sup>2</sup>. Определение Т. М. Николаевой было на редкость простым. «Роман, — сказала она, — это когда люди встречаются только для того, чтобы встречаться». И пояснила: «При расставании они договариваются о следующей встрече, не нуждаясь в том, чтобы объяснять друг другу ее причины или поводы: то, что им необходимо встретиться снова, для них самоочевидно. Разумеется, влюбленные могут маскировать свои чувства разными способами — например, вместе учить язык, ходить на лекции, готовиться к зачету и т. д.».

### *Гендерная дифференциация комплиментов*

Столь же мимоходом Татьяна Михайловна поделилась со мною следующим своим наблюдением. Женщине и мужчине приятно разное, они по-разному хотят выглядеть в собственных глазах. Мужчина хочет быть уникальным, женщина — типической.

Поэтому женщина, чтобы обольстить мужчину, говорит ему примерно следующее: «Вы такой необычный, ни на кого не похожий, я таких никогда раньше не встречала и даже не подозревала, что такие бывают».

Успех у женщины достигается прямо противоположным способом. Вот дебютная схема.

— Вы мне нравитесь.

Этот комплимент слишком персонален и потому не достигает цели. Женщина молча пожимает плечами: успеха мало. Мужчина продолжает:

— Мне вообще нравятся такие, как Вы.

— (Зашинтегрованно.) А какие?

Потому что женщине интересно, когда ее причисляют к типу, а не тогда, когда ее рассматривают в ее отдельном, персональном качестве. Поэтому ответом на ее «А какие?» может служить:

— Такие миниатюрные черненькие (*варианты*: беленькие пухленькие; серьезные в очках; ироничные неприступные; и т. д.).

Про мужчин же женщины придумали самое для них, мужчин, убийственное: «Все вы одинаковы!»

## Классификация ученых

Примерно тридцать лет тому назад Татьяна Михайловна предложила классификацию ученых, разделив их на четыре типа. При этом как истинный структуралист она опиралась на подходящую выбранную бинарную оппозицию, в данном случае на оппозицию «старое — новое». Комбинируя эти два признака с двумя тематическими позициями: позицией ‘что’ и позицией ‘о чем’ — она пришла к четырем классам, или типам, своей классификации: 1) старое о старом; 2) старое о новом; 3) новое о старом; 4) новое о новом. Для каждого из этих типов Т. М. Николаевой был охарактеризован круг принадлежащих данному типу ученых. Эти характеристики были совершенно справедливы лет тридцать тому назад и несколько позже; сегодня, возможно, они нуждаются в некотором уточнении. Однако сами четыре типа кажутся вечными. Вот беглое изложение предложенных Т. М. Николаевой характеристик ее четырех типов.

Ученые первого типа — это мастодонты от науки. Именно они подходят под определение маститый ученый в обыденном понимании. Их охотно приглашают во всевозможные комиссии, редколлегии, ученые советы и т. п. Поэтому они наиболее влиятельны в организационном отношении. Гении в этой категории весьма редки. Зато встречаются великие эрудиты.

Второй тип едва ли не самый престижный. Ученый этого типа выбирает новый предмет исследования, но применяет к нему испытанные и потому понятные широкой публике методы. Типичный пример подобного исследования — описание какого-либо еще не исследованного языка — только что открытого или, напротив, очень древнего: описание производится по схеме, заимствованной из известных описаний родного языка исследователя; а расшифровка описываемого языка состоит в переводе написанных на нем текстов на тот же родной язык.

Третий тип включает как шарлатанов (сознательных и бессознательных), так и гениев. Ясно, что первых больше, чем вторых. Попытку посмотреть на хорошо известные вещи с неожиданной точки зрения, если она не связана с сознательным обманом, саму по себе можно приветствовать, — но только такая попытка чаще всего оборачивается предприятием с негодными средствами. (В свое время так называемые руководящие инстанции были завалены письмами самородков, заявлявших, что они расшифровали Фестский диск или решили сложнейшие математические проблемы, остававшиеся нерешенными в течение веков.) Лишь в сравнительно редких случаях оказывается, что попытка предпринимается теми, кого провидение наделила правом такую попытку предпринять.

Четвертый тип включает первопроходцев. Однако поскольку у них новыми и, следовательно, необычными, непривычными являются и предмет, и метод, их чаще всего просто не понимают, а потому и не слушают. А они, подобно библейским пророкам, не унимаются и продолжают о своем. Если все же им удается пробить ментальную стену, их ждет триумф. Нередко, увы, посмертный<sup>3</sup>.

*Nomina sunt odiosa*, поэтому мы оставляем изложенные характеристики без персональных примеров; предоставляем читателю подобрать такие примеры по своему усмотрению.

Способность Т. М. Николаевой к блестящим формулировкам с годами не угасла. Вот, например, что она сказала мне<sup>1</sup> в одном из последних наших разговоров, состоявшемся в ноябре 2003 г.:

Одно из отличий мужчин от женщин состоит в том, что женщина живет по принципу ‘пока’, а мужчина по принципу ‘когда’. В самом деле, женщина говорит: «Пока картошка варится, я допишу статью». Мужчина же говорит: «Когда картошка сварится, я допишу статью».

В том же разговоре она сказала:

Можно говорить о людях партии, о людях тусовки и об индивидуалах. В партию можно вступить. Но в партии — строгая дисциплина, и условием вступления служит готовность на полное подчинение своей деятельности этой дисциплине. Границы партии строго очерчены, границы тусовки расплывчаты, но это не означает, что в нее легко попасть. Более того, вступить (как в партию) в тусовку по собственному желанию невозможно, одного желания тут недостаточно. В тусовке нужно каким-то иррациональным образом оказаться. Индивидуалы же не принадлежат никакой партии и никакой тусовке. Сейчас спрос на индивидуалов.

Татьяна Михайловна считает — и заслуженно считает — себя индивидуалом. Мне показалось, что она этим слегка гордится. Что ж, она имеет на это право: на нее спрос.

3 декабря 2003 г.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Согласно «Толковому словарю» Ушакова, первое значение слова *формула* таково: «общее краткое и точное выражение (мысли, закона), определение».

<sup>2</sup> Впрочем, сформулировать точное определение романа как жанра также довольно затруднительно. В то же время эта задача — дефиницировать понятие ‘роман как жанр’ — существенна не только с литературоведческой, но даже и с юридической точки зрения. В самом деле, ежегодно присуждаемая литературная премия Букера, выражаемая в ощущимой сумме в долларах,дается за лучший русский роман. Каким же условиям должен удовлетворять текст, чтобы считаться романом и тем самым иметь право быть заявленным на премию Букера? Летом 1998 г. я обратился с этим вопросом к тому, кто обладал наибольшей компетентностью для ответа на такой вопрос, — к председателю действовавшего в то время жюри Букеровской премии за 1997 г. Таковым был Андрей Леонидович Зорин. По его сообщенному мне определению, романом является любое произведение в прозе объемом не менее 80 страниц стандартной машинописи — разумеется, в презумпции, что сам автор объявляет это свое произведение романом, каковая презумпция заведомо соблюдается для произведений, номинированных на Букера. На мой вопрос, будет ли жюри рассматривать телефонную книгу, представь я ее в качестве романа, ответ был утвердительным. Заметим, что предложенное определение оказывается неприменимым к двум из числа наиболее известных произведений русской литературы — к роману «Евгений Онегин» и к поэме «Мертвые души». И это неудивительно, поскольку понятие жанра представляет собою одно из наиболее сложных в литературоведении. Вот пример, лишний раз подтверждающий эту истину. Как известно, товарищ Сталин наложил на текст более чем слабого сочинения Горького «Девушка и смерть» бессмертную резолюцию: «Эта штука посильнее, чем “Фауст” Гёте». Менее известно, что по поводу ему поднесенной и его прославляющей оды, сочиненной одним из классиков многонациональной советской литературы, он высказался так: «Это подхалимская

штука». Ввиду того что слово «штука» было употреблено к контекстах с противоположным оценочным значением, становилось ясно, что само оно оценочного значения не имеет и тем самым обозначает не что иное, как жанр. (Ходили слухи, что готовились диссертации на тему «Штука как жанр».)

<sup>3</sup> Как тут не вспомнить ранжирование гениев, предложенное Станиславом Лемом. Лем разделил гениев на три ранга. Гении низшего, третьего ранга получают признание при жизни. Гении среднего, второго ранга при жизни признания не получают, но получают его после смерти, по прошествии времени, требуемого обществу для понимания их достижений. Гении высшего, первого ранга не получают признания никогда. Дело в том, что открытия, сделанные гением первого ранга, столь революционны, что будь они поняты и признаны человечеством, оно, человечество, пошло бы по принципиально другому пути развития. Но поскольку это открытие вовремя не получило признания, вся мировая цивилизация уже пошла идет по другому пути, с течением времени все более и более удаляясь от того нереализованного пути, который проистекает из учения гения; а потому это учение с каждым годом делается все более и более недоступным для своего осознания. (Прибавим от себя, что бывают случаи, когда ранг гения впоследствии повышается. Так произошло с Лейбницем. Он был, конечно, признан при жизни, однако, как выяснилось впоследствии, признан не в полной мере. Его учение о бесконечно малых величинах было отброшено в XIX в. как антенаучное, но в середине XX в. неожиданно получило строгое математическое обоснование. Тем самым Лейбниц переместился из третьего ранга во второй.)

## СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ НИКОЛАЕВОЙ

### МОНОГРАФИИ

1. Интонация сложного предложения в славянских языках. М., «Наука», 1969, 15,2 а. л.
2. Жест и мимика у лектора. М., «Знание», 1972, 2 а. л.
3. Фразовая интонация славянских языков. М., «Наука», 1977, 20 а. л.
4. Семантика акцентного выделения. М., «Наука», 1982, 6 а. л., 2-е изд. М., УРСС, 2004.
5. Функции частиц в высказывании. М., «Наука», 1985, 15,2 а. л.
6. Просодия Балкан. М., «Индрик», 1996, 22 а. л.
7. «Слово о полку Игореве». Лингвистика текста и поэтика. М., «Индрик», 1997, 6 а. л. 2-е изд. М., УРСС, 2005.
8. «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., «Индрик», 1997, 15 а. л. 2-е изд. М., 2005, УРСС.
9. От звука к тексту. М., «Языки славянской культуры», 2000, 60 а. л.

### КОЛЛЕКТИВНЫЕ МОНОГРАФИИ

10. Опыт описания русского языка в его письменной форме. М., «Наука», 1965.
11. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. 1978 / Сост., науч. ред., вступ. ст. Отв. редактор.
12. Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., «Наука», 1979.
13. Исследования по структуре текста. М., «Наука», 1987.
14. Современная русская устная научная речь. Т. 1. Красноярск, 1986.
15. Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., «Наука», 1989.
16. Загадка как текст. М., «Индрик», 1994 / Отв. редактор и автор главы.
17. Из работ Московского семиотического круга: Антология / Вступительная статья и составление. М., «Языки русской культуры», 1997, 72 а. л.
18. Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1997 / Отв. редактор и автор статьи.
19. Славянские сочинительные союзы. М., 1998 / Составление, отв. редактирование, автор раздела.
20. Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. М., «Языки славянской культуры», 2002 / Отв. редактор и автор статьи.
21. Верbalная и невербальная опоры пространства межфразовых связей. М., «Языки славянской культуры», 2004 / Отв. редактор, автор предисловия и статей.

## РАБОТЫ НА ПРАВАХ РУКОПИСИ

22. Некоторые лингвистические вопросы машинного перевода с русского языка и на русский язык. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. 1962, 1 а.л.
23. Лингвистические проблемы типологического изучения фразовой интонации. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. 1974, 2 а.л.
24. Некоторые лингвистические вопросы машинного перевода с русского языка и на русский язык. Канд. дис. Рук. 1962, 11 а.л.
25. Лингвистические проблемы типологического изучения фразовой интонации. Докт. дис. Рук. 1974, 16 а.л.

## СТАТЬИ

26. Анализ русского предложения. Изд. ИТМ и ВТ АН СССР, 1958.
27. Анализ знаков препинания при машинном переводе с русского языка // Машинный перевод. Изд. ИТМ и ВТ АН СССР, 1958.
28. Машинный перевод в СССР // Изд. ИТМ и ВТ АН СССР, 1958. Совм. с А. И. Мартыновой, О. С. Кулагиной.
29. Определение вида глагола с помощью контекста // Машинный перевод и прикладная лингвистика. № 2 (9), 1959.
30. О строении алгоритма независимого грамматического анализа русского языка // Доклады АН СССР, т. 132, № 5. 1960.
31. Различные типы омонимии и способы их определения при МП // Вопросы языкоznания. 1960, № 1. Совм. с С. С. Белокриницкой и др.
32. Построение предложения при независимом синтезе русского текста // Машинный перевод. Изд. ИТМ и ВТ АН СССР, 1960.
33. К вопросу о различении форм на О/Е с адъективным типом основы // Машинный перевод. Изд. ИТМ и ВТ АН СССР, 1960.
34. Один из подходов к построению лексики языка-посредника // Там же, 1960. Совм. с С. С. Белокриницкой и др.
35. Синтез форм русских слов при МП на русский язык // Проблемы кибернетики. Вып. 5, 1961.
36. Что такое трансформационный анализ? Консультация // Вопросы языкоznания. 1961, № 1.
37. Алгоритм независимого грамматического анализа русского текста // Доклады конференции по обработке информации. ВИНИТИ АН СССР. вып. 9, 1961.
38. Структура алгоритма грамматического анализа при МП с русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика. № 5, 1961.
39. Письменная речь и специфика ее изучения // Вопросы языкоznания. 1961, № 3.
40. Классификация русских графем // Доклады конференции по обработке информации. Вып. 6, 1961.
41. Структурная типология и славянское языкоznание // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР № 33—34, 1961. Совм. с М. И. Бурлаковой, Д. М. Сегалом, В. Н. Топоровым.
42. Опыт алгоритмической морфологии русского языка // Структурно-типологические исследования. М.: «Наука», 1962.
43. Классификация русских глаголов по числу основ и их распределению по категориям // Там же, 1962.
44. Структурная типология и славянское языкоznание // Там же, 1962. Совм. с М. И. Бурлаковой, Д. М. Сегалом, В. Н. Топоровым.

45. Об одном подходе к типологии славянских языков // Доклады сов. делегации на V Международном съезде славистов. М.: «Наука», 1963. Совм. с И. И. Ревзиним, Т. Н. Молошной и др.
46. Трансформационный анализ словосочетаний с прилагательным — управляющим словом // Трансформационный метод в структурной лингвистике. М.: «Наука», 1964.
47. Что же такое графема? // Филологические науки. № 3, 1965.
48. О грамматических чередованиях в русском языке // Научно-техническая информация. № 2, 1965. Совм. с Т. Н. Молошной.
49. Знаки препинания, дерево предложения, морфологические категории // Структурная типология языков. М.: «Наука», 1966.
50. Языкознание и паралингвистика // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М.: «Наука»: 1966. Совм. с Б. А. Успенским.
51. О грамматике неязыковых коммуникаций // Ученые записки Тартуского ГУ. Труды по знаковым системам, IV. 1969.
52. О синтезе через анализ // Там же, 1969.
53. О соотношении сегментных указателей текста и суперсегментных языковых средств // Вопросы языкознания. 1968, № 6.
54. Невербальные средства коммуникации и их место в преподавании языка // Роль и место страноведения в практике преподавания русского языка как иностранного. М., 1969.
55. Интерференция неречевых и речевых средств в человеческом общении. Препринт симпозиума по Семиотике. Варшава, 1968.
56. Место ударения и фонетический состав слова // Фонетика. Фонология. Грамматика. К 70-летию А. А. Реформатского. М.: «Наука», 1971.
57. О существующих принципах отбора речевого материала при исследовании фразовой интонации // Русская разговорная речь. Саратов, 1970.
58. Типологическое изучение фразовой интонации славянских языков // Исследования по славянскому языкознанию: К 60-летию С. Б. Бернштейна. М.: «Наука», 1971.
59. Соотношение словесной и фразовой мелодики в сербском языке // Памяти академика В. В. Виноградова. М., 1971.
60. Соотношение фразовой и словесной просодии // Зборник за филологију и лингвистику. 14, Нови Сад. 1971.
61. Актуальное членение — категория грамматики текста // Вопросы языкознания, 1972; № 2.
62. К вопросу о назывании и самоназывании в русском речевом общении // Страноведение и преподавание русского языка иностранцам. М., 1972.
63. Смысловое членение текста и его индивидуальные варианты // Semiotyka i struktura tekstu. Warszawa, 1973.
64. Некоторые наблюдения над соотношением фразовой мелодики и словесных акцентов в сербском языке // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М.: «Наука», 1973.
65. Фразовая интонация восточнославянских языков // Материалы конференции «Анализ и синтез как взаимообусловленные методы экспериментально-фонетического исследования». Минск, 1973.
66. Место суперсегментных средств в структуре текста // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973.
67. Спроба апісання фразавай інтанацыі беларускай мовы // Беларуская лінгвістыка. 1974.
68. Интерференция речевых и неречевых средств в человеческом общении // Recherches sur les systemes signifiants. The Hague—Paris, 1973.
69. О включении фразовой интонации в комплекс сопоставляемых языковых фактов // Ежегодник Общеславянского лингвистического атласа 1973. М.: «Наука», 1975.

70. «Принцип замены» А. М. Пешковского и отдельные компоненты интонации // Вопросы фонетики и обучение произношению. Изд. МГУ, 1975.
71. Исаак Иосифович Ревзин. Некролог // *Linguistica silesiana*, t. 1, 1975.
72. La force d'influence de la phrase sur celle du mot comme facteur typologique // Abstracts of papers of 8 International congress of phonetic sciences. Leeds, 1975.
73. О синтаксических отношениях единиц интонационного уровня и о соотношении фразовой интонации и синтаксиса языка // Теоретическая фонетика и обучение произношению. М., 1975.
74. Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 36, № 4. 1977.
75. Анкета-вопросник для изучения фразовой интонации // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1975. М., 1977.
76. Лингвистика текста и ее перспективы // Новое в зарубежной лингвистике, вып. 8, М., 1978.
77. Краткий словарь терминов лингвистики текста // Там же, 1978.
78. Уровни типологического анализа фразово-интонационных систем близкородственных языков // Интонация. Киев: «Вища школа», 1978.
79. Синтаксис устного высказывания и проблемы лингвистики текста // *Tekst. Język. Poetyka*. Warszawa, 1978.
80. The prosodic parameters of word stress and their dependence on the place of stress and on the type of stress in a given language // Estonian papers in phonetics. Tallinn, 1978.
81. О функциях пунктуационных знаков в современном русском языке // Современная русская пунктуация, М.: «Наука», 1979.
82. Словосочетания с лексемой ОДИН. Форма, значение и их контекстная маркированность // Синтаксис текста. М.: «Наука», 1979.
83. О функциональных категориях линейной грамматики // Там же, 1979.
84. Три интонационных слоя звучащей фразы // Звуковой строй языка. М.: «Наука», 1979.
85. Акцентно-просодические средства выражения категории определенности-неопределенности в славянских и балканских языках // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М.: «Наука». 1979.
86. Введение // Там же, 1979.
87. Функции акцентного выделения и синтактико-семантическая структура высказывания // Фонетика. Фонология. Интонология. Материалы к IX Международному конгрессу фонетических наук. М., 1979.
88. Стихотворная и прозаическая строки: первичное и модифицированное // *Balcanica*. М.: «Наука», 1979.
89. Семантика звучащего высказывания как многослойная структура // Восприятие языкового значения. Калининград, 1980.
90. «Событие» как категория текста и его грамматические характеристики // Структура текста. М., «Наука», 1980.
91. Категориально-грамматическая целостность высказывания и его pragматический аспект // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 40, № 1, 1981.
92. «Экстренное введение в ситуацию»: особый вид просодического выделения // Теория языка, методы его исследования и преподавания. М.: «Наука», 1981.
93. «Из пламя и света рожденное слово...» // Труды по знаковым системам 14. Ученые записки Тартуского гос. ун-та. № 567, 1981.
94. Контекстуально-конситуативная обусловленность высказывания и его семантическая цельность // Текст как целое и компоненты текста. М.: «Наука», 1982.

95. Факты славянской фразовой интонации в свете ареально-типологического подхода // *International journal of Slavic linguistics and poetics*, t. XXIV, 1982.
96. Синтаксическая акцентология и/или фразовая интонация // *Фонетика. Материалы к X Международному конгрессу фонетических наук*. М., 1983.
97. Качественные прилагательные и отражение «картины мира» // *Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии*. М.: «Наука», 1983.
98. *Slavic word stress and its acoustic realization*. Preprint. 1983.
99. Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций // *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*. т. 42, № 4, 1983.
100. Лингвотекстологические средства в «Слове о полку Игореве». Поле прошлого-настоящего и глубинные смысловые оппозиции // *Scando-Slavica*, t. 29. 1983.
101. Функциональный синтаксис. Фразовая интонация. Диахроническое языкознание // Актуальные вопросы интонации. Изд. МГУ. 1984.
102. «Слово о полку Игореве». Лингвотекстологический диалог: русские — половцы // Труды по знаковым системам 17, Ученые записки Тартуского гос. ун-та. № 641, 1984.
103. Оппозиция «туга — веселье» и «тьма — свет» в «Слове о полку Игореве» (анализ фрагмента имманентной смысловой структуры памятника // *Проблемы структурной лингвистики*. 1982. М.: «Наука», 1984.
104. К поэтике «Слова о полку Игореве» (еще раз об аллитерациях и анаграммах) // Зборник за филологију и лингвистику. Београд, 1984.
105. Дейктические частицы и изолированная ситуация // *Russian linguistics*, 1985, № 9.
106. Славянские частицы и некоторые проблемы типологии // *Советское славяноведение*. 1986, № 1.
107. Средства различения посессивных значений: языковая эволюция и ее лингвистическая интерпретация // *Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория посессивности*. М.: «Наука», 1986.
108. К фонетике частей речи (славянские частицы и предлоги) // *Проблемы фонетики и фонологии. Материалы Всесоюзного совещания*. М., 1986.
109. Интонационная типология и проблема изучения языковых контактов // *Проблемы фонетики и фонологии*. М.: «Наука», 1986.
110. Функции акцентного выделения в устной научной речи // *Современная русская устная научная речь*. Т. 1. Красноярск, 1986.
111. Единицы языка и теория текста // *Исследования по структуре текста*. М.: «Наука», 1987.
112. Метатекст в тексте // Там же, 1987.
113. Автор «Слова» / Боян // *Wiener Slawistischer Almanach*, t. 19, 1987.
114. Именемъ нарицаемы — еже есть съказаемое // *Семиотика — 20. Труды по знаковым системам Тартуского гос. ун-та*, 1987.
115. Le “semantisme implicite” des particules // *Les particules énonciatives en Russe contemporain*, v. 2, Paris, 1987.
116. Предисловие // Актуальные вопросы фонетики в СССР. Сборник научно-аналитических обзоров: ИНИОН, 1987.
117. The intonology of the 80-es // *Proceedings of XI ICPHS*, vol. 2, Tallinn, 1987.
118. The typology of sentence intonation systems // *Idem.*, v. 6, 1987.
119. Функциональная нагрузка антитет и повторов в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве». Комплексные исследования. М.: «Наука», 1988.
120. Лингвистическая демагогия // *Прагматика и проблемы интенсиональности*. М., 1988.
121. Типология функционирования посессивных конструкций в славянских языках // Х Международный съезд славистов. Славянское языкознание. М.: «Наука», 1988.

122. «Слово о полку Игореве»: основные содержательные противопоставления // *Semiotics and the history of culture*. Columbus (Ohio), 1988.
123. Посессивность и другие содержательные категории высказывания // Категория посессивности в славянских и балканских языках. М.: «Наука», 1989.
124. Об одном сходстве славянской и финно-угорской фразовой интонации // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М.: «Наука», 1989.
125. Типология интонации и акцентное выделение // Экспериментально-фонетический анализ речи 2. Л., 1989.
126. Об одном подходе к интерпретации посессивных значений // Язык, система и функционирование. М.: «Наука», 1989.
127. Фонетическая природа греческого и латинского ударения: преемственность, эволюция, скачок? // Палеобалканистика и античность. М.: «Наука», 1989.
128. Интонация вопросительных предложений: славяно-финноугорские параллели // *Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hertegovine. Oddeljenije društvenih nauka*. Kn. 22, Sarajevo, 1989.
129. Три типа высказываний и иерархия интонационной нагруженности // Бюллетень фонетического фонда русского языка. Ленинград; Бохум, № 2, 1989.
130. Прозвища. Опыт описания языковой личности. А. А. Реформатский // Язык и личность. М., «Наука», 1989. Совм. с Е. Красильниковой и А. Суперанской
131. Манипуляция смыслом и лексико-синтаксическая структура высказывания // *Revue des études slaves*, t. 72, f. 1—2, Paris, 1990.
132. О принципе «не-кооперации» и/или о категориях социолингвистического воздействия // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М.: «Наука», 1990.
133. Опыт классификации ученых: метод — объект // Проблемы кибернетики: К 60-летию В. А. Успенского. 1990, № 3.
134. Диахрония или эволюция? // Вопросы языкознания. 1991, № 2.
135. Динамическое ударение и/или вершина акцентной кривой слова // *Linguistique et slavistique. Mélanges offerts à Paul Garde*. Aix-en-Provence, 1992.
136. Н. С. Трубецкой и фонологизация динамического ударения // Н. С. Трубецкой. 100 лет. М.: «Наука», 1992.
137. Первичная и вторичная семантика русских словосочетаний с неопределенными и притяжательными местоимениями // *Words are physicians for men*. Сборник в честь А. Богуславского. Fr.a.M., 1992.
138. Смерть властелина на охоте («Охота» Н. С. Гумилева и «Сероглазый король» А. А. Ахматовой) // *Russian literature*, 1992.
139. Семантика убеждения: лингвотекстологический анализ речи Марка Антония над гробом Юлия Цезаря // *Wiener Slawistischer Almanach*, Bd. 27, 1991.
140. Перепечатан в: Сборник статей к 70-летию Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992.
141. Просодическая схема слова и ударение. Ударение как факт фонологизации // Вопросы языкознания. 1993, № 2.
142. Временные загадки балканской просодии // Проблемы фонетики. 1. М., 1993.
143. Предисловие главного редактора // Там же.
144. Просодический ландшафт славянства // XI Международный съезд славистов. Славянское языкознание. М.: «Наука», 1993. Совм. с М. И. Лекомцевой
145. The foundation of language evolution and actual issues of diachronic linguistics // 9-th Meeting of Language Origin Society, Oranienbaum, 1993.
146. The “double-faith” in the “The tale of Igor’s campaign” and the theme of the city // *Elementa*, v. 1, № 2, 1993.
147. Звучание балканского стиха // *Studia slavica*: К 70-летию Н. И. Толстого. М.: «Наука», 1993.

148. Загадка и пословица: социальные функции и грамматика // Загадка как текст. М.: «Индрик», 1994.
149. Предисловие // Там же.
150. Категория времёни и речевое общение на Балканах // Знаки Балкан-2. М.: «Радикс», 1994.
151. The main tendency of language evolution // 10-th Meeting of Language Origin Society. Berkeley, 1994.
152. Определенное — неопределенное — конкретное в пословице и загадке // Малые формы фольклора. М., 1994.
153. Ценностная ориентация клише и штампов в современной русской речи // Revue des études slaves. LXVI, 3, 1995. Совм. с И. А. Седаковой
154. Ответы на анкету «Основы теории интонации» // Проблемы фонетики. 2. 1995.
155. «Срединная проза» и парадигма социализированной оппозиции // Вторая проза: русская литература 20-х—30-х годов. Рива, 1995.
156. Теория функциональной грамматики как представление языковой данности // Вопросы языкознания. 1995, № 1.
157. «Сны» пушкинских героев и сон Святослава Всеиводовича // Лотмановский сборник 1. М.: «Ицгарант», 1995.
158. Андрей Анатольевич Зализняк: К 60-летию со дня рождения // Известия РАН. Серия литературы и языка, 1995, № 3.
159. Человек и Город: еще раз о «двоеверии» в «Слове о полку Игореве» // Человек в контексте культуры. Славянский мир. ИСБ РАН, 1996.
160. «Модель мира» в грамматике паремий // Филологический сборник: К 100-летию В. В. Виноградова. М., 1996.
161. Пушкин и Боян // Поэтика. Стилистика. Язык и культура: К 70-летию Т. Г. Винокур. М.: «Наука», 1996.
162. Теория происхождения языка и его эволюции — новое направление в современном языкознании // Вопросы языкознания. 1996, № 2.
163. Ярославна — три Марии — Татьяна: любящая женщина спасает героя // Московский лингвистический журнал. 1996, № 2.
164. Тема Судьбы в «Слове о полку Игореве» и пушкинских текстах // МГЛУ: Сборник научных трудов. Вып. 428. Теория и история словесности. 1996.
165. «Бусый волк» Игорь и оборотничество пушкинских героев // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996.
166. «Безвременно погибший юноша» // Язык. Поэтика. Перевод. Изд. МГЛУ: Сборник научных трудов № 426, 1996.
167. Дислоговые структуры vs. терминальные интоационные контуры (на материале балканских вопросительных предложений) // Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica 1. Zeszyt 311, 1996.
168. Текст. Как путь и как многомерное пространство // Концепт движения в языке и культуре. М.: «Индрик», 1996.
169. Типология и сравнительное языкознание славянских и балканских языков // Институт славяноведения и балканистики. 50 лет. М.: «Индрик», 1996.
170. *А мы швейцару: отворите двери...* (о вопросу об инвариантной семантике коммуникативной лексемы) // Облик слова: Сборник памяти акад. Д. Н. Шмелева. М., 1997.
171. «Московский текст» в переписке А. С. Пушкина // Лотмановский сборник 2, М.: «Ицгарант», М., 1997.
172. Союзы А, НО, И — индоевропейская и славянская история и функционирование // Славянские сочинительные союзы. М., 1997.

173. Трагедия культурного героя // Московско-Тартуская семиотическая школа. М.: «Языки русской культуры», 1998.
174. Металингвистический фразеологизм — новый прием поэтики текста (по текстам романов В. Нарбиковой) // Лики языка: Сборник к 45-летнему юбилею Е. А. Земской. М.: «Наследие», 1998.
175. В. Н. Топоров — К 70-летию со дня рождения // Известия РАН. Серия литературы и языка, 1998, № 4.
176. Числовые модели порока и добродетели (роль числа в «Манон Леско») // ПОЛУТРОПОН: Сборник к 70-летию В. Н. Топорова. М.: «Индрик», 1998.
177. Хотя и хоть в исторической перспективе // Славянские этюды: Сборник к юбилею С. М. Толстой. М.: «Индрик», 1999.
178. Новое употребление «отчества» в русской речевой традиции // Slavia, 1999.
179. Р. Якобсон и загадки словесного ударения // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., РГГУ, 1999.
180. Речевая модель «обывателя» и идеи Н. С. Трубецкого — Р. О. Якобсона об оппозициях и «валоризации» // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М.: ОГИ, 1999.
181. «Отречение» Ю. Слезкина и русская интеллигенция на переломе // Russian literature, 1999, XLV—IV, Special Issue.
182. Еще раз о загадочной Татьяне // Вестник РГНФ. № 1, 1999.
183. Татьяна — загадка // Литература в школе. 1999 № 4.
184. Некоторые соображения по поводу категории уступительности // Вопросы языкознания. 1999, № 1. (совм. с И. Фужерон)
185. О параллелизме в функционировании речевых клише и некоторых суперсегментных просодических моделей // Фразеология в контексте культуры. М., 1999.
186. Предисловие к сборнику «Загадка как текст 2». М.: «Индрик», 1999.
187. МГЛА // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии и семантики. Слово в контексте культуры. М.: «Индрик», 1999.
188. Lexical stresses and intensity peaks: variability and its causes // Abstracts of XIV International Congress of phonetic sciences. San-Francisco, 1999.
189. Lexical stresses and intensity peaks: variability and its causes // Proceedings of ICPHS 14, San-Francisco, 1999.
190. Москва и Петербург в переписке Пушкина // Etudes russes — 2. La Russie et le Russe à travers les textes. Lille, 1999.
191. Семиантактика межфразовых связей и/или грамматика сложного предложения // Межфразовые связи. Издание Института славяноведения РАН, 2000.
192. Три пространства Игорева похода в «Слове»: художественное, летописное и «реальное» // «Slavica tergestina», 8. Художественный текст и его гео-культурные стратификации. Trieste, 2000.
193. Социолингвистическая дистрибуция речевых, коммуникативных и ментальных стереотипов // Язык как средство трансляции культуры. М.: «Наука», 2000.
194. О возможной древнейшей (славянской — ?) синтаксической категории — гипотетически // Res linguistica: Сборник к 60-летию В. П. Нерознака. М.: Academia, 2000.
195. О возможном влиянии одного текста Бальзака на судьбу Пушкина и Лермонтова // Известия РАН. Серия языка и литературы. 2000, т. 59, № 3.
196. Металингвистический иконизм и социолингвистическая дистрибуция этикетных речевых стереотипов // Язык и культура. Факты и ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова. М., 2001.

197. Лингвотекстологические особенности подачи информации в русскоязычных газетах // Встречи этнических культур в зеркале языка. М., 2002.
198. Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. Предисловие к сборнику. М.: Языки славянской культуры, 2002.
199. Степень стабильности просодических моделей (финско-русские корреляции) // Там же.
200. Неопределенность реальной ситуации и лингвистические средства ее оформления в пушкинских текстах // Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста: Сборник статей, посвященный юбилею Галины Александровны Золотовой. М., 2002.
201. Еще раз к вопросу о функциях просодических параметров // Проблемы и методы экспериментально-фонетических исследований: К 70-летию профессора кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филологического факультета Санкт-Петербургского университета Л. В. Бондарко. СПб., 2002.
202. Детектив и его возможные лингвистические «ключи» // Studia Polonica: К 70-летию В. А. Хорева. М.: «Индрик», 2002.
203. Семантическая компрессия — тенденция современного текста // Вавилонская башня. М., 2002. Совм. с М. Ванхала-Анишевски.
204. Многомерность интонационного пространства и ограниченность его отображения // Русский язык в научном освещении, 2002, № 3.
205. «Скрытая память» языка: попытка постановки проблемы // Вопросы языкоznания. 2002, № 4.
206. Заметка о немецких названиях демонов, упоминающихся в чешских фольклорных текстах // Коммуникативно-прагматическая семантика: Сборник научных трудов. Волгоград, «Перемена», 2000. Совм. с Вельмезовой Е. В.
207. ИК у Е. А. Брызуновой и проблемы интонологической типологии // Аспекты изучения звучащей речи: Сборник научных статей к юбилею Елены Андреевны Брызуновой. М.: Изд. МГУ, 2004.
208. Наличие / отсутствие личного местоимения — функциональная категория русского языка. Совм. с Ж. Брэйаром, И. И. Фужерон // Русистика. Славистика. Лингвистика. Festchrift fur Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag / Hrsg. S. Kempgen, U. Schweier, T. Berger. Verlag OTTO SAGNER. München, 2003.
209. Singing vs. reading. Parameters of intonation in comparison // Proceedings of XV International Congress of Phonetic sciences. Barcelona, 2003.
210. Restructuring of stress phonetic parametr as a stimulus for accentual system evolution // Proceedings of XV International Congress of Phonetic sciences. Barcelona, 2003.
211. Несколько слов о лингвистической теории 30-х: фантазии и прозрения // Слово в тексте и словаре: Сборник к 70-летию Ю. Д. Апресяна. М.: «Языки русской культуры», 2003.
212. Пространство славянских партикул / Сборник докладов к Съезду славистов в Люблине. М., 2003.
213. Поразительные совпадения двух текстов: загадка или нет? // Сокровенные смыслы. Слово. Текст. Культура: Сборник в честь Н. Д. Арутюновой. М., 2004.
214. Сочинительные союзы *а*, *но*, *и*: история, сходства и различия // Верbalная и невербальная опоры пространства межфразовых связей. М., 2004.
215. Некоторые наблюдения над семантикой и статусом сложных предложений с уступительными союзами (совм. с И. Фужерон) // Там же.
216. Семантика межфразовых связей и/или грамматика сложного предложения // Там же.
217. Функции русского «я» в индоевропейской перспективе // Там же.
218. «Лексическое ударение» и «пики интенсивности» в русском именном словосочетании: Сборник к 100-летию А. А. Реформатского. М., «Языки славянской культуры», 2005.

219. Баронесса и князь или маркиза и виконт? // Антропология культуры — 3: Сборник к 75-летию Вяч. Вс. Иванова. М., 2005.
220. Типология спонтанной речи генетически несвязанных языков (совм. с Е. Вельмезовой и М. Завьяловой). В печати.
221. Кавказ — Испания; Россия — Франция (о литературных совпадениях, влияниях и стереотипах). В печати. (Италия).
222. «Первоэлементы» марристов и проблема дополнительности лингвистических парадигм. В печати. (Швейцария).
223. Department of structural typology of ISB RAN: evolution of theory. В печати. (Дрезден).
224. Два направления в межвоенном языкоznании Европы: сходства и специфичность. В печати. (Швейцария).
225. Князь Звездич и Баронесса Шталь. Кто они такие? // Сборник «Имя: семантическая аура». В печати.
226. Moscow semiotic school as cultural phenomenon. В печати. (Лондон).
227. О возможном влиянии текста Бальзака на судьбу Пушкина и Лермонтова // Известия РАН. Серия литературы и языка, 1. В печати.
228. «Первоэлементы» марристов и проблема дополнительности лингвистических парадигм. В печати. (Швейцария).
229. Замечательное прозрение Р. Якобсона, или Почему Маяковский избегал прилагательных // Сборник «Славянский стих». В печати.

### ОБЗОРЫ

230. О русском языке в зарубежных работах по машинному переводу // Вопросы языкоznания. 1961, № 5.
231. Вопросы общей лингвистики в работах Д. Болингдера // Вопросы языкоznания. 1964, № 1.
232. Новое направление в изучении спонтанной речи // Вопросы языкоznания. 1970, № 3.
233. О новых работах по паралингвистике // Вопросы языкоznания. 1965, № 6. Совм. с Б. А. Успенским.
234. Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции // Вопросы языкоznания. 1984, № 3.
235. Славистика современных Нидерландов // Советское славяноведение. 1990, № 6.

### РЕЦЕНЗИИ

236. K. Baldinger. Die Semasiologie // Вопросы языкоznания. 1958, № 3.
237. A. Kent. Machine literature searching // Вопросы языкоznания. 1960, № 3.
238. Переводная машина П. П. Смирнова-Троянского // Проблемы кибернетики, вып. 5, 1961. Совм. с Т. Н. Молошной.
239. Вопросы грамматики // Структурно-типологические исследования. М., «Наука», 1962.
240. Л. С. Выготский. Избранные психологические сочинения // Там же.
241. Новое в лингвистике. Вып. 1 (сб. статей) // Там же.
242. A. Hill. Introduction to linguistic structures // Там же.
243. F. Hiorth. Zur formalen Charakterisierung des Satzes // Вопросы языкоznания. 1963, № 3.
244. R. B. Lees. The grammar of English nominalizations // Исследования по структурной типологии. М.: «Наука», 1963.
245. М. В. Панов. А все-таки она хорошая! // Русский язык в национальной школе. 1964, № 3.

246. В. Томилин. Патология, физиология и судебно-медицинская экспертиза письма // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М.: «Наука», 1966.
247. E. Bowmann. The minor and fragmentary sentences // Вопросы языкоznания. 1968, № 2.
248. M. A. K. Halliday. Intonation and grammar in British English // Вопросы языкоznания. 1970, № 5.
249. G. Neweklowsky. Slowenische Akzentstudien; T. Magner, L. Matejka. Word accent in Serbo-Croatian // Вопросы языкоznания. 1974, № 5.
250. Kauchtschwili. La narrativa di I. S. Turgenev // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Труды по знаковым системам VI, 1970.
251. Чехословацкие лингвисты о Л. В. Щербе // Вопросы языкоznания. 1973, № 3. Совм. с Л. В. Бондарко, Г. А. Лилич.
252. E. Pulgram. Syllable. Word. Nexus // Linguistics, № 176, 1976.
253. А. А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 37, 1978, № 3.
254. Л. Калнынь, Л. Масленникова. Сопоставительная модель фонологической системы славянских языков // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М.: «Наука», 1984.
255. М. М. Гухман. Историческая типология и проблема диахронических констант // Вопросы языкоznания. 1985, № 1.
256. D. Paillard. Enonciation et determination en Russe contemporain // Russian linguistics. 1988, 12.
257. M. Guiraud-Weber. Les propositions sans nominatif en Russe moderne // Russian linguistics. 1989, 13.
258. Dutch studies in South Slavic and Balcan linguistics // Советское славяноведение. 1989, № 3.
259. I. Fougeron. Prosodie et organisation du message // Russian linguistics. 1991, 2.
260. Темпоральность. Модальность. Л., 1990 // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 50, 1991, № 6.
261. I. Fougeron. Prosodie et organization du message // Вопросы языкоznания. 1993, № 4.
262. Новые книги: Бюллетени фонетического фонда русского языка. Бохум, № 1—4 // Вопросы языкоznания. 1994, № 3.
263. AION, «Slavistica», 1994, № 2 (Annali dell' Istituto Orientale di Napoli. Sezione slavistica // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1996, № 2).
264. R. Rathmayr. Pragmatik der Entschuldigungen. Vergleichende Untersuchung am Beispiel der Russischen Sprache und Kultur. Vchtlau Verlag. Kçln — Weimar — Wien, 1996 // Russian linguistics. В печати.
265. Bernard H. Bichakjian. Language in a Darwinian Perspective // Вопросы языкоznания. 2004, № 1.

## ХРОНИКА

266. Конференция по машинному переводу // Вопросы языкоznания. 1959, № 5.
267. Научное заседание памяти Л. В. Щербы // Советское славяноведение. 1975, № 4. Совм. с Л. В. Бондарко.
268. К 800-летию похода Игоря Новгород-Северского на половцев // Информационный Бюллетень МАИРСК, вып. 13, 1985.
269. XI Международный конгресс фонетических наук // Вопросы языкоznания. 1988, № 2. Совм. с Л. В. Бондарко, Д. И. Эдельман.
270. О деятельности Постоянной комиссии по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР // Вопросы языкоznания. 1989, № 3. Совм. с Н. Н. Розановой.

## Статьи в энциклопедиях

271. Музыкальное ударение // БСЭ.
272. Мелодика // Там же.
273. Тема // Там же.
274. Рема // Там же.
275. Паралингвистика // Философская энциклопедия, т. 4, 1965.
276. Актуальное членение предложения // Русский язык. Энциклопедия, 1979.
277. Текст // Там же.
278. Категория определенности/неопределенности // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1990.
279. Лингвистика текста // Там же.
280. Фразовое ударение // Там же.
281. Эмпатия // Там же.
282. Диахроническая типология // Там же.
283. Паралингвистика // Там же.
284. Текст // Там же.
285. Теория текста // Там же.
286. Универсалии языковые // Там же.

## Переводы

287. Д. Ворт. Трансформационный анализ конструкций с творительным падежом (англ.) // Новое в лингвистике, вып. 3, 1962.
288. Р. Лиз. Что такое трансформация? (англ.) // Вопросы языкоznания. 1961, № 3.
289. Ф. Данеш, И. Вахек. Пражские исследования в области структурной лингвистики (англ.) // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
290. Д. Л. Болинджер. Интонация как универсалия. (англ.) // Типология и универсалии. М., 1972.
291. Р. Бернар. Ударение в существительных мужского рода в болгарском языке (франц.) // Исследования по славянскому языкоznанию. М., 1971.
292. У. Брайт. Введение: параметры социолингвистики (англ.) // Новое в лингвистике, вып. 7, 1975.
293. С. М. Эрвин-Трипп. Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия. (англ.) // Там же.
294. Ф. К. Бок. Структура общества и структура языка. (англ.) // Там же.
295. Э. Хауген. Лингвистика и языковое планирование (англ.) // Там же.

## Тезисы

296. Анализ знаков препинания при машинном переводе с русского языка // Тезисы конференции по машинному переводу. М., 1958.
297. Структура синтезирующих правил в машинном переводе при участии языка-посредника // Тезисы совещания по математической лингвистике, Л., 1959.
298. К типологии лексических соответствий // Там же. Совм. с С. С. Белокриницкой и др. 1959.
299. Типологическое сопоставление русского устного и письменного языков // Питання прикладної лінгвістики. Черновцы, 1960.
300. Установление соответствий между языками при машинном переводе // Там же. Совм. с С. С. Белокриницкой и др.

301. О зависимости строения правил автоматического анализа от типа языка // Там же. Совм. с С. С. Белокриницкой и др.
302. Алгоритм независимого грамматического анализа русских текстов // Тезисы докладов на конференции по обработке информации, МП и автоматическому чтению текстов. М., 1961.
303. Трансформационный анализ словосочетаний с прилагательным-управляющим словом // Тезисы докладов на конференции по структурной лингвистике. М., 1961.
304. Классификация русских графем // Там же.
305. Жестовая коммуникация и ее место среди других систем человеческого общения // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. М., 1962. Совм. с З. М. Волоцкой, Д. М. Сегалом, Т. В. Цивьян.
306. Интонация и пунктуация в русском языке // Синтаксис и интонация. Тезисы конференции. М., 1962.
307. О возможности «синтеза через анализ» // Тезисы докладов летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1964.
308. Специфика эволюции пунктуационной системы внутри естественного языка // Материалы Всесоюзной конференции по общему языкознанию. Основные проблемы эволюции языка. 11. Самарканд, 1966.
309. Структура и порождение анекдотов об остроумии великих людей // Тезисы летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1968.
310. Структура речевого высказывания и национальная специфика жеста // Международная конференция преподавателей русского языка и литературы. Тезисы. М., 1969.
311. Выбор знака и коммуникативная ситуация // V Всесоюзный симпозиум по кибернетике. Материалы. Тбилиси, 1970.
312. Порождение и восприятие речевых отрезков и некоторые лингвистические категории // Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике, М., 1970.
313. Лексика телеграмм // Конференция по лексикологии. Тезисы. Пермь, 1970. Совм. с Н. А. Меликан.
314. Языковые функции фразовой интонации и ее лингвистический статус // Вопросы фонологии и фонетики. Тезисы докладов советских лингвистов на VII Международном конгрессе фонетических наук. М., 1972.
315. Место просодической системы белорусского языка в общей системе просодии восточнославянских языков // Материалы конференции «Анализ и синтез как взаимообусловленные методы экспериментально-фонетических исследований речи». Минск, 1973.
316. La force d'influence de la prosodie de la phrase // Abstracts of papers of 7 ICPHS. Leeds, 1975.
317. Проблемы лингвистики текста и конкретные исследования балканского материала // Симпозиум по структуре балканского текста. Тезисы докладов и сообщений. М., 1976.
318. Категория связности текста как многокомпонентное иерархическое образование // Текст и аспекты его рассмотрения. Тезисы докладов и сообщений. М., 1977.
319. Functions of accent and semantic structure of utterance // Proceedings of 9-th ICPHS. Copenhagen, 1979.
320. Типы номинации лица в Мариинском Евангелии // Структура текста-81. Тезисы докладов. М., 1982.
321. Некоторые приемы лингвистики текста в «Слове о полку Игореве» и их функциональная нагрузка // Там же.
322. Притяжательность (посессивность) и способы ее выражения // Там же. Совм. с А. В. Головачевой, Т. Н. Молошной, В. В. Ивановым.
323. *И* справа — *И* слева // Тезисы Международного симпозиума по изучению текста. Иена, 1982.

324. Тип акцентного выделения и тип связного текста // Тезисы докладов научно-методической конференции «Просодия текста». М., 1982.
325. Realization of word stress in Slavic languages and mechanism of its variations // Abstracts of the 10-th International congress of phonetic sciences. Dordrecht, 1983.
326. *Свой*: механизм формально-смысловой эволюции // Категория притяжательности в славянских и балканских языках. Тезисы докладов. М., 1983.
327. Иерархия категориальных корреляций посессивности в рамках высказывания и примененного словосочетания // Там же.
328. Семантика убеждения и синтаксическая структура высказывания // Школа-семинар «Искусственный интеллект». Телави-83. Тезисы докладов». Телави, 1983.
329. Фразовая интонация: синхронно-типологический и диахронико-типологический аспекты // Fifth International Phonology Meeting. Eisenstadt. Discussion papers. Wien, 1984.
330. К соотношению формальной и содержательно-ориентированной типологии (анализ славянских данных) // III Всесоюзная конференция по теоретическим проблемам языкоznания. М., 1984.
331. Референция имени, семантика словаобразования, прагматические коннотации и возможность их корреляции // Конференция «Коммуникативные единицы языка. МГПИИЯ. Тезисы». М., 1984. Совм. с З. М. Волоцкой.
332. Корреляция славянской и финно-угорской просодических систем // VI Международный конгресс финноугроведов. Тезисы. Сыктывкар, 1985.
333. Скрытая семантика высказываний с частицами // Школа-семинар по искусенному интеллекту. Кутаиси-85. Тезисы. Кутаиси, 1985.
334. Структурирование ситуации — отражение языкового менталитета (старославянский и греческий евангельские тексты) // Балканы в контексте Средиземноморья. Тезисы конференции. М., 1986.
335. Единичное и универсальное в типологической проблематике // Всесоюзная научно-практическая школа по сопоставительному и типологическому языкоznанию. Звенигород, 1986.
336. Типология функционирования посессивных конструкций // Функционально-типологические проблемы грамматики. Тезисы докладов. Вологда, 1986. Совм. с А. В. Головачевой, Т. Н. Молошной, В. В. Ивановым.
337. Непрямая социальная оценка и языковые средства ее выражения // Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки. Киев, 1986.
338. Языковые категории и мифологемы здравого смысла // Школа-семинар по знаковым системам. Каярику, 1986.
339. «Слово о полку Игореве»: еще раз о двоеверии // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. Тезисы. М., 1988.
340. Механизм построения негативного образа: поэтика иллокутивных сил в «Слове о полку Игореве» // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Боржоми, 1988.
341. Текст итальянского города в поздней русской поэзии // Всесоюзная конференция «История культуры и поэтика». Тезисы. М., 1989.
342. Ударение: разность трактовок — единство теории? // Конференция «Доказательство в фонетике и фонологии». Звенигород, 1989.
343. Смерть властелина на охоте // «Анна Ахматова и русская культура XX века». Тезисы докладов. М., 1989.
344. Балто-финноугорские-славянско-балканские просодические схождения // Uralo-indogerma-nica. Материалы III балто-славянской конференции. М., 1990.
345. Этторе Ло Гатто — исследователь русской литературы // «Италия и славянский мир». Тезисы докладов. Москва, 1990.

346. Н. С. Трубецкой и фонологизация динамического ударения // Н. С. Трубецкой: 100 лет. М., 1990.
347. Социолингвистический портрет и методы его описания // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Ч. 2. М., 1991.
348. Некоторые особенности речи русских эмигрантов в Югославии // Славистика. Индоевропеистика. Ноstrатика. Тезисы. М., 1991.
349. Two intensity phenomena in the word prosody // 12-th International congress of phonetic sciences. Aix-en-Provence, 1991.
350. Просодия Балкан: слово-текст // Балканские древности-1992. Тезисы. М., 1992.
351. Prosodic data: one more evidence for Balkan unity // Septième congrès international d'études du Sud-Est Europeen. Thessaloniki: 29 août — 4 septembre 1994. Athens, 1994.
352. Нагорная проповедь, тема пути и неопределенный artikel // Балканские чтения 3. М., 1994.
353. С тропинки сбилась я... (потеря пути в пушкинских текстах) // Там же.
354. Тема «восточного врага» («Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты) // «Миф и культура. Человек-нечеловек». Тезисы конференции. М., 1994.
355. Клишированные речения в современном русском языке // «Традиции и новые тенденции в развитии славянских литературных языков». Тезисы докладов Международной научной конференции. Москва, 1994. Совм. с И. А. Седаковой.
356. Лингвистика XXI века: попытка прогнозирования // «Лингвистика в конце XX века». Тезисы Международной конференции. М., 1995.
357. Тема Судьбы в произведениях А. С. Пушкина // «Пушкин и славянский мир». Тезисы конференции. Алушта, 1995.
358. Качели свободы-несвободы: трагедия или спасение? // «Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии». Тезисы конференции. М., 1995.
359. Славянские языки в контакте: просодия // «Славянские языки в зеркале неславянского окружения». Тезисы конференции. М., 1996.
360. Les fondements culturels, intellectuels et linguistiques du livre Jakobson sur le vers tchèque et russe // «Jakobson: Est/Ouest, 1915—1939». Colloque international. Crêt-Berard, Suisse, 1996.
361. Р. О. Якобсон и загадки словесного ударения // Материалы Международного конгресса «Сто лет Роману Якобсону». М., 1996.
362. Просодические характеристики ударения в русском словосочетании // Тезисы совещания Комиссии по фонетике и фонологии. Загреб (Хорватия), октябрь 1997.
363. Москва и Петербург в переписке Пушкина // La Russie et les Russes à travers les textes. Lille, 1997.
364. Две заметки о «новом» в русской речевой коммуникации // «Русский язык в его функционировании». Тезисы докладов международной конференции. Третий Шмелевские чтения. Москва, 22—24 февраля 1998 г.
365. Возможная интерпретация «неоштокавского сдвига» и идея просодической схемы слова // «Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское преподавание». Тезисы докладов Международной конференции. Звенигород, 25—27 ноября, 1998.
366. Оппозиция Я / Другой в русском речевом общении: возможные инновации // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Материалы к коллективному исследованию. М., 1999.
367. Предисловие // Там же.
368. Имена собственные в русской культуре и литературе (к вопросу об эволюции культурных коннотаций) // «ИМЯ: внутренняя структура, семантическая аура, контекст». Тезисы конференции. М., ИСл. 30 января — 2 февраля 2001.

369. Two phenomena of lexical stress // Abstracts of XIV International Congress of phonetic sciences // San-Francisco, 1999.
370. Ареальная дистрибуция словесно-просодических доминант // «Евразийское пространство: звук и слово». Международная конференция 3—6 сентября 2000. Тезисы и материалы. М.: «Композитор», 2000.
371. Компрессия информации в тексте: газеты российские и русскоязычные // Проблемы семантического анализа лексики. Тезисы докладов Международной конференции. Пятые Шмелевские чтения 23—25 февраля 2002 г. М., 2002.
372. Межвоенные годы: две лингвистики, два языка // Les fondements philosophiques, épistémologiques et idéologiques sur la langue en Union Sovietique, 1917—1950, Crêt-Berard, 2002.
373. Les éléments primitives chez les marristes et le problème de la ‘complementarité’ du paradigme linguistique // Un paradigme perdu. Crêt-Berard, 2004.

### Р Е Ф Е Р А Т Ы В И Н И О Н

374. I. Lehiste — P. Ivić. Word and sentence prosody in Serbo-Croatian. Cambr.-L., 1986.
375. Studies in compensatory lengthening. Dordrecht, 1986.
376. M. Beckman. Stress and non-stress accent. Dordrecht, 1986.
377. Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam, 1987.
- 378: In honor of I. Lehiste. Dordrecht, 1987.
379. A. di Cristo. De la microprosodie à l'intonosyntaxe. tt. 1—2. Aix-en-Provence, 1985.
380. W. Levelt. Speaking. Dordrecht, 1989.
381. I. Fougeron. Prosodie et organization du message. Paris, 1989.

### О Т В Е Т С Т В Е Н Н Й Р Е Д А К Т О Р И Ч Л Е Н Р Е Д К О Л Л Е Г И Й

382. Лингвистические исследования по общей и структурной типологии. М.: «Наука», 1966. Отв. ред.
383. Новое в зарубежной лингвистике, VIII. М.: «Прогресс», 1978, 25 а. л. Отв. ред.
384. Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М.: «Наука», 1979. Отв. ред.
385. Звуковой строй языка. Л.: «Наука» 1979. Член редколлегии.
386. Теория языка: методы его исследования и преподавания. Л.: «Наука», 1981. Член редколлегии.
387. Фонетика-83. Материалы к X Международному конгрессу фонетических наук. М.: «Наука», 1983. Отв. ред.
388. Категория притяжательности в славянских и балканских языках. Тезисы докладов. М.: «Наука», 1983. Член редколлегии.
389. Славянское и балканское языкознание. Просодия. М.: «Наука», 1989. Член редколлегии.
390. Актуальные вопросы фонетики в СССР. ИНИОН, 1989. Отв. ред.
391. Материалы по экспериментальной фонетике-2. Изд. ЛГУ, 15 а. л. Член редколлегии.
392. Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Тезисы конференции. М., 1995. Отв. ред.
393. Славянские языки в зеркале неславянского окружения. Тезисы конференции. М., 1996. Отв. ред.
394. Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М.: «Индрик». Отв. ред.
395. Энциклопедия «Русский язык». М.: «Дрофа», 1997. Член редколлегии.

- 
- 396. Загадка как текст 2. М.: «Индрик», 1999. Отв. ред.
  - 397. Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию В. В. Иванова. М., ОГИ, 1999. Член редколлегии.
  - 398. Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. Сборник к 100-летию Р. Якобсона. М., 1999. Член редколлегии.
  - 399. ПОЛУТРОПОН. К 70-летию В. Н. Топорова. М.: «Индрик», 1998. Отв. ред.
  - 400. Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Сборник материалов к коллективному труду. М., 1999. Отв. ред.
  - 401. Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст. Тезисы докладов. М., 2001. Отв. ред.
  - 402. Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. М.: «Языки славянской культуры», 2002. Отв. ред.
  - 403. Славянское и балканское языкознание. Человек в пространстве Балкан. Поведенческие сценарии и культурные роли. М.: «Индрик», 2003. Член редколлегии.
  - 404. Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М.: «Индрик», 2003. Член редколлегии.
  - 405. Верbalная и невербальная опоры пространства межфразовых связей. М.: «Языки славянской культуры», 2004. Отв. ред.

#### ПЕРЕВОДЫ РАБОТ АВТОРА

- 406. Анализ русского предложения, 1958 (№ 26) — на английский язык.
- 407. То же — на китайский язык.
- 408. Анализ знаков препинания при МП (№ 27) — на китайский язык.
- 409. О соотношении сегментных указателей текста и суперсегментных языковых средств (№ 51) — на английский язык.
- 410. О грамматике неязыковых коммуникаций (№ 51) — на английский язык.
- 411. «Из пламя и света рожденное слово...» (№ 93) — на английский язык.
- 412. «Скрытая память» языка (№ 205) — на английский язык.

**ЯЗЫК. ЛИЧНОСТЬ. ТЕКСТ**  
**Сборник статей к 70-летию Т. М. Николаевой**

Издатель А. Кошелев

Оформление переплета Ю. Саевича

Оригинал-макет подготовила Л. Кисличенко

Корректоры О. Заикина, Е. Зуевская

Подписано в печать 20.08.2005. Формат 70x100 1/16.  
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Times.  
Усл. изд. л. 78,69. Тираж 1000. Заказ № 506.

Издательство «Языки славянских культур».  
№ госрегистрации 1037789030641.  
Phone: 207-86-93 Fax: 246-20-20 (для аб. M153)  
E-mail: Lrc@comtv.ru Site: <http://www.lrc-press.ru>

\*

**Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».**  
**Тел./факс: (095) 247-17-57, тел.: 246-05-48, e-mail: gnosis@pochta.ru**  
**Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).**  
Адрес: Зубовский б-р, 2, стр. 1  
(Метро «Парк Культуры»)

Foreign customers may order this publication  
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru  
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153)

СБОРНИК  
СТАТЕЙ  
К 70-ЛЕТИЮ  
Т. М. НИКОЛАЕВОЙ

ЯЗЫК \* ЛИЧНОСТЬ \* ТЕКСТ